*Вам сегодня сложно выбрать поставщика компьютеров?*

*Приходите в «РУБИКОН» — и выбор перестанет быть проблемой!*

*Мы предлагаем:*

*ПОЛНЫЙ РЯД IBM — СОВМЕСТИМЫХ КОМПЬЮТЕРОВ,*

комплектующие и расходные материалы

Вы найдете у нас то, что ищете:

— ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ТЕХНИКИ
— САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ
— ОТЛИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
— НАДЕЖНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Вас перестал устраивать купленный у нас компьютер?
Это не катастрофа —
Вы можете поменять его
или получить обратно свои деньги!

Фирма «РУБИКОН» поставляет также:
КСЕРОКСЫ И ТЕЛЕФАКСЫ

Все приобретенное у нас оборудование мы берем на гарантийное обслуживание.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ:
(812) 105-64-34, (812) 268-47-48
ТЕЛЕФАКС: (812) 269-11-83
ТЕЛЕКС: 121194 RUB SU
Диллеры фирмы «РУБИКОН»:
МГП «САМПО-90» (г. Петрозаводск)
МНТП «СЭТ» (г. Пермь)

Заказ и подготовка рекламы:
355-47-86, 273-37-24.

ISSN 0321—1878. «Звезда», 1991, № 8, 1—208. Цена 1 р. 80 к. (по подписке 1 р. 60 к.). Индекс 70327.

ISSN 0321—1878

# Звезда

8

1991

## «З В Е З Д А»

*— журнал для самостоятельно мыслящего читателя!*

*Н а ш  д е в и з:*

*— Максимальная насыщенность каждого номера*
*— Максимальное разнообразие жанров, стилей и мнений*
*— Максимальное доверие читателю, его уму и вкусу*

Со «Звездой» сотрудничают всемирно известные авторы: Сергей Аверинцев, Юз Алешковский, митрополит Антоний Сурожский, Андрей Битов, Елена Боннэр, Иосиф Бродский, Петр Вайль и Александр Генис, Олег Волков, Александр Володин, Глеб Горбовский, Яков Гордин, Фридрих Горенштейн, Глеб Горышин, Александр Зиновьев, Юрий Карякин, Виктор Конецкий, Владимир Корнилов, Александр Кушнер, Лев Лосев, Борис Парамонов, Валерий Попов, Радий Погодин, Евгений Рейн, Андрей Синявский, Александр Солженицын, Виктор Соснора, Борис Стругацкий, Михаил Чулаки, Вадим Шефнер, Дора Штурман, Ефим Эткинд и др.

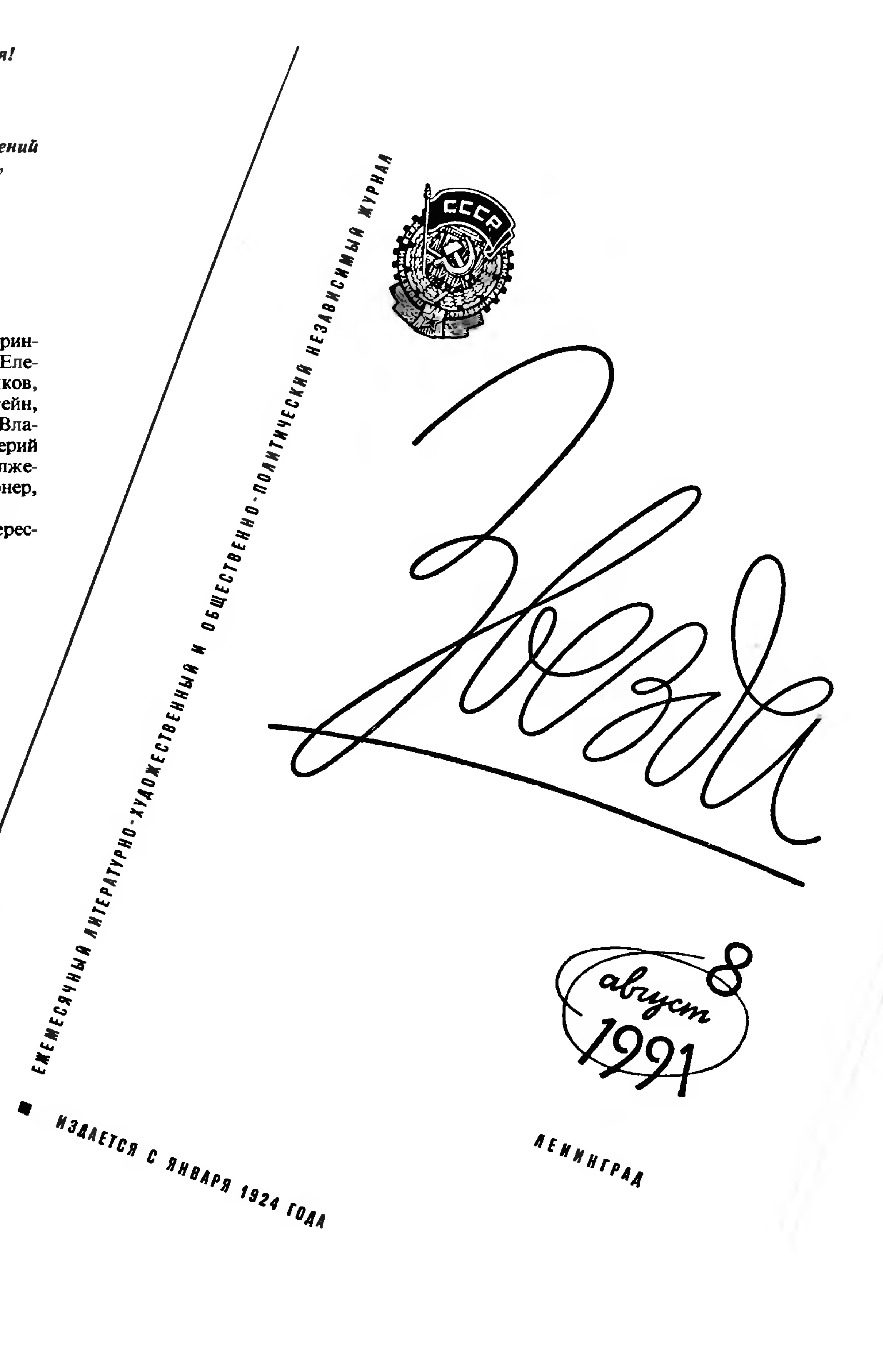
«Звезда» постоянно ищет и открывает своим читателям новые интересные имена.

## «З В Е З Д А»

*— журнал для самостоятельно мыслящего читателя!*

*Н а ш  д е в и з:*

*— Максимальная насыщенность каждого номера*
*— Максимальное разнообразие жанров, стилей и мнений*
*— Максимальное доверие читателю, его уму и вкусу*



## SUMMARY

The conclusion of the fourth and final volume of A. Solzhenitsyn's novel «March 1917» — a part of his world famous epic synthesis of the Russian revolution «The Red Wheel».

Anatoly Mikhailov. Two Stories. Reminiscences of the author's meetings with Varlam Shalamov and Joseph Brodsky.

The beginning of A. Moravia's novel «Boredom».

New poems of the Leningrad poets Ilya Fonyakov, Elena Dunaevskaya, Elena Ushakova, Alexander Skidan and a former Leningradian Lev Losev, who now lives in the USA.

Two previously unknown stories of A. Vampilov, a most talented playwright of «stagnation» period, the author of the famous «Duck Hunting». G. Nikolaev discusses the fate of Vampilov and the struggle over his literary heritage.

The conclusion of A. Antonov-Ovseenko's narrative «The Executioner's Carcer» about the activities of Stalin's favourite Beria between 1951 and 1953, about the circumstances accompanying Stalin's death and about Beria's end — his trial and execution on 23rd December 1953.

Vitaly Krshishtalovich «Labyrinth». Politics and soil fertility seem to be far apart, and yet the young journalist argues that it was Khrushchev's political ambition and his tendency to do everything on a large scale that brought about the present tragic impoverishment of fertile soils.

Evgeny Gollerbach in his article «Appassionato» (Lenin as a reader of Gumilev) analyses all the possibilities of Lenin's acquaintance with the work of this finest poet of the Silver Age of Russian culture of whose execution Lenin could not but know.

K. Verheul, a writer and a professor of Russian literature in holland universities, in his article «Calvinism, poetry and painting» makes a comparison of Joseph Brodsky's poem «At the exhibition of Karl Villinck» with the painting of the well-known holland artist (1900—1983). He consideres «the Dutchness» of Brodsky as related to the ethics of Calvinism traditional for Holland.

Boris Paramonov. «Noah and Hams». The author, who lives in the USA, writes about Victor Shklovsky, the founder and leader of «the formal school» of literary criticism of the 1920's.

Ivan Tolstoy introduces the Russian emigré magazine «Opyty» which was published in the USA.



**Учредитель: Союз писателей СССР** **Издатель: редакция журнала «Звезда»**




---


Адрес редакции: 191028, Ленинград, Моховая, 20

Телефоны: главный редактор — 272-89-48, заместители главного редактора — 273-52-56,273-74-91,273-76-92, ответственный секретарь — 272-71-38, зав. редакцией — 273-37-24, отдел прозы — 272-18-15, отдел публицистики — 279-33-74, отдел критики — 273-74-91, отдел поэзии — 279-30-41

Сдано в набор 17.04.91. Подписано к печати 28.06.91. Формат $70\times108^1/_{16}$. Бумага тип. № 1. Печать высокая. 18,2 усл. печ. л. 18,9 усл. кр.-отт. 27,01 уч.-изд. л. Тираж 150 000 экз. Заказ № 782. Цена 1 р. 80 к. (по подписке 1 р. 60 к.)

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197110, Ленинград, П-110, Чкаловский пр., 15.

## АКТУАЛЬНЫЕ СОНЕТЫ

### МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОМОЩЬ

Спасают нас: колготки шлют и кур.
Пакуют свой рождественский гостинец
Владельцы ферм, заводов и гостиниц
И люди государственных структур.

Везут бекон и в банках конфитюр
Американец, немец, филиппинец.
Стрвна Малайя — Азии мизинец,
И ноготь на мизинце — Сингапур.

Еще такого не было доныне!
Какое испытанье для гордыни!
Окрестный мир, спасибо и... прости:

Смотрю на те посылки дармовые
В телеэкран — и, кажется, впервые
Не понимаю, как себя вести.

### В ГОСТЯХ С ИНОСТРАНЦЕМ

Ах, питерская эта коммуналка,
Деленая квартира восемь «а»!
В прихожей инвалидная каталка
И календарь с мадонной Бенуа.

Сквозь двери — гаммы, в кухне
перепалка,
Баюкают младенца: «Ааа».
Как все знакомо, дорого и жалко,
И в горле комом — слезы и слова!

Ручной звонок дореволюционный
Еще звонит — как бы из *тех* времен,
И синей лентой изоляционной

Скреплен полуразбитый телефон.
Дивится финн, хозяев потешая:
«Какая тут семья живет большая!»

* * *

Кондратьев Петя с виду плоть от плоти
Родной земли, от печки, от сохи,
Хотя он говорит об Эллиоте
И пишет непонятные стихи.

Сидит в каком-то модном рединготе,
Штаны в наклейках — вроде шелухи,
Но если шелуху с него сдерете —
Пожалуйста, хоть завтра в пастухи.

Друзья в европах, нас не обессудьте,
Нам не уйти от нашей русской сути,
Мы — всюду мы, и дома, и в гостях.

Кто больше всех меж нами иностранен?
Пожалуй, показательный крестьянин,
Идейно выступающий в лаптях.

---

Илья Олегович Фоняков (род. в 1935 г.) — поэт. Первая публикация — в 1950 году. Автор книг: «Именем любви» (1957), «Надежда» (1969), «Долгие мгновения» (1984), «О чем бы ни задумался...» (1984), «На своей единственной земле» (1986), «Мирное время» (1988) и др. Живет в Ленинграде.

**ВЕСНА**

**(Городская)**

Куда ни глянь — весенние премьеры:
Частит капель и оплывает лед.
На потолке — пятно, его размеры
Растут, напоминая самолет.

Звоним, взываем: принимайте меры!
Но как их примешь, если в этот год
Сантехники менялись, как премьеры
В стране демократических свобод.

И вот опять — «правительственный» кризис,
Неуправляем, непреодолим,
катастрофа завтрашняя, близясь,

Нас обдает дыханием своим,
И краска от подмокшей штукатурки
Отслаивается, подобно шкурке.

**ВЕСНА**

**(Пригородная)**

Уже пробилась первая трава.
Стоят болотца около колодца.
Последние в поленнице дрова
Так отсырели — не хотят колоться.

Сочится сквозь штакетник синева,
И словно по приказу полководца,
И здесь и там виднеются слова
Воинственные: «Дача не сдается».

И я, дощечку трогая, смеюсь:
«Друзья, привет! Я тоже *не сдаюсь*,
Я занял круговую оборону

На островке, и я не одинок,
Поскольку рядом носится щенок
И лает на лохматую ворону!»

* * *

Еще выходит шахматный журнал,
Еще бросаем птичкам полбатона,
Еще бубнит о чем-то монотонно
Учебный телевиденья канал;

Еще привычно ловит криминал
Редактор между строчек фельетона,
И ворожит над папкой из картона
В отделе кадров серый кардинал.

Обшивка жизни, будничная проза
Еще почти такая, как вчера,
Позавчера и поза-поза-поза-

Вчера — но веют острые ветра,
В их голосах — надежда и угроза,
И замирает сердце, замира...



*Александр Солженицын*

***Роман***

**634**

Угловая гостиная имела окна на Сергиевскую и на Потёмкинскую. Через эти окна простым глазом была видна вся Революция: как она текла и толпилась вереницами к Таврическому дворцу, затем спадала, прекращалась, а последние дни опять многолюдно потекла. А ещё был — неумолчный дребезг телефона, приносивший вести с разных концов столицы, и всё от людей выдающихся. А ещё же — кто не считал за честь переступить порог этой квартиры и обменяться душевными эманациями с её обитателями? Хозяйкой этого драгоценного мирка была символическая поэтесса, властного характера, с прямой высокой фигурой и глубоко погружённым взглядом, как переполненная тайнами и смотрящаяся в них. Затем постоянно присутствовал здесь её муж, почти уродливый,— поэт, прозаик, драматург, мыслитель, критик и публицист — несколько раскидистый в творчестве, но тоже если не гений, то с яркими признаками того. И почти так же постоянно пребывал там их друг, всего лишь только мыслитель, критик и публицист, но очень собранный, красавец, и с твёрдым взглядом. Мужчины были тёзки, одинаково звала их и хозяйка, но всякий раз, в триалоге или полилоге, было понятно, к кому обращаются или возражают кому.

А беседы лились тут эти три недели почти непрерывно: события настолько сотрясали, настолько багряно освещали души и горизонты, что онемели их перья всех троих: друг лишь иногда писал толковательные газетные статьи, муж — лишь иногда доправлял уже готовую пьесу о декабристах, а хозяйка не написала ни одного нового стихотворения, а переходя озарённо по комнатам, почему-то навязчиво повторяла своё старое:

*...в белоперистости вешних пург*
*Созданье революционной воли —*
*Прекрасно-страшный Петербург...*

Революционной воли императора-диктатора, не затхлого русского царя, взрыв святого мятежного духа на берегу балтийских волн,— и теперь как можно скорей должно быть стёрто позорное имя Петрограда, убогая славянщина, рабья кличка, пощёчина русской истории, и как можно скорее должен быть забыт кошмарный петроградский период с августа Четырнадцатого по март Семнадцатого. Ничтожный Николай был дан России мудро — чтоб она проснулась.

Свершилось! Нам оказалось суждено, чтó не удалось декабристам. Все праведные взлёты тут — 1 марта, 9 января, и вот вспыхнул пламенный столб и зажёг всю Россию! Мы жаждали чуда и оно состоялось! Что б ни случилось потом дальше — какое радостное время! а революционной подвижности всё кричит «вперед»! Опьянение правдой Революции! Печать богоприсутствия на лицах. Влюблённость в свободу, не дарованную, но взятую. Можно бояться, можно предвидеть и каркать — но этих наших предвесенних морозных белоперистых дней Революции уже никто у нас не отнимет. Огненная радость, красная и белая.

---

Окончание. См.: «Звезда», 1991, № 4—7.

Эти три недели почти не выходя из квартиры, они были в душевном единении со всеми свободолюбцами. Вихри революционных событий все тут прокручивались и прожигались через их души и под их окнами.

У поэтессы был совершенный мужской ум — и она властно охватывала все приносимые вестями события, прежде всего в их политическом единстве, уже потом — в их художественной наивности: и повелительные, хотя тупые воззвания Совета, и нежно уступчивую растерянность думцев. Раза два на четверть часа влетал сюда — кометой, гранатой! — распираемый счастьем Керенский,— изо всех политиков единственный на верной точке. Сюда, в квартиру на Сергиевской, телефонировали и заходили воспринять охватывающий свет — и политики, и журналисты, и секретарь Толстого, и деятели церковного отделения (скорей отделить этот груз от государства!), и конечно всех видов искусств.

И хотя хозяйка успевала консультировать и направлять и политиков, и журналистов (и держала в сердце ещё рвущихся в Россию революционеров, как Савинков),— и она, и муж, и друг прежде всего были обязаны перед Искусством, ибо, в конце концов, его самостоятельный ход часто определяет и всю историю. Не всем видное трагическое действо — совершалось в Искусстве эти дни, и его последствия могли быть огромны для будущей России. Своё тройное внимание они должны были устремить сюда, и прежде всего, конечно, на театр. Прежде всего нужны были новые пьесы! — вот, пьеса мужа о декабристах, да и пьеса о Павле, прежде запрещённая, теперь обещала хорошо пойти.

Но, но. События мчались, уже 4 дня как театры возобновили спектакли — а в них, находил друг, до сих пор не возник новый пафос. Дни идут — и нельзя допускать, чтобы старая обывательская тина засасывала граждан Новой России. На афишах императорских театров орлы заменены лирой, в Мариинке сияли тёмно-синий занавес с двуглавым орлом — но это ещё не шаги того золотого века искусств, который теперь распахнётся над Россией. Сколько лет они трое ждали, жаждали и предсказывали революционный взрыв — но это ещё не он? «Да торжествует искусство, освобождённое от гнёта и произвола!» — телеграфировала Александринка Временному правительству,— но с чем же она сама вступила в революцию? С «Маскарадом». И этот спектакль вобрал в себя всю косность и рутину, которая уже не сверху давила нас, но сидит в нас самих. Спектакли, которым помешала уличная стрельба, в эти последние дни отдавались — и уже совсем новый революционный зритель видел вполне старый парад. И всё те же старые тянулись «У врат царства», «Шут Тантрис», «Честь и месть», «Шарманка сатаны», и та же двуспальная кровать на французских спектаклях Михайловского.

Но «Маскарад» стоил кардинального разговора — и уже несколько раз он вспыхивал в квартире поэтессы. Эту постановку режиссёр Мейерхольд готовил пять-шесть сезонов с умопомрачительной роскошью — и приготовили к самому дню революции! Бредовая фантазия, раззолоченный просцениум, колонны с золотом, фестоны на порталах, пышные занавесы, затканные серебром (из одного куска кружевной занавес — реклама фирме Лангарта), сияние зеркал, чертоги, бесчисленные вазы, ширмы, цветной водоворот неисчерпаемых костюмов, фасонов, неистовое изобилие шелков и бархатов, хаотическая пестрота, далеко перейдено всякое чувство меры,— а вся красота напрасна, ибо: где же Лермонтов? Без его души — зачем эта нагромождённость? Фальшива радостная гамма светлых тонов и спальня Нины голубенькая модерн, не соответственная её смерти. Не жесты, а ритмические движения, не шаги, а па, исполнение кукольно-безжизненное, нарочитое, нет мрака души Арбенина, не леденит Неизвестный и на ультра-современном балу даже не заметна потеря браслета. Мейерхольд претенциозно нагромождает трюки и завершает их в финале безвкусным спуском траурного флёра с розовым венком и проходом маски мертвеца. Вот с какой пустотой пришёл к революции императорский театр!

Но и каков же шарлатан Мейерхольд! Обласканец директора императорских театров, казённый клеврет с синекурой в Александринке,— в эти революционные дни вдруг совершил опередительное изворотливое па — и в прошлое воскресенье на митинге искусств яростно напал на «Мир искусства» уже с революционных позиций: что они узурпаторы, хотят захватным путём стать вершителями судеб русского искусства, примазаться к новому ведомству и с вожделением ждут освободившихся роскошных казённых квартир! И с такой дерзостью и быстротой Мейерхольд совершил своё нападение, что большинство артистов, сидевшее на митинге, зашумело и зааплодировало ему против «узурпаторов» — и Бенуа не решился отвечать. И ещё Люба Гуревич подхлестнула в газетных статьях: что нам прецеденты мировой истории, если мы творим новую жизнь? (Мысль вообще-то верная.) Художники привыкли творить каждый в своём непроветриваемом углу, а пришла пора включаться в широкую народную жизнь! (Тоже не без верности.)

И сегодня в квартире на Сергиевской как раз побывал Бенуа, растерянный и смятый. Он уронил себя в глубокое кресло:

— Да наверно и так. Мы не успеваем за историческим мигом. Русскому богатырю, так долго сидевшему сиднем, мы должны учиться говорить правду просто и сильно — но не вязать и не мешать ему додумать свою думу. А мы, русское искусство, все немного калеки. Мы попорчены чудовищным периодом царизма. Не всем нам уже выпрямиться в рост. У нас нет простоты национального чувства. Но если даже в сумерках царизма — такие пышные цвели таланты, то что же вырастет теперь, на заре!..

Да, какие-то сильные решения должен был принять штаб искусства на Сергиевской! Теперь, когда как будто укладывался политический кризис, но так нервно пульсировал шар Искусства,— их три пера должны были проявить себя с новой силой. И муж — всё доделывал пьесу о декабристах, а друг — стал чаще посылать в газеты новые статьи. В том и величие совершившегося, что это — единый всероссийский порыв. Теперь — надо работать со сверхчеловеческой энергией.

Ушёл Бенуа — и вскоре раздался очень резкий дверной звонок. Так и ёкнуло сердце, не обмануло: да это друг наш Керенский! душа Керенский! — не предупредивши телефоном — влетел ракетой — сияющий, впопыхах — автомобиль ждёт на улице, но, проезжая мимо, не мог отказать себе запорхнуть на пятнадцать минут!

Неудержимо поцеловались с хозяйкой, по привычке политического единомыслия. Пожал руку мужу и другу. И разбросив руки как крылья подстреленной птицы, свалился в кресло, где только что сидел Бенуа.

Хозяйка, всё такая же несгибно прямая, но с потеплевшими глазами, села через круглый низкий столик от него и смотрела с тревогой. С его узкого блядно-белого лица и никогда не сходили следы нездоровья — и сейчас это не восполнялось энтузиазмом на подвижном трагичном лице Пьеро. Даже бледная зелень виделась в коже обнажённых щёк.

— Алексан Фёдыч, дорогой, ну что? ну что? Ждём от вас, как всегда, новостей.

— А я, как всегда,— додохнýл он,— жду от вас успокоенья душе!

— Что вы делали в Финляндии? Да когда же вы успели вернуться?

— Что делается в вашем министерстве?

— Как ведут себя цензовики в правительстве? Подло?

— Поздравляем с отменой смертной казни!

— Правда ли, что уже совсем готово равноправие евреев?

— О господа! Готово! Этот указ — наша гордость! Ах, если бы я успевал вместить в себя всё, что я успеваю сделать и сказать! Но это происходит почти раньше меня и почти помимо меня! Нигде, кроме вашего чудесного уголка, я не успеваю вздохнуть и...

Он совсем затих, бессильной дугою. Его верхняя губа ребячески оттопыривалась в жалобе.

— Что будете пить?

— Всё равно, что подадите,— весь отдыхал он.— Я только на пятнадцать минут. Гонят дела! Сегодня вернулся из Финляндии — сегодня же выезжаю в Ставку.

— В Ставку?? Да зачем же? Да неужели и э т о г о не могут без вас? Алексан-н Фёдыч!?

— Не могут. Увы, ничего они не могут.

Друг спросил, когда будут похороны жертв революции, но Керенский то ли забылся на миг, то ли отдался нирване, не в состоянии был ответить,— но веки его не были полностью смежены, чуть покачивали, показывая, что он слышит, что он слушает настойчивые убеждения склонившегося к нему друга:

— Мы надеемся, вы не допустите, чтоб эта церемония потеряла хоть гран торжественности. То, что мы пережили с 1825 по 1917, настолько ужасно, а с 27 февраля по 2 марта настолько чудесно, что обыденные похороны не могли бы удовлетворить народного чувства! И не забудьте: это будут первые на Руси похороны без попов. И мы хороним как будто не только этих, но и всех, отдавших жизнь прежде. Нам надо предаться этой скорби, чтобы потом ещё полней отдаться радости. Они выпили за нас чашу мученичества, чтобы нам открыть чашу радости. Ставьте им памятники, создавайте легенды!

Так, так. Но — что в Финляндии?

Керенский глубоко, облегчённо вздохнул, глаза его раскрылись полностью и он ответил наслаждённо:

— В Финляндию я ездил поддержать узы дружбы наших наций. Приветствовать их свободу. Толпы, толпы... Речи... Тюльпаны к статуе Рунеберга. Целовался с главой правительства... Ну, и вообще мне там приятно, ведь они меня вылечили... Ну, народный дом, переполненный... Потом — корабли, беседовал с командами... О, как я безмерно устал!..

Едва с балтийских кораблей, так измучен — и уже ехал в Ставку! — поэтесса не могла чего-то здесь охватить. Но она понимала, что Керенского ведёт художественное вдохновение. Его сияющую фигуру она благословляла с первого дня Революции.

— Боялся, что из-за этой поездки пропущу, не встречу Бабушку. Но она опять задержалась в пути. Не дождусь, когда буду её всюду возить и выступать вместе. Надо поддержать связи с эсерами, а то против меня с той стороны копают. Ещё Чернов приедет... Куда не успеваю, посылаю Зензинова...

Число мест и число дел превосходило человеческие возможности.

— В министерстве? — не забыл и других вопросов Керенский, после глотков ледяного сока.— С вялой нежностью: — Ну что ж, освободил Горемыкина и Голицына...

— Не опасно?

— Да нет, старики никудышние. Очень хлопотала Сухомлинова — ей отказал. И Макарова — ни за что не отпущу, он мне ответит! Вот вернусь — буду старших охранников хоть сам допрашивать.

— А царь — останется под арестом?

— Да какой это арест! — отфыркнул Керенский длинными губами, они у него и беспощадно умели складываться.— Узникам дают общаться друг с другом, какое ж тогда следствие? Вот на днях заберу охрану в министерство юстиции, тогда разделю царя и царицу, чтоб они совсем не виделись, как полагается,— вот тогда мы кое-что узнаем! — Оживился. Но ненависти не было в его голосе.— Тогда, может быть, и выследим «дело Царя». Дело Царя!.. Да я должен увидеть их сам. Поеду вот в Царское к ним, нагряну!

Чего не хватило во Французской революции: не явился Робеспьер к Людовику сам!

— Чем более революционным будет правительство в методе своих действий,— внушал друг,— тем большую устойчивость оно приобретёт.

— В такой буре — пойдите, сохраните устойчивость! — горько отозвался Керенский, всё ещё бледный.— Послал судебным палатам приказ: кому это удастся, пока по возможности не освобождать уголовников. Ведь что делается: в тюрьмах посжигали дела, теперь никого не знают, у кого когда конец срока, все говорят — на днях. Теперь всё равно неизбежно давать большую общеуголовную амнистию: кому тюрьма — всех освободить, каторжные работы — снять половину. Скоро дадим амнистию, какой не бывало ни при одном царе!

— Но отчего, отчего ваши министры все такие нежные? — с волевым переливом спросила неуклонная поэтесса.— Почему среди министров, кроме вас, попросту говоря — нет мужчин?

Керенский перебрал длинно-волнистыми губами:

— Не говорите, друг мой. Я сам среди них — просто изнываю. Да! — вспомнил, и ещё на ступень оживился, и обратился к поэту-мужу: — Зачем я приехал? Я же приехал заказать вам популярную брошюру о декабристах — ведь вы же дышите ими, вам легко. Напишите скорей! И напоминайте, и выявите, что декабристы были — офицеры! Это сейчас очень пригодится, это может смягчить трения в войсках. А Сытин закатит тираж тысяч сто!

Муж воодушевился, друг во внимательных очках заинтересовался,— но хозяйка продолжала свой важный допрос:

— А как министры восприняли последний манифест Совета?

— Никак! — возмущался Керенский.— Разве рыбы могут что-нибудь воспринять, не воспринять?

— Но я нахожу... но мы тут находим, что... Манифест — ничего. Конечно, язык эсдечный и есть подозрительные места. Но он возглашает как бы мир без победы? Это красиво. И при этом не зачёркивает войну как субстанцию, как мы её понимаем, символисты: не в грубо прямолинейном смысле всеобщего истребления, но как жертвенное крещение, экстатический подъём, очистительную жертву вселенского костра, в котором и выявляется Мировая Красота. А вы — это понимаете? разделяете?

— Ах, ах! — страдальчески обжал Керенский локтесогнутыми руками свою огурцовую голову.— Эти идиоты просто предают западные демократии! Мне стыдно будет смотреть в глаза французским социалистам, которых я так заверял в нашей верности!

Он оглянул их троих — и испугался их торжественных, загадочных, философских лиц. И в испуге — вскричал, чтоб эти исторические сфинксы услышали! И — вспрыгнул из кресла, и забегал по гостиной, вцепляясь в свой короткий бобрик:

— Исполнительный Комитет — это кучка фанатиков, а вовсе не Россия! Мне нечего делать с этим Исполнительным Комитетом! И с этим правительством размазнéй мне тоже нечего делать! А между тем, не пришлось бы правительству уйти под давлением сепаратного мира, как нажимают тупицы Совета! И что будет с Россией?

И — упал-наклонился к шкафу, как к скале, на его ребро, провисая спиною в глухом френче:

— А вот ещё приедет скоро сумасшедший Ленин — что будет тогда? Я для него — шовинист! А? А??

## 635

В комнате Исполнительного Комитета за все дни так и не прибили вешалки — и шубы, пальто наваливались на диване, на скамье в углу, и там всегда кто-то возился, разыскивая своё. А пустым шкафом задвигали, чтоб не было прямого ходу, дверь в соседнюю комнату солдатской Исполнительной комиссии, в неё тоже уже навыбирали несколько десятков человек. А председатель её поручик Станкевич был и там, и тут.

А сколько состояло членов в Исполкоме — наверно и Чхеидзе не знал точно, они всё что-то добавлялись, то из эмиграции, может быть секретариат успевал знать, потому что каждому члену ИК был выдан красный билет для свободного прохода всюду в Таврическом. А вот Пешехонов и Мякотин, наиболее близкие Станкевичу по право-социалистической ориентации, войти а ИК не захотели, не признавая законности Советов. И седовласый патриарх народников Чайковский, хотя зачислен в ИК, а почти не бывал. И симпатии Станкевича склонились к группе так сказать «правых» здесь — Гвоздеву, Брамсону и Богданову. А ещё ж сюда доизбирали и солдатских депутатов — пяток писарей во главе с Завадьей и Бинасиком, присяжным поверенным. Да ещё была пара военных чиновников от Совета офицерских депутатов, не смевших на Исполкоме и слова сказать. А Капелинский от простого секретаря поднялся в заведующего секретариатом в трёх комнатах, а просто на протоколах сидели у него Перазич и Суриц, тоже не простые писаря, а какие-то партийные, давно кому-то знакомые.

Приезжающие фронтовые депутации иногда допытывались: как Исполком возник и из кого он состоит. Возникало неудобное положение, потому что непартийным людям трудно объяснить традицию революционно-партийных представительств, при которых примитивные общие выборы совсем не обязательны. Да многое было, о чём Исполком не хотел бы дать знать наружу. Он издавал директивным тоном громогласные на всю страну решения — но как они родились тут, оставалось его тайной. Он ни единый день не выполнил своей повестки, под напором внеочередного принимал решения второпях. Изображаемой уверенности в вождях демократии не было, мнения их менялись с большой быстротой, от уходов-приходов сильно менялся состав заседающих — и настойчивый член мог подловить нужный момент случайного большинства для нужного ему решения. А самым настойчивым оказывался Нахамкис, как второй стоячий председатель он перестаивал и подминал под себя, да ещё ж выходил к делегациям и полкам речи держать — а речи те, как вслушался Станкевич, были многословной пустотой и тупым повторением, что внутренний враг ещё не сломлен и эта подозрительная гуманность погубит революцию.

Но больше: что б там на Исполкоме ни было решено, а по стране разносился даже не его голос, а трубный голос «Известий», четверть миллиона порхающих газетных листов, и это был собственный голос Нахамкиса, захватившего «Известия» с тем же самоуправством и безответственностью. Подбор статей и тон их были безобразны, часто голос «Известий» не отличался от самого грубого голоса «Правды», а «Декларацией прав солдата», напечатанной вовсе не как проект, переколыхнули всю армию.

Да десятки членов и не членов вообще самовольно действовали от имени ИК: на бланках с его печатью рассылали разрешения на грабёж имений, как Александрович, или с мандатами Совета и не считаясь с его постановлениями разъезжали по провинции и фронту. А Скобелев требовал предоставить Совету Зимний дворец.

Таков был тот Исполнительный Комитет, в который Станкевич сознательно пришёл и осваивался тут, видя в нём опору для решений и действий. Но — здесь ли она была?

Во глубине России, по новой моде, возникали такие же неведомые, не сосчитанные и неизвестно как выбранные советы, советы — и слали запросы петроградскому Совету, какой же тактики придерживаться? как относиться к Временному правительству? как...? (А минский Совет слал телеграмму: отвяжитесь, не вмешивайтесь в наши дела!) Петроградский Исполком и хотел бы руководить всеми этими местными советами, да не успевал справиться. И всё чаще говорили, что надо бы ещё в марте собрать Всероссийское совещание Советов.

Станкевич всегда был натурой не только деятельной, но направляющей. Он не мог быть пассивным свидетелем хаоса. Высшая задача была: из какого-то опорного центра опередить разлив анархии, не дать ей развалить армию и Россию! И когда он сидел в бурлении двухтысячного Совета — ему казалось: нет, тут толку не будет, действовать только из ИК. Но с презрением наблюдая бестолковое прозябание ИК, его страхи перед конфликтами с рабочими и с таинственным фронтом, как бы он ветром не сдул их тут чертовщинную слаженность, и как ёжились перед распахнутыми лицами фронтовиков; и слушая жалкий жаргон здешних циммервальдистских формул и как они запутались с этой империалистической войной, что о ней думать, и скорей же надо её кончать, и нельзя же стать лёгкой добычей Гогенцоллернов,— Станкевич откидывался: нет! даже с громоздким солдатским сборищем можно кашу сварить надёжнее: оно благоразумней своего Исполкома, потому что солдаты, по крайней мере, стихийные патриоты, их безграмотная толпа настроена здоровей и дружелюбней.

А тут — участились фронтовые делегации. И перенимая общую самовольщину Исполкома — Станкевич, на то не уполномоченный, стал к ним выходить и решать армейские вопросы. Едва ли не каждая фронтовая часть уже слала или хотела прислать свою депутацию в Петроград: узнать, понять, что тут делается — как может существовать две власти (иногда спрашивали о судьбе царя). Но — высказаться и самим. И высказывания их были самые не циммервальдские: готовы до последних сил бороться! ни пяди не уступим врагу! армия не потерпит мира с Германией! мы не хотим, чтобы жертвы прошлых лет окончились ничем, и это позор для России! всё для войны! Мы 24 часа под снегом, дождём и ветром — а как будет работать тыл? и он должен идти на те же жертвы! Боимся только одного: что нам не дадут кончить победой! Мы под пулемётами врага не хотим купить своё личное спасение позором России! Неужели новая Россия заклеймит себя

изменой? И даже: не трогайте Армию, не мутите её вашими крайностями! Пусть тыл спасёт нас от провокаторов-агитаторов, а мы спасём его от немцев!

И эта обратная фронтовая волна, прикатившая в ответ на посланную туда волну разложения — несла надежду! С этими фронтовыми делегациями Станкевич освежался от затхлого воздуха Исполкома и снова узнавал себя (военных лет), свою армию и свою Россию. Может быть, эти делегации и не выражали истинно того, что медленно проарривалось сейчас в дремучих низах армии: делегации могли быть посланы инициативными, энергичными, достаточно просвещёнными группами. Но от этого они не переставали выражать возможную энергию армии. Эту обратную здоровую волну надо всеми силами поддержать! эту энергию возглавить и направить. Ещё армия здорова! — но нельзя терять этот короткий момент — надо выйти ей навстречу честной, открытой и нераздвоенной революционной властью!

А с первых дней революции появился обычай посылки во все места *комиссаров* — сперва от Думы в обезглавленные министерства, смятенные губернии, разъяснителями на фронты. Но если бессильная Дума так посылала, то не стократно ли успешней может послать Совет с его реальной властью? Посылать теперь не временных, но постоянных *военных комиссаров* Совета — состоять нашими советчиками и направителями при самом военном министре, при Ставке, при штабах фронтов, флотов, да пожалуй и всех четырнадцати армий? В момент, когда раскололась власть и на фронтах плохо понимают события,— такие мостики военных комиссаров всё соединят в жёсткую конструкцию: незамедлительно передать директивы, быстро решать все армейские вопросы, предупреждать ошибочные шаги командующих, но и руководить политической деятельностью в войсках и всей системой солдатских комитетов так, чтоб они не вели к развалу. Право же, это было здорово задумано!

И со своими офицерами-депутатами подготовив доклад, Станкевич вчера застиг Исполком врасплох и получил предварительное согласие, записали в протокол.

Так — наступит ли эта твёрдая конструкция? Можно ли её состроить нетвёрдыми руками? В Исполкоме в ту минуту, может, сложился случайный состав. А ведь это ещё надо провести и через правительство?

Сегодня в комнате Исполкома было меньше обычных заседающих, зато натаскано много знамён, венков и плакатов: как раз на сегодня назначались грандиозные похороны жертв революции на Марсовом поле, но в последний день отменили за неготовностью. А всё натасканное пока останется здесь, придавая заседаниям Исполкома торжественно-траурный вид: то рабочий, разрывающий цепи на фоне восходящего солнца, то погребальные венки.

И как раз в эту странную обстановку явился совсем неожиданный гость: министр финансов и миллионер, разодетый и даже благоуханный Терещенко. Заседание уже кончилось, но Станкевич остался посмотреть.

Это был первый министр, который явился поклониться Исполнительному Комитету! — Исполком всё же не рискнул бы вызвать министра. До того молодой человек — тридцати лет ему не было, не старше Станкевича, и до того с усложенной наружностью, без усов, без бороды, по-европейски подстрижен, костюм от лучшего портного, уголок носового платка из нагрудного кармана, крахмальный воротничок, бабочка, сияющая улыбка (а глуповатая),— а вокруг чёрно-красные ленты: «вы жертвою пали».

А из Екатерининского зала доносится марсельеза и вопли, принимают очередной гвардейский полк.

По чьей бестактности этот сахарозаводный наследник и принц киевских шантанов стал революционным министром? Уж после этого ничего более экстравагантного он не мог выкинуть, ни даже вот явясь в Исполнительный Комитет. А явился — кажется только познакомиться и показать свою обворожительность? Обходил, любезнейше жал руки членам, рассыпался в комплиментах, давал понять, что он тоже читал отцов социализма. Как болтовню наполняют светскими мелочами, так он рассказывал тут, что уже перестраивает государственный бюджет на демократических началах. И о чём только просил: прислать к нему в министерство нескольких советских, помогать в этой работе.

Власть! — наша революция давала задуматься о ней. Ведь как будто революция и производится, чтобы свергнуть одну власть и утвердить другую. Но — странное впечатление вызывал вот такой министр, да и коллеги его: как будто они робели перед властью, не понимали её и себя в ней.

Но так же диковаты были и эти революционные пиджаки, которые вот раскланивались с благоуханным министром. Сами-то они брать власть не хотели никак, а «пусть либерализм обанкротится перед лицом широких масс». (И: чёрт его знает, чем ещё кончится эта революция, и эта война, и эти двенадцать миллионов под ружьём, что с ними делать?) Сам Исполнительный Комитет брать власти не хотел ни за что — но связал и правительство так, чтоб оно не имело власти.

Но непонятно осталось: зачем же Терещенко приходил?

А вот что: ведь ничего не сказал о 10 миллионах рублей Совету!

И как-то опешили от его ласковости, никто и не спросил.



## 636

### (армейские фрагменты)

* * *

В Особой армии в гвардейском стрелковом полку Его Величества солдаты отказались спороть с погонов царские вензеля. Генерал Гурко приказал: не принуждать солдат.

* * *

В Каменец-Подольске, где штаб Юго-Западного фронта, генерал Брусилов собрал в обширном Народном доме митинг из солдат и офицеров. Из его речи присутствующие узнали, что Брусилов никогда не любил династии, как ни украшал его бывший царь орденами и аксельбантами, купить его ласками было невозможно,— а всегда оставался верен народу. И что ему всегда претила надоедливая церемония отдания чести, он рад от неё отделаться.

* * *

Командир 22-го армейского корпуса генерал барон фон-Бринкен в момент принесения его корпусом присяги Временному правительству внезапно упал перед строем: умер от разрыва сердца.

* * *

Как теперь понимать отменённую присягу? Кое-где дошло до драки между частями присягавшими и неприсягавшими.

* * *

Батальон из резерва повели вечером работать на передовую линию. По дороге в темноте кто-то закричал: «А что нам идти башку подставлять, что мы, дурные?» И другой: «У всех слобода, а нам башку подставлять?» Офицеры всё же уговорили. Но когда прошли всю дорогу — и всю по грязи — солдаты окончательно отказались. И весь батальон отправили назад в резерв.

Ещё через ночь их водили уже в другое место, по сухой дороге. С перекурами, с переговорами добрели к работам перед полуночью. Повозились малость — и через два часа пошабашили.

А ещё на следующий вечер сказали: «Там на рабочем месте гризь.» И не пошли.

* * *

И две роты 14-го Финляндского стрелкового полка отказались идти на работы, днём. Начальник дивизии генерал-лейтенант Селивачёв, небольшого роста, а с длинным лысым черепом, сам отправился в лес к этим двум построенным ротам, поздравил их с принятием присяги и предложил рассказать, как они её понимают. Вышел унтер-офицер и доложил: раньше они дрались за немцев и предателей родины, а теперь — за счастье свободной России. Генерал громко спросил, согласны ли роты. Ответили, что согласны. Тогда он объяснил им, что долг и повелевает драться при всех условиях. Обещали работать безропотно.

Ещё спросил: а слыхали ли они, что некоторые мутят слухами о выборе себе начальников? Так вот, он предлагает им выбрать вместо себя начальника дивизии, на что даёт им четверть часа. Отъехал с офицерами, через 15 минут вернулся: готово? В один голос ответили: «Только вас, господин генерал, ваше превосходительство!»

Тогда генерал объяснил, почему им трудно выбирать себе начальников, не зная ни жизни их, ни военных познаний.

* * *

Высокопоставленный генерал из штаба фронта поехал сам уговаривать полки, отказавшиеся занять окопы. Вдруг один солдат с безумным видом кинулся к нему, выхватил шашку из генеральских ножен, замахнул над генералом!!! — и воткнул в землю рядом. И в истерике закричал: «Клянёмся генералу, что поддержим порядок!»

* * *

На митингах требуют: убрать из офицеров, кто с немецкими фамилиями. И просто строгих. И — на кого покажут, скажут. Некоторые младшие офицеры, прежде в чём-либо оскорблённые, теперь удобно сводят счёты с обидчиками, старшими чином: одни — через подставных унтеров, другие сами произносят зажигательные речи.

На одном таком митинге слушал-слушал старый офицер и спросил: а как теперь будет с пенсией за беспорочную выслугу лет?

Оратор с трибуны показал ему кукиш под гогот солдат:

— Фигу тебе в нос, а не пенсию, прислужник старого режима!

* * *

Исполнительный Комитет Совета Солдатских депутатов 8-й армии (Каледина) составился из: двух врачей, одного военного чиновника, одного служащего Союза городов и лишь одного солдата. Переполошился затеей офицеров, чиновников и врачей создать в Черновицах свой отдельный союз; объявили «черносотенной затеей» и «контрреволюцией», «тёмным делом». И натравливали солдат на тот офицерский совет.

* * *

Ахтырский гусарский полк посылал в Петроград своего унтер-офицера «для осведомления». Тот вернулся и доложил своим:

— Совет солдатских депутатов состоит из солдат, никогда не бывших на фронте. Да ещё из

дезертиров — законных и незаконных. А в госпиталях там раненые требуют давать им не чёрный хлеб, а только белый.

* * *

В Петрограде готовились к похоронам «жертв революции» — то есть павших для её торжества. Не хватало трупов. Из лазарета гвардейского Московского батальона собрались везти убитого капитана Фергена... Полковая дама узнала, возмутилась, вывезла его труп из лазарета и похоронила на Успенском военном кладбище.

* * *

В Кронштадте над кораблями и домами — вперемежку андреевские и красные флаги. Строевые занятия как будто возобновляются, но сильно не хватает офицеров, зато много комитетов и комиссий. Приезжали от Петросовета Скобелев и Муранов, было революционное вече на Якорной площади. Кронштадт «согласен поддержать СРД и Временное правительство *постольку, поскольку*». С 15 марта выходит большевицкий «Голос Правды» в тысячах экземпляров. На гарнизонном собрании в манеже большевики выступают один за другим: «Для рабочего класса и крестьянства революция только начинается!» Военные оркестры играют интернационал.

* * *

13 марта 710 полк ополченской 178 дивизии близ г. Рогачёва оказал сопротивление при посадке в эшелон, ехать на фронт. Только после прибытия начальника дивизии офицерам удалось построить солдат и посадить в вагоны.

Два эшелона 445 пехотного полка отказались ехать на позицию: «Воевать хотим, а на позицию не желаем, дайте отдых месяца два!»

* * *

16 марта в Твери генерал Чеховской, которого Совет солдатских депутатов избрал бригадным генералом, явился в канцелярию запасного пехотного полка за городом и вёл беседу с офицерами. Вошли трое вооружённых солдат:

— Генерал! Нам приказано вас арестовать! Следуйте за нами на гауптвахту.

Никакой бумаги не было предъявлено, но генерал беспрекословно подчинился. Ни один присутствующий офицер тоже не возразил ни словом.

Конвой из 12 солдат повёл его, впереди отдельно. Со стороны другие солдаты и штатские стали бросать в генерала камнями. Одним из них раненный в голову, генерал Чеховской упал. На него набросились и добили камнями — без помех от конвоя и даже при участии его.

* * *

728 пехотный полк пожелал видеть своего начальника дивизии в 2 часа ночи. Затем передумал и согласился на следующий день. К его встрече полк был выстроен в полном составе, с офицерами. Уполномоченные от солдат, под шумные восклицания всего полка, заявили, что просят разрешения послать четырёх депутатов от полка в Петроградский Совет, чтоб узнать, что там у них делается, и сделать им свои заявления.

Уже было соответствующее разрешение по корпусу, и начальник дивизии согласился.

Затем полковые уполномоченные выразили, что их дивизия уже месяц стоит на позиции, а другие дивизии корпуса давно отдыхают в Двинске,— и пусть теперь те дивизии поработают в окопах, а без этого и наша на позицию не пойдёт. И ещё они заявляют, что те части в Петрограде и городах, которые ходят по улицам и вывешивают флаги «война до полной победы!»,— должны быть поставлены в окопы и испытать на себе, как победа достигается. А нам, послужившим на войне, стать вместо их.

Начальник дивизии генерал-майор Попов четыре часа кряду уговаривал, разъяснял, убеждал (как уже и, с 1 марта, каждодневно беседовал во всех частях),— ничего не добился. Солдаты настаивали, чтобы спешно было доложено командиру корпуса и командующему армией, и дать им ответ.

С каждым днём недоразумения всё чаще — по пустякам, а по характеру грозные. Солдаты озлоблены. Уговорят по одному случаю — вспыхивает по другому.

* * *

В 26-м корпусе из дивизионной инженерной роты пришла анонимка командиру корпуса генералу Миллеру — донос на дивизионного инженера, что он не позволяет роте читать газеты, передаёт не все распоряжения Временного правительства и вообще является приверженцем старого режима, а поэтому рота настаивает убрать его и заявляет, что не будет ему подчиняться.

Начальник штаба корпуса поехал в ту инженерную роту. Дивизионный инженер, высокий худой старик, оправдывался: «А зачем им газеты? Что они из тех газет поймут, идиоты? Россия — некультурная страна, и вся революция в ней — дурацкая затея от начала до конца.»

Уволили его тотчас, рота кричала «ура». Но за дивизионным инженером и старший офицер роты подал рапорт об уходе, по мнимой болезни. А рота стала требовать сместить и прапорщика, и фельдфебеля.

* * *

А в одной дивизии 18-го корпуса взбунтовался перевязочный отряд: потребовал, чтоб над ним не было никакого воинского начальника, а медицинский персонал сам бы самоуправлялся.

* * *

В 144 Каширском полку, известном нам по Хохенштейну, где лёг он наполовину, задерживая немцев, и командир был убит при знамени, а другие попали в плен,— в этом новом полку со старым названием теперь арестовали командира полка и полкового адъютанта. Через день, однако, освободили.



* * *

В одном полку на Западном фронте арестовали сразу 17 офицеров, начиная с полкового командира и до прапорщика. Обвинили всех в измене: какой-то денщик слышал разговор офицеров: «Такой кабак с правительством — хоть бери чемодан и иди к немцам». К счастью, приехавший депутат Государственной Думы Щепкин убедил солдат отпустить арестованных. Но начальник дивизии вынужден был взамен этих офицеров дать в полк других.

* * *

В гвардейском Московском полку на фронте третья рота самочинно построилась без оружия, и фельдфебель подпрапорщик Кузнечихин доложил командиру роты штабс-капитану Климовичу 3-му, что рота просит его выйти к ней. Он вышел к ней, поздоровался. Но вместо ответа они по знаку фельдфебеля объявили, что не желают, чтоб он командовал ротой дальше. Климович отправился к командиру батальона с докладом о происшедшем — тем временем рота, смяв ряды, бросилась к землянке, где помещался подпоручик Костылев, объявила ему, что выбрала своим командиром, и стала качать при криках. Климовичу осталось отправиться в обоз 2-го разряда.

* * *

Скомандовали солдатам, что будет полковой парад. Куда его ещё заведут? Не поверили — и зарядили боевые патроны.

В одном полку требуют 8-часового окопного дня. В атаку не пойдут, так как *этой* земли им не дадут.

В другом: «Хотим домой! Хотим попользоваться свободушкой и землицей! Зачем нам теперя калечиться? Шибко ужасно умирать при таких открытых дверях в России!» Потом уступили: ладно, стоять в обороне будем, но в наступление не пойдём.

Через лавочника солдатской лавки один полк передал другому угрозу: в наступление не ходить, откроют фланговый огонь.

Восемь разведчиков бросили винтовки и перебежали к противнику. («Теперь слобода, не накажут.»)

В германских листовках: Германия сочувствует государственному перевороту в России, отказывается от вмешательства в её внутренние дела и от наступления на русском фронте. «Англия желает воевать до бесконечности и чтобы русский солдат служил ей пушечным мясом. Свергните постыдное иго англичан!»

А Юго-Западное интендантство как раз в эти недели ухудшило выдачи: ржавые селёдки, худая солонина, чечевица. Громче кричали на митингах: офицерьё это нарочно делает, чтоб нас опять вогнать в нижних чинов!

* * *

Уже и такое поползло: офицеров бы кончить, денежные ящики разбить, деньги поделить поровну — да и по домам.

Поделить ротные деньги? Солдаты из хозяйственных мужиков оспаривают: не делить, ещё всей роте нужда будет.

Солдаты в землянках целыми днями режутся в карты. Командующий 4-й армией генерал Рогоза запретил и генералам и офицерам играть в карты до конца войны — чтобы только солдаты не играли.

Так всё равно будут.

* * *

В 109 пехотной дивизии нашлись такие развитые-грамотные, что в резолюции написали: установить солдатский контроль над операционными частями штабов. Установить в стране единый прогрессивный подоходный налог, как требует солдатская масса. Конфисковать помещичьи, монастырские и удельные земли. И — пора приступать к мирным переговорам.

* * *

В Брянске вспыхнул бунт гарнизона. При командующем 10-й армией генерал для поручений Марков поспешил в кипение совета военных депутатов, бурно выступил там, добился постановления: освободить 20 арестованных офицеров и восстановить дисциплину. Но после полуночи несколько вооружённых рот двинулись на вокзал расправиться с Марковым и освобождёнными. Толпа бесновалась, положение отчаянное. Марков, перекрикивая гул:

— Да если был бы тут один из моих железных стрелков, он бы вам сказал, кто такой генерал Марков.

Из толпы голос:

— Я — из 13-го полка.

Марков, расталкивая солдат, к нему и за ворот шинели:

— Ты? Ну так стреляй. Пощадила пуля в боях — пусть покончит мой стрелок.

Толпа взмыла восторгом. И под «ура» отпустила его с освобождёнными в Минск.

* * *

Покорнейше просим в нашем 13-м тяжёлом артиллерийском дивизионе полковник Билиев, родственник бывшего военного министра Билнева, убрать, который распространяет слухи, что не верьте свободе эти люди сегодня красный флаг, а завтра чёрный и зелёный. Депутаты являлись, но как запуганные старым режимом боятся говорить правду. Ещё командир 3-й батареи капитан Ванчехазе, сын Арестованного генерала Ванчехи, разгневанный выстроил всю батарею и говорит, что я Вас подведу под самые пули, что некого не останется, наказывал солдат безовсякой вины, которое могут подтвердит вся батарея, что он изменник Государства, и покорнейше просим убрать нашего внутреннего врага Ванчехазу за старое истязание.

По желаниям, выраженным из Петрограда, генерал Алексеев понял, что Гучкову сегодня не надо устраивать никакой торжественной встречи, а министрам завтра — напротив, надо. И он отдал распоряжение собрать завтра на вокзал штабных офицеров и публику, а сегодня поехал к полудню встречать Гучкова лишь с Лукомским и Клембовским.

Это и лучше, что Гучков приезжал прежде остальных министров, отдельно. Наперёд выступал не политический разговор, очень неприятный, но профессиональный военный.

На перрон всё же стянулось немного публики, кто узнал. Поезд остановился — из гучковского вагона вышло двое юнкеров-павлонов и стали часовыми у входа, отлично держась. В окнах виднелись полковники, сопровождавшие министра.

Алексеев вошёл в вагон, волнуясь: ещё живо было в памяти, как Гучков едва не погубил его прошлой осенью перед императором своими необузданными письмами, так что на некоторое время даже само звучание его фамилии становилось генералу неприятно. Не виделись больше года — и вот он приехал в Ставку не скромным краснокрестным представителем — а в полной власти. Да он и раньше казался Алексееву человеком необыкновенным — своею всероссийской славой, отвагой, своею противотронной дерзостью. Поэтому и сейчас не было ревнивого чувства, что это — штатский выскочка, занявший пост военного министра. Алексеев с тревогой ожидал, как на него Гучков посмотрит и что первое скажет.

Гучков сидел над бумагами в салоне-канцелярии, образовавшемся от разгородки двух купе. В полувоенном френче, а вид усталый. Поднялся без всякой военной подтяжки.

Алексеев отрапортовал с рукой при козырьке. Пожали руки запросто. Немного полегчало: вид у Гучкова был не для разноса.

Сказали по несколько слов. Несколько слов после таких событий! Всё — ничтожно, невыразимо, неперечислимо, а сколько уже отпечатано на текущих лентах аппаратов...

А поздравление с занятием министерского поста — как-то не выговорилось.

Но и, встречно, никакого сочувствия уязвленному Советом положению Алексеева Гучков не высказал. И унизительно было бы жаловаться ему на Совет? А может быть, это и значило, что не надо обращать внимания на газетные статьи?

Гучков представил несколько своих чинов. И — корреспондента «Таймс», зачем-то сопровождавшего его вместо русского.

Фельдфебель павлонов выстроил свою чёткую четвёрку у выхода — и это был весь караул. Проминаясь, Гучков вышел на перрон, пожал руки Лукомскому, Клембовскому, не добавил ничего — и все пошли, сели в моторы.

Этот путь по Днепровскому проспекту за последние недели с разным настроением проезжал Алексеев — то в темноте, то днём, встречая, провожая царя, и всегда с душевным грузом. А кроме этих немногих проездок, он все три недели просидел и пролежал в своём кабинете.

В офицерском собрании был сервирован торжественный завтрак, и все старшие чины штаба ожидали (только оставшимся великим князьям было советано не приходить). Гучков, здороваясь со всеми, иногда и улыбался, а был рассеян. Разговор за завтраком свёлся к пустякам, вполне как бывало за царским столом.

После завтрака закрылись вдвоём в небольшой «государевой» комнате, Гучков сел в единственное здесь кресло, в котором неделю назад томился, не помещался долгоскладный Николай Николаевич. А Алексеев — сбоку, разложив на зелёном сукне стола пачку заготовленных бумаг.

И пять карт фронтов висели на стойках позади их спин, но не пригодились, не дошло до направлений и стрелок.

Алексеев начинал переговоры с правительством — неравным партнёром: и от передвижки всех событий и властей, и от улюлюкающей травли Совета, и от ослабления армии, и ещё не утверждённый в своём посту,— начинал гораздо неувереннее, чем бывало раньше рядом с расположенным, всегда доверчивым императором.

Раньше военный министр совсем и никак не командовал Ставкой. А сейчас — не могло возникнуть и мысли о неподчинении Ставки министру.

Однако в последние дни и даже часы, проведя важные консультации с главнокомандующими, обменявшись подробными телеграммами, Алексеев пришёл к неожиданному выводу, который укреплял его по отношению к правительству.

Консультации были: на что способны, что могут планировать наши фронты в ближайшие недели и месяцы? И, кроме Кавказского, из четырёх спрошенных главнокомандующих один только Рузский — три дня назад просивший четыре корпуса в подкрепление, имеющий двукратное численное превосходство над противником, а желающий трёхкратного,— только он ответил пессимистически: вековые устои сброшены, новые не созданы, отношения налаживаются с трудом, в запасных частях крайнее расстройство, новых комплектований нет и не будет, дезертирства даже подсчитать нельзя, в одном 171 запасном полку не досчитывают 4 тысяч человек,— для нас возможна только оборона! — на подготовку наступления нет сил. Перед союзниками же следует объяснять поздней весной и распутицей.



И Алексеев, тоже мрачно видя армейское положение, был с тем согласен. Да от Рузского он и не хотел бы наступления, трудно добыть линию лучше, чем Двина.

Но тут же вослед, с Западного фронта, где временно главнокомандовал старин генерал Смирнов (с которым Алексеев как раз хорошо действовал в августе 1915 при окончательной остановке немцев),— пришёл бодрый ответ совершенно противоположного смысла. Он уверенно писал, что если наше политическое расстройство отнимет у нас способность наступать — то тем более оно отнимет у нас способность обороняться: на оборону надо никак не меньше сил и средств, но их придётся рассредоточить на фронте в 1650 вёрст, не зная, где немцы нанесут удар, а при наступлении мы сами концентрируем их в назначенном месте, и при нашем нынешнем недостатке притекающего снаряжения и пополнений — именно это и легче. Лучше наступать, даже без полной уверенности в успехе, чем обречь себя затыкать угрожаемые места. При неудачном наступлении мы в худшем случае останемся на том же месте, а при неудачной обороне мы будем отступать хуже, чем в 1915 году,— по чисто-русской земле и ближе к жизненным центрам страны. Напротив: чем скорей мы втянем войска в боевую работу, тем скорей они отвлекутся от политических увлечений. Да обязаны же мы и помогать союзникам, они вправе ждать нашей помощи.

Михаил Васильич был поражён не самими этими простыми доводами, а — насколько же его в обмороки отшибло за эти недели, что подчинённый должен ему объяснять прекрасно ему самому известные принципы стратегии. Так он был травмирован революцией, что потерял ясность взгляда. Да больше всего приходилось общаться с Рузским, а Рузский-то и нагонял паники. Да и правда же Балтийский флот развалился,— и едва освободятся ото льда Финский и Рижский заливы — какой может быть удар по нашему правому флангу?

Но и тем более, значит, чем этого ждать — лучше самим избрать наступление в центре.

А если Гурко примет Западный фронт — то, зная его: он ещё резче будет требовать того, что сейчас Смирнов.

А ответил Брусилов — и пришлось Алексееву покраснеть ещё больше. Когда две недели назад решался вопрос об устоянии армии против революционной заразы и ещё можно было всё спасти — именно Брусилов (с Рузским) мешал собраться совещанию главнокомандующих. А теперь он собрал своих четырёх командующих армиями, и их военный совет решил даже единогласно: армии желают и могут наступать! Наступление вполне возможно! Революционное движение не отразилось пока на нравственной упругости и духе вверенного мне фронта, тлетворное влияние пропаганды скажется лишь при долгом бездействии. Мы перешли к новому порядку в полном спокойствии, вопрос внутренней политики для армии должен считаться законченным, и никаких больше партийных влияний. Пассивный образ действий убьёт настроение, подорвёт веру в высших начальников, войска будут возмущены их бездействием и исчезнет дисциплина. Так же уверен Брусилов, что и военный министр преувеличивает падение нравственного уровня запасных частей: вливаясь в боевые части, они тотчас укрепятся. А первая даже небольшая победа вызовет воодушевление всей России, патриотизм поднимется и напрягутся все силы государства. Да победа нужна нам и для того, чтобы не подорвать веру союзников в нас, иначе они поставят нас в изолированное положение и лишат денежных кредитов. Да победа нужна нам по самым общим соображениям: 1917 — несомненно последний год войны, и как же можем мы закончить бесславно? Конечно, риск есть,— но по ограниченности ресурсов мы вынуждены сузить фронт прорыва и масштаб наступления. И просит Брусилов не предпринимать никаких шагов в смысле отказа перед союзниками от выполнения наших обязательств. Наступление наше возможно начать в первых числах мая.

Да так же недавно думал и Алексеев! Именно так он и писал 9 марта французам: наше наступление начнётся в первых числах мая. Но потом подрезал его первый же Гучков, что правительство ничего не значит без Совета, ничем не распоряжается, не будет ни пополнений, ни снаряжения. И затменной головой Алексеев написал союзникам 13 марта, что наступление не может начаться раньше июня-июля. И в какое же глупое положение, оказывается, он поставил не только себя, но всю армию и всю Россию?

И даже, вот, нерешительный Сахаров, ещё перепуганный всеми румынскими расслаблениями,— и тот ответил, что склоняется к небольшим активным ударам!

И: все главнокомандующие подтверждали, что гурковская зимняя переформировка дивизий была успешна, новые дивизии не уступают старым и увеличилась наша мобильность.

И всё это сложилось у Алексеева — буквально за несколько часов до приезда военного министра. И когда теперь они с Гучковым уселись в государевой комнате для разговора — Алексеев, очнувшийся в своём прежнем убеждении, мог уверенно докладывать. Что морально неустойчивые войска лучше применимы в наступлении, нежели в обороне. А патронов, снарядов и укомплектований для обороны требуется никак не меньше, чем для наступления. По нынешнему нравственному настроению войск и по глубине театра

действий наше отступление теперь было бы губительно, грозней, чем в Пятнадцатом году. Мы не смеем обречь себя на оборону или отложить наступление до июня-июля. А от первых успехов будет всеобщее воодушевление, и — надеется Алексеев — исправится нынешнее недобросовестное поведение рабочих Петроградского района.

А Гучков, по мере того как всё это слышал,— поднимался плечами, выравнивал спину, поблескивал пенсне с растущим удовольствием, и возвращался к нему прежний задористый вскид головы. И даже охотно принял брусиловский упрёк, что военный министр преувеличивает нравственное падение запасных частей. И легко согласился с бурчанием Алексеева — не давать просимых четырёх корпусов Рузскому. Им-то двоим, здесь, было хорошо понятно, что все те шумные заявления их об угрозе германского наступления на Петроград были дуты, лишь для вразумления столицы и подтяжки дисциплины в ней.

Но теперь, укрепясь против министра, Алексеев не мог не спросить: а как же — сам министр? само Временное правительство, если, писал Гучков, оно располагает властью лишь в пределах, допускаемых Советом?

Однако, вот, повеселевший Гучков ответил совсем другое: то было написано в мрачную минуту. Обстоятельства нестабильны, да, но не так страшен чёрт. Постепенно улаживается.

Можно было это понять и так, что правительство защитит Алексеева от травли Совета?.. Гучков не сказал прямо. И генерал постеснялся спросить прямо. А так:

— Значит, Ставка в своих действиях может реально учитывать только директивы правительства?

Да, конечно.

И есть надежда, что правительство обеспечит высылку маршевых рот из петроградского гарнизона?

Да. Да.

Пободревший Гучков объяснял имеющее ныне быть соотношение между ними. Английская система: за Ставкой — только техническое выполнение чисто-военных задач, а общие директивы — от Временного правительства. Некоторые прежние высшие функции Ставки теперь перейдут к военному министерству. Генерал Алексеев остается в качестве Верховного Главнокомандующего. Лукомского придётся убрать, да и Клембовского оставить только на переходный период.

Не в силах был Алексеев тут спорить, да и не сжился он ни с тем ни с другим. Да не всё ли равно, с кем работать, если делаешь всё сам? По своей постоянной форме работы он и не нуждался ни в ком.

А начальником штаба Верховного предполагается назначить генерала Деникина, отличный боевой генерал, Гучков надеется — Михаил Васильич не будет возражать?

В такой форме и так поздно спрашивали — что ж теперь спорить?.. (Отличный боевой генерал? — так и место бы ему на своём корпусе...)

Сахарова — в отставку, после его рыданий над падающим императором, заменим Лечицким.

Но Лечицкий уже отказался принять Западный фронт.

Ну а Румынский, свой, примет.

Да переставлять, переставлять — владело Гучковым неутолимое желание. Командующих армиями из четырнадцати хотел снять чуть ли не пятерых! да командиров корпусов — полтора десятка! да начальников дивизий десятка четыре! И верил, что от этого наступит бодрящее настроение среди воинов.

Сидел штатский хромуля — и рвался пройтись ураганом по командному составу. Как будто есть лучшее соответствие, чем когда человек привык к своему посту и к нему привыкли.

Для постоянной связи предполагается держать при Ставке представителей от военного министра.

Когда бывал такой представитель? Зачем?..

Но выбора не было. Разве Алексеев — условно оставляемый, как быть не назначенный, да при арестах ставочных офицеров, тень на всю Ставку, да яростно атакованный Советом и не защищённый правительством,— разве он был в позиции возражать против этих или даже удвоенных реформ? Он должен был проглатывать и своё унижение, и дикие постановления позорной поливановской комиссии, да ещё узнавая их готовыми из газет.

## 638

От того, что правительство разрешило Шингарёву готовить хлебную монополию — бремя его только увеличилось, а колебания не оставили. По всей логике дела, монополию надо было вводить. У прогрессивной русской интеллигенции всегда было убеждение, что государственное регулирование имеет преимущество перед частной инициативой, только в кадетских кругах высказывалось, что бюрократическое государство не сумеет регулировать рационально. Теперь же, когда на Руси возникла свободная государственность,—



теперь-то, кажется бы, регулирование и начать! Все воюющие страны так или иначе уже отказывались от свободы торговли. И перед всеми глазами — блистательный образец германского регулирования. Так почему ж отставать России?

Но Шингарёв сердцем ощущал нечто выше логики: хлеб взрастил землепашец, а государство клало руку: всё моё! И хотя это делалось для пользы всех этих же землепашцев, всей этой Руси соединённо — а было содрогновенное чувство роковой черты. Но только другу своей юности, взятому в заместители, да Фроне Андрей Иваныч об этом говорил — никому более в министерстве, ни тем более в правительстве: это был, конечно, реликт сознания, который надо отогнать.

Как отец семьи не может жить и спать спокойно, зная, что семье грозит голод,— так и Шингарёв теперь стал чуть не отцом всей России: за всякий голод в ней отвечал он.

Простой сельский врач, как ни рачительный о крестьянах,— думал ли он когда-нибудь, что станет главным вершителем судеб всей русской деревни? Что окажется тем главным человеком, который должен накормить всю Россию? Финансы, он видел теперь, была придуманная для него отрасль. А министр земледелия — он был, кажется, настоящий, уж по всей душе.

Да он рад был, да он горд был, что это так. И крикнуть хотелось: Милая! Потерпи! Ещё немного потерпи! Ещё немного поднатужься и помоги — вот сейчас! А мы Тебе скоро всё воздадим.

Но, Боже, какое бремя! — оно ощутимо гнуло и проваливало плечи, и со дня на день становилось всё тяжелей.

Тем временем сведения о проекте монополии попали в газеты и обсуждались там, министра предупреждали от возможных ошибок: спешное введение монополии может отразиться с плачевностью. Посетила Шингарёва и депутация от хлебных фирм. Эта настаивала, более того: в Германии хлеба недостаёт, а у нас много, и введение монополии у нас — бессмыслица. А учёт запасов, напротив, у нас и труден, и не умеем мы. Фирмы настаивали вообще отменить твёрдые цены и отменить все запреты на передвижение хлебных грузов по железным дорогам: только тогда Петроград получит неограниченно хлеба. Да и ясно, что только выгодные цены на хлеб могут подвигнуть и к полному засеву в будущем.

И это было во многом верно! Но на колебательные размышления не оставалось уже ни дня: проект уже разрабатывался в министерстве и неизбежно катился к утверждению — и министерство предусмотрительно уже отбирало себе даже зернохранилища у Петроградского банка. Шингарёв провёл несколько заседаний комиссии по разработке монополии, сегодня работа была почти окончена — и только предстояло ещё пропускать её через Продовольственный комитет, где Громан будет много портить. (Громан нёс бестолковщину на каждом шагу, странно, что раньше думцы не замечали его ограниченности. Теперь он вообразил себя как бы вторым министром продовольствия, от Совета, оккупировал и сам кабинет Шингарёва, поставил стол в середине комнаты, контролировать министра. За тем столом сразу по пять человек курили — а Шингарёв, не курильщик, задыхался от дыма и страдал от шума,— а неудобно было выставить.) Уже было установлено: что весь сохранившийся в зерне хлеб прошлых лет, хлеб 1916 года и будущий 1917 — поступает на учёт и в распоряжение государства, отчуждается им. Владельцам хлеб оставляется лишь по нормам: для обсеменения, для прокормления себя — пуд с четвертью на душу в месяц (почти петроградская норма), сезонных рабочих, скота — нормы должны быть подробно разработаны губернскими комитетами, учесть местные условия, род сеялки, дни усиленного и неусиленного труда каждой лошади, и молодняк скота отдельно от взрослого, и род корма, и род круп. Всякий владелец обязан объявлять количества по видам и места хранения своих запасов. Порядок и сроки сдачи хлеба (по твёрдым ценам) определяются местными продовольственными органами, они же проверяют заявленные данные. Кто отказывается от добровольной сдачи — у того производится реквизиция по особым правилам, по сниженной цене. Обнаруженные же скрытые запасы отчуждаются в пользу государства по половинной цене. (Очевидно, у местных продовольственных комитетов для этого должны быть *силы*, физические.) Также обязательна для владельца доставка хлеба на станцию, пристань, а до сдачи — храненье и ответственность за сохранность, а необмолоченный должен быть обмолочен за счёт владельца. Где нет элеваторов — сушить зерно в хлебозапасных крестьянских магазинах, в частных помещениях.

И ведь не предстояло остановиться на монополии распределять хлеб. Очевидно, при войне, это втянет и глубже: государство должно будет снабжать инвентарём, рабочими руками, удобрениями, кредитом. Подчинить государственному регулированию и мукомолов. А там — регулировать и всю промышленность, и транспорт...

А пока — надо было успевать поворачиваться и распоряжаться как под артиллерийским огнём. В Петрограде — ввести хлебные карточки! (Хотели — с 18 марта, но не успели с переписью населения и не напечатали бумажек, так будет с 22-го.) Телеграфировать во все губернии, чтобы вводили хлебные карточки и там. В Петрограде — запретить всё кондитерское и конфетное производство, выпечку сдобного хлеба, бисквитов, пирожных, исключение для одних куличей под Пасху. Встречный вопль: но у нас недоработанные запасы! Хорошо, на доработку запасов — месяц, и всё закончить после Пасхи. Ввести карточки и на фураж для лошадей, изготовлять для них галеты из жмыхов, отрубей и негодной муки. Завал овса у одних породистых на ипподроме,— так закрыть в этом году беговой и скаковой сезон в столицах, а коней отправить прочь. Не упустить распорядиться и о быстром подвозе яиц в Петроград из Киева. А тут — грянула забастовка ломовых извозчиков: требуют 8-часового рабочего дня. И сразу создался затор в разгрузке прибывающих продуктов, и без того задержанной в революционные дни. А подходило ещё полмиллиона пудов мяса из Сибири — и если

его не доставить тотчас на холодильники, то всё придётся выбросить по начавшейся оттепели. Кого же просить? Только Совет рабочих депутатов, чтобы повлиял на ломовиков.

А тут ещё: старшие чиновники министерства стали подавать в отставку, и особым распоряжением на днях Шингарёв повелел всем оставаться на местах. А младшие чиновники вместо полнодушевной работы занялись созданием республиканского клуба при министерстве. А петроградская Продовольственная комиссия (уже теперь — комитет), заняв недурное здание биржи на Кронверкском, посягала получить Аничков дворец. Пользуясь тем, что ещё не создан общегосударственный Продовольственный комитет, она без дела мешалась и лезла в каждое распоряжение министра, будучи сама никто — призрак революционных дней. Хлеба они не доставали, но при изобилии в петроградских холодильниках битой птицы и мороженой рыбы (раньше о них и не говорили, как о подразумеваемой мелочи) — разрабатывали принудительную таксу именно на эти продукты, что грозило перерывом и в этом снабжении.

Не голод — голод ещё нигде не наступил, его только боялись,— но министр земледелия, поспевая с сегодняшним продовольствием, должен был поспевать готовить и урожай Семнадцатого года, и урожай Восемнадцатого. Продовольствие и земледелие вместе — это и значило: вся Россия на плечах. С юга на север всползала грозная черта распутицы — а за распутицей и за подсыханьем так же неотступно катило с юга на север время посева. А с осени не пахали под яровое, не хватало рабочих рук. На юге полевые работы вот уже начались — и не хватает рабочей силы, инвентаря, семян. И как убедить крестьян довериться, что в будущем им не грозит отобранье зерна, это только сейчас такой острый момент,— и убедить их сеять усердно? Опять же — воззвание. (И Родзянко то и дело катит свои воззвания, понимает: «засевайте поля! хлеб будет куплен правительством по необидной цене!» Уж по какой там будет куплен, но — засевайте, родные!) А ещё воззвать к горожанам: возделывайте сами огороды! А ещё воззвать к городским самоуправлениям: выдавайте льготную землю под огороды! Использовать земли коноплянников, цветников. Создать парники рассад, отпускать семена. Каждый, кто вырастит хоть пуд овощей — облегчит продовольственное бремя России! Департамент земледелия будет рассылать коллекции семян, брошюры по сушке, квашенью, засолу.

Весна идёт! И министерство земледелия должно успеть помочь посевам, в необычной обстановке третьего года войны и второго месяца революции. Инвентарь? У кого нет денег на покупку — для тех устроить коллективное пользование. Снабжение семенами в долг. (Для всего этого тоже потребуются особые органы по всей России.) Разъезжающих депутатов Думы Шингарёв по-дружески нагружал заданиями: обследовать посевные площади и помочь. Но главное — это рабочая сила. Вот, не решаются брать инородцев не то что на войну, но даже на рытьё окопов — а тогда освободились бы крестьяне прифронтовой полосы. (Впрочем, и сарты нужны на хлопке.) Кинулся к Гучкову: в тяжёлых местах разрешить крестьянам отсрочки от призыва. И — дать военнопленных, и дать воинские команды на помощь земельной обработке — ведь запасные воинские части по всей России ничего не делают, пусть помогают местному сельскому населению! И ещё же у нас — 300 тысяч учащейся молодёжи, такой активной и революционной, а вот разъедутся на каникулы — как их потом собрать и использовать? Уже теперь собрать в дружины, инструкторам обучать их земледелию...

И во всём этом кипя — ни минуты не забывать, что посевную площадь надо поддерживать и для будущих лет. Не прекращать ни обследовательской работы, ни статистической, ни мелиоративной.

Андрей Иваныч едва не шатался. Он не высыпался уже чуть ли не месяц, был измучен, пригнулись плечи, потерял неизменную бодрость.

Но и это всё — было не всё! Всё, всё это, что он делал, мог сделать и Риттих при своём налаженном аппарате, не хуже. А министр земледелия революционного правительства должен был ещё — и прежде того! — дать крестьянам землю, многолетне обещанную кадетами!

Несчастная эта прежняя пропаганда о земельном переделе! Какой сейчас передел? Начни сейчас передел — и остановится последнее снабжение городов. Но не только время им заняться и сил нет, а вот изумление: самой этой необъятной земли для раздачи в России не обнаружилось! Оказывается, даже всю казённую и помещичью землю разделив — а иных губерниях нельзя добавить крестьянину и одной десятины. А все те завидные обещанные десятки миллионов десятин оказались тайгой да тундрой. И не то чтоб это было трудно разведать раньше, статистика всегда же была доступна, но в спешке и накале борьбы со старым режимом кадетские умы и другие интеллигенты, занятые земельным вопросом, не вникли и не взялись объяснить неистовым передельщикам, да ведь и специалистов всегда не хватало в партии. Что такой земли нет — всегда говорил Столыпин,— отвергали. Посмотреть думские протоколы — так и Шидловский в Восьмом году докладывал об этом Думе,— страстно отвергали. Так пронеслись, как в завороженном сне,— и очнулись теперь, после революции, когда пришло практически делить, и оказалось: три четверти земли и так уже у крестьян. А о н о уже само не ждёт: о н о, грозное, уже первыми дымами подожжённых помещичьих усадеб завиднелось то в одной губернии, то в другой. Да ведь и должно было полыхнуть, и должно было заклубиться, этого и следовало ждать!

Ах, что бы вам ещё потерпеть, мужички! Что бы вам потерпеть ещё один годок, еще этот один последний годок — пока Временное правительство укрепится, кончит войну, созовёт Учредительное Собрание...

Нет, теперь-то они и не хотели подождать!

Что там кипело, в деревенской темени, даже представить было трудно, а предотвратить — нет сил никаких. И несколько дней назад Шингарёв разослал и воззвание к кооператорам: своим нравственным влиянием — не допустите погромов, поджогов, грабежей, истребления запасов! Хорошо ещё, что пламенные эсеры сегодня отступились от поджогов и разделов: теперь сами призывали крестьян ждать до Учредительного Собрания, а пока увеличивать хлебную продукцию, обсеменять неиспользуемые помещичьи земли. С этим и правительство было согласно: пустующие казённые и помещичьи земли обрабатывать без нарушения принципа собственности.

А сегодня пришла и тревожная телеграмма от московского сельскохозяйственного общества. Под вестями о начавшихся крестьянских беспорядках они тоже торопили: издайте срочное воззвание!

Да! И тут ничего не находилось срочней и действенней, чем прямое воззвание. И Шингарёв сразу начал его набрасывать. Но предрекать и обещать, в какую сторону земельный вопрос будет решён,— этого ни министр земледелия, ни Временное правительство не смели, это было бы неуважением к будущему Учредительному Собранию. Можно только писать, что вообще вопрос будет подготавливаться, вот начнётся разработка материалов.

И на сегодняшнем заседании правительства Шингарёв держал перед собой проект воззвания, ещё меняя и дописывая.

Заседание было на редкость нудное. Четверо министров прямо отсюда ехали на вокзал и мечтали отоспаться хоть в вагоне. Всё текло кредитование, все просили кредитов: внутренних дел — кредитовать пособия освобождённым каторжанам и ссыльным, юстиции — ещё полмиллиона также и лицам, покровительствующим освобождённым, путей сообщения — 15 миллионов на продолжение дороги до Кандалакши и покрытие перерасходов, просвещения — 2 миллиона на суточные и другие перерасходы, торговли-промышленности — 5 миллионов на перенос рысистых испытаний в провинцию...

И Терещенко важно кивал, кивал, записывал, нисколько не возражал, как будто деньги у него были немерянные.

Стал Шингарёв докладывать своё воззвание — волновался: ведь знаменательный исторический момент для России, либеральные круги впервые сами останавливают крестьянскую мечту!

Но министры не заметили ничего необычного. В той же дрёмной текучей манере согласились, без прений и поправок.

А Некрасов, как проснувшись, сказал свежим голосом:

— Это идея! Я тоже такое воззвание напишу, от имени правительства. На станциях солдаты бесчинствуют — нет управы. Насильничают над железнодорожными служащими, переполняют поезда,— а если ось лопнет, да крушение? Напишу.

* * *

## *ПОДУМАЕШЬ УМОМ — ГОЛОВУШКА КРУГОМ*

* * *

### 639

Жить оставалось только надеждой, что через месяц-два всё устоится, угомозится — и боеспособность армии восстановится. Но по всему, что капитан Клементьев видел в своей батарее и слышал из окружающей пехоты,— солдатское настроение, напротив, раскачивалось и стало такое переменное, что у офицеров опускались руки. За порывом тёплого разговора — тут же какая-нибудь дикая выходка или недоброе слово, дослышанное. Пойдёшь от нечего делать пушки осмотреть — из землянки выглядывают, бурчат: «Вот, заноза, дырку в целке ищет.» И что было правильно: тотчас же пытаться поставить ослушника на место — или не замечать и ждать, что сами убрыкаются?

От начальства получить указания было не от кого. Командир дивизиона продолжал линию, что революция — к лучшему и нас спасёт. А командир батареи, и всегда-то широкой плывучей комплекции с расплывшейся лысиной на голове,— ещё разрыхлился, расслабился и у себя в землянке всё раскладывал пасьянсы.

— Да-а-а,— говорил с сожалением или завистью.— Теперь многие офицеры отпрашиваются в госпиталь. Собирался и я заболеть, да совесть не позволила. Если б не долг войны — взять да и уйти, пусть управляются сами. Но надо всё-таки, знаете, спасать Россию. А с кем, спрашивается, спасать, если солдаты из окопов убегут? Уж вы, Василь Фёдорыч, прошу, держите батарею,— вы молодой, духом крепкий и происхождения народного, к вам доверия солдатского больше. А нам — теперь трудно стало с солдатами разговаривать. Хоть и признали мы безропотно новый строй — а всё бесполезно.

Не он один отошёл — как-то вообще офицеры разъединились перед солдатским недоверием, перед газетной пакостью. Соединённые годами войны — теперь вдруг разроз-

нились, не было дружных решений, не было единства мнений, каждый сам избирал линию поведения.

А солдаты, пожалуй, наоборот: они теперь искали будущего все вместе. Чернобородый мрачный медлительный Хомутов выразил это так:

— Теперича свово обчества надо держаться. Ежели чужим будешь, храни Господь подранят где,— на перевязку не подхватят. Санитары теперича в очко режутся.

Безработные санитары резались в карты, да, но и свой батарейный ветеринарный фельдшер не только перестал опекать ковку лошадей, но где-то в близком тылу наладил самогонный аппарат, сам был пьян и других угощал, ездовых.

Фельдшеры — это была известная обиженная категория: 4 года они учились, а получали только унтерский чин. И все их зовут на «ты». И в мирное время ещё 6 лет должны были служить — куда после этого пойдёшь? Всегда недовольные, завистливые к офицерам, они теперь и потянули в революцию.

Клементьев нагрянул к фельдшеру, аппарата не нашёл, но самого застал в дымину пьяного: с койки поднялся, но шатался, и весь растрёпан.

— Вы знаете, что пить спиртное на передовой — запрещено? — отчитывал его капитан.

— Эт-та — остатки царских приказов! — отмахнулся фельдшер неровным движением.— А мы теперь держим — новый режим!

— А кто вам разрешил стоять вольно?

— А я смирно никогда и не умел! А теперь наша взяла — чего тянуться? Власти у вас уже больше нет, котора была при царе. Теперь каждый — себе голова! Не Девятьсот Пятый вам год! — не повесите, не расстреляете...

Уже и остановить его было нельзя, на пять слов капитана вываливал полсотни своих.

— Да не боюсь я и даже Бога!.. И вся сознательная пехота на моей стороне!

А на поясе, на шнурке, висел у него финский нож.

И ушёл от него Клементьев ни с чем, с позором и бессилием.

И что, правда, он мог сделать? Никаких наказаний у командиров не осталось. Он только мог просить батарейный комитет рассмотреть дело этого фельдшера.

Если комитет ещё что-то решит.

И если фельдшер раньше того времени сам не дезертирует прочь — кто его теперь тут удержит?

Этой фельдшерской историей капитан Клементьев был ранен горестно: да, вообще — теперь всё возможно, и такое. Но — в нашей батарее? Но в нашей!..

Как туча мрачный, возвращался он от фельдшера на батарею. Как же оставалось управляться? Только фейерверкерами: они не стеснялись ругать своих по-прежнему и ругнёй заставляли поворачиваться.

Но вернулся на батарею — ждало его не приятней. В землянку к нему постучали. Впустил. Вошли Прищенко и Евграфов — по близкому без шинелей, но и без шапок, как никто не ходит, и в отхожее место шапку надевают,— а затем, наверно, чтоб не козырять? или чтоб не снимать их? Вошли — набавляя себе больше значения или смелости — Прищенко поддуваясь, Евграфов покачиваясь.

— Что, ребята, скажете?

— А вот, господин капитан,— начал конечно Евграфов, как городской он всегда был для разговору первый, начал насмешливо позвенивающим голоском,— есть вопрос хозяйственный. Отрегулевать надо.

Мог бы Клементьев — да время тому прошло — указать на устав: что надо обращаться через своего фейерверкера. Да ведь Прищенко теперь и член комитета, куда же старше.

— Хозяйственные вопросы вы теперь на комитете и решайте,— попробовал отвести капитан.— Или с фельдфебелем, как положено. Никита Максимыч и хочет, чтоб вы всё кухонное и одёжное сами отпускали.

— Нэ як, господин капитан,— возразил Прищенко, у него и движение рук стало важное, да не по швам они и висели.— Фельдфебель тут нэ прикасается, тут господов офицеров дило.

— Ну что ж,— вздохнул Клементьев. Сам сидел и их пригласил.— Что ж. Выкладывайте.

Так вот: прослышали они (только писаря и могли их натравить), что в батарее есть такие «економические деньги». Так — отчего от солдат их скрывают? Почему не объявят и не поделят?

И смешно, и тошно.

— А вы знаете, братцы, что это за деньги? Их от вас никто не отбирает и никто не скрывает, они проведены по книгам. Такие суммы установлены аж от времён Петра Великого. Если батарея сэкономит по сравнению с казённым отпуском, например получит фураж, а прокормит лошадей на подножном корму,— так вот она имеет экономию. И может тратить её на батарейные нужды, для вас же. Вот например всем вам куплены непромокаемые плащи, а в других батареях ведь нет. Это — на эти деньги. Они и есть для вашей нужды.



— А вот как раз теперь, господин капитан, и нужда! — ловкой приказчичьей скороговоркой перехватил Евграфов. На его непоросших щеках девически-гладкой кожи проявился румянец.— Нужда теперь эти деньги по нижним чинам разделить, на питанию, на кто что хочет.

— А вот это — никак нельзя,— возражал капитан рассудливо.— Такого порядка — нет, командир батареи не имеет права. Но вы — будьте спокойны.

— Никак не можем быть спокойны, господин капитан! — ещё больше румянился Евграфов, но только не от стеснения.— Тревога нас гложет. Мы к вам — не от себя, мы — депутатами от народу.

— А вот,— словил Прищенко капитана на прищур глаза.— Цим литом распорядывся фельдфебель нам сино косить, тамочки, биля второго резерва. Нам и не в голову, мы скосили — а итьниякой доли с того не ймали. А нонче вот докурлыкиваем: то ж не служба военная була, то ж економия, а на нашем горбу? Так с того — нам полагается получить?

Оспой изрытое его лицо всё было захвачено этими ускользающими деньгами.

— Нет-нет, господин капитан! — семенил языком и Евграфов.— Надоть хозяйственные книги всех прошлых лет проверить нашим депутатам. Може нас обворовывали? — а мы скудаемся.

Такой разговор, такие подозрения вслух — быть не могли две недели назад. А сейчас Клементьев хоть бы и рассердился — не мог ни крикнуть на них, ни выгнать, ни даже и отказать.

Но рассердился он только на писарей, за их ядовитую болтливость. А эти ребята — что ж... Клементьев и сам знал по своему голодному нищему детству, как легко в обездоленьи питается подозрение и зависть к высшим.

Этим — что ж, он обещал: доложить, добиться, комитету покажут и хозяйственные книги, отчего же. Даже и хорошо, что комитет этим займётся.

Он-то знал, что в батарее всё чисто, по закону.

Только — ведь они на этом не успокоятся, будут и дальше, и дальше наседать, смотришь, и оперативные планы потребуют.

Дожила наша армия!..

А вскоре после них ворвался в землянку угольнобородый с горящими глазами фельдфебель Никита Максимыч. Ему бы вот и рассказать, пожаловаться насчёт писарей и хозяйственных книг,— но мрачно его принесло, и своим занятого.

Такого и не бывало: не спросясь по форме — плюхнулся на табуретку, шапку скинул с хлопом и голову свою чернокудлую подпёр об стол локтями, как какой Пугачёв. И сидел во мраке, отдышивался.

— Что с тобой, Никита Максимыч? — даже испугался капитан. Что-то он, видать, учинил.

— Ничего не знаете? — дохнул как по-пьяному, а воздухом трезвым фельдфебель.

— Нет.

— От начала не знаете?

— Нет.

— Ну, хорошо. Тревожились меньше.

И сам тоже не торопился говорить. Вытянул по столу руки, привычные к власти. Ладони потёр.

Схлопнул ими.

Посмотрел из мрака, исподлобья, из-под пугачёвской космы:

— Этой ночью из обоза второго разряда укатили два конюха — Клёцкин и Безбатченко. И прихватили два мешка муки. Мне доложили насвету, я — за ними верхом, на Черногузе. И догнал подлецов на боковом просёлке! — Глаза его сверкнули царским гневом.— Лошадей у них — отбил, повозку. И муку отобрал.

Бесовство в глазах запрыгало:

— А самих дезертиров — не-об-на-ру-жил. Безо них воротился.

— Как?? — уж и зная Никиту Максимыча, не понял Клементьев.— Как же так — не обнаружил?

— Вот так, не обнаружил! — по усам, по бороде сухо и грозно утёрся фельдфебель.

— Так ты... ты... ?

— Я ж один был, а их двое! Ещё я их в госпиталь повезу, сволочь такую? На дороге оставил.

## 640

Господи Всевышний! Мы ещё смеем скорбить, мы ещё смеем жаловаться! Да оставь нам живыми наших детей!

Как тяжко, но и — промыслительно, но и — объяснительно налегла болезнь всех пятерых детей на эти чёрные дни трона и царской четы. Уже три недели болезней, Ольга и сегодня не поднялась, а припоздавшие Мария и Анастасия вот погрузились в новую

бездну жара, у Марии 40,9, дышит из кислородных подушек, у обеих — воспаление лёгких, оглохли обе от воспаления ушей, Анастасию рвёт, Мария бредит. Обе лежат в тёмной комнате, и уже совсем измученная Аликс подле них.

Страх был: что Мария умрёт. Очень плоха. Всё колебалось на весах Господних.

Много раз в день молились.

А наследник в этот раз проболел легче всех, вот уже выздоровел, и даже бегал. Из-за своего всегдашнего нездоровья, оттого отставания в занятиях, он был моложе своих тринадцати лет: вот забывался в играх ото всего отречения, от всех изменений, совсем ребёнок.

А Татьяна, тоже уже на ногах, самая гордая и замкнутая из сестёр, со скорбным лбом,— напротив, всё усвоила, ничего не забыла ни на минуту. Да ведь, Господи, уже взрослая женщина, уже за двадцать ей, а Ольге и за двадцать один. А что теперь ждёт вас, девочки, какие и где женихи? Теперь и румынский принц откажется.

В положении семьи можно было ожидать только ухудшений. Отвечено было, что ни Львов, ни Гучков, которых просил приехать государь,— не приедут. Вместо того приезжали правительственные комиссары — проверять, как выполняются инструкции содержания узников. Объявлено было, что по ведомству бывшего Двора и Уделов комиссаром назначен Фёдор Головин, когда-то гнусный председатель Второй Думы, потом капиталист, концессионер дороги на Екатеринбург, язвительный, мелко самолюбивый и ненавистник государя. В его руки теперь попадали и все дворцовые службы, и о содержании вдовствующей императрицы предстояло ходатайствовать тоже перед ним.

А судя по газетам — происходил поворот всё больше в сторону обвинения императорской четы, грозили следствием и судом. Предстояло практически думать: кого брать защитником? Кони?..

У коменданта Коцебу возникли неприятности от начальства. Очевидно, были доносы на него от дворцовой прислуги и от солдат, что он слишком благоволит к узникам и даже дружески обращается,— и как бы не заменили коменданта.

Очень будет жаль. Всё больше понимали арестованные, что режим содержания гораздо больше зависит от лиц, чем от инструкции. Когда в караулы попадали хорошие офицеры, солдаты — сразу чувствовалось в быту и на прогулке отношение другое.

Но эти, кто доносил,— зачем же не ушли, остались служить? Для измены?..

Между тем подробно печатали газеты речь германского канцлера Бетмана-Гольвега. Читая её, Николай заметил, что газета дрожит в руках. Это было — первое германское публичное высказывание после переворота. Для Николая это было — как голос самого Вилли.

Уже давно, три года, всё сердечное было порвано между ними. После коварства Вильгельма в июле Четырнадцатого — они стали враги насмерть и навсегда. Но — столько лет дружбы невозможно было выскрести из груди и всё забыть. И в минувшие дни нет-нет да всходила мысль: а что теперь Вилли? Что думает он о падении русской монархии? И — начинал ли бы он войну, если б это всё предвидел?

И вот — пришёл от него ответ на всё. Речью канцлера.

Царь пал жертвой своей трагической вины: он попал под влияние держав Согласия. В Девятьсот Четырнадцатом он остался глух к напоминаниям Вильгельма о вечной дружбе. Россия прикрыла преступное сербское нападение на Австро-Венгрию. А в декабре Шестнадцатого первая из наших врагов с презрением отвергла наши мирные предложения.

Беспросветно. Беспролазно. Никогда не объясниться. Но — дальше??

Германия никогда не поддерживала реакционный русский режим против освободительного движения. Император Вильгельм всегда советовал Николаю II не сопротивляться реформам. (Да напротив же: он советовал не опускать повода, никакого соглашения с мятежниками, а грянуть речью к народу из стен Кремля.) Царь не послушал его советов. Трудно выразить даже чисто человеческое сочувствие павшему царскому дому. Вздорны слухи о намерениях Германии оказать содействие в восстановлении власти царя.

Боже, как он ожесточился... «Трудно выразить сочувствие»...

Суди тебя Бог, Вилли.

Впрочем, надо вспомнить честно: и Николай же ожесточился. Обещал Палеологу, что лишит Гогенцоллернов права представлять Германию в мирных переговорах.

На Земле между ними было кончено всё, навсегда.

Но ещё не кончена речь канцлера. Но Германия не смежила воинственных очей: на Востоке Германия добьётся своих национальных интересов! Мы будем следить за событиями хладнокровно, с готовым для удара кулаком.

Боже, Боже! Сохрани Твою Православную Русь...

Нет, не ошибочен был роковой выбор России! Германцы — чужие нам отвеку. Слава Богу, что есть у нас верные союзники в Европе. Вильгельм — никогда, значит, не был искренен, всегда враг. А Георг — и родственник, и верный.

Странно, однако, что так и не написал, не отозвался.

Надо бы разбирать книги и вещи, откладывать, что с собой в Англию брать.



Хотя ехать к ним туда — не хочется. Всегда охотно путешествовал Николай за границу (не так уж и много). А сейчас, когда подступила почти неизбежность отъезда,— вдруг стеснилось в нём, сколько русских мест он уже не повидает никогда (а ведь было всё доступно! мало ездил) и скольким святым местам не поклонится. (Как упустил? Благодаренье Богу, что ездил в Саров.)

Хотя и замкнутый то в Петергофе, то в Царском, то в Ливадии — Николай, однако, повседневно ощущал своё единство со всею Большой Русью: он пребывал — в ней, единством с нею крепился в шторме зложелательства образованного общества, высшего света и даже династии. И уверенно знал, что отдалённый пахарь и неведомый косец — постоянно знают своего Царя, пусть и немы, не слышно их в столичном гвалте.

И всегда непритязательный в потребностях, а сейчас, тем более, уже отделённый от трона и даже тяготясь ещё сохранённой по инерции, не его приказом, церемонийностью,— всё те же ливреи шествовали важно, всё те же камердинеры предупреждали приход редких теперь и незваных посетителей, и те же скороходы в галунах и со страусовыми перьями сопровождали их,— Николай всё более готов был расстаться со всем этим начисто. Только Ливадию одну было жалко, Ливадию хотелось бы сохранить, Алексею там очень хорошо. Но если и это будет невозможно, а надо бы определить свою жизнь не на оставшиеся месяцы войны, а уже до конца, навсегда,— то предпочитал бы он поселиться простым крестьянином в России, в самом скромном уголке родины, да даже хоть и в Сибири,— чем ехать на постылую, постыдную, скандальную западную популярность или вечное бездомное гостевание — да и на какие средства? никаких средств на Западе не было у него.

И только если уж никак не исполнимо, если присутствие его в России может повредить государственному спокойствию — тогда он готов подчиниться изгнанию.

Эту истекшую неделю заточения и начавшуюся вторую, несмотря на грозные признаки вокруг, Николай с каждым днём всё более чувствовал умиротворение и распрямленье души. Такое настроение было: если бы сейчас и все хором просили бы вернуться на престол — ни за что бы не вернулся.

Прошёл первый ожог развенчанности — и он обнаружил, что ему легче и проще обращаться с людьми,— стало легче разговаривать с людьми, вот как! Он и раньше предполагал в людях более искренность, чем искательство,— но уж теперь-то и вовсе мог рассчитывать на откровенность тех, кто был к нему хорош.

Во всё царствование он старался принимать решения по совести — насколько это было открыто ему. И никогда не принимал решения в гневе, но всегда давал себе охладиться. И к врагам своим — вот Гучкову, Милюкову, никогда не был преследователен и никогда не арестовывал их, как вот они его. И не применил низких усилий цепляться за власть: едва почувствовав себя помехою, тут же и ушёл.

Говорится: царю — пуще правда нужна. Царю нужна правда больше, чем кому-либо из живущих.

Он оттого был внутренне спокоен, что твёрдо верил: и судьба России, и судьба его семьи находятся в руках Господа. Господь поставил его так, как он стоит. И что бы ни случилось — надо преклониться перед Его волей.

В эти последние дни — заблистал наружный мир. Погода переменилась на солнечную — вчера, сегодня стояли лёгкие весенние морозцы, задерживающие таянье, но всё залилось светом весны. Как поднялось настроение!

Каждый день долго гуляли с Долгоруковым,— слава Богу, не запрещали. Приучились совсем не замечать охраны вокруг и не досадовать на выходки её, если те случались. Да довольно пространства и здесь — если не верхом, если не пешим гоном, а с работницей снеговой лопатой. Чистили, чистили снег с разных сторон, друг другу навстречу, и кончали дорожку у старой беседки.

Николай — наслаждался этими днями! И как увлекает такая работа: из бело-радужной массы, в ослепительных точках всех цветов, вырезать лопатою ровные кубы этого сказочного вещества, перекидывать их — а самому вдвигаться, вдвигаться в белую стену. Ничего в мире больше не видишь, кроме этого, Богом созданного, бело-сверкающего моря.

## ДОКУМЕНТЫ — 30

**17 марта**

### ЛИЧНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ГЕОРГА V СТАМФОРДАМ — БАЛЬФУРУ, МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

**...Его Величество не может не испытывать сомнений не только по поводу опасностей переезда, но и из общих соображений целесообразности: желательно ли, чтобы императорская семья поселилась в этой стране.**

## ВОСЕМНАДЦАТОЕ МАРТА

## СУББОТА

### 641

Большое помещение с высокими и тёмными потолками, наполненное шумным безалаберным множеством людей, лицами в разные стороны. Откуда-то понимает Варсонофьев, что это — Биржа, и он тут зачем-то стоит. Но не успевает ни приглядеться, ни — что они делают (только разговаривают громко все). Вдруг властно голова его поворачивается, обязанная смотреть. Мимо него входит в зал — мальчик с дивно светящимся лицом, и словно он хочет объявить всем необыкновенную новость. Он проходит мимо, держа в руках перед грудью какой-то небольшой сверкающий предмет,— проходит на середину зала, свободно, как будто тут не столплены густо, там останавливается, приподнимает что в руках! — и вдруг в едином жарко-ледяном дыхании, дыбящем волосы, охватывающем весь зал (всех тут!), Варсонофьев понимает, что этот мальчик — Христос, а в руках у него бомба! — ужасного взрыва для целого мира — и сейчас, через секунду, она взорвётся!

И не выдержав содрогновения, нестерпимого ожидания взрыва — проснулся.

Ещё и в яви обнимал его ужас этого космического подошедшего взрыва.

Такие сны он записывал. Потянул за ниточку стебель ночника, тот зажёгся,— хотел записать на клочке, как делал всегда, чтобы скорей потушить и заснуть. Но так сильно он был охвачен, что всё равно нескоро заснёт.

И с лёгкостью встал в прохладное, взял халат с кресла, в халате пошёл к бюро, сел, зажёг настольную лампу, из ящика достал тетрадь снов и стал записывать туда.

Он давно перестал понимать сны как сочетание бессмыслицы. Бессмыслица и путаница отделялась сама, тут же и забывалась. По меньшей мере наши мысли и чувства во сне — наши истинные, и мы отвечаем за них. Но Варсонофьев знал, что почему-то избран принимать и тайнопись вещих снов. Психологически безошибочны были и все его сны с близкими, он истинно воспринимал, и на большом расстоянии, кто что чувствует. Правда снов не в ситуации, а в настроении.

Однажды приснилось ему, что он подходит к маленькому фонтану и понимает: если приблизить губы к его струе и шептать — то по струе передастся как по телефону, и кто-то другой в далёком фонтане всё услышит. Мнóги способы передачи чувств и мыслей, мы не во всё верим. Не раз бывало, что Павла Ивановича тянуло к телефону — и он шёл, и по пути раздавался первый звонок.

У Варсонофьева была уверенность, что все события нашей жизни и другие лица связаны с нами и друг с другом не только теми явными причинными и следственными связями, которые видны всем,— но ещё и связями тайными, которых мы не услеживаем, даже не предполагаем,— а они не только существуют, но властно влияют, но формируют души и судьбы.

Из каких-то неведомых Божьих глубин к нам постоянно притекает на поддержку и сила, и сознание.

Но сон сейчас так сотряс его, ещё вот оставался страх в теле. Варсонофьев постарался записать точные минуты, когда это приснилось.

И ещё сидел, старался вспомнить точные оттенки смысла, ощущения, ведь они сотрутся потом. Что это была за Биржа? Не петербургская, не московская, и может быть даже вообще не Россия или, во всяком случае, не одна Россия. Это какой-то смысл имело — всеобщий.

И хотя нестерпимо было пережить этот взрыв — но он был не просто уничтожение, он был и Свет, слишком светилось лицо мальчика.

О! сколько было сил непознанных! В каком-то непостигаемом объёме совершалось нечто великое — и может быть только слабым отображением были те завихрения на улицах русских городов в последние недели.

Но — зачем посылаются такие сны, вот ему, ещё кому-нибудь? Ведь о них невозможно объявить, на них невозможно сослаться, никого научить, ничего доказать.

Предыдущая запись его в тетради была: «Сны анемподиста в Анапобожьи». Так — приснилось ему, не кто-нибудь сказал это вслух, а — ясно вошло в сознание: что это — его сны так называются, что якобы край, где всё это ему видится,— Анапобожье. Очень понятно было, что — Богов край, но всё в целом не улавливалось.

У снов был свой язык. То снилось ему выражение «на тайлóк» — и он сразу понимал, что это значит: тайно. То на какой-то узорчатой решётке, как бы ворот, от невидимой руки выкладывалась надпись металлической вязью, тут и застывая: «Кто не был князь — поди, ведась». И во сне — ему был вполне понятен и значителен этот смысл, а вот записывая — уже не мог ухватить.

А ещё предыдущий записанный сон, на прошлой неделе, был таков. Будто находится Варсонофьев в церкви, но — ночью, на закрытой сокровенной службе, и церковь почти



пуста, присутствующих с дюжину — есть священники, есть миряне, все мужчины. И понятно ему, что церковь эта — в России, но вся Россия — под властью каких-то страшных врагов. А эти здесь собрались на обряд *запечатления* церкви — то есть запечатания её на долгое время, как запечатывались храмы старообрядцев. И запечатление это будет вот в чём состоять: на аналой посреди церкви уже положены три больших серебряных креста (не помещаясь, чуть с перекрывом друг друга, так ясно это видно) — и в ходе службы старший священник зальёт их вместе расплавленным белым воском, и так они застынут надолго. И ещё знают они все: что п о с л е этого обряда их всех должны посадить в тюрьму, за то что были здесь, и это неминуемо, и они к этому готовы. А власть врагов спешит, чтоб этот обряд не произошёл: они хотят, чтобы церковь не успела запечатлеться. А в обряде тоже спешить нельзя: теперь они все должны лечь на каменный пол ниц и так оползти всей чередою все церковные стены кругом, лишь потом будет запечатление. И Варсонофьев, ползя, думает — как потом успеть дать знать дочери, Марине, о своём аресте,— и вдруг слышит её надрывный плач. И не поднимая головы от пола и не поворачиваясь, он видит другим каким-то оком: Марина в крестьянской вышитой рубахе стоит на пороге храма, не смея войти на обряд, и плачет, уже всё, всё поняв.

Он продолжал ползти ничком со всеми — и как-то продолжал видеть на входе рыдающую Марину — такую русскую, в этих вышитых вздувных рукавах, такую родную и понимающую — как будто никогда, ни на сколько они не разделялись, не размежались: они снова были душами слитно, всё иное вмиг отшелушилось как случайное. И уже неважно было, поймёт или не поймёт она теперь о его аресте,— важно, что она — видела запечатление. Будет свидетель!

Что это? Откуда это всё сочеталось?

Однако сегодняшний взрыв из рук светлого мальчика выходил и ещё гораздо шире этого всего.

На улицах, а больше в редакциях, а больше на страницах печати хлестало опьянённое веселье. Павел Иванович не узнавал знакомых — так они были победны, так залётны в мечтах. Но сам он ходил среди них — осунутый, со свечами тревожных глаз.

Он — никого никогда не мог переубедить своими статьями, над ним посмеивались как над чудаком несовременным. И что группа их 8 лет назад предсказывала в философском сборнике — ни тогда никого не убедило, ни сейчас никому не вспоминалось.

Так — ещё кому же он мог передавать и сны?

Все удивлялись, как сразу, без мрака, разразилось всеобщее ликование.

И не видели, что ликование — только одежды великого Горя, и так и приличествует ему входить.

Все удивлялись, что для колоссального переворота никому не пришлось приложить совсем никаких сил.

Да, земных.

### 642″

**(по свободным газетам, 16—18 марта)**

**СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
НАКАНУНЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ВОЙНЫ ГЕРМАНИИ.**

**ВАНДАЛИЗМ ГЕРМАНЦЕВ. Потопление...**

...Весь интерес борьбы на море сосредотачивается на борьбе двух блокад — английской надводной и германской подводной...

**Германские планы.** По сведениям из германофильских кругов в Швейцарии, германское высшее командование, в связи с революцией в России, отказалось от наступления на Францию и Италию и готовит удар на Петроград.

...По-видимому, германцы готовятся к нанесению России сокрушительного удара, возлагая надежды на якобы наступившую дезорганизацию русской армии. Они надеются занять Петроград и продиктовать оттуда условия мира державам четвертого Согласия. Но это может вызвать негодование среди демократических элементов германской армии.

О МАНИФЕСТЕ СОВЕТА РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ.

Итак, армия остаётся на месте и будет хранить свой доблестный дух для борьбы до последнего вздоха. Это упраздняет тревогу о настроении революционной демократии. *(«Биржевые ведомости»)*

Чхеидзе сказал ещё ярче: обращаясь к немцам, мы не выпускаем из рук винтовки». В сущности, идеология, общая нам с союзниками. Но, господа, будьте последовательны: если вы намерены не выпускать винтовки из рук, то не дайте же ослабнуть боеспособности армии. *(«Речь»)*

...Смелый шаг, беспримерный в мировой истории. Но трудно поверить в успех обращения. *(«Русское слово»)*

...Это обращение настолько убедительно, что австро-германскому пролетариату возразить нечего.

Ребяческий идеализм тех, кто пытался навязать лозунг «долой войну» широким массам. Это не удастся! Ни один голос больше не смеет говорить о братании с немцами. Россия расправляет крылья для орлиного полёта, армия готова зажечься новым энтузиазмом.

*(«Русская воля»)*

...недоумение по поводу того, что до сих пор остаются неизвестными и президиум, и Исполнительный Комитет, и многочисленный состав Совета рабочих и солдатских депутатов. Вообще, печать обратила внимание на странную анонимность их. А Петроградский Совет играет роль центрального Совета для всей страны. Должно быть устранено всякое подозрение самозванства. Должно стать широко известно, как Совет составился, на каких основаниях организовано представительство. А ведь именно Совет горячо протестует против всяких тайн. Врачу, исцелися сам!

*(«Речь»)*

Кто такой этот влиятельный аноним с прерогативами второго правительства? Его контроль над правительством имеет не петроградский, а всероссийский характер.

...Может быть, состав СРСД сложился и не вполне удачно — в вихре революции некогда было обдумывать. Но это революционное воплощение «святого недовольства» совершенно необходимо, чтобы поддерживать во Временном правительстве реформаторский пафос.

НАРОДНАЯ АРМИЯ.

Вести с фронта всё более успокоительные — о бодром настроении в армии и готовности бороться до конца.

...Весть о крушении монархии не могла не захватить войска врасплох, от главнокомандующего до солдата. Можно было опасаться неожиданностей. Но вот становится ясным, что фронт принял новый строй.

...В одном из ораниенбаумских пулемётных полков сегодня бросался жребий, какой батальон должен выступить в первую очередь на фронт...

...Обилие военнопленных было позором прошлого. В новой армии сдача в плен станет явлением исключительным.

ОФИЦЕРСТВО. Всё офицерство как совокупность взято под подозрение. По каким основаниям? Потому что революцию начали солдаты, а не офицеры. И только. Основание не выдерживает критики. Офицерство не только нигде не защищало старого режима, но на второй же день революции всецело перешло на сторону Временного правительства и народа. И началась беззаветная борьба со всеми остатками старого режима. Один офицер в нашей редакции с горечью говорил: «Мне до слёз больно было смотреть, как неумело брались солдаты за борьбу.»

*(«Новое время»)*

Рабочие Казанской и Адмиралтейской слободы в ознаменование назначения А. И. Гучкова военным министром единогласно постановили: сверх усиленной работы на оборону надбавить производительность работ и назвать эту надбавку «гучковским процентом».

В военном министерстве. Министр Гучков отдал распоряжение, чтобы во все военные училища беспрепятственно принимались лица иудейского вероисповедания, а также баптисты, молокане.

...Нам сообщают, что предполагавшееся назначение генерала Лечицкого главнокомандующим армиями Западного фронта не состоялось ввиду того, что было признано необходимым присутствие этого генерала на Румынском фронте, знатоком которого он считается.

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ СТРАНЫ. Нелёгкое наследство приняло новое правительство от старого режима. Предшественники министра земледелия приложили старания, чтобы запутать и осложнить продовольственное дело...

*ХЛЕБ ВЕЗУТ!* Чего не могло сделать прежнее правительство, то постепенно достигается всенародным порывом. Давно ли говорили, что нужны чрезвычайные мероприятия, чтоб откопать хлеб. Проснувшаяся и не сразу разобравшаяся, что произошло, провинция... Со всех концов России извещают о пожертвованиях хлебом для армии.

...Свобода мгновенно переродила миллионы людей, и крестьянство немедленно начало вывозить на рынки продукты. Нам возразят, что в Москве и Петрограде не заметно обилия. Но не нужно забывать, что при том расстройстве, какое нам оставило самодержавное правительство... Терпели долго, потерпим ещё — и все кризисы отойдут в область кошмарного прошлого.

...Крестьянин должен помнить, что у него имеются и обязанности. Разрушение помещичьего хозяйства грозит голодом городскому населению, и город может требовать от деревни, чтоб уважались и его права.

*(Туган-Барановский, «Биржевые ведомости»)*

В министерстве юстиции уже составлен набросок законопроекта об отмене всех вероисповедных и национальных ограничений.

...Закончен законопроект об общей уголовной амнистии...

О смертной казни. Отмена Россией смертной казни в военное время явится делом беспримерным. Но это такой вопрос, в отношении которого нельзя идти в хвосте за Западом. Мы не будем мстить смертью и шпионам. Раз человек уже схвачен — нет логического основания вешать его.



Право ареста. Временные правила об условии освобождения арестованных и производства новых арестов в Петрограде...

...В первую неделю революции в Москве было отдано много приказов на право арестов и обысков. Теперь постепенно все они аннулируются. Теперь кончилось время так называемых «эксцессов». Главная работа момента — поскорее установить принцип неприкосновенности лиц и жилища.

...Не злоупотребляйте тем, что новый порядок не мстит за прошлое. Не испытывайте слишком проявляемой им терпимости. Новая Россия не мстит, но правосудие в ней будет действовать неуклоннее, чем прежде.

*Короленко*

Обыск в квартире Распутина. ...15 марта арестованы, доставлены под конвоем в Таврический дворец и посажены в министерский павильон сын Распутина и две дочери, 18 и 15 лет.

Арестованный также секретарь Распутина Арон Симанович обещал конвойным 15 тыс. рублей, если ему разрешат поговорить по телефону.

Дому Романовых, несмотря на ненасытимую ненависть к нему, ничто в России не угрожает. Но не грозит ли Свободной России опасность от дома Романовых? Отравленные властью маленькие самодержцы полезут цепкими руками за шапкой Мономаха. Довольно нам быть мягкими и гуманными! Им — не место в России! Палачи русской свободы, вы не смеете больше ходить по русской земле!

*(«Русская воля»)*

...15 марта по постановлению министра юстиции произведены обыск и выемка документов у известной графини М. Е. Игнатьевой, в салоне которой вращались высшие представители церкви и сановники.

П о д р у г а б ы в ш е й ц а р и ц ы Анна Вырубова разошлась с мужем ещё в 1908 году, когда начались её похождения с Распутиным. Бывшая царица целые дни проводила в квартире Вырубовой, здесь же назначались любовные свидания.

БЕССАРАБСКАЯ ВАНДЕЯ. Черносотенная агитация в Аккермане.

Ликвидация марковцев. В Щиграх арестован брат Маркова 2-го, а также председатель местного «союза русского народа». Заключены в тюрьму.

...Режим самовластия, опричнины, насилия над жизнью и совестью миллионов «чужих» людей в Империи... выжимая кровь и слёзы... Цепи ограничений накладывались на народы высокой культуры... Поистине кошмарное еврейское бесправие... Самодержавие в союзе с погромными бандами мнимых патриотов. Союз русского народа — вот позорное явление, в котором отразилась грязная... Очищаться от остатков старого, закладывать фундамент нового можно только революционным путём.

*(«Биржевые ведомости»)*

Телеграмма петроградской еврейской общины. Мы счастливы сознанием, что отныне все творческие порывы евреев смогут пойти на дело обновления родины.

Париж. Телеграмма главе Временного правительства: «Лига для защиты прав угнетаемых евреев с энтузиазмом приветствует русскую революцию и выражает твёрдую уверенность, что Временное правительство немедленно проведёт в жизнь полное равноправие евреев согласно своей декларации.»

...Быть может, именно затем Россия и опоздала в своих политических формах и приёмах, чтобы ей ближе всех подойти к созданию «общества будущего».

«НОВОЕ ВРЕМЯ». Суворинская газета чувствует необходимость связать своё тёмное прошлое со светлым настоящим и как-нибудь объяснить свой резкий переход от вчерашнего к сегодняшнему. Трудная задача, но нужда в покаянии заставляет. «Новое время» объясняет свою трансформацию так: вся Россия переменилась, и мы в том числе...

«Правда» умнеет. ...После хороших уроков, полученных большевистской «Правдой», эта газета, к её чести, очень быстро сдала свои пораженческие позиции.

*(«Новое время»)*

*ОДУМАЛИСЬ.* К чести представителей русского большевизма, они очень скоро убедились в своей ошибке, отреклись от своей проповеди «долой войну», и проявили гражданское мужество заявить об этом в «Правде». Таким образом, исчез последний повод для внутренней смуты.

...Следует отметить как чрезвычайно отрадный симптом, что «Правда» начинает освобождаться от опасного угара и разбираться в окружающей обстановке. Искренне приветствуем это просветление.

*(«Речь»)*

...Все крайности «Правды» в смысле тона, стиля лежат всецело на ответственности старого режима, который так долго угнетал свободное слово. Ещё неизвестно, что хуже: узкий фанатизм «Правды» или потакание обывательщине. Время не такое, чтобы бояться парадоксов. Свобода личности — краеугольный камень нового строя,— но разве не обязано было правительство лишить свободы представителей старого строя? Именно во имя будущей близкой свободы (после Учредительного Собрания) правительство сейчас не может не прибегать к насилию. Например, свобода русской цер-

кви есть одна из частных целей революции. Но пока с тела церкви не будет насильственно снята короста черносотенства — ни о какой свободе церкви не может быть речи. Поддаваться теперь на удочку софизмов о свободе — значит поощрять контрреволюцию.

*Д. Философов*

Свобода — это нежная красная роза, вынесенная на улицу Петрограда в день суровой зимы.

Советом Рабочих Депутатов установлены неслыханные доселе разрешения на бумагу для «благонадёжных газет». Что это? Все чистые восторги, надежды, упования, и вся «Европа с восхищением взирает» — но?! — строится новая тюрьма для свободной мысли?.. Цензоры прошлого не додумывались так: запрещать фабрикантам выдавать бумагу тем газетам, кто на подозрении... В час ослепительного торжества демократии больно и стыдно...

Чего только ни говорят! Через второе ухо уже не успеваешь выпустить, в голове каждого гражданина столько набирается слухов, мнений и мыслей, что в голове его происходят митинги. Сейчас он большевик, через минуту уже в окопах и лупит немцев, затем эмигрирует на Сандвичевы острова, чтоб ничего больше не видеть, не слышать, а не успев доехать до вокзала, записывается в социал-демократы. Но это — молодость народа, и хорошо, что мы не успели состариться.

...На Крестовском острове было расклеено по заборам воззвание арестовывать переписчиков населения (для хлебных карточек), так как перепись делается будто бы Союзом русского народа для организации погрома. Крестовский остров считает себя автономным и подчиняется только Государственной Думе.

...Разъясняется, что чиновники и офицеры также должны быть внесены в ведомости на получение хлеба, наряду со всеми.

**ВОЗЗВАНИЕ КОМИССАРА г. МОСКВЫ.** ...Многие и с карточками на руках, простояв много часов у булочных, не получают... При разгроме полицейских участков много хлебных карточек было расхищено и пущено в обращение... Солдаты получают вне очереди и без карточек... Не забывайте однако, что новая власть существует всего две недели. Нельзя в полмесяца создать заново то, что в обычное время строится веками и десятками лет. Граждане, вы произвели величайшую в мире революцию, низложили сильнейшего монарха Европы. Призываю же вас к самообладанию. На короткое время ограничьте свои потребности.

*Н. Кишкин*

...В успокоение жителей Москвы заведующий сахарным отделом сообщает, что город обеспечен сахаром с избытком относительно нормы потребления.

**Грузинов в Алексеевском училище.** «Юнкера! — теперь господ нет. Я счастлив, что в Московском округе солдаты и офицеры именно спаялись. Я думаю, вы понесёте в армию живой дух — и об него разобьётся железный немецкий кулак.» Повинуясь приказу подполковника, юнкера побороли своё стремление идти с приветствием к городской думе. Один из юнкеров обратился: «Дорогой подполковник! От всего сердца приветствуем вас, одного из вождей революционной армии, первого командующего, избранного народной волей. Все мы пламенно желаем...»

**ПРИКАЗ ПО МОСКОВСКОМУ ВОЕННОМУ ОКРУГУ.** ...Солдатам надлежит внушить, что они должны соблюдать железнодорожные правила, не позволять себе никаких бесчинств и быть вежливыми с пассажирами...

*Грузинов*

**А р е с т  г у б е р н а т о р а.** По распоряжению комиссара г. Москвы Кишкина арестованы владимирский губернатор и его супруга и доставлены под конвоем в Таврический дворец. Во Владимире толпа намеревалась совершить над ними самосуд. У губернатора сломана нога, у губернаторши вырваны из головы клоки волос.

**Иркутск.** Жандармские офицеры, арестованные в первые дни революции, предаются теперь суду.

**Тифлис.** Дворец наместника взят для общественных нужд в веденье Исполнительного комитета Совета. Ежедневно в воинское присутствие являются группы уклонявшихся от воинской повинности. И заявляют о готовности отдать жизнь за счастье свободной родины.

**Владикавказ.** Тёмные силы ещё не сложили оружия. Особое сопротивление оказывают осетины и ингуши. Из многих станиц поступают сведения о работе тёмных сил.

**УДАЛЕНИЕ ПАМЯТНИКА СТОЛЫПИНУ. Киев, 16.** На сегодня назначен праздник свободы. Ночью войска оцепили думскую площадь, и начались работы по удалению памятника Столыпину. К утру работы не были окончены. Фигура Столыпина, сдвинутая с пьедестала, окутанная цепями, висела на блоках. Огромные толпы народа, еле сдерживаемые цепью милиции, с большим интересом следили за работами. В 3 с половиной часа дня фигура Столыпина грохнулась на землю. Толпа с криком «ура» кинулась к поверженному Столыпину. Мимо бесконечной рекой потекли манифестации с оркестрами. Украинские процессии шли под марш запорожских казаков. Телеграфисты — с плакатом: «Телеграф — глаза и уши революции». Фигура Столыпина, весящая около 400 пудов, затем вывезена грузовыми автомобилями.



**Проезд Николая Николаевича в Крым. Киев, 16.** Приехавшего из Ставки великого князя на вокзале встречали его супруга, брат, супруга брата и Мария Фёдоровна. Высшей администрации не было. Великий князь не выходил на перрон.

**Одесский уезд.** Ненадёжные элементы старой полиции ликвидированы: часть бежали, частью арестованы. Был случай оставления их на местах по желанию жителей. Деревня нуждается в немедленном содействии интеллигентных сил для усвоения происшедшего.

**Могилевская губ.** В Рогачёвском уезде аграрные беспорядки. По прибытии солдат все взятые вещи возвращены потерпевшим. Усилена охрана винокуренных заводов. В Савинском уезде началась самовольная порубка крестьянами казённых лесов. Крестьяне согласились, что совершают беззаконие, и прекратили порубки.

**Астрахань.** Рыбачье население сместило казённую рыболовную полицию. В некоторых местах казённые рыболовные участки захвачены местным населением.

**Троицкосавск.** Веками угнетённые буряты радостно встречают благую весть...

**П Р И В Е Т С Т В И Я.** ...Председатель ГД Родзянко продолжает получать телеграммы... от доктора Сун-ят-Сена, от социалистической партии Аргентины, от французской масонской ложи «Великий Восток»...

**Привет масонов. Париж.** Масоны ложи «Великий Восток», собравшись на малый конвент, отправили телеграмму князю Львову, выражая надежду... что Государственная Дума и Совет Рабочих депутатов сумеют сосредоточить всю нацию под одним братским знаменем.

...Депутация дворников заявила Совету, что все подозрительные элементы исключены из их среды. Вся масса петроградских дворников, в числе около 5 000 человек, выражает желание прийти в Гос. Думу для выражения своей готовности.

...Долой ремесленное сословие как учреждение архаическое!..

**Разгром квартиры банкира Гутмана.** Трое в студенческой форме... Связали прислугу, взломали все хранилища и унесли ценности и деньги.

**Арест громил.** 15 марта ночью сторожа Апраксина рынка, обходя галереи, задержали нескольких человек, взламывавших магазинные замки. Громилы оказались из числа освобождённых революционным движением каторжан Шлиссельбургской тюрьмы.

**Обыски в притонах по Свечному пер.** ...Задержано несколько женщин. У одной оказались снимки окрестностей Петрограда... Подозрение в шпионстве...

**Неосторожное обращение с оружием.** Один из милиционеров нечаянно взвёл курок... Раненые доставлены...

**О к о л о  э к р а н а. Письмо артистов.** Беззастенчивые спекулянты, прикрываясь лозунгом свободы, выбрасывают на рынок циничные фильмы, вроде «Похождения Распутина»...

**Самоубийство в Таврическом дворце.** 16 марта на рассвете из солдатской винтовки застрелился в Совете Рабочих Депутатов делегат 3-го Сибирского ж. д. батальона. Ещё был жив: «Я не сумел справиться с возложенной обязанностью, мщу себе за это»... В письме: «Я прибыл в Петроград 3 марта. Приветствие от батальона так и не попало в «Известия», председатель забыл дать записку. Я просил три раза редактора внести поправку. Он забывал, а я терзался душевно. Всё это сделало меня полоумным. Так хочется жить на заре лучшей народной жизни.»

БИБЛИОТЕКА ПРОСВЕЩЕНИЯ. Книжный склад **ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОЛЬЗА.** «Интернационал», «История Коммуны», «Всеобщая стачка», «Исторический материализм», «Общественное движение в России», «Положение рабочего класса».

В ближайшие дни выйдет в свет закрытый царским правительством в 1905 году журнал **П У Л Е М Е Т.**

Литейный театр, новая программа **КРАХ ТОРГОВОГО ДОМА РОМАНОВ И К°.** Гротеск.

**Театр «Мозаика». П ь е с а  «Г и л ь о т и н а».** *Концерт цыган.* В концертном зале кабаре до 2-х ч. ночи.

**С в а х а  н у ж н а** солидная, со связями — для молодого человека, имеющего общественное положение.

*Господа рекомендуют* камеристку, честную девушку.

Требуется судомойка с хорошей личной рекомендацией, приходить с паспортом.

**ГЕРМАНО-АМЕРИКАНСКИЙ КОНФЛИКТ.**

**Германо-китайский разрыв.**

**Угроза германцев.** В перехваченной радиотелеграмме из Берлина сообщают, что германцы угрожают военными действиями, каких ещё никто не видел. Гений Гинденбурга в соединении с новыми методами войны...

**Стокгольм.** Поезда, отправляемые в Россию, переполнены возвращающимися на родину русскими.

Правое крыло шведских консерваторов, т. е. по нашей терминологии черносотенцы...

*(«Новое время»)*

...Довольно споров о каких бы то ни было вопросах, кроме защиты Родины! Помните, что Петроград — не крепость, и если бы Вильгельму удалось до него добраться... Взятие Петрограда равносильно победе над Россией.

**Телеграмма Кропоткина.** ...Дети России, спасите нашу страну и цивилизацию от чёрных сотен Центральных Империй! Противопоставьте им героический фронт!

...воскресшую из смрадного гроба Россию защитить от врага...

...По Канту: «долг человека — смысл Вселенной». Вместе с Россией и мы, поэты-символисты, приняли эту войну — как величайшее социальное жертвоприношение. Старый мир багряно умирает. Преображение мира происходит в торжественном соборном действе. Но дракон ещё не повержен окончательно, и вселенское дело не кончено.

*Ф. Сологуб*

...Третий год мы стоим на рубежах, грудью отстаивая родину от вторжения осатаневшего гунна, который в жертву гнусному Молоху растерзал Бельгию, Сербию и Польшу. Он протягивает когтистые лапы, силясь схватить за горло прекрасную Францию, вольную Англию... До нас долетают неясные крики предателей свободы, требующих прекращения войны. Они раздражают нас и должны исчезнуть. Нас не смутит наивный лепет о немецком пролетарии...

Согласитесь, что люди имеют право знать, кто им приказывает. Хотелось бы думать, что ни анонимов, ни псевдонимов больше не будет в большом государственном деле.

*(«Русское слово»)*

НАРОДНАЯ АРМИЯ.

...Боязнь дезорганизации в армии в значительной мере преувеличена. Со дня на день в армии растёт сознание необходимости солидарности. Теперь-то и будет спаянность между офицерами и солдатами... Новая гражданская дисциплина... *(«Биржевые ведомости»)*

...Телеграмма оберуполномоченного Щепкина: «В восемь дней кроме бесед произнёс населению и воинским частям 43 речи. Всюду доверие, дисциплина повышенная.»

...Наши товарищи под удушливыми газами, под огневыми струями, под свинцовым дождём, холодные, голодные, молят нас о помощи и смене. Самовольно отлучившиеся из Литовского батальона должны возвратиться в указанные сроки, иначе будут приняты лишь по постановлению комитета.

...Раньше у дезертиров было много смягчающих вину обстоятельств. Теперь — дезертирство ничем нельзя оправдать.

**ИНВАЛИДЫ И ВОЙНА.** Инвалиды, находящиеся на излечении в московских госпиталях, протестуют против лозунга «долой войну»: «Мы потребуем выдать нам оружие, будем умирать в окопах, но отстоим свободу родной России.»

**Об облегчении участи лиц, совершивших уголовные преступления.** Постановление Временного Правительства. ...Освободить от суда и наказания не выше заключения в крепости или тюрьме... Уклонившихся от воинской повинности, если явятся не позже... Освободить от всех последствий судимости с правом повсеместного жительства. Каторгу, исправительное арестантское отделение уменьшить наполовину... Освободить от суда и наказания лиц, обвиняемых в промотании казённого оружия, в самовольном оставлении своих частей...

...Воспитанный в атмосфере бесправия и неуважения и человеческой личности, прежний тюремный персонал в ближайшем будущем будет удалён. Для подготовки новых кадров начальников мест заключения будут открыты краткосрочные курсы тюрьмоведения.

...Началась «чистка Авгиевых конюшен» судебного ведомства. Список увольняемых должен расти с каждым днём. Пусть задумаются над словами министра Керенского, что «пусть у лиц, служивших старому строю, хватит мужества уйти».

...Таких идиотов, кто по свободному разумению стояли бы за самодержавную монархию, в России больше нет...

...Но, конечно, пропагандой не исчерпывается. Произвести безошибочный отбор вчерашних героев. С ними необходимо обойтись как с врагами... Они должны быть лишены всякого общения с населением... Удалите их... Арестуйте их... судите их. Изолируйте всеми законными способами, но без мягкотелой сентиментальности... Они не поколеблются покрыть шестую часть земного шара



виселицами, если б одолели сейчас. Если нам суждено пережить смуту, то только в провинции будет её начало. Это надо предвидеть и предупредить.

*(А. Вершинин, «Биржевые ведомости»)*

...Там, в глуши, куда ещё не донёсся благовест новых дней, там ещё чёрная сотня щёлкает зубами...

**Происки реакционеров.** Низложенную царскую чету при первом громовом ударе покинули все, кто вчера ещё лежал, распростершись ниц перед престолом. Все они спешат выразить удовольствие от ниспровержения самодержавия, торопятся обвесить себя лентами революционных цветов и предложить Временному Правительству свои продажные услуги... Но притихшая реакция начинает поднимать голову, и против неё...

**НЕ СПЕШИТЕ ЗАБЫВАТЬ!** Это слепой оптимизм, что Николай II уже в прошлом и обезврежен. Короткую память надо иметь, чтобы так скоро позабыть режим засилия. Забить осиновый кол в могилу династии! Нет, русская печать не должна умолкать о её грязных скандалах. Россией управляла шайка политического негодяйства! Слишком великодушны те, кто предлагает набросить вуаль на преступные тайны царскосельских разбойников, на скверну царизма. Нет, рассказывать, рассказывать и рассказывать!

*Амфитеатров*

ЗА ЧТО АРЕСТОВАН ГЕНЕРАЛ ИВАНОВ. Имеются данные, вполне уличающие его в замыслах против революционного народа. Поводом к аресту явились показания георгиевских кавалеров, с которыми он ехал для усмирения.

СЛЕДСТВЕННАЯ КОМИССИЯ. Независимо от Чрезвычайной Следственной Комиссии при министре юстиции образуется и при московском комиссаре местная следственная комиссия для рассмотрения дел арестованных лиц, опасных в смысле их участия в контрреволюции.

Арестован полковник Резанов, проводивший следствие по делу Д. Л. Рубинштейна.

**Объяснение Маркова 2-го.** «...В том, что монархическая печать получала поддержку от монархического правительства, ничего предосудительного нет, как и в том, что нынешнее революционное правительство поддерживает Совет Рабочих и Солдатских депутатов. Мы старались просветить народ, но не готовили из своих отделов вооружённых отрядов. Сравнительно с действительной потребностью помощь правительства была ничтожна. Ныне, как известно, полная свобода печати, и потому редакция и типография „Земщины" конфискована, редактор „Русского знамени" сидит в тюрьме, а остальным правым изданиям во имя равноправия воспрещено выходить в свет.»

ЗАДАЧИ ЦЕРКОВНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. ...Очистить личный состав органов управления от элементов... Наряду с чисткой личного состава следовало бы установить строгий общегосударственный контроль над денежными капиталами и всяким прочим имуществом церкви. Конечно, новая государственная власть не может примириться с наследием прошлого в составе Синода. Но для этого надо вызвать деятельность республиканского духовенства... Петроград и Москва одни уже могли бы послужить базисом для новой организации церкви. Обер-прокурор Синода как комиссар правительства должен был бы, немедленно распустив св. Синод... Предупредить, что будущий церковный собор не явился бы орудием...

*(«Речь»)*

В ночь на 17 марта произведены обыски и арестованы: директор канцелярии обер-прокурора, управляющий синодальной типографии и ещё несколько синодальных чиновников.

КУРСЫ ЗАКОНА БОЖЬЕГО, ИСТОРИИ И ЕВРЕЙСКОГО ЯЗЫКА, учреждённые раввином Айзенштадтом. *Занятия продолжаются.*

**ДАВНО ЖДАННЫЙ ДЕНЬ.** Создалась целая «поэзия русско-польской дружбы, спаянная кровью»... Лживые декларации старого лицемерного правительства... Царское правительство откладывало решение польского вопроса. Положение спасла великая русская революция. Свободный народ отринул ложь старой власти... «За вашу и нашу свободу!»

*(«Новое время»)*

В 9-й аудитории университета состоится **сходка студентов-евреев** для обсуждения вопросов переживаемого момента.

**ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ БУНДА** состоится в Петрограде 1, 2, 3 апреля... Отношение к войне и восстановление Интернационала, взаимоотношения Совета Рабочих Депутатов и Временного правительства... равноправие евреев и культурно-национальная автономия, отношение к политическим партиям и группам в еврействе и к общееврейским учреждениям, задачи партийного строительства, съезд Бунда...

**Перепуг «Правды».** «Правда» сама себя произвела в герои-мученики и с перепугу вообразила, что против неё «организован поход буржуазной контрреволюции». С тонкостью Ляпкина-Тяпкина она объясняет... Страхи её так же преувеличены, как представление о своём влиянии.

...«Правда», после короткого момента просветления, отказывается даже от оборончества.

«ПРАВДА». На неё ополчилась буржуазная пресса, которой большевизм не по сердцу и, главное, не по карману. А во всей буржуазной прессе нет ни одного органа, который мог бы похвастаться такой кристальной чистотой.

*(«Московский листок»)*

Откуда опасность контрреволюции? Революция — не праздник разрушения, но торжество государственного строительства. Европа изумляется той стройностью, с какой совершился у нас государственный переворот. Русская социал-демократия обязана покорно преклониться перед священной волей русского народа закончить войну победой.

(«Новое время»)

ГНУСНЫЙ ПРИЗЫВ. Нам доставлена отлично отпечатанная прокламация за подписью «Харьковский комитет» и от имени Российской социал-демократической партии. Она содержит ряд грубых выходок против Государственной Думы, Родзянко, Милюкова и призыв распространять лозунг «долой войну». В конце прокламации жирным шрифтом гнусные слова: «Да здравствует гражданская война!»

Нельзя допустить, конечно, чтобы социал-демократическая партия выпустила такую преступную прокламацию. Очевидно, контрреволюция работает вовсю. Нам пишут, что прокламация усердно распространяется среди населения. Слишком много негодяев старого режима, которые ни перед чем ни остановятся.

*(«Речь»)*

**Городские дела.** О наилучшем использовании для общественных нужд свободных зданий Александро-Невской Лавры. Юревич и Книпович вместе со следователем по особо-важным делам посетили... В настоящее время там проживает всего около 200 человек братии и прислуги. Решено разместить: воинские части, камеру судебных следователей и дом для приезжающих.

...Вино для церквей отпускать по удостоверениям, выдаваемым общественным градоначальником.

В Тенишевском училище состоялось общее собрание учащихся средних учебных заведений Петрограда. Прочтено приветствие от министра просвещения. Юные ораторы не пожалели чёрных красок заклеймить старый порядок в средней школе... Представители учительского союза и педагогического общества восхищались зрелым пониманием, обнаруженным учащимися... «Мы пойдем в деревню не только помочь крестьянам пахать, но будем пропагандистами»...

**У будущих могил.** 17 марта. Несмотря на объявление, что похороны жертв революции отложены, сегодня из некоторых частей города к Марсову полю потянулись дроги с гробами. Ошибочно привезенных покойников пришлось вернуть.

**В совещании петроградского городского головы.** ...Сложная задача, как охранить от тёмных элементов все дома в столице, когда население из них выйдет на улицу на похороны жертв революции. Решено держать на запоре все дома и чердаки. Ко дню похорон будут изъяты целые группы преступных элементов...

**Трамвай.** Московский трамвай с каждым днём работает всё хуже и хуже. Например, 16 марта на работе было всего 30 % вагонов от действовавших до начала событий. Объясняется это тем, что рабочие относятся к своему делу вяло. Городское управление решило обратиться к Совету рабочих депутатов с просьбой оказать давление на рабочих в целях предупреждения полной остановки, а к рабочим — с воззванием не сокращать числа рабочих часов.

**Таинственные** автомобили появляются в Москве в ночное время, несутся с бешеной скоростью. Пока существенного вреда никому не причинили.

ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ. Комиссар казённой палаты обращается к населению Москвы с напоминанием, что подоходный налог не отменён.

**Подполковник Грузинов.** Вчера командующий войсками, проезжая верхом по городу, обратил внимание, что у Спасских казарм идёт оживленная торговля солдатскими вещами. Командующий въехал в середину толпы и обратился к солдатам с короткой речью, что они расхищают народное достояние. Обратясь к покупщикам, он напомнил, что скупка солдатского имущества преступна. Солдаты тут же потребовали обратно уже проданные вещи, и скупщики охотно их возвратили.

**Из приказов по Московскому военному округу.** ...Солдаты и офицеры рот пополнения! Армия ждёт-не дождётся вашей поддержки. Напрягите все свои силы, готовьтесь к отправке на фронт. Держите связь со свободным русским народом — он вас накормят, напоит, только не дайте зачахнуть его свободе.

*Грузинов*

ПРОТИВ ПОРАЖЕНЧЕСТВА. В провинции нарастает сильное движение против распространяемых от имени какого-то Совета рабочих депутатов летучек с призывом «долой войну!» Собрание жителей Сергиевского посада...

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПАСНОСТИ. Не прекращаются слухи о погромной агитации на местах. Провинция не пережила великих дней переворота, как мы, не ощутила этого энтузиазма — и враги переворота там не обезврежены, как здесь. Совершается великая ошибка: происходит централизация отечественной истории в Петрограде. Надо дать русской провинции то ощущение счастья и радости освобождения, которое испытали мы. Массам нужны эмоциональные восприятия. Устраивайте парады, спектакли, зрелища, пусть массы на местах получат свою долю праздника революции и непременно официального. Кричите о великом счастьи освобождения! В провинции имеется беспутная чернь, усиленная теперь неосторожно выпущенными уголовными преступниками. Можно не верить в русскую Вандею, но можно верить в российский погром. Бессарабская, Херсонская, Подольская губернии — полоса изуверства и зверства. Ergo, необходимо принять меры немедленно. Не верьте этой тишине на местах, за ней чувствуется предательство.

*(«Новое время»)*

Сход **Подорвановской волости Пешехоновского уезда** постановил: убрать царские портреты, оставить только Царя-Освободителя.

**Минск.** Из уездов поступают сведения о порубках в частновладельческих лесах.

Из волостного приговора... низвержение старого преступного правительства... горячо приветствовать борцов за народную свободу... Ввиду малого запаса дров на будущую зиму — оставшийся запас очередных делянок распилить на дрова. Должна быть низложена спекуляция, торговать чаем и табаком по цене этикета...

**Красноярск.** Многие крестьяне сдают в казначейство попрятанное золото и серебро.

**Рыбинский уезд.** Крестьянское население собрало крупные суммы на памятник в честь павших борцов за свободу. Волостное собрание постановило: в память освобождения от романовского ярма все солдатки отказываются от мартовского пайка в пользу правительства.

...В ответ на призывы доставлять хлеб для армии — со всех концов России приходят телеграммы от лиц, жертвующих хлеб... В **Пензенской губ.** многие сельские общества жертвуют хлеб бесплатно. 4 волости пожертвовали 12 тысяч пудов.

Появление продуктов, падение цен на рынках...

...На днях ожидается закон об укреплении навсегда запретительных мер по продаже спиртных напитков.

**Митинг полицейских. Одесса.** Полиция должна отдать свои силы на служение обновлённой России. Отныне участок должен перестать быть презренным отверженным местом... Если нам выкажет доверие Совет Рабочих и Солдатских депутатов...

**Одесса.** Студенческий комитет возбудил ходатайство о распространении среди населения громадных запасов литературы 1905 года. Ходатайство будет удовлетворено. В комитет поступают сведения о попытках притаившихся монархистов сеять смуту. Совещания монархистов немедленно раскрываются, некоторые участники арестованы. Правая «Русская речь», преобразовавшаяся было в «Свободную Россию», окончательно прекратилась.

**Ф. И. Шаляпин** сочинил слова и музыку нового гимна «Свободный гражданин» и исполнит его в воскресенье с хором Мариинского театра:

К оружью, граждане, к знамёнам,
Тиранов жадных свергнут гнёт,
Знамёна красные — вперёд,
Во славу русского народа!

...Вчера, 15-го, в первом балетном спектакле зал Мариинского театра, полный демократической публики от верхних ярусов до первых рядов кресел, представлял редкостное зрелище. Не было отвратительных фраков и низко вырезанных жилетов со снежно белеющими манишками, ни следа ресторанно-аристократического шика, обычно господствующего на балетных представлениях. Не было безвкусицы расфранчённых неприличий и безбрежных богатств, амальгамы биржи и кокетства... Перед третьим действием вся труппа выстроилась на сцене, под марсельезу, Фокин прочёл от артистов адрес с выражением преданности новому строю. Карсавина сидела в ложе честных борцов за новую гражданственность.

Посох «Васи-Босоножки». В следственную комиссию при Гос. Думе доставлен посох юродивого, железный, весом около пуда, на нём выгравирована надпись следующего содержания: «Сей посох дан страннику Василию Его Императорским Величеством». Следственная комиссия нашла нужным отобрать посох, дабы «Вася-Босоножка» не мог использовать надпись на посохе для агитации среди тёмных масс.

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ПЕРЕД ВОЙНОЙ. Президент Вильсон в своём послании к конгрессу в понедельник укажет, что Соединённые Штаты были вынуждены к войне.

Английские войска в 70 километрах от Иерусалима. Новый крестовый поход! В случае овладения Палестиной Англия официально выскажется за предоставление страны евреям для колонизации.

Приготовление Бразилии к войне... варварская германская подводная война...

ПРОРЫВА НЕ БУДЕТ. Ввиду близкой распутицы нельзя ожидать решительных действий противника... остающиеся недели распутицы будут употреблены Германией на энергичную подготовку операций.

Победа или рабство. Всего несколько недель отделяют нас от начала нового немецкого наступления. Не сумев устоять, мы потеряем золотую свободу.

*(«Новое время»)*

...нужно призвать и старых и малых. Нужно превратить ночи в дни и работать изо всех сил...

Страна ждёт от петроградских рабочих чуда, что 8-часовой день не подорвёт производства. Заводские комитеты несомненно помнят прекрасное место из речи Ллойд Джорджа... Они не уподобятся приспешникам старого режима, забывавшим обо всём, кроме своих интересов...

*(«Новое время»)*

**Телеграмма химического комитета.** Доношу, что государственный переворот не вызвал остановки заводов взрывчатых веществ, удушающих средств и кислотных... Рабочие проявляли радость событиям только в свободное время...

*Академик Ипатьев*

Батальон 1-го марта... из бывших дезертиров, добровольно желающих в строй, и из солдат, освобождённых из тюрем... Командный состав батальона будет избираться, должности будут распределяться вне зависимости от числа звёздочек на погонах. Может быть это — первая частица республиканских войск, будущий оплот свободы против посягательств контрреволюции!.. Товарищи солдаты-дезертиры! Вам указывается путь доказать вашу любовь к Родине. Батальон ходатайствует о присвоении ему имени подполковника Грузинова.

**Химики и огнеметчики!** Ротный комитет извещает, что если не явитесь в часть до 28 марта, то будете считаться изменниками родины, сторонниками старого режима и отданы под суд.

...объявляется, что явка дезертиров ещё раз отложена до 15 апреля, последний срок...

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБ ОТМЕНЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ.**

...Отмена казни в момент торжества революции — признак великодушия и проницательной мудрости. В новой свободной России уже никогда не может быть того надругательства над человеческой душой...

Керенский со слезами на глазах сказал: «Я счастлив, что мне выпало на долю подписать указ об отмене смертной казни в России навсегда.»

...Сотни лет лучшие умы мира боролись с этим жестоким бессмысленным... Тысяча раз доказана бесполезность устрашения смертью. Тем не менее до настоящего дня даже в демократических государствах, как Англия, Франция и Соединённые Штаты, смертная казнь продолжает существовать... Никогда, ни при каких условиях, ни за какие вины Россия не будет больше убивать своих граждан. Что бы ни дала наша свобода потом,— более полного выражения народоправства не найти! День очищения народной души от величайшего греха монархической России.

*(«Биржевые ведомости»)*

**СМЕРТЬ ГИЛЬОТИНЫ.** Одна великая революция ввела гильотину, другая отменила её. Как празднично светло и красиво, что свободная республиканская Россия начинает с отмены казни! Власть подаёт обществу возвышенный пример облагорожения нравов. Великая Французская Революция, провозгласившая высокие принципы, не гнушалась насаждать их при помощи палача. Русская революция начинает с того, что берёт человеческую жизнь под охрану. Отменить смертную казнь во время войны может только власть, сознающая свою силу.

...Кто теперь смеет упрекнуть революцию в кровожадности? Кто осмелится оспаривать её глубокую чистоту?

ОТМЕНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ. Быть может, завтра эта реформа, которой страна тщетно ждала при старом строе, станет законом. Могут упрекнуть, почему правительство начинает с уравнения инородцев, а не уравнения крестьян... А тут — ничего не надо создавать, а только разрушить уродливые...

Но все правоограничения национальностей бледнели перед чистосредневековой системой издевательства и гнёта, которой подвергался еврейский народ.

*(«Русское слово»)*



...Прежде всего по отношению к евреям беспрерывно производились эксперименты, которые в последние годы приняли характер открытого глумления и издевательства над человеческим достоинством. Царизм может сказать про себя словами Макбета: эту кровь не смоет с рук весь океан Нептуна!

Отмена вероисповедных и национальных ограничений... в отношении жительства, передвижения; приобретении вещественных прав на имущества, не исключая казённых; представления их в залог; участия в казённых подрядах, поставках, акционерных обществах, публичных торгах; найма рабочих; занятия всяких должностей также и в государственной и военной службе; поступления в учебные заведения, преподавания в них; занятия должностей присяжных заседателей и попечителей. Действие проекта не распространяется лишь на германских, австрийских и венгерских выходцев. Акт будет обсуждаться во Временном Правительстве 18 марта.

**Приезд американских капиталистов.** ...сообщают о приезде в скором времени в Россию большого числа русских евреев, предполагающих применить капиталы на дело развития русской промышленности. Лицо, недавно вернувшееся из Нью-Йорка, рассказывает, что нигде не приходилось наблюдать такого интереса к России, как среди русских евреев.

*(«Новое время»)*

**Возвращение политических эмигрантов.** В Торнео называют свою принадлежность к политическим эмигрантам — и комендант, не входя в проверку этих данных, предоставляет таким лицам места в первом же курьерском поезде. Эмигранты проверяются комиссаром лишь на Финляндском вокзале.

В первые дни революции, как известно, жандармы, охранявшие пограничные станции, бросили свои посты, вследствие чего через Торнео хлынула в Россию масса шпионов. В настоящее время охрана границ восстановлена.

**ХВАЛА МАРКОВУ 2-му.** Он всегда в принципе отвергал свободу слова. Теперь он требует её для себя. Он говорит: старый порядок я защищал раньше, остаюсь его защитником и в дни падения. Согласитесь, в этой позиции Маркова больше достоинства, чем в пресмыкательстве оборотней, поспешивших преклониться перед новым строем.

**НОВАЯ ЭМИГРАЦИЯ?** Некрасивая картина массового отъезда из Петрограда. Буржуазные слои, которые молчаливо приняли переворот, но взирают на будущее с тревогой... Дряблые души, лишённые чувства гражданственности, у них нет веры в прочность нового уклада. Они перенесут панику за рубеж, дискредитируют дело свободы в глазах иностранцев. Изменники нашему демократическому строю, они увозят из страны массу денег, подрывают курс рубля.

**РЕЧЬ КЕРЕНСКОГО В СВЕАБОРГЕ.** ...Я приехал принести финляндскому народу весть о его свободе, которую дал ему русский рабочий, крестьянин, солдат. Отныне прочь всякие сомнения! Позвольте мне объявить финляндским гражданам, совершившим политические преступления, полную амнистию! Товарищи, на днях я еду в Ставку для свидания с генералом Алексеевым. Позвольте мне ему сказать, что отныне он может надеяться на Балтийский флот, как на самого себя? Можно мне это ему сказать? *(Рукоплескания, «просим!»)*

**Союз писателей.** Русские писатели должны немедленно создать общедоступную народную литературу по всем важнейшим идейно-политическим вопросам, которая помогла бы тёмным людям уловить идеи...

*(Любовь Гуревич, «Речь»)*

Искусство должно служить народу! В демократическом государстве искусство имеет право на существование, поскольку оно является орудием народного просвещения.

...В Таврический дворец продолжают поступать арестованные, но это по большей части лица, не совершившие никаких преступлений. Их тотчас освобождают.

Облава. В ночь на 18 марта в разных районах Петрограда задержано милиционерами 70 воров.

**Мнимые страхи.** В комиссариат Лесного района явилась жительница с заявлением, что она укажет штаб черносотенцев, у которых несколько автомобилей, вооружённых пулемётами, они разъезжают по окрестностям Петрограда и расстреливают прохожих и милиционеров. При проверке выяснилось, что никакого штаба черносотенцев и никаких автомобилей не имеется, заявительница оказалась психически больной. Подобных заявлений много поступает, особенно в окраинные комиссариаты.

**Надзор за проституцией.** Отменён прежний надзор полицейских комитетов с врачами. Ныне для женщин, занимающихся позорным промыслом, будут созданы особые приёмные пункты.

**Воззвание комиссара Москвы.** Граждане! С падением старой власти пришлось устранить и ту полицию, на которой лежало взыскание налогов. Но потребности государства не могут ждать ни дня, ни часа. Граждане, несите сами в казначейство налоги, какие с вас следуют.

**Предупреждение населению.** За последнее время участились случаи принуждения торговцев продавать товары, находящиеся у них на складах. Комиссар Москвы Кишкин просит население сохранять на некоторое время полное спокойствие... Все эти запасы будут предоставлены не случайно

подошедшим группам населения. Бессистемная продажа товаров влечёт за собой ухудшение положения.

**Присяга Грузинова.** ...В 12 час. дня в Кремле, на Царской площади против Архангельского собора, командующий войсками с чинами штаба принесёт присягу на верность российскому государству, после чего гарнизонным духовенством будет отслужено молебствие. По приказу командующего на торжество явится от каждой части по взводу со знаменем.

**Приказ комиссара по Москве.** Для устранения затруднения в движении населения предписываю немедленно приступить к очистке мостовых и тротуаров ото льда, снега и сора.

**Ростов-на-Дону.** Общественный комитет решил распустить выборную городскую думу как непригодную в условиях настоящего момента. Нахичеванская дума остаётся, исключаются только гласные, заведомо негодные по своим антиобщественным взглядам.

**Тюмень.** Прекращена газета «Ермак». Издатель заключён в тюрьму.

**Нижний Новгород.** В приказе по гарнизону объявлено, что ввиду высокого значения Совета Солдатских Депутатов — временно считать всех его членов неприкосновенными, не приводить в исполнение дисциплинарных взысканий к ним, освободить от нарядов и обязанностей службы. По всей губернии началась чистка приверженцев старой власти.

**Одесса.** Арестованы ещё несколько видных черносотенцев.

**Житомир.** Прекращено печатание правой газеты, её редактор — председатель Союза русского народа, арестован.

**Д Е Р Е В Н Я.** Переворот был совершён городом. Деревни город не знает, но установилось подозрительное отношение к ней. Само Учредительное Собрание в крестьянских руках начинает казаться опасной игрушкой. В среде крестьянства нет никакого ясного самосознания. По деревням не стало житья от воров и хулиганов.

**Новая сенсационная книга ТАЙНЫ РУССКОГО ДВОРА.** Закулисная жизнь Николая II. Секрет распутинского влияния на женщин. Распутин и экзимператрица. Тайны великосветских салонов.

*Молодая* особа с хорошим разборчивым почерком...

**МЭЗОН АНГЛЕЗ.** К сезонам в колоссальном выборе МАНТО, ПАЛЬТО, КОСТЮМЫ.

В СИБИРСКОМ ЭКСПРЕССЕ желаю купить билеть, плачу за переуступку.

***ОСТАТКИ ВЕНСКОЙ МЕБЕЛИ*** продаются в очень большом количестве.

## 643

Так и чуяло сердце Николая Иудовича: не обойдётся. Ох, нет, не обойдётся!

Уехал как мог далеко ото всех этих опасных мест — и от Петрограда, и от Могилёва — в Киев. В Киев, где он так долго и счастливо служил командующим Округа, оставил хорошую память, имел много друзей,— хотя и здесь теперь кипела со всею страстью революция, но тут-то он думал перебыть. Нет, не удалось! Разнёсся по Киеву слух, что он приехал, достиг Исполнительного комитета — и именно его здешние знакомства и связи почему-то толкнули комитет на подозрение, что генерал может что-то злоумышлять, может перестать быть верен новому правительству.

И два дня назад его незаслуженно жестоко арестовали — а позавчера, неведомо зачем, отправили в злогрозный Петроград, от которого он не знал, как унести ноги дальше.

За что??! Откуда же он мог знать 28 февраля, что мятежники станут правительством?

Правда, везли его благородно: никто не стоял у купе со штыком, никакого конвоя, а сопровождали генерала два киевских офицера, самых предупредительных. Можно было на станциях выходить из вагона гулять — но Николай Иудович не вышел ни разу, ни даже в Могилёве, где прирастал его вагон, откуда вся беда его и пошла. (Да боялся он — и чтоб не оскорбили прохожие солдаты.)

Этой дорогой от Киева до Петербурга сколько раз он ездил прежде, сколько мест знал глазом,— сейчас на эти поля и междулесья, где боролись туман, солнце, снег, вода и чернеющие проталины — с новым отрешённым захолонувшим чувством смотрел Николай Иудович, пытаясь проникнуть в свою чёрную судьбу и найти выход.

Он уже видел по многим расправам и общему суматошью, что могут засудить и безо всякой вины, разорить, растоптать. А за ним,— за ним пристрастный взгляд мог найти и вину?

Но взгляд справедливый должен был высветлить от обвинений: нет, не было вины за генералом Ивановым, не было!

Теперь он особенно жалел о несчастных обстоятельствах 2-го марта — что не удалось ему тогда встретиться с Гучковым. Достаточно было в тот день оправдаться перед Гучковым — и теперь, когда он стал военным министром, никто б и руки не поднял на Николая Иудовича.

И, как съедающий парной туман на полях, клубилось в нём: надо оправдаться перед Гучковым! Ещё и сейчас не поздно написать, подать обстоятельный доклад Гучкову.

Но в дороге ему не пришлось написать: ещё не были готовы все доводы, и трясло. Да чем больше он обдумывал свою защиту — тем более она глубилась, расщеплялась, уже целое дерево корней и ветвей.

Сперва подробно обдумывал он свои действия в первомартовские дни. Взгляду придирчивому, недоброжелательному они, действительно, могли представиться отягощающей цепью: он — и единственный он во всей России! — прямо ехал на подавление революции! Это был — эшафот.

Но если теперь со всею силой ума вдумываться и вдумываться в каждый шаг и перипетию той злополучной поездки, и вдумываться с проницанием ума сочувствующего, заинтересованного (как только может быть заинтересован сам человек в сохранении своей шеи!),— то та же самая злонесчастная цепь событий могла быть (лишь при малых изменительных мазках) совсем напротив обрисована и истолкована — в оправдание Николаю Иудовичу!

Всю дорогу теперь, почти не спя, почти не ев, генерал обдумывал каждое звёнышко той поездки: как его объяснить, понять и представить.

Если ничего не пропускать и с самого начала: в ту ночь назначения, в императорском вагоне на могилёвском вокзале,— я уже понимал, что причины петроградских волнений имеют глубокие корни. И я уже тогда доложил — как бы сказать? — бывшему царю Николаю Второму, что надо удовлетворить недовольство народа, и нельзя рассчитывать, что все войска останутся на стороне правительства.

А ввести войска в Петроград? — совсем не имело карательного назначения. Предполагалось привлечь войска с фронта лишь для облегчения положения запасных петроградских войск. Лишь — для охраны петроградских заводов, не больше.

И именно для того, чтобы ни в коем случае не применить вооружённую силу, я и приказал войскам высаживаться из поездов не в Петрограде, но далеко в окрестностях. Я — именно желал избежать междуусобицы. Части, бывшие со мной, не имели никаких столкновений и не пролили ни капли крови.

Это — главный выигрыш! С этим не поспоришь.

Да собственно — нет, даже нет, не так! Я к этим войскам не имел никакого отношения! Я — их не посылал. И я — не видел их в дороге. И я не посещал их под Петроградом. Прошу отметить, это все знают: я ведь не поехал к Тарутинскому полку на станцию Александровская. Хотя он был рядом. У меня, по сути, никаких войск не было. А в Петроград я ехал просто как отдельное лицо: просто принять командование Петроградским военным округом. (Вовремя он сжёг удостоверение Алексеева о диктаторстве.)

Георгиевский батальон? Моя поездка совершенно случайно совпала с поездкой батальона. Просто — мой вагон подцепили к их поезду. Нет оснований ставить это мне в вину.

Да всю эту поездку просто раздули газеты.

Да, в пути были некоторые нежелательные эпизоды, между станциями Дно и Вырица, когда солдаты отбирали у офицеров оружие,— и мне пришлось прибегнуть к силе, но безо всякого оружия. Некоторые из задержанных имели уже по несколько экземпляров оружия.

В самом Царском Селе, лишь исполняя приказ бывшего Верховного Главнокомандующего, я посетил его супругу,— но вы можете любыми средствами проверить, что я не принял от неё никаких поручений и не установил никакой связи против нового народного правительства.

Моё положение очень осложнялось тем, что я не имел никаких сведений об обстановке,— но именно поэтому я принял благоразумное добровольное решение — уйти сам и увезти этот единственный батальон в Вырицу — для ещё большего успокоения. Тут я имел от генерала Алексеева сообщение, что в Петрограде начинается успокоение и надо ожидать благополучного исхода. На станции Вырица я и решил ожидать исхода переговоров бывшего царя с депутацией Думы.

(Чего ни в коем случае только не следует делать — это ссылаться на обмен телеграммами с Гучковым и надежду встретиться. На нынешнего военного министра это может наложить пятно, быть ему неприятно — и только ухудшит положение обвиняемого генерала.)

И так я не имел никаких важных для дела сведений до утра 3-го марта, когда получил от Государственной Думы приказ, что вместо меня командовать Округом назначен генерал Корнилов — а я, стало быть, свободен от своих обязанностей.

И я тотчас же стал возвращаться к месту своего жительства в Ставку. И только уже на обратном пути узнал об отречении бывшего царя.

Да более того! да гораздо более того и глубже! Упрёки в «царизме», которые мне

делают последние дни,— глубоко несправедливы! Вместе со всеми я разделял общее недовольство делами царствования Николая II — за что меня очень не любила придворная немецкая партия. Моё отчисление с Главнокомандования Юго-Западным фронтом и было большой интригой группы лиц, с Распутиным в центре.

Это уже тогда породило у меня чрезвычайно тяжёлое чувство по отношению к бывшему царю и его супруге.

Царизмом я не был заражён и не мог быть.

И в Ставке я находился в совершенно изолированном положении. На вокзале.

Напротив, отречение последнего царя отнюдь не освободило меня от верности службы Отечеству — и всем властям, Отечеством поставленным.

Моя готовность служить новому правительству усугубляется сознанием необходимости искоренения того многого отрицательного, что я наблюдал и испытал при прежних порядках.

И я — никогда не принадлежал к каким-либо политическим или хотя бы религиозным организациям и кружкам. Поэтому отпадает всякая возможность дурного влияния на меня моих знакомств, в том числе в Киеве.

А в Киев я приехал — просто отдохнуть и разобраться в личных делах.

...Так кручинные думы отемняли и гнули генерала всю дорогу. Как будто он неплохо строил свою круговую защиту,— но что можно ждать от этих обезумелых революционеров? Недорого возьмут потащить и на эшафот.

Надежда была — на одного только Гучкова.

И вторую ночь в поезде, как и первую, Николай Иудович почти не спал. Остро болело сердце.

С воспалённой душой он сидел у окна последние часы перед Петроградом. Что ждало его?

Подъехали к Варшавскому вокзалу. У Николая Иудовича было два довольно тяжких чемодана, сопровождающий офицер не сразу нашёл и носильщика. Встречал их офицер — адъютант коменданта Таврического дворца. Стали выходить из вагона — откуда ни возьмись кучка солдат. Увидели генерала — столпились, кто-то пронзительно свистнул, зубоскалили — и хотя ни по чему не было видно, что генерал арестован,— но потребовали, чтобы он сам понёс свои чемоданы, иначе не пропускали.

И так — с каждым генералом, значит?.. И офицеры ничего не могли поделать. Неограждённость была полная — могли и оскорбить, и ударить. Слава Богу, хотя и отставленный, хотя и почётно-старый, но генерал ещё не потерял силушку. Он безропотно взял оба чемодана и понёс, вовсе даже не зашатавшись, только налился красно.

Солдаты, очень довольные, шли рядом, погогатывали и посвистывали.

К счастью, дальше их ждал автомобиль — и так они оторвались от этой группы. Но тотчас дальше, по Обводному, шли войска с красным знаменем. Николай Иудович попросил: везти как-нибудь стороною, так чтоб не мимо войск.

Но и перед самым Таврическим все улицы были забиты стоящими, чего-то ожидающими войсками. Только и везти мимо них такого видного генерала, дразнить. По Шпалерной вообще было невозможно проехать — объехали по Кирочной, с другого ходу. Уж чемоданов пока не брали, офицеры любезно обещали доставить вослед.

Но и в самом Таврическом было не избежать перейти зал — а в нём тоже в обилии толпились солдаты, и заметили генерала, и это вызвало колкое недружелюбное внимание.

Воистину, был ход как на Голгофу. Уж не чаял Иудович, как скорей бы привели его в отъединённое, хоть и запертое место. Болезненно ждал он оскорбления.

Но обошлось. Довели его коридором до какого-то часового, там дальше ещё коридор — и в комнату. Обыкновенную комнату, без решёток, не было в ней никого, стоял стол, диван, стулья. Ему принесли завтрак и оставили его одного.

Николай Иудович покушал, посидел, походил: вот так-так, судьбы человеческие! — он арестант.

А время уходило, надо было писать Гучкову.

Он позвал, попросил чернил и хороший лист бумаги. И хотя перо подали дрянное, но всё ж он выписал красивым, чисто писарским почерком:

«Милостивый государь Александр Иванович!

Если назначение меня Командующим Петроградского Округа с целью успокоения в нём брожения и предполагавшееся усиление гарнизона Петрограда действующими войсками не соответствовало обстановке наступившего момента,— то принятое мною решение остановиться в Царском Селе, а затем и отойти на станцию Вырица представляется вполне целесообразным: иначе возможное кровопролитие затруднило бы установление нового порядка управления Отечеством.

Отречение последнего царя от престола не избавило меня от верности Отечеству и поставленным властям. Как я служил $47^1/_2$ лет чуждый искательству, так буду служить и новому правительству, тем более, что новый государственный строй может дать блага народу. И я никогда не принадлежал никаким политическим и религиозным... Напротив, солдата и простолюдина люблю с первых лет моей офицерской службы...



Прошу о восстановлении моего доброго имени и о предоставлении мне возможности ещё послужить на пользу дорогой родины и её Временного Правительства...»

## 644

Минувшие недели всё-таки не одной революцией были наполнены. Свечин имел удовольствие последить и за настоящей войной, имел азарт и угадывать стратегический замысел и чужое исполнение: германское отступление на Сомме. Как всегда, первые вести приносились близорукими и крикливыми газетными корреспондентами — и сообщения о якобы грандиозном наступлении союзников, какого у них и за всю войну не было, не пресловутый домик паромщика, но сотни квадратных километров, и даже союзные военные представители при Ставке поняли так. Но затем, и через них же, стали приходить сведения достоверные — и проступил истинный смысл события, какой Свечин и подозревал: ничего французы не прорвали, слишком это было бы легко на устоявшемся фронте: немцы отступали сами, ничем не вынужденные к тому! Да отступали — как? С высоким искусством, узнавалась до мелочей разработанная напряжённая программа гинденбурговского штаба: отступали так, что имели всё время инициативу, свободу действий, а французам покидали настолько методически разорённую территорию вместо их налаженной прифронтовой, что обрекали их на важнейшем участке фронта к длительной разрухе и бездействию. Великолепный замысел и великолепное исполнение! Немцы на несколько месяцев создавали себе новое выгодное соотношение и освобождали много своих сил. Свечин и всегда считал, что гениальность более всего может проявиться не в наступлении, а в отступлении.

На третьем году войны немцы ни в чём не проявили ослабления, но оставались всё тем же мировым классическим врагом.

Следил за чужим замыслом и завидовал, что не русская стратегия мечет такие петли. Русских стратегов посадили под дурацкий красный колпак.

Но — где используют немцы освободившиеся силы? На Западном ли фронте? Не на Восточном? В отношении чисто военном это было для них и возможно и исключительно выгодно: при начавшемся развале русской армии они могли бы иметь здесь крупный быстрый успех.

Однако, кажется, политическое зарево стояло выше военного: нужно ли им на наше разложение наступать, или дать нам разлагаться дальше?

Революционные события Свечин переносил, точнее всего сказать: брезгливо. Высокоразумные существа — люди — вдруг обращаются в стадо озверелых обезьян. Личность растворяется в слепых страстях толпы, и больше всего боятся люди показаться умеренными. Об этой революции или дворцовых переворотах давно болтали все петроградские и московские салоны и земгоровские интеллигентские агитаторы, внушали, кликали, призывали — не могли потерпеть до конца войны.

Великому народу в великих боях такое легкомыслие не проходит зря.

Но остановить — было упущено в роковые февральские дни. Прохлопал Государь. Прохлопал Алексеев со своей блеклой упряжкой Лукомского-Клембовского. Прохлопал Хабалов. Прохлопал Иудушка Иванов. Уже не говоря о размазне императорского правительства. И наконец, сползая с гривы на хвост, прохлопал и долгоногий великий князь. (Что он заменён на Кавказе деловым Юденичем — только к счастью для Кавказского фронта. Лишь не дать англичанам погонять нас захватывать для них мосульскую нефть.)

Они все прохлопали, и закатились или быстро закатывались,— но должна была стоять Россия, и её Армия, и её Ставка — и все, кто служил в Ставке, пренебрежа своей брезгливостью, или презрением. Для того, чтобы всем им стоять, приходилось терпеть и неприятное, и неопрятное — и как-то служить и ему. Терпеливая линия в дальнем просмотре всегда оказывается верней. Какая-то дрянь ушла с переворотом, какая-то наплывёт и новая, может быть и гуще,— а Ставка должна стоять. И не только решать обычные задачи стратегические, но ещё и методами, которых у неё сроду не было, охранить солдат от подстрекательства депутатов, комитетов, Советов,— удержать армию от перерыва порядков тыла. А сейчас опубликовали ещё какую-то «Декларацию прав солдата»,— это что ж? в отмен всех уставов? Окончательно отменяется отдание чести, и даже перед строем? отменяется вечерняя поверка, а «смирно» — команда лишь предварительная,— это что?

Свечин всегда знал один девиз: служить. Пути вольномыслия очень завлекательны и разнообразны, и очень приняты образованными людьми, но дело движут и развивают не они, а вот те самые презренные чиновники и военные служаки, которые являются на службу утром и уходят в пять пополудни, если нет сверхурочных работ.

Справится ли Ставка в новом положении? Способна ли Ставка ещё на что-нибудь? Но нельзя признать положение уже загубленным, а службу уже бесполезной. Вот, Егор просится — хочет что-то придумать? (В нынешней неразберихе, да когда ликвидируются все великокняжеские отделы, наверно удастся всунуть его в Ставку, вот только улучить Алексеева наедине.)

Главное — Ставка не должна выступить против нового правительства, это Алексеев ведёт правильно.

Выход — всегдашний единственный выход жизни: компромисс. Принести присягу Временному правительству? Пожалуйста. С почётом принять в Ставке министров нового правительства как людей якобы серьёзных и что-то понимающих? Пожалуйста.

Как оправдать новую присягу? Можно это составить. Я прежде присягал императору Николаю II? Но разве я присягал лично ему, Николаю Александровичу? Я присягал главе государства, которое является моим отечеством. Однако, раз благо отечества не осуществилось при том императоре — будем искать его при новой власти.

Уже вчера на завтраке в собрании Свечин видел Гучкова, тот поздоровался весьма прохладно. Он конечно помнил крутой отказ Свечина тогда, в ресторане Кюба, когда пылкий Воротынцев чего-то от Гучкова с верою ждал. А Свечину давно уже надоела эта игра в младотурок, давно пора становиться взрослыми. Но раз Гучков стал военным министром — он переходит из сил мятежных в силы созидающие, в те, с которыми неизбежен компромисс. Он становится одной из дюжины голов этого нового сочленения, которой Свечин уже присягнул. И потому, и по служебному благоразумию, не следует продолжать прежнего вызова — но сгладить, сколько удастся.

Достиг Гучков задуманной своей высоты, но показался он Свечину не орлом, широко реющим под небесами, а довольно утомлённым и помятым петухом. И аресты ставочных чинов по его приказу выглядели не грозно, а жалко. И офицеры, приехавшие с Гучковым, таскали позорные красные банты,— а ставочные ни один.

Встречать министров сегодня на вокзале, Алексеев настоял, должны все ведущие чины Ставки.

Вдруг почему-то пожалел Алексеева. (Никогда не жалел.) Вся мера унижения, какая была в этой встрече, она падала больше всего ему. Серых, честных, трудолюбивых — таких ни при какой власти не возвышают, это ещё государева была личная склонность,— а вот обливала его революция помоями, а ему оставалось только отираться, как и ничто.

Итак, на вокзале был выстроен почётный караул из георгиевского батальона. Вся главная квартира, вместе и с морским штабом. Военные агенты союзных держав вышли на перрон из гучковского вагона. (Это Гучков подстроил по времени. А сам не вышел. И понимающий глаз разило, что военного министра встречали вчера не так.)

Обывателей из города было мало — город не смыкался с вокзалом. Но приехали на извозчиках (носились на них по городу) какие-то с красными бантами, красными шарфами и даже красными лентами наискось, через плечо. Но привели и построили какую-то школу, уже с красным флагом. Остальной перрон был беспорядочно забит любопытными железнодорожниками и солдатами, что создавало толпу, но нарушало строй.

Ещё и на крышах примыкающих станционных построек тоже набрался любопытствующий народ. Ещё выше, вкруг высоких станционных тополей, в тепловатом пасмурном дне суетились, возились, кричали грачи, прилетевшие тому дня три.

На подходе поезда два оркестра уже заиграли марсельезу.

Вагон министров сразу был отмечен тем, что из него выходила и строилась охрана из гвардейского экипажа.

Встречающие не знали точно, кто именно из министров будет, ожидали первым увидеть князя Львова — первым явлением не царской власти на Руси.

Но в вагонной двери появился — подчёркнуто узкий, тщедушный, подчёркнуто подвижный, не в штатском пальто, но в полувоенной куртке и в полувоенном картузе, всем видом и движениями явно претендуя казаться военным. И ещё ему явно хотелось отдать под козырёк. Но он удержался, а с тамбурной площадки приветствовал всех собравшихся каким-то римским движением руки — и тут же, звонкоголосо перекрикивая ещё не замолкший оркестр, закликнул:

— Товарищи! Армиям фронта — низкий поклон свободного народа! Надеюсь, ваше воинство сломит упорство внешнего врага!

И — не сошёл, и не сбежал, а почти спрыгнул к Алексееву со ступенек. И не просто пожал руку генералу, но повышенным тоном вскричал:

— Позвольте мне, генерал, в знак братского приветствия армии, поцеловать вас как её верховного представителя и передать привет от Государственной Думы!

И — смело поцеловал колючего Алексеева своим голым обгубьем.

Дальше вышла заминка, которую Свечин хорошо видел поблизости: этот мальчиковый министр тут же намеревался и идти, с Алексеевым или даже без него, мимо почётного караула. Но Алексеев, естественно, ждал следующих министров. А следующий министр в тамбуре не появлялся. (Когда потом появился надутый Милюков в шубе, можно было догадаться, что он не хотел просто прилипнуть к спине юного предшественника.) Вышла заминка,— а тем временем матрос гвардейского экипажа с усилием опустил одно вагонное окно — и оттуда выставился ещё какой-то штатский, без шапки, хорьковатого вида, с холёными усами, и тоже ораторски высунул руку и закричал, но уже в тишине, в приготовленном внимании:

— Товарищи железнодорожники! Ваш героизм и сознательность безропотно несущих днём и ночью свой труд с удвоенной энергией на алтарь отечества!.. Старое правительство разрушило железные дороги, но мы оживим их и поднимем правовое положение железнодорожников!

Так что постепенно прояснялось, что это наверно — министр путей сообщений.

А в тамбуре показался и выдвигался к двери — очень постепенно, очень солидно, на голове богатая меховая шапка, шея в меховом воротнике, строгий вид, строгие очки — всем известный Милюков.

От некоторых не в строю раздались аплодисменты.

Милюков осторожно, как бы остерегаясь свалиться, сошёл по ступенькам, внизу поздоровался с Алексеевым. И движенья не делал приобнять или целоваться.

Тем временем сходил со ступенек ещё один министр — ростом выше Милюкова, совсем не надутый, открытое прямое лицо.

Затем и тот хорьковатый.

И теперь все четверо с Алексеевым двинулись мимо почётного караула,— но министр-мальчик на нетерпеливый шаг вперёд всех остальных, и первый звонко крикнул, смешно из юношеского горла:

— Здорово, молодцы!

И георгиевские кавалеры отлично отрубили:

— Здравия — желаем — господин — министр!

Милюков и другие уже не кричали караулу.

И мимо выстроенных чинов Ставки прошли со штатскими поклонами, никто никому не подал руки.

Впрочем, и много стояло же этих чинов.

Впрочем, Государь подавал.

Затем опять возвратились к своему тамбуру, и тот шустрый министр легко валетел на площадку, обернулся и быстрым горячим голосом начал выбрызгивать речь. Кидалась его необычайная взволнованность, и ощущение необычайности момента, и страсть голоса,— за всем тем Свечин только и усвоил из его речи, что Учредительного Собрания нельзя собрать, не достигнув прежде победы над немцами.

По крайней мере хоть это понимали.

И — «ура» за армию!

— Ура-а-а-а-а!

Затем медленно, солидно на ту же площадку взошёл тяжёлый Милюков, обернулся, взялся руками за верхи поручней (проверя пальцем, нет ли там налётов паровозной сажи) — и стал подчёркнуто не торопясь и подчёркнуто без ажитации, довольно долго говорить.

Он отмечал заслуги армии в свержении старого режима.

(Если говорить об Армии Действующей, то заслуга могла быть только в полном бездействии.)

Уверен был:

— Народ, сумевший в четыре дня совершить мировой переворот,— добьётся и победы над внешним врагом!

Сесть бы тебе за оперативный стол, да посчитать, сколько мы потеряли от петроградских заводов. Да смещённых начальников. Да комитетов сколько. Да дезертиров.

И — «ура» за армию!

— Ура-а-а-а-а!

А затем поднялся тот третий министр, с таким хорошим, естественным лицом. И голос у него оказался естественный и душевный, даже редко такой услышишь. Но говорил он зачем-то длинно, с косвенными отвлечениями, всё не мог остановиться,— всё о тяжёлом наследстве старого режима, как его преступный хаос отразился на продовольствии. Говорил как-то растерянно или рассеянно, будто сам озабоченно думая о другом:

— Хлебородная страна вследствие преступной политики старого режима осталась без хлеба. В две недели наладить снабжение было, конечно, трудно. Но будут привлечены лучшие люди общества. Не пеняйте нам, если на первых порах придётся несколько и сократить потребление.

А что ж пеняли старому правительству? Оно и не сокращало.

— Теперь — мы сами делаем свою историю — и не на кого сваливать ответственность. Во имя будущего надо ограничить себя в настоящем. Только общей неустанной самоотверженной работой...

## 645

Не прошло и трёх недель революции — армия была расколота до основания, шаталась и гибла. Не то что наступать в этом году на Германию,— разумному военному человеку было ясно, что для спасения самой-то армии, чтобы было кому с т о я т ь, могли остаться только недели!

А Лечицкий сказал: всё равно ничего не поделать...

А сослуживцы по штабу армии и кого Воротынцев повидал в поездке по корпусам — были встревожены, уязвлены, ироничны, или даже равнодушны (или даже перекрашивались под новую власть?),— но никто не разделял, что надо немедленно, вот тут же, самим, что-то резкое предпринять.

Армия — всегда и на всё ждёт команды.

Как мы все разъединены! Все дёргаемся поодиночке. Офицерство оказалось — сплошное баранство. Мы смелы в своём обязательном строю, в бою против Гинденбурга,— но пришло с неожиданной стороны, из-за нашей спины,— и какой мрази уступили?

Впрочем, большинство когда умело что-нибудь сделать? Большинство и всегда леиво духом, на него надежды нет.

Но — немыслимо не противостать этому разложению! Ведь на этом не кончится, пойдёт ещё глубже. Лечицкий прав: это — осыпь земляной кручи, и она тронулась ещё только по верху. О революции уже все пишут как о чём-то, произошедшем три недели назад. Хо-го! Она только начинается!

И надо спешно искать наилучшей точки: и — чтоб самому не сполати, и — чтоб удержать. Если это вообще кому-нибудь посильно.

Воротынцев стал спать дурно, его жгло, что надо немедленно д е л а т ь! Он ждал ответа от Свечина. Свечин пока дал телеграмму, что — надеется устроить.

Решение — не рождалось. Первое соображение военного — применить к ситуации военные средства. Но такие средства — у кого были? И был бы у Воротынцева свой прежний полк — сегодня, конечно, тоже разлагаемый — так и тоже не то, вращённый в костяк фронта, отдельно не вынешь. И: революция — точно как зараза: тот, кто хочет приблизиться лечить от неё,— обречён прежде заразиться сам.

Да и что на Румынском фронте можно делать?

Он только мог присоединиться к кому-то крупному и сильному.

Но вот — и Лечицкий не собирал таких. Западный фронт — на уровне Москвы! — мог быть таким центром действия! — но вот Лечицкий не брал его.

Вчера весь день стоял туман над городишкой Романом, а сегодня подул совсем тёплый ветер, туман сдёрнуло, под солнцем и небом открылся Серет и степь за ним в сторону Ясс — нигде уже ни клочка снега, и только чёрные-пречёрные плодороднейшие поля, ждущие семян, и такие же чёрные взмешенные дороги, по которым проехать совсем невозможно. На несколько дней вся Девятая армия потонула в этом море грязи. Но каждый, кто становился нощуриться под солнцем и принять этот обещательный ветер в лёгкие,— узнавал вокруг и в себе каждогоднее, каждый год удивляющее ликование весны — толчком в грудь, вмещающее в нас сноп радости, самоуверенности и надежд.

В такую погоду, и чувствуя себя молодым — нельзя не верить в успех.

И в этот солнечно-голубой день — пришла Воротынцеву телеграмма из военного министерства. Не от самого Гучкова, но от помощника его, генерала Новицкого. А содержание — захватывало дух: немедленно прибыть в министерство получить назначение *с большим повышением*!

Такая телеграмма может придти офицеру — раз в жизни. И не в каждой жизни.

Да Воротынцев, признаться-сказать, и ждал такой телеграммы. И даже удивлялся, почему не шлют: обиделся на него Гучков?

Воротынцеву, в его разряде командира полка, повышением было бы — получить дивизию и генеральский чин. А — *большим* повышением? Сразу корпус?..

Или... революция чудит... или — даже Армию потом вскоре?

Всё может быть, когда прежние начдивы и комкоры начали сыпаться как сосновые шишки.

«Дорогу независимым!»... На этом тезисе ведь и было их совпадение с Гучковым. Об этом и мечтали: сменять по непригодности, а не по старческой только болезни. Это и обличали: загромождение командных постов засидевшимися стариками.

Головокружительный соблазн.

Выбор — целой жизни...

Какой выбор? Да, конечно, я согласен! Кто может быть не согласен?

А Лечицкий сказал: не время сейчас возвышаться.

Но и именно — время! Но и важней всего — управлять событиями *сейчас*!

Но если Лечицкий не видит силы в Главнокомандовании Фронтом — то что может сделать корпусной? Получить от Гучкова корпус,— а с чего он окажется крепкий и стойкий?

И потом: идти сейчас к Гучкову — значит и служить этой самой революции? Разве Гучков позовёт — противодействовать ей? Он же сам — петроградская власть.

Но революция — это событие слишком огромного масштаба, чтоб его безошибочно разглядеть изблизи. И из революций тоже выходили могучие государства, на века.

Могут быть ещё разные, разные повороты к лучшему, там дальше увидим?..

Но что, вот, сразу близко видно: Временное правительство, которому так бы естественно выйти из войны,— безмозгло кричит о новом приливе сил и о войне до победы.

И — сами же при этом разрушают армию.

На что ж они надеются?..

Продолжать войну? — уже в прошлом году это было преступно перед русским народом. Сегодня — это стало и безнадёжно. После того как отпробовали шипучего комитетского напитка — кто ж вернётся в старый строй? Теперь-то, после революции,— продолжать войну самоубийство.

Теперь долг — не переть на войну, не жалея лба,— но спасти народ в час его охмеления.

Да вот: как Гучков допустил эту «Декларацию прав солдата»? Он возвышает энергичных офицеров — и он же разваливает армейские уставы? И чего он ещё наворочает?

И какой же смысл возвышаться по куче, которая рушится?

А в этих комиссиях — поливановской, Военной — однако, кто и налип, как не младотурки же?..

Нет, пути расходятся. Это был самообман, будто и Воротынцев состоял в той компании. Как будто все едино хотели разумных армейских реформ. А они, вот, готовы и на развал.

Новицкий, подписавший телеграмму,— генерал-писатель, большой любитель изъяснять военную жизнь пером. Сейчас, когда больше всего нужна пропаганда, конечно, ему и быть при военном министре. Он ещё из юнкеров был разжалован за политику, потом всё же прошёл курс. А недавно был отставлен от бригады: что она по его вине понесла потери газовой атакой.

Ка́к всегда жаждал Воротынцев высокого назначения! И вдруг сверкнуло — внезапное, небывалое!

Но — не от тех.

Но — не в то время.

Нет, не должность важна при революции. А — реальная возможность делать дело.

Однако в штабе Девятой армии теперь уж вовсе не остаётся делать ничего серьёзного.

Ставка! Вот единственное место, которое может противостоять и развалу от правительства, и развалу снизу. Единственное место, независимое от Петрограда и само себе командующее.

Единственное место, где может завязаться армейское сопротивление красному Петрограду. Если уж не в Ставке — то где ж ещё?

Или, всё-таки, принять вызов Гучкова?

С какой решимостью — отшвырнуть?.. Ведь на корпусе вскоре — и генерал-лейтенантский чин! А в Ставке — ничто, какая-нибудь жалкая должность?

Выбор честолюбия: да, безусловно ехать к Гучкову! Сейчас же — согласие, и выезжать!

Как вот подсохнет.

Выбор реального дела: только Ставка! Нервный узел.

Не может быть, чтоб уже всё было без поворота проиграно!

Во всякой стеснённой задаче, если всматриваться в неё пристально и со свежестью, можно увидеть решение — и даже достаточно простое, неожиданное.

И есть — азарт опасных положений!

Сказал Лечицкий: революцию не перехитрить?

А может быть, всё-таки, есть такой способ?

Да не может быть, чтоб не оставалось никакого выхода! Так не бывает ни на войне, ни в природе.

### 646

И снова катили торжественные валы революции! И снова текли и текли праздничные войска к Государственной Думе!

Позавчера пришёл из Нового Петергофа гвардейский артиллерийский дивизион — и притащил за собой 12 тяжёлых пушек. И с оркестром и со всеми плакатами хлынул на ненадёжные полы Екатерининского зала, к счастью не пытаясь втянуть с собой и пушки — они все двенадцать остались на Шпалерной, грозною народною защитой Государственной Думы. Но ещё стояли в Екатерининском артиллеристы — как уже подошёл к дворцу, мешая строй из-за пушек,— гвардейский Литовский батальон. Пока разобрались, вывели одних, ввели других, произнесли речи перед литовцами (и Родзянко опять, но и Чхеидзе опять),— доложили, что снаружи подошёл 180-й запасной полк. («Тех, кто предавал народ,— под народный суд!»)

Уже так много было полков, желающих выразить преданность, что не все могли пойти по круговороту Таврический дворец-Дворцовая площадь, но кто куда успел. С Дворцовой площади доносили по телефону, что там в этот день Корнилов принимает парад и митинг сразу двух пулемётных полков перед отправкою их в Ораниенбаум. (Уже который день пулемётные полки ходили в разные места Петрограда и прощались.)

Вчера привалил к Государственной Думе запасной батальон гвардейского Петроградского полка — с полуистлевшим георгиевским знаменем, простреленным в турецкую

кампанию, и красной лентой: «Доверяем Временному правительству». Родзянко а это время не было в Таврическом; Чхеидзе, на этот раз не «генерал», а «солдат от народного доверия», воспользовался и звал зорко следить за шагами Временного правительства. А к Измайловскому батальону Родзянко поспел, и выборный полковник произнёс здравицу: «За мудрого честного вождя Родзянко!» — и обоих понесли на руках.

Однако высшего ликования шествия полков достигли сегодня! Феерически повторялась незабываемая картина революционных дней! Колонны войск забили всю Шпалерную, завернули на Потёмкинскую и дальше вокруг Таврического сада — и по нескольку часов ожидали впуска во дворец, многие сидя на снегу, а то и лёжа, ружья везде составлены в пирамидки.

Первым пригарцевал 9-й запасной кавалерийский полк, сам себя назвавший «1-м кавалерийским полком республиканской армии»,— это название они и везли на пиках первой шеренги.

Сразу же за ними пришёл лейб-гвардейский Московский, и тут же за ним — лейб-гвардии Преображенский.

Так и забили улицы — хотя и это был не конец: дальше пришли пешком из Петергофа, потом 2-й балтийский флотский экипаж и, уже к вечеру,— гвардейский экипаж. А в 8 часов вечера, уже в полной темноте,— дошагал из Красного Села 176-й полк.

И все дожидались очереди войти в Екатерининский зал и тут держать митинг. Законное желание! (Хотя и утомительное.)

И выступали, выступали, чередуясь, то думские депутаты, то члены Совета. Сам Родзянко берёг свои силы, чтобы выступить перед экипажами, тем и другим. Вот вливались в зал и чёрные шинели. (У гвардейцев на знамени с одной стороны изображён крестьянин, «земля и воля», с другой — кузнец с наковальней и «да здравствует свобода».) Второй Балтийский экипаж Родзянко убеждал терпеливо ждать воли Учредительного Собрания, которое и ответит на все вопросы, волнующие русский народ. Но тут же влез от московского совета депутатов: что моряки — революционный авангард и выдвинули лейтенанта Шмидта, и отстоит теперь свободу, которан пока завоёвана лишь наполовину.

И его — балтийцы качали. А Родзянко — не качали.

А к гвардейскому экипажу прежде Родзянки обратился их командир, капитан первого ранга: мол, 100 лет назад, когда декабристы вывели на улицу петербургские полки,— гвардейский экипаж тогда вышел первый. Теперь — не первым, но тоже вышел. А с проклятыми немцами будем бороться до победного конца! С «ура» подхватили матросы его качать. Затем и Родзянку.

Так до позднего вечера ликовал сегодня Таврический. А завтра, в воскресенье, сюда ожидалась огромная манифестация женщин, добиваться избирательных прав,— и тоже ведь не мог Михаил Владимирович не выступить.

Всё так, всё отлично, но разве деятельность его только была приветствовать полки? Да именно в эти самые дни 23 армейский корпус прислал Комитету Государственной Думы в подарок шлем — как эмблему безопасности от посягательства врагов свободы. А артиллерийский парк прислал всё месячное солдатское жалование на усиление войны. И приходили сведения, что крестьяне жертвуют для родины хлеб. И надо было принять делегацию объединившихся демократических поляков, пришедшую благодарить Думский Комитет за обещание независимости Польше. (И хотя Комитет был ни при чём — но как не принять благодарности?) И нельзя было не принять Громана, который приходил мутить и жаловаться по продовольствию на Шингарёва. (Да и пора была писать воззвание к крестьянам: не поддаваться агитаторам и не громить имения. Очнулся теперь Родзянко, что зря это он в революционных порывах утвердил реквизицию хлеба, у кого свыше 50 десятин. Это — разбой. И он теперь протестовал Львову.) И надо было рассылать, рассылать комиссаров Думы во все концы страны и разъяснять единство Думского Комитета, Временного правительства и Совета Рабочих Депутатов. А сегодня вызывал к прямому проводу генерал Рузский — и ни с того ни с сего повёл по телеграфу дискуссию: кого именно понимать под правительством — Думский Комитет или Совет министров? Генерал понимает совет министров лишь как исполнительный орган, а Комитет Государственной Думы — как орган высшего контроля. Да, конечно, именно так! — горячо подтверждал Родзянко. Но мы решили предоставить им отчасти и законодательную власть.

А дошло ли в Петрограде до полного успокоения?

Ох, много раз говорил Родзянко, кажется, что дошло. Но нет, увы, далеко до успокоения.

Именно в эти последние дни успевал решать Михаил Владимирович и ещё более важные вопросы. Тяготящий душу позорный вопрос, что некоторые депутаты получали субсидии из секретного фонда. Наконец, пришли объяснения ото всех них. К счастью, Пуришкевич, оказывается, получал для составления солдатских библиотек — и так оказался чист. А Марков имел наглость открыто признать в газетах, что да, получал помощь от правительства и сам как монархист поддерживал правительство — и гордится этим. А другие — уверяли, что не получали. А Крупенский прислал чек назад.

В тревоге заседал трижды Комитет и наконец постановил: лишить недостойных депутатского звания и считать это мнением как бы всей Государственной Думы, которую невозможно теперь, собрать.



Но, когда ездил в довмин, принял Михаил Владимирович на душу ещё горшую тревогу и отемнение: узнал он, что готовится назначение Алексеева Верховным Главнокомандующим.

Роковой шаг! Этого он и боялся! С первой минуты пронзило его, что это — опасная ошибка. И потом час за часом прорабатывалось в нём: какая же это опасная ошибка!

Лукавое котячье лицо Алексеева так и стояло перед ним, живое!

Как фактический глава государства, как человек, ответственный за Россию,— Михаил Владимирович не мог не вмешаться! И самым энергичным образом! Он должен был спасти — и русскую армию, и победу, и революцию.

Но не имея прямо власти вмешаться и запретить и не имея под рукой полной Государственной Думы для запроса — один способ имел Родзянко: написать предупредительное увещательное письмо. Кому же? Ну, очевидно, князю Львову.

Письмо прорабатывалось в нём,— и сегодня в дальней комнате дворца, сотрясаемого шагом тысяч, он написал — своим красивым решительным разбросистым почерком, мысли легко ложились под перо:

«Милостивый государь князь Георгий Евгеньевич.

...Это назначение не приведёт к благополучному окончанию войны. ...Я сильно сомневаюсь, чтобы генерал Алексеев сосредоточил в себе сумму достаточного таланта, силы воли... Генерал Алексеев всегда считал, что армия должна командовать над тылом, над волей народа... Вспомните обвинение генерала Алексеева против народного представительства: что оно из главных виновников надвигающейся катастрофы... Не забудьте, что он настаивал на введении военной диктатуры... Ширины умственного кругозора в этом человеке нет, охватить широким размахом донельзя усложнившиеся условия ему будет не по силам, да имя его и мало известно в России... Для меня совершенно ясно, что только Юго-Западный фронт оказался на высоте положения. Там чувствуется голова широкого полёта мысли — я имею в виду генерала Брусилова. Это единственный генерал, совмещающий... Другим лицом широкого государственного ума я считаю генерала Поливанова. Быть может, ещё не поздно изменить ваше решение...»

Вот. Вот так. Сегодня же и отправить.

А если не повлияет?

О-о-о!.. О-о-о!..

Тогда: завтра же собрать заседание Временного Комитета Государственной Думы — и просто постановить!

То есть, вынести рекомендацию.

## 647

По-настоящему, трудно было уразуметь, о чём бы Верховному Главнокомандующему надо было совещаться с министром юстиции и даже путей сообщения после того, как накануне уже обо всём важном отсовещались с военным министром. Другое дело — по иностранным делам. И всегда охотно — по продовольствию.

Да ещё: как понимать этих пятерых министров в их совокупности и взаимоположении? если не приехал премьер — то кого из них считать старшим? Гучкова? А может быть Милюкова? (А Керенский уверенно держал себя как за старшего. Впрочем, простой искренний молодой человек, неожиданный его поцелуй тронул Алексеева.)

Травимый Советом депутатов, Алексеев ли всей душой не хотел наладить сотрудничество с правительством? Да как без этого вести дальше войну? Без Временного правительства — что теперь есть Ставка? Она не может решить ни одного стратегического вопроса, ни с пополнениями, снаряжением. Надо любой ценой установить бесконфликтные отношения, и придётся принять дух, круг понятий и условия новой власти.

Но принять их условия — не значило принять все их безумия подряд. Вот они простили всех дезертиров, вот они простили уголовных,— а теперь отменили смертную казнь! во время войны и на фронте! Хотя этого и раньше почти не применяли — но оно же должно быть! Газеты давно болтали об этой отмене — но никак Алексеев не думал, что у правительства настолько не хватит благоразумия. Они как будто совсем не понимали реальной опасности развала армии — всё заслонялось выставочным щитом *демократизации*.

Через глухое течение телеграфных лент или сухую сдержанность донесений передать в дальний Петроград здешнюю тревогу и опасность было непосильно. Но теперь-то, когда министры сами наехали сюда в таком числе,— теперь-то и было высказать всё открыто. Да, поддержать хорошее взаимопонимание, но также и отстоять армейский взгляд. Как-то нужно в сегодняшнем совещании всё это тактично совместить.

Генерал Алексеев сильно волновался. После дня отречения Государя вчера и сегодня были для армии самые важные дни.

По пути с вокзала министры проявили приятное весёлое настроение: сегодня в вагоне, говорили они, впервые за три недели они крепко спали. А то ведь в самые революционные дни не умывались по шесть дней и спали в сутки по часу! — но скорее с гордостью об этом. Всем министрам Алексеев приготовил номера в гостинице «Бристоль», рядом со штабом, однако номера могли понадобиться им лишь для дневных переодеваний: дела революции не позволяли им задерживаться в Ставке, и сегодня же поздно вечером намеревались они отправляться назад и поспать снова в поезде.

Против штаба собралась на площади большая толпа — поглядеть министров. Охрана гвардейского экипажа продолжала сопровождать их, и ещё филёры сновали в толчее. Министры махали руками толпе, и особенно воодушевлённо Керенский.

Завтрак сервировали в узком составе — пятеро министров и три ведущих генерала, и уже за завтраком началось деловое обсуждение. Потом перешли в конференц-комнату, то есть всё в ту, где висело пять карт фронтов. Теперь собраны были все новые лица, о ком и вообразить нельзя было прежде тут,— а решать, по сути, надо было всё тот же вопрос: план кампании 1917 года.

И вот теперь Алексеев мог повторить им свои новейшие выводы: что наступление — лучший выход для нас. И мы можем намечать его, хотя и в ограниченном размере, на первые числа мая.

Какое облегчение! — не придётся краснеть перед союзниками! Министры радостно засветились, едва ли не больше всех сдержанный Милюков. И все стали крайне благожелательны к Алексееву. В десять глаз рассматривали этого царского генерала и удостоверялись, что — можно ему доверить всероссийскую вооружённую силу!

(Да уж забыли они или не ценили: кто ж больше Алексеева помог им самим утвердиться?..)

А тут ещё именно сегодня появился при Ставке американский военный агент поручик Рягс. Он вот-вот ожидает извещения о вступлении Соединённых Штатов в войну, чтобы официально начать действовать при Ставке. Это — радовало всех, ещё бы!

Но Алексеев не дал себе раскиснуть от их доброжелательства, но стал выдвигать твёрдо. Господа! Освободите армию от тлетворных влияний и от политики. (И особенно смотрел при этом на Керенского: затлела у него надежда, что именно этот министр — мог бы!) Мы не можем допустить такой резкой ломки всего воинского устава. Армия переживает фактически болезнь, упадок духа офицерского состава, солдатское брожение. А — Балтийский флот?.. Провален весь наш правый фланг. А как может быть, что Петроградский военный округ отказывается давать пополнения Действующей армии? А петроградские заводы уже три недели не дают вооружения... А именно в Петрограде главное производство всех боевых припасов. По причине революционных событий мы не получаем более ни снарядов, ни патронов, ни орудий, ни ружей. Не поступают и мины для обороны Балтийского моря, оно станет открыто противнику. Теряя столицу, мы теряем возможность победы. А такая неудача сотрясла бы страну морально — и население припишет тому, что переворот произведен не вовремя. И будет искать виновников.

Кого?..

Так Алексеев выдвинул остриём против министров всё, что мог.

А вот — сведены заявки по разным отделам интендантской части, по артиллерийской части, по снаряжению, по людским укомплектованиям, конским, по железнодорожному транспорту, по топливу, по металлам. Вот — графы потребных норм, вот — наличных запасов, вот — ожидаемое от тыла. Война теперь ведётся на истощение.

Всё так, господин генерал, но Ставка должна уяснить себе народные желания и руководствоваться ими. Слишком настаивать на узких военно-технических вопросах — значит не понимать духа революции, это производит невыгодное впечатление на общественность. Ставка не должна довлеть сама себе, а являться исполнительным органом революционной власти. Возникает вопрос: достаточно ли разъяснено командующим армиями значение переворота? Войска должны идти рука об руку с народом, и враги нового строя нетерпимы. Новое правительство и само имеет значительные трудности с Советом депутатов, да. Тем не менее, оно смогло спасти родину от грозящей гибели. У нас у всех преобладает оптимистический взгляд на будущее.

При такой настороженности министров — разве мог Алексеев дальше пожаловаться, что даже в Могилёве сама Ставка чувствует себя неуверенно, страдает от хамства *товарищей* из местного Совета. Даже в Могилёве Алексеев реально теряет власть.

Ну что ж, проще двигаться по повестке дня, вот по этим заготовленным заявкам, которые уже и в Петроград многие посылались. На фронтах запасов продовольствия и фуража стало недостаточно. Значит, надо либо уменьшить суточную дачу, но это опасно при нынешнем возбуждённом настроении армии, либо надо сократить в армии число ртов и лошадей. Отводить в тыл конные дивизии?

Затруженный Шингарёв печально отвечал: сокращать лошадей и рты — да, но этого мало: неизбежно и значительно уменьшить суточную дачу хлеба, круп, фуража: хлеба — до двух фунтов, крупы — до четверти фунта. Шингарёв разводил большими ладонями: всё посчитано, у нас нет другого выхода. Настроения армии не надо бояться: как раз революционное настроение и поможет перенести урезы, которых не простили бы царю. Причём: категорически воспретить воинским частям производить закупки или заготовки в тылу собственным попечением, как это разрешалось до сих пор: это разваливает всё государственное снабжение. Пусть армия разводит огороды, вот выход.



Разводить огороды? — какое ж тогда наступление!

Но если мы не можем снабдить самих себя, запротестовал Алексеев, то надо же прекратить отправку пшеницы союзникам!

Малоподвижное лицо Милюкова и твёрдый лоб его омрачились: ведь это ему, ему придётся краснеть и извиняться перед союзниками.

Некрасов занервничал: железные дороги не могут сейчас справиться одновременно и с перевозкой запасов для армии и с оперативными переброссками войск, если они понадобятся для наступления.

Вот как... Генерал Алексеев нашёл доводы и силы обнадёжить правительство — а правительство, напротив, глушило его. И — что ж из этого выйдет?

А вот что. Генерал Алексеев должен издать ободрительную директиву фронтам. Нынешнее положение создалось от неумения прежних министров наладить продовольствие и транспорт. Новые народные министры стараются распутать, но требуется терпеливо пережить переходное время. Потребности армии огромны, и дороги пока не могут удовлетворить их в полной мере. Ограничены и ресурсы в Европейской России. Внутри страны нет такого запаса собранных продуктов, и вот почему придётся уменьшить дачу продовольствия и фуража. Пусть армия обходится пока тем, что доставляется, и верит, что в тылу всё делают лучшие люди и лучшим образом. Затруднения — и во всех странах, и даже там дачи — меньше. Война идёт на истощение, и победа достанется тому, кто сумеет всё перетерпеть. Временное правительство обещает, что через $1^1/_2$-2 месяца уже будут благоприятные результаты.

Да не для того министры приехали в Ставку на короткие часы, чтоб изучать эти цифры, настроченные в тяготеющих докладах,— над тем будут работать комиссии по секциям.

А — вот что надо сокращать: саму Ставку. Во-первых, ускорить ликвидацию управлений бывших великих князей. И сами они, и принц Ольденбургский пусть немедленно подают прошение об отставке и отправляются в Петроград, мы не будем арестовывать их. Затем: царский железнодорожный батальон — отправить на фронт. Георгиевский батальон? — тоже доверить им нельзя, это каратели, хотя теперь притворяются, что не знали, куда едут.

Генерал Алексеев не спорил. Он даже, со своей стороны, просит правительство как можно скорей отправить бывшего царя в Англию: его пребывание в России может нервировать армию.

Керенский возразил с оживлением, что надо прежде разобрать все царские бумаги — и только тогда...?

Да, вот ещё. В правительственных кругах очень сочувственно относятся к новой инициативе Земсоюза: сверх всей многообразной заботы, которую он уже ведёт об армии, ещё взять на себя создание Комитета Пропаганды, который будет давать армии ответы на все интересующие её вопросы политической, социальной, военной жизни, способствовать росту её сознания и подготовке выборов в Учредительное Собрание. (А пока на этот комитет нужен один миллион рублей.)

Земсоюз был больным местом генерала Алексеева, теперь скрываемо больным: ведь он докладывал царю свой решительный вывод, что Земсоюз приносит армии больше вреда, чем пользы, и следовало бы его разогнать, и рассылал секретную директиву, как надо ограничивать Земсоюз. И сейчас на это новое феерическое предложение он серьёзно мог бы ответить только одно: а не хотят ли все эти молодчики-земгусары да послужить в строю? Именно их пропаганды он и опасался всегда. Но председатель Земсоюза стал теперь премьер-министром России. И Алексееву оставалось только согласиться на эту новую карусельную болтовню.

С последней надеждой он взглянул на Гучкова,— должен же он понимать эту вздорность?! Но тот сидел как с зубной болью. Не возразил.

И ещё есть правительственное предложение: посылать делегации от войск в Петроград для приветствий Временному Правительству.

Ну что ж, если это нужно. (Алексеева как бы опять не познабливало, не возвращалась ли болезнь?)

Так постепенно совещание прошло через все трудности — и проступал итог для газетного коммюнике:

«Генерал Алексеев понял народные желания. Линия для общей работы с ним найдена.»

18 марта

## ФРАНЦУЗСКИЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ ГЕНЕРАЛ НИВЕЛЬ — ГЕНЕРАЛУ ЖАНЕНУ ПРИ РУССКОЙ СТАВКЕ

**Энергичным образом настаивать перед генералом Алексеевым, чтобы, несмотря на важные внутренние события, русская армия, в соответствии с принятыми ранее решениями, оказала возможно полное содействие операциям англо-французских войск. Наилучшим выходом как с точки зрения общих интересов коалиции, так и для морального состояния русской армии является как можно более скорый переход ее в наступление.**

### 648

А даже и хорошо, что князь Львов не поехал в Ставку: у него образовался в субботу как бы невольный день полуотдыха. То есть нисколько не прервался ни поток приветствий, ни поток забот, звонков, докладов, и особенно Щепкин, в себе не уверенный, спешил решать в этот день с князем все вопросы по министерству внутренних дел,— а всё-таки чувствовалось облегчение: без половины министров ни одного мучительного вопроса не придётся сегодня постановлять. И не придётся мирить накопляющиеся страсти, особенно между Керенским и Милюковым, что бывает князю очень тяжело душевно. Заседание правительства если и состоится, то по вопросам третьестепенным — об отмене переводных и выпускных экзаменов в средних учебных заведениях, об обнаруженных хищениях при строительных работах, о выплате суточных и других вознаграждений комиссарам губернским и уездным, служащим правительственной канцелярии, телеграфного агентства, и процентные надбавки им.

Самым давящим в жизни князя Львова последние две недели то и было, что никто не состоял *над* ним в качестве начальника, высшей инстанции, с которой бы ему и ладить: спокойней было бы князю иметь над собою решительное твёрдое начальство. Нет, он стал тот самый верхний, за всё ответственный, который и должен теперь укладывать все неразрешимые вопросы России. И эта нагрузка была бы непосильна для человеческого мозга, если бы не верить, что сама Россия во всём разберётся и всё вытянет.

Отец князя Георгия был вольтерьянец, и не любил русской деревни, и даже бежал из неё в предреформенные, довольно жуткие тогда годы за границу,— так что Жоржинька родился в Дрездене и первый язык его был не русский, а английский, от бонны. Отец, и воротясь потом в Россию, всё не доверял русским крестьянам и на более сложные работы в имении выписывал рабочих из Германии, хотя от этого смехотворно не было лучше. Однако Жоржинька, напротив, вырос в уверенности, что наши мужики во всём учителя жизни, и наш народ — богоносец. И эта вера в наш чистый, святой народ особенно поддерживала князя Георгия сейчас, на бурных общественных волнах. Он понимал, он верил, что вся стихия уляжется, когда здравый смысл возьмёт верх. Что наш народ сам знает, что ему нужно, и сам всё устроит.

А между тем корреспонденты, конечно, пронюхали и сообразили, что у князя Львова сегодня менее загруженный день,— и дружно приступили с просьбой о беседе для воскресных выпусков газет: дать читателям общий обзор переживаемого момента и общие перспективы.

Ну вот и недостающее сегодня бремя,— грустно усмехнулся князь. Но не только невозможно было отказать настойчивым корреспондентам, а он тут же и подумал, что это хорошо, что это даже лучший способ управления: не постановления выносить, не указы, но — вольными, широкими словами объяснить всё народу России.

Пригласил корреспондентов к себе в кабинет, выдержанный в синих и костяных тонах. Лакей в ливрее и высоких белых чулках подал кофе.

Создалась вместе — интимность и просторность, было легко говорить. И слышал князь, как голос его задушевен и как это передаётся, умягчает корреспондентов. И князь говорил как бы сам с собой или мысленно со всей Россией:

— Время, которое мы переживаем, настолько выходит за рамки всех привычных представлений о ходе государственной жизни, что я чувствую себя затруднительно говорить в форме газетного интервью. Жизнь — ещё в расплавленном состоянии, и те твёрдые формы, в которые она выльется, намечаются пока лишь в общих очертаниях, а определятся со временем — свободным народным творчеством.

Князь говорил не торопясь, весь вдумываясь, весь вчувствуясь, поводя то к одному корреспонденту, то к другому седоватой своей головой и улыбаясь своею, как он знал неизъяснимой, улыбкой.

— Русский народ только сейчас стал перед всем миром и перед самим собою во весь свой гигантский рост. Он совершил настоящее чудо: в течение нескольких дней он снёс до конца прогнившее здание старого порядка — безо всякого междоусобия, почти без кровопролития. Он совершил и второе чудо: он сумел на второй день после своего великого переворота сорганизовать новую власть и в центре, и на местах. Скажу вам, я верю в то, что он совершит и третье чудо: донесёт свою свободу и своё единение в неприкосновенности до того великого дня, когда Учреди...

Переполненный верой, князь дрогнул голосом:

— Только эта вера и помогает нам нести наши сверхчеловеческие задачи — и не сламываться. Без дружной народной поддержки мы бы...— докончил шёпотом,— свалились.

Он должен был передышать, чтоб овладеть собой, но корреспонденты не ринулись грубо в эту паузу с вопросами. Да это всё были чуткие интеллигентные люди. Чуть звякали кофейные ложечки.

— Великая русская революция сделала нас — исполнителями воли народной. Мы в полной мере оцениваем значение тех сил страны, которые сыграли главнейшую роль в час великого переворота.

То — не был ни сам князь, ни думцы, то — были удивительные герои, солдаты запасных полков, и удивительные рабочие, которые... Экспромтом блеснуло князю, что эту беседу он может использовать для публичного обмена как бы дружеской улыбкой с Советом рабочих депутатов, улыбкой, каких немало он послал им через стол в заседаниях Контактной комиссии — но, публичная, такая улыбка более обязывала и контрагентов. Он, кажется, нашёл очень тактичную форму:

— Всё старание наше — осуществить *полноту* власти, которую нам вверила народная воля в согласии с этими силами. Но мы надеемся, что *и эти силы ясно понимают положение русской свободы и Временного правительства.* Чтоб ответственность Временного правительства перед всем русским народом была реальной, для этого ему нужны... возможности решения и действия...

Кажется, он хорошо и уместно это выразил!

— И признаки всеобщего объединения вокруг Временного правительства являются со всех сторон России — в выражениях доверия, приветствиях, депутациях. Наша программа — уже известна стране. Основное обязательство — это созыв Учредительного Собрания в возможно кратчайший срок. Определить этот срок уже сейчас с полной точностью — само собой разумеется, нет возможности. Нет готовых образцов. Составление избирательных списков уже будет грандиозно, как всеобщая перепись. И надо обеспечить голосование на фронте,— значит, чтобы военные действия не были в полном разгаре. И надо же обеспечить абсолютную тайну голосования.

Действительно, эта проблема была тем головоломней, чем пристальней в неё всматриваться. В горячке революционных дней обещали собрать Учредительное чуть ли не в мае. Но корреспондентов не приходилось убеждать, они понимали.

— А тем временем, господа, что ж, правительство приступает к самым неотложнейшим из реформ. На первом месте здесь — отмена нетерпимых, позорных вероисповедных и национальных ограничений,— это уже готово у нас и будет опубликовано в ближайшие дни. Затем пойдёт очередь — равноправия женщин, равноправия сословий. Затем потребуется регламентация... В краткой беседе трудно исчерпать, господа, бесконечный список вопросов. Но не могу не коснуться кардинальных: войны и продовольствия.

При слове «война» даже мирно-лучистые ласковые глаза князя Львова заблестели иным огнём (оставим недописанное, корреспонденты спешили записать это):

— Вступая во власть, мы были убеждены, что свободный русский народ не преклонится перед врагом. И мы оказались правы: клич «война до победного конца» уже звучит со всех сторон. И даже те, кто при старом порядке был холоден к этой борьбе, теперь зажигается новым огнём! Но и враг не дремлет! — он уже стягивает войска к нашему фронту и готовит новый удар.

Лица корреспондентов выражали ту же мужественную решимость. Когда знала Россия такое душевное единение между председателем правительства и прессой!

— Внутренние отношения в армии уже обновляются в духе права и справедливости. Что же касается продовольствия,— тут князь тяжко вздохнул,— то нам досталось от старого порядка тяжёлое наследство. Вся надежда — на готовность земледельческого населения продавать и даже жертвовать хлеб для нужд свободной России. Я верю,— он поднял глаза выше своих собеседников на подпотолочную лепку,— что великая крестьянская сила выручит Россию из беды. И несмотря на все опасности, я — бодро смотрю в будущее. Я — верю в жизненные силы и мудрость нашего великого народа. Я верю в его великое сердце, этот первоисточник правды и истины.

Так эффектно он кончил, так полно выразил себя, что уже мелкие вопросы неудобно было и задавать. Его благодарили, беседа кончилась.

Князь позвал Щепкина, чтоб углубиться в министерство внутренних дел. Тут было множество вопросов назначения, увольнения, кредитования, распределения,— но в этой деловой сфере тем более не терялся князь, величайший практик. Однако пришли и доложили, что очень настаивает на приёме у князя некая депутация с Западного фронта.

С Северного уже побывало их несколько, с Западного — ещё не успевали приезжать. Досадно было отрываться, но и...

— А сколько их человек? — спросил князь.

Да не больше дюжины.

Обычно депутации принимались в ротонде или в Квадратном зале, отделанном в помпейском стиле.

— А вы заведите их прямо сюда,— предложил князь.

И, два штатских человека, они со Щепкиным встали, вышли на середину кабинета навстречу депутации, выровнялись.

Те входили, без шинелей, но с покрытыми головами, постукивая сапогами, бренча оружием и шпорами, почти все с георгиевскими крестами, кто и по два. Выстроились в две шеренги, лицом к князю, три офицера — в первой шеренге. И самый младший из них — подпоручик, с очень свободной речью, произнёс звонкое приветствие правительству, в обычных словах.

Князь ответил, как всегда благожелательно, но кратко, по усталости. И у него тоже слова были все повторные: что правительство служит народу, а народ надеется на армию, которая и должна привести к победе.

Единственная необычность, может быть, была именно в том, что приём происходил в кабинете, и оттого не стягивалось никого со стороны — послушать и посмотреть. Только и стояли вдвоём князь со Щепкиным против малой депутации, в торжественном, но закрытом кабинете.

И от этой ли ощутимой отъединённости или такое намерение и было у делегации,— вдруг выступил старший из офицеров — донской казачий, с двумя звёздами при двух просветах, ещё совсем молодой, литой, и усы литые чёрные, черноглазый, с приятной мягкостью, скрывающей лихость,— сделал шаг из строя вперёд, молниеносно отсек князю честь, доложился:

— Войсковой старшина Ведерников! — и уже тише, но не от своей скрываясь делегации, ей-то слышно каждое слово, и лицом не продрогнул ни один унтер, ни солдат, не удивился ни слову произнесенному: — Ваше сиятельство! Мы наслышаны, что у вас в Петрограде — как бы две власти. Что вашему правительству мешают разные самочинные организации, суются не в свои дела. Вы,— он не смел улыбнуться в строевой позе, но всё смазливое лицо его просилось к весёлой улыбке, и даже можно было понять, что это — улыбка сговора и уверенности: — Вы — только прикажите нам! мы — вас освободим от них враз, ваше сиятельство!

И опять мелькнул честью, задержавшись у козырька, ожидая ответа.

Князь Львов почувствовал, что горячая краска ударила ему в лицо. Слава Богу, никто посторонний не слышал, но он покраснел даже перед Щепкиным, и перед самим войсковым старшиной, и перед молчаливыми солдатами в двух коротких шеренгах: а кто поручится, что один из этих солдат не отправится тотчас доложить в Совет рабочих депутатов?

Нет, в этой дружной группе было нечто слитное. Так и сдвинулись.

Однако князь покраснел сильно, краска не сходила, и в этом стыдливом пламени, стараясь держаться беспечней, он пробормотал в величайшем смущении:

— Что вы, что вы! Нет, нет! Эти слухи преувеличены. Всё приходит в равновесие. Всё приходит в порядок. Ничего, ничего не требуется, господа. Никакой защиты внутри страны нам не требуется, только защита от немцев!

Войсковой старшина опустил руку медленно-медленно, и уже никакой улыбки не проглядывало на его лице. И шагнул назад не оборачиваясь, спиной.

По его тихой команде две шеренги повернулись направо — и, стараясь не стучать после ковра на пороге, тихо вышли из кабинета.

Князь со Щепкиным сели заниматься дальше, не обсуждая происшедшего.

Но что-то очень испортилось в душе князя, что-то очень провалилось и тоскливо подымливало, как от рухнувшей штукатурки. Князь Георгий Евгеньевич дозанимался с трудом и с упавшим вниманием.

Он не успевал дать себе отчёта, что это произошло, отчего так дурно? Сожаление? Опасение? Сомнение?

Щепкин ушёл — князь подпёр голову двумя руками, закрыл ладонями и отсиживался в некоем головокружении, как бы ожидая, чтобы осела эта тоскливая дымящая пыль.

Боже, отчего оптинские старцы не велели ему остаться в пустыни, как он хотел, не дали отрешиться от мирского, как он одно время просился?..

## 649

А ведь Нижняя Волга в эти дни уже вскрылась! — и суда выходят из затонов, начинается навигация. Гордей Польщиков и сердцем знал издали сроки, но и в Петрограде в утро отъезда успел получить телеграмму из Астрахани, что его первый пароход вышел в Красный Яр.



Всякое время года любил на Волге Гордей, но лучшее время — весеннее половодье! Эта всякий раз новая распахнутая радость от открывшейся реки, от мощи разливов, от воли и простора, какие даны каждому человеку, и мне, и всем нам. От начала могучей общей работы, её чувствуют все, она на лицах всех матросов, рабочих, грузчиков, и даже пассажиры возбуждены по-своему. Парусные расшивы с рыбой выходят из Астрахани тотчас по ледоплаву, украшаясь флагами — и команды в красных рубахах. Лучшее время года! — и Польщиков всегда старался сам пройти на первом своём судне,— а вот в этом году задержался тут на севере. Но и сейчас из Москвы, отбыв завтра-послезавтра этот торгово-промышленный съезд, сразу же кинется в низовья Волги.

Его пароходное общество «Купец» соревновалось с «Самолётом» и с казённым пароходством — и в пассажирских рейсах, и в баловстве волжских гуляний, а более всего — в перехватчивых торговых перевозках, в чём и есть главная работа реки и главный доход судовладельца. Любил Польщиков все свои суда — от скоростных пассажирских бегунов и до последней сенобежки и угольной баржи, знал сильности, слабости каждого судна и помнил уём каждого. Да неплохо знал и чужие суда. И капитанов не только всех своих, но всех заметных волжских. И знатных лотовых. Это для посторонних Волга так длинна, так неохватна, и Царицын с Тверью как не видались никогда, и Ока с Камою как не обнимались,— а для волгарей всё в единстве. Когда на великой реке встречаются капитаны и пароходы, то узнают друг друга как односельчане на деревенской улице. И как те останавливаются потолковать о сельских новостях, так и эти — весело трубят друг другу, сигналят знаками, кричат в рупоры, а то и сбортовываются, сбросив движение, а то и перекидывают лёгкие перильца, иногда и с мостика на мостик, и переходят в гости, как циркачи.

И своё волжское дело любил Польщиков (и своё коннозаводство за Волгой) — но и своё купеческое сословие. Правда, уже не из тех он был купцов — в армяках, в длинных кафтанах, шароварах с гармошкой на голенища, борода по брюхо и золотые цепочки на обеих сторонах живота симметрично. Он был — из купцов нового поколения, после коммерческого училища ещё год доучивался в Гамбурге корабельно-торговому делу, поездил и по Европе. Таких, как он, среди купцов звали «американцами», ещё и по западной одежде (хотя Польщиков любил русскую, даже в столице не расставался с сапогами, а дома на выгулку надевал шубу лисью). Но никак не был он из тех, кто «тянулся за барами да распрощался с амбарами». Тысяцкий, почётный потомственный гражданин — и хватит с нас, борзых не гоняем, в карты не продуваемся, и в гвардейские полки не добиваемся. А истая сила русская — в нас! И посравнив наши коммерческие обычаи с западными, где на каждый шаг контракт и вексель, как не прохватиться нашими? Кто честен и проявил это среди купечества — то границ доверию нет, дают задатки по 50 тысяч и не берут расписок,— вот так, нам не по судам тягаться, всё торговое в России делается на слово, без бумаги, уговором торг стоит, ряда узлом затянута, обещал — выполняй, не выполнить купеческое слово — последний позор. У нас в России громадные сделки заключаются за чашкой чая, на словах,— и всегда выполняются, и чтоб дело шло разгонисто. Да помнил Польщиков и такое, ещё парнем, при отце, он попал у себя в Нижнем, в 96-м году, тоже вот на торгово-промышленный съезд: Витте хвастался пошлинами на западные товары, чтоб русским было легче,— а статейные купцы собрали большинство: не надо! открывай им ворота, пусть! поверстаемся, кто сильней! Витте поверить не мог: не из-за границы ли их подкупили? А вот это — и было по-нашему, размахнуться так размахнуться!

Нынешним октябрём скончалась в Нижнем Новгороде знаменитая пароходчица Мария Капитоновна Кашина, кликали её Марфой Посадницей. Много от неё Польщиков перенял в купецком деле, и говорила она: так — от Верхнего Новгорода идёт.

И когда в смуту Пятого-Шестого года иные состоятельные, напуганные грабежами, громежом, стали деньги переводить за границу, а предприятия сворачивать, то согласно корили их: «Стыдно деньги за границу прятать. Как бы нас малость ни потрясло — а Россия как стояла, так и будет стоять, и капиталы наши и силы наши — ей нужны каждый день.» И выгодные условия в Европе для денег предлагают — но нет!

В эту войну полили газеты глупую несмысленность, что «купцы прячут товары», не понимая, что когда купцам «припрать» будет уже нечего, тогда-то цены и подскочат до небес. В начале войны нас только и спасли запасы купцов: по дурацкому закону о мобилизации все товарные вагоны разгружались в тот час и в том месте, где их заставал приказ. И на несколько месяцев прервалось товарное обращение по стране, и не будь торговых запасов у купцов — города бы обнищали и вымерли. А так — и не заметили перерыву.

В этот раз уехал Польщиков в Волхов да в Череповец ещё из цельного Питера, а воротился через пять дней — банки, фирмы, биржа закрыты, прекратились операции, не работают заводы, не разгружаются, не нагружаются товарные поезда. Так что и какие дела оставалось Польщикову доделать в Питере — все прервались. И он — уехал бы в Нижний, или повис бы тут без смысла и живого дела, сторонним наблюдателем революционного сумбура,— если б — не эта девочка.

Польщикову сейчас чуть за сорок, а ни в чём нет этих лет — ни на лице, ни в стане, ни в глазах, ни в ногах. Волгарь, капитан, всадник, лошадник, лёгкий на подъем, на

вспрыг,— в этом декабре в Астрахани из ледяной воды вытянул тонущего, два стакана водки выпил, бутылку шампанского — и как ни в чём. Лёгкий и на язык, весёлый,— он всегда всяким женщинам нравился. Хотя, конечно, женатый, но по роду подвижной своей жизни всегда в поездках, в чужих городах, Польщиков нигде не скучал. А ещё была у него страсть — наперерез всем страстям — к театру. И в Германии немало повидал, и в Москве-Петербурге. Хоть на сотый спектакль придёшь, хоть на трёхсотый,— а как только свет пригасили и занавес тихо-тихо стал расползаться, с шорохом метя по доскам просцениума,— так сердце и обоймёт: а этот раз — что-то особенное будет! Компаньоны смеялись, а мог Польщиков на изрядный новый спектакль тысячу вёрст отмотать, туда и назад.

А эту-то худенькую черноволосую — и не узнал по её тихости в уголку, хоть и надышанную тем же воздухом,— это она его узнала! и сама к нему подошла!

И — во всём остальном городе катилась ли революция, нет,— в эти часы они не думали. Запирались, зашторивались, и от раза к разу всё усладистей и захватней забирала его Ликоня,— да не забирала, а сама была забрана до последнего вздоха, до затворенных век,— и только в одном имела волю устояться упористо, стыдливо: никогда не обнажилась при свете. Только глазам его не далась открыть себя всю.

Старшему сыну Гордея было 17 лет, дочери 15, а Ликоне — 22, но не видел он в том покора. Жену свою, близко к ровеснице, Гордей ощущал чуть не как мать, а вот Ликоня была ему саман как бы ровня, и даже робела от его задора.

Он научился и говорить с ней — не как с девчёнкой, и не как с дамой,— а прямо, как думал.

Между тем жизнь в Петрограде ожила, и дела Польщикова как-то сносно закончились, время было гнать на Волгу,— а он не спешил уехать, добавлял день, второй — чтобы с ней побыть. Возобновились уже и театры — но не шёл с ней Гордей никуда,— и даже не чтоб уберечься от лишнего слуха (хотя и тоже ни к чему), а: показывать своё сокровище никому не нуждался.

И Ликоня тоже никуда не рвалась идти: лишь бы вдвоём.

Оттягивал отъезд — и вот как придумал: в воскресенье 19-го в Москве открывается общероссийский торгово-промышленный съезд, на который он был приглашён, да и надо же по новой обстановке посмотреть-послушать. Так в Нижний пока не возвращаться, а ещё были дела в Твери, сладить их по пути на съезд. И Польщиков дотянул петроградское сиденье до позавчерашнего утра, четверга. Так в последнее утро и уехали из гостиницы: посадил её на извозчика, а сам — на Николаевский вокзал.

Каждый день с ней, а лишь втравлялся больше, и травля-то — медовая. Жизни такие разные, а не только не соскучился — а вот бы ты мне и нужна! И если б совсем у него был свободный выбор — взял бы её и в Тверь, и в Москву, как никого не возил.

Ещё в петроградском зале пароходного общества «Кавказ и Меркурий» потолковал со своими торговыми партнёрами: события обещали, что теперь враз отпадут таможенные границы губерний, запреты на вывоз, гибель грузов, твёрдые цены, все эти стеснения от уполномоченных, от петербургских канцелярий, от изобилия начальников,— польётся теперь торговля свободным дыханием, и Россия сразу выиграет (а уж после войны-то!). Сильно гниловато было последнее время, да, сколько нечистых рук совалось погреться, «работать на оборону», а за горячими барышами,— теперь будет всё на открытом просмотре. Не как с уральской платиной: ведь на приисках и промышленники крали платину от учёта, и даже рабочие, и продавали в тайные руки, и утекала русская платина, в 5 раз дороже золота. (А сейчас, говорят, и вовсе не стало горно-полицейской стражи, так что там делается? — скорей бы мимо эти мутные дни.)

Сегодня вот уже приехал в Москву. (А всё в нём трубило и радовалось! Вошла Ликоня в жизнь — и уже так просто не уйдёт. Зажглась ему и правда — как Зоренька.) Стал в «Славянском базаре», который не за удобства любил, а за кипливость, лёгкость купеческих встреч, и Китай-город тут же.

И вот — особый день, у всех на устах: *мининские дни*, мининский съезд. Настал момент, когда России нужны Минины! Торгово-промышленное сословие объединяется на большие дела! Прошлую неделю неслись телеграммы туда и сюда, рассылались приглашения купеческим управам и обществам, биржевым и торговым комитетам. Приехали даже немудрящие купчишки из захолустий, почти — хозяйственные мужики. На завтра ждались и новые министры, Коновалов и Терещенко, и от Совета съездов промышленности-торговли Кутлер и барон Майдель.

Съезд открывался завтра, уже сегодня почти все участники съехались, много номеров заняли и в «Славянском базаре», гардеробы были извешены купеческими шубами, меховыми картузами с пуговками, в столовом зале сидели большими рассудливыми группами, содвинув столы по два и по три, по посту заказав кто ботвинью с осетриной, кто паровую стерлядь, и беседовали в перемежке с бесконечной едой, и потом подолгу чай пья, простяки с блюдечек, подувая. Мелькали половые с подносами блюд и фарфоровыми чайниками.

А ведь если тут покопать — то у трёх четвертей отцы были крепостные. Сами себя освободили, до всякой реформы, смекалкой.



И едва ль не за каждым столом виделось знакомое лицо. Были тут и знатнейшие — двое Хлудовых, один Рукавишников. С разных концов России знакомцы — из Сибири, Туркестана и Малороссии, узнавали друг друга, а кто знакомился впервой. И много было дремучих бородачей, а немало и в европейских манжетах-галстуках, средь них Польщикова — едва не из самых молодых, а из молодцеватых — уж точно.

И от одного стола звали судовладельцы: «Гордей Арефьевич!» Вот собирались обтолковать, где рабочих брать на ремонт судов, просить у министра военнопленных? и металл? и чтоб службу береговую не забирали в армию. А фрахты — повысить, не избежать.

А за другим столом увидел своего сибирского заимодавца. Так чем через банк — тут же подсел к нему, отсчитал три тысячи, тот переверил, ещё раз бумажки перекидал, крепче счёт — твёрже дружба.

В освобождении от денег, когда производишь законный платёж, есть приятное ощущение порядка, точности, выполненного долга, оправдания самих денег.

И когда Польщиков сел — под открытой форточкой, у окна на весенний солнечный день, на Никольскую с несколотым, дружно тающим льдом (дворники разбаловались без полиции) — то, повертя голову, и тут видел нескольких знакомцев рядом. (Промышленники-фабриканты не останавливались в «Славянском», не было их сегодня тут. Сойдёмся с ними завтра.)

Такого съезда купцов давно не помнили. И среди этих сметливых лбов, цепких глаз, и отрывистого броского купеческого делового разговора — ощущал каждый гордость принадлежать к этому сборищу и соучаствовать завтра.

Да давно бы позвали их выручать Россию. Почему ж купечество не имеет власти решать, направлять? На купцов только натравливали, валили на них рост цен. Купцам зажимали рты, отстраняли всю войну, отказывались от их опыта и действия. А теперь-то — мы скажем своё!

Теперь — съезжалась глубинная кондовая Россия, не участница происшедшего трясения, но прихваченная им среди дела. Царя вспоминать, или пожалеть его — удерживались: по всему московскому разбору, застигнутому ими здесь, это было как бы запрещено, вон Рябушинский объявил привет «свержению презренной царской власти», да называют старый Петербург «ханской ставкой». Ханская — не ханская, но и произволяли нами, да. Труд народный опутан был препонами, и дело — не в тех руках состояло. Но вот собирались — чтобы сплотиться, и выдюжать, и устоять, а если мы не устоим — то кто? Многоликая русская торговая сила привалила спасать Москву, как в давние времена. И Учредительное Собрание назначим — только тут, в Белокаменной! Было торжественно, хотя не все могли выразить складно.

В ресторане «Славянского базара» окидывали друг друга ценящими взорами, переходили по залу, пересаживались, выслушивали вразумливо: да если мы — не сила, то кто же в России сила? Теперь вот только войну докончить — всё наладится у нас, расцветёт. Не Питер нам будет указчик. Вот пошагаем!

Думал так и Польщиков, и даже, Европу зная,— залётнее их. Природные дары у нас — богаче Америки, нам только — рассвободите движение, посостязаемся мы товарами со всей заграницей. Ещё б железные дороги наши так отладить и сгустить, как германские. А от войны оправимся, капиталы соберём — да, смотри, и Волгу с Доном соединим, ведь двести лет без дела проект лежит. И поплывут наши волжские — туда, в те моря!

Толковали, что надо на съезде хороших людей избрать — в столице сидеть и защищать торгово-промышленные интересы. Все теперь так-то избирают, все защищают.

А тут скажи молодой Хлудов, да уж и передавали из уст в уста: тузы московского купечества, Третьяков и Четвериков, порешили предложить: самим торгово-промышленникам — и ограничить свою прибыль, с этого начать. За военные годы в иных предприятиях прибыль превысила основной капитал. Так надо нам сговориться и, не дожидаясь, самим отрубить излишки прибыли: сколько можно, а выше чего нельзя — отдай в казну. И все цены — вниз пойдут, а производство — вверх. И укрепим Расею-матушку, и мир будет промежду народом помягше, к нам же. Кому-то надо первым совесть заявить — так нам. Тогда отобьются от нас и все мародёры, притянутые высокой прибылью, очистимся и от них. Вырежем от нас эту язву, кто на армейских поставках нечистые срывы берёт, или как киевские сахарозаводчики — сахар через Персию едва ль не в Германию гнали.

— Э-ко-ста!..

Поблескивали глаза. Что ж, и наживе есть край, не всё нажива, а что-то куда-то жертвовать, чтобы после тебя осталось, в твою память и во спасенье души. А теперь вот — в казну, поддержать саму Расею. И оттого — всем отдастся добром.

Показывали на вёрткого черноусого посреди зала в большой компании, за столом на 12 персон. К нему какой-то нарядный вскочил с бокалом:

— Вашего имени, господин Бубликов, Россия никогда не забудет! Вам удалось предотвратить кровавую бойню!

А Бубликов — громко, для многих, шире своего стола:

— Смотреть на Россию не как на жирный пирог, а как на горячо любимую мать!

Избегать бороться за классовые интересы. Предстоит увеличение налогового бремени — и примириться с этим. Лечь костьми, но отдать свои силы на благо родины!

Отзывались ему:

— Для родины мо-ожно не поскупиться. Налоги-то малые платим, признаться сказать.

— Правительство новое на-адо подкрепить. Мы подкрепим — чтоб другие на него не больно давили.

А Бубликов:

— Так-так, но и Временное правительство тоже должно знать себе границы, а не душить нас новой 87-й статьёй. Сокращение прибыли — ещё неизвестно, как тот же Коновалов примет, как индустрия посмотрит. Там, в Петербурге — мародёрская штаб-квартира. Уже не приходится, господа, пугать катастрофой,— катастрофа у наших ворот.

И — разлилось, погудело по залу: ка-та-стро-фа?..

Да вести-то пошли, прислушаться купеческому люду,— так себе. Бумажных денег будут напечатывать всё больше. И, слышь, выжимают жертвовать — да не муку для голодающих, это-то мы готовы, а на «освобождённых, пострадавших за свои политические убеждения»,— и уже Третьяков пожертвовал, Второв дал 500 тысяч, суконные фабриканты собрали 100 тысяч,— мол будто эти политические за нас всех страдали и нас вызволили. А — что они нам? кто такие? почему и им жертвовать? Что-т мы не замечали, как они нас вызволяли. Да не те ли они, что бомбы кидали, банки грабили?

А вон уже, слышь, готовят объединение всех приказчиков. Это значит — супротив нас?

И вон свобода — питерские рабочие стали 8 часов работать, не глядя на военное время. А питерские фабриканты все условия им сдали — а наценку переложат на изделия. На военные товары конкуренции нет, казна всё примет. Так чем же они поступились? Не своим карманом.

Да хуже того: хлебную вольную торговлю, мол, не воротить хотят, не снять запрет на вывоз из губерний, не дать хлебушку дышать по себе — а всё забрать в казённые руки и ими направлять. Мо-но-полия!

Ну, так и посевы сократятся. Ну, так и будет Русь гола. Всё клещами зажмут — всё и обронят. Россия — голодная будет.

— С Монополии — разве хлеб вырастет?

— Надо ото всего съезда слать министрам телеграмму: отменить монополию!!

— Кому вязнуть, кому вытянуть,— тут ещё не видать.

Завтра этот Коновалов ещё что в речи выразит? Какие у них задние цели есть? Мы-то добродушно съехались.

Э-э-э... Да не упущено ли уже, православные?..

## 650

Лихо ты моё, куда ж мы посунулись? Неделю назад Козьма ног под собою не чуял: какого соглашения достиг с фабрикантами! Одним шагом получил для всего Питера восьмичасовой день, о котором 20 лет только грезили,— и с сохранением прежней заработной платы!

А — рабочие? Оглянулись, что из свободы можно и больше выколотить, мало взяли,— и ну выколачивать! Почему у буржуазии барыши, а нам не вырвать? Распахнулась воля — так можно рвать!

И с каждым днём не меньше, а больше, на каждом заводе выдумывали по-своему. На том заводе угрозили администрации — и удвоили плату всем вкруговую. А там уже кричат: утроить! А на том: учетверить! Путиловская верфь давала повышение 20 процентов — рабочие потребовали 400! Там — по болезни оплачивать две трети, там — оплачивать выборных. На Промете — отменить сверхурочные, из-за сверхурочных не остаётся времени на гражданские права, не видим завоеваний революции. Ещё где: отменить сдельную оплату труда, не желаем боле напрягаться! На Треугольнике потребовали: шестичасовой рабочий день, а наградные — на Рождество и на Пасху каждый раз по два месячных оклада; а все служащие — себе: чтоб им участвовать в прибылях. На Невском судостроительном уже приучили администрацию выполнять все требования тотчас: уже и старостат, и оплаченная милиция, и отменили обыски на проходной, теперь надумали — убрать директора! На Адмиралтейском судостроительном — убрали 49 технических служащих. Там — инженеров стали избирать, и от этих уже требуют всего, за день — пять-шесть изменений. Там — фабричные инспектора тоже чтобы выборные. Там требуют: вообще безо всякого начальства, работа ещё лучше пойдёт! А чернорабочие (подстрекаемые большевиками) требуют и себе такую же оплату, как получают высшие разряды. Туда ж и банщики: не желаем работать больше четырёх дней в неделю, и чтобы в субботу тоже отдыхать (самое, когда людям мыться).

Никогда не ждал Козьма, что такое неоглядное озорство и такая жадность разгорится в рабочих людях. То и обидно было ему смертно, что не хотели внять, скандалили и всё



разваливали — свои же рабочие, самый родной его люд, кто умел всё в мире сделать своими руками, и кем Козьма гордился всю жизнь, что и он из них.

А вот мы какие рыла вылезли. Попрекали образованных, что они своекорыстны,— а мы? Попрекали фабрикантов, что они жадны, никак не насытятся,— а мы? Да мы жадней и дичей!

Да питерские фабриканты — вот, подписали соглашение по-хорошему. Они рассужденье имели, что и мы тоже обороты подбавим, и так оборону вытянем, а? Им-то в глаза как Козьме смотреть, когда сам подписывал с ними? Они нашего Совета слушаются — так надо ж и нам знать край. Соглашение есть соглашение, надо и самим выполнять. Производительность обещали повысить, а она ни к чёрту упала, на заводы ходим только болтаться да требовать. А у них сырья нет, угля нет — откуда им повышать плату? Надо же совесть иметь, ребята! Надо же по справедливости!

Вчера петроградское общество заводчиков собралось — и составило Совету депутатов вопль: рабочие предъявляют невыполнимые требования, конфликты обостряются до полной анархии, постановления примирительных камер остаются без исполнения, работы идут беспорядочно, производительность резко упала, насилия над мастерами и администрацией, избиения до убийств, самовольные аресты, выгоны. Просят Исполнительный Комитет — принять меры!

И бумага эта — прилетела, легла к Гвоздеву на стол. А — к кому же?

Он сидел над ней — и держался за растрёпанную свою бедовую голову. Неделя прошла — и ото всего соглашения одна злоба. Подписывал Гвоздев своей рукой, и фабриканты улыбались ему, руку жали и верили.

Да что там стыдно! — страшно. Ведь знал он эти *насилия*, в бумаге подробно не расписанные: одного мастера утопили в проруби, а одного за малым не скинули живьём в вагранку.

И это — мы такие? И это мы такие — всегда и были? Только пока боялись тюрьмы или виновных пошлют на позиции — так сидели небось тихо? А теперь — давай, громи?

Две недели Козьма себя утишал, что это — только шатнулись, вывихнулись, что это всё станет по местам.

А — нет.

Да ведь этак — и все сгорим, как на пожаре.

Так значит, дело-то не в *классе*. А в своём сердце.

Да рабочие умелые, разрядами выше — во всей этой заварухе и кипели куда не так. Громили и зорили, и лезли в комитеты — не они, а валовые рабочие, самая чёрная нижняя людь.

Да не на кого и валить. Не мог быть Козьма в том сам не виноват. Полтора года он всё рабочее дело вёл,— так никто другой. И если завалилось — так не без его вины.

Но — чего? Но — когда? Он не видел.

Куда кидаться Козьме? Сидеть в своём отделе труда? — уже в двух отделах труда, с позавчера уже и в министерстве промышленности, считай в правительстве, был у него свой отдел, а что толку? Кидаться по заводам? Да с тёплой бы душой. Да ведь — и Козьму не слушают. Да ведь и не объедешь всех. Посылал помощников по всем местам — тоже не обхватят. На электрической станции трамвая еле уговорили — не изгонять силой неугодных лиц.

А самого Козьму — то тянули на занудные заседания Исполнительного Комитета. То слали — непременно выступить в новом рабочем клубе на Херсонской с речью об Учредительном Собрании,— а что он сам в этом Учредительном понимает, и на кой оно ляд, когда заводы разваливаются? (Уговорил вместо себя — Станкевича.) А то погнали — необходно надо ему сидеть в ложе, в Мариинском театре, на открытии спектаклей. Просидел как чучело, красно налитой, галстуком удушенный. А то теперь приступили: именно ему (как тогда — царя арестовывать) составить новую воинскую присягу. Почему-то другим — неудобно.

Да, конечно, знал Козьма, кто же не знал: что теперь семьёю день прожить надо 3—4 рубля, и не все же получают 5 и 8, многие и получают не более четырёх, а то и помене. Требование повышать оплату — не выдуманное, сама жизнь гонит, всё повышается. Но и должен же человек всегда знать себе границы, но и опамятоваться: не один же ты! Давайте всё ж попридержимся, да сделаем обдуманно. Ну даже-ть захватим — а удастся ли удержать? Смотрите, нам бы не захлебнуться. Пойдёт общий развал, не будет ни топлива, ни сырья,— так откуда нам будет плата? И что нам тогда этот 8-часовой день? Да хозяйственный развал — он хуже этой, бишь, контрреволюции. А крестьянин тоже не будет кормить нас в обмен. Мы ничего не дадим — так и хлеба не будет. Мы все границы переступим — так и фабриканты на том заводы закроют — и конец.

А — война? Война же идёт, очнитесь, ребята, что за дикие мы оказались? В твёрдом разуме выход один — чтобы Питер давал и снаряды, и пушки. А как нам иначе смотреть в глаза фронтовым делегациям?

Они и стали тут подбывать, да с резолюциями фронтовиков, корящими рабочих за 8-часовой день и что снарядов не шлют. Кой-где рабочие застыдились, стали и своими

резолюциями отвечать: мы не лодыри! а просто не хватает угля и нефти, только из-за этого работа тормозится, не верьте слухам, что мы не дорожим обороной. Да со всего громадного Путиловского проняло одну башенную мастерскую, 800 человек, постановили: «Учитывая серьёзность момента, производить работу полностью. Всякое манкирование и требование чрезмерной оплаты — позорное явление. Товарищей, желающих закрепления свободы, призываем присоединиться.»

Знал Гвоздев, что дело куда хуже, чем в этих резолюциях,— но хоть бы принимали везде такие. Один выход — не бунтовать каждому заводу по-своему, сохранять какой-то порядок,— а уж Исполнительный Комитет (Гвоздев же) будет стараться добиться общего по городу минимума оплаты, на какой можно жить.

Призывы помогали мало, но только призывы и оставались.

Исполком не поможет (позавчерашний доклад Дмитриева ничего не сдвинул) — так ставить вопрос на пленуме Совета, пусть воззовёт сам Совет.

Хотя и он уже взывал, тоже не помогло.

Взъерошенный озабоченный Гвоздев пошёл на сегодняшнее дневное заседание Исполкома, чтоб уговориться о постановке вопроса на пленуме.

Из Екатерининского зала бодро вспыхивала очередная марсельеза очередного затопившего полка.

Перед дверьми Исполкома ждала польская делегация: пришли благодарить за независимость.

А на Исполкоме — и уже который раз — озабоченно обсуждали: как сократить пленум Совета, разросшийся до трёх тысяч? Там совсем бессмысленные прения, социалистический дух распадается, большой перевес солдат над рабочими придает консервативность. Такой Совет становится просто даже вреден.

Однако, где сила, которая убедила бы его распуститься? Кто посмел бы теперь распустить Совет?

Выходило: надо как-то обмануть Совет. Рафес, Соколовский, Капелинский высказали опасение, что Совет забунтует. Всё сорвётся — и только хуже станет.

А Богданов — взялся: сегодня же вечером он попробует!

— Погодите, погодите! — вмешался тут и Гвоздев.— Но неотложный вопрос с положением работ на заводах. Это нельзя откладывать, я прошу поставить на пленум сегодня!

Но тут ворвался комендант Таврического дворца и, не прося слова, стал кричать, что он снимает с себя дальше ответственность за митинги: полы залов больше не выдерживают марширования! Или переносите митинги на улицу, или все тут провалимся!

Входила приосиянная торжественная польская делегация.

* * *

*Взыграли радостные силы,*
*Как буйный волжский ледоход.*
*И вышел Стенька из могилы*
*Вновь поглядеть на свой народ.*

*(«Русская воля»)*

## 651

Острое объяснение с Еленькой позавчера ещё долго докалывало и дозванивало в сашиной груди — как колют и бьются острые льдинки, со звоном печальным. И даже не взбрыкнуло в нём: «Ах так? Так обойдусь без тебя!» Наоборот, чем непоправимее он узнавал, что теряет Еленьку,— тем нежней хотелось оставаться ей верным. Почему-то — надежды он не потерял, хотя она всё сделала, чтоб отбить её. И даже какое-то больное наслаждение было в этом мучительстве: не добиться её — а продолжать любить. Вот теперь он особенно понял, что не просто хочет её, а любит. Даже понимая с ужасом её в чьих-то чужих руках — не освободился от неё.

Ещё и потому, что наступило такое подвижное время — и обстоятельства сами могут вернуть ему Еленьку.

Всё это так беспокойно в нём колыхалось, что и вчера весь день пролетел как потерянный.

А сегодня позвонил Матвей: не хочет ли Саша познакомиться с ведущими большевиками? На совещание о принципах действий к ним идут от межрайонцев человека три, можно взять и Сашу.

И без того тошно. Отказался.

Но прошло полчаса, час,— пожалел: а что вот так травиться? Лучше уж на совещание. Перезвонил Матвею. Ещё успел.

А совещание оказалось в особняке Кшесинской, который Саша хорошо запомнил. Только теперь уже не было того безлюдья, во дворе стояло несколько броневиков, расхаживали унтеры в кожаных куртках и штанах, в вестибюле — часовой с винтовкой,



а внутри — совсем была оголена столовая, как уже и не столовая, и гостиная не как гостиная, уже не было аромата дома знатной дамы, но мебель ещё на месте, в беломраморном залике так же рояль, бело-золотые полумягкие стулья, а совещание — в той скруглённой комнате, как бы зимнем садике, где посередине грот с голубым фоном, вода уже не сочится, но ещё стоят две пальмы, раньше, кажется, больше.

Саша пришёл, как и всегда ходил теперь, в военной форме. Разумеется, никто из этих унтер-офицеров или дежурный не потянулись отдать ему чести, он и не ждал — но шагал и понимал, что военный человек нужен, понадобится любой из социалистических партий. Да и в совещании, среди двух десятков сидящих, оказался один рослый черноволосый мичман.

По пути снова рассказывал Матвей Саше, что сейчас владеет социалистами дух объединения — всех фракций в одну партию — и есть к тому реальные возможности: не только межрайонцы хотят слиться с большевиками, но, с другой стороны, и часть меньшевиков (а их межрайонцы как раз не хотят), и московские большевики *за*, но тут приехали *сибирцы* и противятся.

Объединение всех социалистов в одну партию — это казалось Саше всего надёжней: будет сила! и выбирать не надо, в кого вступать,— а то что, правда, делят?

Пришли к самому началу, сели, где было место. Через соединённые окна полукруглой стороны виделся Троицкий мост. Там в выступе, лицом к остальным, сидели как бы президиум, около них и Кротовский, одного его Саша и знал в лицо,— да лидер он был кикудышний, суетливый, и физиономия, надо сказать, без налёта интеллекта, а весьма премерзкая: голова вокруг лысины будто усеяна волосиками, а не выросли, лысина со лбом как нахлобучена на юркие глаза, не давая им высоты взгляда, губы толстые, а уши мясистые. А большевиков Саша никого не знал. Один там, в полукруге, сидел очень интеллигентный, в очках, симпатичный. А рядом с ним, руки сплетя на груди, беспокойный, простоватый, с небрежными усами, всё вертелся: проверял ли, кто здесь или кто говорить будет. А в общем-то лица были очень заурядные, до того неиндивидуальные, что встреть их кого Саша на петроградской улице — никогда б не догадался подумать, что они из головки той партии, наводящей последнее время такой страх на общество. И не интеллигенты, и не рабочие, а так — мелкие служащие.

Повестку озаглавили: *вопросы тактики*. А начали обсуждать последний Манифест ко всем народам.

Саша-то находил Манифест просто замечательным: сама необычность прямого обращения ко всем народам Европы — не остаться революционным островком в воюющем мире, а чтобы революция перекидывалась дальше и дальше! И ведь действительно европейская война тогда остановится, действительно! Всеобщий мир через всеобщую революцию — ну разве не красота? Вот это — цель!

Но так — никто тут не думал и не высказывался. Этот интеллигентный — Каменев — умеренно похваливал Манифест, только надо ещё давить на Временное правительство, чтоб заставить его открыто высказаться против завоевательных планов. А какие-то резвые кричали ему:

— А где призыв к немедленному прекращению?

— Да так и любой Шейдеман охотно выскажется! Нет, надо заставить их формулировать нашу революционную волю! Надо их заставить немедленно вести переговоры о мире!

— Как же мы их заставим? — снисходительно усмехался невозмутимый Каменев, не повышая голоса.— Чем?

Но, видно, тема была больная, о ней говорено раньше, ораторы ссылались на прежние стычки, выступали не связно, а короткими репликами, поднимаясь со стульев или не поднимаясь. Очень горячился, больше чем мог доказать, тот простоватый усач — Шляпников (ах, это и был их главный Шляпников? всего-то? не боги горшки обжигают), и те все резвые были за него, и Кротовский: если не свергать Временное правительство, то бить его в спину и в шею.

Это ещё что за дикость? — удивлялся Саша. Против своего же революционного правительства? Каменев на это возражал с большим самообладанием, разумно. (Вообще, он тут, кажется, единственный умный.) А большеголовый бровастый Муранов — рядом с Каменевым — очень важно голову держал, но молчал.

Замелькало «надеть узду на революционную стихию?», «оборонцы!», «пораженцы!». Шляпников горячился, что среди собравшихся не может звучать термин «пораженцы», это недостойно, так клеймила большевиков неразборчивая буржуазная печать, либералы в союзе с чёрной сотней, а «пораженчество» было всего лишь предсказанием неизбежности крушения романовской монархии на почве внешних неудач. На «пораженцев» не клеветал только ленивый — а предсказание их блестяще оправдалось, первый революционный полк на улицах Питера и был главный «пораженец»,— бессмысленное и обидное слово.

Но Каменев разумно возражал ему, что не надо кидаться и «оборончеством» и «революционным оборончеством», это тоже бессмысленные обидные клички, лишь смазывающие суть вещей.

Шляпников, горячась:
— Зачем пролетариату война? — на его долю только увечья и смерть, а в тылу — длинный рабочий день и дороговизна. Правящие круги запутались, выйти из войны не могут. Надо заключать мир без официальных сфер!
Каменев, уравновешенно:
— Конечно, хотелось бы кончить войну поскорей. Но когда армия стоит против армии — не сложить же оружие и домой? — это политика рабства. Если Германия сейчас начнёт наступать — надо дать ей сильный отпор.
— Правительство капиталистов — наши враги!
— Но на «долой правительство»,— улыбался Каменев,— у нас просто нет сил.
— Если не свергать сейчас — то хоть объяснять массам, что всё равно неизбежно нам придётся брать власть!
А рядом с Ленартовичем сидел какой-то кавказского вида, маленького роста, с оспинками на лице и с толстыми длинными усами, разведенными ровно вбок. Саша ещё удивился, какие туповатые сюда попадают, сказать бы — чистильщик сапог, при чём тут он? А тот поднял руку, объявили «товарищ Сталин» (только в насмешку можно было к нему прицепить!). И этот тихий забитый встал, подшагнул к фонтанному гроту и стал говорить заунывно, но не так глупо.
Как это теперь модно козырялось, он потянул из французской истории: что в 1792 году республиканская Франция воевала против коалиции реакционных королей, и если б что-нибудь подобное было сейчас, то социал-демократы все бы дружно поднялись на защиту свободы. Но нынешняя война — с обеих сторон империалистическая, за рынки сбыта и сырья, а главное: сегодня она не угрожает нам восстановлением старых порядков, как пугает буржуазная печать, и нет никаких оснований бить в набат, что свобода в опасности.
Таким образом грузин подыграл как будто шляпниковцам — но тем же тоном ровно подыграл и Каменеву, что лозунг «долой войну» выглядит голым пацифизмом и тоже ничего не даёт. Что Манифест Совета надо приветствовать, но (уклонился тут же) приветствовать с оговорками, что он не разоблачает хищнического характера войны. А нам (вроде опять в сторону резвых) надо давить на Временное правительство, чтоб оно начинало мирные переговоры,— и только так мы сорвём маску с этих наших империалистов.
Примирить — никого не примирил, а запутал больше.
Энергичные: надо бороться за армию! Буржуазия призывает к бургфридену. А нам нужно — выборное начало! чтобы солдаты не шли покорно за офицерами, вот чем надо заниматься! — и только так мы отберём у них силу.
Что ж, Саша к такой армии был вполне готов: честно, демократично. А толковый офицер всегда сумеет и обратиться к солдатам и зажечь их, и быть выбранным,— и поведёт их ещё лучше, чем в подневольной армии.
Тут выступил один кудлатый, здоровый, а лицо барановатое, Кривобоков-Невский. Он на гротик как наступал, тот не давал ему простора:
— Надеяться на бывшую императорскую армию, как бы её там ни демократизировали,— в корне неверный путь! Преступно забывать, что ни одна революция не побеждала без собственного войска. В 1789 году сразу стали создавать национальную гвардию и только потому победили. В 1848 не было её — и революцию потопили в крови. И сегодня реакция не спит и готовит нам разгром...
Вот уж галдели об этой контрреволюции, но Саша нигде её не видел, выдумки. Где она есть?
— ...И пока мы хозяева положения — надо требовать декрета о немедленном вооружении народа! Если не хотим дожить до парижских июньских дней, чтобы буржуазная молодёжь топила нас в крови.
А Муранов в президиуме — водил своими страшными огромными бровями. Но ничего не говорил.
— А это кто? — спросил Саша про смешного толстяка, весь объём живота которого нельзя было вообразить в сидячем положении, а только когда он вот поднялся, безобразный живот, хоть и обтянутый армейским поясом поверх суконной рубахи.
— Бонч-Бруевич,— шепнул Матвей.
Толстяк вколачивал кулаком невидимые гвозди с поспешностью, как бы предыдущий оратор не забрал всю его мысль:
— ...Да если Совет рабочих депутатов не будет опираться на революционную армию, то он осуждён на падение! Вооружение рабочих — это один наш путь. Напряжём все силы для устройства громаднейшей армии пролетариата! Нам именно нужна другая, своя рабочая армия, как финляндская Красная гвардия в Девятьсот Пятом! И не револьвер каждому нужен, а солдатская винтовка с большим количеством патронов!
А что? готовность *к делу* у большевиков — как ни у кого не увидишь, это правда. Кажется, не в плохое место Матвей привёл. (И сам захвачен, раскраснелся.) Там ещё объединение социалистов будет, не будет, а эти... Хоть энергичны.
Вдруг — всё изменилось на совещании: с гордым видом вошла красивейшая женщина — вот удалась природе! — и одета так хорошо, как не одеваются на партийные совещания и вообще в этой среде. Белокурая голова, тщательно выложены волосы отдельными кольцевыми кудрями. Тонкий профиль. При властном взгляде как будто выражала готовность и к приветливой улыбке. На груди брелок на цепочке. Невысокая фигура с приятною полнотой: званы все формы, отпущенные природой, и все в меру. Выталкивая коленями тяжёлую ткань лилового платья, она прошла, как это было ни закрыто,— по одной стороне гротика, мимо колен сидящих,— по какому-то праву прошла в полукруглый уступ позади спин президиума, там нашёлся стул, она повернула его боком к окну и села, облокотясь на подоконник, профилем к Троицкому мосту. И так (проектируясь для Саши на череду мостовых фонарей как скульптура) сидела: слушая речи, но и рассеянно, но и показывая себя всем тут.
Да она одна и подходила к этим стенам как состоятельная хозяйка этого дома, а они все тут — случайный сброд посетителей.
Мичман откровенно воззрился на неё. И в Саше тоже — замутило, и он на какое-то время перестал слышать, что говорилось.
И пропустил: очевидно, перешли на другой вопрос повестки? или как? Почему-то опять этот комичный Сталин получил слово и монотонно негромко вёл, никак не подавая надежды на пламенную речь:
— Уч-редительные Собрания а-бычно собираются уже после успокоения страны. Поэтому о-пытные революционеры,— и тень улыбки прошла по его лицу,— всегда пытались в-существить свою программу, ат-тягивая созыв Учредительного Собрания, и поставить его уже перед фактом а-существленных реформ. Но наше Временное правительство возникло сав-сем не на баррикадах, а...— сожаление выразилось в его голосе.— Па-этому оно сав-сем не революционно. На-ше Учредительное Собрание будет на-много демократичней этого правительства. Поэтому нам — ны в коем случае нэ надо оттягивать Учредительного Собрания.
Матвей с кривоватой улыбкой шепнул:
— Член ЦК.
Ах вот как. Ну, это сильно разочаровывало.
А та красивая большевичка, как она прошла-села, так она, может быть, тоже член ЦК?
— ...Можно нвзвать че-тыре условия победы русской революции. Первое...

## 652

Всегда не слишком светлая и наблещенная, даже сумрачноватая, обширная квартира Винаверов, в минувшие дни, по соседству с Думой, не раз приют для ЦК кадетов,— сейчас, ещё до вечерней темноты, светилась во все электрические лампы — с потолков и со стен. В столовой сновала прислуга, кончая собирать парадный обед, в других комнатах сидели и гуляли гости, числом до двадцати, больше мужчины, больше — сотрудники и соучастники жизни Максима Моисеевича,— по юриспруденции, по борьбе за еврейское полноправие, по еврейским культурным организациям. И ещё ждали двух почётных гостей.
Весь вид квартиры, всё настроение да и одежда собравшихся были торжественно именинны — и не к рядовым именинам, но к большому юбилею. Однако никто не принёс юбиляру подарков. Хотя он и был здесь, по сути, главный виновник торжества — но плоды его и ликованье его разделяли равно все.
Приглашены и собрались они сегодня по тому поводу, что не только уже были уверены, что закон о национально-вероисповедном равноправии утверждён,— но Максим Моисеевич получил на руки его полный текст, а со дня на день он появится в газетах.
И какое же указующее совпадение: почти в день еврейской Пасхи!..
Да! Это и есть наш второй исход из Египта!
Сейчас же после опубликования будет общегородской митинг, и обещал выступить Милюков. И там начнём сборы пожертвований, чтобы построить в Петрограде большой еврейский Народный Дом.
Какой долгий путь страданий и борьбы пройден — и как вдруг быстро всё совершилось!
— Да, господа, двадцать пять лет усилий, как раз юбилей! Я считаю, мы начали эту борьбу в начале девяностых годов, с «Бюро Защиты». Считайте, как раз двадцать пять!
Но — и износился же хозяин-юбиляр за эти четверть века. Ведь ему сейчас только 54, а на вид давали и шестьдесят. Уже припокачена была его спина, как если б он носил, и носил, и носил мешки. И крупный лоб его облысел далеко на верх темени, борода с сединой, и уже куда не расцветный вид, но по-старчески сложены складки, утопляющие серые глаза. Однако и подбодрели, побыстрели его движения за последние две недели, и поживели глаза. А улыбка всегдашняя — добродушно-хитроватая, и добродушно-радушно разводил он руки, встречая каждого нового гостя,— а вот и Фёдора Фёдоровича Кокошкина!

А Кокошкин и сам блистал как главный юбиляр, да — по-кокошкински: франтовски одетый, сверкающий белизною и стеколками, веретенно-стройный, закованно-крахмальный, а на маленьком сухоньком личике — чёрные усы почти по-вильгельмовски загнуты тонкими воинственными пиками вверх, но и всем этим Кокошкин как будто скрывал, а скрыть не мог, что сам он — эстет, мечта и нежность. Он — сиял, и взгляд его был — задумчиво-радужный.

Винавер обнял его простоватым движением и поцеловал, но так, чтоб не испортить это картинное чудо. И не сломать: изысканная подобранность Кокошкина всегда вызывала опасение, не прячет ли он за ней нездоровье.

Боже, сколько их соединяло, от самой Первой Думы! Сколько решающих ночных совещаний разделили они! Сколько исторических документов составили совместно прежде — начиная от бессмертного Выборгского воззвания в июльскую ночь — и снова, в новый прибой, новый орлиный полёт — воззвание Временного правительства — «свершилось великое!» — и вместе же работали теперь над проектом Учредительного Собрания. Какой рок сводил их руки над самыми великими документами!

Да ведь программа Февральской революции — это и есть программа нашей Первой Думы! Все попытки вразумить власть оказались тщетны.

Да, конечно, они оба и сегодня расплачивались за Выборгское воззвание: не имели права избираться в три последние Думы, оттого их имена не стояли так высоко у публики — и они не смогли войти прямо во Временное правительство. Но поддерживали его из-за кулис своими перьями и советами.

Теперь главное: не дать силам контрреволюции расправить чёрные крылья и посягнуть на новый строй! Вот, арестовал Гучков кое-кого из Ставки. И арестован кровавый семёновец Риман... Вот, вы слышали, господа, арестовали полковника из следственной комиссии Батюшина... Как? Разве ещё не вся комиссия посажена? Давно пора этих зубров всех!.. К сожалению только — Совет депутатов несколько выходит за пределы своих функций... Да, это отчасти есть... Но — обойдётся...

— Но господа! Кто у меня был на днях? Не догадаетесь! Пуришкевич.

Загудели, действительно удивлённые.

— Пришёл спрашивать пути спасения России! Теперь нашёл, у кого. Я ответил: это вы, тёмные элементы, ввергли Россию во все её несчастья. Это вы приучили народ к бесправию — и теперь чего будет стоить вернуть его к правовому строю!

Ну, действительно, психопат был, и остался.

А вот он, вот он! — грузно появился князь Павел Дмитриевич Долгоруков, неся мамонтовую голову на слоновьем корпусе. (Тот самый князь Павел, который революционной молвою Девятьсот Пятого года выдвигался на императорский престол, а в Шестом году своё место в Думе уступил Герценштейну; и потом ездил к Клемансо от имени России просить не давать нам займа.)

Винавер приветствовал князя сердечно, обеими руками за обе, и снизу вверх лобызал. Князь тоже был среди тех ведущих кадетов, десять дней назад и составивших проект отмены национальных ограничений,— ещё неизвестно, когда б у правительства дошли бы руки. Ещё предстояло министерству юстиции кропотливо изыскать и перечесть все изменяемые и отменяемые статьи прочих законов — но общий закон, первейшая задача правительства,— уже был утверждён, уже был — вот.

Переходили в столовую. Стол сверкал всей возможной белизной и серебризной. Горничные в кружевных передниках и наколках были наготове обносить закусками. Хозяин и хозяйка сели на противоположных оконечностях стола, Максим Моисеевич — под большими часами, а по две руки от него — Кокошкин и князь Павел.

От Винавера ждали не тоста — речи. Гости замерли ещё прежде ножевого стука о хрусталь. От знаменитого адвоката ждали речи сильной, и сам он, давно отволновавшийся на речах, поднялся растроган, взнесен, вскружен. Он был невысокого роста, но с головой непропорционально большой.

— Друзья мои! — гулко выговорил он, вкладывая весь смысл.— «Свершилось великое!» — так начали мы на днях обращение Временного правительства. Но с ещё большей заслуженностью просятся эти слова на язык сейчас. У п а л и цепи рабства с еврейского народа! Едва ли мировая история знает пример столь ошеломляющего превращения! За последние 25 лет русское еврейство подверглось гонениям и унижениям, неслыханным и небывалым даже в истории нашего многострадального народа. Ещё вчера безрассудная злоба и ненависть загоняли евреев в тиски морального гетто, лишали его неотъемлемых прав. Ещё вчера наши права на передвижение, образование взвешивались на унции. Наш народ, согбенный под тяжестью вековой неправды, и неся все государственные повинности,— ждал как милости хоть какого-нибудь незначительного послабления в праве дышать воздухом родины. Еврейский народ пронёс через тысячелетия провозглашённые им когда-то идеалы равенства и братства. Гонимый из края в край, он всё не терял надежду на царство Божие на земле — и вот теперь, на самом краю своего рассеяния, он обретает всю полноту человеческих прав!

Максим Моисеевич вошёл в речь, иногда прикрывал веки, и плавный голос выносил:



— Разлетается прахом злосчастный постыдный вопрос о вероисповедных ограничениях, многолетнее злопыхательство поколений казённых глупцов! От клеветы и наветов более всего страдали евреи. И в чём только не обвиняли их: то — они эксплуатируют коренное население, то — стоят во главе Освободительного движения, то паразиты и тунеядцы, то слишком энергичны и деятельны. Жертвоспособность еврейской молодёжи — и та стала для старой власти орудием возбудить инстинкт толпы. Сколько раз царизм с подлой хитростью пользовался бесправием нашего народа, чтобы свалить на него месть и злобу. Еврейский вопрос сделался для старого режима козлом отпущения. Мы перестояли и смерч столыпинского режима. Царизм не задумывался даже расстроить акционерное дело у себя в стране, лишь бы ограничить участие евреев. Не останавливался перед охлаждением отношений с Америкой. В разжигании ненависти к евреям царизм видел средство поддержать своё существование. Еврейское неравноправие усугублялось общим отсутствием правового начала в стране. Положение евреев уже было препоной для общего введения правового строя. Еврейская молодёжь в течение десятков лет шла в ряды борцов за общерусскую свободу, здоровым инстинктом чуя, что одна и та же твердыня охраняет и политическое рабство по всей России и гражданское рабство евреев. И отцы взирали на своих детей, идущих на каторгу, с болью, но не с осуждением. Самые большие тяготы в этой стране падали на долю еврейского народа — но он не уставал бороться. История национальных гонений в России ещё не написана. Сегодня мне не хочется возвращаться даже чувством к тем танталовым мукам, какие пришлось перетерпеть евреям. Да ведь пострадали и притеснители, морально: это от еврейского бесправия у них развивался произвол, беззаконие и взяточничество.

Что это напоминало? Что это ужасно напоминало? — вот такой торжественный сверкающий стол и торжественные заседатели, но собравшиеся вовсе не для еды, а лишь по поводу её,— а выход весь, а ожиданье всё — пламенная речь? Да — *банкеты* же, банкеты с Девятьсот Четвёртого на Пятый! — не зря прогремевшие серебром и стеклом, нагремевшие нам и революцию!

— Духа же евреев тяжкий гнёт нисколько не угашал, напротив — возбуждал к сознательности и борьбе! Вместо прежней покорной и трусливой массы явилась нация с высоко развитым чувством собственного достоинства! И вот сегодня, когда вся гниль одним ударом смыта с тела народного,— перед нами во весь рост стоит еврей-гражданин, с достоинством перенесший годы угнетения и преследования. Навсегда закрыта ещё одна позорная страница нашей государственности. Вырван ядовитый зуб царизма. Снята тяжесть с русской совести. На долю Временного правительства выпала великая честь снять с русского народа тяготевшее на нём пятно. Теперь Россия вступает в ряды цивилизованных народов. Мы освободились от засилия отечественных погромщиков. Сегодня мы в полном смысле можем назвать русскую революцию Великой: ещё горят страсти — а революция спешит восстановить значение личности, выполнить повелительный долг чести относительно евреев! Вот она, грань между старым и новым строем. «Ныне отпущаеши.» Первый раз за две тысячи лет мы будем праздновать нашу Пасху не рабами, а свободными гражданами. Радостные чувства этих великих дней откристаллизуются и передадутся потомству в восторженных рассказах и трогательных легендах.

Зааплодировали. Сверкали глаза. Предупредительно поднимали бокалы. Максим Моисеевич отдышивался от радости, как от большого подъёма. Но он ещё не кончил.

— Теперь евреи могут смело войти в храм свободы, ибо он воздвигнут и на костях еврейских борцов. Евреи могут гордиться, что и они принимали участие в революции. Евреи добивались свободы не как рабы — и теперь полноправно могут участвовать в закреплении достигнутого успеха. Конечно, одним росчерком пера ещё не будут устранены все противоеврейские традиции. Вот и сегодня: освобождённая Финляндия ещё сохраняет у себя еврейское бесправие. Из Дерпта приходит новая клевета, что милиция из евреев-студентов вызвала кровопролития. Ползут нашёптывания тёмных сил, и провокаторы хотят сорвать революцию на вопросе допуска евреев в офицерство. Понадобится ещё одна революция — в тёмных невежественных мозгах, чтобы поняли все, что никакого еврейского вопроса вообще никогда не существовало. Но в ярком пламени революции постепенно забудутся рознь и недоверие, которые сеял старый режим. Все помыслы нового еврейского гражданина теперь — на благо родины, открывшей ему свои объятья. И весь его никем не отрицаемый гений теперь будет вложен в строительство родины. Забудем же наши обиды — и пусть запоздалость зари не отягчит души страдальца. Никогда ещё Россия так не нуждалась в энергиях и талантах — и евреи принесут их ей. Еврейский народ теперь докажет, как высоко может подняться волна преданности родине в сердцах свободных граждан. И да не омрачится больше наше братство взаимным подозрением, также и на поле брани с внешним врагом. Вот, придёт Учредительное Собрание, будут решены и другие национальные вопросы — и наступит тесное содружество народов России к умножению её вечных ценностей.

По составу речи можно было понять, что он — кончил, и отчего ж не на высокой ноте, упущенной раньше? А Максим Моисеевич вовсе не кончил, главный-то поворот был сейчас.

— Напомню, что в своей известной речи в Первой Государственной Думе я бросил в лицо правительству: да, мы полны силы отчаяния, но у нас есть и один союзник — это исполненный истинной человечности русский народ! Да, господа, это так,— обвёл он глазами всех, но не двух самых близко сидящих.— За светлое будущее России мы боролись не одни, но вместе с лучшими русскими людьми. *Такая* Россия не погибнет и *такую* Россию кровно полюбили мы, так называемые инородцы, с нею сплелись неразрывно, через неё связали себя с русским прошлым и с нею вместе будем строить русское будущее. Дух Пушкина, Белинского, Герцена и Толстого, и вся атмосфера Девятьсот Пятого-Шестого годов и Девятьсот Семнадцатого — это негаснущие эманации. И современное нам поколение русских людей сумело выявить те же истинные черты русской души — и этих дорогих друзей мы видим сегодня и здесь, в нашем узком избранном кругу — и — и разрешите,— сияюще повернулся он направо,— обнять вас, дорогой князь Павел Дмитриевич?

И наложил руки на плечи слоногрузного князя, не давая ему подняться в рост,— тот разошёлся в смущённой улыбке. Обнялись.

— И разрешите,— с глубинным порывом повернулся Винавер налево, к своему сердечному любимцу,— обнять вас, наш ненаглядный Фёдор Фёдорович!

И наложил руки на хрупкость Кокошкина.

Все встали.

## 653

Обедать министры должны были в офицерском собрании Ставки. Но вовремя не пришли, и всё не шли — и обед начался без них.

Тут они и вошли, все в пиджаках, Керенский в курточке. Никто из офицеров не поднялся. Лишь когда министры подошли к генеральскому столу — привскочил Алексеев. И иностранные офицеры прекратили еду.

Все жадно смотрели на диковинных министров, и особенно на Керенского: больше всего он гремел по газетам, а портретов его ещё не знали.

Только после обеда, когда поднялись, вокруг каждого из пяти смогли образоваться группы — и так присмотрелись и прислушались к ним ближе. Трое старших были люди привычного общества, таким же старался быть и Некрасов, а Керенский излишне нервно дёргался то в одну, то в другую сторону, иногда его жесты и фразы были напряжены, сценичны, не по размеру аудитории.

Но эти беседы стоя не продолжались долго: все министры спешили, в разные места, использовать для своих дел эти немногие часы в Ставке.

Милюков объявил представителям союзников, что на сегодняшнем заседании правительство решило оставить Алексеева Верховным Главнокомандующим. Союзные агенты внимательно и вежливо кивали. (Они ещё утром, до совещания, знали об этом же от Гучкова.) Разумеется, никакого неприятного упоминания о задержке нашего наступления тут не прозвучало.

Затем Милюков и Гучков вместе с Алексеевым отправились на совещание с морским штабом. Гучкову как морскому министру неизбежно было такое совещание устроить, но Милюков непременно хотел участвовать — и тут стал проводить свой заветный план: убедить и Ставку и морской штаб энергично подготовить и произвести высадку в Босфоре! Он знал, что адмирал Колчак только об этом и грезит,— и тут в темпераментном кругленьком адмирале Бубнове нашёл тоже горячую поддержку. Но вечный противник босфорской операции Алексеев стал кисло и скучно выговаривать и выписывать на бумаге целые столбики возразительных соображений — всё вокруг распыления сил, нехватки десантных судов, трудностей снабжения, задержки сроков и тяжёлых особенностей момента.

Но как же было из-за мелочей малодушно отложить, не осуществить в эти революционные яркие месяцы константинопольскую мечту России?! Милюков никогда, и даже в эти месяцы особенно, не терял государственной мысли: путь России — через проливы, через Балканы, через Средиземное море!

И он смотрел на Гучкова со страстным выражением,— если таковое было ему доступно.

Но Гучков, ведь тоже прикосновенный к балканским проблемам,— нет, не выказывал мужества. Любил он дерзкие шаги, но что-то слишком много сразу предпринималось дерзких: одна его генеральская пертурбация чего стоила. А все перетряски уставов, комитеты? Однако и боевой расчёт, представленный Колчаком, был поразительно убедительный: вся недоступность Босфора казалась мнимой,— а только руку протянуть — и взять!

Но уже привыкнув за эти дни к подавляющим трудностям, Гучков скрипел. Не столько против расчёта Колчака, как — о снабжении. О разгрузке железных дорог. Мы везём из Донбасса уголь, перегружая дороги,— а могли бы морем везти его из Мариуполя в Одессу — но для этого тоже нет судов, а придётся с транспортов Колчака снять десантные приспособления и поставить их под уголь и руду.

Милюков сердито возражал. Не сошлись, не решили.



Гучков весь день был настроен нервно именно из-за обильного присутствия других министров, которые лезли не в свои дела, отравляли ему встречу со своею Ставкой. И хотя его главные дела уже были за полтора дня все обсуждены — но он решил пересидеть министров, не уезжать сегодня, остаться ещё на день. Как заноза досадная ему особенно мешал Керенский своим претенциозным, неуместным здесь поведением. На дневном заседании Гучкову подали телеграмму из министерства, что получено известие: в Петроград из Архангельска везут арестованных там по приказу министра юстиции — двадцать пять морских офицеров и трёх генералов! Каково? И это — без морского министра! Гучков едва не захлебнулся этой телеграммой — но всё шло совещание, а потом Керенский сразу ускользал, а потом обед, а потом опять ускользнул,— никак не удавалось его припереть и выпалить ему! Между совещаниями у самого Гучкова были встречи: утром — с военными представителями союзников (осторожно готовя их, что России очень трудно будет выполнить обязательства, но скоро-скоро восстановится её военная мощь), затем сидел в Дежурстве у генерала, получая самое для себя нужное: списки всех старших начальников от дивизии вверх со всеми аттестационными отметками.

Наконец, из вежливости просидел и час с великим князем Сергеем Михайловичем, отставляемым от инспектора артиллерии: тот боялся ехать куда бы то ни было, уже наученный злоключениями династии и своей бывшей любовницы Кшесинской в Петрограде («Скажите, Александр Иваныч, женщину, балерину — за что?» — «Но разве я могу уследить, кто кого арестует?»),— и вопреки официальным рекомендациям правительства Гучков советовал ему ехать куда угодно, только не в Петроград.

Лишь поздно вечером Гучков узнал, что Керенский в этот день успел принять смотр георгиевского батальона (в какой сумасшедшей стране это мог сделать министр юстиции?!) — а только что, вечером, выступил на собрании офицерских и солдатских депутатов (куда и Гучкова звали, да он был занят). Ну, чёрт подери, Гучков рассердился уже чрезкрайне: с этим фигляром надо как-то кончать, он открыто лез в компетенцию военного министра. И выходки его были так неожиданны, что нельзя их предусмотреть. И — уже уехал.

Откладывая объяснение до следующего правительственного заседания (осадить фигляра по первому же поводу),— пока только и мог Гучков: остаться на следующие сутки, завтра собрать это же самое собрание офицерских и солдатских депутатов и на нём произнести обширную речь, заслоняя болтовню Керенского: как он, Гучков, ещё с 1907 года пытался возродить боевую мощь России, а ему мешали правительственные сферы. Как революция вызволила нас из проклятой тины — и теперь солдату предоставлены все права гражданина, и теперь свободным революционным развитием мы создадим непобедимую армию!

А Керенский — а Керенский, со своим динамизмом, провёл сегодня ослепительно-очаровательный день! Уже утром, с вокзала,— единственный министр, кого подняли на руки, был он! И вот блистательно придумал принять парад батальона георгиевских кавалеров — умеренно укорил их, что они поддались карательной поездке в Петроград, но и тут же благодарил, что они остались верны народу,— держа руку у картузного козырька, пропустил мимо себя их печатный шаг — и очаровал. Пробежал в комнаты военно-судного управления — и очаровал. Наконец, приятно поболтал часок с великим князем Сергеем Михайловичем. К каждому великому князю Керенский испытывал острое любопытство, желание сокоснуться. А в эту поездку — неудобно было поехать в самом царском поезде,— но тоже в одном из литерных вагонов, похоже. А в самой Ставке — какой особенно бодрящий, военизирующий воздух. А вот и опустевший двухэтажный дом, где жил царь. Как министр юстиции Керенский должен был проверить — и прошёлся дорожками двора и сада: вот тут ходил сам царь — а теперь ходит Керенский! (Так же одинокий, заложив руки за спину,— а охрана из гвардейского экипажа всё время за ним, в отдалении. Распорядился выдать им царского вина.)

Во время большого совещания Керенский то и дело вставал и подходил рассматривать карты, развешанные на стене. Молодой, стройный, впечатлительный, умный, с одной рукой небрежно заложенной за спину, он чувствовал, как полководческий дар вливается в него час от часу. (А кто был здесь полководец? И Николай Николаевич не был полководец, его популярность раздула общественность в пику царю.)

Очень обижало Керенского пренебрежение Гучкова, что он приехал на сутки раньше, держался всё время особо, отдельно и как бы выше. А вот что надо: по возврату в Петроград тотчас же дать газетам интервью о впечатлениях от Ставки — и заявить от себя проект омоложения командного состава армии,— да разве Керенский не думает так? не думал так всегда? Этим путём и будет создана та революционная армия, которая существовала во Французскую революцию! Проект омоложения командного состава вызовет восторг и сочувствие всей армии!

Так в разнообразных событиях, чувствах и впечатлениях прокатился этот незабываемый день Керенского — а закончился он блестящим выступлением в солдатско-офицерском могилёвском Совете депутатов (60 солдат, 30 офицеров) в здании городской думы. Его встретили, конечно, единодушными овациями — и он вознёсся на помост и тотчас же

приступил к речи, каждым свободным жестом своим показывая, насколько новая власть выгодно отличается от старой.

— Товарищи! Русская революция поразила весь мир быстрым темпом своего свершения — и порядком, не имеющим примера в истории! Старая власть, лишённая всякой опоры в народе и армии, сдалась в несколько дней без сопротивления! И они все — в наших руках! Дело реакции проиграно бесповоротно! Но должен последовать справедливый суд, а не мелкая мстительность! Великий народ должен проявить величие и в великодушии.

В такие мгновения — гусиным пёрышком щекотало Керенского в горле.

— А что мы видим в нашей армии? Она станет ещё сильней, когда до конца осуществится приобщение к гражданским правам! Уже сегодня я вынес самое отрадное впечатление. Офицеры чувствуют себя прекрасно и говорят, что наконец-то нашли своё настоящее место. Они прониклись пониманием психологии солдата-гражданина. Солдаты проникнуты духом верности, чувством долга перед родиной. Дезертирство не только не усилилось, но многие возвращаются на фронт. Генералитет, хотя и не ориентируется в новых формах жизни, но мы не встречаем от него противодействия. Внутри государства — больше нет нам опасности! Но она — от внешних врагов. Если бы немцам удался прорыв — они бы восстановили у нас старый деспотический режим. Но я ни минуты не сомневаюсь, что наша армия грудью защитит завоёванную свободу! Если не исчезнет наш энтузиазм — мы выдержим удар! Солнце свободы всходит — и осветит не одну Россию, но и весь мир, который напряжённо ждёт с Востока своего освобождения!

А дальше — аплодисменты, аплодисменты, энтузиазм не поддавался описанию!

И снова его вынесли из зала на руках. (В сопровождении подпьяневших матросов гвардейского экипажа.)

## 654

Сегодня в Белом думском зале очередь собираться была рабочей секции Совета. Не так избыточно, как солдатская, двери закрывались и по проходам можно было пробраться, но всё же сидели впритиску и во всех ложах, и на ступеньках. И даже — не курили, обязались так, иногда кто где засмолит — на него цыкнут. Всё это рознилось от солдатских дней, когда стояли даже и во все стороны лицами, и всё висло в дыму. Сегодня, в рабочий день, и на хорах оставалось место — и там расселась стража арестованных из соседнего коридора, кто-то и до белья раздевшись от духоты, на привольи чай пили.

А Екатерининский зал по соседству грохотал от пришедших там сейчас моряков.

На родзянковскую вышку, на фон опустошённой императорской рамы, уверенно взошёл полноватый Богданов. Он теперь стал ходить с портфелем, что, при упитанном белом лице, придавало ему и министерскую солидность. И перед подъёмом на трибуну снимал, совал в карман пенсне, нужное ему только для бумаг. Энергично постучал по пюпитру (родзянковский колокольчик за эти дни украли) — уже и стук его и манеру знали, и сразу слушали. За три недели уже привык Совет к Богданову и Богданов к Совету, управлялся с ним оборотисто, и доводов его слушались, он и был тот главный, кто приносил из Исполнительного Комитета директивы, а здесь превращал в решения. По умелости, бодро надеялся он и сегодня справиться, хотя понимал, что дело окажется потрудней.

— Товарищи! — сильным голосом подал в тишине.— Сегодня нам предстоит два вопроса. О положении работ на заводах — но это потом. А раньше нам надо обсудить некоторую перестройку работы самого Совета. Исполнительный Комитет пришёл к выводу: в таком виде, как мы существуем, мы больше существовать не можем. Теперь в Совете две тысячи солдат и восемьсот рабочих,— это слишком много, на общих собраниях решение вопросов может быть непродуманное. Простое голое поднятие рук — это не решение. Как теперь изменить положение вещей? Это называется — реорганизация. В теперешнем составе Совета много наслоений, ибо он сложился стихийно. Наш Совет рос на случайных основаниях. И пришлось разбиться на отдельные солдатские и рабочие собрания, у солдат своя Исполнительная комиссия, тоже 107 человек. Так работать нельзя, это слишком громоздко.

Солдатская аудитория — много бород, здесь — ни одной, самое большее — усы у третьего, а то бриты. Сквозь солдатские дремучие бороды нескоро проникает речь оратора. А тут, с рабочими, поостерегись, их всё же (сами же) годами приучали к сходкам и речам. И лица у них — размысливые, честно серьёзные, и пришли они — понимать, и торжественный парламентский зал приосеняет им важности. Тут — поосторожней, через каждую фразу — и успокаивать. (А начали с рабочих, потому что перестройка ущемит солдат побольше.)

— Но, надо сказать, хотя состав Совета и случайный — он сохраняет полное единство. Нам нельзя ломать эту махину. Нельзя сказать — распускаем и созываем новый. Мы всё-таки связаны друг с другом, рабочие с солдатами, и через Исполнительный Комитет. Мы росли стихийно — но рвать эту связь нельзя. Этот аппарат нельзя уничтожать. Наша



задача — связать эту махину, чтоб она представляла сильное гармоническое целое. Хотя мы считаем, что три тысячи человек работать трудно, всё же вопрос слабо освещён. Но Совет распустить нельзя. Он должен сохраниться, только его роль должна быть точно определена.

Пока сходило ничего. Но слушали — не безразлично, кажется, начиная подозревать и подвох.

— И вот я доложу проект сегодня на вашей секции, завтра на солдатской. Впредь Совет должен намечать общую линию. А разрабатывать эту линию при таком большом количестве членов нельзя. Кроме того, есть случаи торжественные, например, обращение к полякам, когда нужен весь Совет. Разработка же и принятие решений и постановлений должна лежать на рабочем органе. И мы предлагаем такой создать: Малый Совет Рабочих и Солдатских депутатов, не больше пятисот человек. Теперь момент спокойный, не как 27 февраля, и выборы могут быть произведены закономерно. Выбирать депутата не на полтысячи, а на две тысячи человек. И солдат — не от каждой роты, а от батальона, полка. А ещё в Совете отдельно должны быть представлены партии. И профсоюзы. Мы ценим организации. Возьмём депутатов и из ремесленного пролетариата. А из торгового пролетариата — только нижние слои, они стоят на страже демократии. А верхняя часть настроена буржуазно. Итак, старый Совет не уничтожается! — который раз оговорился он, хотя ж никто ещё этого ему не кинул, но промахнулся языком, назвал Совет не Большим, а сразу старым,— его задача — разработка общей линии и вотирование торжественных актов.

Теперь зашевелились. Только радости и поддержки в движении не было.

— А Исполнительный Комитет??! — крикнули, даже из разных мест.

Этого Богданов и ждал, самое больное место, осторожно его обойти — не допустить и мысли переизбирать Исполнительный Комитет.

— Исполнительный Комитет, товарищи, избран ещё 27 февраля...

— Временно! — крикнули.

Помнили...

— Сперва решили, что он будет состоять из девяти рабочих, девяти солдат. А потом ещё присоединялись партийные депутаты. Да, он сложился несколько стихийно. В нём сейчас 37 человек, из них далеко не все бывают на собраниях. И мы предполагаем доизбирать туда рабочих и солдат.— (И не собирались.) — Но сейчас надо думать, как реорганизовать большой Совет.

Богданов ждал сразу большого шума, но если быстро бы проявился — быстро его и приглушить. А тут разрабатывалось медленно. Оттуда и отсюда стали выкликать вопросы:

— Так — депутатов в Малый совет — новые выборы? Или — из этих, из нас?

— Новые! — уверенно ответил Богданов. Потому что так говорили на Исполкоме. А сам сразу и подумал: ошибка, вот тут надо было и уступить.

— А остальным — чего ж? — забеспокоились ещё в нескольких, справа, слева, высоко, и внизу.— К станкам?

Их ведь, этих заседающих, освободили от работы.

— Да, товарищи, а что ж, с работой у нас плохо. Но Большой Совет время от времени будет собираться.

— А — топлива нет, какая работа?..

— А районные советы — будут?..

— А Малый Совет — будет выбирать свой Исполнительный Комитет?..

Ишь, куда заваливают! Нет-нет:

— Исполнительный Комитет остаётся от Большого, мы туда довыберем. Малый Совет не избирает своего Исполнительного. Так, товарищи, давайте организованно выступать, но покороче! — гнал Богданов.

— Не покороче! — распалялось в зале.— Вопрос важный, сокращать времени нельзя!

Стали выкликать и фамилии — и записываться. И быстро записалось больше двадцати человек. Таких прений Богданов допустить не мог: чем дольше прения — тем больше проигрываешь, уж он знал. Но уже шёл первый — с завода Паля, и уже с привычками и словечками оратора:

— Та-ак,— сказал,— товарищи! Вопрос требует самого напряжённого обсуждения. Он постановлен расплывчато и не конкретно. Мы не видим плана реорганизации. Надо его раскритиковать как следовает... Мы реорганизуемся, пожалуйста, но чтобы был максимум пользы и чтоб мы не потеряли своего удельного веса.

— Вы сами, товарищ, говорите конкретно, а не лишнее! — стал подправлять Богданов. Эти речи, он знал, нельзя запускать.

— Чего неконкретно? — стал сбиваться оратор.— Если, например, три депутата от завода уже есть, а надо выбрать ещё один, так будет четыре? А если от одного завода сразу восемь и говорят одно и то же, так не лучше ль их сократить, а на их место других добавить?

— Чего сократить! Кого сократить! — возмущённо закричали из зала, это от крупных

заводов.— И сбили оратора. Он ещё поболтал языком и ушёл. Когда само собрание прогоняет ораторов — тогда председателю и вести легче.

Второй вылез с Лангензиппена, тоже, видно, умелец поговорить:

— Да, товарищи! Как и для чего — это вопрос очень сурьёзный. Когда начиналась революция — так и всё делалось кое-как. А Исполнительный Комитет — он есть теперь законодательный комитет. А не только здесь, но и по всей России оказывается давление со стороны остатков тёмных сил. Старая власть местами ещё существует, ого! Вот я, например, узнал: в Великих Луках земский начальник ещё и сегодня арестовывает. Мы находим, что три тысячи депутатов — это много? но, товарищи, и выходов много. Учредительное Собрание, вот, недалеко — а на местах нигде нет передового элемента. А в Петрограде этого элемента как раз очень даже много. И мы можем часть существующего нашего Совета отделить и разослать по провинциям, чтоб они организовывали массы к Учредительному Собранию. Мы вынесли на себе тяжесть революции — и нам теперя надо взять на себя пропаганду! На местах буржуазия, небось, работает, а мы почему-то ничего не делаем. Исходя из этого, я предлагаю: часть Совета командировать во все провинции для пропаганды. Докладчик сказал — в Малый Совет войдёт 500 человек, а нам остальным — куда? на улицу? И я предлагаю: рассыпаться нам по всей России!

Он покидал трибуну — уже заспорили на местах, соседи с соседями. Многим показалось заманно, другим неохота из Питера уезжать.

Ох, трудна ты, работа головы! Ох, трудно пробиться, весь хлам прокидать: чего же именно правильно?

И с трибуны очередной тоже сетовал, отирая серый лоб:

— Вопрос, товарищи, сложный. В пять минут его никак решить нельзя. В этом зале, в Думе, самый сраненький вопрос и обнаковенно обсуждался по нескольку дней. А теперь — вся Россия к нам прислушается, ибо должен быть один центральный орган. Исполнительный Комитет должен был проект сообщить нам заблаговремённо, а не этак сразу на голову кидать. Мы так уразуметь не поспеем. Да по какой категории избирать-то будем? Значит, один Совет у нас будет правильный, а другой неправильный?

А сразу за ним — полез конторщик с Айваза с выложенной у кармана цепочкой часов, слышали его в Совете, не раз. Так и заявил сразу громко наотрез:

— Нет, товарищи! Я хочу указать на замечание товарища Богданова, что наши решения просто принимались поднятием рук. Это неверно, они принимались вполне сознательно. Никто решений Совета не опротестовывает — значит, работа ведётся правильно. А если это так — то к чему нам меняться? Теперь я перехожу к существу вопроса, что якобы Совет продуктивно работать не может, и предлагают схему реорганизации. Я не согласен. Да, у нас около трёх тысяч человек, и возможно, будет расти до пяти тысяч. А Малый вырастет до семьсот, это не парламент? А что же будут делать наши три тысячи человек? Только ждать торжественного случая? Это — опять не решение. Вот, товарищ с Лангензиппена наметил выход, и он мне рисуется приемлемым. Сократим Совет до пятьсот-шестьсот человек — но и остальных оставим в звании, только поручим им: подтянуть к нашему сознательному уровню обширные области страны. Выплатим командировочные — и пусть едут, возглашают. Многие по России не знают, что в Петрограде творится,— и надо им это показать. Это даст — колоссальнейшую пользу! Итак, одна часть осталась бы здесь, а другая поехала бы. У нас тут, однако, разные взгляды, и вот, чтобы понести всё одинаково, надо выработать план. А если сделать, как предлагает Богданов, то положительного результата мы не получим. Мы бы, значит, топтались тут, на месте, а там бы, на местах, шла работа тёмных сил? Временное правительство с этим мирится, но мы должны добиваться своего. На местах есть тёмные массы — и тогда мы убили бы сразу двух зайцев: и здесь бы сократили бы количество депутатов — и страну бы подготовили к восприятию великих реформ.

Так, самодельно и неожиданно, повернул Совет весь вопрос. Но не для того был поставлен ловкий председатель-докладчик, и он загремел, опоминая зал:

— Предыдущие товарищи говорили не по существу. Нам надо — усилить, укрепить Совет *рабочих*, а не усылать его в провинцию, не подменять всероссийской проблемой.— То есть он хотел им намекнуть, что надо увеличить рабочих за счёт солдат, но об этом никак нельзя сказать прямо вслух, дойдёт до солдат.— Давайте говорить о Малом Совете.

Но не взял их с наскоку сразу к голосованию, теперь забарахталось трудней. За время трёх-четырёх ораторов стали рабочие — опоминаться, в затылках расчёсывать, друг с другом обменялись из ряда в ряд: да нет, тут дело не чисто! это ведь нас разогнать хотит.

И вылез длинный хитрый черноусый дядька со Старого Парвиайнена, обопёрся об трибуну хорошо и повёл так:

— Я — с другими говорившими тут не согласен. Как это: Совет слишком большой — давайте выбирать других? Как это: Совет — уменьшить, а Большой — для торжественного случая? Это не выдерживает критику. Значит — мы годны только для парада? Я не думаю, чтоб свобода была настолько упрочена,— и нам расходиться ещё рано,— как это: выбирать других? Теперь настроение масс опустилось и начинают действовать нежелательные силы, и если новые выборы — то только ухудшат состав Совета. И получится



мнение, что мы были — не совсем подходящий елемент? И что ж будет делать дальше Совет? У меня такое предложение: если от какой фабрики двадцать депутатов — ну, можно сократить. Хорошо, выберем 500 человек, но из нашей здешней среды. Но и Исполнительный Комитет — тогда тоже заново. Из этих пятьсот выберем.

— Этого — не допустим! — застучал Богданов кулаком.— Ещё чего? Кто не доверяет нашему Исполнительному Комитету — пусть организуется сам на стороне, как хочет. А наш Исполнительный Комитет — избран этим Советом.

Богданов лишил оратора слова, дядька не хотел уходить.

— Почему говорить не даёте? — загудели.

— Круто загибаешь — оглоблю сломаешь!

Но тут близко сразу несколько с вытянутыми руками совались к трибуне — и как угадать полезного? Богданов отметил одного — опять вида приказчичьего или конторского.

Этот подвижный завертелся на трибуне, поспевая убеждать во все стороны:

— Товарищи! Мы с вами — люди подполья! А наш Совет организовался во время стихии. А если сделать теперь новые выборы — то в Совет придут люди, которые будут звать «воевать до победы».

Застучал над его головой уже недовольный Богданов, и с мест орали с разных,— но и конторский не растерялся, а продолжал виться:

— А сила перейдёт от Большого Совета к Малому? Нет, товарищи, мы явились сюда не для реорганизации, а — организовать разбитую Россию, и для этого нужны строители.

— А сам — кто? — глушил Богданов, сбивая.

— Я сам, товарищи, пожалуйста, фармацевт. Здесь много служащих. Раньше мы, служащие, были отделены от рабочих, а теперь мы слились. И цель Совета Рабочих и Солдатских Депутатов — это контроль над Временным правительством. А между тем министр просвещения остался совсем без контроля, вы обратите ваше внимание! А нам говорят — разойтись? Нет, товарищи, делать государственное дело нужен инструмент — а нам говорят: разойтись? Здесь, в этом здании, была холопская Дума, а у нас новое настроение, мы хотим организоваться, а нам говорят — реорганизоваться?

Наступил общий шум — от богдановского стука и горла и встречно от зала, как и раньше на Советах бывало: ораторов на трибуне оказалось сразу двое, и по ступенькам подпирали двое, а по всему залу ещё вставали и говорили окружающим. Совет расколыхался, окончательно поняв, что его обманывают и хотят разогнать. Кричали, и грозили кулаками Богданову — но и он смело кричал:

— А я вас не боюсь!

Но сам-то уже понял, что не справился, что прения проиграны и надо не голосовать, а откладывать на следующий раз.

Десять-пятнадцать минут покричали, разрядились, угомонились — выбрал Богданов на глаз и дал слово белокурому парню с Трубочного.

— Я высказываю против посылки нас на места. Это значит — распылить силы, а нам надо быть в единении. Такая посылка будет громаднейшим ущербом. Чтобы не был громадный состав — так Малый надо выбирать из нас же, зачем же со стороны ещё набирать? А если уж со стороны — так пусть Малый Совет будет со всей России, ото всех разных городов и губерний. А то ведь нас и так считают Всероссийским — так вот. Не нам туда ехать — а пущай сюда едет провинция. Мы, Петроград, своё дело и сделали — теперь пущай делает провинция!

Пришлось Богданову опять вмешиваться, разгребать свою восьмисотную неразбериху:

— Нет, товарищи, это неправильно! Хотя мы и петроградские, но волею судеб мы и так уже всероссийские. Мы только формально именуемся Петроградским Советом — а сила у нас на всю Россию. И возможно, нас и так признают всероссийским.

А гуща ему — нового оратора вытолкнула, тоже кудрявого, молодого:

— Мы выбраны сюда решать вопрос — а получается, что знакомимся с готовым докладом. Надо раньше оповещать! Совет рабочих депутатов спаялся — и уничтожить его не дадим! Когда девятый вал прошёл — так мы уже и не нужны — и «выбирайте новых»? Мы распустить себя — никак не можем! Мы выбраны совсем не случайно, а вполне разумно. Да к чему нам новые выборы, зачем нам новые? Придут новые — мы должны их знакомить с делами снова. Среди нас тоже-ть нет буржуев! Да, разбирать при трёх тысячах трудно,— а ежели разойтись по комиссиям да по подкомиссиям — так и нет никого. Да вон, пулемётчики из Народного Дома уходят — щекатуры обсвежат, да и занимайся! Хотя б и были у нас недостатки, но в такое ответное время распускать нас недопустимо! Выбирать новых членов Совета — это только внесёт путаницу. И зачем нам Москва и другие города? Если мы их пустим сюда — так они начнут нами управлять. Это мы — сбросили иго, мы и должны Россией управлять! А они — пусть присылают людей для связи. А подчинить себя мы никому не позволим! Ежели нужно выбирать Малый совет — то и выбрать из сидящих здесь, и всё!

Ну, поднялось! — вой. Вставали, кричали, руками махали, выходили, ещё такого Совет не помнил. Сейчас оборвать прения — нельзя, всё проиграно. Сразу не прошло —

теперь другой вариант: дать им много часов говорить, сами разбредутся и запутаются. В растянутых прениях толпа всегда запутывается и ослабляет сама себя, мысли расползаются, разделяются — и тут-то снова её можно взять сильной рукой.

— Куда вы уходите, товарищи? — перекрикивал Богданов, приложив раструб к губам.— Вопрос очень важный, продолжаем свободные прения, никто вам ничего не навязывает!

Уселись и опять продолжали.

Теперь — от Розенкранца:

— Да, товарищи, наш Совет выбран стихийно — но и надо издать директивы, чтобы не было заявлений, что мы неправильно избраны и наши решения неправильные. А раз демократическая республика — так сделать пропорционально тысячам. На нас смотрит вся Россия, и авторитетность наша увеличится, если будут представители от других городов. Тут ругали буржуазию — а что? Привлечь и её в Совет рабочих депутатов.— (Загудели, закричали недовольно.) — Её будет немного, но мы ещё больше поднимемся в глазах. Нужно привлечь в Совет и умственные силы. А если возникнет конфликт Большого Совета с Малым — так кого население будет слушаться? Они будут считаться правильно избранные? Они будут — всё, а мы — ничто? Нет, так не пойдёт.

А следующий повёл ещё загибистей:

— Я предложил бы лучше — удалить Исполнительный Комитет, а вместо него и создать Малый Совет с подкомиссиями. Мы в первый день революции избрали Исполнительный Комитет на три-четыре дня, а он остался постоянным, это нежелательно. Всё захвачено в руки кучки посторонних людей!

— Этого никто вам не разрешит! — бомбил Богданов по кафедре.— Исполнительный Комитет — не посторонние, а состоит из рабочих и солдат! И из политических партий!

— Здесь говорят массу пустых слов! Вопрос тонет в словах! — взывал следующий, подмеченный зорким Богдановым, взятый на поддержку.— При чём тут Исполнительный Комитет? Обсуждается Совет! На нас устремлены взоры всей России! Мы сейчас должны реорганизоваться. Но мы никак не можем сговориться.

Теперь кого своих знал в лицо, так их бы вызывать — но рук не тянули.

— Исполнительный Комитет и так делает всё возможное в интересах революции! Мы только можем ещё расширить Комитет борцами за благо. Конечно, они перегружены работой, и надо их пополнить! Надо согласиться с предложением докладчика. Нас никто не упраздняет. Но Малый Совет будет продукт обдуманного решения. Эти люди не будут лишними, раз они выбраны!

— Так ежели нас уже много — зачем же ещё выбирать?! — волновались с разных мест.

Свои, проверенные, не тянулись, а какого-то глупого кудлатого Богданов выделил — и дал ему слово. И — не ошибся намётанный глаз. Кудлатый завёл, как и не слышал предыдущего, вот это и надо:

— Я хочу сказать: в настоящее время автомобильное дело на краю гибели, а мы тут чёрт-те-что обсуждаем. Автомобили принесли большую пользу революции. Но каждая комиссия старается захватить над ними власть. А нас в комиссию не приняли. И людям дают право распоряжаться. А я говорю от пяти тысяч шоферов. Мальчишки разбивают автомобили. Тогда их — в мастерскую, а после починки уже худшего качества. И разве можно ограничивать движение автомобилей записками? Вот офицеры и развозили женщин, вместо прокламаций к Учредительному Собранию. Мы — погубим эту промышленность! Надо уничтожить пропуска...

Такой шум поднялся — не дали ему больше говорить. Но сделал своё: одно острое выбил другим острым.

Недалеко от входной двери, сбоку, сидел и волновался Гвоздев: он видел, что страсти разожглись, прения затягиваются — и всё меньше оставалось надежды сегодня же обсудить с успехом состояние заводов и убедить эту разгневанную массу ещё и в чём-то другом против её сочувствия, как можно было бы на холодную голову.

За недели революции, он заметил, это было не первый раз: или пустяк, или раззадорина захватывали всё внимание и силы людей — а главное рушилось.

Происходило безумие: не то что с петроградскими автомобилями — но обрушивалась вся оборонная промышленность в разгар войны — и свой брат-рабочий не хотел внять и отозваться,— чего же ждать от исполкомовцев? И если уж сам Совет тоже не направит...

Тут он услышал — за дверью прошли по коридору к Полуциркульному с радостными громкими голосами, будто что-то нашли редкое. В зале Гвоздеву делать было пока нечего — и он подался посмотреть, кто это там, что.

В двери Полуциркульного входили, толпясь, и от задних Козьма узнал: вот, приехали из Иркутска Церетели и Гоц, сейчас будут говорить!

Лидер социалистов во 2-й Думе, Церетели пробыл в Сибири 10 лет — и Козьма, простым ещё рабочим, никогда его близко не встречал. Хотя вот переписывался с ним недавно. Теперь он увидел на помосте рядом с Чхеидзе, Чхенкели и другими исполкомовцами очень высокого, стройного молодого грузина, в пальто, сильно чёрного волосами, усами. Приветственные речи приехавшему были уже произнесены на вокзале или на ступеньках Таврического — теперь отвечал он сам.



Он стоял как тополь. Говорил с улыбкой. В улыбке его было — неподдельное, но смягчённое страдание пережитых лет. Говорил с паузами между фразами, с большим значением выбирая слова:

— Кончились мрачные годы реакции. Пробил час для полного торжества демократии! Ваш подвиг был и в том, что вы остановились вовремя: вы поняли, что идёт революция буржуазная и ещё не настал момент для конечных задач пролетариата. Которые и нигде ещё не осуществлены. Вы не стали навязывать событиям свою волю — но лишь толкаете буржуазию на путь революции. И хотя 4-я Дума была построена на костях 2-й — мы готовы забыть Временному правительству прошлое и поддерживать его.

Грозно повёл высокой головой:

— Но если правительство станет на путь компромиссов — мы низвергнем его в прах!

Вздохнул. И — задушевно:

— А самое главное, самое главное: кончилось наше собственное разделение. Мы больше не будем раскалываться на меньшевиков и большевиков, мы будем — единая социал-демократия!..

## 655

А говорят о возможной поездке через Германию — все и много. И несколько эмигрантских комитетов и все партийные направления просили Гримма вступить в переговоры с немецким послом Ромбергом. (Как Мартов предложил — за каждого эмигранта освободим пленного немца.) Отлично, отлично, *план Мартова* работает!

Гримм — взялся! (Ещё лучше.) Но он не только вождь Циммервальда — он и член швейцарского парламента, и такой шаг ему неблагоразумно делать без сочувствия правительства, например, министра иностранных дел Хоффмана. (И если Гримм взялся — значит, консультация была, заметим. А почему бы Швейцарии быть против? Швейцарии и самой бы неплохо эту шумную банду отправить. Швейцария сама стеснена войною со всех сторон.) Гримм ходит и ходит к Ромбергу, он ведёт переговоры *абсолютно-секретные*, чтоб не проникло в печать, чтоб не опорочить швейцарский нейтралитет,— но главным представителям каждой партии (Натансону, Мартову, Зиновьеву) он-то сообщает. Мы — знаем.

Улита едет — когда-то будет. Пусть, пусть.

А Ромберг всем отвечал: «да». И Гримм посчитал, что он легко всё исполнил: да — и да. Теперь остаётся вам, товарищи, обращаться за разрешением к своему Временному правительству.

Ах, спасибо! Ах, забыли перед вами шапочку снять! И потом век кланяться в ножки Луи Блану-Керенскому?

Все эти острые дни ужасно не хватало Радека-плута, телефоном вызвали его из давосской санатории, отдыхал, даже на русскую революцию сразу не съехал. Но уже по пути всё понял и придумал ещё один шаг отвлекающего зондирования: в Берне, через немецкого корреспондента.

Что ж, и тут был ответ от Ромберга, как и всем: да, да, конечно, всех желающих пропустим.

Но — не распахивалась германская граница, да и все *желающие* только узнать хотели, да посравнить, да спроситься Временного (слали телеграммы Керенскому), а так больше мялись.

Все согласны — и не начиналось ничто. Неуклюжи старинные дипломатические пути.

Не начиналось, пока тёмные крупные рыбы у самого дна не пройдут свой курс.

Пока Скларц не доложит в Берлине встречных предложений Ленина.

И германская Ставка не скажет окончательно: да.

И министерство иностранных дел не всполошится: уже так много публичных разговоров об этом возврате, уже князь Львов откровенно сказал швейцарскому посланнику, что быстрый отъезд эмигрантов из Швейцарии нежелателен. Так надо ж поспешить! — из-за кого же тянулось? — этот шанс для Германии не повторится!

И 18 марта, в субботу, Ромберг в Берне получил наконец распоряжение как можно быстрей сообщить Ленину, что его предложения об экстерриториальности приняты, но будет личного контроля и ограничительных условий.

В субботу — и «как можно быстрей»! Значит — не перемедливать лениво воскресенья. И нарушая все законы осторожности, используя запасную крайнюю связь, германский посол стал вызванивать по телефонам, в Народном доме нашёл наконец социалиста-немца Пауля Леви: надо немедленно передать Ленину, что...

И ещё одним звонком был вызван Ульянов к соседнему телефону на Шпигельгассе — и шёл, волнуясь, что это Инесса.

А это был — ответ!!!

И вот когда — путь был открыт! Вот когда можно было назначать группе в 40 человек отъезд хоть через два дня, ровно сколько нужно товарищам уложить вещи, сдать книги, уладить денежные дела, съехаться из Женевы, Кларана, Берна, Люцерна, купить продуктов на дорогу, можно было ехать уже во вторник, а в ту субботу — на одну субботу позже, чем со Скларцем,— вмешаться в русскую революцию!

Но ещё во мраке тёмной затхлой лестницы, а потом в дневном мраке комнаты-камеры (с утра опять то крупный густой снег ввалил, то снег с дождём вперемежку), руки подхватывая к вырезам жилета, чтоб они не вырывались к действию прежде времени, и успокаиваемый пальтовой тяжестью старого засаленного пиджака,— Ленин заставил себя ни к кому не кидаться объявлять, но — подумать. Подумать. Подумать, бегая.

Потерять голову в поражении и в унынии не может твёрдый человек. Но потерять голову в успехе — легко, и это самая большая опасность для политика.

Всё открывалось — а воспользоваться и сейчас было нельзя: как потом объяснишь: через кого и как согласовано, что вдруг внезапно подали вагон одним ведущим большевикам — и уехали?

Ещё надо сделать несколько отвлекающих, ослепляющих шагов.

Никакого простора бегать ногам, и на улицу не выскочить в такую погоду (и давно забыты читальни),— и вся беготня ушла в огненные вихревые спирали, провинчивающиеся в мозгу.

Поездка — открыта, да, но — к у д а? Для задержки на финской границе? Или в тюрьму к Временному правительству? Можно представить, как там сейчас свистит шовинизм! По существующим мещанским представлениям это ведь так называемая «измена родине». И даже тут, в Швейцарии,— меньшевики, эсеры, вся бесхребетная эмигрантская сволочь, закричат об измене.

Нет!

Нет.

Нет...

(Кстати, пока Ганецкому: обращался к англичанам за пропуском, не дают!.. Пусть трезвонит.)

Удерживали бы обстоятельства,— но держать себя самого, уже свободного, рваться — и держать, до чего ж трудно!

Тут надо... тут надо...

Всё, что проплыло у дна тяжёлыми тёмными рыбами, теперь провести по поверхности беленькой парусной лодочкой.

Переговоры *окончены?* — теперь-то переговоры *начать!* Как будто сегодня начать их в первый раз!

И нет фигуры приличнее, чем доверчивый безлукавый Платтен.

Готовить группу — само собой. Да список уже и есть.

(Инесса! Неужели и теперь не поедешь? Чудовищно! С нами — не поедешь? В Россию! — на праздник, на долгожданный? Останешься в этой гнили?..)

Сорок человек — уже не обвинишь в измене. По сорока человекам пятно расплылось — и нет. Конечно, можно бы прихватить и максималистов и разных отдельных отчаянных, тогда б ещё безгрешней. Но... Лучше с собой чужих не брать, лишние свидетели в пути, лишние свидетели каждого шага, а мало ли будет что. Да и в чём тогда успеванье, если своими усильями, в своём вагоне провозить врагов, в в Питере с ними бороться? Нет! Всё до последнего момента — втайне, и день и час отъезда втайне.

Только переговоры — открытые.

Не имея согласия уже в кармане — такие переговоры нельзя начинать: а вдруг не удадутся, что за позор! Но с согласием в кармане — вот тут-то их и вести.

И: как нужна высокая организация во всяком пролетарском деле, в каждом шаге пролетарского дела,— так и в этой поездке. Жестокий обруч. Чтобы какое-нибудь дерьмо в сторону не вывернулось. Чтобы все заодно — и никто не уклонился, не сказал бы никто: а я не участвовал! а я не подозревал, в чём дело!

Поэтому — за подписью каждого. Как присяга, как клятва. Как разбойники целуют нож. Чтоб никто не отбился потом, не кинулся «разоблачать». Ответственность — самая серьёзная, и должны разделить все сорок.

(Неужели Инесса не поедет?..)

И уже — сидел, составлял такое обязательство. Уже набрасывал, на стуле у окна на коленях, в сумерках снежной вьюги, своим почерком косоугончивым, как в настиг за мыслями наискосок листа, в эти дни крупней обычного, так волновался,— набрасывал пункты, какие могли бы тут войти: я подтверждаю... что условия, предложенные германским посольством товарищу Платтену, мне были объявлены... и я подчинился им со всей политической ответственностью перед возможными последствиями...

И вдруг из коридора — приятно-резкий, насмешливый голос Радека. Приехал?! Ну, лучшего гостя и помощника не придумать сейчас! Карл, Карл, здравствуйте, раздевайтесь, ох, за воротник вам насыпалось. Да вы новость нашу — п р е д с т а в л я е т е?!?



Короткий вопль, сверкающие зубы, не убираемые за верхней губой, кучерявый, с ореолом бакенбардов — смеющийся озорник Радек!

Ну-на-сь, ну-ка-сь, давайте вместе составлять. Такие же твёрдые условия надо подготовить и для Ромберга.

— Вы — им — условия?

— Да. А что?

— Восхитительно!

Такая затея — как раз по Радеку. Он — и советует, он — и шутит, у него и находки и мысли предусмотрительные.

Только вот курить в этой комнате запрещено, сухую трубку сосёт. И... Э-э...

— Владимир Ильич! А как же будет со *мной?* Неужели вы меня способны не взять?

— Да почему же не взять?

— Да ведь если мы пишем — «русские эмигранты», а я — австрийский подданный?

Ах ты, чёрт, австрийский подданный! Ах, чёрт! Привыкли как к своему, только для виду считается — польская партия. Но как же можно Радека не взять? Радека — и не взять!

У Радека выход готов: если будет Платтен с Ромбергом заключать письменный договор (а не будет письменный, так устно ещё легче попутать) — пропустить слово «русские», написать — «политэмигранты», а — о каких же ещё речь? Не додумаются немцы, подмахнут.

Вообще, в такой архиответственный момент, в таком наисерьёзнейшем деле недопустима игра, и германская Ставка — не из тех партнёров, с которым шутят. Но для Радека — незаменимого, ни с кем не сравнимого, фонтана изобретений, острого, едкого, нахального Радека — пожалуй и попробовать?

— Но — согласится ли Платтен вести эти переговоры? И сам — ехать с нами?

— А больше — некому. Значит, согласится.

— А если — Мюнценберг? Потвёрже.

— Вилли? Да ведь он считается немецкий дезертир. Как же ему — с послом? И как через Германию?

— Всё-таки...— постукивал Радек черенком между зубами,— всё-таки, Платтен — партийный секретарь, а какая-то поездка с эмигрантами? А тут начнёт мучиться, не будет ли вреда его Швейцарии?..

— А что — Швейцарии? Ей только лучше.

Нет, Ленин тут не сомневался. Перед Гриммом Платтен заминался, да, отступал, но в главном — пойдёт, раз увидит аргументы. Он — человек рабочий, пролетарская кость. О переговорах же с Парвусом он не знает и никогда не узнает.

А Радеку о Парвусе хоть рассказывай, не рассказывай,— всё понимает сам. Радек даже неприлично преклонён перед Парвусом: в бернских кабачках, по интернациональному долгу как бы ни обязан был его поносить — за отчаянный шаг к шовинистам, за богатство, за тёмные сделки, за нечестность, за дамские истории,— а сам со ртом разинутым, с набившейся пеной в углу губ, видно: ах, и молодец! ах, мне бы так!..

— Про Скларца я ему сказал: восьмигрошовый парень немецкого правительства, и его выгнал! Про Гримма скажу: что-то подозрительное, тормозит отъезд, какие-то гешефты в свою пользу. А мы — больше ждать не можем, революция зовёт! По-пролетарски, открыто, без всяких тайностей — возьмём и обратимся в германское посольство! Возьмётся! — уверен был Ленин.

Да как научить его с Ромбергом говорить? Ведь это ж совсем новый текст. Мол, в России дела принимают опасный *для мира* оборот. Надо вырвать Россию у англо-французских поджигателей войны. Мы конечно приложим ответные усилия к освобождению немецких военнопленных (лови нас потом!..). Но мы должны быть застрахованы от компрометации и гарантированы, что не будет придирок в пути... Готовы ехать в запертых и даже в зашторенных купе. Но должны быть уверены, что вагон не остановят...

Ленин захватил пространство комнаты и носился по косой — три шага, три шага, три — одну руку за спину, а другой размахивая,— а Радек записывал, пустой трубкой придерживая лист.

С Радеком внакладку находки: для такого шага ещё неплохо бы нам собрать оправдательных подписей от западных социалистов... Социалистов — да, но и ещё бы каких-нибудь безупречных людей...

Да где же таких найти?..

— Ну, например, Ромена Роллана?

Головасто придумано, хорошо!

Так пора и крючок закинуть. Через кого бы закинуть под Роллана?

С приходом Радека облегчились невместимые прожигающие вихри в голове: есть мыслям исход, можно высказать и услышать ответ. Вот... Если начинать демонстративные новые переговоры через Платтена, то ведь надо так же демонстративно порвать с Гриммом?

Да просто — звонко порвать!

— Да чтоб всю вину на него же и свалить!

— Да чтоб и за старое ему наложить, мерзавцу! Пусть попомнит, как отложил швейцарский съезд!

А для этого надо: во-первых, опубликовать все доверительные сведения о его скрытых переговорах!

Эт-то очень всегда ударяет: внезапная публикация доверительного. Оч-чень ошеломляет.

То есть просто вот сейчас, немедленно, подготовить такую публикацию!

— ...И расставить нужные акценты!

— ...И завтра же опубликовать!

Ну, с Радеком и самая напряжённая работа превращается в весёлую игру! За что Ленин особенно Радека любил — за хорошую пристрастность!

Уже сидели и писали: Радек писал, теребя пустую трубку в зубах, в коридор выйти некогда, иногда смеясь и даже подпрыгивая от выражений,— а Ленин сидел сбоку и советовал.

Единственный такой был Радек человек, кому, сидя рядом, Ленин вполне мог передать перо и только посмеиваться. Лучше радекова пера никогда не было во всей большевицкой партии. Луначарский, Богданов, Бухарин — все писали слабей.

— Тут важно, что ещё получится: что именно Швейцария все эти переговоры ведёт и нас выталкивает. А вовсе не мы!

Ах, умный, понимающий, золото!

— Завтра же и опубликуем — у Нобса или...

— Завтра — воскресенье. А вот что! — запрыгали, запрыгали искры за радековскими очками: — Завтра воскресенье, так пошлём с е й ч а с же, немедленно — Гримму телеграмму! В субботу вечером, немедленно, сейчас! — Усмехался и подпрыгивал Радек, как будто его со стула кололо.

И Ленин подпрыгивал от удовольствия.

И говорили, говорили вперебой, поправляли, и Радек тут же записывал:

...Наша партия решила... безоговорочно принять... предложение о проезде через Германию... и тотчас же организовать эту поездку... Мы *абсолютно* не можем отвечать... за дальнейшее промедление... решительно протестуем... и е д е м о д н и!..

— Та-ак! — почесал Радек за ухом,— закатаем ему в листовой шоколад:

— *...Убедительно просим* немедленно договориться...

— Завтра, в швейцарское воскресенье, договориться!.. Да! ещё завтра первое апреля!

— Первое апреля!! — давно так не смеялся Ленин, всё напряжение последних недель выбивалось из его груди сильными, жёсткими, освобождающими толчками.— Вот получит бонбоньерку, центристская сволочь!

...Договориться... и, *если возможно,* з а в т р а же...

— Когда вся Швейцария дрыхнет!

...Сообщить нам решение!.. С благодарностью...

Как на шахматной доске, уже сделав задуманный ход, ещё больше видишь успеха и возможностей, чем рассчитывал перед тем. Но эту усмешку — с 1-м апреля и с воскресным заданием товарищу Гримму — придумал Радек-весельчак!

— А если за воскресенье он не сделает — так в понедельник мы свободны действовать сами!

— Ну, во вторник...

Да что! да ещё лучше придумал Радек:

— Владимир Ильич! А — Мартову? А Мартову мы тем более обязаны написать, он же *инициатор плана!?* — душился Радек от смеха.

— А что же Мартову? — так быстро и Ленин не сообразил.

— Да что мы немедленно *принимаем предложение Гримма о проезде через Германию!* Вот обкакать: что это его предложение!!! На весь мир — е г о! Швейцарские социалисты нас выталкивают! Член швейцарского парламента!

Ну, это совсем было гениально! Ну, Радек! Ну, завоет Гримм! Ну, кинется оправдываться. Да отмываться всегда трудней, чем плюнуть. Надо уметь быстро и в нужный момент плюнуть первым.

— Вспомнит, подлец, ненапечатанную мою брошюру!..

— Но уже поздно. Придётся идти сдавать на Фраумюнстер.

— Да я сбегаю, Владимир Ильич.

— Да уж пойдёмте вместе, разохотились.

Но уж тогда оглядеться, подумать — что ещё? А, вот, Ганецкому в Стокгольм:

— Срочно переведите три тысячи крон на дорожные расходы.

(Тогда уж и Инессе: «...О деньгах не беспокойтесь... Их больше, чем мы думали... Здорово помогают товарищи из Стокгольма... Надеюсь, мы едем вместе с Вами?..»)

И вот что: там залог в кантональном банке за проживание в Швейцарии, 100 франков, нечего баловать лакейскую республику, надо забрать.

Одевались, Ильич — в своё железно-неподъёмное, на ватине, а Радек — в летнее пальтишко, так всю зиму и пробегал, все карманы затолканы книгами.



Трубку набивал, спички готовил.

Ленин вслух:

— Ничего. У Платтена с Ромбергом — какие переговоры? Ромберг вынет из стола — и даст. Но эти несколько дней надо, надо было кинуть шовинистическим харям.

Радек крутился как юноша, лёгкий, удачливый:

— Руки чешутся, язык чешется! — скорей на русский простор, на агитационную работу!

И пропуская Ильича вперёд, уже спичка наготове, в коридоре зажечь:

— В общем так, Владимир Ильич: через шесть месяцев или будем министрами — или будем висеть.

## ДОКУМЕНТЫ — 32

**18 марта, Берлин**

**ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ЧИНОВНИКА М. И. Д. ИЗ ГЕНШТАБА**

**...Прежде всего, мы должны избежать компрометации едущих слишком большой предупредительностью с нашей стороны. Очень было бы желательно получить какое-либо заявление швейцарского правительства. Если без такого заявления мы внезапно пошлем эти беспокойные элементы в Швецию, это может быть использовано против нас.**

**18 марта, Берлин**

**ПОМОЩНИК СТАТС-СЕКРЕТАРЯ — ПОСЛУ В БЕРНЕ РОМБЕРГУ**

**Шифровано**

**Спешно! Проезд русских революционеров через Германию желателен как можно быстрей, т. к. Антанта уже начала противодействие в Швейцарии. По возможности ускорьте переговоры.**

**20 марта, Копенгаген**

**ГЕРМАНСКИЙ ПОСОЛ В ДАНИИ ГРАФ БРОКДОРФ-РАНТЦАУ — В М. И. Д.**

**Совершенно секретно**

**...Мы должны теперь непременно стараться создавать в России наибольший хаос. Для этого избегать всякого внешне-заметного вмешательства в ход русской революции. Но втайне делать все, чтобы углубить противоречия между умеренными и крайними партиями, так как мы весьма заинтересованы в победе последних, ибо тогда переворот будет неизбежен и примет формы, которые сотрясут устои русского государства. ...Поддержка нами крайних элементов — предпочтительнее, ибо таким образом проводится более основательная работа и достигается быстрее результат. По всем прогнозам можно рассчитывать, что месяца за три распад продвинется достаточно, чтобы нашим военным вмешательством гарантировать крушение русской мощи.**

## 656

И по-прежнему жил Волынский запасной батальон в тех же казармах, и учебная команда — на тех же нарах, близко которых подняла бунт,— но это была уже не та жизнь и не тот батальон. Две недели вовсе никаких занятий не было — ни строевых, ни учебных, ни даже в учебной команде. Только с этого понедельника в иных ротах унтеры сами стали выгонять молодых запасников пошагать по улице, да и то час неполный, а больше с них не возьмёшь. А ведь молодые — они ничего не смыслят, не умеют,— когда ж учиться будут?

Но в Тимофея Кирпичникова за годы военной службы, а других лет у него как и не было,— вросла строгость. И от этой новой сплошной разольгóты у него был развал сердца. Что ж это: солдаты уже и от унтеров стали свободны, делаем чего хотим? В казарме грязь — и никого не заставишь убрать как следует? Сидят на нарах босиком, ноги по-татарски, и в карты режутся. А пойдут по городу шаландаться — так на отлучку и разрешения не берут, да без пояса, да шинель внакидку, да ещё хлястик с одного конца отстёгнут и свис,— пришла пиву непереливá! Смотреть на это — глаза лопнут.

В учебной команде, конечно, построже, а уже и тут расслаба.

И начальства, офицеров в батальоне — тоже как не стало. Одних — совсем как вымело, нету, Воронцов-Вельяминов аж с того дня не являлся. Другие если и промелькнут — так стороной и словно не видят всего этого безобразия, не вмешаются. Уж не по команде обратился Кирпичников к штабс-капитану Цурикову: «Ваш высокоблагородие, что-то делать надо?» А он папироской об портсигар постучал, закурил — «Ладно, Кирпичников, постепенно наладится как-нибудь.» Мол, иди в батальонный комитет.

Так Кирпичников там и сам состоит. А головой у них — какой-то образованный, недавно призванный, уже в годах; солдат — ещё никакой, но де в ссылке побывал, в Сибири, и теперь всё солдатам указывает. Да два горлана, из расхлябанных. Теперь Комитет готовит батальонный оркестр — в театре выступать, деньги собирать на похороны жертв.

А молодые прапорщики составили свой офицерский комитет, но в угоде с солдатским.

Так если запасной народ вот этак и дальше — а как же наши на фронте? Вы там пропадайте, а мы тут попроклажаемся?

Ну правда, раз ходили на парад на Дворцовую площадь. Принимал сам Командующий. Ничего прошлись. А то стали нахаживать гости сюда, в волынские казармы. Однова пришёл итальянский генерал с офицерами — и уж как руками с табуретки размахивал, вот улетит. Пока чего переведут на наш — уж как волынцев нахваливал, революцию соделали,— покачали во дворе того генерала. И два англичанина долговязые как-то приходили, офицер и солдат, оба в громких кованых ботинках, распаренные как из бани. Этот по-русски мал-мала говорил, двигал челюстью на помощь, уж наши смеялись над ними и пособляли. И тоже покачали их. И все они так говорили, что теперь обновлённая армия нанесёт вместе с союзниками последний сокрушительный удар.

Как же она нанесёт, ежели всю армию развинчивают? Если вот уже скоро месяц на охтенском полигоне и стрелять перестали? Если изо всех петербургских запасных, туча немалая, за это время не послали на фронт ни одной маршевой роты? — и обещают впредь не слать! Война там как ни должись — а мы к ней боком? — а паёк прежний. Так так нас Вильгельм и завоюет.

С каждым днём в казармах томче прежнего — без дела, без учения,— так чего мы тут? Изневолю побредёшь и сам по городу. А там — и раненые и калечные бродят, да как с ними разговоришься — так ещё растравией: за что ж мы-то руки-ноги отдавали,— дураки, значит? Надо было раньше охомениться? Или уж теперь эти пусть тоже идут!

До чего дошло: из госпиталя все санитары как один уваляли в цирк на митинг, а лежачие больные без помощи.

На тех митингах чего только не галагонят.

А не решись они тогда с Марковым — и не было бы ничего нигде?

(Этим калечным, раненым он про свою заслугу помалкивал, совестно.)

Никто той ночи уже не вспоминал, и о самом Кирпичникове,— а дружно все галдели. Да уже послыхивали и такое по городу: мол «долой войну!» — воевать не будем больше.

Как ж'эт так? — ополоумеешь. Так чтоб войну скорей кончать — на неё и надо идти!

А под Варшавой помнишь, Миша, каки сибирские полки сложили? Да ведь и моя и твоя кровь там осталась. А теперь — всё отдай, и русские города отдай?

И батальонный комитет не туда тянет.

И решили с Мишей Марковым: пусть наш ефрейтор Орлов, кого мы в Совет депутатов избрали,— пусть он там добьётся, чтобы вразумили гарнизон.

И говорили Орлову, а зря: выбрали мы его как здешнего питерского заводского — а он теперь к тем и поворачивает. Заводы-то работать не хотят! — что это, 8-часовой день? а сверхурочно не желают. Снарядов не шлют, ни патронов, никакой амуниции,— что там с нашими будет? это в какую кровь обойдётся?

Орлов только своё: Совет — всё знает и укажет. Подчиняться только Совету и одному Совету!

Как это одному Совету? А — правительству?..

Кому? кому пожаловаться? — тянуло Тимофея. Некому. Один раз повезло: увидел их прежнего студента, который разъяснял им, в посёлке Михаила Архангела: увидел, тот проезжал в открытом зелёном автомобиле с красными спицами. Вот бы кинуться к нему, спросить: как? что? почему же? — так уже пролетел, не догонишь. На ту квартиру сходить, на Невскую сторону? — так то и не его квартира, там его и не найдёшь.

Раньше мог солдат из казармы в город отлучаться только с нарядом. А теперь — ходи когда хочешь. Солдаты ходят и гулять и белый хлеб покупать: хвост баб оттеснят и себе берут. (Хвосты-то за хлебом стоят ещё длиньше, чем раньше, и с вечера становятся.)

Не стало в казармах вечерней поверки, так по вечерам все себе полные хозяева: кто опять на нары да в карты, кто друг дружке домашние побылки рассказывать, кто спать. Так ведь столько ночей и по столько часов никакой и медведь не выспит. И тянутся ребята опять в город, сами не зная зачем.

Сегодня пошли и Кирпичников с Марковым.

Город Питер из внезапного дружного восстания опять обращался в свой прежний самостный чужой обычай. В этом городе люди ведь копились не для какой прямой работы, а для весёлой жизни. С утра небось подолгу спят — а потом долго в ночь живут при светах. И когда по улице мельтешат — не понять: за каким делом? или гуляют просто? (В деревне сразу видно: кто с топором пошёл, кто с косой, или навоз вывозит. И в армии: при каком оружии рота пошла или с белыми свёртками в баню.)

Правду говорят: город затейный, что ни шаг, то питейный. Как выбредёшь на Невский у Знаменской площади (откуда всё и началось) — у-у-у-ой! примизна да светлизна, матушки мои! Да сколь огней, да сколь публики, да разодетые как. А на дамочках шляпки какие полястые, а под ними сетки зачем-то, как на рысистых лошадях, а пройдёт мимо — опахнёт тебя каким-то запахом-зельем, какого сроду никогда не нюхано.

Так и в Варшаве всегда дразнило: барская жизнь недоступная. Как они — нам никогда не жить.

Но сейчас Питер малость пооблез. Дворники небрегут — кучи снега невывезенные, лёд из-под ног не сколот,— и семячек, семячек везде налускано. И не носятся с шорохом ломким выездные санки под ковриками или баре с теми дамами в легковых автомобилях. И не стало городовых, а стоит милиция из сопляков. (Говорят: полицейским платили 40 рублей в месяц, а эти 8 рублей за одно дежурство берут, этак бы и мы в охотку.) Барская публика на Невском осталась — а всё ж не ихняя уже улица, и нашего брата не мало.

И трамваев — с резкими звонами, а изнутри все огненные и ещё с парами глазков под крышей, там бело-красный, сине-зелёный, жёлто-синий, какой значит номер,— трамваев тоже по вечерам куда меньше стало: служащие работать не хотят, 8 часов — и в сторону. Оттого трамваи набиты невпротолчь, и ещё люди гроздами внавесь на державках, на ступеньках — тут и солдат не вскочит.

А солдат любит поездить: ему — без платы, и гони хоть через весь город.

Да главная-то жизнь — она не на улицах, она вон там за толстыми стёклами (где побито — уже вставлено), в свету и в тепле. И вот уж там хахакают, зубы не покрывают. И чем позже вечер, когда солдату уже спать,— тем больше их туда, за стёкла, набивается. И сидят за белыми столами, и пьют и лакомятся часами, и всякую всячину едят, чуть де не лягушек, тьфу!

Вот, говорят, равенство: нижнему чину теперь никуда войти не запрещено. А попробуй войди туда к им, в ихнюю обжираловку — на всё нужны денежки. А денег — у смирных волынских унтеров нет.

— Другие хоть спирта где-то разок набрались, напились, а мы с тобой, Миша, всё проворонили.

Толкаются волынцы по тротуару — никто на их знаменитые бескозырки уже и не посмотрит, не вспомянет.

И куда как поздно, а магазины с озарными окнами — торгуют. И чего там на подоконниках за стёклами не выставлено под свет, стой и рассматривай бесплатно. Цветы, цветы через каждый квартал, да каких в России и не растёт сроду,— откуда берут? да середь зимы?

И — фрукты, фрукты тоже. Какие ещё видывал, знаешь: вот это — виноград, вот это — абрикос, а других диковинных и название не ведано, однако ящики ими полные.

Или — финтифлюшки для барских баб, поблестушки, постеклушки на синем бархате выложены, или чего исподнее развешано, глаз не оторвать.

Или, поскольку грамота твоя твёрдая есть, иди и читай вывески: *Жорж Борман... Бликен и Робинзон... Брокер... Сиу... Ралле...*

Всё — не наши...

А то — кинематографов вывески и театров вывески, с лампочками вкруговую, и на тумбах же то повторено, читай откуда хочешь: «Наша содержанка»... «Цветок зла»... «Казнь женщины»...

Или: «Спальня...» — а дальше буквы не русские.

Или: театр Суворина — «Мотылёк под колесом».

А нам — только оталкиваться плечами, только сапоги тяжёлые переставлять по чужому лёгкому проспекту.

А в деревне, пишут,— ни керосина, ни мыла, ни гвоздей, ни соли.

А калек войны — и никому не жаль, кроме сродственников.

А и нас с тобой покалечат — так и тоже.

А в окопах — там сидят, сидят во тьме и сырости.

И теперь — всё немцу отдадим?

— И как это мы, Тимофей, решились? Как это нас понесло в то утро?

Самим дивно.

— Давно бы в петле жизнь кончили.

1977—1986
Кавендиш, Вермонт

# Елена Ушакова

* * *

О, как мне жаль, как жаль хотя бы этого Кулышева
И вон ту женщину, что тащит по переулку почти волоком
Свою сумку,— так жалеют неизвестного умершего,
По которому, как по тебе, звонит колокол.

Так жалел Симор, помните, свою глупую тещу,
Оттого что свет поэзии не дал ей силы,
Не проник в бедной головы темную рощу,
Пролилась мимо гармония, не задела, не усыновила.

Не говоря уже о бедолагах с глазами кроликов,
Знаете ли вы о печальной участи графомана?
Жалеть, жалеть всех глупцов и скотов — сколько б их
Ни было! Только они несчастны, сказал Лунин. Как странно!

Неужели в этот список, тайный словник плачевный,
Свободно входит вместе с Вавиловым товарищ Шлыков
И А. А. Жданов идет вслед за Анной Андреевной?
Что есть беда, Господи, а что — улика?

В этой путанице разобраться не просто.
Ах, как вы правы, старые эстонки [1], наверно!
Вина ищет пристанища, сторонится погоста
И льнет к тому, хлипкая, кому отпущено безмерно.

* * *

Почему цифры запоминаются легко по сравнению со словами?
Слово — Психея, летает, дышит, меняется, оставляет след,
То призраком проскользнет, то вихрем взмоет, цунами;
Вот оно, вот оно! То вдруг его нет.

Цифра требует к своей плоской персоне особого внимания,
Ее вытаскивает из чащи событий хоботок
Цепкого, заинтересованного, спортивно воспитанного сознания,
Только так от нее может быть прок.

И когда я силюсь вспомнить смысл сообщения или доклада,
Вижу голубые глаза докладчика и «горячую лобную кость»;

---

[1] «Старые эстонки» — стихотворение Анненского.

Елена Ушакова — поэт. Публиковалась в журналах «Радуга», «Нева», «Синтаксис», «Знамя» и альманахе «Петрополь». Живет в Ленинграде.



Знаю, мысль не положишь в карман и не вынешь, ей надо
Захотеть посетить тебя, сказано: мысль как гость.

Вижу, вижу, как ты стоишь у окна вагона — на юг дорога,
Держась за перекладину, не успевая переводить взгляд,
Белая рубашка, ее треплет ночной теплый ветер из Таганрога,
Что-то сказал, что? — не помню, ты весел, нет, рад.

Жизнь, ты — сон, когда не знаешь, что спишь, сновидение,
Цветные картинки яркие, но слегка запотел объектив,
Все перепуталось, связано, сцеплено, как в стихотворении,
Не всегда даже знаю, кто умер, кто жив.

* * *

Что же так чужая смерть нас пугает
Посторонняя? Ведь все умрем, последнего позора
Не избежать и здоровенному покуда бугаю.
Всех обнимет, запрячет, никто не останется без призора.

Я звоню в парикмахерскую, чтобы
Узнать, в какую смену работает Попова Галя:
Во вторник — утром, а в среду вечером? Попробуй
Тогда успеть! А если наоборот, то тоже едва ли.

Набираю номер — бодрый голос вещает об урожае.
Ура, дозвонилась! Мне говорят: «Нет ее».— Молчанье.
«А когда...» — и ненужный вопрос опережая:
«Умерла она, первого похоронили... Да, внезапно, случайно».

Этого не может быть, потому что так не бывает!
Жизнь в борьбе со всеми страхами, с самой смертью, казалось,
На нее, как на самую надежную сваю,
На грубоватое ее лихое спокойствие опиралась.

Ничему не удивлялась, все приняла, ничего не оттолкнула Галя Попова.
Без нее не обойтись, и нет другого выхода, как создать,
Экстренно сделать снова
Такую же. Такую же? А сын, Костя? А парализованная мать?

А морозные узоры на стеклах и радиопередачи?
Будут, будут завтра, как сегодня.
К чужой смерти мы как-то не готовы. Иначе
Со своей — всегда с нами, почти родня, у, сводня!

* * *

Старый китайский коврик над маминым диваном,
Сколько себя — столько его помню,
Висел надо мной все детство, отрочество и юность, не стану
Всего вспоминать, бог с тобою, мой дух бездомный!

Китаянка над ним трудилась, пекинская ткачиха,
Черные бусинки плескались в раскосых глазах-полосках,
О, нежные сумерки, щекой ворс трогаю, так тихо-тихо
И спокойно, как до рождения,— спасибо таблетке крохотной, плоской.

Жгучая рана исчезла куда-то, укатила,
Словно на поезде уехала — все дальше, мельче, о, подольше,
Прошу, покачай, мягкотелая милосердная сила —
Неподвижная, ласковая, piano, dolce...

Ошибка произошла, ошибка! Когда? Давно! Прежде,
Чем я успела задвигаться в байковых тряпицах;
До первого испуга, пока сладко сомкнуты вежды,
До света, до первого звука если б можно было остановиться!

А потом уже поздно, поздно, потому что «нет спасения
От любви и страха», от любви и страха.
Тщетны адвокатские Твои приемы: растения
Многоцветные и многострунные увещевания Баха.

## К АКЦЕНТНОЙ РЕЧИ

Этот волглого ритма возвратный, упругий порыв,
Эти волны слогов, теплых стоп череда и пряливы!
Как бы ни был расслаблен ход мысли и сладко ленив
Или горько подавлен, как будто невольно игривы
Наши лучшие чувства, размер их со дна достает
Удивленной души, принуждая к роенью и строю,—
Так, наверное, в школе военной берут в оборот,
Ставят сонных и слабых насильно в затылок герою.
Есть волшебная прелесть в звучанье! Но все же запрет и засов,
Не впускающий штатскую речь,— как акцент иностранный,
Потому что приструненный голос души, ее зов
Слишком, что ль, угловат, а сама она слишком туманна.
И сказаться без слов, как хотел того Фет, норовит,
Обнаружить младенческие и интимные жесты,
Не сгибается, гибкая, нет, презирает кульбит
Переносов, цезур, главным образом, строки ей тесны.
Ее искренность терпит какой-то неясный урон,
Или чувства застенчивые вдруг становятся резки? —
Вот и сносит тихонько стопу, разрушает заслон
И ручонку протискивает в стиховые отрезки,
Хочет, глупая, слиться с приватным акцентным стихом.
Как детей обучала французскому строгая Долли,
Непосредственностью поступаясь,— ужель волшебством
Пренебречь? — ради все-таки лживой рифмованной боли!

* * *

«А что до любовниц...» — чужими словами воспользовавшись, ты сказал,
Запнувшись на миг,— я успела подумать, что кто-то
И горько таился, и втайне, наверное, горевал,—
Как много вмещает возможностей крошечный интервал...—
Скорее всего, ухмылялся молодцевато без тени заботы.
Затем я подумала, что... есть такие названия, имена,
Которые в поисках вечных находятся и не находят предмета.
«Любовница» — кто это? Предательница-жена
Плохая, неверная? Но и другое возможно: одна
Из многих, не слишком ценимых, а так — мимоходом пригрета.
И та, и другая, и есть еще третья, но тоже плачевная роль.
Все, все унизительны... Женщиной быть разве можно?
Поэт восхищался: быть женщиной — это геройство и шаг! О, конечно, но соль
Восторженного восклицания в чем-то другом, где-то рядом, как соль
И соль-диез, взятый невольно, задетый неосторожно.

## СТАРЫЙ КВАРТАЛ

Почему, почему, если знаешь, как их называть,
На таблички не глядя, лишь чувствуя с почвой сцепленье
Всей стопой, как Антей, новых сил набираясь опять,
Прозревая сквозь стены весь хаос и хитросплетенья
Четырехподворотных и трехподворотных дворов,
Будто в птичьем полете все это держа на ладони
Городком в табакерке — как странно изрезан сей кров! —
Чуть жалея, что просто идешь — не бежишь от погони,—
Так легко здесь забиться в межъящичный лаз или щель,
Раствориться в парах, что от люкоа ползут неустанно,
И не верить в реальность свою сквозь пурги карусель,
Не своим языком что-то шарфу шепча покаянно...

* * *

Все, что скажешь мне, скажешь — как странно! — не мне,
А кому-то другому — себе ли, жене,
Другу детства — побыть бы во времени оном!
Как сквозной обращенности липок синдром,
Но привычному уху давно нипочем
Эти странности, ставшие общим законом.

Вот и я говорю не тебе, не ему,
Я давно говорю неизвестно кому —
Не себе, но, наверное, даже не Богу...
Ненаправлена речь, и разомкнута связь,
Что ж так вьется мучительно плотная вязь
Безупречного и бесполезного слога?..

* * *

Куда меня везет «двенадцатый» трамвай?
Опомнюсь, оглянусь — к Некрасовскому рынку...
Знакомые места. Как в юность ни играй,
Совсем другой мотив тягучая волынка
Выводит... Мхом оброс и ракушкой мешок
Шотландского шитья, наполненный дыханьем.
Ну что там — липов цвет набрать на посошок?
А может быть, сирень? С пугающим стараньем
Волынщик мой гудит. Все ниже, ниже звук,
Все тоньше, тоньше нить, но все острее зренье
Привязчивой души, свой обошедшей круг,
Но неспособной жить, как зверь, вне мест рожденья...

---

Елена Васильевна Елагина — поэт. Первая публикация — в журнале «Нева» (1990). Работает инженером. Живет в Ленинграде.

*Анатолий Михайлов*

# Два рассказа

## ПОСЛЕДНИЙ МАСТЕР

Хочу шептать любому на ухо
Слова давнишнего прибоя,
А не хочу закрыться наглухо
И пренебречь судьбой любою.

*В. Шаламов*

Я вытащил из кармана квитанцию и пробежался глазами по кнопкам. Как-то все-таки странно. Неужели в адресном столе ошиблись? А может, я перепутал номер дома. Надо спуститься вниз и проверить.

Оказывается, не перепутал.

Вернувшись обратно, я еще раз перечитал все фамилии и, прежде чем позвонить, задумался.

У каждого человека, если у него нет отдельной жилплощади, среди наклеенных с фамилиями полосок должна радовать глаз хотя бы своя персональная кнопка. А здесь, мало того, что коммуналка. Еще и без опознавательного знака.

Придется звонить наугад — кто-нибудь да откроет.

С той стороны спросили:

— Кто там? — спрашивала женщина.

Я сказал:

— Простите... Здесь живет Варлам Тихонович Шаламов?

За дверью ничего не ответили. Я стоял и ждал...

Я решил нажать на другую кнопку, может, другая окажется поудачливее, но в это время звякнула цепочка, и за спиной у женщины я увидел старика. Он двигался из глубины коридора какой-то непонятной поступью.

— К вам пришли! — повернувшись на шаги, резко выкрикнула женщина, и я заметил, что каждая выходящая в коридор дверь при этом выкрике приоткрылась и каждая со своим косяком образовала щель, из которой кто-то выглядывал.

Нет, наверно, мне все это померещилось. И это совсем не Варлам Тихонович. Просто я не туда попал. Но Варлам Тихонович приблизился и не оставил мне никакого шанса.

(Недавно в журнале «Юность» я прочитал про Варлама Тихоновича такие строчки: «У него была легкая походка. Это казалось невероятным для человека едва ли не двухметрового роста, с могучим разворотом плеч, с той совершенно богатырской статью, которой природа все реже наделяет людей; но в этот раз она щедра была не понапрасну — путь, который выпал Варламу Тихоновичу Шаламову, был неимоверно тяжел, порою трагичен». И это мне тоже показалось невероятным.)

«Могучий разворот плеч» был как-то бесцеремонно отторгнут от туловища, точно поникший на стволе сдвинутый каркас переломанных ветвей, и каждое плечо ходило ходуном независимо от рук, как будто это не руки, а крылья, которые принадлежат птице, а птицу только что подстрелили. И это было видно даже при свете коридорной лампочки.

— Варлам Тихонович...— выдавил я наконец, даже не выдавил, а скорее выдохнул — и замолчал. Я уже предчувствовал, что ничего хорошего меня в этой квартире не ожидает.

Мы прошли с ним по коридору, и, пока мы с ним шли, я обратил внимание, что из каждой щели на нас продолжают смотреть.

Он вошел в комнату первым, а я со своим нелепым магнитофоном следом за ним. Резко остановившись, он как-то неожиданно повернулся. И тут я его разглядел уже окончательно.

На Варламе Тихоновиче висело неопределенного цвета рубище, как будто на кресте, что-то вроде полотняного костюма; такие костюмы выделяет производство на похороны одиночек. Но дело даже не в костюме, а в самом лице.

Нижняя губа по отношению к верхней была смещена, а выжидательный наклон головы, словно к чему-то внимательно прислушивающейся, придавал всему лицу выражение какой-то застывшей тревоги. Точно когда-то его свело судорогой, да так и не отпустило.

(На фотографии в книжке Варлам Тихонович совсем не такой. Конечно, все это есть, но где-то там, внутри. А наружу лишь только взгляд. Не то чтобы подавленный или страдальческий. А просто отрешенный. Но зато в самую душу.)

Вокруг, рассыпанные в поэтическом беспорядке, молчаливо белели листы, наверно, черновики; откуда-то из угла кругляшками клавиш проступала пишущая машинка, а возле нее, отбрасывая тень, горела настольная лампа.

Варлам Тихонович сделал по направлению ко мне шаг и произнес:

— Вы ка-а-а мне? — При этих словах он как-то весь напрягся, и голова у него мало того что затряслась, еще и потянулась вверх подбородком. И туловище снова задергалось. И даже когда он замолчал, оно продолжало раскачиваться.

Я плохо соображал, что делаю, но чувствовал, что каждое мое слово куда-то меня проваливает.

— Варлам Тихонович...— снова начал я,— я на ваши стихи...

— Что?! — закричал Варлам Тихонович и приставил дрожащую ладонь к своему уху. Лицо у него в этот момент было хоть и перекошенное, но доброе. Наверно, он меня принял за водопроводчика с коробкой для инструмента. И только тут я окончательно понял, что, в довершение ко всему, Варлам Тихонович еще и глухой.

Так ничего и не придумав, я прокричал чуть ли не в самое его ухо:

— Я на ваши стихи написал песни...

По его выпученным глазам я вдруг сообразил, что он меня услышал, а может, разобрал по губам. Лицо у него не то чтобы перекосило, оно ведь и так уже было перекошено до предела, а как-то теперь перекрутило. Он опять весь затрясся и несколько раз со все еще дрожащей возле уха ладонью прокричал слово «что», и каждый раз все громче и громче:

— Что? что?! что?!! Песни??!!

И тут я почувствовал, что он уже еле сдерживается, чтобы меня не ударить.

Я втянул голову в плечи и, лепеча: «Варлам Тихонович... Варлам Тихонович...» — стал от него пятиться.

А он рывком распахнул дверь и как-то истерически закричал:

— Только через Союз писателей!!! Только через Союз писателей!!!

Миновав коридор, мы выскочили на лестничную клетку. Он — чуть ли меня не подталкивая и кандыбая, все продолжая выкрикивать: «Только через Союз писателей!!! Только через Союз писателей!!!», а я — чуть ли не прикрыв голову руками и все продолжая лепетать: «Варлам Тихонович... Варлам Тихонович...»

Бросившись из подъезда вон, я поплелся к троллейбусной остановке. Возле входа в продовольственный шевелили мозгами алкаши. По улице Горького, все прибывая и прибывая из подземных переходов, валила толпа...

А там, наверху, где-то в стороне, среди тараканов и клопов (наверно, когда мы выскакивали, снова в каждой щели затаили дыхание), остался тянуть лямку и умирать удивительный поэт и последний российский мастер короткого рассказа.

---

Михайлов Анатолий Григорьевич (род. в 1940 г.) — прозаик, печатался в журналах и газетах; в 1990 г. выпустил сборник рассказов «Ложный сустав» (Л., «Художественная литература»). Живет в Ленинграде.

# НЕБЕСНЫЙ ГОСТЬ

Ни страны, ни погоста
Не хочу выбирать.
На Васильевский остров
Я приду умирать...
*И. Бродский*

Когда я появился в Ленинграде, меня озадачило название одной улицы.

Неужели в честь Иосифа? Но оказалось, что в честь Исаака. Того самого, что когда-то Иосифа рисовал. Но только совсем не того. А того, что мне нужен, я разыскал через городское справочное бюро. И оказалось, что он прописан на Литейном, примерно в десяти минутах от Комитета государственной безопасности; если пешком. А если на машине, то совсем ерунда. И это очень удобно: не надо трястись через весь город.

Зимой 72-го года я решил поменять место жительства. В Москве у меня была в новостройках комната. И всего одна соседка. А в Ленинграде соседей прибавилось. Зато на Невском проспекте.

Если сравнить наши квартиры, мою и его, то по количеству звонков преимущество будет, пожалуй, на стороне Иосифа. Я отыскал его фамилию и позвонил, и мне открыла уже немолодая женщина, наверно, его мама. Перед тем как открывать, она могла бы спросить «Кто там?» или, по крайней мере, поглядеть через цепочку в щель. У нас в квартире так бы поступил каждый. Но она отворила сразу, не совсем, правда, решительно и, мне даже показалось, через силу, и тут же все собой загородила.

Я сказал:

— Здравствуйте. Мне нужен Иосиф... Только вы, пожалуйста, не волнуйтесь... Я на стихи Иосифа подобрал музыку... У меня магнитофон... и я хочу, чтобы Иосиф послушал...

Она на меня внимательно посмотрела и сказала:

— Иосифа сейчас нет дома. Он ушел. Но я вам могу дать телефон.

— А если я приду еще... попозже...

Она снова забеспокоилась и, увеличив расстояние между моим ботинком и косяком, торопливо возразила:

— Нет, нет. Не надо. Вы лучше позвоните. Иосиф скоро вернется, и я ему передам.

Я ее успокоил:

— Конечно, конечно... давайте я запишу...— и, порывшись в кармане, вытащил авторучку. Я хотел ей еще что-нибудь такое сказать. Но она уже закрыла дверь, и я спустился по лестнице вниз.

Вечером я позвонил, и мне Иосифа позвали. От волнения у меня заплетался язык.

Я спросил:

— Это Иосиф?

Он ответил:

— Да. Это Иосиф.

Я сказал:

— Здравствуйте.

Он мне тоже сказал:

— Здравствуйте!

Я немного помолчал и испугался, что сейчас он повесит трубку. Но он не повесил. Надо было что-то говорить, и я наконец решился:

— Я вас разыскал через адресный стол... я на ваши стихотворения... у меня песни... и я хочу, чтобы вы их послушали. Может, вам что-нибудь понравится...

В трубке продолжали молчать, и теперь я уже испугался, что нас разъединили.

И вдруг он предложил:

— Хорошо. Я к вам сегодня приду. Вы где живете?

Это было так неожиданно, что я сразу даже и не понял, о чем он спрашивает. И тут меня как будто прорвало:



— Между Суворовским и Дегтярной... знаете, баня...— я уже чуть ли не кричал,— Невский, сто тридцать четыре... квартира один... если смотреть на Лавру, то...

Он меня прервал:

— Я знаю эти дома. Я к вам приду... сейчас сколько... семь... ну, давайте в восемь.

...Он уже повесил трубку, а я все еще стоял и слушал гудки. Сейчас ко мне в гости придет Иосиф Бродский.

Из комнаты напротив вылезла старуха и заперла свою комнату на ключ. Я думал, она уходит. Но она ведь без пальто. А она пошла на кухню. А может, в туалет. В это время входная дверь отворилась, и в квартиру вошел дядя Миша. Сразу было видно, что дядя Миша косой. У нас еще, помимо дяди Миши, есть просто Мишка. Он тоже косой. Он сейчас сидит в майке на кухне и смотрит на свою жену. А его жена вместе с остальными стоит возле своей плиты и нервничает.

И вдруг я вспомнил, что я не сказал Иосифу свою фамилию, и теперь, когда он придет, то на какую ему нажимать кнопку?

Надо его встретить. Но как же я его узнаю? Ведь я его ни разу не видел. Я нахлобучил ушанку и посмотрел на себя в зеркало. Ушанка вся какая-то облезлая. Может, опустить уши?

Нужно чем-нибудь его угостить.

Вывернув карманы, я несколько раз все пересчитал, но больше двух рублей так и не набралось. Хватит на самый паршивый портвейн. А чем же закусывать?

Я открыл холодильник и увидел кусок колбасы, он лежал прямо на решетке. Граммов на восемьдесят. А в скомканной бумажке — граммов пятьдесят масла. И больше ничего. Хлеба тоже почти не осталось. Какие-то огрызки. Но зато целая пачка чаю. Я решил угостить Иосифа чаем.

Сначала я спустился в кондитерский: а вдруг вишневое варенье? Но вишневого, как всегда, не оказалось. Хорошо еще, было клюквенное.

Потом я сбегал напротив в булочную и купил за двадцать две копейки халу, может, Иосиф любит намазывать варенье на булку. Оставалось еще тридцать восемь копеек.

Потом заскочил в продовольственный и пробежался глазами по прилавкам. В винно-водочном отделе стояли алкаши и выпрашивали у продавщицы бутылку. Водку она уже спрятала, а «бормотуха» кончилась. Куплю бутылку лимонада, а вдруг Иосифу захочется.

Осталось одиннадцать копеек, но на них покупать было нечего. Я возвратился к себе к комнату и поглядел на будильник. Уже половина восьмого.

Банку с вареньем я поставил на стол, а лимонад в холодильник. Потом подумал и вытащил. Пускай лучше постоит на подоконнике. В холодильнике он сделается ледяной, и у Иосифа может заболеть горло.

Я снова оделся и вышел на лестницу. Я решил Иосифа подсторожить возле входа в подъезд.

С потолка вестибюля в меня прицелились стрелами произведения искусства. На Невском проспекте каждый дом напоминает дворец.

Я размечтался и прозевал: в подъезд кто-то вошел. Опомнившись, я бросился вслед. Тот, что вошел в подъезд, прислонился к батарее и вытащил из кармана бутылку. Нет. Это не Бродский.

На улице я посмотрел на часы. Уже восемь. Немного постоял и решил снова Иосифу позвонить. Вдруг он еще дома, и тогда я ему скажу свою фамилию.

Я опять поднялся и набрал номер. Но было занято. Я позвонил еще, и снова было занято. Соседка, что напротив, возвратилась из кухни и, не говоря ни слова, подошла и уставилась. Я понял, что ей нужен телефон. Я повесил трубку и опять вернулся в комнату.

И вдруг я сообразил, что Иосиф, может, уже стоит на лестничной клетке и не знает, что же ему делать дальше.

Я выскочил в коридор, и в это время во входной двери зашебуршал ключ и в квартиру вошла старуха, уже другая, еще старше той, что говорила по телефону. И вслед за старухой вошел Бродский, он, и правда, уже давно стоял возле перил и все ждал, когда же наконец появится кто-нибудь из нашей квартиры.

Я к нему подбежал и остановился. Он тоже остановился. Я хотел пожать ему руку, но первым постеснялся. Он тоже смутился и мне сам руки не протянул. Старуха проползла к себе.

Когда мы вошли с ним в комнату, то он как-то одним махом скинул с себя пальто и бросил его прямо на холодильник. Ботинки у него были старые, рублей за двенадцать, а кепка примерно за два пятьдесят. Зато пальтишко приличное, похоже, импортное. Кепку он тоже бросил, потом придвинул стул, сел, повернулся к стенке, оперся скулой о ладонь и застыл. Мне у него запомнились густые брови и уже лысеющая голова. Я думал, что он более хрупкого телосложения.

Больше всего я боялся, что у меня сломается магнитофон; я песни напел в Москве у друга, а своего магнитофона у меня еще пока нет. Поэтому пришлось взять напрокат. Сначала мне его не давали — все требовали паспорт, а паспорт у меня на прописке, ведь я же только поменялся. Тогда я им вытащил военный билет. Но мне все равно не дали: чтобы получить в Ленинграде что-нибудь напрокат, надо быть в Ленинграде прописанным. Но я ведь уже ленинградец, у меня же обменный ордер! Но мне не дали, и все. Потому что я в Ленинграде не прописан. Пришлось ставить бутылку соседу. И он вместе со мной пошел и взял.

Я включил магнитофон и на магнитофоне запел. Бродский даже не повернулся. Он все так же сидел — подбородком на ладони и смотрел в стенку.

«На прощанье — ни звука,— пел я на магнитофоне,— граммофон за стеной...»

Вдруг он как будто очнулся и спросил:

— Откуда у вас этот стих?

Я ответил:

— Из вашей книги.— Сразу было видно, что Бродского это заинтересовало. Не что я пою, а что у меня его книга.

Я уточнил:

— Она не у меня, а в Москве.— Магнитофон я, пока мы разговаривали, выключил.

Он поинтересовался:

— А в каком переплете, в мягком?

Я задумался:

— Да вообще-то не книга... просто перепечатано...

Он успокоился и снова повернулся к стенке.

Я на него посмотрел и обратил внимание, что хотя он со мной сейчас и разговаривает, но сам где-то совсем не здесь. Не то чтобы витает, а, наоборот, сосредоточен на какой-то мысли. Я не стал его отвлекать и опять включил магнитофон.

И вдруг я вспомнил, что его надо угостить. Я снова нажал на клавишу и спросил:

— Хотите варенье с чаем? Не любите? Клюквенное.— И повернулся к банке с вареньем.

Он покачал головой:

— Вы знаете, не хочется. Спасибо.

Я предложил:

— А, может быть, лимонаду?

Он оживился:

— Вот лимонад — это другое дело.

Я подошел к подоконнику и отвернул занавеску. Достал из шкафа стакан и, открыв бутылку, протянул стакан Бродскому. Бродский со стаканом в руке запрокинул голову.

Он пил с наслаждением. Он пил, а я на него смотрел. Мне было приятно, что стаканом лимонада я ему доставил такую радость. Гораздо большую, чем своим пением.

Я спросил:

— Ну, как вам песни, не нравятся?

Он ответил:

— Я не совсем это понимаю. Гитара...— он пожал плечами,— какая-то цыганщина. Но, знаете, лезть на стенку не хочется.

Я не понял:

— Как на стенку?



Он объяснил:

— Однажды еду в электричке и вдруг слышу: «Пилигримы»... Орут на весь вагон... Чуть на ходу не выпрыгнул...

Я удивился:

— Так ведь это же Клячкин! Его музыка...

Бродский насупился:

— Я этому Клячкину когда-нибудь надену гитару на голову...

Я даже растерялся: и думал, что они с Клячкиным чуть ли не кореша. На пару писали «Шествие». Бродский — слова, а Клячкин — музыку. Как Римский-Корсаков с Пушкиным. Недаром же у Клячкина есть песенка, где он поет: «Профессор Римский-Корсаков, вертясь на пьедестале, никак не мог подняться, чтоб руку мне пожать...»

Бродский признался:

— Мне нравится Высоцкий. Больше никто.

Интересно: ВЫСОЦКИЙ и БРОДСКИЙ. Земля и небо.

Я снова включил магнитофон. Бродский протянул мне пустой стакан и опять уставился в стенку. Я пел.

В конце одной песни он меня прервал. Он предупредил:

— Знаете, я вам не советую петь эти строки. Они касаются только меня. У вас могут быть неприятности.

(Песня заканчивалась так: «Слава Богу, что я на земле без отчизны остался».)

Я согласился:

— Да...— и замолчал. Потом подумал и добавил:

— Если вам все это не нравится, то я эти песни никому петь не буду. Но я все равно от них не откажусь. Потому что они мне дороги. Я буду их петь сам себе.

Он улыбнулся:

— Ну, что вы. Пожалуйста, пойте кому угодно. Просто я хочу сказать, что я ничего не понимаю в гитаре. И, к тому же, у меня нет магнитофона.

Я заметил:

— А может, у кого-нибудь есть из друзей...

Он отрезал:

— У меня нет друзей.

Я задумался:

— А...

Бродский вдруг спросил:

— Вы с какого года?

Я совсем этого не ожидал и как-то засмущался:

— С сорокового.

Он заинтересовался:

— А месяца?

Я уточнил:

— С июля.

Он улыбнулся:

— А я с мая.

Оказывается, мы с ним ровесники.

Он снова поинтересовался:

— А чем занимаетесь?

Я признался:

— Пока ничем. Вот поменялся и возвращаюсь на Север. В Магадан.

— В Магадан? — Бродский удивился.— И вам туда хочется?

Я опять его удивил:

— Да. Мне туда хочется.

...Мы все дослушали, и он встал. Ему уже понадобилось уйти. Мне было жалко с ним расставаться, и я спросил:

— А вы не могли бы мне дать еще какие-нибудь ваши стихи, меня бы это очень поддержало.

Он снова улыбнулся:

— Почему же? Можно.— Потом посмотрел на мою пишущую машинку и задумался.

Я тоже встал. Бродский уже одевался. Он надел кепку и теперь напяливал пальто. Я заметил, что брюки у него тоже старые, даже не брюки, а потрепанные джинсы или что-то вроде этого. После я слышал, что он везде носил кепку, в которой отбывал за «тунеядство» срок. Как талисман. Он в ней работал на тракторе. Помощником тракториста. «Сельскохозяйственный рабочий Бродский» — как он о себе написал в одном из своих стихотворений. Наверно, это как раз и была та самая кепка.

Я тоже оделся, и мы с ним вышли. Человек, которого я чуть было не принял за Бродского, уже набрался и в задумчивой позе дремал на батарее.

И вдруг Бродский предложил:

— Позвоните мне недели через две, и я вам подберу. Можете перепечатать.

На прощание я хотел ему сказать что-нибудь такое значительное, но так ничего и не придумал.

...И вот он уже ушел в своем импортном пальтишке и в своей исторической кепочке, смешался с толпой и растворился.

Я немного постоял, и меня потянуло на Васильевский остров. Я еще там ни разу не был.

Я дошел до метро и проехал две остановки. Поднялся по эскалатору и вылез.

Я думал, Васильевский остров синий. Как у Бродского: «...твой фасад темно-синий я в потемках найду...» А он какой-то бесцветный. Потемки-то, конечно, были, а вот синего фасада нет. И никакого острова. Обыкновенные трамваи. Да грязно-серый снег.

Через неделю я улетел в Магадан, а Бродский через полгода совсем в другом направлении. Чтобы больше никогда не появиться в этих местах.

# Лев Лосев

## КРОВЬ

Кто Кавказский хребет перевалит служить,
Быть тому с той поры дворянином.
*Случевский*

Ходу тебе, продвижения нет
в мире равнинном.
Перевалил за Кавказский хребет —
стал дворянином.

Как хорошо государь рассудил:
боец не грубеет,
ежели крови своей не щадил,
кровь голубеет.

Стали бойцы за суровый поход
сталью из жести.
Входит война в генетический код
кодексом чести.

Стычки в горах распрямили твой взгляд,
рабское выжгли
(только вот жаль, что живьем из засад
все-то не вышли).

День посчитали нам за три денька
правильно, право,
и для потомства вошла в ДНК
русская слава.

Наша сивуха, пройдя змеевик
Военно-Грузинский,
облагородилась, стала навек
Божьей росинкой.

## УНИЖЕНИЕ ГЕНИЯ

Вручи мне Ювеналов бич!
*Пушкин*

Над белой бумагой потея,
перо изгрызая на треть,
все мучаясь, как бы Фаддея
еще побольнее поддеть:
«Жена у тебя потаскушка,
и хуже ты даже жида!..»
Фаддею и слушать-то скушно,
с Фаддея что с гуся вода.

Фаддей Венедиктыч Булгарин
съел гуся, что дивно изжарен,
засим накропал без затей
статью «О прекрасном» Фаддей,
на чижика в клеточке дунул,
в уборной слегка повонял,
а там заодно и обдумал
он твой некролог, Ювенал.

## ПОДРАЖАНИЕ

Как ты там смертника ни прихорашивай,
осенью он одинок.
Бьется на ленте солдатской оранжевой
жалкий его орденок.
За гимнастерку ее беззащитную
жалко осину в лесу.
Что-то чужую я струнку пощипываю,
что-то чужое несу.

Ах, подражание! Вы не припомните,
это откуда, с кого?
А отражение дерева в омуте —
тоже, считай, воровство?
А отражение есть подражание,
в мрак погруженье ветвей.
Так подражает осине дрожание
красной аорты моей.

---

Лев Лосев родился и вырос в Ленинграде, живет в США. Подробнее о поэте см.: «Звезда», 1990, № 9. Стихи Льва Лосева печатаются нами по тексту журнала «Континент» (№ 59).

## 18 ВЕК

Восемнадцатый век, что свинья в парике.
Проплывает бардак золотой по реке,
а в атласной каюте Фелица
захотела пошевелиться.
Офицер, приглашенный для ловли блохи,
вдруг учуял, что силу теряют духи,
заглушавшие запахи тела,
завозилась мать, запыхтела.

Восемнадцатый век проплывает, проплыл,
лишь свои декорации кой-где забыл,
что разлезлись под натиском прущей
русской зелени дикорастущей.
Видны волглые избы, часовня, паром.
Все построено грубо, простым топором.
Накарябан в тетради гусиным пером
стих занозистый, сердце скребущий.

## НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ О КАРЛЕ И КЛАРЕ

Кораллы
украв у Клары, скрылся, сбрив усы
nach Osten. Что-то врал. Над ним смеялись.
Он русским продал трубку и часы
с кукушкой. Но часы тотчас сломались.
А в лиственных лесах дуплистых губ
не счесть, и нашептаться довелось им,
что обрусел немецкий лесоруб,
запил, запел, топор на печь забросил.

Кларнет
украв у Карла, как-то смеху для,
она его тотчас куда-то дела,
но дева готская уберегла футляр,
его порою открывала дева.
Шли облака кудряво, кучево,
с востока, наступая неуклонно,
но снег не шел, не шел и ничего
не падало в коралловое лоно.

Mein Gott!
Вот густорозовый какой коловорот,
скороговорок вороватый табор,
фольклорных оговорок à la Freud,
любви, разлуки, музыки, метафор!

## ЗВУКОПОДРАЖАНИЕ

Я говорю: ах, минута! —
т. е. я говорю: М, Н, Т —
скомканно, скрученно, гнуто
там, в тесноте, в темноте,
в мокрых, натруженных, красных
мышцах (поди перечисль!)
бульканьем, скрипом согласных
обозначается мысль.

Кабы я маг-семиотик
был, отрешился б от них.

Я бы себе самолетик
сделал из гласных одних:
А — как рогулька штурвала,
И — исхитрился, взлетел,
У — унесло, оторвало
от притяжения тел.

Бездны не чаю, но чую:
О — озарнет чело.
Гибелью обозначаю
все или ничего.

## PRO DOMO SUA [1]

Деревянный, лубяной
да последний, ледяной,
эй, домишки, как делишки
за железною стеной?
К лесу черному лицом
деревянный дом с крыльцом,
деревянный, с газом, с ванной,
с важной нежитью-жильцом.
К лесу черному спиной
бедный домик лубяной.
Ах, дух щаный, стол дощаный,
поговорки с глубиной!
Мое сердце в ледяном.
Ночью в нем светло как днем.
А убранства — лишь пространство,
холод, свет и метроном.
Ломкий лед галиматьи.
Тонкий звон со дна бадьи.
Выплывают ледяные
Лешки Лосева ладьи.

*1988*

[1] В защиту себя, о себе *(лат.)*.

## ИЗ ЦИКЛА «АНАДИПЛОСИС»

### 1

Где смерть живет, как малое сознанье
на дне большого,— опершись о свод
акрополя,— немые изваянья
все наши мысли переходят вброд
и, достигая берега значений,
нащарив средостенья крестовик,
как воинство летучих сновидений,
переломляют ропщущий тростник.

### 2

Эвтерпа, матрица, Европа, парафраз
материковый! Мотыльковый пеплум
в пакгаузах глоссария! Лишь беглым
пустеющим окинуть взором вас
и самому стать скважиной... Дионис
сожмет и выжмет виноградный сок
из крайней плоти... Хризолит и оникс,
в изнанку музыки втираемый песок.

* * *

В этом городе мы, как в пространной
цитате, живем.
Хлеб земной и заемный небесный
бесславно жуем,
бестолково по улицам бродим
и бесстрашные речи заводим.
Всё о том, что в стране, как в пространной
цитате, живем,
и т. д., и т. п., и т. д., и т. п., и, конечно,
жуем.
Бестолково по улицам бродим
и во всем этом что-то находим.
А спохватится кто-нибудь — живо его
приструнять:
струны вырвут с ногтями, покажут
ядреную мать,
припугнут после ядерным взрывом
и завяжут глаза над обрывом.
А потом разрешат возвратиться в знакомый
до слез
этот город, трепещущий крыльями черных
стрекоз,
с его свастикой улиц и лиц,
и простуженным клекотом жриц.
Здесь с прохожих срывает шинели
коллежский асессор
и строчит на жидов и масонов доносы
профессор,
Медный всадник за гением скачет
и Евгений тоску свою нянчит!

## СОН

«По Анаксагору черен снег, а душа — вдвойне»,—
учила меня одна гимназисточка при луне.
А потом задирала платье и — «шах-наме»!..
Я же, как досократик, ни бэ ни мэ.
«По Анаксагору черен снег, а душа — белым...» —
учила меня дворовая сука, беря калым.
А потом тянула носочек, как ноту ля.
Я ж, как отец пустынник: изыди, бля!
«По Анаксагору черен снег». А по мне — была
или нет та жидовочка божьей матерью, что брала
в . . . и давала в . . . Да не все ль равно!
...Я лежал, проснувшись, в гробу хрустальном, смотрел в окно.
«По Анаксагору черен снег, но чиста лыжня».
И эта третья была права, потому — княжна.
Я лежал, проснувшись, в гробу хрустальном, смотрел в окно,
понимая, что то, что вижу, и есть — *Одно*.

Александр Вадимович Скидан (род. в 1965 г.) — поэт. Публикуется с 1990 года. Стихи печатались в журнале «Аврора», а «Университетской газете» и в «Антологии русского верлибра». Живет в Ленинграде.

## Елена Дунаевская

### СТАНСЫ ОКРАИНЕ

Дома в розоватом свете,
И многопудовый дым,
И в школу шагают дети,
И голени их худы,
Как ноги болотных цапель,
Над желтой, сухой травой,
А мамы, одеты в штапель,
Взирают на свой привой,
Разняв, как фату — невеста,
Кухонную занавеску.

Окраина — род бумаги,
Где краски всегда плывут.
От вечной и злостной влаги
Бесформен трамвайный люд.
Соленый запах отбросов,
Не жизнь, но ее макет.
Окраина — это способ
Жить, если жизни нет.
Окраина — грязный ватман,
Водка, мазня и вата.

Окраиной правит осень
В самую развесну.
Безвременьем здесь заносит,
Клонит к дурному сну,
И жизни топорный остов
Тебя укрепляет в том,
Что человек — не остров,
Не крупноблочный дом:
На арматуре — тонны
Коснеющего бетона.

Окраина — место встречи
Быта с небытием.
Здесь всяк пустотой замечен,
Заначен житьем-бытьем.
И струны здесь рвут под вечер,
Слоано — живьем в гробу —
Швыряют подростки в вечность
Проклятье или мольбу.
Времени нет. Пространство
К пасынкам — беспристрастно.

Дома в предвечернем свете,
И многопудовый дым,
Шагают из школы дети,
И голени их худы.
Пахнет окраина щами,
Воздух похож на взвесь.
Много мы обещали,
Ну а подохнем здесь,
Не разорвав завесы
Сорных дождей над лесом.

* * *

И дирижер склонился к партитуре,
И, кажется, не все сошли с ума.
Как памятник исчезнувшей культуре —
Классическая русская зима.

И зеркало в ясимоверной раме
Серебряной проходишь ты насквозь,
И прежний свет струится над полями,
Где хлябь, и кровь, и шпалы вкривь
да вкось.

* * *

*А.А.А.*

Вошла. Никого не узнала.
Не призрак ли смотрит на то,
Как ночью бредут вдоль канала
Фигуры в квадратных пальто

Из драпа? Из бурого мрака?
А рядом стволов антрацит
Безруких. И, кажется, драка.
И грязный свинцовый Коцит,

И варево вспышек багровых,
И в струпьях больших полотно...
Какой-то художник из новых,
На жизнь негодуя давно,

Раздрызг, напряженность, обиду
С такой густотою нанес,
Что звезды не брезжат сквозь сито
Материи, ветхой насквозь.

А женщина взглядом усталым
Скользнула по раме — и прочь:
С Обводного, злого канала
В летейскую белую ночь.

---

Елена Семеновна Дунаевская — поэт, переводчик английской классической поэзии. Первая публикация — в 1965 году. Стихи печатались в отечественных и зарубежных журналах и альманахах. Опубликованы переводы из Киплинга, Китса, Спенсера, Кольриджа. Живет в Ленинграде.

*Альберто Моравиа*

## СКУКА

***Роман***

### ПРОЛОГ

Я хорошо помню, как бросил рисовать. Как-то раз я просидел в своей студии восемь часов подряд — то работал минут по десять-пятнадцать, то бросался на диван и часа два лежал, уставив глаза в потолок,— и вдруг, словно бы в порыве вдохновения, осенившего меня после стольких бессильных потуг, раздавил в переполненной пепельнице последнюю сигарету, с кошачьей живостью вскочил с кресла, в котором только что расслабленно покоился, схватил острый нож, которым пользовался иногда для того, чтобы соскабливать краски, и, удар за ударом, начал полосовать холст, не успокоившись, покуда не изорвал его в клочья. Затем вытащил из угла чистый, такого же размера, снял с подрамника изрезанный и натянул новый. И сразу же почувствовал, что вся моя, как бы это сказать, творческая энергия полностью ушла на этот в сущности совершенно разумный, хотя и разрушительный акт. Я работал над картиной целых два месяца, упорно и без передышки: изрезать ее ножом было в каком-то смысле то же, что и завершить; может быть, с точки зрения видимых результатов поступок мой носил чисто негативный характер, но для моего творческого состояния это несомненно было полезно. И в самом деле, изрезать холст — это было все равно, что завершить наконец долгую беседу, которую я вел с самим собой бог знает сколько времени. Это означало, что я ощутил под ногами твердую почву. Новый холст, натянутый на подрамник, был не просто обычным, еще не записанным холстом,— нет, это был холст, который оказался там в результате долгих трудов. Одним словом, утешал я себя, стараясь подавить душившее меня отчаяние, именно этот холст, с виду такой же, как все прочие, но для меня исполненный смысла, как бы воплотивший в себе результат, должен помочь мне ощутить себя свободным, способным начать все с начала; так, словно не было у меня за спиной десяти лет занятий живописью, словно мне снова двадцать пять, как тогда, когда я ушел из дому, от матери, и переехал на улицу Маргутта, чтобы никто не мешал мне спокойно работать. Впрочем (было вполне вероятно и такое), красовавшийся на подрамнике чистый холст мог выражать результат объективной, внутренней и при этом абсолютно негативной эволюции, которая привела меня к полному краху. И то, что верным было, пожалуй, именно это, второе, предположение, подтверждалось, между прочим, тем обстоятельством, что скука, неотступно сопровождавшая мою работу в течение последних шести месяцев, начисто прошла в тот момент, когда я изрезал холст; так известковые отложения источника в конце концов настолько засоряют трубу, что вода перестает течь.

Тут, видимо, пришла пора сказать несколько слов об этой самой скуке, чувстве, о котором мне не раз придется упоминать на этих страницах. Дело в том, что, как бы далеко ни заглядывал я в свое прошлое, мне неизменно вспоминается, как мучила меня скука. Но, наверное, нужно договориться и по поводу самого этого слова. Для большинства людей скука — это нечто противоположное состоянию, которое испытываешь, приятно проводя время, развлекаясь, а развлекаться это значит отвлекаться, забываться. Для меня же, напротив, скука вовсе не противоположна ощущению, испытываемому при развлечении,

---

Альберто Моравиа (1907—1990) — крупнейший итальянский писатель, автор романов: «Равнодушные» (1929), «Римлянка» (1947), «Конформист» (1951), «Презрение» (1954), «Чочара» (1957), «Я и он» (1971) и многих других, а также рассказов, драматических и публицистических сочинений. Роман «Скука» («La noia») написан в 1960 году.

я бы даже сказал, что в каком-то, хотя и очень специфическом смысле, она даже схожа с развлечением. Скука для меня — это ощущение неполноты, недостаточности окружающей меня реальности, ее скудости, ее несоответствия собственным возможностям. Если прибегнуть к сравнению, я могу уподобить свое состояние в момент, когда я скучаю, ощущениям человека, который в зимнюю ночь спит под слишком коротким одеялом: натянешь его на ноги — мерзнет грудь, натянешь на грудь — мерзнут ноги, и в результате так и не удается толком заснуть. Если поискать другого сравнения, то можно вспомнить о том, как иногда вдруг, совершенно необъяснимо в комнате начинает мигать электрический свет: то светло и все ясно видно — вот кресла, вот диваны, вон там, подальше, шкафы, этажерки, картины, занавески, окна, двери,— и вдруг, мгновенье спустя, вокруг темно и пусто. Или вот еще третье сравнение: я мог бы определить скуку как своего рода болезнь окружающих меня предметов, которые словно бы увядают, блекнут, теряя жизненный тонус,— это то же самое, что на протяжении нескольких секунд увидеть, как цветок, только что бывший бутоном, увядает и превращается в прах.

Скука настигает меня в те мгновенья, когда я ощущаю абсурдность окружающего меня мира, то есть тогда, когда он становится, как я уже говорил, каким-то неполноценным, не способным убедить меня в реальности своего существования. К примеру, мое внимание вдруг привлекает к себе вот этот бокал. И до тех пор, пока я говорю себе, что бокал — это стеклянный или металлический сосуд, предназначенный для того, чтобы, не расплескав, поднести ко рту налитую в него жидкость, то есть до тех пор, пока я сохраняю твердое о нем представление, мне кажется, между нами завязываются отношения, достаточные для того, чтобы я поверил в его реальность, а следовательно, и в свою тоже. Но стоит только этому бокалу поблекнуть в моих глазах, то есть утратить свою чувственную, предметную убедительность в том смысле, о котором я уже говорил, то есть стоит ему предстать передо мной как нечто чуждое, не имеющее ко мне ни малейшего отношения, или, если говорить попросту, стоит ему показаться вещью совершенно бессмысленной, как из ощущения этой бессмысленности рождается скука, которая есть, в сущности (пора это сказать), выражение некоммуникабельности и полной невозможности ее преодолеть. Однако сама эта скука не доставляла бы мне таких мучений, если бы я не знал, что бокал, не имеющий ко мне отношения, мог бы его иметь, то есть что он существует в каком-то недоступном мне раю, где предметы ни на миг не перестают быть предметами. И из этого следует, что скука, то есть моя неспособность вырваться за пределы своего «я»,— это теоретическое сознание того, что, случись чудо, я все-таки мог бы выйти за эти пределы.

Я уже сказал, что, сколько я себя помню, я всегда скучал; добавлю к этому, что лишь совсем недавно я сумел достаточно ясно понять, что же она такое — моя скука. В детстве же, отрочестве и в первые годы молодости я страдал от нее, будучи совершенно не в состоянии ее объяснить; так человек страдает от хронических головных болей, не решаясь обратиться к врачу. А уж в детстве эта же самая скука принимала формы настолько неясные, недоступные не только моему — ничьему пониманию, что мать, которой я не мог ничего объяснить, приписывала ее нездоровью: примерно так, как дурное настроение младенцев объясняют тем, что у них режутся зубы. В те годы мне случалось неожиданно прервать игру и на долгие часы застыть в полной неподвижности так, словно меня оглушили: это было то самое болезненное состояние, которое вызывало у меня внезапное «увядание» окружающих меня предметов, а точнее, бессознательное ощущение того, что между мною и остальным миром перестала существовать какая-либо связь. Если в такую минуту в комнату входила мать и, видя меня молчаливым, бледным, безвольным, спрашивала, что случилось, я неизменно отвечал ей: «Мне скучно», объясняя этим ясным и плоским словом сложное и темное состояние своей души. Но мать принимала мое объяснение буквально и, наклоняясь, чтобы меня обнять, обещала сегодня же вечером сводить меня в кино или сулила еще какое-нибудь развлечение, которое, я точно знал, не могло быть лекарством против скуки, так как в самой идее развлечения не было ничего ей противоположного. И покуда матери казалось, что она успешно развеяла мое настроение, я, притворившись, что с радостью принимаю ее предложение, продолжал маяться все той же скукой, которая рождалась во мне и от прикосновения ее губ к моему лбу, ее рук к моим плечам, и даже от вызванного ее словами ослепительного видения киноэкрана. Как мог я объяснить матери, что развеять мою скуку невозможно? Я уже говорил, что скука — это прежде всего выражение некоммуникабельности. И вот, не в силах установить связь с собственной матерью, от которой я чувствовал себя отрезанным, как от всего остального мира, я был вынужден мириться с возникшим между нами недоразумением и лгать ей.

Не буду долго останавливаться на неприятностях, которые доставляла мне скука во времена отрочества. В ту пору мои плохие отметки неизменно приписывались «слабости здоровья» или врожденной неспособности к тому или другому предмету, и я сам принимал это объяснение за неимением другого, более убедительного. Но сейчас-то я прекрасно понимаю, что плохие отметки, которые сыпались на меня в конце каждого учебного года, объяснялись все тем же: скукой. Дело в том, что я с болезненной остротой чувствовал, что не в силах установить какую-либо связь между собой и всей этой кашей из афинских царей и римских императоров, рек Южной Америки и гор Азии, одиннадцатисложного



стиха Данте и гекзаметра Вергилия, алгебраических действий и химических формул. Одним словом, вся эта уйма сведений из разных областей знания совершенно меня не затрагивала, а если иной раз и затрагивала, то в результате я лишь еще сильнее ощущал их изначальную бессмысленность. Но, как я уже говорил, ни перед самим собою, ни перед другими я никогда не кичился этими своими чисто негативными ощущениями: наоборот, я убеждал себя в том, что не должен был их испытывать, и страдал от этого. Помню, что уже тогда это страдание поселило во мне стремление как-то определить его и объяснить, но я был подростком, со всей свойственной этому возрасту амбициозностью и педантизмом, и результатом моих усилий явился проект всемирной истории, рассмотренной с точки зрения скуки. В основе всемирной истории, рассмотренной под этим углом зрения, лежала очень простая мысль: пружиной истории была не биологическая эволюция, не экономические факторы и вообще ни один из тех мотивов, которые выдвигаются историками разных школ: пружиной была скука. Воодушевленный своим замечательным открытием, я приступил к делу с начала всех начал. Итак, вначале была скука, вульгарно именуемая хаосом. Наскучив этой скукой, Бог создал землю, небо, воды, животных, растения, Адама и Еву; эти последние, соскучившись, в свою очередь, в раю, съели запретный плод. Они наскучили Богу, и он выгнал их из Эдема; Каин, которому наскучил Авель, его убил; Ной, когда заскучал сверх всякой меры, изобрел вино; Бог, которому снова наскучили люди, наслал на них потоп; но последний, в свою очередь, до того наскучил Богу, что он вернул на землю хорошую погоду, и так далее. Великие египетские, персидские, греческие и римские империи создавались от скуки и от скуки же погибали; скука язычества породила христианство, скука католицизма — протестантство; соскучившись в Европе, люди открыли Америку; соскучившись от феодализма, сделали французскую революцию, соскучившись от капитализма — русскую. Я составил список всех этих сделанных мною замечательных открытий, а затем с большим старанием принялся писать саму историю. Не помню точно, но мне кажется, я не пошел дальше чрезвычайно детального описания жестокой скуки, которая терзала в Эдеме Адама и Еву, и того, как от этой самой скуки они впали в смертный грех. Затем, соскучившись, в свою очередь, от своего проекта, я забросил дело, так и не пойдя дальше.

Надо сказать, что в период между десятью и двадцатью годами я страдал от скуки больше, чем в любую другую пору своей жизни. Я родился в 1920-м, и значит, моя юность прошла под черным знаком фашизма, то есть того политического режима, который возвел некоммуникабельность в систему: некоммуникабельность определяла отношения диктатора с массами, отдельных граждан между собою и их же отношения с диктатором. Скука, которая есть отсутствие каких-либо связей между человеком и окружающим его миром, во времена фашизма была растворена в самом воздухе, которым мы дышали; а к этой, социальной, скуке следует добавить еще скуку неосознанной и безотлагательной сексуальной потребности, которая, как обычно бывает в этом возрасте, мешала мне вступать в подлинно человеческие отношения с теми самыми женщинами, в чьем обществе, мне казалось, я развеиваю свою скуку. Однако эта же скука спасла меня от участия в гражданской войне, которая вскоре разразилась в Италии и опустошала ее в течение двух лет; вот как это было: я служил в дивизии, дислоцировавшейся в Риме; как только объявили перемирие, я снял форму и вернулся домой. Затем всем военнослужащим было приказано — под страхом смертной казни — возвратиться в ряды армии. Мать, с характерным для нее почтительным отношением к властям, которых в ту пору было две — немецкая и фашистская, советовала мне надеть мундир и вернуться в строй. Она желала меня спасти, но на самом деле толкала на путь депортации, что, вполне вероятно, повлекло бы за собой гибель в нацистском концлагере, как это и случилось со многими моими товарищами по военной службе. И именно скука и только скука, то есть внутренняя невозможность уловить какую-либо связь между мною и этим приказом, мною и военной формой, мною и фашистами, скука, от которой я мучился двадцать лет, ибо она делала в моих глазах просто-напросто несуществующими обе великие империи — и империю ликторского пучка, и империю свастики [1],— эта скука на этот раз меня спасла. Не послушавшись уговоров матери, я укрылся в деревне, на вилле одного моего приятеля, и просидел там всю гражданскую войну, занимаясь живописью,— способ убивать время не хуже всякого другого. Так я стал художником или, точнее сказать, поддался иллюзии, будто посредством художественного выражения смогу раз и навсегда установить связь между собой и окружающей меня реальностью. Я действительно испытал поначалу некоторое облегчение, вызванное энтузиазмом, с которым я приступил к работе, и даже почти убедил себя в том, что моя скука была скукой художника, который просто не догадывался о том, что он художник. Я ошибся, но в течение какого-то времени мне казалось, что я нашел способ излечения.

В конце войны я вернулся к матери, которая за это время успела купить большую виллу на Аппиевой дороге. Как я уже говорил, мне казалось, что занятия живописью

[1] То есть — фашистскую Италию и нацистскую Германию *(здесь и далее примечания переводчика)*.

окончательно развеют мою скуку, но вскоре я убедился, что это не так. Несмотря на живопись, я снова начал скучать; больше того, так как скука автоматически прерывала мои занятия живописью, я наконец смог составить точное представление об интенсивности и частоте приступов этой болезни, куда более точное, нежели в ту пору, когда я еще не рисовал. Когда проблема скуки предстала передо мной во всей своей неизменности, я начал спрашивать себя, какие же у нее могли быть причины, и методом исключения пришел к выводу, что скучал я оттого, что был богат, и что будь я беден, я бы, по-видимому, не скучал. Эта мысль вырисовывалась в моем сознании не с такой ясностью, как сейчас, когда она предстает написанной на бумаге; тогда это была не столько мысль, сколько подозрение, правда, принявшее вскоре почти маниакальный характер: мне казалось, что между моею скукой и моими деньгами существует несомненная, хотя и не явная связь. Я не хочу останавливаться слишком долго на этом достаточно неприятном периоде моей жизни. Так как я снова начал скучать,— а когда я скучал, я бросал живопись,— я от всей души возненавидел нашу виллу и роскошь, которая меня там окружала; возлагая именно на них вину за одолевавшую меня скуку, которая лишала меня возможности рисовать, я стал страстно мечтать оттуда уехать. Но так как речь шла — как я уже говорил — всего лишь о подозрении, я не решился прямо сказать матери то единственное, что, в сущности, должен был сказать: я не хочу жить у тебя, потому что ты богата, а богатство нагоняет на меня скуку, а скука мешает мне рисовать. Однако я инстинктивно вел себя так, чтобы, потеряв терпение, мать сама приняла решение о моем отъезде.

Я вспоминаю тот период моей жизни как время вечных споров, бесконечных размолвок, ожесточенной вражды, почти болезненной неприязни. Никогда я не вел себя с матерью так ужасно, как в ту пору, и таким образом к испытываемой мною скуке примешивалась еще и смутная жалость к той, которая никак не могла понять причин моей грубости. Но больше всего я страдал от чего-то вроде паралича, поразившего меня в те дни и сделавшего немым, апатичным, упрямым; мне казалось, что я заживо замурован внутри самого себя, как внутри наглухо запертой душной тюрьмы.

Моя жизнь на материнской вилле и вызываемое этой жизнью душевное состояние, вероятно, продлились бы много дольше, если бы, на мое счастье, мать не решила бы, что узнает в моей скуке чувство, подобное тому, которое однажды уже испортило ее отношения с моим отцом. И тут, по-видимому, надо хотя бы коротко рассказать и о нем, то есть том человеке, который прошел по дороге скуки раньше меня.

Так вот, насколько мне удалось выяснить, отец мой был прирожденным бродягой, одним из тех людей, которые, сидя дома, постепенно перестают разговаривать, теряют аппетит и вообще отказываются жить (так некоторые птицы не могут жить в клетке), но, очутившись на палубе корабля или в купе поезда, сразу обретают свойственную им жизнерадостность.

Он был высокий, атлетически сложенный, белокурый — как я; но я некрасив, потому что рано полысел, и лицо у меня чаще всего тусклое и мрачное, отец же был именно красив, если верить дифирамбам матери, которая в свое время женила его на себе насильно, несмотря на то, что он не переставал твердить, что не любит ее и непременно от нее уйдет.

В сущности, я его совсем не знал, потому что он вечно где-то путешествовал; последний раз, когда я его видел, волосы у него были уже почти совсем седые, а все еще молодое лицо изрезано тонкими глубокими морщинами; тем не менее он продолжал носить легкомысленные галстуки бабочкой и клетчатые костюмы времен его молодости. Он приезжал и тут же уезжал, вернее, убегал от моей матери, с которой ему было скучно; потом возвращался, вероятно, затем, чтобы раздобыть денег для нового побега, потому что у самого у него не было ни гроша, хотя и считалось, что он занимается «экспортом-импортом». В конце концов однажды он не вернулся. Сильный порыв ветра перевернул в одном из внутренних морей Японии паром с сотней пассажиров, и отец оказался в числе утонувших. Что делал он в Японии, был ли он там в связи с «экспортом-импортом» или занимался чем-то еще, я так никогда и не узнал. По мнению матери, которая любит научные и наукообразные определения, у отца была «дромомания», то есть страсть к перемене мест. Может быть, этой мании, объясняла она, словно размышляя вслух, был обязан он и своею страстью к маркам, этим крохотным ярким свидетельствам многообразия и обширности мира; отец собрал прекрасную коллекцию, которую она продолжала хранить, тем более что география была единственным предметом, который она хорошо изучила в школе. Мне казалось, что мать рассматривает «дромоманию» отца как сугубо индивидуальную и малосущественную особенность; меня же именно эта особенность заставляла испытывать поистине братское сочувствие к его патетической, почти стершейся и чем дальше, тем больше стиравшейся из памяти фигуре, в которой, мне казалось, я различал, во всяком случае в сфере отношений с матерью, черты некоторого сходства с собою. Но, как понял я позднее, сходство было чисто внешним: отец действительно страдал от скуки, но избавлялся от нее в счастливом бродяжничестве, переезжая из страны в страну; иными словами, его скука была самой обычной скукой, которая проходит от новых и необычных ощущений. Да и в самом деле, достаточно сказать, что отец верил в мир, во всяком случае географический, в то время как я не мог поверить даже в существование бокала.



Однако мать не пожелала углубляться во все эти тонкости и решила, что без сомнения узнаёт в моей скуке то легко излечимое уныние, которое когда-то осложнило ее отношения с мужем. «К сожалению, от отца ты взял больше, чем от меня,— твердо сказала она мне как-то однажды.— А я знаю, что, когда на вас это находит, лучшее средство — отослать вас подальше. Так что уходи, уезжай куда угодно, а когда все пройдет, возвращайся».

Я сразу же с облегчением ей ответил, что в мои намерения вовсе не входило куда-нибудь уезжать: путешествия меня совершенно не интересовали. Мне просто хотелось уйти из дому и зажить самостоятельно. Мать возразила, что это глупо — жить отдельно, когда в моем распоряжении роскошная вилла, в которой я к тому же могу делать все, что захочу. Но я уже решил воспользоваться подвернувшимся случаем и резко ответил, что уйду прямо завтра, ни на минуту не задержавшись. Таким образом, мать поняла, что это серьезно. И ограничилась лишь тем, что с горечью ко всему привыкшего человека заметила, что даже в тоне моего ответа она узнает отца; так что ладно, пусть я делаю, что хочу, и живу там, где вздумается.

Оставалось решить денежный вопрос. Как я уже говорил, мы были богаты, и до сих пор я пользовался своего рода неограниченным кредитом: когда мне нужны были деньги, я брал их со счета матери. Однако мать, полагая, что повторяет со мной опыт, уже проделанный с отцом, которому она давала денег достаточно для того, чтобы он мог уехать, но недостаточно для того, чтобы остаться вдали от нее навсегда, сухо ответила, что с этой минуты она определит мне месячное содержание. Я ответил, что о лучшем и не мечтаю; а когда она, скрывая неловкость за раздражением, назвала сумму, которую собиралась мне назначить, я тут же сказал, что готов удовольствоваться и половиной. Мать, видимо, приготовившаяся к спорам того рода, что бывали у нее с отцом, которому всегда было мало, очень удивилась моему неожиданному бескорыстию. «Но, Дино, на такие деньги невозможно прожить!» — невольно воскликнула она. Я ответил, что это мое дело, и, чтобы не изображать из себя аскета, добавил, что надеюсь вскоре начать зарабатывать живописью. Мне показалось, что мать взглянула на меня с сомнением: я знал, что она не верит в мои способности как художника. Несколько дней спустя я нашел студию на улице Маргутта и переехал туда со всем своим имуществом.

Как и следовало ожидать, перемена местожительства ничего не изменила в моем душевном состоянии. Как только прошло первое облегчение, которое обычно следует за всякой переменой, меня, как и прежде, стала периодически одолевать скука. Я сказал «как и следовало ожидать», потому что, конечно же, можно было предвидеть, что скука не рассеется только оттого, что я переменил квартиру: ведь, не говоря об остальном, я мог считать себя богатым не только потому, что обитал на Аппиевой дороге, но и потому, что располагал определенной суммой денег. То, что я не желал ими пользоваться, дела не меняло: многие богачи, если они скупы, тратят лишь крохотную часть своих доходов и живут бедно, однако никому не придет в голову считать их из-за этого бедняками.

Таким образом, первая моя идея, вернее, сделавшаяся навязчивой мыслью догадка о том, что скука и связанное с нею творческое бессилие объясняются жизнью в доме матери, постепенно сменилась другой, еще более навязчивой: отказаться от собственного богатства попросту невозможно; быть богатым — это то же, что иметь голубые глаза и орлиный нос; тончайшими нитями богач связан со своими деньгами, которые окрашивают в цвет денег даже его решение ими не пользоваться. И в самом деле, ведь я не мог даже отнести себя к категории бедняков, которые когда-то были богаты: я был богач, который лишь притворяется бедным перед собою и перед людьми.

То, что дело обстоит именно так, я доказывал себе следующим образом: «Что делает настоящий бедняк, когда у него нет денег? Умирает с голоду. Что делаю в таком случае я? Иду просить помощи у матери. И даже если не иду, все равно меня нельзя считать бедным — разве что сумасшедшим». К тому же, продолжал я, в моем случае нет даже ничего особенного. Это самый заурядный случай: ведь я не отказывался от материнских денег, я только ограничивал себя самым необходимым. По отношению к настоящим беднякам я находился в том заведомо нечестном привилегированном положении, в котором находится богатый игрок по отношению к игроку бедному: первый может проигрываться до бесконечности, второй — нет. Но главное, первый может действительно «играть», то есть развлекаться, в то время как второй должен непременно стремиться выиграть.

Трудно пересказать, что я испытал, обдумывая все эти вещи. Я чувствовал себя жертвой каких-то низких козней, против которых ничего не мог предпринять, потому что не знал, ни где, ни когда напущена на меня эта порча. Иногда я вспоминал евангельское изречение: «Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому попасть в царствие небесное» и спрашивал себя, что же все-таки значит быть богатым. Богатый — это тот, у кого много денег? Или тот, кто родился в богатой семье? Или тот, кто всю жизнь прожил и продолжает жить в обществе, ставящем богатство выше всего на свете? Или тот, кто считает, что самое главное в жизни — это богатство, и при этом неважно, хочет ли он разбогатеть или сожалеет о том, что богат? Или, как в моем случае, богач — это тот, кто, будучи богатым, не хочет им быть? Чем больше я над этим раздумывал, тем труднее мне было определить точный смысл положения и предназначения человека, которого можно

назвать богатым. Разумеется, всего этого не было бы, если бы я сумел избавиться от своей исходной навязчивой мысли, будто испытываемая мною скука ведет свое происхождение от богатства, а творческое бессилие — от скуки. Но все наши мысли, даже самые рациональные из них, уходят в темную глубину чувства. А от чувства избавиться не так легко, как от мыслей: мысли приходят и уходят, чувства остаются.

Вы, конечно, можете мне на это сказать, что все дело в том, что я был плохим художником, хотя и (редкий случай) сознающим свое ничтожество. Это верно, но это не все. Разумеется, я был плохим художником, но не потому, что не умел писать картины, которые нравились бы людям, а потому, что чувствовал — мои картины не выражают меня, то есть не дают мне ощущения связи с окружающим миром. А ведь рисовать-то я, между прочим, начал именно для того, чтобы развеять скуку. И если я продолжал скучать, стоило ли продолжать рисовать?

Если не ошибаюсь, от матери я съехал в марте 1947 года; и вот прошло более десяти лет, и я, уничтожив свою последнюю картину, решил бросить живопись. И сразу же скука, которую занятия живописью хоть как-то сдерживали, навалилась на меня с неслыханной силой. Я уже говорил, что скука — это прежде всего потеря связи с окружающим миром: так вот, в эти дни мне не хватало связи не только с миром, но и самим собой. Я понимаю, что все это вещи трудно объяснимые, и попытаюсь прибегнуть к помощи сравнения: в течение всего того времени, которое последовало за решением бросить живопись, я был для самого себя чем-то вроде несносного попутчика, которого путешественник неожиданно обнаруживает в своем купе в самом начале длинного пути. Купе старого типа, то есть не сообщающееся с другими, поезд остановится только на конечной станции, и, следовательно, наш путешественник вынужден терпеть общество ненавистного соседа до самого конца. Ну а если отбросить сравнения, то можно сказать так: скука, пусть даже слегка смягченная занятиями живописью, изглодала мою жизнь до такой степени, что не оставила во мне живого места. И стоило мне бросить живопись, как я незаметно для себя превратился в развалину, в какой-то жалкий бесформенный обрубок. Теперь, как я уже говорил, главным в моей скуке стало ощущение полной невозможности наладить связь с самим собой, а между тем я как раз и был тем единственным в мире человеком, избавиться от которого не мог никакими силами.

Я стал в ту пору ужасно нетерпелив. Что бы я ни делал, все мне не нравилось или казалось не заслуживающим внимания; с другой стороны, я не представлял себе, что́ могло бы мне понравиться или, по крайней мере, хоть ненадолго меня занять. Я только и делал, что приходил в студию и тут же уходил под любым ничтожным предлогом, какой только мог придумать, чтобы оправдать свой уход: пойти за сигаретами, которые были мне не нужны, или выпить кофе, которого мне совсем не хотелось, или купить газету, которая меня не интересовала, сходить на выставку, которая не вызывала у меня никакого любопытства. С другой стороны, я чувствовал, что все эти предлоги есть не что иное, как отчаянная попытка смены личин, которыми прикрывалась моя скука, так что иной раз я даже не доводил начатое до конца, и вместо того чтобы купить газету, или выпить кофе, или сходить на выставку, я, сделав несколько шагов, возвращался в ту самую студию, откуда с такой поспешностью вышел минуту назад. Но и в студии, разумеется, меня поджидала скука, и все начиналось сызнова.

Я брал книгу — у меня была маленькая библиотека, я всегда был усердным читателем,— но она очень скоро выпадала у меня из рук: романы, статьи, пьесы — вся литература мира сводилась в конце концов к одной-единственной странице, которая не в силах была удержать моего внимания. Да и почему она была обязана его удержать? Слова — это символы вещей, а именно с вещами у меня рвалась всякая связь в минуты скуки. Я откладывал книгу или в припадке ярости швырял ее в угол и призывал на помощь музыку. У меня был прекрасный проигрыватель, подарок матери, и сотни пластинок. Но кто сказал, что музыка непременно должна «действовать», то есть что она способна заставить себя слушать даже самого рассеянного человека? Тот, кто так сказал, был неточен. Потому что мои уши отказывались не только слышать, но и слушать. И потом, в тот самый миг, когда я выбирал пластинку, меня парализовала мысль: какой же должна быть музыка, чтобы ее можно было услышать даже в те минуты, когда тебя одолевает скука? Кончалось тем, что я выключал проигрыватель, бросался на диван и начинал думать о том, что́ бы мне еще сделать.

Больше всего меня поражало, что я не хотел делать решительно ничего, страстно при этом желая сделать хоть что-нибудь. Все, что я собирался сделать, тут же представало передо мною — как сиамский близнец с братом — в паре со своею противоположностью, которая отвращала меня в той же степени. В результате я чувствовал, что мне не хотелось видеть людей, но и не хотелось оставаться в одиночестве; не хотелось сидеть дома, но и не хотелось выходить; не хотелось путешествовать, но и не хотелось продолжать жить в Риме; не хотелось рисовать, но и не рисовать тоже не хотелось; не хотелось бодрствовать и не хотелось спать; не хотелось заниматься любовью, но и отказываться от нее тоже не хотелось и так далее. Я говорю «чувствовал», но точнее было бы сказать, что я чувствовал это с отвращением, омерзением, ужасом.



Время от времени среди приступов скуки я спрашивал себя — а может быть, я просто хочу умереть? Это был резонный вопрос, раз уж мне так не нравилось жить. Но и тогда я с изумлением замечал, что, хотя мне и не нравилось жить, я не хотел также и умирать. То есть принцип альтернативных пар, которые, как в каком-то мрачном балете, дефилировали перед моим внутренним взором, продолжал действовать даже в ситуации крайнего выбора — между жизнью и смертью. В действительности же, думал я иногда, мне не столько хотелось умереть, сколько не хотелось продолжать жить так, как я жил до сих пор.

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

Переехав на улицу Маргутта, я сумел побороть то необъяснимое, почти суеверное отвращение, которое внушала мне вилла на Аппиевой дороге, и установил довольно регулярные отношения с матерью. Я ходил к ней раз в неделю, завтракать, так как это было то время дня, когда я мог быть уверен, что застану ее одну; я сидел у нее часа два, слушая обычные ее рассуждения, которые знал наизусть и которые касались двух предметов, единственно ее занимавших: ботаники, то есть цветов и плодов, которые она выращивала в своем саду, и денежных дел, которым она посвящала все свое время с тех пор, как вступила в сознательный возраст. Разумеется, матери хотелось, чтобы я навещал ее чаще и в другое время, тогда, например, когда она принимала друзей или принадлежащих к ее кругу людей из общества, но после того, как я раза два твердо отклонил ее приглашение, она, по-видимому, смирилась с редкостью моих посещений. Разумеется, смирение это было вынужденым и могло исчезнуть при первом же представившемся случае. «Когда-нибудь ты поймешь,— частенько замечала мать, говоря о себе в третьем лице, что у нее всегда было верным признаком чувства слишком живого для того, чтобы она желала его скрыть,— когда-нибудь ты поймешь, что твоя мать не из тех женщин, которым наносят визиты по долгу вежливости, и что твой настоящий дом здесь, а не на улице Маргутта».

В один из таких дней, вскоре после того как я бросил рисовать, я отправился к матери на обычный свой еженедельный завтрак. Хотя, если сказать правду, завтрак был не совсем обычный; на этот день приходился мой день рождения, и мать, боясь, что я позабуду, напомнила мне об этом уже утром, поздравив по телефону в характерной для нее забавной манере — казенной и церемонной: «Сегодня тебе исполняется тридцать пять. Поздравляю и от души желаю счастья и успехов». И тут же сказала, что приготовила для меня сюрприз.

Итак, где-то около полудня я сел в свой старый расхлябанный автомобиль и двинулся в путь через весь город, как всегда с чувством неловкости и внутреннего протеста, которое нарастало по мере того, как я приближался к цели. Со все усиливающейся душевной тревогой я выехал наконец на Аппиеву дорогу, окаймленную на всем ее протяжении зелеными лужайками, кипарисами, пиниями и руинами кирпичных зданий. Ворота парка, в котором стояла вилла матери, находились примерно на середине дороги, по правую руку, и я, как всегда, поискал их глазами, как будто надеялся, что они каким-то чудом исчезли и я могу спокойно продолжать ехать дальше, до самого Кастелли, а потом вернуться в Рим, в свою студию. Но нет, вот они, распахнутые специально для меня, специально для того, чтобы остановить и затянуть меня внутрь, когда я буду проезжать мимо. Я сбросил скорость, резко повернул и, ощущая глухое и мягкое подпрыгивание колес на гравии, въехал в кипарисовую аллею. Незаметный подъем вел к вилле, которая виднелась в глубине, и, глядя на маленькие черные кипарисы, на их крутые пыльные завитки, на невысокий розовый дом, словно прикорнувший под небом, затянутым серыми перистыми облаками, похожими на комки грязной ваты, я снова ощутил в душе тот тоскливый ужас, который чувствовал всегда, направляясь на свиданье с матерью. Подобный ужас испытывает, наверное, человек, собирающийся совершить что-то противоестественное; словно, въезжая в эту аллею, я возвращался в лоно, которое произвело меня на свет. Я попытался подавить в себе это неприятное ощущение возвращения вспять и изо всей силы нажал на клаксон, сообщая о своем прибытии. Затем, описав на гравии полукруг, остановил машину на подъездной площадке и вышел. Почти сразу же дверь первого этажа отворилась, и на пороге появилась горничная.

Я никогда прежде ее не видел; мать, которая упорно нанимала для нашего огромного дома прислугу, которой едва хватило бы на пятикомнатную квартиру, была часто вынуждена ее менять. Горничная была высокая, с широкими мощными бедрами, огромным бюстом и странными, то ли слишком коротко, то ли просто плохо подстриженными волосами (такие волосы бывают у заключенных или выздоравливающих после тяжелой болезни), с бледным веснушчатым лицом, которое из-за огромных очков в черной оправе, полностью скрывавших глаза, выглядело угрюмым. Еще я отметил рот, похожий на раздавленный цветок бледно-розовой герани. Я спросил, где мать, а она в свою очередь спросила у меня, очень мягко: «Вы синьор Дино?»

— Да.

— Синьора в саду, около парников.

Я направился туда, не преминув по дороге бросить любопытствующий взгляд на машину, которая стояла на площадке перед домом рядом с моей. Спортивная, низкая, мощная, с откидным верхом, металлически-синего цвета. Значит, мать пригласила к завтраку кого-то еще? Размышляя об этой вероятной неприятности, я обошел виллу кругом по идущему вдоль стен кирпичному тротуару, осененному деревцами лавра и каменными дубами, и оказался с другой стороны. Отсюда начинался обширный парк в итальянском стиле — с клумбами в форме треугольника, квадрата, круга, с деревьями, подстриженными то в форме шара, то пирамиды, то сахарной головы, с бесчисленными гравийными аллеями, окаймленными самшитом. Самая широкая аллея, крытая сверху белой металлической перголой, по которой вилась виноградная лоза, делила парк на две части; аллея начиналась от дома и шла до конца участка, где уже у самой ограды поблескивали стекла многочисленных парников. Как раз на полпути между виллой и парниками, под перголой, я увидел спину идущей впереди матери. Почему-то я ее не окликнул, а пошел следом, внимательно ее разглядывая.

Она шла медленно, очень медленно, как человек, который, глядя вокруг, наслаждается тем, что видит, и старается продлить это приятное созерцание. На матери был темно-синий костюм с очень узким в талии и широким в плечах жакетом и узкой, как футляр, юбкой. Она всегда одевалась так, в прилегающие костюмы и платья, которые делали ее маленькую рахитичную фигурку еще более сухой, прямой и негнущейся. У нее была длинная неровная шея, большая голова, а белокурые тусклые волосы всегда тщательно завиты и уложены. Даже издали я прекрасно видел каждую жемчужину ожерелья на ее шее — так они были велики. Мать любила броские украшения: массивные кольца, которые свободно болтались на ее худых пальцах; огромные браслеты с амулетами и подвесками, которые, казалось, вот-вот соскользнут с тощих запястий; булавки, слишком роскошные для ее иссохшей груди; серьги, чересчур крупные для некрасивых хрящеватых ушей. С чувством привычной досады я в очередной раз отметил, какими огромными кажутся на ней туфли и сумка, которую она держала под мышкой. Наконец, собравшись с духом, я окликнул ее: «Мама!»

С характерной для нее подозрительностью она резко. словно почувствовав на плече чью-то руку, остановилась и, не поворачиваясь, повернула на оклик голову. Я увидел худое лицо с запавшими щеками, иссохшим ртом, длинным узким носом и стеклянными голубыми глазами, которые смотрели на меня через плечо. Потом она улыбнулась и, повернувшись, пошла мне навстречу, опустив голову и глядя в землю и произнося, словно бы по обязанности, традиционную фразу: «Добрый день и еще сотню таких дней». И хотя она вкладывала в эту фразу самые искренние чувства, я не мог не отметить, что голос ее, как всегда, звучал сухо и резко, как у вороны. Подойдя ко мне, она повторила: «Еще сотню таких дней, ну поцелуй же меня», и тогда я наклонился и чмокнул ее в щеку. Уже вдвоем мы пошли по аллее дальше. Первым делом мать сказала, указав на виноград, который вился по прутьям перголы: «Знаешь, на что я смотрю? На виноград. Взгляни-ка!» Я поднял глаза и увидел, что почти все гроздья — одни больше, другие меньше — выглядели так, словно кто-то их высосал.

«Это ящерицы»,— сказала мать тем странно-доверительным, сердечным и в то же время рассудительным тоном, каким она всегда говорила о своих растениях. «Эти аверюшки поднимаются по прутьям наверх и едят мой виноград. И тем самым губят мне перголу, потому что черные гроздья среди зеленых листьев выглядят замечательно, но если они наполовину высосаны — эффект уже не тот».

Я сказал что-то о потолке одного римского дворца, расписанном Цуккари, где был как раз использован мотив золотой перголы с черными гроздьями и зелеными листьями, а мать продолжала: «А вчера вдруг, уж не знаю как, в сад пробралась курица. Одна из этих ящерок как раз была наверху, сосала мой виноград и вдруг свалилась вниз. Так вот, она еще не успела долететь до земли, как ее подхватила курица и буквально всосала ее в себя. Буквально — всосала».

«Раз так,— сказал я,— заводи кур. Они будут поедать ящериц, и те, будучи съедены сами, уже не смогут поедать твой виноград».

«Ради бога! Куры кроме ящериц уничтожат вообще все, что тут есть. Уж лучше держать ящериц».

Тем временем мы прошли под перголой до самой ограды и прохаживались теперь вдоль парников. Мать то наклонялась, чтобы взять на ладонь, удерживая между двумя пальцами, венчик цветка, расцветшего этой ночью, то буквально замирала с остекленевшим взглядом перед глиняным горшком, из которого свисал до самой земли какой-то толстый мохнатый стебель, так похожий на змею, что казалось странным, что он не шипит; то в сухой поучительной манере сообщала мне какие-то сведения из области ботаники, почерпнутые ею из бесед с двумя нашими терпеливыми — так как очень хорошо оплачиваемыми — садовниками, к которым она приставала со своими разговорами все время, пока они работали в саду. Как я уже говорил, любовь к цветам и растениям была единственной поэзией ее жизни, которая во всем остальном была сплошной прозой. Разумеется, она любила меня — по-своему, а приумножением нашего состояния занималась



с неподдельной страстью, но как в делах, так и в отношениях со мной на первое место всегда выступала ее властная, грубая, корыстная и подозрительная натура. В то время как цветы и прочие растения она любила бескорыстно, с полным самозабвением и безо всякого расчета. Ну а отец, какой любовью она любила отца? И мне тут же, как всегда, пришла в голову мысль, что по крайней мере в одном мы с отцом сходились: нам обоим не хотелось жить рядом с нею. И я вдруг, безо всякого перехода спросил:

— А кстати, можно узнать, почему отец всегда от тебя убегал?

Я увидел, что она поморщилась — так она делала всегда, когда я заговаривал с нею об отце: «А почему „кстати"?»

— Неважно, ты ответь на вопрос.

— Твой отец никогда от меня не убегал,— ответила она с холодным достоинством, мгновенье помедлив,— он просто любил путешествовать. Посмотри-ка на эти розы, правда красивые?

Но я продолжал настаивать не допускающим возражений тоном:

— Я хочу, чтобы ты рассказала мне об отце. Если он убегал не от тебя, почему ты не путешествовала вместе с ним?

— Прежде всего, кто-то должен был оставаться в Риме, чтобы блюсти наши интересы.

— Ты хочешь сказать «твои интересы»?

— Интересы нашей семьи. А потом, мне не нравилось, как он путешествовал. Я люблю путешествовать с удобствами. Поехать куда-нибудь, где хорошие гостиницы, где живут люди, которых я знаю. Например, в Лондон, в Париж, в Вену. А он потащил бы меня куда-нибудь в Афганистан или Боливию. Терпеть не могу неудобств и не выношу экзотических стран.

Но я стоял на своем:

— Почему же он все-таки убегал из дому или, как ты говоришь, путешествовал? Почему он не хотел оставаться с тобой?

— Потому что он не любил сидеть дома.

— Почему он не любил сидеть дома? Ему что, было скучно?

— Меня это никогда не интересовало. Знаю только, что у него вдруг портилось настроение, он переставал разговаривать, не выходил из дому. Кончалось тем, что я сама давала ему деньги и говорила: «Бери и езжай куда хочешь».

— А тебе не кажется, что, если бы он тебя любил, он бы сидел дома?

— Да, наверное,— ответила она спокойно своим неприятным каркающим голосом, в котором, казалось, звучало удовлетворение, оттого что произносит он чистую правду.— Но он меня не любил. Ведь это я захотела, чтобы он на мне женился. По своей воле он, вероятно, никогда бы этого не сделал.

— Он был беден, да? А ты богата.

— Да, у него не было буквально ни гроша. Он, правда, был из хорошей семьи. Но это все.

— А ты не думаешь, что для него это был брак по расчету?

— О нет, твой отец не был корыстен. В этом отношении он был как ты. Он всегда нуждался, но не придавал деньгам никакого значения.

— Знаешь, почему я расспрашиваю тебя об отце?

— Честно говоря, нет.

— Мне вдруг пришло в голову, что в одном отношении мы с ним похожи. Я ведь тоже временами от тебя убегаю.

Я увидел, что она наклонилась и маленькими ножницами, которых я до того не заметил, аккуратно срезала какой-то красный цветок. Потом распрямилась и спросила: «Как подвигается твоя работа?»

При этом вопросе у меня словно петлей стянуло горло, и я почувствовал, как от меня как будто кругами пошло, заполоняя все вокруг, серое ледяное уныние: так бывает, когда на солнце наползет туча и скроет от него землю. Но я все-таки ответил, хотя голос мой звучал сдавленно: «Я больше не рисую».

— Что значит не рисуешь?

— Я решил бросить живопись.

Матери никогда не нравились мои занятия живописью прежде всего потому, что она ничего в ней не смыслила, хотя и не любила в этом признаваться и слышать, как ей говорят об этом; кроме того, она думала — и, может быть, была не так уж неправа,— что живопись отдаляет меня от нее. Однако я лишний раз восхитился ее самообладанием. Другая на ее месте выразила бы по крайней мере удовлетворение. Она же приняла новость совершенно равнодушно. «А почему? — спросила она, мгновенье помедлив, тоном праздного, вежливого, как бы светского любопытства.— Почему ты вдруг решил бросить живопись?»

В этот момент мы уже почти подошли к дому: из кухни доносился запах какого-то замечательного кушанья. Я чувствовал, что мое отчаяние не только не уменьшается, но растет, хотя я и твердил себе как только мог яростно: «Сейчас пройдет, сейчас все пройдет». И тут вдруг в моей памяти всплыло одно воспоминание: мне пять лет, и я, отчаянно

плача, бегу с кровоточащей коленкой вверх по аллее не этого, а другого сада и, добежав, в отчаянии бросаюсь на грудь матери; она же, наклонившись надо мной, говорит своим резким каркающим голосом: «Погоди, не плачь, покажи, что там у тебя; не плачь, разве ты не знаешь, что мужчины не плачут?» Я взглянул на мать, и мне показалось, что впервые за много лет я испытываю к ней чувство любви. И, отвечая на ее вопрос, я сказал: «Да так»,— самое короткое, что мог придумать, потому что стыдился своего отчаяния и не хотел, чтобы она его заметила.

Однако я сразу же понял, что «да так» не помогло, отчаяние не проходило, я чувствовал его кожей и волосами, весь мир вокруг меня как будто увял и лишился цвета. А потом, втянув ноздрями запах того прекрасного кушанья, который донес до меня легкий порыв ветра, я вдруг ощутил страстное желание броситься матери на шею, чтобы она утешила меня в моем горе с живописью, как утешила она меня пятилетнего, когда я разбил коленку. И я вдруг сказал неожиданно для себя самого: «Да, кстати, забыл сказать, я бросаю студию, которая мне теперь не нужна, и возвращаюсь сюда, к тебе». На мгновенье я замолчал, сам пораженный этими словами, которые вовсе не собирался произносить и которые вдруг вырвались сами, сам не знаю как. Потом, поняв, что отступать некуда, с усилием добавил: «Разумеется, если ты по-прежнему этого хочешь».

Несмотря на изумление, в которое повергло меня мое собственное предложение, я не мог еще раз не восхититься умением матери скрывать свои чувства: на своем светском языке она называла это умение — «держать форму». Я сказал ей сейчас то, чего она ожидала долгие годы, может быть, единственное, что могло доставить ей радость, и вот пожалуйста — ни один мускул не дрогнул в ее сухом, словно бы одеревеневшем лице, ничто не отразилось в ее стеклянных глазах. Медленно, голосом, который звучал более чем когда-либо неприятно, с интонацией светской дамы, которая обменивается в гостиной комплиментами с совершенно безразличным ей человеком, она сказала: «Как я могу не хотеть! В этом доме тебя всегда примут с распростертыми объятиями. Когда ты переедешь?»

— Сегодня вечером или завтра утром.

— Тогда лучше завтра утром, у меня будет время приготовить твою комнату.

— Договорились, завтра утром.

После этих слов мы некоторое время молчали. Я пытался понять, что произошло, уж не было ли моим истинным предназначением сидеть с матерью дома, мириться со скукой, заботиться о нашем фамильном состоянии и быть богатым. По-видимому, и мать тоже уже пережила момент изумления и радости по поводу неожиданной победы и теперь, судя по напряженному выражению сухого неподвижного лица, думала о том, как получше организовать эту победу, то есть планировала свое и мое будущее.

В конце концов она сказала безо всякого выражения: «Не знаю, нарочно ли ты так подгадал, но в общем это добрый знак. Сегодня твой праздник, и именно сегодня ты решил вернуться домой. Утром я уже говорила, что у меня есть для тебя сюрприз: будем считать, что я сделала его в связи с обоими событиями».

Я спросил без особого любопытства: «Какой сюрприз?»

— Пойдем, я тебе его покажу.

— Как бы то ни было,— сказал я раздраженно,— веселиться сегодня можно только по одному из двух поводов: по поводу моего возвращения домой. Вот это и есть праздник.

Почувствовала ли мать сарказм в моих словах? Или не почувствовала? Во всяком случае, она ничего не сказала. Она шла впереди меня, обходя дом по тротуару, пока мы не оказались на подъездной площадке. Там она решительными шагами подошла к красивой спортивной машине, которая стояла рядом с моей, остановилась и положила руку на капот — совсем как те девушки, которые фотографируются на рекламах автомобильных фирм. «Ты как-то сказал, что хотел бы иметь быстроходную машину. Сначала я было подумала купить тебе гоночную, но они такие опасные, и тогда остановилась вот на этой. Агент фирмы сказал, что это последняя модель, выпущенная несколько месяцев назад. Она делает больше двухсот километров в час».

Я медленно подошел, спрашивая себя, сколько же может стоить автомобиль, который мать решила мне подарить: три миллиона, четыре? Машина была иностранной марки, исполнена в варианте «люкс», я знал, что автомобили этого типа стоят чрезвычайно дорого. А мать тем временем продолжала рассказывать мне о машине все тем же отвлеченно-любознательным, с оттенком сердечности, тоном, каким она говорила обычно о цветах своего сада. «Больше всего мне понравилось вот это,— сказала она, указывая на приборную доску, которая была вся черная, и никелированные кнопки и рычаги сверкали на этом черном фоне, как бриллианты на черном бархате ювелирной витрины.— А потом, мне нравится, что она надежна, как пара прочных башмаков ручной работы, предназначенных специально для дальних прогулок. Надежность, которая внушает доверие. Хочешь проехаться? Мы еще можем сделать небольшой круг до завтрака. У нас есть пара минут, но не больше — на сегодня у меня заказано блюдо, которое не должно перестаиваться».

Я пробормотал, тупо глядя на машину: «Если хочешь — пожалуйста».

— Да, давай-ка попробуем, ведь надо еще подтвердить агенту, что мы ее покупаем.



Ни слова не говоря, я открыл дверцу и сел за руль. Мать села рядом и, пока я запускал двигатель и включал передачу, продолжала снабжать меня информацией о машине, говоря все тем же доверительно-поучительным тоном. «У нее откидной верх. Но агент говорит, что зимой сюда не проникает ни малейшего дуновения ветерка. Впрочем, отопление тоже есть. А летом ты можешь ехать с поднятым верхом, так ведь приятнее».

— Да, разумеется, приятнее.

— А цвет тебе нравится? Мне показалось, очень красивый, я даже не захотела смотреть другие. Агент сказал, что металлизация эмали процедура дорогостоящая, но зато — как элегантно!

— Но очень непрочно,— не удержался я.

— Если эмаль обдерется, ее можно перекрыть.

Машина взревела, именно так, как ревут гоночные, я развернулся на площадке и быстро понесся по въездной аллее. Автомобиль был мощным и в то же время послушным, я чувствовал, как он буквально уходит из-под меня при малейшем нажатии на акселератор. Мы выехали из ворот, и я тут же вспомнил свое недавнее ощущение, когда, подъезжая сегодня к вилле, вдруг почувствовал, что возвращаюсь в лоно, которое меня породило. Сейчас я был внутри этого лона, и, видимо, мне уже не суждено было из него выбраться.

Выехав за ворота, я повернул направо и поехал по Аппиевой дороге в сторону Кастелли. День был хмурым и ветреным, и вершина Монте Каво была окружена черным дымящимся кольцом из грозовых туч. Все, мимо чего мы проезжали,— сосны, кипарисы, руины, поля, изгороди — казалось матовым от пыли и обожженным летним зноем. Мать в своей прежней непринужденной манере продолжала время от времени, словно бы исподволь, нахваливать машину, как будто открывая постепенно для себя все новые ее достоинства. Ни слова не говоря, я проехал всю Аппиеву дорогу до развилки, повернул влево, на большой скорости добрался до Новой Аппиевой, развернулся у семафора и двинулся назад.

— Ну, что скажешь? — спросила мать.

— Скажу, что по всем статьям это прекрасная машина. Впрочем, я мог сказать это при первом взгляде.

— Как это при первом взгляде, если это совсем новая модель, выпущенная всего месяц назад?

— Я имел в виду, что знаю машины этой марки.

Вот ворота, вот кипарисовая аллея, вот подъездная площадка подле виллы. Описав полукруг, я остановился, затянул ручной тормоз, некоторое время посидел молча и неподвижно, потом резко повернулся к матери и сказал: «Спасибо».

Она ответила: «Я купила ее просто потому, что она мне очень понравилась. Если бы я не купила ее для тебя, я взяла бы ее себе».

Мне казалось, что она ждет чего-то еще, по крайней мере, если судить по ее лицу — недовольному и требовательному. И я еще раз сказал: «Нет, правда, она мне очень нравится, спасибо». И, потянувшись, коснулся губами ее сухой, шершавой от пудры щеки. И она, видимо, для того, чтобы не показывать, как приятна ей моя ласка, сказала: «Агент посоветовал: перед тем как начать ездить — прочесть вот эту инструкцию». Она открыла бардачок и вынула оттуда желтую брошюру. «Дело в том, что этот тип машин требует очень осторожного обращения, они легко ломаются».

— Хорошо, я прочту.

— Имея такую машину, ты мог бы заняться и дальним туризмом. Например, отправиться осенью во Францию или Испанию.

— Поеду весной, в этом году я не могу.

— Весной тоже хорошо. Тут очень вместительный багажник — на три чемодана.

Вот теперь мать казалась полностью удовлетворенной; она даже поступилась формой, ибо по ней было видно — редчайший случай,— как она довольна. Мы пересекли площадку, и мать указала налево: там, в конце узкой и длинной аллеи, обсаженной лавровыми деревьями, виднелось небольшое красное одноэтажное здание. «А вон и твоя студия,— сказала она,— там все как было. Никто ни к чему не притрагивался, если хочешь, можешь начать работать хоть завтра».

— Но я же тебе сказал, что бросил живопись.

Она ничего не ответила. Может быть, она показала на студию лишь для того, чтобы заставить меня повторить, что я бросил живопись? Тем временем мы подошли к входной двери. Мать прошла вперед, бросив мне с повелительной интонацией:

— Иди мыть руки, потому что завтрак сейчас подадут.

Она отворила дверь, за которой, я знал, был коридор, ведущий на кухню, и исчезла. А я через другую дверь прошел в ванную. Очутившись посреди голубых кафельных стен, я сунул намыленные руки под теплую струю, невольно глядя на себя в зеркало. В этот момент позади меня приоткрылась дверь и я увидел в зеркале голову с то ли слишком короткими, то ли плохо подстриженными волосами: это была горничная, которая встретила меня, когда я приехал.

Не оборачиваясь, продолжая глядеть в зеркало, я спросил: «Как вас зовут?»
— Рита.
— Я вас никогда не видел.
— Я здесь всего неделю.
Я наклонился и с силой намылил лицо, хотя в этом не было никакой нужды: просто мне казалось, что я стал грязным от тоскливых мыслей. Смывая мыло, я услышал мягкий голос Риты: «Полотенцо вот тут» — и покивал в знак того, что понял. Когда я снова поднял лицо, девушки уже не было. Я вышел из ванной и прошел через прихожую в гостиную, вернее, в анфиладу из четырех-пяти маленьких гостиных, которые занимали весь первый этаж.
Эти парадные комнаты для гостей, которые сообщались друг с другом посредством арок и дверей без створок, образуя как бы одно целое, были обставлены совершенно безлико, с той пышной и скучной безликостью, которая всегда отличает мебель, купленную исключительно из-за ее дорогой цены. Вы могли быть уверены, что не найдете тут ни одной вещи, которая была бы не из самых дорогих или, по крайней мере, не принадлежала бы к категории самых дорогих. У матери не было ни вкуса, ни культуры, ни любопытства, ни любви к прекрасному; критерием выбора при покупке для нее всегда служила цена: чем выше она была, тем несомненнее для нее было, что продаваемая вещь обладает свойствами красоты, утонченности и оригинальности, которые другим способом она просто не в состоянии была бы распознать. Разумеется, мать не сорила деньгами, напротив, она была очень бережлива, и сколько раз приходилось мне слышать, как восклицает она в магазине: «Нет, нет, это слишком дорого, не стоит об этом и говорить». Однако я знал, что, говоря это, она имеет в виду лишь собственную покупательскую способность, а вовсе не реальную ценность вещи, в которой она не понимала решительно ничего и которая, хотя и была ей не по карману, оставалась желанной именно потому, что стоила так дорого.
Благодаря такому критерию отбора в доме постепенно собралась коллекция мебели, совершенно бесстильной и не создающей никакого уюта, но добротной и внушительной, потому что помимо денежной стоимости мать огромное значение придавала прочности вещи и ее размерам, то есть тем двум качествам, которые она способна была разглядеть и оценить. Глубокие диваны, огромные кресла, гигантские абажуры, монументальные столы, тяжелые шторы, массивные безделушки — все в этих гостиных наводило на мысль о дорогостоящей и добротной роскоши. Впечатление усиливалось сиянием натертого воском паркета, полированных деревянных поверхностей, до блеска начищенной медной и серебряной утвари — чистота тоже была одной из характерных примет этого дома. И наконец, повсюду были вазы, в которых стояли букеты, выглядящие всегда почему-то немного похоронно: цветы для них мать каждое утро сама срезала в оранжерее.
Я заметил, что смотрю на все это не как обычно, рассеянно и равнодушно; мне как будто хотелось понять, какое впечатление производят на меня все эти вещи теперь, когда я решил вернуться. И обнаружил, что испытываю чувство какого-то извращенного постыдного удовлетворения, как будто уступил давнему искушению, продолжающему быть для меня отвратительным даже после того, как я ему поддался. Я подошел к старинному зеркалу в тяжелой раме, которое висело над консолью в глубине гостиной, взглянул в него и, неожиданно для себя, громко сказал: «Кретин» — то ли с яростью, то ли злорадно. И в ту же самую минуту услышал рядом какой-то шорох.
Я обернулся и увидел Риту, которая стояла около сервировочного столика с баром и смотрела на меня вопросительным взглядом сквозь толстые стекла очков в черной оправе. Я спросил себя, слышала ли она, как я обругал себя вслух, но по ее бледному хмурому лицу ничего нельзя было понять. Мгновенье помолчав, она сказала: «Синьора сейчас спустится. Пока она просила предложить вам аперитив. Что вы желаете?»
Я снова спросил себя, не было ли в ее голосе иронии, которую я не мог прочесть на ее лице. Но нет, голос был серьезный, по крайней мере, притворялся серьезным. Я сказал, что хотел бы виски, и она, взяв бутылку, очень точными движениями налила немного виски в стакан, разбавила водой, положила кубик льда и протянула мне, говоря: «Что-нибудь еще?»
Я ответил, что ничего больше не надо, и увидел, как она уходит, ступая в своих подбитых фетром туфлях совершенно бесшумно. Держа в руке стакан, я сел в одно из огромных кресел, зажег сигарету и принялся размышлять. Почему я обругал себя тогда, перед зеркалом? Очевидно, решил я в конце концов, самое опасное в этой комедии блудного сына, которую я разыгрывал перед самим собой, было то, что временами, именно тогда, когда я этого совсем не хотел, меня искушало желание устроить какое-нибудь скандальное безобразие. Иными словами, я был блудный сын особого рода, сын, который, падая в объятия старика отца, испытывает желание дать ему хорошего пинка, а съев праздничный обед, бежит в сад, чтобы его выблевать. Я не успел развить это интересное предположение, потому что вошла мать. «Рита дала тебе выпить?»
— Да, спасибо. Но кто она такая, эта Рита?
— Новенькая, с прекрасными рекомендациями; она служила раньше у американцев, но они уехали. Вообще-то у них она была чем-то вроде гувернантки, но тут детей нет,



и я сказала: «Вот что, милая, мне придется разжаловать вас в горничные. Решайте сами, подходит вам это или нет». Она, разумеется, согласилась: еще бы, при нынешней-то безработице!
Мать продолжала рассказывать о Рите и тогда, когда мы уже вошли в столовую, где сама Рита стояла возле буфета в нитяных перчатках, кружевной наколке и маленьком овальном передничке. Я хотел было сказать матери: «Тише, ведь Рита здесь», но посмотрел на угрюмое лицо в очках и внезапно совершенно точно понял, что она видела меня в тот момент, когда я, глядя в зеркало, обзывал себя кретином. Мне показалось, что в глубине души мне не было это неприятно, как будто с той минуты мы с Ритой вступили в отношения некоего тайного сообщничества. Я сел, села и мать, и, сев, сказала Рите: «Рита, синьор Дино — мой сын и с завтрашнего дня будет жить здесь. Не забудьте, если к телефону позовут синьора по имени Дино, то это мой сын».
Мы сидели один против другого за маленьким круглым столом в небольшой, но очень высокой комнате, положив руки на кружевную флорентийскую скатерть, на которой лежали столовые приборы из английского серебра и стояли тарелки из немецкого фарфора и французские хрустальные бокалы. За спиной матери поблескивало в полутьме резное светлое дерево голландского буфета, а позади меня, я знал, стоял венецианский буфет. Итальянское окно, выходившее в сад, было открыто, но шторы плотно задернуты, потому что мать не любила, как она говорила, чтобы садовники считали куски у нее во рту. Мать сама налила мне вина из хрустального, отделанного серебром графина, потом сказала Рите, что можно подавать. Девушка взяла с буфета поднос с фарфоровым сотейником и поднесла его матери. Та сухо сказала: «Подай сначала синьору Дино».
— Но почему? Сначала тебе!
— Нет, тебе.
— Рита, подайте сначала синьоре.
— Но ведь я почти ничего не ем,— сказала мать и кончиком ложки положила себе на тарелку какой-то крохотный кусочек. Рита подошла ко мне, и тогда я понял, чем это так вкусно пахло в саду из кухни: макаронная запеканка! Мать сказала: «Я знаю, что ты ее любишь, и потому приказала приготовить ее сегодня специально для тебя».
— Прекрасно! Прекрасно! — воскликнул я с мазохистским удовлетворением, наваливая себе в тарелку огромную порцию запеканки. Последнее время я ел совсем мало, а в особенности избегал блюд такого рода. И потому не мог не подумать о том, что комедия блудного сына таким образом продолжается. Я расхохотался. Мать забеспокоилась: «Чего ты смеешься?»
Я ответил: «Вспомнил, что читал где-то забавную пародию на историю блудного сына, помнишь ту, евангельскую?»
— Какую пародию?
— В евангельской истории блудный сын возвращается домой, отец принимает его со всевозможными почестями и закалывает в честь него упитанного тельца. А в пародии упитанный телец, знающий о своем предназначении, в страхе убегает, как только блудный сын возвращается домой. Телец заставляет себя подождать, потом наконец возвращается, и тогда на радостях, желая отпраздновать возвращение упитанного тельца, отец закалывает блудного сына и предлагает его тельцу.
Я знал, что мать не верит ни во что, кроме денег. Но, как я уже говорил, она верила в то, что называла «формой», а форма, кроме всего прочего, понуждала ее посещать церковь и, в общем, уважать все, что было связано с религией. Она сделала каменное лицо, потом сказала особенно неприятным голосом: «Ты же знаешь, что мне не нравится, когда ты смеешься над святынями».
— Да что ты, ни над какими святынями я не смеюсь. Но что такое мое возвращение, как не принесение в жертву блудного сына, которым являюсь я, упитанному тельцу, которым является здесь все остальное? — И я повел рукою вокруг, указывая на богатое убранство комнаты.
— Не поняла.
Как ни странно, у матери было своеобразное чувство юмора, правда, несколько тягостное и прямолинейное. Потому она тут же, не улыбнувшись, добавила: «Во всяком случае, могу сказать, что телец будет сразу за этой горой макарон, вот только не знаю, достаточно ли упитанный».
Я ничего не ответил и продолжал пожирать свои макароны с удовольствием, к которому примешивалось раздражение, потому что я на самом деле был голоден и запеканка была вкусная, но при этом я злился на самого себя за то, что она мне нравится. Потом я поднял глаза на мать и увидел, что она смотрит на меня неодобрительно. «Надо лучше прожевывать,— сказала она,— пища начинает перевариваться еще во рту».
— Какая гадость! Кто тебе это сказал?
— Все врачи это говорят.
Ее стеклянные голубые невыразительные глаза смотрели на меня поверх унизанных перстнями, скрещенных под подбородком рук — взглядом, трудно поддающимся определению. Я поспешно очистил свою тарелку, и мать тут же холодно сказала Рите своим

пронзительным голосом: «Положи синьору Дино еще». Рита, которая все это время стояла, прислонившись спиной к буфету позади матери, снова взяла фарфоровый сотейник и поднесла его мне. Я взял ложку, чтобы положить себе макароны, оставив левую руку лежать там, где она была, на краю стола. И вдруг почувствовал, как рука Риты, которой она придерживала поднос, легонько пожала мою, легонько, но так, что трудно было поверить в случайность этого прикосновения. Я не стал над этим особо раздумывать и снова принялся за еду. Потом спросил с отсутствующим видом:

— Ну, а чем ты теперь занимаешься?

— Что ты имеешь в виду?

— То, что и сказал. Чем ты занимаешься?

— О, я живу точно так, как и раньше, ты же прекрасно все знаешь!

— Да, но за все те годы, что я жил не дома, я ни разу не спросил тебя, чем ты занимаешься. А раз уж я возвращаюсь, мне интересно это знать. Может быть, у тебя все переменилось.

— Я не люблю ничего менять. Мне нравится сознавать, что я живу сейчас точно твк же, как жила десять лет назад и буду жить десять лет спустя.

— Но я-то ведь не знаю, как ты живешь. Ну, скажем так,— во сколько ты просыпаешься по утрам?

— В восемь.

— Так рано? Но я часто звоню тебе в девять, и мне говорят: синьора еще спит.

— Да, бывает, я сплю и подольше, когда поздно ложусь.

— А проснувшись, что ты делаешь? Завтракаешь?

— Ну разумеется.

— В спальне, в столовой?

— В спальне.

— В постели или за столом?

— За столом.

— Что ты ешь на завтрак?

— Всегда одно и то же: тосты и апельсиновый сок.

— А после завтрака что ты делаешь?

— Иду в ванную комнату.

Мать отвечала на мои вопросы слегка раздраженно, но с достоинством и не без удивления — как будто я подвергал сомнению то, что по утрам она, как все люди, завтракает и моется.

— Ты принимаешь ванну или душ?

— Ванну.

— Ты моешься сама или тебе помогает горничная?

— Горничная доводит воду до нужной температуры, кладет ароматические соли, а потом, когда все готово, помогает мне мыть те части тела, которые мне самой не достать.

— А потом?

— А потом я выхожу из ванны, вытираюсь и одеваюсь.

— Горничная помогает тебе одеваться?

— Она помогает мне натянуть чулки. Одеваться я люблю сама.

— А ты разговариваешь с горничной, когда моешься и одеваешься?

Мать вдруг, видимо невольно, рассмеялась — нервно и раздраженно: «Знаешь, очень странные ты задаешь вопросы. Я могла бы и не отвечать. Моя интимная жизнь никого не касается».

— Разве я спрашиваю тебя, о чем ты думаешь? Я спрашиваю только о том, что ты делаешь. Постарайся меня понять. Ведь я возвращаюсь домой после десятилетнего отсутствия. Естественно, что мне хочется снова тут освоиться. Итак, ты разговариваешь с горничной?

— Ну разумеется, разговариваю, она же не автомат, она живой человек.

— А когда ты надеваешь драгоценности — до платья или после?

— В последнюю очередь.

— А в каком порядке, то есть что сначала, а что потом?

— Знаешь, кого ты мне напоминаешь? Полицейского из детективного романа, когда он начинает расследование.

— Но мне и в самом деле нужно кое-что расследовать.

— И что же?

— Сам пока не знаю. Знаю только, что нужно. Так в каком порядке ты надеваешь драгоценности?

— Сначала кольца и браслеты, потом ожерелье, потом серьги. Ты удовлетворен?

— А когда ты уже полностью одета, что ты делаешь?

— Спускаюсь вниз и отдаю распоряжения кухарке.

— То есть пишешь меню для обеда и ужина?

— Да.

— А потом?



— Иду в сад, нарезаю цветы, приношу их домой, расставляю по вазам. Или гуляю и разговариваю с садовниками. В общем, занимаюсь садом.

— А после сада что делаешь?

Она взглянула на меня, потом ответила с оттенком торжественности в голосе: «Иду в кабинет и начинаю заниматься делами».

— И это каждый день?

— Да, каждый день, всегда находится какое-то дело.

— И что конкретно ты делаешь?

— Ну что... пишу, принимаю посетителей.

— То есть к тебе приходят адвокаты, сборщики налогов, биржевые маклеры, доверенные лица, да?

Внезапно она снова рассмеялась, но на этот раз каким-то довольным, почти чувственным смехом — верный признак того, что я попал в самую точку: «Вероятно, моя работа кажется тебе ерундой. Что и говорить, это не живопись, но все-таки довольно тяжелый труд, который отнимает у меня всю первую половину дня, а иногда и вторую».

— Но эта работа тебе нравится?

— Да, но кногда у меня даже начинает болеть голова, вот тут, в затылке.

— Так не нужно так надрываться.

Мать снова некоторое время смотрела на меня каким-то сочувственным взглядом, потом сказала своим режущим слух, каркающим голосом: «Я делаю это для тебя, я хочу, чтобы твое состояние не только сохранялось, но и росло».

— Мое состояние? Это твое состояние!

— Когда я умру, оно станет твоим.

— Ты еще совсем молода, я уверен, что умру раньше. От скуки. Ну ладно, скажем так: «наше состояние». Так как обстоит дело с нашим состоянием? Каково оно?

— Ну, знаешь, ты действительно ведешь себя очень странно. С состоянием все в порядке благодаря моим стараниям. Если бы не я, сейчас у нас не было бы ни гроша.

— Так что, мы очень богаты?

На этот вопрос мать не ответила, ограничившись тем, что сделала каменное лицо с совсем уже стеклянным взглядом. Потом сказала: «Рита, что вы там стоите столбом? Почему бы вам не взглянуть, готово ли второе?» Я увидел, как Рита вздрогнула, словно пробуждаясь от сна, и вышла. Мать сразу же сказала: «Послушай, ведь я же всегда тебя просила не говорить о деньгах при слугах».

— Почему? Я бы еще понял, если бы мы говорили о чем-то неприличном. Но о деньгах? Разве деньги — это неприлично?

Мать, опустив глаза, покачала головой, как бы не желая даже опровергать мои доводы: «Они бедны, и не следует хвастаться богатством перед тем, кто беден».

— Да брось, ты просто никогда не хочешь говорить о деньгах, даже когда мы одни. У тебя сразу делается такое лицо, будто ты шокирована: можно подумать, что речь идет не о деньгах, а о сексуальных проблемах!

И снова покачивание головой: «Нет, мне как раз нравится говорить о деньгах, но всему есть время и место; раз ты возвращаешься домой, нам даже надо о них поговорить. После завтрака пойдем ко мне в кабинет, и я представлю всю интересующую тебя информацию».

В этот момент вошла Рита, неся длинный овальный поднос, на котором среди пучков зелени и овощей лежал разрезанный на множество кусков тот самый телец, о котором говорила мать. И я тут же, как ни в чем не бывало, спросил, словно побуждаемый каким-то злым демоном: «И все-таки ты мне не ответила: мы очень богаты или нет?»

На этот раз она ограничилась просто молчанием, но я почувствовал, что под столом ее нога ищет мою, чтобы наступить на нее. Затем она сказала Рите: «Обслужи синьора Дино, я мяса не ем».

Эта нога, наступившая на мою, вызвала во мне буквально взрыв отчаяния. Мать наступала мне на ногу, как делают обычно любовники, разница была только в том, что мы были не любовники, а мать с сыном, и связывала нас не любовь, а деньги. И я не мог отказаться от этой связи, потому что это означало бы отвергнуть кровные узы, которые за ними стояли. Итак, поделать было ничего нельзя, хочешь не хочешь, а я был богат, и опровергать это было то же самое, что признавать.

Между тем мое отчаяние вылилось в совершенно неожиданные поступки. Когда, протягивая мне поднос с телятиной, Рита склонила надо мной свою цветущую грудь и веснушчатое непроницаемое лицо с красивым бледным ртом цвета герани, я, пользуясь подносом как прикрытием, обхватил ее запястье и стал подниматься по руке все выше и выше. При этом другой рукой я с помощью вилки накладывал себе еду, а когда кончил, отложил вилку и снова холодно возобновил свой допрос: «Так богаты мы или нет?» И еще раз почувствовал на своей ноге ногу матери. Тогда я сказал: «Рита, пожалуйста, можно вас на минуточку?»

Рита послушно вернулась и протянула мне поднос второй раз. Я снова взял в руки вилку и принялся выбирать на подносе куски мяса и зелень, а другую в это время опустил

под стол и стал подниматься по ноге Риты все выше и выше, до самого бедра. Сквозь пышные складки юбки моя рука чувствовала, как подергиваются ее мышцы — совсем как у лошади, которую гладит хозяин. При этом ничто не отразилось на ее лице, в котором действительно, это мне не показалось, было что-то лицемерное. В конце концов Рита отошла, а я, поймав ее быстрый взгляд, устанавливавший между нами отношения тайного сообщничества, вынужден был констатировать, что прямо сейчас, еще до переезда, я оказался в положении несравненно худшем, чем десять лет назад: в ту пору, что бы ни случилось, я бы все-таки не стал лапать собственную горничную.

Мать сняла ногу с моего ботинка в тот самый миг, когда я оторвал руку от Ритиного бедра: это совпадение было странным, можно было подумать, что мать действовала со мной заодно. Я же сразу возобновил прерванный разговор: «Итак, ты работаешь до часу и позже каждый день?»

— Каждый день, кроме воскресенья.

— А в воскресенье что ты делаешь?

— Хожу к мессе.

— В какую церковь?

— Святого Себастьяна.

— Что ты делаешь в церкви?

— То же, что и все, слушаю мессу.

— А ты когда-нибудь исповедуешься?

— Разумеется, исповедуюсь. И причащаюсь.

— И священник отпускает тебе грехи?

— Мне никогда не приходилось исповедоваться в слишком тяжких грехах,— сказала мать с некоторым даже кокетством.— Знаешь, что говорит мне иногда дон Луиджи? «Синьора, вы кончаете там, где другие только начинают». Да и какие могут быть грехи в мои годы?

И она посмотрела на меня, как бы говоря: я давно уже отказалась от того единственного, что могло заставить меня согрешить.

После небольшой паузы я возобновил разговор: «Вернемся к твоему расписанию. Итак, в будни ты по утрам работаешь, ну, а потом?»

— А потом обедаю.

— Одна?

— Да, утром я всегда ем одна. Лишь изредка приглашаю адвоката; в тех случаях, когда мы не успеваем кончить какое-нибудь дело и должны продолжать его во второй половине дня.

— А кто этот адвокат? Де Сантис?

— Да, по-прежнему он.

— Ну, а после завтрака?

— После завтрака я гуляю в саду.

— А потом?

— Иду отдыхать.

— То есть спать?

— Нет, я не сплю, просто снимаю туфли и, не раздеваясь, ложусь в постель. Но не сплю: лежу, думаю.

— О чем?

И я снова увидел, как она рассмеялась, смущенно и нервно, словно девушка, которую заставляют говорить о любви. «Ну, когда как. Скажем, сейчас, в последние дни, знаешь, о чем я думала?»

— О чем?

— Я думала о доме, который продается на набережной Фламинио. Редкостная оказия — одно местоположение чего стоит. К сожалению, сейчас я не могу себе этого позволить, но все равно об этом думаю. А иногда я думаю о вещах, которые могу себе позволить, как, например, вот это.— Она протянула руку и показала мне кольцо с огромным изумрудом, окруженным бриллиантами.— Я долго думала, взвешивала все «за» и «против» и в конце концов решилась и купила.

— Ну, а когда отдохнешь, что ты делаешь?

— Да что же это, в конце концов, такое, допрос, что ли?

— Я тебе уже говорил, что хочу войти в курс твоей жизни.

Очень неохотно она сказала: «Ну мало ли что, делаю, например, визиты».

— Кому?

— Когда как: бывает, надо пойти на какой-нибудь прием или коктейль, а кроме того, у меня есть подруги.

— И много у тебя подруг?

— Почти все, с кем я дружила в пансионе, я и сейчас с ними дружу,— сказала мать с неожиданно задумчивым видом.— Не знаю почему, но после пансиона у меня не появилось ни одной новой подруги.

— И что вы делаете?



— А что ты хочешь, чтобы мы делали? Что обычно делают дамы, собравшись вместе? Болтаем, пьем чай или мартини, играем.

— Во что играете?

— Какой ты надоедливый! Ну в бридж, или в канасту, или в покер. Иногда устраиваем соревнования по бриджу или канасте.

— А, да, помню, благотворительные состязания.

— В последний раз мы устраивали их в пользу потерявших зрение на войне.

— На войне? В каком-то смысле мы все потеряли зрение на войне, ты не находишь?

— Что-то я тебя не поняла. Но если это шутка, то, по-моему, весьма сомнительная.

— Ну, неважно. А к портнихам ты ходишь?

— Раз уж я не хожу голая, значит, у меня должна быть портниха. Кстати, хорошо, что ты напомнил, иначе бы я забыла: завтра показ мод у Фанти.

— А, Фанти! Все та же Фанти. Неужели она еще жива?

— Бедняжка, почему она должна умереть? Она не только жива, она прекрасно тебя помнит, помнит, как ребенком ты приходил к ней со мной. Она всегда спрашивает, что ты делаешь, как твое здоровье, надеется, что, когда ты женишься, ты приведешь к ней свою жену.

— А вечерами что ты делаешь?

— Ужинаю, чаще всего одна. Иногда даю обеды человек на шесть — на восемь, а после обеда приходят еще и другие. А то хожу в театр или кино с друзьями, все теми же. Но чаще всего смотрю телевизор.

— А, так ты купила телевизор, а я и не знал.

— Разве я тебе не говорила? Я поставила его в одной из гостиных. Иногда приходят соседи, и мы смотрим вместе. А иногда я смотрю одна. Мне нравится телевидение, оно лучше кино: не надо выходить из дому, можно сидеть в удобном кресле и при этом что-то делать. Представь себе, я снова начала вязать после стольких лет. Вяжу сейчас свитер.

— А после телевизора что ты делаешь?

— А что можно делать в это время?

— Ну, к примеру, читать.

— Да, верно, я и читаю, чтобы уснуть. Сейчас, например, читаю интересный роман.

— А кто автор?

— Не помню, роман американский. Из жизни маленького провинциального городка.

— Как называется?

Увидев неуверенность на ее лице, я поспешно добавил: «Я забыл, что ты никогда в жизни не могла запомнить ни автора, ни названия книги, которую читаешь. Правда?»

Мой тон, когда я это говорил, был почти ласковым, а кроме того, ей должен был доставить удовольствие тот факт, что я хоть что-то о ней помнил. Она смущенно засмеялась: «Нет, неправда. Но только некоторые имена очень трудно запомнить. А потом, для меня главное — это убить время. Кто автор, мне все равно».

— Ты права. А перед сном ты, как и раньше, пьешь настой ромашки?

— Неужели ты и это помнишь? Да, пью ромашку.

— Тебе приносят его в спальню? Ставят на тумбочку?

— Да, на тумбочку.

Внезапно я замолчал, почувствовав, что по горло сыт всей этой белибердой. Я подумал, что мог бы говорить с матерью часами, но так ничего и не добиться: и ее жизнь, и она сама были настолько лишены всякого содержания, что сделались замкнутой в себе тайной — нелепой и все-таки непостижимой. Потом мать сказала: «Ну что, допрос окончен? Или тебе еще надо знать, какие мне снятся сны?»

— Я совершенно удовлетворен.

Снова пауза. Потом мать неожиданно сказала: «Твоя мать очень одинокая женщина, у нее нет никого, кроме тебя, и она счастлива, что ты возвращаешься».

Я понял, как она взволнована, когда услышал, что она говорит о себе в третьем лице. Мне хотелось сказать ей что-нибудь ласковое, но я не сумел. К счастью, Рита в этот момент поднесла мне поднос с какими-то очень изысканными сладостями, и я сделал вид, что восхищен:

— Какой прекрасный десерт!

— Это твой любимый.

Я положил порцию себе на тарелку, отметив при этом, что Рита теперь держится от стола на некотором расстоянии. Я не понял, делала ли она это для того, чтобы продемонстрировать мне свое недовольство, или, наоборот, то было своеобразное кокетство, которое только притворялось неудовольствием. Мать, которая к сладкому даже не притронулась, не отрываясь смотрела на меня, покуда я ел. Под конец она сделала Рите какой-то знак, который я не понял. Девушка вышла и через некоторое время появилась снова с ведерком, из которого торчала бутылка шампанского.

— А сейчас мы выпьем бокал шампанского за твое здоровье.

Я увидел, как Рита движением, свидетельствовавшим о большом опыте, вынула из

ведерка бутылку, содрала с горлышка серебряную фольгу и извлекла пробку без всякого шума и пены. Разлив шампанское по бокалам, она поспешно вышла, словно не желала нарушать своим присутствием праздничный ритуал.

И вот я стою с бокалом в руке напротив матери, которая, тоже встав, протягивает мне свой. Не зная, что сказать, я произнес традиционное: «Еще сотню таких дней».

Мать засмеялась: «Но что же я должна сказать. Ты забыл, что это твой праздник, а не мой».

И тут я не выдержал: «О нет, праздник сегодня как раз у тебя: я бросил живопись, я возвращаюсь домой, к тебе. Так что: „еще сотню таких дней"».

И чокнулся с матерью, которая на этот раз сделала вид, что не услышала моего тоста. Потом, уже отпив и поставив бокал на стол, она сказала: «Недостаточно заморожено».

— Почему? Мне показалось, шампанское замечательное.

— Да, но оно мало полежало во льду.

Она снова взяла бокал и выпила его до дна. Потом нажала кнопку звонка, вделанного в стол. Вновь появилась Рита. Мать сделала ей замечание по поводу недостаточно замороженного шампанского, хотя, по-видимому, не ожидала никакого ответа. Потом сказала, что кофе мы будем пить в кабинете. Трапеза была окончена.

Мы вышли из столовой и направились в кабинет, небольшую комнату, которая находилась в одном из угловых помещений первого этажа. Я заходил в эту комнату не очень охотно, больше того, я ее избегал, потому что частенько думал о том, что это храм, принадлежащий религии, которую я меньше всего мог считать своей. Именно в этой комнате, сидя в кожаном кресле, обитом медными гвоздиками, перед большим барочным дубовым столом, спиной к книжным шкафам, где было мало книг и много гроссбухов, мать в одиночестве или в обществе доверенных людей совершала столь волнующие ее обряды заключения сделок. И в тот день я тоже последовал за ней неохотно и уже в кабинете, не удержавшись, сказал: «А почему здесь, почему бы нам не пройти в гостиную?»

Казалось, мать не расслышала моего вопроса. Она села за стол и знаком попросила меня занять место напротив, в кресле, предназначенном для ее собеседника во время деловых переговоров. Потом пошарила в сумке, вынула ключ, слегка откинувшись отперла и выдвинула ящик письменного стола и извлекла оттуда узкую длинную черную тетрадь, поразившую меня своим видом: было в ней что-то, напоминавшее о религиозных церемониях. Я тут же вспомнил, что это была та самая тетрадь, где в идеальном порядке было заприходовано все принадлежавшее нам имущество. Мать задвинула ящик, положила тетрадь перед собой, пристально взглянула на меня глазами, сделавшимися еще более стеклянными, чем обычно, потом сказала: «Ты только что спрашивал, богаты мы или нет, но при горничной я не хотела говорить. Однако я все равно довольна, что ты меня об этом спросил. Сейчас я представлю тебе все сведения, какие ты только пожелаешь, потому что,— добавила она неожиданно деловым голосом,— самым большим моим желанием как раз всегда и было, чтобы ты помогал мне в управлении делами, чтобы ты, немного попрактиковавшись, кое в чем меня заменил. Тем более, что ты бросил живопись и, следовательно, у тебя теперь будет время».

При последних словах я вздрогнул: с каким спокойствием, с каким удовлетворением мать произнесла «ты бросил живопись»; она совершенно не понимала, что это было все равно что сказать: «ты бросил жить». И уже без прежней задиристости, даже сделав над собой некоторое усилие, я сказал: «Ну так и что, богаты мы или нет?»

Некоторое время она молчала, глядя на меня со странной торжественностью. Потом наклонилась ко мне и понизила голос: «Мы не просто богаты, Дино, мы очень богаты. Благодаря твоей матери ты сегодня очень богатый человек».

— Что значит «очень богатый»?

— «Очень богатый» значит нечто большее, чем просто богатый.

— Но нечто меньшее, чем богатейший?

— Да, нечто меньшее.

Мать говорила сейчас с некоторой рассеянностью. Нацепив монашеского вида очки в золотой оправе, она листала страницы своей черной тетради. «Впрочем, только цифры дадут тебе понять... итак... где же это... а, вот оно, так вот, только цифры дадут тебе понять, что значит „очень богатый"».

Я понял, что она собирается предоставить мне обещанную информацию, и внезапно почувствовал неудержимое отвращение. «Нет, бога ради, не надо,— торопливо воскликнул я,— я не хочу знать, что такое „очень богатый". Я верю тебе на слово».

Мать подняла глаза от тетради, сняла очки и посмотрела на меня. «Но ты должен это знать, хотя бы для того, чтобы, как я уже говорила, помогать мне вести дела».

Я чуть было не заорал: «Да не желаю я тебе помогать!», но тут, к счастью, вошла Рита, неся на подносе кофе. При виде Риты мать снова замолчала — как священник при виде неверующего. Резко захлопнув тетрадь, она сказала: «Разливайте кофе, Рита». И пока Рита, стоя около меня, наливала в чашечки кофе, я все думал, как мне избежать этого кошмара, то есть объяснения того, что значит «очень богатый». Рита снова стояла ко мне очень близко, почти касаясь ногой моего колена. Потом, повернувшись ко мне, она протянула чашку. Рука у меня непроизвольно дернулась, чашка опрокинулась на блюдечко, и кофе пролился прямо на мои светлые брюки, ногам сразу стало горячо и мокро. «Черт возьми,— воскликнул я, притворяясь огорченным,— мои брюки!»



— Рита, неужели нельзя поосторожнее,— упрекнула ее мать, не успевшая понять, что случилось.

Я поторопился вмешаться: «Рита тут ни при чем, это я сам. Но так или иначе, на брюках теперь останется пятно».

— Ничего страшного,— сказала Рита,— кофе был без сахара, я сейчас принесу воды и ототру.

Это предложение не понравилось матери, которая тут же властно возразила своим неприятным голосом: «Ни в коем случае. Пятно не сводят прямо на человеке. Синьор Дино снимет брюки, вы их выстираете и отгладите».

Я взглянул на Риту, которая стояла около стола с лицом, выражавшим смиренное послушание; она сказала совершенно серьезно: «Синьор Дино снимет брюки прямо сейчас или мне подождать?»

— От кофе может остаться пятно,— сказала мать,— будет лучше, Дино, если ты снимешь их сразу.

— Но не могу же я снимать их прямо здесь, посреди гостиной?

Я увидел, что Рита отвернулась, может быть, для того, чтобы скрыть улыбку. Мать сказала: «Так поди в свою комнату, там сними брюки и отдай их Рите. Потом надень халат — он висит в шкафу — и спускайся вниз. Тем временем я приготовлю документы, которые мне нужно тебе показать».

Так мы и вышли, Рита и я, она впереди, почти бегом, успев бросить мне на ходу: «Знаете, я пойду первая, комната все время стояла запертая, я, по крайней мере, окна открою», а я за ней, с изумлением думая о том, что все разворачивается по неписаным, но непреодолимым законам классических историй со служанками. Не кто иной, как мать создает для сына повод уединиться с горничной, сын с горничной направляются к постели, в которую вот-вот лягут вместе, притворяясь друг перед другом, что приняли всерьез подсказанный матерью предлог,— горничная, возбужденная своим честолюбивым послушанием, сын, возбужденный своим унижением господина. Размышляя надо всем этим, я поднялся на третий этаж и направился к комнате, в которую передо мной вошла Рита.

Войдя, я увидел, что Рита, свесившись из окна, распахивала жалюзи; дождавшись, когда она повернула ко мне раскрасневшееся от ходьбы, а может быть, и от возбуждения лицо, я сухо сказал: «Подождите в коридоре, я вас позову».

Когда она вышла, я медленно подошел к окну и стал там спиной к двери, отрешенно глядя на раскинувшийся внизу сад. Я не люблю вспоминать прошлое, и меня не волнуют места, где я когда-то бывал, но все же это был день, когда я решил вернуться, притом вернуться после десятилетнего отсутствия, и потому не удержался от того, чтобы не сравнить нынешнее свое душевное состояние с тем, десятилетней давности. Так вот, увидев сначала ампирную мебель гостиной, а теперь геометрическую планировку сада, все оставшееся точно таким, каким было, я заметил, что испытываю какое-то унылое облегчение при мысли, что и я тоже нисколько не изменился. Да-да, нисколько не изменился: возвращаясь к матери, я возвращался к старым своим привычкам, и может, постепенно снова начну рисовать в той самой студии в глубине парка, которая тоже осталась такой же, как и была. Кто знает, может быть, так же, как после переезда на улицу Маргутта, когда я, пусть ненадолго, поверил в свои силы, я и теперь, после переезда к матери, снова на какое-то время поддамся иллюзии, будто могу писать картины; в сущности, жизнь и состоит из постоянных перемен точек зрения, она — как неудобная постель, где нельзя долго лежать на одном боку. Тут я взглянул на постель и, увидев, что на ней нет ни одеяла, ни простыней, а матрас скатан, как обычно делается это в нежилых комнатах, внезапно понял, что не так уж это хорошо, как мне казалось,— то, что ничего за это время не изменилось ни вокруг, ни во мне самом.

Да, ничего не изменилось, это правда, но именно потому мне снова угрожало отчаяние, то самое, которое в свое время погнало меня из дому. Ничего не изменилось, но, так как время даром не проходит, все стало немного хуже, хотя и осталось по существу таким же. Скажем, вот сейчас: покуда мать ждала меня в кабинете, чтобы с документами в руках объяснить мне, что значит быть богатым, в коридоре меня ждала Рита — чтобы я ее позвал и повалил в постель; две эти вещи только кажутся далекими друг от друга, на самом деле они связаны между собой точным и тонким механизмом. Существование этого механизма не было для меня новостью, я давно о нем подозревал, но никогда он не представал передо мной с такой ясностью, как сейчас,— так в витрине авиаконторы видишь авиационный мотор в разрезе, со всеми его многочисленными сложными деталями. Это был механизм отчаяния, который, стоит мне вернуться, заставит меня переходить от ощущения собственного богатства к творческому бессилию, от бессилия к скуке, от скуки к Рите или какому-нибудь другому унижению в том же роде. Уж лучше в таком случае вернуться в студию на улицу Маргутта, где отчаяние выражало себя просто в чистом холсте, который мне не суждено было превратить в картину.

Тут я услышал тихое, но откровенно нетерпеливое и доверительное царапанье в дверь и, не успев отдать себе отчет в том, что делаю, расстегнул ремень, снял брюки, раскатал на кровати матрас и лег. Затем крикнул Рите, что она может войти.

Она вошла в тот же миг и, увидев меня лежащим, повернулась, чтобы запереть дверь. Я лежал неподвижно, вернее, неподвижным оставалось во мне все, кроме той части тела, к которой желание вызвало прилив крови. Прижав подбородок к груди, я не отрываясь смотрел именно туда: так труп, распростертый на катафалке, может показаться разглядывающим собственное тело, убранное и готовое к выносу. Рита тем временем подошла к кровати и, остановившись около нее, разглядывала меня сквозь придающие ей такой лицемерный вид очки так, как могла бы разглядывать какой-то непонятный и достойный всяческого изучения предмет. Я протянул руку, схватил ее безвольно висящую кисть и потянул так, как тянут за узду не столько брыкливую, сколько боязливую лошадь; почувствовав, что вся она устремилась следом за рукой, я дотянул ее пальцы до этой части своего тела и, установив их там, отпустил. Теперь Рита стояла неподвижно, немного подавшись вперед, с румянцем, внезапно вспыхнувшим под черной оправой очков. Потом она сказала каким-то странным тоном — очень медленно, словно бы с глубочайшим удовлетворением: «Какая мерзость». Я удивился, так как это были именно те слова, которые сказал бы я сам, если бы захотел выразить то смешанное чувство отвращения и возбуждения, которое испытывал в этот момент.

Когда все кончилось, я испустил глубокий вздох и спросил, не глядя на нее, шепотом: «А зачем ты сюда пришла?»

Она пожала плечами и ничего не ответила, казалось, что она не в силах говорить.

— Оттереть пятно. Ну так иди оттирай, чего же ты ждешь?

Я видел, как она вздрогнула, словно ее ударили по лицу, с усилием, один за другим, разжала пальцы, потом исчезла из поля моего зрения. Наверное, она вышла из комнаты, потому что я слышал звук открываемой и закрываемой двери. Удостоверившись, что она ушла, я вскочил с кровати и открыл шкаф. Как я и думал, рядом с шелковым халатом, о котором говорила мать, висел в своей целлофановой упаковке единственный из костюмов, который я не увез, переезжая в студию,— смокинг. Я взял брюки и надел. Они сидели довольно хорошо, разве что были чуть-чуть велики — десять лет назад я был толще, кухня матери была богаче и питательнее, чем скромные траттории, которые я теперь посещал. Я посмотрел на себя в зеркало: в коричневом пиджаке с черными брюками я был похож на уволенного официанта. Приоткрыв дверь и убедившись, что там никого нет, я поспешно спустился по лестнице, коридором, минуя гостиную, вышел в прихожую, а оттуда на подъездную площадку перед домом.

Две машины, старая и новая, стояли рядышком перед входом. Затянутое облаками небо, деревья, дом отражались в сияющем кузове новой машины, старая же казалась особенно тусклой, такой же тусклой, каким становился вокруг меня мир, когда меня обволакивала скука. Я вырвал листочек из записной книжки и написал: «Спасибо, но я предпочитаю старую машину. Твой любящий сын Дино», и подсунул его под стеклоочиститель, куда полицейские засовывают обычно квитанции на штраф. Потом сел в свой автомобиль, завел мотор и уехал.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

В том же доме на улице Маргутта, где жил я, в коридоре первого этажа, через три двери после моей, была дверь, которая вела в студию старого художника Балестриери. Я часто его встречал, обменивался с ним незначащими фразами, но никогда у него не бывал: как все мужчины, которые думают только о женщинах, Балестриери был крайне, почти оскорбительно холоден с представителями своего пола независимо от их социального положения и возраста — вероятно, он видел в них потенциальных соперников. Балестриери был маленький, но широкоплечий и с огромными ногами, причем два этих своих недостатка он не только не старался скрыть, но, наоборот, подчеркивал, нося всегда просторные спортивные пиджаки в крупную клетку и старомодные, узконосые, ярко начищенные ботинки. В лице у него было что-то от карнавальной маски или помпейского сатира: белые серебряные волосы, багровое лицо, черные как уголь брови, большой нос, огромный рот, острый подбородок. В выражении лица было что-то приторное и в то же время раздраженное. Кое-кто из пожилых художников, хорошо знавших Балестриери, говорил, что он был эротоман и начал в молодости заниматься живописью только для того, чтобы заманивать в студию женщин под предлогом позирования. Ну а потом он уже просто привык рисовать, а рисовать значило для него рисовать обнаженное женское тело. Так как человек он был обеспеченный, работал он не ради заработка и никогда не выставлялся; в каком-то смысле он рисовал для самого себя; его друзья говорили мне, что он так привязывался к своим картинам, что в тех редких случаях, когда решался какую-нибудь из них подарить, он делал копию и отдавал ее вместо оригинала. Что касается их качества, то все единодушно сходились на том, что это была очень плохая живопись. Заинтригованный, я несколько раз пытался заглянуть со двора в огромное окно его студии и рассмотреть его картины: я видел большие темные полотна, на которых с трудом можно было различить огромные женские тела — с преувеличенными формами и в ненатуральных позах.

Студию Балестриери посещало множество женщин. В мое окно было видно, как идут они через двор и исчезают за дверью, которая вела в коридор первого этажа. Я не сомневался, что они идут к Балестриери, потому что в двух других студиях жили художники с семьями и, кроме того, натурщицы были им не нужны, так как оба они занимались абстрактной живописью. Женщины Балестриери свидетельствовали о широте его вкуса: молодые и зрелые, дамы и простолюдинки, девушки и замужние женщины, блондинки и брюнетки, худые и толстые, маленькие и высокие. Балестриери, неразборчивый, как все донжуаны, был, видимо, не слишком привередлив и коллекционировал приключения, больше заботясь об их количестве, чем о качестве. Очень редко заводилось у него то, что называется связью, то есть более или менее длительные отношения с одной и той же женщиной; но даже когда такое случалось, он не отказывался от других эпизодических приключений. В первые годы моего обитания на улице Маргутта сам Балестриери и его образ жизни интриговали меня настолько, что некоторое время я за ним даже шпионил. Я дошел до того, что пытался составить статистику женских посещений: до пяти разных женщин в месяц, то есть каждые шесть дней новая, частота визитов — два раза в день. Балестриери было пятьдесят пять лет, когда я его увидел впервые, а в описываемую пору — шестьдесят пять; однако за эти десять лет я не заметил в его образе жизни никаких перемен: женщин было столько же, сколько раньше, так что можно было подумать, что время для него стоит на месте.

Вернее, перемены были, но выразились они не в уменьшении числа женских посещений, как можно было бы предполагать, а, напротив, в их увеличении. Эротизм Балестриери, который я сравнивал для себя с вулканом, пребывающим в состоянии умеренной, но постоянной активности, достиг к его шестидесятилетию стадии настоящего пароксизма. Женщин, которые проходили через наш двор и стучались в дверь старого художника, стало, на мой взгляд, больше; кроме того, я заметил, что почти все они были теперь очень юными девушками: как и все развратники, Балестриери стал с годами предпочитать подростков. Я сказал, что эротизм его вошел в стадию пароксизма, но если выражаться точнее, то это было просто своего рода зацикливанием, возможно, бессознательным, на одном типе женщин, путем исключения всех прочих. Иными словами, Балестриери, сам того не сознавая, перестал быть донжуаном-коллекционером, каким он был до сих пор, и впервые в жизни посвятил себя одной женщине. Ибо теперь бесчисленные его девушки, все примерно одного возраста, стали как бы подступами, и все более удачными, к одному определенному и все более уточнявшемуся типу женщины; то были наброски идеального образа, который рано или поздно должен был обрести реальное воплощение. И в самом деле, настал момент, когда поток юных девушек, устремлявшихся в студию Балестриери, вдруг иссяк, уступив место одной-единственной посетительнице, появление которой они подготовили и которая как бы вобрала в себя их всех.

У меня была возможность рассмотреть ее очень внимательно, между прочим, и потому, что и она, как я заметил, меня рассматривала. Одетая, как юная балерина, по моде того времени в легкую, свободно драпирующуюся блузку и очень короткую и пышную, словно на кринолине, юбку, она была похожа на перевернутый цветок с неровным подрагивающим венчиком, так что ножки ее были у этого цветка как бы пестиками. Лицо у нее было круглое, как у ребенка, но ребенка рано повзрослевшего и до времени приобретшего женский опыт. Она была бледная, легкие тени под скулами сделали щеки более худыми, чем они есть, вокруг личика буйно вились черные кудри. Маленький рот был похож на не успевший раскрыться и уже увядший бутон, от его углов отходили две тонкие глубокие морщины, которые придавали всему лицу поразившее меня выражение черствости. Наконец глаза, самое красивое, что в ней было, большие и темные, и тоже совсем еще детской формы, смотрели исподлобья взглядом, в котором начисто отсутствовала невинность,— странно отчужденным, уклончивым и неопределенным.

В отличие от других женщин Балестриери, которые решительными шагами, не глядя по сторонам, направлялись прямо в студию старого художника, эта пересекала двор с какой-то странной, словно нарочитой медлительностью: казалось, что она продвигается вперед, влекомая лишь ленивым рефлективным покачиванием бедер. Не то чтобы она шла к Балестриери неохотно, нет, но по дороге она как будто искала что-то еще, но что — не знала сама. Проходя по двору, она почти всегда поднимала глаза к моему окну и, если видела меня за стеклом (а это бывало часто, так как мой мольберт стоял как раз у окна), неизменно сопровождала свой взгляд улыбкой.

Сначала я не был уверен, что не ошибся: улыбка была такой беглой, что впору было усомниться в ее преднамеренности. Но когда однажды мне случилось столкнуться с ней в коридоре, я убедился, что улыбка предназначалась мне и что вкладывался в нее совершенно определенный смысл.

Этот ее безмолвный призыв вызвал у меня какое-то смутное чувство неприязни, которое я попытаюсь сейчас объяснить. Прежде всего, я не любитель приключений, осо-

бенно если приключение, как это было в данном случае, подсовывалось мне, можно сказать, навязывалось самой женщиной; больше того, именно настойчивость ее улыбки возмущала меня и вызывала желание не отвечать и вообще сделать вид, что я ничего не заметил. Во-вторых, сама девушка мне не нравилась: я всегда любил зрелых женщин, а эта, хотя и было ей, наверное, лет семнадцать, выглядела на пятнадцать из-за хрупкости сложения и детскости лица. Наконец, была и третья причина, самая, может быть, важная, хотя далеко не такая ясная и определенная: дело в том, что мне было до тошноты противно представить себе, как я к ней подхожу, как заговариваю, а потом, в качестве совершенно неизбежного следствия, ложусь с ней в постель. Тошноту эту вызывало вовсе не примитивное физическое отвращение: да, девушка мне не нравилась, но вовсе не была мне противна; противно было знать заранее, что меня ждет, если отвечу на ее призыв. Думаю, что подобное чувство тоскливого ожидания испытывает всякий, кто оказался на пороге неведомой, покрытой мраком реальности, которой он всегда избегал. Да-да, именно чувство отвращения, смешанное с тоскливым ужасом,— меня это даже поразило, потому что столь инфантильная и неприметная девушка, казалось бы, не должна была внушать подобных страхов.

Но когда тебя одолевает скука, совсем нелегко постоянно удерживать в памяти какие-то вещи. Скука была чем-то вроде тумана, в котором тонула вся окружающая меня реальность, так что моя мысль лишь изредка вырывала из нее какую-нибудь подробность — так, оказавшись в гуще тумана, мы видим вдруг то угол дома, то фигуру прохожего или что-нибудь еще. В тумане скуки я различил девушку и Балестриери, но не придал им никакого значения и совершенно о них не думал. Случалось, что я на целые недели забывал об их существовании, хотя они жили и любили друг друга в двух шагах от меня. Временами я вспоминал о них почти с изумлением: «Смотри-ка,— думал я,— а они все еще здесь и по-прежнему занимаются любовью». Я забыл о Балестриери настолько прочно, что, когда на другой день после бегства из материнского дома я, выпив неподалеку от студии чашечку кофе, возвращался к себе и заметил как раз перед своим подъездом черных лошадей и черные с золотом похоронные дроги с традиционными позолоченными ангелами по углам, правда, еще без гроба и без цветов, мне даже в голову не пришло, что они могут ожидать здесь кого-нибудь из моих знакомых. Обойдя экипаж, загораживавший мне дорогу, я вошел в подъезд, и так как шел я по обыкновению глядя себе под ноги, я буквально стукнулся лбом о нижний край гроба, который как раз в тот момент четыре человека выносили на улицу. Я тут же отскочил, причем могильщики бросили на меня изумленный и осуждающий взгляд, и гроб проплыл мимо меня. Провожавших было всего двое: молодой человек с грубым рыбьим лицом, одетый в синий костюм, и женщина, которую он вел под руку и которую я не разглядел, потому что она с ног до головы была закутана в траурную вуаль. Юноша походил на Балестриери, у него тоже было красное лицо и очень черные брови, а тут еще консьержка сказала что-то шепотом о внезапности некоторых смертей, и до меня донеслось имя Балестриери. И только тут я понял, что умер именно Балестриери, что умер он, видимо, накануне, что это были его похороны, что женщина в трауре была его женой, с которой он развелся много лет назад, а юноша в синем — его сын.

Как я уже говорил, от скуки я сделался в те дни настолько рассеянным, что забыл о существовании не только Балестриери, но и девушки, которая почему-то внушала мне любопытство. Поэтому я даже особо не удивился, когда понял, что, находясь все эти дни в студии, я умудрился не заметить, что за третьей от меня дверью кто-то болел, умер, был отпет, положен в гроб и вот сейчас вынесен. Кто знает, думал я, может быть, кто-нибудь и говорил мне о болезни Балестриери, но я хотя и слушал, ничего не услышал, как всегда с головой погрузившись в свою скуку: так мне случалось иногда внимательно прочесть газетные заголовки и минуту спустя обнаружить, что совершенно не представляю, о чем в них говорилось. Понадобился гроб, а вернее, болезненный ушиб, который я получил, наткнувшись на него лбом, чтобы я вспомнил о существовании художника как раз в тот момент, когда узнал о его смерти.

Однако со смертью Балестриери дело обстояло не так просто, как можно было подумать. В тот же день, частью из негодующих намеков консьержки, частью из более откровенных комментариев группы друзей, с которыми я встретился в кафе, я воссоздал для себя картину смерти старого художника. Так вот, умер Балестриери, по-видимому, в чрезвычайно пикантный момент, то есть как раз тогда, когда занимался любовью с девушкой, которая так часто мне улыбалась. При этом любовный акт был не вполне естественным, если понимать под естественным тот, что ведет к деторождению, а был какой-то особой эротической его деформацией, так что Балестриери был убит, если можно так выразиться, не самою любовью, а именно способом, каким совершался любовный акт. Консьержка не пожелала высказаться яснее, ограничившись негодующими намеками, друзья же, от души веселясь, не скупились на подробности — можно было подумать, что они присутствовали в студии в момент его смерти; однако, насколько я понял, это были всего лишь их домыслы. Балестриери вдруг почувствовал себя плохо и умер прямо на глазах перепуганной девушки — это единственное, что можно было утверждать с уверенностью. Однако



то, что девушка была его любовницей, что нашли его в постели и полуголым, что девушка прибежала за консьержкой в халате, наброшенном прямо на голое тело, по-видимому, подтверждало слух о внезапной смерти, случившейся в минуту страсти. Правда, те, кто не хотел верить этой версии, говорили, что девушка была в халате, потому что позировала, и что Балестриери имел обыкновение летом работать в трусах и майке. С другой стороны, версию о смерти в минуту любви подтверждали слова врача, которого вызвали к умирающему: «Если бы этот человек отдавал себе отчет в том, что в его возрасте некоторые вещи непозволительны, он был бы еще жив». Другие, правда, говорили, что, осмотрев Балестриери, врач сказал девушке: «Синьорина, это вы его убили», а потом добавил: «Вернее, помогли покончить с собой». Но никто не знал этого врача, неизвестно было, где он работает (может быть, он служил в одной из многочисленных аптек нашего квартала), и я не стал его разыскивать.

Когда в тот же день я вернулся в студию, пообедав в небольшой траттории на улице Маргутта, я обнаружил там небольшой сверток и записку от матери. В записке мать давала мне урок хороших манер: «В следующий раз, прежде чем удрать, зайди, по крайней мере, попрощаться», а в свертке был смокинг и светлые брюки, которые Рита замечательно отчистила и отгладила. Я швырнул все на пол, лег на диван и зажег сигарету. Как обычно, меня одолевала ужасная скука и мне казалось странным, что другие этого не видят: они не замечали, что они, как, впрочем, и весь остальной мир, для меня просто не существуют, и продолжали, подобно моей матери, вести себя так, будто никакой скуки нет и в помине. Куря сигарету, я потихоньку размышлял о своем положении, которое день ото дня делалось все хуже; в конце концов я спросил себя, что же мне теперь делать,— ведь от живописи я отказался, а взять деньги у матери так и не решился. Я понимал, что по-настоящему, в смысле действия, которое существенно бы что-то переменило, поделать ничего нельзя, но у меня всегда оставалась возможность сделать то, что делает человек, попавший в безвыходную ситуацию: он примиряется с ней и старается к ней приспособиться.

В каком-то смысле — думал я — я был похож на отпрыска знатного, но обедневшего рода, который вопреки всему желает вести роскошный образ жизни своих предков. В тот день, когда он примирится с ситуацией, до того казавшейся ему невыносимой, но которая между тем воспринимается как совершенно нормальная бесчисленным множеством других людей, он поймет: все, что выглядит нестерпимым при каком-то определенном уровне жизни, воспринимается совсем иначе при уровне жизни более низком. Ведь, в сущности, сильнее всего я страдал не столько от скуки, сколько от мысли, что ее могло бы не быть, что ее не должно было быть. Иными словами, я чувствовал себя отпрыском очень знатного и очень древнего рода, в котором никто никогда не скучал, то есть всегда умел вступить с реальностью в нормальные прямые отношения. Мне следовало забыть о том, что я принадлежу к этому роду, и раз и навсегда примириться с положением, в котором я очутился. И все-таки разве можно было жить скучая, то есть не вступая ни в какие отношения с реальностью, и при этом — не страдать? Вот в чем была проблема.

Под эти мысли я задремал, а потом и заснул очень тяжелым сном; мне казалось, что, засыпая, я захлебываюсь, иду ко дну. Мне приснился очень ясный сон: я видел себя перед мольбертом, с палитрой в одной руке и кистью в другой. На подрамнике натянут чистый холст. Рядом с мольбертом стоит натурщица, что очень странно, так как я давно уже бросил фигуративную живопись. Это молодая женщина в очках, очень серьезная, лицом похожая на Риту, но со странно плоским, лишенным объема телом, на бескровной белизне которого траурно чернеют пятна сосков, похожие на большие темные монеты, и темный треугольник лобка. Очевидно, я пишу ее портрет — моя рука движется, кисть перемещается по невидимой поверхности холста. Я рисую, рисую, старательно, сосредоточенно, уверенно, картина продвигается, натурщица боится вздохнуть, боится шевельнуться — ее вообще можно принять за мертвую, если бы не поблескивающие очки и ироническая улыбка, которая кривит ее губы. Наконец бесконечно долгий сеанс завершен, картина готова, и я делаю шаг назад, чтобы ее рассмотреть. Но какая странность: холст пуст, бел, чист, на нем нет и следа обнаженного тела — не только картины, даже наброска; нет сомнения, что я работал, но я ничего не сделал. В ужасе я хватаю первый попавшийся тюбик, выдавливаю краску на палитру, обмакиваю в нее кисть и снова с яростью набрасываюсь на холст. Никакого эффекта: холст остается чистым, девушка же, видя тщетность моих усилий, улыбается все насмешливее, хотя большие очки в черепаховой оправе по-прежнему придают ей какой-то лицемерно-благонравный вид.

Чья-то рука ложится на мое плечо — это Балестриери собственной персоной: с покровительственной улыбкой на багровом лице берет он у меня кисть и палитру и встает перед холстом, повернувшись ко мне спиной. Он в рубашке с короткими рукавами и трусах — одеяние, заставляющее меня вспомнить о Пикассо, с которым я вообще обнаруживаю вдруг у него неожиданное сходство. Теперь рисует Балестриери, а я гляжу на его затылок, заросший серебряными волосами, и думаю, что вот Балестриери умеет рисовать, а я не умею. Балестриери заканчивает работу. Балестриери отходит, и я стою перед его картиной. Не знаю, хороша она или плоха, но, вне всякого сомнения, она существует: холст уже

не пустой и не белый, иаким он был, когда кончил рисовать я,— на нем теснятся линии и краски. И неожиданно меня вдруг охватывает ярость: я беру нож, которым обычно пользуюсь при соскабливании краски, и делаю на картине несколько глубоких продольных разрезов. Но, о ужас: оказывается, я разрезал не холст, а тело натурщицы. И я вижу, как из этих длинных вертикальных разрезов — от груди до ног — начинает сочиться кровь. Кровь красная, ее много, она образует бесчисленные ручейки, которые, сливаясь, образуют на теле девушки, улыбающейся как ни в чем не бывало, сплошную кровавую сетку, а я все режу и режу — упорно, методично, до тех пор, пока не пробуждаюсь от собственного мучительного нечленораздельного крика.

День был пасмурный, комната погружена в тусклый свет сумерек. Я вскочил с дивана и, словно бы следуя какому-то внезапному озарению, бросился к двери, открыл ее и вышел в коридор. Там было пусто, все три двери заперты, но, приглядевшись повнимательнее, я заметил, что та, которая ведет в студию Балестриери, чуть-чуть приоткрыта. Не размышляя, продолжая действовать словно бы по наитию, я подошел к ней, убедился, что она и в самом деле не заперта, толкнул и вошел.

Я никогда раньше не бывал в студии старого художника и, таким образом, мог объяснить свой приход самому себе простым любопытством. Шторы на окнах были опущены, и в комнате было почти темно; лампа под красным абажуром на резной позолоченной деревянной ножке, почему-то наводившая на мысль о церковной утвари, горела на столе, покрытом скатертью из пурпурного дамаска. Разглядывая студию Балестриери в кровавом свете этой лампы, я убедился в том, что она совсем не похожа на мою. Она была больше, и в ней была еще внутренняя лестница, которая вела на антресоли, куда выходили две маленькие двери. Кроме того, если моя студия, кое-как обставленная, всегда в беспорядке, выглядела как типичный приют художника, то обставленная «под старину» студия Балестриери, как я сразу с бессознательной неприязнью отметил, была похожа на мещанскую гостиную, какие были в моде лет сорок-пятьдесят назад; никто бы не догадался, что здесь обитает художник, если бы не пресловутые «ню», густо, одна к другой развешанные по стенам от пола до потолка, да монументальный мольберт, стоящий в хорошо освещенном месте, у самого окна; на мольберте был холст с незаконченной картиной.

Меня особенно поразила мрачность этой комнаты: мебель, либо старинная, либо подделанная под старину, была вся выдержана в стиле Возрождения; стены под картинами обиты пурпурным дамаском; на полу грудой навалены персидские ковры с густым и темным рисунком. Я закрыл за собой дверь, огляделся и, вдыхая стоявший в комнате специфический запах — домашний и в то же время отдающий тлением,— медленно подошел к холсту. Неоконченная картина несомненно была та самая, над которой работал Балестриери в день смерти, запечатлевая на ней свою юную любовницу: признаюсь, что мне было любопытно увидеть, как она была сложена. Однако, очутившись перед холстом, я почувствовал разочарование и недоверие. Набросок углем, сделанный Балестриери, плохо соотносился с образом той хрупкой, с детским личиком девушки, которая так часто мне улыбалась. Это было типичное его «ню» с преувеличенными формами и в нарочитой позе: девушка присела, сцепив на затылке руки, так что на первом плане оказались бедра и груди, то есть те части женского тела, к которым Балестриери был, по-видимому, особенно неравнодушен. Меня поразили ширина бедер и тяжелые груди — ничего подобного я вроде бы не замечал в его натурщице. Правда, тонкая талия и хрупкие руки и плечи вполне могли принадлежать ей. Характерная деталь: Балестриери не позаботился о том, чтобы хотя бы набросать лицо, так что никакая идентификация, во всяком случае для меня, была просто невозможна.

Я долго смотрел на холст и думал о том, что Балестриери и в самом деле был очень плохим художником, даже если мерить его по меркам старой натуралистической школы, к которой он, по-видимому, принадлежал; затем я отошел от мольберта и стал одну за другой рассматривать картины, развешанные на стенах. Как я уже говорил, все это были обнаженные женские тела, запечатленные по большей части в нарочитых, неестественных позах, и, глядя на них, я подумал, что Балестриери, хотя и был плохим художником, отличался необыкновенной старательностью и был кропотлив до педантизма: было видно, что он не полагается на вдохновение, а работает как старые мастера, кроя картину несколькими слоями лака, по многу раз возвращаясь к одним и тем же деталям, пока не убедится, что сделал все возможное. Результатом же, увы, был специфический фотографический натурализм, тот самый «вылизанный» стиль, который царит обычно на выставках коммерческих галерей. Но, с другой стороны, нельзя было не признать, что в своем роде это было совершенство, то омерзительное совершенство, которое бывает свойственно порнографическим изображениям. Иными словами, мир Балестриери был очень конкретным и последовательным: ничто не нарушало цельности этого мира, ничто чуждое к нему не примешивалось, и так ли уж важно, что в нем был оттенок маниакальности? Главное, что до самого конца Балестриери чувствовал себя в этом мире прекрасно и никогда даже не пытался выйти за его пределы. Может быть, он и был сумасшедшим, но в таком случае его безумие состояло в том, что он верил в прочность своих связей с реальностью, то есть в собственное здоровье, о чем, между прочим, свидетельствовали и его картины, в то время



как я был убежден, что истинно здоровый человек не может поверить в возможность такой связи, и я действительно в нее не верил, но именно потому и чувствовал себя не здоровым, а больным.

Размышляя обо всем этом, я обошел комнату, разглядывая картины, и ни на одной из них не нашел девушки с детским лицом. И подумал, что именно так и должно было быть: Балестриери никогда не писал свою юную любовницу, ему достаточно было ее любить, то есть он вел себя прямо противоположно тому, что можно было бы предположить, учитывая его преклонный возраст. Я уже собрался уходить, когда какой-то шорох наверху заставил меня поднять глаза. На антресолях я увидел девушку Балестриери: не спеша, опустив голову и, видимо, не замечая моего присутствия, она спускалась по лестнице, одной рукой держась за перила, а другой прижимая к груди какой-то большой сверток.

Спустившись, она подняла наконец глаза и, видимо, испугалась, увидев меня прямо перед собой — у стола, в центре комнаты. Но это длилось одно мгновенье, сразу же после по ее лицу разлилось безмятежное спокойствие, словно эта встреча не была для нее неожиданностью, а подготовлялась заранее. Я сказал в некотором замешательстве: «Я живу в студии по соседству, может быть, вы меня когда-нибудь видели, я зашел посмотреть картины».

— А я,— сказала она, указывая на сверток,— зашла взять свои вещи, прежде чем студию сдадут снова. Я была его натурщицей, у меня остались ключи, так что я смогла войти.

Я заметил, что в ее произношении не было решительно ничего характерного, ничего, что позволило бы угадать место ее рождения или социальную принадлежность. Голос, невыразительный и бесцветный, экономная и точная интонация говорили о стремлении к какой-то даже нарочитой, преувеличенной сдержанности. Не зная, что сказать, я сказал первое, что пришло мне в голову: «Вы часто бывали у Балестриери?»

— Да, почти каждый день.

— А когда он умер?

— Позавчера вечером.

— И в это время вы были тут?

Я увидел, как она взглянула на меня своими большими темными глазами, которые, казалось, не видели окружающего, а только отражали его в себе. «Ему стало плохо в тот момент, когда я ему позировала».

— Он рисовал вас?

— Да.

И тут, не скрывая удивления, я воскликнул: «Но где же тогда тот холст, на котором он вас рисовал?»

Она указала на мольберт: «Вот этот».

Я обернулся, бросил на картину беглый взгляд, потом долгим взглядом посмотрел на нее. В полутьме, которая размывала ее облик, скрадывая все контуры, фигура девушки казалась еще более хрупкой и инфантильной: из-под широкого колокола юбки виднелись тонкие ножки, грудь выглядела совсем маленькой, большие темные глаза занимали пол-лица. Я недоверчиво сказал:

— Неужели для этого наброска позировали вы?

В свою очередь она удивилась моему изумлению: «Да, в что? Вам не нравится, как он меня нарисовал?»

— Я не знаю, нравится мне это или не нравится, но вы здесь непохожи.

— Но тут нет лица, лицо он всегда рисовал в последнюю очередь, а без лица как можно сказать, похожа или непохожа?

— Я хочу сказать, что это тело непохоже на ваше.

— Вы думаете? Но на самом деле я именно такая.

Я чувствовал, как бессмысленно и фальшиво звучит эта якобы серьезная дискуссия в связи с подобным наброском и вдобавок еще и с проблемой сходства. И хотя мне было стыдно за то, что я как бы шел навстречу возникшему между нами молчаливому сговору, который мне следовало бы отвергнуть, я все-таки не удержался и воскликнул: «Ну нет, это невозможно, я не могу этому поверить!»

— В самом деле? — сказала она.— И все-таки я именно такая.

Положив сверток на стол, она подошла к мольберту, некоторое время разглядывала холст, потом обернулась: «Может быть, тут и есть небольшое преувеличение, но в основном все правильно».

Не знаю почему, но, увидев ее рядом с мольбертом, я вспомнил свой дневной сон. И спросил просто так, чтобы что-нибудь сказать: «Балестриери сделал с вас только этот портрет или есть и другие картины?»

— Ну что вы, он рисовал меня множество раз.

Она подняла глаза к полотнам, развешанным на стенах, и, показывая то на одно, то на другое, стала перечислять: «Вот это я, и там я, и вон там наверху, и еще там». И словно подбивая итог, заключила: «Он рисовал меня не переставая. Он заставлял меня позировать часами».

Внезапно мне почему-то захотелось сказать о Балестриери что-нибудь дурное: может быть, таким путем я надеялся добиться от нее более личной, более выразительной интонации. И я сказал очень резко: «Столько трудов ради такого ничтожного результата».

— Почему вы так говорите?

— Да потому, что Балестриери был очень плохой художник, можно сказать — вообще не художник.

Она никак на это не реагировала, сказала только: «Я ничего не понимаю в живописи».

Но я упорствовал: «В сущности, Балестриери был просто мужчиной, которому очень нравятся женщины».

С этим она охотно согласилась: «Да, это правда».

Она взяла со стола свой сверток и посмотрела на меня вопросительно, как бы говоря: «Я ведь сейчас уйду, почему ты не делаешь ничего, чтобы меня задержать?» И тут я сказал с внезапной ласковостью в голосе, ласковостью, которая удивила меня самого, потому что ничего подобного я не хотел и не ожидал: «А может быть, зайдем на минутку в мою студию?»

Я видел, как она загорелась внезапной простодушной надеждой: «Вы хотите, чтобы я вам позировала?»

Я растерялся. В мои намерения не входило ее обманывать, но она вдруг сама предложила мне обман, который унижал меня вдвойне: и потому, что это был обман, и потому, что это был худший из обманов, к которому я мог прибегнуть,— художник приглашает к себе в студию красивую девушку под предлогом, что хочет ее писать,— одним словом, обман, достойный Балестриери. И потому я раздраженно заметил: «А что, Балестриери тоже первый раз пригласил вас к себе под предлогом, что он хочет написать ваш портрет?»

Она серьезно сказала: «Нет, я стала ходить к нему, чтобы брать уроки рисования. Потом он действительно захотел меня рисовать, но это позже».

Итак, для нее обман с позированием был не обманом, а вполне серьезным предложением. Она даже добавила: «Сейчас у меня как раз есть время. Если хотите, я могу попозировать вам до ужина».

Я подумал, нужно ли объяснить ей, что я бросил рисовать и что даже в ту пору, когда еще рисовал, никогда не писал фигуративных картин. Но тогда — размышлял я — мне придется искать другой предлог, чтобы пригласить ее к себе, так как, судя по всему, предлог ей требовался. Тем более стоило принять этот, с позированием. И я произнес беспечно, ничего особенно не уточняя: «Хорошо, пойдемте ко мне».

— Я и для Балестриери всегда позировала в эти часы,— сообщила она с довольным видом, испытывая явное облегчение, и взяла со стола свой сверток.— Он всегда работал с четырех до семи.

— А по утрам?

— И по утрам тоже, с десяти до часу.

Мы направились к двери. Я понимал, что она в последний раз видит студию, где прошла значительная часть ее жизни, и полагал, что простая жалость к умершему заставит ее что-нибудь сказать или, по крайней мере, на прощанье оглядеться вокруг. Но она ограничилась тем, что спросила, бросив взгляд на стены: «А сейчас, когда он умер, что будет с этими картинами?»

Я ответил по-прежнему резко: «Может быть, попытаются их продать. Потом, когда увидят, что никому они не нужны, свалят где-нибудь в подвале».

— В подвале?

— Да, в подвале.

— Но у него есть жена, с которой он был в разводе. Картины перейдут к ней.

— А уж она тем более их выбросит.

Она ничего на это не сказала, всем своим видом выражая безучастную сдержанность. И глядя на то, как идет она с огромным свертком под мышкой впереди меня — словно бы принужденно и сопротивляясь, а на самом деле решительно и твердо, я подумал, что она похожа на человека, который переезжает с одной квартиры на другую. Да, она меняла студию Балестриери на мою — вот в чем было дело. Догнав ее, я распахнул перед ней дверь со словами: «Как видите, моя студия совсем не похожа на студию Балестриери».

Она не ответила, так что можно было подумать, что она как раз не видит никакой разницы между моей студией и студией своего старого любовника. Она просто подошла к столу, положила на него сверток и, обернувшись ко мне, спросила: «Где здесь ванная?»

— Вон та дверь.

Она направилась к ванной комнате и исчезла за дверью. Я подошел к дивану и поправил подушки, на которых недавно спал; потом принялся собирать бесчисленные окурки, которые бросал прямо на пол. Делая все это, я продолжал думать о девушке и пытался понять, нравится ли она мне, действительно ли мне хочется заняться с ней тем, чего она от меня ожидала, и вдруг понял, что не испытываю ни малейшего желания. И тогда я сказал себе, что расспрошу ее о Балестриери и об их отношениях, которые меня почему-то интересовали, а потом отошлю.

Я был так спокоен и так уверен в своем спокойствии, что совершенно забыл о предлоге,



подсказанном мне девушкой и мною неосмотрительно принятом,— о рисовании. И потому был прямо-таки изумлен, когда дверь ванной комнаты отворилась, и девушка появилась на пороге. Она была голой, совершенно голой, и шла на цыпочках, прижимая к груди полотенце. При виде ее у меня сразу же мелькнула мысль, что Балестриери не преувеличивал, когда изображал ее с теми пышными формами, в которые я не мог поверить. У нее действительно были великолепные груди, смуглые и крепкие, которые совершенно не соотносились с торсом, худеньким и хрупким, как у подростка, и существовали словно бы отдельно от него. И талия была тоже как у юной девушки, неправдоподобно тоненькая и гибкая, но бедра, плотные и сильные, выглядели такими же зрелыми, как груди. Она шла, выставив вперед грудь и подобрав живот, с какой-то даже алчностью глядя на мольберт, который стоял у окна; подойдя к нему, она, не оборачиваясь, спросила своим лишенным всякого выражения голосом, сухо и коротко: «Где мне встать?»

Я спросил себя, была ли в ней в этот момент хотя бы капля притворства, и вынужден был признать, что не было. Она всерьез относилась к своим обязанностям натурщицы, даже если и подозревала, что то был предлог для завязывания отношений совсем другого рода. И, помню, я тогда подумал, что она, должно быть, просто неспособна увязать в своем сознании одну вещь с другой и это позволяет ей быть искренней. Я спокойно ответил: «Никуда не надо вставать». Она удивленно обернулась: «Почему?»

Я объяснил: «Мне очень жаль, но я проявил легкомыслие, согласившись воспользоваться подсказанным вами предлогом. На самом деле я уже давно не пишу. Да и когда писал, никогда не изображал ни натурщиц, ни вообще какие-либо реальные предметы. Я искренне сожалею, извините».

Она сказала прежним своим бесцветным голосом, вовсе не выглядя при этом обиженной: «Но вы же сказали, что хотите, чтобы я вам позировала».

— Да, это правда, но давайте считать, что я ничего не говорил.

Медленно, с видом человека, который не придает значения пустякам, она взяла полотенце, которое прижимала к груди, набросила его на плечи и плотно в него закуталась. Затем подошла к дивану, робко и неуверенно, словно я предложил ей сесть, в то время как ничего подобного у меня и на уме не было, и уселась на самом его краю, вдали от меня. Наступила пауза, а потом вдруг на ее детских губах появилась улыбка, которой она всегда улыбалась мне при встрече в коридоре. Я сказал в некоторой растерянности: «Теперь вы будете плохо обо мне думать».

Ничего не говоря, она отрицательно покачала головой. Она смотрела на меня своим ничего не выражающим взглядом так, словно глаза ее были двумя темными зеркалами, которые просто отражали реальность, не понимая ее, а может быть, даже и не видя, и я чувствовал, как растет моя неловкость: было очевидно, что она не собирается уходить и ждет от меня, если можно так выразиться, второй части программы. В поисках общей темы я, естественно, вернулся к Балестриери: «Вы давно познакомились с Балестриери?»

— Два года назад.

— Так сколько же вам лет?

— Семнадцать.

— Расскажите, как вы с ним познакомились.

— Зачем?

— Просто так.

Я подумал немного и добавил совершенно искренне: «Мне интересно».

Она медленно сказала: «Я познакомилась с Балестриери два года назад. У одной моей подруги».

— А кто она, ваша подруга?

— Одна девушка, ее зовут Элиза.

— А сколько лет Элизе?

— Она на два года старше меня.

— Что делал Балестриери в доме Элизы?

— Давал ей уроки рисования, как и мне.

— А какая она, Элиза?

— Блондинка,— сказала она, не вдаваясь в подробности.

Мне показалось, что я припоминаю одну из девушек, которую часто видел в нашем дворе, и сказал: «Блондинка, с голубыми глазами, длинной шеей, овальным лицом и пухлыми, плотно сжатыми губами?»

— Да, это она. Вы ее знаете?

— Да нет, я просто несколько раз видел ее у Балестриери до того, как к нему стали ходить вы. Элиза брала уроки дома или у него в студии?

— И дома, и в студии, как придется.

— Вы не сказали, что произошло в тот день, когда вы встретили Балестриери в доме Элизы.

— Ничего не произошло.

— Хорошо, ничего не произошло. Но в конце-то концов Балестриери стал давать уроки рисования и вам тоже? Как это получилось?

На этот раз она только посмотрела на меня и ничего не сказала. Но я был настойчив: «Вы слышали, что я сказал?»

В конце концов она решилась заговорить. Она спросила: «А зачем вам это знать?»

— Предположим, вы меня интересуете,— сказал я, ясно сознавая, что не то чтобы лгу, но говорю неправду того рода, которая в тот момент, когда я облекаю ее в слова, становится правдой.

Она посмотрела прямо перед собой, как школьница, которая приготовилась отвечать урок строгому учителю, и сказала: «Потом я еще раз встретила Балестриери у Элизы — мы дружили, и я часто у нее бывала. И однажды я попросила его давать уроки и мне, а он сказал, что не может».

Подумать только, я считал, что Балестриери бегает за всеми женщинами, которые попадаются ему на пути, а он, оказывается, вон как — отверг предлог, который подсказала ему сама девушка. Я спросил: «И почему, вы думаете, Балестриери вам отказал?»

— Не знаю, просто не хотел.

— Может быть, он был влюблен в Элизу?

— Не думаю.

— Но тогда почему он не захотел?

Она объяснила: «Сначала я подумала, что это Элиза его отговорила, потом поняла, что она об этом даже не знает. Он просто не хотел и все. Я подумала — может, ему не нравится, что я буду приходить к нему в студию, и сказала, что он может давать мне уроки у меня дома. Но он все равно отказался. Видно, ему не хотелось».

— Но вам-то зачем так нужны были эти уроки?

Она замялась и покраснела — ее бледное лицо вдруг пошло пятнами: «Я влюбилась в него,— сказала она,— вернее, мне показалось, что влюбилась».

— И почему же он этим не воспользовался?

— Не знаю.

Она снова замялась, потом, словно перестав вдруг меня стесняться, заговорила гораздо свободнее, чем раньше, хотя и оставалась по-прежнему точной и немногословной.

— Все дело в том, что я ему не нравилась. Два или три месяца он даже старался избегать со мной встречаться, и я очень от этого страдала. Я ведь действительно была влюблена. И тогда я пошла на хитрость.

— На хитрость?

— Да. Как-то раз я пригласила Элизу позавтракать со мной и выбрала тот час, когда, я знала, она должна была идти к Балестриери. Я сказала ей, что он звонил и просил в этот день не приходить, потому что был занят, а сама пошла к нему.

— И как Балестриери отнесся к вашей проделке?

— Сначала хотел меня выгнать. Потом стал любезнее.

— И вы прямо в этот день занялись любовью?

Она снова покраснела, как и раньше, пятнами и молча кивнула.

— Ну, а Элиза?

— Элиза так и не узнала, что в тот день я пошла к Балестриери вместо нее. А некоторое время спустя они разошлись.

— Вы по-прежнему с ней дружите?

— Нет, мы даже не встречаемся.

Возникла пауза. Я понимал, что устраиваю ей почти полицейский допрос, которому она, впрочем, охотно подчинялась, и спросил себя, что же я на самом-то деле хочу выяснить? Ведь ясно же, что меня интересовали не сами факты, а то, что за ними стояло, их сущность, их первопричина. В чем она состояла? И я резко спросил:

— А почему вы влюбились в Балестриери?

— То есть как это почему?

— Я имею в виду — почему именно в Балестриери, старика, который годился в отцы вашему отцу.

— Какие могут быть причины, когда влюбляешься? Влюбляешься и все.

— Ну, положим, причины есть всегда и на все.

Она взглянула на меня, и, странная вещь, мне показалось, что сейчас она сидит ко мне гораздо ближе, чем раньше. Или то была оптическая иллюзия, возникшая оттого, что в результате допроса она стала мне ближе и понятней? Наконец она сказала, почти шепотом, наклонившись вперед и пристально на меня глядя: «Я испытывала к нему сильное влечение».

— Влечение какого рода?

Она ничего не сказала, только посмотрела на меня. Но я настаивал: «Так какого рода?»

— Ну если хотите, пожалуйста, я могу сказать. Балестриери был чем-то похож на моего отца, а я, когда была маленькая, испытывала к отцу настоящую страсть.

— Страсть?

— Да, он даже снился мне по ночам.

— Итак, вы влюбились в Балестриери, потому что он был чем-то похож на вашего отца?



— Да, и потому тоже.

Снова наступила пауза, потом я спросил:

— А почему, вы думаете, Балестриери поначалу не хотел о вас и слышать?

— Я уже сказала: я ему не нравилась.

— «Не нравилась» — это ничего не объясняет. Могут быть тысячи причин, по которым кто-то нам не нравится.

— Наверное, были и причины, но я их не знаю.

— Но кое о чем вы могли бы догадаться. Как вы думаете, может быть, Балестриери не хотел иметь с вами дела, потому что, по его мнению, вы были для него слишком молоды?

— Нет, дело не в этом.

— А может быть, он испытывал к вам то же чувство, что вы к нему,— то есть вы казались ему дочерью?

— Не думаю, если бы это было так, он бы сказал.

На некоторое время я замолчал, старательно обдумывая услышанное. Теперь мне было уже ясно, что я расспрашиваю девушку о Балестриери для того, чтобы понять кое-что про себя самого: ведь я тоже до сих пор отвергал все ее попытки к сближению, и мне тоже казалось, что она в меня влюблена. «А вы не думаете,— сказал я наконец,— что Балестриери просто боялся познакомиться с вами ближе?»

— Боялся? Почему он должен был меня бояться?

— Потому что предвидел то, что в действительности потом и произошло: боялся влюбиться. Любовь иногда внушает страх.

— Мне,— сказала она многозначительно,— она страха не внушает.

Но я продолжал упорствовать: «Вы не ответили на мой вопрос. Балестриери избегал вас, потому что боялся?»

— Да ничего он не боялся. Да, я еще вспомнила, что потом он как-то мне сказал: «Если бы не та твоя уловка, я бы никогда не поддался — ты мне не нравилась». Помолчав, она добавила: «Это все, больше я ничего не могу сказать».

Я понял, что, двигаясь в этом направлении, ничего не добьюсь, и подошел к делу с другой стороны: «Но потом-то он в вас влюбился, так или нет?»

— Так.

— И сильно?

— Да, очень сильно.

— А почему?

Я видел, что она наклонилась вперед и внимательно на меня посмотрела. Она и в самом деле сидела сейчас совсем рядом, это не было оптическим обманом — ее колени касались моих. Она сказала:

— Откуда я знаю?

— Но разве он не говорил вам о своей любви?

— Говорил.

— И что он говорил?

Судя по всему, она задумалась над моим вопросом, но при этом почему-то так резко качнулась в мою сторону, что я испугался, что она на меня сейчас просто рухнет. Из-за полотенца, в которое ее тело было погружено, как в футляр, она казалась мне чем-то вроде до краев наполненного сосуда, который, накреняясь, словно бы предоставляет мне возможность из него зачерпнуть. В конце концов она сказала:

— Я не помню, что он говорил. Помню только, что делал.

— И что же он делал?

— Ну, например, плакал.

— Плакал?

— Да, обхватывал вдруг голову руками и начинал плакать.

Я представил себе Балестриери, каким я его всегда видел: да, конечно, старый, седой, но еще такой крепкий, широкоплечий, твердо стоящий на ногах, с лицом, которое всегда пылало от кипящих в нем жизненных сил, и спросил в совершеннейшем смятении: «Почему же он плакал?»

— Не знаю.

— Он не говорил вам, почему плачет?

— Нет, говорил только, что плачет из-за меня.

— Может быть, он ревновал?

— Нет, он был не ревнив.

— Но у него были поводы для ревности?

Некоторое время она, словно не понимая, молча смотрела на меня, потом коротко ответила: «Нет».

— Неужели он плакал молча, ничего не говоря?

— Нет, он всегда что-нибудь говорил.

— А, вот видите, значит, говорил. И что же он говорил?

— Говорил, например, что уже не может без меня обойтись.

— Ага, так значит, у него были причины плакать: он хотел бы обходиться без вас, но не мог.

Она педантично меня поправила: «Нет, он говорил только, что не может без меня обойтись. Он никогда не говорил, что хочет от меня избавиться. Наоборот, когда однажды я решила его бросить, он попытался покончить с собой».

Меня поражало, что ее тон совершенно не менялся, говорила ли она о какой-то ерунде, или вот, как сейчас, сообщала о том, что Балестриери хотел из-за нее покончить с собой. Я переспросил: «Пытался покончить с собой? И каким же образом?»

— С помощью этих лекарств, знаете, которые пьют от бессонницы. Не помню названия.

— Барбитураты?

— Да-да, барбитураты.

— И ему было плохо?

— Да, ему было плохо два дня, но потом все прошло.

— А он вообще страдал бессонницей?

— Да, он принимал барбитураты. Бывали ночи, когда он спал самое большее два часа.

— А почему?

— Почему ему не спалось? Не знаю.

— Из-за вас?

— Он говорил, что все, что с ним случалось, было из-за меня.

— И больше ничего? Он никак это не объяснял?

— Да, сейчас я вспомнила, что он говорил, будто я для него как наркотик.

— Ну, это общее место, вам не кажется?

— А что такое общее место?

— Ну, неоригинальная мысль. Такое мог бы сказать всякий.

Снова пауза. Потом я опять начал допытываться: «И все же, почему Балестриери считал, что вы для него как наркотик?»

И тут наконец она, в свою очередь, обратилась с вопросом ко мне. Она сказала очень медленно: «А почему вы меня обо всем этом спрашиваете?»

Я ответил вполне искренне: «Потому что во всей этой вашей истории с Балестриери есть что-то, что вызывает у меня любопытство».

— Что именно?

— Сам не знаю. Потому я вас и расспрашиваю. Чтобы понять, зачем я это делаю.

Она не улыбнулась и снова взглянула на меня своим внимательным, хотя и невыразительным взглядом, наклонившись надо мною так низко, что я ощутил теплоту и свежий запах ее тела. Потом она попыталась что-то объяснить: «Я думаю, Балестриери считал, что я для него как наркотик, потому что с каждым днем он нуждался во мне все больше. Он так и говорил: дозы, которой мне было достаточно раньше, теперь мне мало».

— В каком смысле он все больше в вас нуждался?

— Во всех смыслах.

— В смысле постели?

Она посмотрела на меня и ничего не сказала. Я повторил вопрос. Тогда она, казалось, решилась и ответила без всякой уклончивости:

— Да, и в смысле постели.

— Вы часто занимались любовью?

— Сначала один-два раза в неделю, потом через день, потом каждый день, потом дважды в день. Под конец уже нельзя было сосчитать.

— И он никак не мог насытиться?

— Он уставал. Иногда ему даже становилось плохо. Но ему всегда было мало.

— А вам это нравилось?

Она замялась, потом сказала: «Женщине не может не нравиться, когда мужчина показывает, как он ее любит».

— Но он действительно вас любил? Или просто нуждался в вас по привычке, как больной нуждается в наркотике?

— Нет,— сказала она с неожиданным жаром,— он меня действительно любил.

— И в чем это проявлялось?

— Разве это можно объяснить? Такие вещи просто чувствуешь.

— И все-таки?

— Ну, например, он хотел на мне жениться.

— Разве он не был женат?

— Был, но он говорил, что сумеет добиться развода.

— А вы соглашались?

— Нет.

— Почему?

— Не знаю. Мне не хотелось выходить за него замуж.

— Значит, вы его не любили?

— Я никогда его не любила.— Тут она запнулась, видимо, боясь показаться неточной, и добавила: «Вернее, я его любила, но только в первое время, когда мы познакомились».

Наступила долгая пауза. Теперь она сидела совсем рядом, почти нависая надо мною, лежащим, и пристально на меня глядя; казалось, она вот-вот на меня упадет, и я снова подумал о сосуде, о прекрасной вазе с двумя ручками, с округлыми боками, доверху наполненной желанием, которая вот-вот опрокинется и меня затопит. Наконец я сказал: «Я устроил вам настоящий допрос, вы, наверное, устали».

— О нет,— ответила она поспешно,— я совсем не устала, наоборот.

— Что значит наоборот?

— Мне было даже приятно,— сказала она, помолчав,— вы заставили меня подумать о вещах, о которых я никогда не думала и не думаю.

— Вы никогда не думаете о Балестриери?

— Никогда.

— Даже сегодня, в тот день, когда отсюда вынесли его тело?

— А сегодня тем более.

— Почему?

Она посмотрела на меня и ничего не сказала. Я повторил: «Почему „сегодня тем более"?»

Наконец она ответила, очень просто: «Потому что сегодня я думаю только о вас. Я хотела было пойти за гробом, проводить его издали, незаметно, но потом раздумала и вернулась. Я боялась, что сменят замок».

— Ну и что?

— Тогда я уже не смогла бы воспользоваться этим предлогом для того, чтобы вас увидеть.

Сделав вид, что я пропустил это признание мимо ушей, я спросил:

— И все же Балестриери что-то для вас значил?

— Ну, разумеется.

— Что же?

Она на мгновение задумалась, потом сказала: «Не знаю. Конечно, что-то он для меня значил, но что — я никогда об этом не думала и потому не знаю».

— Подумайте сейчас.

— Я не могу об этом думать. Нельзя заставить себя думать о ком-то или о чем-то. Тут уж или думаешь, или не думаешь. Это получается само собой.

— А в эту минуту о чем вам думается «само собой»?

— О вас.

Я замолчал, потом зажег сигарету и сказал, как бы подводя итог: «Ну все, можете быть спокойны, с допросом покончено, мы подходим к финалу. Итак, если для вас Балестриери значил не так уж много, можно даже сказать — ничего не значил, вы для него были чем-то весьма реальным, весьма конкретным. Чем-то, без чего он не мог обойтись, говоря вашими словами, или чем-то вроде наркотика, если говорить его словами».

— Да, это так.

— То есть для Балестриери вы были не только чем-то весьма реальным, вы были единственной реальностью, которая для него существовала. Ведь когда вы ему сказали, что уйдете, он попытался покончить с собой. Он потому это и сделал, что ваш уход лишал его единственной реальности.

Слушая, она смотрела на меня с видом вежливым и благонравным, но было совершенно очевидно, что мои речи проходят мимо ее ушей; так смотрит ребенок на мать, когда та читает ему мораль, прежде чем дать конфету: он терпеливо пережидает проповедь, которой не придает никакого значения, чтобы по окончании вступить в обладание конфетой. Тем не менее она сказала: «Да, это правда, я сейчас вспоминаю, что Балестриери всегда говорил, что я для него все».

— Вот видите? Таким образом, хотя он и был несчастливым любовником и плохим художником, кое в чем ему все-таки можно было позавидовать.

— В чем?

— В том, что он мог кому-то сказать: «Ты для меня все».

Она снова замолчала; казалось, она не была уверена, что хорошо поняла смысл моих слов, но доискиваться его не хотела; ей была важна конфета, а не мораль.

Я же опять вернулся к своему: «Ну, а теперь хватит о Балестриери, поговорим о нас».

Казалось, она оживилась — при всей ее сдержанности это было видно по еле заметным признакам: она слегка подалась вперед, как бы демонстрируя внимание и интерес, и легким движением бедер переместилась по дивану еще ближе ко мне.

— Вот уже три или четыре месяца,— сказал я,— мы сталкиваемся в коридоре, и каждый раз, когда вы меня видите, вы смотрите на меня с улыбкой, которую я назвал бы многозначительной. Это так? Если не так, скажите, значит, у меня сложилось неверное мнение.

Она ничего не сказала, только посмотрела на меня так, словно ждала, когда же я кончу этот разговор, который ее совершенно не интересовал. Я продолжил: «Вы не отвечаете,

и я заключаю из этого, что не ошибся. Я прекрасно понимаю, чего вы от меня хотите. Простите за грубость, но все эти четыре месяца вы даете мне понять, что охотно занялись бы со мною тем, чем занимались с Балестриери. Во всяком случае, я так понял. Если я опять-таки ошибся, скажите».

Она по-прежнему молчала, но на лице ее выразилось нечто вроде робкого удовлетворения по поводу того, что ее так хорошо поняли. Я продолжал: «Балестриери говорил вам, что вы для него все. Это „все" означало, насколько я мог понять, действительно все. Я же, к сожалению, ощущаю прямо противоположное: если для Балестриери вы были „все", для меня вы не значите ничего».

Я на минуту замолчал, глядя на нее, и не мог не восхититься ее невозмутимостью. Она сказала, скромно потупив глаза: «Но мы знакомы всего полчаса».

Я поспешил объясниться: «Мне хотелось бы быть правильно понятым. Это совершенно невозможно, чтобы вы стали для меня всем или по крайней мере хоть чем-то в том смысле, какой обычно придается этим словам. Мы действительно, как вы только что заметили, знакомы всего полчаса. Но дело не в этом. Пожалуйста, выслушайте, что я вам скажу, даже если мое объяснение вас не интересует. Итак, я попросил вас зайти ко мне в студию под предлогом, что хочу написать ваш портрет. Верно?»

— Да.

— Но это был именно предлог, то есть неправда. Не говоря уже о том, что я много лет не пишу людей и вообще предметы реального мира, я солгал вам еще вот в чем: я не художник, вернее, с некоторых пор я перестал им быть, потому что мне нечего рисовать; я не способен вступить в контакт ни с чем, что имеет отношение к реальности.

Но она не сдавалась: «Какое это имеет значение — напишете вы мой портрет или нет».

Я не выдержал и рассмеялся. «Я понимаю, вы не видите никакой связи между тем фактом, что я больше не рисую, и тем, чего вам так хочется. А между тем такая связь есть. Послушайте: я сказал, что вы для меня ничего не значите, но вы не должны искать в этой фразе никакого эмоционального содержания. Как бы вам это объяснить? Скажем так: вы предлагаете мне себя, как предлагает себя любая вещь. Возьмем конкретный пример; вот этот стакан, который стоит на столе. У него нет ни ваших прекрасных глаз, ни пышной груди, ни округлых бедер, и, прими я его предложение, он не стал бы ни обнимать меня, ни целовать. И тем не менее он предлагает себя ничуть не меньше, чем вы. И не больше. Точно так же, как вы,— откровенно, бесхитростно, без задней мысли. И я вынужден ему отказать, как отказываю вам, потому что он, как и вы, для меня ничто. Я взял в пример стакан, но мог взять что угодно, даже что-нибудь неосязаемое».

— Но почему так уж «ничто»? — сказала она тихо и несмело, заступаясь за стакан. Я коротко ответил: «Объяснение завело бы меня слишком далеко и было бы, в общем, бесполезно. Скажем так: этот стакан для меня ничто, потому что между нами не существует никаких взаимоотношений».

Она возразила, заступаясь на этот раз за себя: «Но ведь отношения создаются, вам не кажется? Нам постоянно приходится вступать в отношения с людьми, которых мы раньше даже не знали».

Я сказал: «Видите вы эту картину на мольберте?»

— Да.

— Это чистый холст, я не нарисовал на нем ничего. И это единственный холст, который я могу подписать. Смотрите.

Я встал, подошел к мольберту, взял карандаш и поставил в углу свою подпись. Она провожала меня взглядом, пока я шел к мольберту и пока возвращался, но ничего не сказала. Сев на место, я продолжал: «И точно так же единственно возможные отношения между мной и женщиной — это отсутствие отношений, то есть именно те отношения, которые были у нас до сих пор или, вернее, которых у нас не было. Я не импотент, поймите меня правильно, но практически это то же самое, как если бы я был им. Так что можете считать, что так оно и есть».

Я сказал все это решительно и резко, давая ей понять, что больше нам разговаривать не о чем. Но, увидев, что она продолжает сидеть, молчаливая и неподвижная, как будто чего-то ожидая, я не без раздражения добавил: «Если я не испытываю ничего по отношению к вам, если между нами не существует никаких взаимоотношений, как я могу лечь с вами в постель? Это был бы акт механический, чисто внешний, совершенно бессмысленный и, главное, скучный. А значит...»

Я прервал фразу и бросил на нее многозначительный взгляд, словно говоря: «А значит, тебе ничего не остается, как уйти». На этот раз она, кажется, поняла и неохотно, медленно, делая над собой усилие, явно продолжая надеяться, что я остановлю ее и заключу в объятия, начала подниматься с дивана, ухитряясь при этом оставаться сидящей: она слегка приподняла зад, но торс оставался прямым, а ноги согнутыми. Но так как я не торопился заключать ее в объятия, ей все-таки пришлось встать. «Простите,— сказала она смиренно,— но если вам все же понадобится натурщица, вы можете мне позвонить. Я оставлю вам телефон».

Я видел, как она подошла к столу и, придерживая на груди полотенце одной рукой,



другой написала что-то на листке бумаги. «Я до сих пор не сказала вам своего имени: меня зовут Чечилия Ринальди. Я написала его вот здесь, вместе с адресом и номером телефона». Она распрямилась и, ступая на цыпочках, направилась в ванную. Можно было подумать, что на ней вечернее платье: полотенце плотно облегало торс, оставляло открытыми плечи и руки и стелилось сзади как шлейф. Она исчезла, закрыв за собой дверь, но при этом последнем движении полотенце вдруг соскользнуло, и я на мгновение увидел тело, которое Балестриери писал столько раз и которое, видя ее в платье, я не мог себе и представить.

Странно, но едва она вышла, я почему-то стал думать именно о Балестриери. Я все время возвращался мыслью к ее рассказу о том, как старик ее отверг и месяцами избегал с ней встречаться: он чувствовал своим звериным чутьем, чем она для него станет, и боялся; и еще я спрашивал себя, а что бы было, если бы он не уступил ей в тот день, когда она явилась к нему вместо Элизы, а продолжал бы сопротивляться? Вполне вероятно, что в таком случае он был бы сейчас жив, потому что, конечно же, косвенной причиной его смерти были любовные отношения с Чечилией. Но тогда почему он в конце концов не оттолкнул ее, раз сразу понял, что должен был это сделать? Иными словами, что заставило Балестриери смириться с участью, которую он хотя и смутно, но предчувствовал? И вообще — можно ли уйти от судьбы? А если нет, то к чему тогда все, что он пытался сделать? И возможно ли, чтобы не было никакой разницы между судьбой, принятой бессознательно, и той, которую выбирают?

Сейчас, узнав о первой попытке самоубийства, предпринятой Балестриери после того, как Чечилия решила его бросить, я понял, что, продолжая длить свои отношения с девушкой, старый художник совершил второе, уже удавшееся ему самоубийство. Наверное, он и на первое-то пошел из боязни, что с уходом Чечилии у него уже не будет возможности совершить второе.

Размышляя обо всех этих вещах, я не переставал удивляться тому, что я о них размышляю, вернее, тому, что размышлять о них меня побуждало не праздное любопытство, а странное ощущение их роковой для меня притягательности, словно история Балестриери касалась и меня и судьба старого художника была связана с моей судьбой. Я понимал, что, если бы это было не так, я не задавал бы Чечилии столько вопросов: я, может быть, переспал бы с ней, но уж никак не допрашивал.

А я вместо того, чтобы с ней переспать, принялся ее допрашивать, но как бы и о чем бы я ни допытывался, мое любопытство так и осталось неутоленным.

Как я уже сказал, я допрашивал ее именно для того, чтобы понять, почему мне было так нужно ее допрашивать. Это только кажется игрой слов, на самом деле это не игра. В результате мне стало понятно многое, но, судя по чувству неудовлетворенности, которое я испытывал, самое главное от меня все-таки ускользнуло.

Я так погрузился в свои размышления, что не заметил, как Чечилия вышла из ванной и подошла ко мне. Я вздрогнул, услышав ее голос: «Так я с вами прощаюсь».

С трудом поднявшись, я пожал ей руку, механически пробормотав: «До свиданья». Она сказала, еле слышно: «Не беспокойтесь, не надо меня провожать», и я в последний раз почувствовал на себе неподвижный и пристальный взгляд ее больших темных глаз. Потом я увидел, как она взяла со стола свой сверток и направилась к двери, очень медленно, но теперь в этой медлительности не было никакой нарочитости: она действительно чувствовала себя связанной со мной крепкой и прочной связью, и ей трудно было от меня отрываться. На меня почему-то странно подействовало легкое колыхание ее короткой и пышной юбки в сочетании с грациозным покачиванием торса: так покачивается всадник, крепко сидящий в седле. Винтом ходящая юбка и подрагивающий торс — было в этом какое-то бессознательное кокетство, таящее в себе неотразимый соблазн. Я не отрывал от нее глаз, пока она не открыла дверь и не исчезла. Тогда я зажег сигарету и подошел к окну.

Ветреный день клонился к вечеру, в пустом дворе был разлит бледный свет сумерек. В доме напротив в некоторых окнах уже зажгли свет, зеленые кусты аканта, окаймлявшие клумбы, казались почти черными, булыжник двора светился матовой известковой белизной. Как обычно, на нем в таинственном, словно бы не случайном порядке расположилось множество кошек. Одни лежали, подобрав под себя лапки, другие сидели, обернув хвост вокруг лап, третьи медленно и осторожно прохаживались — хвост трубой, нос у самой земли: кошки черно-белые, кошки серые, кошки совершенно белые и совершенно черные, кошки полосатые, кошки рыжие. Я принялся внимательно их разглядывать, что делаю довольно часто,— способ убить время ничуть не хуже любого другого. Затем появилась Чечилия, неся под мышкой огромный сверток. Она шла медленно, опустив голову, пролагая себе путь между кошками, которые даже не шевелились при ее приближении. Проходя под моим окном, она подняла глаза, но на этот раз не улыбнулась. Я поднял руку, чтобы вынуть изо рта сигарету, и вдруг, сам не знаю почему, сделал ей знак вернуться — показал на дверь, которая вела в наш коридор. Она опустила в знак согласия голову и все так же медленно и размеренно, как человек, который позабыл какую-то вещь, но уверен, что найдет ее там, где оставил, повернула назад. Я задернул шторы и лег на диван.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Начиная с этого дня Чечилия стала приходить ко мне один-двв раза в неделю, потом через день и, в конце концов, спустя месяц после нашего знакомства, почти ежедневно. Являлась она всегда в один и тот же час, длились ее визиты всегда одно и то же время и проходили совершенно одинаково, так что доствточно описать один, чтобы дать представление обо всех. Чечилия извещала о своем приходе звонком, который был таким коротким, что я никогда не мог понять, был ли он действительно или только послышался, но именно по этой нечеткости я его и узнавал. Я шел открывать, Чечилия бросалась мне на шею, и мы целовались. И тут я должен сказать, что Чечилия, такая искушенная в делах любви, целоваться не умела. Может быть, потому, что поцелуй представляет собой акт, так сказать, символический, доставляя удовольствие скорее психологическое, чем физическое, а психология, как вы увидите позднее, не была сильным ее местом. А может быть, она не умела целоваться именно со мной, потому что наши отношения были не из тех, что выражают себя в поцелуе. Губы Чечилии были холодными, вялыми, неподвижными, как губы маленькой девочки, которая, ловя ртом ветер, бежит навстречу отцу и, добежав, радостно бросается ему на шею.

Но, с другой стороны, именно во время поцелуя очевиднее всего обнаруживалась двойственная природа Чечилии — одновременно детская и женская. Ведь в то самое время, как она протягивала мне свои бесстрастные бестрепетные губы, которые не умели ни открыться навстречу моему рту, ни проникнуть в него, я всем телом чувствовал, как напрягается ее тело и, выгнувшись наподобие лука, наносит мне лобком сухой и жесткий удар, в котором выражала себя вся требовательная косноязычность ее страсти.

Первый поцелуй был коротким: он не доставлял мне никакого удовольствия, и я прерывал его сам почти сразу же. Чечилия выскальзывала из моих объятий, швыряла на стол перчатки и сумочку, подходила к окну задернуть шторы и наконец начинала раздеваться — происходило это всегда в одной и той же последовательности и в одном и том же месте: между диваном и креслом, куда она бросала, снимая с себя одну за другой, свои вещи.

Я познакомился с Чечилией в июле, когда она носила свою летнюю униформу, которую я уже описывал,— свободную блузку и коротенькую, как балетная пачка, юбку; осенью, с наступлением холодов, она стала приходить в длинном свободном свитере из зеленой шерсти и в черной, очень узкой юбке, которая доходила ей до колен. Первым делом Чечилия всегда снимала с себя через голову этот свитер, на какое-то мгновенье оставаясь с поднятыми руками и спеленутой головой; потом постепенным, энергичным, всегда одинаковым движением она сдергивала с себя свитер и швыряла его, как он был, вывернутым, в кресло. Теперь она была в одной юбке, голая до пояса, потому что готова была терпеть грубое прикосновение шерсти к своей коже, лишь бы ничего не носить под свитером. Она говорила, не хвастаясь, а как бы констатирун очевидность, что груди у нее не нуждались ни в каких подпорках, так как стояли сами по себе, но я все-таки считал, что тут был некнй кокетливый расчет: ей хотелось, чтобы великолепные ее груди явились моим глазам ослепительным, подобным взрыву видением сразу же, как только она сбрасывала свитер. Впрочем, даже эта грудь не снимала общего впечатления незрелости, которое оставляло ее тело: пышная и цветущая, она как будто не имела отношения к хрупкому торсу, из которого вырастала. Этот контраст был особенно разительным, когда Чечилия поворачивалась ко мне спиной — белой узкой худой спиной подростка, и грудь, на мгновенье мелькнувшая где-то между боком и поднятой рукой, настолько с нею не сочеталась, что, казалось, даже сделана была из совсем другой плоти — более теплой, более зрелой, более смуглой, чем все остальное тело.

Сняв свитер, она, слегка изогнувшись, бралась обеими руками за пояс и, расстегнув, спускала молнию. Юбка падала на пол, и, прежде чем подобрать и положить ее на кресло, Чечилия с тем же нетерпеливым возбуждением, с каким сдирала с себя свитер, несколько раз шаркала по ней ногами. Теперь она была совсем голая, вернее, на ней оставалась только самая интимная часть женской сбруи: пояс с резинками, на ногах — чулки, а на животе — прозрачный треугольник слипа. Эта сбруя всегда была перекошена и перекручена, как будто, раздеваясь, Чечилия лишала ее всякой функциональности: треугольник слипа скомкан и скатан, две из четырех резинок расстегнуты, так что пояс косо свисает на один бок, один чулок доходит доверху, другой болтается под коленкой. Женственный и в то же время воинственный характер этого беспорядка забавно не соответствовал ее детски-бесхитростному простодушному лицу. Да, Чечилия всегда выглядела двойственно — женщина-ребенок, и это обнаруживалось во всем, не только в ее теле, но и в жестах, и в выражении лица.

И все-таки особенно ярко эта двойственность выступала в контрасте между верхней и нижней частью ее тела. Существуют весовые различия, которые открываются глазу еще до того, как возьмешь предмет в руки. Вещь, сделанная из свинца, непременно покажется нам тяжелее вещи тех же размеров, но сделанной из более легкого материала. Так вот, ниже пояса тело Чечилии, казалось, обладало консистенцией вещей, сделанных из очень



плотного и очень тяжелого материала. Каким мощным выглядело место сочленения ног и паха по сравнению с местом соединения рук и подмышек. Квк контрастировали с деликатной худобой торса крутой изгиб поясницы, пышность бедер, массивность и плотность зада. Подросток выше пояса, женщина — ниже, Чечилия наводила на мысль о тех декоративных монстрах, которые так часто встречаются на античных фресках,— этих то ли сфинксах, то ли гарпиях с нетронутой девственной грудью, эффектно контрастирующей с мощным животом и ногами.

И в том, как вела себя Чечилия во время любви, тоже легко было заметить контраст между двумя ее натурами, женской и детской. Я часто размышлял об этом и пришел к выводу, что Чечилия не знала ни чувства, ни даже настоящей чувственности, ей был доступен лишь сексуальный аппетит, требованиям которого она послушно, хотя, может быть, и бессознательно подчинялась. Покоясь в моих объятиях, она была похожа на ребенка, послушно открывающего рот навстречу ложке, которую протягивает ему мать. Только ртом у нее было ее лоно, а ложку ей подносил любовник. Чистое детское выражение ее бледного круглого личика находилось в постоянном противоречии с той грубой и жадной требовательностью, с какой она заставляла меня и себя достигать цели — то есть оргазма, которым она желала насладиться до самого последнего спазма. По мере того как соитие обретало свой мощный ритм, движения ее живота становились все более частыми и напоминали своей силой и равномерностью запущенный в действие и вышедший из повиновения механизм, который уже не под силу было остановить ни мне, ни ей. Поначалу едвв заметные, слабые и как будто даже ленивые, в конце они становились движениями поршня, который подымается и опускается с силой и неутомимостью автомата. Лицо же ее в это время оставалось спокойным, неподвижным, расслабленным; равнодушное и бесстрастное, оно казалось еще более детским, чем обычно,— с этими опущенными ресницами, маленьким полуоткрытым ртом, и только по румянцу, выступившему на скулах, можно было догадаться о том, что Чечилия не спит и полностью отдает себе отчет в своих действиях.

Эта своеобразная выключенность души во время любви была особенно заметна у Чечилии в те моменты, когда она, внезапно встрепенувшись, переходила от описанной мною механической пассивности к активности, начиная отвечать на мои ласки. Любовь, которая ведет к воспроизводству человеческого рода, всегда, скажем так, чиста, однако приемы, которыми любовникн поочередно возбуждают друг друга, редко бывают чисты. И тем не менее все, что делала Чечилия с моим телом, все было чисто, потому что ее действия были отмечены каким-то странным бессознательным автоматизмом. Вырвавшись вдруг из моих объятий, она резко приподнималась, садилась и приникала ртом к моему паху, словно клевала его, и в этом ее неожиданном порыве было что-то сомнамбулическое, словно она делала все это во сне, то есть, именно как я говорил, бессознательно. Потом, утолившись, а вернее, до последнего исчерпав все возможности этой ласки, Чечилия снова падала в мои объятия с закрытыми глазами и полуоткрытым ртом, и у меня опять возникало странное ощущение, будто я видел спящего, который совершал во сне какие-то странные, лишенные смысла движения, а потом, так и не проснувшись, заснул снова.

После оргазма, который сотрясал ее тело, как маленький эпилептический припадок, но ничего не менял в неподвижной апатии лнца, Чечилия в изнеможении распластывалась подо мной: одна рука закинута за голову, другая вытянута вдоль тела, лицо склонилось к плечу, ноги еще раздвинуты, как были они в момент соития. Потом, сразу же после того как я от нее отрываался, Чечилия мне улыбалась, очень коротко, и это был самый лучший миг нашей любви. Улыбка, очень нежная — казалось, к ней прилила вся нежность утоленного желания,— нисколько не противоречила двусмысленной инфантильности, о которой я уже говорил: даже улыбаясь мне, Чечилия на меня не глядела и меня не видела; так что, может быть, и улыбалась она не столько мне, сколько себе — благодаря скорее себя за то, что испытала наслаждение, чем меня, давшего ей возможность его испытать. Эта улыбка, безличная и мимолетная, была последней фазой нашего соития, то есть общения и почти что слияния наших тел. Сразу же после нас снова становилось двое, один лежал подле другого, и нужно было разговарнвать.

И как раз в эту минуту я замечал, как сексуальный аппетит Чечилии, который хотя и не относился ко мне впрямую, но все же пользовался мною для своего утоления, переходил у нее в безразличие. Говоря «безразличне», я не имею в виду холодности или отчуждения. Нет, безразличие ко мне Чечилии сразу после акта любви было просто полным отсутствием какого-либо отношения, то есть очень походило на то, что заставляло меня так страдать н что я называл скукой; только Чечилия, в отличие от меня, не только от этого не страдала, но, казалось, вообще этого не замечала. Она словно так и родилась, отчужденной от окружающего, в то время как мне подобное отчуждение казвлось совершенно непереносимым искажением исходной ситуации: одним словом, то, что я ощущал как болезнь, для нее было здоровым и нормальным.

Однако, как я уже говорил, нужно было о чем-то разговарнвать. Только что пережитая интимность физической любви вызывала у меня желание другой и более подлинной интимности, интимности чувства, которая, я знал, достигается только посредством слова.

И я пытался разговаривать с нею, а точнее сказать, расспрашивать ее о ее жизни, так как Чечилия никогда не поддерживала разговора, а ограничивалась лишь ответами на вопросы. Так я узнал, что она была единственной дочерью, что жила она в Прати в одной квартире с родителями, что отец ее был коммерсантом, что воспитывалась она в монастыре, что у нее есть подруги, что она не помолвлена и многое другое. Изложенные таким образом, все эти сведения кажутся самой общей информацией, которая может относиться к любой девушке ее возраста и социального положения, но это и было все, что я с большим трудом смог из нее вытянуть. Насколько я понимаю, Чечилия вовсе не хотела что-нибудь от меня скрыть, просто она словно бы понятия не имела о множестве вещей, которые меня интересовали, или, во всяком случае, неспособна была описать их в деталях. Можно было подумать, что она никогда не пыталась оглядеться вокруг, взглянуть на самое себя и окружающий ее мир, так что, обращаясь к ней с вопросами, я в некотором смысле ставил ее в положение человека, которого расспрашивают о каких-то вещах и людях, а он обо всем этом никогда не задумывался, не обращал на них внимания. Есть такая игра, когда вам в течение минуты показывают картинку, а потом просят перечислить предметы, которые были там изображены. В этой игре, которая демонстрирует степень вашей наблюдательности, Чечилия наверняка получила бы самую низкую оценку, потому что она, казалось, не увидела и не заметила ничего, хотя провела перед картинкой, изображавшей ее существование, не минуту, а целую жизнь. Полученная от нее информация была не только схематична, но и неточна; казалось, что она была не вполне уверена даже в том немногом, что она о себе рассказывала,— единственная дочь, отец-коммерсант, воспитание в монастыре, подруги; так бывает с людьми, когда с ними заводят речь о вещах, которые никогда не вызывали у них интереса, хотя и находились рядом, на расстоянии вытянутой руки, и их легко можно было изучить. И даже когда ей случалось дать точный ответ, меня все равно повергал в сомнение ее приблизительный бесцветный язык, который сам казался плодом ее непреодолимого ко всему равнодушия.

Ну а поскольку семья Чечилии и среда, в которой она жила, не слишком меня интересовали, мне в конце концов приходилось волей-неволей возвращаться к Балестриери, который, как я уже говорил, казался мне таинственным образом связанным со мной и моими отношениями с Чечилией. Впрочем, Чечилия не изменяла своей лаконической манере, даже говоря о Балестриери, но я не сдавался, напротив: ее уклончивость в отношении старого художника поселяла во мне страстное желание узнавать о нем все больше и больше. В действительности, как очень скоро я понял, расспрашивая ее о ее прошлом и о Балестриери, я расспрашивал ее о нашем будущем и о себе самом.

Тем временем прошло два месяца с того дня, как Чечилия впервые переступила порог моей студии, и я уже начал удивляться тому, что Балестриери мог испытывать к ней такую сильную страсть и что в их отношениях она могла играть роль «роковой женщины», если только вкладывать в два этих слова их подлинный, обычно подразумеваемый смысл, указывающий на предопределенность гибели. Мне трудно было во все это поверить, потому что, если не считать выдающихся качеств Чечилии как любовницы, что в девушке ее возраста не такая уж редкость, она казалась мне особой в высшей степени заурядной, а потому вряд ли способной вызвать столь разрушительную страсть, какой, по-видимому, был одержим Балестриери. О том, что это было существо совершенно не интересное, свидетельствовала сама ее речь, как я уже говорил, бесцветная и приблизительная. Я часто думал о том, какого рода душевные качества может выражать подобная речь, и пришел к выводу, что то была простота. Но не та простота, которая в нашем представлении неотрывна от ясности, а простота темная, непроницаемая, не имеющая ничего общего с тем своеобразным психологическим самоограничением, которое зовется сдержанностью, пусть даже она невольна и бессознательна. Мне всегда казалось, что Чечилия не столько врет, сколь просто неспособна сказать правду: и это не потому, что она лжива, а потому, что сказать правду это значит вступить с чем-то в какие-то отношения, в то время как она не вступала в отношения ни с чем. И в результате получалось, что, когда она действительно врала (а такое, как вы позднее увидите, она умела делать замечательно), вам почти казалось, что, пусть в каком-то отрицательном смысле, она произносила что-то истинное, именно благодаря той доле личного участия, а следовательно, и истины, которую несет в себе всякая ложь.

Но каким же образом Балестриери ухитрился так безумно в нее влюбиться? Или, лучше сказать, что случилось между ними такого, что столь ничтожный характер, может, именно благодаря своей ничтожности, стал причиной такой страсти? Я знаю, что понять чужую любовь невозможно, но, в конце-то концов, ведь это именно я занял в жизни Чечилии место Балестриери, я стал принимать наркотик, о котором говорил Балестриери, и потому с чувством непреходящей тревоги, не оставляющей человека, видящего, что опасность, о которой его предупреждали, никак себя не обнаруживает, я с каждым днем все больше удивлялся тому, что на меня этот наркотик не действует.

В результате я расспрашивал Чечилию подолгу и словно бы на ощупь, не зная сам, что я хотел выяснить. Вот образец нашего разговора:

— Скажи, а Балестриери никогда не говорил тебе, за что он тебя любит?



— Уф, снова за старое, опять Балестриери...

— Прости, но мне непременно надо знать.

— Что знать?

— Да я и сам толком не знаю, что. Знаю только, что это касается Балестриери и тебя. Так скажи, он говорил тебе, почему он тебя любит?

— Нет, он просто любил меня и все.

— Видно, я неточно выразился. У любви не бывает причин, это верно, человек любит и все; но всякая любовь бывает как-то окрашена. Ты любишь, и при этом тебе грустно, или весело, или тревожно, ты можешь быть доверчив, а можешь быть ревнив — в общем, за любовью всегда есть что-нибудь еще. Балестриери, видимо, испытывал к тебе почти маниакальную страсть — ты сама на это намекала. Ты была для него пороком, наркотиком, чем-то, без чего он не мог обойтись,— это твои собственные слова. Так откуда взялась эта мания?

— Не знаю.

— Ты не похожа на женщину, способную внушить такую страсть, по крайней мере, мне так кажется.

— Да я и сама так думаю.— Она сказала это без тени досады или иронии, с каким-то смирением и совершенно искренне.

— Если тебя интересует, что думаю об этом я теперь, когда лучше тебя узнал, то должен сказать, что не могу понять Балестриери и его страсти. Я не то чтобы разочарован, я удивлен. После того, что ты мне рассказала о своих отношениях с Балестриери, я думал, что ты должна быть женщиной совершенно ужасной, из тех, что способны погубить мужчину. А оказалось, что ты самая обыкновенная девушка. Я уверен, что из тебя вышла бы прекрасная жена.

— Ты так думаешь?

— Да, мне так кажется.

— Сказать по правде, я и сама так думаю.

— Ну и тогда чем же ты объяснишь страсть, вернее, тот род страсти, который Балестриери испытывал к тебе?

— Не знаю.

— Подумай.

— В самом деле не знаю. Видно, так уж он был устроен.

— То есть?

— Ну, он мог любить только так.

— Это неправда. Я годами наблюдал за тем, как Балестриери меняет женщин. Только с тобой случилось то, что случилось.

Долгая пауза, потом вдруг, в порыве искренней готовности: «Ты задай мне точный вопрос, и тогда я отвечу».

— Что ты называешь точным вопросом?

— Ну, о чем-нибудь физическом, материальном. Ты все время меня спрашиваешь о чувствах, о том, что люди думают, что они не думают. И я не знаю, что отвечать.

— О материальном? Ну хорошо, скажи: ты думаешь, Балестриери знал, что ваши отношения подрывают его здоровье?

— Знал.

— И что он говорил?

— Он говорил: не в этот раз, так в другой, но это меня доконает. Я предупреждала его, чтобы он был поосторожнее, но он говорил, что ему все равно.

— Все равно?

— Да,— потом, с напряженным взглядом человека, который силится что-то вспомнить,— да, сейчас, когда мы об этом заговорили, я вспомнила, что однажды, когда мы занимались любовью, он сказал: «Продолжай, продолжай, я хочу, чтобы ты продолжала и не думала обо мне, даже если я попрошу тебя прекратить, даже если вдруг почувствую себя плохо, даже если ты доведешь меня до смерти».

— Ну, а ты что?

— Тогда я не придала этим словам значения. Он ведь столько всего говорил. Но ты заставил меня об этом задуматься.

— То есть ты хочешь сказать, что он любил тебя, потому что ты могла довести его до смерти, потому что ты была для него орудием самоубийства?

— Не знаю. Никогда об этом не думала.

Вот так я постепенно приближался к истине, вернее, мне казалось, что приближался. И все-таки мне этого было мало. Мысль, что Чечилия была девушкой, каких тысячи, и что Балестриери видел в ней то, чего в ней не было, и от этого умер, эта достаточно самоочевидная мысль выглядела соблазнительно; кроме всего прочего, она объясняла и то, почему я, в отличие от Балестриери, не испытывал к Чечилии ничего, кроме простого физического влечения. Однако, сам не знаю почему, это объяснение меня не удовлетворяло. Словно, объясняя все, оно не объясняло ничего и оставляло открытым вопрос о Чечилии — то есть вопрос о ее заурядности и о страсти, которую эта заурядность внушила.

Тем временем я начал замечать, что скучаю в обществе Чечилии, то есть что я снова оказался в ситуации отчуждения, как это было накануне нашего знакомства. Слово «скучаю» не означало, что мне стало с ней неинтересно, что она мне надоела. Нет, как я уже говорил, речь шла о скуке не в общепринятом смысле слова. Не Чечилия была скучной, а я скучал, понимая, что прекрасно мог бы не скучать, если бы каким-то чудом сумел сделать нашу связь, которая с каждым днем ослабевала и внутренне опустошалась, более реальной.

Эту перемену в своих отношениях с Чечилией я заметил прежде всего потому, что стал иначе, чем раньше, относиться к физической любви, то есть к той единственной форме любви, которая была между нами возможной. Вначале эта любовь была для меня чем-то в высшей степени естественным, потому что мне казалось, что в ней природа превосходит самое себя, делаясь человечной и даже более чем человечной; теперь, напротив, меня поражало в ней прежде всего отсутствие всякой естественности, сам акт казался мне каким-то противоестественным, абсурдным и нарочитым. Ходить, сидеть, лежать, подниматься, опускаться — все, что умело делать человеческое тело, казалось мне оправданным, необходимым и потому естественным, но в совокуплении я видел теперь какое-то противоестественное насилие над человеческим телом, которое потому и приспосабливалось к нему с таким трудом и муками. Все, думал я, можно делать легко, грациозно, гармонично — только не совокупляться. Само устройство двух полов — затрудненный вход в женский орган, неспособность мужского достигать своей цели столь же самостоятельно, как достигает своей цели рука или нога, и нуждающегося для этого в поддержке всего тела, казалось, доказывало абсурдность соития. От ощущения абсурдности физической любви до восприятия Чечилии как чего-то совершенно абсурдного был всего шаг. Именно так и вела себя обычно скука, разрушая поначалу мои отношения с окружающими предметами, а потом и сами предметы, делая их бессмысленными, недоступными пониманию. Однако новым было то, что в случае с Чечилией, тоже превратившейся в моих глазах в нечто совершенно абсурдное, скука — может быть, оттого, что мне не хотелось рвать нашу сексуальную связь, к которой я привык,— не просто делала меня холодным и безразличным, она переходила границу этих чувств, побуждая меня к жестокости.

Все-таки Чечилия была не стакан, а человек, и потому даже в минуты скуки, когда она переставала для меня существовать, как любой другой предмет в этой ситуации, я умом продолжал сознавать, что она — человек. Но так же, как в случае со стаканом, когда я испытывал непреоборимое желание схватить его, швырнуть об пол и вдребезги расколотить, чтобы хотя бы посредством этого разрушительного акта убедиться в реальности его существования, так и с Чечилией, если я начинал с ней скучать, мне тоже хотелось не то чтобы ее убить, но по крайней мере причинить ей страдание. Когда я мучил ее и заставлял страдать, мне казалось, между нами восстанавливаются связи, нарушенные скукой, и что за важность, если я добивался этого посредством жестокости, а не любви.

Я хорошо помню, как в первый раз обнаружила себя моя жестокость. В один прекрасный день Чечилия, раздевшись, направилась к дивану, где, глядя на нее, лежал я, уже раздетый. Чечилия шла на цыпочках, выставив вперед грудь и оттопырив зад и сохраняя на лице торжественное и в то же время неловкое, смущенное выражение человека, приступающего к хорошо ему известному, но всегда новому делу — как это бывает в ритуалах. Я смотрел на нее, как она идет, и думал, что не только не испытываю желания (хотя потом, пусть чисто механически, я достиг необходимой для соития степени возбуждения), но мне казалось просто непостижимым, что между мною и нею могут существовать какие-то отношения.

Пока я размышлял на эту тему, она подошла к дивану и уже поставила на него колено, как вдруг я заметил, что окно в комнате не до конца зашторено. Мне был неприятен яркий свет ветреного дня, а кроме того, напротив были окна, из которых при желании можно было заглянуть ко мне в студию. И я сказал, как ни в чем не бывало: «Взгляни-ка, окно... Пожалуйста, закрой как следует шторы».

— А, да, шторы,— сказала она и, послушно повернувшись, все так же на цыпочках пошла к окну. И вот, пока она шла, пока в пространстве комнаты перемещался этот странный телесный аппарат, наполовину женский, наполовину детский, мне вдруг в первый раз с тех пор, как мы познакомились, захотелось причинить ей страдание. И это желание тут же перенесло меня в далекую пору детства, напомнив об одном случае из моей жизни, когда я тоже сознательно проявил жестокость.

В те годы у меня был простой полосатый кот, которого я очень любил, но который частенько мне надоедал: особенно когда оказывались исчерпаны те немногие игры, в которых бедный зверь мог продемонстрировать свою смекалку. В конце концов скука пробудила во мне жестокость, и я придумал следующую игру. Положив в тарелку немного сырой рыбы, до которой кот — я это знал — был большой охотник, я ставил ее в углу комнаты. Потом шел за котом и, дав ему понюхать рыбу, относил в другой угол и ждал, что он будет делать. Кот сразу же бросался к тарелке, и все его тело от носа до кончика хвоста излучало плотоядную радость; но едва он добегал до середины комнаты, как я хватал его за шкирку и относил в исходный пункт. Я повторял эту игру, если только можно назвать это игрой,



несколько раз, и по мере того, как коту делалось все яснее, что он стал жертвой какого-то рокового невезения, поведение его на глазах менялось. Поначалу, во время первых прыжков, он выглядел сильным, алчным, уверенным в себе; потом сделался осмотрительным, осторожным, как будто надеялся, что, если он будет еле заметно перебирать лапами и припадать к полу, ему удастся усыпить мою бдительность, а может, он думал, что вообще станет невидимым; под конец же бедняга ограничивался тем, что делал еле заметное движение в направлении тарелки: лукавая и вместе с тем трогательная попытка, не тратя понапрасну сил, убедиться в непреклонности моей жестокой воли. И вдруг неожиданно все переменилось: кот заговорил. Я хочу сказать, что, повернув ко мне голову и глядя прямо в глаза, он промяукал что-то необычайно выразительное — трогательное и в то же время рассудительное, словно хотел сказать: «Ну зачем, зачем ты это делаешь? Зачем ты со мной это делаешь?» Эта мяукающая речь, такая ясная и красноречивая, сразу же заставила меня устыдиться. По-моему, я даже покраснел. Взяв беднягу на руки, я сам поднес его к тарелке и дал ему спокойно съесть всю рыбу.

И вот сейчас, глядя, как Чечилия на цыпочках послушно идет к окну, я решил поиграть с ней в ту же жестокую игру, в которую когда-то играл с котом. Ведь и она тоже подходила к дивану с мыслью о том, как она удовлетворит сейчас свой аппетит, и она, как когда-то кот, всей своей фигурой излучала этот аппетит — такой естественный и такой здоровый. И вот сейчас я начну с ней ту же игру, но на этот раз ясно понимая, зачем я это делаю: посредством жестокости я хотел восстановить для себя разрушенные скукой связи с окружающим миром.

Чечилия тем временем подошла к окну, задернула шторы и направилась назад к дивану. На ее лице, только что выражавшем смиренную услужливость служанки, которая, даже голая, чувствует себя обязанной выполнить приказ хозяина, снова появилось то сложное, торжественное и напряженное выражение, которое предваряло любовный ритуал. Все так же на цыпочках она обогнула мольберт, прошла через всю комнату, приблизилась к дивану и уже сделала движение, чтобы на него взобраться. Но я остановил ее: «Прости,— сказал я,— я не могу заниматься любовью при открытых дверях. Пожалуйста, закрой дверь в ванную».

— Какой ты нудный,— пробормотала она. Однако, как и прежде послушно, снова направилась через всю комнату к ванной. В полутьме я видел ее удаляющуюся от меня легкую фигурку с пышной каштановой гривой, худым торсом подростка; ниже тонкой талии явственно обозначались бледные выпуклости ягодиц. Послушно закрыв дверь, она повернула назад, чем-то похожая на привидение в темноте, которая делала ее глаза темнее и больше, груди смуглее и тяжелее, треугольник лобка глубже и чернее. На этот раз я остановил ее не тогда, когда она заносила на диван ногу, а когда, запыхавшись, она уже укладывалась рядом со мной. «Ради бога, извини, но не будешь ли ты так добра выключить телефон? Вчера он позвонил в самый разгар. Разумеется, я не стал брать трубку, но он испортил мне все удовольствие».

Она посмотрела на меня и, сказав вполголоса, почти безо всякого выражения, во всяком случае, без упрека: «Это будет уже в третий раз», поднялась и пошла выключать телефон, стоявший на столе, в центре комнаты, и против света ясно обозначился ее профиль. Затем она опять направилась к дивану, с лицом, которое в третий раз настроилось на ритуальное ожидание. Я подождал, чтобы она подошла поближе, и воскликнул с деланной наивностью: «Какой же я рассеянный! Чечилия, дорогая, сделай мне еще одно одолжение: поди принеси с подоконника сигареты... ты знаешь, сразу после я люблю закурить... Очень тебя прошу».

Ничего не сказав, она бросила на меня изумленный взгляд, но повиновалась и в четвертый раз: вот она идет к окну, чтобы взять сигареты,вот возвращается, готовая отдаться и только этого и ожидающая.

— Держи свои сигареты,— сказала она шутливо, швыряя пачку прямо мне в лицо и делая вид, что сейчас и сама на меня набросится. Но я опять ее остановил: «А спички?»

«Уфф!» — еще одно путешествие по комнате, все так же на цыпочках, но, когда она возвращалась, ритуальное выражение на ее лице словно бы подернулось тенью сомнения и обиды. Она бросила мне в лицо спички, как до этого сигареты, но, вместо того чтобы улечься рядом, остановилась, не доходя до дивана, и сказала: «Скажи сразу, пока я не легла, что тебе еще нужно?»

— Ах да,— придумал я,— мне нужно, чтобы ты пошла на кухню и закрыла газовый кран: по-моему, я оставил его открытым.

— Еще что?

— Есть кое-что и еще: поди в прихожую и отключи дверной звонок. Чтобы нас никто не побеспокоил.

И я стал ждать, когда она все это исполнит.

Я думал, что Чечилия тут же отправится выполнять приказанное, но вдруг увидел, что она внезапно села на стул, обхватив одну ногу руками, и, скорчившись в этой позе сомнения и обиды, молча на меня посмотрела. «Что с тобой,— спросил я удивленно,— почему ты не делаешь то, что тебя попросили?»

Ответила она не сразу. Но в конце концов спросила очень осторожно:

— Но только вот эти две вещи или еще что-нибудь?

— Только эти две.

Она встала с едва заметным вздохом и опять пропутешествовала через всю комнату, сходив сначала на кухню, а потом в прихожую. Когда она возвращалась, я заметил, что на ее лице все еще держится выражение желания и ожидания, и спросил себя, а удержится ли оно, если я продолжу свою жестокую игру? Ведь это любовь, думал я, единственная любовь, на которую она способна, и я эту любовь убиваю. И тем не менее, когда она растянулась подле меня, я не удержался и сказал: «Мне очень жаль, но тебе придется встать еще раз. Мне нужна пепельница, не могу же я стряхивать пепел на пол».

И тут она сделала нечто прямо противоположное тому, что сделал кот в далекие годы моего детства. Кот заговорил рассудительно, как человек, как христианин, испытанное им страдание возвысило его до уровня человека. А вот Чечилия, столкнувшись с такой же жестокостью, прибегла к жесту чисто животного смирения — немого и в то же время душераздирающего. Вместо того чтобы встать, как я ей приказал, она, свернувшись клубочком, еще теснее прижалась ко мне, спрятав лицо у меня между плечом и шеей и сцепив вокруг меня руки. Как животное, которое не умеет говорить, она умоляла меня перестать ее мучить, какие бы ни были у меня на то причины и какое бы удовольствие я от этого ни получал. Это смиренное объятие, исполненное мольбы и печали, настолько же инстинктивно животное, насколько кошачье мяуканье было по-человечески разумным, оказало на меня то же действие. Внезапно я устыдился своей жестокости, которая в чужом страдании искала доказательства существования реальности, и, взяв назад свои бессмысленные требования, обнял ее. И сразу почувствовал, как ее тело, которое, казалось, только и ждало от меня этого сигнала, прижалось ко мне уже совсем по-другому, не умоляя, а требуя: нетерпеливый сухой удар лобка дал мне понять, что она готова к любви. Ну что же, подумал я, уже не скучая, а веселясь, приступим к трапезе.

Но с того дня я стал испытывать отвращение к жестокости как к ясному симптому нарушения связей и в то же время страх сделаться в будущем еще более жестоким, жестоким постыдно и непоправимо. Ведь это было лишь первым предупреждением, и я понимал, что, продлись моя связь с Чечилией еще немного, я могу дойти даже до садизма. Ибо именно на этот путь толкало меня желание установить с ней хоть какую-то связь. То, что патетический и бессловесный жест Чечилии заставил меня прекратить пытку, не должно было меня особенно успокаивать. Ведь я перестал ее мучить не потому, что мне стало жалко ее и стыдно за себя, а потому, что этим объятием она показала, что страдает, а именно этого я и добивался. Учитывая неизбежную потерю чувствительности, движение в этом направлении должно было, как я уже говорил, привести меня прямо к садизму, то есть трансформировать скуку в своеобразный механизм извращения. Сама скука пугала меня, но не вызывала отвращения, потому что в ней было все-таки что-то сущностное и подлинное. Садизм же мне был именно отвратителен, отвратителен своим лицемерием (ведь садист претендует на то, что должен наказать свою жертву, в то время как в самом деле он просто ищет наслаждения в тех страданиях, которые под видом наказания он ей причиняет), а кроме того, мне был противен сам вид возбуждения, который он вызывал, тем более нечистого, чем более целомудренным оно хотело казаться вплоть до того момента, когда оно разрешалось в половом акте, обнаруживая таким образом свою по существу наркотическую природу.

К счастью, однако, я не жесток: первый случай мучительства так и остался последним. И я даже решил, что мне следовало бы избавиться от Чечилии, и чем скорее, тем лучше. Мне было жалко это делать, но не из-за себя (я считал, что я-то ее не люблю), а из-за нее: мне казалось, что, хотя и не показывая этого, она была в меня влюблена. Почему я был так уверен, что не люблю Чечилию, трудно сказать. Видимо, потому, что я мог располагать ею, вернее, ее телом, когда хочу и сколько хочу, и это создавало иллюзию полного обладания, то есть отношений настолько законченных, что продолжать их просто не имело смысла. А в том, что Чечилия меня любит, я был уверен потому, что она всегда была такой послушной, такой уступчивой, такой покорной. По свойственному всем мужчинам тщеславию я приписывал эту покорность любви, хотя, казалось бы, мне должна была внушить подозрение любовь, которая никак себя не выказывает и имеет чисто автоматический характер. Но полагая, что, порвав с Чечилией, один только я испытаю от этого облегчение, в то время как она будет от этого страдать, я со дня на день откладывал наш разрыв; мне хотелось найти предлог, который сделал бы для нее этот разрыв как можно менее обидным и болезненным.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Я принял решение бросить Чечилию в тот самый день, когда со мной случился описанный выше приступ жестокости. Решение пришло ко мне сразу, как только за Чечилией закрылась дверь, но должны были пройти еще две недели, прежде чем я придумал предлог для разрыва. Никогда еще скука не терзала меня так сильно, как в эти две недели, когда она, казалось, воплотилась для меня в облике моей молоденькой любовницы. Помню, что, когда я слышал знакомый звонок — коротенький и неуверенный,— я испускал тяжелый вздох человека, находящегося на пределе терпения, а все, что происходило после того, как Чечилия оказывалась в студии, словно застывало в тусклой тупой неподвижности, которую не могли нарушить ни процедура раздевания, ни поцелуи, ни ласки, ни эротические ухищрения, на которые Чечилия была так щедра, и даже ритуальная монотонность финала, завершавшегося эпилептической судорогой оргазма. Одетая или раздетая, распростертая подо мною во время соития или лежащая рядом после, в темноте или на ярком свету, Чечилия с каждым днем становилась в моих глазах все менее и менее реальной — не просто даже как личность, но как вещь, которой еще совсем недавно удавалось меня убедить в несомненности своего существования. И так как прибегать к жестокости, которая, вероятно, на какое-то время могла бы сообщить эфемерную реальность нашим отношениям, я не хотел, мне стало ясно, что близок день, когда я поступлю с Чечилией, как поступил бы с любой вещью, которая мне больше не нужна,— то есть брошу ее, не позаботившись представить веских объяснений ни себе, ни ей. А значит, нужно было, пока не поздно, найти какой-нибудь предлог.

Как-то утром я решил навестить мать, у которой не был с памятного дня своего бегства. Сев в свой старый расхлябанный автомобиль, я направился к Аппиевой дороге. Вот она, эта древняя дорога, языческая и христианская, ставшая столь модной сейчас у богатых людей; вот ограды, из-за которых наружу выплескивается зелень садов и парков; вот прорезанные в них ворота; вот спрятавшиеся среди деревьев виллы, вот высаженные рядами кипарисы, вот одинокие пинии, вот зеленые лужайки и на них краснокирпичные развалины с вкраплениями белого мрамора; а вот, между двумя пилястрами, идущая вверх аллея с покрытием из хорошо разровненной гальки, подъездная площадка, обрамленная каменными дубами и лавровыми деревьями, и приземистое красное здание нашей виллы. На этот раз мне открыла не Рита — хмурая горничная в очках: на пороге появился коренастый дворецкий, в форменной полосатой куртке, с жирным лицом пономаря, и, называя меня «господин маркиз», сообщил, что «госпожа маркиза» дома. Я вздрогнул, услышав новый для меня титул, и вошел в кабинет. Мать сидела за столом, погрузившись в бумаги: на носу очки, в зубах длинный мундштук. Приложившись традиционным поцелуем к иссохшей щеке, я сказал: «В чем дело? Откуда взялся титул маркиза, с которым обратился ко мне твой новый камердинер? И откуда взялся он сам? Где Рита?»

Мать сняла очки и некоторое время молча смотрела на меня стеклянными голубыми глазами. Потом сказала своим неприятным голосом: «Риту я выгнала, она оказалась совершенно жуткой бабой».

— Да? А в чем дело?

— Не пропустила ни одного мужчины ни в доме, ни вокруг, в радиусе нескольких километров. Нимфоманка.

— Смотри-ка, кто бы мог подумать! У нее был такой серьезный вид!

Мать снова помолчала, словно хотела, чтобы я сосредоточился, прежде чем услышу новость, которую она собиралась мне сообщить: «Что касается титула, то недавно один специалист по геральдике сказал мне, что наш род очень знатен, что мы маркизы. Уж не знаю почему, но семейство твоего отца отбросило титул около века назад. Но я проведу необходимые расследования, и вскоре мы получим право его носить. Мне кажется, грешно им не воспользоваться, уж коли имеешь на это право».

Я ничего не ответил: снобизм матери был мне хорошо известен, и я привык ничему не удивляться. Через мгновение она снова заговорила. «Не знаю,— сказала она тоном упрека,— отдаешь ли ты себе отчет в том, что после своего, скажем так, исчезновения в день твоего рождения ты в первый раз навещаешь мать».

Я ответил достаточно сокрушенно: «Ты права. Но я был страшно занят».

Она спросила: «Ты снова стал рисовать?»

Я ответил: «Не бойся, я был занят совсем другим».

— Да я ничего и не боюсь. Я даже предпочла бы, чтобы ты вернулся к рисованию.

— Почему?

— Потому что тогда ты бы меньше думал о женщинах,— сказала мать неожиданно и, главное, неприязненно. И потом, глядя мне в лицо, добавила: — Ты что, думаешь, это незаметно?

— Что незаметно?

Мать ушла от прямого ответа и сказала только: «Должна тебе сказать, что ты плохо выглядишь».

Я и сам это знал. Два месяца любви меня действительно вымотали. Так как ничем другим я в это время не занимался, выглядел я действительно не блестяще. Я сказал: «Ну и что, зато я прекрасно себя чувствую».

— На мой взгляд, тебе следовало бы отдохнуть: уехать за город, заняться спортом, подышать свежим воздухом. Почему бы тебе не податься в горы на месяц-на два?

— Чтобы поехать в горы, нужны деньги, а у меня их нет.

Всякий раз, когда я начинал играть на своей бедности, которая была добровольной и в сущности притворной, мать возмущалась: моя щепетильность казалась ей бессмысленной и даже безнравственной. То же случилось и на этот раз: «Ну об этом, Дино, ты мог бы не говорить».

— Почему? Сегодня пятнадцатое, и от месячного пособия у меня осталось всего каких-то сорок тысяч лир.

— Но, Дино, у тебя нет денег, потому что ты сам этого не хочешь. Ты богат, Дино, ты очень богат и напрасно притворяешься бедным. Что бы ты там ни придумывал, ты богат и останешься богатым.

Это было именно то, что я и сам думал. И я сказал, очень четко: «Если ты хочешь, чтобы я к тебе приходил, перестань напоминать мне о том, что я богат. Поняла?»

— Но почему? Ведь это же правда?

— Да, это правда, но она меня унижает.

— Да почему она тебя унижает? Подумать только, сколько людей были бы счастливы оказаться на твоем месте! Послушай, сын: почему тебя унижает то, что любого другого сделало бы счастливым?

В голосе матери слышалось искреннее огорчение, и я неожиданно почувствовал раздражение и усталость. «Есть люди,— сказал я,— у которых аллергия к землянике. Стоит им хотя бы ее попробовать, как они тут же покрываются красными пятнами. А у меня аллергия к деньгам. Я краснею при мысли, что они у меня есть».

Мать, словно ища примирения, сказала: «Ну, допустим. Пускай ты беден. Но ты бедняк, у которого есть богатая мать. По крайней мере с этим ты можешь согласиться?»

— Ну и что?

— А то, что мать хочет одолжить тебе денег, чтобы ты мог поехать в горы, скажем, в Кортина д'Ампеццо.

Я чуть не взвыл от ярости, которую вызывали у меня обычно материнские рекомендации, которые я мог перечислить заранее,— зима в Кортина д'Ампеццо, лето на Лидо, весна на Ривьере,— как вдруг внезапно понял, что, сам того не желая, получил законный предлог для разрыва с Чечилией. Я возьму у матери сумму, на которую можно прожить в Кортина д'Ампеццо, на эти деньги куплю Чечилии подарок и тут же сообщу ей, что вынужден уехать, чтобы сопровождать мать в горы. Подарок смягчит разлуку, которую я, впрочем, пока представляю как временную, а позже я напишу ей прощальное письмо. Я сказал примирительным тоном: «Ну хорошо. Пусть будет Кортина. Давай деньги».

Видимо, мать не ожидала, что я сдамся так быстро. Растерявшись, она внимательно на меня посмотрела, потом спросила: «Когда ты хотел бы поехать?»

— Да сразу же. Сегодня пятнадцатое... Ну хотя бы восемнадцатого.

— Но надо заказать гостиницу.

— Я телеграфирую.

— И сколько ты думаешь там пробыть?

— Дней пятнадцать-двадцать.

Казалось, что мать уже раскаивается, что сделала мне это предложение, вернее, насколько я мог понять, раскаивалась она не в том даже, что она его сделала, а в том, что предварительно не выторговала себе какую-нибудь компенсацию. Привычка к спекуляции была в ней так сильна, что она не могла расстаться с ней даже в отношениях со мною. Она сказала нерешительно и неохотно: «Разумеется, я дам тебе столько, сколько понадобится. Я обещала и сдержу свое слово».

— Хорошо. Так давай!

— Что за спешка? И потом — сколько тебе нужно?

— Ну, будем исходить из двадцати тысяч в день. Стало быть, двести тысяч.

— Двадцати тысяч лир в день?

— Так я богат или нет? Вроде бы ты сама только что об этом говорила. Я не собираюсь останавливаться в отеле первого класса. Двадцать тысяч в день — этого едва хватит для самого скромного проживания.

— Тут у меня денег нет,— сказала мать, решившись наконец на завуалированный отказ.— Я никогда не держу денег в кабинете.

— Хорошо,— сказал я, поднимаясь.— Так пройдем к тебе.

— И в спальне у меня тоже ничего нет. Как раз сегодня утром мне пришлось сделать одну выплату.

— Так выпиши чек. Уж чековая книжка у тебя наверняка есть.

Странно, но в ответ на это в высшей степени разумное предложение она внезапно переменила решение. «Нет, я все-таки дам тебе наличными, у меня вчера как раз кончилась чековая книжка. Пойдем наверх».

Мать поднялась, и я последовал за нею, спрашивая себя, почему произошла столь внезапная перемена в способе выплаты. Недоумевал я недолго. Уже на лестнице мать, не оборачиваясь, сказала: «Да, кстати, сейчас я дам тебе задаток — сто тысяч. Остальное завтра. Больше не могу, это все, что у меня сейчас есть».

То есть мать переменила свое решение, потому что чек ей пришлось бы выписать на всю сумму, в то время как наличными она могла дать меньше, сославшись на то, что больше у нее сейчас нет. Откуда этот внезапный приступ скупости? Может быть, подумал я, она боится утратить надо мною контроль, а может быть, хочет получить от меня что-то в обмен на деньги. Ничего не сказав, я последовал за нею по лестнице, и мы вошли в ее спальню. Это была большая и комфортабельная комната в современном стиле, выдержанная в серых и белых тонах: из-за множества ковров и занавесок — тут не было ни кусочка пола, ни клочка стены, не задрапированного тканью,— возникало ощущение духоты. В полумраке, придававшем нашему отражению в зеркалах что-то зловещее, мы выглядели словно два заговорщика. Мать подошла к двери в ванную, находившуюся в глубине комнаты, и открыла ее. Я остался стоять на пороге. «Что ты там стоишь,— сказала мать,— иди сюда, у меня от тебя нет секретов».

— У тебя нет секретов,— сказал я,— потому что ты знаешь, что мне не нужны твои деньги. Если бы это было не так, ох, сколько бы у тебя появилось секретов!

— Что за глупости! — сказала мать.— Разве ты мне не сын? — И первой вошла в ванную. Она была очень просторная — такими подчеркнуто, бессмысленно просторными бывают в богатых домах помещения, предназначенные для ухода за телом. Ванну от раковины отделяло по меньшей мере четыре метра мраморного пола, а раковину от унитаза столько же кафельного. Я увидел, как мать подошла к стене, взялась за один из крючков, предназначенных для полотенец, повернула его направо, потом налево, а затем потянула на себя. Пластинка из четырех белых плиток открылась, как дверца, обнажив сверкающую поверхность стального сейфа. «Ну-ка,— сказала мать менторским тоном, как бы предвкушая удовольствие,— ну-ка, посмотрим, сможешь ли ты справиться с шифром». В свое время она сообщила мне этот шифр, и я, сам того не желая, его запомнил, просто потому, что у меня хорошая память, но мне было противно пускать его в ход, особенно под ее взглядом: так бывает противно участвовать в ритуалах религии, которую не исповедуешь. «Зачем это,— сказал я,— открывай сама, я-то тут при чем?»

— Я просто хотела проверить, помнишь ли ты шифр,— весело сказала мать. Потом протянула свою белую, унизанную массивными перстнями руку и быстрым нервным движением набрала на циферблате несколько цифр. Сейф открылся. В глубине его были беспорядочно свалены пакеты акций и конверты, белые и желтые. Внезапно мать перешла от веселости к подозрительности и бросила на меня недоверчивый взгляд. Я растерянно отвел глаза: прямо передо мной в фарфоровой чаше унитаза лежал комок ваты. Я протянул руку и с шумом спустил воду. Когда я снова поднял глаза, мать уже держала в руке белый, очень толстый конверт и устанавливала на место плитки. Потом, возвращаясь обратно в комнату, она сказала: «Сегодня я дам тебе пятьдесят тысяч. Я только сейчас вспомнила, что другие пятьдесят мне нужно сегодня отдать поставщику».

То есть она еще раз урезала сумму, которую я у нее просил. Я рассчитывал сделать Чечилии подарок за двести тысяч, потом примирился с сотней, но пятьдесят — этого было слишком мало, чтобы смягчить известие о разрыве. И я решительно запротестовал: «Нет, мне нужна сотня. Поставщику заплатишь в другой раз».

— Но это невозможно.— Мать подошла к высокому старинному комоду, отвернулась от меня и, насколько я мог видеть, на его мраморной поверхности распечатала конверт. Я сказал, не двигаясь с места: «Ведь ясно же, что в этом конверте больше пятидесяти, может быть, даже больше трехсот. Тут по крайней мере полмиллиона, к чему эти отговорки?»

Мать, не оборачиваясь, поспешно ответила: «Нет-нет, здесь всего пятьдесят».

— Тогда дай мне взглянуть.

Она неожиданно резким движением повернулась ко мне, заслоняя собою конверт, и я увидел, каким взволнованным стало ее худое иссохшее лицо. «Дино, почему ты не хочешь вернуться к матери? Ведь если бы ты жил здесь, у тебя было бы столько денег, сколько ты захочешь!»

Так вот, значит, на какую компенсацию рассчитывала мать, и так ли уж важно, что свое требование она выставляла не в виде сухой дилеммы, как было бы в этом случае с должником, а в форме патетического призыва. И тогда и я спросил у нее в свою очередь: «При чем здесь это?»

— Но я же вижу, что ты пришел сюда только ради денег, и это после того, как мы не виделись целых два месяца!

— Я уже говорил тебе, что был занят.

— Если бы ты вернулся, ты и здесь мог бы заниматься всем, чем хочешь. Я не вмешивалась бы в твою жизнь.

— Лучше дай деньги, и прекратим этот разговор.

— Ты мог бы приходить и уходить по своему усмотрению, поздно возвращаться, принимать кого хочешь, водить любых женщин.

— Но мне никто не нужен!

— Может быть, ты убежал тогда, потому что подумал, что я помешаю твоей связи с Ритой? Ты ошибаешься. Мне нужно только, чтобы ты соблюдал форму, а в остальном я тебе не помеха.

Тут я не на шутку удивился. Так значит, мать заметила что-то между мной и Ритой, но молчала, надеясь, видимо, что интрижка с горничной укрепит мои связи если не с ней, то с домом, а значит, и с ней. И когда же она это заметила? Во время завтрака? Или позже? Я внезапно ощутил неприятное чувство сыновней виновности, словно снова стал мальчиком и мать имеет право меня пристыдить. Однако я быстро справился с этим чувством, вспомнив, что к Рите меня толкнуло отчаяние, в которое неизменно приводил меня каждый визит к матери. И я раздраженно сказал, глядя ей прямо в лицо: «Нет, я бежал тогда не из-за Риты, я бежал из-за тебя».

— Из-за меня? Но я ведь даже сделала вид, что не замечаю, как ты ее лапаешь во время завтрака!

Эта фраза, а еще больше тон матери меня взбесили. «Если хочешь знать, я из-за тебя и стал ее „лапать", если воспользоваться твоим выражением».

— При чем здесь я? Разве я виновата в том, что ты пристаешь к служанкам?

— Я стал лапать ее руками, потому что ты стала лапать меня ногами.

— Ногами, я?

— Да, ты, ногами — так ты давала мне понять, что не следует говорить о деньгах в присутствии горничной. И потом знай,— я подошел к ней вплотную и говорил ей теперь прямо в лицо,— знай, что все глупости, которые я делал в своей жизни, были из-за тебя.

— Из-за меня?

— Всю свою юность,— закричал я внезапно в приступе бешенства,— я мечтал стать вором, убийцей, преступником, лишь бы не быть таким, каким тебе хотелось меня видеть. И благодари Бога, что мне это не удалось, не представлялось случая. И все это из-за того, что я жил рядом с тобой, в этом доме.

На этот раз мой тон, видимо, в самом деле напугал мать, которая обычно, что бы я ни говорил, выглядела бестрепетной инкассаторшей. Я увидел, как исказилось ее лицо, как задергалась голова. «Ну ладно, ладно,— пробормотала она,— если это в самом деле так, то не ходи больше ко мне, не ходи в этот дом».

Внезапно я успокоился. «Нет, приходить я буду, но не проси меня, чтобы я его любил».

— Да что такого ужасного в этом доме, разве он не такой, как все?

— Нет, он не как все, он даже красивее и удобнее многих других.

— Тогда в чем дело?

Я увидел, что она почувствовала облегчение, убедившись, что я отказался от прямой атаки. Я ответил ей вопросом: «Но ведь и отец не хотел жить в этом доме. Почему?»

— Твой отец любил путешествовать.

— А не точнее ли будет сказать, что он путешествовал, потому что не любил жить здесь?

— Твой отец был твой отец, а ты это ты.

Споры такого рода возникали у нас с матерью не в первый раз. Я мог кричать, мог ее оскорблять, но никогда не договаривал всю правду до конца: этот дом мне был противен, потому что это был дом богатых людей. И хотя я должен сказать, что мать сама все время подводила меня к этому порогу, словно дразня, словно провоцируя меня на ответ, ей все-таки не хотелось, чтобы я произнес все это вслух, и в последний момент она всегда отступала, переводя разговор на другую тему. Так случилось и сейчас. Я уже приготовился ей ответить, как она вдруг нервно сказала: «Сказал бы прямо, что хочешь жить отдельно, чтобы чувствовать себя свободным. Ты неправ, если так думаешь, но это неважно. Держи, вот твои сто тысяч».

Она протянула мне деньги, но как бы не окончательно: стоило мне протянуть за ними руку, как она свою отдернула, словно желая подчеркнуть, что взамен я не даю ничего. И добавила: «Да, кстати, может быть, останешься хотя бы на завтрак?»

— Не могу.

— Я пригласила несколько человек. Будет министр Триоло с женой. Симпатичный человек, интеллигентный, энергичный.

— Министр? Какой ужас! Ну, давай же мои деньги!

На этот раз она отдала мне деньги, движением раздраженным и в то же время нерешительным, словно, протягивая, хотела забрать их обратно. «Приходи тогда завтра. Будем только ты да я. И я отдам тебе остальное. В том случае, разумеется, если ты действительно решишь поехать в Кортину».

— А почему ты сомневаешься?

— С тобой никогда ни в чем нельзя быть уверенной.

Но сейчас мать выглядела уже довольной. Я понял это по тому, как она, идя впереди меня по лестнице, держала голову и скользила по перилам рукой. «Может быть,— думал я,— она довольна тем, что еще раз сумела избежать серьезного объяснения, того объяснения, которого не желает ни один богатый человек, потому что после него он уже не смог бы спокойно наслаждаться своим богатством». Удовлетворение, которое она испытывала, было, по-видимому, таким полным, что она забыла о моем уклончивом отказе и уже у самых дверей снова сказала: «Почему бы тебе не дождаться министра? Выпьете с ним аперитив, а потом уйдешь. Он человек влиятельный, может тебе пригодиться».



— Мне он, к сожалению, пригодиться никак не может,— сказал я со вздохом.— И потом, мне пора бежать.

Мать не настаивала; отворив входную дверь, она вышла на порог, к подъездной площадке, пряча руки под мышками и подрагивая от осеннего влажного воздуха. «Если так будет лить и дальше,— сказала она, разглядывая затянутое тучами небо,— прощайте все мои цветочки».

— До свиданья, мама,— сказал я и, наклонившись, запечатлел ритуальный сухой поцелуй на столь же сухой щеке. Потом бегом побежал к машине: я уже видел, что в конце аллеи показался направляющийся к дому автомобиль, и всеми силами старался избежать встречи с гостем. Я уселся за руль в тот самый момент, когда машина въехала на подъездную площадку и остановилась. Мать стояла на пороге с видом человека, приготовившегося к приему почетных гостей. Я завел мотор и отъехал, успев увидеть, как из машины вышел шофер в униформе, снял фуражку и распахнул дверцу, но не успев разглядеть того, кому принадлежала нога в черном башмаке, которая нащупывала землю, высунувшись из машины.

Еще не было часу, и я, пролетев на бешеной скорости Аппиеву дорогу, поспел на площадь Испании перед самым закрытием магазинов. Я знал, куда мне нужно пойти, чтобы купить подарок для Чечилии,— в магазин дамских зонтов и сумочек на улице Кондотти. Он был полон элегантных покупательниц, которые при виде меня посторонились с некоторым, как мне показалось, удивлением. Потом, торопливо выбирая сумочку из крокодиловой кожи, я вдруг увидел себя в зеркале и понял причину этого удивления. У меня был вид бродяги, притом бродяги опасного: лысая макушка, обрамленная длинными белокурыми прядями, поросшие рыжей щетиной щеки, угольно-черный свитер, из-под которого виднелась рубашка без галстука, мятые потертые брюки оливкового цвета. Высокий, а в этом помещении с низкими потолками прямо-таки непомерно высокий, со лбом, нависающим как козырек над голубыми с красными прожилками глазами, с коротким носом, толстыми губами — обезьяна да и только! В то же время я понял, как должна была любить меня мать, если она была готова пригласить меня даже в таком виде на завтрак с министром и другими гостями. Но потом подумал, что благодаря особой ее чувствительности к тому, что она называла «формой», мать могла решить, что я одет так, как и подобает художнику, в своего рода униформу, указывающую на мое место в этом мире, место отнюдь не позорное в глазах общества, признававшего за художником право носить свитер, так же, как признает оно право министра на пиджак. Я так погрузился в эти размышления, что вздрогнул, услышав голос продавщицы, которая протягивала мне сумку. Я заплатил, взял сверток и вышел.

Был час. Свидание было назначено на пять. Странно, но до сих пор, то есть пока отношения с Чечилией казались мне незыблемыми, я никогда не замечал часов ожидания; теперь же, когда я решил с ней расстаться, необходимость ждать вдруг повергла меня в какое-то странное смятение. Поэтому все, что я мог сделать до пяти, я делал чрезвычайно медленно, надеясь, что время таким образом пройдет незаметно и безболезненно; я поел в траттории своего квартала, притворяясь перед самим собой, что медлю потому, что смакую каждый кусок; потом я пошел в бар и, выпив кофе, еще прослушал несколько пластинок, меняя их в автоматическом проигрывателе; затем я выпил кофе в другом кафе и, вскарабкавшись на высокий табурет перед стойкой, прочел от первой до последней строчки какую-то газету. Потом минут двадцать я беседовал с попавшимся мне на улице художником, которого я даже не знал по имени, и старательно изображал интерес к произносимой им длинной диатрибе по поводу разных премий и выставок. Но даже при всем этом я сумел убить только два часа из тех четырех, которые отделяли меня от свидания. Чувствуя на душе тревогу, я вернулся наконец в свою студию.

Там меня встретил сочащийся через белые шторы мягкий, неяркий, но беспощадно ясный свет, тот самый свет, при котором ощущение скуки, то есть осознание полного разрыва между мною и окружающими меня предметами, обретало качество единственно возможного, совершенно естественного ощущения, хотя от этого оно не становилось менее мучительным. Наоборот, стоило мне войти и сесть в кресло перед пустым холстом, до сих пор белевшим на подрамнике, я сразу же подумал: «Я здесь, а они там». «Они», как я это уже знал по опыту, это были предметы вокруг меня: холст на подрамнике, круглый стол посреди комнаты, отгораживающая кровать ширма в левом углу комнаты, кафельная печь с трубой, выведенной в потолок, стулья, заваленные набросками, книжный шкаф. «Они там,— твердил я себе,— а я здесь». И между ними и мной не было ничего, ну то есть абсолютно ничего, как в космическом пространстве между звездами, отстоящими друг от друга на миллиарды световых лет.

Я повторял: «Я здесь, а они там», и вспоминал Чечилию, как лежала она вчера на этом диване — закрытые глаза, голова, откинутая на валик, выпяченный живот,— предлагая себя в самом прямом и откровенном смысле слова, именно так, как предлагает себя вещь, которая сама по себе не может ничего, кроме как навязать вам обладание ею; и еще я вспомнил, что, идя к дивану, я подумал, как сегодня: «Она там, а я здесь», и почувствовал, что между мною и нею нет ничего, полная пустота, и эту пустоту я должен пройти, пере-

сечь, заполнить движением своего тела, бросающегося на ее тело. Вспоминая усилие, которое, словно при взятии барьера, мне пришлось над собою сделать, чтобы обнять Чечилию и овладеть ею, я внезапно понял, что мое решение покинуть ее было не чем иным, как официальным, если можно так выразиться, признанием уже существующего положения дел. Да, расстанусь я с Чечилией сегодня, но на самом-то деле я покинул ее много раньше, а вернее, я никогда и не был рядом с нею.

От всех этих мыслей я задремал и в конце концов заставил себя перейти с кресла на диван. Я заснул почти сразу и с таким страстным желанием заснуть, что мне казалось, будто я, скорчившись, стиснув кулаки и зубы, проваливаюсь в какую-то пропасть, и тело мое по мере этого падения становится все тяжелее и тяжелее. Потом я вдруг проснулся с привкусом железа во рту, как будто в зубах у меня была зажата металлическая планка. В студии было почти темно. Предметы в сером полумраке сделались черными. Я соскочил с дивана и включил свет. За окном сразу же наступила ночь. Тогда я посмотрел на циферблат будильника, стоящего на столе, и увидел, что уже больше шести. Чечилия должна была прийти в пять.

Не нужно было много воображения, чтобы понять, что опоздание не случайно и что сегодня она, по-видимому, уже не придет. Между тем одной из странностей противоречивой натуры Чечилии, которой были явно недоступны чувства, заставляющие одного человека не причинять страданий другому, была пунктуальность: она была пунктуальна так, как будто действительно меня любила, и когда ей почему-либо приходилось опаздывать, она всегда успевала меня предупредить. Поэтому сегодняшнее опоздание не было вещью обычной и могло объясняться разве лишь тем, что произошло нечто настолько более важное, чем наше свидание, что Чечилия не только не пришла, но и не смогла сообщить мне о том, что не придет.

Однако первая мысль, которая пришла мне в голову в связи с этим, была следующая: «Так ты что — недоволен? Ты же хотел от нее избавиться, и вот, она не пришла. Казалось бы, так даже и лучше?» Однако в моем рассуждении был оттенок сарказма, так как я должен был с удивлением признать, что опоздание Чечилии не только не доставляет мне удовольствия, но, наоборот, очень меня тревожит.

Я вернулся на диван и принялся размышлять. Почему опоздание Чечилии так меня взволновало? И понял, что если до сих пор Чечилия была для меня, как я уже говорил, ничем, то теперь, именно в результате опоздания, она стала «чем-то». Но это едва обретенное «что-то», к сожалению, ускользало у меня из рук: ведь Чечилия не пришла! Когда она была в студии, когда она меня обнимала, она казалась мне несуществующей, зато теперь, когда ее не было и я знал, что она не придет, я с неосознанной горечью вдруг ощутил, что она существует.

Я попытался осмыслить все это получше, но заметил, что это мне дается с трудом, потому что мне было больно. Итак, Чечилия не пришла; итак, она даже не потрудилась представить мне какие-то оправдания; итак, она меня разлюбила, или, во всяком случае, любила меня не настолько, чтобы быть пунктуальной или хотя бы предупредить; иными словами, она любила меня чрезвычайно мало. И тут я неожиданно с удивлением осознал, что за все два месяца, пока длилась наша связь, Чечилия ни разу не сказала, что любит меня, и я ее ни разу об этом не спросил. Разумеется, можно было считать признанием в любви то, что она мне отдавалась, показывая тем самым, что ей со мной хорошо. Но вполне возможно, и это я понял только сейчас, что это не значило ровно ничего.

О том, что эта «жертва тела» не значила для нее ничего, я мог бы догадаться и по тому, как мало она придавала этому значения. Такие вещи нельзя не чувствовать: Чечилия отдавала мне себя с тем поистине дикарским простодушным безразличием, с каким, снимая с шеи, дикарь отдает алчному завоевателю амулет из драгоценных камней. Можно было подумать, что она не знала поклонников, которые дали бы ей почувствовать, каким желанным может быть женское тело. Правда, Балестриери ее обожал и даже умер от этого обожания, но казалось, Чечилия до сих пор этому удивляется как вещи, с ее точки зрения глупой и непростительной.

Неожиданно я почувствовал укол в сердце и вздрогнул. Уколола меня мысль — думай не думай, а она не пришла,— которая заставила меня почти физически ощутить бесплодность всех моих размышлений перед лицом этого отсутствия. Я посмотрел на часы и заметил, что со времени моего пробуждения прошло уже тридцать минут: Чечилия, конечно, сегодня не придет. И я больше не желал убеждать себя в том, что ее отсутствие мне безразлично.

Я подумал: не заболела ли она — единственная причина, которая могла бы объяснить ее поведение, не посеяв во мне подозрений, и вскочил с дивана, чтобы ей позвонить. И только тогда, с ощущением совершающегося открытия, понял, что никогда не звонил Чечилии, ни разу. Это она мне всегда звонила, каждый день, а я не звонил, потому что мне это было не нужно. Такое полное отсутствие любопытства с моей стороны показалось мне весьма знаменательным. Я никогда не звонил Чечилии, потому что никогда не пытался установить с ней настоящие отношения. Так они и стали ничем: скука легко их подорвала, и в конце концов я даже решил покончить с ними совсем.



Номер Чечилии ответил загадочным молчанием: вернее, молчание казалось мне загадочным, потому что Чечилия с той минуты, как она не пришла, сама стала загадочной, укрывающейся в этом молчании, как зверь в норе. Однако будучи загадочным, это молчание все-таки не было окончательным. Без особой уверенности, как игрок, который после нескольких проигрышей все-таки не теряет надежды отыграться, я надеялся, что в конце концов в трубке раздается голос Чечилии. Но вместо этого произошла странная вещь: гудки прервались, то есть кто-то взял трубку, но не произнес при этом ни слова, мне показалось, что на той стороне я различил что-то вроде учащенного дыхания, а потом вздоха. «Алло, алло! — кричал я.— Кто у телефона?» — пока не услышал, как там положили трубку. В ярости я снова набрал номер, но мне снова ответило молчание, наполненное этим таинственным дыханием, и под конец трубку опять положили. Я набрал номер в третий раз и ждал очень долго, но никто не подошел.

Оставив в покое телефон, я вернулся на диван. Поначалу я был так поражен, что вообще ничего не соображал. Мне было ясно только одно: в тот самый день, когда я решил сообщить Чечилии о нашем разрыве, Чечилия, не знаю почему, впервые не явилась на свидание, то есть фактически сама спровоцировала меня на разрыв, который я только еще собирался ей предложить. Я испытывал то самое неприятное чувство, которое испытывает человек, спускающийся по крутой темной лестнице, когда, готовясь преодолеть последнюю ступеньку, вдруг нащупывает ровную поверхность лестничной площадки и теряет равновесие именно потому, что ступеньки, которой он ждал, на самом деле не оказалось.

Безотчетно, чисто механически, я поднялся, подошел к двери, открыл ее и взглянул в сторону входной двери, словно надеясь, что из-за угла сейчас появится Чечилия. Потом я посмотрел в другую сторону, и мой взгляд, обежав все двери, задержался на двери Балестриери. Я не мог не подумать о том, что и Балестриери, наверное, вот так же, бог знает сколько раз, выглядывал в коридор, чтобы посмотреть, не появится ли из-за угла опаздывающая Чечилия. Я знал, что в его студии пока никто не живет; говорили даже, что там хочет поселиться сама вдова. В день нашей первой встречи Чечилия оставила ключ от комнаты старого художника у меня на столе и так его и не взяла, а я забросил его в какой-то дальний ящик, словно предчувствуя, что он мне еще понадобится. Внезапно мне захотелось очутиться в тех стенах, где Балестриери мучился от той же самой неясности, от которой сейчас мучился я.

Я взял ключ и, оставив дверь полуоткрытой, чтобы Чечилия, если она все-таки явится, могла войти, направился к студии Балестриери.

Когда я зажег искусственные, с искусственным же нагаром свечи центральной люстры, студия, с ее подделанной под старину мебелью и темно-красным дамаском, показалась мне еще более мрачной, чем в первый раз. Ступая по толстому ковру и с отвращением вдыхая застоявшийся, пыльный, дурно пахнущий воздух, я подошел к стоящему посреди комнаты большому, громоздкому, выдержанному в стиле Возрождения столу, чья блестящая поверхность за два месяца запустения покрылась густым слоем пыли. На нем стоял телефон, рядом лежали телефонный справочник и зеленая квитанция об уплате. Я подумал, что вдова, должно быть, и в самом деле собирается сюда переехать, раз уж платит за телефон, потом мой взгляд упал на справочник, переплетенный «под мрамор». Я взял его и начал листать. Почерк Балестриери, крупный, четкий, корявый, почему-то привел мне на память его слишком широкие плечи и огромные ступни. Меня поразило количество женских имен, просто имен без фамилий, почему-то все они были на одной странице: Паола, Мария, Милли, Инес, Даниэла, Лаура, София, Джованна и т. д., и т. д. Зная привычки Балестриери, я не сомневался, что все это были имена тех легкомысленных барышень, которые когда-то, до того как началась его великая любовь к Чечилии, столь часто его посещали. Я продолжал листать, мне хотелось увидеть страницу с буквой «ч». Вот оно, имя Чечилии, и рядом телефон, по которому я только что тщетно пытался дозвониться. На мгновение я замер, не отводя глаз от этого имени и этих цифр и думая о том, сколь различны были чувства Балестриери в тот день, когда он делал эту запись, и потом, когда он открывал эту страницу, прежде чем позвонить Чечилии. Под конец ему, наверное, уже и не надо было прибегать к услугам справочника, потому что он знал номер наизусть; но все равно он время от времени, наверное, смотрел на страницу с буквой «ч», вспоминая тот роковой час, когда он записал это имя и этот номер. Неожиданно на столе зазвонил телефон.

Поколебавшись, я взял трубку. У меня было странное чувство, будто я это не я, а Балестриери, и что сейчас я услышу в трубке голос Чечилии. Это предчувствие неожиданно сбылось: я услышал по телефону знакомый голос, который спросил: «Это ты, Мауро?» Стало быть, Балестриери звали Мауро. Какая-то болезненная тошнота подступила к горлу, и у меня сжалось сердце. Так, значит, это действительно была Чечилия, и она звонила не мне, а Балестриери, то есть человеку, который умер, и она знала о том, что он умер.

Все это длилось одно лишь мгновенье. Я сказал еле слышно: «Нет, это Дино», и голос, сразу же потерявший всякое сходство с Чечилией и, более того, обнаруживший полное

с нею несходство, словно сходство это было порождением моей фантазии, в замешательстве сказал: «О, простите, это квартира Балестриери?»

— Да.

— А что, Балестриери нет? Видите ли, меня четыре месяца не было в Риме, и я просто хотела узнать, как он там. А вы что, его друг?

— Да. А вы кто?

— А я Милли,— заверила девушка горячо и как-то многозначительно, словно намекая на интимность своих отношений с художником.

— Видите ли, синьорина Милли, синьор Балестриери... уехал.

— Да? А вы не знаете, когда он вернется?

— Не могу сказать.

— Ну хорошо, если вы его увидите, скажите, что звонила Милли.

Я положил трубку и на мгновенье замер, пытаясь проанализировать смутное и неприятное чувство, вызванное у меня этим звонком. Потом я заметил, что в студии холодно, что холод пробирает меня до костей. Какой-то особенный холод, отдающий пороком и тленом, могильный и в то же время альковный, холод алькова, который стал могилой. Говоря по телефону, я сел, может быть, потому, что был потрясен, услышав голос Чечилии. Я поднялся со стула и вышел в коридор.

Вернувшись в свою студию, я взглянул на телефон и, так как не ждал уже больше никого, понял, что посмотрел на него, чтобы понять, сколько времени осталось до того утреннего часа, когда мне обычно звонила Чечилия. И сразу же подумал, что думаю об этом в первый раз, и еще понял, что отныне и впредь подобные мысли будут посещать меня все чаще и чаще.

*Перевела с итальянского С. Бушуева*

*Окончание следует*

*Антон Антонов-Овсеенко*

## КАРЬЕРА ПАЛАЧА

В марте 1938 года на судебном процессе в Колонном зале Дома союзов Генрих Ягода в последнем слове просил оставить ему жизнь. Он готов пойти на стройку простым рабочим. Было время — народный комиссар внутренних дел Ягода руководил строительством Великих каналов, которые прославили Родину на весь мир...

В декабре пятьдесят третьего, на заседании Особого судебного присутствия, Лаврентий Берия тоже просил снисхождения: «Я могу еще пригодиться...» Он сослался на свой богатый опыт государственной деятельности, напомнил о руководящем участии в создании отечественного сверхоружия.

А ведь по натуре своей Берия был человеком ленивым. В Закавказье, в годы тридцатые, да и несколько ранее, этот заслуженный чекист старался переложить всю тяжесть работы на плечи заместителей и помощников. На протяжении ряда лет деятельностью органов ГПУ — НКВД фактически руководил Тите Лордкипанидзе, Берия же отдавал явное предпочтение собственным удовольствиям. Любил председательствовать, выступать с докладами, не им, разумеется, написанными. Заложенную в нем природой энергию он тратил лишь на интриги и провокации да на любовные утехи. Тут он был неутомим.

Академик А. П. Александров четко разделяет всех лиц, причастных к Атомному проекту, на несколько групп. Характеризуя Игоря Курчатова как вполне компетентного ученого и ответственного организатора, Анатолий Александров говорит, что это была прекрасная, богато одаренная личность. Да, к осуществлению этого проекта правительство привлекло интеллектуальный цвет советской науки.

Что касается практических руководителей — министров и генералов, то далеко не все заслужили добрую память. Б. Л. Ванников, Е. П. Славский, А. П. Завенягин, М. Г. Первухин поначалу почти ничего не понимали в атомном проекте. Однако упорный, целеустремленный труд помог им приобщиться к новому делу и с большой пользой применить свой организационный опыт. Совсем иную, тормозящую роль сыграли генералы, привыкшие лишь властвовать. Для них проблема сводилась к простой формуле: «Взорвется — не взорвется?» Именно такой подход и продемонстрировал маршал (это звание он носил с июля 1945 года) Берия, хотя в организацию самого дела он и вложил колоссальную энергию.

Ныне мы располагаем замечательными историческими документами — письмами Петра Леонидовича Капицы. В одном из его писем Сталину, датированном 25 ноября 1945 года, известный ученый дает нелицеприятную оценку всесильного фаворита. «Товарищи Берия, Маленков, Вознесенский ведут себя в Особом Комитете как сверхчеловеки. В особенности тов. Берия. Правда, у него дирижерская палочка в руках... У тов. Берия основная слабость в том, что дирижер должен не только махать палочкой, но и понимать партитуру. С этим у Берия слабо». Капица не отказывает Берии в энергии и умении быстро ориентироваться в сложных ситуациях, но тут же отмечает ленивый характер этого начальника и чрезмерную самоуверенность, которая помешала Берии принять предложение академика помочь ему овладеть физикой. А заодно — познать по перво-

---

Окончание. См.: «Звезда», 1988, № 9; 1989, № 5, 11, 1991, № 7.

источникам историю техники. «Но для этого нужно работать,— пишет Капица,— а черкать карандашом по проектам постановлений в председательском кресле — это еще не значит руководить проблемой».

Девять раз за последние две недели назначал Берия аудиенцию Капице и всякий раз отменял. К этому приему Папа Малый прибегал обычно тогда, когда хотел «поставить на место» маститого ученого. «У меня с Берия совсем ничего не получается»,— с горечью заключает физик. Он предлагает Сталину вывести ученых из состояния подчиненных и, оказав им полное доверие, поставить *во главе* государственных проектов. «Следует, чтобы все руководящие товарищи, подобные Берия, дали почувствовать своим подчиненным, что ученые в этом деле ведущая, а не подчиненная сила». Пока же Берия и прочие начальники к мнению, к возражениям ученых мало прислушиваются.

Капицу, всемирно известного ученого, положение слепого исполнителя административной воли не устраивает, он просит Сталина освободить его от участия в Особом комитете и Техническом совете. Он полагает, что Берия будет доволен его уходом. Подчеркнув, что это письмо не является «доносом», он просит Вождя ознакомить с ним товарища Берию.

Через несколько дней тот позвонил Петру Леонидовичу: «Товарищ Сталин показал мне ваше письмо. Надо поговорить. Приезжайте».— «Мне с вами говорить не о чем. Если вы хотите поговорить со мной, то приезжайте в институт».

Пришлось Лаврентию Павловичу ехать самому. Он преподнес строптивому ученому богато инкрустированную тульскую двустволку, однако этот символический подарок, конечно же, не мог изменить мнения Капицы о шефе тайной полиции в роли куратора Атомного проекта.

Мог ли мстительный, злобный соратник Сталина оставить письмо Капицы без последствий? Травить ученого он начал еще в августе сорок пятого. Верный своей привычке действовать через подставных лиц, он уже в качестве председателя Бюро Совета Министров СССР предложил назначить заместителем Капицы по Главкислороду М. К. Сукова. Последний послал на имя Сталина явно инсценированное письмо, содержащее клеветнические измышления о деятельности честного ученого. В этом письме-доносе нашлось место и политическим обвинениям.

После же того памятного письма Сталину интриги против Капицы возобновились с новой силой. По всему видно, устроитель провокаций решился на срыв важнейших кислородных работ ученого, лишь бы дискредитировать его в глазах руководителей государства. Исполнителем злой воли на сей раз выступил профессор И. П. Усюкин. Совсем недавно, в феврале 1945 года, он выдвигал работу Капицы «Установки высокой производительности для получения жидкого кислорода» на соискание Сталинской премии. А четыре месяца спустя этот же эксперт оценивает результаты деятельности Капицы как порочные и предлагает использовать немецкие установки и западную технологию. О своем резко отрицательном отношении к турбокислородным установкам Капицы эксперт Усюкин известил также ЦК партии.

Пораженный его беспринципностью, Петр Леонидович жалуется Сталину на действия экспертных комиссий, которые, не посмотрев даже установку и не пригласив к участию в заседаниях руководителя проекта, дали неблагоприятные отзывы. При этом председатели этих комиссий — ни Первухин, ни Сабуров, ни Малышев — ни разу не выслушали объяснений академика Капицы.

Совсем нетрудно догадаться, кто стоял за кулисами этого поистине вредоносного для государства действа.

У Берии были все «основания» ненавидеть ученого. К этому столь естественному для него чувству примешивался еще и страх за свою шкуру. В среде физиков бытует рассказ о том, как во время беседы с Берией ученый сказал: «Лаврентий Павлович, вы не читали моих книг, а я — ваших. Но, заметьте,— по разным причинам...» 4 апреля 1946 года Сталин послал Капице письмо, в котором тепло отозвался о письме академика и высказал пожелание побеседовать с ним. Если такая встреча состоится, Петр Леонидович не преминет сообщить генсеку о художествах главного куратора Атомного проекта. Надо упредить зарвавшегося академика, уничтожить его, и дело с концом. Летом 1946 года начальник тыла Вооруженных Сил СССР генерал А. В. Хрулев оказался свидетелем знаменательной беседы в кабинете Вождя. Берия настаивал на аресте Капицы, Сталин ему в этой малости решительно отказал: «Я его *тебе* сниму, но ты его не трогай». Всего одна фраза, а в ней — самая суть взаимодействия двух уголовников.

Семь лет продолжалась опала замечательного ученого и патриота. Он стал затворником на своей подмосковной даче. Вместо созданного им Института физических проблем — изба на Николиной Горе, в которой и разместилась его лаборатория. Опала была снята с Петра Леонидовича лишь в августе 1953 года, после ареста его личного врага Берии.

Но этот сталинский подручный оказался и врагом отечественной науки. О «невыносимом отношении Берии к науке и ученым» Петр Капица писал Н. С. Хрущеву в сентябре 1955 года. Ученый отошел от Атомного проекта из-за Берии, а тот распустил слух, будто академик Капица отказался участвовать в создании бомбы в силу своих пацифистских убеждений. В письме Хрущеву Капица упоминает также о мерах, принятых Берией, чтобы погубить кислородную проблему. Решение ее благодаря злонамеренным действиям лубянского воротилы задержалось на много лет.



Как все это согласовать с положительными отзывами ученых-атомщиков о Лаврентии Берии как умелом, энергичном организаторе? Он был не так уж прост, и с помощью одной черной краски его достоверный портрет не воссоздать.

* * *

Однажды — это происходило после войны — Берия беседовал с А. Н. Комаровским, опытным лагерным строителем. Он начинал карьеру на канале «Москва — Волга». Пили коньяк, говорили о жизни. После третьей рюмки хозяин кабинета положил перед генералом чистый лист бумаги: «Пиши».— «Что писать, Лаврентий Павлович?» — «Напиши про то, как тебя немецкая и английская разведка вербовала».— «Вы что, шутите, Лаврентий Павлович?» — «Какие еще шутки? Пиши». Комаровский растерялся, он пытался что-то доказывать, убеждал Берию, но тот не унимался. Раздался телефонный звонок. «Слушаю, товарищ Сталин. Да. Это будет сделано.— Берия положил трубку и налил полные рюмки коньяку.— Ну вот что, Комаровский. По указанию товарища Сталина ты назначаешься начальником строительства одного объекта. Сегодня же подпишу приказ. А теперь обмоем твое назначение. С тебя причитается...»

Страх стал постоянным спутником всех занятых в производстве атомной бомбы инженеров и ученых — больших и малых. С помощью своих генерал-надзирателей Берия поддерживал состояние страха на всех стройках, заводах, лабораториях.

А Комаровский после сдачи в эксплуатацию важного объекта атомной программы был переведен в Челябинск, потом строил новые здания Московского университета, там этот Герой Социалистического Труда прославился своим жестоким нравом.

Пока был жив Берия, Комаровский постоянно ощущал затылком его рыскающий взгляд. Любимчиков Хозяина Лаврентий Павлович не жаловал. Как-то он вызвал Комаровского и заявил ему, что на одной из дач Сталина у входной двери застряла пуля. Неподалеку от дачи работали люди Комаровского. На розыск стрелявшего Лаврентий Павлович дал ему три дня.

Через два дня Комаровский представил шефу результаты баллистического анализа траектории пули. Оказалось, что стреляли с площадки, на которой обычно тренировались личные охранники Сталина.

Комаровскому удалось миновать все рифы бериевских провокаций. Судьба ветерана ГУЛАГа сложилась благополучно и после смерти Сталина. В 1963 году он стал заместителем министра обороны по строительству и расквартированию войск и на этом посту оставался до конца, получив при Брежневе звание генерала армии.

Эстафета...

Наш рассказ об атомном короле был бы неполным без свидетельства Андрея Дмитриевича Сахарова. Бериевские агенты пытались привлечь его к работе в сухумском научном центре, обещая замечательные возможности для исследовательской работы и не менее замечательные материальные блага. Беседа с неким «генералом Зверевым» состоялась в номере гостиницы в конце 1946 года, и если бы не отказ молодого ученого, его положение изменилось бы круто. Однако, как пишет в своих «Воспоминаниях» А. Сахаров, ему все же пришлось заниматься разработкой термоядерного оружия — с конца июня 1948 до июля 1968 — двадцать лет. С Берией ученый встречался много раз в его кремлевском кабинете № 13.

...Берия обратился ко мне с вопросом, как идет работа по МТР у Курчатова. Я ответил. Он встал, давая понять, что разговор окончен, но вдруг сказал: «Может, у вас есть какие-нибудь вопросы ко мне?» Я совершенно не был готов к такому общему вопросу. Спонтанно, без размышлений, я спросил: «Почему наши новые разработки идут так медленно? Почему мы все время отстаем от США и других стран, проигрывая техническое соревнование?» Берия ответил мне прагматически: «Потому что у нас нет производственно-опытной базы. Все висит на одной „Электросиле". А у американцев сотни фирм с мощной базой». (Такой ответ был мне, конечно, не интересен.) Он подал мне руку. Она была пухлая, чуть влажная и мертвенно-холодная. Только в этот момент я, кажется, осознал, что говорю с глазу на глаз со страшным человеком.

Летом 1952 года (если мне не изменяет память) произошел такой эпизод. Возникли задержки в производстве одного из основных входящих в изделие материалов. Ответственным по Первому главному управлению за производство этого материала был Н. И. Павлов, один из руководящих работников ПГУ, кажется, в то время полковник КГБ (а может, уже генерал). Существовало в принципе два различных метода производства — назовем их «старый» и «новый». Старый метод использовал завод, ранее построенный для другой цели, впоследствии отпавшей. Новый метод использовал установку, специально построенную на основе оригинальных научно-технических разработок, и был го-

раздо более перспективным. Павлов, то ли из перестраховки, то ли желая как-то использовать уже существующий завод, решил скомбинировать оба метода; ничего хорошего из этого не получилось, план производства материала был сорван.

На совещании у Берии, при котором я присутствовал, кто-то поднял этот вопрос. Берия уже имел, видимо, свою информацию. Он встал и произнес примерно следующее: «Мы, большевики, когда хотим что-то сделать, закрываем глаза на все остальное (говоря это, Берия зажмурился, и его лицо стало еще более страшным). Вы, Павлов, потеряли большевистскую остроту! Сейчас мы вас не будем наказывать, мы надеемся, что вы исправите ошибку. Но имейте в виду, у нас в турме места много!»

Берия говорил твердо «турма» вместо «тюрьма». Это звучало жутковато. Грозным признаком было и обращение на «вы». Павлов сидел молча, опустив голову, как, впрочем, и все остальные присутствующие.

На том же заседании решался вопрос о направлении на объект «для усиления» академика М. А. Лаврентьева и члена-корреспондента А. А. Ильюшина. Когда была названа фамилия Ильюшина, Берия удовлетворенно кивнул, очевидно, она уже была ему известна.

...Лаврентьев и Ильюшин были направлены на объект в качестве «резервного руководства» — в случае неудачи испытания они должны были сменить нас немедленно, а в случае удачи — немного погодя и не всех... Лаврентьев старался держаться в тени и вскоре уехал. Что же касается Ильюшина, то он вел себя иначе. Он вызвал несколько своих сотрудников и организовал нечто вроде «бюро опасностей». На каждом заседании Ильюшин выступал с сообщением, из которого следовало, что обнаружена еще одна неувязка, допущенная руководством объекта, которая неизбежно приведет к провалу. Ильюшину нельзя было отказать в остроумии и квалификации, и все же, как правило, он делал из мухи слона. Но в случае неудачи испытания укус каждой из этих мух был бы смертелен: он ведь предупреждал...

Работа американских ученых над атомным проектом, тщательно засекреченная, вызвала все же острое внимание Главного разведывательного управления (ГРУ) наркомата обороны. Формально начальник ГРУ Ф. Ф. Кузнецов подчинялся начальнику Генштаба, но эту область разведки контролировал и направлял все тот же неподменный Берия.

Военному атташе в Канаде полковнику Н. Заботину удалось организовать две группы осведомителей, канадцев и англичан. Самыми ценными оказались Д. Лунан, И. Гальперин («Бэкон») и Аллан Нан Мэй («Алек»). Им удалось не только установить местонахождение завода по изготовлению атомной бомбы в США, но и передать советской разведке образцы урана-235 и 233. Значительный ущерб делу нанес Игорь Гузенко, шифровальщик советского посольства в Канаде. Он выдал канадскому правительству, участнику урановых исследований, важные секреты. Последовали провалы. Но жертвы оказались напрасны: как это часто случалось при некомпетентном руководстве, сведения, добытые столь дорогой ценой, устарели.

На Западе бытует мнение, что без шпионских сведений, полученных от супругов Розенберг, создание советского атомного оружия задержалось бы на несколько лет. В Советском Союзе лишь недавно признали участие в этом деле американской пары, казненной за предательство на электрическом стуле. А ведь упоминание имен осведомителей встречается даже в воспоминаниях Кима Филби, изданных в русском переводе в СССР в 1980 году. Только вот сведения, добытые Розенбергами, кстати, весьма ограниченные (как утверждал Курчатов), поступили в атомный центр слишком поздно.

В последнее время появляются воспоминания о самоотверженной и эффективной работе советских разведчиков в Германии и Англии. Несмотря на потери опытных агентов, им удалось добыть исключительно ценные секреты атомного производства. Однако некоторые отечественные специалисты утверждают, что и жертвы, и материальные затраты оказались напрасными: советские ученые разработали и осуществили Атомный проект вполне самостоятельно. Видимо, время для воссоздания точной истории Атомного проекта еще не пришло.

16 июля 1945, накануне открытия Потсдамской конференции, в штате Нью-Мексико американские специалисты взорвали первое атомное устройство. Президент США Трумен полагал, что теперь Сталин станет сговорчивей и откажется от своих имперских амбиций. О рождении атомной бомбы кремлевского Генералиссимуса известили тут же, в Потсдаме. И что же? Он остался безучастен, будто речь шла о какой-нибудь новой модели бомбардировщика. И не освободил оккупированных стран. Его не устрашила даже гибель Хиросимы и Нагасаки. Сталин уверил себя в том, что на большее Трумен не решится. Надо выиграть время, всего несколько лет, Советский Союз обзаведется своей бомбой, тогда посмотрим...

Лица, ответственные за атомную политику США, явно недооценивали научно-технический потенциал СССР. «Для того, чтобы догнать нас, Советам в самом лучшем случае потребуется до пятнадцати лет»,— заявил генерал Гровс специальной комиссии Конгресса.

Роберт Оппенгеймер, отец первой атомной бомбы, был настроен не столь благодушно, но и он не мог предположить, что советские ученые преодолеют отставание всего за четыре года. Но они сделали невозможное.

Незадолго до испытания нашей атомной бомбы Сталин вызвал к себе И. В. Курчатова и Н. М. Сисакяна. В кабинете находился Берия, он встретил их строгим взглядом. Ученые положили на стол письменные отчеты о ходе работы. Сталин бросил бумаги на стол и сказал раздраженно: «Мне не бумажки нужны! Мне бомба нужна!»

29 августа 1949 года в 7 часов утра под Семипалатинском прогремел взрыв первой атомной бомбы. Председатель Государственной комиссии Лаврентий Берия провел последние сутки перед испытанием без сна, обошел все объекты: полигон с командным пунктом и двумя пунктами наблюдения, зал сборки с распределительными щитами, манипуляторами. Он присутствовал при окончательной сборке и проводил первенца к лифту перед подъемом на стальную вышку.

То, что произошло в то осеннее утро на левом берегу Иртыша, в 70 километрах от Семипалатинска, детально описано Н. Головиным в его книге об И. Курчатове.

Берия появился на командном пункте, расположенном в десяти километрах от башни, когда уже начался отсчет времени. Курчатов, меривший большими шагами пол укрытия, останавливается рядом с Флеровым. Остается пятнадцать минут, десять... И вдруг: «Ничего у вас, Игорь Васильевич, не получится!» — «Что вы, Лаврентий Павлович! Обязательно получится!»

Курчатов углубляется в наблюдение фона нейтронов, и только помрачневшее лицо выдает его состояние.

Когда раздался взрыв — точно в расчетную секунду,— Курчатов бросился наружу, взбежал на земляной вал с криком «Она! Она!..» Его вернули в укрытие. К Игорю Васильевичу подошел Берия, обнял и расцеловал: «Было бы большим несчастьем, если б не вышло!»

За два года до этих событий американцы испытали свою бомбу на атолле Бикини, пригласив туда советских ученых — наблюдателей М. Г. Мещерякова и Д. В. Скобельцина. Их сопровождал сотрудник тайного ведомства некий полковник Александров.

Теперь Лаврентию Павловичу важно было узнать мнение свидетелей того испытания. Он позвонил на наблюдательный пункт, где находился Мещеряков: «Михаил Григорьевич? Похоже на американский? Очень? Мы не сплоховали? Курчатов нам не втирает очки? Все так же? Хорошо! Значит, можно докладывать Сталину, что испытание прошло успешно? Хорошо, хорошо!» Берия дал команду генералу, дежурившему у телефона, тотчас же соединить его со Сталиным по ВЧ. В Москве взял трубку А. Поскребышев: «Товарищ Сталин ушел спать».— «Очень важно, все равно позовите его». Через несколько минут ответил сонный голос: «Чего тебе?» — «Товарищ Сталин, все успешно. Взрыв такой же, как у американцев...» — «Я уже знаю»,— ответил Сталин. И положил трубку. Берия взорвался, набросился с кулаками на побледневшего генерала. «Вы и здесь суете мне палки в колеса, предатели! Сотру в порошок!»

Неужто генерал осмелился сам, по собственной инициативе, сообщить Сталину о результатах испытания? Конечно же, нет. Хозяин остался верен себе, приставив к главному куратору своих людей. И Берия знал об этом.

Испытание бомбы было по указанию Берии заснято на кинопленку. Однако кинофильм, отразивший от начала до конца процесс испытания, не видел никто, кроме узкого круга специалистов. Не был он показан ни одному члену Политбюро, кроме, разумеется, генсека. Вячеслав Молотов жаловался в 1953 году, уже после ареста Берии: «Он даже нам не показал этот фильм...»

Был в обслуге Сталина киномеханик, которому и Берия оказывал личное доверие. Лаврентий Павлович вызвал его в просмотровый зал, где сидел один, совершенно один, и поманил пальцем: «Ты знаешь, что с тобой случится, если хоть одна живая душа услышит от тебя об этом фильме?» — «Знаю, товарищ Берия».— «Ну, тогда начинай».

В том, что взрыв под Семипалатинском очень скоро перестал быть тайной для западных держав, винить некого. Утечка такой информации несомненно входила в планы Папы Большого и Папы Малого. Не обошлось без ложного сообщения ТАСС от 25 сентября: якобы в СССР на строительстве одного объекта были применены взрывные работы. Что же касается атомного оружия, то им страна располагает с 1947 года...

Сталин блефовал и вновь отметил свое личное руководящее участие в создании сверхоружия. Без атомной бомбы как удержать оккупированные территории, как вести имперскую политику?.. Вождь внимательно следил за ходом подготовки испытаний, ему не терпелось своими глазами взглянуть на бомбу. Летом 1949 он приказал привезти к нему в Кремль плутониевый заряд. Один из генералов, сопровождавших Курчатова, вспоминал позднее:

«А это не муляж?» — спросил Сталин Курчатова, указав на небольшое никелированное полушарие. «Нет, Иосиф Виссарионович. Положите руку на заряд, и вы убедитесь в том, что он выделяет тепло». Сталин так и сделал и удивленно покачал головой: «Игорь Васильевич, а почему бы этот заряд не разделить на две части и не сделать нам две бомбы?» — «Нельзя, Иосиф Виссарионович. Есть такое физическое понятие, как критиче-

ская масса. Она ставит предел: если плутония по весу будет меньше критической массы, бомба просто не взорвется».

Сталин долго ходил по кабинету, наконец остановился: «А вы здесь не ошибаетесь, Игорь Васильевич? Я так думаю: критическая масса все же понятие не физическое, а диалектическое...»

Курчатов обладал гибким умом: «К сожалению, Иосиф Виссарионович, уровень знаний сегодняшней науки еще недостаточен и уменьшать критическую массу мы еще не можем, но, естественно, будем работать в этом направлении».

Странное дело, полуобразованный Хозяин, надев маску Великого Ученого, случайно попал в самую точку. Много лет спустя, когда научились огромным давлением частично сминать кристаллическую решетку делящихся металлов да еще прокладывать листы плутония листами замедлителей нейтронов, удалось освоить метод уменьшения критической массы.

Профессор И. Н. Головин, один из сотрудников И. Курчатова, а с 1950 года — первый его заместитель, приводит подробности встречи. Вместе с Курчатовым в Кремль прибыли Н. Зернов и Ю. Харитон. Последний принял активное участие в беседе, именно он упомянул о критической массе. И еще одна памятная беседа Сталина с Курчатовым — перед испытанием первой бомбы. Сталин был заметно озабочен: «Вот испытаем бомбу, Игорь Васильевич, а американцы пронюхают о том, что у нас еще не наработано сырье для второго заряда, и попрут на нас. А нам нечем будет ответить...» — «Постараемся подготовить сырье, Иосиф Виссарионович»,— ответил Курчатов. Времени оставалось в обрез, но ко дню взрыва первой бомбы второй плутониевый заряд был изготовлен.

Итак, Советский Союз стал второй атомной державой. Люди, совершившие этот подвиг — ученые, инженеры, техники, мастера, организаторы — заслужили награды. Но как определить долю участия каждого? Как эта проблема разрешилась в кабинете Берии, Курчатов рассказал позднее, не скрывая горькой усмешки: «Я несколько дней ходил озадаченный. На очередной встрече с Берией в его ведомстве он спросил, почему это я хмурюсь, когда дело сделано. Когда я рассказал, Берия подумал и вытащил из своего хранилища какое-то номерное дело, в котором оказались списки всех участвующих в оружейном проекте — по всем ведомствам. Против каждой фамилии проставлена мера наказания (от расстрела до стольких-то лет лагерей). На тот случай, если бы бомба не взорвалась. При этом мера „ответственности“ была уготована каждому в строгом соответствии со степенью важности выполняемых работ. „Так вот,— смеясь сказал Берия,— по этим спискам мы никого не пропустим и одновременно легко и оперативно определим меру вознаграждения каждому“».

Так и было сделано. Ордена, медали, дачи, автомобили, денежные премии, подарки, льготы, почетные звания щедрым дождем пролились на тружеников атомной программы, создателей советского сверхоружия. В числе новых Героев Социалистического Труда и лауреатов Сталинской премии — Курчатов, Флеров, Харитон, Щелкин, Алферов...

Сталин был щедр. Однако что сталось бы с лауреатами в случае неудачи, пусть временной? Но это уже были заботы Лаврентия Берии.

Триумфальное завершение атомной программы укрепило его место — второго, после Сталина, вождя. Но он лелеял тайную цель, для осуществления которой надо было взять под свой контроль армию, ее Генеральный штаб. Здесь он тоже преуспел, а Хозяин, как это ни удивительно, проглядел хитрые маневры своего верного слуги.

Войну Семен Штеменко начал в звании полковника. За плечами — две академии: моторизации и механизации Красной Армии и Генерального штаба. И небольшой опыт командования танковым батальоном (1937—1938). В Генеральном штабе, где он служил с 1940 года в должности старшего помощника начальника отдела, Штеменко вскоре занял место заместителя начальника направления, затем — пост начальника Ближневосточного направления. В 1942 году, когда Берия выполнял задания ГКО на Кавказе, штаб прикомандировал к нему генерал-майора Штеменко. Вероятно, Берия остался доволен таким помощником, иначе он не взял бы его с собой в Тегеран весной 1943 года для подготовки конференции глав Союзных государств. Берия полагал, что сопровождать его должен генерал-лейтенант, и это звание было присвоено Штеменко немедленно, всего через четыре месяца после первого генеральского чина. В том же 1943 году, в ноябре, он стал генерал-полковником, уже занимая высокоответственный пост начальника Оперативного управления. Минуло менее пяти лет, и Штеменко возглавил Генштаб в звании генерала армии.

Это назначение было совершенно неожиданным для министра Вооруженных Сил маршала Василевского. Он занимал одновременно пост начальника Генштаба и просил Булганина освободить его от этой работы, рекомендовав на свое место опытного генерала армии Антонова. Однако на заседании Политбюро Сталин «рекомендовал» на пост начальника Генштаба Штеменко. Антонова же послали, со значительным понижением, в Закавказский военный округ.



Еще более неожиданное произошло в июне 1952 года, когда Штеменко без объяснения причин сняли с поста начальника Генштаба и отправили в ГДР в качестве начальника штаба группы советских войск.

Здесь мы прервем послужной список Семена Матвеевича Штеменко, чтобы ответить на некоторые вопросы. Кто способствовал внезапному и такому скорому возвышению генерала? Кто обеспечил награждение Штеменко орденами, предназначенными лишь полководцам? Мундир генерала-штабиста украсили два ордена Суворова I степени и один — II степени, а также — Кутузова I степени. Кроме этого — три ордена Боевого Красного Знамени и орден Ленина. Почему Сталин резко оборвал его карьеру в 1952 году? Ответ столь очевиден, что исключает поиск иных версий. Берия, став руководителем Атомного проекта и фактическим распорядителем сверхоружия, задумал взять под свой контроль и армию. Этой цели вполне соответствовал преданный ему лично человек на посту начальника Генерального штаба. С атомной бомбой в правом кармане и Генеральным штабом Советской армии в левом, он мог совершить великое, непредсказуемое зло.

Сталин, конечно же, заметил, пусть с опозданием, куда клонит атомный король, и снял Штеменко с ключевого поста в тот момент, когда противоборство достигло высшей точки. Что касается объяснения, которое Сталин посчитал нужным дать Василевскому один на один по поводу смещения Штеменко («Он все время пишет, и пишет, и пишет на вас. Надоело».), то делалось все это не без ведома Берии. Таким способом он надеялся освободить для своего человека кресло министра обороны. Дальнейшие изменения в уникальной судьбе Штеменко лишь подтверждают сказанное выше.

После смерти Сталина — возвращение в столицу на пост первого заместителя начальника Генштаба (16 марта 1953 г.). За арестом Берии последовало резкое понижение в должности — Штеменко назначен начальником штаба Западно-Сибирского военного округа (15 июля 1953 г.).

Вся послевоенная деятельность Лаврентия Берии, особенно участие в осуществлении атомной программы, убеждает нас в том, что в его лице Сталин получил равного себе противника. Второго, подобного Берии, история не знает.

Многие современники полагают, что это противоборство началось в самом конце сороковых годов. Дело было не так. Поставив Лаврентия Берию на ключевую позицию наркома внутренних дел, Сталин был уверен в том, что сумеет держать фаворита в жесткой узде. И Берия на первых порах поддерживал эту иллюзию генсека. Но их медовый месяц продолжался недолго. Уже через год Сталин начал сомневаться в разумности своего выбора. Все чаще и чаще стала брать верх постоянная подозрительность Вождя. Светлане Аллилуевой запомнился один характерный эпизод.

Она часто гостила на даче Берии, у Нины Теймуразовны, и отец поощрял эту дружбу. Однажды, в первые дни войны, Светлана осталась там ночевать. «Наутро вдруг позвонил разъяренный отец и обругал меня нецензурными словами. Он прокричал: „Сейчас же езжай домой! Я Берии не доверяю!“».

Вряд ли Сталин вкладывал в эти слова политический смысл, он знал, что Берия способен на все. Без таких функционеров, как Берия, генсек не удержался бы у власти столько лет. На кого еще мог он опереться в дни военных поражений? Берия, конечно же, заметил растерянность Сталина, его трусость. И с тех пор стал вести себя вызывающе, порой даже нагло.

В конце войны, пользуясь благодушием Верховного Главнокомандующего, Берия внедрил в дачную обслугу своих людей из грузин. Поощрения они получали царские.

...Это случилось года два спустя после войны. За обедом Сталин огляделся и спросил: «Почему я окружен грузинами?» Берия был начеку: «Товарищ Сталин, эти люди — ваши верные слуги. Они всецело преданы вам...» — «А русские что же, мне не преданы?!» — «Нет, этого я не сказал,— ответил Берия,— но все, кто здесь находятся, это вполне лояльные слуги». — «Мне не нужна их лояльность! — крикнул Хозяин.— Гони их отсюда вон!» Пришлось Берии, публично униженному, покинуть гостиную и тотчас уволить своих агентов-грузин. Тогда же была уволена сестра-хозяйка сталинского дома с 1937 года, майор госбезопасности Александра Николаевна Накашидзе. Такую фамилию носил известный погромщик, бакинский генерал-губернатор. Не приходилась ли ему родственницей эта двоюродная сестра Нины Теймуразовны Берии?

К тому времени Берия до тонкости разработал технологию устранения неугодных людей и создал безотказный механизм отсечения от генсека старых и новых фаворитов. Прошло то время, когда он уничтожал функционеров партийной и государственной власти по указке Сталина. Теперь он это делал уже по собственному выбору, и, как заметил тогда же Хрущев, Сталин это понимал. И стал бояться товарища Лаврентия.

Игнатий Лойола, основатель ордена иезуитов, каждого члена ордена сравнивал с палкой в руках Генерала. Берия давно уже, с начала войны, когда в полной мере проявились не только трусость, но и бездарность Сталина, тяготился своим положением исполнителя верховной воли. Ему надоело быть палкой в руках Хозяина.

Берия был большим притворщиком, уже в первые годы службы в Грузинской ЧК искусно завоевывал доверие нужных людей. Без труда сумел он обойти простака Хрущева. На первых порах Никита Сергеевич считал Лаврентия своим другом, но очень скоро столкнулся с его жестоким двуличием. Они часто встречались за обедом у Сталина, и тот однажды пожаловался Хрущеву: «Раньше наши обеды были приятны, теперь же, при Берии, все стало плохо. Он пьет и подбивает на пьянство других». Вспоминая об этом, Никита Хрущев попутно выдает один секрет. Оказывается, Берия, Маленков и Микоян просили официанток наливать им вместо вина подкрашенную воду. Как-то Щербаков, натурально упившись, открыл секрет трех «трезвенников», и Сталин поднял страшный шум...

Союз Берии с Маленковым имел ключевое значение в его борьбе за власть. Именно о ней идет речь, об абсолютной власти, но не о троне генсека. На этом посту Лаврентию Павловичу виделся вполне послушный ему партфункционер. Им мог стать Никита Хрущев, но он казался слишком простым и недалеким. И Берия остановился на Георгии Маленкове.

В свое время он был близок Николаю Ежову, тогдашнему председателю КПК. Ежов даже хотел сделать его своим помощником.

Берия давно оценил скрытую и необоримую силу центрального аппарата, поэтому хотел заручиться в первую очередь *своим* человеком в секретариате. И Маленков на посту секретаря ЦК, сумевший взять под контроль почти весь главный штаб партии, мог стать опорой Берии. И стал ею. Объединившись, они составили в Политбюро силу, которую мог одолеть лишь Сталин. Без его поддержки ни Молотов, ни Ворошилов, ни Калинин не осмеливались спорить с более молодыми и весьма прыткими компаньонами. Берия продолжал играть роль послушного слуги, он выжидал, ибо знал, чем может кончиться прямой конфликт с генсеком.

В 1949 году Сталин вызвал из Киева Хрущева и поставил его во главе столичного комитета партии. Он надеялся создать противовес усилившемуся тандему. Вспоминая о той тревожной поре, Никита Хрущев пишет, что постоянно противостоял Берии и Маленкову. Он нередко преувеличивал свое значение, однако здесь несомненно содержится большая доля правды.

В мае 1946 года генсек неожиданно снял Маленкова с высокого поста и переместил в Узбекистан. Зигзаги в судьбе фаворитов генсек создавал и раньше, но такого еще не было: человек, занимавший второй по значению пост в партии, угодил вдруг в далекую ссылку. Это совпало по времени с арестом министра авиационной промышленности А. И. Шахурина, обвиненного в развале дела. Рассказывают, что поводом послужила жалоба сына Сталина Василия на плохое качество самолетов. Поскольку куратором этой отрасли был Георгий Маленков, у генсека появился повод убрать его.

Не прошло и года, как Маленков вернулся в Москву — случай в истории партии уникальный. Обычно за снятием с высокого поста неотвратимо следовала казнь. Как же это Берии удалось уговорить Хозяина?

Арест Шахурина и опала Маленкова — каприз генсека или результат отлично сработанной провокации? Берия подпоил-подговорил Ваську Сталина, тот вызвал праведный гнев отца и... Эта история могла понадобиться Берии для «спасения» Маленкова. Ему нужен был в секретариате ЦК не просто свой человек, но человек преданный, обязанный ему всем. Такова возможная схема действий Лаврентия Берии. Как бы там ни было, с той поры Берия и Маленков стали неразлучны.

У Никиты Хрущева были все основания называть Берию редчайшим мастером провокаций, всегда искавшим случая *поймать* конкурента на слове. За два года до войны, когда Хрущев прибыл по делам из Киева в Москву, Берия пригласил его на дачу: «Послушай, что ты думаешь о Маленкове?» — «А что я должен думать?» — «Я имею в виду теперешнее положение, когда арестован Ежов».— «Понимаю. Ежов с Маленковым были приятелями. Ну и что? Я думаю, Маленков — честный человек».— «Весьма возможно,— ответил Берия,— но ты все же подумай...»

Подобные беседы Берия затевал и после войны — то с Хрущевым, то с Булганиным. Позднее он пытался вызвать недовольство самим генсеком, однако никогда не позволял себе инсинуаций в адрес Сталина при Кагановиче. Лазаря Моисеевича он ненавидел страстно. При Хрущеве же он доходил порой до оскорблений Божества и ожидал реакции дорогого Никиты. Но тот «...никогда не закрывал ушей и никогда не открывал рта...».

А как Берия разделался с Вознесенским! Пользуясь близостью к Сталину, он умел выбрать минуту благодушия или раздражения Хозяина и употребить целенаправленную информацию на пользу или во вред определенному деятелю. Именно так он поступил с председателем Госплана Николаем Вознесенским, который опрометчиво отбивал все попытки Берии получить как можно больше средств за счет других министерств. И Вознесенский погиб.

Сталин все видел, все замечал. Берия был ему еще нужен, его присутствие в Политбюро обеспечивало зыбкое равновесие мелких самолюбий постоянно враждующих вождей. Но, сознавая приоритетное значение атомной программы, генсек решил освободить его от приятных обязанностей министра внутренних дел. Берия должен был полностью переключиться на производство сверхоружия и организацию разведки. Во главе МВД СССР Хозяин поставил одного из ближайших подручных Берии Серген Круглова. Борьба вокруг трона обострилась до предела. Жданов со своей командой добивается не только отстранения и высылки Маленкова, но и смены руководства МГБ. Давний сподвижник Берии, его правая рука, Меркулов уступил свой пост Абакумову, который успел проявить себя с лучшей стороны как начальник СМЕРШа.

Назначая этого функционера главой Органов, Хозяин надеялся сконструировать противовес Берии, чье могущество становилось опасным. Сталину трудно было вообразить, что в его окружении есть люди, преданные ему менее, чем кому-либо из его собственных подручных. Долгие годы раболепного поклонения трону притупили настороженный ум деспота. Не знал он, что Абакумов взирает на этот странно-покорный мир из-под козырька бериевской фуражки. «Он самый подлый, значит, самый безопасный»,— полагал Лаврентий Берия. Он остерегался лишь честных работников — они служили идее. Подлец же всегда преследует свои мелкие интересы. Его корыстные цели видны, поэтому подлеца легко вести за собой.

Сведения, поставляемые генсеку Абакумовым, предварительно процеживал Лаврентий Павлович, на главный стол их подавали под соусом, состряпанным на бериевской кухне. Он продолжал контролировать личную охрану и обслугу Сталина, сколько бы раз тот ни менял состав ближайшего окружения. Кто посмел бы выказать непослушание могущественному царедворцу?

Шли годы. В верхнем эшелоне власти менялась обстановка, вместе с ней менялся Берия. Ольга Никитична Картвелишвили помнит его волевым, деятельным начальником и напористым лицедеем. При надобности товарищ Лаврентий мог сыграть роль то заботливого друга, то — жизнерадостного весельчака, пустить в ход личное обаяние.

Светлана Аллилуева учила французский язык, и ее преподаватель, П. Лавранш, часто встречалась в Кремле с Лаврентием Берией. Она отзывается о нем как о вежливом, воспитанном человеке. Француженка считала его одним из самых образованных руководителей в сталинском окружении. Оказывается, Берия тоже владел французским.

Проявив незаурядные способности к политической мимикрии, наш обаятельный «француз» становился все жестче и надменнее. Вскоре он так прижмет старых членов Политбюро, что те уже не осмелятся ничего докладывать генсеку без его ведома. Если за столом у Сталина Лаврентий Павлович поднимал некий вопрос, который Хозяин почему-либо отклонял, и кто-то позднее возвращался к этой теме, Берия мог осадить соратничка: «Я уже говорил об этом. Незачем поднимать этот вопрос вторично!»

С не меньшим изумлением наблюдал Никита Хрущев другие сцены, когда споры Берии со Сталиным доходили до ссоры. И всякий раз Берия обращал все в шутку: «Милые бранятся — только тешатся...»

То были достойные друг друга партнеры на кремлевской сцене. Но ссоры далеко не всегда носили такой характер. Берия наглел, наливался властью, он уже полагал обязательным согласовывать с ним тексты всех докладов генсека, и тот часто уступал его притязаниям.

Чем объяснить столь несвойственное Вождю долготерпение? Может быть, Берия шантажировал его документами царского департамента полиции?..

У Сталина не было повода для недовольства Абакумовым. Министр проявлял полное послушание, исправно служил, с разительным эффектом провел «Ленинградское дело». Но вот в конце мая 1951 года старший следователь по особо важным делам МГБ М. Д. Рюмин обратился к Сталину с письмом. Он сообщал, что Абакумов покровительствует террористическим замыслам вражеской агентуры. Таким образом, шеф МГБ ставит под угрозу жизнь самого товарища Сталина. Кроме того, Абакумов скрывает от ЦК промахи в своей работе и таким образом выводит органы госбезопасности из-под контроля партии. Рюмин информировал Сталина, что Абакумов знает о существовании заговора еврейских буржуазных националистов, инспирированного американской разведкой, но, желая скрыть это от вождя народов, приказал умертвить раскаявшегося в своих преступлениях врача Этингера.

Надо ли упоминать, что Рюмин не мог один состряпать подобную провокацию, связанную со смертельным риском.

4 июля 1951 года Хозяин заменил Абакумова Игнатьевым, а на следующей неделе бывший министр уже сидел на «Матросской тишине».

Игнатьев в двадцатые годы работал в Средней Азии, потом — на довольно ответственных партийных должностях в Бурят-Монголии, Башкирии, Белоруссии, а последние годы — в аппарате ЦК. Под началом Берии не служил, однако карьеру начинал именно в ЧК. Игнатьев трепетно служил Вождю, который поднял его, крестьянского сына, на такую негаданную высоту. Он оказался на своем месте. Тем не менее Сталин постоянно понукал его. Во время создания провокационного дела врачей Сталин в присутствии

членов Политбюро кричал на Игнатьева, угрожал ему. Он требовал заковать врачей в цепи и бить, бить, превратить в фарш!

Сталин постоянно знакомился с данными разведки, интерес к западным и восточным державам не ослабевал и в послевоенные годы. Китай, Мао Цзэдун и его окружение пользовались особым вниманием кремлевского сидельца. Юрий Власов сообщает, что он часто читал доклады одного классного разведчика, опытного врача, которому Мао Цзэдун доверил даже оперировать свою супругу. Внезапно хирурга вызвали в Москву и арестовали, обвинив в связях с женой американского резидента в Китае. Сталин распорядился выпустить разведчика, справедливо полагая, что самые ценные сведения нередко удается добыть именно через женщин. Однако на Лубянке «предателя» успели так обработать — в избиениях участвовал лично Абакумов,— что ему понадобилось серьезное лечение. Но вот в дело вступил Берия, он-то знал, что Сталин подобных ошибок не прощает. И когда хирург-разведчик после госпиталя отправился воздушным рейсом в санаторий, самолет по пути в Сочи сгорел...

Неудобным для Берии оказался еще один человек — непосредственный начальник погибшего хирурга. Это был отец Юрия Власова. В 1942 году он возглавил группу военных корреспондентов ТАСС в Китае, сблизился с Мао Цзэдуном. В 1948 году — назначен генеральным консулом в Шанхае. Берия пытался приручить разведчика, но из этого ничего не вышло. История гибели хирурга тому известна в деталях, и это предопределило его судьбу. В конце 1952 года он приехал в Москву из Бирмы, где служил послом. Берия пригласил его к себе и, узнав в дружеской беседе, что тот страдает желудком, опасается раковой опухоли, предложил новейшее онкологическое средство. Власов вернулся домой с распухшей рукой. Жить ему оставалось после «целебного укола» всего несколько месяцев. Он погиб весной, не дожив до 49 лет.

Начальник управления контрразведки МГБ генерал-лейтенант Леонид Райхман, один из самых доверенных подручных Берии, выдавал себя за поляка, будучи евреем. То ли по этой причине, то ли из естественного желания ослабить позиции Берии, но Сталин приказал министру госбезопасности Игнатьеву арестовать генерала. Это произошло в 1952 году. На другой день после смерти Сталина Берия принес опальному в камеру мундир генерал-полковника.

Долгое время никто, кроме Берии, не снабжал генсека информацией о положении дел в Грузии, да и во всем Закавказье. Эта монополия и непререкаемый авторитет Папы Малого в этом регионе стали раздражать Хозяина. Он решил обеспечить свой тыл прежде всего в Грузии. Николай Рухадзе, почти десять лет возглавлявший грузинские Органы, генсека никак не устраивал. В сентябре 1952 года он назначает министром ГБ Грузии А. И. Кочлавашвили. Ему Вождь поручил чистку партийных и государственных верхов республики с целью подорвать там позиции Берии. Кочлавашвили начал с мирного заявления: «До сих пор работа Органов была неполнокровной». Сколько же еще крови должно пролиться в распятой Грузии? Это мог определить только он, Кремлевский Дозировщик.

Охрана жизни генсека стала наиважнейшим государственным делом. Ведь благополучие Вождя означало благополучие всего народа. В том раю, который учредил для себя Сталин, Берии была отведена роль Верховного Охранника.

В тридцатые годы Сталин разъезжал на легковой автомашине марки ЗИС-110: семь мест, усиленный кузов, пуленепробиваемое стекло. Автомобиль был почти полностью скопирован с американского «бьюика», но оказался громоздким и потреблял столько горючего, что на одной международной выставке его зачислили в класс комфортабельных грузовиков. Послевоенную модель (1949 год) ЗИС-115 скопировали с американского «паккарда». На этот раз кузов изготовили из бронированной стали. Толщина двойных стенок достигала 30-40 миллиметров, пуленепробиваемых стекол — 80, причем каждое стекло открывалось своим гидравлическим домкратом, вмонтированным внутрь дверцы. Двойное дно, двойной потолок и особо усиленная задняя стенка, на тормозах — армированные чулки. Общий вес стального чудища достигал 6,5 тонны. Мощность мотора доведена до 180 лошадиных сил (прежняя — 140).

Таких машин на заводе имени Сталина выпустили 28. Они не должны были ничем отличаться от серийных ЗИС-110 числом 2800. Все внешние атрибуты, все параметры до миллиметра совпадали с серийными. Сложная конфигурация ставила перед инженерами очень трудные задачи, но все горели желанием справиться с почетным заказом Вождя на «отлично». Пришлось только уменьшить число мест до шести: сзади осталось два (в серийных три), еще два откидных и два впереди (одно из них для шофера). И все же точной копии не получилось. Поскольку значительно возросла нагрузка на колеса, пришлось увеличить их диаметр. Они были снабжены специальными камерами, более безопасными. Больше стал и радиатор.

Подобный агрегат не мог двигаться в общем уличном потоке: радиатор перегревался, вода в нем довольно скоро закипала. Бывший водитель персональной машины Лихачева рассказывал, что по дороге на стадион приходилось пять-шесть раз останавливаться.



В довоенную пору Сталин занимал место на заднем сиденье, между двух дюжих охранников. Они прикрывали Хозяина своими телами сзади, сомкнув плечи. Позднее генсек располагался на одном из откидных сидений, имея за спиной двух охранников. Да, трудно сыскать в истории человечества диктатора, который столь бережно относился бы к собственной персоне, как Сталин. Из добрых побуждений, разумеется: что сталось бы с народом без него?..

Мы не знаем, что по этому поводу думал маршал Жуков, который после войны иногда ездил в одной машине с Генералиссимусом.

«Стекла в машине вот такие. (Он показал пальцами толщину стекол). Впереди сел начальник личной охраны Сталина. Сталин указал мне, чтобы я сел на заднее место. Я удивился. Ехали так: впереди — начальник личной охраны Власик, за ним — Сталин, за Сталиным — я. Я спросил потом Власика: „Почему он меня туда посадил?“ — „А это он всегда так, чтобы, если будут спереди стрелять,— в меня попадут, а если сзади — в вас“».

Сталин имел обыкновение менять свой маршрут перед самым выездом из Кремля. На внутреннем дворе Большого театра дежурили скоростные машины с охранниками, которые по спецсвязи получали приказ присоединиться в указанном пункте к автоколонне. Люди первого эшелона, естественно, конкурировали с людьми второго, но именно такая ситуация — соперничество при двойном контроле — и устраивала Хозяина больше всего. Об этом ныне свидетельствуют пережившие всех наследников Сталина служащие его личной охраны.

На некоторых улицах было установлено постоянное дежурство специально подготовленных охранников. На чердаках, на верхних этажах арбатских домов сидели снайперы, готовые поразить любую подозрительную цель. Каждый квадратный метр старого Арбата был пристрелян сверху световыми лучами.

Сталинские автомобили, эти мирные броневики, испытывали боевыми пулеметами. Потом кузов реставрировали, заделывали вмятины. После этого бесстрашный генсек мог пользоваться своей машиной.

Все 28 были разбросаны по стране: две в Ленинграде, 20 в Москве и на загородных дачах, остальные в Крыму, на Северном Кавказе, в Сочи и в Закавказье.

Прошло время, и автопарк усопшего Диктатора свезли в Кремль, на подземный склад. Потом отправили машины на завод имени Лихачева и разбили. Один из уцелевших монстров экспонируется ныне в Риге, в клубе любителей автомобильной старины, два — в Политехническом музее. Судьба четвертого автомобиля примечательна. Он был выкуплен у Советского правительства неким Исидором Потаповым. Летом 1990 года он решил продать его на Западе через австрийскую фирму «Шерц». Предполагали, что цена сталинского авто превысит на аукционе 2 миллиона долларов.

В Гори сохранился другой музейный экспонат — железнодорожный вагон. При жизни Диктатора его держали на станциях Кавказской железной дороги для поездок в Боржоми, Цхалтубо и Бакуриани. Длина его несколько уступала современному купированному вагону (21,6 против 23 метров), зато оборонной мощью и оборудованием он мог поразить воображение самого прихотливого охранника. Одетый в толстую броню стальной монстр весил 83 тонны. Шесть пар колес, снабженных уникальными рессорами, держали его на рельсах.

Представление о внутренней планировке дает схема. Для удобства причем за единицу площади одно купе. Итак, первое купе — кухня. Рядом помещение для охраны. В третьем — спальня. Два следующих — кабинет. Во второй половине (шесть купе) — зал заседаний.

Интерьеры отделаны дубовыми и ореховыми панелями с инкрустациями в старокупеческом стиле. Зеркальное стекло, никель, бронза, позолота. В зале висели три хрустальные люстры. Тесно, конечно, зато шик какой...

Вождь пользовался своим чудо-вагоном не чаще одного раза в три года.

Пристрастие к бронированным вагонам он проявил еще на заре Советской власти, в 1918 году. Всего один раз выехал Великий Полководец на Царицынский фронт. В бронепоезде. В единственном бронепоезде, снятом срочно для этой цели с позиций. Уже тогда Сталин относился к своей персоне как к государственной ценности. С годами животный страх Любимца Партии и Народа возрос неимоверно, и Берия научился виртуозно играть на этой струне.

После войны, когда генсек, теперь уже Генералиссимус, возобновил поездки на юг, Берия отряжал на его охрану целые армии. Из Москвы в Сочи отходили почти одновременно и вне расписания три поезда. Попробуй угадай — в каком едет венценосный Герой. Вдоль всей трассы дежурили тысячи сотрудников милиции и агентов госбезопасности. Они брали под свой контроль службу движения — от диспетчеров и дежурных по станциям до стрелочников. Со всех вокзалов убирали пассажиров.

В сентябре 1947 года Сталин избрал местом отдыха дачу на Холодной речке, под Гагрой. Немедленно во всех санаториях и домах отдыха от Сочи до Сухуми разместили десятки тысяч бериевских агентов. Они заняли добрую половину мест. Оставшихся больных и отдыхающих подвергли строжайшей проверке. Все милицейские посты заняли

московские сержанты и офицеры, включая службу ГАИ. Повсюду шныряли агенты в штатском. Территорию сталинской дачи охранял особый полк войск МВД. Берия лично инспектировал эту грандиозную систему.

Но вот Сталин выехал домой (самолетам он свою жизнь не доверял), и в тот же день на станцию Адлер подали шесть железнодорожных составов, потом еще шесть. Специальные самолеты пошли на Москву. Армия профессиональных бездельников — сановных и рядовых — возвращалась в столицу.

В Кремле, где находился рабочий кабинет Сталина, его квартира и зал заседаний Политбюро, система безопасности была тщательно продумана и отлажена еще до войны, в годы большого террора. История не знает ни одного случая покушения на жизнь генсека и его подручных на территории Кремля. Комендантом этой крепости служил Николай Спиридонов.

Кабинетом Сталина, а значит, и подступами к нему ведал Александр Поскребышев. На первый взгляд его можно было принять за обыкновенного работника центрального аппарата, пусть опытного и авторитетного. Или за кербера, чей животный инстинкт безошибочно отличал нужных соратников от ненужных... И от обреченных. Поскребышев возглавлял личную канцелярию генсека и особый сектор. Эти полуофициальные конторы, уставом партии не предусмотренные, функционировали уже не одно десятилетие *при* ЦК, точнее, над ним. И — что имело особое тогда значение — над тайной службой. Ни Ежову, ни Ягоде, ни Берии они не были подвластны.

В системе личной безопасности Сталина особый сектор занимал ключевую позицию. Он назначал и контролировал комендатуру и обслуживающий персонал Кремля — от высших офицеров до сотрудников музеев и поваров. Окруженные людьми особого сектора члены Политбюро жили в своих покрытых сусальным золотом клетках подобно сытым кроликам в сарае рачительного хозяина. А генсек обезопасил себя дважды — от возможных покушений отчаявшихся партийцев и сотрудников государственной службы безопасности. Так было заведено еще в начале тридцатых, на взлете горийского хулигана и бессмертию.

Сам кремлевский кабинет генсека находился под бдительной охраной постоянно дежуривших у двери агентов. В их проходную комнату посетитель попадал через приемную, где стояли столы Поскребышева и — чуть в стороне — его заместителя. Обыску подвергали всех, за исключением нескольких особо доверенных лиц. Достижения техники тоже использовались. В годы войны диван в приемной был оборудован специальным электронным устройством.

Карьера Поскребышева началась довольно странно. В партию он вступил в 1917 году в двадцатишестилетнем возрасте. В эту пору люди его поколения уже имели стаж подпольной борьбы с царизмом. Прошлое его затемнено наспех сочиненными легендами о революционных постах, которые он занимал в Екатеринбурге, Туркестане, Златоусте, Уфе... Точно известно лишь, что он работал фельдшером на одном из горных заводов Урала, потом — в органах ВЧК и вскоре переехал в Москву. В 1922 году он уже служит в аппарате ГПУ, откуда его переводят в канцелярию генсека. Предстояла Александру Поскребышеву долгая, на три десятилетия, почетная вахта в предбаннике Вождя.

Охрана квартиры генсека, расположенной рядом со зданием бывших судебных установлений, не представляла трудностей. Но чаще он обитал, особенно в последнее время, на своей даче в Кунцево, близ Москвы. Комендантом «Ближней», как ее называли, был генерал Власик. Сталин поставил его во главе Главного управления охраны МГБ. Полуграмотный, тупой служака щеголял в мундире генерал-лейтенанта и позволял себе поучать ответственных лиц, вплоть до министров. Характеризуя Николая Сидоровича Власика как глупого и вельможного солдафона, Светлана Аллилуева сообщает о том, что отец вверил ему управление отрядами охраны всех своих дач — под Москвой и на юге.

Ближние и дальние подступы кунцевской резиденции Сталина находились под круглосуточным наблюдением сотен вооруженных агентов, готовых в любой момент отразить налет отряда лихих кавалеристов, усиленного ротой пулеметчиков. Такое могло случиться только в сказке, но в то сказочное время никто ничему не удивлялся. И высокие заборы с массивными стальными воротами, и скрытая кустами колючая проволока под электрическим током, и тройная проверка документов, и сложный порядок представления посетителей Хозяину — все казалось необходимым, естественным.

Попав на территорию дачи, автомашина совершала крутую петлю вокруг деревьев, скрывавших фасад здания. Кошачьей натуре генсека претили прямые ходы, и это тоже воспринималось как должное.

Но было одно обстоятельство, существенно отличавшее Кунцево от Кремля: подбор и назначения охранников и обслуживающего персонала дачи осуществлял не кто иной, как Берия. Сталин иногда капризничал: то ему надоела грузинская обслуга, то ему не нравились русские садовники... Но Берия сумел сохранить свои командные позиции и в последней игре пустить этот козырь в ход.

Сталин опасался удара и с другой стороны. Он знал, кто отравил в 1936 году Нестора Лакобу. И кто отправил в мир иной бывшего советника Мао Цзэдуна Петра Владимирова.



За Лаврентием Павловичем числились и другие химические опыты, да и сам Сталин никогда не ограничивал себя в выборе средств.

По свидетельству Светланы Аллилуевой, все продукты питания — мясо, рыба, овощи, фрукты, хлеб, вино — подвергались лабораторному исследованию и поступали на кухню — каждый пакет в сопровождении акта, заверенного подписью токсиколога и круглой печатью. Такой же процедуре подвергались посылки, поступавшие сюда с Кавказа.

Никита Хрущев вспоминает, с какой опаской генсек относился ко всему поданному на стол. Пытаясь сохранить достоинство, Вождь намекал на понравившееся ему блюдо, и тогда Хрущев или Микоян, самые безответные нахлебники, отведав просимого, предлагали ему.

Но в стане осатанелых пауков, собранных в кремлевской банке, бытовал еще один способ уничтожения ближнего — аэрозоли. «Иногда,— пишет Аллилуева,— доктор Дьяков появлялся у нас на квартире в Кремле со своими пробирками и брал пробу воздуха из всех комнат».

Медицинский персонал, стоявший на страже здоровья Вождя, подбирали прежде всего по признаку безусловной преданности. Лейб-медики Сталина и членов Политбюро находились под неусыпным контролем Берии, так что вельможные пациенты могли чувствовать себя в двойной безопасности.

Лечебно-санитарное управление Кремля, позднее — Четвертое главное управление при Министерстве здравоохранения — располагало сетью поликлиник, аптек, больниц, санаториев для работников высшей номенклатуры, но и в этой закрытой системе для генсека и малых вождей были созданы особые условия.

Попробуем теперь представить себе графический образ сталинской крепости. По углам ее — четыре мощные сторожевые башни: личная охрана — Власик, канцелярия и Особый сектор — Поскребышев, лейб-медики и подручные.

Генерал Власик помимо охранной службы ведал хозяйством сталинской дачи. Вряд ли он осмелился бы утаить от Вождя деньги или ценные вещи. Однако удар последовал именно с этой стороны. Вездесущие Органы уличили его в присвоении фарфоровых сервизов, хрусталя, фотоаппаратов, а также — в серьезных упущениях по службе... Арестовали Власика 15 декабря 1952 года.

Вслед за Власиком за решетку угодил Александр Поскребышев, тот самый генерал Поскребышев, которого Сталин любезно называл «Главным». Для тех, кто общался с генсеком, он действительно был главным после него, ибо только Александр Николаевич в любое время дня знал, в каком расположении духа изволит пребывать Диктатор, кому он мирволит и кого собирается спустить с Олимпа.

Берия не утруждал себя разработкой новых видов провокаций. Начальник личной канцелярии генсека оказался виновен в утечке сверхсекретной информации. И уличил его не кто иной, как Сталин. Может быть, по тонкости исполнения эта акция стала наивысшим достижением шефа органов кары и сыска.

Третью башню Сталин порушил сам. Большая группа кремлевских врачей, включая его лейб-медика Виноградова, уже три месяца томится в тюрьме. Врачи успели чистосердечно признаться в террористических замыслах и шпионской деятельности и, соответственно, простились с жизнью.

Дезориентированный последними событиями Вождь натренированным нюхом почуял смертельную опасность и решил вовсе отказаться от врачебной помощи. Кого ему прикомандируют в этот раз? Кто будет контролировать действия новых врачей? Органы безопасности поспешили арестовать вместе с врачами-вредителями начальника Лечсанупра Кремля Егорова. Министра здравоохранения СССР Смирнова заменили новым человеком — Третьяковым.

Оставалась последняя опора — подручные. И от этой опоры Сталин отказывается сам, удалив от себя таких абсолютно преданных помощников, как Молотов, Ворошилов, Микоян, Каганович. Многоопытный дворцовый интриган утратил дар дальних расчетов. И твердость руки.

Сталин знает истинную цену Маленкову и Берии, догадывается о намерениях этой нечистой пары и все же... все же впускает их внутрь полуразрушенной крепости. Он надеется на то, что Хрущев с Булганиным сыграют роль противовеса, некоего сдерживающего начала. Он по-прежнему уверен в себе, но события уже вышли из-под его контроля. Как и в доброе старое время, он жаждет крови. Его верный охранник Николай Власик брошен в тюрьму. Взяли его 15 декабря, за ним — Александра Поскребышева. Берия требует от каждого показаний на другого. Особенно достается Власику. Он получил возможность узнать на себе, что же это значит — рекомендованные сталинским ЦК «физические методы воздействия». Начальника Главного управления охраны МГБ генерал-лейтенанта Власика обвиняют в огромном перерасходе государственных средств, в незаконном хранении дома и на даче секретных карт, в разглашении служебных тайн... Более двадцати лет беспорочной службы Хозяину не в счет. Свыше двух лет тянулось следствие, Власик пережил и Сталина, и Берию, но пришлось все же признать свою вину полностью: быть может, самооговор спас ему жизнь. На суде (17 января 1955) он отказался от вымученных

показаний, однако суд был милостив: 10 лет ссылки. Этот срок в соответствии с амнистией 1953 года был тотчас сокращен вдвое. Через два года Власик вернулся из Сибири в Москву и вскоре был реабилитирован. Это сделал по старой дружбе Ворошилов.

С Александром Поскребышевым пришлось быть осторожным. В ожидании команды Хозяина Берии не терпелось свести счеты с Главным. Но в сугубо партийной игре «казнить — миловать» Сталин верховодил сам. Здесь он никакой самостоятельности не терпел.

Меж тем четверка продолжала исправно посещать Диктатора на даче. Глубоко ошибаются те, кто полагает, что все четверо представляли собой группу единомышленников. Уже в начале они разбились на пары, но и давно отработанный тандем Берия — Маленков в действительности не был тандемом. Профессиональный полицейский не мог делиться своими тайными планами с партфункционером. Что до этого простака Никиты и опереточного маршала Булганина, то кто же их принимал всерьез? Боялись они Лаврентия Павловича до дрожи в печенках. И Маленков, которому генсек доверил ведение партийно-организационных дел, имел все основания опасаться своего слишком изворотливого партнера. Берия и не таких под себя подминал.

Его главенство в последней при жизни Сталина четверке соратничков было бесспорным. Как ни старался генсек изолировать товарища Лаврентия от органов, тот продолжал негласно командовать аппаратом насилия. Ни один член Политбюро не чувствовал себя в безопасности при нем. Надо также отдать должное незаурядной натуре Лаврентия Павловича. В той аморфной среде он резко выделялся волей к действию и решительным характером. Помноженные на отшлифованное временем коварство, эти черты сделали его безусловным лидером в канун исторической весны 1953 года.

В воспоминаниях Никиты Хрущева, иногда противоречивых, несуразных даже, встречаются свидетельства очевидца и участника событий, рисующие вполне достоверную картину. Его отношение к Берии было сложным, но одно он уловил сразу: шеф тайной службы, став фаворитом Сталина, приобрел огромную власть. И способен на все. Вот характерное признание Хрущева: «Я был более откровенен с Булганиным, чем с другими. „Ты знаешь, какая ситуация сложится, если Сталин умрет? Ты знаешь, какой пост хочет занять Берия?“ — „Какой?“ — „Он хочет стать министром госбезопасности. Если он им станет, то это начало конца для всех нас... Что бы ни случилось, мы абсолютно не должны допускать этого“.

Булганин сказал, что он согласен со мною, и мы начали обсуждать, что мы отныне должны делать. Я сказал, что поговорю обо всем этом с Маленковым».

Четверка была лишь сколком бессмертного Политбюро. Члены его жили в постоянном ожидании подвоха со стороны коллег, но удар мог последовать и сверху, от генсека. Пресным такое существование не назовешь. В этой обстановке выживали лишь самые покорные и осторожные блюдолизы. От нашей же четверки потребовалось нечто иное — мужество. Ибо настала пора действовать.

Как же свершился переворот? Сохранился рассказ Хрущева в передаче Аверелла Гарримана, бывшего посла США в Советском Союзе. Это первое по времени свидетельство Гарриман опубликовал в 1959 году.

В рассказе отсутствует главное — сведения о насильственной смерти Сталина и о плане заговора. Однако здесь Хрущев сообщает некоторые подробности, опущенные в более поздних воспоминаниях: «Он никому не верил, и никто из нас ему тоже не верил». Далее следует описание весело проведенного в обществе Вождя субботнего вечера. Поутру все четверо — Хрущев, Берия, Булганин, Маленков — разъехались. По воскресеньям Сталин обычно звонил им, обсуждал с четверкой предстоящие дела, но на этот раз он остался на даче и никого не вызывал. Лишь в понедельник вечером начальник охраны сообщил, что Сталин болен. Четверка немедленно отправилась в Кунцево. Они застали генсека в тяжелом состоянии. «Мы находились с ним три дня, но сознание к нему не возвращалось».

В своих «Воспоминаниях» Хрущев не отходит от этой версии, он только приводит другие детали. Четверо фаворитов провели вечер 28 февраля за обеденным столом на сталинской даче. Хозяин изрядно выпил, был в хорошем настроении, и соратники уехали от него поздней ночью, вернее, рано утром 1 марта.

Дальнейший ход событий и подлинная дата смерти Сталина нуждаются еще, на мой взгляд, в тщательном исследовании.

Вечером 1 марта произошел удар, Сталин потерял сознание, упал с тахты, лишился дара речи. Охрана вызвала четверых приближенных, но они не задержались на даче и не позаботились о врачебной помощи.

Странный поступок, но он легко объясним. Когда дежурный офицер доложил Берии, что товарищу Сталину стало совсем плохо и он уже хрипит, Лаврентий Павлович резко оборвал его: «Не поднимайте паники, он просто заснул и *храпит* во сне».

Эти сведения сообщил многолетний служащий личной охраны Вождя А. Т. Рыбин. Ему запомнились также тревожные телефонные звонки. Кто-то спрашивал Берию — не нужна ли врачебная помощь? Берия, грубо обругав звонившего, отвечал, что никто здесь в помощи не нуждается. Более тринадцати часов не вызывали врача к пораженному инсультом больному. И еще одна улика, изобличающая заговор. Когда вызванные с большим, точно рассчитанным опозданием врачи окружили больного, его вырвало. Присутствовавший при этом Булганин строго спросил — почему товарища Сталина рвет *кровью?* То был явный симптом отравления. Вызванный на сталинскую дачу профессор А. Л. Мясников поведает позднее обо всем увиденном своему сыну.



Злоумышленнику надо было отвести от себя всякие подозрения, и вот через день после кончины Вождя в газетах появляется такое сообщение: «Результаты патологоанатомического исследования полностью подтвердили диагноз... установили необратимый характер болезни И. В. Сталина с момента возникновения кровоизлияния в мозг. Поэтому принятые энергичные меры лечения не могли дать положительный результат и предотвратить роковой исход».

Итак, для спасения жизни генсека с самого начала приняты все необходимые меры. Неусыпный контроль обеспечил правильное лечение, исключил всякие случайности, малейший намек на насильственную смерть неуместен, даже преступен. Вот что угадывалось в тексте.

Объективность исследования требует упомянуть еще об одной важной детали. Как сообщили охранники, у «товарища Сталина» за год до смерти был первый инсульт, правда, в легкой форме. Однако после этого он стал волочить правую ногу...

Можно согласиться с выводом врачей относительно неизбежности рокового исхода, но при ином отношении Берии к Вождю такой исход врачи смогли бы отдалить. Что касается газетной информации, то она составляет весьма характерный фон.

В первом же правительственном сообщении, опубликованном в «Правде» 4 марта, говорится о «временном уходе» товарища Сталина от работы в связи с болезнью. И еще сказано, что удар случился у него якобы в ночь на 2 марта и не на даче, а в Москве. Одно место особо примечательно: «Товарищ Сталин потерял сознание. Развился паралич правой руки и ноги. Наступила потеря речи».

Последовательность этих событий нереальна: констатировать явления паралича и утраты речи можно лишь ДО потери сознания. Оставив умирающего без врачебной помощи, авторы правительственного сообщения отказались от участия специалистов в составлении текста.

Не много ли лжи для небольшой публикации «Правды»?

Врачи были вызваны к потерявшему сознание Сталину лишь 2 марта, с роковым опозданием. Пора было убедить детей тирана в том, что к его спасению принимаются самые энергичные меры. «Все суетились, спасая жизнь, которую уже нельзя было спасти». Светлане Аллилуевой запомнилась картина медицинского аврала, она не заметила здесь никого из знакомых врачей (кроме одной молодой женщины).

7 марта, через день после смерти Вождя, газеты публикуют текст заключения авторитетной медицинской комиссии в обновленном составе: «Результаты патологоанатомического исследования полностью подтвердили диагноз, поставленный профессорами — врачами, лечившими И. В. Сталина. Данные патологоанатомического исследования установили необратимый характер болезни И. В. Сталина с момента возникновения кровоизлияния в мозг. Поэтому принятые энергичные меры лечения не могли дать положительный результат и предотвратить роковой исход». Здесь сделан акцент на «необратимом характере болезни». В этой связи хотелось бы знать, каково было состояние здоровья Сталина накануне гибели. В последнее время он не жаловался на недомогание, лишь сон у него был тяжелым, но об этом мало кто знал. Доктор, пользовавший Сталина несколько лет, рассказывал бывшему редактору «Известий» И. Гронскому, когда тот в 1955 году вернулся из лагеря: «Во время сна Сталин вскакивал с постели, кричал дико, кошмары буквально душили его. Не дай Бог никому видеть то, что мне довелось наблюдать...»

Аллилуева упоминает о совершенных отцом жестокостях: «...память об этом не давала ему спать спокойно». Но, вспоминает дочь, Сталин отличался очень крепким здоровьем: «сердце, легкие, печень были в отличном состоянии».

Посол Индии К. Менон, посетивший Сталина 17 февраля, то есть за десять дней до внезапного удара, нашел Диктатора в полном здравии. Ему вторит Никита Хрущев, видевшийся с Хозяином за несколько часов до несчастья: «Не было никаких признаков какого-нибудь физического недомогания».

Некоторые историки склонны видеть сына Сталина в роли свидетеля, изобличившего заговорщиков. Вызванный 2 марта на кунцевскую дачу, он «разносил» врачей, кричал, что «отца убили... убивают». Можно ли относить к серьезным уликам вопли записного алкоголика Васьки, этого уголовника и сына уголовника?

А. Авторханов, со свойственной ему обстоятельностью исследовавший историю мартовского дворцового переворота, приводит ряд версий. Две из них — И. Эренбурга (1956) и П. Пономаренко (1957) — явно инспирированы тайной службой. В основе трех других лежат воспоминания Н. Хрущева. В последней он выведен на сцену в роли инициатора и главаря заговора. Кому-то нужна такая легенда...

Сам Хрущев утверждает, что в смерти Сталина был заинтересован только один человек — Лаврентий Берия. Это вполне согласуется с воспоминаниями Аллилуевой о по-

следних часах жизни отца: Берия «был возбужден до крайности. Лицо его то и дело искажалось от распиравших его страстей... Он подходил к постели больного и подолгу всматривался в лицо больного — отец иногда открывал глаза... Берия глядел тогда, впиваясь в эти затуманенные глаза».

Хрущеву, Булганину невмоготу стало существование под жестокой сталинской дланью. По-человечески их колебания понять можно. Только были ли они, были ли соратнички Сталина — новые и старые — людьми? А Берия, чем этот палач лучше того?

Мы упомянули о мужестве, столь необходимом в таком рискованном деле, как устранение тирана. Можно подумать, что проявил его в полной мере только один Берия. Но ведь то было мужество отчаяния. Крыса, загнанная в угол, способна броситься на кошку...

Мужество Хрущева, поднявшегося потом против Берии, — того же свойства. Все они, подручные Сталина, были убежденными трусами. Мужчин в своем хозяйстве генсек не терпел. И все же о Маленкове, Хрущеве и Булганине нельзя сказать, что они стояли в стороне. Они не остановили убийцу, вместе с ним они обманывали народ — относительно болезни и смерти Вождя. Но других вариантов не существовало. Предстоял дележ власти, а за спиной чудилось горячее дыхание старших соратников устраненного... Аллилуева дает нам в руки еще одно важное свидетельство против Берии: «А когда все было кончено, он первым выскочил в коридор, и в тишине зала, где все стояли молча вокруг, был слышен его громкий голос, не скрывавший торжества: „Хрусталев! Машину!"».

...Некогда скорбеть о кончине Диктатора. Да и к чему? Некогда делить власть, ее надо брать. Куда он так спешил? Уж не в кабинет ли Сталина, к секретному сейфу? На Лубянке он без помех овладел центральным аппаратом на правах — может быть, впервые — полновластного хозяина.

В Тбилиси экстренно отправлен специальный поезд с отборными оперативниками. Задание — вызволить из тюрем брошенных туда по приказу Сталина руководителей («Мингрельское дело»). И арестовать всех фаворитов генсека. Возглавить эту освободительно-карательную операцию Берия поручил своему испытанному помощнику Владимиру Деканозову, палачу без страха и упрека.

Новая жизнь — новые заботы. Прежде всего надо замести следы преступления. Лишних свидетелей оказалось много, прежде всего — среди охранников Ближней дачи. Офицеров Берия отправил в отдаленные районы страны. Двое, во избежание худшего, успели застрелиться.

Обслуживающему персоналу — а там водились даже генералы — Берия приказал убираться вон. Это происходило, как с прискорбием отмечает дочь, на второй день после похорон папы.

«Совершенно растерянные, ничего не понимающие люди собрали вещи, книги, посуду, мебель, грузили все со слезами на грузовики,— все куда-то увозилось, на какие-то склады... Людей, прослуживших здесь по десять-пятнадцать лет не за страх, а за совесть, вышвыривали на улицу».

Да, а мебель-то, мебель зачем было вывозить? И книги. Здесь ведь можно, нет, должно музей открыть. И ходили бы к Святому Месту паломники, как ныне посещают Гори, родину Отца Народов. И то позорное место под кремлевской стеной, где он схоронен.

Что ж, и ходили бы. Если бы не Берия.

Единственное, пусть невольно сотворенное злодеем благо. Зачтется ли оно ему?

Смерть Сталина сопровождал торжественный дивертисмент, разыгранный на Красной площади в день похорон 9 марта. Первым выступил Маленков, за ним Берия: «Трудно выразить словами чувство великой скорби...» Что правда, то правда: ему, убравшему с пути генсека, очень трудно. Сколько фальшивых ролей сыграно на этих подмостках, сколько лживых речей произнесено...

«Не стало Сталина — великого соратника и продолжателя дела Ленина... Мудрое руководство Великого Сталина... Неутолима боль в наших сердцах, неимоверно тяжела утрата...» Речь полна дежурных фраз, но вот наследник вспомнил о своей профессии: «Теперь мы должны еще более усилить свою бдительность». Поток трескучих призывов кажется нескончаемым, однако ритуал определен во времени, следует кода: «...неизменно хранить верность идеям марксизма-ленинизма и, следуя заветам Ленина и Сталина, привести страну к социализму и коммунизму».

Этому предсказанию не суждено было сбыться по независящим от Берии обстоятельствам. А его участие в устранении Вождя до сих пор вызывает споры. Но в ходе судебного расследования, если бы оно состоялось при жизни заговорщиков, можно было бы легко обойтись без личных признаний Лаврентия Берии и соучастников. Вполне хватило бы косвенных улик. Иосифа Сталина устранил его верный соратник товарищ Лаврентий. А детали убийства — какие химические средства, когда и как были применены,— эти сведения сгорели вместе с ним в печи московского крематория в декабре 1953 года.

* * *

Политический тандем Берия — Маленков приобрел после смерти Сталина силу решающую, необоримую. Молотов, долгие годы занимавший вторую, вслед за Сталиным, позицию, был им же дискредитирован. Успел-таки, радетель. Оставались Каганович, Микоян, Ворошилов, Булганин, Хрущев. Их Берия никогда всерьез не принимал: объединиться они не могли, умом, мужеством не блистали.



Сценку образования правительственного кабинета Берия с Маленковым разыграли в бодром темпе. Сначала Берия выдвинул кандидатуру Георгия Максимилиановича на пост главы Совета Министров, затем тот назвал Лаврентия Павловича своим первым заместителем, вернее — первейшим. Президиум ЦК, предложенный этой нечистой парой, фактически дублировал состав верхушки правительства. Смещая министра ГБ Игнатьева, Берия предложил ему весьма зыбкую должность секретаря ЦК и вскоре же убрал его вовсе из центрального аппарата. Подобная тактика в отношении неугодных лиц стала в чертогах верховной власти традиционной.

За долгие годы сталинской диктатуры партия, да и весь народ привыкли смотреть на Генерального (первого) секретаря как на Вождя, наделенного абсолютной властью. Отдать этот пост Маленкову или же занять его самому значило бы обнаружить свои истинные намерения. Выдвигая секретарем ЦК Никиту Хрущева, Берия, как ему казалось, обрел в этой опасной политической игре надежную ширму. Оставалась еще одна забота — приобретение популярности. В 1938—1939 годах Сталин помог ему разыграть спектакль, в котором на долю Ежова выпала роль злодея, Берия же выступил в образе доброго рыцаря. Этот опыт оказался кстати: новый шеф Министерства внутренних дел — после слияния с МГБ — предложил коллегам по управлению страной объявить амнистию заключенным. Следующий ход — реабилитация группы «врачей-убийц». Об этом сообщила 4 апреля «Правда». «В результате проверки установлено, что привлеченные к этому делу врачи... были арестованы бывшим Министерством государственной безопасности СССР неправильно, без каких-либо законных оснований. Установлено, что показания арестованных, якобы подтверждающие выдвинутые против них обвинения, получены работниками следственной части бывшего Министерства государственной безопасности путем применения недопустимых и строжайше запрещенных советскими законами приемов следствия». Козлом отпущения оказался этот ротозей Игнатьев.

Ну а главный виновник провокации, тот, что дирижировал незаконными действиями Игнатьева? Свидетельствует Константин Симонов: «Вскоре после сообщения о фальсификации дела врачей членов и кандидатов в члены ЦК знакомили в Кремле, в двух или трех отведенных для этого комнатах, с документами, свидетельствующими о непосредственном участии Сталина во всей истории с „врачами-убийцами", с показаниями арестованного начальника следственной части бывшего Министерства государственной безопасности Рюмина о его разговорах со Сталиным, о требованиях Сталина ужесточить допросы — и так далее, и тому подобное. Были там показания и других лиц, всякий раз связанные непосредственно с ролью Сталина в этом деле. Были записи разговоров со Сталиным на эту же тему».

Все документы, представленные на обозрение товарищем Берией, были доступны цекистам в течение недели. Войдя в роль записного правдолюбца и либерала, Лаврентий Павлович однажды предложил на заседании Президиума установить предельный срок наказания в 10 лет вместо прежних 20-ти. Однако, как справедливо заметил Хрущев, столь гуманная на первый взгляд мера не имела на практике реального значения: десятилетний срок можно было повторять и повторять вновь — как в лагере, так и в тюрьме. В духе устоявшейся традиции. Кстати, убедиться в том, что «новаторство» Берии — всего лишь игра, можно было уже на следующем заседании. Там он предложил установить жесткий контроль органов над всеми отбывшими срок заключения, то есть поселять их в районах, назначаемых функционерами МВД. Было уже такое. Вспомним год 1947-й, репрессивную инициативу Вячеслава Молотова. Тогда, при Сталине, миллионы невинно пострадавших обрекли на бессрочную ссылку. Ныне же предложение главного надзирателя не прошло.

Эта маленькая неудача не отразилась на здоровом оптимизме Берии. Осуществив свою многоходовую комбинацию, Берия мог уже подсчитывать политические дивиденды. Итак, публика убедилась в редкой принципиальности нового лидера, в его гуманности. Теперь с бесправием и репрессиями покончено раз и навсегда. На страже закона стоит несгибаемый ленинец товарищ Лаврентий...

Человек государственный, привыкший мыслить широкомасштабно. Берия совершенно серьезно полагал, что только он лично способен благотворно влиять на внешнюю политику Советского Союза. Он считал, например, нежелательным раздел Германии на два самостоятельных государства, ибо теперь в самом сердце Европы образовался постоянный очаг напряженности. Смелые шаги предпринял Берия в области экономического переустройства Восточной Германии.

Экономические взгляды Берии давно уже не соответствовали топорной политике Сталина, особенно в области сельского хозяйства. Лаврентий Берия, с его гибким умом, никак не мог быть причислен к окаменелым догматикам.

Один известный дипломат, близко знавший Сталина, поведал своему другу о случайном признании Диктатора, которое тот сделал незадолго до кончины. «В Германии,—

сказал Сталин,— надо сохранить фермерское хозяйство. Только оно способно решить продовольственную проблему». То были слова. На излете своей преступной жизни Диктатор продолжал, как встарь, вредоносную аграрную политику. Взамен колхозов повсеместно насаждали совхозы. Колхозам отказано в приобретении сельхозмашин у МТС. Один за другим закрывались сельские рынки. Ставка — на натуральный обмен между колхозами и промышленными предприятиями.

В феврале, за месяц до смерти, Сталин предложил увеличить налоги в деревне на немыслимую сумму в 40 миллиардов рублей, в то время как доходы всех взятых вместе колхозов составляли чуть больше этой суммы.

Берия понимал, что эта установка ошибочна, если можно именовать ошибкой продолжение политики деревенского погрома. Понимал и делал, что велят. Как делал в свое время в Грузии, да и во всем Закавказье.

После смерти Хозяина Берия, уже не таясь, заметил по поводу тотальной коллективизации и обнищания деревни: «Тут Старик явно перемудрил...» Хрущев, который после марта 53-го позволял себе кое-какие упреки в адрес усопшего Хозяина, сам был весьма склонен к реформаторству. В 1950 году, например, он выдвинул план укрупнения колхозов. Берия составил тогда вместе с Маленковым пусть скрытую, но довольно твердую оппозицию новациям Хрущева, предпочитая действовать через подставных лиц. Верный ему первый секретарь ЦК партии Азербайджана Багиров в мае 1951 года высказал сомнение в пользе этой поспешно и непродуманно проведенной кампании.

Тогда же Хрущев выдвинул план генерального переустройства деревни. Этот неуемный прожектер предложил вместо деревень воздвигнуть агрогорода. План был раскритикован на XIX съезде в октябре 1952 года Маленковым. Еще раньше против него высказались секретари ЦК компартий Азербайджана и Армении Багиров и Арутюнов, доверенные помощники Берии. Сам он, будучи в тесном контакте с Маленковым, воздерживался от публичной критики, оставляя за собой простор для политического маневра. Смерть Сталина развязала руки. В начале июня в Восточной Германии была опубликована программа экономического возрождения страны. Всем крестьянам, включая зажиточных (гроссбауэров), а также ремесленникам и торговцам предоставлялась свобода деятельности. Кроме того, были сняты ограничения, мешавшие прежде нормальному существованию интеллигенции и духовенства. Осуществление этой либеральной программы началось под контролем министра госбезопасности Цайссера, ставленника Берии.

Все энергичнее вживаясь в роль нового Диктатора, Берия дает установку председателю Совета Министров Венгрии Матиасу Ракоши отказаться от кооперирования сельского хозяйства. Ракоши позвонил Молотову и передал сказанное Лаврентием Берией: «Все это выдумки „старика". Не увлекайтесь колхозами, мы сами будем отказываться от этого ошибочного пути».

Берия выступил инициатором пересмотра национальной политики. В одном из своих докладов на Президиуме ЦК он предложил ставить отныне на руководящие посты в республиках и автономных областях только представителей местных национальностей. Замена «русских вождей» началась сразу же на Украине, в Белоруссии, Прибалтике. Центральным Комитетам национальных республик была спущена бериевская директива о переводе делопроизводства на местный язык. Тяжелые времена настали для служивого люда, не владевшего никаким языком, кроме русского. Зато заметно возросла популярность Берии на местах.

В мае Берия составил записки о работе бывших органов МГБ Литвы и Украины — с критикой национальной политики и осуждением массовых репрессий. Одобренные Президиумом ЦК записки были затем разосланы на места. После ареста Берии цекисты спохватились. Как доложил на июльском Пленуме ЦК первый секретарь КП Украины Кириченко, Берия употребил такие выражения, дословно: «западно-украинская интеллигенция», «русаки», «русификация». То есть в мае назвал вещи своими именами. Теперь это зазвучало крамолой... И уж вовсе крамольной оказалась установка Берии на ограничение диктаторских функций ЦК. Отвечая на запрос того же Ракоши, Берия указал, что все вопросы текущей политики должен решать Совмин, а ЦК пусть занимается кадрами и пропагандой. «Разве это марксистско-ленинский взгляд на партию?» — риторически вопрошает Хрущев.

Как известно, Сталин сделал все для того, чтобы порвать нормальные отношения с Югославией и ошельмовать Иосипа Тито. Берия осмелился ревизовать гениальные предначертания, он заготовил письмо руководителям Югославии с целью восстановить дружественные отношения. Докладывая об этом на июльском Пленуме ЦК, Молотов не преминул добавить, что «с проектом письма в кармане Берия был арестован как предатель».

Что касается предложения Берии объединить Западную и Восточную Германию как «буржуазное миролюбивое государство», то Молотов назвал его вражеским.

Итоги подвела «Правда» 10 июля 1953 года.

«...Берия был тем, кто из правящей верхушки диктатуры раньше других и последовательней других стал на позицию длительной — „всерьез и надолго" — „передышки" как



в области политики внутренней, так и особенно в области политики внешней. Как далеко он шел, судить трудно, но несомненно, что именно им было продиктовано то изменение в политике советской зоны в Германии, к проведению которой Политбюро немецкой компартии приступило в конце мая 1953, равным образом как именно им было получено согласие китайских коммунистов на мир в Корее и согласие коммунистов Индо-Китая на уход из Лаоса в апреле-мае 1953. Именно в этих актах Берии его коллеги по „коллективному руководству" увидели его стремление к замене политики, выработанной партией за многие годы, капитулянтской политикой, которая привела бы в конечном счете к реставрации капитализма».

На заседаниях Президиума ЦК никто не осмеливался противоречить Лаврентию Павловичу. Но вот Хрущев решил подбить на сопротивление Маленкова:

— Пришло время сопротивляться. Ты видишь — позиции Берии носит антипартийный характер.

Маленков: Ты хочешь, чтобы я один выступил против него? Этого я не стану делать.

Хрущев: Почему ты один? Есть ты и я. Нас уже двое. Уверен, что и Булганин согласится. Я разговаривал с ним несколько раз об этом. Уверен, что и другие присоединятся. Если мы будем твердо держать партийную линию...

...В конце концов они договорились, провели несколько репетиций. «Только тогда,— заключает Хрущев,— Маленков уверовал в возможность применения партийных методов в борьбе с неправильными, вредными для страны и партии предложениями Берии».

Многим тогда товарищ Лаврентий запомнился энергичным организатором, разносторонним государственным деятелем. У себя на родине, в Закавказье, он директивно руководил кампаниями сбора хлопка и цитрусовых, театральной жизнью и литературой, а также борьбой с контрреволюцией. В Москве он вновь сражался на передовом рубеже, в годы войны показал себя стойким соратником товарища Сталина. А кто, кроме Лаврентия Павловича, сумел бы в столь сжатые сроки организовать и наладить производство атомного оружия? Ныне он неутомимо прокладывает новые пути во внутренней и внешней политике...

Однако «либерализм» Берии преследовал отнюдь не гуманные цели. Этот устойчивый циник ясно представлял себе, какой преступный режим охранял столько лет. Кардинальные реформы в Восточной Германии и в своей стране Берия задумал не из сострадания к распятому народу и не из любви к родине. Он хотел вывести страну из тупика, в который завел ее Сталин, и тогда уже править государством без помех.

Каков парадокс: сталинский фаворит, профессиональный палач начал осуществлять разумную политику вопреки партфункционерам, лишенным не то что государственного ума — обыкновенного здравого смысла. Но у них хватило хитрости, чтобы обезвредить Берию, хватило тупости — повернуть историю вспять.

* * *

Странная ситуация сложилась на верхних ступенях власти после смерти Сталина. Хрущев, занявший пост секретаря ЦК, не был признанным лидером. Здесь все решали Берия с Маленковым. Прежние фавориты Сталина — Молотов, Каганович, Ворошилов, Микоян — не могли противостоять могущественному тандему и подкрепить позиции Никиты Хрущева. Да и не хотели. Кабинетные интриганы, многоопытные карьеристы, они никогда не доверяли друг другу, ревниво следили за каждым шагом соперника, их ничто не объединяло. Впрочем, общее у них было — жажда власти и страх утраты власти.

Опираясь на партийный аппарат, на многолетнюю традицию, Хрущев мог добиться от функционеров — в центре и на местах — беспрекословного подчинения своей воле. Но он не смел. А Берия выжидал. Весной пятьдесят третьего в Президиуме ЦК установилось некое зыбкое равновесие сил. Кто нарушит его первым?

Берия начал готовить почву для генеральной перетряски верховного органа партии. У него был верный, как он думал, помощник — Маленков с его богатым опытом и прочными связями в центральном аппарате. Берия опирался на всесильные органы кары и сыска и мог уповать на разрозненность членов Президиума. Кто сможет ему противостоять?

В мае киевский сослуживец Хрущева Тимофей Строкач привез тревожную весть: органы внутренних дел Украины получили секретный циркуляр из Москвы о мобилизации всех сил и переходе на режим боевой готовности. Природа наградила Никиту Сергеевича могучим инстинктом самосохранения. Вызвав под благовидным предлогом кое-кого из провинции, он установил, что секретный циркуляр послан не только на Украину. Сколько лет жил он, партийный секретарь Никита Хрущев, под Сталиным, дрожа и пресмыкаясь, на положении не то шута, не то лакея. Теперь вот — Берия... Но как проникнуть в его планы? И, будто сжалившись над незадачливым партвождем, судьба послала ему двух перебежчиков из лагеря противника. Заместители министра внутренних дел Иван Серов и Сергей Круглов, взвесив шансы своего шефа — а весами они располагали точными,— решили выдать его с головой. Они доложили Никите Сергеевичу все, что знали о намерениях Берии, обрисовали оперативный план вооруженного путча, диспози-

цию частей, назвали имена заговорщиков. В уголовном мире это называется «заложить со всем бутером».

Хрущев с уважением относился к Круглову, а с Серовым у него еще в годы совместной службы на Украине сложились дружеские отношения. Где ему было знать, что, повернись обстоятельства иначе, подручные Берии вырезали бы вместе с ним весь пестрый курятник, то бишь сталинское Политбюро. И если два генерала положили за благо изменить сегодня дорогому Лаврентию Павловичу, то они имели в виду лишь свое личное благо. Захватив абсолютную власть, что сделает с ними Берия? Верные ему выходцы с Кавказа, все эти кобуловы-деканозовы, давно уж точат кинжалы...

В этих рассуждениях Серова и Круглова был свой уголовный резон. Перед Хрущевым встала альтернатива: ударить немедленно, опередив заговорщиков, или уйти в тень, отказаться от борьбы, от всего. Отдадим должное отваге Никиты Хрущева. Он выбрал действие.

Первым делом надо было собрать в кулак членов Президиума ЦК — решать самую трудную задачу. Как он сам впоследствии рассказывал, ни один из бывших подручных Сталина не был надежным, твердым человеком. Сказывалась многолетняя селекция. Молотов — «тот еще тип» (подлинное выражение Хрущева). Маленков — близкий друг Лаврентия Берии. Ворошилов — трус и подхалим. Каганович — никогда не знаешь, куда он повернет, к кому примкнет в последний момент. Лазарь-лицедей. Можно положиться на Булганина, но как он поведет себя в случае отказа остальных?

Хрущев знал, конечно, что служба постоянного подслушивания охватывает не только кабинеты членов ЦК и Президиум, ее щупальца проникли в квартиры, на дачи, в личные авто. А телефонные разговоры, переписка партсановников издавна подпали под неусыпный контроль Лубянки.

Он начал с Николая Булганина, министра обороны. Только армия способна сломить дивизии охранников. С Булганиным Хрущев сошелся еще в последние годы жизни Сталина, вместе терпел унижения от Берии, вместе решили держаться теперь. Разговаривали на даче, в саду. С Анастасом Микояном Хрущев выехал за город в одной машине, оставил авто на шоссе и совершил с ним ответственную прогулку вдоль лесной опушки. Микоян юлил: «Я знаю Лаврентия Павловича с 1919 года, на моих глазах он вырос в крупного партийного работника, нельзя же вот так вдруг убирать заслуженного деятеля... Пусть ему укажут на ошибки... Он учтет товарищескую критику...» Пришлось Хрущеву говорить с Микояном еще раз.

Переговоры с Молотовым прошли, против ожидания, гладко. За несколько дней до поездки с Хрущевым за город служба ГБ, не уведомив Вячеслава Михайловича, сменила его личную охрану. Молотов давно с тревогой и подозрением присматривался к опасным интриганам. Они оттеснили его на второй, нет, на самый задний план и теперь готовят нечто худшее. Он был непоколебимо туп, многолетний сподвижник Сталина, но инстинктом самосохранения природа его тоже не обделила.

Обещав свою безусловную поддержку Хрущеву, Молотов предполагал, что тот одним ударом покончит и с Берией, и с Маленковым. Но Никита Сергеевич надеялся разорвать прочный тандем. Да и так ли уж прочен он был? Разве Маленкову наравне со всеми не грозила скорая расправа?

Хрущев опасался решительного разговора с Маленковым: вдруг выдаст с головой? Но лишь только он приступил к этому щекотливому делу, как Маленков сразу же принял сторону большинства. В тот же день Хрущев отправился на Воздвиженку. Председатель Президиума Верховного Совета не ожидал такого поворота событий: «Что вы мне предлагаете? Товарищ Берия — замечательный ленинец! Я всегда уважал Лаврентия Павловича, и никто меня не переубедит!» — «Да не вопи ты, ради Бога,— остановил его Хрущев.— Здесь никого нет, кроме нас с тобой. Ты же ничего не знаешь, с нами все члены Президиума. Если мы не примем экстренных мер, он передушит нас поодиночке, неужели непонятно?..» Но маршал трусил.

Лазарь Каганович недалеко ушел от Ворошилова. Пришлось Хрущеву выложить ему все козыри: Маленков, Молотов, Булганин, Сабуров уже сказали «да». Дав наконец свое согласие, Каганович спросил о Ворошилове. Хрущев повторил сказанное маршалом. Каганович возмутился: «Старый сукин сын! Он вам врал, он говорил мне, что не выносит Берию, что он очень опасен, что он может уничтожить всех нас...»

Хрущев решил еще раз испытать Ворошилова и послал к нему Маленкова. Когда тот выложил ему конкретный план действий, Ворошилов обнял его и заплакал...

Как только было достигнуто единство, Булганин с Жуковым приступили к мобилизации сил. Но как создать мощную боевую группу войск на подступах к Москве и в самой столице скрытно от агентов Берии? Артемьев, командующий войсками МВО, он же верный слуга Берии. Ранее он командовал дивизией внутренних войск МВД. Первым делом министр обороны удалил его из Москвы под благовидным предлогом — на летние маневры, они уже начались в районе Смоленска.

В середине мая начались волнения в Берлине, забастовали рабочие. Президиум ЦК решил направить туда Лаврентия Берию, подкрепив своего посланца группой военных.



В отсутствие Берии Маленков, Булганин и Хрущев намеревались созвать узкое совещание и обсудить конкретные меры по устранению могущественного министра. Кто-то успел уведомить Берию о том, что на 20 мая намечено заседание Президиума. Берия тотчас позвонил: «Что вы там собираетесь делать? Какая повестка дня?» — «Обычное заседание, обсудим вопросы сельского хозяйства»,— ответил Хрущев. «С чего бы это? Пришлите мне все материалы».

Пришлось срочно референтам готовить соответствующие документы и отправлять в Берлин. На другой день звонит опять Берия: «А почему нет секретаря ЦК по сельскому хозяйству, почему нет министра? Что вы там дурака валяете?! Я вылетаю».

Он прибыл в Москву в канун заседания, и нашим заговорщикам пришлось разыгрывать сцену натурального обсуждения сельскохозяйственных проблем. Задуманную операцию пришлось отложить, тем более, что не все было готово. Особые опасения вызывала позиция одного из старейших подручных Сталина — Анастаса Микояна. Ведь с ним Хрущеву пришлось беседовать дважды. По всему было видно, что Микоян готов присоединиться к большинству, но останется он верен своему слову? Да и Ворошилов... Вдруг еще кто-нибудь проявит малодушие в последнюю минуту?

Меж тем обстановка явно накалялась. Интересные детали обстановки содержатся в воспоминаниях участников событий, особенно — маршала Конева, в пересказе поэта Александра Твардовского и дочери маршала Майи Ивановны.

До Маленкова и Булганина дошли сведения о тайном формировании в районе Минского шоссе, близ Москвы, десантной дивизии. Эти данные поступили также к маршалу Жукову по линии ГРУ. В начале июня стало известно, что Берия под каким-то предлогом собрал из разных областей страны партийных работников на краткосрочные курсы в числе 400 человек. Около половины курсантов прибыло из республик Закавказья. Им выдали пистолеты и предупредили о возможном вызове в Кремль.

Под Москвой дислоцировалась дивизия корпуса внутренних войск имени маршала Лаврентия Берии. Их окружат по приказу министра. Один полк бериевских войск размещался в Лефортовских казармах. Казармы поручено заблокировать.

День ареста Берии назначен на 26 июня. Как только он явится на заседание в Кремль, будут подняты по боевой тревоге все военные академии и в столицу войдут особо надежные дивизии.

Все члены Президиума ЦК знали о предстоящем заседании, но только трое — Маленков, Булганин и сам Хрущев — знали о том, что произойдет на этом заседании, каков общий план операции. И еще одного человека посвятили во все детали дела — маршала Жукова. Но он был лишь кандидатом в члены ЦК.

И вот он настал, этот день. Комендант Кремля генерал Веденин вызвал из-под Москвы полк, которым командовал его сын. Училище имени Верховного Совета РСФСР было поднято в ружье, Кремль буквально наводнен войсками...

Достоверная картина ареста и казни Берии не могла быть воссоздана без правдивых свидетельств военных. Мне довелось многократно беседовать с тремя из них: Батицким, Баксовым и Юферевым. Отважные люди, бывалые фронтовики. И точные в передаче деталей пережитого.

26 июня 1953 года. В этот день, в час дня, Никита Хрущев вызвал командующего Московским районом ПВО генерал-полковника Кирилла Семеновича Москаленко: «У тебя есть верные люди? Такие люди, которым ты доверяешь, как себе?»

**Москаленко**: Найдутся, Никита Сергеевич.

**Хрущев**: Возьми с собой четырех человек. И пусть прихватят сигары.

**Москаленко**: Какие сигары?

**Хрущев**: Ты что, забыл, как это называлось на фронте?

Генерал вспомнил. Хрущев имел в виду револьверы.

**Хрущев**: Во дворе Генерального штаба тебя с людьми будет ждать Булганин. Поторопись.

Москаленко тотчас вызвал офицера для поручений Виктора Ивановича Юферева и сообщил о задании Хрущева. Он спросил подполковника: «Как ты думаешь, можно положиться на Батицкого?» Начальника главного штаба ВВС Юферев знал как надежного человека, боевого генерала. Он добавил, что можно также вполне положиться на Алексея Ивановича Баксова, начальника штаба Московского района ПВО. «Кого бы нам еще прихватить?» — спросил Москаленко. Юферев назвал Ивана Григорьевича Зуба, начальника политуправления. Москаленко вызвал Батицкого и Баксова. Зуб оказался дома, он обедал. Решили заехать за полковником Зубом по дороге.

В машине Москаленко предложил предупредить Зуба по телефону. Остановились около магазина «Динамо», и Юферев с папкой в руках вышел из авто. Он позвонил на квартиру Зуба из кабинета директора магазина. Позднее, когда все было кончено, Москаленко признался, что, пока Юферев находился в магазине, он перетрусил: а вдруг операция сорвется и всех накроют?..

Полковник Зуб жил на улице Валовой, рядом с Павелецким вокзалом. Он уже стоял у подъезда своего дома. Поехали впятером, не считая шофера. Черный автомобиль марки ЗИС-110 вмещал шесть пассажиров, в салоне было два откидных места.

Во дворе Генерального штаба группу Москаленко встретил маршал Булганин. Его сопровождал начальник личной охраны подполковник Федор Безрук. Пересели в автомобиль министра, в такой же ЗИС-110: охранник — с шофером, Булганин — на приставное место слева, Юферев — справа, остальные — сзади. Уместились ввосьмером. «В Кремль»,— распорядился Булганин.

Когда подъехали к Троицким воротам, Булганин предупредил: «Не высовывайтесь». Действительно, выглядывать в окно не было резона, пропуска были не у всех.

Благополучно проскочили часовых, подкатили к особому правительственному подъезду — это называлось «с уголка»,— поднялись на второй этаж. Вот и кабинет, где когда-то сидел Сталин. Сейчас здесь заседал Президиум ЦК. Булганин вошел в кабинет, остальных провели из комнаты секретаря в смежный кабинет напротив. Там находилось человек пятнадцать-двадцать — работники ЦК, несколько генералов и маршал Жуков. Держались все непринужденно, шутили, рассказывали анекдоты... К группе Москаленко подошел Жуков, поздоровался и спросил: «Вы знаете, кого вам предстоит арестовать?» — «Не знаем, но догадываемся»,— ответил Москаленко.

В этот момент появился Хрущев. Он подошел к Москаленко: «Вам придется брать одного из членов Президиума. Возможно, он будет вооружен...— Хрущев остановил взгляд на рослых, могучего сложения Батицком и Юфереве.— Вот вы и подойдете к нему — вам скажут, когда,— и возьмете его».

**Юферев:** Что, и стрелять можно?

**Хрущев:** Нет, его надо оставить для следствия. Оружие не применять. Пока все остаются здесь. Когда услышите два длинных звонка, направляйтесь к нам, на заседание. Приходите прямо в кабинет, мимо секретаря, не обращайте внимания ни на кого.

Хрущев вышел. Берия явился на заседание одним из последних, занял свое место и спросил: «Какая повестка дня?» — «Вопрос стоит один,— ответил Хрущев,— о Лаврентии Берии.— И, обратившись к Маленкову, добавил: — Докладывай».

Прошло не более четверти часа, и раздались два продолжительных звонка. Военные открыли дверь, навстречу им встал секретарь. Пятеро, минуя его, прошли в кабинет напротив. За ними следовал маршал Жуков.

...На председательском месте — Маленков, по правую руку — Хрущев, рядом с ним — Булганин, ближе к двери, наискосок от Маленкова,— Берия, напротив Лаврентия Павловича — Ворошилов.

Вошедшие встали слева, ближе к Булганину, за спиной Берии. Маленков заканчивал чтение документов: «...Как видите, Берия оказался не только врагом внутренним, но и врагом в международном плане. Предлагается немедленно его арестовать и передать в руки этих товарищей».

Батицкий обнажил свой «парабеллум», Юферев — «ТТ».

Берия сидел, опустив голову, и нервно писал что-то карандашом на листе бумаги. Потом оказалось, что он выводил лишь одно слово «тревога», повторил это слово девятнадцать раз. Наконец Берия поднял глаза, военные уже стояли подле него — Юферев по левую руку, Батицкий по правую. Подошел Жуков: «Руки вверх. Вы арестованы». Ладони Юферева скользнули сверху вниз по карманам арестованного. Берия поднял руки: «Оружия у меня нет».

Батицкий и Юферев предложили ему пройти в комнату отдыха — она примыкала к кабинету слева. Посадили министра на диван, встали рядом. Москаленко, Баксов, Зуб расположились на стульях в углу, возле круглого столика, с пистолетами в руках. Командующий достал свой «вальтер».

**Батицкий:** Снимите с него пенсне.

Юферев исполнил приказание.

**Берия:** Как же я теперь буду видеть? У меня слабое зрение...

**Батицкий:** Нечего тебе смотреть. Ну-ка покажи, что у тебя в карманах.

Берия достал носовой платок и записную книжку.

**Берия:** Убери свою пушку.

**Батицкий:** Ничего, она еще пригодится.

**Москаленко:** Послушайте, Батицкий, с ним не следует сейчас разговаривать.

...Берия принялся тщательно разглаживать стрелки брюк и стряхивать с них пылинки. Он был в сером поношенном костюме, белой сорочке без галстука.

Через некоторое время в комнату вошли генералы Андрей Лаврентьевич Гетман и Митрофан Иванович Неделин. Они были приданы в помощь группе захвата. В комнате отдыха военные пробыли с арестованным до глубокой ночи. Это были тревожные часы, никто не знал, чем все кончится...

Москаленко тем временем отдавал распоряжения — уже на правах командующего Московским военным округом. Прежний командующий, генерал Артемьев, был смещен.

Члены Президиума ЦК отправились в тот вечер в Большой театр. Давали оперу «Декабристы». Один Ворошилов задержался в Кремле, но подоспел ко второму акту.

История сохранила фотографию: Берия с Ворошиловым стоят в обнимку, словно братья. Но Клим всегда ненавидел удачливого Лаврентия и боялся его. Трусоватый маршал тужился предугадать ход событий, ведь могущественного чекиста могли выручить его давние дружки, тот же Иван Серов. Напрасно Никита Сергеевич ему доверился. И когда Берию наконец вывели из комнат Президиума ЦК, Ворошилов был тут как тут. Он искательно заглядывал в глаза рослым конвоирам. Подполковник Юферев оставил свою фуражку в кабинете секретаря на вешалке и, проходя мимо, хотел ее достать. Услужливо подскочил Ворошилов: «Сейчас я тебе, голубчик, подам...»

Надо сказать, что по указанию Хрущева и Булганина каждому офицеру охраны с утра был придан армейский офицер. Охранникам пояснили, будто это входит в план репетиции военного положения. Так они и стояли парами на каждой лестничной площадке, у каждой двери. К вечеру охранники куда-то исчезли, остались одни армейские офицеры. Они стояли сдвоенными рядами вдоль всех коридоров. Берию провели сквозь строй и посадили в машину Булганина. Арестованного поместили на заднее сиденье. Батицкий сел слева, Юферев — справа. На всякий случай Юферев сунул дуло пистолета под ребра Берии. А он смотрел по дороге в окно, явно любопытствуя, куда его везут. Москаленко сидел рядом с шофером, Баксов и Зуб заняли откидные места.

Машина помчалась по набережной к Абельмановской заставе, повернула налево. Вот и Крутицкие казармы, здесь уже ждал вновь назначенный комендант города генерал Синилов. Он поместил Берию на гауптвахту, под усиленную охрану. Начальником караула был назначен генерал Батицкий, ответственными дежурными — Гетман, Зуб, Юферев, Неделин, Баксов. Караул несли офицеры ПВО Москвы.

Ночь Берия провел на гауптвахте. На другой день, в 12 часов, в казармы прибыл новый министр внутренних дел Круглов вместе с Серовым. Заметив высоких визитеров, Москаленко бросил сопровождающему его подполковнику: «Как они здесь очутились, эти сволочи?» Генерал спросил прибывших: «Что вам здесь нужно?» — «Они прибыли для проведения следствия»,— ответил за них комендант.

**Москаленко:** Какого еще следствия? Уберите их отсюда сейчас же! (Коменданту.) Выведите отсюда посторонних!

**Серов:** Мы не посторонние.

**Москаленко:** Вас никто не уполномачивал.

**Серов:** Нас послали сюда, чтобы начать следствие.

**Москаленко:** Мне об этом ничего не известно. Никто вам таких полномочий не давал.

Не исключено, что Серов поехал в казармы с ведома Хрущева, который хотел узнать о намерениях Берии.

...Серов с Кругловым уехали, а Москаленко с подполковником поспешили к Маленкову. Генерал доложил премьер-министру об инциденте. На экстренном заседании Президиума ЦК было решено перевести Берию в штаб МВО. Следствие по делу Берии и его подручных возглавил Генеральный прокурор Руденко.

Главное здание МВД на Лубянке было заблокировано военными. Они отобрали все ключи у сотрудников центрального аппарата и заняли их кабинеты в ожидании дальнейших указаний. Блокировать войска МВД было поручено двум танковым дивизиям — Кантемировской и Таманской. Первой командовал генерал Иван Якубовский. Как заметил один офицер военной разведки, Якубовским двигало отнюдь не бесстрашие, а бездумное лакейство. Если бы не Москаленко, а Берия приказал ему, Якубовский передавил бы танками всех противников шефа Лубянки. Сталин всегда мирволил лакействующим тупицам. Назовем самых ярких: Ворошилов, Буденный, Кулик, Булганин. Новые вожди продолжили столь опасную для обороны традицию...

Штаб МВО находился около набережной реки Москвы. Вечером 27 июня туда прибыл Булганин. Он остался доволен осмотром помещения, и ночью Берию перевезли на новое место. Как и в первый раз, его сопровождал Москаленко с четырьмя помощниками.

Берию поместили в небольшую комнату площадью не более двенадцати квадратных метров. Койка, табурет — вот и вся мебель. Там же, в бункере, проходило следствие. Особый кабинет отвели Генеральному прокурору.

Москаленко находился в штабе округа неотлучно. И ночевал там вместе с Юферевым. На охране штаба дежурили танки и бронетранспортеры.

Берии пришлось сменить свой костюм на солдатское обмундирование — хлопчатобумажную гимнастерку и брюки. Еду арестованному доставляли из гаража штаба МВО — солдатский паек, солдатская сервировка: котелок и алюминиевая ложка.

Первые дни Булганин звонил в бункер каждую ночь после 12 часов: «Как дела? Все спокойно? Как себя ведет арестованный?» Если генерал Москаленко уже спал, Булганин получал информацию от подполковника Юферева, который постоянно дежурил в одном из подземных кабинетов. Охрана надежная, случайности были исключены.

В 1920 году он впервые отведал тюрьмы. И выбрался с помощью Багирова. Верные друзья должны и теперь помочь, они заставят считаться со своим мнением этого выскочку Никиту. Но Маленков, Маленков! Сколько он для него сделал... Если бы не он, Лаврентий, сидеть бы ему по сей день в Средней Азии, в ссылке. Если бы Хозяин позволил ему остаться в живых. Берия постучал в дверь и попросил бумаги и ручку. Ему дали тетрадный лист

и карандаш. «Егор разве ты не знаешь меня забрали какие то случайные люди хочу лично доложить обстоятельства когда вызовешь». Берия называл Георгия Маленкова Егором. Заглавные буквы почему-то не жаловал, знаки препинания презирал.

Он передал записку дежурному офицеру... Да, после двадцать первого года он быстро пошел в гору, через десять лет возглавил ГПУ Закавказья, потом — ЦК партии Грузии и Закавказский крайком. Новый перевал — год 1938-й, пост наркома СССР. Следующий — год 1953-й. Он так удачно начался, сколько радостей сулил... И вдруг эта нелепость. Нет, им не обойтись без него, да и народ ценит его широкую, щедрую натуру. Если правду сказать, то он один во всем правительстве искренне заботится о благе трудящихся.

...Прошло два дня. От Маленкова — ничего. Подследственный передал ему вторую записку. «Егор почему ты молчишь?» Обе записки — карандашом, на четвертушках бумаги — остались у Хрущева.

На предвыборном собрании избирателей Тбилисско-Сталинского округа по выборам в Верховный Совет СССР в ноябре тридцать седьмого Лаврентий Берия клялся: «Как член великой партии Ленина-Сталина я обязан хранить в чистоте великое звание члена партии, высоко держать знамя Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина». В чем же он ошибся? Может быть, слишком высоко держал сталинское знамя?

...На следствии Берия вел себя вызывающе, признавался только в тех преступлениях, которые прокуратуре удалось установить и подкрепить неопровержимыми уликами. При этом он пытался всячески запутывать следователей, придумывая все новые и новые варианты для оправдания своих действий. Нередко запутывать создаваемые им узлы помогали соучастники. Когда возник вопрос об архивных документах, которые в течение двадцати лет незаконно хранились у самого Берии, он ответил: «...это я поступил неправильно, изъял их потому, что боялся: как бы их не уничтожили бывшие руководители ЦК КП(б) Азербайджана, которые впоследствии были разоблачены как враги».

Совсем в духе времени: казнить ни в чем не повинных людей и потом, спустя пятнадцать лет, затеять против них новую провокацию. Прояснить ситуацию помог на суде Меркулов. Оказывается, еще в 1932 году Берия, будучи уже первым секретарем Заккрайкома, поручил ему изъять в бакинских архивах все документы, имеющие отношение к его прошлому. Выполнив это поручение шефа, Меркулов оформил все добытые (при содействии Багирова, разумеется) бумаги как личный архив Л. Берии.

Следствие длилось полгода. Документы, свидетельские показания, протоколы допросов составили девятнадцать томов. По делу проходило шесть соратников Берии: Владимир Деканозов, Всеволод Меркулов, Лев Влодзимирский, Павел Мешик, Сергей Гоглидзе, Богдан Кобулов — всего лишь частичка бериевской армии головорезов.

...Более тридцати лет служили Лаврентию Берии эти подручные — Меркулов, Деканозов, Кобулов, Гоглидзе, Цанава... Нерушимой казалась созданная им круговая порука, объединившая палачей. Однако первое же испытание — следствие и суд — показало зыбкость бериевской конструкции. «Берия — карьерист, авантюрист и бонапартист»,— заявил на суде Богдан Кобулов. Ему вторил Владимир Деканозов: «Берия проявил себя во всем как карьерист, властный и злобный человек». Оказывается, почти все аресты тридцатых годов проводились по его единоличным указаниям... Более сдержанным в оценке преступной деятельности главаря шайки был Всеволод Меркулов, зато Лаврентий Цанава высказался вполне определенно. Бывший министр госбезопасности Белоруссии сообщил, что в 1937—1938 годах Берия расстрелял всех, кто служил его заместителями, и многих своих бывших начальников. Жестоким, деспотичным назвал его Цанава. О неуемном властолюбии и жажде возвеличения Лаврентия Берии поведали суду Савицкий и Мичурин-Равер.

Наконец Берии предложили ознакомиться с обвинительным заключением. Когда Руденко приступил к чтению объемистого, страниц на сто, документа, Берия заткнул уши. Прокурор потребовал объяснений.

**Берия:** Меня арестовали какие-то случайные люди... Я хочу, чтобы меня выслушали члены правительства.

**Руденко:** Вас арестовали согласно решению правительства, и вы это знаете. Мы заставим вас выслушать обвинительное заключение.

В 1920 году, сидя в кутаисской тюрьме, он один не участвовал в голодовке политических и вел себя предательски. Ныне же несгибаемый сталинский нарком выдержал без пищи целый день. Потом запросил обед с коньяком и выслушал обвинительное заключение, так и не получив коньяк.

Суд проходил на первом этаже здания штаба округа. Зал был соединен микрофонами с кабинетами членов Президиума ЦК.

Поначалу Берия прикинулся сумасшедшим: бросался то вперед, то назад, размахивал руками... Внезапно к нему бросился Москаленко и отрезал пуговицу на брюках. Они начали спадать, и подсудимый тотчас успокоился. Тут, надо полагать, сказался опыт генерала Москаленко, приобретенный им в свое время в бериевских застенках.

Судебному присутствию был представлен список более чем двухсот женщин, ставших жертвами сановного развратника. И тут произошло нечто совсем неожиданное: Берия



обратился к председателю суда с просьбой не оглашать их имена, защитить от позора. Суд удалился на совещание и единогласно принял решение — удовлетворить ходатайство подсудимого. В качестве свидетелей в суд вызвали несколько десятков женщин. Ляля Дроздова довольно подробно рассказывала о своей связи с подсудимым, она ведь ряд лет жила на его даче. Увидев ее, Берия побледнел, подался корпусом вперед. Он был без привычного пенсне, плохо видел без очков. Вероятно, он ожидал от Дроздовой хоть нескольких слов благодарности... Но женщина начала с горького повествования о том, как он ее изнасиловал. И — ни одного доброго слова. Потом допросили Дроздову-мать. Она украсила показания дочери трогательными подробностями и высказала крайнее возмущение поступками подсудимого. В конце мать потребовала от суда выдать ей в виде компенсации все конфискованное имущество злодея.

Берия слушал, закрыв лицо ладонями. Он плакал. Плакал не в последний раз на этом процессе. В кутаисской тюрьме, почти четверть века назад, он тоже плакал, вымаливая прощение. И получил искомое. На что он рассчитывал теперь?.. Показания Л. Дроздовой включены в текст обвинительного заключения. В нем упомянуто и о том, что в 1944 году Берия болел сифилисом и, не закончив еще курс лечения, заражал случайных женщин. В связи с этим суд привлек его к уголовной ответственности по соответствующей статье УК.

Кровавых фактов, всплывших на этом судебном процессе, хватило бы на несколько романов ужасов. Но ведь многое осталось нераскрытым.

В конце семидесятых довелось мне встретить пожилого рабочего-сантехника, который участвовал в переоборудовании бывшего особняка Берии. Он видел, как из подвала вытаскивали камнедробилку, и узнал от охранника, что в этом подвале спускали в канализацию размельченные трупы убитых. Да, особняк был настоящей душегубкой, не только местом отдыха и работы хозяина.

Кабинет Берии с высокими, украшенными деревянной резьбой потолками помещался на втором этаже. На лестничной площадке — еще две двери, одна из них ведет в ванную комнату. Стены облицованы цветной плиткой, в глубине — белая ванна. Светло, просторно, есть выход на балкон. При жизни хозяина здесь стояла еще одна ванна, до краев наполненная серной кислотой повышенной концентрации. Такая кислота не испарялась и не могла повредить ни металл, ни эмаль, зато органическое вещество растворялось в ней почти полностью.

Этот способ уничтожения следов был изобретен при Ежове агентами Лубянки.

Несколько лет назад иностранное посольство, которое ныне занимает особняк, посетил старый охранник-пенсионер и показал место, где стояла ванна с кислотой.

Одним из последних вызвали в суд генерала Штеменко. Подручный Берии в роли свидетеля обвинения чувствовал себя крайне неуютно. Тем более, что служба бериевского агента в Генеральном штабе уже получила документальное подтверждение. В зал он вошел белее мела, ноги враскоряку. Коневу стало так неловко, что он решил сразу же отпустить бравого генерала: «Вы подтверждаете показания, данные на предварительном следствии?» — «Да...» — «Благодарю вас. Вы свободны». И свидетель удалился той же невыразимой походкой.

На суде Берия ни разу не сослался на Сталина, хотя в его положении было бы естественно свалить хоть часть вины на главного режиссера. Можно думать, что прокурор и председатель суда, выполняя определенное указание, строго предупредили обвиняемых на сей счет... Долго они еще будут оберегать от скверны усопшего Диктатора. В сентябре 1955 года на судебном процессе в Тбилиси подручный Лаврентия Берии Николай Рухадзе позволил себе нарушить негласное табу. Генеральный прокурор Руденко возмутился: «Не смей своими грязными губами упоминать святое имя товарища Сталина!» Это было сказано за несколько месяцев до разоблачительного XX съезда.

Казнили приговоренного к расстрелу в том же бункере штаба МВО. С него сняли гимнастерку, оставив белую нательную рубаху, скрутили веревкой сзади руки и привязали к крюку, вбитому в деревянный щит. Этот щит предохранял присутствующих от рикошета пули. Прокурор Руденко зачитал приговор.

**Берия:** Разрешите мне сказать...

**Руденко:** Ты уже все сказал (Военным.) Заткните ему рот полотенцем.

**Батицкий:** Товарищ командующий, разрешите мне (достает свой «парабеллум»). Этой штукой я на фронте не одного мерзавца на тот свет отправил.

**Руденко:** Прошу привести приговор в исполнение.

Батицкий вскинул руку. Над повязкой сверкнул дико выпученный глаз, второй Берия прищурил. Батицкий нажал на курок, пуля угодила в середину лба. Тело повисло на веревках.

Казнь свершилась в присутствии маршала Конева, прокурора, группы военных и члена суда Кучавы. Позвали врача. «Что его осматривать,— заметил врач,— он готов. Я его знаю, он давно сгнил, еще в сорок четвертом заболел сифилисом». Все же он взял

повисшую руку за кисть, взглянул на лицо казненного. Осталось засвидетельствовать факт смерти. Тело Берии завернули в холстину и отправили в крематорий. Туда же отвезли останки казненных в тот же день на Лубянке шести подручных. Так бесславно в бетонном бункере закончилась жизнь одного из самых знаменитых в истории человечества вурдалаков.

«Правда», 24 декабря 1953 года

## В ВЕРХОВНОМ СУДЕ СССР

18 — 23 декабря 1953 года Специальное Судебное Присутствие Верховного Суда СССР в составе:

Председательствующего — Председателя Специального Судебного Присутствия Маршала Советского Союза Конева И. С. и членов Присутствия: Председателя Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов Шверника Н. М., первого заместителя Председателя Верховного Суда СССР Зейдина Е. Л., генерала армии Москаленко К. С., Секретаря Московского областного Комитета КПСС Михайлова Н. А., Председателя Совета Профессиональных Союзов Грузии Кучава М. И., Председателя московского городского суда Громова Л. А., первого заместителя Министра внутренних дел Лунева К. Ф. рассмотрело в закрытом судебном заседании, в порядке, установленном Законом от 1 декабря 1934 г., уголовное дело по обвинению Берия и других.

В соответствии с обвинительным заключением суду были преданы: Берия Л. П. по обвинению в преступлениях, предусмотренных статьями 58-1 «б», 58-8, 58-13, 58-11 Уголовного Кодекса РСФСР, Меркулов В. Н., Деканозов В. Г., Кобулов Б. З., Гоглидзе С. А., Мешик П. Я., Влодзимирский Л. Е. по обвинению в преступлениях, предусмотренных статьями 58-1«б», 58-8, 58-11 Уголовного Кодекса РСФСР.

Судебное следствие полностью подтвердило материалы предварительного следствия и предъявленные всем подсудимым обвинения, изложенные в обвинительном заключении.

Судом установлено, что, изменив Родине и действуя в интересах иностранного капитала, подсудимый Берия сколотил враждебную Советскому Государству изменническую группу заговорщиков, в которую вошли связанные с Берия в течение многих лет совместной преступной деятельностью подсудимые Меркулов В. Н., Деканозов В. Г., Кобулов Б. З., Гоглидзе С. А., Мешик П. Я. и Влодзимирский Л. Е. Заговорщики ставили своей преступной целью использовать органы Министерства внутренних дел против Коммунистической партии и правительства СССР, поставить Министерство внутренних дел над партией и правительством для захвата власти, ликвидации советского рабоче-крестьянского строя, реставрации капитализма и восстановления господства буржуазии.

Суд установил, что начало преступной изменнической деятельности Берия Л. П. и установление им тайных связей с иностранными разведками относится еще ко времени гражданской войны, когда в 1919 г. Берия Л. П., находясь в Баку, совершил предательство, поступив на секретно-агентурную должность в разведку контрреволюционного муссаватистского правительства в Азербайджане, действовавшую под контролем английских разведывательных органов.

В 1920 году Берия Л. П., находясь в Грузии, вновь совершил предательство, установив тайную связь с охранкой грузинского меньшевистского правительства, также являвшейся филиалом английской разведки.

В последние годы, вплоть до своего ареста, Берия Л. П. поддерживал и распространял тайные связи с иностранными разведками.

Став в марте 1953 г. министром внутренних дел СССР, подсудимый Берия Л. П., подготовляя захват власти, начал усиленно продвигать участников заговорщической группы на руководящие должности как в центральном аппарате МВД, так и в его местных органах. Берия Л. П. и его сообщники расправлялись с честными работниками МВД, отказавшимися выполнять преступные распоряжения заговорщиков.

В своих антисоветских изменнических целях Берия Л. П. и его соучастники предприняли ряд преступных мер для того, чтобы активизировать остатки буржуазно-националистических элементов в союзных республиках, посеять вражду и рознь между народами СССР и в первую очередь подорвать дружбу народов СССР с великим русским народом.

Действуя как злобный враг советского народа, подсудимый Берия Л. П. с целью создания продовольственных затруднений в нашей стране саботировал, мешал проведению важнейших мероприятий партии и правительства, направленных на подъем хозяйства колхозов и совхозов и неуклонное повышение благосостояния советского народа.

Установлено, что, скрывая и маскируя свою преступную деятельность, подсудимый Берия Л. П. и его соучастники совершали террористические расправы над людьми, со стороны которых они опасались разоблачения.

Судом также установлены преступления Берия Л. П., свидетельствующие о его глубоком моральном разложении, и факты совершенных Берия преступных корыстных действий и злоупотребления властью.

Специальное Судебное Присутствие Верховного Суда СССР постановило:

Приговорить Берия Л. П., Меркулова В. Н., Деканозова В. Г., Кобулова Б. З., Гоглидзе С. А., Мешика П. Я., Влодзимирского Л. Е. к высшей мере уголовного наказания — расстрелу, с конфискацией лично им принадлежащего имущества, с лишением воинских званий и наград.

Приговор является окончательным и обжалованью не подлежит.



## ПРИГОВОР ПРИВЕДЕН В ИСПОЛНЕНИЕ

Вчера, 23 декабря, приведен в исполнение приговор Специального Судебного Присутствия Верховного Суда СССР в отношении осужденных к высшей мере уголовного наказания — расстрелу — Берия Л. П., Меркулова В. Н., Деканозова В. Г., Кобулова Б. З., Гоглидзе С. А., Мешика П. Я. и Влодзимирского Л. Е.

Публикуя этот документ в центральной печати, все ли сказали его составители? Заговор с целью захвата власти, контрреволюционная деятельность, террор против честных партийцев, подрыв самой коммунистической партии. Кажется, сказано все главное. Но это только кажется. В сообщении Верховного Суда названы лишь основные подручные Берии. Его соратники-коллеги Молотов, Каганович, Ворошилов, Микоян, Маленков, Шверник, Шкирятов, да и Щербаков с Сусловым впридачу остались в тени. А Никита Хрущев, столь энергично взявшийся за искоренение бериевщины, разве он не участвовал в массовом терроре на Украине и в Москве, не пресмыкался перед сталинским фаворитом?

На протяжении ряда лет Берия возглавлял партийные организации Грузии и Закавказья, входил в состав ЦК и Политбюро. Ответственные партийные посты занимали многие функционеры карательных органов, произошло сращение партийных верхов с тайным ведомством. Преступным оказался весь Центральный Комитет, отправлявший на казнь — волна за волной — своих членов. Он тоже подлежал суду, праведному народному суду. Вместе с усопшим Вождем, которому преданно служил Берия.

Вот о чем умолчали наследники Сталина. Здесь Берия уловил свой шанс. Признав вину в организации террора, он решил сделать акцент на своей половой распущенности. Войдя в роль кающегося грешника, Берия заявил суду: «Самым тяжким позором для меня как гражданина, члена партии и одного из руководителей, является мое бытовое разложение, безобразная и неразборчивая связь с женщинами. Пал я мерзко и низко. Я настолько падший человек, что вам трудно теперь мне верить, а мне что-либо опровергать...»

Для того, чтобы вывести из-под удара собственные персоны, сочинители судебного постановления обвинили Берию в «тайных связях с иностранными разведками», которые он поддерживал якобы до самого дня ареста. Наследники сталинской власти представили злодея в роли шпиона. По этому поводу Конев позднее заметит: «Не был он никаким шпионом, зачем ему это понадобилось?..»

Они очень спешили, соратники Сталина, сообщники Берии. Спешное следствие, да и суд — экстренный, закрытый. И казнь без промедления.

Официальные сообщения в печати, закрытое письмо ЦК, рассказы многочисленных жертв и очевидцев потрясли современников. Известный кинорежиссер Александр Довженко записал в своем дневнике: «Правая рука великого на протяжении почти двух десятков лет была рукой мелкого мерзавца, садиста и хама. Вот трагедия! Вот что заводится за высокими непроветриваемыми стенами. Тысячи агентов-дармоедов, расставленных на улицах и везде, где надо и не надо, в течение двадцати лет охраняли предателя Родины, партии... Что это? Кому же теперь клясться в верности? Уже голова седа. И в сердце не утихает боль. Болит мое сердце, болит. Треть столетия клянусь... кому? Будьте вы прокляты, предатели, жестокие авантюристы!»

После того памятного процесса был еще не один суд над бериевцами. В Тбилиси в сентябре пятьдесят пятого судили Авксентия Папаву с подручными. Во время процесса его дочери Нила и Эка прятались в сарае, во дворе Дома культуры железнодорожников, и наблюдали через щель, как папу ведут под конвоем. Сейчас они называют верного слугу Берии жертвой жестокого времени... Берия был крестным отцом старшей дочери подсудимого. Имя дали ей в честь супругов Берия, Нины и Лаврентия,— Нила.

Берия умом не отличался. Всякий намек на интеллект он воспринимал как личную обиду, интеллигентов истреблял в первую очередь. Более всего он не терпел в людях гордое чувство собственного достоинства. Ремесло палача этот врожденный садист избрал не удовольствия ради, хотя на этом поприще ему удалось превзойти всех. Путь на самый верх лежал через горы трупов, но Берия не боялся трудностей. Он мнил себя «настоящим большевиком» вполне серьезно. Вполне, вполне.

Берии выпала лихая судьба. Ему не дано было истребить всех сограждан. Эту трагедию он мужественно разделил со своим учителем и другом Иосифом Сталиным. Зато оставшиеся в живых подданные прониклись, до кончиков ногтей пропитались духом послушания.

Не к этому ли конечному результату они стремились, Папа Большой и Папа Малый? В 1953-м были в ходу частушки, сочиненные Бог знает кем, скорее всего, плод фольклора.

Лаврентий Палыч Берия
Не оправдал доверия —

Осталися от Берия
Лишь только пух да перия.

Цветет в Тбилиси алыча
Не для Лаврентий Палыча,
А для Климент Ефремыча
И Вячеслав Михалыча.

И анекдот передавали из уст в уста:

Стоят преступники в аду — кто в крови, кто в пламени горит. Данте обходит владения дьявола, видит: один из самых страшных негодяев стоит в крови лишь по колено. Удивился Данте, подошел, узнал Лаврентия Берию: «Почему так мелко, Лаврентий Павлович?» — «А я на плечах Иосифа Виссарионовича...»

Жизнь Лаврентия Берии естественно вписалась в эпоху величайшего насилия, когда реальная история, отринув Марксово учение, разделила население бывшей царской империи на две категории — палачей и жертв. Свое место Лаврентий Берия нашел сразу. Юношей избрав профессию охранника, он уже через двадцать лет достиг положения главного фаворита Диктатора. Чуткий на все подлое, низменное, он сумел раньше многих разгадать уголовную натуру Сталина и без особых усилий стать его двойником. Для старшего убийство тоже являлось смыслом существования, способом самовыражения.

К своей последней черте Берия подошел в пятьдесят четыре года. В этом возрасте многие только приближаются к вершине, а он вон куда вознесся... Деятельность Берии не ограничивалась массовыми убийствами. Правда, ему удалось, вместе с генсеком, истребить почти всех дееспособных руководителей, заодно с ненавистными интеллигентами. Громил сельских тружеников, громил деятелей культуры. Отменный лицедей и демагог, он, как никто иной, умел нагнетать атмосферу страха, доведя народ до состояния массовой истерии. Выселение из родных мест целых народов, реорганизация лагерной системы, насаждение тотального доносительства внутри страны — все это связано тоже с именем Берии, как и подрывная диверсионно-шпионская работа на всех континентах. Истинный профессионал, он увлеченно участвовал в пытках-казнях «врагов народа».

Испокон веков охранники уничтожали праведников. Отправляя на Голгофу Христа, Понтий Пилат *знал*, кого убивает. При Сталине, при Берии коммунист резал коммуниста. И никто теперь не сыщет среди них праведников. Ни одного.

Суд над Берией проходил, как мы уже знаем, без адвоката. В этой роли выступила спустя почти сорок лет Нина Теймуразовна Гегечкори. Она убеждена в необходимости массового террора. В интервью, данном в июле 1990 года, вдова Берии оплакивает не только мужа, но и его Хозяина, строителя социализма. Она помнит все, кроме того, что Берия переехал в Москву летом 1938 года и тогда же возглавил управление госбезопасности. «Мы переехали в Москву в конце 38-го. К тому времени репрессии 37-го уже ушли в прошлое. Теперь вот появился человек, на которого можно повесить все грехи»,— рассуждает Гегечкори. Если бы так думала только она...

Перечисляя политических деятелей, которые «боролись за счастливое будущее всех народов земли», Нина Теймуразовна называет Сталина и Берию. Нет, это не старческий маразм, в свои 86 лет она владеет свободно и мыслью, и речью. Вполне резонно замечает, что Берия не стремился занять главный государственный пост: второй грузин на троне — это уже слишком. Покойный супруг был носителем высокой морали, дни и ночи проводил на работе. Разврат? — выдумки клеветников. Лаврентия окружали не любовницы, а многочисленные агенты, связь с этими женщинами Берия поддерживал лично, как шеф разведки и контрразведки.

И еще один случай вольного обращения с фактами. Оказывается, первый секретарь ЦК компартии Грузии Л. Картвелишвили «взял и увел» жену у чекиста Ершова. Когда Картвелишвили сняли, она ушла от него. Неужто Нина Гегечкори не знала, что Картвелишвили замучили в тюрьме, а его жена Ольга Никитична провела в лагерях более 15 лет? И что устроителем этих экзекуций был не кто иной, как Берия?

Светлана Аллилуева и Евгений Джугашвили, пытаясь обелить Сталина, добавили к его имени семейного позора...

Вершина достигнута, до кресла диктатора оставался, может быть, один шаг, но он-то и оказался гибельным.

Короткая, насыщенная трудом жизнь. Он прошел ее рядом с Вождем, в совместных деяниях и радостях, часто опережая самые дерзкие замыслы кремлевского пророка, но всегда чутко соблюдая дистанцию. Долгие годы Папа Большой и Папа Малый по-братски делили тяжкие заботы о благе народа. Но соблазн самодержавия слишком велик, они схватились над пропастью. Более ловкий взял верх и, не удержавшись на краю, последовал за первым. Кто подобрал их души, эти родственные души?

Со смертью Лаврентия Берии кончилась эпоха, которой трудно найти точное определение. Пожалуй, хватит проклятий позорному прошлому. Будем благодарны тем, кто не допустит повторения.



## *Виталий Кршишталович*

# ЛАБИРИНТ

***Очерк***

«Если мы не обеспечим своему народу более высокий жизненный уровень, чем в развитых капиталистических странах, то, спрашивается, какие же мы коммунисты?»

*Н. С. Хрущев*

Как-то в нашем овощном магазине эксперты запретили продавать партию свеклы, обнаружив, что нитраты в ней превышают допустимую норму в несколько раз. Когда я узнал о случившемся и вспомнил, что покупал там накануне свеклу, которую в тот же день слопал в борще, когда я прикинул свои доходы и озлобляюще ясно понял, что колхозный рынок мне недоступен, вот тогда я и подумал — никто не объяснит мне, почему на мой стол попадают отравленная вода и ядовитый хлеб, пока я сам все это не выясню.

Так я втянулся в расследование, имя коему лабиринт.

### ОПАСНЫЕ ИНЪЕКЦИИ

Состояние сельского хозяйства в любой стране в любую эпоху служило очень точным, хоть и закодированным, отражением дел в этой стране. Все великие империи прошлого прекратили свое существование после крушения собственной экономики. А ни для кого не секрет, что состояние здоровья и долголетие экономики полностью зависят от здоровья сельского хозяйства.

Развитие нашего сельского хозяйства напоминает мне историю, приключившуюся с одним знакомым, который после крушения пассажирского поезда спасал заваленных людей от подступающего огня. Этот далеко не богатырского сложения человек перетаскивал восьмидесятикилограммовые кресла бегом на вытянутых руках. Целый месяц после этого он чувствовал себя превосходно, был весел, необычайно энергичен. Но внезапно в несколько дней силы его истощились, и началась тяжелейшая депрессия. Человек стал буквально разваливаться на глазах, превращаясь из молодого мужчины в дряхлого старика. Врач быстро определил причину: сильнейший эмоциональный накал во время крушения спровоцировал в организме моего знакомого массированный выплеск гормонов. Они удесятерили его силы и затем некоторое время поддерживали жизнеспособность. Но вот затребованные сверх нормы гормоны подошли к концу, а для производства новых требуется время. В результате — крах. Выписать гормональные препараты врач отказался — получая искусственные гормоны, организм перестанет вырабатывать свои.

Наша страна тоже пережила затянувшийся период колоссального напряжения, связанного с правлением Сталина, войной, послевоенной разрухой. За все эти годы напряжения произошел мощный выплеск политических, экономических и культурных «гормонов». Этот выплеск помог победить в войне и быстро восстановить разрушенное хозяйство. Но вот гормоны были израсходованы, и в стране наступила депрессия — правление Брежнева. В это время нашу экономику принялись лечить инъекциями в виде экспорта сырья. Аналогичные процессы происходили и в сельском хозяйстве. Только искусственный гормон там был свой — минеральные удобрения.

Хрущеву понадобился большой скачок в производстве продуктов питания. Для любого политического деятеля «скачок» — штука весьма соблазнительная. Особенно если он планирует в ближайшем будущем построить коммунизм. Скачок обещала Целина. Но всякому понятно, что без удобрений земля родить не будет. Навоза на такие просторы —

---

Кршишталович Виталий Георгиевич (род. в 1957 г.) — публицист, прозаик. Публикуется в журналах «Звезда», «Аврора» и других. Автор очерков о проблемах экологии.

это было ясно с самого начала — конечно, не хватит. Выход предложила химия. Широкомасштабное освоение целинных и залежных земель могло быть начато только в расчете на мощное производство минеральных удобрений. И как это давно вошло у нас в добрую традицию, увеличение производства минеральных удобрений тут же превратилось в кампанию под названием «химизация сельского хозяйства».

Если подумать, то в начале всех наших великих свершений стояло слово: Электрификация, Коллективизация, Индустриализация... Перестройка. Слово объединяло миллионы людей. Ради него шли на смерть, терпели лишения. Слово дисциплинировало — вело к единой для всех цели, то есть формировало строй. Имея на знамени Слово, было проще бороться с противниками (научными, политическими, личными). «Ты против электрификации? Товарищи, он против того, чтобы народ жил в свете новой жизни! Он против народа! Ату его!» Строй, провозгласивший примат материи над идеей, в своем идеологическом становлении скрупулезно повторил развитие официальных религий — вначале было Слово. И не суть, что́ оно означало — Бог или Коллективизация,— в том и в другом случае оно указывало дорогу в рай.

То же самое произошло в отношении Химизации — все как один на штурм! Не считаясь ни с чем. И уж конечно, не слыша оппонентов.

Войдя в жизнь сельского хозяйства, минеральные удобрения разом превратились в его искусственный гормон, постепенно вытеснив органику практически изо всех регионов.

Широкое применение минеральных удобрений вызвало прежде всего разрушение главного богатства почвы — гумуса. Дело в том, что азот, фосфор, кальций, попадая в почву в минеральном виде, резко стимулирует деятельность бактерий. Те, в свою очередь, начинают интенсивно перерабатывать гумус, расщепляя органику. Результат — истощение почвы и падение урожаев. Как поднять урожай? Выход — «поднять» дозы минеральных удобрений. А это значит новый круг истощения.

С начала применения химии в сельском хозяйстве дозы увеличились в пятьсот раз, тогда как урожайность только вдвое!

Когда-то Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский в разговоре о распашке целинных земель говорил: «Если у вас есть в запасе две с половиной тысячи лет, вы можете экспериментировать». Именно такой срок он отводил на восстановление гумуса. Ныне в южных областях России ежегодно с каждого гектара пашни исчезает полтонны гумуса. И восстанавливать его нечем. Потому что химия в свое время пообещала отказаться от органических удобрений. И слово свое сдержала.

Надо сказать, что в прежние времена к навозу и другим органическим удобрениям, представляющим собой перегнившую органику, земледельцы относились с неподдельным почтением. Их применяли в Древнем Китае уже во II тысячелетии до н. э. В Древнем Риме научились изготавливать компосты. Если поле все-таки теряло плодородие, римляне знали, как его восстановить,— запахивали урожай. Сегодня, как и тысячелетия назад, это один из немногих способов восстановления гумуса. Применялся и другой — заболоченные пары. В пятом веке до н. э. люди империи Майя заболачивали «уставшее» поле с помощью специальных каналов, добиваясь таким образом роста торфяного слоя. Крестьяне Древней Руси задолго до крещения применяли пары и севообороты.

Обвинять в незнании исторического опыта руководителей нашего сельского хозяйства шестидесятых годов, пожалуй, несправедливо. Всё они знали и всё понимали. Но минеральные удобрения обещали открыть новую эру в земледелии. «Что, поле истощилось? И вы хотите оставить его под пар? Безумцы — целое лето столько гектаров будет простаивать без дела. Удобрите это поле минеральными удобрениями, и плодородие восстановится».

Постепенно применение минеральных удобрений превратилось в экстенсивную форму земледелия.

Вслед за почвой почувствовали на себе влияние минеральных удобрений люди. Вместе с ростом объемов вносимых в почву удобрений росла концентрация в продуктах нитратов. Попадая в организм, эта пакость нарушает код информационных ДНК, что ведет к нерегулируемому росту клеток (раковые опухоли), кроме этого, нитраты нарушают структуру гемоглобина крови.

## ПРИКАЗАНО БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМИ

Кампания химизации нанесла удар еще по одному очень хрупкому природному механизму. Когда наши деревни полнились богатой разнообразной жизнью и этих деревень было много, сельское хозяйство представляло собой систему естественно-искусственных биогеоценозов. То есть содружества минерального, растительного и животного миров. Вокруг каждой деревни располагались поле, луга, сенокосные угодья. Леса и рощи уберегали поля от эрозии, сохраняли влагу, наполняли воздух насекомыми, опылявшими посевы и сады, и фитонцидами. Насекомыми кормились птицы, склевывавшие заодно и вредителей. Луга располагались вкруг полей, как правило, по берегам озер и рек и служили естественным препятствием на пути полезных веществ, выносимых с полей талыми водами и дождями. Еще Петром I был издан указ: «До уреза воды не пахать...» Наконец, в тех деревнях не было проблем с органикой.



Хрущев решил максимально разгрузить сельского труженика от домашних забот, предоставив ему возможность для духовного совершенствования и самообразования. Средство для этого он выбрал простое, но эффективное — отобрал личный скот и дело с концом. У крестьян действительно образовалась масса свободного времени, которое они тут же заняли поисками еды — поскольку кормильцев отобрали. Без скотины неблагодарный народ потек из деревни.

Вероятнее всего, Никиту Сергеевича не только и не столько беспокоил досуг крестьян, сколько приближающийся катастрофическими темпами коммунизм. Верный и последовательный ленинец, он понимал, что только освобожденный от мелкобуржуазной идеологии пролетариат сможет достойно встретить светлое будущее. Частнособственнические же инстинкты встанут на пути коммунистического завтра непреодолимой преградой. И потому было вновь поднято знамя борьбы с проклятой частной собственностью.

Сначала сталинская политика, потом война, непосильные налоги создали предпосылки для уничтожения веками создававшихся структур сельского хозяйства. Но деревня еще жила, загнанная в рабство беспаспортного существования. Хрущев освободил крестьян от унизительного положения. И параллельно с этим своей аграрной политикой сделал жизнь в деревне окончательно невыносимой, вызвав повсеместную миграцию в города.

Вряд ли можно допустить, что ни он сам, ни его советники не понимали, что творят. Скорее всего именно миграционный процесс и был конечным этапом в их программе. Скоро в развитие этой программы появится, не к ночи будь помянутая, концепция Т. Заславской «Неперспективные деревни». На месте мелкоузорчатых ландшафтов с полем, речкой, лугом, рощей протянутся на десятки километров «бескрайние просторы», предназначенные для промышленного освоения. Поднимутся в воздух миллионы тонн бесценной почвы — суперстратегического сырья, чтобы перемешаться с дорожной пылью и грязью, развеяться по лесам, насть кормом для водорослей рек и озер. Заколосятся пыльные смерчи над распаханной целиной и разоренным Нечерноземьем.

Никогда бы Хрущев не решился отобрать скот у крестьян, если бы не минеральные удобрения. Он же понимал, что неудобренная земля ничего не даст. Но навозу был найден искусственный заменитель. А что до скота, то его решено было также производить промышленным способом. К встрече «счастливого завтра» подготовились.

## О КОРМУШКАХ

Естественно, что почва истощается и в чисто природной системе. Но там эти процессы движутся чрезвычайно медленно, потому что в природе существуют механизмы восполнения потерь.

Азот забирают из воздуха и обогащают им почву азотфиксирующие бактерии, например те, что живут на корнях клевера. Углерод поступает оттуда же — углекислый газ с помощью фотосинтеза преобразуется в ткани растений. Только фосфор не восполняется. Он попал в почву давным-давно из материнской породы, и теперь его из года в год, из века в век расходуют растения. Пока существовал круговорот органики и выращенные на поле растения возвращались сюда в виде навоза, траты фосфора были минимальны. Минеральные удобрения вытеснили навоз и тем самым запрограммировали потери фосфора из почвы. Минеральный фосфор в данном случае не подспорье — он быстро вымывается водой.

Но, исчезая из почвы, фосфор не исчезает бесследно. Он перекочевывает в реки, озера и моря. Ученые Института озероведения АН СССР подсчитали, что ежегодно в реки и озера одного только Нечерноземья попадает больше шестисот тысяч тонн фосфора. Попадая в воду, он продолжает там делать то, что делал на суше,— взращивать растения. Ему ведь безразлично, что кормить: пшеницу или сине-зеленые водоросли. Один грамм фосфора способен взрастить сто пятнадцать граммов водорослей. К слову сказать, в Ладожское озеро с полей и животноводческих хозяйств поступает до семи тысяч тонн фосфора в год.

Обнесите небольшой лесок высоким непреодолимым забором и устройте в этом лесу великое множество кормушек. Пусть животные в вашем лесу буквально обжираются даровым харчем. Что произойдет? Уже лет через пять ваш лес переполнится всевозможным зверьем. По полянам будут рыскать толпы кабанов, все кусты будут забиты волками, по просекам вытянутся колонны несъеденных косуль и лосей, зайцам придется прыгать по веткам, потому что земля будет усеяна лисицами. Кормите таким манером лес лет пятнадцать, добейтесь неимоверной плотности животных, а потом резко прекратите кормежку, но забора не снимайте. Половина травоядных тут же перемрет из-за нехватки еды. Хищники скоро уничтожат вторую половину и вымрут следом. Лес переполнится тушами разлагающихся животных и громадными стаями воронья. Но лесные санитары не успеют справиться с подобным изобилием. Трупный газ и патогенные бактерии уничтожат насе-

комоядных птиц. Расплодившиеся вредители погубят деревья. Вот вам утрированная модель бездумного вторжения в экосистему.

Примерно то же происходит в водоеме, куда попадает большое количество фосфора,— сказочными темпами разрастаются водоросли, ими питается зоопланктон, планктоном мелкие рыбешки, мелкими крупные. Чем больше жителей в водоеме, а водоросли тоже жители, тем меньше в воде остается кислорода. Первыми от кислородного голодания погибают крупные промысловые рыбы — им воздуха нужно много. В их отсутствие мелкие рыбешки плодятся совершенно безнастенчиво, продолжают нарождаться водоросли, все больше потребляя кислород. Весь подводный мир пирует, быстро приближая конец жизни своего озера. В один «прекрасный» момент из-за нехватки кислорода в водоеме наступают необратимые процессы и гибель всего живого — озеро превращается в болото.

По статистическим данным число мертвых озер на территории РСФСР за последние двадцать лет составило три процента от всего количества. Немецкие ученые установили, что в восточных районах Германии последние пятнадцать лет заморы рыбы происходили в три раза чаще из-за загрязнения водоемов биогенами, чем из-за отравления ядохимикатами.

Сине-зеленые сами по себе доставляют массу хлопот людям — разлагаясь, они выделяют сильнодействующие яды из группы циановых. Поэтому сине-зеленые нельзя использовать, скажем, на корм скоту или в качестве удобрений.

С цветением воды связывают также холеру. Например, вспышки холеры Эль-Тор в начале семидесятых годов, охватившие тридцать пять стран.

Самое скверное в отношении сине-зеленых состоит в том, что очистка воды от них малоэффективна и необыкновенно дорога. Каждое предприятие, берущее воду из Днепра, тратит за месяцы цветения воды в среднем по сто восемьдесят тысяч рублей только на борьбу с помехами в водоснабжении. И больше полумиллиона каждая ТЭЦ. Человек отбирает биогены у почвы и сбрасывает их в воду. Тем самым губит и почву, и водоемы.

Выясняя главные источники загрязнения воды биогенами, ученые установили, что больше всего пищи для водорослей поступает из городов и животноводческих хозяйств. Оказалось, что около семидесяти процентов получаемого в животноводстве навоза сбрасывается в водотоки.

Как же так, ценнейшее сырье, без которого нельзя получить богатый урожай чистой продукции, сырье, которое так ждут на полях, вместо того попадает в реки и озера, превращаясь там в убийцу? Почему так получается? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вернуться в шестидесятые годы и пройти еще один коридор лабиринта.

## ОБ ИЖДИВЕНЦАХ И КОРМИЛЬЦАХ

Миграция в города превратилась в неуправляемый, а главное — в необратимый процесс. И неизбежно вызвала к жизни новую проблему: неподготовленный, несбалансированный с возможностями региона рост Города. И, конечно, проблема проблем — снабжение продовольствием. Подвоз зерна наладили, а как быть с мясом, молоком? Стада и отары бродили далеко. Раньше существенным подспорьем служили частные хозяйства пригородных поселков, откуда поутру тянулись в город подводы с бидонами молока и грудами кусков парного мяса. Хрущевская политика извела мерзкое наследие буржуазного прошлого, очистив город от жадных до денег частников из пригородов, а заодно и от свежих продуктов. К тому же подоспело падение поставок мяса с крестьянских подворий, потому как мясо это выращивать запретили. Подоспело падение мясозаготовок в государственном секторе — миграционный процесс превращал крестьянина в горожанина, то есть из кормильца делал иждивенца. Впору было отменять скороспелые решения и возвращать — тогда это было еще не поздно — деревню в прежнее состояние. Но «нет таких трудностей, с которыми не справились бы большевики»,— не пристало идущим к светлому будущему возвращаться назад.

Примериваясь к точке зрения Хрущева и пытаясь постичь логику его поступков, понимаешь, почему он не мог отступить от принятого курса. «Железный занавес» вечно висеть не мог. Рано или поздно он должен был приоткрыться. И тогда в страну неминуемо хлынул бы поток информации о жизни в других странах, что вызвало бы в умах чрезвычайно нежелательное брожение вредных мыслей. Пока сохранялась тепличная обстановка, нужно было во что бы то ни стало догнать и перегнать Америку.

Непроизводительный труд сталинских лагерей такого эффекта дать не мог. Только творческий порыв масс, в основном молодежи, ведомых идеалом (в былые времена Богом, теперь — коммунизмом), способен был совершить быстрый экономический скачок. Оттепель шестидесятых подняла мощный вал массового энтузиазма (выплеск гормонов) — люди рвались на Север, на Целину, на Дальний Восток, искренне ненавидели Америку, искренне верили в скорый приход коммунизма. На фоне всеобщего ликования, на фоне первых рекордных целинных урожаев, первых побед в космосе, на фоне эффектных успехов во внешней политике не мог Хрущев пойти на попятную.



Решение светлых задач осложнялось еще и тем, что страна вступала в первую послевоенную демографическую «яму» — на производство пришло поколение, рожденное в военные годы. Особенно ощущался дефицит в этой возрастной полосе в районах недавних военных действий, то есть на западе страны — как раз в промышленном регионе.

Нехватка рабочих рук на заводах, а не добрая воля руководителя, вынудила дать в руки крестьянину паспорт. Вернуть деревню к прежней жизни означало бы остановить поток рабочей силы в промышленность.

Сталин преследовал те же цели, когда заменял в сельском хозяйстве частника-индивидуалиста государственной артелью. Его преемник решил усовершенствовать эту артель, переведя ее на «промышленные рельсы». Что позволяло сократить численность работников и при этом выиграть в объемах продукции.

Решение мясо-молочной проблемы созрело у Хрущева, по всей видимости, во время его поездки по США. Именно там он увидел хозяйства, специализировавшиеся на промышленном откорме скота и производстве молочных продуктов. Такой способ как нельзя лучше вписывался во внутриполитическую стратегию Никиты Сергеевича.

Однако реализовались эти планы уже без участия Хрущева. В 1970 году в совхозе «Кузнецовский», что под Москвой, вступил в строй первый советский животноводческий комплекс.

В нашей стране началась эра истребления пресной воды и вышел на новый виток процесс истощения почв.

## ЧТО ДЕЛАТЬ?

Потери гумуса из-за роста городов объясняются в общем просто. Во-первых, превратясь в горожанина, бывший крестьянин перестал вывозить по весне продукты своей жизнедеятельности в поле, а начал пользоваться канализацией, откуда вышеназванные продукты устремляются мимо полей в реку, затем в озеро или море. Таким образом в природном круговороте органического вещества образовалась первая брешь.

Строительство животноводческих комплексов, тоже следствие урбанизации, в свою очередь резко усилило и загрязнение рек, озер, и разграбление почв. Дело в том, что скотину на комплексах кормят преимущественно зерном. Зерном, выращенным вдали от комплекса,— в зерносеющих районах. На сотворение этого зерна поле затратило силы — гумус. Для восполнения этой потери почве необходимо вернуть взятое уже в виде навоза. Но если привезти издалека зерно еще возможно, то проделать то же самое с навозом крайне затруднительно. Вопрос — куда его девать? Ответ — в воду. Чтоб поскорей утек — с глаз долой, из сердца вон. А потерю питательных веществ полю вернут минеральные удобрения, которые, в свою очередь, усилят дефицит гумуса и содержание нитратов в продукции.

Понятно, что в отсутствие органики селяне, хочешь не хочешь, сыплют минералку. В XIII пятилетке производство минеральных удобрений будет увеличено вдвое. Только по Нечерноземью в почву ежегодно будет вноситься три миллиона шестьсот тысяч тонн.

Понятно, что это недопустимая ситуация, то есть ситуация, которую допустить никак нельзя, потому что мы все в таком случае просто-напросто перемрем. Необходимо во что бы то ни стало остановить процесс планомерного уничтожения жизни на нашей земле. Но как его остановить? Разумеется, восстановлением природного круговорота органического вещества.

Проще сказать. А сделать?

Первое, что приходит на ум,— вернуть деревню в дохрущевское состояние. На ум это приходит в первую очередь из газетных и журнальных публикаций, теле- и радиопередач. Они, как перенасыщенный раствор, сверкают кристаллами одной и той же идеи — отдать землю крестьянину. Это решит все проблемы!

Может, и правда решит? Если человек станет хозяином своей земли, то и отношение к труду на этой земле у него станет хозяйское, то есть бережное и любвеобильное. Или не так?

Начнем с чувства хозяина (хотя на самом деле чувствами всегда надо заканчивать). Вот я, к примеру, высаживаюсь в составе трудового десанта от завода (фабрики, НИИ, вуза, треста ресторанов — не суть) в совхоз или колхоз, чтобы помочь (помочь, а не взять на себя) убрать урожай, например, картошки. Нашему десанту, как и водится в таких случаях, отводят поле — уберете и уедете. Большинство из нас люди семейные, рвемся домой. Погода стоит мерзопакостная, с кормежкой неважно, бытовые условия, мягко говоря, скверные. Короче — созданы все условия для творческого бескорыстного энтузиазма масс (возьмите у меня все, что захотите, только отпустите). Преисполненные этих чувств, мы выходим на поле и принимаемся за работу. На соседнем трудятся рабочие колхоза. В пять вечера их поле пустеет — рабочий день окончен. Нам же заканчивать работу преждевременно — эдак мы до белых мух проторчим в условиях экстремальной романтики. Как быть?

Трактористы, что таскают по полю картофелекопалку и вывозят собранное нами на

сортировальный пункт, тоже заканчивают работу. Мы начинаем горячиться, раскручивать запас красноречия, призываем трактористов к крестьянской сознательности, говорим, что в былые времена крестьянин встречал и провожал солнышко в поле. Современный крестьянин щурит на нас ехидный глаз и отвечает вполне резонно:

— Вы дома что вечером делаете? Телевизор смотрите? В шахматы играете? А мне после работы нужно корову подоить, поросенку корма наварить, кур в сарай закрыть, сено из копен с дальнего покоса перевезти и рядом с домом стожок сметать, огород докопать, дрова доколоть. Да еще нужно выспаться, потому что с утра вашу картошку копать. Себето я давно накопал. Есть у меня время солнышко в поле провожать?

Что ему ответить? Молча возвращаемся в отведенный под общежитие барак и дрожим от холода до утра. Это к вопросу о чувствах, то бишь о крестьянском самосознании.

Но вот, говоря старомодным языком, появилось мнение, что если дать тому трактористу землю в личное пользование, то его чувства резко изменятся. Что ж, дело хорошее, но только зачем земля нашему знакомому трактористу — понять нельзя. Пусть он теперь зарабатывает на своей «Беларуси» сто семьдесят. Возьмет землю — станет зарабатывать тысячу или две, если, конечно, будет вкалывать, как западные фермеры. Но зачем ему эта тысяча рублей, если купит он на нее столько же, сколько его сосед на сто? При этом он будет надрываться на поле от зари до зари, а сосед спокойно обихаживать свой огород, запасаясь на зиму дарами отечественной флоры.

Есть в разговоре о чувствах крестьянина и более существенная тема. Помните, как Екатерине II «открыли глаза» на проворовавшегося губернатора? На что государыня с улыбкой ответила: «Что тут поделаешь? Поставь на его место другого — еще больше воровать станет. А этот уже насосался». Может, она как-нибудь иначе свою фразу построила, меня при этом не было, но смысл остался прежним — речь шла о психологии временщиков. Тех, что пришли «на час» и должны взять как можно больше, пока не погнали.

В последнее время ведется много разговоров о передаче земли в вечное или долгосрочное пользование частным лицам, о гарантиях необратимости этого процесса в виде закона. Не знаю, возможно, наших парламентариев такой закон и устроит, но вот вопрос — устроит ли он крестьян? Поверят ли?

Капиталистическое общество дает гарантии предпринимателям самим своим основополагающим принципом — частной собственностью. Представьте, что случится завтра в Англии, если парламент объявит, что в стране отменяется частная собственность на основные средства производства? Да ничего не случится, потому что никто в это не поверит. Тогда как наша страна имеет опыт подобных пертурбаций.

Капиталистическое общество все состоит из одного всюду проникающего, всепропитывающего, всепоглощающего принципа частной собственности. Наше же государство живет совсем по другим законам. И то, что в Англии аксиома, для нас не больше чем гипотеза. Никто не сможет гарантировать нашему предпринимателю, тем более фермеру, что тридцать четвертый год не повторится.

Именно это обстоятельство и лежит в основе психологии нашего временщика. Если бы арендатор был уверен, что сможет спокойно обрабатывать свою землю, вкладывая в это большие средства, беря крупные, долгосрочные кредиты, то он и планировал бы свое хозяйство соответственно, и чувство к земле у него формировалось бы особенное — к родному.

Но если человек не до конца уверен в завтрашнем дне и все же берет аренду, то, значит, он это делает ради сегодняшней выгоды. Значит, он будет стремиться выкачать как можно больший доход с наименьшими затратами. А это прежде всего выбор удобрений, выбор кормовых добавок (например, паприн и гормональные добавки ведут к ускоренному развитию животных, к хорошим привесам — то есть к солидной выручке. Но эти же добавки опасны для человека — откладываются в генной памяти, ослабляют мужские качества, влияют на материнские способности). Действия сегодняшнего временщика на земле — это прежде всего отказ от природоохранных мер, потому что меры эти чрезвычайно дороги и не дают сегодняшней денежной отдачи.

Конечно, нужно время, чтобы в людях появилась уверенность в завтрашнем дне, в необратимости процесса. Для этого в условиях фермерского хозяйства должно вырасти новое поколение. Только эти, новые, люди будут по-настоящему уверены, что земля, на которой они родились, на которой они трудятся,— их собственность, их кормилица.

Весь вопрос в том — есть ли у нас это время? И ответ на этот вопрос однозначен — времени в запасе нет. За последние тридцать лет, то есть за время безудержного разгула кампании химизации, наши сельские труженики состарили почву на три тысячи лет. Потому что в наше время темпы уничтожения гумуса в сто раз выше, чем в чисто природной системе. За последние тридцать лет убыль гумуса составила: в черноземной зоне — от трети до половины, в нечерноземной — половину всех природных запасов. По стране особенно тяжелое положение с плодородием в Средней Азии. За последние двадцать лет из почв хлопкосеющих районов выхолощено восемьдесят процентов гумуса!

Если к процессу разграбления почв подключить еще и временщика, то страшно представить себе последствия этого шага. Времени на эксперименты не осталось.



Но допустим, что я неправ. Допустим, что фермерство сегодня способно в нашей стране сотворить чудеса. Предположим, что знакомый тракторист взял надел земли, или ферму, и своим ударным трудом постарался обработать землю по всем правилам агротехники. Решится при этом вопрос с круговоротом органического вещества, то есть вернется на поля навоз?

К несчастью, нет! Потому что для этого нужно иметь средних размеров поле, а рядом ферму, а рядом луг, а рядом сенокосные угодья. А чуть дальше еще поля, и еще фермы... И так по всей стране. Ведь только для сохранения плодородия почвы без каких-либо планов на урожай каждому гектару необходимо давать минимум десять тонн навоза ежегодно. А если с этого поля еще и урожай требовать, то на гектар придется привезти тонн тридцать.

Реально это? К сожалению, нет. Ибо устраивать эти поля, работать на этих фермах, жить в этих деревнях стало некому. И сегодня в Центральном Нечерноземном районе России вносят в среднем всего пять тонн навоза на гектар пашни. Про южные области Нечерноземья и говорить нечего — в Орловской, Тульской, Рязанской норма внесения давно скатилась до 1,5—3 т/га.

Слишком мало осталось тех, кому в прежние времена привычно было крикнуть: «Выручай, мужики, родина в опасности!»

Придется признать, что этот путь в лабиринте тупиковый, надо вернуться и поискать другой. И прежде всего вспомнить об основных транжирах бесценного навоза — о городах и животноводческих хозяйствах.

## ИСТОЧНИКИ ЗЛА

В городах проблема лежит на поверхности и решается теоретически просто. Канализация наших городов устроена таким образом, что стоки от жилых кварталов смешиваются в одной трубе (коллекторе) со стоками промышленных предприятий и за время совместного путешествия под землей впитывают в себя такое количество яда (органика чрезвычайно подвержена вредному влиянию), что куда там использовать — не знают, как захоронить понадежнее.

Поэтому решение этой задачи простое — разделить канализацию на промышленную и бытовую. Просто на словах. На деле это задача, которую в ближайшее время никто решать не возьмется.

Один только Ленинград каждые сутки выдает около трех тысяч тонн остроядовитой органики. Это без малого 1,1 млн. тонн в год. Если бы она была чистой, то ее хватило бы для удобрения пятидесяти пяти тысяч гектаров пашни ежегодно.

Все же в принципе эта задача решаема. А что в животноводстве? Ведь известно, что через эту отрасль сельского хозяйства только по Нечерноземью теряется органики в пять раз больше, чем во всех городах этого региона, вместе взятых. Один свиноооткормочный комплекс на сто пятьдесят тысяч голов выдает такое же количество навозосодержащих стоков, как и двухмиллионный город. И все это течет в реки и озера, вместо того чтобы удобрять поля и пополнять запасы гумуса.

Итак, первые свиноооткормочные комплексы Хрущев увидел в США. Идея его увлекла, но масштабы американцев показались слабоватыми. Известно, что самые крупные слоны водятся в СССР, поэтому, думаю, никого не удивило, когда Советский Союз заказал итальянской фирме Джи-Э-Джи проект свиноооткормочного комплекса аж на сто восемь тысяч голов и по откорму телят — на десять тысяч. До сих пор нигде в мире нет таких крупных фабрик по выращиванию мяса.

Итальянцы рады стараться. Отчего не поэкспериментировать, благо на чужой земле, да еще за это деньги платят. Одним из существенных затруднений для проектировщиков оказалась уборка навоза. Если на маленькой ферме свинарка справляется вручную, то на колоссальном комплексе об этом не может быть и речи. Остроумные итальянцы быстро нашли решение — смывать водой. Но вот вопрос — куда девать смытое? Так называемые навозосодержащие стоки представляют собой бурую, вонючую, густую воду. Ни перевезти, ни в склад запереть.

По итальянскому проекту предполагались очистные. Их построили, но работают они преотвратно, совершенно не справляясь со своими задачами.

Может, они и справились бы, если б проектировщики из Джи-Э-Джи учли российскую специфику. Например, то, что русские свиньи выдают навоз, сильно отличающийся от навоза итальянского. Качество наших комбикормов такое низкое, что третья часть корма не усваивается свинским организмом, и двадцать процентов всех денежных вложений в животноводство «летит свинье под хвост». Это, в свою очередь, существенно влияет на качество очистки — бактерии, перерабатывающие в аэротенках очистных станций органику, просто не справляются с непредусмотренным изобилием, а заложенное в проект время на очистку изменить уже нельзя.

Не учли итальянцы особенности нашего климата. Что уж тут поделать, надо открыто признать, что у нас холоднее, чем в Италии. С этим связаны дополнительные сложности очистки. Степень ее зависит от скорости «размножения» бактерий, переводящих органику в состав собственных клеток. И понять их можно — кому ж захочется плодиться на морозе.

Третья, возможно, основная наша особенность, упущенная итальянскими проектировщиками из виду,— человеческий фактор.

Как-то у нас в Ленинграде лет пятнадцать или двадцать назад в одном из таксомоторных парков решили установить телеконтроль. Надоело начальству выслушивать поутру о ночных происшествиях: на одном этаже драка, на другом пьянка, на третьем картежный притон, на четвертом публичный дом. Короче, решили со всем этим безобразием кончать разом — закупили импортную систему телеслежения и установили камеры на каждом этаже. Задышало парковское начальство ровно и спокойно, восстановился сон, вернулся аппетит. Но ненадолго. Как-то ночью подошел к телекамере дядя в ватнике, да не в лоб, а сбоку, откуда не видно, да саданул по всевидящему импортному телеоку отечественным ломом. Проделали это на всех этажах в одну ночь. И списали поутру сто тысяч золотых рублей на ночной сквозняк.

Как ни горько об этом думать, но приходится учитывать «дядю в ватнике» при разработке любого проекта, не говоря уже о закупке лицензий. Этого не было сделано при покупке проекта Джи-Э-Джи. И до сих пор ни один институт страны не выпускает специалистов-эксплуатационников очистных станций.

В настоящее время четверть всего свиноводства страны переведена на промышленную основу, то есть свиноооткормочные комплексы. Не так давно Минздравом СССР были проверены шестьдесят из них. На тридцати комплексах очистных не оказалось вовсе. Из числа имеющихся восемьдесят процентов работали отвратительно. Главная причина: неграмотная эксплуатация. Пример для наглядности: в помещении аэротенков очистной станции (емкостей, где бактерии расщепляют растворенную в воде органику) «полетела» вентиляция. Новых моторов не достать. Совхозное начальство вышло из затруднения просто и по-крестьянски мудро — распорядилось вынуть изо всех окон стекла, переделав таким образом вентиляцию из принудительной в свободно-приточную. В помещении (это происходило зимой) резко упала температура. Результат — качество очистки ухудшилось вдвое.

Когда вспоминаешь, что один такой комплекс загаживает реку наравне с двухмиллионным городом, понимаешь всю серьезность подобных ошибок. Тем более, что крупные города в большинстве случаев расположились по берегам морей и океанов, а комплексы стоят вдоль пресноводных (питьевых) рек и озер.

## САМЫЕ КРУПНЫЕ СЛОНЫ

Использовать навоз от комплексов трудно не столько из-за удаленности их от главной нивы страны, сколько из-за двух чрезвычайно серьезных обстоятельств: во-первых, из-за его нетранспортабельности — 99,5 процентов воды. Во-вторых, из-за того, что навозосодержащими стоками можно навредить почве не меньше, чем минералкой.

По первоначальному проекту предполагалось орошать ими поля. Но вот беда — промышленные центры, вокруг которых расположились животноводческие комплексы, находятся, как правило, в тех регионах, где орошение земли не требуется. Скажем, в Ленинградской области — тут осушать впору. Куда девать в таком случае? И как выходят из этого затруднения на практике?

В поисках ответа на последний вопрос я познакомился с тремя ленинградскими комплексами-гигантами: «Восточным», «Новым светом» и «Спутником». Каждый из них пытается освободиться от навоза по-своему.

«Новый свет» очистных до последнего времени не имел. Первоначально предполагалось, что весь навоз пойдет на производство компостов. Для этого при комплексе построили компостную фабрику. Но выяснилось, что она всего объема стоков переработать не сможет. Срочно построили вторую. Но и в этом случае всего объема получаемого навоза утилизировать не удалось. Каждый год фабрики перерабатывают в компосты сто шестьдесят тысяч тонн стоков, тогда как за год их образуется миллион тонн. Волей-неволей пришлось лить навозную воду в естественный резервуар — выработанные чеки старой торфоразработки. Постепенно образовалось навозное озеро площадью свыше пятидесяти гектаров. А на берегу этого «озера» раскинулся поселок свиноводов. Про санитарную обстановку говорить не приходится. Пришлось совхозу построить очистные. И в «Новом свете» познакомились с новой проблемой — куда девать жидкий осадок очистных станций.

Эта проблема хорошо известна другому ленинградскому комплексу — «Восточному». Когда его проектировали, то, как видно, думали, что очистной станции вполне достаточно, чтобы вопрос утилизации осадков был решен. Но не тут-то было. Во-первых, вода на выходе из очистных все же требует доочистки. Во-вторых, осадок, то есть та органика, которую бактерии «вынули» из воды и перевели в состав собственных клеток, содержит 95 процентов воды и по консистенции напоминает жидкую сметану (когда ее в магазине разбавляют кефиром). Куда его девать? Каждые сутки комплекс вырабатывает осадка восемьсот тонн (тринадцать железнодорожных цистерн). Пробовали выливать на поля соседних хозяйств, но тамошние почвы дополнительного увлажнения не требуют.

Как быть? Времени на раздумья нет — станция выдает и выдает осадок. Махнули рукой и принялись лить все, что станция отфильтровала от воды, куда попало вокруг совхоза. Окрестные леса начали гибнуть. Дождями и паводками жижу размыло и унесло в речку Игнолинку, оттуда в Неву, немного повыше южного водозабора Ленинграда — пейте, горожане!

То есть эффект очистки полностью аннулировался.

Самым крупным из ленинградских свиноооткормочных комплексов является совхоз «Спутник». Стоит он поблизости от Ладожского озера, и вклад его в погубление легендарного озера колоссален. На комплексе работают очистные. Вода после них направляется на поля орошения, почва которых фильтрует ее от оставшихся биогенов. Далее вода по закопанному под полем дренажу скатывается в канавы, а оттуда в пруд-накопитель при насосной станции.

За годы эксплуатации почва на полях настолько переувлажнилась, что быстро теряет свои фильтрующие способности. Все это говорит о том, что подобная технология доочистки для Центрального и Северо-Западного районов Нечерноземья явно не подходит.

И уже знакомая проблема жидкого осадка. И не менее знакомое решение — вывозят бочками за околицу и льют куда придется. В конечном итоге все отфильтрованные биогены попадают в Ладогу.

## ЧАСТНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

Итак, внезапный скачок урбанизации привел к спешному и непродуманному строительству животноводческих комплексов, которые теперь, в особенности свиноооткормочные, губят все живое в реках и озерах, отравляют питьевую воду, а также способствуют истреблению гумуса в почвах. Где выход из этого тупика?

Как всегда, на ум просится простое, но действенное решение — позакрывать все эти фабрики мяса к чертовой матери, раздать скот крестьянам, распределить по мелким фермам, стелить под животных солому и вывозить по весне подстилочный навоз в поле.

«Мечты, мечты, где ваша сладость...» Если принять за маленькую ферму с единовременным содержанием одной тысячи свиней, то типовой комплекс вроде «Восточного» придется разделить на сто восемь таких ферм. Организовать, построить — куда ни шло, но где взять людей, которые стали бы работать на этих фермах? А ведь стовосьмитысячников у нас в стране сорок четыре штуки. Значит, придется организовать четыре тысячи семьсот пятьдесят две фермы и столько же новых деревень, потому что ферма на тысячу голов не такая уж и маленькая и в старую деревню ее не впихнешь. У нас к тому же имеются десятки супергигантов на двести шестнадцать тысяч свиней, пятьдесят четыре тысячи, и двадцать четыре тысячи — этих аж двести девяносто два. Все это порушить? Но как ни крути — один только стовосьмитысячник дает в год двенадцать тысяч двести тонн мяса.

Раз не удается их заменить мелкими фермами, то следует подумать о том, как свести вред, приносимый комплексами природе, до минимума. В чем же причина этого вреда? Гидросмыв? Вот его-то мы и отменим. А убирать будем вручную. Ничего, что больше придется поработать, зато и поля и реки выздоравливать начнут. Решение найдено...

Надо сказать, что этот подход вообще отличает нас — хватать те ответы, что плывут по поверхности, вместо того чтобы поискать на глубине. На первый взгляд — действительно выход. По крайней мере, во всех научных институтах, во всех чиновничьих конторах, даже в хозяйствах, где я пытался найти ответ на вопрос: «Что делать?», мне отвечали: «Ликвидировать гидросмыв!»

И я уже почти уверовал в целительность этого предложения, как вдруг узнал, что в одном из свиноводческих хозяйств Ленинградской области — в совхозе «Романовский» — применяют гидросмыв. Известие поразило меня. Дело в том, что стадо «Романовского» размещено по мелким павильонам, где как раз никакого гидросмыва по идее не должно быть.

Уже на следующих день я шагал заснеженной дорогой к деревушке Лепсари, в которой расположились фермы самого дальнего и глухого отделения «Романовского».

Интерьер свинарника описывать не стану, все как обычно,— длинный, узкий, посреди проход, по бокам от него дощатые загородки — станки. Внутри все белено. При входе корыто с опилками.

Как только вошел, так сразу стал искать глазами средства уборки. И тут же нашел — по обеим сторонам прохода в полу были выдолблены длиной во всю ферму узкие желоба, из которых виднелись элементы скребкового транспортера. То есть механическая уборка,

никакого гидросмыва. Время было уходить. Но тут я разговорился с экскурсоводом— местной работницей Татьяной, чьим заботам меня поручили.

— А как вы здесь навоз убираете? — все же не удержался я.

— Скребком, конечно.

— Странно, мне говорили — гидросмыв у вас.

— Как это?

— Водой смываете.

— Так водой и смываем,— явно не понимая моей озабоченности, сказала Татьяна,— скребком выгребаем из станков в транспортер, а по транспортеру гоним водой. Видите, шланг висит?

Только тут я обратил внимание на ржавую трубу, что тянулась на высоте человеческого роста над желобом транспортера. Возле входных дверей труба заканчивалась краном и свисавшим до пола резиновым шлангом.

— Ничего не понимаю. Зачем смывать водой, если у вас транспортер есть?

— Так ведь, чудак человек, транспортер сам не справится, ему помочь надо. Если без воды, то он целый день навоз переталкивать будет. А так — милое дело, нальешь в канавку воды, навоз сам утекает. За фермой в земле бак здоровый зарыт. Поутру трактор с бочкой подъедет и выкачает.

— Что же, повсюду водой смывают или только здесь?

— Повсюду,— растерянно отвечала Татьяна,— и на других фермах, и в других отделениях. И в совхозах других. Я родом из Калининской области, так у нас тоже водой смывают. Так проще и быстрее.

Вот так — оказывается, сегодня, вне зависимости от размеров свинарника, технической документации, навоз повсеместно смывают водой. И как ты гидросмыв ни запрещай, ничего не изменится, потому что так проще.

На крупном промышленном комплексе смытый навоз проходит через очистные, где от воды отделяется. Осталось решить проблему утилизации осадков, и все войдет в норму. Зато в средних и мелких хозяйствах никто биологическую очистку организовывать не станет — слишком дорого, да и опытных кадров там нет. На крупном же предприятии хорошую работу очистных в принципе можно организовать хотя бы потому, что он на виду и его проще контролировать. А замени его на сотню мелких, и контроль исчезнет полностью.

Я уже не говорю об арендаторах. Много было сказано о психологии временщиков — вот вам и сфера ее действия. Неужели арендатор, взявшийся откармливать свиней, озаботится природоохранными мерами? Да и какие меры он в состоянии применить? Биологическую очистку? Одна только эксплуатация типовой станции обходится в миллион рублей в год, да два миллиона забирают поля орошения.

В былые времена под скотину стелили солому. Смешиваясь с ней, навоз становился компостом. Нынче хорошо, если она есть. А если нет? Не станет же арендатор из-за соломы выращивать зерно. Гораздо проще смыть навоз водой. И пусть течет, куда хочет. А хочется ему, как назло, всегда в одном направлении — в реку.

Казалось бы, логика подводит к тому, что надо искать способ утилизировать осадки очистных, но... руководители ленинградских животноводов приняли решение противоположное: больше промышленных комплексов не строить. Вместо этого запланировали к 2000-му году возвести двадцать семь свинооткормочных комплексов по четырнадцать тысяч голов в каждом. Без гидросмыва! Это значит — без очистных! То есть около трех тысяч тонн навоза каждые сутки все равно будут смываться в реки и озера области.

Даже если произойдет невероятное и на всех ныне существующих и впредь проектируемых фермах перестанут смывать навоз водой, а будут вычищать из свинарников чисто механическим способом, даже в этом случае навоз на поля вернуть не удастся. Потому что сам по себе свиной навоз по консистенции напоминает жидкий осадок очистных: 90—94 процента воды. То есть уже знакомые проблемы — далеко не повезешь, в склад не закроешь, в кучу не свалишь. Куда девать? Ответ первый — в поле.

Бесподстилочный навоз очень хорошее удобрение. Его применение может повысить урожай картошки вдвое. По крайней мере, так было на опытных полях ВНИУА им. Прянишникова. Но следует учесть, что на эти поля вносили жидкий навоз специальными машинами под почву один раз в год от ста двадцати до шестисот килограммов на гектар. Теперь прикинем: один десятитысячник выдает в год не менее тридцати тысяч тонн бесподстилочного навоза. Если вносить в почву по шестьсот килограммов на гектар, то вокруг такого комплекса необходимо будет распахать не менее пятидесяти тысяч гектаров пашни. Целый год придется держать жижу в каком-то накопителе, а весной разом вывезти на поля специальными машинами, которые в остальное время будут простаивать без дела.

Может, рассредоточить комплексы по стране с таким расчетом, чтобы вокруг каждого располагалось не менее пятидесяти тысяч гектаров пашни? Эта шутка несмешная.

Выходит, использование бесподстилочного навоза, как это предлагают в институте



им. Прянишникова, нереально. Во всяком случае, их опыт нельзя распространить на страну или даже регион.

Что касается неограниченного внесения жидкого навоза в почву, то этот путь испробовали на себе эстонцы. За четыре года применения навозной жижи в почве в три раза увеличилось количество грибов, вызывающих корневые инфекции и гниль растений, а количество почвенных бактерий, переводящих полезную для человека и растений амонийную форму азота в опасную нитратную, увеличилось аж в сто раз. Объясняется это тем, что в жидком навозе много биогенов, особенно азота, но мало клетчатки, из которой «полезные» бактерии строят свои клетки. Зато комфортны условия для «вредных» — нитрофицирующих бактерий. Последние в конкурентной борьбе легко вытесняют «полезных».

Получается, что чем больше удобрять землю необходимым растениям амонийным азотом, тем больше в почве будет накапливаться опасных нитратов. Настоящий крестьянин никогда свежий навоз в землю не кинет. Обязательно перемешает с соломой и даст года два вылежаться.

Компосты, или, как их еще называют, «подстилочный навоз», совсем другое дело — в них много клетчатки, и потому в борьбе за выживание выигрывают «полезные» бактерии, вытесняя «опасных». Поэтому подстилочный навоз можно вносить без ограничений. Чем его будет больше, тем больше, в конечном итоге, образуется гумуса.

Итак, выход из тупика — изготовление компостов из жидкого навоза.

Правда, соломы, как мы уже говорили — в Нечерноземье мало, поэтому сегодня повсюду, где это возможно, компосты изготавливают из торфа. Это прежде всего Урал, российский север и северо-запад.

Хорошо это или плохо?

## ЛЕТУЧИЕ СОКРОВИЩА

Это не плохо — это ужасно! Это... Это черт знает что!

Что такое торф? Не говоря о топливе (сжигание торфа решено прекратить к 2000 году), торф — это дешевые кормовые дрожжи. Это воск. Это восемьдесят видов высококачественной парфюмерии и косметики. Это фармакология. Это грязелечение. Это, в конце концов, Шотландское виски, которое, чтоб вы знали, уже давно изготавливается из торфа. И многое, многое другое.

И все перечисленное тоже плохо. Потому что торф особенно хорош там, где лежит. Торф — это болота. О них стоит рассказать подробнее.

Начнем с малого — на болотах растет клюква. В СССР собирают около сорока тысяч тонн этой ягоды. Одну тонну клюквы нам обменивают на внешнем рынке на четыре тонны пшеницы. Я берусь утверждать, что нас бессовестно обдирают — клюква стоит дороже. Причем, обратите внимание,— не надо ее возделывать, удобрять, гонять технику — болото само родит, приходи и убирай.

На болотах СССР живут тридцать видов лекарственных растений. Подсчитано, что только эта статья дохода от болот превышает все доходы от мелиорации.

На болотах самый стабильный, независимый от погоды медосбор.

Только на северо-западе в болотах живут десять видов животных и птиц, занесенных в международную Красную книгу. Каждая такая популяция оценивается в тридцать два миллиона долларов.

Болота — родина большинства равнинных рек. Высушивая их кусок за куском для того, чтобы распахать или вытащить оттуда торф, мы, тем самым, снижаем полноводность рек.

Болота — это самый, самый, самый лучший фильтр атмосферных осадков. В наше время — время радиоактивных и кислотных дождей — подобные способности болота просто неоценимы.

Болота — самая мощная кислородообразующая система на земле. Гектар тайги или амазонской сельвы ничто в сравнении с гектаром болота по способности производить кислород.

И наконец, самая важная роль болота — крупнейшее хранилище мировых запасов углерода. В торфяниках земли законсервировано $300 \times 10^9$ тонн углерода. Это сорок процентов атмосферных запасов.

Чем больше разрабатывается торфяников, тем больше углерода переходит в углекислый газ и возносится на небо. Ведь торф — чистая органика, то есть деликатес для почвенных бактерий, простейших и беспозвоночных. Он может пролежать в кислой среде болота миллионы лет. Но стоит торф поднять, осушить, пустить в его разрыхленные толщи воздух, как вся почвенная братия набросится на него, быстро расщепляя торфяную органику на минеральные составляющие. Этим и объясняется, казалось бы, поразительный факт — поле, организованное на осушенном болоте, со временем опускается. Такие поля за последние семьдесят лет в Новгородской области опустились не много не мало — на метр! То есть по одной только Новгородской области миллиарды тонн торфа исчезли —

улетели в воздух, увеличивая парниковый эффект. В регионах с более благоприятными климатическими условиями скорость исчезновения торфа достигает десяти сантиметров в год!

Все это говорит о том, что разрабатывать болота, осушать их, поднимать торф — глупо и преступно. Американский экономист Ларсен подсчитал, что прибыль, которую приносят болота штата Массачусетс в своем естественном состоянии значительно превышает прибыль от их разработки и колеблется, в зависимости от конкретных условий, от пятисот до пятидесяти восьми тысяч долларов с одного акра в год (примерно шесть садовых участков).

У нас подобные расчеты тоже имеются, но только они непопулярны. В СССР добывается около двухсот миллионов тонн торфа в год. Из них шестьдесят миллионов тут же сжигается в топках. В одной только Ленинградской области восемнадцать торфопредприятий.

Если здравый смысл все же возобладает над бездушием (а он таки возобладает, хотя бы под натиском общественной мысли других стран, напуганной приближающимся парниковым эффектом), в этом случае торф в нашей стране разрабатывать прекратят.

Это значит, что единственный отработанный прием утилизации осадков и жидкого навоза в животноводстве отпадает. Хоть микроскопическая часть навоза, но все же возвращалась на поля с торфяными компостами. Как быть, когда торфяники трогать запретят?

## БАМИЛ

Вернемся еще раз к исходной. Главный недостаток осадка с очистных или свежего навоза состоит в том, что он жидкий. Из-за этого его невозможно перевозить на большие расстояния, долго хранить. А что, если его высушивать?

Именно эта мысль пришла в голову заведующей лабораторией Всесоюзного института сельхозмикробиологии ВАСХНиЛ, кандидату биологических наук Архипченко. Ученым лаборатории Ирины Александровны поручили наладить работу очистных «Восточного». Они справились с заданием настолько успешно, что вывели очистку в этом хозяйстве на уровень лучших в стране. Но все усилия сводится к нулю: некуда девать осадок.

Группа Архипченко предложила осадок высушивать и вносить в землю как органическое удобрение. Назвали это удобрение «бамил». На делянках института провели опыты, и вот что оказалось: урожай картошки на делянках, удобренных бамилом, в полтора раза выше урожая с делянок, куда вносили минеральные удобрения. Содержание крахмала в клубнях увеличилось на пять процентов, витамина С — в два раза. Но что самое ценное — количество нитратов составило всего 5 мг/кг, тогда как предельной нормой для картошки установлено 240 мг. Еще три-четыре года назад предельная норма равнялась восьмидесяти миллиграммам, но постоянно увеличивающиеся дозы внесения минеральных удобрений и ядохимикатов приводят к постоянному росту концентрации нитратов в продуктах. В министерских кабинетах с этой проблемой справились быстро — подняли планку предельных норм втрое. Тогда как с применением высушенного осадка эта проблема отпадет вовсе — выращенная на нем продукция будет чистой. У бамила хорош и эффект последействия — два-три года после внесения урожай по-прежнему держится высоким. Бамил улучшает агрохимические свойства почвы, а также биологические — в пробах почвы, обработанной бамилом, обнаружено в четыре раза больше бактерий, чем в пробах с минеральными удобрениями. Высушенный активный ил удобно фасовать в мешки, хранить, перевозить на большие расстояния.

Казалось бы, все проблемы решены, лабиринт пройден, активный ил очистных станций — великолепное удобрение. С его помощью можно добиться возвращения навоза на поля. Кроме того, можно в три раза сократить применение минеральных удобрений — это не только оздоровит продукцию, но и даст огромный экономический эффект, откроет путь к обеспечению страны мясом — ведь нынче у нас эта задача под силу только промышленному животноводству. Разработки Института сельхозмикробиологии позволят обратить врага в друга и открыть для промышленного животноводства широкие перспективы.

Микробиологи сделали свое дело — исследовали, разработали, убедительно доказали. Что дальше? Дальше заключительный аккорд — высушить осадок, расфасовать его в мешки, развезти по хозяйствам. Через год подсчитать эффект от применения. Затем произвести окончательные экономические расчеты, составить ТЭО, и можно входить в правительство с предложением промышленного освоения.

Но... Не тут-то было. Сухой активный ил существует только в институтской лаборатории. И сушат его в сушильном шкафу. На комплексах он по-прежнему в нетранспортабельном виде. Лабораторные опыты никак не могут перешагнуть барьер на пути к промышленному испытанию из-за того, что никто не берет на себя сушку.

Как странно — вот он, выход из лабиринта, и дверь открыта, а не выйти.

Сегодня для успешного завершения этого крайне важного исследования необходима поддержка не только совхоза «Восточный», но всего кабинета министров. Но ее нет. И пока ученые пытаются доказать различным инстанциям перспективность своего метода, Ленагропром махнул на них рукой и приступает к строительству трех десятков комплексов, где уже не будет биологической очистки, а следовательно, возможности производить бамил. Зато увеличатся потоки жидкого навоза в реки.



## БОРЬБА МИРОВ

Пытаясь найти ответ на вопрос, почему лабораторию Архипченко держат на голодном пайке, я почему-то считал, что Институт сельхозмикробиологии молод и потому пока еще не успел отвоевать себе необходимого жизненного пространства. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что речь идет о старейшем научном учреждении страны. Еще в XIX веке была организована лаборатория борьбы с вредными насекомыми и грызунами бактериологическим способом. В 1923 году из лаборатории вырос отдел сельхозмикробиологии при Госинституте опытной агрономии. В 1930 году на базе этого отдела возник самостоятельный институт, первым директором которого стал замечательный советский ученый академик С. П. Костычев. Такая быстрая эволюция лаборатории в целый институт указывает на стремительное развитие биологической науки в те годы. Пока ... Нет нужды пересказывать трагическую судьбу отечественной биологии, она теперь широко известна.

К тому времени, когда Хрущеву понадобился «скачок», биологическая наука по-прежнему оставалась в загоне и потому не смогла доказать опасность для природы, а значит и для человека, неподготовленного, резкого роста урожаев.

Зато это пообещала химия. Ей в руки и отдали карты. По биологии тем самым был нанесен еще один мощнейший удар — за годы безусловного приоритета представители химического комплекса страны расширили и укрепили свои позиции в сельском хозяйстве и ВАСХНиЛ. И теперь, занимая ключевые посты, они могут беспрепятственно управлять всем комплексом сельскохозяйственных наук сообразно своим критериям, представлениям и привязанностям. Да и как же может быть иначе, если весь огромный, неповоротливый, чрезвычайно влиятельный в политической сфере химический комплекс страны больше половины всех своих доходов получает от производства минеральных удобрений. Отказаться, хотя бы частично, от производства ядохимикатов или минеральных удобрений — значит упустить из рук власть.

Подтверждение этой своей догадке я неожиданно нашел в ныне переименованном Госагропроме в Москве. Сотрудник экономической службы пожаловался мне:

— Какой-то дурак пропустил препарат Кандыбина, и теперь хозяйства отказываются от пестицидов — подавайте им кандыбинские бактерии. Вы не представляете, какие убытки понесут химические заводы, если бактерицидные средства распространятся по всей стране. Это будет экономическая катастрофа!

Речь шла о препаратах доктора биологических наук Николая Васильевича Кандыбина. Его бактерии несравненно успешнее справляются с вредителями и грызунами. Ведь к химии у грызунов и насекомых вырабатывается иммунитет, из-за чего приходится год от года наращивать дозы внесения ядов. Тогда как к бактериям полевки или паутинный клещ привыкнуть не могут. Продукция после обработки растений бактерицидными средствами чистая и безопасная. Почве от нее никакого вреда. Но есть вред химическим заводам. Этим, должно быть, и объясняется то, что за многие годы своего существования бактерицидные средства борьбы так и не попали в крестьянские руки.

Зато более чем льготными условиями поощряли применение химикатов. Ровно половину стоимости этих ядов государство оплачивало за хозяйства в виде дотаций.

Это не первый и, к несчастью, не последний пример того, как сельское хозяйство, крестьянский вопрос становится в руках группы людей средством достижения сиюминутных политических целей. На всем протяжении развития нашей страны (не только послеоктябрьского периода) сельское хозяйство использовали в качестве орудия в борьбе между государственной властью и оппозицией, между оппозиционными группировками, при разделе власти между партиями и так далее. Властители разных времен жонглировали крестьянским вопросом, укрепляя собственную власть.

Чем более обострялась политическая ситуация в стране, тем больнее это сказывалось на крестьянском вопросе. Нынче режущие грани политических проблем как никогда больно задевают деревню. Ведь всякое политическое обострение усиливает в первую очередь экономические трудности. Во все времена их решали с помощью строжайшей экономии. То есть в первую очередь с помощью отказа от нерентабельных отраслей. Сегодня это прежде всего отказ от природоохранных мер.

Но в отличие от иных периодов истории наше время не дает возможности для экспериментов. Мы подошли к краю. Наша земля близка к уничтожению. Необходимо просто немедленно приступить к восстановлению природных систем. И прежде всего — круговорота органического вещества. Если этим не заняться сейчас, то уже в ближайшем будущем, то есть на глазах наших детей, жизни на шестой части суши не останется.

Но для процесса экологического выздоровления необходим политический покой.

7 •

## Из литературного наследия

### *Александр Вампилов*

# ДВА РАССКАЗА

Этот черный старый чемодан с двумя металлическими замками всегда при жизни Сани был для меня тайной. Знаю, что в середине пятидесятых он приехал с ним в Иркутск из Кутулика поступать в университет. Знаю, что позже, когда чемодан отслужил свой вояжный срок, в него складывались рукописи, но что там было еще, можно было только догадываться.

Из Кутулика же был привезен первый Санин письменный, сработанный поселковым умельцем стол, с выдвижным ящиком посередине, обтянутый сверху черным же кожемитом, весь в кляксах и потертый,— ведь за ним занимались все четверо детей учительской семьи Вампиловых. В ящике была чистая бумага и рукопись писавшейся тогда первой большой пьесы «Ярмарка» — «Прощание в июне».

Чемодан, стол, венский стул, гитара и много книг, сложенных прямо на пол за неимением книжных шкафов,— вот та обстановка, в которой жил Вампилов. Как давно это было!

С годами мало что менялось, разве только стулья, которые были принесены в подарок его друзьями на новоселье. Стульев было много, они были списаны Союзом писателей, что оказалось весьма кстати. Шествие это от трамвайной остановки до нашего дома было впечатляющим. Жизнь была бедная, но счастливая. Все были молоды, талантливы, и бедность не была пороком. Большим событием стали стеллажи, сделанные для Сани столяром Иркутского драмтеатра. Наконец-то книги были расставлены по полкам, и можно было быстро найти нужную. И опять это был праздник. По мере того, как ставились по провинциям две пьесы — «Прощание в июне» и «Старший сын», появились деньги, были розданы долги, и в Санином кабинете установили новый стол, серьезный, с двумя тумбами, а старый — был снесен им самим на улицу, разбит и сожжен.

Потом случайно была разбита гитара, что было для него огорчительно и больно. А играл он на ней удивительно. Сколько вечеров было связано с ней, с исполнением романсов, песен, начиная с модного тогда Окуджавы и заканчивая любимой им «Элегией» Дельвига. Играл серьезно, подолгу, оттачивая мастерство. Он любил гитару, любил глубоко и серьезно. Он все и всех любил, да иначе было невозможно, верно, потому, что не было человека более любящего и понимающего жизнь и людей. Думаю, что с этим согласятся его друзья, которым он был верен до конца,— все, что касалось друзей, их проблем, их жизни, было для него свято. Осталось ощущение радости от того, что он стольких любил, стольким помогал, столько успел сделать добра, как бывает у тех, кому мало суждено прожить. Я ни разу ни до, ни после его смерти ни от кого никогда не слышала фразу, над которой, когда он ее произнес, не задумывалась: одиноких мне всегда жалко. Задумалась потом...

Вспоминать о нем трудно, потому что, и мы так привыкли, любые воспоминания должны нести в себе его мысли, его слова, его поступки, его облик, чтобы в них он был живым человеком.

Я все хотела понять его, но по молодости и, увы, по глупости как-то казалось — успею. Еще немного и пойму. Трудно приходить к пониманию его теперь, когда я стала старше его. Только сознание того, что ты прошла несколько лет рядом, что тебе от этого светло и радостно,— и есть счастье.

Счастье, как сказка, быстро кончается. Не стало Сани, а осталось так много — в общечеловеческом понимании, в том, что он дал своим читателям, зрителям, и так мало — осязаемого, вещественного. Остался черный старый чемодан с его записными книжками, вариантами пьес, письмами друзей, несколькими рисунками и небольшими рассказами, подписанными его студенческим псевдонимом — А. Санин. Рассказами, которые он не опубликовал, но почему-то и не уничтожил, которые предлагаются не на суд, а только на знакомство. В них он молодой, по-юношески романтичный, искренний, и все у него еще впереди.

***Ольга Вампилова***



# ЧУЖОЙ МУЖЧИНА

Больше двенадцати часов в сутки не удается поспать даже пассажирам. Петр Васильевич с досадой хлопнул по матрацу и сел у окна. За окном один за другим менялись пейзажи, но Петр Васильевич был не мальчиком, едущим по железной дороге в первый раз. Он снова лег, закинул руки за голову и с ненавистью взглянул в потолок.

«Хоть бы сел ко мне кто-нибудь в купе, что ли»,— подумал он.

Петр Васильевич Голубев возвращался в свой город после двухмесячной командировки. В командировки Петру Васильевичу приходилось ездить часто, но особенно он любил обратную дорогу. Домой он возвращался всегда веселым, свежим, вез с собой подарок жене и пару старых анекдотов и острот, услышанных от новых знакомых. Новые знакомые всегда рассказывали старые анекдоты.

Подарок и анекдоты были и в этот раз, но настроение было такое паршивое, как будто у него только что вынули из кармана двести рублей. Петр Васильевич занемог болезнью довольно редкой и большей частью легко переносимой — угрызениями совести. Он не изнурял себя этим недугом по пустякам, для этого нужна была какая-то серьезная причина. Такая причина была. В эту поездку Петр Васильевич в первый раз изменил своей жене.

Женился он пять лет назад, будучи студентом и будучи влюбленным. Спокойный и немного замкнутый, он был эти пять лет верен и тих и вот вдруг неожиданно свихнулся.

«Изменил самым подлым образом. Изменил кому? Вере, моей Вере. Такой чудной женщине, такой любящей жене. Ловелас! Гусар! — думал Голубев, ожесточенно раскуривая папиросу.— Как я буду смотреть ей в глаза? Обманывать ее... Это единственный человек, которому я не мог... не смел лгать, и вот... Как же это? Ведь я ей теперь в сущности совсем... абсолютно чужой мужчина».

«Чужой мужчина...— повторил Петр Васильевич вслух, вскочил и стал смотреть в окно, ничего в нем не видя.— Пожалуй, я признаюсь ей во всем. Она умная и нежная. Она простит меня...»

Здесь Голубев заметил наконец, что поезд остановился в небольшом новом городке, что дело к вечеру и до дома осталось три часа езды. За окном, вдоль вагона спешили навьюченные багажом люди с испуганными лицами. «Зачем они бегут? Ведь все равно все сядут. Особенно суетятся женщины»,— подумал Петр Васильевич и стал следить за хорошенькой девушкой, которой быстро бежать мешала узкая юбка. Наблюдать за ней было смешно и весьма любопытно.

В это время дверь в купе Петра Васильевича отворилась легким и решительным движением. Голубев повернулся. Перед ним стоял незнакомец с небольшим чемоданчиком в руке и плащом, закинутым через плечо. Ему, как и Петру Васильевичу, было лет тридцать с лишним, но он был гораздо выше и молодцеватее. Под пиджаком он имел рубаху — «дикарку», на голове прогрессирующая плешь изящно прикрывалась темными волосами, зачесанными со лба назад, щеки гладко выбриты, штиблеты совсем еще не старые и хорошо вычищены. «Вот, наконец и попутчик! Да, кажется, интересный». Петр Васильевич улыбнулся и сделал шаг навстречу. Незнакомец поставил чемодан, бросил на полку плащ и, подавая руку, улыбнулся тоже.

— Добрый день! Скороходов.

— Голубев.

— Очень приятно,— сказал Скороходов, усаживаясь у окна.— Через три часа мы будем в Н-ске. Вам туда же?

— Да,— ответил Петр Васильевич, подсаживаясь к долгожданному собеседнику,— еду к жене.

— К своей? — весело спросил Скороходов.

— К... своей. А почему вы спрашиваете? — забеспокоился Голубев. Скороходов ударил по самой дребезжащей струне его души.— Разве похоже, что я могу ехать к чужой жене?

— Нет, что вы! — отвечал Скороходов, снимая пиджак.— Это я, видимо, пошутил. К чужой, к своей — это все равно. К чужой приятнее. Давайте лучше закусим.

Он полез в свой чемодан и достал оттуда ветчину, хлеб и бутылку вина.

— Еще древние философы говорили, что человек живет для того, чтобы пить и закусывать,— говорил Скороходов, разливая вино.— Эта блестящая мысль не потеряла своей актуальности и по сей день. Выпьем! «Снова я пьян — снова я счастлив!» — говорил мой знакомый поэт.

«По-моему, он интеллигентнее меня,— подумал Петр Васильевич с уважением. Он повеселел, но мысль о совершенной им измене никак не улетучивалась из головы.— Интересно, как относится к этому, например, этот вот человек?» — думал Голубев во время разговора о ценах на вино и железнодорожные билеты.

Попутчики допили бутылку, закусили, закурили, и Петр Васильевич, пустив перед своим лицом большой клуб дыма, вдруг спросил:

— Скажите... Вы никогда не изменяли своей жене?

Скороходов поднял брови, остановил руку с папиросой в воздухе и, с недоумением всматриваясь Голубеву в глаза, проговорил:

— Что?

— Вы никогда не изменяли своей жене? — нервно повторил Петр Васильевич.

Тогда Скороходов расслабленно махнул рукой, откинулся к стенке и вдруг рассмеялся громко и раскатисто, заглушая стук колес.

— Что это... ха-ха-ха... что это вам взбрело? — едва смог спросить он между приступами смеха. Скороходов, что называется, «ржал» и «ржал» так, что Петр Васильевич, глядя на него и не понимая себя, засмеялся тоже, сначала глухо и отрывисто, потом громче и смелее. Ему вдруг стало совсем весело.

— Вот уморили! — проговорил Скороходов, наконец унимаясь и вытирая лицо платком,— ...своей жене! Ха-ха! Вы ужасный фантаст.

— Да я пошутил,— соврал Голубев.

— Вы, наверное, открываете музей нравственности, и вам некого экспонировать,— продолжал Скороходов.— Я вам сочувствую, но ничем помочь не могу. Я умею выдавать себя за верного мужа только своей жене. Вы все равно мне не поверите.

— А жена вам верит? — спросил Петр Васильевич.

— Конечно. Это одна из ее супружеских обязанностей.

— Но...

— Никаких «но». «Любовь не вздохи на скамейке». В любви, как и везде, надо уметь пользоваться правами и уклоняться от обязанностей.

«А ведь он гораздо интеллигентнее меня»,— снова подумал Петр Васильевич.

— Жениться приходится только для того, чтобы иметь законных детей,— говорил Скороходов,— женщине трудно сохранять верность, мужчине — смешно...

И Скороходов небрежно и цинично стал говорить о женщинах, излагая при этом взгляды отпетого алиментщика. Развеселившийся Петр Васильевич вторил, поддакивая, рассказал неприличный анекдот и между прочим с насмешкой и пренебрежением произнес:

— А ведь некоторые остаются все же верными мужьями.

— Фантасты, мой друг, фантасты,— отвечал Скороходов, поднимаясь и надевая пиджак.

Уже стемнело, за окном запрыгали огни приближающегося города. Скороходов, опираясь руками о столик, наклонился к окну и сказал:

— В этом городе около полумиллиона жителей, прикиньте-ка, сколько из них одиноких и временно одиноких женщин. Всем им хочется быть любимыми, все они жаждут ласки. Любите же их! И не любите долго одну и ту же, а то она подаст на вас в суд за невнимание к ее слабостям.

В окно ворвались большие и яркие огни вокзала, и поезд остановился. Шумел, радовался, грустил и сентиментальничал перрон — место ничего не значащих, безнаказанных поцелуев. Голубев и Скороходов выбрались на привокзальную площадь.

— Ну, я спешу,— сказал Скороходов, подавая руку.— Где-нибудь встретимся.

Голубев долго и с признательностью тряс его руку. Потом Скороходов отошел в сторону — ловить такси.



Петр Васильевич выкурил папиросу, сел в автобус и уже через пятнадцать минут подъезжал к дому.

В голове у него плавали легкие и беззаботные мысли. «Подумаешь, изменил! Скороходов поумнее меня, а смотрит на эти вещи просто. Так было, так будет. Не я так устраивал, не мне переделывать».

В игривом расположении духа, насвистывая, Голубев вошел в свою квартиру.

В прихожей он увидел Скороходова, снимающего на его вешалке свой пиджак.

Мгновения оцепенения, в котором находился первое время Петр Васильевич, Скороходову было вполне достаточно. Он с артистической ловкостью оделся, взял свой чемодан и, пробормотав почему-то «извините», выскользнул в дверь.

*А. Санин*

## СТРАСТИ

Ты знаешь, что такое летаргический сон? Вот рассказывали. Заснул этим летаргическим сном знакомый там один. Ну, умер и все: уши холодные, пульс не работает. Лежит в гробу, все слышит, понимает, а ни закричать, ни руками замахать, и глаза ему закрыли. Палец у него на ноге один только двигался, ну и он этим пальцем шевелил, заметили. Потеха...— говорил молодой человек, пытаясь взять свою собеседницу под руку.

Его собеседница, девушка лет восемнадцати, хорошенькая, очень живая и подвижная настолько, насколько позволял быть подвижной не совсем свободный покрой ее одежды, неопределенно улыбалась и позволила наконец взять себя под руку.

Они медленно прогуливались по шумной набережной.

— Какой вечер! А ты хотела сидеть дома. Дома сейчас с тоски можно сдохнуть.

Он не обманывал: вечер был действительно хорош. Закат совсем уже созрел, налился киноварью, и освещенная им улица вся выглядела нарядно, потому что окна красивых и некрасивых домов пылали одинаковым пожаром. По улице разгуливали искатели чудных вечеров; по реке в лодках, добытых терпением или хитростью, плавали мужественные или лукавые люди. Казалось, многим было весело, потому что было слышно много смеха и громких разговоров.

Молодой человек закурил, оживился и продолжал:

— Нет, честное слово, мне стало жаль этого вечера, я бросил все и к тебе, Ниночка... Дело даже не в вечере. Дело в том, Ниночка, что я хочу сказать тебе... то есть, мне нечего тебе сказать — ты все и так знаешь... Я хотел спросить тебя... Сядем здесь, Ниночка.

Молодые люди зашли в скверик и сели на скамью. Они взглянули друг на друга, молодой человек — растерянно, Ниночка — неопределенно. Она знала уже, о чем он будет говорить, и готовила ответы на вопросы, которые он должен задавать.

— Ниночка,— начал он,— мы знакомы уже три месяца, встречаемся почти каждый день, и ты заметила, конечно, что... что я люблю тебя.

Ниночка сделала вид, что удивилась, чуть подумала и сделала вид, что обрадовалась, будто бы сразу скрыла эту радость и опустила глаза.

— Люблю,— неестественным голосом повторил молодой человек, воровато оглянулся и продолжал,— с первого вечера, с первого часа...

Он счел нужным подвинуться к ней ближе, но она сочла нужным сделать обратное.

— Прошло три месяца,— не унимался он,— и я хочу знать: любишь ли ты меня.

Ниночка, внимательно наблюдая за носком своего ботинка, которым она с самого начала водила по песку, долго сидела молча, и наконец ее губы прошептали незаменимое «не знаю».

— Как не знаешь? — вспылил молодой человек.— Ты знаешь! Скажи откровенно «нет», и я уйду.

Ниночка все это предвидела, но теперь все-таки растерялась и не знала, что делать. Он сам подал ей мысль. «Уйду»,— решила она, но вслух сказала:

— Что ты! Я... Я не знаю.

— Значит, «нет»?

Она встала и быстро пошла из сквера.

— Не ходи за мной,— сказала она кокетливо.

— Но я должен знать!

— Я скажу после.

— Когда?

— Завтра.

...Назавтра она вышла замуж за другого, которого наш молодой человек знал, но не думал, что этот другой собирается жениться.

*А. Санин*

*Публикация и текстологическая подготовка*
*О. М. Вампиловой*

*Геннадий Николаев*

## ТРЕВОГА АЛЕКСАНДРА ВАМПИЛОВА

О судьбе Александра Вампилова невозможно говорить спокойно. Погиб на самом взлете, в разгар интереснейшей работы, на пороге заслуженной славы...

Одни говорят — рок, судьба. Другие сетуют на слишком холодную воду в Байкале, виня во всем только ее одну. Третьи, то тут, то там вещающие с разных трибун о некоем «заговоре», о «механизме уничтожения российских талантов», считают, что «Вампилов... погиб, как разведчик в бою. В том поиске, сражении, в котором погибали писатель Шукшин, поэт Рубцов, художники Васильев и Попков, критик Селезнев... Вампилов погиб в самом начале 3-й мировой войны, которую мы продолжаем вести и сегодня!»

Эти, последние, театроведы и прочие «радетели» за российские таланты, пытаются использовать имя Вампилова в угоду своим черным «концепциям», чиня произвол над личностью драматурга, игнорируя реальности его жизни, его пристрастия, взгляды, идеалы.

Вампилов погиб 17 августа 1972 года, за два дня до своего 35-летия. Моторная лодка, на которой он плыл вместе с приятелем, натолкнулась на топляк и перевернулась. Оба оказались в воде. «Казанка» с полузатопленным носовым отсеком могла удержать только одного. На приятеле были болотные сапоги, на Вампилове — тяжелые туристские ботинки, теплая куртка, но он оставил лодку приятелю, поплыл к берегу. Он хорошо плавал и те пятьдесят или чуть больше метров, конечно, одолел бы, но не выдержало сердце — у самого берега.

В тридцать пять не выдержало сердце...

Увы, это закон, подмеченный давным-давно,— в первую очередь не выдерживает сердце у талантливых. А тут трагически сошлись самые разные обстоятельства.

Жестокий шторм накануне — вынес наверх нижние холодные слои.

Сыграла свою злую роль и наша вопиющая бесхозяйственность, так называемый молевой сплав леса по Байкалу. Частые штормы разбивают связки бревен. Озеро буквально кишит опасными топляками. От них страдало и страдает множество людей, не говоря уж о том вреде, который наносит озеру гниющая древесина.

Наконец, наше потребительское, а точнее — равнодушное отношение к таланту. «Простой» человек платит за равнодушие общества к себе равнодушием к обществу, талант — ранней гибелью. Почему так — понятно. Талант всегда нов, всегда не похож на все, что было до него. Таланту нужна свобода самовыражения, он должен проявить свою самобытность. Его нельзя вгонять в какие-либо рамки, давить на него, запрещать. Талант хрупок. А у нас долгие годы царили административные методы руководства искусством. И соответствующие догмы: обязательный «положительный» герой, арифметический перевес «положительных» над «отрицательными», пресловутый оптимистический финал. Чуть вышел за рамки — придирки, запреты, предание анафеме. Не всякий талант мог выстоять.

Отношение к человеку как к средству, с помощью которого можно построить завод, атомную электростанцию, дамбу, выполнить план, сочинить победный марш, лихую песню, отразить героические будни, распространялось и на писателей. Разумеется, многие с готовностью откликались на официальные заказы и находили в этом немалую радость,



но каково было тем, чье призвание — не победные марши, не лихие песни и не воспевание героических будней? Вспомним судьбу Булгакова, Цветаевой, Мандельштама, Ахматовой, Платонова, Зощенко...

В своих воспоминаниях О. Н. Ефремов пишет: «Пьесы Вампилова в 60-е годы в „Современнике“ у многих не вызвали интереса. Играли Розова, Володина, мечтали уже о „Гамлете“, а „завтрашнего“ драматурга — проесмотрели. Специально это отмечаю, потому что очень распространено мнение, что пьесам Вампилова мешали только некоторые не в меру ретивные чиновники. К сожалению, мешали и стереотипно устроенные наши собственные мозги, наше, художников театра, сознание того, что все истины уже известны».

Можно понять самокричное и благородное признание Олега Николаевича, но вряд ли можно согласиться с ним в его как бы невольном занижении роли «некоторых не в меру ретивых чиновников». Увы, не в меру ретивые внесли свою весомую лепту в трагический исход судьбы Вампилова. Об этом свидетельствует переписка драматурга с Е. Л. Якушкиной, опубликованная на страницах «Нового мира». Об этом же свидетельствует и борьба, которая велась вокруг его пьес в Иркутске.

Помню, как в Иркутске после публикации теперь известной всему миру «Утиной охоты» против автора была развернута целая кампания. Его ругали за то, что выведен не тот герой, показана не та молодежь, взяты не те проблемы — дескать, сплошное очернительство! Произошла типичнейшая для некоторых критиков и людей, управляющих культурой, подмена: в социальной беде, которую отобразил автор, то есть в аполитичности, апатии, безыдейности героя стали винить самого автора!

Но еще более драматически сложилась судьба пьесы «Прошлым летом в Чулимске». В конце 1971 года она была принята редколлегией и поставлена во второй номер альманаха «Сибирь», который издается с периодичностью один раз в два месяца. В начале апреля 1972 года верстка номера с пьесой Вампилова была передана в Обллит. 17 апреля начальник Обллита Козыдло Н. Г. направил пьесу в ОК КПСС, сопроводив ее письмом, в котором указывал на «идейную ущербность содержания» и невозможность по этой причине разрешения ее к печати. Пьесу прочитали работники отдела культуры обкома и даже секретарь по идеологии Антипин Е. Н.

Вскоре меня как редактора альманаха пригласили в обком. Когда я вошел в кабинет Антипина, за длинным столом совещаний уже сидело несколько человек: работники аппарата и директор Восточно-Сибирского книжного издательства, при котором и существовал наш альманах. Антипин высказал мнение, что пьеса не является идейно ущербной, но слаба по художественному уровню. Его единодушно поддержали. Я же настаивал на мнении редколлегии и на своем собственном, пытался убедить их, что пьеса талантлива, сделана в чеховской традиции, гуманна, оптимистична. Я считал, что опубликовать ее просто необходимо. Искренность моя, видимо, подействовала: Антипин позволил еще раз обсудить пьесу в Союзе писателей с привлечением всех членов редколлегии, в том числе и из Читы (альманах является органом двух писательских организаций: Иркутской и Читинской). Такое обсуждение состоялось 28 июня 1972 года.

Вот некоторые выдержки из стенограммы, представляющие наибольший интерес:

К о з ы д л о Н. Г. Все действие происходит в чайной, герои пьют, ругаются. Это все как-то мрачно. Позвонил Чуркину (директор Восточно-Сибирского книжного издательства.— *Г. Н.*) — обещал подойти. Время идет — его нет. Позвонил Николаеву — нет дома. Снова, в четвертый раз, позвонил Чуркину, снова обещал подойти. А мне надо уезжать на коллегию в Москву. Поэтому мною лично верстка пьесы была отправлена в обком партии, в соответствии с установленным порядком. Но, повторяю, упреков в антисоветчине или аполитичности автору пьесы я не делал...

М а р к  С е р г е е в (член редколлегии, ответственный секретарь Иркутской писательской организации). Думаю, что причина задержки пьесы заключается не в самой пьесе, а во внешних факторах. Я имею в виду ту официальную реакцию на публикацию сатирической комедии В. Ф. Тендрякова «Молилась ли ты на ночь, Дездемона?» в шестом номере альманаха «Сибирь» за 1971 год. Этот номер вышел в свет с запозданием по независящим от редколлегии причинам, выход его совпал с решением ЦК КПСС по лесной промышленности. Случайное совпадение, а вовсе не целевая публикация, как было замечено с упреком из Москвы. Отсюда и настороженность к пьесе Вампилова... Вампилов по складу своего дарования комедиограф, ему всегда будет трудно... Я думаю, что пьеса достойна публикации.

В а л е н т и н  Р а с п у т и н (член редколлегии). Когда речь идет о военных и государственных тайнах, тут все ясно. Но когда речь идет о произведениях искусства, расплывчатость мотивировок недопустима. Еще важнее не допускать навешивания ярлыков. А что получается: вы, начальник Обллита, задерживаете произведение, посылаете его в обком, там, естественно, возникает сомнение: раз цензура заподозрила что-то неладное, значит, действительно что-то не так. И начинают смотреть не по-нормальному, а по-всякому: и кверх ногами, и снизу вверх, и вдоль. И появляется на авторе ярлык: это не простой автор, а автор, чьи произведения снимает цензура. Значит, это не совсем хороший

человек, с ним надо поосторожней. Чем может кончиться такая практика, мы все прекрасно знаем... Жизнь широка, многообразна, почему хотят заставить нас писать одну ее сторону — розовую? Если товарищи, которые делают такие замечания по пьесе Вампилова, называя ее ущербной, обладают правами запрещения, то пусть они сами тогда выпускают альманах — уж они-то не ошибутся. Я считаю, что пьесу... надо печатать... Если и дальше будет повторяться такая практика, то я не считаю возможным участвовать в редколлегии.

Дмитрий Сергеев (член редколлегии). Пьеса кажется мне добротной, светлой, с верной авторской позицией. Нельзя читать произведение с заведомой настороженностью и недоброжелательностью...

Вячеслав Шугаев (член бюро писательской организации). О пьесе: на мой взгляд, в ней есть излишняя графичность, излишняя настойчивость в повторении эпизодов с калиткой. Она кажется мне *художественно-сырой*, над ней еще надо работать. Но о политической или идейной ущербности не может быть и речи...

Несмотря на решение редколлегии опубликовать пьесу в шестом номере 1972 года (в более ранние номера она уже не попадала по чисто техническим причинам, так как каждый номер сдавался в типографию почти за четыре месяца), начальник Облдита категорически отказался давать разрешение, называя пьесу «художественно-сырой» и ссылаясь на оценку, данную секретарем обкома Е. Антипиным и писателем В. Шугаевым. Тогда я подал заявление об освобождении меня от обязанностей редактора.

В начале июля 1972 года мы снова пошли в обком. Марка Сергеева и меня принял секретарь обкома Антипин Е. Н. Разговор пошел о только что прошедшей расширенной редколлегии, о принятом на ней решении печатать пьесу и упорном нежелании начальника Облдита пропустить ее в печать. М. Сергеев показал секретарю обкома мое заявление — Евстафий Никитич прочел, усмехнулся, сказал, что мы, дескать, оказываем на него давление. Но на прощанье пообещал содействие.

Однако вплоть до августовских трагических дней разрешение на публикацию пьесы не выдавалось. Вскоре после похорон Вампилова мы с М. Сергеевым снова пошли к Антипину. Выразив нам свое сочувствие как товарищам и коллегам Александра Вампилова, Евстафий Никитич сообщил, что договоренность о разрешении пьесы достигнута (после смерти автора!).

Шестой номер альманаха стал мемориальным — кроме пьесы Вампилова «Прошлым летом в Чулимске» в нем были напечатаны его фотография, стихи, посвященные его памяти, статья о его творчестве.

Вампилов, конечно же, знал об этой борьбе, следил за ней, волновался. Снятие пьесы сильно огорчило его. Да это и понятно: в родном Иркутске, где хотя и ругали, но все-таки печатали, вдруг получить удар в спину, коварный удар...

За месяц до его гибели мы втроем — Вампилов, Г. Пакулов и я — на той самой злополучной лодке плавали по Байкалу. С 12 по 22 июля, десять дней и ночей, вдоль западного побережья, от Листвянки до острова Ольхон и обратно. 700 километров по воде! Несколько раз натыкались на топляки, но чудом удерживались на плаву. Я видел, до какой степени работа и неприятности с пьесой измотали Вампилова. Он старался не подавать виду, но колоссальное внутреннее напряжение проявлялось в его каком-то нервном стремлении мчаться все вперед и вперед, не обращая внимания на погоду — шторм ли, дождь ли,— и на время суток — день ли, ночь ли. Этой лихорадочной гонкой он, казалось, пытался снять напряжение, сбить усталость, развеять все то тягостное, что носил в себе последнее время. Что-то гнетущее чудилось в его торопливости, в сосредоточенности на какой-то мысли. Он плохо спал, был вспыльчив, хотя прежде отличался завидной выдержкой.

Поездку эту я описал в своих воспоминаниях («Звезда», 1980, № 6), но сегодня хочется напомнить конструкторам умозрительных и отнюдь не безобидных «механизмов уничтожения российских талантов» один эпизод из этой поездки.

«В ту ночь мы говорили о звездах, вернее, говорили обо всем на свете, но разговор наш освещался звездами, и мы невольно то и дело возвращались к ним как к исходной первооснове всего бытия. Он снова вспомнил про коллапс. Я стал рассказывать ... все, что сам знал из популярной литературы. Вампилов эти вещи глубоко чувствовал, ибо сказал примерно следующее: есть медицинский коллапс, есть астрономический, но, видимо, есть и коллапс человеческой души — это когда вдруг, вроде бы ни с того ни с сего, человек превращается в подонка, в зверя. Мы заговорили о Раскольникове как литературном примере духовного коллапса. Вспомнили и Карамазовых. Потом дошла очередь и до Зилова. Вампилов признал, что с точки зрения «гипотезы» коллапса он не довел своего Зилова до кризиса, а лишь проследил подход Зилова к нему... Нам было очевидно, что коллапс единичной души тоже очень страшен — тем, что может вызвать цепную реакцию, как это



случилось, скажем, в Германии в годы фашизма... Мысль его упорно пробивалась к этой главной болевой точке современности...»

Болевой точке 70-х и тем более — 90-х!

Главная тревога Вампилова в главной его пьесе «Утиная охота» заключена, на мой взгляд, в том, что Зилов как типичное явление времени пуст, живет без Идеи, без высокого смысла, как насекомое. Рядом с «пустым» Зиловым Вампилов прозорливо разглядел зловещую фигуру официанта с его механической готовностью быть палачом. Этой весьма символичной паре 70-х годов не хватало идеолога. Душа Зилова образца 90-х так же пуста и открыта для заполнения, как и душа Зилова образца 70-х. Но сегодня объявились «идеологи» — не идеями ли «спасения» России от «жидо-масонских заговорщиков» уже наполнена душа Зилова 90-х? Официант Дима и «наполненный» Зилов — подходящие кадры для экстремистов «Памяти»...

Критики, занимающиеся творчеством Вампилова, как мне кажется, не учитывают или не хотят учитывать главного — того, что Вампилов был человеком высокого общественного Идеала.

Вглядываясь в прошлое, отчетливо понимаю наше состояние тех лет. Да, конечно, после XX и XXII съездов партии мы были в смятении от приоткрывшихся масштабов сталинского, партийного произвола. Расхождение между Идеалом и действительностью переживалось каждым по-разному, но каждый в той или иной форме пытался говорить об этой своей тревоге. Вампилов нашел Зилова — человека, утратившего общественный Идеал и давшего цинизму почти полностью завладеть душой. Вампилов потому-то и заметил, изобразил с такой тревожной силой «пустого» Зилова, забил тревогу, что сам носил этот Идеал в своем сердце. Сохранил!

Да, сохранил, потому что судьба досталась ему трудная изначально, вместе с эпохой. 1937 год — год его рождения — стал годом утраты отца в период репрессий. Потом — война: проверяла осиротевшую многодетную семью Вампиловых на нравственную и физическую стойкость. Анастасия Прокопьевна Копылова-Вампилова вырастила и воспитала троих добрых умных детей: Галину (она — педагог), Михаила (он — геолог) и Александра. И это в Сибири, в тех самых местах, где отбывали бессрочную сибирскую ссылку декабристы, а вслед за ними — следующие поколения мятежников. Сибирь напитала его духом Правды, Протеста, Сопротивления, призвала в Литературу, сделала Гражданином.

Сын бурята и русской, интеллигент в третьем поколении (из учительского куста), он был противником любого национализма. Он был интернационалистом — и по рождению, и по воспитанию, и по убеждениям. Его интернационализм проявлялся и в отношениях с людьми, и в выборе друзей, и в творчестве. И как бы ни пытались некоторые театроведы, публично проповедующие «3-ю мировую войну» (какую? националистическую?) у нас в стране, выстраивать ушедших из жизни российских художников в мрачные колонны под свои сомнительные знамена, ничего у них не получается — ни Вампилов, ни Рубцов, ни Шукшин никак не объединяются в «разведроту». У каждого своя судьба, своя дорога и своя смерть. Их действительно объединяет, но уже отъединенное от них самих, служение людям во второй их жизни — через искусство, которым они одарили мир. Объединяет как художников-гуманистов, вошедших в национальную и общечеловеческую культуру каждый со своей болью, со своей страстью, со своим талантом. И со своей тревогой.

### *Евгений Голлербах*

# APPASSIONATO

### *Ленин как читатель Гумилева*

«APPASSIONATO *(итал.)* — в музыке значит страстно, живо».

Новый энциклопедический словарь
Брокгауза и Ефрона, 1912 год

Из множества легенд, окружающих и, возможно, создающих для нас образ Николая Гумилева, особенно интересна такая. Августовской ночью двадцать первого года нарком Луначарский, извещенный о вынесенном поэту смертном приговоре, позвонил Ленину — с просьбой о помиловании. Ответом ему было молчание вождя. После продолжительной паузы вершитель судеб произнес: «Мы не можем целовать руку, поднятую против нас»,— и повесил трубку [1].

Эта легенда, как и множество ей подобных, подозрительно красива,— но отличается от прочих тем, что она еще и правдоподобна, ибо исходит из авторитетного источника. Когда размышляешь над этим свидетельством, возникает несколько вопросов — и есть среди них такой: чем объяснить замешательство вождя?

Вопрос не праздный: особое значение темы «поэт и царь» в русской культурной традиции заставляет нас задавать его и настойчиво искать на него ответ. Попробуем же реконструировать старый механизм и внимательно разобраться в мотивах, определявших поступки людей, чьи дела и судьбы небезразличны нам сегодня.

## 1

Это были разные люди.

Истово верующий христианин Гумилев — и воинствующий безбожник Ульянов [2]. Хилый ребенок, бредивший наяву и «словом останавливавший дождь»,— и крепыш-волгарь, оптимист и конкретист, подлинное воплощение жизненной сметки. Тихий двоечник Гумилев — и круглый отличник Ульянов. Убежденный монархист-консерватор — и страстный социал-реформатор. Мрачный поэт — и смешливый Ильич. Патриот, ради защиты Отечества сумевший превозмочь даже свое природное косоглазие,— и отнюдь не идеологический диверсант, заброшенный на родные просторы враждебной державой. Равнодушный к мелосу Гумилев — и музыкальный Ленин, содрогавшийся от звуков «Аппассионаты». Утонченный модернист, литератор-европеист Гумилев — и Ленин, горячий поклонник Серафимовича, Бедного, Чернышевского. Абсолютно разные человеческие индивидуальности — кажется, в них различно все: характеры, взгляды, способности, предпочтения...

И в этих различиях не было бы ровным счетом ничего замечательного — мало ли на свете разных людей,— если бы первый не был крупнейшим поэтом России, а второй — ее диктатором.

Поэт и царь. В нашем случае им было б лучше не встречаться.

---

Евгений Александрович Голлербах (род. в 1963 г.) — филолог. Печатался в «Искусстве Ленинграда», «Русской литературе», «Звезде». Живет в Ленинграде.



Они и не встретились. В фундаментальной многотомной «Биографической хронике» Ленина имя Гумилева не названо ни разу. Нет сведений о личном знакомстве вождя с поэтом ни в одном из известных воспоминаний современников. Даже в опубликованных трудах Ленина — по свидетельству Крупской, точнейшем отражении жизненных и литературных впечатлений Ильича.— нет ни одного упоминания о Гумилеве. Тогда, может быть, странное молчание Ленина в ночном разговоре с Луначарским этим и объясняется — он просто не знал названного ему имени?

## 2

В кремлевской библиотеке Ленина — обширном книжном собрании, включающем 8450 единиц хранения,— собрании, по которому можно с большой точностью реконструировать круг чтения вождя в последние годы его жизни,— есть несколько работ Гумилева. И можно считать, что это именно тот максимум текстов, по которым Ленин имел возможность получить свое собственное представление о личности и даровании Гумилева. Что же это за тексты?

Во-первых, гржебинский, двадцать первого года, том «Избранных сочинений» А. К. Толстого — книга, вышедшая под редакцией, со вступительной статьей и примечаниями Гумилева [3]. Ленин ценил Толстого, неоднократно перечитывал его и поэтому постоянно держал книжку под рукой — в кабинете, среди любимых книг.

Если даже предположить, что Ленин, читая Толстого, обратил внимание на фамилию редактора,— это, конечно, не повод говорить о знакомстве Ленина с творчеством поэта, потому что тексты Гумилева в данном издании имеют сугубо справочный характер: «Вступление» представляет собой во всех отношениях нейтральную краткую справку о жизни писателя, а комментарии — минимальный набор необходимых для малосведущего в исторических вопросах читателя сведений. По этой работе Гумилева невозможно составить впечатление о его творческих и идеологических принципах.

Значительно больше дает читателю знакомство с двумя другими книгами, имеющими непосредственное отношение к имени Гумилева,— «Избранные стихи» Теофиля Готье, с блистательной и принципиально важной статьей Гумилева [4], и, особенно, гумилевские «Письма о русской поэзии», также включившие в себя названную статью о Готье [5]. Но обе эти публикации — посмертные, вышедшие в свет в 1923 году, то есть много времени спустя после кровавой развязки, и, естественно, Ленин к 1921 году не мог читать упомянутые тексты, кроме как по их первоначальным публикациям в модернистской периодике, за которой он никогда не следил.

Есть основания полагать, что две последние книги не были прочитаны и в 1923 году. Весной, и особенно в декабре 1922 года, состояние здоровья лидера сильно ухудшилось, и весь оставшийся год его жизни являл собой затянувшуюся агонию.

Правда, согласно утверждению официальных биографов Ленина, он все равно продолжал следить за новинками текущей литературы. Известно, однако, что в этот период ленинская «способность к чтению 〈...〉 была минимальна» [6]. Едва ли больной использовал ее на знакомство с Гумилевым.

Обе посмертные книги писателя, согласно сведениям Книжной палаты, вышли в свет почти одновременно — в конце января и начале февраля 1923 года. Это время приходится как раз на период относительного улучшения состояния больного, что несколько повышает вероятность запоздалого знакомства Ильича с творчеством расстрелянного писателя. Но не намного.

Во-первых, по утверждению авторитетных специалистов, углубленно занимавшихся изучением ленинского чтения, «Ленин-читатель — почти всегда с карандашом в руках» [7]. Эту привычку и (частичную) способность он сохранял также и в последний период жизни. Потому его пометки обнаруживаются на всем, к чему он как читатель имел какое-либо отношение. Но несмотря на продолжительное и интенсивное изучение исследователями вопроса о ленинских маргиналиях, никаких пометок на двух гумилевских книгах не обнаружено.

Во-вторых, как свидетельствует «Биографическая хроника», круг литературных предпочтений Ленина и в последний период его сознательной жизни существенно не изменился: литературная критика вообще, а литературная критика писателей-модернистов в особенности, в этот круг никогда не входила [8].

И в-третьих, в краткий период относительного улучшения своего состояния Ленин был занят значительно более важными для него вещами: с помощью стенографистки он реорганизовывал Рабкрин, и эта работа требовала от больного большой сосредоточенности именно на проблеме Рабкрина, и ни на чем другом,— Гумилев же на эту тему не успел, как известно, написать ничего.

Таким образом, малопоказательная работа Гумилева об А. К. Толстом осталась, по-видимому, единственным его текстом, известным вождю вообще и к августу 1921 года в частности, когда ему предстояло решить судьбу поэта.

## 3

Не обязательно, однако, читать книги писателя для того, чтобы иметь общее представление о его творчестве, ибо существуют литературные репутации — так сказать, народные образы писателей,— которые нередко заменяют читателям знакомство с текстами определенных авторов.

Но сколь многообразно общество, столь же многообразны могут быть в различных его стратах литературные репутации. И если для просвещенной публики обеих столиц Гумилев являлся фигурой первой величины (это позволило, например, Г. Иванову говорить о Гумилеве как об «одной из центральных и определеннейших фигур современной русской поэзии», о «прочном авторитете» его имени «у широкого круга читателей» [9]), то коммунистическая верхушка пролетарского государства вполне могла придерживаться иного мнения.

Каким же оно должно было быть у Ленина?

Первым и, не исключено, основным источником его представлений о Гумилеве была литература по теме, а именно — те печатные критические отзывы о творчестве поэта, которые были известны или наиболее доступны Ленину.

К числу таких относится книга «Новейшая русская литература» В. Львова-Рогачевского (М., 1919), хранящаяся в кремлевской библиотеке вождя [10]. Львов-Рогачевский, хотя нередко и отклонялся в своем творчестве от генеральной линии партии большевиков, являлся все же, по-видимому, тем автором, которому Ленин был склонен доверять в вопросах литературы как старому социал-демократу и литератору-марксисту одного с ним призыва.

В названной книге высказывается сдержанно-отрицательная оценка творчества всех «маков и орхидей новой поэзии», заботливо выращиваемых господами Рябушинским и Поляковым — в том числе и Гумилева [11]. Характеризуя акмеистическое направление, Львов-Рогачевский определяет его в целом как явление малозначительное, но обладающее при этом многими отрицательными чертами: анемичностью, натуралистичностью, заметной непоследовательностью, неактуальностью, отстраненностью от важных проблем текущего дня, безыдейностью и т. п. «Новый Адам пришел в этот мир в XX столетии, когда вокруг кипит борьба, когда поднимаются новые волны праведного гнева, пришел,— и... нечего ему сказать»,— уличает критик приверженцев новой школы. Годовые грехи направления, считает Львов-Рогачевский, отразились и в стихах Гумилева («холодны и мертвы „Жемчуга" Н. Гумилева, неприветливо его „Чужое небо"» [12]). Резюмируя свою критику акмеизма, Львов-Рогачевский заключает: «Наследники символистов оказались позади своих отцов и не сумели учесть их поучительный опыт» [13].

При этом автор весьма сдержанно оценивает роль Гумилева в анализируемом поэтическом направлении: значительно более крупной фигурой ему представляется С. Городецкий, на цитатах из которого и строится старым демократом весь очерк о группе акмеистов.

Таким образом, читатель, полагающийся на экспертные оценки Львова-Рогачевского, должен был бы определить для себя Гумилева как второстепенного поэта второстепенной поэтической группировки — малочисленной, для литературы незначительной и очень кратковременной (по Рогачевскому, «быстро промелькнувшей группки» [14]).

Столь незначительное имя могло и не запечатлеться в памяти Ленина. Поэтому вероятно, что, желая навести справки о Гумилеве в 1921 году, он мог прибегнуть к справочной литературе, находившейся в его распоряжении. К таким изданиям Ленин всегда испытывал большое уважение и интерес. В. Бонч-Бруевич зафиксировал эту ленинскую привязанность («интерес Владимира Ильича ко всякого рода словарно-справочной литературе вообще был очень силен» [15]) и поделился конкретным воспоминанием, подтверждающим это: «В конце июня 1920 г. в кабинет председателя Совнаркома был доставлен „Новый энциклопедический словарь" Брокгауза и Ефрона, который Владимир Ильич нередко рассматривал, прочитывал и подробно знакомился со статьями, всегда выражая надежду, что наступит время, когда нам удастся выпустить такую же прекрасную энциклопедию, но написанную с марксистской точки зрения» [16]. Названное мемуаристом издание постоянно находилось в ленинском кабинете и служило вождю основным справочным пособием по разным вопросам, лежащим за пределами его компетенции.

В «Новом энциклопедическом словаре», как и в «Энциклопедическом словаре Русского библиографического института Гранат» (также имевшемся у Ленина) нет специальной статьи, посвященной Гумилеву (и это могло подтвердить для Ленина вывод о незначительности поэта, сделанный Львовым-Рогачевским). Но есть в этих изданиях другие статьи, посвященные современной литературе и написанные хотя и не с марксистских еще, но со специфических традиционалистских позиций,— такие, как, например, «Декадентство» [17]. Чтение этих статей никак не помогло бы Ленину понять гумилевские принципы, а, наоборот, должно было еще раз убедить его в правильности собственных.

В любимом словаре Ленина нет и статьи об акмеизме, но есть другая, на которую, без сомнения, мог обратить внимание Ильич, рыщущий по книжным страницам в поисках



сведений об арестованном литераторе: «*Акме* — период расцвета организма или группы животных; период наивысшего развития болезни и т. п.» [18].

Прочитав такое, Ильич должен был захлопнуть том и прекратить поиски.

## 4

Впрочем, оставалась у Ленина еще одна возможность осведомиться о Гумилеве: расспросить товарищей, проконсультироваться с теми из ближайшего окружения, кто пользовался доверием.

Что они ему ответили бы?

Известно, что революционеры из ленинской когорты, в большинстве своем, не были читателями и ценителями современной лирики [19]. Железный Юзик, Серго, Коба жили простой и суровой жизнью, оставлявшей слишком мало возможностей для изучения изящной словесности, и муза Эрато редко навещала их тесный кружок,— а когда она являлась им, они развлекали ее «Варшавянкой» и только, может быть, кто-то, из отчаянных, декламировал ей «Интернационал» А. Я. Коца.

Было, однако, в их компании несколько знатоков литературной современности. Прежде всего — интеллигентнейший нарком Луначарский, но к его мнению, как мы уже знаем, Ленин не стал прислушиваться. Из оставшихся вероятных советников вождя вспомним Троцкого и Бухарина, которые лучше других ориентировались в ситуации и, конечно, имели что сказать о Гумилеве.

Об отношении этих двух «литературных референтов» Ленина к Гумилеву мы можем судить по их выступлениям в печати на интересующую нас тему. Точка зрения Троцкого на «вне-октябрьскую литературу» и, в частности, на творчество авторов гумилевского круга (хотя и без упоминания имени метра) обстоятельно выражена в одной из его наиболее значительных статей этого периода, специально посвященных «литературному вопросу»,— «Вне-октябрьская литература» [20]. Подробно обозревая современную ему русскую литературную панораму, Троцкий делает выводы, совпадающие с мнением Львова-Рогачевского: на его взгляд, вся несоветская литература «сплошь эпигонственна, поражена бледной немочью». Художников из гумилевского «Цеха поэтов» он характеризует следующим образом: «⟨...⟩ они не творцы жизни, не участники в созидании ее чувств и настроений, а запоздалые пенкосниматели, эпигоны чужою кровью созданных культур. Они — образованные и даже изысканные имитаторы, начитанные, даже одаренные звукоподражатели — и не более того» [21]. Говоря о крови, Троцкий, однако, имеет в виду не расстрелянного за год до появления цитируемой публикации Гумилева. Покойный поэт в представлении наркома — типичный представитель презираемой им «вне-октябрьской литературы».

В другой своей статье этого времени, посвященной критике творчества А. Блока, Троцкий упоминает Гумилева — и лишь для того, чтобы сообщить: Блок «откровенно зевал над Гумилевым», а те из читателей, которые не могли понять такого отношения одного кумира к другому,— «благоговейные тупицы» [22]. Красноречивый фрагмент.

Совершенно ясно, что человек, столь сурово оценивающий родную словесность и откровенно выражающий при этом свои симпатии к «гвоздевому сапогу», давящему ее, не стал бы в приватном разговоре с единомышленником заступаться за арестованного и обвиненного в контрреволюции писателя.

Более либерален в оценке творчества Гумилева Бухарин: несколько лет спустя, выступая на первом съезде Союза советских писателей, он пространно цитировал строки из «Огненного столпа» [23] — что, безусловно, можно расценивать не только как демонстрацию его знакомства с текстами поэта, но и как изъявление определенной симпатии к ним. Однако стихи Гумилева Бухарин цитировал со значением — как талантливый образец идеологически чуждой советской литературе «буржуазной поэтики». И, таким образом, показал себя в этом вопросе верным ленинцем — догматиком, воспринимающим литературу через призму коммунистической идеологии.

Как бы то ни было, о бухаринском заступничестве в 1921 году за арестованного Гумилева история умалчивает, и даже если оно было — конечный итог сюжета нам известен: Ленин лично отдал приказ об убийстве писателя. Судьбы поэта и царя пересеклись, и царь уничтожил поэта.

## 5

Итак: Ленин не знал Гумилева. Ленин не ценил Гумилева. И Ленин уничтожил Гумилева. Уничтожил, как бдительный садовник уничтожает вредный злак в своем саду. Ленин уничтожил многих, и Гумилев был лишь одной из его жертв. Едва ли чем-то особенной: не знал Ленин, на что он поднимал руку.

Вопреки распространенному в советском лениноведении мнению, вождь не так уж «внимательно следил за развитием молодой советской литературы» [24] — не было ни вре-

мени, ни интереса, ни квалификации, ни способности. Ленин был человеком с весьма ограниченным кругозором и очень плохо разбирался в изящных искусствах. Не любил сумбура — не талант, не художественность, не точность и не своеобразие привлекали его в литературном произведении, а узко понимаемая «польза» и простота. Лучшим выражением пользы и простоты в советской поэзии, а потому любимым и просто *лучшим* для Ленина было творчество куплетиста Демьяна Бедного, и совершенно не переносил он «тарарабумбию» и «сверх-естественную чепуху» более серьезных авторов [25]. Из-за этого слишком многое в современной ему литературе он пропустил, многого не увидел.

И, быть может, главное, чего он не увидел,— поэзии Николая Гумилева, уникального и плодотворнейшего явления новейшей русской — теперь уже советской — литературы. Не сорняк был это, а росток нового дерева. И дерево это все равно выросло, когда не стало Ильича.

Весьма вероятно, что когда Гумилев начинал свой путь в литературе, конквистадоры для него были лишь разновидностью «канандера», загадочным символом иной жизни — и ничем больше. Естественная для подростка тоска о неземном, реализованная незаурядным талантом в стихотворные строки, проявилась в героике, экзотизме и несколько архаичной эмблематике первого сборника Гумилева. Но скрипичная мелодия мальчика поразительным образом совпала с грозной музыкой надвигающейся эпохи, и жизненный контекст актуализировал детские романтические мечты о заморском «канандере» [26]. Основными мотивами поэзии Гумилева стали мрачная героика, мощный пафос преобразующего освоения и покорения мира, презрение к простым человеческим переживаниям и чувствам — всему тому, что он сам определял как «неврастению»,— и отвергание их, а взамен — воспевание воинской доблести как высшего смысла человечьего бытия, насилия как красоты.

Не биологического человека, презираемого за «банальность» и «незначительность» его переживаний, повседневных мыслей и проблем, выбрал своим героем Гумилев, а обласканного и многократно запечатленного уже к тому времени во множестве книг Человека, матерого Человечища,— мифологическое существо, имеющее мало общего с кем бы то ни было из земных существ. Этот Человек покоряет мир, и природа, словно отвергнутая царица, в бессилии бьется у ног сурового победителя.

Не в созерцании и эмоциональном освоении мелочей повседневного бытия, а в порабощении и преодолении всего сущего заключен основной пафос гумилевского творчества. Не мир, но меч несет поэт, не покой, а бой радует его.

«Избранник свободы», Гумилев сам оказался не свободным от множества вещей — и в том числе от банального «ницшеанства», от всего комплекса связанных с ним идей, бывшего в начале века составляющей частью русского массового сознания (что, например, наглядно иллюстрирует творчество волжского босяка Максима Горького). Идеи сверхчеловека, сильной личности, преобразующей мир в соответствии с собственными представлениями о нем, находят адекватное выражение и в поэзии Гумилева. Неудивительно, что в сознании читателя-современника поэт запечатлелся как поэт-воин, пассионарий, высокомерно отвергающий сумятицу простого бытия.

Конечно, у Гумилева есть не только это. Но это — основное.

Ментальность, запечатленная в стихах Гумилева, очень сходна с революционным миросознанием — и это тот вывод, который парадоксальным образом подтверждает один из немногих литературоведческих постулатов Ленина. Художник, как бы он ни относился к современности, всегда отражает в своем творчестве состояние окружающего мира. Настоящий поэт, Гумилев сумел уловить главный смысл происходивших мировых изменений, опасное (но тем и притягательное для него) ужесточение ритмов наступавшей жизни, сумел сформулировать новые приоритеты человеческого сообщества и национальные приоритеты — и выразить все это в замечательной художественной форме.

Гумилев первым примерил солдатскую шинель, в которую потом облачилась вся наша литература, и сделал он это — не забудем — по собственной воле.

Стоит усомниться в позднем свидетельстве Ахматовой о «ненависти» Гумилева к своим блистательным «Капитанам» [27] — стихи эти, по праву считающиеся одной из вершин гумилевской поэзии, полноценно выражают основные мотивы всего остального творчества поэта и являются подлинной квинтэссенцией его индивидуальности. Капитаны и конквистадоры — настоящие герои Гумилева, и таковыми они навсегда остались для самого автора, для его читателей и последователей.

Быть может, сам Гумилев ужаснулся бы, узнав, кто́ стал его последователем и что́ стали провозглашать после его расстрела его ученики,— и тем не менее, неопровержимым фактом является то, что наиболее мощное развитие его линия получила именно в условиях советской диктатуры, а самыми пламенными адептами гумилевского творчества (при отказе от некоторых его идеологических ингредиентов) оказались комсомольские поэты [28]. Молодость училась у Гумилева, и в ее новой поэзии очень скоро уже было невозможно разобрать, где кончается военный марш и начинается «Марш энтузиастов».

Название марша не имеет значения для тех, кто марширует.



## 6

Комиссарам полюбился Гумилев. И все же утверждение, что поэт является своеобразным выразителем коммунистического миросознания, не вполне правомерно (хотя резоны для этого, как уже сказано выше, достаточно веские). В этом убеждает изучение такой мало известной проблемы, как «Гумилев и фашизм».

В СССР официальный взгляд на Гумилева как на фашистского писателя вполне определился уже к концу двадцатых годов [29] и был окончательно сформулирован Карлом Радеком в 1934 году: «Могут быть очень талантливые писатели, которые выразят в образах мечту фашистского головореза ⟨...⟩, и это, может быть, будет большим художественным произведением. Мы имели такого писателя в России — Гумилева» [30].

Это можно было бы принять за обычную пропагандистскую спекуляцию, если бы уже в это время имя Гумилева не стало использоваться нацистскими пропагандистами.

В немалой степени эта активность объясняется трагической смертью Гумилева от рук коммунистов. Но не только. «Как привлекательна фигура Гумилева! — восклицал один из авторов.— Как он мужествен и мудр! Среди почти повального демократически-социалистического безумия, господствовавшего в предреволюционном русском обществе, окруженный пустыми мечтателями, фанатиками лжи, болтунами, неврастениками, Гумилев смело ищет красоту жизни, восхищается грозным величием природы, размышляет о Боге, открыто показывает любовь к своему государю и к своей родине. Как верный паладин, он защищает русскую культуру от нападений со всех сторон, от злобных ударов писаревско-горьковского революционно-хулиганствующего нигилизма ⟨...⟩. Талантливый поэт был прежде всего неустрашимым бойцом. Формально — председатель Петроградского союза поэтов, он вел в действительности крупную подпольную антибольшевистскую работу» [31].

В этой характеристике, кажется, все верно, и все сполна подтверждается гумилевскими текстами. Поэтический образ Гумилева, старательно созданный самим поэтом, очень удачно вписался в мифологему гитлеровской пропаганды, и не просто вписался, но и, похоже, действительно соответствовал ей.

Другой автор писал: «Сейчас, когда все подлинно русские люди по ту и по эту сторону фронта с нетерпением ждут окончательной гибели ненавистного большевизма, когда подходит время решительной борьбы за Новую Россию, стихи Николая Гумилева звучат для нас с новой силой. Нам дорога мужественная поступь его зрелого стиха, смелое разрешение лирического сюжета и, прежде всего, его постоянный страстный призыв к дерзновенному героизму ⟨...⟩. Не хочется верить, что есть еще маленькие и ничтожные душонки, предпочитающие отсиживаться где-то в стороне от великих наших дней:

Неужель хоть одна есть крыса
В грязной кухне иль червь в норе,
Хоть один беззубый и лысый
И помешанный на добре,
Что не слышит песен Улисса,
Призывающего к игре?

⟨...⟩ Сегодня нам гораздо ближе и понятнее его простые, зрелые строки о любимой родине, о России. В „Колчане" Николая Гумилева мы находим стрелы, которые разят врага не хуже самолетов и танков» [32].

Да, в этих и других подобных газетных текстах стихи Гумилева не просто «кстати цитируются» — они идеологически соответствуют им. Как ни прискорбно, гумилевские цитаты в коричневой периодике ничуть не менее естественны, чем в красной печати предшествовавших лет.

«Трудно связать с именем Гумилева идейные искания»,— заметил один из современников поэта [33]. Это верно, но верно и то, что поэзия Гумилева *идеологична*: мировоззрение поэта запечатлено в его творчестве как статичный комплекс идей, имеющих несомненное пропагандистское значение. Гумилев редко *ищет*, гораздо чаще *излагает* сумму хорошо усвоенных правил поведения, излагает просто и решительно, в явном расчете на читателя, который сам не знает, что делать [34].

Идеологичность, телеологичность, дидактичность, национализм, героичность, патетика и подкупающая простота философии и языка — характерные черты поэзии Гумилева, и эти черты долгое время импонировали читателям по обе стороны всех фронтов. Стрелы из «Колчана» летели в обе стороны.

И по обе стороны лилась кровь.

Лишь один вывод можно сделать из сказанного. Не коммунизм и не фашизм проповедовал Гумилев. Это был первый поэт тоталитарной эпохи, а потому по праву может быть назван отцом русского тот-арта — главного искусства советского времени.

Ленин убил Гумилева, не узнав в нем лучшего певца грядущего века. Царь был злодеем. Но он был народным царем. А поэт был народным поэтом.

[1] См.: Петрановский Виталий, Зобнин Юрий. «Поэт и вождь». «Смена», Л., 1990, 24 августа, с. 4 (приводится свидетельство А. Э. Колбановского — секретаря А. В. Луначарского).

[2] Здесь и далее подтверждающие ссылки на мемуарные источники не приводятся ввиду общеизвестности последних.

[3] См.: «Библиотека В. И. Ленина в Кремле». Каталог. М., 1961, с. 504. № 6223.

[4] Там же, с. 513. № 6398.

[5] Там же, с. 482. № 5819.

[6] Петренко Н. «Ленин в Горках — болезнь и смерть» (Источниковедческие заметки). «Минувшее». Исторический альманах. Вып. 2, Paris, 1986, с. 163.

[7] Зильберштейн И. «Зарубежная библиотека Ленина». «За рубежом», 1933, 25 января, № 3, с. 6.

[8] Исчерпывающая характеристика традиционных читательских интересов Ленина содержится в целом ряде публикаций по теме, например: Шаранов Ю. П. «Ленин как читатель». Изд. 3-е, доп. М., 1990, с. 9—50; Абрамов К. И. «Ленин как читатель библиотек». М., 1977, с. 3—4.

[9] Иванов Георгий. [Вступит. статья]. Гумилев Н. С. «Письма о русской поэзии». Пг., 1923, с. 6—7.

[10] Обложечное заглавие: Львов-Рогачевский В. «Очерки по истории новейшей русской литературы»: (1881—1919 гг.). М., 1920. См.: «Библиотека В. И. Ленина в Кремле», с. 486. № 5879.

[11] Львов-Рогачевский В. Указ. соч., с. 124.

[12] Там же, с. 139.

[13] Там же, с. 140.

[14] Там же, с. 140.

[15] Бонч-Бруевич Влад. «Пометки Ленина на „Книжной летописи“ 1917, 1918 и 1919 гг.». «Литературное наследство». Кн. 7/8. М., 1933, с. 406.

[16] Там же, с. 404.

[17] Коган П. «Декадентство». «Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат», т. 18. М., 1913, стлб. 154—158.

[18] Новый энциклопедический словарь. Под общей редакцией К. К. Арсеньева, т. 1, СПб., 1912, стлб. 713.

[19] Ср. со следующим свидетельством информированного современника: «〈...〉 большинство ленинского окружения, не отличавшееся интеллектуальными качествами, придерживалось ленинского мнения о необходимости *упрощения* форм искусства и требовало, чтобы все виды искусства стали доступны пониманию „широких народных масс“. Восставая против формальных искательств, марксисты-ленинцы сводили искусство к вульгарному реализму „верного отображения светлой советской действительности“» (Анненков Ю. «Мейерхольд». «Новый журнал», кн. 72, Нью-Йорк, 1963, с. 152—153).

[20] Троцкий Л. «Вне-октябрьская литература». «Петроградская правда», 1922, 19 сентября, № 210, с. 2—3; 21 сентября, № 212, с. 2—3.

[21] Там же, 21 сентября, № 212, с. 3.

[22] Цит. по: Троцкий Л. «Литература и революция», М., 1923, с. 84.

[23] См.: Бухарин Н. И. «О поэзии, поэтике и задачах поэтического творчества в СССР». «Первый Всесоюзный съезд советских писателей». Стенографический отчет. М., 1934, с. 480—481.

[24] Виноградов Л. К., Панков Б. В., Бессонова А. Ф. [Вступит. статья] «Библиотека В. И. Ленина в Кремле», с. 24.

[25] См., например: Бонч-Бруевич Вл. «Ленин о поэзии: набросок из воспоминаний». «На литературном посту», 1931, № 4, с. 7.

[26] Примечательна, скажем, такая перекличка между ранними стихами Гумилева и реальностью 1917 года, запечатленная современником: «С Финляндского вокзала въехал в Петроград не революционер даже, а фанатический конквистадор, думавший не о народном благе, а о завоевании всего мира 〈...〉. И с первого же его выступления явно „запахло серой“». (Рафальский Сергей. «Их памяти». Статьи. Париж, 1987, с. 91).

[27] См.: «Самый непрочитанный поэт». Заметки Анны Ахматовой о Николае Гумилеве. (Подготовка текста К. Н. Суворовой, вступит. заметка, сост. и прим. В. А. Черных), «Новый мир», 1990, № 5, с. 223.

[28] Существует обширная литература на эту тему, в связи с чем конкретную аргументацию позиции опускаю и отсылаю читателя к публикациям по данному вопросу. Весьма обстоятельны и интересны следующие работы: «Друзин В. «Кризис в поэзии». «Жизнь искусства», 1929, 7 апреля, № 15 (1335), с. 6; Зелинский Корнелий. «Кентавр революции» (О Владимире Луговском). «На литературном посту», 1929, № 6, с. 46, 49; Оксенов И. «Советская поэзия и наследство акмеизма». «Литературный Ленинград», 1934, 26 мая, № 24 (46), с. 3; Поступальский И. «По прямой дороге». «На литературном посту», 1929, № 23, с. 67—74; Рыкова Н. «Эдуард Багрицкий». «На литературном посту», 1929, № 13, с. 64—68; Степанов Н. «Поэтическое наследие акмеизма». «Литературный Ленинград», 1934, 20 сентября, № 48 (70), с. 3; и многие другие.

[29] См.: Бескин О. «Гумилев Николай Степанович». «Литературная энциклопедия», т. 3, М., 1930, стлб. 81—86.

[30] Радек К. Б. «Современная мировая литература и задачи пролетарского искусства». «Первый Всесоюзный съезд советских писателей», с. 307.

[31] Балясный Андрей. «О поэзии Н. Гумилева». «Молва». Одесса, 1944, 14 января, № 331, с. 2.

[32] Шматов Г. «О доблестях, о подвигах, о славе» (Ко дню смерти Николая Гумилева). «Заря», Берлин, 1943, 1 сентября, № 69, с. 4.

[33] «Вестник литературы», 1921, № 10(34), с. 9.

[34] Ср. со свидетельством Н. Оцупа: «Потребность распространять приобретенные знания, „уча учиться“ и даже просто учительствовать была 〈...〉 очень сильна у Гумилева» (Оцуп Николай. [Вступит. статья] Гумилев Н. «Избранное», Paris, 1959, с. 15.).

***Кейс Верхейл***

# КАЛЬВИНИЗМ, ПОЭЗИЯ И ЖИВОПИСЬ

*Об одном стихотворении **И. Бродского***

Судя по тематике его стихов и прозы, можно сказать, что есть голландский Бродский, равно как есть и английский, американский, итальянский, французский, литовский, мексиканский, китайский и, разумеется, также русский Бродский.

Существование голландского Бродского неудивительно ввиду того, что поэт родился и первые тридцать два года своей жизни провел в городе, созданном плотником из Сардама, — в городе, где современный человек из Амстердама не может[1] чувствовать себя на чужбине, хотя бы потому, что в его пределах находится место с названием Новая Голландия.

Не хочу задерживать читателя перечнем всех голландских мотивов и ассоциаций, которые можно наметить в творчестве Бродского любых периодов. Остановлюсь всего лишь на двух более общих чертах его поэзии и прозы, так или иначе тесно связанных с представлениями о моей стране.

В критической литературе о Бродском пока еще мало замечено, что поэт в своих эссе несколько раз выражал свою особенную симпатию к кальвинизму как той форме христианства, которая ему, кажется, больше по душе, чем православие, католичество или лютеранство. Предпочтение Бродским кальвинизма не может не поразить человека из страны, самое существование которой есть продукт кальвинизма и культура которой до такой степени пропитана им, что не только наши протестанты, но и католики и даже неверующие признают себя — обычно с самосожалением и с иронией — кальвинистами по образу мышления. Чтоб быть еще чуть-чуть более личным: симпатия первого русского поэта современности к кальвинизму, репутация которого среди интеллектуалов Запада стоит, пожалуй, ниже любого другого вида христианства, не может не удивлять и не радовать человека, крещенного, по решению своих родителей, в нидерландской либерально-реформаторской церкви и, несмотря на свое влечение и к иным формам веры, до сих пор принадлежащего ей.

Привлекательность кальвинизма для поэта Бродского связана, как мне кажется, прежде всего с центральным кальвинистским тезисом о далекости Бога от человека. Между божественным и человеческим лежит бездна, пропасть: с одной стороны, абсолютная, неизменимая справедливость Божьей, для человека непостижимой воли, с другой стороны, абсолютная личная ответственность человеческого индивидуума за каждый свой поступок перед величием этого далекого и ему непонятного Бога. В результате такого жизнепонимания создается, если говорить уже на языке не XVI, а XX века, та этика абсурда, которая всегда была свойственна мышлению зрелого Бродского.

Вторая общая голландская черта позиции Бродского — это его интерес к живописи голландских мастеров. Для русского поэта, жившего столько лет в пятнадцати минутах ходьбы от Эрмитажа, такой интерес, конечно, вполне естествен. Любопытнее другое — то, что мотивы из голландской живописи живут в стихах Бродского и неявной, скрытой жизнью. Вместо трафаретных конькобежцев или мельниц, вместо стихотворных описаний каких-то конкретных картин у него существуют, например, потаенные рембрандтовские ассоциации в глубине тематики таких его шедевров, как «Авраам и Исаак» и «Сретенье».

Оба указанные мной момента, так сказать, голландизма Бродского — кальвинизм и живопись — связаны между собой. По одному из первых догматов христианства Бог есть Слово. Для человека, имеющего свои корни в кальвинизме, это значит, что есть бездна несоответствия между Божеским и человеческим словом. Или, вернее, это значит, что человеческое слово уже само по себе есть нарушение некоей Божьей привилегии. Если Бог есть Слово, явленное во Христе, в мироздании, в Священном Писании, то человеку подобает молчать, и, когда ему захочется выразить свою точку зрения на мир, ему, вместо того чтобы писать стихи, лучше сесть за мольберт и написать картину. (Объяснимо поэтому парадоксальное и, во всяком случае, сенсационное обращение в католичество — во время полного триумфа кальвинизма в молодой республике — поэта Вондела, классика нашей литературы и одной из ключевых фигур европейского барокко, с которым, кстати, есть у Бродского принципиальная доля сходства. Оно вызвано, насколько такие вещи вообще можно объ-

---

Кейс Верхейл — писатель, профессор русской литературы, специалист по творчеству Ахматовой. Автор книги «The Theme of Time in the Poetry of Anna Akhmatova» («Тема времени в поэзии Анны Ахматовой») и др. Живет в Голландии.

яснить, чисто профессиональной необходимостью художника слова, развившего амбиции, соответствующие его необычному таланту, запечатлеть свою речь.)

Противоположно, а в некоторых важных случаях, как я предпочитаю думать, комплементарно по отношению к кальвинизму православное понимание христианства: если Бог есть Слово, то в каждом человеческом слове есть хотя бы зачаток божественного. Со свойственным ему духовным экстремизмом Бродский идет по этому пути до конца, настаивая на формуле — в пределах кальвинистского миропонимания уже совершенно немыслимой — о божественности или даже надбожественности языка и не различая при этом божественный и человеческий логос. Сознание неизбежной греховности всякого словоупотребления и, тем более, всякого писательства, которое в русской литературной традиции мы находим, например, у Ахматовой, у Блока, у Тютчева и, конечно, сильнее всего у позднего Гоголя, Бродскому как будто чуждо. Вера в наивысшую ценность поэтического слова привела его, однако, к ряду грандиозных стихотворений, сделав идеальным антиподом идеального голландского художника.

С культурфилософской точки зрения можно в итоге говорить о кальвинизме этики Бродского при подчеркнутом антикальвинизме его поэтики [1].

Кульминацией интереса Бродского к голландской живописи до сих пор приходится считать его стихотворение «На выставке Карла Виллинка». В этом стихотворении имя художника, не классика из XVII века, а современника (Виллинк родился в 1900 г. и умер в 1983-м), упоминается уже в названии.

Сначала расскажу коротко о становлении этих стихов, свидетелем которого я отчасти стал. Ранним летом 1985 года Иосиф был, в который раз, не помню, в Амстердаме, где у него оказался маленький комплект с шестнадцатью репродукциями картин очень известного в Голландии, а за границей сравнительно неизвестного, недавно перед тем умершего художника Карла Виллинка. (Поэт утверждает, что он получил комплект как подарок от дамы, которой стихотворение посвящено,— к сожалению, ее имя выпадало из нескольких публикаций; сама дама, наоборот, при всей благодарности за посвящение, о подарке категорически ничего не помнит; лично я склонен понимать утверждение поэта как пример того, что Пастернак, кажется, называл «лирической правдой».)

Иосиф вернулся в Штаты и оттуда мне сообщил по телефону, что он пишет стихотворение о картинах Виллинка, и спросил, знаю ли я, как кончил свою жизнь художник, не самоубийством ли, потому что в таком духе он уже написал в своих стихах. На мои слова, что художник, насколько я знаю, умер «нормально», Иосиф ответил, что это неважно. Суть идеи самоубийства в его стихотворении была общая, абстрактная.

Примерно месяц спустя я получил окончательный текст с просьбой перевести его и передать нашей общей подруге.

Первый раз стихотворение было опубликовано параллельно по-русски и по-голландски в амстердамском журнале с названием из русской литературы «De Revisor» (1986, № 1). Название произведения я по собственной инициативе несколько изменил. В оригинальном машинописном тексте было: «На выставке Кейса Вейлинка». Не мне судить, насколько в замене имени художника (вместо «Карла» — «Кейс») тоже обнаруживается своего рода «лирическая правда». Тогда я, по крайней мере, решил, что ее нет. Фамилия Виллинка во всех русских изданиях и в переводах, которые я видел, кроме голландского, написана ошибочно. Дата, и иногда фамилия в посвящении, тоже.

Цитирую стихотворение целиком:

### НА ВЫСТАВКЕ КАРЛА ВИЛЛИНКА

*Аде Струве*

I

Почти пейзаж. Количество фигур,
в нем возникающих, идет на убыль
с наплывом статуй. Мрамор белокур,
как наизнанку вывернутый уголь,
и местность мнится северной. Плато;
гиперборей, взъерошивший капусту.
Все так горизонтально, что никто
вас не прижмет к взволнованному бюсту.

II

Возможно, это — будущее. Фон
раскаяния. Мести сослуживцу.
Глухого, но отчетливого «вон!».
Внезапного приема джиу-джитсу.
И это — город будущего. Сад,
чьи заросли рассматриваешь в оба,
как ищерица в тропиках — фасад
гостиницы. Тем паче — небоскреба.

III

Возможно также — прошлое. Предел
отчаяния. Общая вершина.
Глаголы в длинной очереди к «л».
Улегшаяся буря крепдешина.
И это — царство прошлого. Троны,
заглохнувшей в действительности. Лужи,
хранящей отраженья. Скорлупы,
увиденной птичницей снаружи.

IV

Бесспорно — перспектива. Календарь.
Верней, из воспалившихся гортаней
туннель в психологическую даль,
свободную от наших очертаний.
И голосу, подробнее, чем взор,
знакомому с ландшафтом неуспеха,
сподручней выбрать большее из зол
в расчете на чувствительное эхо.

V

Возможно — натюрморт. Издалека
все, в раму заключенное, частично
мертво и неподвижно. Облака.
Река. Над ней кружащаяся птичка.
Равнина. Часто именно она,
принять другую форму не умея,
становится добычей полотна,
открытки, оправданьем Птолемея.

VI

Возможно — зебра моря или тигр.
Смесь скинутого платья и преграды
облизывает щиколотки икр
к загару неспособной балюстрады,
и время, мнится, к вечеру. Жара:
сняв потный молот с пыльной наковальни,
настойчивое соло комара
кончается овациями спальни.

VII

Возможно — декорация. Дают
«Причины Нечувствительность к Разлуке
со Следствием». Приветствуя уют,
певцы не столь нежны, сколь близоруки,
и «до» звучит как временное «от».
Блестящее, как капля из-под крана,
вибрируя, над проволокой нот
парит лунообразное сопрано.

VIII

Бесспорно, что — портрет, но без прикрас;
поверхность, чьи землистые оттенки
естественно приковывают глаз,
тем более — поставленного к стенке.
Поодаль, как уступка белизне,
клубятся, сбившись в тучу, олимпийцы,
спиною чуя брошенный извне
взгляд живописца — взгляд самоубийцы.

IX

Что, в сущности, и есть автопортрет.
Шаг в сторону от собственного тела,
повернутый к вам в профиль табурет,
вид издали на жизнь, что пролетела.
Вот это и зовется «мастерство»:
способность не страшиться процедуры
небытия — как формы своего
отсутствия, списав его с натуры.

Человеку, знающему отдельно и поэзию Бродского, и живопись Виллинка, смысл их сочетания сразу понятен. Вообще мысль о Виллинке как вдохновителе ленинградского поэта вполне естественная, и кажется странным, что голландский художник никогда не был в Ленинграде. За год до написания Бродским стихов и без всякой дальнейшей связи с ними я, находясь в Ленинграде, сделал такую запись в своем дневнике:

«После концерта (в Капелле) прогулка по светлому вечеру» — дело было в белую ночь. «Только здесь и там несколько пешеходов. Зимний дворец, широкая площадь перед ним и в отдалении Исаакиевский собор под зловещим летним небом — первоклассная картина Виллинка».

Для этого художника, как и для поэта Бродского, характерно слияние, иногда шоковое, строгого классицизма с типичным для двадцатого века ощущением угрозы, катастрофичности, конца. Истоки стиля Виллинка — в ренессансе, в «идеальных» или «героических» пейзажах Лоррена и Пуссена и, что касается портретов, в образцах этого жанра у Рафаэля и Да Винчи. Единственное собственно голландское и, если хотите, кальвинистское у Виллинка, это — холодное, беспощадно яркое северное освещение его пейзажей и портретов и их общая атмосфера неуловимой жуткости, из-за чего Виллинка обычно связывают с сюрреализмом. В одном интервью художник так сформулировал психологическую направленность своих картин:

«Я изображаю постоянную угрозу и совершенный абсурд происходящего вокруг меня, зловещность и абсурдность всего миропорядка».

Добавьте любимый прием Виллинка смешивания классических образов с явно современными или фантастично-будущими; добавьте его пристрастие к архитектуре и к статуям, как заместителям живых фигур; добавьте еще его тягу к добросовестной технике и к кропотливому мастерству; добавьте, наконец, то, что лучший критик, написавший о Виллинке, назвал его странно «застывшим», «остолбенелым» юмором, и вы поймете, почему я считаю, что, если думать об иллюстрированных изданиях Бродского, ничего лучшего, чем репродукции картин Виллинка, не найти.

Что касается русского стихотворения о художнике, то оно необыкновенно заинтересовало вдову Виллинка — художницу и скульптора. Она обратилась ко мне как переводчику незнакомого ей автора: ее поразила совершенная точность, с которой этот иностранец сумел уловить в своих словах суть того, что ее муж вложил в свои картины.

Возвращаясь к тексту Бродского, вместо обширного анализа ограничусь заметкой об одной его особенности. Меня всегда поражала сравнительно второстепенная роль,

[1] Своего рода поэтический кальвинизм чувствуется, с силой непревзойденной и вне русской литературы, в сухой и нарочито «некрасивой» прозе Льва Толстого, единственного классика своего языка, с которым, по-видимому, Бродский никогда не ощущал духовного родства. Удивительную близость эстетики графа Толстого к географически далекому ему кальвинизму надо, скорее всего, рассмотреть как последствие влияния на него Руссо, писателя, рожденного в городе самого Кальвина.

которую в нем играет описательное начало. Что, казалось бы, может быть естественнее, соблазнительнее, чем попытаться воссоздать в слове то же самое, что художник сделал в цвете, то есть попытаться вызвать у читателя сходные зрительные впечатления? Тем более для такого поэта, как Бродский с его особым даром воспроизводства визуальных эффектов.

Некоторая описательность есть, разумеется, и в стихах «На выставке Карла Виллинка», но небольшая, как мне кажется, может быть, даже меньшая, чем в других произведениях поэта. Создается впечатление, что стихотворение Бродского о выставке — это, прежде всего, не попытка соревнования с живописцем, а претворение его зрительного мира в чисто словесный, поэтический. Конечно, можно понимать девять строф стихотворения и как прогулку по выставке, где поэт останавливается перед девятью разными картинами (из шестнадцати, включенных в комплект репродукций), передавая нам свои спонтанные впечатления и ассоциации. Но такое понимание дает довольно бедные результаты: во-первых, потому, что живопись Виллинка очень далека от свободной ассоциативности, обоснованной принципом Роршаха, а во-вторых, ассоциации поэта слишком последовательны, слишком связаны между собой, чтобы соответствовать произвольному, «по ходу» сделанному взгляду на коллекцию разнородных картин.

Имеет смысл рассмотреть это стихотворение не столько как ряд случайных, от внешних стимулов зависящих импрессий, сколько как обычное для Бродского постепенное развитие, в строфе за строфой, в метафоре за метафорой, в шутке за шуткой, одной линии идей. Основная формула фразы без сказуемого создает ряд вариантов определения чего-то общего, никогда прямо не названного поэтом. Определение этого чего-то — то ли внутреннего зрения художника, то ли внутреннего зрения человека, смотрящего на его картины,— становится к концу все более точным, более сжатым.

В ходе этого процесса поэт уже в третьей строфе переходит от зрительной к языковой, даже грамматической терминологии, а в четвертой — к терминологии музыкально-поэтической:

> И голосу, подробнее, чем взор,
> знакомому с ландшафтом неуспеха,
> сводручней выбрать большее из зол
> в расчете на чувствительное эхо.

В конце шестой строфы и дальше, в седьмой, идея языка плюс музыки приводит, как естественное свое продолжение, к идее какой-то своеобразной оперы, созданной в результате сотрудничества художника с поэтом и их обоих — с музыкальным гением.

Если думать о прецедентах, стихотворение Бродского создает эффект, примерно схожий с тем, что произвел Мусоргский в своей музыкальной «Выставке». Но есть в нем и нечто схожее с тем, что сделали вместе русский композитор Игорь Стравинский, рисовальщик XVIII века Хогарт и любимый Бродским английский поэт Одэн в «Приключениях повесы». В нашем случае получилась современная философская опера с аллегорическими фигурами в стиле барокко; декорации — голландец К. Виллинк; либретто и музыка — русский поэт И. Бродский.

В заключительных строфах происходит еще одна трансформация. «Это» теперь воспринимается сначала как просто портрет, потом как тот «автопортрет», о котором пишет в интересной статье про этот прием Бродского Валентина Полухина. Вместе с тем стихотворение превращается в размышление о судьбе художника-живописца, или художника-поэта, или художника-музыканта, или художника-историка, или художника-астронома — кажется, в девяти строфах фигурируют более или менее прозрачно питомцы всех девяти Муз.

Мысль поэта, как я думаю, здесь сосредоточена над сутью самого слова и понятия «автопортрет». Как известно, автопортрет — чисто технически самая трудная задача для художника — есть окончательное доказательство его мастерства. В языке парадоксальность задачи отражена в классическом термине для этого жанра: не «автопортрет», а «портрет художника», «portrait de l'artiste», «portrait of the artist».

Ведь человек себя изображать физически не может иначе, как в виде художника — садясь одновременно и к зеркалу, и за мольберт. Другими словами: если жанр автопортрета автоматически значит уничтожение художником себя как не-художника и в этом смысле является формой самоубийства, то ставится странноватый вопрос: кто вообще изображен в автопортрете? Если бытовая персона в нем бесследно исчезла в художнике, тогда где остался Карл Виллинк, где остался Иосиф Бродский, где осталась разница между ними? И еще вопрос: где осталась разница между изображением своего Я и изображением любого другого предмета?

Последняя мысль и последний эффект стихотворения, по моему впечатлению, как-то головокружительны. Подобно тому, как это происходит в гоголевской повести, портрет перед глазами читателя-зрителя вдруг растаивает, и медитативный ход по выставочному залу начинается снова:

> Почти пейзаж. Количество фигур,

и так далее.

*Борис Парамонов*

## НОЙ И ХАМЫ

### 1

Трактовка формального литературоведения как мировоззрения, а не метода — дело не очень новое. В. М. Жирмунский говорил в связи с этим об эстетизме формалистов как мировоззренческом кореляте метода. Эстетизм в то же время слишком часто принимает черты не теоретического мировоззрения только, но и жизненной, экзистенциальной позиции. По этому последнему признаку формалистов вполне возможно причислить к романтикам, как бы сами они этому ни противились. «Бурные гении» — вполне романтическая характеристика. Особенно это подходит к Шкловскому. Но это, конечно, некий «новый романтизм», вдохновляющийся не капризом, импровизацией, экстазом и хаосом, а скорее по-новому понятым порядком, если угодно — нормой. Романтизм тут существует в самом моменте вдохновения и прозелитизма, а ценности, на этот раз исповедуемые,— скорее классицистического типа. В теории — формализме как таковом — это пафос «сделанности» в искусстве, «искусство как прием», установка на мастерство, осознание профессионализма. В эстетической практике — скажем, конструктивизм. Но ни в коем случае нельзя забывать футуристической молодости движения: как раз романтического хаоса было в футуризме больше чем достаточно. Шкловский не «теоретический человек» прежде всего по своему темпераменту. Это не случайное обстоятельство.

Как это бывает с людьми по-настоящему значительными, Шкловский сумел сказаться сразу, в первом же своем сочинении — статье «Воскрешение слова». Данную здесь формулу надо знать и повторять, пока она не заучится наизусть,— здесь дан культурный прогноз века:

*«Только создание новых форм искусства может возвратить человеку переживание мира, воскресить вещи и убить пессимизм».*

Искусство, таким образом, это не только «прием», это еще и средство — отнюдь не цель в себе, как может показаться даже и при достаточно углубленном чтении формалистских текстов. Но еще более глубокий уровень понимания ведет к выходу за пределы искусства: в «жизнь», чуть ли не в «теургию» символистов, от которых формалисты особенно настойчиво открещивались, «отталкивались». Последнее слово я взял в кавычки, потому что в современном языке оно удвоило смысл, и сейчас «отталкиваться» все чаще означает не только «отказываться», но и «исходить», «брать за основу»; эта амбивалентность лучше всего выражает подлинное соотношение двух течений. Позднейшее лефовское «искусство-жизнестроение» уже чуть ли не прямо выводится из символистской установки на теургию. Об этом уже писалось (Ю. Давыдов).

Правда, как раз Шкловского вроде бы следует отличать от теоретиков «искусства-жизнестроения» — он в ЛЕФе продолжал настаивать на чисто эстетическом измерении искусства, и газета, скажем, для него не «коллективный организатор», а литературный жанр, возможная новая форма искусства. Именно тогда, в середине двадцатых, он произнес замечательную фразу о том, что судить о жизни по искусству все равно что судить о садоводстве по варенью; эта фраза не только дезавуирует «реализм», но и имплицитно отвергает любые «теургические» выходы искусства. Однако нельзя снять с Шкловского ответственности за этот сверхэстетический максимализм — ибо в левом искусстве он его и постулировал.

Соответствующую цитацию можно продолжить. Вот самая, пожалуй, знаменитая формула:

*«Так пропадает, в ничто вменяясь, жизнь. Автоматизация съедает вещи, мебель, жену и страх войны».*

Отсюда, как известно, идет у Шкловского учение об остранении — способе обновить видение вещи — всех перечисленных выше вещей и состояний. Но именно в этом ряду остранение оказывается чем-то явно сверхэстетическим. Меня здесь особенно заинтересовала «жена». В работе о Розанове Шкловский дает большую цитату из него, убеждающую в необходимости «остранения» для обновленного переживания супружеской жизни: этим «остранением» оказывается обыкновеннейшая супружеская измена. Пример показывает, что термины Шкловского имеют внеэстетическую корреспонденцию, по крайней мере, взяты не из наблюдений над Веселовским или Потебней. В статье «Искусство как прием» Шкловский пишет, что остранением являются вообще эротические образы. В общем, оно действует не только в искусстве.

Вот поэтому Шкловскому и понравились «революция и фронт». В «Сентиментальном путешествии» он описывает революционный быт:

*«Люся встала и затапливает печку документами из Центрального банка... Из длинной трубы, как из ноздрей курильщика, подымаются тоненькие гадины дыма.*

*Встаешь, вступаешь в валенки и лезешь на лестницу замазывать дырки.*

*Каждый день. Лестницу из комнаты не выносишь.*

*А печника не дозовешься. Он в городе самый нужный человек. Город отепляется. Все решили жить...*

*...Хорошо жить и мордой ощущать дорогу жизни.*

*Сладок последний кусок сахара. Отдельно завернутый в бумажку.*

*Хороша любовь.*

*А за стенами пропасть, и автомобили, и вьюга зимой.*

*А мы плывем своим плотом.*

*И как последняя искра в пепле, нет, не в пепле, как темное каменноугольное пламя.*

*А тут То-ло-нен. Одно слово — Финляндия».*

Финляндия не интересна потому, что жизнь в ней автоматизирована, ничего не происходит, точнее — не ощущается. А социализм — в революции — был интересен, как путешествие в ковчеге. Об этом Шкловский пишет в статье «Десять лет». И это не потому, что несколько лет существовала эфемерная эстетическая свобода, а потому, что у кариатид Эрмитажа играли в городки, а из торцов Дворцовой площади прорастала трава. Город «остранялся».

Даже классик Ходасевич признавал, что Петербург стал тогда еще прекраснее — в начавшемся моменте тления. То же писал Эренбург в «Тринадцати трубках»: «Заштатная столица была величественна и прекрасна». Он же цитирует в мемуарах стихи серапионовой сестры Елизаветы Полонской — о впервые почувствованной ценности крох бытия — хлеба, дров: ср. выше у Шкловского.

Революция и война были способами остранения как не эстетического уже, а социального действия. Чтобы почувствовать войну, нужен реальный страх, реальная война.

Есть лагерное выражение: научить свободу любить. Для этого нужен — лагерь.

Вот почему мировоззрение Шкловского, скрывающееся за методом формального литературоведения, можно назвать не эстетизмом уже, а *трагедийным гедонизмом.*

Это форма, вариант ницшеанства. (Можно вспомнить и Кьеркегора, отождествлявшего эстетическую форму сознания с чувственным экстремизмом.) Получается, что Шкловский не так уж далеко отстоит от какого-нибудь теургического Вячеслава Иванова. Футуристическая революция отнюдь не была разрывом с современной ей традицией — она только по-другому ее формулировала.

Остраненно.

## 2

«Младоформалист» Л. Я. Гинзбург пишет («Человек за письменным столом»):

*«Опоязовское течение в широком смысле (гораздо более широком, чем опоязовцы и их ученики) было частью антисимволистской реакции (от футуристов и акмеистов до обериутов) на культуру начала века. Как и вся противосимволистская реакция, формализм многому учился и научился у символистов. Формализм быстро и в основном изнутри распался как догма, но как фермент он продолжал работать впрок. Эпохален формализм еще тем, что в своей склонности к аналитическому разъятию он был неузнанным двойником исторического и социологического анализа. Антиподом и двойником — что как-то увязывалось в большом культурном развороте».*

«Исторический и социологический анализ» — это попросту марксизм. Но двойничество не только в совпадающей редуктивистской установке, оно еще и в позитивной, строительной программе — в том «конструктивизме», который выступает общим стилевым знаменателем политики как художества, революции как эстетического проекта.



Большой стиль эпохи — *утопия.* Это включает и символизм, и Бердяева, и гностические фантазии «Ладомира», в последнем же — Федоров плюс ленинские нужники из золота. Но в утопическое строительство были включены не только символические теурги и футуристические самовитые словесники — в него включились массы. Это была всеобщая мобилизация, начавшаяся в 14-м году.

В гедонизме Шкловского, при всех его ницшеанских обертонах, нашла выражение, как сказали бы тогдашние социологи, учившие жить формалистов, «психоидеология» вот этих самых масс. Бердяев был прав, говоря в «Вехах» о стадах индивидуалистов-ницшеанцев.

Индивидуализм военнообязанного — психология отпускника, если не мародера. В русской литературе как раз в это время появился такой отпускной солдат, Николай Тихонов,— явление очень значительное.

Тихонов заставляет вспомнить трактовку футуризма, данную Корнеем Чуковским: не столько будущее, сколько давно прошедшее. Архаизм, варварство:

Я одержимый дикарь, я гол...

Тихонов — человек Шкловского, находящий в войне и революции повод для обновленного переживания бытия. Остранение идет рука об руку с эротическими переживаниями:

Он расскажет своей невесте
О забавной, живой игре,
Как громил он дома предместий
С бронепоездных батарей.
Как пленительные полячки
Присылали письма ему,
Как вагоны и водокачки
Умирали в красном дыму.

У Шкловского мы вправе видеть некий всеобщий культурный синтез, потому что он в собственной эпохальной личности объединил пафос конструктора, конструктивиста с элементарной (то есть стихийной) чувственностью резервиста культуры. Иногда он кажется инкарнацией руссоистского дикаря-философа. Иногда — неким удавшимся Писаревым.

Интересно, что и в символизме была уже такая удача — Сологуб: кухаркин сын, пошедший не в писаревское естествознание, а в тогдашнюю сексуальную революцию декадентов.

И если спроецировать все это на Ницше, то получится даже не искусство как воля к обману, а самый настоящий белокурый бестия.

И глаза стальной синевы.

Стихи Тихонова до «Орды» плохие, но одно названо очень хорошо — «Перекресток утопий».

Тихонова можно вывести из Киплинга или даже, еще верней, из Гумилева, но движение на Восток у обоих, столь ревностно повторенное Тихоновым, вело к тому же Ницше, к Заратустре, говорившему, что женщина создана для услады воина.

Отпускной солдат — он же и мертвый встанет, чтобы пойти к жене.

Так что мертвые вставали не только у Горького, как вспоминает Шкловский в «Письменном столе». Его мало понятная сейчас любовь к Горькому идет не только от восхищения горьковским неканоническим Толстым или введения в беллетристику бессюжетного документального материала, на манер Розанова, но и родственностью с Ницше.

У Шкловского можно заметить, как и у Горького, признаки садистической психологии. Гедонизм этого требует.

Ибо ласкать, учил Шкловский, хорошо бранными словами.

Всяческий конструктивизм близок к архаическому варварству, потому что в нем происходит некое упрощение, примитивизация, отказ от культурного излишества. Это Пикассо и негрская скульптура: Аполлон чернявый, как писали футуристы. Особенно упрощается психология, собственно, даже уничтожается. «Психоложество»,— говорил Маяковский. Нелюбовь Шкловского к роману — отсюда.

По-другому это называется архаической революцией. Позднее об этом много писал Томас Манн. Но в России писали раньше:

Построив из земли катушку,
Где только проволока гроз,
Ты славишь милую пастушку
У ручейка и у стрекоз.

Будетляне, писал Шкловский, осознали в искусстве работу веков: увидели в нем элементарный чувственный жест, радостное переживание.

Шкловский знал Фрейда и часто ссылался на него, но одну его страницу пропустил незамеченной: где тот говорит, что дикари, вынужденные иногда работать, ритмизируют физические усилия в лад произносимыми эротическими словами.

Этому не противоречит учение Шкловского о художественной речи как затрудненной, задержанной. Все это не более чем «пытка задержанным наслаждением» (формула из «Теории прозы»).

В любви, как и в теории литературы, Шкловский был, по словам Эльзы Триоле, специалистом (мемуары А. Чудакова).

## 3

Было бы последним делом разговор о Шкловском свести к его индивидуальной, хотя и незаурядной, психологии. Большой человек тем и отличен, что представителен, типичен. Шкловский, субъективно переживая как бы поражение, писал, что нужно делать не историю, а биографию. Но он и делал историю своей биографией. Его биография моделировала громадный исторический сдвиг.

Он — победитель, победу которого не сознают, вроде Барклая.

Внимание, а похоже, что и любовь Шкловского к Розанову не случайны. Он взял у Розанова и по-своему выразил его тему о наступлении мировой эпохи *нерепрессивной культуры*. В его, Шкловского, конкретном деле это было десублимацией искусства. Все учение об остранении можно свести к этому: не идеальные образы создает искусство, а углубляет и утончает чувственный опыт.

Как всегда, новое оказалось хорошо забытым старым. Запахло «Сатириконом» и пирами Трималхиона. Сюда хорошо подверстывается кьеркегоровский Нерон.

Мне рассказывал один москвич, хитростью проникший в просмотровый зал, где начальство принимало «Сатирикон» Феллини, что у номенклатурщиков сложилось твердое впечатление, будто этот фильм — вариант «Сладкой жизни» и повествует об эротических и гастрономических играх верхов нынешней буржуазии. Фильм принят не был и в советском прокате не появился, поскольку был оценен как пропаганда буржуазного разложения.

Если это и выдумано, то хорошо. Это Шкловскому и его компании некое возмездие: уж очень активно провели они кампанию по реабилитации плоти искусства, слишком бурно дезавуировали «бумажные страсти» (Маяковский). Всяческий «застой» — это реакция на революцию, а не просто дурной эстетический вкус. Люди, уставшие от революции, желали читать романы: роман требует кушетки, он отдохновенен.

А Шкловский подсовывал новый жанр — газету, в которой писали в основном *о* неприятностях.

В конце концов был достигнут компромисс, известный как «социалистический реализм».

Соцреализм, взятый в его сталинском варианте — с канонизацией Маяковского, но и с уходом от левого искусства в «психоложество»,— очень большая тема: о конце революции, конце утопии. В длительной перспективе это был поворот к лучшему, если угодно — к человеку Достоевского, взятому со всеми его почесываниями. Позднее поэт скажет: «ворюги мне милей, чем кровопийцы».

Поначалу, однако, это был отказ от Татлина, Малевича и Мельникова, и для людей Шкловского создавалось впечатление перемены к худшему. Потому что даже газету умудрились сделать отдохновенным чтением — сказкой.

Дело было решено так: вместо эстетического авангарда создадим номенклатуру, которая и будет ощущать жизнь во всей чувственной полноте вместо того, чтобы декларировать чисто эстетическую необходимость таковой.

Писателям же было предложено создать собственную номенклатурную элиту. И они на это с удовольствием пошли. Иначе и быть не могло: ведь больше всего писатель жаждет воплотиться.

Главное задание соцреализма — даже не мифотворческое. Оно — в обнаружении психологии художественного типа личности, в социальной манифестации таковой. Тут имеет место обнажение приема и реализация метафоры: становясь платным функционером идеократического режима, художник превращается в *жреца* и начинает *жрать*. Может быть, такова и была первоначальная природа институтв жрецов. Соцреализм снова снял с него культурные покровы, десублимироал его.

Розанов недаром любил православных попов за их вкус к осетрине.

Так и художник: следует говорить не о «вкусе» его, то есть не о чем-то «художественном», а о вкусе в смысле гастрономической эрудиции, об умении насытиться: Алексей Н. Толстой.

Н. Я. Мандельштам рассказывает в первой книге, как в доме в Лаврушинском они перемещались с этажа на этаж: у Шкловского ночевали, а к Катаеау ходили на обмывку ордена. Получается, что Шкловский хороший, а Катаев негодяй. На самом деле второй — это эманация первого.

Шкловский и породил все эти трималхионовы пиры.

Но трагедийность со временем уходила, а гедонизм (так сказать, «чистый») оставался.

Катаев пишет в «Святом колодце»:



*«Мы жили в полное свое удовольствие, каждый в соответствии со своими склонностями. Я, например, злоупотребляя своим сверхпенсионным возрастом, старался ничего не делать, а жена с удовольствием готовила мне на электрической плитке легкие, поразительно вкусные завтраки из чудесно разделанных, свежих и разнообразных полуфабрикатов, упакованных в целлофан,— как, например, фрикадельки из райских птиц и синтетические пончики. Мы также ели много полезной зелени — вроде салата латука, артишоков, пили черный кофе. Нам уже не надо было придерживаться диеты, но мы избегали тяжелой пищи, которая здесь как-то не доставляла удовольствия. При одной мысли о свином студне или о суточных щах с желтым салом мы теряли сознание. Мы объедались очень крупной, сладкой и всегда свежей клубникой с сахаром и сливками, любили также перед заходом солнца выпить по чашке очень крепкого, почти черного чая с сахаром и каплей молока. От него в комнате распространялся замечательный индийский запах. Я же, кроме того, с удовольствием попивал холодное белое вино, пристрастие к которому теперь совершенно не вредило моему здоровью и нисколько не опьяняло, а просто доставляло удовольствие, за которое потом не нужно было расплачиваться. Мы также охотно ели мягкий сыр, намазывая его на хрустящую корочку хлебца, выпеченного не иначе, как ангелами. Я уже не говорю о том, что рано утром мы завтракали рогаликами со сливочным маслом и джемом в маленьких стеклянных баночках, который напоминал зеленую мазь или же помаду».*

Здесь вроде бы присутствует ирония, поскольку речь идет о так называемом потустороннем существовании, но на самом деле эта потусторонность всего-навсего из разряда номенклатурных привилегий, в число которых входят путешествия не на тот свет, а за границу. И не об иронии нужно говорить, а о наглости удачника, знающего, что «райская жизнь» — это не совершенный, а просто не всякому доступный мир. Как писала, кажется, та же Мандельштам о номенклатурном зяте: «Папа, больше всего приятно не то, что бифштекс вкусный, а что у других такого нет».

У Катаева это прорвалось упоминанием суточных щей.

Очень хорошо гулялось в тридцать седьмом году (см. мемуары мачехи Лосева). Посадка соседей по Лаврушинскому переулку придавала этому необходимое остранение. Синявский, осознав этот «прием» (из Шкловского, откуда же еще!), написал, что пушкинский герой особенное удовольствие от Лауры получил в присутствии трупа Дон Карлоса.

Это даже нельзя назвать гением и злодейством, потому что ситуация оценки не предполагает: тут какая-то совершенно нейтральная «физиология творчества». В Шкловском Писарев протягивает руку авангарду, и все получается, и женщины довольны.

## 4

По интересующему нас критерию — способности реализовать собственные чувственные возможности — писатели разделяются на два разряда: удачники и завистники. Хрестоматийный пример, как всегда,— Толстой и Достоевский.

В письмах Достоевского жене масса вычеркнутых, замазанных строк, не поддающихся прочтению. Строго говоря, это неприличные письма. Завистник не значит слабосильный. О нестандартной чувственности Достоевского правильно писал Мережковский.

В советской литературе указанная оппозиция классически представлена Катаевым и Олешей. Один проезжал мимо другого в большом, похожем на комнату автомобиле. Это сцена из Достоевского: «Записки из подполья».

Ничего тут позорного нет, это все тот же старый романтизм, с его разделением «томления» и «обладания». Так что эту романтическую ситуацию можно даже назвать классической.

В новейшей литературе произошла реинкарнация Юрия Олеши. Это Эдуард Лимонов. Он даже псевдоним выбрал, следуя указаниям «Зависти»: фамилия Лимонов, как и Кавалеров, высокопарна и низкопробна.

В «Дневнике неудачника» масса реминисценций Олеши: экономка миллионера в роли Анечки Прокопович, да и сам поэт, служащий сильному мира сего. Вспоминается не только «Зависть»: есть, например, сцена с крысой, поражаемой ударом ноги. Это из мемуарной прозы Олеши.

Такие совпадения Шкловский объясняет сюжетной инерцией. Он сам однажды обнаружил поразительные сходства ситуаций в романах Конрада и Бахметьева. Но можно ведь говорить и о сходстве психологического типа.

Вообще же Лимонов более литературен, чем кажется.

Приведу здесь фрагмент из «Дневника неудачника», который вряд ли скоро будет напечатан в отечественной прозе сам по себе.

Как говорит в таких случаях Шкловский, прошу прощения за длинную цитату.

*«Воровать, воровать, воровать, украсть так много, так, чтобы еле унести. Охапками, кучами, сумками, корзинами, на себе уволакивать, велосипедами, тележками, грузовиками увозить из магазина Блумингдэйл и тащить к себе в квартиру.*

*Духи мужские, корзину духов; пусть поплескивают — зеленые, кремы, шляпы, много разных шуб и костюмов и свитеров. Воруй, тащи, грабь — веселись, наслаждение получай, что не дотащим — в грязь и снег вышвырнем, что не возьмем — бритвой порежем, чтоб никому не досталось, вот она — бритва — скользь в руку — ага, коси, молоти, руби!*

*— И по лампе вдарь! — Возьми зонт — Жан! — На торшер — Филипп — е... по зеркалу! — (Хрясть! Хрусть!)*

*— А мы за это шею гнули, жизни лишались, живот надрывали, вот вам, вот! — Эй, пори белье женское, режь его, розовое да голубое, трусами пол устилай! — Гляди, какие большие — Лазарь! — Ну и размер, на какую же ж... и рассчитаны!*

*— И этот отдел переполосуем, танцуй-пляши на рубашках ночных да беленьких, ишь ты, порядочные буржуйки в фланельке этой по ночам е..., а эти халатики к любовникам днем надевают — п.... при распахнувшихся полах показать, посветить ею.*

*— Бей, Карлос! — Помогай, Энрико! — Беги сюда, Хуан! — здесь голд этот самый — золото!!! (Ррррр!)*

*— Пошли пожрем в продовольственный! — Шоколаду хошь? На — шоколаду в карман. Мешок шоколаду возьмем домой. Два мешка шоколаду.*

*— Вдарь по стеклу! (Дзынь!)*

*— Х..., руби!*

*— А вот оторви этот прут, да е...! (Хлысть! Хрусть!)*

*— Ткни эту п.... стулом, чтоб буржуазное достояние не защищала!*

*— Ой, не убивайте, миленькие!*

*— Бей ее, суку, не иначе как начальница, а то и владелица!*

*— Мальчики! Мальчики! — что же вы делаете! Умоляю вас — не надо!*

*— Е.. ее, стерву накрашенную — правильно, ребята! Давно мы в грязи да нищете томились, х.. исстрадались по чистому мясу — дымятся!*

*— А пианина — Александр — мы с возмущенным народом пустим по лестнице вниз. На дрова! (Гром х-п-э-т-грррррр!)*

*— И постели эти! (Та-да-да-да-да-дрррр!)*

*Так я ходил в зимний ненастный день по Блумингдэйлу, грелся, и так как ничего по полному отсутствию денег не мог купить и второй день кряду был голодный, то и услышал извне все это».*

А теперь можно сказать, кто это Лимонову наговорил в чуткое ухо: Хлебников Велимир, «Ночь перед Советами», а больше всего «Ночной обыск».

Ученик Хлебникова Шкловский помочился в броневики гетмана Скоропадского — это из той же оперы или, если хотите, поэмы. Булгаков пришпилил Шкловского в «Белой гвардии», и правильно сделал, хотя тот обиделся на всю жизнь и много лет спустя говорил Чудакову, что на веранде дома Герцена сидели крупные люди.

Но это не мешало им быть шпаной.

Крупной, как воры в законе.

Тут, к сожалению, прав недоброжелатель советской литературы Ходасевич, написавший совсем плохую статью о Маяковском.

Другой архаист, Бунин, пишет в «Окаянных днях:

*«Был В. Катаев (молодой писатель). Цинизм нынешних молодых людей прямо невероятен. Говорил: „За сто тысяч убью кого угодно. Я хочу хорошо есть, хочу иметь хорошую шляпу, отличные ботинки...“».*

Сказать, что русская литература виновна в русской революции,— значит сказать самую малость. Это мировой процесс — превращение артиста в героя скандальной хроники, скандальных историй, скандальной истории. Россия гордится буйством Есенина как чем-то немыслимым на Западе. Но на Западе этот процесс шел не менее бурно. Начало его зафиксировано, пожалуй, в «Подземельях Ватикана» Андре Жида, где Лафкадио — как кажется, немотивированно, но мы-то знаем, что для остраненной остроты ощущений,— убивает незнакомого соседа в купе поезда.

Тот же Андре Жид еще в конце прошлого века написал «Плоды земные» — книгу, мало известную в России, но на Западе сделавшую революцию. «Послание» книги было в духе Шкловского: обновленное переживание чувственной полноты бытия.

В мемуарной литературе встречаются упорные утверждения, что Есенин если не расстреливал несчастных по темницам, то не раз присутствовал при этом. Это из той же области, что разговоры о его бисексуальности: мог попробовать педерастию из хулиганской лихости, как пробовал Лимонов, открыто пишущий об этом.

Лимонов, конечно, босяк, но босяк литературный, имеющий сильную традицию в России, можно сказать, благородную традицию босячества как всяческого революционизма. Это Горький и Маяковский вместе взятые — но в процессе вырождения, нисхождения и саморазоблачения типа писателя и литературной темы.

Нисхождение темы здесь означает ее выпячивание: материал берется вне искусства, втаскивается на экран тремя, а не двумя измерениями. Лимонов писатель никакой, несуществующий. Но вместе с ним исчезает литература как художество, как «метод», он — знак этого исчезновения. Поэтому он — событие большое, хотя и отрицательное. Отрицательность здесь не оценка, а математическое понятие: меньше, чем ноль, но не ноль.

Чтобы утешить Лимонова, скажу, что такая же минус единица на Западе — Пазолини, по крайней мере, в его фильме «Сало, или Сто двадцать дней Содома»: ощущаемость материала в фильме — внеэстетического характера, он действует на нервы.

С совершенно внеэстетической откровенностью Лимонов называет свою книгу «Дневник неудачника». И никакие литературные реминисценции не должны заслонить того, что речь у него идет о реальных пижамах и п... Неудача Лимонова — социальная: он не попал в свое время в советскую писательскую номенклатуру и об этом печалится на Западе, совсем не о тамошних голодных и рабах.

Тема советской литературы — да и тема современного искусства вообще — приходит здесь к самоопознанию:

Нам надоели бумажные страсти,
Дайте жить с живой женой!

Поэтому «Ладомира» Лимонову никак не написать. Для этого нужна вера в сверхчувственные ценности, нужен утопизм, еще не переставший быть поэзией:

И зоркие соблазны выгоды,
Неравенство и горы денег —
Могучий двигатель в лови годы —
Заменит песней современник.

Нужна способность заменить поэмой не только соблазны выгоды, но и соблазны любви. Шкловский, написавший об этом в «Zoo», сам эту способность всего лишь имитировал, и «Zoo» осталась единственной его художественной удачей.

Лимонов, как сказал бы Фейербах,— «тайна» Шкловского, или его Немезида, как сказал Вл. Соловьев о Каткове в его отношении к славянофилам. У этого певца мастерства искусство было лишено метафизического измерения, указывая лишь на эмпирические соотнесения, помогая, всего-навсего, острее ощутить «жизнь» (на ученом языке формализм есть вариант эмотивной теории искусства). Но для потребной — или непотребной — остроты, как оказалось, совсем не обязательно искусство: не нужно «Zoo» писать, достаточно живой Эльзы.

Вопреки всякому формализму, из искусства выперла эта тема, «материал». А «стиль» исчез в неизвестном направлении. Впрочем, известно, в каком: растворился в постмодернизме, «вивризме», хэппенингах.

«Художник» ныне подтверждает наихудшие опасения Тынянова в «Промежутке»: это голая тема, взятая на голой эмоции. (Об этом и Шкловский писал в «Современниках и синхронистах».) Это — «непосредственное самовыражение» какого-нибудь рок-певца.

На Западе этот маскульт и стал исходом искусства — как в СССР им стал «культ личности». Отсутствие в России демократических традиций привело к модели художника как диктатора, тогда как на Западе появился художник как голос толпы. Рок-концерт — это не сольное выступление, а некое коллективное действо.

Художник-диктатор в СССР — Сталин. Эта идея долго носилась в воздухе, а сейчас ее зафиксировал Борис Гройс в книге, по-немецки названной «Сталин как полное собрание сочинений».

В диктаторстве как жестко оформляющей жизнь идее жизненный выход нашла «конструктивистская» сторона культурфилософии Шкловского. Ее «гедонистическая» сторона ушла в теперешний маскульт. Первоначальная синтетичность, даже синкретичность теории разложилась, распалась на эти два элемента. Первый элемент уже в России изжит.

Перестройка и послеперестроечная литературная жизнь в России не будет реставрацией «Нового мира» с Твардовским, но без коммунистов. «Культа личности» снова не будет, но будет маскульт с Лимоновым как очень вероятным претендентом на роль культовой фигуры.

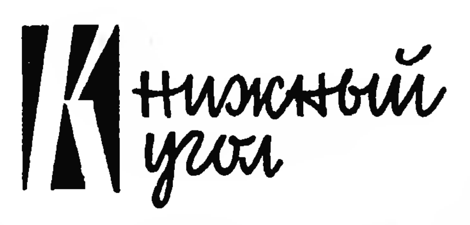
Лимонов — telos русской литературы. С другой стороны, к литературе он имеет не большее отношение, чем рок-стар Мадонна — к христианской религии. Если объединить два эти утверждения, то получится, что литература кончилась, что такой конец и был ее целью. Она реализовала метафоры, сказалась вещно. Назвать это — то есть демократию — торжествующим хамом тоже будет метафорой и нынешнему стилю не отвечает.

Остается только построить демократию в России, то есть накормить Лимонова, чтоб он перестал писать даже то, что пишет.

*Ноябрь 1990*

Пользуемся случаем принести Б. М. Парамонову и читателям извинение за допущенные во вине редакции опечатки в статье «Портрет еврея: Эренбург» («Звезда», 1991, № 1): с. 137, строка 28-я сверху, нужно читать «Фолкнер» вместо «Флобер»; с. 140, 8-я сверху — «светскому» вместо «советскому»; с. 148, 12-я снизу — «Провинциальные» вместо «Принципиальные»; с. 149, 9-я сверху — «интеллигентская» вместо «интеллигентная»; с. 149, 23—24-е снизу — «русский классик» вместо «русский классик — Пастернак».

*Редакция*




***Раздел ведет Ив. Толстой***

## «ОПЫТЫ»

Среди послевоенных эмигрантских журналов, продолживших дело объединения русских литературных сил, заметен был в свое время журнал *О* (1953—1958, 9 номеров). Расположение его редакции в Нью-Йорке было в целом связано с перемещением центра русского издательского дела за океан. *О* были начаты под ред. Р. Н. Гринберга и В. Л. Пастухова и с пометкой: «Издатель М. Э. Цетлина». Со II номера *О* выходили как «литературный» журнал, а с IV номера здесь сменился и редактор — им стал Ю. П. Иваск.

I номер *О* был открыт «Письмом редакции», в котором, в частности, говорилось: «Собирая по свету наших сотрудников, мы им писали, что программа нашего журнала — *литература*, т. е. стихи и беллетристика, театральные пьесы, литературная критика, статьи о человеке и современности, корреспонденции о жизни других литератур и искусств, библиография, анкеты среди иностранцев о проникновении русского языка, мысли и художественного творчества за границу, политическая проза в плане философии и истории.

Дальше мы им писали, что навсегда останемся врагами не только русского большевизма и других явных тоталитарных систем, но в тех родственных идей и взглядов, довольно распространенных, хотя и не столь очевидных в демократическом климате, которые все же направлены на планомерное уничтожение человеческой индивидуальности — единственного источника творческих сил;

что мы желаем освобождения русского художественного труда от партийно-полицейской опеки и избавления от „социального заказа";

что мы не сторонники готовых формул в творческой, художественной деятельности;

что шаблоны, столько раз возвещенные глашатаями разных школ и направлений, оставались, большей частью, бесплодными;

что в искусстве только личная энергия может разрешить возникшую перед ним творческую задачу, в зависимости от замысла и материала, свободно выбранных им. Сообразно этому, главное достоинство созданного произведения заложено в самом произведении, в раскрытии его внутренней закономерности.

Еще мы писали, что дорожим русским дореволюционным просвещением и опытом, когда наша родина в духовно-культурной области жила заодно с Европой, когда радость и скорбь, успех или падение в жизни европейских народов были страстным переживанием и собственным делом лучшей части русского общества, даровитейшие представители которого создали на своем молодом языке, говоря своим голосом, высказывая свою тревожную мысль о человеке, выпевая свои задушевные песни, — бессмертные творения, вошедшие в число общечеловеческих вечных ценностей».

За шесть лет своего существования *О* напечатали стихи поэтов первой эмиграции и тех, кто оказался на Западе в результате войны: Георгия Иванова, Юрия Иваска, Дмитрия Кленовского, Ивана Буркина, Сергея Маковского, Владимира Набокова, Ирины Одоевцевой, Владимира Смоленского, Глеба Струве, Лидии Червинской, Игоря Чиннова, Владислава Ходасевича, Георгия Адамовича, Ольги Анстей, Нины Берберовой, Владимира Злобина, Юрия Одарченко, Николая Оцупа, Всеволода Пастухова, Владимира Маркова. Из советских поэтов на страницах *О* появился только Борис Пастернак — стихами из «Доктора Живаго», а также — посмертно — Осип Мандельштам двумя стихотворениями, не известными к тому времени в эмиграции.

Раздел прозы *О* поместил историософские заметки «Судьба без судьбы» А. М. Ремизова, его же «Дягилевские вечера» и отрывок из романа «Плачужная канава»; два рассказа В. Варшавского; отрывок из романа «Базилисса» Игоря Карузо; отрывки из печатавшегося еще в довоенных парижских «Числах» романа «Аполлон Безобразов» Б. Поплавского; философские миниатюры Карла Гершельмана; мемуарные заметки Александры Толстой «Николка»; рассказы Г. Газданова, Е. Неверовой, В. Яновского, Дм. Леховича и И. Савина; главы из воспоминаний В. Набокова; главу из романа «Загржевский» А. Головиной — о жизни детей в русской эмигрантской гимназии в Чехословакии; миниатюрный рассказ И. Бабеля «В щелочку», исключенный в 1924 году из ленинградского журнала «Русский современник».

Как и вообще русская критика, так и, в особенности, критика эмигрантская теснейшим образом смыкалась с эссеистикой, философской публицистикой, историософскими и культурологическими этюдами. Не составила исключения и критика на страницах *О*. Георгий Адамович продолжил здесь печатание своих «Комментариев», появлявшихся на протяжении четверти века в самых разных печатных органах зарубежья. Была опубликована статья покойной З. Гиппиус «Искусство и любовь» (размышления по поводу «Митиной любви» Бунина: «Попытка изобразить мир в статике, в его настоящем моменте никогда не удается истинному художнику. Отрицает ли он мировой процесс восхождения или просто не хочет смотреть в сторону всей этой метафизики — результат один: воля, не направленная *вперед*, — оказывается направленной *назад и вниз*. Не желая улучшать действительность, такой художник роковым образом ее *ухудшает*... Отчуждение искусства от общей мировой жизни, сепаратизм искусства есть ложь»); заметки Н. Оцупа о поэзии и судьбе Н. Гумилева; доклад С. Маковского «Поэзия Игоря Чиннова»; размышления А. Ремизова о Гоголе; статьи В. Вейдле «Об иллюзорности эстетики и о жизненной полноте искусства» («...почему же выраженное, явленное делается явленным в искусстве, если оно не было явным до него?.. как ни трудится художник и как ни нужен искусству этот труд, все же не плоды его труда созерцаем мы... и не замысел... а то, что он выразил, быть может, сам того не зная, то, на чем в ответ на его подвиг и заботу отпечатлелся, словно лик на убрусе, нерукотворный образ бытия»); заметки Ю. Иваска о Клюеве; философский опыт Ю. Марголина «О лжи»; главы из книги Л. Шестова «Sola Fide»; статья прот. А. Шмемана «О Византии. 1453—1953» («Нужно не возвращаться в Византию, а только в самом мире, в самом человеке снова увидеть все то, что увидело в них христианское зрение Византии»); «Записки читателя» Ю. Иваска; «Заметки на полях» Вл. Маркова; отрывок из готовившейся книги В. Варшавского «Незамеченное поколение» (глава о Набокове); статья Ф. Степуна «Кино и театр» («...нету искусства, которое с такою же силой выражало бы сложную сущность нашей эпохи: богооставленность, научоверие, прометеевское самоуправство, импровизация собственного мира, капиталистическая предприимчивость, интернационализм, потакание массам — все эти черты нашей современности находят исключительно полное выражение и даже символическое ознаменование в лучших созданиях современного фильмового искусства. В этом его смысл и оправдание его бытия») и много других материалов.

Большое внимание в *О* уделялось разделу рецензий и отзывов на книжные новинки. Не удивительно, что в первую очередь рецензировались русские книги, издававшиеся тут же — в Нью-Йорке и выпускавшиеся издательством имени Чехова, самым крупным на Западе в 50-е годы. Это отзывы В. Пастухова на книгу А. Ремизова «В розовом блеске» и исторический роман Н. Ульянова «Атосса»; Ю. Иваска — на сборник «Приглушенные голоса», антологию советской поэзии, составленную Вл. Марковым; М. Кантора — на сборник статей и речей А. Гольденвейзера «В защиту права»; В. Емельянова — на книгу о дальневосточной русской эмиграции, роман Н. Федоровой «Семья», Н. Полторацкого — на политическую биографию П. Б. Струве, написанную С. Франком, а также другие.

Подтверждая свою *журнальность*, *О* стремились информировать читателей о парижских и московских новинках: стихах А. Гингера, Л. Червинской, В. Мамченко, С. Прегель, С. Маковского — их сборники появились в послевоенном издательстве «Рифма», «Дне поэзии», сборниках парижского Института Славяноведения, посвященных русской литературе.

Первые два номера *О* напоминали своей внешностью и печатью довоенные «Числа»; номера выходили обычными и нумерованными. Начиная с третьего номера уменьшился формат *О*, а с четвертого — оформление. Один из редакторов *О*, стоявший у истоков издания, Роман Гринберг, станет в 60-е годы издателем известного альманаха «Воздушные пути».

***Ив. Т.***

# СОДЕРЖАНИЕ



## НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ



## ПУБЛИЦИСТИКА



## ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ



## КРИТИКА



## ФИЛОСОФСКИЙ КОММЕНТАРИЙ



## КНИЖНЫЙ УГОЛ



### *К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ*

*Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении. Рукописи объемом менее двух печатных листов не возвращаются.*

### *К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ*

*Сообщаем, что всеми вопросами доставки журнала занимаются местные отделения «Союзпечати».*
*Редакция не имеет свободных экземпляров журнала для рассылки читателям.*

## В 1992 ГОДУ «ЗВЕЗДА» НАПЕЧАТАЕТ:

Фантастический роман Андрея СТОЛЯРОВА «Монахи под луной».

Роман Владимира КОМИССАРОВА «Сухая гроза» — сатирическое повествование о временах «хрущевской оттепели».

Повесть Бориса НОСИКА «Большие птицы» — остроумно рассказанная история любви московского литератора и молодой англичанки.

«Книга пустот» Виктора СОСНОРЫ — метафорически насыщенная яркая проза известного ленинградского поэта.

Пьеса Бориса ХМЕЛЬНИЦКОГО «Ванька Каин».

## В 1992 ГОДУ «ЗВЕЗДА» НАПЕЧАТАЕТ:

Роман самого известного из неизвестных в России английских писателей Лоренса ДАРРЕЛА «Жюстина» — любовно-эротическое произведение с драматическим сюжетом, действие которого развивается в экзотической Александрии.

Роман Нормана МЕЙЛЕРА «Американская мечта» — книга, три последние десятилетия будоражащая умы читателей в США.

Роман Джона СТЕЙНБЕКА «Короткое правление Пипина IV» — веселое «историческое повествование» о восстановленной во Франции в середине XX века монархии.

Сергей ДОВЛАТОВ — из литературного наследия.

Главы из документальной книги американского журналиста Гаррисона СОЛСБЕРИ «900 дней» (о блокаде Ленинграда).

Стихи и эссеистика лауреата Нобелевской премии поляка Чеслава МИЛОША.

Главы из мемуарной книги немецкого писателя Вольфганга КЕППЕНА «В Россию и еще кое-куда».

Работа английского философа Бертрана РАССЕЛА «Власть».

В рубрике «Мемуары XX века» будут опубликованы: Григорий ПОДЪЯПОЛЬСКИЙ «Автобиографическая повесть» (предисловие А. Д. Сахарова), Борис ВАЙЛЬ «Особо опасный», Владимир ШЛЯПЕНТОХ «Открывая Америку».

Готовится специальный номер, посвященный столетию со дня рождения Марины Цветаевой.

Некоторые интереснейшие материалы 1992 года мы не рекламируем — из-за участившихся случаев пиратской перепечатки другими изданиями текстов, объявленных нашим журналом. Они являются тайной журнала и будут сюрпризом для его читателей.

Всех обладателей годовой подписки на «Звезду»—92 ждет приз:
Вместе с 11—12 номерами журнала вы бесплатно получите книгу, вами же выбранную из списка, который будет опубликован в первом номере за 1992 год.

— Да нет, старики никудышные. Очень хлопотала Сухомлинова — ей отказал. И Макарова — ни за что не отпущу, он мне ответит! Вот вернусь — буду старших охранников хоть сам допрашивать.

— А царь — останется под арестом?

— Да какой это арест! — отфыркнул Керенский длинными губами, они у него и беспощадно умели складываться.— Узникам дают общаться друг с другом, какое ж тогда следствие? Вот на днях заберу охрану в министерство юстиции, тогда разделю царя и царицу, чтоб они совсем не виделись, как полагается,— вот тогда мы кое-что узнаем! — Оживился. Но ненависти не было в его голосе.— Тогда, может быть, и выследим «дело Царя». Дело Царя!.. Да я должен увидеть их сам. Поеду вот в Царское к ним, нагряну!

Чего не хватило во Французской революции: не явился Робеспьер к Людовику сам!

— Чем более революционным будет правительство в методе своих действий,— внушал друг,— тем большую устойчивость оно приобретёт.

— В такой буре — пойдите, сохраните устойчивость! — горько отозвался Керенский, всё ещё бледный.— Послал судебным палатам приказ: кому это удастся, пока по возможности не освобождать уголовников. Ведь что делается: в тюрьмах посжигали дела, теперь никого не знают, у кого когда конец сроков, все говорят — на днях. Теперь всё равно неизбежно давать большую общеуголовную амнистию: кому тюрьма — всех освободить, каторжные работы — снять половину. Скоро дадим амнистию, какой не бывало ни при одном царе!

— Но отчего, отчего ваши министры все такие нежные? — с волевым переливом спросила неуклонная поэтесса.— Почему среди министров, кроме вас, попросту говоря — нет мужчин?

Керенский перебрал длинно-волнистыми губами:

— Не говорите, друг мой. Я сам среди них — просто изнываю. Да! — вспомнил, и ещё на ступень оживился, и обратился к поэту-мужу: — Зачем я приехал? Я же приехал заказать вам популярную брошюру о декабристах — ведь вы же дышите ими, вам легко. Напишите скорей! И напоминайте, и выявите, что декабристы были — офицеры! Это сейчас очень пригодится, это может смягчить трения в войсках. А Сытин закатит тираж тысяч сто!

Муж воодушевился, друг во внимательных очках заинтересовался,— но хозяйка продолжала свой важный допрос:

— А как министры восприняли последний манифест Совета?

— Никак! — возмущался Керенский.— Разве рыбы могут что-нибудь воспринять, не воспринять?

— Но я нахожу... но мы тут находим, что... Манифест — ничего. Конечно, язык эсдечный и есть подозрительные места. Но он возглашает как бы мир без победы? Это красиво. И при этом не зачёркивает войну как субстанцию, как мы её понимаем, символисты: не в грубо прямолинейном смысле всеобщего истребления, но как жертвенное крещение, экстатический подъём, очистительную жертву вселенского костра, в котором и выявляется Мировая Красота. А вы — это понимаете? разделяете?

— Ах, ах! — страдальчески обжал Керенский локтесогнутыми руками свою огурцовую голову.— Эти идиоты просто предают западные демократии! Мне стыдно будет смотреть в глаза французским социалистам, которых я так заверял в нашей верности!

Он оглянул их троих — и испугался их торжественных, загадочных, философских лиц. И в испуге — вскричал, чтоб эти исторические сфинксы услышали! И — вспрыгнул из кресла, и забегал по гостиной, вцепляясь в свой короткий бобрик:

— Исполнительный Комитет — это кучка фанатиков, а вовсе не Россия! Мне нечего делать с этим Исполнительным Комитетом! И с этим правительством размазнéй мне тоже нечего делать! А между тем, не пришлось бы правительству уйти под давлением сепаратного мира, как нажимают тупицы Совета! И что будет с Россией?

И — упал-наклонился к шкафу, как к скале, на его ребро, провисая спиною в глухом френче:

— А вот ещё приедет скоро сумасшедший Ленин — что будет тогда? Я для него — шовинист! А? А??

## 635

В комнате Исполнительного Комитета за все дни так и не прибили вешалки — и шубы, пальто наваливались на диване, на скамье в углу, и там всегда кто-то возился, разыскивая своё. А пустым шкафом задвигали, чтоб не было прямого ходу, дверь в соседнюю комнату солдатской Исполнительной комиссии, в неё тоже уже навыбирали несколько десятков человек. А председатель её поручик Станкевич был и там, и тут.

А сколько состояло членов в Исполкоме — наверно и Чхеидзе не знал точно, они всё что-то добавлялись, то из эмиграции, может быть секретариат успевал знать, потому что каждому члену ИК был выдан красный билет для свободного прохода всюду в Таврическом. А вот Пешехонов и Мякотин, наиболее близкие Станкевичу по право-социалистической ориентации, войти в ИК не захотели, не признавая законности Советов. И седовласый патриарх народников Чайковский, хотя зачислен в ИК, а почти не бывал. И симпатии Станкевича склонились к группе так сказать «правых» здесь — Гвоздеву, Брамсону и Богданову. А ещё ж сюда доизбирали и солдатских депутатов — пяток писарей во главе с Завадьей и Бинасиком, присяжным поверенным. Да ещё была пара военных чиновников от Совета офицерских депутатов, не смевших на Исполкоме и слова сказать. А Капелинский от простого секретаря поднялся в заведующего секретариатом в трёх комнатах, а просто на протоколах сидели у него Перазич и Суриц, тоже не простые писаря, а какие-то партийные, давно кому-то знакомые.

Приезжающие фронтовые депутации иногда допытывались: как Исполком возник и из кого он состоит. Возникало неудобное положение, потому что непартийным людям трудно объяснить традицию революционно-партийных представительств, при которых примитивные общие выборы совсем не обязательны. Да многое было, о чём Исполком не хотел бы дать знать наружу. Он издавал директивным тоном громогласные на всю страну решения — но как они родились тут, оставалось его тайной. Он ни единый день не выполнил своей повестки, под напором внеочередного принимал решения второпях. Изображаемой уверенности в вождях демократии не было, мнения их менялись с большой быстротой, от уходов-приходов сильно менялся состав заседающих — и настойчивый член мог подловить нужный момент случайного большинства для нужного ему решения. А самым настойчивым оказывался Нахамкис, как второй стоячий председатель он перестаивал и подминал под себя, да ещё ж выходил к делегациям и полкам речи держать — а речи те, как вслушался Станкевич, были многословной пустотой и тупым повторением, что внутренний враг ещё не сломлен и эта подозрительная гуманность погубит революцию.

Но больше: что б там на Исполкоме ни было решено, а по стране разносился даже не его голос, а трубный голос «Известий», четверть миллиона порхающих газетных листов, и это был собственный голос Нахамкиса, захватившего «Известия» с тем же самоуправством и безответственностью. Подбор статей и тон их были безобразны, часто голос «Известий» не отличался от самого грубого голоса «Правды», а «Декларацией прав солдата», напечатанной вовсе не как проект, переколыхнули всю армию.

Да десятки членов и не членов вообще самовольно действовали от имени ИК: на бланках с его печатью рассылали разрешения на грабёж имений, как Александрович, или с мандатами Совета и не считаясь с его постановлениями разъезжали по провинции и фронту. А Скобелев требовал предоставить Совету Зимний дворец.

Таков был тот Исполнительный Комитет, в который Станкевич сознательно пришёл и осваивался тут, видя в нём опору для решений и действий. Но — здесь ли она была?

Во глубине России, по новой моде, возникали такие же неведомые, не сосчитанные и неизвестно как выбранные советы, советы — и слали запросы петроградскому Совету, какой же тактики придерживаться? как относиться к Временному правительству? как...? (А минский Совет слал телеграмму: отвяжитесь, не вмешивайтесь в наши дела!) Петроградский Исполком и хотел бы руководить всеми этими местными советами, да не успевал справиться. И всё чаще говорили, что надо бы ещё в марте собрать Всероссийское совещание Советов.

Станкевич всегда был натурой не только деятельной, но направляющей. Он не мог быть пассивным свидетелем хаоса. Высшая задача была: из какого-то опорного центра опередить разлив анархии, не дать ей развалить армию и Россию! И когда он сидел в бурлении двухтысячного Совета — ему казалось: нет, тут толку не будет, действовать только из ИК. Но с презрением наблюдая бестолковое прозябание ИК, его страхи перед конфликтами с рабочими и с таинственным фронтом, как бы он ветром не сдул их тут чертовщинную слаженность, и как ёжились перед распахнутыми лицами фронтовиков; и слушая жалкий жаргон здешних циммервальдистских формул и как они запутались с этой империалистической войной, что о ней думать, и скорей же надо её кончать, и нельзя же стать лёгкой добычей Гогенцоллернов,— Станкевич откидывался: нет! даже с громоздким солдатским сборищем можно кашу сварить надёжнее: оно благоразумней своего Исполкома, потому что солдаты, по крайней мере, стихийные патриоты, их безграмотная толпа настроена здоровей и дружелюбней.

А тут — участились фронтовые делегации. И перенимая общую самовольщину Исполкома — Станкевич, на то не уполномоченный, стал к ним выходить и решать армейские вопросы. Едва ли не каждая фронтовая часть уже слала или хотела прислать свою депутацию в Петроград: узнать, понять, что тут делается — как может существовать две власти (иногда спрашивали о судьбе царя). Но — высказаться и самим. И высказывания их были самые не циммервальдские: готовы до последних сил бороться! ни пяди не уступим врагу! армия не потерпит мира с Германией! мы не хотим, чтобы жертвы прошлых лет окончились ничем, и это позор для России! всё для войны! Мы 24 часа под снегом, дождём и ветром — а как будет работать тыл? и он должен идти на те же жертвы! Боимся только одного: что нам не дадут кончить победой! Мы под пулемётами врага не хотим купить своё личное спасение позором России! Неужели новая Россия заклеймит себя

изменой? И даже: не трогайте Армию, не мутите её вашими крайностями! Пусть тыл спасёт нас от провокаторов-агитаторов, а мы спасём его от немцев!

И эта обратная фронтовая волна, прикатившая в ответ на посланную туда волну разложения — несла надежду! С этими фронтовыми делегациями Станкевич освежался от затхлого воздуха Исполкома и снова узнавал себя (военных лет), свою армию и свою Россию. Может быть, эти делегации и не выражали истинно того, что медленно проваривалось сейчас в дремучих низах армии: делегации могли быть посланы инициативными, энергичными, достаточно просвещёнными группами. Но от этого они не переставали выражать возможную энергию армии. Эту обратную здоровую волну надо всеми силами поддержать! эту энергию возглавить и направить. Ещё армия здорова! — но нельзя терять этот короткий момент — надо выйти ей навстречу честной, открытой и нераздвоенной революционной властью!

А с первых дней революции появился обычай посылки во все места *комиссаров* — сперва от Думы в обезглавленные министерства, смятенные губернии, разъяснителями на фронты. Но если бессильная Дума так посылала, то не стократно ли успешней может послать Совет с его реальной властью? Посылать теперь не временных, но постоянных *военных комиссаров* Совета — состоять нашими советчиками и направителями при самом военном министре, при Ставке, при штабах фронтов, флотов, да пожалуй и всех четырнадцати армий? В момент, когда раскололась власть и на фронтах плохо понимают события,— такие мостики военных комиссаров всё соединят в жёсткую конструкцию: незамедлительно передать директивы, быстро решать все армейские вопросы, предупреждать ошибочные шаги командующих, но и руководить политической деятельностью в войсках и всей системой солдатских комитетов так, чтоб они не вели к развалу. Право же, это было здорово задумано!

И со своими офицерами-депутатами подготовив доклад, Станкевич вчера застиг Исполком врасплох и получил предварительное согласие, записали в протокол.

Так — наступит ли эта твёрдая конструкция? Можно ли её сострить нетвёрдыми руками? В Исполкоме в ту минуту, может, сложился случайный состав. А ведь это ещё надо провести и через правительство?

Сегодня в комнате Исполкома было меньше обычных заседающих, зато натаскано много знамён, венков и плакатов: как раз на сегодня назначались грандиозные похороны жертв революции на Марсовом поле, но в последний день отменили за неготовностью. А всё натасканное пока останется здесь, придавая заседаниям Исполкома торжественно-траурный вид: то рабочий, разрывающий цепи на фоне восходящего солнца, то погребальные венки.

И как раз в эту странную обстановку явился совсем неожиданный гость: министр финансов и миллионер, разодетый и даже благоуханный Терещенко. Заседание уже кончилось, но Станкевич остался посмотреть.

Это был первый министр, который явился поклониться Исполнительному Комитету! — Исполком всё же не рискнул бы вызвать министра. До того молодой человек — тридцати лет ему не было, не старше Станкевича, и до того с углаженной наружностью, без усов, без бороды, по-европейски подстрижен, костюм от лучшего портного, уголок носового платка из нагрудного кармана, крахмальный воротничок, бабочка, сияющая улыбка (а глуповатая),— а вокруг чёрно-красные ленты: «вы жертвою пали».

А из Екатерининского зала доносится марсельеза и вопли, принимают очередной гвардейский полк.

По чьей бестактности этот сахарозаводный наследник и принц киевских шантанов стал революционным министром? Уж после этого ничего более экстравагантного он не мог выкинуть, ни даже вот явясь в Исполнительный Комитет. А явился — кажется только познакомиться и показать свою обворожительность? Обходил, любезнейше жал руки членам, рассыпался в комплиментах, давал понять, что он тоже читал отцов социализма. Как болтовню наполняют светскими мелочами, так он рассказывал тут, что уже перестраивает государственный бюджет на демократических началах. И о чём только просил: прислать к нему в министерство нескольких советских, помогать в этой работе.

Власть! — наша революция давала задуматься о ней. Ведь как будто революция и производится, чтобы свергнуть одну власть и утвердить другую. Но — странное впечатление вызывал вот такой министр, да и коллеги его: как будто они робели перед властью, не понимали её и себя в ней.

Но так же диковаты были и эти революционные пиджаки, которые вот раскланивались с благоуханным министром. Сами-то они брать власть не хотели никак, а «пусть либерализм обанкротится перед лицом широких масс». (И: чёрт его знает, чем ещё кончится эта революция, и эта война, и эти двенадцать миллионов под ружьём, что с ними делать?) Сам Исполнительный Комитет брать власти не хотел ни за что — но связал и правительство так, чтоб оно не имело власти.

Но непонятно осталось: зачем же Терещенко приходил?

А вот что: ведь ничего не сказал о 10 миллионах рублей Совету!

И как-то опешили от его ласковости, никто и не спросил.



## 636

### (армейские фрагменты)

* * *

В Особой армии в гвардейском стрелковом полку Его Величества солдаты отказались спороть с погонов царские вензеля. Генерал Гурко приказал: не принуждать солдат.

* * *

В Каменец-Подольске, где штаб Юго-Западного фронта, генерал Брусилов собрал в обширном Народном доме митинг из солдат и офицеров. Из его речи присутствующие узнали, что Брусилов никогда не любил династии, как ни украшал его бывший царь орденами и аксельбантами, купить его ласками было невозможно,— а всегда оставался верен народу. И что ему всегда претила надоедливая церемония отдания чести, он рад от неё отделаться.

* * *

Командир 22-го армейского корпуса генерал барон фон-Бринкен в момент принесения его корпусом присяги Временному правительству внезапно упал перед строем: умер от разрыва сердца.

* * *

Как теперь понимать отменённую присягу? Кое-где дошло до драки между частями присягавшими и неприсягавшими.

* * *

Батальон из резерва повели вечером работать на передовую линию. По дороге в темноте кто-то закричал: «А что нам идти башку подставлять, что мы, дурные?» И другой: «У всех слобода, а нам башку подставлять?» Офицеры всё же уговорили. Но когда прошли всю дорогу — и всю по грязи — солдаты окончательно отказались. И весь батальон отправили назад в резерв.

Ещё через ночь их водили уже в другое место, по сухой дороге. С перекурами, с переговорами добрели к работам перед полуночью. Повозились малость — и через два часа пошабашили.

А ещё на следующий вечер сказали: «Там на рабочем месте грязь.» И не пошли.

* * *

И две роты 14-го Финляндского стрелкового полка отказались идти на работы, днём. Начальник дивизии генерал-лейтенант Селивачёв, небольшого роста, а с длинным лысым черепом, сам отправился в лес к этим двум построенным ротам, поздравил их с принятием присяги и предложил рассказать, как они её понимают. Вышел унтер-офицер и доложил: раньше они дрались за немцев и предателей родины, а теперь — за счастье свободной России. Генерал громко спросил, согласны ли роты. Ответили, что согласны. Тогда он объяснил им, что долг и повелевает драться при всех условиях. Обещали работать безропотно.

Ещё спросил: а слыхали ли они, что некоторые мутят слухами о выборе себе начальников? Так вот, он предлагает им выбрать вместо себя начальника дивизии, на что даёт им четверть часа. Отъехал с офицерами, через 15 минут вернулся: готово? В один голос ответили: «Только вас, господин генерал, ваше превосходительство!»

Тогда генерал объяснил, почему им трудно выбирать себе начальников, не зная ни жизни их, ни военных познаний.

* * *

Высокопоставленный генерал из штаба фронта поехал сам уговаривать полки, отказавшиеся занять окопы. Вдруг один солдат с безумным видом кинулся к нему, выхватил шашку из генеральских ножен, взмахнул над генералом!!! — и воткнул в землю рядом. И в истерике закричал: «Клянёмся генералу, что поддержим порядок!»

* * *

На митингах требуют: убрать из офицеров, кто с немецкими фамилиями. И просто строгих. И — на кого покажут, скажут. Некоторые младшие офицеры, прежде в чём-либо оскорблённые, теперь удобно сводят счёты с обидчиками, старшими чином: одни — через подставных унтеров, другие сами произносят зажигательные речи.

На одном таком митинге слушал-слушал старый офицер и спросил: а как теперь будет с пенсией за беспорочную выслугу лет?

Оратор с трибуны показал ему кукиш под гогот солдат:

— Фигу тебе в нос, а не пенсию, прислужник старого режима!

* * *

Исполнительный Комитет Совета Солдатских депутатов 8-й армии (Каледина) составился из: двух врачей, одного военного чиновника, одного служащего Союза городов и лишь одного солдата. Переполошился затеей офицеров, чиновников и врачей создать в Черновицах свой отдельный союз; объявили «черносотенной затеей» и «контрреволюцией», «тёмным делом». И натравливали солдат на тот офицерский совет.

* * *

Ахтырский гусарский полк посылал в Петроград своего унтер-офицера «для осведомления». Тот вернулся и доложил своим:

— Совет солдатских депутатов состоит из солдат, никогда не бывших на фронте. Да ещё из

дезертиров — законных и незаконных. А в госпиталях там раненые требуют давать им не чёрный хлеб, а только белый.

* * *

В Петрограде готовились к похоронам «жертв революции» — то есть павших для её торжества. Не хватало трупов. Из лазарета гвардейского Московского батальона собрались везти убитого капитана Фергена... Полковая дама узнала, возмутилась, вывезла его труп из лазарета и похоронила на Успенском военном кладбище.

* * *

В Кронштадте над кораблями и домами — вперемежку андреевские и красные флаги. Строевые занятия как будто возобновляются, но сильно не хватает офицеров, зато много комитетов и комиссий. Приезжали от Петросовета Скобелев и Муранов, было революционное вече на Якорной площади. Кронштадт «согласен поддержать СРД и Временное правительство *постольку, поскольку*». С 15 марта выходит большевицкий «Голос Правды» в тысячах экземпляров. На гарнизонном собрании в манеже большевики выступают один за другим: «Для рабочего класса и крестьянства революции только начинается!» Военные оркестры играют интернационал.

* * *

13 марта 710 полк ополченской 178 дивизии близ г. Рогачёва оказал сопротивление при посадке в эшелон, ехать на фронт. Только после прибытия начальника дивизии офицерам удалось построить солдат и посадить в вагоны.

Два эшелона 445 пехотного полка отказались ехать на позицию: «Воевать хотим, а на позицию не желаем, дайте отдых месяца два!»

* * *

16 марта в Твери генерал Чеховской, которого Совет солдатских депутатов избрал бригадным генералом, явился в канцелярию запасного пехотного полка за городом и вёл беседу с офицерами. Вошли трое вооружённых солдат:

— Генерал! Нам приказано вас арестовать! Следуйте за нами на гауптвахту.

Никакой бумаги не было предъявлено, но генерал беспрекословно подчинился. Ни один присутствующий офицер тоже не возразил ни словом.

Конвой из 12 солдат повёл его, впереди отдельно. Со стороны другие солдаты и штатские стали бросать в генерала камнями. Одним из них раненый в голову, генерал Чеховской упал. На него набросились и добили камнями — без помех от конвоя и даже при участии его.

* * *

728 пехотный полк пожелал видеть своего начальника дивизии в 2 часа ночи. Затем пережелал и согласился на следующий день. К его встрече полк был выстроен в полном составе, с офицерами. Уполномоченные от солдат, под шумные восклицания всего полка, заявили, что просят разрешения послать четырёх депутатов от полка в Петроградский Совет, чтоб узнать, что там у них делается, и сделать им свои заявления.

Уже было соответствующее разрешение по корпусу, и начальник дивизии согласился.

Затем полковые уполномоченные выразили, что их дивизия уже месяц стоит на позиции, а другие дивизии корпуса давно отдыхают в Двинске,— и пусть теперь те дивизии поработают в окопах, а без этого и наша на позицию не пойдёт. И ещё они заявляют, что те части в Петрограде и городах, которые ходят по улицам и вывешивают флаги «война до полной победы!»,— должны быть поставлены в окопы и испытать на себе, как победа достигается. А нам, послужившим на войне, стать вместо их.

Начальник дивизии генерал-майор Попов четыре часа кряду уговаривал, разъяснял, убеждал (как уже и, с 1 марта, каждодневно беседовал во всех частях),— ничего не добился. Солдаты настаивали, чтобы спешно было доложено командиру корпуса и командующему армией, и дать им ответ.

С каждым днём недоразумения всё чаще — по пустякам, а по характеру грозные. Солдаты озлоблены. Уговорят по одному случаю — вспыхивает по другому.

* * *

В 26-м корпусе из дивизионной инженерной роты пришла анонимка командиру корпуса генералу Миллеру — донос на дивизионного инженера, что он не позволяет роте читать газеты, передаёт по все распоряжения Временного правительства и вообще является приверженцем старого режима, а поэтому рота настаивает убрать его и заявляет, что не будет ему подчиняться.

Начальник штаба корпуса поехал в ту инженерную роту. Дивизионный инженер, высокий худой старик, оправдывался: «А зачем им газеты? Что они из тех газет поймут, идиоты? Россия — некультурная страна, и вся революция в ней — дурацкая затея от начала до конца.»

Уволили его тотчас, рота кричала «ура». Но за дивизионным инженером и старший офицер роты подал рапорт об уходе, по мнимой болезни. А рота стала требовать сместить и прапорщика, и фельдфебеля.

* * *

А в одной дивизии 18-го корпуса взбунтовался перевязочный отряд: потребовал, чтоб над ним не было никакого воинского начальника, а медицинский персонал сам бы самоуправлялся.

* * *

В 144 Каширском полку, известном нам по Хохенштейну, где лёг он наполовину, задерживая немцев, и командир был убит при знамени, а другие попали в плен,— в этом новом полку со старым названием теперь арестовали командира полка и полкового адъютанта. Через день, однако, освободили.



* * *

В одном полку на Западном фронте арестовали сразу 17 офицеров, начиная с полкового командира и до прапорщика. Обвинили всех в измене: какой-то денщик слышал разговор офицеров: «Такой кабак с правительством — хоть бери чемодан и иди к немцам». К счастью, приехавший депутат Государственной Думы Щепкин убедил солдат отпустить арестованных. Но начальник дивизии вынужден был взамен этих офицеров дать в полк других.

* * *

В гвардейском Московском полку на фронте третья рота самочинно построилась без оружия, и фельдфебель подпрапорщик Кузнечихин доложил командиру роты штабс-капитану Климовичу 3-му, что рота просит его выйти к ней. Он вышел к ней, поздоровался. Но вместо ответа они по знаку фельдфебеля объявили, что не желают, чтоб он командовал ротой дальше. Климович отправился к командиру батальона с докладом о происшедшем — тем временем рота, смяв ряды, бросилась к землянке, где помещался подпоручик Костылев, объявила ему, что выбрала своим командиром, и стала качать при криках. Климовичу осталось отправиться в обоз 2-го разряда.

* * *

Скомандовали солдатам, что будет полковой парад. Куда его ещё заведут? Не поверили — и зарядили боевые патроны.

В одном полку требуют 8-часового окопного дня. В атаку не пойдут, так как *этой* земли им не дадут.

В другом: «Хотим домой! Хотим попользоваться свободушкой и земляцей! Зачем нам теперя калечиться? Шибко ужасно умирать при таких открытых дверях в России!» Потом уступили: ладно, стоять в обороне будем, но в наступление не пойдём.

Через лавочника солдатской лавки один полк передал другому угрозу: и наступление не ходить, откроют фланговый огонь.

Восемь разведчиков бросили винтовки и перебежали к противнику. («Теперь слобода, не накажут.»)

В германских листовках: Германия сочувствует государственному перевороту в России, отказывается от вмешательства в её внутренние дела и от наступления на русском фронте. «Англия желает воевать до бесконечности и чтобы русский солдат служил ей пушечным мясом. Свергните постыдное иго англичан!»

А Юго-Западное интендантство как раз в эти недели ухудшило выдачи: ржавые селёдки, худая солонина, чечевица. Громче кричали на митингах: офицерьё это нарочно делает, чтоб нас опять вогнать в нижних чинов!

* * *

Уже и такое пополало: офицеров бы кончить, денежные ящики разбить, деньги поделить поровну — да и по домам.

Поделить ротные деньги? Солдаты из хозяйственных мужиков оспаривают: не делить, ещё всей роте нужда будет.

Солдаты в землянках целыми днями режутся в карты. Командующий 4-й армией генерал Рогоза запретил и генералам и офицерам играть в карты до конца войны — чтобы только солдаты не играли. Так всё равно будут.

* * *

В 109 пехотной дивизии нашлись такие развитые-грамотные, что и резолюции написали: установить солдатский контроль над операционными частями штабов. Установить в стране единый прогрессивный подоходный налог, как требует солдатская масса. Конфисковать помещичьи, монастырские и удельные земли. И — пора приступать к мирным переговорам.

* * *

В Брянске вспыхнул бунт гарнизона. При командующем 10-й армией генерал для поручений Марков поспешил в кипение совета военных депутатов, бурно выступил там, добился постановления: освободить 20 арестованных офицеров и восстановить дисциплину. Но после полуночи несколько вооружённых рот двинулись на вокзал расправиться с Марковым и освобождёнными. Толпа бесновалась, положение отчаянное. Марков, перекрикивая гул:

— Да если был бы тут один из моих железных стрелков, он бы вам сказал, кто такой генерал Марков.

Из толпы голос:

— Я — из 13-го полка.

Марков, расталкивая солдат, к нему и за ворот шинели:

— Ты? Ну так стреляй. Пощадила пуля в боях — пусть покончит мой стрелок.

Толпа взмыла восторгом. И под «ура» отпустила его с освобождёнными в Минск.

* * *

Покорнейше просим в нашем 13-м тяжёлом артиллерийском дивизионе полковник биляев, родственник бывшего военного министра Биляева, убрать, который распространяет слухи, что неверте свободе ети люди сегодня красный флаг, азавтра чёрный и зелёный. Депутаты являлись, но как запуганные старым режимом боятся говорить правду. Ещё командир 3-й батареи капитан Ванчехазе, сын Арестованного генерала Ванчехи, разгневанный выстроил всю батарею и говорит, что я Вас подведу под самые пули, что некого не останется, наказывал солдат безовсякой вины, которое могут подтвердит вси батареи, что он изменник Государства, и покорнейше просим убрать нашего внутреннего врага Ванчехазу за старое истязание.

По желаниям, выраженным из Петрограда, генерал Алексеев понял, что Гучкову сегодня не надо устраивать никакой торжественной встречи, а министрам завтра — напротив, надо. И он отдал распоряжение собрать завтра на вокзал штабных офицеров и публику, а сегодня поехал к полудню встречать Гучкова лишь с Лукомским и Клембовским.

Это и лучше, что Гучков приезжал прежде остальных министров, отдельно. Наперёд выступал не политический разговор, очень неприятный, но профессиональный военный.

На перрон всё же стянулось немного публики, кто узнал. Поезд остановился — из гучковского вагона вышло двое юнкеров-павлонов и стали часовыми у входа, отлично держась. В окнах виднелись полковники, сопровождавшие министра.

Алексеев вошёл в вагон, волнуясь: ещё живо было в памяти, как Гучков едва не погубил его прошлой осенью перед императором своими необузданными письмами, так что на некоторое время даже само звучание его фамилии становилось генералу неприятно. Не виделись больше года — и вот он приехал в Ставку не скромным краснокрестным представителем — а в полной власти. Да он и раньше казался Алексееву человеком необыкновенным — своею всероссийской славой, отвагой, своею противотронной дерзостью. Поэтому и сейчас не было ревнивого чувства, что это — штатский выскочка, занявший пост военного министра. Алексеев с тревогой ожидал, как на него Гучков посмотрит и что первое скажет.

Гучков сидел над бумагами в салоне-канцелярии, образовавшемся от разгородки двух купе. В полувоенном френче, а вид усталый. Поднялся без всякой военной подтяжки.

Алексеев отрапортовал с рукой при козырьке. Пожали руки запросто. Немного полегчало: вид у Гучкова был не для разноса.

Сказали по несколько слов. Несколько слов после таких событий! Всё — ничтожно, невыразимо, неперечислимо, а сколько уже отпечатано на текущих лентах аппаратов...

А поздравление с занятием министерского поста — как-то не выговорилось.

Но и, встречно, никакого сочувствия уязвленному Советом положению Алексеева Гучков не высказал. И унизительно было бы жаловаться ему на Совет? А может быть, это и значило, что не надо обращать внимания на газетные статьи?

Гучков представил несколько своих чинов. И — корреспондента «Таймс», зачем-то сопровождавшего его вместо русского.

Фельдфебель павлонов выстроил свою чёткую четвёрку у выхода — и это был весь караул. Проминаясь, Гучков вышел на перрон, пожал руки Лукомскому, Клембовскому, не добавил ничего — и все пошли, сели в моторы.

Этот путь по Днепровскому проспекту за последние недели с разным настроением проезжал Алексеев — то в темноте, то днём, встречая, провожая царя, и всегда с душевным грузом. А кроме этих немногих проездок, он все три недели просидел и пролежал в своём кабинете.

В офицерском собрании был сервирован торжественный завтрак, и все старшие чины штаба ожидали (только оставшимся великим князьям было советано не приходить). Гучков, здороваясь со всеми, иногда и улыбался, а был рассеян. Разговор за завтраком свёлся к пустякам, вполне как бывало за царским столом.

После завтрака закрылись вдвоём в небольшой «государевой» комнате, Гучков сел в единственное здесь кресло, в котором неделю назад томился, не помещался долгоскладный Николай Николаевич. А Алексеев — сбоку, разложив на зелёном сукне стола пачку заготовленных бумаг.

И пять карт фронтов висели на стойках позади их спин, но не пригодились, не дошло до направлений и стрелок.

Алексеев начинал переговоры с правительством — неравным партнёром: и от передвижки всех событий и властей, и от улюлюкающей травли Совета, и от ослабления армии, и ещё не утверждённый в своём посту,— начинал гораздо неувереннее, чем бывало раньше рядом с расположенным, всегда доверчивым императором.

Раньше военный министр совсем и никак не командовал Ставкой. А сейчас — не могло возникнуть и мысли о неподчинении Ставки министру.

Однако в последние дни и даже часы, проведя важные консультации с главнокомандующими, обменявшись подробными телеграммами, Алексеев пришёл к неожиданному выводу, который укреплял его по отношению к правительству.

Консультации были: на что способны, что могут планировать наши фронты в ближайшие недели и месяцы? И, кроме Кавказского, из четырёх спрошенных главнокомандующих один только Рузский — три дня назад просивший четыре корпуса в подкрепление, имеющий двукратное численное превосходство над противником, а желающий трёхкратного,— только он ответил пессимистически: вековые устои сброшены, новые не созданы, отношения налаживаются с трудом, в запасных частях крайнее расстройство, новых комплектований нет и не будет, дезертирства даже подсчитать нельзя, в одном 171 запасном полку не досчитывают 4 тысяч человек,— для нас возможна только оборона! — на



подготовку наступления нет сил. Перед союзниками же следует объяснять поздней весной и распутицей.

И Алексеев, тоже мрачно видя армейское положение, был с тем согласен. Да от Рузского он и не хотел бы наступления, трудно добыть линию лучше, чем Двина.

Но тут же вослед, с Западного фронта, где временно главнокомандовал старик генерал Смирнов (с которым Алексеев как раз хорошо действовал в августе 1915 при окончательной остановке немцев),— пришёл бодрый ответ совершенно противоположного смысла. Он уверенно писал, что если наше политическое расстройство отнимет у нас способность наступать — то тем более оно отнимет у нас способность обороняться: на оборону надо никак не меньше сил и средств, но их придётся рассредоточить на фронте в 1650 вёрст, не зная, где немцы нанесут удар, а при наступлении мы сами концентрируем их в назначенном месте, и при нашем нынешнем недостатке притекающего снаряжения и пополнений — именно это и легче. Лучше наступать, даже без полной уверенности в успехе, чем обречь себя затыкать угрожаемые места. При неудачном наступлении мы в худшем случае останемся на том же месте, а при неудачной обороне мы будем отступать хуже, чем в 1915 году,— по чисто-русской земле и ближе к жизненным центрам страны. Напротив: чем скорей мы втянем войска в боевую работу, тем скорей они отвлекутся от политических увлечений. Да обязаны же мы и помогать союзникам, они вправе ждать нашей помощи.

Михаил Васильич был поражён не самими этими простыми доводами, а — насколько же его в мороки отшибло за эти недели, что подчинённый должен ему объяснять прекрасно ему самому известные принципы стратегии. Так он был травмирован революцией, что потерял ясность взгляда. Да больше всего приходилось общаться с Рузским, а Рузский-то и нагонял паники. Да и правда же Балтийский флот развалился,— и едва освободятся ото льда Финский и Рижский заливы — какой может быть удар по нашему правому флангу?

Но и тем более, значит, чем этого ждать — лучше самим избрать наступление в центре.

А если Гурко примет Западный фронт — то, зная его: он ещё резче будет требовать того, что сейчас Смирнов.

А ответил Брусилов — и пришлось Алексееву покраснеть ещё больше. Когда две недели назад решался вопрос об устоянии армии против революционной заразы и ещё можно было всё спасти — именно Брусилов (с Рузским) мешал собраться совещанию главнокомандующих. А теперь он собрал своих четырёх командующих армиями, и их военный совет решил даже единогласно: армии желают и могут наступать! Наступление вполне возможно! Революционное движение не отразилось пока на нравственной упругости и духе вверенного мне фронта, тлетворное влияние пропаганды скажется лишь при долгом бездействии. Мы перешли к новому порядку в полном спокойствии, вопрос внутренней политики для армии должен считаться законченным, и никаких больше партийных влияний. Пассивный образ действий убьёт настроение, подорвёт веру в высших начальников, войска будут возмущены их бездействием и исчезнет дисциплина. Так же уверен Брусилов, что и военный министр преувеличивает падение нравственного уровня запасных частей: вливаясь в боевые части, они тотчас укрепятся. А первая даже небольшая победа вызовет воодушевление всей России, патриотизм поднимется и напрягутся все силы государства. Да победа нужна нам и для того, чтобы не подорвать веру союзников в нас, иначе они поставят нас в изолированное положение и лишат денежных кредитов. Да победа нужна нам по самым общим соображениям: 1917 — несомненно последний год войны, и как же можем мы закончить бесславно? Конечно, риск есть,— но по ограниченности ресурсов мы вынуждены сузить фронт прорыва и масштаб наступления. И просит Брусилов не предпринимать никаких шагов в смысле отказа перед союзниками от выполнения наших обязательств. Наступление наше возможно начать в первых числах мая.

Да так же недавно думал и Алексеев! Именно так он и писал 9 марта французам: наше наступление начнётся в первых числах мая. Но потом подрезал его первый же Гучков, что правительство ничего не значит без Совета, ничем не распоряжается, не будет ни пополнений, ни снаряжения. И затменной головой Алексеев написал союзникам 13 марта, что наступление не может начаться раньше июня-июля. И в какое же глупое положение, оказывается, он поставил не только себя, но всю армию и всю Россию?

И даже, вот, нерешительный Сахаров, ещё перепуганный всеми румынскими расслаблениями,— и тот ответил, что склоняется к небольшим активным ударам!

И: все главнокомандующие подтверждали, что гурковская зимняя переформировка дивизий была успешна, новые дивизии не уступают старым и увеличилась наша мобильность.

И всё это сложилось у Алексеева — буквально за несколько часов до приезда военного министра. И когда теперь они с Гучковым уселись в государевой комнате для разговора — Алексеев, очнувшийся в своём прежнем убеждении, мог уверенно докладывать. Что морально неустойчивые войска лучше применимы в наступлении, нежели в обороне. А патронов, снарядов и укомплектований для обороны требуется никак не меньше, чем для наступления. По нынешнему нравственному настроению войск и по глубине театра

действий наше отступление теперь было бы губительно, грозней, чем в Пятнадцатом году. Мы не смеем обречь себя на оборону или отложить наступление до июня-июля. А от первых успехов будет всеобщее воодушевление, и — надеется Алексеев — исправится нынешнее недобросовестное поведение рабочих Петроградского района.

А Гучков, по мере того как всё это слышал,— поднимался плечами, выравнивал спину, поблескивал пенсне с растущим удовольствием, и возвращался к нему прежний задористый вскид головы. И даже охотно припял брусиловский упрёк, что военный министр преувеличивает нравственное падение запасных частей. И легко согласился с бурчанием Алексеева — не давать просимых четырёх корпусов Рузскому. Им-то двоим, здесь, было хорошо понятно, что все те шумные заявления их об угрозе германского наступления на Петроград были дуты, лишь для вразумления столицы и подтяжки дисциплины в ней.

Но теперь, укрепясь против министра, Алексеев не мог не спросить: а как же — сам министр? само Временное правительство, если, писал Гучков, оно располагает властью лишь в пределах, допускаемых Советом?

Однако, вот, повеселевший Гучков ответил совсем другое: то было написано в мрачную минуту. Обстоятельства нестабильны, да, но не так страшен чёрт. Постепенно улаживается.

Можно было это понять и так, что правительство защитит Алексеева от травли Совета?.. Гучков не сказал прямо. И генерал постеснялся спросить прямо. А так:

— Значит, Ставка в своих действиях может реально учитывать только директивы правительства?

Да, конечно.

И есть надежда, что правительство обеспечит высылку маршевых рот из петроградского гарнизона?

Да. Да.

Победревший Гучков объяснял имеющее ныне быть соотношение между ними. Английская система: за Ставкой — только техническое выполнение чисто-военных задач, а общие директивы — от Временного правительства. Некоторые прежние высшие функции Ставки теперь перейдут к военному министерству. Генерал Алексеев останется в качестве Верховного Главнокомандующего. Лукомского придётся убрать, да и Клембовского оставить только на переходный период.

Не в силах был Алексеев тут спорить, да и не сжился он ни с тем ни с другим. Да не всё ли равно, с кем работать, если делаешь всё сам? По своей постоянной форме работы он и не нуждался ни в ком.

А начальником штаба Верховного предполагается назначить генерала Деникина, отличный боевой генерал, Гучков надеется — Михаил Васильич не будет возражать?

В такой форме и так поздно спрашивали — что ж теперь спорить?.. (Отличный боевой генерал? — так и место бы ему на своём корпусе...)

Сахарова — в отставку, после его рыданий над падающим императором, заменим Лечицким.

Но Лечицкий уже отказался принять Западный фронт.

Ну а Румынский, свой, примет.

Да переставлять, переставлять — владело Гучковым неутолимое желание. Командующих армиями из четырнадцати хотел снять чуть ли не пятерых! да командиров корпусов — полтора десятка! да начальников дивизий десятка четыре! И верил, что от этого наступит бодрящее настроение среди воинов.

Сидел штатский хромуля — и рвался пройтись ураганом по командному составу. Как будто есть лучшее соответствие, чем когда человек привык к своему посту и к нему привыкли.

Для постоянной связи предполагается держать при Ставке представителей от военного министра.

Когда бывал такой представитель? Зачем?..

Но выбора не было. Разве Алексеев — условно оставляемый, как быть не назначенный, да при арестах ставочных офицеров, тень на всю Ставку, да яростно атакованный Советом и не защищённый правительством,— разве он был в позиции возражать против этих или даже удвоенных реформ? Он должен был проглатывать и своё унижение, и дикие постановления позорной поливановской комиссии, да ещё узнавая их готовыми из газет.

## 638

От того, что правительство разрешило Шингарёву готовить хлебную монополию — бремя его только увеличилось, а колебания не оставили. По всей логике дела, монополию надо было вводить. У прогрессивной русской интеллигенции всегда было убеждение, что государственное регулирование имеет преимущество перед частной инициативой, только в кадетских кругах высказывалось, что бюрократическое государство не сумеет регулировать рационально. Теперь же, когда на Руси возникла свободная государственность,—



теперь-то, кажется бы, регулирование и начать! Все воюющие страны так или иначе уже отказывались от свободы торговли. И перед всеми глазами — блистательный образец германского регулирования. Так почему ж отставать России?

Но Шингарёв сердцем ощущал нечто выше логики: хлеб взрастил землепашец, а государство клало руку: всё моё! И хотя это делалось для пользы всех этих же землепашцев, всей этой Руси соединённо — а было содрогновенное чувство роковой черты. Но только другу своей юности, взятому в заместители, да Фроне Андрей Иваныч об этом говорил — никому более в министерстве, ни тем более в правительстве: это был, конечно, реликт сознания, который надо отогнать.

Как отец семьи не может жить и спать спокойно, зная, что семье грозит голод,— так и Шингарёв теперь стал чуть не отцом всей России: за всякий голод в ней отвечал он.

Простой сельский врач, как ни рачительный о крестьянах,— думал ли он когда-нибудь, что станет главным вершителем судеб всей русской деревни? Что окажется тем главным человеком, который должен накормить всю Россию? Финансы, он видел теперь, была придуманная для него отрасль. А министр земледелия — он был, кажется, настоящий, уж по всей душе.

Да он рад был, да он горд был, что это так. И крикнуть хотелось: Милая! Потерпи! Ещё немного потерпи! Ещё немного поднатужься и помоги — вот сейчас! А мы Тебе скоро всё воздадим.

Но, Боже, какое бремя! — оно ощутимо гнуло и проваливало плечи, и со дня на день становилось всё тяжелей.

Тем временем сведения о проекте монополии попали в газеты и обсуждались там, министра предупреждали от возможных ошибок: спешное введение монополии может отразиться с плачевностью. Посетила Шингарёва и депутация от хлебных фирм. Эта настаивала, более того: в Германии хлеба недостаёт, а у нас много, и введение монополии у нас — бессмыслица. А учёт запасов, напротив, у нас и труден, и не умеем мы. Фирмы настаивали вообще отменить твёрдые цены и отменить все запреты на передвижение хлебных грузов по железным дорогам: только тогда Петроград получит неограниченно хлеба. Да и ясно, что только выгодные цены на хлеб могут подвигнуть и к полному засеву в будущем.

И это было во многом верно! Но на колебательные размышления не оставалось уже ни дня: проект уже разрабатывался в министерстве и неизбежно катился к утверждению — и министерство предусмотрительно уже отбирало себе даже зернохранилища у Петроградского банка. Шингарёв провёл несколько заседаний комиссии по разработке монополии, сегодня работа была почти окончена — и только предстояло ещё пропускать её через Продовольственный комитет, где Громан будет много портить. (Громан нёс бестолковщину на каждом шагу, странно, что раньше думцы не замечали его ограниченности. Теперь он вообразил себя как бы вторым министром продовольствия, от Совета, оккупировал и сам кабинет Шингарёва, поставил стол в середине комнаты, контролировать министра. За тем столом сразу по пять человек курили — а Шингарёв, не курильщик, задыхался от дыма и страдал от шума,— а неудобно было выставить.) Уже было установлено: что весь сохранившийся в зерне хлеб прошлых лет, хлеб 1916 года и будущий 1917 — поступает на учёт и в распоряжение государства, отчуждается им. Владельцам хлеб оставляется лишь по нормам: для обсеменения, для прокормления себя — пуд с четвертью на душу в месяц (почти петроградская норма), сезонных рабочих, скота — нормы должны быть подробно разработаны губернскими комитетами, учесть местные условия, род сеялки, дни усиленного и неусиленного труда каждой лошади, и молодняк скота отдельно от взрослого, и род корма, и род круп. Всякий владелец обязан объявлять количества по видам и места хранения своих запасов. Порядок и сроки сдачи хлеба (по твёрдым ценам) определяются местными продовольственными органами, они же проверяют заявленные данные. Кто отказывается от добровольной сдачи — у того производится реквизиция по особым правилам, по сниженной цене. Обнаруженные же скрытые запасы отчуждаются в пользу государства по половинной цене. (Очевидно, у местных продовольственных комитетов для этого должны быть *силы*, физические.) Также обязательна для владельца доставка хлеба на станцию, пристань, а до сдачи — храненье и ответственность за сохранность, а необмолоченный должен быть обмолочен за счёт владельца. Где нет элеваторов — сушить зерно в хлебозапасных крестьянских магазинах, в частных помещениях.

И ведь не предстояло остановиться на монополии распределять хлеб. Очевидно, при войне, это втянет и глубже: государство должно будет снабжать инвентарём, рабочими руками, удобрениями, кредитом. Подчинить государственному регулированию и мукомолов. А там — регулировать и всю промышленность, и транспорт...

А пока — надо было успевать поворачиваться и распоряжаться как под артиллерийским огнём. В Петрограде — ввести хлебные карточки! (Хотели — с 18 марта, но не успели с переписью населения и не напечатали бумажек, так будет с 22-го.) Телеграфировать во все губернии, чтобы вводили хлебные карточки и там. В Петрограде — запретить всё кондитерское и конфетное производство, выпечку сдобного хлеба, бисквитов, пирожных, исключение для одних куличей под Пасху. Встречный вопль: но у нас недоработанные запасы! Хорошо, на доработку запасов — месяц, и всё закончить после Пасхи. Ввести карточки и на фураж для лошадей, изготовлять для них галеты из жмыхов, отрубей и негодной муки. Завал овса у одних породистых на ипподроме,— так закрыть в этом году беговой и скаковой сезон в столицах, а коней отправить прочь. Не упустить распорядиться и о быстром подвозе яиц в Петроград из Киева. А тут — грянула забастовка ломовых извозчиков: требуют 8-часового рабочего дня. И сразу создался затор в разгрузке прибывающих продуктов, и без того задержанной в революционные дни. А подходило ещё полмиллиона пудов мяса из Сибири — и если

его не доставить тотчас на холодильники, то всё придётся выбросить по начавшейся оттепели. Кого же просить? Только Совет рабочих депутатов, чтобы повлиял на ломовиков.

А тут ещё: старшие чиновники министерства стали подавать в отставку, и особым распоряжением на днях Шингарёв повелел всем оставаться на местах. А младшие чиновники вместо полнодушевной работы занялись созданием республиканского клуба при министерстве. А петроградская Продовольственная комиссия (уже теперь — комитет), заняв недурное здание биржи на Кронверкском, посягала получить Аничков дворец. Пользуясь тем, что ещё не создан общегосударственный Продовольственный комитет, она без дела мешалась и лезла в каждое распоряжение министра, будучи сама никто — призрак революционных дней. Хлеба они не доставали, но при изобилии в петроградских холодильниках битой птицы и мороженой рыбы (раньше о них и не говорили, как о подразумеваемой мелочи) — разрабатывали принудительную таксу именно на эти продукты, что грозило перерывом и в этом снабжении.

Не голод — голод ещё нигде не наступил, его только боялись, — но министр земледелия, поспевая с сегодняшним продовольствием, должен был поспевать готовить и урожай Семнадцатого года, и урожай Восемнадцатого. Продовольствие и земледелие вместе — это и значило: вся Россия на плечах. С юга на север всползала грозная черта распутицы — а за распутицей и за подсыханьем так же неотступно катило с юга на север время посева. А с осени не пахали под яровое, не хватало рабочих рук. На юге полевые работы вот уже начались — и не хватает рабочей силы, инвентаря, семян. И как убедить крестьян довериться, что в будущем им не грозит отобранье зерна, это только сейчас такой острый момент, — и убедить их сеять усердно? Опять же — воззвание. (И Родзянко то и дело катит свои воззвания, понимает: «засевайте поля! хлеб будет куплен правительством по необидной цене!» Уж по какой там будет куплен, но — засевайте, родные!) А ещё воззвать к горожанам: возделывайте сами огороды! А ещё воззвать к городским самоуправлениям: выдавайте льготную землю под огороды! Использовать земли коноплянников, цветников. Создать парники рассад, отпускать семена. Каждый, кто вырастит хоть пуд овощей — облегчит продовольственное бремя России! Департамент земледелия будет рассылать коллекции семян, брошюры по сушке, квашенью, засолу.

Весна идёт! И министерство земледелия должно успеть помочь посевам, в необычной обстановке третьего года войны и второго месяца революции. Инвентарь? У кого нет денег на покупку — для тех устроить коллективное пользование. Снабжение семенами в долг. (Для всего этого тоже потребуются особые органы по всей России.) Разъезжающих депутатов Думы Шингарёв по-дружески нагружал заданиями: обследовать посевные площади и помочь. Но главное — это рабочая сила. Вот, не решаются брать инородцев не то что на войну, но даже на рытьё окопов — а тогда освободились бы крестьяне прифронтовой полосы. (Впрочем, и сарты нужны на хлопке.) Кинулся к Гучкову: в тяжёлых местах разрешить крестьянам отсрочки от призыва. И — дать военнопленных, и дать воинские команды на помощь земельной обработке — ведь запасные воинские части по всей России ничего не делают, пусть помогают местному сельскому населению! И ещё же у нас — 300 тысяч учащейся молодёжи, такой активной и революционной, а вот разъедутся на каникулы — как их потом собрать и использовать? Уже теперь собрать в дружины, инструкторам обучать их земледелию...

И во всём этом кипя — ни минуты не забывать, что посевную площадь надо поддерживать и для будущих лет. Не прекращать ни обследовательской работы, ни статистической, ни мелиоративной.

Андрей Иваныч едва не шатался. Он не высыпался уже чуть ли не месяц, был измучен, пригнулись плечи, потерял неизменную бодрость.

Но и это всё — было не всё! Всё, всё это, что он делал, мог сделать и Риттих при своём налаженном аппарате, не хуже. А министр земледелия революционного правительства должен был ещё — и прежде того! — дать крестьянам землю, многолетне обещанную кадетами!

Несчастная эта прежняя пропаганда о земельном переделе! Какой сейчас передел? Начни сейчас передел — и остановится последнее снабжение городов. Но не только не время им заняться и сил нет, а вот изумление: самой этой необъятной земли для раздачи в России не обнаружилось! Оказывается, даже всю казённую и помещичью землю разделив — в иных губерниях нельзя добавить крестьянину и одной десятины. А все те завидные обещанные десятки миллионов десятин оказались тайгой да тундрой. И не то чтоб это было трудно развидеть раньше, статистика всегда же была доступна, но в спешке и накале борьбы со старым режимом кадетские умы и другие интеллигенты, занятые земельным вопросом, не вникли и не взялись объяснить неистовым передельщикам, да ведь и специалистов всегда не хватало в партии. Что такой земли нет — всегда говорил Столыпин, — отвергали. Посмотреть думские протоколы — так и Шидловский в Восьмом году докладывал об этом Думе, — страстно отвергали. Так пронеслись, как в завороженном сне, — и очнулись теперь, после революции, когда пришло практически делить, и оказалось: три четверти земли и так уже у крестьян. А о н о уже само не ждёт: о н о, грозное, уже первыми дымами подожжённых помещичьих усадеб завиднелось то в одной губернии, то в другой. Да ведь и должно было полыхнуть, и должно было заклубиться, этого и следовало ждать!

Ах, что бы вам ещё потерпеть, мужички! Что бы вам потерпеть ещё один годок, еще этот один последний годок — пока Временное правительство укрепится, кончит войну, созовёт Учредительное Собрание...

Нет, теперь-то они и не хотели подождать!

Что там кипело, в деревенской темени, даже представить было трудно, а предотвратить — нет сил никаких. И несколько дней назад Шингарёв разослал и воззвание к кооператорам: своим нравственным влиянием — не допустите погромов, поджогов, грабежей,



истребления запасов! Хорошо ещё, что пламенные эсеры сегодня отступились от поджогов и разделов: теперь сами призывали крестьян ждать до Учредительного Собрания, а пока увеличивать хлебную продукцию, обсеменять неиспользуемые помещичьи земли. С этим и правительство было согласно: пустующие казённые и помещичьи земли обрабатывать без нарушения принципа собственности.

А сегодня пришла и тревожная телеграмма от московского сельскохозяйственного общества. Под вестями о начавшихся крестьянских беспорядках они тоже торопили: издайте срочное воззвание!

Да! И тут ничего не находилось срочней и действенней, чем прямое воззвание. И Шингарёв сразу начал его набрасывать. Но предрекать и обещать, в какую сторону земельный вопрос будет решён, — этого ни министр земледелия, ни Временное правительство не смели, это было бы неуважением к будущему Учредительному Собранию. Можно только писать, что вообще вопрос будет подготавливаться, вот начнётся разработка материалов.

И на сегодняшнем заседании правительства Шингарёв держал перед собой проект воззвания, ещё меняя и дописывая.

Заседание было на редкость нудное. Четверо министров прямо отсюда ехали на вокзал и мечтали отоспаться хоть в вагоне. Всё текло кредитованием, все просили кредитов: внутренних дел — кредитовать пособия освобождённым каторжанам и ссыльным, юстиции — ещё полмиллиона также и лицам, покровительствующим освобождённым, путей сообщения — 15 миллионов на продолжение дороги до Кандалакши и покрытие перерасходов, просвещения — 2 миллиона на суточные и другие перерасходы, торговли-промышленности — 5 миллионов на перенос рысистых испытаний в провинцию...

И Терещенко важно кивал, кивал, записывал, нисколько не возражал, как будто деньги у него были немерянные.

Стал Шингарёв докладывать своё воззвание — волновался: ведь знаменательный исторический момент для России, либеральные круги впервые сами останавливают крестьянскую мечту!

Но министры не заметили ничего необычного. В той же дрёмной текучей манере согласились, без прений и поправок.

А Некрасов, как проснувшись, сказал свежим голосом:

— Это идея! Я тоже такое воззвание напишу, от имени правительства. На станциях солдаты бесчинствуют — нет управы. Насильничают над железнодорожными служащими, переполняют поезда, — а если ось лопнет, да крушение? Напишу.

* * *

## *ПОДУМАЕШЬ УМОМ — ГОЛОВУШКА КРУГОМ*

* * *

## 639

Жить оставалось только надеждой, что через месяц-два всё устоится, угомозится — и боеспособность армии восстановится. Но по всему, что капитан Клементьев видел в своей батарее и слышал из окружающей пехоты, — солдатское настроение, напротив, раскачивалось и стало такое переменное, что у офицеров опускались руки. За порывом тёплого разговора — тут же какая-нибудь дикая выходка или недоброе слово, дослышанное. Пойдёшь от нечего делать пушки осмотреть — из землянки выглядывают, бурчат: «Вот, заноза, дырку в целке ищет.» И что было правильно: тотчас же пытаться поставить ослушника на место — или не замечать и ждать, что сами убрыкаются?

От начальства получить указания было не от кого. Командир дивизиона продолжал линию, что революция — к лучшему и нас спасёт. А командир батареи, и всегда-то широкой плывучей комплекции с расплывшейся лысиной на голове, — ещё разрыхлился, расслабился и в землянке всё раскладывал пасьянсы.

— Да-а-а, — говорил с сожалением или завистью. — Теперь многие офицеры отпрашиваются в госпиталь. Собирался и я заболеть, да совесть не позволила. Если б не долг войны — взять да и уйти, пусть управляются сами. Но надо всё-таки, знаете, спасать Россию. А с кем, спрашивается, спасать, если солдаты из окопов убегут? Уж вы, Василь Фёдорыч, прошу, держите батарею, — вы молодой, духом крепкий и происхождения народного, к вам доверия солдатского больше. А нам — теперь трудно стало с солдатами разговаривать. Хоть и признали мы безропотно новый строй — а всё бесполезно.

Не он один отошёл — как-то вообще офицеры разъединились перед солдатским недоверием, перед газетной пакостью. Соединённые годами войны — теперь вдруг разроз-

нились, не было дружных решений, не было единства мнений, каждый сам избирал линию поведения.

А солдаты, пожалуй, наоборот: они теперь искали будущего все вместе. Чернобородый мрачный медлительный Хомутов выразил это так:

— Теперича свово обчества надо держаться. Ежели чужим будешь, храни Господь подранят где,— на перевязку не подхватят. Санитары теперича в очко режутся.

Безработные санитары резались в карты, да, но и свой батарейный ветеринарный фельдшер не только перестал опекать ковку лошадей, но где-то в близком тылу наладил самогонный аппарат, сам был пьян и других угощал, ездовых.

Фельдшеры — это была известная обиженная категория: 4 года они учились, а получали только унтерский чин. И все их зовут на «ты». И в мирное время ещё 6 лет должны были служить — куда после этого пойдёшь? Всегда недовольные, завистливые к офицерам, они теперь и потянули в революцию.

Клементьев нагрянул к фельдшеру, аппарата не нашёл, но самого застал в дымину пьяного: с койки поднялся, но шатался, и весь растрёпан.

— Вы знаете, что пить спиртное на передовой — запрещено? — отчитывал его капитан.

— Эт-та — остатки царских приказов! — отмахнулся фельдшер неровным движением.— А мы теперь держим — новый режим!

— А кто вам разрешил стоять вольно?

— А я смирно никогда и не умел! А теперь наша взяла — чего тянуться? Власти у вас уже больше нет, котора была при царе. Теперь каждый — себе голова! Не Девятьсот Пятый вам год! — не повесите, не расстреляете...

Уже и остановить его было нельзя, на пять слов капитана вываливал полсотни своих.

— Да не боюсь я и даже Бога!.. И вся сознательная пехота на моей стороне!

А на поясе, на шнурке, висел у него финский нож.

И ушёл от него Клементьев ни с чем, с позором и бессилием.

И что, правда, он мог сделать? Никаких наказаний у командиров не осталось. Он только мог просить батарейный комитет рассмотреть дело этого фельдшера.

Если комитет ещё что-то решит.

И если фельдшер раньше того времени сам не дезертирует прочь — кто его теперь тут удержит?

Этой фельдшерской историей капитан Клементьев был ранен горестно: да, вообще — теперь всё возможно, и такое. Но — в нашей батарее? Но в нашей!..

Как туча мрачный, возвращался он от фельдшера на батарею. Как же оставалось управляться? Только фейерверкерами: они не стеснялись ругать своих по-прежнему и ругнёй заставляли поворачиваться.

Но вернулся на батарею — ждало его не приятней. В землянку к нему постучали. Впустил. Вошли Прищенко и Евграфов — по близкому без шинелей, но и без шапок, как никто не ходит, и в отхожее место шапку надевают,— а затем, наверно, чтоб не козырять? или чтоб не снимать их? Вошли — набавляя себе больше значения или смелости — Прищенко поддуваясь, Евграфов покачиваясь.

— Что, ребята, скажете?

— А вот, господин капитан,— начал конечно Евграфов, как городской он всегда был для разговору первый, начал насмешливо позвенивающим голоском,— есть вопрос хозяйственный. Отрегулевать надо.

Мог бы Клементьев — да время тому прошло — указать на устав: что надо обращаться через своего фейерверкера. Да ведь Прищенко теперь и член комитета, куда же старше.

— Хозяйственные вопросы вы теперь на комитете и решайте,— попробовал отвести капитан.— Или с фельдфебелем, как положено. Никита Максимыч и хочет, чтоб вы всё кухонное и одёжное сами отпускали.

— Нэ як, господин капитан,— возразил Прищенко, у него и движение рук стало важное, да не по швам они и висели.— Фельдфебель тут нэ прикасается, тут господов офицеров дило.

— Ну что ж,— вздохнул Клементьев. Сам сидел и их пригласил.— Что ж. Выкладывайте.

Так вот: прослышали они (только писаря и могли их натравить), что в батарее есть такие «економические деньги». Так — отчего от солдат их скрывают? Почему не объявят и не поделят?

И смешно, и тошно.

— А вы знаете, братцы, что это за деньги? Их от вас никто не отбирает и никто не скрывает, они проведены по книгам. Такие суммы установлены аж от времён Петра Великого. Если батарея сэкономит по сравнению с казённым отпуском, например получит фураж, а прокормит лошадей на подножном корму,— так вот она имеет экономию. И может тратить её на батарейные нужды, для вас же. Вот например всем вам куплены непромокаемые плащи, а в других батареях ведь нет. Это — на эти деньги. Они и есть для вашей нужды.



— А вот как раз теперь, господин капитан, и нужда! — ловкой приказчичьей скороговоркой перехватил Евграфов. На его непоросших щеках девически-гладкой кожи проявился румянец.— Нужда теперь эти деньги по нижним чинам разделить, на питанию, на кто что хочет.

— А вот это — никак нельзя,— возражал капитан рассудливо.— Такого порядка — нет, командир батареи не имеет права. Но вы — будьте спокойны.

— Никак не можем быть спокойны, господин капитан! — ещё больше румянился Евграфов, но только не от стеснения.— Тревога нас гложет. Мы к вам — не от себя, мы — депутатами от народу.

— А вот,— словил Прищенко капитана на прищур глаза.— Цим литом распорядывся фельдфебель нам сино косить, тамочки, биля второго резерва. Нам и не в голову, мы скосили — а ить ниякой доли с того не ймали. А нонче вот докурлыкиваем: то ж не служба военная була, то ж економия, а на нашем горбу? Так с того — нам полагается получить?

Оспой нарытое его лицо всё было захвачено этими ускользающими деньгами.

— Нет-нет, господин капитан! — семенил языком и Евграфов.— Надоть хозяйственные книги всех прошлых лет проверить нашим депутатам. Може нас обворовывали? — а мы скудаемся.

Такой разговор, такие подозрения вслух — быть не могли две недели назад. А сейчас Клементьев хоть бы и рассердился — не мог ни крикнуть на них, ни выгнать, ни даже и отказать.

Но рассердился он только на писарей, за их ядовитую болтливость. А эти ребята — что ж... Клементьев и сам знал по своему голодному нищему детству, как легко в обездоленьи питается подозрение и зависть к высшим.

Этим — что ж, он обещал: доложить, добиться, комитету покажут и хозяйственные книги, отчего же. Даже и хорошо, что комитет этим займётся.

Он-то знал, что в батарее всё чисто, по закону.

Только — ведь они на этом не успокоятся, будут и дальше, и дальше наседать, смотришь, и оперативные планы потребуют.

Дожила наша армия!..

А вскоре после них ворвался в землянку угольнобородый с горящими глазами фельдфебель Никита Максимыч. Ему бы вот и рассказать, пожаловаться насчёт писарей и хозяйственных книг,— но мрачно его принесло, и своим занятого.

Такого и не бывало: не спросясь по форме — плюхнулся на табуретку, шапку скинул с хлопом и голову свою чернокудлую подпёр об стол локтями, как какой Пугачёв. И сидел во мраке, отдышивался.

— Что с тобой, Никита Максимыч? — даже испугался капитан. Что-то он, видать, учинил.

— Ничего не знаете? — дохнул как по-пьяному, а воздухом трезвым фельдфебель.

— Нет.

— От начала не знаете?

— Нет.

— Ну, хорошо. Тревожились меньше.

И сам тоже не торопился говорить. Вытянул по столу руки, привычные к власти. Ладони потёр.

Схлопнул ими.

Посмотрел из мрака, исподлобья, из-под пугачёвской космы:

— Этой ночью из обоза второго разряда укатили два конюха — Клёцкин и Безбатченко. И прихватили два мешка муки. Мне доложили насвету, я — за ними верхом, на Черногузе. И догнал подлецов на боковом просёлке! — Глаза его сверкнули царским гневом.— Лошадей у них — отбил, повозку. И муку отобрал.

Бесовство в глазах запрыгало:

— А самих дезертиров — не-об-на-ру-жил. Безо них воротился.

— Как?? — уж и зная Никиту Максимыча, не понял Клементьев.— Как же так — не обнаружил?

— Вот так, не обнаружил! — по усам, по бороде сухо и грозно утёрся фельдфебель.

— Так ты... ты... ?

— Я ж один был, а их двое! Ещё я их в госпиталь повезу, сволочь такую? На дороге оставил.

## 640

Господи Всевышний! Мы ещё смеем скорбить, мы ещё смеем жаловаться! Да оставь нам живыми наших детей!

Как тяжко, но и — промыслительно, но и — объяснительно налегла болезнь всех пятерых детей на эти чёрные дни трона и царской четы. Уже три недели болезней, Ольга и сегодня не поднялась, а приноздавшие Мария и Анастасия вот погрузились в новую

бездну жара, у Марии 40,9, дышит из кислородных подушек, у обеих — воспаление лёгких, оглохли обе от воспаления ушей, Анастасию рвёт, Мария бредит. Обе лежат в тёмной комнате, и уже совсем измученная Аликс подле них.

Страх был: что Мария умрёт. Очень плоха. Всё колебалось на весах Господних.

Много раз в день молились.

А наследник в этот раз проболел легче всех, вот уже выздоровел, и даже бегал. Из-за своего всегдашнего нездоровья, оттого отставания в занятиях, он был моложе своих тринадцати лет: вот забывался в играх ото всего отречения, от всех изменений, совсем ребёнок.

А Татьяна, тоже уже на ногах, самая гордая и замкнутая из сестёр, со скорбным лбом,— напротив, всё усвоила, ничего не забыла ни на минуту. Да ведь, Господи, уже взрослая женщина, уже за двадцать ей, а Ольге и за двадцать один. А что теперь ждёт вас, девочки, какие и где женихи? Теперь и румынский принц откажется.

В положении семьи можно было ожидать только ухудшений. Отвечено было, что ни Львов, ни Гучков, которых просил приехать государь,— не приедут. Вместо того приезжали правительственные комиссары — проверять, как выполняются инструкции содержания узников. Объявлено было, что по ведомству бывшего Двора и Уделов комиссаром назначен Фёдор Головин, когда-то гнусный председатель Второй Думы, потом капиталист, концессионер дороги на Екатеринбург, язвительный, мелко самолюбивый и ненавистник государя. В его руки теперь попадали и все дворцовые службы, и о содержании вдовствующей императрицы предстояло ходатайствовать тоже перед ним.

А судя по газетам — происходил поворот всё больше в сторону обвинения императорской четы, грозили следствием и судом. Предстояло практически думать: кого брать защитником? Кони?..

У коменданта Коцебу возникли неприятности от начальства. Очевидно, были доносы на него от дворцовой прислуги и от солдат, что он слишком благоволит к узникам и даже дружески обращается,— и как бы не заменили коменданта.

Очень будет жаль. Всё больше понимали арестованные, что режим содержания гораздо больше зависит от лиц, чем от инструкции. Когда в караулы попадали хорошие офицеры, солдаты — сразу чувствовалось в быту и на прогулке отношение другое.

Но эти, кто доносил,— зачем же не ушли, остались служить? Для измены?..

Между тем подробно печатали газеты речь германского канцлера Бетмана-Гольвега. Читая её, Николай заметил, что газета дрожит в руках. Это было — первое германское публичное высказывание после переворота. Для Николая это было — как голос самого Вилли.

Уже давно, три года, всё сердечное было порвано между ними. После коварства Вильгельма в июле Четырнадцатого — они стали враги насмерть и навсегда. Но — столько лет дружбы невозможно было выскрести из груди и всё забыть. И в минувшие дни нет-нет да всходила мысль: а что теперь Вилли? Что думает он о падении русской монархии? И — начинал ли бы он войну, если б это всё предвидел?

И вот — пришёл от него ответ на всё. Речью канцлера.

Царь пал жертвой своей трагической вины: он попал под влияние держав Согласия. В Девятьсот Четырнадцатом он остался глух к напоминаниям Вильгельма о вечной дружбе. Россия прикрыла преступное сербское нападение на Австро-Венгрию. А в декабре Шестнадцатого первая из наших врагов с презрением отвергла наши мирные предложения.

Беспросветно. Беспролазно. Никогда не объясниться. Но — дальше??

Германия никогда не поддерживала реакционный русский режим против освободительного движения. Император Вильгельм всегда советовал Николаю II не сопротивляться реформам. (Да напротив же: он советовал не опускать повода, никакого соглашения с мятежниками, а грянуть речью к народу из стен Кремля.) Царь не послушал его советов. Трудно выразить даже чисто человеческое сочувствие павшему царскому дому. Вздорны слухи о намерениях Германии оказать содействие в восстановлении власти царя.

Боже, как он ожесточился... «Трудно выразить сочувствие»...

Суди тебя Бог, Вилли.

Впрочем, надо вспомнить честно: и Николай же ожесточился. Обещал Палеологу, что лишит Гогенцоллернов права представлять Германию в мирных переговорах.

На Земле между ними было кончено всё, навсегда.

Но ещё не кончена речь канцлера. Но Германия не смежила воинственных очей: на Востоке Германия добьётся своих национальных интересов! Мы будем следить за событиями хладнокровно, с готовым для удара кулаком.

Боже, Боже! Сохрани Твою Православную Русь...

Нет, не ошибочен был роковой выбор России! Германцы — чужие нам отвеку. Слава Богу, что есть у нас верные союзники в Европе. Вильгельм — никогда, значит, не был искренен, всегда враг. А Георг — и родственник, и верный.

Странно, однако, что так и не написал, не отозвался.

Надо бы разбирать книги и вещи, откладывать, что с собой в Англию брать.



Хотя ехать к ним туда — не хочется. Всегда охотно путешествовал Николай за границу (не так уж и много). А сейчас, когда подступила почти неизбежность отъезда,— вдруг стеснилось в нём, сколько русских мест он уже не повидает никогда (а ведь было всё доступно! мало ездил) и скольким святым местам не поклонится. (Как упустил? Благодаренье Богу, что ездил в Саров.)

Хотя и замкнутый то в Петергофе, то в Царском, то в Ливадии — Николай, однако, повседневно ощущал своё единство со всею Большой Русью: он пребывал — в ней, единством с нею крепился в шторме зложелательства образованного общества, высшего света и даже династии. И уверенно знал, что отдалённый пахарь и неведомый косец — постоянно знают своего Царя, пусть и немы, не слышно их в столичном гвалте.

И всегда непритязательный в потребностях, а сейчас, тем более, уже отделённый от трона и даже тяготясь ещё сохранённой по инерции, не его приказом, церемонийностью,— всё те же ливреи шествовали важно, всё те же камердинеры предупреждали приход редких теперь и незваных посетителей, и те же скороходы в галунах и со страусовыми перьями сопровождали их,— Николай всё более готов был расстаться со всем этим начисто. Только Ливадию одну было жалко, Ливадию хотелось бы сохранить, Алексею там очень хорошо. Но если и это будет невозможно, а надо бы определить свою жизнь не на оставшиеся месяцы войны, а уже до конца, навсегда,— то предпочитал бы он поселиться простым крестьянином в России, в самом скромном уголке родины, да даже хоть и в Сибири,— чем ехать на постылую, постыдную, скандальную западную популярность или вечное бездомное гостевание — да и на какие средства? никаких средств на Западе не было у него.

И только если уж никак не исполнимо, если присутствие его в России может повредить государственному спокойствию — тогда он готов подчиниться изгнанию.

Эту истекшую неделю заточения и начавшуюся вторую, несмотря на грозные признаки вокруг, Николай с каждым днём всё более чувствовал умиротворение и распрямленье души. Такое настроение было: если бы сейчас и все хором просили бы вернуться на престол — ни за что бы не вернулся.

Прошёл первый ожог развенчанности — и он обнаружил, что ему легче и проще обращаться с людьми,— стало легче разговаривать с людьми, вот как! Он и раньше предполагал в людях более искренность, чем искательство,— но уж теперь-то и вовсе мог рассчитывать на откровенность тех, кто был к нему хорош.

Во всё царствование он старался принимать решения по совести — насколько это было открыто ему. И никогда не принимал решения в гневе, но всегда давал себе охладиться. И к врагам своим — вот Гучкову, Милюкову, никогда не был преследователен и никогда не арестовывал их, как вот они его. И не применил низких усилий цепляться за власть: едва почувствовав себя помехою, тут же и ушёл.

Говорится: царю — пуще правда нужна. Царю нужна правда больше, чем кому-либо из живущих.

Он оттого был внутренно спокоен, что твёрдо верил: и судьба России, и судьба его семьи находятся в руках Господа. Господь поставил его так, как он стоит. И что бы ни случилось — надо преклониться перед Его волей.

В эти последние дни — заблистал наружный мир. Погода переменилась на солнечную — вчера, сегодня стояли лёгкие весенние морозцы, задерживающие таянье, но всё залилось светом весны. Как поднялось настроение!

Каждый день долго гуляли с Долгоруковым,— слава Богу, не запрещали. Приучились совсем не замечать охраны вокруг и не досадовать на выходки её, если те случались. Да довольно пространства и здесь — если не верхом, если не пешим гоном, а с работницей снеговой лопатой. Чистили, чистили снег с разных сторон, друг другу навстречу, и кончали дорожку у старой беседки.

Николай — наслаждался этими днями! И как увлекает такая работа: из бело-радужной массы, в ослепительных точках всех цветов, вырезать лопатою ровные кубы этого сказочного вещества, перекидывать их — а самому вдвигаться, вдвигаться в белую стену. Ничего в мире больше не видишь, кроме этого, Богом созданного, бело-сверкающего моря.

## ДОКУМЕНТЫ — 30

**17 марта**

**ЛИЧНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ГЕОРГА V СТАМФОРДАМ — БАЛЬФУРУ, МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ**

**...Его Величество не может не испытывать сомнений не только по поводу опасностей переезда, но и из общих соображений целесообразности: желательно ли, чтобы императорская семья поселилась в этой стране.**

## ВОСЕМНАДЦАТОЕ МАРТА

### СУББОТА

### 641

Большое помещение с высокими и тёмными потолками, наполненное шумным безалаберным множеством людей, лицами в разные стороны. Откуда-то понимает Варсонофьев, что это — Биржа, и он тут зачем-то стоит. Но не успевает ни приглядеться, ни — что они делают (только разговаривают громко все). Вдруг властно голова его поворачивается, обязанная смотреть. Мимо него входит в зал — мальчик с дивно светящимся лицом, и слоано он хочет объявить всем необыкновенную новость. Он проходит мимо, держа в руках перед грудью какой-то небольшой сверкающий предмет,— проходит на середину зала, свободно, как будто тут не столплены густо, там останавливается, приподнимает что в руках! — и вдруг в едином жарко-ледяном дыхании, дыбящем волосы, охватывающем весь зал (всех тут!), Варсонофьев понимает, что этот мальчик — Христос, а в руках у него бомба! — ужасного взрыва для целого мира — и сейчас, через секунду, она взорвётся!

И не выдержав содрогновения, нестерпимого ожидания взрыва — проснулся.

Ещё и в яви обнимал его ужас этого космического подошедшего взрыва.

Такие сны он записывал. Потянул за ниточку стебель ночника, тот зажёгся,— хотел записать на клочке, как делал всегда, чтобы скорей потушить и заснуть. Но так сильно он был охвачен, что всё равно нескоро заснёт.

И с лёгкостью встал в прохладное, взял халат с кресла, в халате пошёл к бюро, сел, зажёг настольную лампу, из ящика достал тетрадь снов и стал записывать туда.

Он давно перестал понимать сны как сочетание бессмыслицы. Бессмыслица и путаница отделялась сама, тут же и забывалась. По меньшей мере наши мысли и чувства во сне — наши истинные, и мы отвечаем за них. Но Варсонофьев знал, что почему-то избран принимать и тайнопись вещих снов. Психологически безошибочны были и все его сны с близкими, он истинно воспринимал, и на большом расстоянии, кто что чувствует. Правда снов не в ситуации, а в настроении.

Однажды приснилось ему, что он подходит к маленькому фонтану и понимает: если приблизить губы к его струе и шептать — то по струе передастся как по телефону, и кто-то другой в далёком фонтане всё услышит. Мно́ги способы передачи чувств и мыслей, мы не во всё верим. Не раз бывало, что Павла Ивановича тянуло к телефону — и он шёл, и по пути раздавался первый звонок.

У Варсонофьева была уверенность, что все события нашей жизни и другие лица связаны с нами и друг с другом не только теми явными причинными и следственными связями, которые видны всем,— но ещё и связями тайными, которых мы не услеживаем, даже не предполагаем,— а они не только существуют, но властно влияют, но формируют души и судьбы.

Из каких-то неведомых Божьих глубин к нам постоянно притекает на поддержку и сила, и сознание.

Но сон сейчас так сотряс его, ещё вот оставался страх в теле. Варсонофьев постарался записать точные минуты, когда это приснилось.

И ещё сидел, старался вспомнить точные оттенки смысла, ощущения, ведь они сотрутся потом. Что это была за Биржа? Не петербургская, не московская, и может быть даже вообще не Россия или, во всяком случае, не одна Россия. Это какой-то смысл имело — всеобщий.

И хотя нестерпимо было пережить этот взрыв — но он был не просто уничтожение, он был и Свет, слишком светилось лицо мальчика.

О! сколько было сил непознанных! В каком-то непостигаемом объёме совершалось нечто великое — и может быть только слабым отображением были те завихрения на улицах русских городов в последние недели.

Но — зачем посылаются такие сны, вот ему, ещё кому-нибудь? Ведь о них невозможно объявить, на них невозможно сослаться, никого научить, ничего доказать.

Предыдущая запись его в тетради была: «Сны анемподиста в Анапобожьи». Так — приснилось ему, не кто-нибудь сказал это вслух, а — ясно вошло в сознание: что это — его сны так называются, что якобы край, где всё это ему видится,— Анапобожье. Очень понятно было, что — Богов край, но всё в целом не улавливалось.

У снов был свой язык. То снилось ему выражение «на тайло́к» — и он сразу понимал, что это значит: тайно. То на какой-то узорчатой решётке, как бы ворот, от невидимой руки выкладывалась надпись металлической вязью, тут и застывая: «Кто не был князь — поди, ведась». И во сне — ему был вполне понятен и значителен этот смысл, а вот записывая — уже не мог ухватить.

А ещё предыдущий записанный сон, на прошлой неделе, был таков. Будто находится Варсонофьев в церкви, но — ночью, на закрытой сокровенной службе, и церковь почти



пуста, присутствующих с дюжину — есть священники, есть миряне, все мужчины. И понятно ему, что церковь эта — в России, но вся Россия — под властью каких-то страшных врагов. А эти здесь собрались на обряд *запечатления* церкви — то есть запечатания её на долгое время, как запечатывались храмы старообрядцев. И запечатление это будет вот в чём состоять: на аналой посреди церкви уже положены три больших серебряных креста (не помещаясь, чуть с перекрывом друг друга, так ясно это видно) — и в ходе службы старший священник зальёт их вместе расплавленным белым воском, и так они застынут надолго. И ещё знают они все: что п о с л е этого обряда их всех должны посадить в тюрьму, за то что были здесь, и это неминуемо, и они к этому готовы. А власть врагов спешит, чтоб этот обряд не произошёл: они хотят, чтобы церковь не успела запечатлеться. А в обряде тоже спешить нельзя: теперь они все должны лечь на каменный пол ниц и так оползти всей чередою все церковные стены кругом, лишь потом будет запечатление. И Варсонофьев, ползя, думает — как потом успеть дать знать дочери, Марине, о своём аресте,— и вдруг слышит её надрывный плач. И не поднимая головы от пола и не поворачиваясь, он видит другим каким-то оком: Марина в крестьянской вышитой рубахе стоит на пороге храма, не смея войти на обряд, и плачет, уже всё, всё поняв.

Он продолжал ползти ничком со всеми — и как-то продолжал видеть на входе рыдающую Марину — такую русскую, в этих вышитых вздувных рукавах, такую родную и понимающую — как будто никогда, ни на сколько они не разделялись, не размежались: они снова были душами слитно, всё иное вмиг отшелушилось как случайное. И уже неважно было, поймёт или не поймёт она теперь о его аресте,— важно, что она — видела запечатление. Будет свидетель!

Что это? Откуда это всё сочеталось?

Однако сегодняшний взрыв из рук светлого мальчика выходил и ещё гораздо шире этого всего.

На улицах, а больше в редакциях, а больше на страницах печати хлестало опьянённое веселье. Павел Иванович не узнавал знакомых — так они были победны, так залётны в мечтах. Но сам он ходил среди них — осунутый, со свечами тревожных глаз.

Он — никого никогда не мог переубедить своими статьями, над ним посмеивались как над чудаком несовременным. И что группа их 8 лет назад предсказывала в философском сборнике — ни тогда никого не убедило, ни сейчас никому не вспоминалось.

Так — ещё кому же он мог передавать и сны?

Все удивлялись, как сразу, без мрака, разразилось всеобщее ликование.

И не видели, что ликование — только одежды великого Горя, и так и приличествует ему входить.

Все удивлялись, что для колоссального переворота никому не пришлось приложить совсем никаких сил.

Да, земных.

### 642″

**(по свободным газетам, 16—18 марта)**

**СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ НАКАНУНЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ВОЙНЫ ГЕРМАНИИ.**

**ВАНДАЛИЗМ ГЕРМАНЦЕВ. Потопление...**

...Весь интерес борьбы на море сосредотачивается на борьбе двух блокад — английской надводной и германской подводной...

**Германские планы.** По сведениям из германофильских кругов в Швейцарии, германское высшее командование, в связи с революцией в России, отказалось от наступления на Францию и Италию и готовит удар на Петроград.

...По-видимому, германцы готовятся к нанесению России сокрушительного удара, возлагая надежды на якобы наступившую дезорганизацию русской армии. Они надеются занять Петроград и продиктовать оттуда условия мира державам четвертого Согласия. Но это может вызвать негодование среди демократических элементов германской армии.

О МАНИФЕСТЕ СОВЕТА РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ.

Итак, армия остаётся на месте и будет хранить свой доблестный дух для борьбы до последнего вздоха. Это упраздняет тревогу о настроении революционной демократии. *(«Биржевые ведомости»)*

Чхеидзе сказал ещё ярче: обращаясь к немцам, мы не выпускаем из рук винтовки». В сущности, идеология, общая нам с союзниками. Но, господа, будьте последовательны: если вы намерены не выпускать винтовки из рук, то не дайте же ослабнуть боеспособности армии. *(«Речь»)*

...Смелый шаг, беспримерный в мировой истории. Но трудно поверить в успех обращения. *(«Русское слово»)*

...Это обращение настолько убедительно, что австро-германскому пролетариату возразить нечего.

Ребяческий идеализм тех, кто пытался навязать лозунг «долой войну» широким массам. Это не удастся! Ни один голос больше не смеет говорить о братании с немцами. Россия расправляет крылья для орлиного полета, армия готова зажечься новым энтузиазмом.

*(«Русская воля»)*

...недоумение по поводу того, что до сих пор остаются неизвестными и президиум, и Исполнительный Комитет, и многочисленный состав Совета рабочих и солдатских депутатов. Вообще, печать обратила внимание на странную анонимность их. А Петроградский Совет играет роль центрального Совета для всей страны. Должно быть устранено всякое подозрение самозванства. Должно стать широко известно, как Совет составился, на каких основаниях организовано представительство. А ведь именно Совет горячо протестует против всяких тайн. Врачу, исцелися сам!

*(«Речь»)*

Кто такой этот влиятельный аноним с прерогативами второго правительства? Его контроль над правительством имеет не петроградский, а всероссийский характер.

...Может быть, состав СРСД сложился и не вполне удачно — в вихре революции некогда было обдумывать. Но это революционное воплощение «святого недовольства» совершенно необходимо, чтобы поддерживать во Временном правительстве реформаторский пафос.

НАРОДНАЯ АРМИЯ.

Вести с фронта всё более успокоительные — о бодром настроении в армии и готовности бороться до конца.

...Весть о крушении монархии не могла не захватить войска врасплох, от главнокомандующего до солдата. Можно было опасаться неожиданностей. Но вот становится ясным, что фронт принял новый строй.

...В одном из ораниенбаумских пулеметных полков сегодня бросался жребий, какой батальон должен выступить в первую очередь на фронт...

...Обилие военнопленных было позором прошлого. В новой армии сдача в плен станет явлением исключительным.

ОФИЦЕРСТВО. Всё офицерство как совокупность взято под подозрение. По каким основаниям? Потому что революцию начали солдаты, а не офицеры. И только. Основание не выдерживает критики. Офицерство не только нигде не защищало старого режима, но на второй же день революции всецело перешло на сторону Временного правительства и народа. И началась беззаветная борьба со всеми остатками старого режима. Один офицер в нашей редакции с горечью говорил: «Мне до слёз больно было смотреть, как неумело брались солдаты за борьбу.»

*(«Новое время»)*

Рабочие Казанской и Адмиралтейской слободы в ознаменование назначения А. И. Гучкова военным министром единогласно постановили: сверх усиленной работы на оборону надбавить производительность работ и назвать эту надбавку «гучковским процентом».

**В военном министерстве.** Министр Гучков отдал распоряжение, чтобы во все военные училища беспрепятственно принимались лица иудейского вероисповедания, а также баптисты, молокане.

...Нам сообщают, что предполагавшееся назначение генерала Лечицкого главнокомандующим армиями Западного фронта не состоялось ввиду того, что было признано необходимым присутствие этого генерала на Румынском фронте, знатоком которого он считается.

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ СТРАНЫ. Нелёгкое наследство приняло новое правительство от старого режима. Предшественники министра земледелия приложили старания, чтобы запутать и осложнить продовольственное дело...

*ХЛЕБ ВЕЗУТ!* Чего не могло сделать прежнее правительство, то постепенно достигается всенародным порывом. Давно ли говорили, что нужны чрезвычайные мероприятия, чтоб откопать хлеб. Проснувшаяся и не сразу разобравшаяся, что произошло, провинция... Со всех концов России извещают о пожертвованиях хлебом для армии.

...Свобода мгновенно переродила миллионы людей, и крестьянство немедленно начало вывозить на рынки продукты. Нам возразят, что в Москве и Петрограде не заметно обилия. Но не нужно забывать, что при том расстройстве, какое нам оставило самодержавное правительство... Терпели долго, потерпим ещё — и все кризисы отойдут в область кошмарного прошлого.

...Крестьянин должен помнить, что у него имеются и обязанности. Разрушение помещичьего хозяйства грозит голодом городскому населению, и город может требовать от деревни, чтоб уважались и его права.

*(Туган-Барановский, «Биржевые ведомости»)*

**В министерстве юстиции** уже составлен набросок законопроекта об отмене всех вероисповедных и национальных ограничений.

...Закончен законопроект об общей уголовной амнистии...

**О смертной казни.** Отмена Россией смертной казни в военное время явится делом беспримерным. Но это такой вопрос, в отношении которого нельзя идти в хвосте за Западом. Мы не будем мстить смертью и шпионам. Раз человек уже схвачен — нет логического основания вешать его.



**Право ареста.** Временные правила об условии освобождения арестованных и производства новых арестов в Петрограде...

...В первую неделю революции в Москве было отдано много приказов на право арестов и обысков. Теперь постепенно все они аннулируются. Теперь кончилось время так называемых «эксцессов». Главная забота момента — поскорее установить принцип неприкосновенности лиц и жилища.

...Не злоупотребляйте тем, что новый порядок не мстит за прошлое. Не испытывайте слишком проявляемой им терпимости. Новая Россия не мстит, но правосудие в ней будет действовать неуклоннее, чем прежде.

*Короленко*

**Обыск в квартире Распутина.** ...15 марта арестованы, доставлены под конвоем в Таврический дворец и посажены в министерский павильон сын Распутина и две дочери, 18 и 15 лет.

Арестованный также секретарь Распутина Арон Симанович обещал конвойным 15 тыс. рублей, если ему разрешат поговорить по телефону.

Дому Романовых, несмотря на ненасытимую ненависть к нему, ничто в России не угрожает. Но не грозит ли Свободной России опасность от дома Романовых? Отравленные властью маленькие самодержцы полезут цепкими руками за шапкой Мономаха. Довольно нам быть мягкими и гуманными! Им — не место в России! Палачи русской свободы, вы не смеете больше ходить по русской земле!

*(«Русская воля»)*

...15 марта по постановлению министра юстиции произведены обыск и выемка документов у известной графини М. Е. Игнатьевой, в салоне которой вращались высшие представители церкви и сановники.

П о д р у г а б ы в ш е й ц а р и ц ы Анна Вырубова разошлась с мужем ещё в 1908 году, когда начались её похождения с Распутиным. Бывшая царица целые дни проводила в квартире Вырубовой, здесь же назначались любовные свидания.

БЕССАРАБСКАЯ ВАНДЕЯ. Черносотенная агитация в Аккермане.

**Ликвидация марковцев.** В Щиграх арестован брат Маркова 2-го, а также председатель местного «союза русского народа». Заключены в тюрьму.

...Режим самовластия, опричнины, насилия над жизнью и совестью миллионов «чужих» людей в Империи... выжимая кровь к слёзы... Цепи ограничений накладывались на народы высокой культуры... Поистине кошмарное еврейское бесправие... Самодержавие в союзе с погромными бандами мнимых патриотов. Союз русского народа — вот позорное явление, в котором отразилась грязная... Очищаться от остатков старого, закладывать фундамент нового можно только революционным путём.

*(«Биржевые ведомости»)*

**Телеграмма петроградской еврейской общины.** Мы счастливы сознанием, что отныне все творческие порывы евреев смогут пойти на дело обновления родины.

**Париж.** Телеграмма главе Временного правительства: «Лига для защиты прав угнетаемых евреев с энтузиазмом приветствует русскую революцию и выражает твёрдую уверенность, что Временное правительство немедленно проведет в жизнь полное равноправие евреев согласно своей декларации.»

...Быть может, именно затем Россия и опоздала в своих политических формах и приёмах, чтобы ей ближе всех подойти к созданию «общества будущего».

**«НОВОЕ ВРЕМЯ».** Суворинская газета чувствует необходимость связать своё тёмное прошлое со светлым настоящим и как-нибудь объяснить свой резкий переход от вчерашнего к сегодняшнему. Трудная задача, но нужда в покаянии заставляет. «Новое время» объясняет свою трансформацию так: вся Россия переменилась, и мы в том числе...

**«Правда» умнеет.** ...После хороших уроков, полученных большевистской «Правдой», эта газета, к её чести, очень быстро сдала свои пораженческие позиции.

*(«Новое время»)*

*ОДУМАЛИСЬ.* К чести представителей русского большевизма, они очень скоро убедились в своей ошибке, отреклись от своей проповеди «долой войну», и проявили гражданское мужество заявить об этом в «Правде». Таким образом, исчез последний повод для внутренней смуты.

...Следует отметить как чрезвычайно отрадный симптом, что «Правда» начинает освобождаться от опасного угара и разбираться в окружающей обстановке. Искренне приветствуем это просветление.

*(«Речь»)*

...Все крайности «Правды» в смысле тона, стиля лежат всецело на ответственности старого режима, который так долго угнетал свободное слово. Ещё неизвестно, что хуже: узкий фанатизм «Правды» или потакание обывательщине. Время не такое, чтобы бояться парадоксов. Свобода личности — краеугольный камень нового строя,— но разве не обязано было правительство лишить свободы представителей старого строя? Именно во имя будущей близкой свободы (после Учредительного Собрания) правительство сейчас не может не прибегать к насилию. Например, свобода русской цер-

кви есть одна из частных целей революции. Но пока с тела церкви не будет насильственно снята короста черносотенства — ни о какой свободе церкви не может быть речи. Поддаваться теперь на удочку софизмов о свободе — значит поощрять контрреволюцию.

*Д. Философов*

Свобода — это нежная красная роза, вынесенная на улицу Петрограда в день суровой зимы.

Советом Рабочих Депутатов установлены неслыханные доселе разрешения на бумагу для «благонадёжных газет». Что это? Все чистые восторги, надежды, упования, и вся «Европа с восхищением взирает» — но?! — строится новая тюрьма для свободной мысли?.. Цензоры прошлого не додумывались так: запрещать фабрикантам выдавать бумагу тем газетам, кто на подозрении... В час ослепительного торжества демократии больно и стыдно...

Чего только ни говорят! Через второе ухо уже не успеваешь выпустить, в голове каждого гражданина столько набирается слухов, мнений и мыслей, что в голове его происходят митинги. Сейчас он большевик, через минуту уже в окопах и лупит немцев, затем эмигрирует на Сандвичевы острова, чтоб ничего больше не видеть, не слышать, а не успев доехать до вокзала, записывается в социал-демократы. Но это — молодость народа, и хорошо, что мы не успели состариться.

...На Крестовском острове было расклеено по заборам воззвание арестовывать переписчиков населения (для хлебных карточек), так как перепись делается будто бы Союзом русского народа для организации погрома. Крестовский остров считает себя автономным и подчиняется только Государственной Думе.

...Разъясняется, что чиновники и офицеры также должны быть внесены в ведомости на получение хлеба, наряду со всеми.

**ВОЗЗВАНИЕ КОМИССАРА г. МОСКВЫ.** ...Многие и с карточками на руках, простояв много часов у булочных, не получают... При разгроме полицейских участков много хлебных карточек было расхищено и пущено в обращение... Солдаты получают вне очереди и без карточек... Не забывайте однако, что новая власть существует всего две недели. Нельзя в полмесяца создать заново то, что в обычное время строится веками и десятками лет. Граждане, вы произвели величайшую в мире революцию, низложили сильнейшего монарха Европы. Призываю же вас к самообладанию. На короткое время ограничьте свои потребности.

*Н. Кишкин*

...В успокоение жителей Москвы заведующий сахарным отделом сообщает, что город обеспечен сахаром с избытком относительно нормы потребления.

**Грузинов в Алексеевском училище.** «Юнкера! — теперь господ нет. Я счастлив, что в Московском округе солдаты и офицеры именно спаялись. Я думаю, вы понесёте в армию живой дух — и об него разобьётся железный немецкий кулак.» Повинуясь приказу подполковника, юнкера побороли своё стремление идти с приветствием к городской думе. Один из юнкеров обратился: «Дорогой подполковник! От всего сердца приветствуем вас, одного из вождей революционной армии, первого командующего, избранного народной волей. Все мы пламенно желаем...»

**ПРИКАЗ ПО МОСКОВСКОМУ ВОЕННОМУ ОКРУГУ.** ...Солдатам надлежит внушить, что они должны соблюдать железнодорожные правила, не позволить себе никаких бесчинств и быть вежливыми с пассажирами...

*Грузинов*

**Арест губернатора.** По распоряжению комиссара г. Москвы Кишкина арестованы владимирский губернатор и его супруга и доставлены под конвоем в Таврический дворец. Во Владимире толпа намеревалась совершить над ними самосуд. У губернатора сломана нога, у губернаторши вырваны из головы клоки волос.

**Иркутск.** Жандармские офицеры, арестованные в первые дни революции, предаются теперь суду.

**Тифлис.** Дворец наместника взят для общественных нужд в веденье Исполнительного комитета Совета. Ежедневно в воинское присутствие являются группы уклонявшихся от воинской повинности. И заявляют о готовности отдать жизнь за счастье свободной родины.

**Владикавказ.** Тёмные силы ещё не сложили оружия. Особое сопротивление оказывают осетины и ингуши. Из многих станиц поступают сведения о работе тёмных сил.

**УДАЛЕНИЕ ПАМЯТНИКА СТОЛЫПИНУ. Киев, 16.** На сегодня назначен праздник свободы. Ночью войска оцепили думскую площадь, и начались работы по удалению памятника Столыпину. К утру работы не были окончены. Фигура Столыпина, сдвинутая с пьедестала, окутанная цепями, висела на блоках. Огромные толпы народа, еле сдерживаемые цепью милиции, с большим интересом следили за работами. В 3 с половиной часа дня фигура Столыпина грохнулась на землю. Толпа с криком «ура» кинулась к поверженному Столыпину. Мимо бесконечной рекой потекли манифестации с оркестрами. Украинские процессии шли под марш запорожских казаков. Телеграфисты — с плакатом: «Телеграф — глаза и уши революции». Фигура Столыпина, весящая около 400 пудов, затем вывезена грузовыми автомобилями.



**Проезд Николая Николаевича в Крым. Киев, 16.** Приехавшего из Ставки великого князя на вокзале встречали его супруга, брат, супруга брата и Мария Фёдоровна. Высшей администрации не было. Великий князь не выходил на перрон.

**Одесский уезд.** Ненадёжные элементы старой полиции ликвидированы: часть бежали, частью арестованы. Был случай оставления их на местах по желанию жителей. Деревни нуждается в немедленном содействии интеллигентных сил для усвоения происшедшего.

**Могилевская губ.** В Рогачёвском уезде аграрные беспорядки. По прибытии солдат все взятые вещи возвращены потерпевшим. Усилена охрана винокуренных заводов. В Савинском уезде началась самовольная порубка крестьянами казённых лесов. Крестьяне согласились, что совершают беззаконие, и прекратили порубки.

**Астрахань.** Рыбачье население сместило казённую рыболовную полицию. В некоторых местах казённые рыболовные участки захвачены местным населением.

**Троицкосавск.** Веками угнетённые буряты радостно встречают благую весть...

**ПРИВЕТСТВИЯ.** ...Председатель ГД Родзянко продолжает получать телеграммы... от доктора Сун-ят-Сена, от социалистической партии Аргентины, от французской масонской ложи «Великий Восток»...

**Привет масонов. Париж.** Масоны ложи «Великий Восток», собравшись на малый конвент, отправили телеграмму князю Львову, выражая надежду... что Государственная Дума и Совет Рабочих депутатов сумеют сосредоточить всю нацию под одним братским знаменем.

...Депутация дворников заявила Совету, что все подозрительные элементы исключены из их среды. Вся масса петроградских дворников, в числе около 5 000 человек, выражает желание прийти в Гос. Думу для выражения своей готовности.

...Долой ремесленное сословие как учреждение архаическое!..

**Разгром квартиры банкира Гутмана.** Трое в студенческой форме... Связали прислугу, взломали все хранилища и унесли ценности и деньги.

**Арест громил.** 15 марта ночью сторожа Апраксина рынка, обходя галереи, задержали нескольких человек, взламывавших магазинные замки. Громилы оказались из числа освобождённых революционным движением каторжан Шлиссельбургской тюрьмы.

**Обыски в притонах по Свечному пер.** ...Задержано несколько женщин. У одной оказались снимки окрестностей Петрограда... Подозрение в шпионстве...

**Неосторожное обращение с оружием.** Один из милиционеров нечаянно взвёл курок... Раненые доставлены...

**Около экрана. Письмо артистов.** Беззастенчивые спекулянты, прикрываясь лозунгом свободы, выбрасывают на рынок циничные фильмы, вроде «Похождения Распутина»...

**Самоубийство в Таврическом дворце.** 16 марта на рассвете из солдатской винтовки застрелился в Совете Рабочих Депутатов делегат 3-го Сибирского ж. д. батальона. Ещё был жив: «Я не сумел справиться с возложенной обязанностью, ищу себе за это»... В письме: «Я прибыл в Петроград 3 марта. Приветствие от батальона так и не попало в «Известия», председатель забыл дать записку. Я просил три раза редактора внести поправку. Он забывал, а я терзался душевно. Всё это сделало меня полоумным. Так хочется жить на заре лучшей народной жизни.»

БИБЛИОТЕКА ПРОСВЕЩЕНИЯ. Книжный склад **ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОЛЬЗА.** «Интернационал», «История Коммуны», «Всеобщая стачка», «Исторический материализм», «Общественное движение в России», «Положение рабочего класса».

**В ближайшие дни выйдет в свет закрытый царским правительством в 1905 году журнал ПУЛЕМЕТ.**

Литейный театр, **новая программа КРАХ ТОРГОВОГО ДОМА РОМАНОВ И К°. Гротеск.**

**Театр «Мозаика». Пьеса «Гильотина».** *Концерт цыган.* В концертном зале кабарэ до 2-х ч. ночи.

**Сваха нужна** солидная, со связями — для молодого человека, имеющего общественное положение.

*Господа рекомендуют* камеристку, честную девушку.

Требуется судомойка с хорошей личной рекомендацией, приходить с паспортом.

**ГЕРМАНО-АМЕРИКАНСКИЙ КОНФЛИКТ.**

**Германо-китайский разрыв.**

**Угроза германцев.** В перехваченной радиотелеграмме из Берлина сообщают, что германцы угрожают военными действиями, каких ещё никто не видел. Гений Гинденбурга в соединения с новыми методами войны...

**Стокгольм.** Поезда, отправляемые в Россию, переполнены возвращающимися на родину русскими.

Правое крыло шведских консерваторов, т. е. по нашей терминологии черносотенцы...

*(«Новое время»)*

...Довольно споров о каких бы то ни было вопросах, кроме защиты Родины! Помните, что Петроград — не крепость, и если бы Вильгельму удалось до него добраться... Взятие Петрограда равносильно победе над Россией.

**Телеграмма Кропоткина.** ...Дети России, спасите нашу страну и цивилизацию от чёрных сотен Центральных Империй! Противопоставьте им героический фронт!

...воскресшую из смрадного гроба Россию защитить от врага...

...По Канту: «долг человека — смысл Вселенной». Вместе с Россией и мы, поэты-символисты, приняли эту войну — как величайшее социальное жертвоприношение. Старый мир багряно умирает. Преображение мира происходит в торжественном соборном действе. Но дракон ещё не повержен окончательно, и вселенское дело не кончено.

*Ф. Сологуб*

...Третий год мы стоим на рубежах, грудью отстаивая родину от вторжения осатаневшего гунна, который в жертву гнусному Молоху растерзал Бельгию, Сербию и Польшу. Он протягивает когтистые лапы, силясь схватить за горло прекрасную Францию, вольную Англию... До нас долетают неясные крики предателей свободы, требующих прекращения войны. Они раздражают нас и должны исчезнуть. Нас не смутит наивный лепет о немецком пролетарии...

Согласитесь, что люди имеют право знать, кто им приказывает. Хотелось бы думать, что ни анонимов, ни псевдонимов больше не будет в большом государственном деле.

*(«Русское слово»)*

НАРОДНАЯ АРМИЯ.

...Боязнь дезорганизации в армии в значительной мере преувеличена. Со дня на день в армии растёт сознание необходимости солидарности. Теперь-то и будет спаянность между офицерами и солдатами... Новая гражданская дисциплина... *(«Биржевые ведомости»)*

...Телеграмма оберуполномоченного Щепкина: «В восемь дней кроме бесед произнёс населению и воинским частям 43 речи. Всюду доверие, дисциплина повышенная.»

...Наши товарищи под удушливыми газами, под огневыми струями, под свинцовым дождем, холодные, голодные, молят нас о помощи и смене. Самовольно отлучившиеся из Литовского батальона должны возвратиться в указанные сроки, иначе будут приняты лишь по постановлению комитета.

...Раньше у дезертиров было много смягчающих вину обстоятельств. Теперь — дезертирство ничем нельзя оправдать.

**ИНВАЛИДЫ И ВОЙНА.** Инвалиды, находящиеся на излечении в московских госпиталях, протестуют против лозунга «долой войну»: «Мы потребуем выдать нам оружие, будем умирать в окопах, но отстоим свободу родной России.»

**Об облегчении участи лиц, совершивших уголовные преступления.** Постановление Временного Правительства. ...Освободить от суда и наказания не выше заключения в крепости или тюрьме... Уклонившихся от воинской повинности, если явятся не позже... Освободить от всех последствий судимости с правом повсеместного жительства. Каторгу, исправительное арестантское отделение уменьшить наполовину... Освободить от суда и наказания лиц, обвиняемых в промотании казённого оружия, в самовольном оставлении своих частей...

...Воспитанный в атмосфере бесправия и неуважения к человеческой личности, прежний тюремный персонал в ближайшем будущем будет удалён. Для подготовки новых кадров начальников мест заключения будут открыты краткосрочные курсы тюрьмоведения.

...Началась «чистка Авгиевых конюшен» судебного ведомства. Список увольняемых должен расти с каждым днём. Пусть задумаются над словами министра Керенского, что «пусть у лиц, служивших старому строю, хватит мужества уйти».

...Таких идиотов, кто по свободному разумению стояли бы за самодержавную монархию, в России больше нет...

...Но, конечно, пропагандой не исчерпывается. Произвести безошибочный отбор вчерашних героев. С ними необходимо обойтись как с врагами... Они должны быть лишены всякого общения с населением... Удалите их... Арестуйте их... судите их. Изолируйте всеми законными способами, но без мягкотелой сентиментальности... Они не поколеблются покрыть шестую часть земного шара виселицами, если б одолели сейчас. Если нам суждено пережить смуту, то только в провинции будет её начало. Это надо предвидеть и предупредить.

*(А. Вершинин, «Биржевые ведомости»)*



...Там, в глуши, куда ещё не донёсся благовест новых дней, там ещё чёрная сотня щёлкает зубами...

**Происки реакционеров.** Низложенную царскую чету при первом громовом ударе покинули все, кто вчера ещё лежал, распростершись ниц перед престолом. Все они спешат выразить удовольствие от ниспровержения самодержавия, торопятся обвесить себя лентами революционных цветов и предложить Временному Правительству свои продажные услуги... Но притихшая реакция начинает поднимать голову, и против неё...

**НЕ СПЕШИТЕ ЗАБЫВАТЬ!** Это слепой оптимизм, что Николай II уже в прошлом и обезврежен. Короткую память надо иметь, чтобы так скоро позабыть режим засилия. Забить осиновый кол в могилу династии! Нет, русская печать не должна умолкать о её грязных скандалах. Россией управляла шайка политического негодяйства! Слишком великодушны те, кто предлагает набросить вуаль на преступные тайны царскосельских разбойников, на скверну царизма. Нет, рассказывать, рассказывать и рассказывать!

*Амфитеатров*

ЗА ЧТО АРЕСТОВАН ГЕНЕРАЛ ИВАНОВ. Имеются данные, вполне уличающие его в замыслах против революционного народа. Поводом к аресту явились показания георгиевских кавалеров, с которыми он ехал для усмирения.

СЛЕДСТВЕННАЯ КОМИССИЯ. Независимо от Чрезвычайной Следственной Комиссии при министре юстиции образуется и при московском комиссаре местная следственная комиссия для рассмотрения дел арестованных лиц, опасных в смысле их участия в контрреволюции.

Арестован полковник Резанов, проводивший следствие по делу Д. Л. Рубинштейна.

**Объяснение Маркова 2-го.** «...В том, что монархическая печать получала поддержку от монархического правительства, ничего предосудительного нет, как и в том, что нынешнее революционное правительство поддерживает Совет Рабочих и Солдатских депутатов. Мы старались просветить народ, но не готовили из своих отделов вооружённых отрядов. Сравнительно с действительной потребностью помощь правительства была ничтожна. Ныне, как известно, полная свобода печати, и потому редакция и типография „Земщины“ конфискована, редактор „Русского знамени“ сидит в тюрьме, а остальным правым изданиям во имя равноправия воспрещено выходить в свет.»

ЗАДАЧИ ЦЕРКОВНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. ...Очистить личный состав органов управления от элементов... Наряду с чисткой личного состава следовало бы установить строгий общегосударственный контроль над денежными капиталами и всяким прочим имуществом церкви. Конечно, новая государственная власть не может примириться с наследием прошлого в составе Синода. Но для этого надо вызвать деятельность республиканского духовенства... Петроград и Москва одни уже могли бы послужить базисом для новой организации церкви. Обер-прокурор Синода как комиссар правительства должен был бы, немедленно распустив св. Синод... Предупредить, что будущий церковный собор не явился бы орудием...

*(«Речь»)*

В ночь на 17 марта произведены обыски и арестованы: директор канцелярии обер-прокурора, управляющий синодальной типографии и ещё несколько синодальных чиновников.

КУРСЫ ЗАКОНА БОЖЬЕГО, ИСТОРИИ И ЕВРЕЙСКОГО ЯЗЫКА, учреждённые раввином Айзенштадтом. *З а н я т и я   п р о д о л ж а ю т с я.*

**ДАВНО ЖДАННЫЙ ДЕНЬ.** Создалась целая «поэзия русско-польской дружбы, спаянная кровью»... Лживые декларации старого лицемерного правительства... Царское правительство откладывало решение польского вопроса. Положение спасла великая русская революция. Свободный народ отринул ложь старой власти... «За вашу и нашу свободу!»

*(«Новое время»)*

**В 9-й аудитории университета состоится с х о д к а   с т у д е н т о в - е в р е е в** для обсуждения вопросов переживаемого момента.

**ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ БУНДА** состоится в Петрограде 1, 2, 3 апреля... Отношение к войне и восстановление Интернационала, взаимоотношения Совета Рабочих Депутатов и Временного правительства... равноправие евреев и культурно-национальная автономия, отношение к политическим партиям и группам в еврействе и к общееврейским учреждениям, задачи партийного строительства, съезд Бунда...

**Перепуг «Правды».** «Правда» сама себя произвела в герои-мученики и с перепугу вообразила, что против неё «организован поход буржуазной контрреволюции». С тонкостью Ляпкина-Тяпкина она объясняет... Страхи её так же преувеличены, как представление о своём влиянии.

...«Правда», после короткого момента просветления, отказывается даже от оборончества.

«ПРАВДА». На неё ополчилась буржуазная пресса, которой большевизм не по сердцу и, главное, не по карману. А во всей буржуазной прессе нет ни одного органа, который мог бы похвастаться такой кристальной чистотой.

*(«Московский листок»)*

Откуда опасность контрреволюции? Революция — не праздник разрушения, но торжество государственного строительства. Европа изумляется той стройностью, с какой совершился у нас государственный переворот. Русская социал-демократия обязана покорно преклониться перед священной волей русского народа закончить войну победой.

(«Новое время»)

ГНУСНЫЙ ПРИЗЫВ. Нам доставлена отлично отпечатанная прокламация за подписью «Харьковский комитет» и от имени Российской социал-демократической партии. Она содержит ряд грубых выходок против Государственной Думы, Родзянко, Милюкова и призыв распространять лозунг «долой войну». В конце прокламации жирным шрифтом гнусные слова: «Да здравствует гражданская война!»

Нельзя допустить, конечно, чтобы социал-демократическая партия выпустила такую преступную прокламацию. Очевидно, контрреволюция работает вовсю. Нам пишут, что прокламация усердно распространяется среди населения. Слишком много негодяев старого режима, которые ни перед чем ни остановятся.

*(«Речь»)*

**Городские дела.** О наилучшем использовании для общественных нужд свободных зданий Александро-Невской Лавры. Юревич и Книпович вместе со следователем по особо-важным делам посетили... В настоящее время там проживает всего около 200 человек братии и прислуги. Решено разместить: воинские части, камеру судебных следователей и дом для приезжающих.

...Вино для церквей отпускать по удостоверениям, выдаваемым общественным градоначальником.

В Тенишевском училище состоялось общее собрание учащихся средних учебных заведений Петрограда. Прочтено приветствие от министра просвещения. Юные ораторы не пожалели чёрных красок заклеймить старый порядок в средней школе... Представители учительского союза и педагогического общества восхищались зрелым пониманием, обнаруженным учащимися... «Мы пойдем в деревню не только помочь крестьянам пахать, но будем пропагандистами»...

**У будущих могил.** 17 марта. Несмотря на объявление, что похороны жертв революции отложены, сегодня из некоторых частей города к Марсову полю потянулись дроги с гробами. Ошибочно привезенных покойников пришлось вернуть.

**В совещании петроградского городского головы.** ...Сложная задача, как охранить от тёмных элементов все дома в столице, когда население из них выйдет на улицу на похороны жертв революции. Решено держать на запоре все дома и чердаки. Ко дню похорон будут изъяты целые группы преступных элементов...

**Трамвай.** Московский трамвай с каждым днём работает всё хуже и хуже. Например, 16 марта на работе было всего 30 % вагонов от действовавших до начала событий. Объясняется это тем, что рабочие относятся к своему делу вяло. Городское управление решило обратиться к Совету рабочих депутатов с просьбой оказать давление на рабочих в целях предупреждения полной остановки, а к рабочим — с воззванием не сокращать числа рабочих часов.

**Таинственные автомобили** появляются в Москве в ночное время, несутся с бешеной скоростью. Пока существенного вреда никому не причинили.

ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ. Комиссар казённой палаты обращается к населению Москвы с напоминанием, что подоходный налог не отменён.

**Подполковник Грузинов.** Вчера командующий войсками, проезжая верхом по городу, обратил внимание, что у Спасских казарм идёт самая оживленная торговля солдатскими вещами. Командующий въехал в середину толпы и обратился к солдатам с короткой речью, что они расхищают народное достояние. Обратясь к покупщикам, он напомнил, что скупка солдатского имущества преступна. Солдаты тут же потребовали обратно уже проданные вещи, и скупщики охотно их возвратили.

**Из приказов по Московскому военному округу.** ...Солдаты и офицеры рот пополнения! Армия ждёт-не дождётся вашей поддержки. Напрягите все свои силы, готовьтесь к отправке на фронт. Держите связь со свободным русским народом — он вас накормит, напоит, только не дайте зачахнуть его свободе.

*Грузинов*

ПРОТИВ ПОРАЖЕНЧЕСТВА. В провинции нарастает сильное движение против распространяемых от имени какого-то Совета рабочих депутатов летучек с призывом «долой войну!» Собрание жителей Сергиевского посада...

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПАСНОСТИ. Не прекращаются слухи о погромной агитации на местах. Провинция не пережила великих дней переворота, как мы, не ощутила этого энтузиазма — и враги переворота там не обезврежены, как здесь. Совершается великая ошибка: происходит централизация



отечественной истории в Петрограде. Надо дать русской провинции то ощущение счастья и радости освобождения, которое испытали мы. Массам нужны эмоциональные восприятия. Устраивайте парады, спектакли, зрелища, пусть массы на местах получат свою долю праздника революции и непременно официального. Кричите о великом счастьи освобождения! В провинции имеется беспутная чернь, усиленная теперь неосторожно выпущенными уголовными преступниками. Можно не верить в русскую Вандею, но можно верить в российский погром. Бессарабская, Херсонская, Подольская губернии — полоса изуверства и зверства. Ergo, необходимо принять меры немедленно. Не верьте этой тишине на местах, за ней чувствуется предательство.

*(«Новое время»)*

Сход **Подорвановской волости Пешехоновского уезда** постановил: убрать царские портреты, оставить только Царя-Освободителя.

**Минск.** Из уездов поступают сведения о порубках в частновладельческих лесах.

Из волостного приговора... низвержение старого преступного правительства... горячо приветствовать борцов за народную свободу... Ввиду малого запаса дров на будущую зиму — оставшийся запас очередных делянок распилить на дрова. Должна быть низложена спекуляция, торговать чаем и табаком по цене этикета...

**Красноярск.** Многие крестьяне сдают в казначейство попрятанное золото и серебро.

**Рыбинский уезд.** Крестьянское население собрало крупные суммы на памятник в честь павших борцов за свободу. Волостное собрание постановило: в память освобождения от романовского ярма все солдатки отказываются от мартовского пайка в пользу правительства.

...В ответ на призывы доставлять хлеб для армии — со всех концов России приходят телеграммы от лиц, жертвующих хлеб... В **Пензенской губ.** многие сельские общества жертвуют хлеб бесплатно. 4 волости пожертвовали 12 тысяч пудов.

Появление продуктов, падение цен на рынках...

...На днях ожидается закон об укреплении навсегда запретительных мер по продаже спиртных напитков.

**Митинг полицейских. Одесса.** Полиция должна отдать свои силы на служение обновлённой России. Отныне участок должен перестать быть презренным отверженным местом... Если нам выкажет доверие Совет Рабочих и Солдатских депутатов...

**Одесса.** Студенческий комитет возбудил ходатайство о распространении среди населения громадных запасов литературы 1905 года. Ходатайство будет удовлетворено. В комитет поступают сведения о попытках притаившихся монархистов сеять смуту. Совещания монархистов немедленно раскрываются, некоторые участники арестованы. Правая «Русская речь», преобразовавшаяся было в «Свободную Россию», окончательно прекратилась.

**Ф. И. Шаляпин** сочинил слова и музыку нового гимна «Свободный гражданин» и исполнит его в воскресенье с хором Мариинского театра:

К оружью, граждане, к знамёнам,
Тиранов жадных свергнут гнёт,
Знамёна красные — вперёд,
Во славу русского народа!

...Вчера, 15-го, в первом балетном спектакле зал Мариинского театра, полный демократической публики от верхних ярусов до первых рядов кресел, представлял редкостное зрелище. Не было отвратительных фраков и низко вырезанных жилетов со снежно белеющими манишками, ни следа ресторанно-аристократического шика, обычно господствующего на балетных представлениях. Не было безвкусицы расфранчённых неприличий и безбрежных богатств, амальгамы биржи и кокетства... Перед третьим действием вся труппа выстроилась на сцене, под марсельезу, Фокин прочёл от артистов адрес с выражением преданности новому строю. Карсавина сидела в ложе честных борцов за новую гражданственность.

Посох «Васи-Босоножки». В следственную комиссию при Гос. Думе доставлен посох юродивого, железный, весом около пуда, на нём выгравирована надпись следующего содержания: «Сей посох дан страннику Василию Его Императорским Величеством». Следственная комиссия нашла нужным отобрать посох, дабы «Вася-Босоножка» не мог использовать надпись на посохе для агитации среди тёмных масс.

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ПЕРЕД ВОЙНОЙ. Президент Вильсон в своём послании к конгрессу в понедельник укажет, что Соединённые Штаты были вынуждены к войне.

Английские войска в 70 километрах от **Иерусалима.** Новый крестовый поход! В случае овладения Палестиной Англия официально выскажется за предоставление страны евреям для колонизации.

**Приготовление Бразилии к войне...** варварская германская подводная война...

ПРОРЫВА НЕ БУДЕТ. Ввиду близкой распутицы нельзя ожидать решительных действий противника... остающиеся недели распутицы будут употреблены Германией на энергичную подготовку операций.

**Победа или рабство.** Всего несколько недель отделяют нас от начала нового немецкого наступления. Не сумев устоять, мы потеряем золотую свободу.

*(«Новое время»)*

...нужно призвать и старых и малых. Нужно превратить ночи в дни и работать изо всех сил...

Страна ждёт от петроградских рабочих чуда, что 8-часовой день не подорвёт производства. Заводские комитеты несомненно помнят прекрасное место из речи Ллойд Джорджа... Они не уподобятся приспешникам старого режима, забывавшим обо всём, кроме своих интересов...

*(«Новое время»)*

**Телеграмма химического комитета.** Доношу, что государственный переворот не вызвал остановки заводов взрывчатых веществ, удушающих средств и кислотных... Рабочие проявляли радость событиям только в свободное время...

*Академик Ипатьев*

Батальон 1-го марта... из бывших дезертиров, добровольно желающих в строй, и из солдат, освобождённых из тюрем... Командный состав батальона будет избираться, должности будут распределяться вне зависимости от числа звёздочек на погонах. Может быть это — первая частица республиканских войск, будущий оплот свободы против посягательств контрреволюции!.. Товарищи солдаты-дезертиры! Вам указывается путь доказать вашу любовь к Родине. Батальон ходатайствует о присвоении ему имени подполковника Грузинова.

**Химики и огнеметчики!** Ротный комитет извещает, что если не явитесь в часть до 28 марта, то будете считаться изменниками родины, сторонниками старого режима я отданы под суд.

...объявляется, что явка дезертиров ещё раз отложена до 15 апреля, последний срок...

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБ ОТМЕНЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ.**

...Отмена казни в момент торжества революции — признак великодушия и проницательной мудрости. В новой свободной России уже никогда не может быть того надругательства над человеческой душой...

Керенский со слезами на глазах сказал: «Я счастлив, что мне выпало на долю подписать указ об отмене смертной казни в России навсегда.»

...Сотни лет лучшие умы мира боролись с этим жестоким бессмысленным... Тысяча раз доказана бесполезность устрашения смертью. Тем не менее до настоящего дня даже в демократических государствах, как Англия, Франция и Соединённые Штаты, смертная казнь продолжает существовать... Никогда, ни при каких условиях, ни за какие вины Россия не будет больше убивать своих граждан. Что бы ни дала наша свобода потом,— более полного выражения народоправства не найти! День очищения народной души от величайшего греха монархической России.

*(«Биржевые ведомости»)*

**СМЕРТЬ ГИЛЬОТИНЫ.** Одна великая революция ввела гильотину, другая отменила её. Как празднично светло и красиво, что свободная республиканская Россия начинает с отмены казни! Власть подаёт обществу возвышенный пример облагорожения нравов. Великая Французская Революция, провозглашая высокие принципы, не гнушалась насаждать их при помощи палача. Русская революция начинает с того, что берёт человеческую жизнь под охрану. Отменить смертную казнь во время войны может только власть, сознающая свою силу.

...Кто теперь смеет упрекнуть революцию в кровожадности? Кто осмелится оспаривать её глубокую чистоту?

ОТМЕНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ. Быть может, завтра эта реформа, которой страна тщетно ждала при старом строе, станет законом. Могут упрекнуть, почему правительство начинает с уравнения инородцев, а не уравнения крестьян... А тут — ничего не надо создавать, а только разрушить уродливые...

Но все правоограничения национальностей бледнели перед чистосредневековой системой издевательства и гнёта, которой подвергался еврейский народ.

*(«Русское слово»)*



...Прежде всего по отношению к евреям беспрерывно производились эксперименты, которые в последние годы приняли характер открытого глумления и издевательства над человеческим достоинством. Царизм может сказать про себя словами Макбета: эту кровь не смоет с рук весь океан Нептуна!

Отмена вероисповедных и национальных ограничений... в отношении жительства, передвижения; приобретения вещественных прав на имущества, не исключая казённых; представления их в залог; участия в казённых подрядах, поставках, акционерных обществах, публичных торгах; найма рабочих; занятия всяких должностей также и в государственной и военной службе; поступления в учебные заведения, преподавания в них; занятия должностей присяжных заседателей и попечителей. Действие проекта не распространяется лишь на германских, австрийских и венгерских выходцев. Акт будет обсуждаться во Временном Правительстве 18 марта.

**Приезд американских капиталистов.** ...сообщают о приезде в скором времени в Россию большого числа русских евреев, предполагающих применить капиталы на дело развития русской промышленности. Лицо, недавно вернувшееся из Нью-Йорка, рассказывает, что нигде не приходилось наблюдать такого интереса к России, как среди русских евреев.

*(«Новое время»)*

**Возвращение политических эмигрантов.** В Торнео называют свою принадлежность к политическим эмигрантам — и комендант, не входя в проверку этих данных, предоставляет таким лицам места в первом же курьерском поезде. Эмигранты проверяются комиссаром лишь на Финляндском вокзале.

В первые дни революции, как известно, жандармы, охранявшие пограничные станции, бросили свои посты, вследствие чего через Торнео хлынула в Россию масса шпионов. В настоящее время охрана границ восстановлена.

**ХВАЛА МАРКОВУ 2-му.** Он всегда в принципе отвергал свободу слова. Теперь он требует её для себя. Он говорит: старый порядок я защищал раньше, остаюсь его защитником и в дни падения. Согласитесь, в этой позиции Маркова больше достоинства, чем в пресмыкательстве оборотней, поспешивших преклониться перед новым строем.

**НОВАЯ ЭМИГРАЦИЯ?** Некрасивая картина массового отъезда из Петрограда. Буржуазные слои, которые молчаливо приняли переворот, но взирают на будущее с тревогой... Дряблые души, лишённые чувства гражданственности, у них нет веры в прочность нового уклада. Они перенесут панику за рубеж, дискредитируют дело свободы в глазах иностранцев. Изменники нашему демократическому строю, они увозят из страны массу денег, подрывают курс рубля.

**РЕЧЬ КЕРЕНСКОГО В СВЕАБОРГЕ.** ...Я приехал принести финляндскому народу весть о его свободе, которую дал ему русский рабочий, крестьянин, солдат. Отныне прочь всякие сомнения! Позвольте мне объявить финляндским гражданам, совершившим политические преступления, полную амнистию! Товарищи, на днях я еду в Ставку для свидания с генералом Алексеевым. Позвольте мне ему сказать, что отныне он может надеяться на Балтийский флот, как на самого себя? Можно мне это ему сказать? *(Рукоплескания, «просим!»)*

**Союз писателей.** Русские писатели должны немедленно создать общедоступную народную литературу по всем важнейшим идейно-политическим вопросам, которая помогла бы тёмным людям уловить идеи...

*(Любовь Гуревич, «Речь»)*

Искусство должно служить народу! В демократическом государстве искусство имеет право на существование, поскольку оно является орудием народного просвещения.

...В Таврический дворец продолжают поступать арестованные, но это по большей части лица, не совершившие никаких преступлений. Их тотчас освобождают.

Облава. В ночь на 18 марта в разных районах Петрограда задержано милиционерами 70 воров.

**Мнимые страхи.** В комиссариат Лесного района явилась жительница с заявлением, что она укажет штаб черносотенцев, у которых несколько автомобилей, вооружённых пулемётами, они разъезжают по окрестностям Петрограда и расстреливают прохожих и милиционеров. При проверке выяснилось, что никакого штаба черносотенцев и никаких автомобилей не имеется, заявительница оказалась психически больной. Подобных заявлений много поступает, особенно в окраинные комиссариаты.

**Надзор за проституцией.** Отменён прежний надзор полицейских комитетов с врачами. Ныне для женщин, занимающихся позорным промыслом, будут созданы особые приёмные пункты.

**Воззвание комиссара Москвы.** Граждане! С падением старой власти пришлось устранить и ту полицию, на которой лежало взыскание налогов. Но потребности государства не могут ждать ни дня, ни часа. Граждане, несите сами в казначейство налоги, какие с вас следуют.

**Предупреждение населению.** За последнее время участились случаи принуждения торговцев продавать товары, находящиеся у них на складах. Комиссар Москвы Кишкин просит население сохранять на некоторое время полное спокойствие... Все эти запасы будут предоставлены не случайно

подошедшим группам населения. Бессистемная продажа товаров влечёт за собой ухудшение положения.

**Присяга Грузинова.** ...В 12 час. дня в Кремле, на Царской площади против Архангельского собора, командующий войсками с чинами штаба принесёт присягу на верность российскому государству, после чего гарнизонным духовенством будет отслужено молебствие. По приказу командующего на торжество явится от каждой части по взводу со знаменем.

**Приказ комиссара по Москве.** Для устранения затруднения в движении населения предписываю немедленно приступить к очистке мостовых и тротуаров ото льда, снега и сора.

**Ростов-на-Дону.** Общественный комитет решил распустить выборную городскую думу как непригодную в условиях настоящего момента. Нахичеванская дума остаётся, исключаются только гласные, заведомо негодные по своим антиобщественным взглядам.

**Тюмень.** Прекращена газета «Ермак». Издатель заключён в тюрьму.

**Нижний Новгород.** В приказе по гарнизону объявлено, что ввиду высокого значения Совета Солдатских Депутатов — временно считать всех его членов неприкосновенными, не приводить в исполнение дисциплинарных взысканий к ним, освободить от нарядов и обязанностей службы. По всей губернии началась чистка приверженцев старой власти.

**Одесса.** Арестованы ещё несколько видных черносотенцев.

**Житомир.** Прекращено печатание правой газеты, её редактор — председатель Союза русского народа, арестован.

Д Е Р Е В Н Я. Переворот был совершён городом. Деревня город не знает, но установилось подозрительное отношение к ней. Само Учредительное Собрание в крестьянских руках начинает казаться опасной игрушкой. В среде крестьянства нет никакого ясного самосознания. По деревням не стало житья от воров и хулиганов.

**Новая сенсационная книга ТАЙНЫ РУССКОГО ДВОРА.** Закулисная жизнь Николая II. Секрет распутинского влияния на женщин. Распутин и экс-императрица. Тайны великосветских салонов.

*М о л о д а я* особа с хорошим разборчивым почерком...

**М Э З О Н  А Н Г Л Е З.** К сезонам в колоссальном выборе МАНТО, ПАЛЬТО, КОСТЮМЫ.

В СИБИРСКОМ ЭКСПРЕССЕ желаю купить билеть., плачу за переуступку.

*ОСТАТКИ ВЕНСКОЙ МЕБЕЛИ* продаются в очень большом количестве.

## 643

Так и чуяло сердце Николая Иудовича: не обойдётся. Ох, нет, не обойдётся!

Уехал как мог далеко ото всех этих опасных мест — и от Петрограда, и от Могилёва — в Киев. В Киев, где он так долго и счастливо служил командующим Округа, оставил хорошую память, имел много друзей,— хотя и здесь теперь кипела со всею страстью революция, но тут-то он думал перебыть. Нет, не удалось! Разнёсся по Киеву слух, что он приехал, достиг Исполнительного комитета — и именно его здешние знакомства и связи почему-то толкнули комитет на подозрение, что генерал может что-то злоумышлять, может перестать быть верен новому правительству.

И два дня назад его незаслуженно жестоко арестовали — а позавчера, неведомо зачем, отправили в злогрозный Петроград, от которого он не знал, как унести ноги дальше.

За что??! Откуда же он мог знать 28 февраля, что мятежники станут правительством?

Правда, везли его благородно: никто не стоял у купе со штыком, никакого конвоя, а сопровождали генерала два киевских офицера, самых предупредительных. Можно было на станциях выходить из вагона гулять — но Николай Иудович не вышел ни разу, ни даже в Могилёве, где прицепили его вагон, откуда вся беда его и пошла. (Да боялся он — и чтоб не оскорбили прохожие солдаты.)

Этой дорогой от Киева до Петербурга сколько раз он ездил прежде, сколько мест знал глазом,— сейчас на эти поля и междулесья, где боролись туман, солнце, снег, вода и черненькие проталины — с новым отрешённым захолонувшим чувством смотрел Николай Иудович, пытаясь проникнуть в свою чёрную судьбу и найти выход.

Он уже видел по многим расправам и общему суматошью, что могут засудить и безо всякой вины, разорить, растоптать. А за ним,— за ним пристрастный взгляд мог найти и вину?

Но взгляд справедливый должен был высветлить от обвинений: нет, не было вины за генералом Ивановым, не было!

Теперь он особенно жалел о несчастных обстоятельствах 2-го марта — что не удалось ему тогда встретиться с Гучковым. Достаточно было в тот день оправдаться перед Гучковым — и теперь, когда он стал военным министром, никто б и руки не поднял на Николая Иудовича.

И, как съедающий парной туман на полях, клубилось в нём: надо оправдаться перед Гучковым! Ещё и сейчас не поздно написать, подать обстоятельный доклад Гучкову.

Но в дороге ему не пришлось написать: ещё не были готовы все доводы, и трясло. Да чем больше он обдумывал свою защиту — тем более она глубилась, расщеплялась, уже целое дерево корней и ветвей.

Сперва подробно обдумывал он свои действия в первомартовские дни. Взгляду придирчивому, недоброжелательному они, действительно, могли представиться отягощающей цепью: он — и единственный он во всей России! — прямо ехал на подавление революции! Это был — эшафот.

Но если теперь со всею силой ума вдумываться и вдумываться в каждый шаг и перипетию той злополучной поездки, и вдумываться с проницанием ума сочувствующего, заинтересованного (как только может быть заинтересован сам человек в сохранении своей шеи!),— то та же самая злонесчастная цепь событий могла быть (лишь при малых изменительных мазках) совсем напротив обрисована и истолкована — в оправдание Николаю Иудовичу!

Всю дорогу теперь, почти не спя, почти не ев, генерал обдумывал каждое звёнышко той поездки: как его объяснить, понять и представить.

Если ничего не пропускать и с самого начала: в ту ночь назначения, в императорском вагоне на могилёвском вокзале,— я уже понимал, что причины петроградских волнений имеют глубокие корни. И я уже тогда доложил — как бы сказать? — бывшему царю Николаю Второму, что надо удовлетворить недовольство народа, и нельзя рассчитывать, что все войска останутся на стороне правительства.

А внести войска в Петроград? — совсем не имело карательного назначения. Предполагалось привлечь войска с фронта лишь для облегчения положения запасных петроградских войск. Лишь — для охраны петроградских заводов, не больше.

И именно для того, чтобы ни в коем случае не применить вооружённую силу, я и приказал войскам высаживаться из поездов не в Петрограде, но далеко в окрестностях. Я — именно желал избежать междуусобицы. Части, бывшие со мной, не имели никаких столкновений и не пролили ни капли крови.

Это — главный выигрыш! С этим не поспоришь.

Да собственно — нет, даже нет, не так! Я к этим войскам не имел никакого отношения! Я — их не посылал. И я — не видел их в дороге. И я не посещал их под Петроградом. Прошу отметить, это все знают: я ведь не поехал к Тарутинскому полку на станцию Александровская. Хотя он был рядом. У меня, по сути, никаких войск не было. А в Петроград я ехал просто как отдельное лицо: просто принять командование Петроградским военным округом. (Вовремя он сжёг удостоверение Алексеева о диктаторстве.)

Георгиевский батальон? Моя поездка совершенно случайно совпала с поездкой батальона. Просто — мой вагон подцепили к их поезду. Нет оснований ставить это мне в вину.

Да всю эту поездку просто раздули газеты.

Да, в пути были некоторые нежелательные эпизоды, между станциями Дно и Вырица, когда солдаты отбирали у офицеров оружие,— и мне пришлось прибегнуть к силе, но безо всякого оружия. Некоторые из задержанных имели уже по несколько экземпляров оружия.

В самом Царском Селе, лишь исполняя приказ бывшего Верховного Главнокомандующего, я посетил его супругу,— но вы можете любыми средствами проверить, что я не принял от неё никаких поручений и не установил никакой связи против нового народного правительства.

Моё положение очень осложнялось тем, что я не имел никаких сведений об обстановке,— но именно поэтому я принял благоразумное добровольное решение — уйти сам и увезти этот единственный батальон в Вырицу — для ещё большего успокоения. Тут я имел от генерала Алексеева сообщение, что в Петрограде начинается успокоение и надо ожидать благополучного исхода. На станции Вырица я и решил ожидать исхода переговоров бывшего царя с депутацией Думы.

(Чего ни в коем случае только не следует делать — это ссылаться на обмен телеграммами с Гучковым и надежду встретиться. На нынешнего военного министра это может наложить пятно, быть ему неприятно — и только ухудшит положение обвиняемого генерала.)

И так я не имел никаких важных для дела сведений до утра 3-го марта, когда получил от Государственной Думы приказ, что вместо меня командовать Округом назначен генерал Корнилов — а я, стало быть, свободен от своих обязанностей.

И я тотчас же стал возвращаться к месту своего жительства в Ставку. И только уже на обратном пути узнал об отречении бывшего царя.

Да более того! да гораздо более того и глубже! Упрёки в «царизме», которые мне

делиют последние дни,— глубоко несправедливы! Вместе со всеми я разделял общее недовольство делами царствования Николая II — за что меня очень не любила придворная немецкая партия. Моё отчисление с Главнокомандования Юго-Западным фронтом и было большой интригой группы лиц, с Распутиным в центре.

Это уже тогда породило у меня чрезвычайно тяжёлое чувство по отношению к бывшему царю и его супруге.

Царизмом я не был заражён и не мог быть.

И в Ставке я находился в совершенно изолированном положении. На вокзале.

Напротив, отречение последнего царя отнюдь не освободило меня от верности службы Отечеству — и всем властям, Отечеством поставленным.

Моя готовность служить новому правительству усугубляется сознанием необходимости искоренения того многого отрицательного, что я наблюдал и испытал при прежних порядках.

И я — никогда не принадлежал к каким-либо политическим или хотя бы религиозным организациям и кружкам. Поэтому отпадает всякая возможность дурного влияния на меня моих знакомств, в том числе в Киеве.

А в Киев я приехал — просто отдохнуть и разобраться в личных делах.

...Так кручинные думы отемнили и гнули генерала всю дорогу. Как будто он неплохо строил свою круговую защиту,— но что можно ждать от этих обезумелых революционеров? Недорого возьмут потащить и на эшафот.

Надежда была — на одного только Гучкова.

И вторую ночь в поезде, как и первую, Николай Иудович почти не спал. Остро болело сердце.

С воспалённой душой он сидел у окна последние часы перед Петроградом. Что ждало его?

Подъехали к Варшавскому вокзалу. У Николая Иудовича было два довольно тяжких чемодана, сопровождающий офицер не сразу нашёл и носильщика. Встречал их офицер — адъютант коменданта Таврического дворца. Стали выходить из вагона — откуда ни возьмись кучка солдат. Увидели генерала — столпились, кто-то пронзительно свистнул, зубоскалили — и хотя ни по чему не было видно, что генерал арестован,— но потребовали, чтобы он сам понёс свои чемоданы, иначе не пропускали.

И так — с каждым генералом, значит?.. И офицеры ничего не могли поделать. Неограждённость была полная — могли и оскорбить, и ударить. Слава Богу, хотя и отставленный, хотя и почётно-старый, но генерал ещё не потерял силушку. Он безропотно взял оба чемодана и понёс, вовсе даже не зашатавшись, только налился красно.

Солдаты, очень довольные, шли рядом, погогатывали и посвистывали.

К счастью, дальше их ждал автомобиль — и так они оторвались от этой группы. Но тотчас дальше, по Обводному, шли войска с красным знаменем. Николай Иудович попросил: везти как-нибудь стороною, так чтоб не мимо войск.

Но и перед самым Таврическим все улицы были забиты стоящими, чего-то ожидающими войсками. Только и везти мимо них такого видного генерала, дразнить. По Шпалерной вообще было невозможно проехать — объехали по Кирочной, с другого ходу. Уж чемоданов пока не брали, офицеры любезно обещали доставить вослед.

Но и в самом Таврическом было не избежать перейти зал — а в нём тоже в обилии толпились солдаты, и заметили генерала, и это вызвало колкое недружелюбное внимание.

Воистину, был ход как на Голгофу. Уж не чаял Иудович, как скорей бы принели его в отъединённое, хоть и запертое место. Болезненно ждал он оскорбления.

Но обошлось. Довели его коридором до какого-то часового, там дальше ещё коридор — и в комнату. Обыкновенную комнату, без решёток, не было в ней никого, стоял стол, диван, стулья. Ему принесли завтрак и оставили его одного.

Николай Иудович покушал, посидел, походил: вот так-так, судьбы человеческие! — он арестант.

А время уходило, надо было писать Гучкову.

Он позвал, попросил чернил и хороший лист бумаги. И хотя перо подали дрянное, но всё ж он выписал красивым, чисто писарским почерком:

«Милостивый государь Александр Иванович!

Если назначение меня Командующим Петроградского Округа с целью успокоения в нём брожения и предполагавшееся усиление гарнизона Петрограда действующими войсками не соответствовало обстановке наступившего момента,— то принятое мною решение остановиться в Царском Селе, а затем и отойти на станцию Вырица представляется вполне целесообразным: иначе возможное кровопролитие затруднило бы установление нового порядка управления Отечеством.

Отречение последнего царя от престола не избавило меня от верности Отечеству и поставленным властям. Как я служил $47^1/_2$ лет чуждый искательству, так буду служить и новому правительству, тем более, что новый государственный строй может дать блага народу. И я никогда не принадлежал никаким политическим и религиозным... Напротив, солдата и простолюдина люблю с первых лет моей офицерской службы...



Прошу о восстановлении моего доброго имени и о предоставлении мне возможности ещё послужить на пользу дорогой родины и её Временного Правительства...»

## 644

Минувшие недели всё-таки не одной революцией были наполнены, Свечин имел удовольствие последить и за настоящей войной, имел азарт и угадывать стратегический замысел и чужое исполнение: германское отступление на Сомме. Как всегда, первые вести приносились близорукими и крикливыми газетными корреспондентами — и сообщения о якобы грандиозном наступлении союзников, какого у них и за всю войну не было, не пресловутый домик паромщика, но сотни квадратных километров, и даже союзные военные представители при Ставке поняли так. Но затем, и через них же, стали приходить сведения достоверные — и проступил истинный смысл события, какой Свечин и подозревал: ничего французы не прорвали, слишком это было бы легко на устоявшемся фронте: немцы отступали сами, ничем не вынужденные к тому! Да отступали — как? С высоким искусством, узнавалась до мелочей разработанная напряжённая программа гинденбурговского штаба: отступали так, что имели всё время инициативу, свободу действий, а французам покидали настолько методически разорённую территорию вместо их налаженной прифронтовой, что обрекали их на важнейшем участке фронта к длительной разрухе и бездействию. Великолепный замысел и великолепное исполнение! Немцы на несколько месяцев создавали себе новое выгодное соотношение и освобождали много своих сил. Свечин и всегда считал, что гениальность более всего может проявиться не в наступлении, а в отступлении.

На третьем году войны немцы ни в чём не проявили ослабления, но оставались всё тем же мировым классическим врагом.

Следил за чужим замыслом и завидовал, что не русская стратегия мечет такие петли. Русских стратегов посадили под дурацкий красный колпак.

Но — где используют немцы освободившиеся силы? На Западном ли фронте? Не на Восточном? В отношении чисто военном это было для них и возможно и исключительно выгодно: при начавшемся развале русской армии они могли бы иметь здесь крупный быстрый успех.

Однако, кажется, политическое зарево стояло выше военного: нужно ли им на наше разложение наступать, или дать нам разлагаться дальше?

Революционные события Свечин переносил, точнее всего сказать: брезгливо. Высокоразумные существа — люди — вдруг обращаются в стадо озверелых обезьян. Личность растворяется в слепых страстях толпы, и больше всего боятся люди показаться умеренными. Об этой революции или дворцовых переворотах давно болтали все петроградские и московские салоны и земгоровские интеллигентские агитаторы, внушали, кликали, призывали — не могли потерпеть до конца войны.

Великому народу в великих боях такое легкомыслие не проходит зря.

Но остановить — было упущено в роковые февральские дни. Прохлопал Государь. Прохлопал Алексеев со своей блеклой упряжкой Лукомского-Клембовского. Прохлопал Хабалов. Прохлопал Иудушка Иванов. Уже не говоря о размазне императорского правительства. И наконец, сползая с гривы на хвост, прохлопал и долгоногий великий князь. (Что он заменён на Кавказе деловым Юденичем — только к счастью для Кавказского фронта. Лишь не дать англичанам погонять нас захватывать для них мосульскую нефть.)

Они все прохлопали, и закатились или быстро закатывались,— но должна была стоять Россия, и её Армия, и её Ставка — и все, кто служил в Ставке, пренебрежа своей брезгливостью, или презрением. Для того, чтобы всем им стоять, приходилось терпеть и неприятное, и неопрятное — и как-то служить и ему. Терпеливая линия в дальнем просмотре всегда оказывается верней. Какая-то дрянь ушла с переворотом, какая-то наплывёт и новая, может быть и гуще,— а Ставка должна стоять. И не только решать обычные задачи стратегические, но ещё и методами, которых у неё сроду не было, охранить солдат от подстрекательства депутатов, комитетов, Советов,— удержать армию от перерёма порядков тыла. А сейчас опубликовали ещё какую-то «Декларацию прав солдата»,— это что ж? в отмен всех уставов? Окончательно отменяется отдание чести, и даже перед строем? отменяется вечерняя поверка, а «смирно» — команда лишь предварительная,— это что?

Свечин всегда знал один девиз: служить. Пути вольномыслия очень завлекательны и разнообразны, и очень приняты образованными людьми, но дело движут и развивают не они, а вот те самые презренные чиновники и военные служаки, которые являются на службу утром и уходят в пять пополудни, если нет сверхурочных работ.

Справится ли Ставка в новом положении? Способна ли Ставка ещё на что-нибудь? Но нельзя признать положение уже загубленным, а службу уже бесполезной. Вот, Егор просится — хочет что-то придумать? (В нынешней неразберихе, да когда ликвидируются все великокняжеские отделы, наверно удастся всунуть его в Ставку, вот только улучить Алексеева наедине.)

Главное — Ставка не должна выступить против нового правительства, это Алексеев ведёт правильно.

Выход — всегдашний единственный выход жизни: компромисс. Принести присягу Временному правительству? Пожалуйста. С почётом принять в Ставке министров нового правительства как людей якобы серьёзных и что-то понимающих? Пожалуйста.

Как оправдать новую присягу? Можно это составить. Я прежде присягал императору Николаю II? Но разве я присягал лично ему, Николаю Александровичу? Я присягал главе государства, которое является моим отечеством. Однако, раз благо отечества не осуществилось при том императоре — будем искать его при новой власти.

Уже вчера на завтраке в собрании Свечин видел Гучкова, тот поздоровался весьма прохладно. Он конечно помнил крутой отказ Свечина тогда, в ресторане Кюба, когда пылкий Воротынцев чего-то от Гучкова с верою ждал. А Свечину давно уже надоела эта игра в младотурок, давно пора становиться взрослыми. Но раз Гучков стал военным министром — он переходит из сил мятежных в силы созидающие, в те, с которыми неизбежен компромисс. Он становится одной из дюжины голов этого нового сочленения, которой Свечин уже присягнул. И потому, и по служебному благоразумию, не следует продолжать прежнего вызова — но сгладить, сколько удастся.

Достиг Гучков задуманной своей высоты, но показался он Свечину не орлом, ширяющим под небесами, а довольно утомлённым и помятым петухом. И аресты ставочных чинов по его приказу выглядели не грозно, а жалко. И офицеры, приехавшие с Гучковым, таскали позорные красные банты,— а ставочные ни один.

Встречать министров сегодня на вокзале, Алексеев настоял, должны все ведущие чины Ставки.

Вдруг почему-то пожалел Алексеева. (Никогда не жалел.) Вся мера унижения, какая была в этой встрече, она падала больше всего ему. Серых, честных, трудолюбивых — таких ни при какой власти не возвышают, это ещё государева была личная склонность,— а вот обливала его революция помоями, а ему оставалось только отираться, как и ничто.

Итак, на вокзале был выстроен почётный караул из георгиевского батальона. Вся главная квартира, вместе и с морским штабом. Военные агенты союзных держав вышли на перрон из гучковского вагона. (Это Гучков подстроил по времени. А сам не вышел. И понимающий глаз разило, что военного министра встречали вчера не так.)

Обывателей из города было мало — город не смыкался с вокзалом. Но приехали на извозчиках (носились на них по городу) какие-то с красными бантами, красными шарфами и даже красными лентами наискось, через плечо. Но привели и построили какую-то школу, уже с красным флагом. Остальной перрон был беспорядочно забит любопытными железнодорожниками и солдатами, что создавало толпу, но нарушало строй.

Ещё и на крышах примыкающих станционных построек тоже набрался любопытствующий народ. Ещё выше, вкруг высоких станционных тополей, в тепловатом пасмурном дне суетились, возились, кричали грачи, прилетевшие тому дня три.

На подходе поезда два оркестра уже заиграли марсельезу.

Вагон министров сразу был отмечен тем, что из него выходила и строилась охрана из гвардейского экипажа.

Встречающие не знали точно, кто именно из министров будет, ожидали первым увидеть князя Львова — первым явлением не царской власти на Руси.

Но в вагонной двери появился — подчёркнуто узкий, тщедушный, подчёркнуто подвижный, не в штатском пальто, но в полувоенной куртке и в полувоенном картузе, всем видом и движениями явно претендуя казаться военным. И ещё ему явно хотелось отдать под козырёк. Но он удержался, а с тамбурной площадки приветствовал всех собравшихся каким-то римским движением руки — и тут же, звонкоголосо перекрикивая ещё не замолкший оркестр, закликнул:

— Товарищи! Армиям фронта — низкий поклон свободного народа! Надеюсь, ваше воинство сломит упорство внешнего врага!

И — не сошёл, и не сбежал, а почти спрыгнул к Алексееву со ступенек. И не просто пожал руку генералу, но повышенным тоном вскричал:

— Позвольте мне, генерал, в знак братского приветствия армии, поцеловать вас как её верховного представителя и передать привет от Государственной Думы!

И — смело поцеловал колючего Алексеева своим голым обгубьем.

Дальше вышла заминка, которую Свечин хорошо видел поблизости: этот мальчиковый министр тут же намеревался и идти, с Алексеевым или даже без него, мимо почётного караула. Но Алексеев, естественно, ждал следующих министров. А следующий министр в тамбуре не появлялся. (Когда потом появился надутый Милюков в шубе, можно было догадаться, что он не хотел просто прилипнуть к спине юного предшественника.) Вышла заминка,— а тем временем матрос гвардейского экипажа с усилием опустил одно вагонное окно — и оттуда выставился ещё какой-то штатский, без шапки, хорьковатого вида, с холёными усами, и тоже ораторски высунул руку и закричал, но уже в тишине, в приготовленном внимании:

— Товарищи железнодорожники! Ваш героизм и сознательность безропотно несущих днём и ночью свой труд с удвоенной энергией на алтарь отечества!.. Старое правительство разрушило железные дороги, но мы оживим их и поднимем правовое положение железнодорожников!

Так что постепенно прояснялось, что это наверно — министр путей сообщений.

А в тамбуре показался и выдвигался к двери — очень постепенно, очень солидно, на голове богатая меховая шапка, шея в меховом воротнике, строгий вид, строгие очки — всем известный Милюков.

От некоторых не в строю раздались аплодисменты.

Милюков осторожно, как бы остерегаясь свалиться, сошёл по ступенькам, внизу поздоровался с Алексеевым. И движенья не делал приобнять или целоваться.

Тем временем сходил со ступенек ещё один министр — ростом выше Милюкова, совсем не надутый, открытое прямое лицо.

Затем и тот хорьковатый.

И теперь все четверо с Алексеевым двинулись мимо почётного караула,— но министр-мальчик на нетерпеливый шаг вперёд всех остальных, и первый звонко крикнул, смешно из юношеского горла:

— Здорово, молодцы!

И георгиевские кавалеры отлично отрубили:

— Здравия — желаем — господин — министр!

Милюков и другие уже не кричали караулу.

И мимо выстроенных чинов Ставки прошли со штатскими поклонами, никто никому не подал руки.

Впрочем, и много стояло же этих чинов.

Впрочем, Государь подавал.

Затем опять возвратились к своему тамбуру, и тот шустрый министр легко взлетел на площадку, обернулся и быстрым горячим голосом начал выбрызгивать речь. Кидалась его необычайная взволнованность, и ощущение необычайности момента, и страсть голоса,— за всем тем Свечин только и усвоил из его речи, что Учредительного Собрания нельзя собрать, не достигнув прежде победы над немцами.

По крайней мере хоть это понимали.

И — «ура» за армию!

— Ура-а-а-а-а!

Затем медленно, солидно на ту же площадку взошёл тяжёлый Милюков, обернулся, взялся руками за верхи поручней (проверяя пальцем, нет ли там налётов паровозной сажи) — и стал подчёркнуто не торопясь и подчёркнуто без ажитации, довольно долго говорить.

Он отмечал заслуги армии в свержении старого режима.

(Если говорить об Армии Действующей, то заслуга могла быть только в полном бездействии.)

Уверен был:

— Народ, сумевший в четыре дня совершить мировой переворот,— добьётся и победы над внешним врагом!

Сесть бы тебе за оперативный стол, да посчитать, сколько мы потеряли от петроградских заводов. Да смещённых начальников. Да комитетов сколько. Да дезертиров.

И — «ура» за армию!

— Ура-а-а-а-а!

А затем поднялся тот третий министр, с таким хорошим, естественным лицом. И голос у него оказался естественный и душевный, даже редко такой услышишь. Но говорил он зачем-то длинно, с косвенными отвлеченьями, всё не мог остановиться,— всё о тяжёлом наследстве старого режима, как его преступный хаос отразился на продовольствии. Говорил как-то растерянно или рассеянно, будто сам озабоченно думая о другом:

— Хлебородная страна вследствие преступной политики старого режима осталась без хлеба. В две недели наладить снабжение было, конечно, трудно. Но будут привлечены лучшие люди общества. Не пеняйте нам, если на первых порах придётся несколько и сократить потребление.

А что ж пеняли старому правительству? Оно и не сокращало.

— Теперь — мы сами делаем свою историю — и не на кого сваливать ответственность. Во имя будущего надо ограничить себя в настоящем. Только общей неустанной самоотверженной работой...

## 645

Не прошло и трёх недель революции — армия была расколота до основания, шаталась и гибла. Не то что наступать в этом году на Германию,— разумному военному человеку было ясно, что для спасения самой-то армии, чтобы было кому с т о я т ь, могли остаться только недели!

А Лечицкий сказал: всё равно ничего не поделать...

А сослуживцы по штабу армии и кого Воротынцев повидал в поездке по корпусам — были встревожены, уязвлены, ироничны, или даже равнодушны (или даже перекрашивались под новую власть?),— но никто не разделил, что надо немедленно, вот тут же, самим, что-то резкое предпринять.

Армия — всегда и на всё ждёт команды.

Как мы все разъединены! Все дёргаемся поодиночке. Офицерство оказалось — сплошное баранство. Мы смелы в своём обязательном строю, в бою против Гинденбурга,— но пришло с неожиданной стороны, из-за нашей спины,— и какой мрази уступили?

Впрочем, большинство когда умело что-нибудь сделать? Большинство и всегда лениво духом, на него надежды нет.

Но — немыслимо не противостать этому разложению! Ведь на этом не кончится, пойдёт ещё глубже. Лечицкий прав: это — осыпь земляной кручи, и она тронулась ещё только по верху. О революции уже все пишут как о чём-то, произошедшем три недели назад. Хо-го! Она только начинается!

И надо спешно искать наилучшей точки: и — чтоб самому не сползти, и — чтоб удержать. Если это вообще кому-нибудь посильно.

Воротынцев стал спать дурно, его жгло, что надо немедленно д е л а т ь! Он ждал ответа от Свечина. Свечин пока дал телеграмму, что — надеется устроить.

Решение — не рождалось. Первое соображение военного — применить к ситуации военные средства. Но такие средства — у кого были? И был бы у Воротынцева свой прежний полк — сегодня, конечно, тоже разлагаемый — так и тоже не то, вращённый в костяк фронта, отдельно не вынешь. И: революция — точно как зараза: тот, кто хочет приблизиться лечить от неё,— обречён прежде заразиться сам.

Да и что на Румынском фронте можно делать?

Он только мог присоединиться к кому-то крупному и сильному.

Но вот — и Лечицкий не собирал таких. Западный фронт — на уровне Москвы! — мог быть таким центром действия! — но вот Лечицкий не брал его.

Вчера весь день стоял туман над городишкой Романом, а сегодня подул совсем тёплый ветер, туман сдёрнуло, под солнцем и небом открылся Серет и степь за ним в сторону Ясс — нигде уже ни клочка снега, и только чёрные-пречёрные плодороднейшие поля, ждущие семян, и такие же чёрные взмешенные дороги, по которым проехать совсем невозможно. На несколько дней вся Девятая армия потонула в этом море грязи. Но каждый, кто становился пощуриться под солнцем и принять этот обещательный ветер в лёгкие,— узнавал вокруг и в себе каждогоднее, каждый год удивляющее ликование весны — толчком в грудь, вмещающее в нас сноп радости, самоуверенности и надежд.

В такую погоду, и чувствуя себя молодым — нельзя не верить в успех.

И в этот солнечно-голубой день — пришла Воротынцеву телеграмма из военного министерства. Не от самого Гучкова, но от помощника его, генерала Новицкого. А содержание — захватывало дух: немедленно прибыть в министерство получить назначение с *большим повышением*!

Такая телеграмма может придти офицеру — раз в жизни. И не в каждой жизни.

Да Воротынцев, признаться-сказать, и ждал такой телеграммы. И даже удивлялся, почему не шлют: обиделся на него Гучков?

Воротынцеву, в его разряде командира полка, повышением было бы — получить дивизию и генеральский чин. А — *большим* повышением? Сразу корпус?..

Или... революция чудит... или — даже Армию потом вскоре?

Всё может быть, когда прежние начдивы и комкоры начали сыпаться как сосновые шишки.

«Дорогу независимым!»... На этом тезисе ведь и было их совпадение с Гучковым. Об этом и мечтали: сменять по непригодности, а не по старческой только болезни. Это и обличали: загромождение командных постов засидевшимися стариками.

Головокружительный соблазн.

Выбор — целой жизни...

Какой выбор? Да, конечно, я согласен! Кто может быть не согласен?

А Лечицкий сказал: не время сейчас возвышаться.

Но и именно — время! Но и важней всего — управлять событиями *сейчас*!

Но если Лечицкий не видит силы в Главнокомандовании Фронтом — то что может сделать корпусной? Получить от Гучкова корпус,— а с чего он окажется крепкий и стойкий?

И потом: идти сейчас к Гучкову — значит и служить этой самой революции? Разве Гучков позовёт — противодействовать ей? Он же сам — петроградская власть.

Но революция — это событие слишком огромного масштаба, чтоб его безошибочно разглядеть изблизи. И из революций тоже выходили могучие государства, на века.

Могут быть ещё разные, разные повороты к лучшему, там дальше увидим?..

Но что, вот, сразу близко видно: Временное правительство, которому так бы естественно выйти из войны,— безмозгло кричит о новом приливе сил и о войне до победы.



И — сами же при этом разрушают армию.

На что ж они надеются?..

Продолжать войну? — уже в прошлом году это было преступно перед русским народом. Сегодня — это стало и безнадёжно. После того как отпробовали шипучего комитетского напитка — кто ж вернётся в старый строй? Теперь-то, после революции,— продолжать войну самоубийство.

Теперь долг — не переть на войну, не жалеть лба,— но спасти народ в час его охмеления.

Да вот: как Гучков допустил эту «Декларацию прав солдата»? Он возвышает энергичных офицеров — и он же разваливает армейские уставы? И чего он ещё наворочает?

И какой же смысл возвышаться по куче, которая рушится?

А в этих комиссиях — поливановской, Военной — однако, кто и налип, как не младотурки же?..

Нет, пути расходятся. Это был самообман, будто и Воротынцев состоял в той компании. Как будто все едино хотели разумных армейских реформ. А они, вот, готовы и на развал.

Новицкий, подписавший телеграмму,— генерал-писатель, большой любитель изъяснить военную жизнь пером. Сейчас, когда больше всего нужна пропаганда, конечно, ему и быть при военном министре. Он ещё из юнкеров был разжалован за политику, потом всё же прошёл курс. А недавно был отставлен от бригады: что она по его вине понесла потери газовой атакой.

Ка́к всегда жвждал Воротынцев высокого назначения! И вдруг сверкнуло — внезапное, небывалое!

Но — не от тех.

Но — не в то время.

Нет, не должность важна при революции. А — реальная возможность делать дело.

Однако в штабе Девятой армии теперь уж вовсе не остаётся делать ничего серьёзного.

Ставка! Вот единственное место, которое может противостоять и развалу от правительства, и развалу снизу. Единственное место, независимое от Петрограда и само себе командующее.

Единственное место, где может завязаться армейское сопротивление красному Петрограду. Если уж не в Ставке — то где ж ещё?

Или, всё-таки, принять вызов Гучкова?

С какой решимостью — отшвырнуть?.. Ведь на корпусе вскоре — и генерал-лейтенантский чин! А в Ставке — ничто, какая-нибудь жвлкая должность?

Выбор честолюбия: да, безусловно ехать к Гучкову! Сейчас же — согласие, и выезжать!

Как вот подсохнет.

Выбор реального дела: только Ставка! Нервный узел.

Не может быть, чтоб уже всё было без поворота проиграно!

Во всякой стеснённой задаче, если всматриваться в неё пристально и со свежестью, можно увидеть решение — и даже достаточно простое, неожиданное.

И есть — азарт опасных положений!

Сказал Лечицкий: революцию не перехитрить?

А может быть, всё-таки, есть такой способ?

Да не может быть, чтоб не оставалось никакого выхода! Так не бывает ни на войне, ни в природе.

## 646

И снова катили торжественные валы революции! И снова текли и текли праздничные войска к Государственной Думе!

Позавчера пришёл из Нового Петергофа гвардейский артиллерийский дивизион — и притащил за собой 12 тяжёлых пушек. И с оркестром и со всеми плакатами хлынул на ненадёжные полы Екатерининского зала, к счастью не пытаясь втянуть с собой и пушки — они все двенадцать остались на Шпалерной, грозною народною защитой Государственной Думы. Но ещё стояли в Екатерининском артиллеристы — как уже подошёл к дворцу, мешая строй из-за пушек,— гвардейский Литовский батальон. Пока разобрались, вывели одних, ввели других, произнесли речи перед литовцами (и Родзянко опять, но и Чхеидзе опять),— доложили, что снаружи подошёл 180-й запасной полк. («Тех, кто предавал народ,— под народный суд!»)

Уже так много было полков, желающих выразить преданность, что не все могли пойти по круговороту Таврический дворец-Дворцовая площадь, но кто куда успел. С Дворцовой площади доносили по телефону, что там в этот день Корнилов принимает парад и митинг сразу двух пулемётных полков перед отправкою их в Ораниенбаум. (Уже который день пулемётные полки ходили в разные места Петрограда и прощались.)

Вчера привалил к Государственной Думе запасной батальон гвардейского Петроградского полка — с полуистлевшим георгиевским знаменем, простреленным в турецкую

кампанию, и красной лентой: «Доверяем Временному правительству». Родзянко в это время не было в Таврическом; Чхеидзе, на этот раз не «генерал», а «солдат от народного доверия», воспользовался и звал зорко следить за шагами Временного правительства. А к Измайловскому батальону Родзянко поспел, и выборный полковник произнёс здравицу: «За мудрого честного вождя Родзянко!» — и обоих понесли на руках.

Однако высшего ликования шествия полков достигли сегодня! Феерически повторялась незабываемая картина революционных дней! Колонны войск забили всю Шпалерную, завернули на Потёмкинскую и дальше вокруг Таврического сада — и по несколько часов ожидали впуска во дворец, многие сидя на снегу, а то и лёжа, ружья везде составлены в пирамидки.

Первым пригарцевал 9-й запасной кавалерийский полк, сам себя назвавший «1-м кавалерийским полком республиканской армии»,— это название они и везли на пиках первой шеренги.

Сразу же за ними пришёл лейб-гвардейский Московский, и тут же за ним — лейб-гвардии Преображенский.

Так и забили улицы — хотя и это был не конец: дальше пришли пешком из Петергофа, потом 2-й балтийский флотский экипаж и, уже к вечеру,— гвардейский экипаж. А в 8 часов вечера, уже в полной темноте,— дошагал из Красного Села 176-й полк.

И все дожидались очереди войти в Екатерининский зал и тут держать митинг. Законное желание! (Хотя и утомительное.)

И выступали, выступали, чередуясь, то думские депутаты, то члены Совета. Сам Родзянко берёг свои силы, чтобы выступить перед экипажами, тем и другим. Вот вливались в зал и чёрные шинели. (У гвардейцев на знамени с одной стороны изображён крестьянин, «земля и воля», с другой — кузнец с наковальней и «да здравствует свобода».) Второй Балтийский экипаж Родзянко убеждал терпеливо ждать воли Учредительного Собрания, которое и ответит на все вопросы, волнующие русский народ. Но тут же влез от московского совета депутатов: что моряки — революционный авангард и выдвинули лейтенанта Шмидта, и отстоят теперь свободу, которая пока завоёвана лишь наполовину.

И его — балтийцы качали. А Родзянку — не качали.

А к гвардейскому экипажу прежде Родзянки обратился их командир, капитан первого ранга: мол, 100 лет назад, когда декабристы вывели на улицу петербургские полки,— гвардейский экипаж тогда вышел первый. Теперь — не первым, но тоже вышел. А с проклятыми немцами будем бороться до победного конца! С «ура» подхватили матросы его качать. Затем и Родзянку.

Так до позднего вечера ликовал сегодня Таврический. А завтра, в воскресенье, сюда ожидалась огромная манифестация женщин, добиваться избирательных прав,— и тоже ведь не мог Михаил Владимирович не выступить.

Всё так, всё отлично, но разве деятельность его только была приветствовать полки? Да именно в эти самые дни 23 армейский корпус прислал Комитету Государственной Думы в подарок шлем — как эмблему безопасности от посягательств врагов свободы. А артиллерийский парк прислал всё месячное солдатское жалование на усиление войны. И приходили сведения, что крестьяне жертвуют для родины хлеб. И надо было принять делегацию объединившихся демократических полинов, пришедшую благодарить Думский Комитет за обещание независимости Польше. (И хотя Комитет был ни при чём — но как не принять благодарности?) И нельзя было не принять Громана, который приходил мутить и жаловаться по продовольствию на Шингарёва. (Да и пора была писать воззвание к крестьянам: не поддаваться агитаторам и не громить имения. Очнулся теперь Родзянко, что зря это он в революционных понюхах утвердил реквизицию хлеба, у кого свыше 50 десятин. Это — разбой. И он теперь протестовал Львову.) И надо было рассылать, рассылать комиссаров Думы во все концы страны и разъяснять единство Думского Комитета, Временного правительства и Совета Рабочих Депутатов. А сегодня вызывал к прямому проводу генерал Рузский — и ни с того ни с сего повёл по телеграфу дискуссию: кого именно понимать под правительством — Думский Комитет или Совет министров? Генерал понимает совет министров лишь как исполнительный орган, а Комитет Государственной Думы — как орган высшего контроля. Да, конечно, именно так! — горячо подтверждал Родзянко. Но мы решили предоставить им отчасти и законодательную власть.

А дошло ли в Петрограде до полного успокоения?

Ох, много раз говорил Родзянко, кажется, что дошло. Но нет, увы, далеко до успокоения.

Именно в эти последние дни успевал решать Михаил Владимирович и ещё более важные вопросы. Тяготящий душу позорный вопрос, что некоторые депутаты получали субсидии из секретного фонда. Наконец, пришли объяснения ото всех них. К счастью, Пуришкевич, оказывается, получал для составления солдатских библиотек — и так оказался чист. А Марков имел наглость открыто признать в газетах, что да, получал помощь от правительства и сам как монархист поддерживал правительство — и гордится этим. А другие — уверяли, что не получали. А Крупенский прислал чек назад.

В тревоге заседал трижды Комитет и наконец постановил: лишить недостойных депутатского звания и считать это мнением как бы всей Государственной Думы, которую невозможно теперь собрать.

Но, когда ездил в довмин, принял Михаил Владимирович на душу ещё горшую тревогу и отемнение: узнал он, что готовится назначение Алексеева Верховным Главнокомандующим.

Роковой шаг! Этого он и боялся! С первой минуты пронзило его, что это — опасная ошибка. И потом час за часом прорабатывалось в нём: какая же это опасная ошибка!

Лукавое котячье лицо Алексеева так и стояло перед ним, живое!

Как фактический глава государства, как человек, ответственный за Россию,— Михаил Владимирович не мог не вмешаться! И самым энергичным образом! Он должен был спасти — и русскую армию, и победу, и революцию.

Но не имея прямо власти вмешаться и запретить и не имея под рукой полной Государственной Думы для запроса — один способ имел Родзянко: написать предупредительное увещательное письмо. Кому же? Ну, очевидно, князю Львову.

Письмо прорабатывалось в нём,— и сегодня в дальней комнате дворца, сотрясаемого шагом тысяч, он написал — своим красивым решительным разбросистым почерком, мысли легко ложились под перо:

«Милостивый государь князь Георгий Евгеньевич.

...Это назначение не приведёт к благополучному окончанию войны. ...Я сильно сомневаюсь, чтобы генерал Алексеев сосредоточил в себе сумму достаточного таланта, силы воли... Генерал Алексеев всегда считал, что армия должна командовать над тылом, над волей народа... Вспомните обвинение генерала Алексеева против народного представительства: что оно из главных виновников надвигающейся катастрофы... Не забудьте, что он настаивал на введении военной диктатуры... Ширины умственного кругозора в этом человеке нет, охватить широким размахом донельзя усложнившиеся условия ему будет не по силам, да имя его и мало известно в России... Для меня совершенно ясно, что только Юго-Западный фронт оказался на высоте положения. Там чувствуется голова широкого полёта мысли — я имею в виду генерала Брусилова. Это единственный генерал, совмещающий... Другим лицом широкого государственного ума я считаю генерала Поливанова. Быть может, ещё не поздно изменить ваше решение...»

Вот. Вот так. Сегодня же и отправить.

А если не повлияет?

О-о-о!.. О-о-о!..

Тогда: завтра же собрать заседание Временного Комитета Государственной Думы — и просто постановить!

То есть, вынести рекомендацию.

## 647

По-настоящему, трудно было уразуметь, о чём бы Верховному Главнокомандующему надо было совещаться с министром юстиции и даже путей сообщения после того, как накануне уже обо всём важном отсовещались с военным министром. Другое дело — по иностранным делам. И всегда охотно — по продовольствию.

Да ещё: как понимать этих пятерых министров в их совокупности и взаимоположении? если не приехал премьер — то кого из них считать старшим? Гучкова? А может быть Милюкова? (А Керенский уверенно держал себя как за старшего. Впрочем, простой искренний молодой человек, неожиданный его поцелуй тронул Алексеева.)

Травимый Советом депутатов, Алексеев ли всей душой не хотел наладить сотрудничество с правительством? Да как без этого вести дальше войну? Без Временного правительства — что теперь есть Ставка? Она не может решить ни одного стратегического вопроса, ни с пополнениями, снаряжением. Надо любой ценой установить бесконфликтные отношения, и придётся принять дух, круг понятий и условия новой власти.

Но принять их условия — не значило принять все их безумия подряд. Вот они простили всех дезертиров, вот они простили уголовных,— а теперь отменили смертную казнь! во время войны и на фронте! Хотя этого и раньше почти не применяли — но оно же должно быть! Газеты давно болтали об этой отмене — но никак Алексеев не думал, что у правительства настолько не хватит благоразумия. Они как будто совсем не понимали реальной опасности развала армии — всё заслонялось выставочным щитом *демократизации*.

Через глухое течение телеграфных лент или сухую сдержанность донесений передать в дальний Петроград здешнюю тревогу и опасность было непосильно. Но теперь-то, когда министры сами наехали сюда в таком числе,— теперь-то и было высказать всё открыто. Да, поддержать хорошее взаимопонимание, но также и отстоять армейский взгляд. Как-то нужно в сегодняшнем совещании всё это тактично совместить.

Генерал Алексеев сильно волновался. После дня отречения Государя вчера и сегодня были для армии самые важные дни.

По пути с вокзала министры проявили приятное весёлое настроение: сегодня в вагоне, говорили они, впервые за три недели они крепко спали. А то ведь в самые революционные дни не умывались по шесть дней и спали в сутки по часу! — но скорее с гордостью об этом. Всем министрам Алексеев приготовил номера в гостинице «Бристоль», рядом со штабом, однако номера могли понадобиться им лишь для дневных переодеваний: дела революции не позволяли им задерживаться в Ставке, и сегодня же поздно вечером намеревались они отправляться назад и поспать снова в поезде.

Против штаба собралась на площади большая толпа — поглядеть министров. Охрана гвардейского экипажа продолжала сопровождать их, и ещё филёры сновали в толчее. Министры махали руками толпе, и особенно воодушевлённо Керенский.

Завтрак сервировали в узком составе — пятеро министров и три ведущих генерала, и уже за завтраком началось деловое обсуждение. Потом перешли в конференц-комнату, то есть всё в ту, где висело пять карт фронтов. Теперь собраны были все новые лица, о ком и вообразить нельзя было прежде тут,— а решать, по сути, надо было всё тот же вопрос: план кампании 1917 года.

И вот теперь Алексеев мог повторить им свои новейшие выводы: что наступление — лучший выход для нас. И мы можем намечать его, хотя и в ограниченном размере, на первые числа мая.

Какое облегчение! — не придётся краснеть перед союзниками! Министры радостно засветились, едва ли не больше всех сдержанный Милюков. И все стали крайне благожелательны к Алексееву. В десять глаз рассматривали этого царского генерала и удостоверялись, что — можно ему доверить всероссийскую вооружённую силу!

(Да уж забыли они или не ценили: кто ж больше Алексеева помог им самим утвердиться?..)

А тут ещё именно сегодня появился при Ставке американский военный агент поручик Ригс. Он вот-вот ожидает извещения о вступлении Соединённых Штатов в войну, чтобы официально начать действовать при Ставке. Это — радовало всех, ещё бы!

Но Алексеев не дал себе раскиснуть от их доброжелательства, но стал выдвигать твёрдо. Господа! Освободите армию от тлетворных влияний и от политики. (И особенно смотрел при этом на Керенского: затлела у него надежда, что именно этот министр — мог бы!) Мы не можем допустить такой резкой ломки всего воинского устава. Армия переживает фактически болезнь, упадок духа офицерского состава, солдатское брожение. А — Балтийский флот?.. Провален весь наш правый фланг. А как может быть, что Петроградский военный округ отказывается давать пополнения Действующей армии? А петроградские заводы уже три недели не дают вооружения... А именно в Петрограде главное производство всех боевых припасов. По причине революционных событий мы не получаем более ни снарядов, ни патронов, ни орудий, ни ружей. Не поступают и мины для обороны Балтийского моря, оно станет открыто противнику. Теряя столицу, мы теряем возможность победы. А такая неудача сотрясла бы страну морально — и население припишет тому, что переворот произведен не вовремя. И будет искать виновников.

Кого?..

Так Алексеев выдвинул остриём против министров всё, что мог.

А вот — сведены заявки по разным отделам интендантской части, по артиллерийской части, по снаряжению, по людским укомплектованиям, конским, по железнодорожному транспорту, по топливу, по металлам. Вот — графы потребных норм, вот — наличных запасов, вот — ожидаемое от тыла. Война теперь ведётся на истощение.

Всё так, господин генерал, но Ставка должна уяснить себе народные желания и руководствоваться ими. Слишком настаивать на узких военно-технических вопросах — значит не понимать духа революции, это производит невыгодное впечатление на общественность. Ставка не должна довлеть сама себе, а являться исполнительным органом революционной власти. Возникает вопрос: достаточно ли разъяснено командующим армиями значение переворота? Войска должны идти рука об руку с народом, и враги нового строя нетерпимы. Новое правительство и само имеет значительные трудности с Советом депутатов, да. Тем не менее, оно смогло спасти родину от грозящей гибели. У нас у всех преобладает оптимистический взгляд на будущее.

При такой настороженности министров — разве мог Алексеев дальше пожаловаться, что даже в Могилёве сама Ставка чувствует себя неуверенно, страдает от хамства *товарищей* из местного Совета. Даже в Могилёве Алексеев реально теряет власть.

Ну что ж, проще двигаться по повестке дня, вот по этим заготовленным заявкам, которые уже и в Петроград многие посылались. На фронтах запасов продовольствия и фуража стало недостаточно. Значит, надо либо уменьшить суточную дачу, но это опасно при нынешнем возбуждённом настроении армии, либо надо сократить в армии число ртов и лошадей. Отводить в тыл конные дивизии?

Затруженный Шингарёв печально отвечал: сокращать лошадей и рты — да, но этого мало: неизбежно и значительно уменьшить суточную дачу хлеба, круп, фуража: хлеба — до двух фунтов, крупы — до четверти фунта. Шингарёв разводил большими ладонями: всё посчитано, у нас нет другого выхода. Настроения армии не надо бояться: как раз револю-



ционное настроение и поможет перенести урезы, которых не простили бы царю. Причём: категорически воспретить воинским частям производить закупки или заготовки в тылу собственным попечением, как это разрешалось до сих пор: это разваливает всё государственное снабжение. Пусть армия разводит огороды, вот выход.

Разводить огороды? — какое ж тогда наступление!

Но если мы не можем снабдить самих себя, запротестовал Алексеев, то надо же прекратить отправку пшеницы союзникам!

Малоподвижное лицо Милюкова и твёрдый лоб его омрачились: ведь это ему, ему придётся краснеть и извиняться перед союзниками.

Некрасов занервничал: железные дороги не могут сейчас справиться одновременно и с перевозкой запасов для армии и с оперативными перебросками войск, если они понадобятся для наступления.

Вот как... Генерал Алексеев нашёл доводы и силы обнадёжить правительство — а правительство, напротив, глушило его. И — что ж из этого выйдет?

А вот что. Генерал Алексеев должен издать ободрительную директиву фронтам. Нынешнее положение создалось от неумения прежних министров наладить продовольствие и транспорт. Новые народные министры стараются распутать, но требуется терпеливо пережить переходное время. Потребности армии огромны, и дороги пока не могут удовлетворить их в полной мере. Ограничены и ресурсы в Европейской России. Внутри страны нет такого запаса собранных продуктов, и вот почему придётся уменьшить дачу продовольствия и фуража. Пусть армия обходится пока тем, что доставляется, и верит, что в тылу всё делают лучшие люди и лучшим образом. Затруднения — и во всех странах, и даже там дачи — меньше. Война идёт на истощение, и победа достанется тому, кто сумеет всё перетерпеть. Временное правительство обещает, что через $1^1/_2$-2 месяца уже будут благоприятные результаты.

Да не для того министры приехали в Ставку на короткие часы, чтоб изучать эти цифры, настроченные в гнетущих докладах,— над тем будут работать комиссии по секциям.

А — вот что надо сокращать: саму Ставку. Во-первых, ускорить ликвидацию управлений бывших великих князей. И сами они, и принц Ольденбургский пусть немедленно подают прошение об отставке и отправляются в Петроград, мы не будем арестовывать их. Затем: царский железнодорожный батальон — отправить на фронт. Георгиевский батальон? — тоже доверять им нельзя, это каратели, хотя теперь притворяются, что не знали, куда едут.

Генерал Алексеев не спорил. Он даже, со своей стороны, просит правительство как можно скорей отправить бывшего царя в Англию: его пребывание в России может нервировать армию.

Керенский возразил с оживлением, что надо прежде разобрать все царские бумаги — и только тогда...?

Да, вот ещё. В правительственных кругах очень сочувственно относятся к новой инициативе Земсоюза: сверх всей многообразной заботы, которую он уже ведёт об армии, ещё взять на себя создание Комитета Пропаганды, который будет давать армии ответы на все интересующие её вопросы политической, социальной, военной жизни, способствовать росту её сознания и подготовке выборов в Учредительное Собрание. (А пока на этот комитет нужен один миллион рублей.)

Земсоюз был больным местом генерала Алексеева, теперь скрываемо больным: ведь он докладывал царю свой решительный вывод, что Земсоюз приносит армии больше вреда, чем пользы, и следовало бы его разогнать, и рассылал секретную директиву, как надо ограничивать Земсоюз. И сейчас на это новое феерическое предложение он серьёзно мог бы ответить только одно: а не хотят ли все эти молодчики-земгусары да послужить в строю? Именно их пропаганды он и опасался всегда. Но председатель Земсоюза стал теперь премьер-министром России. И Алексееву оставалось только согласиться на эту новую карусельную болтовню.

С последней надеждой он взглянул на Гучкова,— должен же он понимать эту вздорность?! Но тот сидел как с зубной болью. Не возразил.

И ещё есть правительственное предложение: посылать делегации от войск в Петроград для приветствий Временному Правительству.

Ну что ж, если это нужно. (Алексеева как бы опять не познабливало, не возвращалась ли болезнь?)

Так постепенно совещание прошло через все трудности — и проступал итог для газетного коммюнике:

«Генерал Алексеев понял народные желания. Линия для общей работы с ним найдена.»

18 марта

### ФРАНЦУЗСКИЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ ГЕНЕРАЛ НИВЕЛЬ — ГЕНЕРАЛУ ЖАНЕНУ ПРИ РУССКОЙ СТАВКЕ

**Энергичным образом настаивать перед генералом Алексеевым, чтобы, несмотря на важные внутренние события, русская армия, в соответствии с принятыми ранее решениями, оказала возможно полное содействие операциям англо-французских войск. Наилучшим выходом как с точки зрения общих интересов коалиции, так и для морального состояния русской армии является как можно более скорый переход ее в наступление.**

### 648

А даже и хорошо, что князь Львов не поехал в Ставку: у него образовался в субботу как бы невольный день полуотдыха. То есть нисколько не прервался ни поток приветствий, ни поток забот, звонков, докладов, и особенно Щепкин, в себе не уверенный, спешил решать в этот день с князем все вопросы по министерству внутренних дел,— а всё-таки чувствовалось облегчение: без половины министров ни одного мучительного вопроса не придётся сегодня постановлять. И не придётся мирить накопляющиеся страсти, особенно между Керенским и Милюковым, что бывает князю очень тяжело душевно. Заседание правительства если и состоится, то по вопросам третьестепенным — об отмене переводных и выпускных экзаменов в средних учебных заведениях, об обнаруженных хищениях при строительных работах, о выплате суточных и других вознаграждений комиссарам губернским и уездным, служащим правительственной канцелярии, телеграфного агентства, и процентные надбавки им.

Самым давящим в жизни князя Львова последние две недели то и было, что никто не состоял *над* ним в качестве начальника, высшей инстанции, с которой бы ему и ладить: спокойней было бы князю иметь над собою решительное твёрдое начальство. Нет, он стал тот самый верхний, за всё ответственный, который и должен теперь укладывать все неразрешимые вопросы России. И эта нагрузка была бы непосильна для человеческого мозга, если бы не верить, что сама Россия во всём разберётся и всё вытянет.

Отец князя Георгия был вольтерьянец, и не любил русской деревни, и даже бежал из неё в предреформенные, довольно жуткие тогда годы за границу,— так что Жоржинька родился в Дрездене и первый язык его был не русский, а английский, от бонны. Отец, и воротись потом в Россию, всё не доверял русским крестьянам и на более сложные работы в имении выписывал рабочих из Германии, хотя от этого смехотворно не было лучше. Однако Жоржинька, напротив, вырос в уверенности, что наши мужики во всём учителя жизни, и наш народ — богоносец. И эта вера в наш чистый, святой народ особенно поддерживала князя Георгия сейчас, на бурных общественных волнах. Он понимал, он верил, что вся стихия уляжется, когда здравый смысл возьмёт верх. Что наш народ сам знает, что ему нужно, и сам всё устроит.

А между тем корреспонденты, конечно, пронюхали и сообразили, что у князя Львова сегодня менее загруженный день,— и дружно приступили с просьбой о беседе для воскресных выпусков газет: дать читателям общий обзор переживаемого момента и общие перспективы.

Ну вот и недостающее сегодня бремя,— грустно усмехнулся князь. Но не только невозможно было отказать настойчивым корреспондентам, а он тут же и подумал, что это хорошо, что это даже лучший способ управления: не постановления выносить, не указы, но — вольными, широкими словами объяснить всё народу России.

Пригласил корреспондентов к себе в кабинет, выдержанный в синих и костяных тонах. Лакей в ливрее и высоких белых чулках подал кофе.

Создалась вместе — интимность и просторность, было легко говорить. И слышал князь, как голос его задушевен и как это передаётся, умягчает корреспондентов. И князь говорил как бы сам с собой или мысленно со всей Россией:

— Время, которое мы переживаем, настолько выходит за рамки всех привычных представлений о ходе государственной жизни, что я чувствую себя затруднительно говорить в форме газетного интервью. Жизнь — ещё в расплавленном состоянии, и те твёрдые формы, в которые она выльется, намечаются пока лишь в общих очертаниях, а определятся со временем — свободным народным творчеством.

Князь говорил не торопясь, весь вдумываясь, весь вчувствуясь, поводя то к одному корреспонденту, то к другому седоватой своей головой и улыбаясь своею, как он знал неизъяснимой, улыбкой.

— Русский народ только сейчас стал перед всем миром и перед самим собою во весь свой гигантский рост. Он совершил настоящее чудо: в течение нескольких дней он снёс до конца прогнившее здание старого порядка — безо всякого междуусобия, почти без кровопролития. Он совершил и второе чудо: он сумел на второй день после своего великого переворота сорганизовать новую власть и в центре, и на местах. Скажу вам, я верю в то, что он совершит и третье чудо: донесёт свою свободу и своё единение в неприкосновенности до того великого дня, когда Учреди...

Переполненный верой, князь дрогнул голосом:

— Только эта вера и помогает нам нести наши сверхчеловеческие задачи — и не сламываться. Без дружной народной поддержки мы бы...— докончил шёпотом,— свалились.

Он должен был передышать, чтоб овладеть собой, но корреспонденты не ринулись грубо в эту паузу с вопросами. Да это всё были чуткие интеллигентные люди. Чуть звякали кофейные ложечки.

— Великая русская революция сделала нас — исполнителями воли народной. Мы в полной мере оцениваем значение тех сил страны, которые сыграли главнейшую роль в час великого переворота.

То — не был ни сам князь, ни думцы, то — были удивительные герои, солдаты запасных полков, и удивительные рабочие, которые... Экспромтом блеснуло князю, что эту беседу он может использовать для публичного обмена как бы дружеской улыбкой с Советом рабочих депутатов, улыбкой, каких немало он послал им через стол в заседаниях Контактной комиссии — но, публичная, такая улыбка более обязывала и контрагентов. Он, кажется, нашёл очень тактичную форму:

— Всё старание наше — осуществить *полноту* власти, которую нам вверила народная воля в согласии с этими силами. Но мы надеемся, что *и эти силы ясно понимают положение русской свободы и Временного правительства.* Чтоб ответственность Временного правительства передо всем русским народом была реальной, для этого ему нужны... возможности решения и действия...

Кажется, он хорошо и уместно это выразил!

— И признаки всеобщего объединения вокруг Временного правительства являются со всех сторон России — в выражениях доверия, приветствиях, депутациях. Наша программа — уже известна стране. Основное обязательство — это созыв Учредительного Собрания в возможно кратчайший срок. Определить этот срок уже сейчас с полной точностью — само собой разумеется, нет возможности. Нет готовых образцов. Составление избирательных списков уже будет грандиозно, как всеобщая перепись. И надо обеспечить голосование на фронте,— значит, чтобы военные действия не были в полном разгаре. И надо же обеспечить абсолютную тайну голосования.

Действительно, эта проблема была тем головоломней, чем пристальней в неё всматриваться. В горячке революционных дней обещали собрать Учредительное чуть ли не в мае. Но корреспондентов не приходилось убеждать, они понимали.

— А тем временем, господа, что ж, правительство приступает к самым неотложнейшим из реформ. На первом месте здесь — отмена нетерпимых, позорных вероисповедных и национальных ограничений,— это уже готово у нас и будет опубликовано в ближайшие дни. Затем пойдёт очередь — равноправия женщин, равноправия сословий. Затем потребуется регламентация... В краткой беседе трудно исчерпать, господа, бесконечный список вопросов. Но не могу не коснуться кардинальных: войны и продовольствия.

При слове «война» даже мирно-лучистые ласковые глаза князя Львова заблестели иным огнём (оставив недописанное, корреспонденты спешили записать это):

— Вступая во власть, мы были убеждены, что свободный русский народ не преклонится перед врагом. И мы оказались правы: клич «война до победного конца» уже звучит со всех сторон. И даже те, кто при старом порядке был холоден к этой борьбе, теперь зажигается новым огнём! Но и враг не дремлет! — он уже стягивает войска к нашему фронту и готовит новый удар.

Лица корреспондентов выражали ту же мужественную решимость. Когда знала Россия такое душевное единение между председателем правительства и прессой!

— Внутренние отношения в армии уже обновляются в духе права и справедливости. Что же касается продовольствия,— тут князь тяжко вздохнул,— то нам досталось от старого порядка тяжёлое наследство. Вся надежда — на готовность земледельческого населения продавать и даже жертвовать хлеб для нужд свободной России. Я верю,— он поднял глаза выше своих собеседников на подпотолочную лепку,— что великая крестьянская сила выручит Россию из беды. И несмотря на все опасности, я — бодро смотрю в будущее. Я — верю в жизненные силы и мудрость нашего великого народа. Я верю в его великое сердце, этот первоисточник правды и истины.

Так эффектно он кончил, так полно выразил себя, что уже мелкие вопросы неудобно было и задавать. Его благодарили, беседа кончилась.

Князь позвал Щепкина, чтоб углубиться в министерство внутренних дел. Тут было множество вопросов назначения, увольнения, кредитования, распределения,— но в этой деловой сфере тем более не терялся князь, величайший практик. Однако пришли и доложили, что очень настаивает на приёме у князя некая депутация с Западного фронта.

С Северного уже побывало их несколько, с Западного — ещё не успевали приезжать. Досадно было отрываться, но и...

— А сколько их человек? — спросил князь.

Да не больше дюжины.

Обычно депутации принимались в ротонде или в Квадратном зале, отделанном в помпейском стиле.

— А вы заведите их прямо сюда,— предложил князь.

И, два штатских человека, они со Щепкиным встали, вышли на середину кабинета навстречу депутации, выровнялись.

Те входили, без шинелей, но с покрытыми головами, постукивая сапогами, бренча оружием и шпорами, почти все с георгиевскими крестами, кто и по два. Выстроились в две шеренги, лицом к князю, три офицера — в первой шеренге. И самый младший из них — подпоручик, с очень свободной речью, произнёс звонкое приветствие правительству, в обычных словах.

Князь ответил, как всегда благожелательно, но кратко, по усталости. И у него тоже слова были все повторные: что правительство служит народу, а народ надеется на армию, которая и должна привести к победе.

Единственная необычность, может быть, была именно в том, что приём происходил в кабинете, и оттого не стягивалось никого со стороны — послушать и посмотреть. Только и стояли вдвоём князь со Щепкиным против малой депутации, в торжественном, но закрытом кабинете.

И от этой ли ощутимой отъединённости или такое намерение и было у делегации,— вдруг выступил старший из офицеров — донской казачий, с двумя звёздами при двух просветах, ещё совсем молодой, литой, и усы литые чёрные, черноглазый, с приятной мягкостью, скрывающей лихость,— сделал шаг из строя вперёд, молниеносно отсек князю честь, доложился:

— Войсковой старшина Ведерников! — и уже тише, но не от своей скрываясь делегации, ей-то слышно каждое слово, и лицом не продрогнул ни один унтер, ни солдат, не удивился ни слову произнесенному: — Ваше сиятельство! Мы наслышаны, что у вас в Петрограде — как бы две власти. Что вашему правительству мешают разные самочинные организации, суются не в свои дела. Вы,— он не смел улыбнуться в строевой позе, но всё смазливое лицо его просилось к весёлой улыбке, и даже можно было понять, что это — улыбка сговора и уверенности: — Вы — только прикажите нам! мы — вас освободим от них враз, ваше сиятельство!

И опять мелькнул честью, задержавшись у козырька, ожидая ответа.

Князь Львов почувствовал, что горячая краска ударила ему в лицо. Слава Богу, никто посторонний не слышал, но он покраснел даже перед Щепкиным, и перед самим войсковым старшиной, и перед молчаливыми солдатами в двух коротких шеренгах: а кто поручится, что один из этих солдат не отправится тотчас доложить в Совет рабочих депутатов?

Нет, в этой дружной группе было нечто слитное. Так и сдвинулись.

Однако князь покраснел сильно, краска не сходила, и в этом стыдливом пламени, стараясь держаться беспечней, он пробормотал в величайшем смущении:

— Что вы, что вы! Нет, нет! Эти слухи преувеличены. Всё приходит в равновесие. Всё приходит в порядок. Ничего, ничего не требуется, господа. Никакой защиты внутри страны нам не требуется, только защита от немцев!

Войсковой старшина опустил руку медленно-медленно, и уже никакой улыбки не проглядывало на его лице. И шагнул назад не оборачиваясь, спиной.

По его тихой команде две шеренги повернулись направо — и, стараясь не стучать после ковра на пороге, тихо вышли из кабинета.

Князь со Щепкиным сели заниматься дальше, не обсуждая происшедшего.

Но что-то очень испортилось в душе князя, что-то очень провалилось и тоскливо подымливало, как от рухнувшей штукатурки. Князь Георгий Евгеньевич дозанимался с трудом и с упавшим вниманием.

Он не успевал дать себе отчёта, что это произошло, отчего так дурно? Сожаление? Опасение? Сомнение?

Щепкин ушёл — князь подпёр голову двумя руками, закрыл ладонями и отсиживался в некоем головокружении, как бы ожидая, чтобы осела эта тоскливая дымящая пыль.

Боже, отчего оптинские старцы не велели ему остаться в пустыни, как он хотел, не дали отрешиться от мирского, как он одно время просился?..

## 649

А ведь Нижняя Волга в эти дни уже вскрылась! — и суда выходят из затонов, начинается навигация. Гордей Польщиков и сердцем знал издали сроки, но и в Петрограде в утро отъезда успел получить телеграмму из Астрахани, что его первый пароход вышел в Красный Яр.



Всякое время года любил на Волге Гордей, но лучшее время — весеннее половодье! Эта всякий раз новая распахнутая радость от открывшейся реки, от мощи разливов, от воли и простора, какие дадены каждому человеку, и мне, и всем нам. От начала могучей общей работы, её чувствуют все, она на лицах всех матросов, рабочих, грузчиков, и даже пассажиры возбуждены по-своему. Парусные расшивы с рыбой выходят из Астрахани тотчас по ледоплаву, украшаясь флагами — и команды в красных рубахах. Лучшее время года! — и Польщиков всегда старался сам пройти на первом своём судне,— а вот в этом году задержался тут на севере. Но и сейчас из Москвы, отбыв завтра-послезавтра этот торгово-промышленный съезд, сразу же кинется в низовья Волги.

Его пароходное общество «Купец» соревновалось с «Самолётом» и с казённым пароходством — и в пассажирских рейсах, и в баловстве волжских гуляний, а более всего — в перехватчивых торговых перевозках, в чём и есть главная работа реки и главный доход судовладельца. Любил Польщиков все свои суда — от скоростных пассажирских бегунов и до последней сенобежки и угольной баржи, знал сильности, слабости каждого судна и помнил уём каждого. Да неплохо знал и чужие суда. И капитанов не только всех своих, но всех заметных волжских. И знатных лоцмов. Это для посторонних Волга так длинна, так неохватна, и Царицын с Тверью как не видались никогда, и Ока с Камою как не обнимались,— а для волгарей всё в единстве. Когда на великой реке встречаются капитаны и пароходы, то узнают друг друга как односельчане на деревенской улице. И как те останавливаются потолковать о сельских новостях, так и эти — весело трубят друг другу, сигналят знаками, кричат в рупоры, а то и сбортовываются, сбросив движение, а то и перекидывают лёгкие перильца, иногда и с мостика на мостик, и переходят в гости, как циркачи.

И своё волжское дело любил Польщиков (и своё коннозаводство за Волгой) — но и своё купеческое сословие. Правда, уже не из тех он был купцов — в армяках, в длинных кафтанах, шароварах с гармошкой на голенища, борода по брюхо и золотые цепочки на обеих сторонах живота симметрично. Он был — из купцов нового поколения, после коммерческого училища ещё год доучивался в Гамбурге корабельно-торговому делу, поездил и по Европе. Таких, как он, среди купцов звали «американцами», ещё и по западной одежде (хотя Польщиков любил русскую, даже в столице не расставался с сапогами, а дома на выгулку надевал шубу лисью). Но никак не был он из тех, кто «тянулся за барами да распрощался с амбарами». Тысяцкий, почётный потомственный гражданин — и хватит с нас, борзых не гоняем, в карты не продуваемся, и в гвардейские полки не добиваемся. А истая сила русская — в нас! И посравнив наши коммерческие обычаи с западными, где на каждый шаг контракт и вексель, как не прохватиться нашими? Кто честен и проявил это среди купечества — то границ доверию нет, дают задатки по 50 тысяч и не берут расписок,— вот так, нам не по судам тягаться, всё торговое в России делается на слово, без бумаги, уговором торг стоит, ряда узлом затянута, обещал — выполняй, не выполнить купеческое слово — последний позор. У нас в России громадные сделки заключаются за чашкой чая, на словах, — и всегда выполняются, и чтоб дело шло разгонисто. Да помнил Польщиков и такое, ещё парнем, при отце, он попал у себя в Нижнем, в 96-м году, тоже вот на торгово-промышленный съезд: Витте хвастался пошлинами на западные товары, чтоб русским было легче,— а статейные купцы собрали большинство: не надо! открывай им ворота, пусть! поверстаемся, кто сильней! Витте поверить не мог: не из-за границы ли их подкупили? А вот это — и было по-нашему, размахнуться так размахнуться!

Нынешним октябрём скончалась в Нижнем Новгороде знаменитая пароходчица Мария Капитоновна Кашина, кликали её Марфой Посадницей. Много от неё Польщиков перенял в купецком деле, и говорила она: так — от Верхнего Новгорода идёт.

И когда в смуту Пятого-Шестого года иные состоятельные, напуганные грабежами, громежом, стали деньги переводить за границу, а предприятия сворачивать, то согласно корили их: «Стыдно деньги за границу прятать. Как бы нас мвлость ни потрясло — а Россия как стонла, так и будет стоять, и капиталы наши и силы наши — ей нужны каждый день.» И выгодные условия в Европе для денег предлагают — но нет!

В эту войну полили газеты глупую несмысленность, что «купцы прячут товары», не понимая, что когда купцам «прятать» будет уже нечего, тогда-то цены и подскочат до небес. В начале войны нас только и спасли запасы купцов: по дурацкому закону о мобилизации все товарные вагоны разгружались в тот час и в том месте, где их заставал приказ. И на несколько месяцев прервалось товарное обращение по стране, и не будь торговых запасов у купцов — города бы обнищали и вымерли. А так — и не заметили перерыву.

В этот раз уехал Польщиков в Волхов да в Череповец ещё из цельного Питера, а воротился через пять дней — банки, фирмы, биржа закрыты, прекратились операции, не работают заводы, не разгружаются, не нагружаются товарные поезда. Так что и какие дела оставалось Польщикову доделать в Питере — все прервались. И он — уехал бы в Нижний, или повис бы тут без смысла и живого дела, сторонним наблюдателем революционного сумбура,— если б — не эта девочка.

Польщикову сейчас чуть за сорок, а ни в чём нет этих лет — ни на лице, ни в стане, ни в глазах, ни в ногах. Волгарь, капитан, всадник, лошадник, лёгкий на подъем, на

вспрыг, — в этом декабре в Астрахани из ледяной воды вытянул тонущего, два стакана водки выпил, бутылку шампанского — и как ни в чём. Лёгкий и на язык, весёлый, — он всегда всяким женщинам нравился. Хотя, конечно, женатый, но по роду подвижной своей жизни всегда в поездках, в чужих городах, Польщиков нигде не скучал. А ещё была у него страсть — наперерез всем страстям — к театру. И в Германии немало повидал, и в Москве-Петербурге. Хоть на сотый спектакль придёшь, хоть на трёхсотый, — а как только свет пригасили и занавес тихо-тихо стал расползаться, с шорохом метя по доскам просцениума, — так сердце и обоймёт: в этот раз — что-то особенное будет! Компаньоны смеялись, а мог Польщиков на изрядный новый спектакль тысячу вёрст отмотать, туда и назад.

А эту-то худенькую черноволосую — и не узнал по её тихости в уголку, хоть и надышанную тем же воздухом, — это она его узнала! и сама к нему подошла!

И — во всём остальном городе катилась ли революция, нет, — в эти часы они не думали. Запирались, зашторивались, и от раза к разу всё усладистей и захватней забирала его Ликоня, — да не забирала, а сама была взбрана до последнего вздоха, до затворенных век, — и только в одном имела волю устояться упористо, стыдливо: никогда не обнажилась при свете. Только глазам его не далась открыть себя всю.

Старшему сыну Гордея было 17 лет, дочери 15, а Ликоне — 22, но не видел он в том покора. Жену свою, близко к ровеснице, Гордей ощущал чуть не как мать, а вот Ликоня была ему самая как бы ровня, и даже робела от его задора.

Он научился и говорить с ней — не как с девчёнкой, и не как с дамой, — а прямо, как думал.

Между тем жизнь в Петрограде ожила, и дела Польщикова как-то сносно закончились, время было гнать на Волгу, — а он не спешил уехать, добавлял день, второй — чтобы с ней побыть. Возобновились уже и театры — но не шёл с ней Гордей никуда, — и даже не чтоб уберечься от лишнего слуха (хотя и тоже ни к чему), а: показывать своё сокровище никому не нуждался.

И Ликоня тоже никуда не рвалась идти: лишь бы вдвоём.

Оттягивал отъезд — и вот как придумал: в воскресенье 19-го в Москве открывается общероссийский торгово-промышленный съезд, на который он был приглашён, да и надо же по новой обстановке посмотреть-послушать. Так в Нижний пока не возвращаться, а ещё были дела в Твери, сладить их по пути на съезд. И Польщиков дотянул петроградское сиденье до позавчерашнего утра, четверга. Так в последнее утро и уехали из гостиницы: посадил её на извозчика, а сам — на Николаевский вокзал.

Каждый день с ней, а лишь втравлялся больше, и травля-то — медовая. Жизни такие разные, а не только не соскучился — а вот бы ты мне и нужна! И если б совсем у него был свободный выбор — взял бы её и в Тверь, и в Москву, как никого не возил.

Ещё в петроградском зале пароходного общества «Кавказ и Меркурий» потолковал со своими торговыми партнёрами: события обещали, что теперь враз отпадут таможенные границы губерний, запреты на вывоз, гибель грузов, твёрдые цены, все эти стеснения от уполномоченных, от петербургских канцелярий, от изобилия начальников, — польётся теперь торговля свободным дыханием, и Россия сразу выиграет (а уж после войны-то!). Сильно гниловато было последнее время, да, сколько нечистых рук совалось погреться, «работать на оборону», а за горячими барышами, — теперь будет всё на открытом просмотре. Не как с уральской платиной: ведь на приисках и промышленники крали платину от учёта, и даже рабочие, и продавали в тайные руки, и утекала русская платина, в 5 раз дороже золота. (А сейчас, говорят, и вовсе не стало горно-полицейской стражи, так что там делается? — скорей бы мимо эти мутные дни.)

Сегодня вот уже приехал в Москву. (А всё в нём трубило и радовалось! Вошла Ликоня в жизнь — и уже так просто не уйдёт. Зажглась ему и правда — как Зоренька.) Стал в «Славянском базаре», который не за удобства любил, а за кипливость, лёгкость купеческих встреч, и Китай-город тут же.

И вот — особый день, у всех на устах: *мининские дни*, мининский съезд. Настал момент, когда России нужны Минины! Торгово-промышленное сословие объединяется на большие дела! Прошлую неделю неслись телеграммы туда и сюда, рассылались приглашения купеческим управам и обществам, биржевым и торговым комитетам. Приехали даже немудрящие купчишки из захолустий, почти — хозяйственные мужики. На завтра ждались и новые министры, Коновалов и Терещенко, и от Совета съездов промышленности-торговли Кутлер и барон Майдель.

Съезд открывался завтра, уже сегодня почти все участники съехались, много номеров заняли и в «Славянском базаре», гардеробы были извешены купеческими шубами, меховыми картузами с пуговками, в столовом зале сидели большими рассудливыми группами, содвинув столы по два и по три, по посту заказав кто ботвинью с осетриной, кто паровую стерлядь, и беседовали в перемежке с бесконечной едой, и потом подолгу чай пья, простяки с блюдечек, подувая. Мелькали половые с подносами блюд и фарфоровыми чайниками.

А ведь если тут покопать — то у трёх четвертей отцы были крепостные. Сами себя освободили, до всякой реформы, смекалкой.



И едва ль не за каждым столом виделось знакомое лицо. Были тут и знатнейшие — двое Хлудовых, один Рукавишников. С разных концов России знакомцы — из Сибири, Туркестана и Малороссии, узнавали друг друга, а кто знакомился впервой. И много было дремучих бородачей, а немало и в европейских манжетах-галстуках, средь них Польщиков — едва не из самых молодых, а из молодцеватых — уж точно.

И от одного стола звали судовладельцы: «Гордей Арефьевич!» Вот собирались обтолковать, где рабочих брать на ремонт судов, просить у министра военнопленных? и металл? и чтоб службу береговую не забирали в армию. А фрахты — повысить, не избежать.

А за другим столом увидел своего сибирского заимодавца. Так чем через банк — тут же подсел к нему, отсчитал три тысячи, тот переверил, ещё раз бумажки перекидал, крепче счёт — твёрже дружба.

В освобождении от денег, когда производишь законный платёж, есть приятное ощущение порядка, точности, выполненного долга, оправдания самих денег.

И когда Польщиков сел — под открытой форточкой, у окна на весенний солнечный день, на Никольскую с несколотым, дружно тающим льдом (дворники разбаловались без полиции) — то, повертя голову, и тут видел нескольких знакомцев рядом. (Промышленники-фабриканты не останавливались в «Славянском», не было их сегодня тут. Сойдёмся с ними завтра.)

Такого съезда купцов давно не помнили. И среди этих сметливых лбов, цепких глаз, и отрывистого броского купеческого делового разговора — ощущал каждый гордость принадлежать к этому сборищу и соучаствовать завтра.

Да давно бы позвали их выручать Россию. Почему ж купечество не имеет власти решать, направлять? На купцов только натравливали, валили на них рост цен. Купцам зажимали рты, отстраняли всю войну, отказывались от их опыта и действия. А теперь-то — мы скажем своё!

Теперь — съезжалась глубинная кондовая Россия, не участница происшедшего трясения, но прихваченная им среди дела. Царя вспоминать, или пожалеть его — удерживались: по всему московскому разбору, застигнутому ими здесь, это было как бы запрещено, вон Рябушинский объявил привет «свержению презренной царской власти», да называют старый Петербург «ханской ставкой». Ханская — не ханская, но и произволяли нами, да. Труд народный опутан был препонами, и дело — не в тех руках состояло. Но вот собирались — чтобы сплотиться, и выдюжать, и устоять, а если мы не устоим — то кто? Многоликая русская торговая сила привалила спасать Москву, как в давние времена. И Учредительное Собрание назначим — только тут, в Белокаменной! Было торжественно, хотя не все могли выразить складно.

В ресторане «Славянского базара» окидывали друг друга ценящими взорами, переходили по залу, пересаживались, выслушивали вразумливо: да если мы — не сила, то кто же в России сила? Теперь вот только войну докончить — всё наладится у нас, расцветёт. Не Питер нам будет указчик. Вот пошагаем!

Думал так и Польщиков, и даже, Европу зная, — залётнее их. Природные дары у нас — богаче Америки, нам только — рассвободите движение, посостязаемся мы товарами со всей заграницей. Ещё б железные дороги наши так отладить и сгустить, как германские. А от войны оправимся, капиталы соберём — да, смотри, и Волгу с Доном соединим, ведь двести лет без дела проект лежит. И поплывут наши волжские — туда, в те моря!

Толковали, что надо на съезде хорошие головы избрать — в столице сидеть и защищать торгово-промышленные интересы. Все теперь так-то избирают, все защищают.

А тут скажи молодой Хлудов, да уж и передавали из уст в уста: тузы московского купечества, Третьяков и Четвериков, порешили предложить: самим торгово-промышленникам — и ограничить свою прибыль, с этого начать. За военные годы в иных предприятиях прибыль превысила основной капитал. Так надо нам сговориться и, не дожидаясь, самим отрубить излишки прибыли: сколько можно, а выше чего нельзя — отдай в казну. И все цены — вниз пойдут, а производство — вверх. И укрепим Расею-матушку, и мир будет промежду народом помягше, к нам же. Кому-то надо первым совесть заявить — так нам. Тогда отобьются от нас и все мародёры, притянутые высокой прибылью, очистимся и от них. Вырежем от нас эту язву, кто на армейских поставках нечистые срывы берёт, или как киевские сахарозаводчики — сахар через Персию едва ль не в Германию гнали.

— Э-ко-ста!..

Поблескивали глаза. Что ж, и наживе есть край, не всё нажива, а что-то куда-то жертвовать, чтобы после тебя осталось, в твою память и во спасенье души. А теперь вот — в казну, поддержать саму Расею. И оттого — всем отдастся добром.

Показывали на вёрткого черноусого посреди зала в большой компании, за столом на 12 персон. К нему какой-то нарядный вскочил с бокалом:

— Вашего имени, господин Бубликов, Россия никогда не забудет! Вам удалось предотвратить кровавую бойню!

А Бубликов — громко, для многих, шире своего стола:

— Смотреть на Россию не как на жирный пирог, а как на горячо любимую мать!

Избегать бороться за классовые интересы. Предстоит увеличение налогового бремени — и примириться с этим. Лечь костьми, но отдать свои силы на благо родины!

Отзывались ему:

— Для родины мо-ожно не поскупиться. Налоги-то малые платим, признаться сказать.

— Правительство новое на-адо подкрепить. Мы подкрепим — чтоб другие на него не больно давили.

А Бубликов:

— Так-так, но и Временное правительство тоже должно знать себе границы, а не душить нас новой 87-й статьёй. Сокращение прибыли — ещё неизвестно, как тот же Коновалов примет, как индустрия посмотрит. Там, в Петербурге — мародёрская штаб-квартира. Уже не приходится, господа, пугать катастрофой,— катастрофа у наших ворот.

И — разлилось, погудело по залу: ка-та-стро-фа?..

Да вести-то пошли, прислушаться купеческому люду,— так себе. Бумажных денег будут напечатывать всё больше. И, слышь, выжимают жертвовать — да не муку для голодающих, это-то мы готовы, а на «освобождённых, пострадавших за свои политические убеждения»,— и уже Третьяков пожертвовал, Второв дал 500 тысяч, суконные фабриканты собрали 100 тысяч,— мол будто эти политические за нас всех страдали и нас вызволили. А — что они нам? кто такие? почему и им жертвовать? Что-т мы не замечали, как они нас вызволяли. Да не те ли они, что бомбы кидали, банки грабили?

А вон уже, слышь, готовят объединение всех приказчиков. Это значит — супротив нас?

И вон свобода — питерские рабочие стали 8 часов работать, не глядя на военное время. А питерские фабриканты все условия им сдали — а наценку переложат на изделия. На военные товары конкуренции нет, казна всё примет. Так чем же они поступились? Не своим карманом.

Да хуже того: хлебную вольную торговлю, мол, не воротить хотят, не снять запрет на вывоз из губерний, не дать хлебушку дышать по себе — а всё забрать в казённые руки и ими направлять. Мо-но-полия!

Ну, так и посевы сократятся. Ну, так и будет Русь гола. Всё клещами зажмут — всё и обронит. Россия — голодная будет.

— С Монополии — разве хлеб вырастет?

— Надо ото всего съезда слать министрам телеграмму: отменить монополию!!

— Кому вязнуть, кому вытянуть,— тут ещё не видать.

Завтра этот Коновалов ещё что в речи выразит? Какие у них задние цели есть? Мы-то добродушно съехались.

Э-э-э... Да не упущено ли уже, православные?..

## 650

Лихо ты моё, куда ж мы посунулись? Неделю назад Козьма ног под собою не чуял: какого соглашения достиг с фабрикантами! Одним шагом получил для всего Питера восьмичасовой день, о котором 20 лет только грезили,— и с сохранением прежней заработной платы!

А — рабочие? Оглянулись, что из свободы можно и больше выколотить, мало взяли,— и ну выколачивать! Почему у буржуазии барыши, а нам не вырвать? Распахнулась воля — так можно рвать!

И с каждым днём не меньше, а больше, на каждом заводе выдумывали по-своему. На том заводе угрозили администрации — и удвоили плату всем вкруговую. А там уже кричат: утроить! А на том: учетверить! Путиловская верфь давала повышение 20 процентов — рабочие потребовали 400! Там — по болезни оплачивать две трети, там — оплачивать выборных. На Промете — отменить сверхурочные, из-за сверхурочных не остаётся времени на гражданские права, не видим завоеваний революции. Ещё где: отменить сдельную оплату труда, не желаем боле напрягаться! На Треугольнике потребовали: шестичасовой рабочий день, а наградные — на Рождество и на Пасху каждый раз по два месячных оклада; а все служащие — себе: чтоб им участвовать в прибылях. На Невском судостроительном уже приучили администрацию выполнять все требования тотчас: уже и старостат, и оплаченная милиция, и отменили обыски на проходной, теперь надумали — убрать директора! На Адмиралтейском судостроительном — убрали 49 технических служащих. Там — инженеров стали избирать, и от этих уже требуют всего, за день — пять-шесть изменений. Там — фабричные инспектора тоже чтобы выборные. Там требуют: вообще безо всякого начальства, работа ещё лучше пойдёт! А чернорабочие (подстрекаемые большевиками) требуют и себе такую же оплату, как получают высшие разряды. Туда ж и банщики: не желаем работать больше четырёх дней в неделю, и чтобы в субботу тоже отдыхать (самое, когда людям мыться).

Никогда не ждал Козьма, что такое неоглядное озорство и такая жадность разгорится в рабочих людях. То и обидно было ему смертно, что не хотели внять, скандалили и всё



разваливали — свои же рабочие, самый родной его люд, кто умел всё в мире сделать своими руками, и кем Козьма гордился всю жизнь, что и он из них.

А вот мы какие рыла вылезли. Попрекали образованных, что они своекорыстны,— а мы? Попрекали фабрикантов, что они жадны, никак не насытятся,— а мы? Да мы жадней и дичей!

Да питерские фабриканты — вот, подписали соглашение по-хорошему. Они рассужденье имели, что и мы тоже обороты подбавим, и так оборону вытянем, а? Им-то в глаза как Козьме смотреть, когда сам подписывал с ними? Они нашего Совета слушаются — так надо ж и нам знать край. Соглашение есть соглашение, надо и самим выполнять. Производительность обещали повысить, а она ни к чёрту упала, на заводы ходим только болтаться да требовать. А у них сырья нет, угля нет — откуда им повышать плату? Надо же совесть иметь, ребята! Надо же по справедливости!

Вчера петроградское общество заводчиков собралось — и составило Совету депутатов вопль: рабочие предъявляют невыполнимые требования, конфликты обостряются до полной анархии, постановления примирительных камер остаются без исполнения, работы идут беспорядочно, производительность резко упала, насилия над мастерами и администрацией, избиения до убийств, самовольные аресты, выгоны. Просит Исполнительный Комитет — принять меры!

И бумага эта — прилетела, легла к Гвоздеву на стол. А — к кому же?

Он сидел над ней — и держался за растрёпанную свою бедовую голову. Неделя прошла — и ото всего соглашения одна злоба. Подписывал Гвоздев своей рукой, и фабриканты улыбались ему, руку жали и верили.

Да что там стыдно! — страшно. Ведь знал он эти *насилия*, в бумаге подробно не расписанные: одного мастера утопили в проруби, а одного за малым не скинули живьём в вагранку.

И это — мы такие? И это мы такие — всегда и были? Только пока боялись тюрьмы или виновных пошлют на позиции — так сидели небось тихо? А теперь — давай, громи?

Две недели Козьма себя утишал, что это — только шатнулись, вывихнулись, что это всё станет по местам.

А — нет.

Да ведь этак — и все сгорим, как на пожаре.

Так значит, дело-то не в *классе*. А в своём сердце.

Да рабочие умелые, разрядами выше — во всей этой заварухе и кипели куда не так. Громили и зорили, и лезли в комитеты — не они, а валовые рабочие, самая чёрная нижняя людь.

Да не на кого и валить. Не мог быть Козьма в том сам не виноват. Полтора года он всё рабочее дело вёл,— так никто другой. И если завалилось — так не без его вины.

Но — чего? Но — когда? Он не видел.

Куда кидаться Козьме? Сидеть в своём отделе труда? — уже в двух отделах труда, с позавчера уже и в министерстве промышленности, считай в правительстве, был у него свой отдел, а что толку? Кидаться по заводам? Да с теплой бы душой. Да ведь — и Козьму не слушают. Да ведь и не объедешь всех. Посылал помощников по всем местам — тоже не охватят. На электрической станции трамвая еле уговорили — не изгонять силой неугодных лиц.

А самого Козьму — то тянули на занудные заседания Исполнительного Комитета. То слали — непременно выступить в новом рабочем клубе на Херсонской с речью об Учредительном Собрании,— а что он сам в этом Учредительном понимает, и на кой оно ляд, когда заводы разваливаются? (Уговорил вместо себя — Станкевича.) А то погнали — необходимо надо ему сидеть в ложе, в Мариинском театре, на открытии спектаклей. Просидел как чучело, красно налитой, галстуком удушенный. А то теперь приступили: именно ему (как тогда — царя арестовывать) составить новую воинскую присягу. Почему-то другим — неудобно.

Да, конечно, знал Козьма, кто же не знал: что теперь семьёю день прожить надо 3—4 рубля, и не все же получают 5 и 8, многие и получают не более четырёх, а то и помене. Требование повышать оплату — не выдуманное, сама жизнь гонит, всё повышается. Но и должен же человек всегда знать себе границы, но и опамятоваться: не один же ты! Давайте всё ж попридержимся, да сделаем обдуманно. Ну даже-ть захватим — а удастся ли удержать? Смотрите, нам бы не захлебнуться. Пойдёт общий развал, не будет ни топлива, ни сырья,— так откуда нам будет плата? И что нам тогда этот 8-часовой день? Да хозяйственный развал — он хуже этой, бишь, контрреволюции. А крестьянин тоже не будет кормить нас в обмен. Мы ничего не дадим — так и хлеба не будет. Мы все границы переступим — так и фабриканты на том заводы закроют — и конец.

А — война? Война же идёт, очнитесь, ребята, что за дикие мы оказались? В твёрдом разуме выход один — чтобы Питер давал и снаряды, и пушки. А как нам иначе смотреть в глаза фронтовым делегациям?

Они и стали тут подбывать, да с резолюциями фронтовиков, корящими рабочих за 8-часовой день и что снарядов не шлют. Кой-где рабочие застыдились, стали и своими

резолюциями отвечать: мы не лодыри! а просто не хватает угля и нефти, только из-за этого работа тормозится, не верьте слухам, что мы не дорожим обороной. Да со всего громадного Путиловского проняло одну башенную мастерскую, 800 человек, постановили: «Учитывая серьёзность момента, производить работу полностью. Всякое манкирование и требование чрезмерной оплаты — позорное явление. Товарищей, желающих закрепления свободы, призываем присоединиться.»

Знал Гвоздев, что дело куда хуже, чем в этих резолюциях,— но хоть бы принимали везде такие. Один выход — не бунтовать каждому заводу по-своему, сохранять какой-то порядок,— а уж Исполнительный Комитет (Гвоздев же) будет стараться добиться общего по городу минимума оплаты, на какой можно жить.

Призывы помогали мало, но только призывы и оставались.

Исполком не поможет (позавчерашний доклад Дмитриева ничего не сдвинул) — так ставить вопрос на пленуме Совета, пусть воззовёт сам Совет.

Хотя и он уже взывал, тоже не помогло.

Взъерошенный озабоченный Гвоздев пошёл на сегодняшнее дневное заседание Исполкома, чтоб уговориться о постановке вопроса на пленуме.

Из Екатерининского зала бодро вспыхивала очередная марсельеза очередного затопившего полка.

Перед дверьми Исполкома ждала польская делегация: пришли благодарить за независимость.

А на Исполкоме — и уже который раз — озабоченно обсуждали: как сократить пленум Совета, разросшийся до трёх тысяч? Там совсем бессмысленные прения, социалистический дух распадается, большой перевес солдат над рабочими придает консервативность. Такой Совет становится просто даже вреден.

Однако, где сила, которая убедила бы его распуститься? Кто посмел бы теперь распустить Совет?

Выходило: надо как-то обмануть Совет. Рафес, Соколовский, Капелинский высказали опасение, что Совет забунтует. Всё сорвётся — и только хуже станет.

А Богданов — взялся: сегодня же вечером он попробует!

— Погодите, погодите! — вмешался тут и Гвоздев.— Но неотложный вопрос с положением работ на заводах. Это нельзя откладывать, я прошу поставить на пленум сегодня!

Но тут ворвался комендант Таврического дворца и, не прося слова, стал кричать, что он снимает с себя дальше ответственность за митинги: полы залов больше не выдерживают маршировании! Или переносите митинги на улицу, или все тут провалимся!

Входила приосиянная торжественная польская делегация.

* * *

*Взыграли радостные силы,*
*Как буйный волжский ледоход.*
*И вышел Стенька из могилы*
*Вновь поглядеть на свой народ.*

*(«Русская воля»)*

## 651

Острое объяснение с Еленькой позавчера ещё долго докалывало и дозванивало в сашиной груди — как колют и бьются острые льдинки, со звоном печальным. И даже не взбрыкнуло в нём: «Ах так? Так обойдусь без тебя!» Наоборот, чем непоправимее он узнавал, что теряет Еленьку,— тем нежней хотелось оставаться ей верным. Почему-то — надежды он не потерял, хотя она всё сделала, чтоб отбить её. И даже какое-то больное наслаждение было в этом мучительстве: не добиться её — а продолжать любить. Вот теперь он особенно понял, что не просто хочет её, а любит. Даже понимая с ужасом её в чьих-то чужих руках — не освободился от неё.

Ещё и потому, что наступило такое подвижное время — и обстоятельства сами могут вернуть ему Еленьку.

Всё это так беспокойно в нём колыхалось, что и вчера весь день пролетел как потерянный.

А сегодня позвонил Матвей: не хочет ли Саша познакомиться с ведущими большевиками? На совещание о принципах действий к ним идут от межрайонцев человека три, можно взять и Сашу.

И без того тошно. Отказался.

Но прошло полчаса, час,— пожалел: а что вот так травиться? Лучше уж на совещание. Перезвонил Матвею. Ещё успел.

А совещание оказалось в особняке Кшесинской, который Саша хорошо запомнил. Только теперь уже не было того безлюдья, во дворе стояло несколько броневиков, расхаживали унтеры в кожаных куртках и штанах, в вестибюле — часовой с винтовкой, а внутри — совсем была оголена столовая, как уже и не столовая, и гостиная не как гостиная, уже не было аромата дома знатной дамы, но мебель ещё на месте, в беломраморном залике так же рояль, бело-золотые полумягкие стулья, а совещание — в той скруглённой комнате, как бы зимнем садике, где посередине грот с голубым фоном, вода уже не сочится, но ещё стоят две пальмы, раньше, кажется, больше.

Саша пришёл, как и всегда ходил теперь, в военной форме. Разумеется, никто из этих унтер-офицеров или дежурный не потянулись отдать ему чести, он и не ждал — но шагал и понимал, что военный человек нужен, понадобится любой из социалистических партий. Да и в совещании, среди двух десятков сидящих, оказался один рослый черноволосый мичман.

По пути снова рассказывал Матвей Саше, что сейчас владеет социалистами дух объединения — всех фракций в одну партию — и есть к тому реальные возможности: не только межрайонцы хотят слиться с большевиками, но, с другой стороны, и часть меньшевиков (а их межрайонцы как раз не хотят), и московские большевики *за*, но тут приехали *сибирцы* и противятся.

Объединение всех социалистов в одну партию — это казалось Саше всего надёжней: будет сила! и выбирать не надо, в кого вступать,— а то что, правда, делят?

Пришли к самому началу, сели, где было место. Через соединённые окна полукруглой стороны виделся Троицкий мост. Там в выступе, лицом к остальным, сидели как бы президиум, около них и Кротовский, одного его Саша и знал в лицо,— да лидер он был никудышний, суетливый, и физиономия, надо сказать, без налёта интеллекта, а весьма премерзкая: голова вокруг лысины будто усеяна волосиками, а не выросли, лысина со лбом как нахлобучена на юркие глаза, не давая им высоты взгляда, губы толстые, а уши мясистые. А большевиков Саша никого не знал. Один там, в полукруге, сидел очень интеллигентный, в очках, симпатичный. А рядом с ним, руки сплетя на груди, беспокойный, простоватый, с небрежными усами, всё вертелся: проверял ли, кто здесь или кто говорить будет. А в общем-то лица были очень заурядные, до того неиндивидуальные, что встреть их кого Саша на петроградской улице — никогда б не догадался подумать, что они из головки той партии, наводящей последнее время такой страх на общество. И не интеллигенты, и не рабочие, а так — мелкие служащие.

Повестку озаглавили: *вопросы тактики.* А начали обсуждать последний Манифест ко всем народам.

Саша-то находил Манифест просто замечательным: сама необычность прямого обращения ко всем народам Европы — не остаться революционным островком в воюющем мире, а чтобы революция перекидывалась дальше и дальше! И ведь действительно европейская война тогда остановится, действительно! Всеобщий мир через всеобщую революцию — ну разве не красота? Вот это — цель!

Но так — никто тут не думал и не высказывался. Этот интеллигентный — Каменев — умеренно похваливал Манифест, только надо ещё давить на Временное правительство, чтоб заставить его открыто высказаться против завоевательных планов. А какие-то резвые кричали ему:

— А где призыв к немедленному прекращению?

— Да так и любой Шейдеман охотно выскажется! Нет, надо заставить их формулировать нашу революционную волю! Надо их заставить немедленно вести переговоры о мире!

— Как же мы их заставим? — снисходительно усмехался невозмутимый Каменев, не повышая голоса.— Чем?

Но, видно, тема была больная, о ней говорено раньше, ораторы ссылались на прежние стычки, выступали не связно, а короткими репликами, поднимаясь со стульев или не поднимаясь. Очень горячился, больше чем мог доказать, тот простоватый усач — Шляпников (ах, это и был их главный Шляпников? всего-то? не боги горшки обжигают), и те все резвые были за него, и Кротовский: если не свергать Временное правительство, то бить его в спину и в шею.

Это ещё что за дикость? — удивлялся Саша. Против своего же революционного правительства? Каменев на это возражал с большим самообладанием, разумно. (Вообще, он тут, кажется, единственный умный.) А большеголовый бровастый Муранов — рядом с Каменевым — очень важно голову держал, но молчал.

Замелькало «надеть узду на революционную стихию?», «оборонцы!», «пораженцы!». Шляпников горячился, что среди собравшихся не может звучать термин «пораженцы», это недостойно, так клеймила большевиков неразборчивая буржуазная печать, либералы в союзе с чёрной сотней, а «пораженчество» было всего лишь предсказанием неизбежности крушения романовской монархии на почве внешних неудач. На «пораженцев» не клеветал только ленивый — а предсказание их блестяще оправдалось, первый революционный полк на улицах Питера и был главный «пораженец»,— бессмысленное и обидное слово.

Но Каменев разумно возражал ему, что не надо кидаться и «оборончеством» и «революционным оборончеством», это тоже бессмысленные обидные клички, лишь смазывающие суть вещей.

Шляпников, горячась:

— Зачем пролетариату война? — на его долю только увечья и смерть, а в тылу — длинный рабочий день и дороговизна. Правящие круги запутались, выйти из войны не могут. Надо заключать мир без официальных сфер!

Каменев, уравновешенно:

— Конечно, хотелось бы кончить войну поскорей. Но когда армия стоит против армии — не сложить же оружие и домой? — это политика рабства. Если Германия сейчас начнёт наступать — надо дать ей сильный отпор.

— Правительство капиталистов — наши враги!

— Но на «долой правительство»,— улыбался Каменев,— у нас просто нет сил.

— Если не свергать сейчас — то хоть объяснять массам, что всё равно неизбежно нам придётся брать власть!

А рядом с Ленартовичем сидел какой-то кавказского вида, маленького роста, с оспинками на лице и с толстыми длинными усами, разведенными ровно вбок. Саша ещё удивился, какие туповатые сюда попадают, сказать бы — чистильщик сапог, при чём тут он? А тот поднял руку, объявили «товарищ Сталин» (только в насмешку можно было к нему прицепить!). И этот тихий забитый встал, подшагнул к фонтанному гроту и стал говорить заунывно, но не так глупо.

Как это теперь модно козырялось, он потянул из французской истории: что в 1792 году республиканская Франция воевала против коалиции реакционных королей, и если б что-нибудь подобное было сейчас, то социал-демократы все бы дружно поднялись на защиту свободы. Но нынешняя война — с обеих сторон империалистическая, за рынки сбыта и сырья, а главное: сегодня она не угрожает нам восстановлением старых порядков, как пугает буржуазная печать, и нет никаких оснований бить в набат, что свобода в опасности.

Таким образом грузин подыграл как будто шляпниковцам — но тем же тоном ровно подыграл и Каменеву, что лозунг «долой войну» выглядит голым пацифизмом и тоже ничего не даёт. Что Манифест Совета надо приветствовать, но (уклонился тут же) приветствовать с оговорками, что он не разоблачает хищнического характера войны. А нам (вроде опять в сторону резвых) надо давить на Временное правительство, чтоб оно начинало мирные переговоры,— и только так мы сорвём маску с этих наших империалистов.

Примирить — никого не примирил, а запутал больше.

Энергичные: надо бороться за армию! Буржуазия призывает к бургфридену. А нам нужно — выборное начало! чтобы солдаты не шли покорно за офицерами, вот чем надо заниматься! — и только так мы отберём у них силу.

Что ж, Саша к такой армии был вполне готов: честно, демократично. А толковый офицер всегда сумеет и обратиться к солдатам и зажечь их, и быть выбранным,— и поведёт их ещё лучше, чем в подневольной армии.

Тут выступил один кудлатый, здоровый, а лицо барановатое, Кривобоков-Невский. Он на гротик как наступал, тот не давал ему простора:

— Надеяться на бывшую императорскую армию, как бы её там ни демократизировали,— в корне неверный путь! Преступно забывать, что ни одна революция не побеждала без собственного войска. В 1789 году сразу стали создавать национальную гвардию и только потому победили. В 1848 не было её — и революцию потопили в крови. И сегодня реакция не спит и готовит нам разгром...

Вот уж галдели об этой контрреволюции, но Саша нигде её не видел, выдумки. Где она есть?

— ...И пока мы хозяева положения — надо требовать декрета о немедленном вооружении народа! Если не хотим дожить до парижских июньских дней, чтобы буржуазная молодёжь топила нас в крови.

А Муранов в президиуме — водил своими страшными огромными бровями. Но ничего не говорил.

— А это кто? — спросил Саша про смешного толстяка, весь объём живота которого нельзя было вообразить в сидячем положении, а только когда он вот поднялся, безобразный живот, хоть и обтянутый армейским поясом поверх суконной рубахи.

— Бонч-Бруевич,— шепнул Матвей.

Толстяк вколачивал кулаком невидимые гвозди с поспешностью, как бы предыдущий оратор не забрал всю его мысль:

— ...Да если Совет рабочих депутатов не будет опираться на революционную армию, то он осуждён на падение! Вооружение рабочих — это один наш путь. Напряжём все силы для устройства громаднейшей армии пролетариата! Нам именно нужна другая, своя рабочая армия, как финляндская Красная гвардия в Девятьсот Пятом! И не револьвер каждому нужен, а солдатская винтовка с большим количеством патронов!

А что? готовность *к делу* у большевиков — как ни у кого не увидишь, это правда. Кажется, не в плохое место Матвей привёл. (И сам захвачен, раскраснелся.) Там ещё объединение социалистов будет, не будет, а эти... Хоть энергичны.

Вдруг — всё изменилось на совещании: с гордым видом вошла красивейшая женщина — вот удалась природе! — и одетая так хорошо, как не одеваются на партийные



совещания и вообще в этой среде. Белокурая голова, тщательно выложены волосы отдельными кольцевыми кудрями. Тонкий профиль. При властном взгляде как будто выражала готовность и к приветливой улыбке. На груди брелок на цепочке. Невысокая фигура с приятною полнотой: заняты все формы, отпущенные природой, и все в меру. Выталкивая коленами тяжёлую ткань лилового платья, она прошла, как это было ни закрыто,— по одной стороне гротика, мимо колен сидящих,— по какому-то праву прошла в полукруглый уступ позади спин президиума, там нашёлся стул, она повернула его боком к окну и села, облокотясь на подоконник, профилем к Троицкому мосту. И так (проектируясь для Саши на череду мостовых фонарей как скульптура) сидела: слушая речи, но и рассеянно, но и показывая себя всем тут.

Да она одна и подходила к этим стенам как состоятельная хозяйка этого дома, а они все тут — случайный сброд посетителей.

Мичман откровенно воззрился на неё. И в Саше тоже — замутило, и он на какое-то время перестал слышать, что говорилось.

И пропустил: очевидно, перешли на другой вопрос повестки? или как? Почему-то опять этот комичный Сталин получил слово и монотонно негромко вёл, никак не подавая надежды на пламенную речь:

— Уч-редительные Собрания а-бычно собираются уже после успокоения страны. Поэтому о-пытные революционеры,— и тень улыбки прошла по его лицу,— всегда пытались а-существить свою программу, ат-тягивая созыв Учредительного Собрания, и поставить его уже перед фактом а-существленных реформ. Но наше Временное правительство возникло сав-сем не на баррикадах, а...— сожаление выразилось в его голосе.— Па-этому оно сав-сем не революционно. На-ше Учредительное Собрание будет на-много демократичней этого правительства. Поэтому нам — ни в коем случае из надо оттягивать Учредительного Собрания.

Матвей с кривоватой улыбкой шепнул:

— Член ЦК.

Ах вот как. Ну, это сильно разочаровывало.

А та красивая большевичка, как она прошла-села, так она, может быть, тоже член ЦК?

— ...Можно назвать че-тыре условия победы русской революции. Первое...

## 652

Всегда не слишком светлая и наблещенная, даже сумрачноватая, обширная квартира Винаверов, в минувшие дни, по соседству с Думой, не раз приют для ЦК кадетов,— сейчас, ещё до вечерней темноты, светилась во все электрические лампы — с потолков и со стен. В столовой сновала прислуга, кончая собирать парадный обед, в других комнатах сидели и гуляли гости, числом до двадцати, больше мужчины, больше — сотрудники и соучастники жизни Максима Моисеевича,— по юриспруденции, по борьбе за еврейское полноправие, по еврейским культурным организациям. И ещё ждали двух почётных гостей.

Весь вид квартиры, всё настроение да и одежда собравшихся были торжественно именинны — и не к рядовым именинам, но к большому юбилею. Однако никто не принёс юбиляру подарков. Хотя он и был здесь, по сути, главный виновник торжества — но плоды его и ликованье его разделяли равно все.

Приглашены и собрались они сегодня по тому поводу, что не только уже были уверены, что закон о национально-вероисповедном равноправии утверждён,— но Максим Моисеевич получил на руки его полный текст, а со дня на день он появится в газетах.

И какое же указующее совпадение: почти в день еврейской Пасхи!..

Да! Это и есть наш второй исход из Египта!

Сейчас же после опубликования будет общегородской митинг, и обещал выступить Милюков. И там начнём сборы пожертвований, чтобы построить в Петрограде большой еврейский Народный Дом.

Какой долгий путь страданий и борьбы пройден — и как вдруг быстро всё совершилось!

— Да, господа, двадцать пять лет усилий, как раз юбилей! Я считаю, мы начали эту борьбу в начале девяностых годов, с «Бюро Защиты». Считайте, как раз двадцать пять!

Но — и износился же хозяин-юбиляр за эти четверть века. Ведь ему сейчас только 54, а на вид давали и шестьдесят. Уже припокрвчена была его спина, как если б он носил, и носил, и носил мешки. И крупный лоб его облысел далеко на верх темени, борода с сединой, и уже куда не расцветный вид, но по-старчески сложены складки, утопляющие серые глаза. Однако и подбодрели, побыстрели его движения за последние две недели, и поживели глаза. А улыбка всегдашняя — добродушно-хитроватая, и добродушно-радушно разводил он руки, встречая каждого нового гостя,— а вот и Фёдора Фёдоровича Кокошкина!

А Кокошкин и сам блистал как главный юбиляр, да — по-кокошкински: франтовски одетый, сверкающий белизною и стеколками, веретенно-стройный, закованно-крахмальный, а на маленьком сухоньком личике — чёрные усы почти по-вильгельмовски загнуты тонкими воинственными пиками вверх, но и всем этим Кокошкин как будто скрывал, а скрыть не мог, что сам он — эстет, мечта и нежность. Он — сиял, и взгляд его был — задумчиво-радужный.

Винавер обнял его простоватым движением и поцеловал, но так, чтоб не испортить это картинное чудо. И не сломать: изысканная подобранность Кокошкина всегда вызывала опасение, не прячет ли он за ней нездоровье.

Боже, сколько их соединяло, от самой Первой Думы! Сколько решающих ночных совещаний разделили они! Сколько исторических документов составили совместно прежде — начиная от бессмертного Выборгского воззвания в июльскую ночь — и снова, в новый прибой, новый орлиный полёт — воззвание Временного правительства — «свершилось великое!» — и вместе же работали теперь над проектом Учредительного Собрания. Какой рок сводил их руки над самыми великими документами!

Да ведь программа Февральской революции — это и есть программа нашей Первой Думы! Все попытки вразумить власть оказались тщетны.

Да, конечно, они оба и сегодня расплачивались за Выборгское воззвание: не имели права избираться в три последние Думы, оттого их имена не стояли так высоко у публики — и они не смогли войти прямо во Временное правительство. Но поддерживали его из-за кулис своими перьями и советами.

Теперь главное: не дать силам контрреволюции расправить чёрные крылья и посягнуть на новый строй! Вот, арестовал Гучков кое-кого из Ставки. И арестован кровавый семёновец Риман... Вот, вы слышали, господа, арестовали полковника из следственной комиссии Батюшина... Как? Разве ещё не вся комиссия посажена? Давно пора этих зубров всех!.. К сожалению только — Совет депутатов несколько выходит за пределы своих функций... Да, это отчасти есть... Но — обойдётся...

— Но господа! Кто у меня был на днях? Не догадаетесь! Пуришкевич.

Загудели, действительно удивлённые.

— Пришёл спрашивать пути спасения России! Теперь нашёл, у кого. Я ответил: это вы, тёмные элементы, ввергли Россию во все её несчастья. Это вы приучили народ к бесправию — и теперь чего будет стоить вернуть его к правовому строю!

Ну, действительно, психопат был, и остался.

А вот он, вот он! — грузно появился князь Павел Дмитриевич Долгоруков, неся мамонтовую голову на слоновьем корпусе. (Тот самый князь Павел, который революционной молвою Девятьсот Пятого года выдвигался на императорский престол, а в Шестом году своё место в Думе уступил Герценштейну; и потом ездил к Клемансо от имени России просить не давать нам займа.)

Винавер приветствовал князя сердечно, обеими руками за обе, и снизу вверх лобызал. Князь тоже был среди тех ведущих кадетов, десять дней назад и составивших проект отмены национальных ограничений,— ещё неизвестно, когда б у правительства дошли бы руки. Ещё предстояло министерству юстиции кропотливо изыскать и перечесть все изменяемые и отменяемые статьи прочих законов — но общий закон, первейшая задача правительства,— уже был утверждён, уже был — вот.

Переходили в столовую. Стол сверкал всей возможной белизной и серебризной. Горничные в кружевных передниках и наколках были наготове обносить закусками. Хозяин и хозяйка сели на противоположных оконечностях стола, Максим Моисеевич — под большими часвми, а по две руки от него — Кокошкин и князь Павел.

От Винавера ждали не тоста — речи. Гости замерли ещё прежде ножевого стука о хрусталь. От знаменитого адвоката ждали речи сильной, и сам он, давно отволновавшийся на речах, поднялся растроган, вознесен, вскружен. Он был невысокого роста, но с головой непропорционально большой.

— Друзья мои! — гулко выговорил он, вкладывая весь смысл.— «Свершилось великое!» — так начали мы на днях обращение Временного правительства. Но с ещё большей заслуженностью просятся эти слова на язык сейчас. У п а л и цепи рабства с еврейского народа! Едва ли мировая история знает пример столь ошеломляющего превращения! За последние 25 лет русское еврейство подверглось гонениям и унижениям, неслыханным и небывалым даже в истории нашего многострадального народа. Ещё вчера безрассудная злоба и ненависть загоняли евреев в тиски морального гетто, лишали его неотъемлемых прав. Ещё вчера наши права на передвижение, образование взвешивались на унции. Наш народ, согбенный под тяжестью вековой неправды, и неся все государственные повинности,— ждал как милости хоть какого-нибудь незначительного послабления в праве дышать воздухом родины. Еврейский народ пронёс через тысячелетия провозглашённые им когда-то идеалы равенства и братства. Гонимый из края в край, он всё не терял надежду на царство Божие на земле — и вот теперь, на самом краю своего рассеяния, он обретает всю полноту человеческих прав!

Максим Моисеевич вошёл в речь, иногда прикрывал веки, и плавный голос выносил:



— Разлетается прахом злосчастный постыдный вопрос о вероисповедных ограничениях, многолетнее злопыхательство поколений казённых глупцов! От клеветы и наветов более всего страдали евреи. И в чём только не обвиняли их: то — они эксплуатируют коренное население, то — стоят во главе Освободительного движения, то паразиты и тунеядцы, то слишком энергичны и деятельны. Жертвоспособность еврейской молодёжи — и та стала для старой власти орудием возбудить инстинкт толпы. Сколько раз царизм с подлой хитростью пользовался бесправием нашего народа, чтобы свалить на него месть и злобу. Еврейский вопрос сделался для старого режима козлом отпущения. Мы перестояли и смерч столыпинского режима. Царизм не задумывался даже расстроить акционерное дело у себя в стране, лишь бы ограничить участие евреев. Не останавливался перед охлаждением отношений с Америкой. В разжигании ненависти к евреям царизм видел средство поддержать своё существование. Еврейское неравноправие усугублялось общим отсутствием правового начала в стране. Положение евреев уже было препоной для общего введения правового строя. Еврейская молодёжь в течение десятков лет шла в ряды борцов за общерусскую свободу, здоровым инстинктом чуя, что одна и та же твердыня охраняет и политическое рабство по всей России и гражданское рабство евреев. И отцы взирали на своих детей, идущих на каторгу, с болью, но не с осуждением. Самые большие тяготы в этой стране падали на долю еврейского народа — но он не уставал бороться. История национальных гонений в России ещё не написана. Сегодня мне не хочется возвращаться даже чувством к тем танталовым мукам, какие пришлось перетерпеть евреям. Да ведь пострадали и притеснители, морально: это от еврейского бесправия у них развивался произвол, беззаконие и взяточничество.

Что это напоминало? Что это ужасно напоминало? — вот такой торжественный сверкающий стол и торжественные заседатели, но собравшиеся вовсе не для еды, а лишь по поводу её,— а выход весь, а ожиданье всё — пламенная речь? Да — *банкеты* же, банкеты с Девятьсот Четвёртого на Пятый! — не зря прогремевшие серебром и стеклом, нагремевшие нам и революцию!

— Духа же евреев тяжкий гнёт нисколько не угашал, напротив — возбуждал к сознательности и борьбе! Вместо прежней покорной и трусливой массы явилась нация с высоко развитым чувством собственного достоинства! И вот сегодня, когда вся гниль одним ударом смыта с тела народного,— перед нами во весь рост стоит еврей-гражданин, с достоинством перенесший годы угнетения и преследования. Навсегда закрыта ещё одна позорная страница нашей государственности. Вырван ядовитый зуб царизма. Снята тяжесть с русской совести. На долю Временного правительства выпала великая честь снять с русского народа тяготевшее на нём пятно. Теперь Россия вступает в ряды цивилизованных народов. Мы освободились от засилия отечественных погромщиков. Сегодня мы в полном смысле можем назвать русскую революцию Великой: ещё горят страсти — а революция спешит восстановить значение личности, выполнить повелительный долг чести относительно евреев! Вот она, грань между старым и новым строем. «Ныне отпущаеши.» Первый раз за две тысячи лет мы будем праздновать нашу Пасху не рабами, а свободными гражданами. Радостные чувства этих великих дней откристаллизуются и передадутся потомству в восторженных рассказах и трогательных легендах.

Зааплодировали. Сверкали глаза. Предупредительно поднимали бокалы. Максим Моисеевич отдышивался от радости, как от большого подъёма. Но он ещё не кончил.

— Теперь евреи могут смело войти в храм свободы, ибо он воздвигнут и на костях еврейских борцов. Евреи могут гордиться, что и они принимали участие в революции. Евреи добивались свободы не как рабы — и теперь полноправно могут участвовать в закреплении достигнутого успеха. Конечно, одним росчерком пера ещё не будут устранены все противоеврейские традиции. Вот и сегодня: освобождённая Финляндия ещё сохраняет у себя еврейское бесправие. Из Дерпта приходит новая клевета, что милиция из евреев-студентов вызвала кровопролитие. Ползут нашёптывания тёмных сил, и провокаторы хотят сорвать революцию на вопросе допуска евреев в офицерство. Понадобится ещё одна революция — в тёмных невежественных мозгах, чтобы поняли все, что никакого еврейского вопроса вообще никогда не существовало. Но в ярком пламени революции постепенно забудутся рознь и недоверие, которые сеял старый режим. Все помыслы нового еврейского гражданина теперь — на благо родины, открывшей ему свои объятья. И весь его никем не отрицаемый гений теперь будет вложен в строительство родины. Забудем же наши обиды — и пусть запоздалость зари не отягчит души страдальца. Никогда ещё Россия так не нуждалась в энергиях и талантах — и евреи принесут их ей. Еврейский народ теперь докажет, как высоко может подняться волна преданности родине в сердцах свободных граждан. И да не омрачится больше наше братство взаимным подозрением, также и на поле брани с внешним врагом. Вот, придёт Учредительное Собрание, будут решены и другие национальные вопросы — и наступит тесное содружество народов России к умножению её вечных ценностей.

По составу речи можно было понять, что он — кончил, и отчего ж не на высокой ноте, упущенной раньше? А Максим Моисеевич вовсе не кончил, главный-то поворот был сейчас.

— Напомню, что в своей известной речи в Первой Государственной Думе я бросил в лицо правительству: да, мы полны силы отчаяния, но у нас есть и один союзник — это исполненный истинной человечности русский народ! Да, господа, это так,— обвёл он глазами всех, но не двух самых близко сидящих.— За светлое будущее России мы боролись не одни, но вместе с лучшими русскими людьми. Т а к а я Россия не погибнет и т а к у ю Россию кровно полюбили мы, так называемые инородцы, с нею сплелись неразрывно, через неё связали себя с русским прошлым и с нею вместе будем строить русское будущее. Дух Пушкина, Белинского, Герцена и Толстого, и вся атмосфера Девятьсот Пятого-Шестого годов и Девятьсот Семнадцатого — это негаснущие эманации. И современное нам поколение русских людей сумело выявить те же истинные черты русской души — и этих дорогих друзей мы видим сегодня и здесь, в нашем узком избранном кругу — и — и разрешите,— сияюще повернулся он направо,— обнять вас, дорогой князь Павел Дмитриевич?

И наложил руки на плечи слоногрузного князя, не давая ему подняться в рост,— тот разошёлся в смущённой улыбке. Обнялись.

— И разрешите,— с глубинным порывом повернулся Винавер налево, к своему сердечному любимцу,— обнять вас, наш ненаглядный Фёдор Фёдорович!

И наложил руки на хрупкость Кокошкина.

Все встали.

## 653

Обедать министры должны были в офицерском собрании Ставки. Но вовремя не пришли, и всё не шли — и обед начался без них.

Тут они и вошли, все в пиджаках, Керенский в курточке. Никто из офицеров не поднялся. Лишь когда министры подошли к генеральскому столу — привскочил Алексеев. И иностранные офицеры прекратили еду.

Все жадно смотрели на диковинных министров, и особенно на Керенского: больше всего он гремел по газетам, а портретов его ещё не знали.

Только после обеда, когда поднялись, вокруг каждого из пяти смогли образоваться группы — и так присмотрелись и прислушались к ним ближе. Трое старших были люди привычного общества, таким же старался быть и Некрасов, а Керенский излишне нервно дёргался то в одну, то в другую сторону, иногда его жесты и фразы были напряжены, сценичны, не по размеру аудитории.

Но эти беседы стоя не продолжались долго: все министры спешили, в разные места, использовать для своих дел эти немногие часы в Ставке.

Милюков объявил представителям союзников, что на сегодняшнем заседании правительство решило оставить Алексеева Верховным Главнокомандующим. Союзные агенты внимательно и вежливо кивали. (Они ещё утром, до совещания, знали об этом же от Гучкова.) Разумеется, никакого неприятного упоминания о задержке нашего наступления тут не прозвучало.

Затем Милюков и Гучков вместе с Алексеевым отправились на совещание с морским штабом. Гучкову как морскому министру неизбежно было такое совещание устроить, но Милюков непременно хотел участвовать — и тут стал проводить свой заветный план: убедить и Ставку и морской штаб энергично подготовить и произвести высадку в Босфоре! Он знал, что адмирал Колчак только об этом и грезит,— и тут в темпераментном кругленьком адмирале Бубнове нашёл тоже горячую поддержку. Но вечный противник босфорской операции Алексеев стал кисло и скучно выговаривать и выписывать на бумаге целые столбики возразительных соображений — всё вокруг распыления сил, нехватки десантных судов, трудностей снабжения, задержки сроков и тяжёлых особенностей момента.

Но как же было из-за мелочей малодушно отложить, не осуществить в эти революционные яркие месяцы константинопольскую мечту России?! Милюков никогда, и даже в эти месяцы особенно, не терял государственной мысли: путь России — через проливы, через Балканы, через Средиземное море!

И он смотрел на Гучкова со страстным выражением,— если таковое было ему доступно.

Но Гучков, ведь тоже прикосновенный к балканским проблемам,— нет, не выказывал мужества. Любил он дерзкие шаги, но что-то слишком много сразу предпринималось дерзких: одна его генеральская пертурбация чего стоила. А все перетряски уставов, комитеты? Однако и боевой расчёт, представленный Колчаком, был поразительно убедительный: вся недоступность Босфора казалось мнимой,— а только руку протянуть — и взять!

Но уже привыкнув за эти дни к подавляющим трудностям, Гучков скрипел. Не столько против расчёта Колчака, как — о снабжении. О разгрузке железных дорог. Мы везём из Донбасса уголь, перегружая дороги,— а могли бы морем везти его из Мариуполя в Одессу — но для этого тоже нет судов, а придётся с транспортов Колчака снять десантные приспособления и поставить их под уголь и руду.

Милюков сердито возражал. Не сошлись, не решили.



Гучков весь день был настроен нервно именно из-за обильного присутствия других министров, которые лезли не в свои дела, отравляли ему встречу со своею Ставкой. И хотя его главные дела уже были за полтора дня все обсуждены — но он решил пересидеть министров, не уезжать сегодня, остаться ещё на день. Как заноза досадная ему особенно мешал Керенский своим претенциозным, неуместным здесь поведением. На дневном заседании Гучкову подали телеграмму из министерства, что получено известие: в Петроград из Архангельска везут арестованных там по приказу министра юстиции — двадцать пять морских офицеров и трёх генералов! Каково? И это — без морского министра! Гучков едва не захлебнулся этой телеграммой — но всё шло совещание, а потом Керенский сразу ускользал, а потом обед, а потом опять ускользнул,— никак не удавалось его припереть и выпалить ему! Между совещаниями у самого Гучкова были встречи: утром — с военными представителями союзников (осторожно готовя их, что России очень трудно будет выполнить обязательства, но скоро-скоро восстановится её военная мощь), затем сидел в Дежурстве у генерала, получая самое для себя нужное: списки всех старших начальников от дивизии вверх со всеми аттестационными отметками.

Наконец, из вежливости просидел и час с великим князем Сергеем Михайловичем, отставляемым от инспектора артиллерии: тот боялся ехать куда бы то ни было, уже наученный злоключениями династии и своей бывшей любовницы Кшесинской в Петрограде («Скажите, Александр Иваныч, женщину, балерину — за что?» — «Но разве я могу уследить, кто кого арестует?»),— и вопреки официальным рекомендациям правительства Гучков советовал ему ехать куда угодно, только не в Петроград.

Лишь поздно вечером Гучков узнал, что Керенский в этот день успел принять смотр георгиевского батальона (в какой сумасшедшей стране это мог сделать министр юстиции?!) — а только что, вечером, выступил на собрании офицерских и солдатских депутатов (куда и Гучкова звали, да он был занят). Ну, чёрт подери, Гучков рассердился уже черезкрайне: с этим фигляром надо как-то кончать, он открыто лез в компетенцию военного министра. И выходки его были так неожиданны, что нельзя их предусмотреть. И — уже уехал.

Откладывая объяснение до следующего правительственного заседания (осадить фигляра по первому же поводу),— пока только и мог Гучков: остаться на следующие сутки, завтра собрать это же самое собрание офицерских и солдатских депутатов и на нём произнести обширную речь, заслоняя болтовню Керенского: как он, Гучков, ещё с 1907 года пытался возродить боевую мощь России, а ему мешали правительственные сферы. Как революция вызволила нас из проклятой тины — и теперь солдату предоставлены все права гражданина, и теперь свободным революционным развитием мы создадим непобедимую армию!

А Керенский — а Керенский, со своим динамизмом, провёл сегодня ослепительно-очаровательный день! Уже утром, с вокзала,— единственный министр, кого подняли на руки, был он! И вот блистательно придумал принять парад батальона георгиевских кавалеров — умеренно укорил их, что они поддались карательной поездке в Петроград, но и тут же благодарил, что они остались верны народу,— держа руку у картузного козырька, пропустил мимо себя их печатный шаг — и очаровал. Пробежал в комнаты военно-судного управления — и очаровал. Наконец, приятно поболтал часок с великим князем Сергеем Михайловичем. К каждому великому князю Керенский испытывал острое любопытство, желание соприкоснуться. А в эту поездку — неудобно было поехать в самом царском поезде,— но тоже в одном из литерных вагонов, похоже. А в самой Ставке — какой особенно бодрящий, военизирующий воздух. А вот и опустевший двухэтажный дом, где жил царь. Как министр юстиции Керенский должен был проверить — и прошёлся дорожками двора и сада: вот тут ходил сам царь — а теперь ходит Керенский! (Так же одинокий, заложив руки за спину,— а охрана из гвардейского экипажа всё время за ним, в отдалении. Распорядился выдать им царского вина.)

Во время большого совещания Керенский то и дело вставал и подходил рассматривать карты, развешанные на стене. Молодой, стройный, впечатлительный, умный, с одной рукой небрежно заложенной за спину, он чувствовал, как полководческий дар вливается в него час от часу. (А кто был здесь полководец? И Николай Николаевич не был полководец, его популярность раздула общественность в пику царю.)

Очень обижало Керенского пренебрежение Гучкова, что он приехал на сутки раньше, держался всё время особо, отдельно и как бы выше. А вот что надо: по возврату в Петроград тотчас же дать газетам интервью о впечатлениях от Ставки — и заявить от себя проект омоложения командного состава армии,— да разве Керенский не думает так? не думал так всегда? Этим путём и будет создана та революционная армия, которая существовала во Французскую революцию! Проект омоложения командного состава вызовет восторг и сочувствие всей армии!

Так в разнообразных событиях, чувствах и впечатлениях прокатился этот незабываемый день Керенского — а закончился он блестящим выступлением в солдатско-офицерском могилёвском Совете депутатов (60 солдат, 30 офицеров) в здании городской думы. Его встретили, конечно, единодушными овациями — и он взнёсся на помост и тотчас же

приступил к речи, каждым свободным жестом своим показывая, насколько новая власть выгодно отличается от старой.

— Товарищи! Русская революция поразила весь мир быстрым темпом своего свершения — и порядком, не имеющим примера в истории! Старая власть, лишённая всякой опоры в народе и армии, сдалась в несколько дней без сопротивления! И они все — в наших руках! Дело реакции проиграно бесповоротно! Но должен последовать справедливый суд, а не мелкая мстительность! Великий народ должен проявить величие и в великодушии.

В такие мгновения — гусиным пёрышком щекотало Керенского в горле.

— А что мы видим в нашей армии? Она станет ещё сильней, когда до конца осуществится приобщение к гражданским правам! Уже сегодня я вынес самое отрадное впечатление. Офицеры чувствуют себя прекрасно и говорят, что наконец-то нашли своё настоящее место. Они прониклись пониманием психологии солдата-гражданина. Солдаты проникнуты духом верности, чувством долга перед родиной. Дезертирство не только не усилилось, но многие возвращаются на фронт. Генералитет, хотя и не ориентируется в новых формах жизни, но мы не встречаем от него противодействия. Внутри государства — больше нет нам опасности! Но она — от внешних врагов. Если бы немцам удался прорыв — они бы восстановили у нас старый деспотический режим. Но я ни минуты не сомневаюсь, что наша армия грудью защитит завоёванную свободу! Если не исчезнет наш энтузиазм — мы выдержим удар! Солнце свободы всходит — и осветит не одну Россию, но и весь мир, который напряжённо ждёт с Востока своего освобождения!

А дальше — аплодисменты, аплодисменты, энтузиазм не поддавался описанию!

И снова его вынесли из зала на руках. (В сопровождении подпьяневших матросов гвардейского экипажа.)

## 654

Сегодня в Белом думском зале очередь собираться была рабочей секции Совета. Не так избыточно, как солдатская, двери закрывались и по проходам можно было пробраться, но всё же сидели впритиску и во всех ложах, и на ступеньках. И даже — не курили, обязались так, иногда кто где засмолит — на него цыкнут. Всё это рознилось от солдатских дней, когда стояли даже и во все стороны лицами, и всё висло в дыму. Сегодня, в рабочий день, и на хорах оставалось место — и там расселась стража арестованных из соседнего коридора, кто-то и до белья раздевшись от духоты, на приволье чай пили.

А Екатерининский зал по соседству грохотал от пришедших там сейчас моряков.

На родзянковскую вышку, на фон опустошённой императорской рамы, уверенно взошёл полноватый Богданов. Он теперь стал ходить с портфелем, что, при упитанном белом лице, придавало ему и министерскую солидность. И перед подъёмом на трибуну снимал, совал в карман пенсне, нужное ему только для бумаг. Энергично постучал по пюпитру (родзянковский колокольчик за эти дни украли) — уже и стук его и манеру знали, и сразу слушали. За три недели уже привык Совет к Богданову и Богданов к Совету, управлялся с ним оборотисто, и доводов его слушались, он и был тот главный, кто приносил из Исполнительного Комитета директивы, а здесь превращал в решения. По умелости, бодро надеялся он и сегодня справиться, хотя понимал, что дело окажется потрудней.

— Товарищи! — сильным голосом подал в тишине.— Сегодня нам предстоит два вопроса. О положении работ на заводах — но это потом. А раньше нам надо обсудить некоторую перестройку работы самого Совета. Исполнительный Комитет пришёл к выводу: в таком виде, как мы существуем, мы больше существовать не можем. Теперь в Совете две тысячи солдат и восемьсот рабочих,— это слишком много, на общих собраниях решение вопросов может быть непродуманное. Простое голое поднятие рук — это не решение. Как теперь изменить положение вещей? Это называется — реорганизация. В теперешнем составе Совета много наслоений, ибо он сложился стихийно. Наш Совет рос на случайных основаниях. И пришлось разбиться на отдельные солдатские и рабочие собрания, у солдат своя Исполнительная комиссия, тоже 107 человек. Так работать нельзя, это слишком громоздко.

Солдатская аудитория — много бород, здесь — ни одной, самое большее — усы у третьего, а то бриты. Сквозь солдатские дремучие бороды нескоро проникает речь оратора. А тут, с рабочими, поостерегись, их всё же (сами же) годами приучали к сходкам и речам. И лица у них — размысливые, честно серьёзные, и пришли они — понимать, и торжественный парламентский зал приосеняет им важности. Тут — поосторожней, через каждую фразу — и успокаивать. (А начали с рабочих, потому что перестройка ущемит солдат побольше.)

— Но, надо сказать, хотя состав Совета и случайный — он сохраняет полное единство. Нам нельзя ломать эту махину. Нельзя сказать — распускаем и созываем новый. Мы всё-таки связаны друг с другом, рабочие с солдатами, и через Исполнительный Комитет. Мы росли стихийно — но рвать эту связь нельзя. Этот аппарат нельзя уничтожать. Наша



задача — связать эту махину, чтоб она представляла сильное гармоническое целое. Хотя мы считаем, что три тысячи человек работать трудно, всё же вопрос слабо освещён. Но Совет распустить нельзя. Он должен сохраниться, только его роль должна быть точно определена.

Пока сходило ничего. Но слушали — не безразлично, кажется, начиная подозревать и подвох.

— И вот я доложу проект сегодня на вашей секции, завтра на солдатской. Впредь Совет должен намечать общую линию. А разрабатывать эту линию при таком большом количестве членов нельзя. Кроме того, есть случаи торжественные, например, обращение к полякам, когда нужен весь Совет. Разработка же и принятие решений и постановлений должна лежать на рабочем органе. И мы предлагаем такой создать: Малый Совет Рабочих и Солдатских депутатов, не больше пятисот человек. Теперь момент спокойный, не как 27 февраля, и выборы могут быть произведены закономерно. Выбирать депутата не на полтысячи, а на две тысячи человек. И солдат — не от каждой роты, а от батальона, полка. А ещё в Совете отдельно должны быть представлены партии. И профсоюзы. Мы ценим организации. Возьмём депутатов и из ремесленного пролетариата. А из торгового пролетариата — только нижние слои, они стоят на страже демократии. А верхняя часть настроена буржуазно. Итак, старый Совет не уничтожается! — который раз оговорился он, хотя ж никто ещё этого ему не кинул, но промахнулся языком, назвал Совет не Большим, а сразу старым,— его задача — разработка общей линии и вотирование торжественных актов.

Теперь зашевелились. Только радости и поддержки в движении не было.

— А Исполнительный Комитет??! — крикнули, даже из разных мест.

Этого Богданов и ждал, самое больное место, осторожно его обойти — не допустить и мысли переизбирать Исполнительный Комитет.

— Исполнительный Комитет, товарищи, избран ещё 27 февраля...

— Временно! — крикнули.

Помнили...

— Сперва решили, что он будет состоять из девяти рабочих, девяти солдат. А потом ещё присоединялись партийные депутаты. Да, он сложился несколько стихийно. В нём сейчас 37 человек, из них далеко не все бывают на собраниях. И мы предполагаем доизбирать туда рабочих и солдат.— (И не собирались.) — Но сейчас надо думать, как реорганизовать большой Совет.

Богданов ждал сразу большого шума, но если быстро бы проявился — быстро его и приглушить. А тут разрабатывалось медленно. Оттуда и отсюда стали выкликать вопросы:

— Так — депутатов в Малый совет — новые выборы? Или — из этих, из нас?

— Новые! — уверенно ответил Богданов. Потому что так говорили на Исполкоме. А сам сразу и подумал: ошибка, вот тут надо было и уступить.

— А остальным — чего ж? — забеспокоились ещё в нескольких, справа, слева, высоко, и внизу.— К станкам?

Их ведь, этих заседающих, освободили от работы.

— Да, товарищи, а что ж, с работой у нас плохо. Но Большой Совет время от времени будет собираться.

— А — топлива нет, какая работа?..

— А районные советы — будут?..

— А Малый Совет — будет выбирать свой Исполнительный Комитет?..

Ишь, куда заваливают! Нет-нет:

— Исполнительный Комитет остаётся от Большого, мы туда довыберем. Малый Совет не избирает своего Исполнительного. Так, товарищи, давайте организованно выступать, но покороче! — гнал Богданов.

— Не покороче! — распалялось в зале.— Вопрос важный, сокращать времени нельзя!

Стали выкликать и фамилии — и записываться. И быстро записалось больше двадцати человек. Таких прений Богданов допустить не мог: чем дольше прения — тем больше проигрываешь, уж он знал. Но уже шёл первый — с завода Паля, и уже с привычками и словечками оратора:

— Та-ак,— сказал,— товарищи! Вопрос требует самого напряжённого обсуждения. Он постановлен расплывчато и не конкретно. Мы не видим плана реорганизации. Надо его раскритиковать как следовает... Мы реорганизуемся, пожалуйста, но чтобы был максимум пользы и чтоб мы не потеряли своего удельного веса.

— Вы сами, товарищ, говорите конкретно, а не лишнее! — стал подправлять Богданов. Эти речи, он знал, нельзя запускать.

— Чего неконкретно? — стал сбиваться оратор.— Если, например, три депутата от завода уже есть, а надо выбрать ещё один, так будет четыре? А если от одного завода сразу восемь и говорят одно и то же, так не лучше ль их сократить, а на их место других добавить?

— Чего сократить! Кого сократить! — возмущённо закричали из зала, это от крупных

заводов.— И сбили оратора. Он ещё поблуквл языком и ушёл. Когда само собрание прогоняет ораторов — тогда председателю и вести легче.

Второй вылез с Лангезиппена, тоже, видно, умелец поговорить:

— Да, товарищи! Как и для чего — это вопрос очень сурьёзный. Когда нвчиналась революция — так и всё делалось кое-как. А Исполнительный Комитет — он есть теперь законодательный комитет. А не только здесь, но и по всей России оказывается давление со стороны остатков тёмных сил. Стврвя власть местами ещё существует, ого! Вот я, например, узнал: в Великих Луках земский начальник ещё и сегодня арестовывает. Мы нaходим, что три тысячи депутатов — это много? но, товарищи, и выходов много. Учредительное Собрание, вот, недвлеко — а на местах нигде нет передового элемента. А в Петрограде этого элемента как раз очень даже много. И мы можем часть существующего нашего Совета отделить и разослать по провинциям, чтоб они организовывали массы к Учредительному Собранию. Мы вынесли на себе тяжесть революции — и нам теперя надо взять на себя пропаганду! На местах буржуазия, небось, работает, а мы почему-то ничего не делаем. Исходя из этого, я предлагаю: часть Совета командировать во все провинции длн пропаганды. Докладчик сказал — в Малый Совет войдёт 500 человек, а нам остальным — куда? на улицу? И я предлагаю: рассыпаться нам по всей России!

Он покидал трибуну — уже заспорили на местах, соседи с соседями. Многим показалось заманно, другим неохота из Питера уезжать.

Ох, трудна ты, работа головы! Ох, трудно пробиться, весь хлам прокидать: чего же именно правильно?

И с трибуны очередной тоже сетовал, отирая серый лоб:

— Вопрос, товарищи, сложный. В пять минут его никак решить нельзя. В этом зале, в Думе, самый сраненький вопрос и обнаковенно обсуждался по нескольку дней. А теперь — вся Россия к нам прислушается, ибо должен быть один центральный орган. Исполнительный Комитет должен был проект сооружить нам заблаговременно, а не этвк сразу на голову кидать. Мы так уразуметь не поспеем. Да по какой категории избирать-то будем? Значит, один Совет у нас будет правильный, а другой непрввильный?

А сразу за ним — полез конторщик с Айваза с выложенной у кармана цепочкой часов, слышали его в Совете, не раз. Так и заявил сразу громко иаотрез:

— Нет, товарищи! Я хочу указать на замечание товарища Богданова, что наши решения просто принимались поднятием рук. Это неверно, они принимались вполне сознательно. Никто решений Совета не опротестовывает — значит, работа ведётся правильно. А если это так — то к чему нам меняться? Теперь я перехожу к существу вопроса, что якобы Совет продуктивно работать не может, и предлагают схему реорганизации. Я не согласен. Да, у нас около трёх тысяч человек, и возможно, будет расти до пяти тысяч. А Малый вырастет до семисот, это не парламент? А что же будут делать наши три тысячи человек? Только ждать торжественного случая? Это — опять не решение. Вот, товарищ с Лангезиппена наметил выход, и он мне рисуется приемлемым. Сократим Совет до пятьсот-шестьсот человек — но и остальных оставим в звании, только поручим им: подтянуть к нашему сознательному уровню обширные области страны. Выплатим командировочные — и пусть едут, возглашают. Многие по России не знают, что в Петрограде творится,— и нвдо им это показать. Это даст — колоссальнейшую пользу! Итак, одна часть осталась бы здесь, а другая поехала бы. У нас тут, однако, разные взгляды, и вот, чтобы понести всё одинаково, надо выработать план. А если сделать, как предлвгает Богданов, то положительного результата мы не получим. Мы бы, значит, топтались тут, на месте, а там бы, на местах, шла работа тёмных сил? Временное правительство с этим мирится, но мы должны добиваться своего. На местах есть тёмные массы — и тогда мы убили бы сразу двух зайцев: и здесь бы сократили бы количество депутатов — и страну бы подготовили к восприятию великих реформ.

Так, самодельно и неожиданно, повернул Совет весь вопрос. Но не для того был поставлен ловкий председатель-докладчик, и он загремел, опоминая зал:

— Предыдущие товарищи говорили не по существу. Нвм надо — усилить, укрепить Совет *рабочих*, а не усылать его в провинцию, не подменять всероссийской проблемой.— То есть он хотел им намекнуть, что надо увеличить рвбочих за счёт солдат, но об этом никак нельзя сквзать прямо вслух, дойдёт до солдат.— Давайте говорить о Малом Совете.

Но не взял их с наскоку сразу к голосованию, теперь забарахталось трудяей. За время трёх-четырёх ораторов стали рабочие — опоминаться, в затылках расчёсывать, друг с другом обменялись из ряда в ряд: да нет, тут дело не чисто! это ведь нас разогнать хотят.

И вылез длинный хитрый черноусый дядька со Старого Парвиайнена, обопёрся об трибуну хорошо и повёл так:

— Я — с другими говорившими тут не согласен. Как это: Совет слишком большой — давайте выбирать других? Как это: Совет — уменьшить, а Большой — для торжественного случая? Это не выдерживает критику. Значит — мы годны только длн парада? Я не думаю, чтоб свобода была настолько упрочена,— и нам расходиться ещё рано,— как это: выбирать других? Теперь настроение масс опустилось и начинают действовать нежелательные силы, и если новые выборы — то только ухудшат состав Совета. И получится



мнение, что мы были — не совсем подходящий елемент? И что ж будет делать дальше Совет? У меня такое предложение: если от какой фабрики двадцать депутатов — ну, можно сократить. Хорошо, выберем 500 человек, но из нашей здешней среды. Но и Исполнительный Комитет — тогда тоже заново. Из этих пятьсот выберем.

— Этого — не допустим! — застучал Богданов кулаком.— Ещё чего? Кто не доверяет нашему Исполнительному Комитету — пусть организуется сам на стороне, как хочет. А наш Исполнительный Комитет — избран этим Советом.

Богданов лишил оратора слова, дядька не хотел уходить.

— Почему говорить не даёте? — загудели.

— Круто загибаешь — оглоблю сломаешь!

Но тут близко сразу несколько с вытянутыми руками совались к трибуне — и как угвдать полезного? Богданов отметил одного — опять вида приказчичьего или конторского.

Этот подвижный завертелся на трибуне, поспевая убеждать во все стороны:

— Товарищи! Мы с вами — люди подполья! А наш Совет организоаался во время стихии. А если сделать теперь новые выборы — то в Совет придут люди, которые будут звать «воевать до победы».

Застучал над его головой уже недовольный Богданов, и с мест орали с разных,— но и конторский не растерялся, а продолжал виться:

— А сила перейдёт от Большого Совета к Малому? Нет, товарищи, мы явились сюда не для реорганизации, а — организовать разбитую Россию, и для этого нужны строители.

— А сам — кто? — глушил Богданов, сбивая.

— Я сам, товарищи, пожалуйста, фармацевт. Здесь много служащих. Раньше мы, служащие, были отделены от рабочих, а теперь мы слились. И цель Совета Рабочих и Солдатских Депутатов — это контроль над Временным правительством. А между тем министр просвещения остался совсем без контроля, вы обратите ваше внимание! А нам говорят — разойтись? Нет, товарищи, делать государственное дело нужен инструмент — а нам говорят: разойтись? Здесь, в этом здании, была холопская Дума, а у нас новое настроение, мы хотим организоваться, а нам говорят — реорганизоваться?

Наступил общий шум — от богдановского стука и горла и встречно от зала, как и раньше на Советах бывало: ораторов на трибуне оказалось сразу двое, и по ступенькам подпирали двое, а по всему залу ещё вставали и говорили окружающим. Совет расколыхался, окончательно поняв, что его обманывают и хотят разогнать. Кричали, и грозили кулаками Богданову — но и он смело кричал:

— А я вас не боюсь!

Но сам-то уже понял, что не справился, что прения проиграны и надо не голосовать, а откладывать на следующий раз.

Десять-пятнадцать минут покричали, разрядились, угомонились — выбрал Богданов на глаз и двл слово белокурому парню с Трубочного.

— Я высказываю против посылки нас на места. Это значит — распылить силы, а нам надо быть в единении. Такая посылка будет громаднейшим ущербом. Чтобы не был громадный состав — так Малый надо выбирать из нас же, зачем же со стороны ещё набирать? А если уж со стороны — так пусть Малый Совет будет со всей России, ото всех разных городов и губерний. А то ведь нас и так считают Всероссийским — так вот. Не нам туда ехать — а пущай сюда едет провинция. Мы, Петроград, своё дело и сделали — теперь пущай делает провинция!

Пришлось Богданову опять вмешиваться, разгребать свою восьмисотную неразбериху:

— Нет, товарищи, это неправильно! Хотя мы и петроградские, но волею судеб мы и так уже всероссийские. Мы только формально именуемся Петроградским Советом — а сила у нас на всю Россию. И возможно, нас и так признают всероссийским.

А гуща ему — нового оратора вытолкнула, тоже кудрявого, молодого:

— Мы выбраны сюда решать вопрос — а получается, что знакомимся с готовым докладом. Надо раньше оповещать! Совет рабочих депутатов спаялся — и уничтожить его не дадим! Когда девятый вал прошёл — так мы уже и не нужны — и «выбирайте новых»? Мы распустить себя — никак не можем! Мы выбраны совсем не случайно, а вполне разумно. Да к чему нам новые выборы, зачем нам новые? Придут новые — мы должны их знакомить с делами снова. Среди нас тоже-ть нет буржуев! Да, разбирать при трёх тысячах трудно,— а ежели разойтись по комиссиям да по подкомиссиям — так и нет никого. Да вон, пулемётчики из Народного Дома уходят — щекатуры обсвежат, да и занимайся! Хотя б и были у нас недостатки, но в такое ответное время распускать нас недопустимо! Выбирать новых членов Совета — это только внесёт путаницу. И зачем нам Москва и другие города? Если мы их пустим сюда — так они начнут нами управлять. Это мы — сбросили иго, мы и должны Россией управлять! А они — пусть присылают людей для связи. А подчинить себя мы никому не позволим! Ежели нужно выбирать Малый совет — то и выбрать из сидящих здесь, и всё!

Ну, поднялось! — вой. Вставали, кричали, руками махали, выходили, ещё такого Совет не помнил. Сейчас оборвать прения — нельзя, всё проиграно. Сразу не прошло —

теперь другой вариант: дать им много часов говорить, сами разбредутся и запутаются. В растянутых прениях толпа всегда запутывается и ослабляет сама себя, мысли расползаются, разделяются — и тут-то снова её можно взять сильной рукой.

— Куда вы уходите, товарищи? — перекрикивал Богданов, приложив раструб к губам.— Вопрос очень важный, продолжаем свободные прения, никто вам ничего не навязывает!

Уселись и опять продолжали.

Теперь — от Розенкранца:

— Да, товарищи, наш Совет выбран стихийно — но и надо издать директивы, чтобы не было заявлений, что мы неправильно избраны и наши решения неправильные. А раз демократическая республика — так сделать пропорционально тысячам. На нас смотрит вся Россия, и авторитетность наша увеличится, если будут представители от других городов. Тут ругали буржуазию — а что? Привлечь и её в Совет рабочих депутатов.— (Загудели, закричали недовольно.) — Её будет немного, но мы ещё больше поднимемся в глазах. Нужно привлечь в Совет и умственные силы. А если возникнет конфликт Большого Совета с Малым — так кого население будет слушаться? Они будут считаться правильно избранные? Они будут — всё, а мы — ничто? Нет, так не пойдёт.

А следующий повёл ещё загибистей:

— Я предложил бы лучше — удалить Исполнительный Комитет, а вместо него и создать Малый Совет с подкомиссиями. Мы в первый день революции избрали Исполнительный Комитет на три-четыре дня, а он остался постоянным, это нежелательно. Всё захвачено в руки кучки посторонних людей!

— Этого никто вам не разрешит! — бомбил Богданов по кафедре.— Исполнительный Комитет — не посторонние, а состоит из рабочих и солдат! И из политических партий!

— Здесь говорят массу пустых слов! Вопрос тонет в словах! — взывал следующий, подмеченный зорким Богдановым, взятый на поддержку.— При чём тут Исполнительный Комитет? Обсуждается Совет! На нас устремлены взоры всей России! Мы сейчас должны реорганизоваться. Но мы никак не можем сговориться.

Теперь кого своих знал в лицо, так их бы вызывать — но рук не тянули.

— Исполнительный Комитет и так делает всё возможное в интересах революции! Мы только можем ещё расширить Комитет борцами за благо. Конечно, они перегружены работой, и надо их пополнить! Надо согласиться с предложением докладчика. Нас никто не упраздняет. Но Малый Совет будет продукт обдуманного решения. Эти люди не будут лишними, раз они выбраны!

— Так ежели нас уже много — зачем же ещё выбирать?! — волновались с разных мест.

Свои, проверенные, не тянулись, а какого-то глупого кудлатого Богданов выделил — и дал ему слово. И — не ошибся намётанный глаз. Кудлатый завёл, как и не слышал предыдущего, вот это и надо:

— Я хочу сказать: в настоящее время автомобильное дело на краю гибели, а мы тут чёрт-те-что обсуживаем. Автомобили принесли большую пользу революции. Но каждая комиссия старается захватить над ними власть. А нас в комиссию не приняли. И людям дают право распоряжаться. А я говорю от пяти тысяч шоферов. Мальчишки разбивают автомобили. Тогда их — в мастерскую, а после починки уже худшего качества. И разве можно ограничивать движение автомобилей записками? Вот офицеры и развозили женщин, вместо прокламаций к Учредительному Собранию. Мы — погубим эту промышленность! Надо уничтожить пропуска...

Такой шум поднялся — не дали ему больше говорить. Но сделал своё: одно острое выбил другим острым.

Недалеко от входной двери, сбоку, сидел и волновался Гвоздев: он видел, что страсти разожглись, прения затягиваются — и всё меньше оставалось надежды сегодня же обсудить с успехом состояние заводов и убедить эту разгневанную массу ещё и в чём-то другом против её сочувствия, как можно было бы на холодную голову.

За недели революции, он заметил, это было не первый раз: или пустяк, или раззадорина захватывали всё внимание и силы людей — а главное рушилось.

Происходило безумие: не то что с петроградскими автомобилями — но обрушивалась вся оборонная промышленность в разгар войны — и свой брат-рабочий не хотел внять и отозваться,— чего же ждать от исполкомовцев? И если уж сам Совет тоже не направит...

Тут он услышал — за дверью прошли по коридору к Полуциркульному с радостными громкими голосами, будто что-то нашли редкое. В зале Гвоздеву делать было пока нечего — и он подался посмотреть, кто это там, что.

В двери Полуциркульного входили, толпясь, и от задних Козьма узнал: вот, приехали из Иркутска Церетели и Гоц, сейчас будут говорить!

Лидер социалистов во 2-й Думе, Церетели пробыл в Сибири 10 лет — и Козьма, простым ещё рабочим, никогда его близко не встречал. Хотя вот переписывался с ним недавно. Теперь он увидел на помосте рядом с Чхеидзе, Чхенкели и другими исполкомовцами очень высокого, стройного молодого грузина, в пальто, сильно чёрного волосами, усами. Приветственные речи приехавшему были уже произнесены на вокзале или на ступеньках Таврического — теперь отвечал он сам.

Он стоял как тополь. Говорил с улыбкой. В улыбке его было — неподдельное, но смягчённое страдание пережитых лет. Говорил с паузами между фразами, с большим значением выбирая слова:

— Кончились мрачные годы реакции. Пробил час для полного торжества демократии! Ваш подвиг был и в том, что вы остановились вовремя: вы поняли, что идёт революция буржуазная и ещё не настал момент для конечных задач пролетариата. Которые и нигде ещё не осуществлены. Вы не стали навязывать событиям свою волю — но лишь толкаете буржуазию на путь революции. И хотя 4-я Дума была построена на костях 2-й — мы готовы забыть Временному правительству прошлое и поддерживать его.

Грозно повёл высокой головой:

— Но если правительство станет на путь компромиссов — мы низвергнем его в прах!

Вздохнул. И — задушевно:

— А самое главное, самое главное: кончилось наше собственное разделение. Мы больше не будем раскалываться на меньшевиков и большевиков, мы будем — единая социал-демократия!..

## 655

А говорят о возможной поездке через Германию — все и много. И несколько эмигрантских комитетов и все партийные направления просили Гримма вступить в переговоры с немецким послом Ромбергом. (Как Мартов предложил — за каждого эмигранта освободим пленного немца.) Отлично, отлично, *план Мартова* работает!

Гримм — взялся! (Ещё лучше.) Но он не только вождь Циммервальда — он и член швейцарского парламента, и такой шаг ему неблагоразумно делать без сочувствия правительства, например, министра иностранных дел Хоффмана. (И если Гримм взялся — значит, консультация была, заметим. А почему бы Швейцарии быть против? Швейцарии и самой бы неплохо эту шумную банду отправить. Швейцария сама стеснена войною со всех сторон.) Гримм ходит и ходит к Ромбергу, он ведёт переговоры *абсолютно-секретные*, чтоб не проникло в печать, чтоб не опорочить швейцарский нейтралитет,— но главным представителям каждой партии (Натансону, Мартову, Зиновьеву) он-то сообщает. Мы — знаем.

Улита едет — когда-то будет. Пусть, пусть.

А Ромберг всем отвечал: «да». И Гримм посчитал, что он легко всё исполнил: да — и да. Теперь остаётся вам, товарищи, обращаться за разрешением к своему Временному правительству.

Ах, спасибо! Ах, забыли перед вами шапочку снять! И потом век кланяться в ножки Луи Блану-Керенскому?

Все эти острые дни ужасно не хватало Радека-плута, телефоном вызвали его из давосской санатории, отдыхал, даже на русскую революцию сразу не ехал. Но уже по пути всё понял и придумал ещё один шаг отвлекающего зондирования: в Берне, через немецкого корреспондента.

Что ж, и тут был ответ от Ромберга, как и всем: да, да, конечно, всех желающих пропустим.

Но — не распахивалась германская граница, да и все *желающие* только узнать хотели, да посравнить, да спроситься Временного (слали телеграммы Керенскому), а так больше мялись.

Все согласны — и не начиналось ничто. Неуклюжи старинные дипломатические пути.

Не начиналось, пока тёмные крупные рыбы у самого дна не пройдут свой курс.

Пока Скларц не доложит в Берлине встречных предложений Ленина.

И германская Ставка не скажет окончательно: да.

И министерство иностранных дел не всполошится: уже так много публичных разговоров об этом возврате, уже князь Львов откровенно сказал швейцарскому посланнику, что быстрый отъезд эмигрантов из Швейцарии нежелателен. Так надо ж поспешить! — из-за кого же тянулось? — этот шанс для Германии не повторится!

И 18 марта, в субботу, Ромберг в Берне получил наконец распоряжение как можно быстрей сообщить Ленину, что его предложения об экстерриториальности приняты, не будет личного контроля и ограничительных условий.

В субботу — и «как можно быстрей»! Значит — не перемедливать лениво воскресенья. И нарушая все законы осторожности, используя запасную крайнюю связь, германский посол стал вызванивать по телефонам, в Народном доме нашёл наконец социалиста-немца Пауля Леви: надо немедленно передать Ленину, что...

И ещё одним звонком был вызван Ульянов к соседнему телефону на Шпигельгассе — и шёл, волнуясь, что это Инесса.

А это был — ответ!!!

И вот когда — путь был открыт! Вот когда можно было назначать группе в 40 человек отъезд хоть через два дня, ровно сколько нужно товарищам уложить вещи, сдать книги, уладить денежные дела, съехаться из Женевы, Кларана, Берна, Люцерна, купить продуктов на дорогу, можно было ехать уже во вторник, а в ту субботу — на одну субботу позже, чем со Скларцем,— вмешаться в русскую революцию!

Но ещё во мраке тёмной затхлой лестницы, а потом в дневном мраке комнаты-камеры (с утра опять то крупный густой снег валил, то снег с дождём вперемежку), руки подхватывая к вырезам жилета, чтоб они не вырывались к действию прежде времени, и успокаиваемый пальтовой тяжестью старого засаленного пиджака,— Ленин заставил себя ни к кому не кидаться объявлять, но — подумать. Подумать. Подумать, бегая.

Потерять голову в поражении и в унынии не может твёрдый человек. Но потерять голову в успехе — легко, и это самая большая опасность для политика.

Всё открывалось — в воспользоваться и сейчас было нельзя: как потом объяснишь: через кого и как согласовано, что вдруг внезапно подали вагон одним ведущим большевикам — и уехали?

Ещё надо сделать несколько отвлекающих, ослепляющих шагов.

Никакого простора бегать ногам, и на улицу не выскочить в такую погоду (и давно забыты читальни),— и вся беготня ушла в огненные вихревые спирали, ввинчивающиеся в мозгу.

Поездка — открыта, да, но — к у д а? Для задержки на финской границе? Или в тюрьму к Временному правительству? Можно представить, как там сейчас свистит шовинизм! По существующим мещанским представлениям это ведь так называемая «измена родине». И даже тут, в Швейцарии,— меньшевики, эсеры, вся бесхребетная эмигрантская сволочь, закричат об измене.

Нет!

Нет.

Нет...

(Кстати, пока Ганецкому: обращался к англичанам за пропуском, не дают!.. Пусть трезвонит.)

Удерживали бы обстоятельства,— но держать себя самого, уже свободного, рваться — и держать, до чего ж трудно!

Тут надо... тут надо...

Всё, что проплыло у дна тяжёлыми тёмными рыбами, теперь провести по поверхности беленькой парусной лодочкой.

Переговоры *окончены?* — теперь-то переговоры *начать!* Как будто сегодня начать их в первый раз!

И нет фигуры приличнее, чем доверчивый безлукавый Платтен.

Готовить группу — само собой. Да список уже и есть.

(Инесса! Неужели и теперь не поедешь? Чудовищно! С нами — не поедешь? В Россию! — на праздник, на долгожданный? Останешься в этой гнили?..)

Сорок человек — уже не обвинишь в измене. По сорока человекам пятно расплылось — и нет. Конечно, можно бы прихватить и максималистов и разных отдельных отчаянных, тогда б ещё безгрешней. Но... Лучше с собой чужих не брать, лишние свидетели в пути, лишние свидетели каждого шага, а мало ли будет что. Да и в чём тогда успеванье, если своими усильями, в своём вагоне провозить врагов, а в Питере с ними бороться? Нет! Всё до последнего момента — втайне, и день и час отъезда втайне.

Только переговоры — открытые.

Не имея согласия уже в кармане — такие переговоры нельзя начинать: а вдруг не удадутся, что за позор! Но с согласием в кармане — вот тут-то их и вести.

И: как нужна высокая организация во всяком пролетарском деле, в каждом шаге пролетарского дела,— так и в этой поездке. Жестокий обруч. Чтобы какое-нибудь дерьмо в сторону не вывернулось. Чтобы все заодно — и никто не уклонился, не сказал бы никто: а я не участвовал! а я не подозревал, в чём дело!

Поэтому — за подписью каждого. Как присяга, как клятва. Как разбойники целуют нож. Чтоб никто не отбился потом, не кинулся «разоблачать». Ответственность — самая серьёзная, и должны разделить все сорок.

(Неужели Инесса не поедет?..)

И уже — сидел, составлял такое обязательство. Уже набрасывал, на стуле у окна на коленях, в сумерках снежной вьюги, своим почерком косоугончивым, как в настиг за мыслями наискосок листа, в эти дни крупней обычного, так волновался,— набрасывал пункты, какие могли бы тут войти: я подтверждаю... что условия, предложенные германским посольством товарищу Платтену, мне были объявлены... и я подчинился им со всей политической ответственностью перед возможными последствиями...

И вдруг из коридора — приятно-резкий, насмешливый голос Радека. Приехал?! Ну, лучшего гостя и помощника не придумать сейчас! Карл, Карл, здравствуйте, раздевайтесь, ох, за воротник вам насыпалось. Да вы новость нашу — п р е д с т а в л я е т е?!?



Короткий вопль, сверкающие зубы, не убираемые за верхней губой, кучерявый, с ореолом бакенбардов — смеющийся озорник Радек!

Ну-ка-сь, ну-ка-сь, давайте вместе составлять. Такие же твёрдые условия надо подготовить и для Ромберга.

— Вы — им — условия?

— Да. А что?

— Восхитительно!

Такая затея — как раз по Радеку. Он — и советует, он — и шутит, у него и находки и мысли предусмотрительные.

Только вот курить в этой комнате запрещено, сухую трубку сосёт. И... Э-э...

— Владимир Ильич! А как же будет со *мной?* Неужели вы меня способны не взять?

— Да почему же не взять?

— Да ведь если мы пишем — «русские эмигранты», а я — австрийский подданный?

Ах ты, чёрт, австрийский подданный! Ах, чёрт! Привыкли как к своему, только для виду считается — польская партия. Но как же можно Радека не взять? Радека — и не взять!

У Радека выход готов: если будет Платтен с Ромбергом заключать письменный договор (а не будет письменный, так устно ещё легче попутать) — пропустить слово «русские», написать — «политэмигранты», в — о каких же ещё речь? Не додумаются немцы, подмахнут.

Вообще, в такой архиответственный момент, в таком наисерьёзнейшем деле недопустима игра, и германская Ставка — не из тех партнёров, с которым шутят. Но для Радека — незаменимого, ни с кем не сравнимого, фонтана изобретений, острого, едкого, нахального Радека — пожалуй и попробовать?

— Но — согласится ли Платтен вести эти переговоры? И сам — ехать с нами?

— А больше — некому. Значит, согласится.

— А если — Мюнценберг? Потвёрже.

— Вилли? Да ведь он считается немецкий дезертир. Как же ему — с послом? И как через Германию?

— Всё-таки...— постукивал Радек черенком между зубами,— всё-таки, Платтен — партийный секретарь, а какая-то поездка с эмигрантами? А тут начнёт мучиться, не будет ли вреда его Швейцарии?..

— А что — Швейцарии? Ей только лучше.

Нет, Ленин тут не сомневался. Перед Гриммом Платтен заминался, да, отступал, но в главном — пойдёт, раз увидит аргументы. Он — человек рабочий, пролетарская кость. О переговорах же с Парвусом он не знает и никогда не узнает.

А Радеку о Парвусе хоть рассказывай, не рассказывай,— всё понимает сам. Радек даже неприлично преклонён перед Парвусом: в бернских кабачках, по интернациональному долгу как бы ни обязан был его поносить — за отчаянный шаг к шовинистам, за богатство, за тёмные сделки, за нечестность, за дамские истории,— а сам со ртом разинутым, с набившейся пеной в углу губ, видно: ах, и молодец! ах, мне бы так!..

— Про Скларца я ему сказал: восьмигрошовый парень немецкого правительства, я его выгнал! Про Гримма скажу: что-то подозрительное, тормозит отъезд, какие-то гешефты в свою пользу. А мы — больше ждать не можем, революция зовёт! По-пролетарски, открыто, без всяких тайностей — возьмём и обратимся в германское посольство! Возьмётся! — уверен был Ленин.

Да как научить его с Ромбергом говорить? Ведь это ж совсем новый текст. Мол, в России дела принимают опасный *для мира* оборот. Надо вырвать Россию у англо-французских поджигателей войны. Мы конечно приложим ответные усилия к освобождению немецких военнопленных (лови нас потом!..). Но мы должны быть застрахованы от компрометации и гарантированы, что не будет придирок в пути... Готовы ехать в запертых и даже в зашторенных купе. Но должны быть уверены, что вагон не остановит...

Ленин захаатил пространство комнаты и носился по косой — три шага, три шага, три — одну руку за спину, а другой размахивая,— а Радек записывал, пустой трубкой придерживая лист.

С Радеком внакладку находки: для такого шага ещё неплохо бы нам собрать оправдательных подписей от западных социалистов... Социалистов — да, но и ещё бы каких-нибудь безупречных людей...

Да где же таких найти?..

— Ну, например, Ромена Роллана?

Головасто придумано, хорошо!

Так пора и крючок закинуть. Через кого бы закинуть под Роллана?

С приходом Радека облегчились невместимые прожигающие вихри в голове: есть мыслям исход, можно высказать и услышать ответ. Вот... Если начинать демонстративные новые переговоры через Платтена, то ведь надо так же демонстративно порвать с Гриммом?

Да просто — звонко порвать!

— Да чтоб всю вину на него же и свалить!

— Да чтоб и за старое ему наложить, мерзавцу! Пусть попомнит, как отложил швейцарский съезд!

А для этого надо: во-первых, опубликовать все доверительные сведения о его скрытых переговорах!

Эт-то очень всегда ударяет: внезапная публикация доверительного. Оч-чень ошеломляет.

То есть просто вот сейчас, немедленно, подготовить такую публикацию!

— ...И расставить нужные акценты!

— ...И завтра же опубликовать!

Ну, с Радеком и самая напряжённая работа превращается в весёлую игру! За что Ленин особенно Радека любил — за хорошую пристрастность!

Уже сидели и писали: Радек писал, тереби пустую трубку в зубах, в коридор выйти некогда, иногда смеясь и даже подпрыгивая от выражений,— а Ленин сидел сбоку и советовал.

Единственный такой был Радек человек, кому, сидя рядом, Ленин вполне мог передать перо и только посмеиваться. Лучше радекова пера никогда не было во всей большевицкой партии. Луначарский, Богданов, Бухарин — все писали слабей.

— Тут важно, что ещё получится: что именно Швейцария все эти переговоры ведёт и нас выталкивает. А вовсе не мы!

Ах, умный, понимающий, золото!

— Завтра же и опубликуем — у Нобса или...

— Завтра — воскресенье. А вот что! — запрыгали, запрыгали искры за радековскими очками: — Завтра воскресенье, так пошлём с е й ч а с же, немедленно — Гримму телеграмму! В субботу вечером, немедленно, сейчас! — Усмехался и подпрыгивал Радек, как будто его со стула кололо.

И Ленин подпрыгивал от удовольствия.

И говорили, говорили вперебой, поправляли, и Радек тут же записывал:

...Наша партия решила... безоговорочно принять... предложение о проезде через Германию... и тотчас же организовать эту поездку... Мы *абсолютно* не можем отвечать... за дальнейшее промедление... решительно протестуем... и е д е м о д н и!..

— Та-ак! — почесал Радек за ухом,— закатаем ему в листовой шоколад:

— *...Убедительно просим* немедленно договориться...

— Завтра, в швейцарское воскресенье, договориться!.. Да! ещё завтра первое апреля!

— Первое апреля!! — давно так не смеялся Ленин, всё напряжение последних недель выбивалось из его груди сильными, жёсткими, освобождающими толчками.— Вот получит бонбоньерку, центристская сволочь!

...Договориться... и, *если возможно*, з а в т р а же...

— Когда вся Швейцария дрыхнет!

...Сообщить нам решение!.. С благодарностью...

Как на шахматной доске, уже сделав задуманный ход, ещё больше видишь успеха и возможностей, чем рассчитывал перед тем. Но эту усмешку — с 1-м апреля и с воскресным заданием товарищу Гримму — придумал Радек-весельчак!

— А если за воскресенье он не сделает — так в понедельник мы свободны действовать сами!

— Ну, во вторник...

Да что! да ещё лучше придумал Радек:

— Владимир Ильич! А — Мартову? А Мартову мы тем более обязаны написать, он же *инициатор плана!?* — душился Радек от смеха.

— А что же Мартову? — так быстро и Ленин не сообразил.

— Да что мы немедленно *принимаем предложение Гримма о проезде через Германию!* Вот обкакать: что это его предложение!!! На весь мир — е г о! Швейцарские социалисты нас выталкивают! Член швейцарского парламента!

Ну, это совсем было гениально! Ну, Радек! Ну, завоет Гримм! Ну, кинется оправдываться. Да отмываться всегда трудней, чем плюнуть. Надо уметь быстро и в нужный момент плюнуть первым.

— Вспомнит, подлец, ненапечатанную мою брошюру!..

— Но уже поздно. Придётся идти сдавать на Фраумюнстер.

— Да я сбегаю, Владимир Ильич.

— Да уж пойдёмте вместе, разохотились.

Но уж тогда оглядеться, подумать — что ещё? А, вот, Ганецкому в Стокгольм:

— Срочно переведите три тысячи крон на дорожные расходы.

(Тогда уж и Инессе: «...О деньгах не беспокойтесь... Их больше, чем мы думали... Здорово помогают товарищи из Стокгольма... Надеюсь, мы едем вместе с Вами?..»)

И вот что: там залог в кантональном банке за проживание в Швейцарии, 100 франков, нечего баловать лакейскую республику, надо забрать.

Одевались, Ильич — в своё железно-неподъёмное, на ватине, а Радек — в летнее пальтишко, так всю зиму и пробегал, все карманы затолканы книгами.



Трубку набивал, спички готовил.

Ленин вслух:

— Ничего. У Платтена с Ромбергом — какие переговоры? Ромберг вынет из стола — и даст. Но эти несколько дней надо, надо было кинуть шовинистическим харям.

Радек крутился как юноша, лёгкий, удачливый:

— Руки чешутся, язык чешется! — скорей на русский простор, на агитационную работу!

И пропуская Ильича вперёд, уже спичка наготове, в коридоре зажечь:

— В общем так, Владимир Ильич: через шесть месяцев или будем министрами — или будем висеть.

## ДОКУМЕНТЫ — 32

**18 марта, Берлин**

### ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ЧИНОВНИКА М. И. Д. ИЗ ГЕНШТАБА

**...Прежде всего, мы должны избежать компрометации едущих слишком большой предупредительностью с нашей стороны. Очень было бы желательно получить какое-либо заявление швейцарского правительства. Если без такого заявления мы внезапно пошлем эти беспокойные элементы в Швецию, это может быть использовано против нас.**

**18 марта, Берлин**

### ПОМОЩНИК СТАТС-СЕКРЕТАРЯ — ПОСЛУ В БЕРНЕ РОМБЕРГУ

**Шифровано**

**Спешно! Проезд русских революционеров через Германию желателен как можно быстрей, т. к. Антанта уже начала противодействие в Швейцарии. По возможности ускорьте переговоры.**

**20 марта, Копенгаген**

### ГЕРМАНСКИЙ ПОСОЛ В ДАНИИ ГРАФ БРОКДОРФ-РАНТЦАУ — В М. И. Д.

**Совершенно секретно**

**...Мы должны теперь непременно стараться создавать в России наибольший хаос. Для этого избегать всякого внешне-заметного вмешательства в ход русской революции. Но втайне делать все, чтобы углубить противоречия между умеренными и крайними партиями, так как мы весьма заинтересованы в победе последних, ибо тогда переворот будет неизбежен и примет формы, которые сотрясут устои русского государства. ...Поддержка нами крайних элементов — предпочтительнее, ибо таким образом проводится более основательная работа и достигается быстрее результат. По всем прогнозам можно рассчитывать, что месяца за три распад продвинется достаточно, чтобы нашим военным вмешательством гарантировать крушение русской мощи.**

## 656

И по-прежнему жил Волынский запасной батальон в тех же казармах, и учебная команда — на тех же нарах, близко которых подняла бунт,— но это была уже не та жизнь и не тот батальон. Две недели вовсе никаких занятий не было — ни строевых, ни учебных, ни даже в учебной команде. Только с этого понедельника в иных ротах унтеры сами стали выгонять молодых запасников пошагать по улице, да и то час неполный, а больше с них не возьмёшь. А ведь молодые — они ж ничего не смыслят, не умеют,— когда ж учиться будут?

Но в Тимофея Кирпичникова за годы военной службы, а других лет у него как и не было,— вросла строгость. И от этой новой сплошной разольго́ты у него был развал сердца. Что ж это: солдаты уже и от унтеров стали свободны, делаем чего хотим? В казарме грязь — и никого не заставишь убрать как следует? Сидят на нарах босиком, ноги по-татарски, и в карты режутся. А пойдут по городу шаландаться — так на отлучку и разрешения не берут, да без пояса, да шинель внакидку, да ещё хлястик с одного конца отстёгнут и свис,— пришла пиву непереливa! Смотреть на это — глаза лопнут.

В учебной команде, конечно, построже, а уже и тут расслаба.

И начальства, офицеров в батальоне — тоже как не стало. Одних — совсем как вымело, нету, Воронцов-Вельяминов аж с того дня не являлся. Другие если и промелькнут — так стороной и словно не видят всего этого безобразия, не вмешаются. Уж не по команде обратился Кирпичников к штабс-капитану Цурикову: «Ваш высокоблагородие, что-то делать надо?» А он папироской об портсигар постучал, закурил — «Ладно, Кирпичников, постепенно наладится как-нибудь.» Мол, иди в батальонный комитет.

Так Кирпичников там и сам состоит. А головой у них — какой-то образованный, недавно призванный, уже в годах; солдат — ещё никакой, но де в ссылке побывал, в Сибири, и теперь всё солдатам указывает. Да два горлана, из расхлябанных. Теперь Комитет готовит батальонный оркестр — в театре выступать, деньги собирать на похороны жертв.

А молодые прапорщики составили свой офицерский комитет, но в угодье с солдатским.

Так если запасной народ вот этак и дальше — а как же наши на фронте? Вы там пропадайте, а мы тут попрохлаждаемся?

Ну правда, раз ходили на парад на Дворцовую площадь. Принимал сам Командующий. Ничего прошлись. А то стали нахаживать гости сюда, в волынские казармы. Однова пришёл итальянский генерал с офицерами — и уж как руками с табуретки рахмахивал, вот улетит. Пока чего переведут на наш — уж как волынцев нахваливал, революцию соделали,— покачали во дворе того генерала. И два англичанина долговязые как-то приходили, офицер и солдат, оба в громких кованых ботинках, распаренные как из бани. Этот по-русски мал-мала говорил, двигал челюстью на помощь, уж наши смеялись над ними и пособляли. И тоже покачали их. И все они так говорили, что теперь обновлённая армия нанесёт вместе с союзниками последний сокрушительный удар.

Как же она нанесёт, ежели всю армию развинчивают? Если вот уже скоро месяц на охтенском полигоне и стрелять перестали? Если изо всех петербургских запасных, туча немалая, за это время не послали на фронт ни одной маршевой роты? — и обещают впредь не слать! Война там как ни держись — а мы к ней боком? — а паёк прежний. Так так нас Вильгельм и завоюет.

С каждым днём в казармах томче прежнего — без дела, без учения,— так чего мы тут? Изневолю побредёшь и сам по городу. А там — и раненые и калечные бродят, да как с ними разговоришься — так ещё растравней: за что ж мы-то руки-ноги отдавали,— дураки, значит? Надо было раньше охомениться? Или уж теперь эти пусть тоже идут!

До чего дошло: из госпиталя все санитары как один ушли в цирк на митинг, а лежачие больные без помощи.

На тех митингах чего только не галагонят.

А не решись они тогда с Марковым — и не было бы ничего нигде?

(Этим калечным, раненым он про свою заслугу помалкивал, совестно.)

Никто той ночи уже не вспоминал, и о самом Кирпичникове,— а дружно все галдели. Да уже послыхивали и такое по городу: мол «долой войну!» — воевать не будем больше.

Как ж'эт так? — ополоумеешь. Так чтоб войну скорей кончать — на неё и надо идти!

А под Варшавой помнишь, Миша, каки сибирские полки сложили? Да ведь и моя и твоя кровь там осталась. А теперь — всё отдай, и русские города отдай?

И батальонный комитет не туда тянет.

И решили с Мишей Марковым: пусть наш ефрейтор Орлов, кого мы в Совет депутатов избрали,— пусть он там добьётся, чтобы вразумили гарнизон.

И говорили Орлову, а зря: выбрали мы его как здешнего питерского заводского — а он теперь к тем и поворачивает. Заводы-то работать не хотят! — что это, 8-часовой день? а сверхурочно не желают. Снарядов не шлют, ни патронов, никакой амуниции,— что там с нашими будет? это в какую кровь обойдётся?

Орлов только своё: Совет — всё знает и укажет. Подчиняться только Совету и одному Совету!

Как это одному Совету? А — правительству?..

Кому? кому пожаловаться? — тянуло Тимофея. Некому. Один раз повезло: увидел их прежнего студента, который разъяснял им, в посёлке Михаила Архангела: увидел, тот проезжал в открытом зелёном автомобиле с красными спицами. Вот бы кинуться к нему, спросить: как? что? почему же? — так уже пролетел, не догонишь. На ту квартиру сходить, на Невскую сторону? — так то и не его квартира, там его и не найдёшь.

Раньше мог солдат из казармы в город отлучаться только с нарядом. А теперь — ходи когда хочешь. Солдаты ходят и гулять и белый хлеб покупать: хвост баб оттеснят и себе берут. (Хвосты-то за хлебом стоят ещё длинные, чем раньше, и с вечера становятся.)

Не стало в казармах вечерней поверки, так по вечерам все себе полные хозяева: кто опять на нары да в карты, кто друг дружке домашние побылки рассказывать, кто спать. Так ведь столько ночей и по столько часов никакой и медведь не выспит. И тянутся ребята опять в город, свои не аная зачем.

Сегодня пошли и Кирпичников с Марковым.

Город Питер из внезапного дружного восстания опять обращался в свой прежний самостный чужой обычай. В этом городе люди ведь копились не для какой прямой работы, а для весёлой жизни. С утра небось подолгу спят — а потом долго в ночь живут при светах. И когда по улице мельтешат — не понять: за каким делом? или гуляют просто? (В деревне сразу видно: кто с топором пошёл, кто с косой, или навоз вывозит. И в армии: при каком оружии рота пошла или с белыми свёртками в баню.)

Правду говорят: город затейный, что ни шаг, то интейный. Как выбредёшь на Невский у Знаменской площади (откуда всё и началось) — у-у-у-ой! примизна да светлизна, матушки мои! Да сколь огней, да сколь публики, да разодетые как. А на дамочках шляпки какие полястые, а под ними сетки зачем-то, как на рысистых лошадях, а пройдёт мимо — опахнёт тебя каким-то запахом-зельем, какого сроду никогда не нюхано.

Так и в Варшаве всегда дразнило: барская жизнь недоступная. Как они — нам никогда не жить.

Но сейчас Питер малость пооблез. Дворники небрегут — кучи снега невывезенные, лёд из-под ног не сколот,— и семичек, семячек везде налускано. И не носятся с шорохом ломким выездные санки под ковриками или баре с теми дамами в легковых автомобилях. И не стало городовых, а стоит милиция из сопляков. (Говорят: полицейским платили 40 рублей в месяц, а эти 8 рублей за одно дежурство берут, этак бы и мы в охотку.) Барская публика на Невском осталась — а всё ж не ихняя уже улица, и нашего брата не мало.

И трамваев — с резкими звонами, а внутри все огненные и ещё с парами глазков под крышей, там бело-красный, сине-зелёный, жёлто-синий, какой значит номер,— трамваев тоже по вечерам куда меньше стало: служащие работать не хотят, 8 часов — и в сторону. Оттого трамваи набиты невпротолчь, и ещё люди гроздами внавесь на держалках, на ступеньках — тут и солдат не вскочит.

А солдат любит поездить: ему — без платы, и гони хоть через весь город.

Да главная-то жизнь — она не на улицах, она вон там за толстыми стёклами (где побито — уже вставлено), в свету и в тепле. И вот уж там хахакают, зубы не покрывают. И чем позже вечер, когда солдату уже спать,— тем больше их туда, за стёкла, набивается. И сидят за белыми столами, и пьют и лакомятся часами, и всякую всячину едят, чуть де не лягушек, тьфу!

Вот, говорит, равенство: нижнему чину теперь никуда войти не запрещено. А попробуй войди туда к им, в ихнюю обжираловку — на всё нужны денежки. А денег — у смирных волынских унтеров нет.

— Другие хоть спирта где-то разок набрались, напились, а мы с тобой, Миша, всё проворонили.

Толкаются волынцы по тротуару — никто на их знаменитые бескозырки уже и не посмотрит, не вспомянет.

И куда как поздно, а магазины с озарными окнами — торгуют. И чего там на подоконниках за стёклами не выставлено под свет, стой и рассматривай бесплатно. Цветы, цветы через каждый квартал, да каких в России и не растёт сроду,— откуда берут? да середь зимы?

И — фрукты, фрукты тоже. Какие ещё видывал, знаешь: вот это — виноград, вот это — абрикос, а других диковинных и название не ведано, однако ящики ими полные.

Или — финтифлюшки для барских баб, поблестушки, постеклушки на синем бархате выложены, или чего исподнее развешано, глаз не оторвать.

Или, поскольку грамота твоя твёрдая есть, иди и читай вывески: Жорж Борман... Бликен и Робинзон... Брокер... Сиу... Ралле...

Всё — не наши...

А то — кинематографов вывески и театров вывески, с лампочками вкруговую, и на тумбах же то повторено, читай откуда хочешь: «Наша содержанка»... «Цветок зла»... «Казнь женщины»...

Или: «Спальня...» — а дальше буквы не русские.

Или: театр Суворина — «Мотылёк под колесом».

А нам — только отталкиваться плечами, только сапоги тяжёлые переставлять по чужому лёгкому проспекту.

А в деревне, пишут,— ни керосина, ни мыла, ни гвоздей, ни соли.

А калек войны — и никому не жаль, кроме сродственников.

А и нас с тобой покалечат — так и тоже.

А в окопах — там сидят, сидят во тьме и сырости.

И теперь — всё немцу отдадим?

— И как это мы, Тимофей, решились? Как это нас понесло в то утро?

Самим дивно.

— Давно бы в петле жизнь кончили.

1977—1986
Кавендиш, Вермонт

## *Елена Ушакова*

* * *

О, как мне жаль, как жаль хотя бы этого Кулышева
И вон ту женщину, что тащит по переулку почти волоком
Свою сумку,— так жалеют неизвестного умершего,
По которому, как по тебе, звонит колокол.

Так жалел Симор, помните, свою глупую тещу,
Оттого что свет поэзии не дал ей силы,
Не проник в бедной головы темную рощу,
Пролилась мимо гармония, не задела, не усыновила.

Не говоря уже о бедолагах с глазами кроликов,
Знаете ли вы о печальной участи графомана?
Жалеть, жалеть всех глупцов и скотов — сколько б их
Ни было! Только они несчастны, сказал Лунин. Как странно!

Неужели в этот список, тайный словник плачевный,
Свободно входит вместе с Вавиловым товарищ Шлыков
И А. А. Жданов идет вслед за Анной Андреевной?
Что есть беда, Господи, а что — улика?

В этой путанице разобраться не просто.
Ах, как вы правы, старые эстонки [1], наверно!
Вина ищет пристанища, сторонится погоста
И льнет к тому, хлипкая, кому отпущено безмерно.

* * *

Почему цифры запоминаются легко по сравнению со словами?
Слово — Психея, летает, дышит, меняется, оставляет след,
То призраком проскользнет, то вихрем взмоет, цунами;
Вот оно, вот оно! То вдруг его нет.

Цифра требует к своей плоской персоне особого внимания,
Ее вытаскивает из чащи событий хоботок
Цепкого, заинтересованного, спортивно воспитанного сознания,
Только так от нее может быть прок.

И когда я силюсь вспомнить смысл сообщения или доклада,
Вижу голубые глаза докладчика и «горячую лобную кость»;

---

[1] «Старые эстонки» — стихотворение Анненского.

Елена Ушакова — поэт. Публиковалась в журналах «Радуга», «Нева», «Синтаксис», «Знамя» и альманахе «Петрополь». Живет в Ленинграде.



Знаю, мысль не положишь в карман и не вынешь, ей надо
Захотеть посетить тебя, сказано: мысль как гость.

Вижу, вижу, как ты стоишь у окна вагона — на юг дорога,
Держась за перекладину, не успевая переводить взгляд,
Белая рубашка, ее треплет ночной теплый ветер из Таганрога,
Что-то сказал, что? — не помню, ты весел, нет, рад.

Жизнь, ты — сон, когда не знаешь, что спишь, сновидение,
Цветные картинки яркие, но слегка запотел объектив,
Все перепуталось, связано, сцеплено, как в стихотворении,
Не всегда даже знаю, кто умер, кто жив.

* * *

Что же так чужая смерть нас пугает
Посторонняя? Ведь все умрем, последнего позора
Не избежать и здоровенному покуда бугаю.
Всех обнимет, запрячет, никто не останется без призора.

Я звоню в парикмахерскую, чтобы
Узнать, в какую смену работает Попова Галя:
Во вторник — утром, а в среду вечером? Попробуй
Тогда успеть! А если наоборот, то тоже едва ли.

Набираю номер — бодрый голос вещает об урожае.
Ура, дозвонилась! Мне говорят: «Нет ее».— Молчанье.
«А когда...» — и ненужный вопрос опережая:
«Умерла она, первого похоронили... Да, внезапно, случайно».

Этого не может быть, потому что так не бывает!
Жизнь в борьбе со всеми страхами, с самой смертью, казалось,
На нее, как на самую надежную сваю,
На грубоватое ее лихое спокойствие опиралась.

Ничему не удивилась, все приняла, ничего не оттолкнула Галя Попова.
Без нее не обойтись, и нет другого выхода, как создать,
Экстренно сделать снова
Такую же. Такую же? А сын, Костя? А парализованная мать?

А морозные узоры на стеклах и радиопередачи?
Будут, будут завтра, как сегодня.
К чужой смерти мы как-то не готовы. Иначе
Со своей — всегда с нами, почти родня, у, сводня!

* * *

Старый китайский коврик над маминым диваном,
Сколько себя — столько его помню,
Висел надо мной все детство, отрочество и юность, не стану
Всего вспоминать, бог с тобою, мой дух бездомный!

Китаянка над ним трудилась, пекинская ткачиха,
Черные бусинки плескались в раскосых глазах-полосках,
О, нежные сумерки, щекой ворс трогаю, так тихо-тихо
И спокойно, как до рождения,— спасибо таблетке крохотной, плоской.

Жгучая рана исчезла куда-то, укатила,
Словно на поезде уехала — все дальше, мельче, о, подольше,
Прошу, покачай, мягкотелая милосердная сила —
Неподвижная, ласковая, piano, dolce...

Ошибка произошла, ошибка! Когда? Давно! Прежде,
Чем я успела задвигаться в байковых тряпицах;
До первого испуга, пока сладко сомкнуты вежды,
До света, до первого звука если б можно было остановиться!

А потом уже поздно, поздно, потому что «нет спасения
От любви и страха», от любви и страха.
Тщетны адвокатские Твои приемы: растения
Многоцветные и многострунные увещевания Баха.

## К АКЦЕНТНОЙ РЕЧИ

Этот волглого ритма возвратный, упругий порыв,
Эти волны слогов, теплых стоп череда и приливы!
Как бы ни был расслаблен ход мысли и сладко ленив
Или горько подавлен, как будто невольно игривы
Наши лучшие чувства, размер их со дна достает
Удивленной души, принуждая к роенью и строю,—
Так, наверное, в школе военной берут в оборот,
Ставят сонных и слабых насильно в затылок герою.
Есть волшебная прелесть в звучанье! Но все же запрет и засов,
Не впускающий штатскую речь,— как акцент иностранный,
Потому что приструненный голос души, ее зов
Слишком, что ль, угловат, а сама она слишком туманна.
И сказаться без слов, как хотел того Фет, норовит,
Обнаружить младенческие и интимные жесты,
Не сгибается, гибкая, нет, презирает кульбит
Переносов, цезур, главным образом, строки ей тесны.
Ее искренность терпит какой-то неясный урон,
Или чувства застенчивые вдруг становятся резки? —
Вот и сносит тихонько стопу, разрушает заслон
И ручонку протискивает в стиховые отрезки,
Хочет, глупая, слиться с приватным акцентным стихом.
Как детей обучала французскому строгая Долли,
Непосредственностью поступаясь,— ужель волшебством
Пренебречь? — ради все-таки лживой рифмованной боли!

* * *

«А что до любовниц...» — чужими словами воспользовавшись, ты сказал,
Запнувшись на миг,— я успела подумать, что кто-то
И горько таился, и втайне, наверное, горевал,—
Как много вмещает возможностей крошечный интервал...—
Скорее всего, ухмылялся молодцевато без тени заботы.
Затем я подумала, что... есть такие названия, имена,
Которые в поисках вечных находятся и не находят предмета.
«Любовница» — кто это? Предательница-жена
Плохая, неверная? Но и другое возможно: одна
Из многих, не слишком ценимых, а так — мимоходом пригрета.
И та, и другая, и есть еще третья, но тоже плачевная роль.
Все, все унизительны... Женщиной быть разве можно?
Поэт восхищался: быть женщиной — это геройство и шаг! О, конечно, но соль
Восторженного восклицания в чем-то другом, где-то рядом, как соль
И соль-диез, взятый невольно, задетый неосторожно.

## СТАРЫЙ КВАРТАЛ

Почему, почему, если знаешь, как их называть,
На таблички не глядя, лишь чувствуя с почвой сцепленье
Всей стопой, как Антей, новых сил набираясь опять,
Прозревая сквозь стены весь хаос и хитросплетенья
Четырехподворотных и трехподворотных двора,
Будто в птичьем полете все это держа на ладони
Городком в табакерке — как странно изрезан сей кров! —
Чуть жалея, что просто идешь — не бежишь от погони,—
Так легко здесь забиться в межъящичный лаз или щель,
Раствориться в парах, что от люков ползут неустанно,
И не верить в реальность свою сквозь пурги карусель,
Не своим языком что-то шарфу шепча покаянно...

* * *

Все, что скажешь мне, скажешь — как странно! — не мне,
А кому-то другому — себе ли, жене,
Другу детства — побыть бы во времени оном!
Как сквозной обращенности липок синдром,
Но привычному уху давно нипочем
Эти странности, ставшие общим законом.

Вот и я говорю не тебе, не ему,
Я давно говорю неизвестно кому —
Не себе, но, наверное, даже не Богу...
Ненаправлена речь, и разомкнута связь,
Что ж так вьется мучительно плотная вязь
Безупречного и бесполезного слога?..

* * *

Куда меня везет «двенадцатый» трамвай?
Опомнюсь, оглянусь — к Некрасовскому рынку...
Знакомые места. Как в юность ни играй,
Совсем другой мотив тягучая волынка
Выводит... Мхом оброс и ракушкой мешок
Шотландского шитья, наполненный дыханьем.
Ну что там — липов цвет набрать на посошок?
А может быть, сирень? С пугающим стараньем
Волынщик мой гудит. Все ниже, ниже звук,
Все тоньше, тоньше нить, но все острее зренье
Привязчивой души, свой обошедшей круг,
Но неспособной жить, как зверь, вне мест рожденья...

---

Елена Васильевна Елагина — поэт. Первая публикация — в журнале «Нева» (1990). Работает инженером. Живет в Ленинграде.

*Анатолий Михайлов*

# Два рассказа

## ПОСЛЕДНИЙ МАСТЕР

Хочу шептать любому на ухо
Слова давнишнего прибоя,
А не хочу закрыться наглухо
И пренебречь судьбой любою.

*В. Шаламов*

Я вытащил из кармана квитанцию и пробежался глазами по кнопкам. Как-то все-таки странно. Неужели в адресном столе ошиблись? А может, я перепутал номер дома. Надо спуститься вниз и проверить.

Оказывается, не перепутал.

Вернувшись обратно, я еще раз перечитал все фамилии и, прежде чем позвонить, задумался.

У каждого человека, если у него нет отдельной жилплощади, среди наклеенных с фамилиями полосок должна радовать глаз хотя бы своя персональная кнопка. А здесь, мало того, что коммуналка. Еще и без опознавательного знака.

Придется звонить наугад — кто-нибудь да откроет.

С той стороны спросили:

— Кто там? — спрашивала женщина.

Я сказал:

— Простите... Здесь живет Варлам Тихонович Шаламов?

За дверью ничего не ответили. Я стоял и ждал...

Я решил нажать на другую кнопку, может, другая окажется поудачливее, но в это время звякнула цепочка, и за спиной у женщины я увидел старика. Он двигался из глубины коридора какой-то непонятной поступью.

— К вам пришли! — повернувшись на шаги, резко выкрикнула женщина, и я заметил, что каждая выходящая в коридор дверь при этом выкрике приоткрылась и каждая со своим косяком образовала щель, из которой кто-то выглядывал.

Нет, наверно, мне все это померещилось. И это совсем не Варлам Тихонович. Просто я не туда попал. Но Варлам Тихонович приблизился и не оставил мне никакого шанса.

(Недавно в журнале «Юность» я прочитал про Варлама Тихоновича такие строчки: «У него была легкая походка. Это казалось невероятным для человека едва ли не двухметрового роста, с могучим разворотом плеч, с той совершенно богатырской статью, которой природа все реже наделяет людей; но в этот раз она щедра была не понапрасну — путь, который выпал Варламу Тихоновичу Шаламову, был неимоверно тяжел, порою трагичен». И это мне тоже показалось невероятным.)

«Могучий разворот плеч» был как-то бесцеремонно отторгнут от туловища, точно поникший на стволе сдвинутый каркас переломанных ветвей, и каждое плечо ходило ходуном независимо от рук, как будто это не руки, а крылья, которые принадлежат птице, а птицу только что подстрелили. И это было видно даже при свете коридорной лампочки.

— Варлам Тихонович...— выдавил я наконец, даже не выдавил, а скорее выдохнул — и замолчал. Я уже предчувствовал, что ничего хорошего меня в этой квартире не ожидает.

Мы прошли с ним по коридору, и, пока мы с ним шли, я обратил внимание, что из каждой щели на нас продолжают смотреть.

Он вошел в комнату первым, а я со своим нелепым магнитофоном следом за ним. Резко остановившись, он как-то неожиданно повернулся. И тут я его разглядел уже окончательно.

На Варламе Тихоновиче висело неопределенного цвета рубище, как будто на кресте, что-то вроде полотняного костюма; такие костюмы выделяет производство на похороны одиночек. Но дело даже не в костюме, а в самом лице.

Нижняя губа по отношению к верхней была смещена, а выжидательный наклон головы, словно к чему-то внимательно прислушивающейся, придавал всему лицу выражение какой-то застывшей тревоги. Точно когда-то его свело судорогой, да так и не отпустило.

(На фотографии в книжке Варлам Тихонович совсем не такой. Конечно, все это есть, но где-то там, внутри. А наружу лишь только взгляд. Не то чтобы подавленный или страдальческий. А просто отрешенный. Но зато в самую душу.)

Вокруг, рассыпанные в поэтическом беспорядке, молчаливо белели листы, наверно, черновики; откуда-то из угла кругляшками клавиш проступала пишущая машинка, а возле нее, отбрасывая тень, горела настольная лампа.

Варлам Тихонович сделал по направлению ко мне шаг и произнес:

— Вы ка-а-а мне? — При этих словах он как-то весь напрягся, и голова у него мало того что затряслась, еще и потянулась вверх подбородком. И туловище снова задергалось. И даже когда он замолчал, оно продолжало раскачиваться.

Я плохо соображал, что делаю, но чувствовал, что каждое мое слово куда-то меня проваливает.

— Варлам Тихонович...— снова начал я,— я на ваши стихи...

— Что?! — закричал Варлам Тихонович и приставил дрожащую ладонь к своему уху. Лицо у него в этот момент было хоть и перекошенное, но доброе. Наверно, он меня принял за водопроводчика с коробкой для инструмента. И только тут я окончательно понял, что, в довершение ко всему, Варлам Тихонович еще и глухой.

Так ничего и не придумав, я прокричал чуть ли не в самое его ухо:

— Я на ваши стихи написал песни...

По его выпученным глазам я вдруг сообразил, что он меня услышал, а может, разобрал по губам. Лицо у него не то чтобы перекосило, оно ведь и так уже было перекошено до предела, а как-то теперь перекрутило. Он опять весь затрясся и несколько раз со все еще дрожащей возле уха ладонью прокричал слово «что», и каждый раз все громче и громче:

— Что? что?! что?!! Песни??!!

И тут я почувствовал, что он уже еле сдерживается, чтобы меня не ударить.

Я втянул голову в плечи и, лепеча: «Варлам Тихонович... Варлам Тихонович...» — стал от него пятиться.

А он рывком распахнул дверь и как-то истерически закричал:

— Только через Союз писателей!!! Только через Союз писателей!!!

Миновав коридор, мы выскочили на лестничную клетку. Он — чуть ли меня не подталкивая и кандыбая, все продолжая выкрикивать: «Только через Союз писателей!!! Только через Союз писателей!!!», а я — чуть ли не прикрыв голову руками и все продолжая лепетать: «Варлам Тихонович... Варлам Тихонович...»

Бросившись из подъезда вон, я поплелся к троллейбусной остановке. Возле входа в продовольственный шевелили мозгами алкаши. По улице Горького, все прибывая и прибывая из подземных переходов, валила толпа...

А там, наверху, где-то в стороне, среди тараканов и клопов (наверно, когда мы выскакивали, снова в каждой щели затаили дыхание), остался тянуть лямку и умирать удивительный поэт и последний российский мастер короткого рассказа.

---

Михайлов Анатолий Григорьевич (род. в 1940 г.) — прозаик, печатался в журналах и газетах; в 1990 г. выпустил сборник рассказов «Ложный сустав» (Л., «Художественная литература»). Живет в Ленинграде.

## НЕБЕСНЫЙ ГОСТЬ

Ни страны, ни погоста
Не хочу выбирать.
На Васильевский остров
Я приду умирать...
*И. Бродский*

Когда я появился в Ленинграде, меня озадачило название одной улицы.

Неужели в честь Иосифа? Но оказалось, что в честь Исаака. Того самого, что когда-то Иосифа рисовал. Но только совсем не того. А того, что мне нужен, я разыскал через городское справочное бюро. И оказалось, что он прописан на Литейном, примерно в десяти минутах от Комитета государственной безопасности; если пешком. А если на машине, то совсем ерунда. И это очень удобно: не надо трястись через весь город.

Зимой 72-го года я решил поменять место жительства. В Москве у меня была в новостройках комната. И всего одна соседка. А в Ленинграде соседей прибавилось. Зато на Невском проспекте.

Если сравнить наши квартиры, мою и его, то по количеству звонков преимущество будет, пожалуй, на стороне Иосифа. Я отыскал его фамилию и позвонил, и мне открыла уже немолодая женщина, наверно, его мама. Перед тем как открывать, она могла бы спросить «Кто там?» или, по крайней мере, поглядеть через цепочку в щель. У нас в квартире так бы поступил каждый. Но она отворила сразу, не совсем, правда, решительно и, мне даже показалось, через силу, и тут же все собой загородила.

Я сказал:

— Здравствуйте. Мне нужен Иосиф... Только вы, пожалуйста, не волнуйтесь... Я на стихи Иосифа подобрал музыку... У меня магнитофон... и я хочу, чтобы Иосиф послушал...

Она на меня внимательно посмотрела и сказала:

— Иосифа сейчас нет дома. Он ушел. Но я вам могу дать телефон.

— А если я приду еще... попозже...

Она снова забеспокоилась и, увеличив расстояние между моим ботинком и косяком, торопливо возразила:

— Нет, нет. Не надо. Вы лучше позвоните. Иосиф скоро вернется, и я ему передам.

Я ее успокоил:

— Конечно, конечно... давайте я запишу...— и, порывшись в кармане, вытащил авторучку. Я хотел ей еще что-нибудь такое сказать. Но она уже закрыла дверь, и я спустился по лестнице вниз.

Вечером я позвонил, и мне Иосифа позвали. От волнения у меня заплетался язык.

Я спросил:

— Это Иосиф?

Он ответил:

— Да. Это Иосиф.

Я сказал:

— Здравствуйте.

Он мне тоже сказал:

— Здравствуйте!

Я немного помолчал и испугался, что сейчас он повесит трубку. Но он не повесил. Надо было что-то говорить, и я наконец решился:

— Я вас разыскал через адресный стол... я на ваши стихотворения... у меня песни... и я хочу, чтобы вы их послушали. Может, вам что-нибудь понравится...

В трубке продолжали молчать, и теперь я уже испугался, что нас разъединили.

И вдруг он предложил:

— Хорошо. Я к вам сегодня приду. Вы где живете?

Это было так неожиданно, что я сразу даже и не понял, о чем он спрашивает. И тут меня как будто прорвало:



— Между Суворовским и Дегтярной... знаете, баня...— я уже чуть ли не кричал,— Невский, сто тридцать четыре... квартира один... если смотреть на Лавру, то...

Он меня прервал:

— Я знаю эти дома. Я к вам приду... сейчас сколько... семь... ну, давайте в восемь.

...Он уже повесил трубку, а я все еще стоял и слушал гудки. Сейчас ко мне в гости придет Иосиф Бродский.

Из комнаты напротив вылезла старуха и заперла свою комнату на ключ. Я думал, она уходит. Но она ведь без пальто. А она пошла на кухню. А может, в туалет. В это время входная дверь отворилась, и в квартиру вошел дядя Миша. Сразу было видно, что дядя Миша косой. У нас еще, помимо дяди Миши, есть просто Мишка. Он тоже косой. Он сейчас сидит в майке на кухне и смотрит на свою жену. А его жена вместе с остальными стоит возле своей плиты и нервничает.

И вдруг я вспомнил, что я не сказал Иосифу свою фамилию, и теперь, когда он придет, то на какую ему нажимать кнопку?

Надо его встретить. Но как же я его узнаю? Ведь я его ни разу не видел. Я нахлобучил ушанку и посмотрел на себя в зеркало. Ушанка вся какая-то облезлая. Может, опустить уши?

Нужно чем-нибудь его угостить.

Вывернув карманы, я несколько раз все пересчитал, но больше двух рублей так и не набралось. Хватит на самый паршивый портвейн. А чем же закусывать?

Я открыл холодильник и увидел кусок колбасы, он лежал прямо на решетке. Граммов на восемьдесят. А в скомканной бумажке — граммов пятьдесят масла. И больше ничего. Хлеба тоже почти не осталось. Какие-то огрызки. Но зато целая пачка чаю. Я решил угостить Иосифа чаем.

Сначала я спустился в кондитерский: а вдруг вишневое варенье? Но вишневого, как всегда, не оказалось. Хорошо еще, было клюквенное.

Потом я сбегал напротив в булочную и купил за двадцать две копейки халу, может, Иосиф любит намазывать варенье на булку. Оставалось еще тридцать восемь копеек.

Потом заскочил в продовольственный и пробежался глазами по прилавкам. В винно-водочном отделе стояли алкаши и выпрашивали у продавщицы бутылку. Водку она уже спрятала, а «бормотуха» кончилась. Куплю бутылку лимонада, а вдруг Иосифу захочется.

Осталось одиннадцать копеек, но на них покупать было нечего. Я возвратился к себе к комнату и поглядел на будильник. Уже половина восьмого.

Банку с вареньем я поставил на стол, а лимонад в холодильник. Потом подумал и вытащил. Пускай лучше постоит на подоконнике. В холодильнике он сделается ледяной, и у Иосифа может заболеть горло.

Я снова оделся и вышел на лестницу. Я решил Иосифа подсторожить возле входа в подъезд.

С потолка вестибюля в меня прицелились стрелами произведения искусства. На Невском проспекте каждый дом напоминает дворец.

Я размечтался и прозевал: в подъезд кто-то вошел. Опомнившись, я бросился вслед. Тот, что вошел в подъезд, прислонился к батарее и вытащил из кармана бутылку. Нет. Это не Бродский.

На улице я посмотрел на часы. Уже восемь. Немного постоял и решил снова Иосифу позвонить. Вдруг он еще дома, и тогда я ему скажу свою фамилию.

Я опять поднялся и набрал номер. Но было занято. Я позвонил еще, и снова было занято. Соседка, что напротив, возвратилась из кухни и, не говоря ни слова, подошла и уставилась. Я понял, что ей нужен телефон. Я повесил трубку и опять вернулся в комнату.

И вдруг я сообразил, что Иосиф, может, уже стоит на лестничной клетке и не знает, что же ему делать дальше.

Я выскочил в коридор, и в это время во входной двери зашебуршал ключ и в квартиру вошла старуха, уже другая, еще старше той, что говорила по телефону. И вслед за старухой вошел Бродский, он, и правда, уже давно стоял возле перил и все ждал, когда же наконец появится кто-нибудь из нашей квартиры.

Я к нему подбежал и остановился. Он тоже остановился. Я хотел пожать ему руку, но первым постеснялся. Он тоже смутился и мне сам руки не протянул. Старуха проползла к себе.

Когда мы вошли с ним в комнату, то он как-то одним махом скинул с себя пальто и бросил его прямо на холодильник. Ботинки у него были старые, рублей за двенадцать, а кепка примерно за два пятьдесят. Зато пальтишко приличное, похоже, импортное. Кепку он тоже бросил, потом придвинул стул, сел, повернулся к стенке, оперся скулой о ладонь и застыл. Мне у него запомнились густые брови и уже лысеющая голова. Я думал, что он более хрупкого телосложения.

Больше всего я боялся, что у меня сломается магнитофон; я песни напел в Москве у друга, а своего магнитофона у меня еще пока нет. Поэтому пришлось взять напрокат. Сначала мне его не давали — все требовали паспорт, а паспорт у меня на прописке, ведь я же только поменялся. Тогда я им вытащил военный билет. Но мне все равно не дали: чтобы получить в Ленинграде что-нибудь напрокат, надо быть в Ленинграде прописанным. Но я ведь уже ленинградец, у меня же обменный ордер! Но мне не дали, и все. Потому что я в Ленинграде не прописан. Пришлось ставить бутылку соседу. И он вместе со мной пошел и взял.

Я включил магнитофон и на магнитофоне запел. Бродский даже не повернулся. Он все так же сидел — подбородком на ладони и смотрел в стенку.

«На прощанье — ни звука,— пел я на магнитофоне,— граммофон за стеной...»

Вдруг он как будто очнулся и спросил:

— Откуда у вас этот стих?

Я ответил:

— Из вашей книги.— Сразу было видно, что Бродского это заинтересовало. Не что я пою, а что у меня его книга.

Я уточнил:

— Она не у меня, а в Москве.— Магнитофон я, пока мы разговаривали, выключил.

Он поинтересовался:

— А в каком переплете, в мягком?

Я задумался:

— Да вообще-то не книга... просто перепечатано...

Он успокоился и снова повернулся к стенке.

Я на него посмотрел и обратил внимание, что хотя он со мной сейчас и разговаривает, но сам где-то совсем не здесь. Не то чтобы витает, а, наоборот, сосредоточен на какой-то мысли. Я не стал его отвлекать и опять включил магнитофон.

И вдруг я вспомнил, что его надо угостить. Я снова нажал на клавишу и спросил:

— Хотите варенье с чаем? Не любите? Клюквенное.— И повернулся к банке с вареньем.

Он покачал головой:

— Вы знаете, не хочется. Спасибо.

Я предложил:

— А, может быть, лимонаду?

Он оживился:

— Вот лимонад — это другое дело.

Я подошел к подоконнику и отвернул занавеску. Достал из шкафа стакан и, открыв бутылку, протянул стакан Бродскому. Бродский со стаканом в руке запрокинул голову.

Он пил с наслаждением. Он пил, а я на него смотрел. Мне было приятно, что стаканом лимонада я ему доставил такую радость. Гораздо большую, чем своим пением.

Я спросил:

— Ну, как вам песни, не нравятся?

Он ответил:

— Я не совсем это понимаю. Гитара...— он пожал плечами,— какая-то цыганщина. Но, знаете, лезть на стенку не хочется.

Я не понял:

— Как на стенку?



Он объяснил:

— Однажды еду в электричке и вдруг слышу: «Пилигримы»... Орут на весь вагон... Чуть на ходу не выпрыгнул...

Я удивился:

— Так ведь это же Клячкин! Его музыка...

Бродский насупился:

— Я этому Клячкину когда-нибудь надену гитару на голову...

Я даже растерялся: и думал, что они с Клячкиным чуть ли не кореша. На пару писали «Шествие». Бродский — слова, а Клячкин — музыку. Как Римский-Корсаков с Пушкиным. Недаром же у Клячкина есть песенка, где он поет: «Профессор Римский-Корсаков, вертясь на пьедестале, никак не мог подняться, чтоб руку мне пожать...»

Бродский признался:

— Мне нравится Высоцкий. Больше никто.

Интересно: ВЫСОЦКИЙ и БРОДСКИЙ. Земля и небо.

Я снова включил магнитофон. Бродский протянул мне пустой стакан и опять уставился в стенку. Я пел.

В конце одной песни он меня прервал. Он предупредил:

— Знаете, я вам не советую петь эти строки. Они касаются только меня. У вас могут быть неприятности.

(Песня заканчивалась так: «Слава Богу, что я на земле без отчизны остался».)

Я согласился:

— Да...— и замолчал. Потом подумал и добавил:

— Если вам все это не нравится, то я эти песни никому петь не буду. Но я все равно от них не откажусь. Потому что они мне дороги. Я буду их петь сам себе.

Он улыбнулся:

— Ну, что вы. Пожалуйста, пойте кому угодно. Просто я хочу сказать, что я ничего не понимаю в гитаре. И, к тому же, у меня нет магнитофона.

Я заметил:

— А может, у кого-нибудь есть из друзей...

Он отрезал:

— У меня нет друзей.

Я задумался:

— А...

Бродский вдруг спросил:

— Вы с какого года?

Я совсем этого не ожидал и как-то засмущался:

— С сорокового.

Он заинтересовался:

— А месяца?

Я уточнил:

— С июля.

Он улыбнулся:

— А я с мая.

Оказывается, мы с ним ровесники.

Он снова поинтересовался:

— А чем занимаетесь?

Я признался:

— Пока ничем. Вот поменялся и возвращаюсь на Север. В Магадан.

— В Магадан? — Бродский удивился.— И вам туда хочется?

Я опять его удивил:

— Да. Мне туда хочется.

...Мы все дослушали, и он встал. Ему уже понадобилось уйти. Мне было жалко с ним расставаться, и я спросил:

— А вы не могли бы мне дать еще какие-нибудь ваши стихи, меня бы это очень поддержало.

Он снова улыбнулся:

— Почему же? Можно.— Потом посмотрел на мою пишущую машинку и задумался.

Я тоже встал. Бродский уже одевался. Он надел кепку и теперь напяливал пальто. Я заметил, что брюки у него тоже старые, даже не брюки, а потрепанные джинсы или что-то вроде этого. После я слышал, что он везде носил кепку, в которой отбывал за «тунеядство» срок. Как талисман. Он в ней работал на тракторе. Помощником тракториста. «Сельскохозяйственный рабочий Бродский» — как он о себе написал в одном из своих стихотворений. Наверно, это как раз и была та самая кепкв.

Я тоже оделся, и мы с ним вышли. Человек, которого я чуть было не принял за Бродского, уже набрался и в задумчивой позе дремал на батарее.

И вдруг Бродский предложил:

— Позвоните мне недели через две, и я вам подберу. Можете перепечатать.

На прощание я хотел ему сказать что-нибудь такое значительное, но так ничего и не придумал.

...И вот он уже ушел в своем импортном пальтишке и в своей исторической кепочке, смешался с толпой и растворился.

Я немного постоял, и меня потянуло на Васильевский остров. Я еще там ни разу не был.

Я дошел до метро и проехал две остановки. Поднялся по эскалатору и вылез.

Я думал, Васильевский остров синий. Как у Бродского: «...тной фасад темно-синий я в потемках найду...» А он какой-то бесцветный. Потемки-то, конечно, были, а вот синего фасада нет. И никакого острова. Обыкновенные трамваи. Да грязно-серый снег.

Через неделю я улетел в Магадан, а Бродский через полгода совсем в другом направлении. Чтобы больше никогда не появиться в этих местах.

# Лев Лосев

## КРОВЬ

Кто Кавказский хребет перевалит служить.
Быть тому с той поры дворянином.
*Случевский*

Ходу тебе, продвижения нет
в мире равнинном.
Перевалил за Кавказский хребет —
стал дворянином.

Как хорошо государь рассудил:
боец не грубеет,
ежели крови своей не щадил,
кровь голубеет.

Стали бойцы за суровый поход
сталью из жести.
Входит война в генетический код
кодексом чести.

Стычки в горах распрямили твой взгляд,
рабское выжгли
(только вот жаль, что живьем из засад
все-то не вышли).

День посчитали нам за три денька
правильно, право,
и для потомства вошла в ДНК
русская слава.

Наша сивуха, пройдя змеевик
Военно-Грузинский,
облагородилась, стала навек
Божьей росинкой.

## УНИЖЕНИЕ ГЕНИЯ

Вручи мне Ювеналов бич!
*Пушкин*

Над белой бумагой потея,
перо изгрызая на треть,
все мучаясь, как бы Фаддея
еще побольнее поддеть:
«Жена у тебя потаскушка,
и хуже ты даже жида!..»
Фаддею и слушать-то скушно,
с Фаддея что с гуся вода.

Фаддей Венедиктыч Булгарин
съел гуся, что дивно изжарен,
засим накропал без затей
статью «О прекрасном» Фаддей,
на чижика в клеточке дунул,
в уборной слегкаповонял,
а там заодно и обдумал
он твой некролог, Ювенал.

## ПОДРАЖАНИЕ

Как ты там смертника ни прихорашивай,
осенью он одинок.
Бьется на ленте солдатской оранжевой
жалкий его орденок.
За гимнастерку ее беззащитную
жалко осину в лесу.
Что-то чужую я струнку пощипываю,
что-то чужое несу.

Ах, подражание! Вы не припомните,
это откуда, с кого?
А отражение дерева в омуте —
тоже, считай, воровство?
А отражение есть подражание,
в мрак погруженье ветвей.
Так подражает осине дрожание
красной аорты моей.

---

Лев Лосев родился и вырос в Ленинграде, живет в США. Подробнее о поэте см.: «Звезда», 1990, № 9. Стихи Льва Лосева печатаются нами по тексту журнала «Континент» (№ 59).

## 18 ВЕК

Восемнадцатый век, что свинья в парике.
Проплывает бардак золотой по реке,
а в атласной каюте Фелица
захотела пошевелиться.
Офицер, приглашенный для ловли блохи,
вдруг учуял, что силу теряют духи,
заглушавшие запахи тела,
завозилась мать, запыхтела.

Восемнадцатый век проплывает, проплыл,
лишь свои декорации кой-где забыл,
что разлезлись под натиском прущей
русской зелени дикорастущей.
Видны волглые избы, часовня, паром.
Все построено грубо, простым топором.
Накарябан в тетради гусиным пером
стих занозистый, сердце скребущий.

## НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ О КАРЛЕ И КЛАРЕ

Кораллы
украв у Клары, скрылся, сбрив усы
nach Osten. Что-то врал. Над ним смеялись.
Он русским продал трубку и часы
с кукушкой. Но часы тотчас сломались.
А в лиственных лесах дуплистых губ
не счесть, и нашептаться доелось им,
что обрусел немецкий лесоруб,
запил, запел, топор на печь забросил.

Кларнет
украв у Карла, как-то смеху для,
она его тотчас куда-то дела,
но дева готская уберегла футляр,
его порою открывала дева.
Шли облака кудряво, кучево,
с востока, наступая неуклонно,
но снег не шел, не шел и ничего
не падало в коралловое лоно.

Mein Gott!
Вот густорозовый какой коловорот,
скороговорок вороватый табор,
фольклорных оговорок à la Freud,
любви, разлуки, музыки, метафор!

## ЗВУКОПОДРАЖАНИЕ

Я говорю: ах, минута! —
т. е. я говорю: М, Н, Т —
скомканно, скрученно, гнуто
там, в тесноте, в темноте,
в мокрых, натруженных, красных
мышцах (поди перечисль!)
бульканьем, скрипом согласных
обозначается мысль.

Кабы я маг-семиотик
был, отрешился б от них.

Я бы себе самолетик
сделал из гласных одних:
А — как рогулька штурвала,
И — исхитрился, взлетел,
У — унесло, оторвало
от притяжения тел.

Бездны не чаю, но чую:
О — озаряет чело.
Гибелью обозначаю
все или ничего.

## PRO DOMO SUA [1]

Деревянный, лубяной
да последний, ледяной,
эй, домишки, как делишки
за железною стеной?
К лесу черному лицом
деревянный дом с крыльцом,
деревянный, с газом, с ванной,
с важной нежитью-жильцом.
К лесу черному спиной
бедный домик лубяной.
Ах, дух щаный, стол дощаный,
поговорки с глубиной!
Мое сердце в ледяном.
Ночью в нем светло как днем.
А убранства — лишь пространство,
холод, свет и метроном.
Ломкий лед галиматьи.
Тонкий звон со дна бадьи.
Выплывают ледяные
Лешки Лосева ладьи.

*1988*

[1] В защиту себя, о себе *(лат.)*.

## ИЗ ЦИКЛА «АНАДИПЛОСИС»

**1**

Где смерть живет, как малое сознанье
на дне большого,— опершись о свод
акрополя,— немые изваянья
все наши мысли переходят вброд
и, достигая берега значений,
нащарив средостенья крестовик,
как воинство летучих сновидений,
переломляют ропщущий тростник.

**2**

Эвтерпа, матрица, Европа, парафраз
материковый! Мотыльковый пеплум
в пакгаузах глоссария! Лишь беглым
пустеющим окинуть взором вас
и самому стать скважиной... Диóнис
сожмет и выжмет виноградный сок
из крайней плоти... Хризолит и оникс,
в изнанку музыки втираемый песок.

* * *

В этом городе мы, как в пространной
цитате, живем.
Хлеб земной и заемный небесный
бесславно жуем,
бестолково по улицам бродим
и бесстрашные речи заводим.
Всё о том, что в стране, как в пространной
цитате, живем,
и т. д., и т. п., и т. д., и т. п., и, конечно,
жуем.
Бестолково по улицам бродим
и во всем этом что-то находим.
А спохватится кто-нибудь — живо его
приструнять:
струны вырвут с ногтями, покажут
ядреную мать,
припугнут после ядерным взрывом
и завяжут глаза над обрывом.
А потом разрешат возвратиться в знакомый
до слез
этот город, трепещущий крыльями черных
стрекоз,
с его свастикой улиц и лиц,
и простуженным клекотом жриц.
Здесь с прохожих срывает шинели
коллежский асессор
и строчит на жидов и масонов доносы
профессор,
Медный всадник за гением скачет
и Евгений тоску свою нянчит!

## СОН

«По Анаксагору черен снег, а душа — вдвойне»,—
учила меня одна гимназисточка при луне.
А потом задирала платье и — «шах-наме»!..
Я же, как досократик, ни бэ ни мэ.
«По Анаксагору черен снег, а душа — белым...» —
учила меня дворовая сука, беря калым.
А потом тянула носочек, как ноту ля.
Я ж, как отец пустынник: изыди, бля!
«По Анаксагору черен снег». А по мне — была
или нет та жидовочка божьей матерью, что брала
в . . . и давала в . . . Да не все ль равно!
...Я лежал, проснувшись, в гробу хрустальном, смотрел в окно.
«По Анаксагору черен снег, но чиста лыжня».
И эта третья была права, потому — княжна.
Я лежал, проснувшись, в гробу хрустальном, смотрел в окно,
понимая, что то, что вижу, и есть — *Одно.*

Александр Вадимович Скидан (род. в 1965 г.) — поэт. Публикуется с 1990 года. Стихи печатались в журнале «Аврора», в «Университетской газете» и в «Антологии русского верлибра». Живет в Ленинграде.

# Елена Дунаевская

## СТАНСЫ ОКРАИНЕ

Дома в розоватом свете,
И многопудовый дым,
И в школу шагают дети,
И голени их худы,
Как ноги болотных цапель,
Над желтой, сухой травой,
А мамы, одеты в штапель,
Взирают на свой привой,
Разняв, как фату — невеста,
Кухонную занавеску.

Окраина — род бумаги,
Где краски всегда плывут.
От вечной и злостной влаги
Бесформен трамвайный люд.
Соленый запах отбросов,
Не жизнь, но ее макет.
Окраина — это способ
Жить, если жизни нет.
Окраина — грязный ватман,
Водка, мазня и вата.

Окраиной правит осень
В самую развесну.
Безвременьем здесь заносит,
Клонит к дурному сну,
И жизни топорный остов
Тебя укрепляет в том,
Что человек — не остров,
Не крупноблочный дом:
На арматуре — тонны
Коснеющего бетона.

Окраина — место встречи
Быта с небытием.
Здесь всяк пустотой замечен,
Заначен житьем-бытьем.
И струны здесь рвут под вечер,
Словно — живьем в гробу —
Швыряют подростки в вечность
Проклятье или мольбу.
Времени нет. Пространство
К косынкам — беспристрастно.

Дома в предвечернем свете,
И многопудовый дым,
Шагают из школы дети,
И голени их худы.
Пахнет окраина щами,
Воздух похож на взвесь.
Много мы обещали,
Ну а подохнем здесь,
Не разорвав завесы
Сорных дождей над лесом.

* * *

И дирижер склонился к партитуре,
И, кажется, не все сошли с ума.
Как памятник исчезнувшей культуре —
Классическая русская зима.

И зеркало в неимоверной раме
Серебряной проходишь ты насквозь,
И прежний свет струится над полями,
Где хлябь, и кровь, и шпалы вкривь
да вкось.

* * *

*А.А.А.*

Вошла. Никого не узнала.
Не призрак ли смотрит на то,
Как ночью бредут вдоль канала
Фигуры в квадратных пальто

Из драпа? Из бурого мрака?
А рядом стволов антрацит
Безрукий. И, кажется, драка.
И грязный свинцовый Коцит,

И варево вспышек багровых,
И в струпьях больших полотно...
Какой-то художник из новых,
На жизнь негодуя давно,

Раздрызг, напряженность, обиду
С такой густотою нанес,
Что звезды не брезжат сквозь сито
Материи, ветхой насквозь.

А женщина взглядом усталым
Скользнула по раме — и прочь:
С Обводного, злого канала
В летейскую белую ночь.

---

Елена Семеновна Дунаевская — поэт, переводчик английской классической поэзии. Первая публикация — в 1965 году. Стихи печатались в отечественных и зарубежных журналах и альманахах. Опубликованы переводы из Киплинга, Китса, Спенсера, Кольриджа. Живет в Ленинграде.

*Альберто Моравиа*

# СКУКА

***Роман***

## ПРОЛОГ

Я хорошо помню, как бросил рисовать. Как-то раз я просидел в своей студии восемь часов подряд — то работал минут по десять-пятнадцать, то бросался на диван и часа два лежал, уставив глаза в потолок,— и вдруг, словно бы в порыве вдохновения, осенившего меня после стольких бессильных потуг, раздавил в переполненной пепельнице последнюю сигарету, с кошачьей живостью вскочил с кресла, в котором только что расслабленно покоился, схватил острый нож, которым пользовался иногда для того, чтобы соскабливать краски, и, удар за ударом, начал полосовать холст, не успокоившись, покуда не изорвал его в клочья. Затем вытащил из угла чистый, такого же размера, снял с подрамника изрезанный и натянул новый. И сразу же почувствовал, что вся моя, как бы это сказать, творческая энергия полностью ушла на этот в сущности совершенно разумный, хотя и разрушительный акт. Я работал над картиной целых два месяца, упорно и без передышки: изрезать ее ножом было в каком-то смысле то же, что и завершить; может быть, с точки зрения видимых результатов поступок мой носил чисто негативный характер, но для моего творческого состояния это несомненно было полезно. И в самом деле, изрезать холст — это было все равно, что завершить наконец долгую беседу, которую я вел с самим собой бог знает сколько времени. Это означало, что я ощутил под ногами твердую почву. Новый холст, натянутый на подрамник, был не просто обычным, еще не записанным холстом,— нет, это был холст, который оказался там в результате долгих трудов. Одним словом, утешал я себя, стараясь подавить душившее меня отчаяние, именно этот холст, с виду такой же, как все прочие, но для меня исполненный смысла, как бы воплотивший в себе результат, должен помочь мне ощутить себя свободным, способным начать все с начала; так, словно не было у меня за спиной десяти лет занятий живописью, словно мне снова двадцать пять, как тогда, когда я ушел из дому, от матери, и переехал на улицу Маргутта, чтобы никто не мешал мне спокойно работать. Впрочем (было вполне вероятно и такое), красовавшийся на подрамнике чистый холст мог выражать результат объективной, внутренней и при этом абсолютно негативной эволюции, которая привела меня к полному краху. И то, что верным было, пожалуй, именно это, второе, предположение, подтверждалось, между прочим, тем обстоятельством, что скука, неотступно сопровождавшая мою работу в течение последних шести месяцев, начисто прошла в тот момент, когда я изрезал холст; так известковые отложения источника в конце концов настолько засоряют трубу, что вода перестает течь.

Тут, видимо, пришла пора сказать несколько слов об этой самой скуке, чувстве, о котором мне не раз придется упоминать на этих страницах. Дело в том, что, как бы далеко ни заглядывал я в свое прошлое, мне неизменно вспоминается, как мучила меня скука. Но, наверное, нужно договориться и по поводу самого этого слова. Для большинства людей скука — это нечто противоположное состоянию, которое испытываешь, приятно проводя время, развлекаясь, а развлекаться это значит отвлекаться, забываться. Для меня же, напротив, скука вовсе не противоположна ощущению, испытываемому при развлечении,

---

Альберто Моравиа (1907—1990) — крупнейший итальянский писатель, автор романов: «Равнодушные» (1929), «Римлянка» (1947), «Конформист» (1951), «Презрение» (1954), «Чочара» (1957), «Я и он» (1971) и многих других, а также рассказов, драматических и публицистических сочинений. Роман «Скука» («La noia») написан в 1960 году.

я бы даже сказал, что в каком-то, хотя и очень специфическом смысле, она даже схожа с развлечением. Скука для меня — это ощущение неполноты, недостаточности окружающей меня реальности, ее скудости, ее несоответствия собственным возможностям. Если прибегнуть к сравнению, я могу уподобить свое состояние в момент, когда я скучаю, ощущениям человека, который в зимнюю ночь спит под слишком коротким одеялом: натянешь его на ноги — мерзнет грудь, натянешь на грудь — мерзнут ноги, и в результате так и не удается толком заснуть. Если поискать другого сравнения, то можно вспомнить о том, как иногда вдруг, совершенно необъяснимо в комнате начинает мигать электрический свет: то светло и все ясно видно — вот кресла, вот диваны, вон там, подальше, шкафы, этажерки, картины, занавески, окна, двери,— и вдруг, мгновенье спустя, вокруг темно и пусто. Или вот еще третье сравнение: я мог бы определить скуку как своего рода болезнь окружающих меня предметов, которые словно бы увядают, блекнут, теряя жизненный тонус,— это то же самое, что на протяжении нескольких секунд увидеть, как цветок, только что бывший бутоном, увядает и превращается в прах.

Скука настигает меня в те мгновенья, когда я ощущаю абсурдность окружающего меня мира, то есть тогда, когда он становится, как я уже говорил, каким-то неполноценным, не способным убедить меня в реальности своего существования. К примеру, мое внимание вдруг привлекает к себе вот этот бокал. И до тех пор, пока я говорю себе, что бокал — это стеклянный или металлический сосуд, предназначенный для того, чтобы, не расплескав, подносить ко рту налитую в него жидкость, то есть до тех пор, пока я сохраняю твердое о нем представление, мне кажется, между нами завязываются отношения, достаточные для того, чтобы я поверил в его реальность, а следовательно, и в свою тоже. Но стоит только этому бокалу поблекнуть в моих глазах, то есть утратить свою чувственную, предметную убедительность в том смысле, о котором я уже говорил, то есть стоит ему предстать передо мной как нечто чуждое, не имеющее ко мне ни малейшего отношения, или, если говорить попросту, стоит ему показаться вещью совершенно бессмысленной, как из ощущения этой бессмысленности рождается скука, которая есть, в сущности (пора это сказать), выражение некоммуникабельности и полной невозможности ее преодолеть. Однако сама эта скука не доставляла бы мне таких мучений, если бы я не знал, что бокал, не имеющий ко мне отношения, мог бы его иметь, то есть что он существует в каком-то недоступном мне раю, где предметы ни на миг не перестают быть предметами. И из этого следует, что скука, то есть моя неспособность вырваться за пределы своего «я»,— это теоретическое сознание того, что, случись чудо, я все-таки мог бы выйти за эти пределы.

Я уже сказал, что, сколько я себя помню, я всегда скучал; добавлю к этому, что лишь совсем недавно я сумел достаточно ясно понять, что же она такое — моя скука. В детстве же, отрочестве и в первые годы молодости я страдал от нее, будучи совершенно не в состоянии ее объяснить; так человек страдает от хронических головных болей, не решаясь обратиться к врачу. А уж в детстве эта же самая скука принимала формы настолько неясные, недоступные не только моему — ничьему пониманию, что мать, которой я не мог ничего объяснить, приписывала ее нездоровью: примерно так, как дурное настроение младенцев объясняют тем, что у них режутся зубы. В те годы мне случалось неожиданно прервать игру и на долгие часы застыть в полной неподвижности так, словно меня оглушили: это было то самое болезненное состояние, которое вызывало у меня внезапное «увядание» окружающих меня предметов, а точнее, бессознательное ощущение того, что между мною и остальным миром перестала существовать какая-либо связь. Если в такую минуту в комнату входила мать и, видя меня молчаливым, бледным, безвольным, спрашивала, что случилось, я неизменно отвечал ей: «Мне скучно», объясняя этим ясным и плоским словом сложное и темное состояние своей души. Но мать принимала мое объяснение буквально и, наклоняясь, чтобы меня обнять, обещала сегодня же вечером сводить меня в кино или сулила еще какое-нибудь развлечение, которое, я точно знал, не могло быть лекарством против скуки, так как в самой идее развлечения не было ничего ей противоположного. И покуда матери казалось, что она успешно развеяла мое настроение, я, притворившись, что с радостью принимаю ее предложение, продолжал маяться все той же скукой, которая рождалась во мне и от прикосновения ее губ к моему лбу, ее рук к моим плечам, и даже от вызванного ее словами ослепительного видения киноэкрана. Как мог я объяснить матери, что развеять мою скуку невозможно? Я уже говорил, что скука — это прежде всего выражение некоммуникабельности. И вот, не в силах установить связь с собственной матерью, от которой я чувствовал себя отрезанным, как от всего остального мира, я был вынужден мириться с возникшим между нами недоразумением и лгать ей.

Не буду долго останавливаться на неприятностях, которые доставляла мне скука во времена отрочества. В ту пору мои плохие отметки неизменно приписывались «слабости здоровья» или врожденной неспособности к тому или другому предмету, и я сам принимал это объяснение за неимением другого, более убедительного. Но сейчас-то я прекрасно понимаю, что плохие отметки, которые сыпались на меня в конце каждого учебного года, объяснялись все тем же: скукой. Дело в том, что я с болезненной остротой чувствовал, что не в силах установить какую-либо связь между собой и всей этой кашей из афинских царей и римских императоров, рек Южной Америки и гор Азии, одиннадцатисложного



стиха Данте и гекзаметра Вергилия, алгебраических действий и химических формул. Одним словом, вся эта уйма сведений из разных областей знания совершенно меня не затрагивала, а если иной раз и затрагивала, то в результате я лишь еще сильнее ощущал их изначальную бессмысленность. Но, как я уже говорил, ни перед самим собою, ни перед другими я никогда не кичился этими своими чисто негативными ощущениями: наоборот, я убеждал себя в том, что не должен был их испытывать, и страдал от этого. Помню, что уже тогда это страдание поселило во мне стремление как-то определить его и объяснить, но я был подростком, со всей свойственной этому возрасту амбициозностью и педантизмом, и результатом моих усилий явился проект всемирной истории, рассмотренной с точки зрения скуки. В основе всемирной истории, рассмотренной под этим углом зрения, лежала очень простая мысль: пружиной истории была не биологическая эволюция, не экономические факторы и вообще ни один из тех мотивов, которые выдвигаются историками разных школ: пружиной была скука. Воодушевленный своим замечательным открытием, я приступил к делу с начала всех начал. Итак, вначале была скука, вульгарно именуемая хаосом. Наскучив этой скукой, Бог создал землю, небо, воды, животных, растения, Адама и Еву; эти последние, соскучившись, в свою очередь, в раю, съели запретный плод. Они наскучили Богу, и он выгнал их из Эдема; Каин, которому наскучил Авель, его убил; Ной, когда заскучал сверх всякой меры, изобрел вино; Бог, которому снова наскучили люди, наслал на них потоп; но последний, в свою очередь, до того наскучил Богу, что он вернул на землю хорошую погоду, и так далее. Великие египетские, персидские, греческие и римские империи создавались от скуки и от скуки же погибали; скука язычества породила христианство, скука католицизма — протестантство; соскучившись в Европе, люди открыли Америку; соскучившись от феодализма, сделали французскую революцию, соскучившись от капитализма — русскую. Я составил список всех этих сделанных мною замечательных открытий, а затем с большим старанием принялся писать саму историю. Не помню точно, но мне кажется, я не пошел дальше чрезвычайно детального описания жестокой скуки, которая терзала в Эдеме Адама и Еву, и того, как от этой самой скуки они впали в смертный грех. Затем, соскучившись, в свою очередь, от своего проекта, я забросил дело, так и не пойдя дальше.

Надо сказать, что в период между десятью и двадцатью годами я страдал от скуки больше, чем в любую другую пору своей жизни. Я родился в 1920-м, и значит, моя юность прошла под черным знаком фашизма, то есть того политического режима, который возвел некоммуникабельность в систему: некоммуникабельность определяла отношения диктатора с массами, отдельных граждан между собою и их же отношения с диктатором. Скука, которая есть отсутствие каких-либо связей между человеком и окружающим его миром, во времена фашизма была растворена в самом воздухе, которым мы дышали; а к этой, социальной, скуке следует добавить еще скуку неосознанной и безотлагательной сексуальной потребности, которая, как обычно бывает в этом возрасте, мешала мне вступать в подлинно человеческие отношения с теми самыми женщинами, в чьем обществе, мне казалось, я развеиваю свою скуку. Однако эта же скука спасла меня от участия в гражданской войне, которая вскоре разразилась в Италии и опустошала ее в течение двух лет; вот как это было: я служил в дивизии, дислоцировавшейся в Риме; как только объявили перемирие, я снял форму и вернулся домой. Затем всем военнослужащим было приказано — под страхом смертной казни — возвратиться в ряды армии. Мать, с характерным для нее почтительным отношением к властям, которых в ту пору было две — немецкая и фашистская, советовала мне надеть мундир и вернуться в строй. Она желала меня спасти, но на самом деле толкала на путь депортации, что, вполне вероятно, повлекло бы за собой гибель в нацистском концлагере, как это и случилось со многими моими товарищами по военной службе. И именно скука и только скука, то есть внутренняя невозможность уловить какую-либо связь между мною и этим приказом, мною и военной формой, мною и фашистами, скука, от которой я мучился двадцать лет, ибо она делала в моих глазах просто-напросто несуществующими обе великие империи — и империю ликторского пучка, и империю свастики [1],— эта скука на этот раз меня спасла. Не послушавшись уговоров матери, я укрылся в деревне, на вилле одного моего приятеля, и просидел там всю гражданскую войну, занимаясь живописью,— способ убивать время не хуже всякого другого. Так я стал художником или, точнее сказать, поддался иллюзии, будто посредством художественного выражения смогу раз и навсегда установить связь между собой и окружающей меня реальностью. Я действительно испытал поначалу некоторое облегчение, вызванное энтузиазмом, с которым я приступил к работе, и даже почти убедил себя в том, что моя скука была скукой художника, который просто не догадывался о том, что он художник. Я ошибся, но в течение какого-то времени мне казалось, что я нашел способ излечения.

В конце войны я вернулся к матери, которая за это время успела купить большую виллу на Аппиевой дороге. Как я уже говорил, мне казалось, что занятия живописью

[1] То есть — фашистскую Италию и нацистскую Германию *(здесь и далее примечания переводчика).*

окончательно развеют мою скуку, но вскоре я убедился, что это не так. Несмотря на живопись, я снова начал скучать; больше того, так как скука автоматически прерывала мои занятия живописью, я наконец смог составить точное представление об интенсивности и частоте приступов этой болезни, куда более точное, нежели в ту пору, когда я еще не рисовал. Когда проблема скуки предстала передо мной во всей своей неизменности, я начал спрашивать себя, какие же у нее могли быть причины, и методом исключения пришел к выводу, что скучал я оттого, что был богат, и что будь я беден, я бы, по-видимому, не скучал. Эта мысль вырисовывалась в моем сознании не с такой ясностью, как сейчас, когда она предстает написанной на бумаге; тогда это была не столько мысль, сколько подозрение, правда, принявшее вскоре почти маниакальный характер: мне казалось, что между моею скукой и моими деньгами существует несомненная, хотя и не явная связь. Я не хочу останавливаться слишком долго на этом достаточно неприятном периоде моей жизни. Так как я снова начал скучать,— а когда я скучал, я бросал живопись,— я от всей души возненавидел нашу виллу и роскошь, которая меня там окружала; возлагая именно на них вину за одолевавшую меня скуку, которая лишала меня возможности рисовать, я стал страстно мечтать оттуда уехать. Но так как речь шла — как я уже говорил — всего лишь о подозрении, я не решился прямо сказать матери то единственное, что, в сущности, должен был сказать: я не хочу жить у тебя, потому что ты богата, а богатство нагоняет на меня скуку, а скука мешает мне рисовать. Однако я инстинктивно вел себя так, чтобы, потеряв терпение, мать сама приняла решение о моем отъезде.

Я вспоминаю тот период моей жизни как время вечных споров, бесконечных размолвок, ожесточенной вражды, почти болезненной неприязни. Никогда я не вел себя с матерью так ужасно, как в ту пору, и таким образом к испытываемой мною скуке примешивалась еще и смутная жалость к той, которая никак не могла понять причин моей грубости. Но больше всего я страдал от чего-то вроде паралича, поразившего меня в те дни и сделавшего немым, апатичным, упрямым; мне казалось, что я заживо замурован внутри самого себя, как внутри наглухо запертой душной тюрьмы.

Моя жизнь на материнской вилле и вызываемое этой жизнью душевное состояние, вероятно, продлились бы много дольше, если бы, на мое счастье, мать не решила бы, что узнает в моей скуке чувство, подобное тому, которое однажды уже испортило ее отношения с моим отцом. И тут, по-видимому, надо хотя бы коротко рассказать и о нем, то есть том человеке, который прошел по дороге скуки раньше меня.

Так вот, насколько мне удалось выяснить, отец мой был прирожденным бродягой, одним из тех людей, которые, сидя дома, постепенно перестают разговаривать, теряют аппетит и вообще отказываются жить (так некоторые птицы не могут жить в клетке), но, очутившись на палубе корабля или в купе поезда, сразу обретают свойственную им жизнерадостность.

Он был высокий, атлетически сложенный, белокурый — как я; но я некрасив, потому что рано полысел, и лицо у меня чаще всего тусклое и мрачное, отец же был именно красив, если верить дифирамбам матери, которая в свое время женила его на себе насильно, несмотря на то, что он не переставал твердить, что не любит ее и непременно от нее уйдет.

В сущности, я его совсем не знал, потому что он вечно где-то путешествовал; последний раз, когда я его видел, волосы у него были уже почти совсем седые, а все еще молодое лицо изрезано тонкими глубокими морщинами; тем не менее он продолжал носить легкомысленные галстуки бабочкой и клетчатые костюмы времен его молодости. Он приезжал и тут же уезжал, вернее, убегал от моей матери, с которой ему было скучно; потом возвращался, вероятно, затем, чтобы раздобыть денег для нового побега, потому что у самого у него не было ни гроша, хотя и считалось, что он занимается «экспортом-импортом». В конце концов однажды он не вернулся. Сильный порыв ветра перевернул в одном из внутренних морей Японии паром с сотней пассажиров, и отец оказался в числе утонувших. Что делал он в Японии, был ли он там в связи с «экспортом-импортом» или занимался чем-то еще, я так никогда и не узнал. По мнению матери, которая любит научные и наукообразные определения, у отца была «дромомания», то есть страсть к перемене мест. Может быть, этой мании, объясняла она, словно размышляя вслух, был обязан он и своею страстью к маркам, этим крохотным ярким свидетельствам многообразия и обширности мира; отец собрал прекрасную коллекцию, которую она продолжала хранить, тем более что география была единственным предметом, который она хорошо изучила в школе. Мне казалось, что мать рассматривает «дромоманию» отца как сугубо индивидуальную и малосущественную особенность; меня же именно эта особенность заставляла испытывать поистине братское сочувствие к его патетической, почти стершейся и чем дальше, тем больше стиравшейся из памяти фигуре, в которой, мне казалось, я различал, во всяком случае в сфере отношений с матерью, черты некоторого сходства с собою. Но, как понял я позднее, сходство было чисто внешним: отец действительно страдал от скуки, но избавлялся от нее в счастливом бродяжничестве, переезжая из страны в страну; иными словами, его скука была самой обычной скукой, которая проходит от новых и необычных ощущений. Да и в самом деле, достаточно сказать, что отец верил в мир, во всяком случае географический, в то время как я не мог поверить даже в существование бокала.



Однако мать не пожелала углубляться во все эти тонкости и решила, что без сомнения узнаёт в моей скуке то легко излечимое уныние, которое когда-то осложняло ее отношения с мужем. «К сожалению, от отца ты взял больше, чем от меня,— твердо сказала она мне как-то однажды.— А я знаю, что, когда на вас это находит, лучшее средство — отослать вас подальше. Так что уходи, уезжай куда угодно, а когда все пройдет, возвращайся».

Я сразу же с облегчением ей ответил, что а мои намерения вовсе не входило куда-нибудь уезжать: путешествия меня совершенно не интересовали. Мне просто хотелось уйти из дому и зажить самостоятельно. Мать возразила, что это глупо — жить отдельно, когда в моем распоряжении роскошная вилла, в которой я к тому же могу делать все, что захочу. Но я уже решил воспользоваться подвернувшимся случаем и резко ответил, что уйду прямо завтра, ни на минуту не задержавшись. Таким образом, мать поняла, что это серьезно. И ограничилась лишь тем, что с горечью ко всему привыкшего человека заметила, что даже в тоне моего ответа она узнает отца; так что ладно, пусть я делаю, что хочу, и живу там, где вздумается.

Оставалось решить денежный вопрос. Как я уже говорил, мы были богаты, и до сих пор я пользовался своего рода неограниченным кредитом: когда мне нужны были деньги, я брал их со счета матери. Однако мать, полагая, что повторяет со мной опыт, уже проделанный с отцом, которому она давала денег достаточно для того, чтобы он мог уехать, но недостаточно для того, чтобы остаться вдали от нее навсегда, сухо ответила, что с этой минуты она определит мне месячное содержание. Я ответил, что о лучшем и не мечтаю; а когда она, скрывая неловкость за раздражением, назвала сумму, которую собиралась мне назначить, я тут же сказал, что готов удовольствоваться и половиной. Мать, видимо, приготовившаяся к спорам того рода, что бывали у нее с отцом, которому всегда было мало, очень удивилась моему неожиданному бескорыстию. «Но, Дино, на такие деньги невозможно прожить!» — невольно воскликнула она. Я ответил, что это мое дело, и, чтобы не изображать из себя аскета, добавил, что надеюсь вскоре начать зарабатывать живописью. Мне показалось, что мать взглянула на меня с сомнением: я знал, что она не верит в мои способности как художника. Несколько дней спустя я нашел студию на улице Маргутта и переехал туда со всем своим имуществом.

Как и следовало ожидать, перемена местожительства ничего не изменила в моем душевном состоянии. Как только прошло первое облегчение, которое обычно следует за всякой переменой, меня, как и прежде, стала периодически одолевать скука. Я сказал «как и следовало ожидать», потому что, конечно же, можно было предвидеть, что скука не рассеется только оттого, что я переменил квартиру: ведь, не говоря об остальном, я мог считать себя богатым не только потому, что обитал на Аппиевой дороге, но и потому, что располагал определенной суммой денег. То, что я не желал ими пользоваться, дела не меняло: многие богачи, если они скупы, тратят лишь крохотную часть своих доходов и живут бедно, однако никому не придет в голову считать их из-за этого бедняками.

Таким образом, первая моя идея, вернее, сделавшаяся навязчивой мыслью догадка о том, что скука и связанное с нею творческое бессилие объясняются жизнью в доме матери, постепенно сменилась другой, еще более навязчивой: отказаться от собственного богатства попросту невозможно; быть богатым — это то же, что иметь голубые глаза и орлиный нос; тончайшими нитями богач связан со своими деньгами, которые окрашивают в цвет денег даже его решение ими не пользоваться. И в самом деле, ведь я не мог даже отнести себя к категории бедняков, которые когда-то были богаты: я был богач, который лишь притворяется бедным перед собою и перед людьми.

То, что дело обстоит именно так, я доказывал себе следующим образом: «Что делает настоящий бедняк, когда у него нет денег? Умирает с голоду. Что делаю в таком случае я? Иду просить помощи у матери. И даже если не иду, все равно меня нельзя считать бедным — разве что сумасшедшим». К тому же, продолжал я, в моем случае нет даже ничего особенного. Это самый заурядный случай: ведь я не отказывался от материнских денег, я только ограничивал себя самым необходимым. По отношению к настоящим беднякам я находился в том заведомо нечестном привилегированном положении, в котором находится богатый игрок по отношению к игроку бедному: первый может проигрываться до бесконечности, второй — нет. Но главное, первый может действительно «играть», то есть развлекаться, в то время как второй должен непременно стремиться выиграть.

Трудно пересказать, что я испытал, обдумывая все эти вещи. Я чувствовал себя жертвой каких-то низких козней, против которых ничего не мог предпринять, потому что не знал, ни где, ни когда напущена на меня эта порча. Иногда я вспоминал евангельское изречение: «Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому попасть в царствие небесное» и спрашивал себя, что же все-таки значит быть богатым. Богатый — это тот, у кого много денег? Или тот, кто родился в богатой семье? Или тот, кто всю жизнь прожил и продолжает жить в обществе, ставящем богатство выше всего на свете? Или тот, кто считает, что самое главное в жизни — это богатство, и при этом неважно, хочет ли он разбогатеть или сожалеет о том, что богат? Или, как в моем случае, богач — это тот, кто, будучи богатым, не хочет им быть? Чем больше я над этим раздумывал, тем труднее мне было определить точный смысл положения и предназначения человека, которого можно

назвать богатым. Разумеется, всего этого не было бы, если бы я сумел избавиться от своей исходной навязчивой мысли, будто испытываемая мною скука ведет свое происхождение от богатства, а творческое бессилие — от скуки. Но все наши мысли, даже самые рациональные из них, уходят в темную глубину чувства. А от чувства избавиться не так легко, как от мыслей: мысли приходят и уходят, чувства остаются.

Вы, конечно, можете мне на это сказать, что все дело в том, что я был плохим художником, хотя и (редкий случай) сознающим свое ничтожество. Это верно, но это не все. Разумеется, я был плохим художником, но не потому, что не умел писать картины, которые нравились бы людям, а потому, что чувствовал — мои картины не выражают меня, то есть не дают мне ощущения связи с окружающим миром. А ведь рисовать-то я, между прочим, начал именно для того, чтобы развеять скуку. И если я продолжал скучать, стоило ли продолжать рисовать?

Если не ошибаюсь, от матери я съехал в марте 1947 года; и вот прошло более десяти лет, и я, уничтожив свою последнюю картину, решил бросить живопись. И сразу же скука, которую занятия живописью хоть как-то сдерживали, навалилась на меня с неслыханной силой. Я уже говорил, что скука — это прежде всего потеря связи с окружающим миром: так вот, в эти дни мне не хватало связи не только с миром, но и самим собой. Я понимаю, что все это вещи трудно объяснимые, и попытаюсь прибегнуть к помощи сравнения: в течение всего того времени, которое последовало за решением бросить живопись, я был для самого себя чем-то вроде несносного попутчика, которого путешественник неожиданно обнаруживает в своем купе в самом начале длинного пути. Купе старого типа, то есть не сообщающееся с другими, поезд остановится только на конечной станции, и, следовательно, наш путешественник вынужден терпеть общество ненавистного соседа до самого конца. Ну а если отбросить сравнения, то можно сказать так: скука, пусть даже слегка смягченная занятиями живописью, изглодала мою жизнь до такой степени, что не оставила во мне живого места. И стоило мне бросить живопись, как я незаметно для себя превратился в развалину, в какой-то жалкий бесформенный обрубок. Теперь, как я уже говорил, главным в моей скуке стало ощущение полной невозможности наладить связь с самим собой, а между тем я как раз и был тем единственным в мире человеком, избавиться от которого не мог никакими силами.

Я стал в ту пору ужасно нетерпелив. Что бы я ни делал, все мне не нравилось или казалось не заслуживающим внимания; с другой стороны, я не представлял себе, что́ могло бы мне понравиться или, по крайней мере, хоть ненадолго меня занять. Я только и делал, что приходил в студию и тут же уходил под любым ничтожным предлогом, какой только мог придумать, чтобы оправдать свой уход: пойти за сигаретами, которые были мне не нужны, или выпить кофе, которого мне совсем не хотелось, или купить газету, которая меня не интересовала, сходить на выставку, которая не вызывала у меня никакого любопытства. С другой стороны, я чувствовал, что все эти предлоги есть не что иное, как отчаянная попытка смены личин, которыми прикрывалась моя скука, так что иной раз я даже не доводил начатое до конца, и вместо того чтобы купить газету, или выпить кофе, или сходить на выставку, я, сделав несколько шагов, возвращался в ту самую студию, откуда с такой поспешностью вышел минуту назад. Но и в студии, разумеется, меня поджидала скука, и все начиналось сызнова.

Я брал книгу — у меня была маленькая библиотека, я всегда был усердным читателем,— но она очень скоро выпадала у меня из рук: романы, статьи, пьесы — вся литература мира сводилась в конце концов к одной-единственной странице, которая не в силах была удержать моего внимания. Да и почему она была обязана его удержать? Слова — это символы вещей, а именно с вещами у меня рвалась всякая связь в минуты скуки. Я откладывал книгу или в припадке ярости швырял ее в угол и призывал на помощь музыку. У меня был прекрасный проигрыватель, подарок матери, и сотня пластинок. Но кто сказал, что музыка непременно должна «действовать», то есть что она способна заставить себя слушать даже самого рассеянного человека? Тот, кто так сказал, был неточен. Потому что мои уши отказывались не только слышать, но и слушать. И потом, в тот самый миг, когда я выбирал пластинку, меня парализовала мысль: какой же должна быть музыка, чтобы ее можно было услышать даже в те минуты, когда тебя одолевает скука? Кончалось тем, что я выключал проигрыватель, бросался на диван и начинал думать о том, что́ бы мне еще сделать.

Больше всего меня поражало, что я не хотел делать решительно ничего, страстно при этом желая сделать хоть что-нибудь. Все, что я собирался сделать, тут же представало передо мною — как сиамский близнец с братом — в паре со своею противоположностью, которая отвращала меня в той же степени. В результате я чувствовал, что мне не хотелось видеть людей, но и не хотелось оставаться в одиночестве; не хотелось сидеть дома, но и не хотелось выходить; не хотелось путешествовать, но и не хотелось продолжать жить в Риме; не хотелось рисовать, но и не рисовать тоже не хотелось; не хотелось бодрствовать и не хотелось спать; не хотелось заниматься любовью, но и отказываться от нее тоже не хотелось и так далее. Я говорю «чувствовал», но точнее было бы сказать, что я чувствовал это с отвращением, омерзением, ужасом.



Время от времени среди приступов скуки я спрашивал себя — а может быть, я просто хочу умереть? Это был резонный вопрос, раз уж мне так не нравилось жить. Но и тогда я с изумлением замечал, что, хотя мне и не нравилось жить, я не хотел также и умирать. То есть принцип альтернативных пар, которые, как в каком-то мрачном балете, дефилировали перед моим внутренним взором, продолжал действовать даже в ситуации крайнего выбора — между жизнью и смертью. В действительности же, думал я иногда, мне не столько хотелось умереть, сколько не хотелось продолжать жить так, как я жил до сих пор.

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

Переехав на улицу Маргутта, я сумел побороть то необъяснимое, почти суеверное отвращение, которое внушала мне вилла на Аппиевой дороге, и установил довольно регулярные отношения с матерью. Я ходил к ней раз в неделю, завтракать, так как это было то время дня, когда я мог быть уверен, что застану ее одну; я сидел у нее часа два, слушая обычные ее рассуждения, которые знал наизусть и которые касались двух предметов, единственно ее занимавших: ботаники, то есть цветов и плодов, которые она выращивала в своем саду, и денежных дел, которым она посвящала все свое время с тех пор, как вступила в сознательный возраст. Разумеется, матери хотелось, чтобы я навещал ее чаще и в другое время, тогда, например, когда она принимала друзей или принадлежащих к ее кругу людей из общества, но после того, как я раза два твердо отклонил ее приглашение, она, по-видимому, смирилась с редкостью моих посещений. Разумеется, смирение это было вынужденным и могло исчезнуть при первом же представившемся случае. «Когда-нибудь ты поймешь,— частенько замечала мать, говоря о себе в третьем лице, что у нее всегда было верным признаком чувства слишком живого для того, чтобы она желала его скрыть,— когда-нибудь ты поймешь, что твоя мать не из тех женщин, которым наносят визиты по долгу вежливости, и что твой настоящий дом здесь, а не на улице Маргутта».

В один из таких дней, вскоре после того как я бросил рисовать, я отправился к матери на обычный свой еженедельный завтрак. Хотя, если сказать правду, завтрак был не совсем обычный; на этот день приходился мой день рождения, и мать, боясь, что я позабуду, напомнила мне об этом уже утром, поздравив по телефону в характерной для нее забавной манере — казенной и церемонной: «Сегодня тебе исполняется тридцать пять. Поздравляю и от души желаю счастья и успехов». И тут же сказала, что приготовила для меня сюрприз.

Итак, где-то около полудня я сел в свой старый расхлябанный автомобиль и двинулся в путь через весь город, как всегда с чувством неловкости и внутреннего протеста, которое нарастало по мере того, как я приближался к цели. Со все усиливающейся душевной тревогой я выехал наконец на Аппиеву дорогу, окаймленную на всем ее протяжении зелеными лужайками, кипарисами, пиниями и руинами кирпичных зданий. Ворота парка, в котором стояла вилла матери, находились примерно на середине дороги, по правую руку, и я, как всегда, поискал их глазами, как будто надеялся, что они каким-то чудом исчезли и я могу спокойно продолжать ехать дальше, до самого Кастелли, а потом вернуться в Рим, в свою студию. Но нет, вот они, распахнутые специально для меня, специально для того, чтобы остановить и затянуть меня внутрь, когда я буду проезжать мимо. Я сбросил скорость, резко повернул и, ощущая глухое и мягкое подпрыгивание колес на гравии, въехал в кипарисовую аллею. Незаметный подъем вел к вилле, которая виднелась в глубине, и, глядя на маленькие черные кипарисы, на их крутые пыльные завитки, на невысокий розовый дом, словно прикорнувший под небом, затянутым серыми перистыми облаками, похожими на комки грязной ваты, я снова ощутил в душе тот тоскливый ужас, который чувствовал всегда, направляясь на свиданье с матерью. Подобный ужас испытывает, наверное, человек, собирающийся совершить что-то противоестественное; словно, въезжая в эту аллею, я возвращался в лоно, которое произвело меня на свет. Я попытался подавить в себе это неприятное ощущение возвращения вспять и изо всей силы нажал на клаксон, сообщая о своем прибытии. Затем, описав на гравии полукруг, остановил машину на подъездной площадке и вышел. Почти сразу же дверь первого этажа отворилась, и на пороге появилась горничная.

Я никогда прежде ее не видел; мать, которая упорно нанимала для нашего огромного дома прислугу, которой едва хватило бы на пятикомнатную квартиру, была часто вынуждена ее менять. Горничная была высокая, с широкими мощными бедрами, огромным бюстом и странными, то ли слишком коротко, то ли просто плохо подстриженными волосами (такие волосы бывают у заключенных или выздоравливающих после тяжелой болезни), с бледным веснушчатым лицом, которое из-за огромных очков в черной оправе, полностью скрывавших глаза, выглядело угрюмым. Еще я отметил рот, похожий на раздавленный цветок бледно-розовой герани. Я спросил, где мать, а она в свою очередь спросила у меня, очень мягко: «Вы синьор Дино?»

— Да.

— Синьора в саду, около парников.

Я направился туда, не преминув по дороге бросить любопытствующий взгляд на машину, которая стояла на площадке перед домом рядом с моей. Спортивная, низкая, мощная, с откидным верхом, металлически-синего цвета. Значит, мать пригласила к завтраку кого-то еще? Размышляя об этой вероятной неприятности, я обошел виллу кругом по идущему вдоль стен кирпичному тротуару, осененному деревцами лавра и каменными дубами, и оказался с другой стороны. Отсюда начинался обширный парк в итальянском стиле — с клумбами в форме треугольника, квадрата, круга, с деревьями, подстриженными то в форме шара, то пирамиды, то сахарной головы, с бесчисленными гравийными аллеями, окаймленными самшитом. Самая широкая аллея, крытая сверху белой металлической перголой, по которой вилась виноградная лоза, делила парк на две части; аллея начиналась от дома и шла до конца участка, где уже у самой ограды поблескивали стекла многочисленных парников. Как раз на полпути между виллой и парниками, под перголой, я увидел спину идущей впереди матери. Почему-то я ее не окликнул, а пошел следом, внимательно ее разглядывая.

Она шла медленно, очень медленно, как человек, который, глядя вокруг, наслаждается тем, что видит, и старается продлить это приятное созерцание. На матери был темно-синий костюм с очень узким в талии и широким в плечах жакетом и узкой, как футляр, юбкой. Она всегда одевалась так, в прилегающие костюмы и платья, которые делали ее маленькую рахитичную фигурку еще более сухой, прямой и негнущейся. У нее была длинная нервная шея, большая голова, а белокурые тусклые волосы всегда тщательно завиты и уложены. Даже издали я прекрасно видел каждую жемчужину ожерелья на ее шее — так они были велики. Мать любила броские украшения: массивные кольца, которые свободно болтались на ее худых пальцах; огромные браслеты с амулетами и подвесками, которые, казалось, вот-вот соскользнут с тощих запястий; булавки, слишком роскошные для ее иссохшей груди; серьги, чересчур крупные для некрасивых хрящеватых ушей. С чувством привычной досады я в очередной раз отметил, какими огромными кажутся на ней туфли и сумка, которую она держала под мышкой. Наконец, собравшись с духом, я окликнул ее: «Мама!»

С характерной для нее подозрительностью она резко, словно почувствовав на плече чью-то руку, остановилась и, не поворачиваясь, повернула на оклик голову. Я увидел худое лицо с запавшими щеками, иссохшим ртом, длинным узким носом и стеклянными голубыми глазами, которые смотрели на меня через плечо. Потом она улыбнулась и, повернувшись, пошла мне навстречу, опустив голову и глядя в землю и произнося, словно бы по обязанности, традиционную фразу: «Добрый день и еще сотню таких дней». И хотя она вкладывала в эту фразу самые искренние чувства, я не мог не отметить, что голос ее, как всегда, звучал сухо и резко, как у вороны. Подойдя ко мне, она повторила: «Еще сотню таких дней, ну поцелуй же меня», и тогда я наклонился и чмокнул ее в щеку. Уже вдвоем мы пошли по аллее дальше. Первым делом мать сказала, указав на виноград, который вился по прутьям перголы: «Знаешь, на что я смотрю? На виноград. Взгляни-ка!» Я поднял глаза и увидел, что почти все гроздья — одни больше, другие меньше — выглядели так, словно кто-то их высосал.

«Это ящерицы»,— сказала мать тем странно-доверительным, сердечным и в то же время рассудительным тоном, каким она всегда говорила о своих растениях. «Эти зверюшки поднимаются по прутьям наверх и едят мой виноград. И тем самым губят мне перголу, потому что черные гроздья среди зеленых листьев выглядят замечательно, но если они наполовину высосаны — эффект уже не тот».

Я сказал что-то о потолке одного римского дворца, расписанном Цуккари, где был как раз использован мотив золотой перголы с черными гроздьями и зелеными листьями, а мать продолжала: «А вчера вдруг, уж не знаю как, в сад пробралась курица. Одна из этих ящерок как раз была наверху, сосала мой виноград и вдруг свалилась вниз. Так вот, она еще не успела долететь до земли, как ее подхватила курица и буквально всосала в себя. Буквально — всосала».

«Раз так,— сказал я,— заведи кур. Они будут поедать ящериц, и те, будучи съедены сами, уже не смогут поедать твой виноград».

«Ради бога! Куры кроме ящериц уничтожат вообще все, что тут есть. Уж лучше держать ящериц».

Тем временем мы прошли под перголой до самой ограды и прохаживались теперь вдоль парников. Мать то наклонялась, чтобы взять на ладонь, удерживая между двумя пальцами, венчик цветка, расцветшего этой ночью, то буквально замирала с остекленевшим взглядом перед глиняным горшком, из которого свисал до самой земли какой-то толстый мохнатый стебель, так похожий на змею, что казалось странным, что он не шипит; то в сухой поучительной манере сообщала мне какие-то сведения из области ботаники, почерпнутые ею из бесед с двумя нашими терпеливыми — так как очень хорошо оплачиваемыми — садовниками, к которым она приставала со своими разговорами все время, пока они работали в саду. Как я уже говорил, любовь к цветам и растениям была единственной поэзией ее жизни, которая во всем остальном была сплошной прозой. Разумеется, она любила меня — по-своему, а приумножением нашего состояния занималась с неподдельной страстью, но как в делах, так и в отношениях со мной на первое место всегда выступала ее властная, грубая, корыстная и подозрительная натура. В то время как цветы и прочие растения она любила бескорыстно, с полным самозабвением и безо всякого расчета. Ну а отец, какой любовью она любила отца? И мне тут же, как всегда, пришла в голову мысль, что по крайней мере в одном мы с отцом сходились: нам обоим не хотелось жить рядом с нею. И я вдруг, безо всякого перехода спросил:

— А кстати, можно узнать, почему отец всегда от тебя убегал?

Я увидел, что она поморщилась — так она делала всегда, когда я заговаривал с нею об отце: «А почему „кстати"?»

— Неважно, ты ответь на вопрос.

— Твой отец никогда от меня не убегал,— ответила она с холодным достоинством, мгновенье помедлив,— он просто любил путешествовать. Посмотри-ка на эти розы, правда красивые?

Но я продолжал настаивать не допускающим возражений тоном:

— Я хочу, чтобы ты рассказала мне об отце. Если он убегал не от тебя, почему ты не путешествовала вместе с ним?

— Прежде всего, кто-то должен был оставаться в Риме, чтобы блюсти наши интересы.

— Ты хочешь сказать «твои интересы»?

— Интересы нашей семьи. А потом, мне не нравилось, как он путешествовал. Я люблю путешествовать с удобствами. Поехать куда-нибудь, где хорошие гостиницы, где живут люди, которых я знаю. Например, в Лондон, в Париж, в Вену. А он потащил бы меня куда-нибудь в Афганистан или Боливию. Терпеть не могу неудобств и не выношу экзотических стран.

Но я стоял на своем:

— Почему же он все-таки убегал из дому или, как ты говоришь, путешествовал? Почему он не хотел оставаться с тобой?

— Потому что он не любил сидеть дома.

— Почему он не любил сидеть дома? Ему что, было скучно?

— Меня это никогда не интересовало. Знаю только, что у него вдруг портилось настроение, он переставал разговаривать, не выходил из дому. Кончалось тем, что я сама давала ему деньги и говорила: «Бери и езжай куда хочешь».

— А тебе не кажется, что, если бы он тебя любил, он бы сидел дома?

— Да, наверное,— ответила она спокойно своим неприятным каркающим голосом, в котором, казалось, звучало удовлетворение, оттого что произносит он чистую правду.— Но он меня не любил. Ведь это я захотела, чтобы он на мне женился. По своей воле он, вероятно, никогда бы этого не сделал.

— Он был беден, да? А ты богата.

— Да, у него не было буквально ни гроша. Он, правда, был из хорошей семьи. Но это все.

— А ты не думаешь, что для него это был брак по расчету?

— О нет, твой отец не был корыстен. В этом отношении он был как ты. Он всегда нуждался, но не придавал деньгам никакого значения.

— Знаешь, почему я расспрашиваю тебя об отце?

— Честно говоря, нет.

— Мне вдруг пришло в голову, что в одном отношении мы с ним похожи. Я ведь тоже временами от тебя убегаю.

Я увидел, что она наклонилась и маленькими ножницами, которых я до того не заметил, аккуратно срезала какой-то красный цветок. Потом распрямилась и спросила: «Как подвигается твоя работа?»

При этом вопросе у меня словно петлей стянуло горло, и я почувствовал, как от меня как будто кругами пошло, заполоняя все вокруг, серое ледяное уныние: так бывает, когда на солнце наползет туча и скроет от него землю. Но я все-таки ответил, хотя голос мой звучал сдавленно: «Я больше не рисую».

— Что значит не рисуешь?

— Я решил бросить живопись.

Матери никогда не нравились мои занятия живописью прежде всего потому, что она ничего в ней не смыслила, хотя и не любила в этом признаваться и слышать, как ей говорят об этом; кроме того, она думала — и, может быть, была не так уж неправа,— что живопись отдаляет меня от нее. Однако я лишний раз восхитился ее самообладанием. Другая на ее месте выразила бы по крайней мере удовлетворение. Она же приняла новость совершенно равнодушно. «А почему? — спросила она, мгновенье помедлив, тоном праздного, вежливого, как бы светского любопытства.— Почему ты вдруг решил бросить живопись?»

В этот момент мы уже почти подошли к дому: из кухни доносился запах какого-то замечательного кушанья. Я чувствовал, что мое отчаяние не только не уменьшается, но растет, хотя я и твердил себе как только мог яростно: «Сейчас пройдет, сейчас все пройдет». И тут вдруг в моей памяти всплыло одно воспоминание: мне пять лет, и я, отчаянно

плача, бегу с кровоточащей коленкой вверх по аллее не этого, а другого сада и, добежав, в отчаянии бросаюсь на грудь матери; она же, наклонившись надо мной, говорит своим резким каркающим голосом: «Погоди, не плачь, покажи, что там у тебя; не плачь, разве ты не знаешь, что мужчины не плачут?» Я взглянул на мать, и мне показалось, что впервые за много лет я испытываю к ней чувство любви. И, отвечая на ее вопрос, я сказал: «Да так»,— самое короткое, что мог придумать, потому что стыдился своего отчаяния и не хотел, чтобы она его заметила.

Однако я сразу же понял, что «да так» не помогло, отчаяние не проходило, я чувствовал его кожей и волосами, весь мир вокруг меня как будто увял и лишился цвета. А потом, втянув ноздрями запах того прекрасного кушанья, который донес до меня легкий порыв ветра, я вдруг ощутил страстное желание броситься матери на шею, чтобы она утешила меня в моем горе с живописью, как утешила она меня пятилетнего, когда я разбил коленку. И я вдруг сказал неожиданно для себя самого: «Да, кстати, забыл сказать, я бросаю студию, которая мне теперь не нужна, и возвращаюсь сюда, к тебе». На мгновенье я замолчал, сам пораженный этими словами, которые вовсе не собирался произносить и которые вдруг вырвались сами, сам не знаю как. Потом, поняв, что отступать некуда, с усилием добавил: «Разумеется, если ты по-прежнему этого хочешь».

Несмотря на изумление, в которое повергло меня мое собственное предложение, я не мог еще раз не восхититься умением матери скрывать свои чувства: на своем светском языке она называла это умение — «держать форму». Я сказал ей сейчас то, чего она ожидала долгие годы, может быть, единственное, что могло доставить ей радость, и вот пожалуйста — ни один мускул не дрогнул в ее сухом, словно бы одеревеневшем лице, ничто не отразилось в ее стеклянных глазах. Медленно, голосом, который звучал более чем когда-либо неприятно, с интонацией светской дамы, которая обменивается в гостиной комплиментами с совершенно безразличным ей человеком, она сказала: «Как я могу не хотеть! В этом доме тебя всегда примут с распростертыми объятиями. Когда ты переедешь?»

— Сегодня вечером или завтра утром.

— Тогда лучше завтра утром, у меня будет время приготовить твою комнату.

— Договорились, завтра утром.

После этих слов мы некоторое время молчали. Я пытался понять, что произошло, уж не было ли моим истинным предназначением сидеть с матерью дома, мириться со скукой, заботиться о нашем фамильном состоянии и быть богатым. По-видимому, и мать тоже уже пережила момент изумления и радости по поводу неожиданной победы и теперь, судя по напряженному выражению сухого неподвижного лица, думала о том, как получше организовать эту победу, то есть планировала свое и мое будущее.

В конце концов она сказала безо всякого выражения: «Не знаю, нарочно ли ты так подгадал, но в общем это добрый знак. Сегодня твой праздник, и именно сегодня ты решил вернуться домой. Утром я уже говорила, что у меня есть для тебя сюрприз: будем считать, что я сделала его в связи с обоими событиями».

Я спросил без особого любопытства: «Какой сюрприз?»

— Пойдем, я тебе его покажу.

— Как бы то ни было,— сказал я раздраженно,— веселиться сегодня можно только по одному из двух поводов: по поводу моего возвращения домой. Вот это и есть праздник.

Почувствовала ли мать сарказм в моих словах? Или не почувствовала? Во всяком случае, она ничего не сказала. Она шла впереди меня, обходя дом по тротуару, пока мы не оказались на подъездной площадке. Там она решительными шагами подошла к красной спортивной машине, которая стояла рядом с моей, остановилась и положила руку на капот — совсем как те девушки, которые фотографируются на рекламах автомобильных фирм. «Ты как-то сказал, что хотел бы иметь быстроходную машину. Сначала я было подумала купить тебе гоночную, но они такие опасные, и тогда остановилась вот на этой. Агент фирмы сказал, что это последняя модель, выпущенная несколько месяцев назад. Она делает больше двухсот километров в час».

Я медленно подошел, спрашивая себя, сколько же может стоить автомобиль, который мать решила мне подарить: три миллиона, четыре? Машина была иностранной марки, исполнена в варианте «люкс», я знал, что автомобили этого типа стоят чрезвычайно дорого. А мать тем временем продолжала рассказывать мне о машине все тем же отвлеченно-любознательным, с оттенком сердечности, тоном, каким она говорила обычно о цветах своего сада. «Больше всего мне понравилось вот это,— сказала она, указывая на приборную доску, которая была вся черная, и никелированные кнопки и рычаги сверкали на этом черном фоне, как бриллианты на черном бархате ювелирной витрины.— А потом, мне нравится, что она надежна, как пара прочных башмаков ручной работы, предназначенных специально для дальних прогулок. Надежность, которая внушает доверие. Хочешь проехаться? Мы еще можем сделать небольшой круг до завтрака. У нас есть пара минут, но не больше — на сегодня у меня заказано блюдо, которое не должно перестаиваться».

Я пробормотал, тупо глядя на машину: «Если хочешь — пожалуйста».

— Да, давай-ка попробуем, ведь надо еще подтвердить агенту, что мы ее покупаем.



Ни слова не говоря, я открыл дверцу и сел за руль. Мать села рядом и, пока я запускал двигатель и включал передачу, продолжала снабжать меня информацией о машине, говоря все тем же доверительно-поучительным тоном. «У нее откидной верх. Но агент говорит, что зимой сюда не проникает ни малейшего дуновения ветерка. Впрочем, отопление тоже есть. А летом ты можешь ехать с поднятым верхом, так ведь приятнее».

— Да, разумеется, приятнее.

— А цвет тебе нравится? Мне показалось, очень красивый, я даже не захотела смотреть другие. Агент сказал, что металлизация эмали процедура дорогостоящая, но зато — как элегантно!

— Но очень непрочно,— не удержался я.

— Если эмаль обдерется, ее можно перекрыть.

Машина взревела, именно так, как ревут гоночные, я развернулся на площадке и быстро понесся по въездной аллее. Автомобиль был мощным и в то же время послушным, я чувствовал, как он буквально уходит из-под меня при малейшем нажатии на акселератор. Мы выехали из ворот, и я тут же вспомнил свое недавнее ощущение, когда, подъезжая сегодня к вилле, вдруг почувствовал, что возвращаюсь в лоно, которое меня породило. Сейчас я был внутри этого лона, и, видимо, мне уже не суждено было из него выбраться.

Выехав за ворота, я повернул направо и поехал по Аппиевой дороге в сторону Кастелли. День был хмурым и ветреным, и вершина Монте Каво была окружена черным дымящимся кольцом из грозовых туч. Все, мимо чего мы проезжали,— сосны, кипарисы, руины, поля, изгороди — казалось матовым от пыли и обожженным летним зноем. Мать в своей прежней непринужденной манере продолжала время от времени, словно бы исподволь, нахваливать машину, как будто открывая постепенно для себя все новые ее достоинства. Ни слова не говоря, я проехал всю Аппиеву дорогу до развилки, повернул влево, на большой скорости добрался до Новой Аппиевой, развернулся у семафора и двинулся назад.

— Ну, что скажешь? — спросила мать.

— Скажу, что по всем статьям это прекрасная машина. Впрочем, я мог сказать это при первом взгляде.

— Как это при первом взгляде, если это совсем новая модель, выпущенная всего месяц назад?

— Я имел в виду, что знаю машины этой марки.

Вот ворота, вот кипарисовая аллея, вот подъездная площадка подле виллы. Описав полукруг, я остановился, затянул ручной тормоз, некоторое время посидел молча и неподвижно, потом резко повернулся к матери и сказал: «Спасибо».

Она ответила: «Я купила ее просто потому, что она мне очень понравилась. Если бы я не купила ее для тебя, я взяла бы ее себе».

Мне казалось, что она ждет чего-то еще, по крайней мере, если судить по ее лицу — недовольному и требовательному. И я еще раз сказал: «Нет, правда, она мне очень нравится, спасибо». И, потянувшись, коснулся губами ее сухой, шершавой от пудры щеки. И она, видимо, для того, чтобы не показывать, как приятна ей моя ласка, сказала: «Агент посоветовал: перед тем как начать ездить — прочесть вот эту инструкцию». Она открыла бардачок и вынула оттуда желтую брошюру. «Дело в том, что этот тип машин требует очень осторожного обращения, они легко ломаются».

— Хорошо, я прочту.

— Имея такую машину, ты мог бы заняться и дальним туризмом. Например, отправиться осенью во Францию или Испанию.

— Поеду весной, в этом году я не могу.

— Весной тоже хорошо. Тут очень вместительный багажник — на три чемодана.

Вот теперь мать казалась полностью удовлетворенной; она даже поступилась формой, ибо по ней было видно — редчайший случай,— как она довольна. Мы пересекли площадку, и мать указала налево: там, в конце узкой и длинной аллеи, обсаженной лавровыми деревьями, виднелось небольшое красное одноэтажное здание. «А вон и твоя студия,— сказала она,— там все как было. Никто ни к чему не притрагивался, если хочешь, можешь начать работать хоть завтра».

— Но я же тебе сказал, что бросил живопись.

Она ничего не ответила. Может быть, она показала на студию лишь для того, чтобы заставить меня повторить, что я бросил живопись? Тем временем мы подошли к входной двери. Мать прошла вперед, бросив мне с повелительной интонацией:

— Иди мыть руки, потому что завтрак сейчас подадут.

Она отворила дверь, за которой, я знал, был коридор, ведущий на кухню, и исчезла. А я через другую дверь прошел в ванную. Очутившись посреди голубых кафельных стен, я сунул намыленные руки под теплую струю, невольно глядя на себя в зеркало. В этот момент позади меня приоткрылась дверь и я увидел в зеркале голову с то ли слишком короткими, то ли плохо подстриженными волосами: это была горничная, которая встретила меня, когда я приехал.

Не оборачиваясь, продолжая глядеть в зеркало, я спросил: «Как вас зовут?»

— Рита.

— Я вас никогда не видел.

— Я здесь всего неделю.

Я наклонился и с силой намылил лицо, хотя в этом не было никакой нужды: просто мне казалось, что я стал грязным от тоскливых мыслей. Смывая мыло, я услышал мягкий голос Риты: «Полотенце вот тут» — и покивал в знак того, что понял. Когда я снова поднял лицо, девушки уже не было. Я вышел из ванной и прошел через прихожую в гостиную, вернее, в анфиладу из четырех-пяти маленьких гостиных, которые занимали весь первый этаж.

Эти парадные комнаты для гостей, которые сообщались друг с другом посредством арок и дверей без створок, образуя как бы одно целое, были обставлены совершенно безлико, с той пышной и скучной безликостью, которая всегда отличает мебель, купленную исключительно из-за ее дорогой цены. Вы могли быть уверены, что не найдете тут ни одной вещи, которая была бы не из самых дорогих или, по крайней мере, не принадлежала бы к категории самых дорогих. У матери не было ни вкуса, ни культуры, ни любопытства, ни любви к прекрасному; критерием выбора при покупке для нее всегда служила цена: чем выше она была, тем несомненнее для нее было, что продаваемая вещь обладает свойствами красоты, утонченности и оригинальности, которые другим способом она просто не в состоянии была бы распознать. Разумеется, мать не сорила деньгами, напротив, она была очень бережлива, и сколько раз приходилось мне слышать, как восклицает она в магазине: «Нет, нет, это слишком дорого, не стоит об этом и говорить». Однако я знал, что, говоря это, она имеет в виду лишь собственную покупательскую способность, а вовсе не реальную ценность вещи, в которой она не понимала решительно ничего и которая, хотя и была ей не по карману, оставалась желанной именно потому, что стоила так дорого.

Благодаря такому критерию отбора в доме постепенно собралась коллекция мебели, совершенно бесстильной и не создающей никакого уюта, но добротной и внушительной, потому что помимо денежной стоимости мать огромное значение придавала прочности вещи и ее размерам, то есть тем двум качествам, которые она способна была разглядеть и оценить. Глубокие диваны, огромные кресла, гигантские абажуры, монументальные столы, тяжелые шторы, массивные безделушки — все в этих гостиных наводило на мысль о дорогостоящей и добротной роскоши. Впечатление усиливалось сиянием натертого воском паркета, полированных деревянных поверхностей, до блеска начищенной медной и серебряной утвари — чистота тоже была одной из характерных примет этого дома. И наконец, повсюду были вазы, в которых стояли букеты, выглядящие всегда почему-то немного похоронно: цветы для них мать каждое утро сама срезала в оранжерее.

Я заметил, что смотрю на все это не как обычно, рассеянно и равнодушно; мне как будто хотелось понять, какое впечатление производят на меня все эти вещи теперь, когда я решил вернуться. И обнаружил, что испытываю чувство какого-то извращенного постыдного удовлетворения, как будто уступил давнему искушению, продолжающему быть для меня отвратительным даже после того, как я ему поддался. Я подошел к старинному зеркалу в тяжелой раме, которое висело над консолью в глубине гостиной, взглянул в него и, неожиданно для себя, громко сказал: «Кретин» — то ли с яростью, то ли злорадно. И в ту же самую минуту услышал рядом какой-то шорох.

Я обернулся и увидел Риту, которая стояла около сервировочного столика с баром и смотрела на меня вопросительным взглядом сквозь толстые стекла очков в черной оправе. Я спросил себя, слышала ли она, как я обругал себя вслух, но по ее бледному хмурому лицу ничего нельзя было понять. Мгновенье помолчав, она сказала: «Синьора сейчас спустится. Пока она просила предложить вам аперитив. Что вы желаете?»

Я снова спросил себя, не было ли в ее голосе иронии, которую я не мог прочесть на ее лице. Но нет, голос был серьезный, по крайней мере, притворялся серьезным. Я сказал, что хотел бы виски, и она, взяв бутылку, очень точными движениями налила немного виски в стакан, разбавила водой, положила кубик льда и протянула мне, говоря: «Что-нибудь еще?»

Я ответил, что ничего больше не надо, и увидел, как она уходит, ступая в своих подбитых фетром туфлях совершенно бесшумно. Держа в руке стакан, я сел в одно из огромных кресел, зажег сигарету и принялся размышлять. Почему я обругал себя тогда, перед зеркалом? Очевидно, решил я в конце концов, самое опасное в этой комедии блудного сына, которую я разыгрывал перед самим собой, было то, что временами, именно тогда, когда я этого совсем не хотел, меня искушало желание устроить какое-нибудь скандальное безобразие. Иными словами, я был блудный сын особого рода, сын, который, падая в объятия старика отца, испытывает желание дать ему хорошего пинка, а съев праздничный обед, бежит в сад, чтобы его выблевать. Я не успел развить это интересное предположение, потому что вошла мать. «Рита дала тебе выпить?»

— Да, спасибо. Но кто она такая, эта Рита?

— Новенькая, с прекрасными рекомендациями; она служила раньше у американцев, но они уехали. Вообще-то у них она была чем-то вроде гувернантки, но тут детей нет,



и я сказала: «Вот что, милая, мне придется разжаловать вас в горничные. Решайте сами, подходит вам это или нет». Она, разумеется, согласилась: еще бы, при нынешней-то безработице!

Мать продолжала рассказывать о Рите и тогда, когда мы уже вошли в столовую, где сама Рита стояла возле буфета в нитяных перчатках, кружевной наколке и маленьком овальном передничке. Я хотел было сказать матери: «Тише, ведь Рита здесь», но посмотрел на угрюмое лицо в очках и внезапно совершенно точно понял, что она видела меня в тот момент, когда я, глядя в зеркало, обзывал себя кретином. Мне показалось, что в глубине души мне не было это неприятно, как будто с той минуты мы с Ритой вступили в отношения некоего тайного сообщничества. Я сел, села и мать, и, сев, сказала Рите: «Рита, синьор Дино — мой сын и с завтрашнего дня будет жить здесь. Не забудьте, если к телефону позовут синьора по имени Дино, то это мой сын».

Мы сидели один против другого за маленьким круглым столом в небольшой, но очень высокой комнате, положив руки на кружевную флорентийскую скатерть, на которой лежали столовые приборы из английского серебра и стояли тарелки из немецкого фарфора и французские хрустальные бокалы. За спиной матери поблескивало в полутьме резное светлое дерево голландского буфета, а позади меня, я знал, стоял венецианский буфет. Итальянское окно, выходившее в сад, было открыто, но шторы плотно задернуты, потому что мать не любила, как она говорила, чтобы садовники считали куски у нее во рту. Мать сама налила мне вина из хрустального, отделанного серебром графина, потом сказала Рите, что можно подавать. Девушка взяла с буфета поднос с фарфоровым сотейником и поднесла его матери. Та сухо сказала: «Подай сначала синьору Дино».

— Но почему? Сначала тебе!

— Нет, тебе.

— Рита, подайте сначала синьоре.

— Но ведь я почти ничего не ем,— сказала мать и кончиком ложки положила себе на тарелку какой-то крохотный кусочек. Рита подошла ко мне, и тогда я понял, чем это так вкусно пахло в саду из кухни: макаронная запеканка! Мать сказала: «Я знаю, что ты ее любишь, и потому приказала приготовить ее сегодня специально для тебя».

— Прекрасно! Прекрасно! — воскликнул я с мазохистским удовлетворением, наваливая себе в тарелку огромную порцию запеканки. Последнее время я ел совсем мало, а в особенности избегал блюд такого рода. И потому не мог не подумать о том, что комедия блудного сына таким образом продолжается. Я расхохотался. Мать забеспокоилась: «Чего ты смеешься?»

Я ответил: «Вспомнил, что читал где-то забавную пародию на историю блудного сына, помнишь ту, евангельскую?»

— Какую пародию?

— В евангельской истории блудный сын возвращается домой, отец принимает его со всевозможными почестями и закалывает в честь него упитанного тельца. А в пародии упитанный телец, знающий о своем предназначении, в страхе убегает, как только блудный сын возвращается домой. Телец заставляет себя подождать, потом наконец возвращается, и тогда на радостях, желая отпраздновать возвращение упитанного тельца, отец закалывает блудного сына и предлагает его тельцу.

Я знал, что мать не верит ни во что, кроме денег. Но, как я уже говорил, она верила в то, что называла «формой», а форма, кроме всего прочего, понуждала ее посещать церковь и, в общем, уважать все, что было связано с религией. Она сделала каменное лицо, потом сказала особенно неприятным голосом: «Ты же знаешь, что мне не нравится, когда ты смеешься над святынями».

— Да что ты, ни над какими святынями я не смеюсь. Но что такое мое возвращение, как не принесение в жертву блудного сына, которым являюсь я, упитанному тельцу, которым является здесь все остальное? — И я повел рукою вокруг, указывая на богатое убранство комнаты.

— Не поняла.

Как ни странно, у матери было своеобразное чувство юмора, правда, несколько тягостное и прямолинейное. Потому она тут же, не улыбнувшись, добавила: «Во всяком случае, могу сказать, что телец будет сразу за этой горой макарон, вот только не знаю, достаточно ли упитанный».

Я ничего не ответил и продолжал пожирать свои макароны с удовольствием, к которому примешивалось раздражение, потому что я на самом деле был голоден и запеканка была вкусная, но при этом я злился на самого себя за то, что она мне нравится. Потом я поднял глаза на мать и увидел, что она смотрит на меня неодобрительно. «Надо лучше прожевывать,— сказала она,— пища начинает перевариваться еще во рту».

— Какая гадость! Кто тебе это сказал?

— Все врачи это говорят.

Ее стеклянные голубые невыразительные глаза смотрели на меня поверх унизанных перстнями, скрещенных под подбородком рук — взглядом, трудно поддающимся определению. Я поспешно очистил свою тарелку, и мать тут же холодно сказала Рите своим

пронзительным голосом: «Положи синьору Дино еще». Рита, которая все это время стояла, прислонившись спиной к буфету позади матери, снова взяла фарфоровый сотейник и поднесла его мне. Я взял ложку, чтобы положить себе макароны, оставив левую руку лежать там, где она была, на краю стола. И вдруг почувствовал, как рука Риты, которой она придерживала поднос, легонько пожала мою, легонько, но так, что трудно было поверить в случайность этого прикосновения. Я не стал над этим особо раздумывать и снова принялся за еду. Потом спросил с отсутствующим видом:

— Ну, а чем ты теперь занимаешься?

— Что ты имеешь в виду?

— То, что я сказал. Чем ты занимаешься?

— О, я живу точно так, как и раньше, ты же прекрасно все знаешь!

— Да, но за все те годы, что я жил не дома, я ни разу не спросил тебя, чем ты занимаешься. А раз уж я возвращаюсь, мне интересно это знать. Может быть, у тебя все переменилось.

— Я не люблю ничего менять. Мне нравится сознавать, что я живу сейчас точно так же, как жила десять лет назад и буду жить десять лет спустя.

— Но я-то ведь не знаю, как ты живешь. Ну, скажем так,— во сколько ты просыпаешься по утрам?

— В восемь.

— Так рано? Но я часто звоню тебе в девять, и мне говорят: синьора еще спит.

— Да, бывает, я сплю и подольше, когда поздно ложусь.

— А проснувшись, что ты делаешь? Завтракаешь?

— Ну разумеется.

— В спальне, в столовой?

— В спальне.

— В постели или за столом?

— За столом.

— Что ты ешь на завтрак?

— Всегда одно и то же: тосты и апельсиновый сок.

— А после завтрака что ты делаешь?

— Иду в ванную комнату.

Мать отвечала на мои вопросы слегка раздраженно, но с достоинством и не без удивления — как будто я подвергал сомнению то, что по утрам она, как все люди, завтракает и моется.

— Ты принимаешь ванну или душ?

— Ванну.

— Ты моешься сама или тебе помогает горничная?

— Горничная доводит воду до нужной температуры, кладет ароматические соли, а потом, когда все готово, помогает мне мыть те части тела, которые мне самой не достать.

— А потом?

— А потом я выхожу из ванны, вытираюсь и одеваюсь.

— Горничная помогает тебе одеваться?

— Она помогает мне натянуть чулки. Одеваться я люблю сама.

— А ты разговариваешь с горничной, когда моешься и одеваешься?

Мать вдруг, видимо невольно, рассмеялась — нервно и раздраженно: «Знаешь, очень странные ты задаешь вопросы. Я могла бы и не отвечать. Моя интимная жизнь никого не касается».

— Разве я спрашиваю тебя, о чем ты думаешь? Я спрашиваю только о том, что ты делаешь. Постарайся меня понять. Ведь я возвращаюсь домой после десятилетнего отсутствия. Естественно, что мне хочется снова тут освоиться. Итак, ты разговариваешь с горничной?

— Ну разумеется, разговариваю, она же не автомат, она живой человек.

— А когда ты надеваешь драгоценности — до платья или после?

— В последнюю очередь.

— А в каком порядке, то есть что сначала, а что потом?

— Знаешь, кого ты мне напоминаешь? Полицейского из детективного романа, когда он начинает расследование.

— Но мне и в самом деле нужно кое-что расследовать.

— И что же?

— Сам пока не знаю. Знаю только, что нужно. Так в каком порядке ты надеваешь драгоценности?

— Сначала кольца и браслеты, потом ожерелье, потом серьги. Ты удовлетворен?

— А когда ты уже полностью одета, что ты делаешь?

— Спускаюсь вниз и отдаю распоряжения кухарке.

— То есть пишешь меню для обеда и ужина?

— Да.

— А потом?



— Иду в сад, нарезаю цветы, приношу их домой, расставляю по вазам. Или гуляю и разговариваю с садовниками. В общем, занимаюсь садом.

— А после сада что делаешь?

Она взглянула на меня, потом ответила с оттенком торжественности в голосе: «Иду в кабинет и начинаю заниматься делами».

— И это каждый день?

— Да, каждый день, всегда находится какое-то дело.

— И что конкретно ты делаешь?

— Ну что... пишу, принимаю посетителей.

— То есть к тебе приходят адвокаты, сборщики налогов, биржевые маклеры, доверенные лица, да?

Внезапно она снова рассмеялась, но на этот раз каким-то довольным, почти чувственным смехом — верный признак того, что я попал в самую точку: «Вероятно, моя работа кажется тебе ерундой. Что и говорить, это не живопись, но все-таки довольно тяжелый труд, который отнимает у меня всю первую половину дня, а иногда и вторую».

— Но эта работа тебе нравится?

— Да, но иногда у меня даже начинает болеть голова, вот тут, в затылке.

— Так не нужно так надрываться.

Мать снова некоторое время смотрела на меня каким-то сочувственным взглядом, потом сказала своим режущим слух, каркающим голосом: «Я делаю это для тебя, я хочу, чтобы твое состояние не только сохранялось, но и росло».

— Мое состояние? Это твое состояние!

— Когда я умру, оно станет твоим.

— Ты еще совсем молода, я уверен, что умру раньше. От скуки. Ну ладно, скажем так: «наше состояние». Так как обстоит дело с нашим состоянием? Каково оно?

— Ну, знаешь, ты действительно ведешь себя очень странно. С состоянием все в порядке благодаря моим стараниям. Если бы не я, сейчас у нас не было бы ни гроша.

— Так что, мы очень богаты?

На этот вопрос мать не ответила, ограничившись тем, что сделала каменное лицо с совсем уже стеклянным взглядом. Потом сказала: «Рита, что вы там стоите столбом? Почему бы вам не взглянуть, готово ли второе?» Я увидел, как Рита вздрогнула, словно пробуждаясь от сна, и вышла. Мать сразу же сказала: «Послушай, ведь я же всегда тебя просила не говорить о деньгах при слугах».

— Почему? Я бы еще понял, если бы мы говорили о чем-то неприличном. Но о деньгах? Разве деньги — это неприлично?

Мать, опустив глаза, покачала головой, как бы не желая даже опровергать мои доводы: «Они бедны, и не следует хвастаться богатством перед тем, кто беден».

— Да брось, ты просто никогда не хочешь говорить о деньгах, даже когда мы одни. У тебя сразу делается такое лицо, будто ты шокирована: можно подумать, что речь идет не о деньгах, а о сексуальных проблемах!

И снова покачивание головой: «Нет, мне как раз нравится говорить о деньгах, но всему есть время и место; раз ты возвращаешься домой, нам даже надо о них поговорить. После завтрака пойдем ко мне в кабинет, и я предоставлю всю интересующую тебя информацию».

В этот момент вошла Рита, неся длинный овальный поднос, на котором среди пучков зелени и овощей лежал разрезанный на множество кусков тот самый телец, о котором говорила мать. И я тут же, как ни в чем не бывало, спросил, словно побуждаемый каким-то злым демоном: «И все-таки ты мне не ответила: мы очень богаты или нет?»

На этот раз она ограничилась просто молчанием, но я почувствовал, что под столом ее нога ищет мою, чтобы наступить на нее. Затем она сказала Рите: «Обслужи синьора Дино, я мяса не ем».

Эта нога, наступившая на мою, вызвала во мне буквально взрыв отчаяния. Мать наступала мне на ногу, как делают обычно любовники, разница была только в том, что мы были не любовники, а мать с сыном, и связывала нас не любовь, а деньги. И я не мог отказаться от этой связи, потому что это означало бы отвергнуть кровные узы, которые за ними стояли. Итак, поделать было ничего нельзя, хочешь не хочешь, а я был богат, и опровергать это было то же самое, что признавать.

Между тем мое отчаяние вылилось в совершенно неожиданные поступки. Когда, протягивая мне поднос с телятиной, Рита склонила надо мной свою цветущую грудь и веснушчатое непроницаемое лицо с красивым бледным ртом цвета герани, я, пользуясь подносом как прикрытием, обхватил ее запястье и стал подниматься по руке все выше и выше. При этом другой рукой я с помощью вилки накладывал себе еду, а когда кончил, отложил вилку и снова холодно возобновил свой допрос: «Так богаты мы или нет?» И еще раз почувствовал на своей ноге ногу матери. Тогда я сказал: «Рита, пожалуйста, можно вас на минуточку?»

Рита послушно вернулась и протянула мне поднос второй раз. Я снова взял в руки вилку и принялся выбирать на подносе куски мяса и зелень, а другую в это время опустил

под стол и стал подниматься по ноге Риты все выше и выше, до самого бедра. Сквозь пышные складки юбки моя рука чувствовала, как подергиваются ее мышцы — совсем как у лошади, которую гладит хозяин. При этом ничто не отразилось на ее лице, в котором действительно, это мне не показалось, было что-то лицемерное. В конце концов Рита отошла, а я, поймав ее быстрый взгляд, устанавливавший между нами отношения тайного сообщничества, вынужден был констатироввть, что прямо сейчас, еще до переезда, я оказался в положении несравненно худшем, чем десять лет назад: в ту пору, что бы ни случилось, я бы все-таки не стал лапать собственную горничную.

Мать сняла ногу с моего ботинка в тот самый миг, когда я оторвал руку от Ритиного бедра: это совпадение было странным, можно было подумать, что мать действовала со мной заодно. Я же сразу возобновил прерванный разговор: «Итак, ты работаешь до часу и позже каждый день?»

— Каждый день, кроме воскресенья.

— А в воскресенье что ты делаешь?

— Хожу к мессе.

— В какую церковь?

— Святого Себастьяна.

— Что ты делаешь в церкви?

— То же, что и все, слушаю мессу.

— А ты когда-нибудь исповедуешься?

— Разумеется, исповедуюсь. И причащаюсь.

— И священник отпускает тебе грехи?

— Мне никогда не приходилось исповедоваться в слишком тяжких грехах,— сказала мать с некоторым даже кокетством.— Знаешь, что говорит мне иногда дон Луиджи? «Синьора, вы кончаете там, где другие только начинают». Да и какие могут быть грехи в мои годы?

И она посмотрела на меня, как бы говоря: я давно уже отказалась от того единственного, что могло заставить меня согрешить.

После небольшой паузы я возобновил разговор: «Вернемся к твоему расписанию. Итак, в будни ты по утрам работаешь, ну, а потом?»

— А потом обедаю.

— Одна?

— Да, утром я всегда ем одна. Лишь изредка приглашаю адвоката; в тех случаях, когда мы не успеваем кончить какое-нибудь дело и должны продолжать его во второй половине дня.

— А кто этот адвокат? Де Сантис?

— Да, по-прежнему он.

— Ну, а после завтрака?

— После завтрака я гуляю в саду.

— А потом?

— Иду отдыхать.

— То есть спать?

— Нет, я не сплю, просто снимаю туфли и, не раздеваясь, ложусь в постель. Но не сплю: лежу, думаю.

— О чем?

И я снова увидел, как она рассмеялась, смущенно и нервно, словно девушка, которую заставляют говорить о любви. «Ну, когда как. Скажем, сейчас, в последние дни, знаешь, о чем я думала?»

— О чем?

— Я думала о доме, который продается на набережной Фламинио. Редкостная оказия — одно местоположение чего стоит. К сожалению, сейчас я не могу себе этого позволить, но все равно об этом думаю. А иногда и думаю о вещах, которые могу себе позволить, как, например, вот это.— Она протянула руку и показала мне кольцо с огромным изумрудом, окруженным бриллиантами.— Я долго думала, взвешивала все «за» и «против» и в конце концов решилась и купила.

— Ну, а когда отдохнешь, что ты делаешь?

— Да что же это, в конце концов, такое, допрос, что ли?

— Я тебе уже говорил, что хочу войти в курс твоей жизни.

Очень неохотно она сказала: «Ну мало ли что, делаю, например, визиты».

— Кому?

— Когда как: бывает, надо пойти на какой-нибудь прием или коктейль, а кроме того, у меня есть подруги.

— И много у тебя подруг?

— Почти все, с кем я дружила в пансионе, я и сейчас с ними дружу,— сказала мать с неожиданно задумчивым видом.— Не знаю почему, но после пансиона у меня не появилось ни одной новой подруги.

— И что вы делаете?



— А что ты хочешь, чтобы мы делали? Что обычно делают дамы, собравшись вместе? Болтаем, пьем чай или мартини, играем.

— Во что играете?

— Какой ты надоедливый! Ну в бридж, или в канасту, или в покер. Иногда устраиваем соревнования по бриджу или канасте.

— А, да, помню, благотворительные состязания.

— В последний раз мы устраивали их в пользу потерявших зрение на войне.

— На войне? В каком-то смысле мы все потеряли зрение на войне, ты не находишь?

— Что-то я тебя не поняла. Но если это шутка, то, по-моему, весьма сомнительная.

— Ну, неважно. А к портнихам ты ходишь?

— Раз уж я не хожу голая, значит, у меня должна быть портниха. Кстати, хорошо, что ты напомнил, иначе бы я забыла: завтра показ мод у Фанти.

— А, Фанти! Все та же Фанти. Неужели она еще жива?

— Бедняжка, почему она должна умереть? Она не только жива, она прекрасно тебя помнит, помнит, как ребенком ты приходил к ней со мной. Она всегда спрашивает, что ты делаешь, как твое здоровье, надеется, что, когда ты женишься, ты приведешь к ней свою жену.

— А вечерами что ты делаешь?

— Ужинаю, чаще всего одна. Иногда даю обеды человек на шесть — на восемь, а после обеда приходят еще и другие. А то хожу в театр или кино с друзьями, все теми же. Но чаще всего смотрю телевизор.

— А, так ты купила телевизор, а я и не знал.

— Разве я тебе не говорила? Я поставила его в одной из гостиных. Иногда приходят соседи, и мы смотрим вместе. А иногда я смотрю одна. Мне нравится телевидение, оно лучше кино: не надо выходить из дому, можно сидеть в удобном кресле и при этом что-то делать. Представь себе, я снова начала вязать после стольких лет. Вяжу сейчас свитер.

— А после телевизора что ты делаешь?

— А что можно делать в это время?

— Ну, к примеру, читать.

— Да, верно, я и читаю, чтобы уснуть. Сейчас, например, читаю интересный роман.

— А кто автор?

— Не помню, роман американский. Из жизни маленького провинциального городка.

— Как называется?

Увидев неуверенность на ее лице, я поспешно добавил: «Я забыл, что ты никогда в жизни не могла запомнить ни автора, ни названия книги, которую читаешь. Правда?»

Мой тон, когда я это говорил, был почти ласковым, а кроме того, ей должен был доставить удовольствие тот факт, что я хоть что-то о ней помнил. Она смущенно засмеялась: «Нет, неправда. Но только некоторые имена очень трудно запомнить. А потом, для меня главное — это убить время. Кто автор, мне все равно».

— Ты права. А перед сном ты, как и раньше, пьешь настой ромашки?

— Неужели ты и это помнишь? Да, пью ромашку.

— Тебе приносят его в спальню? Ставят на тумбочку?

— Да, на тумбочку.

Внезапно я замолчал, почувствовав, что по горло сыт всей этой белибердой. Я подумал, что мог бы говорить с матерью часами, но так ничего и не добиться: и ее жизнь, и она сама были настолько лишены всякого содержания, что сделались замкнутой в себе тайной — нелепой и все-таки непостижимой. Потом мать сказала: «Ну что, допрос окончен? Или тебе еще надо знать, какие мне снятся сны?»

— Я совершенно удовлетворен.

Снова пауза. Потом мать неожиданно сказала: «Твоя мать очень одинокая женщина, у нее нет никого, кроме тебя, и она счастлива, что ты возвращаешься».

Я понял, как она взволнована, когда услышал, что она говорит о себе в третьем лице. Мне хотелось сказать ей что-нибудь ласковое, но я не сумел. К счастью, Рита в этот момент поднесла мне поднос с какими-то очень изысканными сладостями, и я сделал вид, что восхищен:

— Какой прекрасный десерт!

— Это твой любимый.

Я положил порцию себе на тарелку, отметив при этом, что Рита теперь держится от стола на некотором расстоянии. Я не понял, делала ли она это для того, чтобы продемонстрировать мне свое недовольство, или, наоборот, то было своеобразное кокетство, которое только притворялось неудовольствием. Мать, которая к сладкому даже не притронулась, не отрываясь смотрела на меня, покуда я ел. Под конец она сделала Рите какой-то знак, который я не понял. Девушка вышла и через некоторое время появилась снова с ведерком, из которого торчала бутылка шампанского.

— А сейчас мы выпьем бокал шампанского за твое здоровье.

Я увидел, как Рита движением, свидетельствовавшим о большом опыте, вынула из

ведерка бутылку, содрвла с горлышка серебряную фольгу и извлекла пробку без вякого шума и пены. Разлив шампанское по бокалам, она поспешно вышла, словно не желала нарушать саоим присутствием праздничный ритуал.

И вот я стою с бокалом а руке напротив матери, которая, тоже встав, протягивает мне свой. Не зная, что сказать, я произнес традиционное: «Еще сотню таких дней».

Мать засмеялась: «Но это же я должна сказать. Ты забыл, что это твой праздник, а не мой».

И тут я не выдержал: «О нет, праздник сегодня как раз у тебя: я бросил живопись, я возвращаюсь домой, к тебе. Так что: „еще сотню таких дней“».

И чокнулся с матерью, которая на этот раз сделала вид, что не услышала моего тоста. Потом, уже отпив и поставив бокал на стол, она сказала: «Недостаточно заморожено».

— Почему? Мне показалось, шампанское замечательное.

— Да, но оно мало полежало во льду.

Она снова взяла бокал и выпила его до дна. Потом нажала кнопку звонка, вделанного в стол. Вновь появилась Рита. Мать сделала ей замечание по поводу недостаточно замороженного шампанского, хотя, по-видимому, не ожидала никакого ответа. Потом сказала, что кофе мы будем пить в кабинете. Трапеза была окончена.

Мы вышли из столовой и направились в кабинет, небольшую комнату, которая находилась в одном из угловых помещений первого этажа. Я заходил в эту комнату не очень охотно, больше того, я ее избегал, потому что частенько думал о том, что это храм, принадлежащий религии, которую я меньше всего мог считать своей. Именно в этой комнате, сидя в кожаном кресле, обитом медными гвоздиками, перед большим барочным дубовым столом, спиной к книжным шкафам, где было мало книг и много гроссбухов, мать в одиночестве или в обществе доверенных людей совершала столь волнующие ее обряды заключения сделок. И в тот день я тоже последовал за ней неохотно и уже в кабинете, не удержавшись, сказал: «А почему здесь, почему бы нам не пройти в гостиную?»

Казалось, мать не расслышала моего вопроса. Она села за стол и знаком попросила меня занять место напротив, в кресле, предназначенном для ее собеседника во время деловых переговоров. Потом пошарила в сумке, вынула ключ, слегка откинуашись отперла и выдвинула ящик письменного стола и извлекла оттуда узкую длинную черную тетрадь, поразившую меня своим видом: было в ней что-то, напоминавшее о религиозных церемониях. Я тут же вспомнил, что это была та самая тетрадь, где в идеальном порядке было заприходоаано все принадлежавшее нам имущество. Мать задвинула ящик, положила тетрадь перед собой, пристально взглянула на меня глазами, сделавшимися еще более стеклянными, чем обычно, потом сказала: «Ты только что спрашивал, богаты мы или нет, но при горничной я не хотела говорить. Однако я все равно довольна, что ты меня об этом спросил. Сейчас я представлю тебе все сведения, какие ты только пожелаешь, потому что,— добавила она неожиданно деловым голосом,— самым большим моим желанием как раз всегда и было, чтобы ты помогал мне в управлении делами, чтобы ты, немного попрактиковавшись, кое в чем меня заменил. Тем более, что ты бросил живопись и, следовательно, у тебя теперь будет время».

При последних словах я вздрогнул: с каким спокойствием, с каким удовлетворением мать произнесла «ты бросил живопись»; она совершенно не понимала, что это было все равно что сказать: «ты бросил жить». И уже без прежней задиристости, даже сделав над собой некоторое усилие, я сказал: «Ну так и что, богаты мы или нет?»

Некоторое время она молчала, глядя на меня со странной торжественностью. Потом наклонилась ко мне и понизила голос: «Мы не просто богаты, Дино, мы очень богаты. Благодаря твоей матери ты сегодня очень богатый человек».

— Что значит «очень богатый»?

— «Очень богвтый» значит нечто большее, чем просто богатый.

— Но нечто меньшее, чем богатейший?

— Да, нечто меньшее.

Мать говорила сейчас с некоторой рассеянностью. Нацепив монашеского вида очки в золотой оправе, она листала страницы своей черной тетради. «Впрочем, только цифры дадут тебе понять... итак... где же это... а, вот оно, так вот, только цифры дадут тебе понять, что значит „очень богатый“».

Я понял, что она собирается предоставить мне обещанную информацию, и внезапно почувствовал неудержимое отвращение. «Нет, бога ради, не надо,— торопливо воскликнул я,— я не хочу знать, что такое „очень богатый“. Я верю тебе на слово».

Мать подняла глаза от тетради, сняла очки и посмотрела на меня. «Но ты должен это знать, хотя бы для того, чтобы, как я уже говорила, помогать мне вести дела».

Я чуть было не заорал: «Да не желаю я тебе помогать!», но тут, к счастью, вошла Рита, неся на подносе кофе. При виде Риты мать снова замолчала — как священник при виде неверующего. Резко захлопнув тетрадь, она сказала: «Разливайте кофе, Рита». И пока Рита, стоя около меня, наливала в чашечки кофе, я все думал, как мне избежать этого кошмара, то есть объяснения того, что значит «очень богатый». Рита снова стояла ко мне очень близко, почти касаясь ногой моего колена. Потом, повернувшись ко мне, она протянула чашку. Рука у меня непроизвольно дернулась, чашка опрокинулась на блюдечко, и кофе пролился прямо на мои светлые брюки, ногам сразу ствло горячо и мокро. «Черт возьми,— воскликнул я, притворяясь огорченным,— мои брюки!»



— Рита, неужели нельзя поосторожнее,— упрекнула ее мать, не успевшая понять, что случилось.

Я поторопился вмешаться: «Рита тут ни при чем, это я сам. Но так или иначе, на брюках теперь останется пятно».

— Ничего страшного,— сказала Рита,— кофе был без сахара, я сейчас принесу воды и ототру.

Это предложение не понравилось матери, которая тут же властно возразила своим неприятным голосом: «Ни в коем случае. Пятно не сводят прямо на человеке. Синьор Дино снимет брюки, вы их выстираете и отгладите».

Я взглянул на Риту, которая стояла около стола с лицом, выражавшим смиренное послушание; она сказала совершенно серьезно: «Синьор Дино снимет брюки прямо сейчас или мне подождать?»

— От кофе может остаться пятно,— сказала мать,— будет лучше, Дино, если ты снимешь их сразу.

— Но не могу же я снимать их прямо здесь, посреди гостиной?

Я увидел, что Рита отвернулась, может быть, для того, чтобы скрыть улыбку. Мать сказала: «Так поди в свою комнату, там сними брюки и отдай их Рите. Потом надень халат — он висит в шкафу — и спускайся вниз. Тем временем я приготовлю документы, которые мне нужно тебе показать».

Так мы и вышли, Рита и я, она впереди, почти бегом, успев бросить мне на ходу: «Знаете, я пойду первая, комната все время стояла запертая, я, по крайней мере, окна открою», а я за ней, с изумлением думая о том, что все разворачивается по неписаным, но непреодолимым законам классических историй со служанками. Не кто иной, как мать создает для сына повод уединиться с горничной, сын с горничной направляются к постели, в которую вот-вот лягут вместе, притворяясь друг перед другом, что приняли всерьез подсказанный матерью предлог,— горничная, возбужденная своим честолюбивым послушанием, сын, возбужденный своим унижением господина. Размышляя надо всем этим, я поднялся на третий этаж и направился к комнате, в которую передо мной вошла Рита.

Войдя, я увидел, что Рита, свесившись из окна, распахивала жалюзи; дождавшись, когда она повернула ко мне раскрасневшееся от ходьбы, а может быть, и от возбуждения лицо, я сухо сказал: «Подождите в коридоре, я вас позову».

Когда она вышла, я медленно подошел к окну и стал там спиной к двери, отрешенно глядя на раскинувшийся внизу сад. Я не люблю вспоминать прошлое, и меня не волнуют места, где я когда-то бывал, но все же это был день, когда я решил вернуться, притом вернуться после десятилетнего отсутствия, и потому не удержался от того, чтобы не сравнить нынешнее свое душевное состояние с тем, десятилетней давности. Так вот, увидев сначала ампирную мебель гостиной, а теперь геометрическую планировку сада, все оставшееся точно таким, каким было, я заметил, что испытываю какое-то унылое облегчение при мысли, что и я тоже нисколько не изменился. Да-да, нисколько не изменился: возвращаясь к матери, я возвращался к старым своим привычкам, и может, постепенно снова начну рисовать в той самой студии в глубине парка, которая тоже осталась такой же, как и была. Кто знает, может быть, так же, как после переезда на улицу Маргутта, когда я, пусть ненадолго, поверил в свои силы, я и теперь, после переезда к матери, снова на какое-то время поддамся иллюзии, будто могу писать картины; в сущности, жизнь и состоит из постоянных перемен точек зрения, она — как неудобная постель, где нельзя долго лежать на одном боку. Тут я взглянул на постель и, увидев, что на ней нет ни одеяла, ни простыней, а матрас скатан, как обычно делается это в нежилых комнатах, внезапно понял, что не так уж это хорошо, как мне казалось,— то, что ничего за это время не изменилось ни вокруг, ни во мне самом.

Да, ничего не изменилось, это правда, но именно потому мне снова угрожало отчаяние, то самое, которое в свое время погнало меня из дому. Ничего не изменилось, но, так как время даром не проходит, все стало немного хуже, хотя и осталось по существу таким же. Скажем, вот сейчас: покуда мать ждала меня в кабинете, чтобы с документами в руках объяснить мне, что значит быть богатым, в коридоре меня ждала Рита — чтобы я ее позвал и повалил в постель; две эти вещи только кажутся далекими друг от друга, на самом деле они связаны между собой точным и тонким механизмом. Существование этого механизма не было для меня новостью, я давно о нем подозревал, но никогда он не представал передо мной с такой ясностью, как сейчас,— так в витрине авиаконторы видишь авиационный мотор в разрезе, со всеми его многочисленными сложными деталями. Это был механизм отчаяния, который, стоит мне вернуться, заставит меня переходить от ощущения собственного богатства к творческому бессилию, от бессилия к скуке, от скуки к Рите или какому-нибудь другому унижению в том же роде. Уж лучше в таком случае вернуться в студию на улицу Маргутта, где отчаяние выражало себя просто в чистом холсте, который мне не суждено было превратить в кввртину.

Тут я услышал тихое, но откровенно нетерпеливое и доверительное царапанье в дверь и, не успев отдать себе отчет в том, что делаю, расстегнул ремень, снял брюки, раскатал на кровати матрас и лег. Затем крикнул Рите, что она может войти.

Она вошла в тот же миг и, увидев меня лежащим, повернулась, чтобы запереть дверь. Я лежал неподвижно, вернее, неподвижным оставалось во мне все, кроме той части тела, к которой желание вызвало прилив крови. Прижав подбородок к груди, я не отрываясь смотрел именно туда: так труп, распростертый на катафалке, может показаться разглядывающим собственное тело, убранное и готовое к выносу. Рита тем временем подошла к кровати и, остановившись около нее, разглядывала меня сквозь придающие ей такой лицемерный вид очки так, как могла бы разглядывать какой-то непонятный и достойный всяческого изучения предмет. Я протянул руку, схватил ее безвольно висящую кисть и потянул так, как тянут за узду не столько брыкливую, сколько боязливую лошадь; почувствовав, что вся она устремилась следом за рукой, я дотянул ее пальцы до этой части своего тела и, установив их там, отпустил. Теперь Рита стояла неподвижно, немного подавшись вперед, с румянцем, внезапно вспыхнувшим под черной оправой очков. Потом она сказала каким-то странным тоном — очень медленно, словно бы с глубочайшим удовлетворением: «Какая мерзость». Я удивился, так как это были именно те слова, которые сказал бы я сам, если бы захотел выразить то смешанное чувство отвращения и возбуждения, которое испытывал в этот момент.

Когда все кончилось, я испустил глубокий вздох и спросил, не глядя на нее, шепотом: «А зачем ты сюда пришла?»

Она пожала плечами и ничего не ответила, казалось, что она не в силах говорить.

— Оттереть пятно. Ну так иди оттирай, чего же ты ждешь?

Я видел, как она вздрогнула, словно ее ударили по лицу, с усилием, один за другим, разжала пальцы, потом исчезла из поля моего зрения. Наверное, она вышла из комнаты, потому что я слышал звук открываемой и закрываемой двери. Удостоверившись, что она ушла, я вскочил с кровати и открыл шкаф. Как я и думал, рядом с шелковым халатом, о котором говорила мать, висел в своей целлофановой упаковке единственный из костюмов, который я не увез, переезжая в студию,— смокинг. Я взял брюки и надел. Они сидели довольно хорошо, разве что были чуть-чуть велики — десять лет назад я был толще, кухня матери была богаче и питательнее, чем скромные траттории, которые я теперь посещал. Я посмотрел на себя в зеркало: в коричневом пиджаке с черными брюками я был похож на уволенного официанта. Приоткрыв дверь и убедившись, что там никого нет, я поспешно спустился по лестнице, коридором, минуя гостиную, вышел в прихожую, а оттуда на подъездную площадку перед домом.

Две машины, старая и новая, стояли рядышком перед входом. Затянутое облаками небо, деревья, дом отражались в сияющем кузове новой машины, старая же казалась особенно тусклой, такой же тусклой, каким становился вокруг меня мир, когда меня обволакивала скука. Я вырвал листочек из записной книжки и написал: «Спасибо, но я предпочитаю старую машину. Твой любящий сын Дино», и подсунул его под стеклоочиститель, куда полицейские засовывают обычно квитанции на штраф. Потом сел в свой автомобиль, завел мотор и уехал.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

В том же доме на улице Маргутта, где жил я, в коридоре первого этажа, через три двери после моей, была дверь, которая вела в студию старого художника Балестриери. Я часто его встречал, обменивался с ним незначащими фразами, но никогда у него не бывал: как все мужчины, которые думают только о женщинах, Балестриери был крайне, почти оскорбительно холоден с представителями своего пола независимо от их социального положения и возраста — вероятно, он видел в них потенциальных соперников. Балестриери был маленький, но широкоплечий и с огромными ногами, причем два этих своих недостатка он не только не старался скрыть, но, наоборот, подчеркивал, нося всегда просторные спортивные пиджаки в крупную клетку и старомодные, узконосые, ярко начищенные ботинки. В лице у него было что-то от карнавальной маски или помпейского сатира: белые серебряные волосы, багровое лицо, черные как уголь брови, большой нос, огромный рот, острый подбородок. В выражении лица было что-то приторное и в то же время раздраженное. Кое-кто из пожилых художников, хорошо знавших Балестриери, говорил, что он был эротоман и начал в молодости заниматься живописью только для того, чтобы заманивать в студию женщин под предлогом позирования. Ну а потом он уже просто привык рисовать, а рисовать значило для него рисовать обнаженное женское тело. Так как человек он был обеспеченный, работал он не ради заработка и никогда не выставлялся; в каком-то смысле он рисовал для самого себя; его друзья говорили мне, что он так привязывался к своим картинам, что в тех редких случаях, когда решался какую-нибудь из них подарить, он делал копию и отдавал ее вместо оригинала. Что касается их качества, то все единодушно сходились на том, что это была очень плохая живопись. Заинтригованный, я несколько раз пытался заглянуть со двора в огромное окно его студии и рассмотреть его картины: я видел большие темные полотна, на которых с трудом можно было различить огромные женские тела — с преувеличенными формами и в ненатуральных позах.

Студию Балестриери посещало множество женщин. В мое окно было видно, как идут они через двор и исчезают за дверью, которая вела в коридор первого этажа. Я не сомневался, что они идут к Балестриери, потому что в двух других студиях жили художники с семьями и, кроме того, натурщицы были им не нужны, так как оба они занимались абстрактной живописью. Женщины Балестриери свидетельствовали о широте его вкуса: молодые и зрелые, дамы и простолюдинки, девушки и замужние женщины, блондинки и брюнетки, худые и толстые, маленькие и высокие. Балестриери, неразборчивый, как все донжуаны, был, видимо, не слишком привередлив и коллекционировал приключения, больше заботясь об их количестве, чем о качестве. Очень редко заводилось у него то, что называется связью, то есть более или менее длительные отношения с одной и той же женщиной; но даже когда такое случалось, он не отказывался от других эпизодических приключений. В первые годы моего обитания на улице Маргутта сам Балестриери и его образ жизни интриговали меня настолько, что некоторое время я за ним даже шпионил. Я дошел до того, что пытался составить статистику женских посещений: до пяти разных женщин в месяц, то есть каждые шесть дней новая, частота визитов — два раза в день. Балестриери было пятьдесят пять лет, когда я его увидел впервые, а в описываемую пору — шестьдесят пять; однако за эти десять лет я не заметил в его образе жизни никаких перемен: женщин было столько же, сколько раньше, так что можно было подумать, что время для него стоит на месте.

Вернее, перемены были, но выразились они не в уменьшении числа женских посещений, как можно было бы предполагать, а, напротив, в их увеличении. Эротизм Балестриери, который я сравнивал для себя с вулканом, пребывающим в состоянии умеренной, но постоянной активности, достиг к его шестидесятилетию стадии настоящего пароксизма. Женщин, которые проходили через наш двор и стучались в дверь старого художника, стало, на мой взгляд, больше; кроме того, я заметил, что почти все они были теперь очень юными девушками: как и все развратники, Балестриери стал с годами предпочитать подростков. Я сказал, что эротизм его вошел в стадию пароксизма, но если выражаться точнее, то это было просто своего рода зацикливанием, возможно, бессознательным, на одном типе женщин, путем исключения всех прочих. Иными словами, Балестриери, сам того не сознавая, перестал быть донжуаном-коллекционером, каким он был до сих пор, и впервые в жизни посвятил себя одной женщине. Ибо теперь бесчисленные его девушки, все примерно одного возраста, стали как бы подступами, и все более удачными, к одному определенному и все более уточнявшемуся типу женщины; то были наброски идеального образа, который рано или поздно должен был обрести реальное воплощение. И в самом деле, настал момент, когда поток юных девушек, устремлявшихся в студию Балестриери, вдруг иссяк, уступив место одной-единственной посетительнице, появление которой они подготовили и которая как бы вобрала в себя их всех.

У меня была возможность рассмотреть ее очень внимательно, между прочим, и потому, что и она, как я заметил, меня рассматривала. Одетая, как юная балерина, по моде того времени в легкую, свободно драпирующуюся блузку и очень короткую и пышную, словно на кринолине, юбку, она была похожа на перевернутый цветок с неровным подрагивающим венчиком, так что ножки ее были у этого цветка как бы пестиками. Лицо у нее было круглое, как у ребенка, но ребенка рано повзрослевшего и до времени приобретшего женский опыт. Она была бледная, легкие тени под скулами сделали щеки более худыми, чем они есть, вокруг лбчика буйно вились черные кудри. Маленький рот был похож на не успевший раскрыться и уже увядший бутон, от его углов отходили две тонкие глубокие морщины, которые придавали всему лицу поразившее меня выражение черствости. Наконец глаза, самое красивое, что в ней было, большие и темные, и тоже совсем еще детской формы, смотрели исподлобья взглядом, в котором начисто отсутствовала невинность,— странно отчужденным, уклончивым и неопределенным.

В отличие от других женщин Балестриери, которые решительными шагами, не глядя по сторонам, направлялись прямо в студию старого художника, эта пересекала двор с какой-то странной, словно нарочитой медлительностью: казалось, что она продвигается вперед, влекомая лишь ленивым рефлективным покачиванием бедер. Не то чтобы она шла к Балестриери неохотно, нет, но по дороге она как будто искала что-то еще, но что — не знала сама. Проходя по двору, она почти всегда поднимала глаза к моему окну и, если видела меня за стеклом (а это бывало часто, так как мой мольберт стоял как раз у окна), неизменно сопровождала свой взгляд улыбкой.

Сначала я не был уверен, что не ошибся: улыбка была такой беглой, что впору было усомниться в ее преднамеренности. Но когда однажды мне случилось столкнуться с ней в коридоре, я убедился, что улыбка предназначалась мне и что вкладывался в нее совершенно определенный смысл.

Этот ее безмолвный призыв вызвал у меня какое-то смутное чувство неприязни, которое я попытаюсь сейчас объяснить. Прежде всего, я не любитель приключений, осо-

бенно если приключение, как это было в данном случае, подсовывалось мне, можно сказать, навязывалось самой женщиной; больше того, именно настойчивость ее улыбки возмущала меня и вызывала желание не отвечать и вообще сделать вид, что я ничего не заметил. Во-вторых, сама девушка мне не нравилась: я всегда любил зрелых женщин, а эта, хотя и было ей, наверное, лет семнадцать, выглядела на пятнадцать из-за хрупкости сложения и детскости лица. Наконец, была и третья причина, самая, может быть, важная, хотя далеко не такая ясная и определенная: дело в том, что мне было до тошноты противно представить себе, как я к ней подхожу, как заговариваю, а потом, в качестве совершенно неизбежного следствия, ложусь с ней в постель. Тошноту эту вызывало вовсе не примитивное физическое отвращение: да, девушка мне не нравилась, но вовсе не была мне противна; противно было знать заранее, что меня ждет, если отвечу на ее призыв. Думаю, что подобное чувство тоскливого ожидания испытывает всякий, кто оказался на пороге неведомой, покрытой мраком реальности, которой он всегда избегал. Да-да, именно чувство отвращения, смешанное с тоскливым ужасом,— меня это даже поразило, потому что столь инфантильная и неприметная девушка, казалось бы, не должна была внушать подобных страхов.

Но когда тебя одолевает скука, совсем нелегко постоянно удерживать в памяти какие-то вещи. Скука была чем-то вроде тумана, в котором тонула вся окружающая меня реальность, так что моя мысль лишь изредка вырывала из нее какую-нибудь подробность — так, оказавшись в гуще тумана, мы видим вдруг то угол дома, то фигуру прохожего или что-нибудь еще. В тумане скуки я различил девушку и Балестриери, но не придал им никакого значения и совершенно о них не думал. Случалось, что я на целые недели забывал об их существовании, хотя они жили и любили друг друга в двух шагах от меня. Временами я вспоминал о них почти с изумлением: «Смотри-ка,— думал я,— а они все еще здесь и по-прежнему занимаются любовью». Я забыл о Балестриери настолько прочно, что, когда на другой день после бегства из материнского дома я, выпив неподалеку от студии чашечку кофе, возвращался к себе и заметил как раз перед своим подъездом черных лошадей и черные с золотом похоронные дроги с традиционными позолоченными ангелами по углам, правда, еще без гроба и без цветов, мне даже в голову не пришло, что они могут ожидать здесь кого-нибудь из моих знакомых. Обойдя экипаж, загораживвший мне дорогу, я вошел в подъезд, и так как шел я по обыкновению глядя себе под ноги, я буквально стукнулся лбом о нижний край гроба, который как раз в тот момент четыре человека выносили на улицу. Я тут же отскочил, причем могильщики бросили на меня изумленный и осуждающй взгляд, и гроб проплыл мимо меня. Провожавших было всего двое: молодой человек с грубым рыбьим лицом, одетый в синий костюм, и женщина, которую он вел под руку и которую я не разглядел, потому что она с ног до головы была закутана в траурную вуаль. Юноша походил на Балестриери, у него тоже было красное лицо и очень черные брови, а тут еще консьержка сказала что-то шепотом о внезапности некоторых смертей, и до меня донеслось имя Балестриери. И только тут я понял, что умер именно Балестриери, что умер он, видимо, накануне, что это были его похороны, что женщина в трауре была его женой, с которой он развелся много лет назад, а юноша в синем — его сын.

Как я уже говорил, от скуки я сделался в те дни настолько рассеянным, что забыл о существовании не только Балестриери, но и девушки, которая почему-то внушала мне любопытство. Поэтому я даже особо не удивился, когда понял, что, находясь все эти дни в студии, я умудрился не заметить, что за третьей от меня дверью кто-то болел, умер, был отпет, положен в гроб и вот сейчас вынесен. Кто знает, думал я, может быть, кто-нибудь и говорил мне о болезни Балестриери, но я хотя и слушал, ничего не услышал, как всегда с головой погрузившись в свою скуку: так мне случалось иногда внимательно прочесть газетные заголовки и минуту спустя обнаружить, что совершенно не представляю, о чем в них говорилось. Понадобился гроб, а вернее, болезненный ушиб, который я получил, наткнувшись на него лбом, чтобы я вспомнил о существовании художника как раз в тот момент, когда узнал о его смерти.

Однако со смертью Балестриери дело обстояло не так просто, как можно было подумать. В тот же день, частью из негодующих намеков консьержки, частью из более откровенных комментариев группы друзей, с которыми я встретился в кафе, я воссоздал для себя картину смерти старого художника. Так вот, умер Балестриери, по-видимому, в чрезвычайно пикантный момент, то есть как раз тогда, когда занимался любовью с девушкой, которая так часто мне улыбалась. При этом любовный акт был не вполне естественным, если понимать под естественным тот, что ведет к деторождению, а был какой-то особой эротической его деформацией, так что Балестриери был убит, если можно так выразиться, не самою любовью, а именно способом, каким совершался любовный акт. Консьержка не пожелала высказаться яснее, ограничившись негодующими намеками, друзья же, от души веселясь, не скупились на подробности — можно было подумать, что они присутствовали в студии в момент его смерти; однако, насколько я понял, это были всего лишь их домыслы. Балестриери вдруг почувствовал себя плохо и умер прямо на глазах перепуганной девушки — это единственное, что можно было утверждать с уверенностью. Однако



то, что девушка была его любовницей, что нашли его в постели и полуголым, что девушка прибежала за консьержкой в халате, наброшенном прямо на голое тело, по-видимому, подтверждало слух о внезапной смерти, случившейся в минуту страсти. Правда, те, кто не хотел верить этой версии, говорили, что девушка была в халате, потому что позировала, и что Балестриери имел обыкновение летом работать в трусах и майке. С другой стороны, версию о смерти в минуту любви подтверждали слова врача, которого вызвали к умирающему: «Если бы этот человек отдавал себе отчет в том, что в его возрасте некоторые вещи непозволительны, он был бы еще жив». Другие, правда, говорили, что, осмотрев Балестриери, врач сказал девушке: «Синьорина, это вы его убили», а потом добавил: «Вернее, помогли покончить с собой». Но никто не знал этого врача, неизвестно было, где он работает (может быть, он служил в одной из многочисленных аптек нашего квартала), и я не стал его разыскивать.

Когда в тот же день я вернулся в студию, пообедав в небольшой траттории на улице Маргутта, я обнаружил там небольшой сверток и записку от матери. В записке мать давала мне урок хороших манер: «В следующий раз, прежде чем удрать, зайди, по крайней мере, попрощаться», а в свертке был смокинг и светлые брюки, которые Рита замечательно отчистила и отгладила. Я швырнул все на пол, лег на диван и зажег сигарету. Как обычно, меня одолевала ужасная скука и мне казалось странным, что другие этого не видят: они не замечали, что они, как, впрочем, и весь остальной мир, для меня просто не существуют, и продолжали, подобно моей матери, вести себя так, будто никакой скуки нет и в помине. Куря сигарету, я потихоньку размышлял о своем положении, которое день ото дня делалось все хуже; в конце концов я спросил себя, что же мне теперь делать,— ведь от живописи я отказался, а взять деньги у матери так и не решился. Я понимал, что по-настоящему, в смысле действия, которое существенно бы что-то переменило, поделать ничего нельзя, но у меня всегда оставалась возможность сделать то, что делает человек, попавший в безвыходную ситуацию: он примиряется с ней и старается к ней приспособиться.

В каком-то смысле — думал я — я был похож на отпрыска знатного, но обедневшего рода, который вопреки всему желает вести роскошный образ жизни своих предков. В тот день, когда он примирится с ситуацией, до того казавшейся ему невыносимой, но которая между тем воспринимается как совершенно нормальная бесчисленным множеством других людей, он поймет: все, что выглядит нестерпимым при каком-то определенном уровне жизни, воспринимается совсем иначе при уровне жизни более низком. Ведь, в сущности, сильнее всего я страдал не столько от скуки, сколько от мысли, что ее могло бы не быть, что ее не должно было быть. Иными словами, я чувствовал себя отпрыском очень знатного и очень древнего рода, в котором никто никогда не скучал, то есть всегда умел вступить с реальностью в нормальные прямые отношения. Мне следовало забыть о том, что я принадлежу к этому роду, и раз и навсегда примириться с положением, в котором я очутился. И все-таки разве можно было жить скучая, то есть не вступая ни в какие отношения с реальностью, и при этом — не страдать? Вот в чем была проблема.

Под эти мысли я задремал, а потом и заснул очень тяжелым сном; мне казалось, что, засыпая, я захлебываюсь, иду ко дну. Мне приснился очень ясный сон: я видел себя перед мольбертом, с палитрой в одной руке и кистью в другой. На подрамнике натянут чистый холст. Рядом с мольбертом стоит натурщица, что очень странно, так как я давно уже бросил фигуративную живопись. Это молодая женщина в очках, очень серьезная, лицом похожая на Риту, но со странно плоским, лишенным объема телом, на бескровной белизне которого траурно чернеют пятна сосков, похожие на большие темные монеты, и темный треугольник лобка. Очевидно, я пишу ее портрет — моя рука движется, кисть перемещается по невидимой поверхности холста. Я рисую, рисую, старательно, сосредоточенно, уверенно, картина продвигается, натурщица боится вздохнуть, боится шевельнуться — ее вообще можно принять за мертвую, если бы не поблескивающие очки и ироническая улыбка, которая кривит ее губы. Наконец бесконечно долгий сеанс завершен, картина готова, и я делаю шаг назад, чтобы ее рассмотреть. Но какая странность: холст пуст, бел, чист, на нем нет и следа обнаженного тела — не только картины, даже наброска; нет сомнения, что я работал, но я ничего не сделал. В ужасе я хватаю первый попавшийся тюбик, выдавливаю краску на палитру, обмакиваю в нее кисть и снова с яростью набрасываюсь на холст. Никакого эффекта: холст остается чистым, девушка же, видя тщетность моих усилий, улыбается все насмешливее, хотя большие очки в черепаховой оправе по-прежнему придают ей какой-то лицемерно-благонравный вид.

Чья-то рука ложится на мое плечо — это Балестриери собственной персоной: с покровительственной улыбкой на багровом лице берет он у меня кисть и палитру и встает перед холстом, повернувшись ко мне спиной. Он в рубашке с короткими рукавами и трусах — одеяние, заставляющее меня вспомнить о Пикассо, с которым я вообще обнаруживаю вдруг у него неожиданное сходство. Теперь рисует Балестриери, а я гляжу на его затылок, заросший серебряными волосами, и думаю, что вот Балестриери умеет рисовать, а я не умею. Балестриери заканчивает работу. Балестриери отходит, и я стою перед его картиной. Не знаю, хороша она или плоха, но, вне всякого сомнения, она существует: холст уже

не пустой и не белый, каким он был, когда кончил рисовать я,— на нем теснятся линии и краски. И неожиданно меня вдруг охватывает ярость: я беру нож, которым обычно пользуюсь при соскабливании краски, и делаю на картине несколько глубоких продольных разрезов. Но, о ужас: оказывается, я разрезал не холст, а тело натурщицы. И я вижу, как из этих длинных вертикальных разрезов — от груди до ног — начинает сочиться кровь. Кровь красная, ее много, она образует бесчисленные ручейки, которые, сливаясь, образуют на теле девушки, улыбающейся как ни в чем не бывало, сплошную кровавую сетку, а я все режу и режу — упорно, методично, до тех пор, пока не пробуждаюсь от собственного мучительного нечленораздельного крика.

День был пасмурный, комната погружена в тусклый свет сумерек. Я вскочил с дивана и, словно бы следуя какому-то внезапному озарению, бросился к двери, открыл ее и вышел в коридор. Там было пусто, все три двери заперты, но, приглядевшись повнимательнее, я заметил, что та, которая ведет в студию Балестриери, чуть-чуть приоткрыта. Не размышляя, продолжая действовать словно бы по наитию, я подошел к ней, убедился, что она и в самом деле не заперта, толкнул и вошел.

Я никогда раньше не бывал в студии старого художника и, таким образом, мог объяснить свой приход самому себе простым любопытством. Шторы на окнах были опущены, и в комнате было почти темно; лампа под красным абажуром на резной позолоченной деревянной ножке, почему-то наводившая на мысль о церковной утвари, горела на столе, покрытом скатертью из пурпурного дамаска. Разглядывая студию Балестриери в кровавом свете этой лампы, я убедился в том, что она совсем не похожа на мою. Она была больше, и в ней была еще внутренняя лестница, которая вела на антресоли, куда выходили две маленькие двери. Кроме того, если моя студия, кое-как обставленная, всегда в беспорядке, выглядела как типичный приют художника, то обставленная «под старину» студия Балестриери, как я сразу с бессознательной неприязнью отметил, была похожа на мещанскую гостиную, какие были в моде лет сорок-пятьдесят назад; никто бы не догадался, что здесь обитает художник, если бы не пресловутые «ню», густо, одна к другой развешанные по стенам от пола до потолка, да монументальный мольберт, стоящий в хорошо освещенном месте, у самого окна; на мольберте был холст с незаконченной картиной.

Меня особенно поразила мрачность этой комнаты: мебель, либо старинная, либо подделанная под старину, была вся выдержана в стиле Возрождения; стены под картинами обиты пурпурным дамаском; на полу грудой навалены персидские ковры с густым и темным рисунком. Я закрыл за собой дверь, огляделся и, вдыхая стоявший в комнате специфический запах — домашний и в то же время отдающий тлением,— медленно подошел к холсту. Неоконченная картина несомненно была та самая, над которой работал Балестриери в день смерти, запечатлевая на ней свою юную любовницу: признаюсь, что мне было любопытно увидеть, как она была сложена. Однако, очутившись перед холстом, я почувствовал разочарование и недоверие. Набросок углем, сделанный Балестриери, плохо соотносился с образом той хрупкой, с детским личиком девушки, которая так часто мне улыбалась. Это было типичное его «ню» с преувеличенными формами и в нарочитой позе: девушка присела, сцепив на затылке руки, так что на первом плане оказались бедра и груди, то есть те части женского тела, к которым Балестриери был, по-видимому, особенно неравнодушен. Меня поразили ширина бедер и тяжелые груди — ничего подобного я вроде бы не замечал в его натурщице. Правда, тонкая талия и хрупкие руки и плечи вполне могли принадлежать ей. Характерная деталь: Балестриери не позаботился о том, чтобы хотя бы набросать лицо, так что никакая идентификация, во всяком случае для меня, была просто невозможна.

Я долго смотрел на холст и думал о том, что Балестриери и в самом деле был очень плохим художником, даже если мерить его по меркам старой натуралистической школы, к которой он, по-видимому, принадлежал; затем я отошел от мольберта и стал одну за другой рассматривать картины, развешанные на стенах. Как я уже говорил, все это были обнаженные женские тела, запечатленные по большей части в нарочитых, неестественных позах, и, глядя на них, я подумал, что Балестриери, хотя и был плохим художником, отличался необыкновенной старательностью и был кропотлив до педантизма: было видно, что он не полагается на вдохновение, а работает как старые мастера, кроя картину несколькими слоями лака, по многу раз возвращаясь к одним и тем же деталям, пока не убедится, что сделал все возможное. Результатом же, увы, был специфический фотографический натурализм, тот самый «вылизанный» стиль, который царит обычно на выставках коммерческих галерей. Но, с другой стороны, нельзя было не признать, что в своем роде это было совершенство, то омерзительное совершенство, которое бывает свойственно порнографическим изображениям. Иными словами, мир Балестриери был очень конкретным и последовательным: ничто не нарушало цельности этого мира, ничто чуждое к нему не примешивалось, и так ли уж важно, что в нем был оттенок маниакальности? Главное, что до самого конца Балестриери чувствовал себя в этом мире прекрасно и никогда даже не пытался выйти за его пределы. Может быть, он и был сумасшедшим, но в таком случае его безумие состояло в том, что он верил в прочность своих связей с реальностью, то есть в собственное здоровье, о чем, между прочим, свидетельствовали и его картины, в то время как я был убежден, что истинно здоровый человек не может поверить в возможность такой связи, и я действительно в нее не верил, но именно потому и чувствовал себя не здоровым, а больным.



Размышляя обо всем этом, я обошел комнату, разглядывая картины, и ни на одной из них не нашел девушки с детским лицом. И подумал, что именно так и должно было быть: Балестриери никогда не писал свою юную любовницу, ему достаточно было ее любить, то есть он вел себя прямо противоположно тому, что можно было бы предположить, учитывая его преклонный возраст. Я уже собрался уходить, когда какой-то шорох наверху заставил меня поднять глаза. На антресолях я увидел девушку Балестриери: не спеша, опустив голову и, видимо, не замечая моего присутствия, она спускалась по лестнице, одной рукой держась за перила, а другой прижимая к груди какой-то большой сверток.

Спустившись, она подняла наконец глаза и, видимо, испугалась, увидев меня прямо перед собой — у стола, в центре комнаты. Но это длилось одно мгновенье, сразу же после по ее лицу разлилось безмятежное спокойствие, словно эта встреча не была для нее неожиданностью, а подготовлялась заранее. Я сказал в некотором замешательстве: «Я живу в студии по соседству, может быть, вы меня когда-нибудь видели, я зашел посмотреть картины».

— А я,— сказала она, указывая на сверток,— зашла взять свои вещи, прежде чем студию сдадут снова. Я была его натурщицей, у меня остались ключи, так что я смогла войти.

Я заметил, что в ее произношении не было решительно ничего характерного, ничего, что позволило бы угадать место ее рождения или социальную принадлежность. Голос, невыразительный и бесцветный, экономная и точная интонация говорили о стремлении к какой-то даже нарочитой, преувеличенной сдержанности. Не зная, что сказать, я сказал первое, что пришло мне в голову: «Вы часто бывали у Балестриери?»

— Да, почти каждый день.

— А когда он умер?

— Позавчера вечером.

— И в это время вы были тут?

Я увидел, как она взглянула на меня своими большими темными глазами, которые, казалось, не видели окружающего, а только отражали его в себе. «Ему стало плохо в тот момент, когда я ему позировала».

— Он рисовал вас?

— Да.

И тут, не скрывая удивления, я воскликнул: «Но где же тогда тот холст, на котором он вас рисовал?»

Она указала на мольберт: «Вот этот».

Я обернулся, бросил на картину беглый взгляд, потом долгим взглядом посмотрел на нее. В полутьме, которая размывала ее облик, скрадывая все контуры, фигура девушки казалась еще более хрупкой и инфантильной: из-под широкого колокола юбки виднелись тонкие ножки, грудь выглядела совсем маленькой, большие темные глаза занимали пол-лица. Я недоверчиво сказал:

— Неужели для этого наброска позировали вы?

В свою очередь она удивилась моему изумлению: «Да, а что? Вам не нравится, как он меня нарисовал?»

— Я не знаю, нравится мне это или не нравится, но вы здесь непохожи.

— Но тут нет лица, лицо он всегда рисовал в последнюю очередь, а без лица как можно сказать, похожа или непохожа?

— Я хочу сказать, что это тело непохоже на ваше.

— Вы думаете? Но на самом деле я именно такая.

Я чувствовал, как бессмысленно и фальшиво звучит эта якобы серьезная дискуссия в связи с подобным наброском и вдобавок еще и с проблемой сходства. И хотя мне было стыдно за то, что я как бы шел навстречу возникшему между нами молчаливому сговору, который мне следовало бы отвергнуть, я все-таки не удержался и воскликнул: «Ну нет, это невозможно, я не могу этому поверить!»

— В самом деле? — сказала она.— И все-таки я именно такая.

Положив сверток на стол, она подошла к мольберту, некоторое время разглядывала холст, потом обернулась: «Может быть, тут и есть небольшое преувеличение, но в основном все правильно».

Не знаю почему, но, увидев ее рядом с мольбертом, я вспомнил свой дневной сон. И спросил просто так, чтобы что-нибудь сказать: «Балестриери сделал с вас только этот портрет или есть и другие картины?»

— Ну что вы, он рисовал меня множество раз.

Она подняла глаза к полотнам, развешанным на стенах, и, показывая то на одно, то на другое, стала перечислять: «Вот это я, и там я, и вон там наверху, и еще там». И словно подбивая итог, заключила: «Он рисовал меня не переставая. Он заставлял меня позировать часами».

Внезапно мне почему-то захотелось сказать о Балестриери что-нибудь дурное: может быть, таким путем я надеялся добиться от нее более личной, более выразительной интонации. И я сказал очень резко: «Столько трудов ради такого ничтожного результата».

— Почему вы так говорите?

— Да потому, что Балестриери был очень плохой художник, можно сказать — вообще не художник.

Она никак нв это не реагировала, сказала только: «Я ничего не понимаю в живописи».

Но я упорствовал: «В сущности, Балестриери был просто мужчиной, которому очень нравятся женщины».

С этим она охотно согласилась: «Да, это правда».

Она взяла со стола свой сверток и посмотрела на меня вопросительно, как бы говоря: «Я ведь сейчас уйду, почему ты не делаешь ничего, чтобы меня задержать?» И тут я сказал с внезапной ласковостью в голосе, ласковостью, которая удивила меня самого, потому что ничего подобного я не хотел и не ожидал: «А может быть, зайдем на минутку в мою студию?»

Я видел, как она загорелась внезапной простодушной надеждой: «Вы хотите, чтобы я вам позировала?»

Я растерялся. В мои намерения не входило ее обманывать, но она вдруг сама предложила мне обман, который унижал меня вдвойне: и потому, что это был обман, и потому, что это был худший из обманов, к которому я мог прибегнуть,— художник приглашает к себе в студию красивую девушку под предлогом, что хочет ее писать,— одним словом, обман, достойный Балестриери. И потому я раздраженно заметил: «А что, Балестриери тоже первый раз пригласил вас к себе под предлогом, что он хочет написать ваш портрет?»

Она серьезно сказала: «Нет, я стала ходить к нему, чтобы брать уроки рисования. Потом он действительно захотел меня рисовать, но это позже».

Итак, для нее обман с позированием был не обманом, а вполне серьезным предложением. Она даже добавила: «Сейчас у меня как раз есть время. Если хотите, я могу попозировать вам до ужина».

Я подумал, нужно ли объяснить ей, что я бросил рисовать и что даже в ту пору, когда еще рисовал, никогда не писал фигуративных картин. Но тогда — размышлял я — мне придется искать другой предлог, чтобы пригласить ее к себе, так как, судя по всему, предлог ей требовался. Тем более стоило принять этот, с позированием. И я произнес беспечно, ничего особенно не уточняя: «Хорошо, пойдемте ко мне».

— Я и для Балестриери всегда позировала в эти часы,— сообщила она с довольным видом, испытывая явное облегчение, и взяла со стола свой сверток.— Он всегда работал с четырех до семи.

— А по утрам?

— И по утрам тоже, с десяти до часу.

Мы направились к двери. Я понимал, что она в последний раз видит студию, где прошла значительная часть ее жизни, и полагал, что простая жалость к умершему заставит ее что-нибудь сказать или, по крайней мере, на прощанье оглядеться вокруг. Но она ограничилась тем, что спросила, бросив взгляд на стены: «А сейчас, когда он умер, что будет с этими картинами?»

Я ответил по-прежнему резко: «Может быть, попытаются их продать. Потом, когда увидят, что никому они не нужны, свалят где-нибудь в подвале».

— В подвале?

— Да, в подвале.

— Но у него есть жена, с которой он был в разводе. Картины перейдут к ней.

— А уж она тем более их выбросит.

Она ничего на это не сказала, всем своим видом выражая безучастную сдержанность. И глядя на то, как идет она с огромным свертком под мышкой впереди меня — словно бы принужденно и сопротивляясь, а на самом деле решительно и твердо, я подумал, что она похожа на человека, который переезжает с одной квартиры на другую. Да, она меняла студию Балестриери на мою — вот в чем было дело. Догнав ее, я распахнул перед ней дверь со словами: «Как видите, моя студия совсем не похожа на студию Балестриери».

Она не ответила, так что можно было подумать, что она как раз не видит никакой разницы между моей студией и студией своего старого любовника. Она просто подошла к столу, положила на него сверток и, обернувшись ко мне, спросила: «Где здесь ванная?»

— Вон та дверь.

Она направилась к ванной комнате и исчезла за дверью. Я подошел к дивану и поправил подушки, на которых недавно спал; потом принялся собирать бесчисленные окурки, которые бросал прямо на пол. Делая все это, я продолжал думать о девушке и пытался понять, нравится ли она мне, действительно ли мне хочется заняться с ней тем, чего она от меня ожидала, и вдруг понял, что не испытываю ни малейшего желания. И тогда я сказал себе, что расспрошу ее о Балестриери и об их отношениях, которые меня почему-то интересовали, а потом отошлю.

Я был так спокоен и так уверен в своем спокойствии, что совершенно забыл о предлоге,



подсказанном мне девушкой и мною неосмотрительно принятом,— о рисовании. И потому был прямо-таки изумлен, когда дверь ванной комнаты отворилась, и девушка появилась на пороге. Она была голой, совершенно голой, и шла на цыпочках, прижимая к груди полотенце. При виде ее у меня сразу же мелькнула мысль, что Балестриери не преувеличивал, когда изображал ее с теми пышными формами, в которые я не мог поверить. У нее действительно были великолепные груди, смуглые и крепкие, которые совершенно не соотносились с торсом, худеньким и хрупким, как у подростка, и существовали словно бы отдельно от него. И талия была тоже как у юной девушки, неправдоподобно тоненькая и гибкая, но бедра, плотные и сильные, выглядели такими же зрелыми, как груди. Она шла, выставив вперед грудь и подобрав живот, с какой-то даже алчностью глядя на мольберт, который стоял у окна; подойдя к нему, она, не оборачиваясь, спросила своим лишенным всякого выражения голосом, сухо и коротко: «Где мне встать?»

Я спросил себя, была ли в ней в этот момент хотя бы капля притворства, и вынужден был признать, что не было. Она всерьез относилась к своим обязанностям натурщицы, даже если и подозревала, что то был предлог для завязывания отношений совсем другого рода. И, помню, я тогда подумал, что она, должно быть, просто неспособна увязать в своем сознании одну вещь с другой и это позволяет ей быть искренней. Я спокойно ответил: «Никуда не надо вставать». Она удивленно обернулась: «Почему?»

Я объяснил: «Мне очень жаль, но я проявил легкомыслие, согласившись воспользоваться подсказанным вами предлогом. На самом деле я уже давно не пишу. Да и когда писал, никогда не изображал ни натурщиц, ни вообще какие-либо реальные предметы. Я искренне сожалею, извините».

Она сказала прежним своим бесцветным голосом, вовсе не выглядя при этом обиженной: «Но вы же сказали, что хотите, чтобы я вам позировала».

— Да, это правда, но давайте считать, что я ничего не говорил.

Медленно, с видом человека, который не придает значения пустякам, она взяла полотенце, которое прижимала к груди, набросила его на плечи и плотно в него закуталась. Затем подошла к дивану, робко и неуверенно, словно я предложил ей сесть, в то время как ничего подобного у меня и на уме не было, и уселась на самом его краю, вдали от меня. Наступила пауза, а потом вдруг на ее детских губах появилась улыбка, которой она всегда улыбалась мне при встрече в коридоре. Я сказал в некоторой растерянности: «Теперь вы будете плохо обо мне думать».

Ничего не говоря, она отрицательно покачала головой. Она смотрела на меня своим ничего не выражающим взглядом так, словно глаза ее были двумя темными зеркалами, которые просто отражали реальность, не понимая ее, а может быть, даже и не видя, и я чувствовал, как растет моя неловкость: было очевидно, что она не собирается уходить и ждет от меня, если можно так выразиться, второй части программы. В поисках общей темы я, естественно, вернулся к Балестриери: «Вы давно познакомились с Балестриери?»

— Два года назад.

— Так сколько же вам лет?

— Семнадцать.

— Расскажите, как вы с ним познакомились.

— Зачем?

— Просто так.

Я подумал немного и добавил совершенно искренне: «Мне интересно».

Она медленно сказала: «Я познакомилась с Балестриери два года назад. У одной моей подруги».

— А кто она, ваша подруга?

— Одна девушка, ее зовут Элиза.

— А сколько лет Элизе?

— Она на два года старше меня.

— Что делал Балестриери в доме Элизы?

— Давал ей уроки рисоаания, как и мне.

— А какая она, Элиза?

— Блондинка,— сказала она, не вдаваясь в подробности.

Мне показалось, что я припоминаю одну из девушек, которую часто видел в нашем дворе, и сказал: «Блондинка, с голубыми глазами, длинной шеей, овальным лицом и пухлыми, плотно сжатыми губами?»

— Да, это она. Вы ее знаете?

— Да нет, я просто несколько раз видел ее у Балестриери до того, как к нему стали ходить вы. Элиза брала уроки дома или у него в студии?

— И дома, и в студии, как придется.

— Вы не сказали, что произошло в тот день, когда вы встретили Балестриери в доме Элизы.

— Ничего не произошло.

— Хорошо, ничего не произошло. Но в конце-то концов Балестриери стал давать уроки рисования и вам тоже? Как это получилось?

На этот раз она только посмотрела на меня и ничего не сказала. Но я был настойчив: «Вы слышали, что я сказал?»

В конце концов она решилась заговорить. Она спросила: «А зачем вам это знать?»

— Предположим, вы меня интересуете,— сказал я, ясно сознавая, что не то чтобы лгу, но говорю неправду того рода, которая в тот момент, когда я облекаю ее в слова, становится правдой.

Она посмотрела прямо перед собой, как школьница, которая приготовилась отвечать урок строгому учителю, и сказала: «Потом я еще раз встретила Балестриери у Элизы — мы дружили, и я часто у нее бывала. И однажды я попросила его давать уроки и мне, а он сказал, что не может».

Подумать только, я считал, что Балестриери бегает за всеми женщинами, которые попадаются ему на пути, а он, оказывается, вон как — отверг предлог, который подсказала ему сама девушка. Я спросил: «И почему, вы думаете, Балестриери вам отказал?»

— Не знаю, просто не хотел.

— Может быть, он был влюблен в Элизу?

— Не думаю.

— Но тогда почему он не захотел?

Она объяснила: «Сначала я подумала, что это Элиза его отговорила, потом поняла, что она об этом даже не знает. Он просто не хотел и все. Я подумала — может, ему не нравится, что я буду приходить к нему в студию, и сказала, что он может давать мне уроки у меня дома. Но он все равно отказался. Видно, ему не хотелось».

— Но вам-то зачем так нужны были эти уроки?

Она замялась и покраснела — ее бледное лицо вдруг пошло пятнами: «Я влюбилась в него,— сказала она,— вернее, мне показалось, что влюбилась».

— И почему же он этим не воспользовался?

— Не знаю.

Она снова замялась, потом, словно перестав вдруг меня стесняться, заговорила гораздо свободнее, чем раньше, хотя и оставалась по-прежнему точной и немногословной.

— Все дело в том, что я ему не нравилась. Два или три месяца он даже старался избегать со мной встречаться, и я очень от этого страдала. Я ведь действительно была влюблена. И тогда я пошла на хитрость.

— На хитрость?

— Да. Как-то раз я пригласила Элизу позавтракать со мной и выбрала тот час, когда, я знала, она должна была идти к Балестриери. Я сказала ей, что он звонил и просил в этот день не приходить, потому что был занят, а сама пошла к нему.

— И как Балестриери отнесся к вашей проделке?

— Сначала хотел меня выгнать. Потом стал любезнее.

— И вы прямо в этот день занялись любовью?

Она снова покраснела, как и раньше, пятнами и молча кивнула.

— Ну, а Элиза?

— Элиза так и не узнала, что в тот день я пошла к Балестриери вместо нее. А некоторое время спустя они разошлись.

— Вы по-прежнему с ней дружите?

— Нет, мы даже не встречаемся.

Возникла пауза. Я понимал, что устраиваю ей почти полицейский допрос, которому она, впрочем, охотно подчинялась, и спросил себя, что же я на самом-то деле хочу выяснить? Ведь ясно же, что меня интересовали не сами факты, а то, что за ними стояло, их сущность, их первопричина. В чем она состояла? И я резко спросил:

— А почему вы влюбились в Балестриери?

— То есть как это почему?

— Я имею в виду — почему именно в Балестриери, старика, который годился в отцы вашему отцу.

— Какие могут быть причины, когда влюбляешься? Влюбляешься и все.

— Ну, положим, причины есть всегда и на все.

Она взглянула на меня, и, странная вещь, мне показалось, что сейчас она сидит ко мне гораздо ближе, чем раньше. Или то была оптическая иллюзия, возникшая оттого, что в результате допроса она стала мне ближе и понятней? Наконец она сказала, почти шепотом, наклонившись вперед и пристально на меня глядя: «Я испытывала к нему сильное влечение».

— Влечение какого рода?

Она ничего не сказала, только посмотрела на меня. Но я настаивал: «Так какого рода?»

— Ну если хотите, пожалуйста, я могу сказать. Балестриери был чем-то похож на моего отца, а я, когда была маленькая, испытывала к отцу настоящую страсть.

— Страсть?

— Да, он даже снился мне по ночам.

— Итак, вы влюбились в Балестриери, потому что он был чем-то похож на вашего отца?



— Да, и потому тоже.

Снова наступила пауза, потом я спросил:

— А почему, вы думаете, Балестриери поначалу не хотел о вас и слышать?

— Я уже сказала: я ему не нравилась.

— «Не нравилась» — это ничего не объясняет. Могут быть тысячи причин, по которым кто-то нам не нравится.

— Наверное, были и причины, но я их не знаю.

— Но кое о чем вы могли бы догадаться. Как вы думаете, может быть, Балестриери не хотел иметь с вами дела, потому что, по его мнению, вы были для него слишком молоды?

— Нет, дело не в этом.

— А может быть, он испытывал к вам то же чувство, что вы к нему,— то есть вы казались ему дочерью?

— Не думаю, если бы это было так, он бы сказал.

На некоторое время я замолчал, старательно обдумывая услышанное. Теперь мне было уже ясно, что я расспрашиваю девушку о Балестриери для того, чтобы понять кое-что про себя самого: ведь я тоже до сих пор отвергал все ее попытки к сближению, и мне тоже казалось, что она в меня влюблена. «А вы не думаете,— сказал я наконец,— что Балестриери просто боялся познакомиться с вами ближе?»

— Боялся? Почему он должен был меня бояться?

— Потому что предвидел то, что в действительности потом и произошло: боялся влюбиться. Любовь иногда внушает страх.

— Мне,— сказала она многозначительно,— она страха не внушает.

Но я продолжал упорствовать: «Вы не ответили на мой вопрос. Балестриери избегал вас, потому что боялся?»

— Да ничего он не боялся. Да, я еще вспомнила, что потом он как-то мне сказал: «Если бы не та твоя уловка, я бы никогда не поддался — ты мне не нравилась». Помолчав, она добавила: «Это все, больше я ничего не могу сказать».

Я понял, что, двигаясь в этом направлении, ничего не добьюсь, и подошел к делу с другой стороны: «Но потом-то он в вас влюбился, так или нет?»

— Так.

— И сильно?

— Да, очень сильно.

— А почему?

Я видел, что она наклонилась вперед и внимательно на меня посмотрела. Она и в самом деле сидела сейчас совсем рядом, это не было оптическим обманом — ее колени касались моих. Она сказала:

— Откуда я знаю?

— Но разве он не говорил вам о своей любви?

— Говорил.

— И что он говорил?

Судя по всему, она задумалась над моим вопросом, но при этом почему-то так резко качнулась в мою сторону, что я испугался, что она на меня сейчас просто рухнет. Из-за полотенца, в которое ее тело было погружено, как в футляр, она казалась мне чем-то вроде до краев наполненного сосуда, который, накреняясь, словно бы предоставляет мне возможность из него зачерпнуть. В конце концов она сказала:

— Я не помню, что он говорил. Помню только, что делал.

— И что же он делал?

— Ну, например, плакал.

— Плакал?

— Да, обхватывал вдруг голову руками и начинал плакать.

Я представил себе Балестриери, каким я его всегда видел: да, конечно, старый, седой, но еще такой крепкий, широкоплечий, твердо стоящий на ногах, с лицом, которое всегда пылало от кипящих в нем жизненных сил, и спросил в совершеннейшем смятении: «Почему же он плакал?»

— Не знаю.

— Он не говорил вам, почему плачет?

— Нет, говорил только, что плачет из-за меня.

— Может быть, он ревновал?

— Нет, он был не ревнив.

— Но у него были поводы для ревности?

Некоторое время она, словно не понимая, молча смотрела на меня, потом коротко ответила: «Нет».

— Неужели он плакал молча, ничего не говоря?

— Нет, он всегда что-нибудь говорил.

— А, вот видите, значит, говорил. И что же он говорил?

— Говорил, например, что уже не может без меня обойтись.

— Ага, так значит, у него были причины плакать: он хотел бы обходиться без вас, но не мог.

Она педантично меня поправила: «Нет, он говорил только, что не может без меня обойтись. Он никогда не говорил, что хочет от меня избавиться. Наоборот, когда однажды я решила его бросить, он попытался покончить с собой».

Меня поражало, что ее тон совершенно не менялся, говорила ли она о какой-то ерунде, или вот, как сейчас, сообщала о том, что Балестриери хотел из-за нее покончить с собой. Я переспросил: «Пытался покончить с собой? И каким же образом?»

— С помощью этих лекарств, знаете, которые пьют от бессонницы. Не помню названия.

— Барбитураты?

— Да-да, барбитураты.

— И ему было плохо?

— Да, ему было плохо два дня, но потом все прошло.

— А он вообще страдал бессонницей?

— Да, он принимал барбитураты. Бывали ночи, когда он спал самое большее два часа.

— А почему?

— Почему ему не спалось? Не знаю.

— Из-за вас?

— Он говорил, что все, что с ним случалось, было из-за меня.

— И больше ничего? Он никак это не объяснял?

— Да, сейчас я вспомнила, что он говорил, будто я для него как наркотик.

— Ну, это общее место, вам не кажется?

— А что такое общее место?

— Ну, неоригинальная мысль. Такое мог бы сказать всякий.

Снова пауза. Потом я опять начал допытываться: «И все же, почему Балестриери считал, что вы для него как наркотик?»

И тут наконец она, в свою очередь, обратилась с вопросом ко мне. Она сказала очень медленно: «А почему вы меня обо всем этом спрашиваете?»

Я ответил вполне искренне: «Потому что во всей этой вашей истории с Балестриери есть что-то, что вызывает у меня любопытство».

— Что именно?

— Сам не знаю. Потому я вас и расспрашиваю. Чтобы понять, зачем я это делаю.

Она не улыбнулась и снова взглянула на меня своим внимательным, хотя и невыразительным взглядом, наклонившись надо мною так низко, что я ощутил теплоту и свежий запах ее тела. Потом она попыталась что-то объяснить: «Я думаю, Балестриери считал, что я для него как наркотик, потому что с каждым днем он нуждался во мне все больше. Он так и говорил: дозы, которой мне было достаточно раньше, теперь мне мало».

— В каком смысле он все больше в вас нуждался?

— Во всех смыслах.

— В смысле постели?

Она посмотрела на меня и ничего не сказала. Я повторил вопрос. Тогда она, казалось, решилась и ответила без всякой уклончивости:

— Да, и в смысле постели.

— Вы часто занимались любовью?

— Сначала один-два раза в неделю, потом через день, потом каждый день, потом дважды в день. Под конец уже нельзя было сосчитать.

— И он никак не мог насытиться?

— Он уставал. Иногда ему даже становилось плохо. Но ему всегда было мало.

— А вам это нравилось?

Она замялась, потом сказала: «Женщине не может не нравиться, когда мужчина показывает, как он ее любит».

— Но он действительно вас любил? Или просто нуждался в вас по привычке, как больной нуждается в наркотике?

— Нет,— сказала она с неожиданным жаром,— он меня действительно любил.

— И в чем это проявлялось?

— Разве это можно объяснить? Такие вещи просто чувствуешь.

— И все-таки?

— Ну, например, он хотел на мне жениться.

— Разве он не был женат?

— Был, но он говорил, что сумеет добиться развода.

— А вы соглашались?

— Нет.

— Почему?

— Не знаю. Мне не хотелось выходить за него замуж.

— Значит, вы его не любили?

— Я никогда его не любила.— Тут она запнулась, видимо, боясь показаться неточной, и добавила: «Вернее, я его любила, но только в первое время, когда мы познакомились».



Наступила долгая пауза. Теперь она сидела совсем рядом, почти нависая надо мною, лежащим, и пристально на меня глядя; казалось, она вот-вот на меня упадет, и я снова подумал о сосуде, о прекрасной вазе с двумя ручками, с округлыми боками, доверху наполненной желанием, которая вот-вот опрокинется и меня затопит. Наконец я сказал: «Я устроил вам настоящий допрос, вы, наверное, устали».

— О нет,— ответила она поспешно,— я совсем не устала, наоборот.

— Что значит наоборот?

— Мне было даже приятно,— сказала она, помолчав,— вы заставили меня подумать о вещах, о которых я никогда не думала и не думаю.

— Вы никогда не думаете о Балестриери?

— Никогда.

— Даже сегодня, в тот день, когда отсюда вынесли его тело?

— А сегодня тем более.

— Почему?

Она посмотрела на меня и ничего не сказала. Я повторил: «Почему „сегодня тем более“?»

Наконец она ответила, очень просто: «Потому что сегодня я думаю только о вас. Я хотела было пойти за гробом, проводить его издали, незаметно, но потом раздумала и вернулась. Я боялась, что сменят замок».

— Ну и что?

— Тогда я уже не смогла бы воспользоваться этим предлогом для того, чтобы вас увидеть.

Сделав вид, что я пропустил это признание мимо ушей, я спросил:

— И все же Балестриери что-то для вас значил?

— Ну, разумеется.

— Что же?

Она на мгновение задумалась, потом сказала: «Не знаю. Конечно, что-то он для меня значил, но что — я никогда об этом не думала и потому не знаю».

— Подумайте сейчас.

— Я не могу об этом думать. Нельзя заставить себя думать о ком-то или о чем-то. Тут уж или думаешь, или не думаешь. Это получается само собой.

— А в эту минуту о чем вам думается «само собой»?

— О вас.

Я замолчал, потом зажег сигарету и сказал, как бы подводя итог: «Ну все, можете быть спокойны, с допросом покончено, мы подходим к финалу. Итак, если для вас Балестриери значил не так уж много, можно даже сказать — ничего не значил, вы для него были чем-то весьма реальным, весьма конкретным. Чем-то, без чего он не мог обойтись, говоря вашими словами, или чем-то вроде наркотика, если говорить его словами».

— Да, это так.

— То есть для Балестриери вы были не только чем-то весьма реальным, вы были единственной реальностью, которая для него существовала. Ведь когда вы ему сказали, что уйдете, он попытался покончить с собой. Он потому это и сделал, что ваш уход лишал его единственной реальности.

Слушая, она смотрела на меня с видом вежливым и благонравным, но было совершенно очевидно, что мои речи проходят мимо ее ушей; так смотрит ребенок на мать, когда та читает ему мораль, прежде чем дать конфету: он терпеливо пережидает проповедь, которой не придает никакого значения, чтобы по окончании вступить в обладание конфетой. Тем не менее она сказала: «Да, это правда, я сейчас вспоминаю, что Балестриери всегда говорил, что я для него все».

— Вот видите? Таким образом, хотя он и был несчастливым любовником и плохим художником, кое в чем ему все-таки можно было позавидовать.

— В чем?

— В том, что он мог кому-то сказать: «Ты для меня все».

Она снова замолчала; казалось, она не была уверена, что хорошо поняла смысл моих слов, но доискиваться его не хотела; ей была важна конфета, а не мораль.

Я же опять вернулся к своему: «Ну, а теперь хватит о Балестриери, поговорим о нас».

Казалось, она оживилась — при всей ее сдержанности это было видно по еле заметным признакам: она слегка подалась вперед, как бы демонстрируя внимание и интерес, и легким движением бедер переместилась по дивану еще ближе ко мне.

— Вот уже три или четыре месяца,— сказал я,— мы сталкиваемся в коридоре, и каждый раз, когда вы меня видите, вы смотрите на меня с улыбкой, которую я назвал бы многозначительной. Это так? Если не так, скажите, значит, у меня сложилось неверное мнение.

Она ничего не сказала, только посмотрела на меня так, словно ждала, когда же я кончу этот разговор, который ее совершенно не интересовал. Я продолжил: «Вы не отвечаете,

и я заключаю из этого, что не ошибся. Я прекрасно понимаю, чего вы от меня хотите. Простите за грубость, но все эти четыре месяца вы даете мне понять, что охотно занялись бы со мною тем, чем занимались с Балестриери. Во всяком случае, я так понял. Если я опять-таки ошибся, скажите».

Она по-прежнему молчала, но на лице ее выразилось нечто вроде робкого удовлетворения по поводу того, что ее так хорошо поняли. Я продолжал: «Балестриери говорил вам, что вы для него все. Это „все" означало, насколько я мог понять, действительно все. Я же, к сожалению, ощущаю прямо противоположное: если для Балестриери вы были „все", для меня вы не значите ничего».

Я на минуту замолчал, глядя на нее, и не мог не восхититься ее невозмутимостью. Она сказала, скромно потупив глаза: «Но мы знакомы всего полчаса».

Я поспешил объясниться: «Мне хотелось бы быть правильно понятым. Это совершенно невозможно, чтобы вы стали для меня всем или по крайней мере хоть чем-то в том смысле, какой обычно придается этим словам. Мы действительно, как вы только что заметили, знакомы всего полчаса. Но дело не в этом. Пожалуйста, выслушайте, что я вам скажу, даже если мое объяснение вас не интересует. Итак, я попросил вас зайти ко мне в студию под предлогом, что хочу написать ваш портрет. Верно?»

— Да.

— Но это был именно предлог, то есть неправда. Не говоря уже о том, что я много лет не пишу людей и вообще предметы реального мира, я солгал вам еще вот в чем: я не художник, вернее, с некоторых пор я перестал им быть, потому что мне нечего рисовать; я не способен вступить в контакт ни с чем, что имеет отношение к реальности.

Но она не сдавалась: «Какое это имеет значение — напишете вы мой портрет или нет».

Я не выдержал и рассмеялся. «Я понимаю, вы не видите никакой связи между тем фактом, что я больше не рисую, и тем, чего вам так хочется. А между тем такая связь есть. Послушайте: я сказал, что вы для меня ничего не значите, но вы не должны искать в этой фразе никакого эмоционального содержания. Как бы вам это объяснить? Скажем так: вы предлагаете мне себя, как предлагает себя любая вещь. Возьмем конкретный пример; вот этот стакан, который стоит на столе. У него нет ни ваших прекрасных глаз, ни пышной груди, ни округлых бедер, и, прими я его предложение, он не стал бы ни обнимать меня, ни целовать. И тем не менее он предлагает себя ничуть не меньше, чем вы. И не больше. Точно так же, как вы,— откровенно, бесхитростно, без задней мысли. И я вынужден ему отказать, как отказываю вам, потому что он, как и вы, для меня ничто. Я взял в пример стакан, но мог взять что угодно, даже что-нибудь неосязаемое».

— Но почему так уж «ничто»? — сказала она тихо и несмело, заступаясь за стакан.

Я коротко ответил: «Объяснение завело бы меня слишком далеко и было бы, в общем, бесполезно. Скажем так: этот стакан для меня ничто, потому что между нами не существует никаких взаимоотношений».

Она возразила, заступаясь на этот раз за себя: «Но ведь отношения создаются, вам не кажется? Нам постоянно приходится вступать в отношения с людьми, которых мы раньше даже не знали».

Я сказал: «Видите вы эту картину на мольберте?»

— Да.

— Это чистый холст, я не нарисовал на нем ничего. И это единственный холст, который я могу подписать. Смотрите.

Я встал, подошел к мольберту, взял карандаш и поставил в углу свою подпись. Она провожала меня взглядом, пока я шел к мольберту и пока возвращался, но ничего не сказала. Сев на место, я продолжал: «И точно так же единственно возможные отношения между мной и женщиной — это отсутствие отношений, то есть именно те отношения, которые были у нас до сих пор или, вернее, которых у нас не было. Я не импотент, поймите меня правильно, но практически это то же самое, как если бы я был им. Так что можете считать, что так оно и есть».

Я сказал все это решительно и резко, давая ей понять, что больше нам разговаривать не о чем. Но, увидев, что она продолжает сидеть, молчаливая и неподвижная, как будто чего-то ожидая, я не без раздражения добавил: «Если я не испытываю ничего по отношению к вам, если между нами не существует никаких взаимоотношений, как я могу лечь с вами в постель? Это был бы акт механический, чисто внешний, совершенно бессмысленный и, главное, скучный. А значит...»

Я прервал фразу и бросил на нее многозначительный взгляд, словно говоря: «А значит, тебе ничего не остается, как уйти». На этот раз она, кажется, поняла и неохотно, медленно, делая над собой усилие, явно продолжая надеяться, что я остановлю ее и заключу в объятия, начала подниматься с дивана, ухитряясь при этом оставаться сидящей: она слегка приподняла зад, но торс оставался прямым, а ноги согнутыми. Но так как я не торопился заключать ее в объятия, ей все-таки пришлось встать. «Простите,— сказала она смиренно,— но если вам все же понадобится натурщица, вы можете мне позвонить. Я оставлю вам телефон».

Я видел, как она подошла к столу и, придерживая на груди полотенце одной рукой,



другой написала что-то на листке бумаги. «Я до сих пор не сказала вам своего имени: меня зовут Чечилия Ринальди. Я написала его вот здесь, вместе с адресом и номером телефона». Она распрямилась и, ступая на цыпочках, направилась в ванную. Можно было подумать, что на ней вечернее платье: полотенце плотно облегало торс, оставляло открытыми плечи и руки и стелилось сзади как шлейф. Она исчезла, закрыв за собой дверь, но при этом последнем движении полотенце вдруг соскользнуло, и я на мгновение увидел тело, которое Балестриери писал столько раз и которое, видя ее в платье, я не мог себе и представить.

Странно, но едва она вышла, я почему-то стал думать именно о Балестриери. Я все время возвращался мыслью к ее рассказу о том, как старик ее отверг и месяцами избегал с ней встречаться: он чувствовал своим звериным чутьем, чем она для него станет, и боялся; и еще я спрашивал себя, а что бы было, если бы он не уступил ей в тот день, когда она явилась к нему вместо Элизы, а продолжал бы сопротивляться? Вполне вероятно, что в таком случае он был бы сейчас жив, потому что, конечно же, косвенной причиной его смерти были любовные отношения с Чечилией. Но тогда почему он в конце концов не оттолкнул ее, раз сразу понял, что должен был это сделать? Иными словами, что заставило Балестриери смириться с участью, которую он хотя и смутно, но предчувствовал? И вообще — можно ли уйти от судьбы? А если нет, то к чему тогда все, что он пытался сделать? И возможно ли, чтобы не было никакой разницы между судьбой, принятой бессознательно, и той, которую выбирают?

Сейчас, узнав о первой попытке самоубийства, предпринятой Балестриери после того, как Чечилия решила его бросить, я понял, что, продолжая длить свои отношения с девушкой, старый художник совершил второе, уже удавшееся ему самоубийство. Наверное, он и на первое-то пошел из боязни, что с уходом Чечилии у него уже не будет возможности совершить второе.

Размышляя обо всех этих вещах, я не переставал удивляться тому, что я о них размышляю, вернее, тому, что размышлять о них меня побуждало не праздное любопытство, а странное ощущение их роковой для меня притягательности, словно история Балестриери касалась и меня и судьба старого художника была связана с моей судьбой. Я понимал, что, если бы это было не так, я не задавал бы Чечилии столько вопросов: я, может быть, переспал бы с ней, но уж никак не допрашивал.

А я вместо того, чтобы с ней переспать, принялся ее допрашивать, но как бы и о чем бы я ни допытывался, мое любопытство так и осталось неутоленным.

Как я уже сказал, я допрашивал ее именно для того, чтобы понять, почему мне было так нужно ее допрашивать. Это только кажется игрой слов, на самом деле это не игра. В результате мне стало понятно многое, но, судя по чувству неудовлетворенности, которое я испытывал, самое главное от меня все-таки ускользнуло.

Я так погрузился в свои размышления, что не заметил, как Чечилия вышла из ванной и подошла ко мне. Я вздрогнул, услышав ее голос: «Так я с вами прощаюсь».

С трудом поднявшись, я пожал ей руку, механически пробормотав: «До свиданья». Она сказала, еле слышно: «Не беспокойтесь, не надо меня провожать», и я в последний раз почувствовал на себе неподвижный и пристальный взгляд ее больших темных глаз. Потом я увидел, как она взяла со стола свой сверток и направилась к двери, очень медленно, но теперь в этой медлительности не было никакой нарочитости: она действительно чувствовала себя связанной со мной крепкой и прочной связью, и ей трудно было от меня отрываться. На меня почему-то странно подействовало легкое колыхание ее короткой и пышной юбки в сочетании с грациозным покачиванием торса: так покачивается всадник, крепко сидящий в седле. Винтом ходящая юбка и подрагивающий торс — было в этом какое-то бессознательное кокетство, таящее в себе неотразимый соблазн. Я не отрывал от нее глаз, пока она не открыла дверь и не исчезла. Тогда я зажег сигарету и подошел к окну.

Ветреный день клонился к вечеру, в пустом дворе был разлит бледный свет сумерек. В доме напротив в некоторых окнах уже зажгли свет, зеленые кусты аканта, окаймлявшие клумбы, казались почти черными, булыжник двора светился матовой известковой белизной. Как обычно, на нем в таинственном, словно бы не случайном порядке расположилось множество кошек. Одни лежали, подобрав под себя лапки, другие сидели, обернув хвост вокруг лап, третьи медленно и осторожно прохаживались — хвост трубой, нос у самой земли: кошки черно-белые, кошки серые, кошки совершенно белые и совершенно черные, кошки полосатые, кошки рыжие. Я принялся внимательно их разглядывать, что делаю довольно часто,— способ убить время ничуть не хуже любого другого. Затем появилась Чечилия, неся под мышкой огромный сверток. Она шла медленно, опустив голову, пролагая себе путь между кошками, которые даже не шевелились при ее приближении. Проходя под моим окном, она подняла глаза, но на этот раз не улыбнулась. Я поднял руку, чтобы вынуть изо рта сигарету, и вдруг, сам не знаю почему, сделал ей знак вернуться — показал на дверь, которая вела в наш коридор. Она опустила в знак согласия голову и все так же медленно и размеренно, как человек, который позабыл какую-то вещь, но уверен, что найдет ее там, где оставил, повернула назад. Я задернул шторы и лег на диван.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Начиная с этого дня Чечилия стала приходить ко мне один-два раза в неделю, потом через день и, в конце концов, спустя месяц после нашего знакомства, почти ежедневно. Являлась она всегда в один и тот же час, длились ее визиты всегда одно и то же время и проходили совершенно одинаково, так что достаточно описать один, чтобы дать представление обо всех. Чечилия извещала о своем приходе звонком, который был таким коротким, что я никогда не мог понять, был ли он действительно или только послышался, но именно по этой нечеткости я его и узнавал. Я шел открывать, Чечилия бросалась мне на шею, и мы целовались. И тут я должен сказать, что Чечилия, такая искушенная в делах любви, целоваться не умела. Может быть, потому, что поцелуй представляет собой акт, так сказать, символический, доставляя удовольствие скорее психологическое, чем физическое, а психология, как вы увидите позднее, не была сильным ее местом. А может быть, она не умела целоваться именно со мной, потому что наши отношения были не из тех, что выражают себя в поцелуе. Губы Чечилии были холодными, вялыми, неподвижными, как губы маленькой девочки, которая, ловя ртом ветер, бежит навстречу отцу и, добежав, радостно бросается ему на шею.

Но, с другой стороны, именно во время поцелуя очевиднее всего обнаруживалась двойственная природа Чечилии — одновременно детская и женская. Ведь в то самое время, как она протягивала мне свои бесстрастные бестрепетные губы, которые не умели ни открыться навстречу моему рту, ни проникнуть в него, я всем телом чувствовал, как напрягается ее тело и, выгнувшись наподобие лука, наносит мне лобком сухой и жесткий удар, в котором выражала себя вся требовательная косноязычность ее страсти.

Первый поцелуй был коротким: он не доставлял мне никакого удовольствия, и я прерывал его сам почти сразу же. Чечилия выскальзывала из моих объятий, швыряла на стол перчатки и сумочку, подходила к окну задернуть шторы и наконец начинала раздеваться — происходило это всегда в одной и той же последовательности и в одном и том же месте: между диваном и креслом, куда она бросала, снимая с себя одну за другой, свои вещи.

Я познакомился с Чечилией в июле, когда она носила свою летнюю униформу, которую я уже описывал,— свободную блузку и коротенькую, как балетная пачка, юбку; осенью, с наступлением холодов, она стала приходить в длинном свободном свитере из зеленой шерсти и в черной, очень узкой юбке, которая доходила ей до колен. Первым делом Чечилия всегда снимала с себя через голову этот свитер, на какое-то мгновенье оставаясь с поднятыми руками и спеленутой головой; потом постепенным, энергичным, всегда одинаковым движением она сдергивала с себя свитер и швыряла его, как он был, вывернутым, в кресло. Теперь она была в одной юбке, голая до пояса, потому что готова была терпеть грубое прикосновение шерсти к своей коже, лишь бы ничего не носить под свитером. Она говорила, не хвастаясь, а как бы констатируя очевидность, что груди у нее не нуждались ни в каких подпорках, так как стояли сами по себе, но я все-таки считал, что тут был некий кокетливый расчет: ей хотелось, чтобы великолепные ее груди явились моим глазам ослепительным, подобным взрыву видением сразу же, как только она сбрасывала свитер. Впрочем, даже эта грудь не снимала общего впечатления незрелости, которое оставляло ее тело: пышная и цветущая, она как будто не имела отношения к хрупкому торсу, из которого вырастала. Этот контраст был особенно разительным, когда Чечилия поворачивалась ко мне спиной — белой узкой худой спиной подростка, и грудь, на мгновенье мелькнувшая где-то между боком и поднятой рукой, настолько с нею не сочеталась, что, казалось, даже сделана была из совсем другой плоти — более теплой, более зрелой, более смуглой, чем все остальное тело.

Сняв свитер, она, слегка изогнувшись, бралась обеими руками за пояс и, расстегнув, спускала молнию. Юбка падала на пол, и, прежде чем подобрать и положить ее на кресло, Чечилия с тем же нетерпеливым возбуждением, с каким сдирала с себя свитер, несколько раз шаркала по ней ногами. Теперь она была совсем голая, вернее, на ней оставалась только самая интимная часть женской сбруи: пояс с резинками, на ногах — чулки, а на животе — прозрачный треугольник слипа. Эта сбруя всегда была перекошена и перекручена, как будто, раздеваясь, Чечилия лишала ее всякой функциональности: треугольник слипа скомкан и скатан, две из четырех резинок расстегнуты, так что пояс косо свисает на один бок, один чулок доходит доверху, другой болтается под коленкой. Женственный и в то же время воинственный характер этого беспорядка забавно не соответствовал ее детски-бесхитростному простодушному лицу. Да, Чечилия всегда выглядела двойственно — женщина-ребенок, и это обнаруживалось во всем, не только в ее теле, но и в жестах, и в выражении лица.

И все-таки особенно ярко эта двойственность выступала в контрасте между верхней и нижней частью ее тела. Существуют весовые различия, которые открываются глазу еще до того, как возьмешь предмет в руки. Вещь, сделанная из свинца, непременно покажется нам тяжелее вещи тех же размеров, но сделанной из более легкого материала. Так вот, ниже пояса тело Чечилии, казалось, обладало консистенцией вещей, сделанных из очень плотного и очень тяжелого материала. Каким мощным выглядело место сочленения ног и паха по сравнению с местом соединения рук и подмышек. Как контрастировали с деликатной худобой торса крутой изгиб поясницы, пышность бедер, массивность и плотность зада. Подросток выше пояса, женщина — ниже, Чечилия наводила на мысль о тех декоративных монстрах, которые так часто встречаются на античных фресках,— этих то ли сфинксах, то ли гарпиях с нетронутой девственной грудью, эффектно контрастирующей с мощным животом и ногами.

И в том, как вела себя Чечилия во время любви, тоже легко было заметить контраст между двумя ее натурами, женской и детской. Я часто размышлял об этом и пришел к выводу, что Чечилия не знала ни чувства, ни даже настоящей чувственности, ей был доступен лишь сексуальный аппетит, требованиям которого она послушно, хотя, может быть, и бессознательно подчинялась. Покоясь в моих объятиях, она была похожа на ребенка, послушно открывающего рот навстречу ложке, которую протягивает ему мать. Только ртом у нее было ее лоно, а ложку ей подносил любовник. Чистое детское выражение ее бледного круглого личика находилось в постоянном противоречии с той грубой и жадной требовательностью, с какой она заставляла меня и себя достигать цели — то есть оргазма, которым она желала насладиться до самого последнего спазма. По мере того как соитие обретало свой мощный ритм, движения ее живота становились все более частыми и напоминали своей силой и равномерностью запущенный в действие и вышедший из повиновения механизм, который уже не под силу было остановить ни мне, ни ей. Поначалу едва заметные, слабые и как будто даже ленивые, в конце они становились движениями поршня, который подымается и опускается с силой и неутомимостью автомата. Лицо же ее в это время оставалось спокойным, неподвижным, расслабленным; равнодушное и бесстрастное, оно казалось еще более детским, чем обычно,— с этими опущенными ресницами, маленьким полуоткрытым ртом, и только по румянцу, выступившему на скулах, можно было догадаться о том, что Чечилия не спит и полностью отдает себе отчет в своих действиях.

Эта своеобразная выключенность души во время любви была особенно заметна у Чечилии в те моменты, когда она, внезапно встрепенувшись, переходила от описанной мною механической пассивности к активности, начиная отвечать на мои ласки. Любовь, которая ведет к воспроизводству человеческого рода, всегда, скажем так, чиста, однако приемы, которыми любовники поочередно возбуждают друг друга, редко бывают чисты. И тем не менее все, что делала Чечилия с моим телом, все было чисто, потому что ее действия были отмечены каким-то странным бессознательным автоматизмом. Вырвавшись вдруг из моих объятий, она резко приподнималась, садилась и приникала ртом к моему паху, словно клевала его, и в этом ее неожиданном порыве было что-то сомнамбулическое, словно она делала все это во сне, то есть, именно как я говорил, бессознательно. Потом, утолившись, а вернее, до последнего исчерпав все возможности этой ласки, Чечилия снова падала в мои объятия с закрытыми глазами и полуоткрытым ртом, и у меня опять возникало странное ощущение, будто я видел спящего, который совершал во сне какие-то странные, лишенные смысла движения, а потом, так и не проснувшись, заснул снова.

После оргазма, который сотрясал ее тело, как маленький эпилептический припадок, но ничего не менял в неподвижной апатии лица, Чечилия в изнеможении распластывалась подо мной: одна рука закинута за голову, другая вытянута вдоль тела, лицо склонилось к плечу, ноги еще раздвинуты, как были они в момент соития. Потом, сразу же после того как я от нее отрывался, Чечилия мне улыбалась, очень коротко, и это был самый лучший миг нашей любви. Улыбка, очень нежная — казалось, к ней прилила вся нежность утоленного желания,— нисколько не противоречила двусмысленной инфантильности, о которой я уже говорил: даже улыбаясь мне, Чечилия на меня не глядела и меня не видела; так что, может быть, и улыбалась она не столько мне, сколько себе — благодаря скорее себя за то, что испытала наслаждение, чем меня, давшего ей возможность его испытать. Эта улыбка, безличная и мимолетная, была последней фазой нашего соития, то есть общения и почти что слияния наших тел. Сразу же после нас снова становилось двое, один лежал подле другого, и нужно было разговаривать.

И как раз в эту минуту я замечал, как сексуальный аппетит Чечилии, который хотя и не относился ко мне впрямую, но все же пользовался мною для своего утоления, переходил у нее в безразличие. Говоря «безразличие», я не имею в виду холодности или отчуждения. Нет, безразличие ко мне Чечилии сразу после акта любви было просто полным отсутствием какого-либо отношения, то есть очень походило на то, что заставляло меня так страдать и что я называл скукой; только Чечилия, в отличие от меня, не только от этого не страдала, но, казалось, вообще этого не замечала. Она словно так и родилась, отчужденной от окружающего, в то время как мне подобное отчуждение казалось совершенно непереносимым искажением исходной ситуации: одним словом, то, что я ощущал как болезнь, для нее было здоровым и нормальным.

Однако, как я уже говорил, нужно было о чем-то разговаривать. Только что пережитая интимность физической любви вызывала у меня желание другой и более подлинной интимности, интимности чувства, которая, я знал, достигается только посредством слова.

И я пытался разговаривать с нею, а точнее сказать, расспрашивать ее о ее жизни, так как Чечилия никогда не поддерживала разговора, а ограничивалась лишь ответами на вопросы. Так я узнал, что она была единственной дочерью, что жила она в Прати в одной квартире с родителями, что отец ее был коммерсантом, что воспитывалась она в монастыре, что у нее есть подруги, что она не помолвлена и многое другое. Изложенные таким образом, все эти сведения кажутся самой общей информацией, которая может относиться к любой девушке ее возраста и социального положения, но это и было все, что я с большим трудом смог из нее вытянуть. Насколько я понимаю, Чечилия вовсе не хотела что-нибудь от меня скрыть, просто она словно бы понятия не имела о множестве вещей, которые меня интересовали, или, во всяком случае, неспособна была описать их в деталях. Можно было подумать, что она никогда не пыталась оглядеться вокруг, взглянуть на самое себя и окружающий ее мир, так что, обращаясь к ней с вопросами, я в некотором смысле ставил ее в положение человека, которого расспрашивают о каких-то вещах и людях, а он обо всем этом никогда не задумывался, не обращал на них внимания. Есть такая игра, когда вам в течение минуты показывают картинку, а потом просят перечислить предметы, которые были там изображены. В этой игре, которая демонстрирует степень вашей наблюдательности, Чечилия наверняка получила бы самую низкую оценку, потому что она, казалось, не увидела и не заметила ничего, хотя провела перед картинкой, изображавшей ее существование, не минуту, а целую жизнь. Полученная от нее информация была не только схематична, но и неточна; казалось, что она была не вполне уверена даже в том немногом, что она о себе рассказывала,— единственная дочь, отец-коммерсант, воспитание в монастыре, подруги; так бывает с людьми, когда с ними заводят речь о вещах, которые никогда не вызывали у них интереса, хотя и находились рядом, на расстоянии вытянутой руки, и их легко можно было изучить. И даже когда ей случалось дать точный ответ, меня все равно повергал в сомнение ее приблизительный бесцветный язык, который сам казался плодом ее непреодолимого ко всему равнодушия.

Ну а поскольку семья Чечилии и среда, в которой она жила, не слишком меня интересовали, мне в конце концов приходилось волей-неволей возвращаться к Балестриери, который, как я уже говорил, казался мне таинственным образом связанным со мной и моими отношениями с Чечилией. Впрочем, Чечилия не изменяла своей лаконической манере, даже говоря о Балестриери, но я не сдавался, напротив: ее уклончивость в отношении старого художника поселяла во мне страстное желание узнавать о нем все больше и больше. В действительности, как очень скоро я понял, расспрашивая ее о ее прошлом и о Балестриери, я расспрашивал ее о нашем будущем и о себе самом.

Тем временем прошло два месяца с того дня, как Чечилия впервые переступила порог моей студии, и я уже начал удивляться тому, что Балестриери мог испытывать к ней такую сильную страсть и что в их отношениях она могла играть роль «роковой женщины», если только вкладывать в два этих слова их подлинный, обычно подразумеваемый смысл, указывающий на предопределенность гибели. Мне трудно было во все это поверить, потому что, если не считать выдающихся качеств Чечилии как любовницы, что в девушке ее возраста не такая уж редкость, она казалась мне особой в высшей степени заурядной, а потому вряд ли способной вызвать столь разрушительную страсть, какой, по-видимому, был одержим Балестриери. О том, что это было существо совершенно не интересное, свидетельствовала сама ее речь, как я уже говорил, бесцветная и приблизительная. Я часто думал о том, какого рода душевные качества может выражать подобная речь, и пришел к выводу, что то была простота. Но не та простота, которая в нашем представлении неотрывна от ясности, а простота темная, непроницаемая, не имеющая ничего общего с тем своеобразным психологическим самоограничением, которое зовется сдержанностью, пусть даже она невольна и бессознательна. Мне всегда казалось, что Чечилия не столько врет, сколь просто неспособна сказать правду: и это не потому, что она лжива, а потому, что сказать правду это значит вступить с чем-то в какие-то отношения, в то время как она не вступала в отношения ни с чем. И в результате получалось, что, когда она действительно врала (а такое, как вы позднее увидите, она умела делать замечательно), вам почти казалось, что, пусть в каком-то отрицательном смысле, она произносила что-то истинное, именно благодаря той доле личного участия, а следовательно, и истины, которую несет в себе всякая ложь.

Но каким же образом Балестриери ухитрился так безумно в нее влюбиться? Или, лучше сказать, что случилось между ними такого, что столь ничтожный характер, может, именно благодаря своей ничтожности, стал причиной такой страсти? Я знаю, что понять чужую любовь невозможно, но, в конце-то концов, ведь это именно я занял в жизни Чечилии место Балестриери, я стал принимать наркотик, о котором говорил Балестриери, и потому с чувством непреходящей тревоги, не оставляющей человека, видящего, что опасность, о которой его предупреждали, никак себя не обнаруживает, я с каждым днем все больше удивлялся тому, что на меня этот наркотик не действует.

В результате я расспрашивал Чечилию подолгу и словно бы на ощупь, не зная сам, что я хотел выяснить. Вот образец нашего разговора:

— Скажи, а Балестриери никогда не говорил тебе, за что он тебя любит?



— Уф, снова за старое, опять Балестриери...

— Прости, но мне непременно надо знать.

— Что знать?

— Да я и сам толком не знаю, что. Знаю только, что это касается Балестриери и тебя. Так скажи, он говорил тебе, почему он тебя любит?

— Нет, он просто любил меня и все.

— Видно, я неточно выразился. У любви не бывает причин, это верно, человек любит и все; но всякая любовь бывает как-то окрашена. Ты любишь, и при этом тебе грустно, или весело, или тревожно, ты можешь быть доверчив, а можешь быть ревнив — в общем, за любовью всегда есть что-нибудь еще. Балестриери, видимо, испытывал к тебе почти маниакальную страсть — ты сама на это намекала. Ты была для него пороком, наркотиком, чем-то, без чего он не мог обойтись,— это твои собственные слова. Так откуда взялась эта мания?

— Не знаю.

— Ты не похожа на женщину, способную внушить такую страсть, по крайней мере, мне так кажется.

— Да я и сама так думаю.— Она сказала это без тени досады или иронии, с каким-то смирением и совершенно искренне.

— Если тебя интересует, что думаю об этом я теперь, когда лучше тебя узнал, то должен сказать, что не могу понять Балестриери и его страсти. Я не то чтобы разочарован, я удивлен. После того, что ты мне рассказала о своих отношениях с Балестриери, я думал, что ты должна быть женщиной совершенно ужасной, из тех, что способны погубить мужчину. А оказалось, что ты самая обыкновенная девушка. Я уверен, что из тебя вышла бы прекрасная жена.

— Ты так думаешь?

— Да, мне так кажется.

— Сказать по правде, я и сама так думаю.

— Ну и тогда чем же ты объяснишь страсть, вернее, тот род страсти, который Балестриери испытывал к тебе?

— Не знаю.

— Подумай.

— В самом деле не знаю. Видно, так уж он был устроен.

— То есть?

— Ну, он мог любить только так.

— Это неправда. Я годами наблюдал за тем, как Балестриери меняет женщин. Только с тобой случилось то, что случилось.

Долгая пауза, потом вдруг, в порыве искренней готовности: «Ты задай мне точный вопрос, и тогда я отвечу».

— Что ты называешь точным вопросом?

— Ну, о чем-нибудь физическом, материальном. Ты все время меня спрашиваешь о чувствах, о том, что люди думают, что они не думают. И я не знаю, что отвечать.

— О материальном? Ну хорошо, скажи: ты думаешь, Балестриери знал, что ваши отношения подрывают его здоровье?

— Знал.

— И что он говорил?

— Он говорил: не в этот раз, так в другой, но это меня доконает. Я предупреждала его, чтобы он был поосторожнее, но он говорил, что ему все равно.

— Все равно?

— Да,— потом, с напряженным взглядом человека, который силится что-то вспомнить,— да, сейчас, когда мы об этом заговорили, я вспомнила, что однажды, когда мы занимались любовью, он сказал: «Продолжай, продолжай, я хочу, чтобы ты продолжала и не думала обо мне, даже если я попрошу тебя прекратить, даже если вдруг почувствую себя плохо, даже если ты доведешь меня до смерти».

— Ну, а ты что?

— Тогда я не придала этим словам значения. Он ведь столько всего говорил. Но ты заставил меня об этом задуматься.

— То есть ты хочешь сказать, что он любил тебя, потому что ты могла довести его до смерти, потому что ты была для него орудием самоубийства?

— Не знаю. Никогда об этом не думала.

Вот так я постепенно приближался к истине, вернее, мне казалось, что приближался. И все-таки мне этого было мало. Мысль, что Чечилия была девушкой, каких тысячи, и что Балестриери видел в ней то, чего в ней не было, и от этого умер, эта достаточно самоочевидная мысль выглядела соблазнительно; кроме всего прочего, она объясняла и то, почему я, в отличие от Балестриери, не испытывал к Чечилии ничего, кроме простого физического влечения. Однако, сам не знаю почему, это объяснение меня не удовлетворяло. Словно, объясняя все, оно не объясняло ничего и оставляло открытым вопрос о Чечилии — то есть вопрос о ее заурядности и о страсти, которую эта заурядность внушила.

Тем временем я начал замечать, что скучаю в обществе Чечилии, то есть что я снова оказался в ситуации отчуждения, как это было накануне нашего знакомства. Слово «скучаю» не означало, что мне стало с ней неинтересно, что она мне надоела. Нет, как я уже говорил, речь шла о скуке не в общепринятом смысле слова. Не Чечилия была скучной, а я скучал, понимая, что прекрасно мог бы не скучать, если бы каким-то чудом сумел сделать нашу связь, которая с каждым днем ослабевала и внутренне опустошалась, более реальной.

Эту перемену в своих отношениях с Чечилией я заметил прежде всего потому, что стал иначе, чем раньше, относиться к физической любви, то есть к той единственной форме любви, которая была между нами возможной. Вначале эта любовь была для меня чем-то в высшей степени естественным, потому что мне казалось, что в ней природа превосходит самое себя, делаясь человечной и даже более чем человечной; теперь, напротив, меня поражало в ней прежде всего отсутствие всякой естественности, сам акт казался мне каким-то противоестественным, абсурдным и нарочитым. Ходить, сидеть, лежать, подниматься, опускаться — все, что умело делать человеческое тело, казалось мне оправданным, необходимым и потому естественным, но в совокуплении я видел теперь какое-то противоестественное насилие над человеческим телом, которое потому и приспосабливалось к нему с таким трудом и муками. Все, думал я, можно делать легко, грациозно, гармонично — только не совокупляться. Само устройство двух полов — затрудненный вход в женский орган, неспособность мужского достигать своей цели столь же самостоятельно, как достигает своей цели рука или нога, и нуждающегося для этого в поддержке всего тела, казалось, доказывало абсурдность соития. От ощущения абсурдности физической любви до восприятия Чечилии как чего-то совершенно абсурдного был всего шаг. Именно так и вела себя обычно скука, разрушая поначалу мои отношения с окружающими предметами, а потом и сами предметы, делая их бессмысленными, недоступными пониманию. Однако новым было то, что в случае с Чечилией, тоже превратившейся в моих глазах в нечто совершенно абсурдное, скука — может быть, оттого, что мне не хотелось рвать нашу сексуальную связь, к которой я привык,— не просто делала меня холодным и безразличным, она переходила границу этих чувств, побуждая меня к жестокости.

Все-таки Чечилия была не стакан, а человек, и потому даже в минуты скуки, когда она переставала для меня существовать, как любой другой предмет в этой ситуации, я умом продолжал сознавать, что она — человек. Но так же, как в случае со стаканом, когда я испытывал непреоборимое желание схватить его, швырнуть об пол и вдребезги расколотить, чтобы хотя бы посредством этого разрушительного акта убедиться в реальности его существования, так и с Чечилией, если я начинал с ней скучать, мне тоже хотелось не то чтобы ее убить, но по крайней мере причинить ей страдание. Когда я мучил ее и заставлял страдать, мне казалось, между нами восстанавливаются связи, нарушенные скукой, и что за важность, если я добивался этого посредством жестокости, а не любви.

Я хорошо помню, как в первый раз обнаружила себя моя жестокость. В один прекрасный день Чечилия, раздевшись, направилась к дивану, где, глядя на нее, лежал я, уже раздетый. Чечилия шла на цыпочках, выставив вперед грудь и оттопырив зад и сохраняя на лице торжественное и в то же время неловкое, смущенное выражение человека, приступающего к хорошо ему известному, но всегда новому делу — как это бывает в ритуалах. Я смотрел на нее, как она идет, и думал, что не только не испытываю желания (хотя потом, пусть чисто механически, я достиг необходимой для соития степени возбуждения), но мне казалось просто непостижимым, что между мною и нею могут существовать какие-то отношения.

Пока я размышлял на эту тему, она подошла к дивану и уже поставила на него колено, как вдруг я заметил, что окно в комнате не до конца зашторено. Мне был неприятен яркий свет ветреного дня, а кроме того, напротив были окна, из которых при желании можно было заглянуть ко мне в студию. И я сказал, как ни в чем не бывало: «Взгляни-ка, окно... Пожалуйста, закрой как следует шторы».

— А, да, шторы,— сказала она и, послушно повернувшись, все так же на цыпочках пошла к окну. И вот, пока она шла, пока в пространстве комнаты перемещался этот странный телесный аппарат, наполовину женский, наполовину детский, мне вдруг в первый раз с тех пор, как мы познакомились, захотелось причинить ей страдание. И это желание тут же перенесло меня в далекую пору детства, напомнив об одном случае из моей жизни, когда я тоже сознательно проявил жестокость.

В те годы у меня был простой полосатый кот, которого я очень любил, но который частенько мне надоедал: особенно когда оказывались исчерпаны те немногие игры, в которых бедный зверь мог продемонстрировать свою смекалку. В конце концов скука пробудила во мне жестокость, и я придумал следующую игру. Положив в тарелку немного сырой рыбы, до которой кот — я это знал — был большой охотник, я ставил ее в углу комнаты. Потом шел за котом и, дав ему понюхать рыбу, относил в другой угол и ждал, что он будет делать. Кот сразу же бросался к тарелке, и все его тело от носа до кончика хвоста излучало плотоядную радость; но едва он добегал до середины комнаты, как я хватал его за шкирку и относил в исходный пункт. Я повторял эту игру, если только можно назвать это игрой,



несколько раз, и по мере того, как коту делалось все яснее, что он стал жертвой какого-то рокового невезения, поведение его на глазах менялось. Поначалу, во время первых прыжков, он выглядел сильным, алчным, уверенным в себе; потом сделался осмотрительным, осторожным, как будто надеялся, что, если он будет еле заметно перебирать лапами и припадать к полу, ему удастся усыпить мою бдительность, а может, он думал, что вообще станет невидимым; под конец же бедняга ограничивался тем, что делал еле заметное движение в направлении тарелки: лукавая и вместе с тем трогательная попытка, не тратя понапрасну сил, убедиться в непреклонности моей жестокой воли. И вдруг неожиданно все переменилось: кот заговорил. Я хочу сказать, что, повернув ко мне голову и глядя прямо в глаза, он промяукал что-то необычайно выразительное — трогательное и в то же время рассудительное, словно хотел сказать: «Ну зачем, зачем ты это делаешь? Зачем ты со мной это делаешь?» Эта мяукающая речь, такая ясная и красноречивая, сразу же заставила меня устыдиться. По-моему, я даже покраснел. Взяв беднягу на руки, я сам поднес его к тарелке и дал ему спокойно съесть всю рыбу.

И вот сейчас, глядя, как Чечилия на цыпочках послушно идет к окну, я решил поиграть с ней в ту же жестокую игру, в которую когда-то играл с котом. Ведь и она тоже подходила к дивану с мыслью о том, как она удовлетворит сейчас свой аппетит, и она, как когда-то кот, всей своей фигурой излучала этот аппетит — такой естественный и такой здоровый. И вот сейчас я начну с ней ту же игру, но на этот раз ясно понимая, зачем я это делаю: посредством жестокости я хотел восстановить для себя разрушенные скукой связи с окружающим миром.

Чечилия тем временем подошла к окну, задернула шторы и направилась назад к дивану. На ее лице, только что выражавшем смиренную услужливость служанки, которая, даже голая, чувствует себя обязанной выполнить приказ хозяина, снова появилось то сложное, торжественное и напряженное выражение, которое предваряло любовный ритуал. Все так же на цыпочках она обогнула мольберт, прошла через всю комнату, приблизилась к дивану и уже сделала движение, чтобы на него взобраться. Но я остановил ее: «Прости,— сказал я,— я не могу заниматься любовью при открытых дверях. Пожалуйста, закрой дверь в ванную».

— Какой ты нудный,— пробормотала она. Однако, как и прежде послушно, снова направилась через всю комнату к ванной. В полутьме я видел ее удаляющуюся от меня легкую фигурку с пышной каштановой гривой, худым торсом подростка; ниже тонкой талии явственно обозначались бледные выпуклости ягодиц. Послушно закрыв дверь, она повернула назад, чем-то похожая на привидение в темноте, которая делала ее глаза темнее и больше, груди смуглее и тяжелее, треугольник лобка глубже и чернее. На этот раз я остановил ее не тогда, когда она заносила на диван ногу, а когда, запыхавшись, она уже укладывалась рядом со мной. «Ради бога, извини, но не будешь ли ты так добра выключить телефон? Вчера он позвонил в самый разгар. Разумеется, я не стал брать трубку, но он испортил мне все удовольствие».

Она посмотрела на меня и, сказав вполголоса, почти безо всякого выражения, во всяком случае, без упрека: «Это будет уже в третий раз», поднялась и пошла выключать телефон, стоявший на столе, в центре комнаты, и против света ясно обозначился ее профиль. Затем она опять направилась к дивану, с лицом, которое в третий раз настроилось на ритуальное ожидание. Я подождал, чтобы она подошла поближе, и воскликнул с деланной наивностью: «Какой же я рассеянный! Чечилия, дорогая, сделай мне еще одно одолжение: поди принеси с подоконника сигареты... ты знаешь, сразу после я люблю закурить... Очень тебя прошу».

Ничего не сказав, она бросила на меня изумленный взгляд, но повиновалась и в четвертый раз: вот она идет к окну, чтобы взять сигареты,вот возвращается, готовая отдаться и только этого и ожидающая.

— Держи свои сигареты,— сказала она шутливо, швыряя пачку прямо мне в лицо и делая вид, что сейчас и сама на меня набросится. Но я опять ее остановил: «А спички?»

«Уфф!» — еще одно путешествие по комнате, все так же на цыпочках, но, когда она возвращалась, ритуальное выражение на ее лице словно бы подернулось тенью сомнения и обиды. Она бросила мне в лицо спички, как до этого сигареты, но, вместо того чтобы улечься рядом, остановилась, не доходя до дивана, и сказала: «Скажи сразу, пока я не легла, что тебе еще нужно?»

— Ах да,— придумал я,— мне нужно, чтобы ты пошла на кухню и закрыла газовый кран: по-моему, я оставил его открытым.

— Еще что?

— Есть кое-что и еще: поди в прихожую и отключи дверной звонок. Чтобы нас никто не побеспокоил.

И я стал ждать, когда она все это исполнит.

Я думал, что Чечилия тут же отправится выполнять приказанное, но вдруг увидел, что она внезапно села на стул, обхватив одну ногу руками, и, скорчившись в этой позе сомнения и обиды, молча на меня посмотрела. «Что с тобой,— спросил я удивленно,— почему ты не делаешь то, что тебя попросили?»

Ответила она не сразу. Но в конце концов спросила очень осторожно:

— Но только вот эти две вещи или еще что-нибудь?

— Только эти две.

Она встала с едва заметным вздохом и опять пропутешествовала через всю комнату, сходив сначала на кухню, а потом в прихожую. Когда она возвращалась, я заметил, что на ее лице все еще держится выражение желания и ожидания, и спросил себя, а удержится ли оно, если я продолжу свою жестокую игру? Ведь это любовь, думал я, единственная любовь, на которую она способна, и я эту любовь убиваю. И тем не менее, когда она растянулась подле меня, я не удержался и сказал: «Мне очень жаль, но тебе придется встать еще раз. Мне нужна пепельница, не могу же я стряхивать пепел на пол».

И тут она сделала нечто прямо противоположное тому, что сделал кот в далекие годы моего детства. Кот заговорил рассудительно, как человек, как христианин, испытанное им страдание возвысило его до уровня человека. А вот Чечилия, столкнувшись с такой же жестокостью, прибегла к жесту чисто животного смирения — немого и в то же время душераздирающего. Вместо того чтобы встать, как я ей приказал, она, свернувшись клубочком, еще теснее прижалась ко мне, спрятав лицо у меня между плечом и шеей и сцепив вокруг меня руки. Как животное, которое не умеет говорить, она умоляла меня перестать ее мучить, какие бы ни были у меня на то причины и какое бы удовольствие я от этого ни получал. Это смиренное объятие, исполненное мольбы и печали, настолько же инстинктивно животное, насколько кошачье мяуканье было по-человечески разумным, оказало на меня то же действие. Внезапно я устыдился своей жестокости, которая в чужом страдании искала доказательства существования реальности, и, взяв назад свои бессмысленные требования, обнял ее. И сразу почувствовал, как ее тело, которое, казалось, только и ждало от меня этого сигнала, прижалось ко мне уже совсем по-другому, не умоляя, а требуя: нетерпеливый сухой удар лобка дал мне понять, что она готова к любви. Ну что же, подумал я, уже не скучая, а веселясь, приступим к трапезе.

Но с того дня я стал испытывать отвращение к жестокости как к ясному симптому нарушения связей и в то же время страх сделаться в будущем еще более жестоким, жестоким постыдно и непоправимо. Ведь это было лишь первым предупреждением, и я понимал, что, продлись моя связь с Чечилией еще немного, я могу дойти даже до садизма. Ибо именно на этот путь толкало меня желание установить с ней хоть какую-то связь. То, что патетический и бессловесный жест Чечилии заставил меня прекратить пытку, не должно было меня особенно успокаивать. Ведь я перестал ее мучить не потому, что мне стало жалко ее и стыдно за себя, а потому, что этим объятием она показала, что страдает, а именно этого я и добивался. Учитывая неизбежную потерю чувствительности, движение в этом направлении должно было, как я уже говорил, привести меня прямо к садизму, то есть трансформировать скуку в своеобразный механизм извращения. Сама скука пугала меня, но не вызывала отвращения, потому что в ней было все-таки что-то сущностное и подлинное. Садизм же мне был именно отвратителен, отвратителен своим лицемерием (ведь садист претендует на то, что должен наказать свою жертву, в то время как в самом деле он просто ищет наслаждения в тех страданиях, которые под видом наказания он ей причиняет), а кроме того, мне был противен сам вид возбуждения, который он вызывал, тем более нечистого, чем более целомудренным оно хотело казаться вплоть до того момента, когда оно разрешалось в половом акте, обнаруживая таким образом свою по существу наркотическую природу.

К счастью, однако, я не жесток: первый случай мучительства так и остался последним. И я даже решил, что мне следовало бы избавиться от Чечилии, и чем скорее, тем лучше. Мне было жалко это делать, но не из-за себя (я считал, что я-то ее не люблю), а из-за нее: мне казалось, что, хотя и не показывая этого, она была в меня влюблена. Почему я был так уверен, что не люблю Чечилию, трудно сказать. Видимо, потому, что я мог располагать ею, вернее, ее телом, когда хочу и сколько хочу, и это создавало иллюзию полного обладания, то есть отношений настолько законченных, что продолжать их просто не имело смысла. А в том, что Чечилия меня любит, я был уверен потому, что она всегда была такой послушной, такой уступчивой, такой покорной. По свойственному всем мужчинам тщеславию я приписывал эту покорность любви, хотя, казалось бы, мне должна была внушить подозрение любовь, которая никак себя не выказывает и имеет чисто автоматический характер. Но полагая, что, порвав с Чечилией, один только я испытаю от этого облегчение, в то время как она будет от этого страдать, я со дня на день откладывал наш разрыв; мне хотелось найти предлог, который сделал бы для нее этот разрыв как можно менее обидным и болезненным.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Я принял решение бросить Чечилию в тот самый день, когда со мной случился описанный выше приступ жестокости. Решение пришло ко мне сразу, как только за Чечилией закрылась дверь, но должны были пройти еще две недели, прежде чем я придумал предлог для разрыва. Никогда еще скука не терзала меня так сильно, как в эти две недели, когда она, казалось, воплотилась для меня в облике моей молоденькой любовницы. Помню, что, когда я слышал знакомый звонок — коротенький и неуверенный,— я испускал тяжелый вздох человека, находящегося на пределе терпения, а все, что происходило после того, как Чечилия оказывалась в студии, словно застывало в тусклой тупой неподвижности, которую не могли нарушить ни процедура раздевания, ни поцелуи, ни ласки, ни эротические ухищрения, на которые Чечилия была так щедра, и даже ритуальная монотонность финала, завершавшегося эпилептической судорогой оргазма. Одетая или раздетая, распростертая подо мною во время соития или лежащая рядом после, в темноте или на ярком свету, Чечилия с каждым днем становилась в моих глазах все менее и менее реальной — не просто даже как личность, но как вещь, которой еще совсем недавно удавалось меня убедить в несомненности своего существования. И так как прибегать к жестокости, которая, вероятно, на какое-то время могла бы сообщить эфемерную реальность нашим отношениям, я не хотел, мне стало ясно, что близок день, когда я поступлю с Чечилией, как поступил бы с любой вещью, которая мне больше не нужна,— то есть брошу ее, не позаботившись представить веских объяснений ни себе, ни ей. А значит, нужно было, пока не поздно, найти какой-нибудь предлог.

Как-то утром я решил навестить мать, у которой не был с памятного дня своего бегства. Сев в свой старый расхлябанный автомобиль, я направился к Аппиевой дороге. Вот она, эта древняя дорога, языческая и христианская, ставшая столь модной сейчас у богатых людей; вот ограды, из-за которых наружу выплескивается зелень садов и парков; вот прорезанные в них ворота; вот спрятавшиеся среди деревьев виллы, вот высаженные рядами кипарисы, вот одинокие пинии, вот зеленые лужайки и на них краснокирпичные развалины с вкраплениями белого мрамора; а вот, между двумя пилястрами, идущая вверх аллея с покрытием из хорошо разровненной гальки, подъездная площадка, обрамленная каменными дубами и лавровыми деревьями, и приземистое красное здание нашей виллы. На этот раз мне открыла не Рита — хмурая горничная в очках: на пороге появился коренастый дворецкий, в форменной полосатой куртке, с жирным лицом пономаря, и, называя меня «господин маркиз», сообщил, что «госпожа маркиза» дома. Я вздрогнул, услышав новый для меня титул, и вошел в кабинет. Мать сидела за столом, погрузившись в бумаги: на носу очки, в зубах длинный мундштук. Приложившись традиционным поцелуем к иссохшей щеке, я сказал: «В чем дело? Откуда взялся титул маркиза, с которым обратился ко мне твой новый камердинер? И откуда взялся он сам? Где Рита?»

Мать сняла очки и некоторое время молча смотрела на меня стеклянными голубыми глазами. Потом сказала своим неприятным голосом: «Риту я выгнала, она оказалась совершенно жуткой бабой».

— Да? А в чем дело?

— Не пропустила ни одного мужчины ни в доме, ни вокруг, в радиусе нескольких километров. Нимфоманка.

— Смотри-ка, кто бы мог подумать! У нее был такой серьезный вид!

Мать снова помолчала, словно хотела, чтобы я сосредоточился, прежде чем услышу новость, которую она собиралась мне сообщить: «Что касается титула, то недавно один специалист по геральдике сказал мне, что наш род очень знатен, что мы маркизы. Уж не знаю почему, но семейство твоего отца отбросило титул около века назад. Но я проведу необходимые расследования, и вскоре мы получим право его носить. Мне кажется, грешно им не воспользоваться, уж коли имеешь на это право».

Я ничего не ответил: снобизм матери был мне хорошо известен, и я привык ничему не удивляться. Через мгновенье она снова заговорила. «Не знаю,— сказала она тоном упрека,— отдаешь ли ты себе отчет в том, что после своего, скажем так, исчезновения в день твоего рождения ты в первый раз навещаешь мать».

Я ответил достаточно сокрушенно: «Ты права. Но я был страшно занят».

Она спросила: «Ты снова стал рисовать?»

Я ответил: «Не бойся, я был занят совсем другим».

— Да я ничего и не боюсь. Я даже предпочла бы, чтобы ты вернулся к рисованию.

— Почему?

— Потому что тогда ты бы меньше думал о женщинах,— сказала мать неожиданно и, главное, неприязненно. И потом, глядя мне в лицо, добавила: — Ты что, думаешь, это незаметно?

— Что незаметно?

Мать ушла от прямого ответа и сказала только: «Должна тебе сказать, что ты плохо выглядишь».

Я и сам это знал. Два месяца любви меня действительно вымотали. Так как ничем другим я в это время не занимался, выглядел я действительно не блестяще. Я сказал: «Ну и что, зато я прекрасно себя чувствую».

— На мой взгляд, тебе следовало бы отдохнуть: уехать за город, заняться спортом, подышать свежим воздухом. Почему бы тебе не податься в горы на месяц-на два?

— Чтобы поехать в горы, нужны деньги, а у меня их нет.

Всякий раз, когда я начинал играть на своей бедности, которая была добровольной и в сущности притворной, мать возмущалась: моя щепетильность казалась ей бессмысленной и даже безнравственной. То же случилось и на этот раз: «Ну об этом, Дино, ты мог бы не говорить».

— Почему? Сегодня пятнадцатое, и от месячного пособия у меня осталось всего каких-то сорок тысяч лир.

— Но, Дино, у тебя нет денег, потому что ты сам этого не хочешь. Ты богат, Дино, ты очень богат и напрасно притворяешься бедным. Что бы ты там ни придумывал, ты богат и останешься богатым.

Это было именно то, что я и сам думал. И я сказал, очень четко: «Если ты хочешь, чтобы я к тебе приходил, перестань напоминать мне о том, что я богат. Поняла?»

— Но почему? Ведь это же правда?

— Да, это правда, но она меня унижает.

— Да почему она тебя унижает? Подумать только, сколько людей были бы счастливы оказаться на твоем месте! Послушай, сын: почему тебя унижает то, что любого другого сделало бы счастливым?

В голосе матери слышалось искреннее огорчение, и я неожиданно почувствовал раздражение и усталость. «Есть люди,— сказал я,— у которых аллергия к землянике. Стоит им хотя бы ее попробовать, как они тут же покрываются красными пятнами. А у меня аллергия к деньгам. Я краснею при мысли, что они у меня есть».

Мать, словно ища примирения, сказала: «Ну, допустим. Пускай ты беден. Но ты бедняк, у которого есть богатая мать. По крайней мере с этим ты можешь согласиться?»

— Ну и что?

— А то, что мать хочет одолжить тебе денег, чтобы ты мог поехать в горы, скажем, в Кортина д'Ампеццо.

Я чуть не взвыл от ярости, которую вызывали у меня обычно материнские рекомендации, которые я мог перечислить заранее,— зима в Кортина д'Ампеццо, лето на Лидо, весна на Ривьере,— как вдруг внезапно понял, что, сам того не желая, получил законный предлог для разрыва с Чечилией. Я возьму у матери сумму, на которую можно прожить в Кортина д'Ампеццо, на эти деньги куплю Чечилии подарок и тут же сообщу ей, что вынужден уехать, чтобы сопровождать мать в горы. Подарок смягчит разлуку, которую я, впрочем, пока представлю как временную, а позже я напишу ей прощальное письмо. Я сказал примирительным тоном: «Ну хорошо. Пусть будет Кортина. Давай деньги».

Видимо, мать не ожидала, что я сдамся так быстро. Растерявшись, она внимательно на меня посмотрела, потом спросила: «Когда ты хотел бы поехать?»

— Да сразу же. Сегодня пятнадцатое... Ну хотя бы восемнадцатого.

— Но надо заказать гостиницу.

— Я телеграфирую.

— И сколько ты думаешь там пробыть?

— Дней пятнадцать-двадцать.

Казалось, что мать уже раскаивается, что сделала мне это предложение, вернее, насколько я мог понять, раскаивалась она не в том даже, что она его сделала, а в том, что предварительно не выторговала себе какую-нибудь компенсацию. Привычка к спекуляции была в ней так сильна, что она не могла расстаться с ней даже в отношениях со мною. Она сказала нерешительно и неохотно: «Разумеется, я дам тебе столько, сколько понадобится. Я обещала и сдержу свое слово».

— Хорошо. Так давай!

— Что за спешка? И потом — сколько тебе нужно?

— Ну, будем исходить из двадцати тысяч в день. Стало быть, двести тысяч.

— Двадцати тысяч лир в день?

— Так я богат или нет? Вроде бы ты сама только что об этом говорила. Я не собираюсь останавливаться в отеле первого класса. Двадцать тысяч в день — этого едва хватит для самого скромного проживания.

— Тут у меня денег нет,— сказала мать, решившись наконец на завуалированный отказ.— Я никогда не держу денег в кабинете.

— Хорошо,— сказал я, поднимаясь.— Так пройдем к тебе.

— И в спальне у меня тоже ничего нет. Как раз сегодня утром мне пришлось сделать одну выплату.

— Так выпиши чек. Уж чековая книжка у тебя наверняка есть.

Странно, но в ответ на это в высшей степени разумное предложение она внезапно переменила решение. «Нет, я все-таки дам тебе наличными, у меня вчера как раз кончилась чековая книжка. Пойдем наверх».

Мать поднялась, и я последовал за нею, спрашивая себя, почему произошла столь внезапная перемена в способе выплаты. Недоумевал я недолго. Уже на лестнице мать, не оборачиваясь, сказала: «Да, кстати, сейчас я дам тебе задаток — сто тысяч. Остальное завтра. Больше не могу, это все, что у меня сейчас есть».

То есть мать переменила свое решение, потому что чек ей пришлось бы выписать на всю сумму, в то время как наличными она могла дать меньше, сославшись на то, что больше у нее сейчас нет. Откуда этот внезапный приступ скупости? Может быть, подумал я, она боится утратить надо мною контроль, а может быть, хочет получить от меня что-то в обмен на деньги. Ничего не сказав, я последовал за нею по лестнице, и мы вошли в ее спальню. Это была большая и комфортабельная комната в современном стиле, выдержанная в серых и белых тонах: из-за множества ковров и занавесок — тут не было ни кусочка пола, ни клочка стены, не задрапированного тканью,— возникало ощущение духоты. В полумраке, придававшем нашему отражению в зеркалах что-то зловещее, мы выглядели словно два заговорщика. Мать подошла к двери в ванную, находившуюся в глубине комнаты, и открыла ее. Я остался стоять на пороге. «Что ты там стоишь,— сказала мать,— иди сюда, у меня от тебя нет секретов».

— У тебя нет секретов,— сказал я,— потому что ты знаешь, что мне не нужны твои деньги. Если бы это было не так, ох, сколько бы у тебя появилось секретов!

— Что за глупости! — сказала мать.— Разве ты мне не сын? — И первой вошла в ванную. Она была очень просторная — такими подчеркнуто, бессмысленно просторными бывают в богатых домах помещения, предназначенные для ухода за телом. Ванну от раковины отделяло по меньшей мере четыре метра мраморного пола, а раковину от унитаза столько же кафельного. Я увидел, как мать подошла к стене, взялась за один из крючков, предназначенных для полотенец, повернула его направо, потом налево, а затем потянула на себя. Пластинка из четырех белых плиток открылась, как дверца, обнажив сверкающую поверхность стального сейфа. «Ну-ка,— сказала мать менторским тоном, как бы предвкушая удовольствие,— ну-ка, посмотрим, сможешь ли ты справиться с шифром». В свое время она сообщила мне этот шифр, и я, сам того не желая, его запомнил, просто потому, что у меня хорошая память, но мне было противно пускать его в ход, особенно под ее взглядом: так бывает противно участвовать в ритуалах религии, которую не исповедуешь. «Зачем это,— сказал я,— открывай сама, я-то тут при чем?»

— Я просто хотела проверить, помнишь ли ты шифр,— весело сказала мать. Потом протянула свою белую, унизанную массивными перстнями руку и быстрым нервным движением набрала на циферблате несколько цифр. Сейф открылся. В глубине его были беспорядочно свалены пакеты акций и конверты, белые и желтые. Внезапно мать перешла от веселости к подозрительности и бросила на меня недоверчивый взгляд. Я растерянно отвел глаза: прямо передо мной в фарфоровой чаше унитаза лежал комок ваты. Я протянул руку и с шумом спустил воду. Когда я снова поднял глаза, мать уже держала в руке белый, очень толстый конверт и устанавливала на место плитки. Потом, возвращаясь обратно в комнату, она сказала: «Сегодня я дам тебе пятьдесят тысяч. Я только сейчас вспомнила, что другие пятьдесят мне нужно сегодня отдать поставщику».

То есть она еще раз урезала сумму, которую я у нее просил. Я рассчитывал сделать Чечилии подарок за двести тысяч, потом примирился с сотней, но пятьдесят — этого было слишком мало, чтобы смягчить известие о разрыве. И я решительно запротестовал: «Нет, мне нужна сотня. Поставщику заплатишь в другой раз».

— Но это невозможно.— Мать подошла к высокому старинному комоду, отвернулась от меня и, насколько я мог видеть, на его мраморной поверхности распечатала конверт. Я сказал, не двигаясь с места: «Ведь ясно же, что в этом конверте больше пятидесяти, может быть, даже больше трехсот. Тут по крайней мере полмиллиона, к чему эти отговорки?»

Мать, не оборачиваясь, поспешно ответила: «Нет-нет, здесь всего пятьдесят».

— Тогда дай мне взглянуть.

Она неожиданно резким движением повернулась ко мне, заслоняя собою конверт, и я увидел, каким взволнованным стало ее худое иссохшее лицо. «Дино, почему ты не хочешь вернуться к матери? Ведь если бы ты жил здесь, у тебя было бы столько денег, сколько ты захочешь!»

Так вот, значит, на какую компенсацию рассчитывала мать, и так ли уж важно, что свое требование она выставляла не в виде сухой дилеммы, как было бы в этом случае с должником, а в форме патетического призыва. И тогда я спросил у нее в свою очередь: «При чем здесь это?»

— Но я же вижу, что ты пришел сюда только ради денег, и это после того, как мы не виделись целых два месяца!

— Я уже говорил тебе, что был занят.

— Если бы ты вернулся, ты и здесь мог бы заниматься всем, чем хочешь. Я не вмешивалась бы в твою жизнь.

— Лучше дай деньги, и прекратим этот разговор.

— Ты мог бы приходить и уходить по своему усмотрению, поздно возвращаться, принимать кого хочешь, водить любых женщин.

— Но мне никто не нужен!

— Может быть, ты убежал тогда, потому что подумал, что я помешаю твоей связи с Ритой? Ты ошибаешься. Мне нужно только, чтобы ты соблюдал форму, а в остальном я тебе не помеха.

Тут я не на шутку удивился. Так значит, мать заметила что-то между мной и Ритой, но молчала, надеясь, видимо, что интрижка с горничной укрепит мои связи если не с ней, то с домом, а значит, и с ней. И когда же она это заметила? Во время завтрака? Или позже? Я внезапно ощутил неприятное чувство сыновней виновности, словно снова стал мальчиком и мать имеет право меня пристыдить. Однако я быстро справился с этим чувством, вспомнив, что к Рите меня толкнуло отчаяние, в которое неизменно приводил меня каждый визит к матери. И я раздраженно сказал, глядя ей прямо в лицо: «Нет, я бежал тогда не из-за Риты, я бежал из-за тебя».

— Из-за меня? Но я ведь даже сделала вид, что не замечаю, как ты ее лапаешь во время завтрака!

Эта фраза, в еще больше тон матери меня взбесили. «Если хочешь знать, я из-за тебя и стал ее „лапать", если воспользоваться твоим выражением».

— При чем здесь я? Разве я виновата в том, что ты пристаешь к служанкам?

— Я стал лапать ее руками, потому что ты стала лапать меня ногами.

— Ногами, я?

— Да, ты, ногами — так ты давала мне понять, что не следует говорить о деньгах в присутствии горничной. И потом знай,— я подошел к ней вплотную и говорил ей теперь прямо в лицо,— знай, что все глупости, которые я делал в своей жизни, были из-за тебя.

— Из-за меня?

— Всю свою юность,— закричал я внезапно в приступе бешенства,— я мечтал стать вором, убийцей, преступником, лишь бы не быть таким, каким тебе хотелось меня видеть. И благодари Бога, что мне это не удалось, не представлялось случая. И все это из-за того, что я жил рядом с тобой, в этом доме.

На этот раз мой тон, видимо, в самом деле напугал мать, которая обычно, что бы я ни говорил, выглядела бестрепетной инкассаторшей. Я увидел, как исказилось ее лицо, как задергалась голова. «Ну ладно, ладно,— пробормотала она,— если это в самом деле так, то не ходи больше ко мне, не ходи в этот дом».

Внезапно я успокоился. «Нет, приходить я буду, но не проси меня, чтобы я его любил».

— Да что такого ужасного в этом доме, разве он не такой, как все?

— Нет, он не как все, он даже красивее и удобнее многих других.

— Тогда в чем дело?

Я увидел, что она почувствовала облегчение, убедившись, что я отказался от прямой атаки. Я ответил ей вопросом: «Но ведь и отец не хотел жить в этом доме. Почему?»

— Твой отец любил путешествовать.

— А не точнее ли будет сказать, что он путешествовал, потому что не любил жить здесь?

— Твой отец был твой отец, а ты это ты.

Споры такого рода возникали у нас с матерью не в первый раз. Я мог кричать, мог ее оскорблять, но никогда не договаривал всю правду до конца: этот дом мне был противен, потому что это был дом богатых людей. И хотя я должен сказать, что мать сама все время подводила меня к этому порогу, словно дразня, словно провоцируя меня на ответ, ей все-таки не хотелось, чтобы я произнес все это вслух, и в последний момент она всегда отступала, переводя разговор на другую тему. Так случилось и сейчас. Я уже приготовился ей ответить, как она вдруг нервно сказала: «Сказал бы прямо, что хочешь жить отдельно, чтобы чувствовать себя свободным. Ты неправ, если так думаешь, но это неважно. Держи, вот твои сто тысяч».

Она протянула мне деньги, но как бы не окончательно: стоило мне протянуть за ними руку, как она свою отдернула, словно желая подчеркнуть, что взамен я не даю ничего. И добавила: «Да, кстати, может быть, останешься хотя бы на завтрак?»

— Не могу.

— Я пригласила несколько человек. Будет министр Триоло с женой. Симпатичный человек, интеллигентный, энергичный.

— Министр? Какой ужас! Ну, давай же мои деньги!

На этот раз она отдала мне деньги, движением раздраженным и в то же время нерешительным, словно, протягивая, хотела забрать их обратно. «Приходи тогда завтра. Будем только ты да я. И я отдам тебе остальное. В том случае, разумеется, если ты действительно решишь поехать в Кортину».

— А почему ты сомневаешься?

— С тобой никогда ни в чем нельзя быть уверенной.

Но сейчас мать выглядела уже довольной. Я понял это по тому, как она, идя впереди меня по лестнице, держала голову и скользила по перилам рукой. «Может быть,— думал я,— она довольна тем, что еще раз сумела избежать серьезного объяснения, того объяснения, которого не желает ни один богатый человек, потому что после него он уже не смог бы спокойно наслаждаться своим богатством». Удовлетворение, которое она испытывала, было, по-видимому, таким полным, что она забыла о моем уклончивом отказе и уже у самых дверей снова сказала: «Почему бы тебе не дождаться министра? Выпьете с ним аперитив, а потом уйдешь. Он человек влиятельный, может тебе пригодиться».



— Мне он, к сожалению, пригодиться никак не может,— сказал я со вздохом.— И потом, мне пора бежать.

Мать не настаивала; отворив входную дверь, она вышла на порог, к подъездной площадке, пряча руки под мышками и подрагивая от осеннего влажного воздуха. «Если так будет лить и дальше,— сказала она, разглядывая затянутое тучами небо,— прощайте все мои цветочки».

— До свиданья, мама,— сказал я и, наклонившись, запечатлел ритуальный сухой поцелуй на столь же сухой щеке. Потом бегом побежал к машине: я уже видел, что в конце аллеи показался направляющийся к дому автомобиль, и всеми силами старался избежать встречи с гостем. Я уселся за руль в тот самый момент, когда машина въехала на подъездную площадку и остановилась. Мать стояла на пороге с видом человека, приготовившегося к приему почетных гостей. Я завел мотор и отъехал, успев увидеть, как из машины вышел шофер в униформе, снял фуражку и распахнул дверцу, но не успев разглядеть того, кому принадлежала нога в черном башмаке, которая нащупывала землю, высунувшись из машины.

Еще не было часу, и я, пролетев на бешеной скорости Аппиеву дорогу, поспел на площадь Испании перед самым закрытием магазинов. Я знал, куда мне нужно пойти, чтобы купить подарок для Чечилии,— в магазин дамских зонтов и сумочек на улице Кондотти. Он был полон элегантных покупательниц, которые при виде меня посторонились с некоторым, как мне показалось, удивлением. Потом, торопливо выбирая сумочку из крокодиловой кожи, я вдруг увидел себя в зеркале и понял причину этого удивления. У меня был вид бродяги, притом бродяги опасного: лысая макушка, обрамленная длинными белокурыми прядями, поросшие рыжей щетиной щеки, угольно-черный свитер, из-под которого виднелась рубашка без галстука, мятые потертые брюки оливкового цвета. Высокий, а в этом помещении с низкими потолками прямо-таки непомерно высокий, со лбом, нависающим как козырек над голубыми с красными прожилками глазами, с коротким носом, толстыми губами — обезьяна да и только! В то же время я понял, как должна была любить меня мать, если она была готова пригласить меня даже в таком виде на завтрак с министром и другими гостями. Но потом подумал, что благодаря особой ее чувствительности к тому, что она называла «формой», мать могла решить, что я одет так, как и подобает художнику, в своего рода униформу, указывающую на мое место в этом мире, место отнюдь не позорное в глазах общества, признававшего за художником право носить свитер, так же, как признает оно право министра на пиджак. Я так погрузился в эти размышления, что вздрогнул, услышав голос продавщицы, которая протягивала мне сумку. Я заплатил, взял сверток и вышел.

Был час. Свидание было назначено на пять. Странно, но до сих пор, то есть пока отношения с Чечилией казались мне незыблемыми, я никогда не замечал часов ожидания; теперь же, когда я решил с ней расстаться, необходимость ждать вдруг повергла меня в какое-то странное смятение. Поэтому все, что я мог сделать до пяти, я делал чрезвычайно медленно, надеясь, что время таким образом пройдет незаметно и безболезненно; я поел в траттории своего квартала, притворяясь перед самим собой, что медлю потому, что смакую каждый кусок; потом я пошел в бар и, выпив кофе, еще прослушал несколько пластинок, меняя их в автоматическом проигрывателе; затем я выпил кофе в другом кафе и, вскарабкавшись на высокий табурет перед стойкой, прочел от первой до последней строчки какую-то газету. Потом минут двадцать я беседовал с попавшимся мне на улице художником, которого я даже не знал по имени, и старательно изображал интерес к произносимой им длинной диатрибе по поводу разных премий и выставок. Но даже при всем этом я сумел убить только два часа из тех четырех, которые отделяли меня от свидания. Чувствуя на душе тревогу, я вернулся наконец в свою студию.

Там меня встретил сочащийся через белые шторы мягкий, неяркий, но беспощадно ясный свет, тот самый свет, при котором ощущение скуки, то есть осознание полного разрыва между мною и окружающими меня предметами, обретало качество единственно возможного, совершенно естественного ощущения, хотя от этого оно не становилось менее мучительным. Наоборот, стоило мне войти и сесть в кресло перед пустым холстом, до сих пор белевшим на подрамнике, я сразу же подумал: «Я здесь, а они там». «Они», как я это уже знал по опыту, это были предметы вокруг меня: холст на подрамнике, круглый стол посреди комнаты, отгораживающая кровать ширма в левом углу комнаты, кафельная печь с трубой, выведенной в потолок, стулья, заваленные набросками, книжный шкаф. «Они там,— твердил я себе,— а я здесь». И между ними и мной не было ничего, ну то есть абсолютно ничего, как в космическом пространстве между звездами, отстоящими друг от друга на миллиарды световых лет.

Я повторял: «Я здесь, а они там», и вспоминал Чечилию, как лежала она вчера на этом диване — закрытые глаза, голова, откинутая на валик, выпяченный живот,— предлагая себя в самом прямом и откровенном смысле слова, именно так, как предлагает себя вещь, которая сама по себе не может ничего, кроме как навязать вам обладание ею; и еще я вспомнил, что, идя к дивану, я подумал, как сегодня: «Она там, а я здесь», и почувствовал, что между мною и нею нет ничего, полная пустота, и эту пустоту я должен пройти, пере-

сечь, заполнить движением своего тела, бросающегося на ее тело. Вспоминая усилие, которое, словно при взятии барьера, мне пришлось над собою сделать, чтобы обнять Чечилию и овладеть ею, я внезапно понял, что мое решение покинуть ее было не чем иным, как официальным, если можно так выразиться, признанием уже существующего положения дел. Да, расстанусь я с Чечилией сегодня, но на самом-то деле я покинул ее много раньше, а вернее, я никогда и не был рядом с нею.

От всех этих мыслей я задремал и в конце концов заставил себя перейти с кресла на диван. Я заснул почти сразу и с таким страстным желанием заснуть, что мне казалось, будто я, скорчившись, стиснув кулаки и зубы, проваливаюсь в какую-то пропасть, и тело мое по мере этого падения становится все тяжелее и тяжелее. Потом я вдруг проснулся с привкусом железа во рту, как будто в зубах у меня была зажата металлическая планка. В студии было почти темно. Предметы в сером полумраке сделались черными. Я соскочил с дивана и включил свет. За окном сразу же наступила ночь. Тогда я посмотрел на циферблат будильника, стоящего на столе, и увидел, что уже больше шести. Чечилия должна была прийти в пять.

Не нужно было много воображения, чтобы понять, что опоздание не случайно и что сегодня она, по-видимому, уже не придет. Между тем одной из странностей противоречивой натуры Чечилии, которой были явно недоступны чувства, заставляющие одного человека не причинять страданий другому, была пунктуальность: она была пунктуальна так, как будто действительно меня любила, и когда ей почему-либо приходилось опаздывать, она всегда успевала меня предупредить. Поэтому сегодняшнее опоздание не было вещью обычной и могло объясняться разве лишь тем, что произошло нечто настолько более важное, чем наше свидание, что Чечилия не только не пришла, но и не смогла сообщить мне о том, что не придет.

Однако первая мысль, которая пришла мне в голову в связи с этим, была следующая: «Так ты что — недоволен? Ты же хотел от нее избавиться, и вот, она не пришла. Казалось бы, так даже и лучше?» Однако в моем рассуждении был оттенок сарказма, так как я должен был с удивлением признать, что опоздание Чечилии не только не доставляет мне удовольствия, но, наоборот, очень меня тревожит.

Я вернулся на диван и принялся размышлять. Почему опоздание Чечилии так меня взволновало? И понял, что если до сих пор Чечилия была для меня, как я уже говорил, ничем, то теперь, именно в результате опоздания, она стала «чем-то». Но это едва обретенное «что-то», к сожалению, ускользало у меня из рук: ведь Чечилия не пришла! Когда она была в студии, когда она меня обнимала, она казалась мне несуществующей, зато теперь, когда ее не было и я знал, что она не придет, я с неосознанной горечью вдруг ощутил, что она существует.

Я попытался осмыслить все это получше, но заметил, что это мне дается с трудом, потому что мне было больно. Итак, Чечилия не пришла; итак, она даже не потрудилась представить мне какие-то оправдания; итак, она меня разлюбила, или, во всяком случае, любила меня не настолько, чтобы быть пунктуальной или хотя бы предупредить; иными словами, она любила меня чрезвычайно мало. И тут я неожиданно с удивлением осознал, что за все два месяца, пока длилась наша связь, Чечилия ни разу не сказала, что любит меня, и я ее ни разу об этом не спросил. Разумеется, можно было считать признанием в любви то, что она мне отдавалась, показывая тем самым, что ей со мной хорошо. Но вполне возможно, и это я понял только сейчас, что это не значило ровно ничего.

О том, что эта «жертва тела» не значила для нее ничего, я мог бы догадаться и по тому, как мало она придавала этому значения. Такие вещи нельзя не чувствовать: Чечилия отдавала мне себя с тем поистине дикарским простодушным безразличием, с каким, снимая с шеи, дикарь отдает алчному завоевателю амулет из драгоценных камней. Можно было подумать, что она не знала поклонников, которые дали бы ей почувствовать, каким желанным может быть женское тело. Правда, Балестриери ее обожал и даже умер от этого обожания, но казалось, Чечилия до сих пор этому удивляется как вещи, с ее точки зрения глупой и непростительной.

Неожиданно я почувствовал укол в сердце и вздрогнул. Уколола меня мысль — думай не думай, а она не пришла,— которая заставила меня почти физически ощутить бесплодность всех моих размышлений перед лицом этого отсутствия. Я посмотрел на часы и заметил, что со времени моего пробуждения прошло уже тридцать минут: Чечилия, конечно, сегодня не придет. И я больше не желал убеждать себя в том, что ее отсутствие мне безразлично.

Я подумал: не заболела ли она — единственная причина, которая могла бы объяснить ее поведение, не посеяв во мне подозрений, и вскочил с дивана, чтобы ей позвонить. И только тогда, с ощущением совершающегося открытия, понял, что никогда не звонил Чечилии, ни разу. Это она мне всегда звонила, каждый день, а я не звонил, потому что мне это было не нужно. Такое полное отсутствие любопытства с моей стороны показалось мне весьма знаменательным. Я никогда не звонил Чечилии, потому что никогда не пытался установить с ней настоящие отношения. Так они и стали ничем: скука легко их подорвала, и в конце концов я даже решил покончить с ними совсем.



Номер Чечилии ответил загадочным молчанием: вернее, молчание казалось мне загадочным, потому что Чечилия с той минуты, как она не пришла, сама стала загадочной, укрывающейся в этом молчании, как зверь в норе. Однако будучи загадочным, это молчание все-таки не было окончательным. Без особой уверенности, как игрок, который после нескольких проигрышей все-таки не теряет надежды отыграться, я надеялся, что в конце концов в трубке раздастся голос Чечилии. Но вместо этого произошла странная вещь: гудки прервались, то есть кто-то взял трубку, но не произнес при этом ни слова, мне показалось, что на той стороне я различил что-то вроде учащенного дыхания, а потом вздоха. «Алло, алло! — кричал я.— Кто у телефона?» — пока не услышал, как там положили трубку. В ярости я снова набрал номер, но мне снова ответило молчание, наполненное этим таинственным дыханием, и под конец трубку опять положили. Я набрал номер в третий раз и ждал очень долго, но никто не подошел.

Оставив в покое телефон, я вернулся на диван. Поначалу я был так поражен, что вообще ничего не соображал. Мне было ясно только одно: в тот самый день, когда я решил сообщить Чечилии о нашем разрыве, Чечилия, не знаю почему, впервые не явилась на свидание, то есть фактически сама спровоцировала меня на разрыв, который я только еще собирался ей предложить. Я испытывал то самое неприятное чувство, которое испытывает человек, спускающийся по крутой темной лестнице, когда, готовясь преодолеть последнюю ступеньку, вдруг нащупывает ровную поверхность лестничной площадки и теряет равновесие именно потому, что ступеньки, которой он ждал, на самом деле не оказалось.

Безотчетно, чисто механически, я поднялся, подошел к двери, открыл ее и взглянул в сторону входной двери, словно надеясь, что из-за угла сейчас появится Чечилия. Потом я посмотрел в другую сторону, и мой взгляд, обежав все двери, задержался на двери Балестриери. Я не мог не подумать о том, что и Балестриери, наверное, вот так же, бог знает сколько раз, выглядывал в коридор, чтобы посмотреть, не появится ли из-за угла опаздывающая Чечилия. Я знал, что в его студии пока никто не живет; говорили даже, что там хочет поселиться сама вдова. В день нашей первой встречи Чечилия оставила ключ от комнаты старого художника у меня на столе и так его и не взяла, а я забросил его в какой-то дальний ящик, словно предчувствуя, что он мне еще понадобится. Внезапно мне захотелось очутиться в тех стенах, где Балестриери мучился от той же самой неясности, от которой сейчас мучился я.

Я взял ключ и, оставив дверь полуоткрытой, чтобы Чечилия, если она все-таки явится, могла войти, направился к студии Балестриери.

Когда я зажег искусственные, с искусственным же нагаром свечи центральной люстры, студия, с ее подделанной под старину мебелью и темно-красным дамаском, показалась мне еще более мрачной, чем в первый раз. Ступая по толстому ковру и с отвращением вдыхая застоявшийся, пыльный, дурно пахнущий воздух, я подошел к стоящему посреди комнаты большому, громоздкому, выдержанному в стиле Возрождения столу, чья блестящая поверхность за два месяца запустения покрылась густым слоем пыли. На нем стоял телефон, рядом лежали телефонный справочник и зеленая квитанция об уплате. Я подумал, что вдова, должно быть, и в самом деле собирается сюда переехать, раз уж платит за телефон, потом мой взгляд упал на справочник, переплетенный «под мрамор». Я взял его и начал листать. Почерк Балестриери, крупный, четкий, корявый, почему-то привел мне на память его слишком широкие плечи и огромные ступни. Меня поразило количество женских имен, просто имен без фамилий, почему-то все они были на одной странице: Паола, Мария, Милли, Инес, Даниэла, Лаура, София, Джованна и т. д., и т. д. Зная привычки Балестриери, я не сомневался, что все это были имена тех легкомысленных барышень, которые когда-то, до того как началась его великая любовь к Чечилии, столь часто его посещали. Я продолжал листать, мне хотелось увидеть страницу с буквой «ч». Вот оно, имя Чечилии, и рядом телефон, по которому я только что тщетно пытался дозвониться. На мгновение я замер, не отводя глаз от этого имени и этих цифр и думая о том, сколь различны были чувства Балестриери в тот день, когда он делал эту запись, и потом, когда он открывал эту страницу, прежде чем позвонить Чечилии. Под конец ему, наверное, уже и не надо было прибегать к услугам справочника, потому что он знал номер наизусть; но все равно он время от времени, наверное, смотрел на страницу с буквой «ч», вспоминая тот роковой час, когда он записал это имя и этот номер. Неожиданно на столе зазвонил телефон.

Поколебавшись, я взял трубку. У меня было странное чувство, будто я это не я, а Балестриери, и что сейчас я услышу в трубке голос Чечилии. Это предчувствие неожиданно сбылось: я услышал по телефону знакомый голос, который спросил: «Это ты, Мауро?» Стало быть, Балестриери звали Мауро. Какая-то болезненная тошнота подступила к горлу, и у меня сжалось сердце. Так, значит, это действительно была Чечилия, и она звонила не мне, а Балестриери, то есть человеку, который умер, и она знала о том, что он умер.

Все это длилось одно лишь мгновенье. Я сказал еле слышно: «Нет, это Дино», и голос, сразу же потерявший всякое сходство с Чечилией и, более того, обнаруживший полное

с нею несходство, словно сходство это было порождением моей фантазии, в замешательстве сказал: «О, простите, это квартира Балестриери?»

— Да.

— А что, Балестриери нет? Видите ли, меня четыре месяца не было в Риме, и я просто хотела узнать, как он там. А вы что, его друг?

— Да. А вы кто?

— А я Милли,— заверила девушка горячо и как-то многозначительно, словно намекая на интимность своих отношений с художником.

— Видите ли, синьорина Милли, синьор Балестриери... уехал.

— Да? А вы не знаете, когда он вернется?

— Не могу сказать.

— Ну хорошо, если вы его увидите, скажите, что звонила Милли.

Я положил трубку и на мгновенье замер, пытаясь проанализировать смутное и неприятное чувство, вызванное у меня этим звонком. Потом я заметил, что в студии холодно, что холод пробирает меня до костей. Какой-то особенный холод, отдающий пороком и тленом, могильный и в то же время альковный, холод алькова, который стал могилой. Говоря по телефону, я сел, может быть, потому, что был потрясен, услышав голос Чечилии. Я поднялся со стула и вышел в коридор.

Вернувшись в свою студию, я взглянул на телефон и, так как не ждал уже больше никого, понял, что посмотрел на него, чтобы понять, сколько времени осталось до того утреннего часа, когда мне обычно звонила Чечилия. И сразу же подумал, что думаю об этом в первый раз, и еще понял, что отныне и впредь подобные мысли будут посещать меня все чаще и чаще.

*Перевела с итальянского С. Бушуева*

*Окончание следует*

*Антон Антонов-Овсеенко*

# КАРЬЕРА ПАЛАЧА

В марте 1938 года на судебном процессе в Колонном зале Дома союзов Генрих Ягода в последнем слове просил оставить ему жизнь. Он готов пойти на стройку простым рабочим. Было время — народный комиссар внутренних дел Ягода руководил строительством Великих каналов, которые прославили Родину на весь мир...

В декабре пятьдесят третьего, на заседании Особого судебного присутствия, Лаврентий Берия тоже просил снисхождения: «Я могу еще пригодиться...» Он сослался на свой богатый опыт государственной деятельности, напомнил о руководящем участии в создании отечественного сверхоружия.

А ведь по натуре своей Берия был человеком ленивым. В Закавказье, в годы тридцатые, да и несколько ранее, этот заслуженный чекист старался переложить всю тяжесть работы на плечи заместителей и помощников. На протяжении ряда лет деятельностью органов ГПУ — НКВД фактически руководил Тите Лордкипанидзе, Берия же отдавал явное предпочтение собственным удовольствиям. Любил председательствовать, выступать с докладами, не им, разумеется, написанными. Заложенную в нем природой энергию он тратил лишь на интриги и провокации да на любовные утехи. Тут он был неутомим.

Академик А. П. Александров четко разделяет всех лиц, причастных к Атомному проекту, на несколько групп. Характеризуя Игоря Курчатова как вполне компетентного ученого и ответственного организатора, Анатолий Александров говорит, что это была прекрасная, богато одаренная личность. Да, к осуществлению этого проекта правительство привлекло интеллектуальный цвет советской науки.

Что касается практических руководителей — министров и генералов, то далеко не все заслужили добрую память. Б. Л. Ванников, Е. П. Славский, А. П. Завенягин, М. Г. Первухин поначалу почти ничего не понимали в атомном проекте. Однако упорный, целеустремленный труд помог им приобщиться к новому делу и с большой пользой применить свой организационный опыт. Совсем иную, тормозящую роль сыграли генералы, привыкшие лишь властвовать. Для них проблема сводилась к простой формуле: «Взорвется — не взорвется?» Именно такой подход и продемонстрировал маршал (это звание он носил с июля 1945 года) Берия, хотя в организацию самого дела он и вложил колоссальную энергию.

Ныне мы располагаем замечательными историческими документами — письмами Петра Леонидовича Капицы. В одном из его писем Сталину, датированном 25 ноября 1945 года, известный ученый дает нелицеприятную оценку всесильного фаворита. «Товарищи Берия, Маленков, Вознесенский ведут себя в Особом Комитете как сверхчеловеки. В особенности тов. Берия. Правда, у него дирижерская палочка в руках... У тов. Берия основная слабость в том, что дирижер должен не только махать палочкой, но и понимать партитуру. С этим у Берия слабо». Капица не отказывает Берии в энергии и умении быстро ориентироваться в сложных ситуациях, но тут же отмечает ленивый характер этого начальника и чрезмерную самоуверенность, которая помешала Берии принять предложение академика помочь ему овладеть физикой. А заодно — познать по перво-

Окончание. См.: «Звезда», 1988, № 9; 1989, № 5, 11, 1991, № 7.

источникам историю техники. «Но для этого нужно работать,— пишет Капица,— а черкать карандашом по проектам постановлений в председательском кресле — это еще не значит руководить проблемой».

Девять раз за последние две недели назначал Берия аудиенцию Капице и всякий раз отменял. К этому приему Папа Малый прибегал обычно тогда, когда хотел «поставить на место» маститого ученого. «У меня с Берия совсем ничего не получается»,— с горечью заключает физик. Он предлагает Сталину вывести ученых из состояния подчиненных и, оказав им полное доверие, поставить *во главе* государственных проектов. «Следует, чтобы все руководящие товарищи, подобные Берия, дали почувствовать своим подчиненным, что ученые в этом деле ведущая, а не подчиненная сила». Пока же Берия и прочие начальники к мнению, к возражениям ученых мало прислушиваются.

Капицу, всемирно известного ученого, положение слепого исполнителя административной воли не устраивает, он просит Сталина освободить его от участия в Особом комитете и Техническом совете. Он полагает, что Берия будет доволен его уходом. Подчеркнув, что это письмо не является «доносом», он просит Вождя ознакомить с ним товарища Берию.

Через несколько дней тот позвонил Петру Леонидовичу: «Товарищ Сталин показал мне ваше письмо. Надо поговорить. Приезжайте».— «Мне с вами говорить не о чем. Если вы хотите поговорить со мной, то приезжайте в институт».

Пришлось Лаврентию Павловичу ехать самому. Он преподнес строптивому ученому богато инкрустированную тульскую двустволку, однако этот символический подарок, конечно же, не мог изменить мнения Капицы о шефе тайной полиции в роли куратора Атомного проекта.

Мог ли мстительный, злобный соратник Сталина оставить письмо Капицы без последствий? Травить ученого он начал еще в августе сорок пятого. Верный своей привычке действовать через подставных лиц, он уже в качестве председателя Бюро Совета Министров СССР предложил назначить заместителем Капицы по Главкислороду М. К. Сукова. Последний послал на имя Сталина явно инсценированное письмо, содержащее клеветнические измышления о деятельности честного ученого. В этом письме-доносе нашлось место и политическим обвинениям.

После же того памятного письма Сталину интриги против Капицы возобновились с новой силой. По всему видно, устроитель провокаций решился на срыв важнейших кислородных работ ученого, лишь бы дискредитировать его в глазах руководителей государства. Исполнителем злой воли на сей раз выступил профессор И. П. Усюкин. Совсем недавно, в феврале 1945 года, он выдвигал работу Капицы «Установки высокой производительности для получения жидкого кислорода» на соискание Сталинской премии. А четыре месяца спустя этот же эксперт оценивает результаты деятельности Капицы как порочные и предлагает использовать немецкие установки и западную технологию. О своем резко отрицательном отношении к турбокислородным установкам Капицы эксперт Усюкин известил также ЦК партии.

Пораженный его беспринципностью, Петр Леонидович жалуется Сталину на действия экспертных комиссий, которые, не посмотрев даже установку и не пригласив к участию в заседаниях руководителя проекта, дали неблагоприятные отзывы. При этом председатели этих комиссий — ни Первухин, ни Сабуров, ни Малышев — ни разу не выслушали объяснений академика Капицы.

Совсем нетрудно догадаться, кто стоял за кулисами этого поистине вредоносного для государства действа.

У Берии были все «основания» ненавидеть ученого. К этому столь естественному для него чувству примешивался еще и страх за свою шкуру. В среде физиков бытует рассказ о том, как во время беседы с Берией ученый сказал: «Лаврентий Павлович, вы не читали моих книг, а я — ваших. Но, заметьте,— по разным причинам...» 4 апреля 1946 года Сталин послал Капице письмо, в котором тепло отозвался о письме академика и высказал пожелание побеседовать с ним. Если такая встреча состоится, Петр Леонидович не преминет сообщить генсеку о художествах главного куратора Атомного проекта. Надо упредить зарвавшегося академика, уничтожить его, и дело с концом. Летом 1946 года начальник тыла Вооруженных Сил СССР генерал А. В. Хрулев оказался свидетелем знаменательной беседы в кабинете Вождя. Берия настаивал на аресте Капицы, Сталин ему в этой малости решительно отказал: «Я его *тебе* сниму, но ты его не трогай». Всего одна фраза, а в ней — самая суть взаимодействия двух уголовников.

Семь лет продолжалась опала замечательного ученого и патриота. Он стал затворником на своей подмосковной даче. Вместо созданного им Института физических проблем — изба на Николиной Горе, в которой и разместилась его лаборатория. Опала была снята с Петра Леонидовича лишь в августе 1953 года, после ареста его личного врага Берии.

Но этот сталинский подручный оказался и врагом отечественной науки. О «невыносимом отношении Берии к науке и ученым» Петр Капица писал Н. С. Хрущеву в сентябре 1955 года. Ученый отошел от Атомного проекта из-за Берии, а тот распустил слух, будто академик Капица отказался участвовать в создании бомбы в силу своих пацифистских



убеждений. В письме Хрущеву Капица упоминает также о мерах, принятых Берией, чтобы погубить кислородную проблему. Решение ее благодаря злонамеренным действиям лубянского воротилы задержалось на много лет.

Как все это согласовать с положительными отзывами ученых-атомщиков о Лаврентии Берии как умелом, энергичном организаторе? Он был не так уж прост, и с помощью одной черной краски его достоверный портрет не воссоздать.

* * *

Однажды — это происходило после войны — Берия беседовал с А. Н. Комаровским, опытным лагерным строителем. Он начинал карьеру на канале «Москва — Волга». Пили коньяк, говорили о жизни. После третьей рюмки хозяин кабинета положил перед генералом чистый лист бумаги: «Пиши».— «Что писать, Лаврентий Павлович?» — «Напиши про то, как тебя немецкая и английская разведка вербовала».— «Вы что, шутите, Лаврентий Павлович?» — «Какие еще шутки? Пиши». Комаровский растерялся, он пытался что-то доказывать, убеждал Берию, но тот не унимался. Раздался телефонный звонок. «Слушаю, товарищ Сталин. Да. Это будет сделано.— Берия положил трубку и налил полные рюмки коньяку.— Ну вот что, Комаровский. По указанию товарища Сталина ты назначаешься начальником строительства одного объекта. Сегодня же подпишу приказ. А теперь обмоем твое назначение. С тебя причитается...»

Страх стал постоянным спутником всех занятых в производстве атомной бомбы инженеров и ученых — больших и малых. С помощью своих генерал-надзирателей Берия поддерживал состояние страха на всех стройках, заводах, лабораториях.

А Комаровский после сдачи в эксплуатацию важного объекта атомной программы был переведен в Челябинск, потом строил новые здания Московского университета, там этот Герой Социалистического Труда прославился своим жестоким нравом.

Пока был жив Берия, Комаровский постоянно ощущал затылком его рыскающий взгляд. Любимчиков Хозяина Лаврентий Павлович не жаловал. Как-то он вызвал Комаровского и заявил ему, что на одной из дач Сталина у входной двери застряла пуля. Неподалеку от дачи работали люди Комаровского. На розыск стрелявшего Лаврентий Павлович дал ему три дня.

Через два дня Комаровский представил шефу результаты баллистического анализа траектории пули. Оказалось, что стреляли с площадки, на которой обычно тренировались личные охранники Сталина.

Комаровскому удалось миновать все рифы бериевских провокаций. Судьба ветерана ГУЛАГа сложилась благополучно и после смерти Сталина. В 1963 году он стал заместителем министра обороны по строительству и расквартированию войск и на этом посту оставался до конца, получив при Брежневе звание генерала армии.

Эстафета...

Наш рассказ об атомном короле был бы неполным без свидетельства Андрея Дмитриевича Сахарова. Бериевские агенты пытались привлечь его к работе в сухумском научном центре, обещая замечательные возможности для исследовательской работы и не менее замечательные материальные блага. Беседа с неким «генералом Зверевым» состоялась в номере гостиницы в конце 1946 года, и если бы не отказ молодого ученого, его положение изменилось бы круто. Однако, как пишет в своих «Воспоминаниях» А. Сахаров, ему все же пришлось заниматься разработкой термоядерного оружия — с конца июня 1948 до июля 1968 — двадцать лет. С Берией ученый встречался много раз в его кремлевском кабинете № 13.

...Берия обратился ко мне с вопросом, как идет работа по МТР у Курчатова. Я ответил. Он встал, давая понять, что разговор окончен, но вдруг сказал: «Может, у вас есть какие-нибудь вопросы ко мне?» Я совершенно не был готов к такому общему вопросу. Спонтанно, без размышлений, я спросил: «Почему наши новые разработки идут так медленно? Почему мы все время отстаем от США и других стран, проигрывая техническое соревнование?» Берия ответил мне прагматически: «Потому что у нас нет производственно-опытной базы. Все висит на одной „Электросиле". А у американцев сотни фирм с мощной базой». (Такой ответ был мне, конечно, не интересен.) Он подал мне руку. Она была пухлая, чуть влажная и мертвенно-холодная. Только в этот момент я, кажется, осознал, что говорю с глазу на глаз со страшным человеком.

Летом 1952 года (если мне не изменяет память) произошел такой эпизод. Возникли задержки в производстве одного из основных входящих в изделие материалов. Ответственным по Первому главному управлению за производство этого материала был Н. И. Павлов, один из руководящих работников ПГУ, кажется, в то время полковник КГБ (а может, уже генерал). Существовало в принципе два различных метода производства — назовем их «старый» и «новый». Старый метод использовал завод, ранее построенный для другой цели, впоследствии отпавшей. Новый метод использовал установку, специально построенную на основе оригинальных научно-технических разработок, и был го-

раздо более перспективным. Павлов, то ли из перестраховки, то ли желая как-то использовать уже существующий завод, решил скомбинировать оба метода; ничего хорошего из этого не получилось, план производства материала был сорван.

На совещании у Берии, при котором я присутствовал, кто-то поднял этот вопрос. Берия уже имел, видимо, свою информацию. Он встал и произнес примерно следующее: «Мы, большевики, когда хотим что-то сделать, закрываем глаза на все остальное (говоря это, Берия зажмурился, и его лицо стало еще более страшным). Вы, Павлов, потеряли большевистскую остроту! Сейчас мы вас не будем наказывать, мы надеемся, что вы исправите ошибку. Но имейте в виду, у нас в турме места много!»

Берия говорил твердо «турма» вместо «тюрьма». Это звучало жутковато. Грозным признаком было и обращение на «вы». Павлов сидел молча, опустив голову, как, впрочем, и все остальные присутствующие.

На том же заседании решался вопрос о направлении на объект «для усиления» академика М. А. Лаврентьева и члена-корреспондента А. А. Ильюшина. Когда была названа фамилия Ильюшина, Берия удовлетворенно кивнул, очевидно, она уже была ему известна.

...Лаврентьев и Ильюшин были направлены на объект в качестве «резервного руководства» — в случае неудачи испытания они должны были сменить нас немедленно, а в случае удачи — немного погодя и не всех... Лаврентьев старался держаться в тени и вскоре уехал. Что же касается Ильюшина, то он вел себя иначе. Он вызвал несколько своих сотрудников и организовал нечто вроде «бюро опасностей». На каждом заседании Ильюшин выступал с сообщением, из которого следовало, что обнаружена еще одна неувязка, допущенная руководством объекта, которая неизбежно приведет к провалу. Ильюшину нельзя было отказать в остроумии и квалификации, и все же, как правило, он делал из мухи слона. Но в случае неудачи испытания укус каждой из этих мух был бы смертелен: он ведь предупреждал...

Работа американских ученых над атомным проектом, тщательно засекреченная, вызвала все же острое внимание Главного разведывательного управления (ГРУ) наркомата обороны. Формально начальник ГРУ Ф. Ф. Кузнецов подчинялся начальнику Генштаба, но эту область разведки контролировал и направлял все тот же неподменный Берия.

Военному атташе в Канаде полковнику Н. Заботину удалось организовать две группы осведомителей, канадцев и англичан. Самыми ценными оказались Д. Лунан, И. Гальперин («Бэкон») и Аллан Нан Мэй («Алек»). Им удалось не только установить местонахождение завода по изготовлению атомной бомбы в США, но и передать советской разведке образцы урана-235 и 233. Значительный ущерб делу нанес Игорь Гузенко, шифровальщик советского посольства в Канаде. Он выдал канадскому правительству, участнику урановых исследований, важные секреты. Последовали провалы. Но жертвы оказались напрасными: как это часто случалось при некомпетентном руководстве, сведения, добытые столь дорогой ценой, устарели.

На Западе бытует мнение, что без шпионских сведений, полученных от супругов Розенберг, создание советского атомного оружия задержалось бы на несколько лет. В Советском Союзе лишь недавно признали участие в этом деле американской пары, казненной за предательство на электрическом стуле. А ведь упоминание имен осведомителей встречается даже в воспоминаниях Кима Филби, изданных в русском переводе в СССР в 1980 году. Только вот сведения, добытые Розенбергами, кстати, весьма ограниченные (как утверждал Курчатов), поступили в атомный центр слишком поздно.

В последнее время появляются воспоминания о самоотверженной и эффективной работе советских разведчиков в Германии и Англии. Несмотря на потери опытных агентов, им удалось добыть исключительно ценные секреты атомного производства. Однако некоторые отечественные специалисты утверждают, что и жертвы, и материальные затраты оказались напрасными: советские ученые разработали и осуществили Атомный проект вполне самостоятельно. Видимо, время для воссоздания точной истории Атомного проекта еще не пришло.

16 июля 1945, накануне открытия Потсдамской конференции, в штате Нью-Мексико американские специалисты взорвали первое атомное устройство. Президент США Трумен полагал, что теперь Сталин станет сговорчивей и откажется от своих имперских амбиций. О рождении атомной бомбы кремлевского Генералиссимуса известили тут же, в Потсдаме. И что же? Он остался безучастен, будто речь шла о какой-нибудь новой модели бомбардировщика. И не освободил оккупированных стран. Его не устрашила даже гибель Хиросимы и Нагасаки. Сталин уверил себя в том, что на большее Трумен не решится. Надо выиграть время, всего несколько лет, Советский Союз обзаведется своей бомбой, тогда посмотрим...

Лица, ответственные за атомную политику США, явно недооценивали научно-технический потенциал СССР. «Для того, чтобы догнать нас, Советам в самом лучшем случае потребуется до пятнадцати лет»,— заявил генерал Гровс специальной комиссии Конгресса.

Роберт Оппенгеймер, отец первой атомной бомбы, был настроен не столь благодушно,



но и он не мог предположить, что советские ученые преодолеют отставание всего за четыре года. Но они сделали невозможное.

Незадолго до испытания нашей атомной бомбы Сталин вызвал к себе И. В. Курчатова и Н. М. Сисакяна. В кабинете находился Берия, он встретил их строгим взглядом. Ученые положили на стол письменные отчеты о ходе работы. Сталин бросил бумаги на стол и сказал раздраженно: «Мне не бумажки нужны! Мне бомба нужна!»

29 августа 1949 года в 7 часов утра под Семипалатинском прогремел взрыв первой атомной бомбы. Председатель Государственной комиссии Лаврентий Берия провел последние сутки перед испытанием без сна, обошел все объекты: полигон с командным пунктом и двумя пунктами наблюдения, зал сборки с распределительными щитами, манипуляторами. Он присутствовал при окончательной сборке и проводил первенца к лифту перед подъемом на стальную вышку.

То, что произошло в то осеннее утро на левом берегу Иртыша, в 70 километрах от Семипалатинска, детально описано Н. Головиным в его книге об И. Курчатове.

Берия появился на командном пункте, расположенном в десяти километрах от башни, когда уже начался отсчет времени. Курчатов, меривший большими шагами пол укрытия, останавливается рядом с Флеровым. Остается пятнадцать минут, десять... И вдруг: «Ничего у вас, Игорь Васильевич, не получится!» — «Что вы, Лаврентий Павлович! Обязательно получится!»

Курчатов углубляется в наблюдение фона нейтронов, и только помрачневшее лицо выдает его состояние.

Когда раздался взрыв — точно в расчетную секунду,— Курчатов бросился наружу, взбежал на земляной вал с криком «Она! Она!..» Его вернули в укрытие. К Игорю Васильевичу подошел Берия, обнял и расцеловал: «Было бы большим несчастьем, если б не вышло!»

За два года до этих событий американцы испытали свою бомбу на атолле Бикини, пригласив туда советских ученых — наблюдателей М. Г. Мещерякова и Д. В. Скобельцына. Их сопровождал сотрудник тайного ведомства некий полковник Александров.

Теперь Лаврентию Павловичу важно было узнать мнение свидетелей того испытания. Он позвонил на наблюдательный пункт, где находился Мещеряков: «Михаил Григорьевич? Похоже на американский? Очень? Мы не сплоховали? Курчатов нам не втирает очки? Все так же? Хорошо! Значит, можно докладывать Сталину, что испытание прошло успешно? Хорошо, хорошо!» Берия дал команду генералу, дежурившему у телефона, тотчас же соединить его со Сталиным по ВЧ. В Москве взял трубку А. Поскребышев: «Товарищ Сталин ушел спать».— «Очень важно, все равно позовите его». Через несколько минут ответил сонный голос: «Чего тебе?» — «Товарищ Сталин, все успешно. Взрыв такой же, как у американцев...» — «Я уже знаю»,— ответил Сталин. И положил трубку. Берия взорвался, набросился с кулаками на побледневшего генерала. «Вы и здесь суете мне палки в колеса, предатели! Сотру в порошок!»

Неужто генерал осмелился сам, по собственной инициативе, сообщить Сталину о результатах испытания? Конечно же, нет. Хозяин остался верен себе, приставив к главному куратору своих людей. И Берия знал об этом.

Испытание бомбы было по указанию Берии заснято на кинопленку. Однако кинофильм, отразивший от начала до конца процесс испытания, не видел никто, кроме узкого круга специалистов. Не был он показан ни одному члену Политбюро, кроме, разумеется, генсека. Вячеслав Молотов жаловался в 1953 году, уже после ареста Берии: «Он даже нам не показал этот фильм...»

Был в обслуге Сталина киномеханик, которому и Берия оказывал личное доверие. Лаврентий Павлович вызвал его в просмотровый зал, где сидел один, совершенно один, и поманил пальцем: «Ты знаешь, что с тобой случится, если хоть одна живая душа услышит от тебя об этом фильме?» — «Знаю, товарищ Берия».— «Ну, тогда начинай».

В том, что взрыв под Семипалатинском очень скоро перестал быть тайной для западных держав, винить некого. Утечка такой информации несомненно входила в планы Папы Большого и Папы Малого. Не обошлось без ложного сообщения ТАСС от 25 сентября: якобы в СССР на строительстве одного объекта былв применены взрывные работы. Что же касается атомного оружия, то им страна располагает с 1947 года...

Сталин блефовал и вновь отметил свое личное руководящее участие в создании сверхоружия. Без атомной бомбы как удержать оккупированные территории, как вести имперскую политику?.. Вождь внимательно следил за ходом подготовки испытаний, ему не терпелось своими глазами взглянуть на бомбу. Летом 1949 он приказал привезти к нему в Кремль плутониевый заряд. Один из генералов, сопровождавших Курчатова, вспоминал позднее:

«А это не муляж?» — спросил Сталин Курчатова, указав на небольшое никелированное полушарие. «Нет, Иосиф Виссарионович. Положите руку на заряд, и вы убедитесь в том, что он выделяет тепло». Сталин так и сделал и удивленно покачал головой: «Игорь Васильевич, а почему бы этот заряд не разделить на две части и не сделать нам две бомбы?» — «Нельзя, Иосиф Виссарионович. Есть такое физическое понятие, как критиче-

ская масса. Она ставит предел: если плутония по весу будет меньше критической массы, бомба просто не взорвется».

Сталин долго ходил по кабинету, наконец остановился: «А вы здесь не ошибаетесь, Игорь Васильевич? Я так думаю: критическая масса все же понятие не физическое, а диалектическое...»

Курчатов обладал гибким умом: «К сожалению, Иосиф Виссарионович, уровень знаний сегодняшней науки еще недостаточен и уменьшать критическую массу мы еще не можем, но, естественно, будем работать в этом направлении».

Странное дело, полуобразованный Хозяин, надев маску Великого Ученого, случайно попал в самую точку. Много лет спустя, когда научились огромным давлением частично сминать кристаллическую решетку делящихся металлов да еще прокладывать листы плутония листами замедлителей нейтронов, удалось освоить метод уменьшения критической массы.

Профессор И. Н. Головин, один из сотрудников И. Курчатова, а с 1950 года — первый его заместитель, приводит подробности встречи. Вместе с Курчатовым в Кремль прибыли Н. Зернов и Ю. Харитон. Последний принял активное участие в беседе, именно он упомянул о критической массе. И еще одна памятная беседа Сталина с Курчатовым — перед испытанием первой бомбы. Сталин был заметно озабочен: «Вот испытаем бомбу, Игорь Васильевич, а американцы пронюхают о том, что у нас еще не наработано сырье для второго заряда, и попрут на нас. А нам нечем будет ответить...» — «Постараемся подготовить сырье, Иосиф Виссарионович»,— ответил Курчатов. Времени оставалось в обрез, но ко дню взрыва первой бомбы второй плутониевый заряд был изготовлен.

Итак, Советский Союз стал второй атомной державой. Люди, совершившие этот подвиг — ученые, инженеры, техники, мастера, организаторы — заслужили награды. Но как определить долю участия каждого? Как эта проблема разрешилась в кабинете Берии, Курчатов рассказал позднее, не скрывая горькой усмешки: «Я несколько дней ходил озадаченный. На очередной встрече с Берией в его ведомстве он спросил, почему это я хмурюсь, когда дело сделано. Когда я рассказал, Берия подумал и вытащил из своего хранилища какое-то номерное дело, в котором оказались списки всех участвующих в оружейном проекте — по всем ведомствам. Против каждой фамилии проставлена мера наказания (от расстрела до стольких-то лет лагерей). На тот случай, если бы бомба не взорвалась. При этом мера „ответственности" была уготована каждому в строгом соответствии со степенью важности выполняемых работ. „Так вот,— смеясь сказал Берия,— по этим спискам мы никого не пропустим и одновременно легко и оперативно определим меру вознаграждения каждому"».

Так и было сделано. Ордена, медали, дачи, автомобили, денежные премии, подарки, льготы, почетные звания щедрым дождем пролились на тружеников атомной программы, создателей советского сверхоружия. В числе новых Героев Социалистического Труда и лауреатов Сталинской премии — Курчатов, Флеров, Харитон, Щелкин, Алферов..

Сталин был щедр. Однако что сталось бы с лауреатами в случае неудачи, пусть временной? Но это уже были заботы Лаврентия Берии.

Триумфальное завершение атомной программы укрепило его место — второго, после Сталина, вождя. Но он лелеял тайную цель, для осуществления которой надо было взять под свой контроль армию, ее Генеральный штаб. Здесь он тоже преуспел, а Хозяин, как это ни удивительно, проглядел хитрые маневры своего верного слуги.

Войну Семен Штеменко начал в звании полковника. За плечами — две академии: моторизации и механизации Красной Армии и Генерального штаба. И небольшой опыт командования танковым батальоном (1937—1938). В Генеральном штабе, где он служил с 1940 года в должности старшего помощника начальника отдела, Штеменко вскоре занял место заместителя начальника направления, затем — пост начальника Ближневосточного направления. В 1942 году, когда Берия выполнял задания ГКО на Кавказе, штаб прикомандировал к нему генерал-майора Штеменко. Вероятно, Берия остался доволен таким помощником, иначе он не взял бы его с собой в Тегеран весной 1943 года для подготовки конференции глав Союзных государств. Берия полагал, что сопровождать его должен генерал-лейтенант, и это звание было присвоено Штеменко немедленно, всего через четыре месяца после первого генеральского чина. В том же 1943 году, в ноябре, он стал генерал-полковником, уже занимая высокоответственный пост начальника Оперативного управления. Минуло менее пяти лет, и Штеменко возглавил Генштаб в звании генерала армии.

Это назначение было совершенно неожиданным для министра Вооруженных Сил маршала Василевского. Он занимал одновременно пост начальника Генштаба и просил Булганина освободить его от этой работы, рекомендовав на свое место опытного генерала армии Антонова. Однако на заседании Политбюро Сталин «рекомендовал» на пост начальника Генштаба Штеменко. Антонова же послали, со значительным понижением, в Закавказский военный округ.



Еще более неожиданное произошло в июне 1952 года, когда Штеменко без объяснения причин сняли с поста начальника Генштаба и отправили в ГДР в качестве начальника штаба группы советских войск.

Здесь мы прервем послужной список Семена Матвеевича Штеменко, чтобы ответить на некоторые вопросы. Кто способствовал внезапному и такому скорому возвышению генерала? Кто обеспечил награждение Штеменко орденами, предназначенными лишь полководцам? Мундир генерала-штабиста украсили два ордена Суворова I степени и один — II степени, а также — Кутузова I степени. Кроме этого — три ордена Боевого Красного Знамени и орден Ленина. Почему Сталин резко оборвал его карьеру в 1952 году? Ответ столь очевиден, что исключает поиск иных версий. Берия, став руководителем Атомного проекта и фактическим распорядителем сверхоружия, задумал взять под свой контроль и армию. Этой цели вполне соответствовал преданный ему лично человек на посту начальника Генерального штаба. С атомной бомбой в правом кармане и Генеральным штабом Советской армии в левом, он мог совершить великое, непредсказуемое зло.

Сталин, конечно же, заметил, пусть с опозданием, куда клонит атомный король, и снял Штеменко с ключевого поста в тот момент, когда противоборство достигло высшей точки. Что касается объяснения, которое Сталин посчитал нужным дать Василевскому один на один по поводу смещения Штеменко («Он все время пишет, и пишет, и пишет на вас. Надоело».), то делалось все это не без ведома Берии. Таким способом он надеялся освободить для своего человека кресло министра обороны. Дальнейшие изменения в уникальной судьбе Штеменко лишь подтверждают сказанное выше.

После смерти Сталина — возвращение в столицу на пост первого заместителя начальника Генштаба (16 марта 1953 г.). За арестом Берии последовало резкое понижение в должности — Штеменко назначен начальником штаба Западно-Сибирского военного округа (15 июля 1953 г.).

Вся послевоенная деятельность Лаврентия Берии, особенно участие в осуществлении атомной программы, убеждает нас в том, что в его лице Сталин получил равного себе противника. Второго, подобного Берии, история не знает.

Многие современники полагают, что это противоборство началось в самом конце сороковых годов. Дело было не так. Поставив Лаврентия Берию на ключевую позицию наркома внутренних дел, Сталин был уверен в том, что сумеет держать фаворита в жесткой узде. И Берия на первых порах поддерживал эту иллюзию генсека. Но их медовый месяц продолжался недолго. Уже через год Сталин начал сомневаться в разумности своего выбора. Все чаще и чаще стала брать верх постоянная подозрительность Вождя. Светлане Аллилуевой запомнился один характерный эпизод.

Она часто гостила на даче Берии, у Нины Теймуразовны, и отец поощрял эту дружбу. Однажды, в первые дни войны, Светлана осталась там ночевать. «Наутро вдруг позвонил разъяренный отец и обругал меня нецензурными словами. Он прокричал: „Сейчас же езжай домой! Я Берии не доверяю!"».

Вряд ли Сталин вкладывал в эти слова политический смысл, он знал, что Берия способен на все. Без таких функционеров, как Берия, генсек не удержался бы у власти столько лет. На кого еще мог он опереться в дни военных поражений? Берия, конечно же, заметил растерянность Сталина, его трусость. И с тех пор стал вести себя вызывающе, порой даже нагло.

В конце войны, пользуясь благодушием Верховного Главнокомандующего, Берия внедрил в дачную обслугу своих людей из грузин. Поощрения они получали царские.

...Это случилось года два спустя после войны. За обедом Сталин огляделся и спросил: «Почему я окружен грузинами?» Берия был начеку: «Товарищ Сталин, эти люди — ваши верные слуги. Они всецело преданы вам...» — «А русские что же, мне не преданы?!» — «Нет, этого я не сказал,— ответил Берия,— но все, кто здесь находятся, это вполне лояльные слуги».— «Мне не нужна их лояльность! — крикнул Хозяин.— Гони их отсюда вон!» Пришлось Берии, публично униженному, покинуть гостиную и тотчас уволить своих агентов-грузин. Тогда же была уволена сестра-хозяйка сталинского дома с 1937 года, майор госбезопасности Александра Николаевна Накашидзе. Такую фамилию носил известный погромщик, бакинский генерал-губернатор. Не приходилась ли ему родственницей эта двоюродная сестра Нины Теймуразовны Берии?

К тому времени Берия до тонкости разработал технологию устранения неугодных людей и создал безотказный механизм отсечения от генсека старых и новых фаворитов. Прошло то время, когда он уничтожал функционеров партийной и государственной власти по указке Сталина. Теперь он это делал уже по собственному выбору, и, как заметил тогда же Хрущев, Сталин это понимал. И стал бояться товарища Лаврентия.

Игнатий Лойола, основатель ордена иезуитов, каждого члена ордена сравнивал с палкой в руках Генерала. Берия давно уже, с начала войны, когда в полной мере проявились не только трусость, но и бездарность Сталина, тяготился своим положением исполнителя верховной воли. Ему надоело быть палкой в руках Хозяина.

Берия был большим притворщиком, уже в первые годы службы в Грузинской ЧК искусно завоевывал доверие нужных людей. Без труда сумел он обойти простака Хрущева. На первых порах Никита Сергеевич считал Лаврентия своим другом, но очень скоро столкнулся с его жестоким двуличием. Они часто встречались за обедом у Сталина, и тот однажды пожаловался Хрущеву: «Раньше наши обеды были приятны, теперь же, при Берии, все стало плохо. Он пьет и подбивает на пьянство других». Вспоминая об этом, Никита Хрущев попутно выдает один секрет. Оказывается, Берия, Маленков и Микоян просили официанток наливать им вместо вина подкрашенную воду. Как-то Щербаков, натурально упившись, открыл секрет трех «трезвенников», и Сталин поднял страшный шум...

Союз Берии с Маленковым имел ключевое значение в его борьбе за власть. Именно о ней идет речь, об абсолютной власти, но не о троне генсека. На этом посту Лаврентию Павловичу виделся вполне послушный ему партфункционер. Им мог стать Никита Хрущев, но он казался слишком простым и недалеким. И Берия остановился на Георгии Маленкове.

В свое время он был близок Николаю Ежову, тогдашнему председателю КПК. Ежов даже хотел сделать его своим помощником.

Берия давно оценил скрытую и необоримую силу центрального аппарата, поэтому хотел заручиться в первую очередь *своим* человеком в секретариате. И Маленков на посту секретаря ЦК, сумевший взять под контроль почти весь главный штаб партии, мог стать опорой Берии. И стал ею. Объединившись, они составили в Политбюро силу, которую мог одолеть лишь Сталин. Без его поддержки ни Молотов, ни Ворошилов, ни Калинин не осмеливались спорить с более молодыми и весьма прыткими компаньонами. Берия продолжал играть роль послушного слуги, он выжидал, ибо знал, чем может кончиться прямой конфликт с генсеком.

В 1949 году Сталин вызвал из Киева Хрущева и поставил его во главе столичного комитета партии. Он надеялся создать противовес усилившемуся тандему. Вспоминая о той тревожной поре, Никита Хрущев пишет, что постоянно противостоял Берии и Маленкову. Он нередко преувеличивал свое значение, однако здесь несомненно содержится большая доля правды.

В мае 1946 года генсек неожиданно снял Маленкова с высокого поста и переместил в Узбекистан. Зигзаги в судьбе фаворитов генсек создавал и раньше, но такого еще не было: человек, занимавший второй по значению пост в партии, угодил вдруг в далекую ссылку. Это совпало по времени с арестом министра авиационной промышленности А. И. Шахурина, обвиненного в развале дела. Рассказывают, что поводом послужила жалоба сына Сталина Василия на плохое качество самолетов. Поскольку куратором этой отрасли был Георгий Маленков, у генсека появился повод убрать его.

Не прошло и года, как Маленков вернулся в Москву — случай в истории партии уникальный. Обычно за снятием с высокого поста неотвратимо следовала казнь. Как же это Берии удалось уговорить Хозяина?

Арест Шахурина и опала Маленкова — каприз генсека или результат отлично сработанной провокации? Берия подноил-подговорил Ваську Сталина, тот вызвал праведный гнев отца и... Эта история могла понадобиться Берии для «спасения» Маленкова. Ему нужен был в секретариате ЦК не просто свой человек, но человек преданный, обязанный ему всем. Такова возможная схема действий Лаврентия Берии. Как бы там ни было, с той поры Берия и Маленков стали неразлучны.

У Никиты Хрущева были все основания называть Берию редчайшим мастером провокаций, всегда искавшим случая *поймать* конкурента на слове. За два года до войны, когда Хрущев прибыл по делам из Киева в Москву, Берия пригласил его на дачу: «Послушай, что ты думаешь о Маленкове?» — «А что я должен думать?» — «Я имею в виду теперешнее положение, когда арестован Ежов».— «Понимаю. Ежов с Маленковым были приятелями. Ну и что? Я думаю, Маленков — честный человек».— «Весьма возможно,— ответил Берия,— но ты все же подумай...»

Подобные беседы Берия затевал и после войны — то с Хрущевым, то с Булганиным. Позднее он пытался вызвать недовольство самим генсеком, однако никогда не позволял себе инсинуаций в адрес Сталина при Кагановиче. Лазаря Моисеевича он ненавидел страстно. При Хрущеве же он доходил порой до оскорблений Божества и ожидал реакции дорогого Никиты. Но тот «...никогда не закрывал ушей и никогда не открывал рта...».

А как Берия разделался с Вознесенским! Пользуясь близостью к Сталину, он умел выбрать минуту благодушия или раздражения Хозяина и употребить целенаправленную информацию на пользу или во вред определенному деятелю. Именно так он поступил с председателем Госплана Николаем Вознесенским, который опрометчиво отбивал все попытки Берии получить как можно больше средств за счет других министерств. И Вознесенский погиб.

Сталин все видел, все замечал. Берия был ему еще нужен, его присутствие в Политбюро обеспечивало зыбкое равновесие мелких самолюбий постоянно враждующих вождей. Но, сознавая приоритетное значение атомной программы, генсек решил освободить его от приятных обязанностей министра внутренних дел. Берия должен был полностью переключиться на производство сверхоружия и организацию разведки. Во главе МВД СССР Хозяин поставил одного из ближайших подручных Берии Сергея Круглова. Борьба вокруг трона обострилась до предела. Жданов со своей командой добивается не только отстранения и высылки Маленкова, но и смены руководства МГБ. Давний сподвижник Берии, его правая рука, Меркулов уступил свой пост Абакумову, который успел проявить себя с лучшей стороны как начальник СМЕРШа.

Назначая этого функционера главой Органов, Хозяин надеялся сконструировать противовес Берии, чье могущество становилось опасным. Сталину трудно было вообразить, что в его окружении есть люди, преданные ему менее, чем кому-либо из его собственных подручных. Долгие годы раболепного поклонения трону притупили настороженный ум деспота. Не знал он, что Абакумов взирает на этот странно-покорный мир из-под козырька бериевской фуражки. «Он самый подлый, значит, самый безопасный»,— полагал Лаврентий Берия. Он остерегался лишь честных работников — они служили идее. Подлец же всегда преследует свои мелкие интересы. Его корыстные цели видны, поэтому подлеца легко вести за собой.

Сведения, поставляемые генсеку Абакумовым, предварительно процеживал Лаврентий Павлович, на главный стол их подавали под соусом, состряпанным на бериевской кухне. Он продолжал контролировать личную охрану и обслугу Сталина, сколько бы раз тот ни менял состав ближайшего окружения. Кто посмел бы выказать непослушание могущественному царедворцу?

Шли годы. В верхнем эшелоне власти менялась обстановка, вместе с ней менялся Берия. Ольга Никитична Картвелишвили помнит его волевым, деятельным начальником и напористым лицедеем. При надобности товарищ Лаврентий мог сыграть роль заботливого друга, то — жизнерадостного весельчака, пустить в ход личное обаяние.

Светлана Аллилуева учила французский язык, и ее преподаватель, П. Лавранш, часто встречалась в Кремле с Лаврентием Берией. Она отзывается о нем как о вежливом, воспитанном человеке. Француженка считала его одним из самых образованных руководителей в сталинском окружении. Оказывается, Берия тоже владел французским.

Проявив незаурядные способности к политической мимикрии, наш обаятельный «француз» становился все жестче и надменнее. Вскоре он так прижмет старых членов Политбюро, что те уже не осмелятся ничего докладывать генсеку без его ведома. Если за столом у Сталина Лаврентий Павлович поднимал некий вопрос, который Хозяин почему-либо отклонял, и кто-то позднее возвращался к этой теме, Берия мог осадить соратничка: «Я уже говорил об этом. Незачем поднимать этот вопрос вторично!»

С не меньшим изумлением наблюдал Никита Хрущев другие сцены, когда споры Берии со Сталиным доходили до ссоры. И всякий раз Берия обращал все в шутку: «Милые бранятся — только тешатся...»

То были достойные друг друга партнеры на кремлевской сцене. Но ссоры далеко не всегда носили такой характер. Берия наглел, наливался властью, он уже полагал обязательным согласовывать с ним тексты всех докладов генсека, и тот часто уступал его притязаниям.

Чем объяснить столь несвойственное Вождю долготерпение? Может быть, Берия шантажировал его документами царского департамента полиции?..

У Сталина не было повода для недовольства Абакумовым. Министр проявлял полное послушание, исправно служил, с разительным эффектом провел «Ленинградское дело». Но вот в конце мая 1951 года старший следователь по особо важным делам МГБ М. Д. Рюмин обратился к Сталину с письмом. Он сообщал, что Абакумов покровительствует террористическим замыслам вражеской агентуры. Таким образом, шеф МГБ ставит под угрозу жизнь самого товарища Сталина. Кроме того, Абакумов скрывает от ЦК промахи в своей работе и таким образом выводит органы госбезопасности из-под контроля партии. Рюмин информировал Сталина, что Абакумов знает о существовании заговора еврейских буржуазных националистов, инспирированного американской разведкой, но, желая скрыть это от вождя народов, приказал умертвить раскаявшегося в своих преступлениях врача Этингера.

Надо ли упоминать, что Рюмин не мог один состряпать подобную провокацию, связанную со смертельным риском.

4 июля 1951 года Хозяин заменил Абакумова Игнатьевым, а на следующей неделе бывший министр уже сидел на «Матросской тишине».

Игнатьев в двадцатые годы работал в Средней Азии, потом — на довольно ответственных партийных должностях в Бурят-Монголии, Башкирии, Белоруссии, а последние годы — в аппарате ЦК. Под началом Берии не служил, однако карьеру начинал именно в ЧК. Игнатьев трепетно служил Вождю, который поднял его, крестьянского сына, на такую негаданную высоту. Он оказался на своем месте. Тем не менее Сталин постоянно понукал его. Во время создания провокационного дела врачей Сталин в присутствии

членов Политбюро кричал на Игнатьева, угрожал ему. Он требовал заковать врачей в цепи и бить, бить, превратить в фарш!

Сталин постоянно знакомился с данными разведки, интерес к западным и восточным державам не ослабевал и в послевоенные годы. Китай, Мао Цзэдун и его окружение пользовались особым вниманием кремлевского сидельца. Юрий Власов сообщает, что он часто читал доклады одного классного разведчика, опытного врача, которому Мао Цзэдун доверил даже оперировать свою супругу. Внезапно хирурга вызвали в Москву и арестовали, обвинив в связях с женой американского резидента в Китае. Сталин распорядился выпустить разведчика, справедливо полагая, что самые ценные сведения нередко удается добыть именно через женщин. Однако на Лубянке «предателя» успели так обработать — в избиениях участвовал лично Абакумов,— что ему понадобилось серьезное лечение. Но вот в дело вступил Берия, он-то знал, что Сталин подобных ошибок не прощает. И когда хирург-разведчик после госпиталя отправился воздушным рейсом в санаторий, самолет по пути в Сочи сгорел...

Неудобным для Берии оказался еще один человек — непосредственный начальник погибшего хирурга. Это был отец Юрия Власова. В 1942 году он возглавил группу военных корреспондентов ТАСС в Китае, сблизился с Мао Цзэдуном. В 1948 году — назначен генеральным консулом в Шанхае. Берия пытался приручить разведчика, но из этого ничего не вышло. История гибели хирурга тому известна в деталях, и это предопределило его судьбу. В конце 1952 года он приехал в Москву из Бирмы, где служил послом. Берия пригласил его к себе и, узнав в дружеской беседе, что тот страдает желудком, опасается раковой опухоли, предложил новейшее онкологическое средство. Власов вернулся домой с распухшей рукой. Жить ему оставалось после «целебного укола» всего несколько месяцев. Он погиб весной, не дожив до 49 лет.

Начальник управления контрразведки МГБ генерал-лейтенант Леонид Райхман, один из самых доверенных подручных Берии, выдавал себя за поляка, будучи евреем. То ли по этой причине, то ли из естественного желания ослабить позиции Берии, но Сталин приказал министру госбезопасности Игнатьеву арестовать генервла. Это произошло в 1952 году. На другой день после смерти Сталина Берия принес опальному в камеру мундир генерал-полковника.

Долгое время никто, кроме Берии, не снабжал генсека информацией о положении дел в Грузии, да и во всем Закавказье. Эта монополия и непререкаемый авторитет Папы Малого в этом регионе стали раздражать Хозяина. Он решил обеспечить свой тыл прежде всего в Грузии. Николай Рухадзе, почти десять лет возглавлявший грузинские Органы, генсека никак не устраивал. В сентябре 1952 года он назначает министром ГБ Грузии А. И. Кочлавашвили. Ему Вождь поручил чистку партийных и государственных верхов республики с целью подорвать там позиции Берии. Кочлавашвили начал с мирного заявления: «До сих пор работа Органов была неполнокровной». Сколько же еще крови должно пролиться в распятой Грузии? Это мог определить только он, Кремлевский Дозировщик.

Охрана жизни генсека стала наиважнейшим государственным делом. Ведь благополучие Вождя означало благополучие всего народа. В том раю, который учредил для себя Сталин, Берии была отведена роль Верховного Охранника.

В тридцатые годы Сталин разъезжал на легковой автомашине марки ЗИС-110: семь мест, усиленный кузов, пуленепробиваемое стекло. Автомобиль был почти полностью скопирован с американского «бьюика», но оказался громоздким и потреблял столько горючего, что на одной международной выставке его зачислили в класс комфортабельных грузовиков. Послевоенную модель (1949 год) ЗИС-115 скопировали с американского «паккарда». На этот раз кузов изготовили из бронированной стали. Толщина двойных стенок достигала 30-40 миллиметров, пуленепробиваемых стекол — 80, причем каждое стекло открывалось своим гидравлическим домкратом, вмонтированным внутрь дверцы. Двойное дно, двойной потолок и особо усиленная задняя стенка, на тормозах — армированные чулки. Общий вес стального чудища достигал 6,5 тонны. Мощность мотора доведена до 180 лошадиных сил (прежняя — 140).

Таких машин на заводе имени Сталина выпустили 28. Они не должны были ничем отличаться от серийных ЗИС-110 числом 2800. Все внешние атрибуты, все параметры до миллиметра совпадали с серийными. Сложная конфигурация ставила перед инженерами очень трудные задачи, но все горели желанием справиться с почетным заказом Вождя на «отлично». Пришлось только уменьшить число мест до шести: сзади осталось два (в серийных три), еще два откидных и два впереди (одно из них для шофера). И все же точной копии не получилось. Поскольку значительно возросла нагрузка на колеса, пришлось увеличить их диаметр. Они были снабжены специальными камерами, более безопасными. Больше стал и радиатор.

Подобный агрегат не мог двигаться в общем уличном потоке: радиатор перегревался, вода в нем довольно скоро закипала. Бывший водитель персональной машины Лихачева рассказывал, что по дороге на стадион приходилось пять-шесть раз останавливаться.



В довоенную пору Сталин занимал место на заднем сиденье, между двух дюжих охранников. Они прикрывали Хозяина своими телами сзади, сомкнув плечи. Позднее генсек располагался на одном из откидных сидений, имея за спиной двух охранников. Да, трудно сыскать в истории человечества диктатора, который столь бережно относился бы к собственной персоне, как Сталин. Из добрых побуждений, разумеется: что сталось бы с народом без него?..

Мы не знаем, что по этому поводу думал маршал Жуков, который после войны иногда ездил в одной машине с Генералиссимусом.

«Стекла в машине вот такие. (Он показал пальцами толщину стекол). Впереди сел начальник личной охраны Сталина. Сталин указал мне, чтобы я сел на заднее место. Я удивился. Ехали так: впереди — начальник личной охраны Власик, за ним — Сталин, за Сталиным — я. Я спросил потом Власика: „Почему он меня туда посадил?" — „А это он всегда так, чтобы, если будут спереди стрелять,— в меня попадут, а если сзади — в вас"».

Сталин имел обыкновение менять свой маршрут перед самым выездом из Кремля. На внутреннем дворе Большого театра дежурили скоростные машины с охранниками, которые по спецсвязи получали приказ присоединиться в указанном пункте к автоколонне. Люди первого эшелона, естественно, конкурировали с людьми второго, но именно такая ситуация — соперничество при двойном контроле — и устраивала Хозяина больше всего. Об этом ныне свидетельствуют пережившие всех наследников Сталина служащие его личной охраны.

На некоторых улицах было установлено постоянное дежурство специально подготовленных охранников. На чердаках, на верхних этажах арбатских домов сидели снайперы, готовые поразить любую подозрительную цель. Каждый квадратный метр старого Арбата был пристрелян сверху световыми лучами.

Сталинские автомобили, эти мирные броневики, испытывали боевыми пулеметами. Потом кузов реставрировали, заделывали вмятины. После этого бесстрашный генсек мог пользоваться своей машиной.

Все 28 были разбросаны по стране: две в Ленинграде, 20 в Москве и на загородных дачах, остальные в Крыму, на Северном Кавказе, в Сочи и в Закавказье.

Прошло время, и автопарк усопшего Диктатора свезли в Кремль, на подземный склад. Потом отправили машины на завод имени Лихачева и разбили. Один из уцелевших монстров экспонируется ныне в Риге, в клубе любителей автомобильной старины, два — в Политехническом музее. Судьба четвертого автомобиля примечательна. Он был выкуплен у Советского правительства неким Исидором Потаповым. Летом 1990 года он решил продать его на Западе через австрийскую фирму «Шерц». Предполагали, что цена сталинского авто превысит на аукционе 2 миллиона долларов.

В Гори сохранился другой музейный экспонат — железнодорожный вагон. При жизни Диктатора его держали на станциях Кавказской железной дороги для поездок в Боржоми, Цхалтубо и Бакуриани. Длина его несколько уступала современному купированному вагону (21,6 против 23 метров), зато оборонной мощью и оборудованием он мог поразить воображение самого прихотливого охранника. Одетый в толстую броню стальной монстр весил 83 тонны. Шесть пар колес, снабженных уникальными рессорами, держали его на рельсах.

Представление о внутренней планировке дает схема. Для удобства причем за единицу площади одно купе. Итак, первое купе — кухня. Рядом помещение для охраны. В третьем — спальня. Два следующих — кабинет. Во второй половине (шесть купе) — зал заседаний.

Интерьеры отделаны дубовыми и ореховыми панелями с инкрустациями в старокупеческом стиле. Зеркальное стекло, никель, бронза, позолота. В зале висели три хрустальные люстры. Тесно, конечно, зато шик какой...

Вождь пользовался своим чудо-вагоном не чаще одного раза в три года.

Пристрастие к бронированным вагонам он проявил еще на заре Советской власти, в 1918 году. Всего один раз выехал Великий Полководец на Царицынский фронт. В бронепоезде. В единственном бронепоезде, снятом срочно для этой цели с позиций. Уже тогда Сталин относился к своей персоне как к государственной ценности. С годами животный страх Любимца Партии и Народа возрос неимоверно, и Берия научился виртуозно играть на этой струне.

После войны, когда генсек, теперь уже Генералиссимус, возобновил поездки на юг, Берия отряжал на его охрану целые армии. Из Москвы в Сочи отходили почти одновременно и вне расписания три поезда. Попробуй угадай — в каком едет венценосный Герой. Вдоль всей трассы дежурили тысячи сотрудников милиции и агентов госбезопасности. Они брали под свой контроль службу движения — от диспетчеров и дежурных по станциям до стрелочников. Со всех вокзалов убирали пассажиров.

В сентябре 1947 года Сталин избрал местом отдыха дачу на Холодной речке, под Гагрой. Немедленно во всех санаториях и домах отдыха от Сочи до Сухуми разместили десятки тысяч бериевских агентов. Они заняли добрую половину мест. Оставшихся больных и отдыхающих подвергли строжайшей проверке. Все милицейские посты заняли

московские сержанты и офицеры, включая службу ГАИ. Повсюду шныряли агенты в штатском. Территорию сталинской дачи охранял особый полк войск МВД. Берия лично инспектировал эту грандиозную систему.

Но вот Сталин выехал домой (самолетам он свою жизнь не доверял), и в тот же день на станцию Адлер подали шесть железнодорожных составов, потом еще шесть. Специальные самолеты пошли на Москву. Армия профессиональных бездельников — сановных и рядовых — возвращалась в столицу.

В Кремле, где находился рабочий кабинет Сталина, его квартира и зал заседаний Политбюро, система безопасности была тщательно продумана и отлажена еще до войны, в годы большого террора. История не знает ни одного случая покушения на жизнь генсека и его подручных на территории Кремля. Комендантом этой крепости служил Николай Спиридонов.

Кабинетом Сталина, а значит, и подступами к нему ведал Александр Поскребышев. На первый взгляд его можно было принять за обыкновенного работника центрального аппарата, пусть опытного и авторитетного. Или за кербера, чей животный инстинкт безошибочно отличал нужных соратничков от ненужных... И от обреченных. Поскребышев возглавлял личную канцелярию генсека и особый сектор. Эти полуофициальные конторы, уставом партии не предусмотренные, функционировали уже не одно десятилетие *при* ЦК, точнее, над ним. И — что имело особое тогда значение — над тайной службой. Ни Ежову, ни Ягоде, ни Берии они не были подвластны.

В системе личной безопасности Сталина особый сектор занимал ключевую позицию. Он назначал и контролировал комендатуру и обслуживающий персонал Кремля — от высших офицеров до сотрудников музеев и поваров. Окруженные людьми особого сектора члены Политбюро жили в своих покрытых сусальным золотом клетках подобно сытым кроликам в сарае рачительного хозяина. А генсек обезопасил себя дважды — от возможных покушений отчаявшихся партийцев и сотрудников государственной службы безопасности. Так было заведено еще в начале тридцатых, на взлете горийского хулигана к бессмертию.

Сам кремлевский кабинет генсека находился под бдительной охраной постоянно дежуривших у двери агентов. В их проходную комнату посетитель попадал через приемную, где стояли столы Поскребышева и — чуть в стороне — его заместителя. Обыску подвергали всех, за исключением нескольких особо доверенных лиц. Достижения техники тоже использовались. В годы войны диван в приемной был оборудован специальным электронным устройством.

Карьера Поскребышева началась довольно странно. В партию он вступил в 1917 году в двадцатишестилетнем возрасте. В эту пору люди его поколения уже имели стаж подпольной борьбы с царизмом. Прошлое его затемнено наспех сочиненными легендами о революционных постах, которые он занимал в Екатеринбурге, Туркестане, Златоусте, Уфе... Точно известно лишь, что он работал фельдшером на одном из горных заводов Урала, потом — в органах ВЧК и вскоре переехал в Москву. В 1922 году он уже служит в аппарате ГПУ, откуда его переводят в канцелярию генсека. Предстояла Александру Поскребышеву долгая, на три десятилетия, почетная вахта в предбаннике Вождя.

Охрана квартиры генсека, расположенной рядом со зданием бывших судебных установлений, не представляла трудностей. Но чаще он обитал, особенно в последнее время, на своей даче в Кунцево, близ Москвы. Комендантом «Ближней», как ее называли, был генерал Власик. Сталин поставил его во главе Главного управления охраны МГБ. Полуграмотный, тупой служака щеголял в мундире генерал-лейтенанта и позволял себе поучать ответственных лиц, вплоть до министров. Характеризуя Николая Сидоровича Власика как глупого и вельможного солдафона, Светлана Аллилуева сообщает о том, что отец вверил ему управление отрядами охраны всех своих дач — под Москвой и на юге.

Ближние и дальние подступы кунцевской резиденции Сталина находились под круглосуточным наблюдением сотен вооруженных агентов, готовых в любой момент отразить налет отряда лихих кавалеристов, усиленного ротой пулеметчиков. Такое могло случиться только в сказке, но в то сказочное время никто ничему не удивлялся. И высокие заборы с массивными стальными воротами, и скрытая кустами колючая проволока под электрическим током, и тройная проверка документов, и сложный порядок представления посетителей Хозяину — все казалось необходимым, естественным.

Попав на территорию дачи, автомашина совершала крутую петлю вокруг деревьев, скрывавших фасад здания. Кошачьей натуре генсека претили прямые ходы, и это тоже воспринималось как должное.

Но было одно обстоятельство, существенно отличавшее Кунцево от Кремля: подбор и назначения охранников и обслуживающего персонала дачи осуществлял не кто иной, как Берия. Сталин иногда капризничал: то ему надоела грузинская обслуга, то ему не нравились русские садовники... Но Берия сумел сохранить свои командные позиции и в последней игре пустить этот козырь в ход.

Сталин опасался удара и с другой стороны. Он знал, кто отравил в 1936 году Нестора Лакобу. И кто отправил в мир иной бывшего советника Мао Цзэдуна Петра Владимирова.



За Лаврентием Павловичем числились и другие химические опыты, да и сам Сталин никогда не ограничивал себя в выборе средств.

По свидетельству Светланы Аллилуевой, все продукты питания — мясо, рыба, овощи, фрукты, хлеб, вино — подвергались лабораторному исследованию и поступали на кухню — каждый пакет в сопровождении акта, заверенного подписью токсиколога и круглой печатью. Такой же процедуре подвергались посылки, поступавшие сюда с Кавказа.

Никита Хрущев вспоминает, с какой опаской генсек относился ко всему поданному на стол. Пытаясь сохранить достоинство, Вождь намекал на понравившееся ему блюдо, и тогда Хрущев или Микоян, самые безотаетные нахлебники, отведав просимого, предлагали ему.

Но в стане осатанелых пауков, собранных в кремлевской банке, бытовал еще один способ уничтожения ближнего — аэрозоли. «Иногда,— пишет Аллилуева,— доктор Дьяков появлялся у нас на квартире в Кремле со своими пробирками и брал пробу воздуха из всех комнат».

Медицинский персонал, стоявший на страже здоровья Вождя, подбирали прежде всего по признаку безусловной преданности. Лейб-медики Сталина и членов Политбюро находились под неусыпным контролем Берии, так что вельможные пациенты могли чувствовать себя в двойной безопасности.

Лечебно-санитарное управление Кремля, позднее — Четвертое главное управление при Министерстве здравоохранения — располагало сетью поликлиник, аптек, больниц, санаториев для работников высшей номенклатуры, но и в этой закрытой системе для генсека и малых вождей были созданы особые условия.

Попробуем теперь представить себе графический образ сталинской крепости. По углам ее — четыре мощные сторожевые башни: личная охрана — Власик, канцелярия и Особый сектор — Поскребышев, лейб-медики и подручные.

Генерал Власик помимо охранной службы ведал хозяйством сталинской дачи. Вряд ли он осмелился бы утаить от Вождя деньги или ценные вещи. Однако удар последовал именно с этой стороны. Вездесущие Органы уличили его в присвоении фарфоровых сервизов, хрусталя, фотоаппаратов, а также — в серьезных упущениях по службе... Арестовали Власика 15 декабря 1952 года.

Вслед за Власиком за решетку угодил Александр Поскребышев, тот самый генерал Поскребышев, которого Сталин любезно называл «Главным». Для тех, кто общался с генсеком, он действительно был главным после него, ибо только Александр Николаевич в любое время дня знал, в каком расположении духа изволит пребывать Диктатор, кому он мирволит и кого собирается спустить с Олимпа.

Берия не утруждал себя разработкой новых видов провокаций. Начальник личной канцелярии генсека оказался виновен в утечке сверхсекретной информации. И уличил его не кто иной, как Сталин. Может быть, по тонкости исполнения эта акция стала наивысшим достижением шефа органов кары и сыска.

Третью башню Сталин порушил сам. Большая группа кремлевских врачей, включая его лейб-медика Виноградова, уже три месяца томится в тюрьме. Врачи успели чистосердечно признаться в террористических замыслах и шпионской деятельности и, соответственно, простились с жизнью.

Дезориентированный последними событиями Вождь натренированным нюхом почуял смертельную опасность и решил вовсе отказаться от врачебной помощи. Кого ему прикомандируют в этот раз? Кто будет контролировать действия новых врачей? Органы безопасности поспешили арестовать вместе с врачами-вредителями начальника Лечсанупра Кремля Егорова. Министра здравоохранения СССР Смирнова заменили новым человеком — Третьяковым.

Оставалась последняя опора — подручные. И от этой опоры Сталин отказывается сам, удалив от себя таких абсолютно преданных помощников, как Молотов, Ворошилов, Микоян, Каганович. Многоопытный дворцовый интриган утратил дар дальних расчетов. И твердость руки.

Сталин знает истинную цену Маленкову и Берии, догадывается о намерениях этой нечистой пары и все же... все же впускает их внутрь полуразрушенной крепости. Он надеется на то, что Хрущев с Булганиным сыграют роль противовеса, некоего сдерживающего начала. Он по-прежнему уверен в себе, но события уже вышли из-под его контроля. Как и в доброе старое время, он жаждет крови. Его верный охранник Николай Власик брошен в тюрьму. Взяли его 15 декабря, за ним — Александра Поскребышева. Берия требует от каждого показаний на другого. Особенно достается Власику. Он получил возможность узнать на себе, что же это значит — рекомендованные сталинским ЦК «физические методы воздействия». Начальника Главного управления охраны МГБ генерал-лейтенанта Власика обвиняют в огромном перерасходе государственных средств, в незаконном хранении дома и на даче секретных карт, в разглашении служебных тайн... Более двадцати лет беспорочной службы Хозяину не в счет. Свыше двух лет тянулось следствие, Власик пережил и Сталина, и Берию, но пришлось все же признать свою вину полностью: быть может, самооговор спас ему жизнь. На суде (17 января 1955) он отказался от вымученных

показаний, однако суд был милостив: 10 лет ссылки. Этот срок в соответствии с амнистией 1953 года был тотчас сокращен вдвое. Через два года Власик вернулся из Сибири в Москву и вскоре был реабилитирован. Это сделал по старой дружбе Ворошилов.

С Александром Поскребышевым пришлось быть осторожным. В ожидании команды Хозяина Берии не терпелось свести счеты с Главным. Но в сугубо партийной игре «казнить — миловать» Сталин верховодил сам. Здесь он никакой самостоятельности не терпел.

Меж тем четверка продолжала исправно посещать Диктатора на даче. Глубоко ошибаются те, кто полагает, что все четверо представляли собой группу единомышленников. Уже в начале они разбились на пары, но и давно отработанный тандем Берия — Маленков в действительности не был тандемом. Профессиональный полицейский не мог делиться своими тайными планами с партфункционером. Что до этого простака Никиты и опереточного маршала Булганина, то кто же их принимал всерьез? Боялись они Лаврентия Павловича до дрожи в печенках. И Маленков, которому генсек доверил ведение партийно-организационных дел, имел все основания опасаться своего слишком изворотливого партнера. Берия и не таких под себя подминал.

Его главенство в последней при жизни Сталина четверке соратничков было бесспорным. Как ни старался генсек изолировать товарища Лаврентия от органов, тот продолжал негласно командовать аппаратом насилия. Ни один член Политбюро не чувствовал себя в безопасности при нем. Надо также отдать должное незаурядной натуре Лаврентия Павловича. В той аморфной среде он резко выделялся волей к действию и решительным характером. Помноженные на отшлифованное временем коварство, эти черты сделали его безусловным лидером в канун исторической весны 1953 года.

В воспоминаниях Никиты Хрущева, иногда противоречивых, несуразных даже, встречаются свидетельства очевидца и участника событий, рисующие вполне достоверную картину. Его отношение к Берии было сложным, но одно он уловил сразу: шеф тайной службы, став фаворитом Сталина, приобрел огромную власть. И способен на все. Вот характерное признание Хрущева: «Я был более откровенен с Булганиным, чем с другими. „Ты знаешь, какая ситуация сложится, если Сталин умрет? Ты знаешь, какой пост хочет занять Берия?“ — „Какой?“ — „Он хочет стать министром госбезопасности. Если он им станет, то это начало конца для всех нас... Что бы ни случилось, мы абсолютно не должны допускать этого“.

Булганин сказал, что он согласен со мною, и мы начали обсуждать, что мы отныне должны делать. Я сказал, что поговорю обо всем этом с Маленковым».

Четверка была лишь сколком бессмертного Политбюро. Члены его жили в постоянном ожидании подвоха со стороны коллег, но удар мог последовать и сверху, от генсека. Пресным такое существование не назовешь. В этой обстановке выживали лишь самые покорные и осторожные блюдолизы. От нашей же четверки потребовалось нечто иное — мужество. Ибо настала пора действовать.

Как же свершился переворот? Сохранился рассказ Хрущева в передаче Аверелла Гарримана, бывшего посла США в Советском Союзе. Это первое по времени свидетельство Гарриман опубликовал в 1959 году.

В рассказе отсутствует главное — сведения о насильственной смерти Сталина и о плане заговора. Однако здесь Хрущев сообщает некоторые подробности, опущенные в более поздних воспоминаниях: «Он никому не верил, и никто из нас ему тоже не верил». Далее следует описание весело проведенного в обществе Вождя субботнего вечера. Поутру все четверо — Хрущев, Берия, Булганин, Маленков — разъехались. По воскресеньям Сталин обычно звонил им, обсуждал с четверкой предстоящие дела, но на этот раз он остался на даче и никого не вызывал. Лишь в понедельник вечером начальник охраны сообщил, что Сталин болен. Четверка немедленно отправилась в Кунцево. Они застали генсека в тяжелом состоянии. «Мы находились с ним три дня, но сознание к нему не возвращалось».

В своих «Воспоминаниях» Хрущев не отходит от этой версии, он только приводит другие детали. Четверо фаворитов провели вечер 28 февраля за обеденным столом на сталинской даче. Хозяин изрядно выпил, был в хорошем настроении, и соратники уехали от него поздней ночью, вернее, рано утром 1 марта.

Дальнейший ход событий и подлинная дата смерти Сталина нуждаются еще, на мой взгляд, в тщательном исследовании.

Вечером 1 марта произошел удар, Сталин потерял сознание, упал с тахты, лишился дара речи. Охрана вызвала четверых приближенных, но они не задержались на даче и не позаботились о врачебной помощи.

Странный поступок, но он легко объясним. Когда дежурный офицер доложил Берии, что товарищу Сталину стало совсем плохо и он уже хрипит, Лаврентий Павлович резко оборвал его: «Не поднимайте паники, он просто звснул и *храпит* во сне».

Эти сведения сообщил многолетний служащий личной охраны Вождя А. Т. Рыбин. Ему запомнились также тревожные телефонные звонки. Кто-то спрашивал Берию — не нужна ли врачебная помощь? Берия, грубо обругав звонившего, отвечал, что никто здесь в помощи не нуждается. Более тринадцати часов не вызывали врача к пораженному ин-



сультом больному. И еще одна улика, изобличающая заговор. Когда вызванные с большим, точно рассчитанным опозданием врачи окружили больного, его вырвало. Присутствовавший при этом Булганин строго спросил — почему товарища Сталина рвет *кровью?* То был явный симптом отравления. Вызванный на сталинскую дачу профессор А. Л. Мясников поведает позднее обо всем увиденном своему сыну.

Злоумышленнику надо было отвести от себя всякие подозрения, и вот через день после кончины Вождя в газетах появляется такое сообщение: «Результаты патологоанатомического исследования полностью подтвердили диагноз... установили необратимый характер болезни И. В. Сталина с момента возникновения кровоизлияния в мозг. Поэтому принятые энергичные меры лечения не могли дать положительный результат и предотвратить роковой исход».

Итак, для спасения жизни генсека с самого начала приняты все необходимые меры. Неусыпный контроль обеспечил правильное лечение, исключил всякие случайности, малейший намек на насильственную смерть неуместен, даже преступен. Вот что угадывалось в тексте.

Объективность исследования требует упомянуть еще об одной важной детали. Как сообщили охранники, у «товарища Сталина» за год до смерти был первый инсульт, правда, в легкой форме. Однако после этого он стал волочить правую ногу...

Можно согласиться с выводом врачей относительно неизбежности рокового исхода, но при ином отношении Берии к Вождю такой исход врачи смогли бы отдалить. Что касается газетной информации, то она составляет весьма характерный фон.

В первом же правительственном сообщении, опубликованном в «Правде» 4 марта, говорится о «временном уходе» товарища Сталина от работы в связи с болезнью. И еще сказано, что удар случился у него якобы в ночь на 2 марта и не на даче, а в Москве. Одно место особо примечательно: «Товарищ Сталин потерял сознание. Развился паралич правой руки и ноги. Наступила потеря речи».

Последовательность этих событий нереальна: констатировать явления паралича и утраты речи можно лишь ДО потери сознания. Оставив умирающего без врачебной помощи, авторы правительственного сообщения отказались от участия специалистов в составлении текста.

Не много ли лжи для небольшой публикации «Правды»?

Врачи были вызваны к потерявшему сознание Сталину лишь 2 марта, с роковым опозданием. Пора было убедить детей тирана в том, что к его спасению принимаются самые энергичные меры. «Все суетились, спасая жизнь, которую уже нельзя было спасти». Светлане Аллилуевой запомнилась картина медицинского аврала, она не заметила здесь никого из знакомых врачей (кроме одной молодой женщины).

7 марта, через день после смерти Вождя, газеты публикуют текст заключения авторитетной медицинской комиссии в обновленном составе: «Результаты патологоанатомического исследования полностью подтвердили диагноз, поставленный профессорами — врачами, лечившими И. В. Сталина. Данные патологоанатомического исследования установили необратимый характер болезни И. В. Сталина с момента возникновения кровоизлияния в мозг. Поэтому принятые энергичные меры лечения не могли дать положительный результат и предотвратить роковой исход». Здесь сделан акцент на «необратимом характере болезни». В этой связи хотелось бы знать, каково было состояние здоровья Сталина накануне гибели. В последнее время он не жаловался на недомогание, лишь сон у него был тяжелым, но об этом мало кто знал. Доктор, пользовавший Сталина несколько лет, рассказывал бывшему редактору «Известий» И. Гронскому, когда тот в 1955 году вернулся из лагеря: «Во время сна Сталин вскакивал с постели, кричал дико, кошмары буквально душили его. Не дай Бог никому видеть то, что мне довелось наблюдать...»

Аллилуева упоминает о совершенных отцом жестокостях: «...память об этом не давала ему спать спокойно». Но, вспоминает дочь, Сталин отличался очень крепким здоровьем: «сердце, легкие, печень были в отличном состоянии».

Посол Индии К. Менон, посетивший Сталина 17 февраля, то есть за десять дней до внезапного удара, нашел Диктатора в полном здравии. Ему вторит Никита Хрущев, видевшийся с Хозяином за несколько часов до несчастья: «Не было никаких признаков какого-нибудь физического недомогания».

Некоторые историки склонны видеть сына Сталина в роли свидетеля, изобличившего заговорщиков. Вызванный 2 марта на кунцевскую дачу, он «разносил» врачей, кричал, что «отца убили... убивают». Можно ли относить к серьезным уликам вопли записного алкоголика Васьки, этого уголовника и сына уголовника?

А. Авторханов, со свойственной ему обстоятельностью исследовавший историю мартовского дворцового переворота, приводит ряд версий. Две из них — И. Эренбурга (1956) и П. Пономаренко (1957) — явно инспирированы тайной службой. В основе трех других лежат воспоминания Н. Хрущева. В последней он выведен на сцену в роли инициатора и главаря заговора. Кому-то нужна такая легенда...

Сам Хрущев утверждает, что в смерти Сталина был заинтересован только один человек — Лаврентий Берия. Это вполне согласуется с воспоминаниями Аллилуевой о по-

следних часах жизни отца: Берия «был возбужден до крайности. Лицо его то и дело искажалось от распиравших его страстей... Он подходил к постели больного и подолгу всматривался в лицо больного — отец иногда открывал глаза... Берия глядел тогда, впиваясь в эти затуманенные глаза».

Хрущеву, Булганину невмоготу стало существование под жестокой сталинской дланью. По-человечески их колебания понять можно. Только были ли они, были ли соратнички Сталина — новые и старые — людьми? А Берия, чем этот палач лучше того?

Мы упомянули о мужестве, столь необходимом в таком рискованном деле, как устранение тирана. Можно подумать, что проявил его в полной мере только один Берия. Но ведь то было мужество отчаяния. Крыса, загнанная в угол, способна броситься на кошку...

Мужество Хрущева, поднявшегося потом против Берии, — того же свойства. Все они, подручные Сталина, были убежденными трусами. Мужчин в своем хозяйстве генсек не терпел. И все же о Маленкове, Хрущеве и Булганине нельзя сказать, что они стояли в стороне. Они не остановили убийцу, вместе с ним они обманывали народ — относительно болезни и смерти Вождя. Но других вариантов не существовало. Предстоял дележ власти, а за спиной чудилось горячее дыхание старших соратников устраненного... Аллилуева дает нам в руки еще одно важное свидетельство против Берии: «А когда все было кончено, он первым выскочил в коридор, и в тишине зала, где все стояли молча вокруг, был слышен его громкий голос, не скрывавший торжества: „Хрусталев! Машину!"».

...Некогда скорбеть о кончине Диктатора. Да и к чему? Некогда делить власть, ее надо брать. Куда он так спешил? Уж не в кабинет ли Сталина, к секретному сейфу? На Лубянке он без помех овладел центральным аппаратом на правах — может быть, впервые — полновластного хозяина.

В Тбилиси экстренно отправлен специальный поезд с отборными оперативниками. Задание — вызволить из тюрем брошенных туда по приказу Сталина руководителей («Мингрельское дело»). И арестовать всех фаворитов генсека. Возглавить эту освободительно-карательную операцию Берия поручил своему испытанному помощнику Владимиру Деканозову, палачу без страха и упрека.

Новая жизнь — новые заботы. Прежде всего надо замести следы преступления. Лишних свидетелей оказалось много, прежде всего — среди охранников Ближней дачи. Офицеров Берия отправил в отдаленные районы страны. Двое, во избежание худшего, успели застрелиться.

Обслуживающему персоналу — а там водились даже генералы — Берия приказал убираться вон. Это происходило, как с прискорбием отмечает дочь, на второй день после похорон папы.

«Совершенно растерянные, ничего не понимающие люди собрали вещи, книги, посуду, мебель, грузили все со слезами на грузовики,— все куда-то увозилось, на какие-то склады... Людей, прослуживших здесь по десять-пятнадцать лет не за страх, а за совесть, вышвыривали на улицу».

Да, а мебель-то, мебель зачем было вывозить? И книги. Здесь ведь можно, нет, должно музей открыть. И ходили бы к Святому Месту паломники, как ныне посещают Гори, родину Отца Народов. И то позорное место под кремлевской стеной, где он схоронен.

Что ж, и ходили бы. Если бы не Берия.

Единственное, пусть невольно сотворенное злодеем благо. Зачтется ли оно ему?

Смерть Сталина сопровождал торжественный дивертисмент, разыгранный на Красной площади в день похорон 9 марта. Первым выступил Маленков, за ним Берия: «Трудно выразить словами чувство великой скорби...» Что правда, то правда: ему, убравшему с пути генсека, очень трудно. Сколько фальшивых ролей сыграно на этих подмостках, сколько лживых речей произнесено...

«Не стало Сталина — великого соратника и продолжателя дела Ленина... Мудрое руководство Великого Сталина... Неутолима боль в наших сердцах, неимоверно тяжела утрата...» Речь полна дежурных фраз, но вот наследник вспомнил о своей профессии: «Теперь мы должны еще более усилить свою бдительность». Поток трескучих призывов кажется нескончаемым, однако ритуал определен во времени, следует кода: «...неизменно хранить верность идеям марксизма-ленинизма и, следуя заветам Ленина и Сталина, привести страну к социализму и коммунизму».

Этому предсказанию не суждено было сбыться по независящим от Берии обстоятельствам. А его участие в устранении Вождя до сих пор вызывает споры. Но в ходе судебного расследования, если бы оно состоялось при жизни заговорщиков, можно было бы легко обойтись без личных признаний Лаврентия Берии и соучастников. Вполне хватило бы косвенных улик. Иосифа Сталина устранил его верный соратник товарищ Лаврентий. А детали убийства — какие химические средства, когда и как были применены,— эти сведения сгорели вместе с ним в печи московского крематория в декабре 1953 года.

* * *

Политический тандем Берия — Маленков приобрел после смерти Сталина силу решающую, необоримую. Молотов, долгие годы занимавший вторую, вслед за Сталиным,



позицию, был им же дискредитирован. Успел-таки, радетель. Оставались Каганович, Микоян, Ворошилов, Булганин, Хрущев. Их Берия никогда всерьез не принимал: объединиться они не могли, умом, мужеством не блистали.

Сценку образования правительственного кабинета Берия с Маленковым разыграли в бодром темпе. Сначала Берия выдвинул кандидатуру Георгия Максимилиановича на пост главы Совета Министров, затем тот назвал Лаврентия Павловича своим первым заместителем, вернее — первейшим. Президиум ЦК, предложенный этой нечистой парой, фактически дублировал состав верхушки правительства. Смещая министра ГБ Игнатьева, Берия предложил ему весьма зыбкую должность секретаря ЦК и вскоре же убрал его вовсе из центрального аппарата. Подобная тактика в отношении неугодных лиц стала в чертогах верховной власти традиционной.

За долгие годы сталинской диктатуры партия, да и весь народ привыкли смотреть на Генерального (первого) секретаря как на Вождя, наделенного абсолютной властью. Отдать этот пост Маленкову или же занять его самому значило бы обнаружить свои истинные намерения. Выдвигая секретарем ЦК Никиту Хрущева, Берия, как ему казалось, обрел в этой опасной политической игре надежную ширму. Оставалась еще одна забота — приобретение популярности. В 1938—1939 годах Сталин помог ему разыграть спектакль, в котором на долю Ежова выпала роль злодея, Берия же выступил в образе доброго рыцаря. Этот опыт оказался кстати: новый шеф Министерства внутренних дел — после слияния с МГБ — предложил коллегам по управлению страной объявить амнистию заключенным. Следующий ход — реабилитация группы «врачей-убийц». Об этом сообщила 4 апреля «Правда». «В результате проверки установлено, что привлеченные к этому делу врачи... были арестованы бывшим Министерством государственной безопасности СССР неправильно, без каких-либо законных оснований. Установлено, что показания арестованных, якобы подтверждающие выдвинутые против них обвинения, получены работниками следственной части бывшего Министерства государственной безопасности путем применения недопустимых и строжайше запрещенных советскими законами приемов следствия». Козлом отпущения оказался этот ротозей Игнатьев.

Ну а главный виновник провокации, тот, что дирижировал незаконными действиями Игнатьева? Свидетельствует Константин Симонов: «Вскоре после сообщения о фальсификации дела врачей членов и кандидатов в члены ЦК знакомили в Кремле, в двух или трех отведенных для этого комнатах, с документами, свидетельствующими о непосредственном участии Сталина во всей истории с „врачами-убийцами", с показаниями арестованного начальника следственной части бывшего Министерства государственной безопасности Рюмина о его разговорах со Сталиным, о требованиях Сталина ужесточить допросы — и так далее, и тому подобное. Были там показания и других лиц, всякий раз связанные непосредственно с ролью Сталина в этом деле. Были записи разговоров со Сталиным на эту же тему».

Все документы, представленные на обозрение товарищем Берией, были доступны чекистам в течение недели. Войдя в роль записного правдолюбца и либерала, Лаврентий Павлович однажды предложил на заседании Президиума установить предельный срок наказания в 10 лет вместо прежних 20-ти. Однако, как справедливо заметил Хрущев, столь гуманная на первый взгляд мера не имела на практике реального значения: десятилетний срок можно было повторять и повторять вновь — как в лагере, так и в тюрьме. В духе устоявшейся традиции. Кстати, убедиться в том, что «новаторство» Берии — всего лишь игра, можно было уже на следующем заседании. Там он предложил установить жесткий контроль органов над всеми отбывшими срок заключения, то есть поселять их в районах, назначаемых функционерами МВД. Было уже такое. Вспомним год 1947-й, репрессивную инициативу Вячеслава Молотова. Тогда, при Сталине, миллионы невинно пострадавших обрекли на бессрочную ссылку. Ныне же предложение главного надзирателя не прошло.

Эта маленькая неудача не отразилась на здоровом оптимизме Берии. Осуществив свою многоходовую комбинацию, Берия мог уже подсчитывать политические дивиденды. Итак, публика убедилась в редкой принципиальности нового лидера, в его гуманности. Теперь с бесправием и репрессиями покончено раз и навсегда. На страже закона стоит несгибаемый ленинец товарищ Лаврентий...

Человек государственный, привыкший мыслить широкомасштабно, Берия совершенно серьезно полагал, что только он лично способен благотворно влиять на внешнюю политику Советского Союза. Он считал, например, нежелательным раздел Германии на два самостоятельных государства, ибо теперь в самом сердце Европы образовался постоянный очаг напряженности. Смелые шаги предпринял Берия в области экономического переустройства Восточной Германии.

Экономические взгляды Берии давно уже не соответствовали топорной политике Сталина, особенно в области сельского хозяйства. Лаврентий Берия, с его гибким умом, никак не мог быть причислен к окаменелым догматикам.

Один известный дипломат, близко знавший Сталина, поведал своему другу о случайном признании Диктатора, которое тот сделал незадолго до кончины. «В Германии,—

сказал Сталин,— надо сохранить фермерское хозяйство. Только оно способно решить продовольственную проблему». То были слова. На излете своей преступной жизни Диктатор продолжал, как встарь, вредоносную аграрную политику. Взамен колхозов повсеместно насаждали совхозы. Колхозам отказано в приобретении сельхозмашин у МТС. Один за другим закрывались сельские рынки. Ставка — на натуральный обмен между колхозами и промышленными предприятиями.

В феврале, за месяц до смерти, Сталин предложил увеличить налоги в деревне на немыслимую сумму в 40 миллиардов рублей, в то время как доходы всех взятых вместе колхозов составляли чуть больше этой суммы.

Берия понимал, что эта установка ошибочна, если можно именовать ошибкой продолжение политики деревенского погрома. Понимал и делал, что велят. Как делал в свое время в Грузии, да и во всем Закавказье.

После смерти Хозяина Берия, уже не таясь, заметил по поводу тотальной коллективизации и обнищания деревни: «Тут Старик явно перемудрил...» Хрущев, который после марта 53-го позволял себе кое-какие упреки в адрес усопшего Хозяина, сам был весьма склонен к реформаторству. В 1950 году, например, он выдвинул план укрупнения колхозов. Берия составил тогда вместе с Маленковым пусть скрытую, но довольно твердую оппозицию новациям Хрущева, предпочитая действовать через подставных лиц. Верный ему первый секретарь ЦК партии Азербайджана Багиров в мае 1951 года высказал сомнение в пользе этой поспешно и непродуманно проведенной кампании.

Тогда же Хрущев выдвинул план генерального переустройства деревни. Этот неуемный прожектер предложил вместо деревень воздвигнуть агрогорода. План был раскритикован на XIX съезде в октябре 1952 года Маленковым. Еще раньше против него высказались секретари ЦК компартий Азербайджана и Армении Багиров и Арутюнов, доверенные помощники Берии. Сам он, будучи в тесном контакте с Маленковым, воздерживался от публичной критики, оставляя за собой простор для политического маневра. Смерть Сталина развязала руки. В начале июня в Восточной Германии была опубликована программа экономического возрождения страны. Всем крестьянам, включая зажиточных (гроссбауэров), а также ремесленникам и торговцам предоставлялась свобода деятельности. Кроме того, были сняты ограничения, мешавшие прежде нормальному существованию интеллигенции и духовенства. Осуществление этой либеральной программы началось под контролем министра госбезопасности Цайссера, ставленника Берии.

Все энергичнее вживаясь в роль нового Диктатора, Берия дает установку председателю Совета Министров Венгрии Матиасу Ракоши отказаться от кооперирования сельского хозяйства. Ракоши позвонил Молотову и передал сказанное Лаврентием Берией: «Все это выдумки „старика". Не увлекайтесь колхозами, мы сами будем отказываться от этого ошибочного пути».

Берия выступил инициатором пересмотра национальной политики. В одном из своих докладов на Президиуме ЦК он предложил ставить отныне на руководящие посты в республиках и автономных областях только представителей местных национальностей. Замена «русских вождей» началась сразу же на Украине, в Белоруссии, Прибалтике. Центральным Комитетам национальных республик была спущена бериевская директива о переводе делопроизводства на местный язык. Тяжелые времена настали для служивого люда, не владевшего никаким языком, кроме русского. Зато заметно возросла популярность Берии на местах.

В мае Берия составил записки о работе бывших органов МГБ Литвы и Украины — с критикой национальной политики и осуждением массовых репрессий. Одобренные Президиумом ЦК записки были затем разосланы на места. После ареста Берии чекисты спохватились. Как доложил на июльском Пленуме ЦК первый секретарь КП Украины Кириченко, Берия употребил такие выражения, дословно: «западно-украинская интеллигенция», «русаки», «русификация». То есть в мае назвал вещи своими именами. Теперь это зазвучало крамолой... И уж вовсе крамольной оказалась установка Берии на ограничение диктаторских функций ЦК. Отвечая на запрос того же Ракоши, Берия указал, что все вопросы текущей политики должен решать Совмин, а ЦК пусть занимается кадрами и пропагандой. «Разве это марксистско-ленинский взгляд на партию?» — риторически вопрошает Хрущев.

Как известно, Сталин сделал все для того, чтобы порвать нормальные отношения с Югославией и ошельмовать Иосипа Тито. Берия осмелился ревизовать гениальные предначертания, он заготовил письмо руководителям Югославии с целью восстановить дружественные отношения. Докладывая об этом на июльском Пленуме ЦК, Молотов не преминул добавить, что «с проектом письма в кармане Берия был арестован как предатель».

Что касается предложения Берии объединить Западную и Восточную Германию как «буржуазное миролюбивое государство», то Молотов назвал его вражеским.

Итоги подвела «Правда» 10 июля 1953 года.

«...Берия был тем, кто из правящей верхушки диктатуры раньше других и последовательней других стал на позицию длительной — „всерьез и надолго" — „передышки" как в области политики внутренней, так и особенно в области политики внешней. Как далеко он шел, судить трудно, но несомненно, что именно им было продиктовано то изменение в политике советской зоны в Германии, к проведению которой Политбюро немецкой компартии приступило в конце мая 1953, равным образом как именно им было получено согласие китайских коммунистов на мир в Корее и согласие коммунистов Индо-Китая на уход из Лаоса в апреле-мае 1953. Именно в этих актах Берии его коллеги по „коллективному руководству" увидели его стремление к замене политики, выработанной партией за многие годы, капитулянтской политикой, которая привела бы в конечном счете к реставрации капитализма».

На заседаниях Президиума ЦК никто не осмеливался противоречить Лаврентию Павловичу. Но вот Хрущев решил подбить на сопротивление Маленкова:

— Пришло время сопротивляться. Ты видишь — позиция Берии носит антипартийный характер.

**Маленков**: Ты хочешь, чтобы я один выступил против него? Этого я не стану делать.

**Хрущев**: Почему ты один? Есть ты и я. Нас уже двое. Уверен, что и Булганин согласится. Я разговаривал с ним несколько раз об этом. Уверен, что и другие присоединятся. Если мы будем твердо держать партийную линию...

...В конце концов они договорились, провели несколько репетиций. «Только тогда,— заключает Хрущев,— Маленков уверовал в возможность применения партийных методов в борьбе с неправильными, вредными для страны и партии предложениями Берии».

Многим тогда товарищ Лаврентий запомнился энергичным организатором, разносторонним государственным деятелем. У себя на родине, в Закавказье, он директивно руководил кампаниями сбора хлопка и цитрусовых, театральной жизнью и литературой, а также борьбой с контрреволюцией. В Москве он вновь сражался на передовом рубеже, в годы войны показал себя стойким соратником товарища Сталина. А кто, кроме Лаврентия Павловича, сумел бы в столь сжатые сроки организовать и наладить производство атомного оружия? Ныне он неутомимо прокладывает новые пути во внутренней и внешней политике...

Однако «либерализм» Берия преследовал отнюдь не гуманные цели. Этот устойчивый циник ясно представлял себе, какой преступный режим охранял столько лет. Кардинальные реформы в Восточной Германии и в своей стране Берия задумал не из сострадания к распятому народу и не из любви к родине. Он хотел вывести страну из тупика, в который завел ее Сталин, и тогда уже править государством без помех.

Каков парадокс: сталинский фаворит, профессиональный палач начал осуществлять разумную политику вопреки партфункционерам, лишенным не то что государственного ума — обыкновенного здравого смысла. Но у них хватило хитрости, чтобы обезвредить Берию, хватило тупости — повернуть историю вспять.

* * *

Странная ситуация сложилась на верхних ступенях власти после смерти Сталина. Хрущев, занявший пост секретаря ЦК, не был признанным лидером. Здесь все решали Берия с Маленковым. Прежние фавориты Сталина — Молотов, Каганович, Ворошилов, Микоян — не могли противостоять могущественному тандему и подкрепить позиции Никиты Хрущева. Да и не хотели. Кабинетные интриганы, многоопытные карьеристы, они никогда не доверяли друг другу, ревниво следили за каждым шагом соперника, их ничто не объединяло. Впрочем, общее у них было — жажда власти и страх утрати власти.

Опираясь на партийный аппарат, на многолетнюю традицию, Хрущев мог добиться от функционеров — в центре и на местах — беспрекословного подчинения своей воле. Но он не смел. А Берия выжидал. Весной пятьдесят третьего в Президиуме ЦК установилось некое зыбкое равновесие сил. Кто нарушит его первым?

Берия начал готовить почву для генеральной перетряски верховного органа партии. У него был верный, как он думал, помощник — Маленков с его богатым опытом и прочными связями в центральном аппарате. Берия опирался на всесильные органы кары и сыска и мог уповать на разрозненность членов Президиума. Кто сможет ему противостоять?

В мае киевский сослуживец Хрущева Тимофей Строкач привез тревожную весть: органы внутренних дел Украины получили секретный циркуляр из Москвы о мобилизации всех сил и переходе на режим боевой готовности. Природа наградила Никиту Сергеевича могучим инстинктом самосохранения. Вызвав под благовидным предлогом кое-кого из провинции, он установил, что секретный циркуляр послан не только на Украину. Сколько лет жил он, партийный секретарь Никита Хрущев, под Сталиным, дрожа и пресмыкаясь, на положении не то шута, не то лакея. Теперь вот — Берия... Но как проникнуть в его планы? И, будто сжалившись над незадачливым партвождем, судьба послала ему двух перебежчиков из лагеря противника. Заместители министра внутренних дел Иван Серов и Сергей Круглов, взвесив шансы своего шефа — а весами они располагали точными,— решили выдать его с головой. Они доложили Никите Сергеевичу все, что знали о намерениях Берии, обрисовали оперативный план вооруженного путча, диспози-

цию частей, назвали имена заговорщиков. В уголовном мире это называется «заложить со всем бутером».

Хрущев с уважением относился к Круглову, а с Серовым у него еще в годы совместной службы на Украине сложились дружеские отношения. Где ему было знать, что, повернись обстоятельства иначе, подручные Берии вырезали бы вместе с ним весь пестрый курятник, то бишь сталинское Политбюро. И если два генерала положили за благо изменить сегодня дорогому Лаврентию Павловичу, то они имели в виду лишь свое личное благо. Захватив абсолютную власть, что сделает с ними Берия? Верные ему выходцы с Кавказа, все эти кобуловы-декановы, давно уж точат кинжалы...

В этих рассуждениях Серова и Круглова был свой уголовный резон. Перед Хрущевым встала альтернатива: ударить немедленно, опередив заговорщиков, или уйти в тень, отказаться от борьбы, от всего. Отдадим должное отваге Никиты Хрущева. Он выбрал действие.

Первым делом надо было собрать в кулак членов Президиума ЦК — решать самую трудную задачу. Как он сам впоследствии рассказывал, ни один из бывших подручных Сталина не был надежным, твердым человеком. Сказывалась многолетняя селекция. Молотов — «тот еще тип» (подлинное выражение Хрущева). Маленков — близкий друг Лаврентия Берии. Ворошилов — трус и подхалим. Каганович — никогда не знаешь, куда он повернет, к кому примкнет в последний момент. Лазарь-лицедей. Можно положиться на Булганина, но как он поведет себя в случае отказа остальных?

Хрущев знал, конечно, что служба постоянного подслушивания охватывает не только кабинеты членов ЦК и Президиум, ее щупальца проникли в квартиры, на дачи, в личные авто. А телефонные разговоры, переписка партсановников издавна подпали под неусыпный контроль Лубянки.

Он начал с Николая Булганина, министра обороны. Только армия способна сломить дивизии охранников. С Булганиным Хрущев сошелся еще в последние годы жизни Сталина, вместе терпел унижения от Берии, вместе решили держаться теперь. Разговаривали на даче, в саду. С Анастасом Микояном Хрущев выехал за город в одной машине, оставил авто на шоссе и совершил с ним ответственную прогулку вдоль лесной опушки. Микоян юлил: «Я знаю Лаврентия Павловича с 1919 года, на моих глазах он вырос в крупного партийного работника, нельзя же вот так вдруг убирать заслуженного деятеля... Пусть ему укажут на ошибки... Он учтет товарищескую критику...» Пришлось Хрущеву говорить с Микояном еще раз.

Переговоры с Молотовым прошли, против ожидания, гладко. За несколько дней до поездки с Хрущевым за город служба ГБ, не уведомив Вячеслава Михайловича, сменила его личную охрану. Молотов давно с тревогой и подозрением присматривался к опасным интриганам. Они оттеснили его на второй, нет, на самый задний план и теперь готовят нечто худшее. Он был непоколебимо туп, многолетний сподвижник Сталина, но инстинктом самосохранения природа его тоже не обделила.

Обещав свою безусловную поддержку Хрущеву, Молотов предполагал, что тот одним ударом покончит и с Берией, и с Маленковым. Но Никита Сергеевич надеялся разорвать прочный тандем. Да и так ли уж прочен он был? Разве Маленкову наравне со всеми не грозила скорая расправа?

Хрущев опасался решительного разговора с Маленковым: вдруг выдаст с головой? Но лишь только он приступил к этому щекотливому делу, как Маленков сразу же принял сторону большинства. В тот же день Хрущев отправился на Воздвиженку. Председатель Президиума Верховного Совета не ожидал такого поворота событий: «Что вы мне предлагаете? Товарищ Берия — замечательный ленинец! Я всегда уважал Лаврентия Павловича, и никто меня не переубедит!» — «Да не вопи ты, ради Бога,— остановил его Хрущев.— Здесь никого нет, кроме нас с тобой. Ты же ничего не знаешь, с нами все члены Президиума. Если мы не примем экстренных мер, он передушит нас поодиночке, неужели непонятно?..» Но маршал трусил.

Лазарь Каганович недалеко ушел от Ворошилова. Пришлось Хрущеву выложить ему все козыри: Маленков, Молотов, Булганин, Сабуров уже сказали «да». Дав наконец свое согласие, Каганович спросил о Ворошилове. Хрущев повторил сказанное маршалом. Каганович возмутился: «Старый сукин сын! Он вам врал, он говорил мне, что не выносит Берию, что он очень опасен, что он может уничтожить всех нас...»

Хрущев решил еще раз испытать Ворошилова и послал к нему Маленкова. Когда тот выложил ему конкретный план действий, Ворошилов обнял его и заплакал...

Как только было достигнуто единство, Булганин с Жуковым приступили к мобилизации сил. Но как создать мощную боевую группу войск на подступах к Москве и в самой столице скрытно от агентов Берии? Артемьев, командующий войсками МВО, он же верный слуга Берии. Ранее он командовал дивизией внутренних войск МВД. Первым делом министр обороны удалил его из Москвы под благовидным предлогом — на летние маневры, они уже начались в районе Смоленска.

В середине мая начались волнения в Берлине, забастовали рабочие. Президиум ЦК решил направить туда Лаврентия Берию, подкрепив своего посланца группой военных.



В отсутствие Берии Маленков, Булганин и Хрущев намеревались созвать узкое совещание и обсудить конкретные меры по устранению могущественного министра. Кто-то успел уведомить Берию о том, что на 20 мая намечено заседание Президиума. Берия тотчас позвонил: «Что вы там собираетесь делать? Какая повестка дня?» — «Обычное заседание, обсудим вопросы сельского хозяйства»,— ответил Хрущев. «С чего бы это? Пришлите мне все материалы».

Пришлось срочно референтам готовить соответствующие документы и отправлять в Берлин. На другой день звонит опять Берия: «А почему нет секретаря ЦК по сельскому хозяйству, почему нет министра? Что вы там дурака валяете?! Я вылетаю».

Он прибыл в Москву в канун заседания, и нашим заговорщикам пришлось разыгрывать сцену натурального обсуждения сельскохозяйственных проблем. Задуманную операцию пришлось отложить, тем более, что не все было готово. Особые опасения вызывала позиция одного из старейших подручных Сталина — Анастаса Микояна. Ведь с ним Хрущеву пришлось беседовать дважды. По всему было видно, что Микоян готов присоединиться к большинству, но останется ли он верен своему слову? Да и Ворошилов... Вдруг еще кто-нибудь проявит малодушие в последнюю минуту?

Меж тем обстановка явно накалялась. Интересные детали обстановки содержатся в воспоминаниях участников событий, особенно — маршала Конева, в пересказе поэта Александра Твардовского и дочери маршала Майи Ивановны.

До Маленкова и Булганина дошли сведения о тайном формировании в районе Минского шоссе, близ Москвы, десантной дивизии. Эти данные поступили также к маршалу Жукову по линии ГРУ. В начале июня стало известно, что Берия под каким-то предлогом собрал из разных областей страны партийных работников на краткосрочные курсы в числе 400 человек. Около половины курсантов прибыло из республик Закавказья. Им выдали пистолеты и предупредили о возможном вызове в Кремль.

Под Москвой дислоцировалась дивизия корпуса внутренних войск имени маршала Лаврентия Берии. Их окружат по приказу министра. Один полк бериевских войск размещался в Лефортовских казармах. Казармы поручено заблокировать.

День ареста Берии назначен на 26 июня. Как только он явится на заседание в Кремль, будут подняты по боевой тревоге все военные академии и в столицу войдут особо надежные дивизии.

Все члены Президиума ЦК знали о предстоящем заседании, но только трое — Маленков, Булганин и сам Хрущев — знали о том, что произойдет на этом заседании, каков общий план операции. И еще одного человека посвятили во все детали дела — маршала Жукова. Но он был лишь кандидатом в члены ЦК.

И вот он настал, этот день. Комендант Кремля генерал Веденин вызвал из-под Москвы полк, которым командовал его сын. Училище имени Верховного Совета РСФСР было поднято в ружье, Кремль буквально наводнен войсками...

Достоверная картина ареста и казни Берии не могла быть воссоздана без правдивых свидетельств военных. Мне довелось многократно беседовать с тремя из них: Батицким, Баксовым и Юферевым. Отважные люди, бывалые фронтовики. И точные в передаче деталей пережитого.

26 июня 1953 года. В этот день, в час дня, Никита Хрущев вызвал командующего Московским районом ПВО генерал-полковника Кирилла Семеновича Москаленко: «У тебя есть верные люди? Такие люди, которым ты доверяешь, как себе?»

**Москаленко**: Найдутся, Никита Сергеевич.

**Хрущев**: Возьми с собой четырех человек. И пусть прихватят сигары.

**Москаленко**: Какие сигары?

**Хрущев**: Ты что, забыл, как это называлось на фронте?

Генерал вспомнил. Хрущев имел в виду револьверы.

**Хрущев**: Во дворе Генерального штаба тебя с людьми будет ждать Булганин. Поторопись.

Москаленко тотчас вызвал офицера для поручений Виктора Ивановича Юферева и сообщил о задании Хрущева. Он спросил подполковника: «Как ты думаешь, можно положиться на Батицкого?» Начальника главного штаба ВВС Юферев знал как надежного человека, боевого генерала. Он добавил, что можно также вполне положиться на Алексея Ивановича Баксова, начальника штаба Московского района ПВО. «Кого бы нам еще прихватить?» — спросил Москаленко. Юферев назвал Ивана Григорьевича Зуба, начальника политуправления. Москаленко вызвал Батицкого и Баксова. Зуб оказался дома, он обедал. Решили заехать за полковником Зубом по дороге.

В машине Москаленко предложил предупредить Зуба по телефону. Остановились около магазина «Динамо», и Юферев с папкой в руках вышел из авто. Он позвонил на квартиру Зуба из кабинета директора магазина. Позднее, когда все было кончено, Москаленко признался, что, пока Юферев находился в магазине, он перетрусил: а вдруг операция сорвется и всех накроют?..

Полковник Зуб жил на улице Валовой, рядом с Павелецким вокзалом. Он уже стоял у подъезда своего дома. Поехали впятером, не считая шофера. Черный автомобиль марки ЗИС-110 вмещал шесть пассажиров, в салоне было два откидных места.

Во дворе Генерального штаба группу Москаленко встретил маршал Булганин. Его сопровождал начальник личной охраны подполковник Федор Безрук. Пересели в автомобиль министра, в такой же ЗИС-110: охранник — с шофером, Булганин — на приставное место слева, Юферев — справа, остальные — сзади. Уместились ввосьмером. «В Кремль»,— распорядился Булганин.

Когда подъехали к Троицким воротам, Булганин предупредил: «Не высовывайтесь». Действительно, выглядывать в окно не было резона, пропуска были не у всех.

Благополучно проскочили часовых, подкатили к особому правительственному подъезду — это называлось «с уголка»,— поднялись на второй этаж. Вот и кабинет, где когда-то сидел Сталин. Сейчас здесь заседал Президиум ЦК. Булганин вошел в кабинет, остальных провели из комнаты секретаря в смежный кабинет напротив. Там находилось человек пятнадцать-двадцать — работники ЦК, несколько генералов и маршал Жуков. Держались все непринужденно, шутили, рассказывали анекдоты... К группе Москаленко подошел Жуков, поздоровался и спросил: «Вы знаете, кого вам предстоит арестовать?» — «Не знаем, но догадываемся»,— ответил Москаленко.

В этот момент появился Хрущев. Он подошел к Москаленко: «Вам придется брать одного из членов Президиума. Возможно, он будет вооружен...— Хрущев остановил взгляд на рослых, могучего сложения Батицком и Юфереве.— Вот вы и подойдете к нему — вам скажут, когда,— и возьмете его».

**Юферев:** Что, и стрелять можно?

**Хрущев:** Нет, его надо оставить для следствия. Оружие не применять. Пока все остаются здесь. Когда услышите два длинных звонка, направляйтесь к нам, на заседание. Приходите прямо в кабинет, мимо секретаря, не обращайте внимания ни на кого.

Хрущев вышел. Берия явился на заседание одним из последних, занял свое место и спросил: «Какая повестка дня?» — «Вопрос стоит один,— ответил Хрущев,— о Лаврентии Берии.— И, обратившись к Маленкову, добавил: — Докладывай».

Прошло не более четверти часа, и раздались два продолжительных звонка. Военные открыли дверь, навстречу им встал секретарь. Пятеро, минуя его, прошли в кабинет напротив. За ними следовал маршал Жуков.

...На председательском месте — Маленков, по правую руку — Хрущев, рядом с ним — Булганин, ближе к двери, наискосок от Маленкова,— Берия, напротив Лаврентия Павловича — Ворошилов.

Вошедшие встали слева, ближе к Булганину, за спиной Берии. Маленков заканчивал чтение документов: «...Как видите, Берия оказался не только врагом внутренним, но и врагом в международном плане. Предлагается немедленно его арестовать и передать в руки этих товарищей».

Батицкий обнажил свой «парабеллум», Юферев — «ТТ».

Берия сидел, опустив голову, и нервно писал что-то карандашом на листе бумаги. Потом оказалось, что он выводил лишь одно слово «тревога», повторил это слово девятнадцать раз. Наконец Берия поднял глаза, военные уже стояли подле него — Юферев по левую руку, Батицкий по правую. Подошел Жуков: «Руки вверх. Вы арестованы». Ладони Юферева скользнули сверху вниз по карманам арестованного. Берия поднял руки: «Оружия у меня нет».

Батицкий и Юферев предложили ему пройти в комнату отдыха — она примыкала к кабинету слева. Посадили министра на диван, встали рядом. Москаленко, Баксов, Зуб расположились на стульях в углу, возле круглого столика, с пистолетами в руках. Командующий достал свой «вальтер».

**Батицкий:** Снимите с него пенсне.

Юферев исполнил приказание.

**Берия:** Как же я теперь буду видеть? У меня слабое зрение...

**Батицкий:** Нечего тебе смотреть. Ну-ка покажи, что у тебя в карманах.

Берия достал носовой платок и записную книжку.

**Берия:** Убери свою пушку.

**Батицкий:** Ничего, она еще пригодится.

**Москаленко:** Послушайте, Батицкий, с ним не следует сейчас разговаривать.

...Берия принялся тщательно разглаживать стрелки брюк и стряхивать с них пылинки. Он был в сером поношенном костюме, белой сорочке без галстука.

Через некоторое время в комнату вошли генералы Андрей Лаврентьевич Гетман и Митрофан Иванович Неделин. Они были приданы в помощь группе захвата. В комнате отдыха военные пробыли с арестованным до глубокой ночи. Это были тревожные часы, никто не знал, чем все кончится...

Москаленко тем временем отдавал распоряжения — уже на правах командующего Московским военным округом. Прежний командующий, генерал Артемьев, был смещен.

Члены Президиума ЦК отправились в тот вечер в Большой театр. Давали оперу «Декабристы». Один Ворошилов задержался в Кремле, но подоспел ко второму акту.

История сохранила фотографию: Берия с Ворошиловым стоят в обнимку, словно братья. Но Клим всегда ненавидел удачливого Лаврентия и боялся его. Трусоватый маршал тужился предугадать ход событий, ведь могущественного чекиста могли выручить его давние дружки, тот же Иван Серов. Напрасно Никита Сергеевич ему доверился. И когда Берию наконец вывели из комнат Президиума ЦК, Ворошилов был тут как тут. Он искательно заглядывал в глаза рослым конвоирам. Подполковник Юферев оставил свою фуражку в кабинете секретаря на вешалке и, проходя мимо, хотел ее достать. Услужливо подскочил Ворошилов: «Сейчас я тебе, голубчик, подам...»



Надо сказать, что по указанию Хрущева и Булганина каждому офицеру охраны с утра был придан армейский офицер. Охранникам пояснили, будто это входит в план репетиции военного положения. Так они и стояли парами на каждой лестничной площадке, у каждой двери. К вечеру охранники куда-то исчезли, остались одни армейские офицеры. Они стояли сдвоенными рядами вдоль всех коридоров. Берию провели сквозь строй и посадили в машину Булганина. Арестованного поместили на заднее сиденье. Батицкий сел слева, Юферев — справа. На всякий случай Юферев сунул дуло пистолета под ребра Берии. А он смотрел по дороге в окно, явно любопытствуя, куда его везут. Москаленко сидел рядом с шофером, Баксов и Зуб заняли откидные места.

Машина помчалась по набережной к Абельмановской заставе, повернула налево. Вот и Крутицкие казармы, здесь уже ждал вновь назначенный комендант города генерал Синилов. Он поместил Берию на гауптвахту, под усиленную охрану. Начальником караула был назначен генерал Батицкий, ответственными дежурными — Гетман, Зуб, Юферев, Неделин, Баксов. Караул несли офицеры ПВО Москвы.

Ночь Берия провел на гауптвахте. На другой день, в 12 часов, в казармы прибыл новый министр внутренних дел Круглов вместе с Серовым. Заметив высоких визитеров, Москаленко бросил сопровождающему его подполковнику: «Как они здесь очутились, эти сволочи?» Генерал спросил прибывших: «Что вам здесь нужно?» — «Они прибыли для проведения следствия»,— ответил за них комендант.

**Москаленко:** Какого еще следствия? Уберите их отсюда сейчас же! (Коменданту.) Выведите отсюда посторонних!

**Серов:** Мы не посторонние.

**Москаленко:** Вас никто не уполномачивал.

**Серов:** Нас послали сюда, чтобы начать следствие.

**Москаленко:** Мне об этом ничего не известно. Никто вам таких полномочий не давал.

Не исключено, что Серов поехал в казармы с ведома Хрущева, который хотел узнать о намерениях Берии.

...Серов с Кругловым уехали, а Москаленко с подполковником поспешили к Маленкову. Генерал доложил премьер-министру об инциденте. На экстренном заседании Президиума ЦК было решено перевести Берию в штаб МВО. Следствие по делу Берии и его подручных возглавил Генеральный прокурор Руденко.

Главное здание МВД на Лубянке было заблокировано военными. Они отобрали все ключи у сотрудников центрального аппарата и заняли их кабинеты в ожидании дальнейших указаний. Блокировать войска МВД было поручено двум танковым дивизиям — Кантемировской и Таманской. Первой командовал генерал Иван Якубовский. Как заметил один офицер военной разведки, Якубовским двигало отнюдь не бесстрашие, а бездумное лакейство. Если бы не Москаленко, а Берия приказал ему, Якубовский передавил бы танками всех противников шефа Лубянки. Сталин всегда мирволил лакействующим тупицам. Назовем самых ярких: Ворошилов, Буденный, Кулик, Булганин. Новые вожди продолжили столь опасную для обороны традицию...

Штаб МВО находился около набережной реки Москвы. Вечером 27 июня туда прибыл Булганин. Он остался доволен осмотром помещения, и ночью Берию перевезли на новое место. Как и в первый раз, его сопровождал Москаленко с четырьмя помощниками.

Берию поместили в небольшую комнату площадью не более двенадцати квадратных метров. Койка, табурет — вот и вся мебель. Там же, в бункере, проходило следствие. Особый кабинет отвели Генеральному прокурору.

Москаленко находился в штабе округа неотлучно. И ночевал там вместе с Юферевым. На охране штаба дежурили танки и бронетранспортеры.

Берии пришлось сменить свой костюм на солдатское обмундирование — хлопчатобумажную гимнастерку и брюки. Еду арестованному доставляли из гаража штаба МВО — солдатский паек, солдатская сервировка: котелок и алюминиевая ложка.

Первые дни Булганин звонил в бункер каждую ночь после 12 часов: «Как дела? Все спокойно? Как себя ведет арестованный?» Если генерал Москаленко уже спал, Булганин получал информацию от подполковника Юферева, который постоянно дежурил в одном из подземных кабинетов. Охрана надежная, случайности были исключены.

В 1920 году он впервые отведал тюрьмы. И выбрался с помощью Багирова. Верные друзья должны и теперь помочь, они заставят считаться со своим мнением этого выскочку Никиту. Но Маленков, Маленков! Сколько он для него сделал... Если бы не он, Лаврентий, сидеть бы ему по сей день в Средней Азии, в ссылке. Если бы Хозяин позволил ему остаться в живых. Берия постучал в дверь и попросил бумаги и ручку. Ему дали тетрадный лист

и карандаш. «Егор разве ты не знаешь меня забрали какие то случайные люди хочу лично доложить обстоятельства когда вызовешь». Берия называл Георгия Маленкова Егором. Заглавные буквы почему-то не жаловал, знаки препинания презирал.

Он передал записку дежурному офицеру... Да, после двадцать первого года он быстро пошел в гору, через десять лет возглавил ГПУ Закавказья, потом — ЦК партии Грузии и Закавказский крайком. Новый перевал — год 1938-й, пост наркома СССР. Следующий — год 1953-й. Он так удачно начался, сколько радостей сулил... И вдруг эта нелепость. Нет, им не обойтись без него, да и народ ценит его широкую, щедрую натуру. Если правду сказать, то он один во всем правительстве искренне заботится о благе трудящихся.

...Прошло два дня. От Маленкова — ничего. Подследственный передал ему вторую записку. «Егор почему ты молчишь?» Обе записки — карандашом, на четвертушках бумаги — остались у Хрущева.

На предвыборном собрании избирателей Тбилисско-Сталинского округа по выборам в Верховный Совет СССР в ноябре тридцать седьмого Лаврентий Берия клялся: «Как член великой партии Ленина-Сталина я обязан хранить в чистоте великое звание члена партии, высоко держать знамя Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина». В чем же он ошибся? Может быть, слишком высоко держал сталинское знамя?

...На следствии Берия вел себя вызывающе, признавался только в тех преступлениях, которые прокуратуре удалось установить и подкрепить неопровержимыми уликами. При этом он пытался всячески запутывать следователей, придумывая все новые и новые варианты для оправдания своих действий. Нередко запутывать создаваемые им узлы помогали соучастники. Когда возник вопрос об архивных документах, которые в течение двадцати лет незаконно хранились у самого Берии, он ответил: «...это я поступил неправильно, изъял их потому, что боялся: как бы их не уничтожили бывшие руководители ЦК КП(б) Азербайджана, которые впоследствии были разоблачены как враги».

Совсем в духе времени: казнить ни в чем не повинных людей и потом, спустя пятнадцать лет, затеять против них новую провокацию. Прояснить ситуацию помог на суде Меркулов. Оказывается, еще в 1932 году Берия, будучи уже первым секретарем Заккрайкома, поручил ему изъять в бакинских архивах все документы, имеющие отношение к его прошлому. Выполнив это поручение шефа, Меркулов оформил все добытые (при содействии Багирова, разумеется) бумаги как личный архив Л. Берии.

Следствие длилось полгода. Документы, свидетельские показания, протоколы допросов составили девятнадцать томов. По делу проходило шесть соратников Берии: Владимир Деканозов, Всеволод Меркулов, Лев Влодзимирский, Павел Мешик, Сергей Гоглидзе, Богдан Кобулов — всего лишь частичка бериевской армии головорезов.

...Более тридцати лет служили Лаврентию Берии эти подручные — Меркулов, Деканозов, Кобулов, Гоглидзе, Цанава... Нерушимой казалась созданная им круговая порука, объединившая палачей. Однако первое же испытание — следствие и суд — показало зыбкость бериевской конструкции. «Берия — карьерист, авантюрист и бонапартист»,— заявил на суде Богдан Кобулов. Ему вторил Владимир Деканозов: «Берия проявил себя во всем как карьерист, властный и злобный человек». Оказывается, почти все аресты тридцатых годов проводились по его единоличным указаниям... Более сдержанным в оценке преступной деятельности главаря шайки был Всеволод Меркулов, зато Лаврентий Цанава высказался вполне определенно. Бывший министр госбезопасности Белоруссии сообщил, что в 1937—1938 годах Берия расстрелял всех, кто служил его заместителями, и многих своих бывших начальников. Жестоким, деспотичным назвал его Цанава. О неуемном властолюбии и жажде возвеличения Лаврентия Берии поведали суду Савицкий и Мичурин-Равер.

Наконец Берии предложили ознакомиться с обвинительным заключением. Когда Руденко приступил к чтению объемистого, страниц на сто, документа, Берия заткнул уши. Прокурор потребовал объяснений.

**Берия:** Меня арестовали какие-то случайные люди... Я хочу, чтобы меня выслушали члены правительства.

**Руденко:** Вас арестовали согласно решению правительства, и вы это знаете. Мы заставим вас выслушать обвинительное заключение.

В 1920 году, сидя в кутаисской тюрьме, он один не участвовал в голодовке политических и вел себя предательски. Ныне же несгибаемый сталинский нарком выдержал без пищи целый день. Потом запросил обед с коньяком и выслушал обвинительное заключение, так и не получив коньяк.

Суд проходил на первом этаже здания штаба округа. Зал был соединен микрофонами с кабинетами членов Президиума ЦК.

Поначалу Берия прикинулся сумасшедшим: бросался то вперед, то назад, размахивал руками... Внезапно к нему бросился Москаленко и отрезал пуговицу на брюках. Они начали спадать, и подсудимый тотчас успокоился. Тут, надо полагать, сказался опыт генерала Москаленко, приобретенный им в свое время в бериевских застенках.

Судебному присутствию был представлен список более чем двухсот женщин, ставших жертвами сановного развратника. И тут произошло нечто совсем неожиданное: Берия обратился к председателю суда с просьбой не оглашать их имена, защитить от позора. Суд удалился на совещание и единогласно принял решение — удовлетворить ходатайство подсудимого. В качестве свидетелей в суд вызвали несколько десятков женщин. Ляля Дроздова довольно подробно рассказывала о своей связи с подсудимым, она ведь ряд лет жила на его даче. Увидев ее, Берия побледнел, подался корпусом вперед. Он был без привычного пенсне, плохо видел без очков. Вероятно, он ожидал от Дроздовой хоть нескольких слов благодарности... Но женщина начала с горького повествования о том, как он ее изнасиловал. И — ни одного доброго слова. Потом допросили Дроздову-мать. Она украсила показания дочери трогательными подробностями и высказала крайнее возмущение поступками подсудимого. В конце мать потребовала от суда выдать ей в виде компенсации все конфискованное имущество злодея.

Берия слушал, закрыв лицо ладонями. Он плакал. Плакал не в последний раз на этом процессе. В кутаисской тюрьме, почти четверть века назад, он тоже плакал, вымаливая прощение. И получил искомое. На что он рассчитывал теперь?.. Показания Л. Дроздовой включены в текст обвинительного заключения. В нем упомянуто и о том, что в 1944 году Берия болел сифилисом и, не закончив еще курс лечения, заражал случайных женщин. В связи с этим суд привлек его к уголовной ответственности по соответствующей статье УК.

Кровавых фактов, всплывших на этом судебном процессе, хватило бы на несколько романов ужасов. Но ведь многое осталось нераскрытым.

В конце семидесятых довелось мне встретить пожилого рабочего-сантехника, который участвовал в переоборудовании бывшего особняка Берии. Он видел, как из подвала вытаскивали камнедробилку, и узнал от охранника, что в этом подвале спускали в канализацию размельченные трупы убитых. Да, особняк был настоящей душегубкой, не только местом отдыха и работы хозяина.

Кабинет Берии с высокими, украшенными деревянной резьбой потолками помещался на втором этаже. На лестничной площадке — еще две двери, одна из них ведет в ванную комнату. Стены облицованы цветной плиткой, в глубине — белая ванна. Светло, просторно, есть выход на балкон. При жизни хозяина здесь стояла еще одна ванна, до краев наполненная серной кислотой повышенной концентрации. Такая кислота не испарялась и не могла повредить ни металл, ни эмаль, зато органическое вещество растворялось в ней почти полностью.

Этот способ уничтожения следов был изобретен при Ежове агентами Лубянки.

Несколько лет назад иностранное посольство, которое ныне занимает особняк, посетил старый охранник-пенсионер и показал место, где стояла ванна с кислотой.

Одним из последних вызвали в суд генерала Штеменко. Подручный Берии в роли свидетеля обвинения чувствовал себя крайне неуютно. Тем более, что служба бериевского агента в Генеральном штабе уже получила документальное подтверждение. В зал он вошел белее мела, ноги враскоряку. Коневу стало так неловко, что он решил сразу же отпустить бравого генерала: «Вы подтверждаете показания, данные на предварительном следствии?» — «Да...» — «Благодарю вас. Вы свободны». И свидетель удалился той же невыразимой походкой.

На суде Берия ни разу не сослался на Сталина, хотя в его положении было бы естественно свалить хоть часть вины на главного режиссера. Можно думать, что прокурор и председатель суда, выполняя определенное указание, строго предупредили обвиняемых на сей счет... Долго они еще будут оберегать от скверны усопшего Диктатора. В сентябре 1955 года на судебном процессе в Тбилиси подручный Лаврентия Берии Николай Рухадзе позволил себе нарушить негласное табу. Генеральный прокурор Руденко возмутился: «Не смей своими грязными губами упоминать святое имя товарища Сталина!» Это было сказано за несколько месяцев до разоблачительного XX съезда.

Казнили приговоренного к расстрелу в том же бункере штаба МВО. С него сняли гимнастерку, оставив белую нательную рубаху, скрутили веревкой сзади руки и привязали к крюку, вбитому в деревянный щит. Этот щит предохранял присутствующих от рикошета пули. Прокурор Руденко зачитал приговор.

**Берия:** Разрешите мне сказать...

**Руденко:** Ты уже все сказал (Военным.) Заткните ему рот полотенцем.

**Батицкий:** Товарищ командующий, разрешите мне (достает свой «парабеллум»). Этой штукой я на фронте не одного мерзавца на тот свет отправил.

**Руденко:** Прошу привести приговор в исполнение.

Батицкий вскинул руку. Над повязкой сверкнул дико выпученный глаз, второй Берия прищурил. Батицкий нажал на курок, пуля угодила в середину лба. Тело повисло на веревках.

Казнь свершилась в присутствии маршала Конева, прокурора, группы военных и члена суда Кучавы. Подозвали врача. «Что его осматривать,— заметил врач,— он готов. Я его знаю, он давно сгнил, еще в сорок четвертом заболел сифилисом». Все же он взял

повисшую руку за кисть, взглянул на лицо казненного. Осталось засвидетельствовать факт смерти. Тело Берии завернули в холстину и отправили в крематорий. Туда же отвезли останки казненных в тот же день на Лубянке шести подручных. Так бесславно в бетонном бункере закончилась жизнь одного из самых знаменитых в истории человечества вурдалаков.

«Правда», 24 декабря 1953 года

## В ВЕРХОВНОМ СУДЕ СССР

18 — 23 декабря 1953 года Специальное Судебное Присутствие Верховного Суда СССР в составе:

Председательствующего — Председателя Специального Судебного Присутствия Маршала Советского Союза Конева И. С. и членов Присутствия: Председателя Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов Шверника Н. М., первого заместителя Председателя Верховного Суда СССР Зейдина Е. Л., генерала армии Москаленко К. С., Секретаря Московского областного Комитета КПСС Михайлова Н. А., Председателя Совета Профессиональных Союзов Грузии Кучава М. И., Председателя московского городского суда Громова Л. А., первого заместителя Министра внутренних дел Лунева К. Ф. рассмотрело в закрытом судебном заседании, в порядке, установленном Законом от 1 декабря 1934 г., уголовное дело по обвинению Берия и других.

В соответствии с обвинительным заключением суду были преданы: Берия Л. П. по обвинению в преступлениях, предусмотренных статьями 58-1 «б», 58-8, 58-13, 58-11 Уголовного Кодекса РСФСР, Меркулов В. Н., Деканозов В. Г., Кобулов Б. З., Гоглидзе С. А., Мешик П. Я., Влодзимирский Л. Е. по обвинению в преступлениях, предусмотренных статьями 58-1 «б», 58-8, 58-11 Уголовного Кодекса РСФСР.

Судебное следствие полностью подтвердило материалы предварительного следствия и предъявленные всем подсудимым обвинения, изложенные в обвинительном заключении.

Судом установлено, что, изменив Родине и действуя в интересах иностранного капитала, подсудимый Берия сколотил враждебную Советскому Государству изменническую группу заговорщиков, в которую вошли связанные с Берия в течение многих лет совместной преступной деятельностью подсудимые Меркулов В. Н., Деканозов В. Г., Кобулов Б. З., Гоглидзе С. А., Мешик П. Я. и Влодзимирский Л. Е. Заговорщики ставили своей преступной целью использовать органы Министерства внутренних дел против Коммунистической партии и правительства СССР, поставить Министерство внутренних дел над партией и правительством для захвата власти, ликвидации советского рабоче-крестьянского строя, реставрации капитализма и восстановления господства буржуазии.

Суд установил, что начало преступной изменнической деятельности Берия Л. П. и установление им тайных связей с иностранными разведками относится еще ко времени гражданской войны, когда в 1919 г. Берия Л. П., находясь в Баку, совершил предательство, поступив на секретно-агентурную должность в разведку контрреволюционного муссаватистского правительства в Азербайджане, действовавшую под контролем английских разведывательных органов.

В 1920 году Берия Л. П., находясь в Грузии, вновь совершил предательство, установив тайную связь с охранкой грузинского меньшевистского правительства, также являвшейся филиалом английской разведки.

В последние годы, вплоть до своего ареста, Берия Л. П. поддерживал и распространял тайные связи с иностранными разведками.

Став в марте 1953 г. министром внутренних дел СССР, подсудимый Берия Л. П., подготовляя захват власти, начал усиленно продвигать участников заговорщической группы на руководящие должности как в центральном аппарате МВД, так и в его местных органах. Берия Л. П. и его сообщники расправлялись с честными работниками МВД, отказавшимися выполнять преступные распоряжения заговорщиков.

В своих антисоветских изменнических целях Берия Л. П. и его соучастники предприняли ряд преступных мер для того, чтобы активизировать остатки буржуазно-националистических элементов в союзных республиках, посеять вражду и рознь между народами СССР и в первую очередь подорвать дружбу народов СССР с великим русским народом.

Действуя как злобный враг советского народа, подсудимый Берия Л. П. с целью создания продовольственных затруднений в нашей стране саботировал, мешал проведению важнейших мероприятий партии и правительства, направленных на подъем хозяйства колхозов и совхозов и неуклонное повышение благосостояния советского народа.

Установлено, что, скрывая и маскируя свою преступную деятельность, подсудимый Берия Л. П. и его соучастники совершали террористические расправы над людьми, со стороны которых они опасались разоблачения.

Судом также установлены преступления Берия Л. П., свидетельствующие о его глубоком моральном разложении, и факты совершенных Берия преступных корыстных действий и злоупотребления властью.

Специальное Судебное Присутствие Верховного Суда СССР постановило:

Приговорить Берия Л. П., Меркулова В. Н., Деканозова В. Г., Кобулова Б. З., Гоглидзе С. А., Мешика П. Я., Влодзимирского Л. Е. к высшей мере уголовного наказания — расстрелу, с конфискацией лично им принадлежащего имущества, с лишением воинских званий и наград.

Приговор является окончательным и обжалованию не подлежит.



## ПРИГОВОР ПРИВЕДЕН В ИСПОЛНЕНИЕ

Вчера, 23 декабря, приведен в исполнение приговор Специального Судебного Присутствия Верховного Суда СССР в отношении осужденных к высшей мере уголовного наказания — расстрелу — Берия Л. П., Меркулова В. Н., Деканозова В. Г., Кобулова Б. З., Гоглидзе С. А., Мешика П. Я. и Влодзимирского Л. Е.

Публикуя этот документ в центральной печати, все ли сказали его составители? Заговор с целью захвата власти, контрреволюционная деятельность, террор против честных партийцев, подрыв самой коммунистической партии. Кажется, сказано все главное. Но это только кажется. В сообщении Верховного Суда названы лишь основные подручные Берии. Его соратники-коллеги Молотов, Каганович, Ворошилов, Микоян, Маленков, Шверник, Шкирятов, да и Щербаков с Сусловым впридачу остались в тени. А Никита Хрущев, столь энергично взявшийся за искоренение бериевщины, разве он не участвовал в массовом терроре на Украине и в Москве, не пресмыкался перед сталинским фаворитом?

На протяжении ряда лет Берия возглавлял партийные организации Грузии и Закавказья, входил в состав ЦК и Политбюро. Ответственные партийные посты занимали многие функционеры карательных органов, произошло сращение партийных верхов с тайным ведомством. Преступным оказался весь Центральный Комитет, отправлявший на казнь — волна за волной — своих членов. Он тоже подлежал суду, праведному народному суду. Вместе с усопшим Вождем, которому преданно служил Берия.

Вот о чем умолчали наследники Сталина. Здесь Берия уловил свой шанс. Признав вину в организации террора, он решил сделать акцент на своей половой распущенности. Войдя в роль кающегося грешника, Берия заявил суду: «Самым тяжким позором для меня как гражданина, члена партии и одного из руководителей, является мое бытовое разложение, безобразная и неразборчивая связь с женщинами. Пал я мерзко и низко. Я настолько падший человек, что вам трудно теперь мне верить, а мне что-либо опровергать...»

Для того, чтобы вывести из-под удара собственные персоны, сочинители судебного постановления обвинили Берию в «тайных связях с иностранными разведками», которые он поддерживал якобы до самого дня ареста. Наследники сталинской власти представили злодея в роли шпиона. По этому поводу Конев позднее заметит: «Не был он никаким шпионом, зачем ему это понадобилось?..»

Они очень спешили, соратники Сталина, сообщники Берии. Спешное следствие, да и суд — экстренный, закрытый. И казнь без промедления.

Официальные сообщения в печати, закрытое письмо ЦК, рассказы многочисленных жертв и очевидцев потрясли современников. Известный кинорежиссер Александр Довженко записал в своем дневнике: «Правая рука великого на протяжении почти двух десятков лет была рукой мелкого мерзавца, садиста и хама. Вот трагедия! Вот что заводится за высокими непроветриваемыми стенами. Тысячи агентов-дармоедов, расставленных на улицах и везде, где надо и не надо, в течение двадцати лет охраняли предателя Родины, партии... Что это? Кому же теперь клясться в верности? Уже голова седа. И в сердце не утихает боль. Болит мое сердце, болит. Треть столетия клянусь... кому? Будьте вы прокляты, предатели, жестокие авантюристы!»

После того памятного процесса был еще не один суд над бериевцами. В Тбилиси в сентябре пятьдесят пятого судили Авксентия Папаву с подручными. Во время процесса его дочери Нила и Эка прятались в сарае, во дворе Дома культуры железнодорожников, и наблюдали через щель, как папу ведут под конвоем. Сейчас они называют верного слугу Берии жертвой жестокого времени... Берия был крестным отцом старшей дочери подсудимого. Имя дали ей в честь супругов Берия, Нины и Лаврентия,— Нила.

Берия умом не отличался. Всякий намек на интеллект он воспринимал как личную обиду, интеллигентов истреблял в первую очередь. Более всего он не терпел в людях гордое чувство собственного достоинства. Ремесло палача этот врожденный садист избрал не удовольствия ради, хотя на этом поприще ему удалось превзойти всех. Путь на самый верх лежал через горы трупов, но Берия не боялся трудностей. Он мнил себя «настоящим большевиком» вполне серьезно. Вполне, вполне.

Берии выпала лихая судьба. Ему не дано было истребить всех сограждан. Эту трагедию он мужественно разделил со своим учителем и другом Иосифом Сталиным. Зато оставшиеся в живых подданные прониклись, до кончиков ногтей пропитались духом послушания.

Не к этому ли конечному результату они стремились, Папа Большой и Папа Малый? В 1953-м были в ходу частушки, сочиненные Бог знает кем, скорее всего, плод фольклора.

Лаврентий Палыч Берия
Не оправдал доверия —

Остался от Берия
Лишь только пух да перия.

Цветет в Тбилиси алыча
Не для Лаврентий Палыча,
А для Климент Ефремыча
И Вячеслав Михалыча.

И анекдот передавали из уст в уста:

Стоят преступники в аду — кто в крови, кто в пламени горит. Данте обходит владения дьявола, видит: один из самых страшных негодяев стоит в крови лишь по колено. Удивился Данте, подошел, узнал Лаврентия Берию: «Почему так мелко, Лаврентий Павлович?» — «А я на плечах Иосифа Виссарионовича...»

Жизнь Лаврентия Берии естественно вписалась в эпоху величайшего насилия, когда реальная история, отринув Марксово учение, разделила население бывшей царской империи на две категории — палачей и жертв. Свое место Лаврентий Берия нашел сразу. Юношей избрав профессию охранника, он уже через двадцать лет достиг положения главного фаворита Диктатора. Чуткий на все подлое, низменное, он сумел раньше многих разгадать уголовную натуру Сталина и без особых усилий стать его двойником. Для старшего убийство тоже являлось смыслом существования, способом самовыражения.

К своей последней черте Берия подошел в пятьдесят четыре года. В этом возрасте многие только приближаются к вершине, а он вон куда вознесся... Деятельность Берии не ограничивалась массовыми убийствами. Правда, ему удалось, вместе с генсеком, истребить почти всех дееспособных руководителей, заодно с ненавистными интеллигентами. Громил сельских тружеников, громил деятелей культуры. Отменный лицедей и демагог, он, как никто иной, умел нагнетать атмосферу страха, доведя народ до состояния массовой истерии. Выселение из родных мест целых народов, реорганизация лагерной системы, насаждение тотального доносительства внутри страны — все это связано тоже с именем Берии, как и подрывная диверсионно-шпионская работа на всех континентах. Истинный профессионал, он увлеченно участвовал в пытках-казнях «врагов народа».

Испокон веков охранники уничтожали праведников. Отправляя на Голгофу Христа, Понтий Пилат *знал*, кого убивает. При Сталине, при Берии коммунист резал коммуниста. И никто теперь не сыщет среди них праведников. Ни одного.

Суд над Берией проходил, как мы уже знаем, без адвоката. В этой роли выступила спустя почти сорок лет Нина Теймуразовна Гегечкори. Она убеждена в необходимости массового террора. В интервью, данном в июле 1990 года, вдова Берии оплакивает не только мужа, но и его Хозяина, строителя социализма. Она помнит все, кроме того, что Берия переехал в Москву летом 1938 года и тогда же возглавил управление госбезопасности. «Мы переехали в Москву в конце 38-го. К тому времени репрессии 37-го уже ушли в прошлое. Теперь вот появился человек, на которого можно повесить все грехи»,— рассуждает Гегечкори. Если бы так думала только она...

Перечисляя политических деятелей, которые «боролись за счастливое будущее всех народов земли», Нина Теймуразовна называет Сталина и Берию. Нет, это не старческий маразм, в свои 86 лет она владеет свободно и мыслью, и речью. Вполне резонно замечает, что Берия не стремился занять главный государственный пост: второй грузин на троне — это уже слишком. Покойный супруг был носителем высокой морали, дни и ночи проводил на работе. Разврат? — выдумки клеветников. Лаврентия окружали не любовницы, а многочисленные агенты, связь с этими женщинами Берия поддерживал лично, как шеф разведки и контрразведки.

И еще один случай вольного обращения с фактами. Оказывается, первый секретарь ЦК компартии Грузии Л. Картвелишвили «взял и увел» жену у чекиста Ершова. Когда Картвелишвили сняли, она ушла от него. Неужто Нина Гегечкори не знала, что Картвелишвили замучили в тюрьме, а его жена Ольга Никитична провела в лагерях более 15 лет? И что устроителем этих экзекуций был не кто иной, как Берия?

Светлана Аллилуева и Евгений Джугашвили, пытаясь обелить Сталина, добавили к его имени семейного позора...

Вершина достигнута, до кресла диктатора оставался, может быть, один шаг, но он-то и оказался гибельным.

Короткая, насыщенная трудом жизнь. Он прошел ее рядом с Вождем, в совместных деяниях и радостях, часто опережая самые дерзкие замыслы кремлевского пророка, но всегда чутко соблюдая дистанцию. Долгие годы Папа Большой и Папа Малый по-братски делили тяжкие заботы о благе народа. Но соблазн самодержавия слишком велик, они схватились над пропастью. Более ловкий взял верх и, не удержавшись на краю, последовал за первым. Кто подобрал их души, эти родственные души?

Со смертью Лаврентия Берии кончилась эпоха, которой трудно найти точное определение. Пожалуй, хватит проклятий позорному прошлому. Будем благодарны тем, кто не допустит повторения.

*Виталий Кришиталович*

# ЛАБИРИНТ

***Очерк***

> «Если мы не обеспечим своему народу более высокий жизненный уровень, чем в развитых капиталистических странах, то, спрашивается, какие же мы коммунисты?»
>
> *Н. С. Хрущев*

Как-то в нашем овощном магазине эксперты запретили продавать партию свеклы, обнаружив, что нитраты в ней превышают допустимую норму в несколько раз. Когда я узнал о случившемся и вспомнил, что покупал там накануне свеклу, которую в тот же день слопал в борще, когда я прикинул свои доходы и озлобляюще ясно понял, что колхозный рынок мне недоступен, вот тогда я и подумал — никто не объяснит мне, почему на мой стол попадают отравленная вода и ядовитый хлеб, пока я сам все это не выясню.

Так я втянулся в расследование, имя коему лабиринт.

## ОПАСНЫЕ ИНЪЕКЦИИ

Состояние сельского хозяйства в любой стране в любую эпоху служило очень точным, хоть и закодированным, отражением дел в этой стране. Все великие империи прошлого прекратили свое существование после крушения собственной экономики. А ни для кого не секрет, что состояние здоровья и долголетие экономики полностью зависят от здоровья сельского хозяйства.

Развитие нашего сельского хозяйства напоминает мне историю, приключившуюся с одним знакомым, который после крушения пассажирского поезда спасал заваленных людей от подступающего огня. Этот далеко не богатырского сложения человек перетаскивал восьмидесятикилограммовые кресла бегом на вытянутых руках. Целый месяц после этого он чувствовал себя превосходно, был весел, необычайно энергичен. Но внезапно в несколько дней силы его истощились, и началась тяжелейшая депрессия. Человек стал буквально разваливаться на глазах, превращаясь из молодого мужчины в дряхлого старика. Врач быстро определил причину: сильнейший эмоциональный накал во время крушения спровоцировал в организме моего знакомого массированный выплеск гормонов. Они удесятерили его силы и затем некоторое время поддерживали жизнеспособность. Но вот затребованные сверх нормы гормоны подошли к концу, а для производства новых требуется время. В результате — крах. Выписать гормональные препараты врач отказался — получая искусственные гормоны, организм перестанет вырабатывать свои.

Наша страна тоже пережила затянувшийся период колоссального напряжения, связанного с правлением Сталина, войной, послевоенной разрухой. За все эти годы напряжения произошел мощный выплеск политических, экономических и культурных «гормонов». Этот выплеск помог победить в войне и быстро восстановить разрушенное хозяйство. Но вот гормоны были израсходованы, и в стране наступила депрессия — правление Брежнева. В это время нашу экономику принялись лечить инъекциями в виде экспорта сырья. Аналогичные процессы происходили и в сельском хозяйстве. Только искусственный гормон там был свой — минеральные удобрения.

Хрущеву понадобился большой скачок в производстве продуктов питания. Для любого политического деятеля «скачок» — штука весьма соблазнительная. Особенно если он планирует в ближайшем будущем построить коммунизм. Скачок обещала Целина. Но всякому понятно, что без удобрений земля родить не будет. Навоза на такие просторы —

---

Кришталович Виталий Георгиевич (род. в 1957 г.) — публицист, прозаик. Публикуется в журналах «Звезда», «Аврора» и других. Автор очерков о проблемах экологии.

это было ясно с самого начала — конечно, не хватит. Выход предложила химия. Широкомасштабное освоение целинных и залежных земель могло быть начато только в расчете на мощное производство минеральных удобрений. И как это давно вошло у нас в добрую традицию, увеличение производства минеральных удобрений тут же превратилось в кампанию под названием «химизация сельского хозяйства».

Если подумать, то в начале всех наших великих свершений стояло слово: Электрификация, Коллективизация, Индустриализация... Перестройка. Слово объединяло миллионы людей. Ради него шли на смерть, терпели лишения. Слово дисциплинировало — вело к единой для всех цели, то есть формировало строй. Имея на знамени Слово, было проще бороться с противниками (научными, политическими, личными). «Ты против электрификации? Товарищи, он против того, чтобы народ жил в свете новой жизни! Он против народа! Ату его!» Строй, провозгласивший примат материи над идеей, в своем идеологическом становлении скрупулезно повторил развитие официальных религий — вначале было Слово. И не суть, что́ оно означало — Бог или Коллективизация,— в том и в другом случае оно указывало дорогу в рай.

То же самое произошло в отношении Химизации — все как один на штурм! Не считаясь ни с чем. И уж конечно, не слыша оппонентов.

Войдя в жизнь сельского хозяйства, минеральные удобрения разом превратились в его искусственный гормон, постепенно вытеснив органику практически изо всех регионов.

Широкое применение минеральных удобрений вызвало прежде всего разрушение главного богатства почвы — гумуса. Дело в том, что азот, фосфор, кальций, попадая в почву в минеральном виде, резко стимулирует деятельность бактерий. Те, в свою очередь, начинают интенсивно перерабатывать гумус, расщепляя органику. Результат — истощение почвы и падение урожаев. Как поднять урожай? Выход — «поднять» дозы минеральных удобрений. А это значит новый круг истощения.

С начала применения химии в сельском хозяйстве дозы увеличились в пятьсот раз, тогда как урожайность только вдвое!

Когда-то Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский в разговоре о распашке целинных земель говорил: «Если у вас есть в запасе две с половиной тысячи лет, вы можете экспериментировать». Именно такой срок он отводил на восстановление гумуса. Ныне в южных областях России ежегодно с каждого гектара пашни исчезает полтонны гумуса. И восстанавливать его нечем. Потому что химия в свое время пообещала отказаться от органических удобрений. И слово свое сдержала.

Надо сказать, что в прежние времена к навозу и другим органическим удобрениям, представляющим собой перегнившую органику, земледельцы относились с неподдельным почтением. Их применяли в Древнем Китае уже во II тысячелетии до н. э. В Древнем Риме научились изготавливать компосты. Если поле все-таки теряло плодородие, римляне знали, как его восстановить,— запахивали урожай. Сегодня, как и тысячелетия назад, это один из немногих способов восстановления гумуса. Применялся и другой — заболоченные пары. В пятом веке до н. э. люди империи Майя заболачивали «уставшее» поле с помощью специальных каналов, добиваясь таким образом роста торфяного слоя. Крестьяне Древней Руси задолго до крещения применяли пары и севообороты.

Обвинять в незнании исторического опыта руководителей нашего сельского хозяйства шестидесятых годов, пожалуй, несправедливо. Всё они знали и всё понимали. Но минеральные удобрения обещали открыть новую эру в земледелии. «Что, поле истощилось? И вы хотите оставить его под пар? Безумцы — целое лето столько гектаров будет простаивать без дела. Удобрите это поле минеральными удобрениями, и плодородие восстановится».

Постепенно применение минеральных удобрений превратилось в экстенсивную форму земледелия.

Вслед за почвой почувствовали на себе влияние минеральных удобрений люди. Вместе с ростом объемов вносимых в почву удобрений росла концентрация в продуктах нитратов. Попадая в организм, эта пакость нарушает код информационных ДНК, что ведет к нерегулируемому росту клеток (раковые опухоли), кроме этого, нитраты нарушают структуру гемоглобина крови.

## ПРИКАЗАНО БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМИ

Кампания химизации нанесла удар еще по одному очень хрупкому природному механизму. Когда наши деревни полнились богатой разнообразной жизнью и этих деревень было много, сельское хозяйство представляло собой систему естественно-искусственных биогеоценозов. То есть содружества минерального, растительного и животного миров. Вокруг каждой деревни располагались поле, луга, сенокосные угодья. Леса и рощи уберегали поля от эрозии, сохраняли влагу, наполняли воздух насекомыми, опылявшими посевы и сады, и фитонцидами. Насекомыми кормились птицы, склевывавшие заодно и вредителей. Луга располагались вкруг полей, как правило, по берегам озер и рек и служили естественным препятствием на пути полезных веществ, выносимых с полей талыми водами и дождями. Еще Петром I был издан указ: «До уреза воды не пахать...» Наконец, в тех деревнях не было проблем с органикой.



Хрущев решил максимально разгрузить сельского труженика от домашних забот, предоставив ему возможность для духовного совершенствоавания и самообразования. Средство для этого он выбрал простое, но эффективное — отобрал личный скот и дело с концом. У крестьян действительно образовалась масса свободного времени, которое они тут же заняли поисками еды — поскольку кормильцев отобрали. Без скотины неблагодарный народ потек из деревни.

Вероятнее всего, Никиту Сергеевича не только и не столько беспокоил досуг крестьян, сколько приближающийся катастрофическими темпами коммунизм. Верный и последовательный ленинец, он понимал, что только освобожденный от мелкобуржуазной идеологии пролетариат сможет достойно встретить светлое будущее. Частнособственнические же инстинкты встанут на пути коммунистического завтра непреодолимой преградой. И потому было вновь поднято знамя борьбы с проклятой частной собственностью.

Сначала сталинская политика, потом война, непосильные налоги создали предпосылки для уничтожения веками создававшихся структур сельского хозяйства. Но деревня еще жила, загнанная в рабство беспаспортного существования. Хрущев освободил крестьян от унизительного положения. И параллельно с этим своей аграрной политикой сделал жизнь в деревне окончательно невыносимой, вызвав повсеместную миграцию в города.

Вряд ли можно допустить, что ни он сам, ни его советники не понимали, что творят. Скорее всего именно миграционный процесс и был конечным этапом в их программе. Скоро в развитие этой программы появится, не к ночи будь помянутая, концепция Т. Заславской «Неперспективные деревни». На месте мелкоузорчатых ландшафтов с полем, речкой, лугом, рощей протянутся на десятки километров «бескрайние просторы», предназначенные для промышленного освоения. Поднимутся в воздух миллионы тонн бесценной почвы — суперстратегического сырья, чтобы перемешаться с дорожной пылью и грязью, развеяться по лесам, пасть кормом для водорослей рек и озер. Заколосятся пыльные смерчи над распаханной целиной и разоренным Нечерноземьем.

Никогда бы Хрущев не решился отобрать скот у крестьян, если бы не минеральные удобрения. Он же понимал, что неудобренная земля ничего не даст. Но навозу был найден искусственный заменитель. А что до скота, то его решено было также производить промышленным способом. К встрече «счастливого завтра» подготовились.

## О КОРМУШКАХ

Естественно, что почва истощается и в чисто природной системе. Но там эти процессы движутся чрезвычайно медленно, потому что в природе существуют механизмы восполнения потерь.

Азот забирают из воздуха и обогащают им почву азотфиксирующие бактерии, например те, что живут на корнях клевера. Углерод поступает оттуда же — углекислый газ с помощью фотосинтеза преобразуется в ткани растений. Только фосфор не восполняется. Он попал в почву давным-давно из материнской породы, и теперь его из года в год, из века в век расходуют растения. Пока существовал круговорот органики и выращенные на поле растения возвращались сюда в виде навоза, траты фосфора были минимальны. Минеральные удобрения вытеснили навоз и тем самым запрограммировали потери фосфора из почвы. Минеральный фосфор в данном случае не подспорье — он быстро вымывается водой.

Но, исчезая из почвы, фосфор не исчезает бесследно. Он перекочевывает в реки, озера и моря. Ученые Института озероведения АН СССР подсчитали, что ежегодно в реки и озера одного только Нечерноземья попадает больше шестисот тысяч тонн фосфора. Попадая в воду, он продолжает там делать то, что делал на суше,— взращивать растения. Ему ведь безразлично, что кормить: пшеницу или сине-зеленые водоросли. Один грамм фосфора способен взрастить сто пятнадцать граммов водорослей. К слову сказать, в Ладожское озеро с полей и животноводческих хозяйств поступает до семи тысяч тонн фосфора в год.

Обнесите небольшой лесок высоким непреодолимым забором и устройте в этом лесу великое множество кормушек. Пусть животные в вашем лесу буквально обжираются даровым харчем. Что произойдет? Уже лет через пять ваш лес переполнится всевозможным зверьем. По полянам будут рыскать толпы кабанов, все кусты будут забиты волками, по просекам вытянутся колонны несъеденных косуль и лосей, зайцам придется прыгать по веткам, потому что земля будет усеяна лисицами. Кормите таким манером лес лет пятнадцать, добейтесь неимоверной плотности животных, а потом резко прекратите кормежку, но забора не снимайте. Половина травоядных тут же перемрет из-за нехватки еды. Хищники скоро уничтожат вторую половину и вымрут следом. Лес переполнится тушами разлагающихся животных и громадными стаями воронья. Но лесные санитары не успеют справиться с подобным изобилием. Трупный газ и патогенные бактерии уничтожат насе-

комоядных птиц. Расплодившиеся вредители погубят деревья. Вот вам утрированная модель бездумного вторжения в экосистему.

Примерно то же происходит в водоеме, куда попадает большое количество фосфора,— сказочными темпами разрастаются водоросли, ими питается зоопланктон, планктоном мелкие рыбешки, мелкими крупные. Чем больше жителей в водоеме, а водоросли тоже жители, тем меньше в воде остается кислорода. Первыми от кислородного голодания погибают крупные промысловые рыбы — им воздуха нужно много. В их отсутствие мелкие рыбешки плодятся совершенно безнастенчиво, продолжают нарождаться водоросли, все больше потребляя кислород. Весь подводный мир пирует, быстро приближая конец жизни своего озера. В один «прекрасный» момент из-за нехватки кислорода в водоеме наступают необратимые процессы и гибель всего живого — озеро превращается в болото.

По статистическим данным число мертвых озер на территории РСФСР за последние двадцать лет составило три процента от всего количества. Немецкие ученые установили, что в восточных районах Германии последние пятнадцать лет заморы рыбы происходили в три раза чаще из-за загрязнения водоемов биогенами, чем из-за отравления ядохимикатами.

Сине-зеленые сами по себе доставляют массу хлопот людям — разлагаясь, они выделяют сильнодействующие яды из группы циановых. Поэтому сине-зеленые нельзя использовать, скажем, на корм скоту или в качестве удобрений.

С цветением воды связывают также холеру. Например, вспышки холеры Эль-Тор в начале семидесятых годов, охватившие тридцать пять стран.

Самое скверное в отношении сине-зеленых состоит в том, что очистка воды от них малоэффективна и необыкновенно дорога. Каждое предприятие, берущее воду из Днепра, тратит за месяцы цветения воды в среднем по сто восемьдесят тысяч рублей только на борьбу с помехами в водоснабжении. И больше полумиллиона каждая ТЭЦ. Человек отбирает биогены у почвы и сбрасывает их в воду. Тем самым губит и почву, и водоемы.

Выясняя главные источники загрязнения воды биогенами, ученые установили, что больше всего пищи для водорослей поступает из городов и животноводческих хозяйств. Оказалось, что около семидесяти процентов получаемого в животноводстве навоза сбрасывается в водотоки.

Как же так, ценнейшее сырье, без которого нельзя получить богатый урожай чистой продукции, сырье, которое так ждут на полях, вместо того попадает в реки и озера, превращаясь там в убийцу? Почему так получается? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вернуться в шестидесятые годы и пройти еще один коридор лабиринта.

## ОБ ИЖДИВЕНЦАХ И КОРМИЛЬЦАХ

Миграция в города превратилась в неуправляемый, а главное — в необратимый процесс. И неизбежно вызвала к жизни новую проблему: неподготовленный, несбалансированный с возможностями региона рост Города. И, конечно, проблема проблем — снабжение продовольствием. Подвоз зерна наладили, а как быть с мясом, молоком? Стада и отары бродили далеко. Раньше существенным подспорьем служили частные хозяйства пригородных поселков, откуда поутру тянулись в город подводы с бидонами молока и грудами кусков парного мяса. Хрущевская политика извела мерзкое наследие буржуазного прошлого, очистив город от жадных до денег частников из пригородов, а заодно и от свежих продуктов. К тому же подоспело падение поставок мяса с крестьянских подворий, потому как мясо это выращивать запретили. Подоспело падение мясозаготовок в государственном секторе — миграционный процесс превращал крестьянина в горожанина, то есть из кормильца делал иждивенца. Впору было отменять скороспелые решения и возвращать — тогда это было еще не поздно — деревню в прежнее состояние. Но «нет таких трудностей, с которыми не справились бы большевики»,— не пристало идущим к светлому будущему возвращаться назад.

Примериваясь к точке зрения Хрущева и пытаясь постичь логику его поступков, понимаешь, почему он не мог отступить от принятого курса. «Железный занавес» вечно висеть не мог. Рано или поздно он должен был приоткрыться. И тогда в страну неминуемо хлынул бы поток информации о жизни в других странах, что вызвало бы в умах чрезвычайно нежелательное брожение вредных мыслей. Пока сохранялась тепличная обстановка, нужно было во что бы то ни стало догнать и перегнать Америку.

Непроизводительный труд сталинских лагерей такого эффекта дать не мог. Только творческий порыв масс, в основном молодежи, ведомых идеалом (в былые времена Богом, теперь — коммунизмом), способен был совершить быстрый экономический скачок. Оттепель шестидесятых подняла мощный вал массового энтузиазма (выплеск гормонов) — люди рвались на Север, на Целину, на Дальний Восток, искренне ненавидели Америку, искренне верили в скорый приход коммунизма. На фоне всеобщего ликования, на фоне первых рекордных целинных урожаев, первых побед в космосе, на фоне эффектных успехов во внешней политике не мог Хрущев пойти на попятную.



Решение светлых задач осложнялось еще и тем, что страна вступала в первую послевоенную демографическую «яму» — на производство пришло поколение, рожденное в военные годы. Особенно ощущался дефицит в этой возрастной полосе в районах недавних военных действий, то есть на западе страны — как раз в промышленном регионе.

Нехватка рабочих рук на заводах, а не добрая воля руководителя, вынудила дать в руки крестьянину паспорт. Вернуть деревню к прежней жизни означало бы остановить поток рабочей силы в промышленность.

Сталин преследовал те же цели, когда заменял в сельском хозяйстве частника-индивидуалиста государственной артелью. Его преемник решил усовершенствовать эту артель, переведя ее на «промышленные рельсы». Что позволяло сократить численность работников и при этом выиграть в объемах продукции.

Решение мясо-молочной проблемы созрело у Хрущева, по всей видимости, во время его поездки по США. Именно там он увидел хозяйства, специализированные на промышленном откорме скота и производстве молочных продуктов. Такой способ как нельзя лучше вписывался во внутриполитическую стратегию Никиты Сергеевича.

Однако реализовались эти планы уже без участия Хрущева. В 1970 году в совхозе «Кузнецовский», что под Москвой, вступил в строй первый советский животноводческий комплекс.

В нашей стране началась эра истребления пресной воды и вышел на новый виток процесс истощения почв.

## ЧТО ДЕЛАТЬ?

Потери гумуса из-за роста городов объясняются в общем просто. Во-первых, превратясь в горожанина, бывший крестьянин перестал вывозить по весне продукты своей жизнедеятельности в поле, а начал пользоваться канализацией, откуда вышеназванные продукты устремляются мимо полей в реку, затем в озеро или море. Таким образом в природном круговороте органического вещества образовалась первая брешь.

Строительство животноводческих комплексов, тоже следствие урбанизации, в свою очередь резко усилило и загрязнение рек, озер, и разграбление почв. Дело в том, что скотину на комплексах кормят преимущественно зерном. Зерном, выращенным вдали от комплекса,— в зерносеящих районах. На сотворение этого зерна поле затратило силы — гумус. Для восполнения этой потери почве необходимо вернуть взятое уже в виде навоза. Но если привезти издалека зерно еще возможно, то проделать то же самое с навозом крайне затруднительно. Вопрос — куда его девать? Ответ — в воду. Чтоб поскорей утек — с глаз долой, из сердца вон. А потерю питательных веществ полю вернут минеральные удобрения, которые, в свою очередь, усилят дефицит гумуса и содержание нитратов в продукции.

Понятно, что в отсутствие органики селяне, хочешь не хочешь, сыплют минералку. В XIII пятилетке производство минеральных удобрений будет увеличено вдвое. Только по Нечерноземью в почву ежегодно будет вноситься три миллиона шестьсот тысяч тонн.

Понятно, что это недопустимая ситуация, то есть ситуация, которую допустить никак нельзя, потому что мы все в таком случае просто-напросто перемрем. Необходимо во что бы то ни стало остановить процесс планомерного уничтожения жизни на нашей земле. Но как его остановить? Разумеется, восстановлением природного круговорота органического вещества.

Проще сказать. А сделать?

Первое, что приходит на ум,— вернуть деревню в дохрущевское состояние. На ум это приходит в первую очередь из газетных и журнальных публикаций, теле- и радиопередач. Они, как перенасыщенный раствор, сверкают кристаллами одной и той же идеи — отдать землю крестьянину. Это решит все проблемы!

Может, и правда решит? Если человек станет хозяином своей земли, то и отношение к труду на этой земле у него станет хозяйское, то есть бережное и любвеобильное. Или не так?

Начнем с чувства хозяина (хотя на самом деле чувствами всегда надо заканчивать). Вот я, к примеру, высаживаюсь в составе трудового десанта от завода (фабрики, НИИ, вуза, треста ресторанов — не суть) в совхоз или колхоз, чтобы помочь (помочь, а не взять на себя) убрать урожай, например, картошки. Нашему десанту, как и водится в таких случаях, отводят поле — уберете и уедете. Большинство из нас люди семейные, рвемся домой. Погода стоит мерзопакостная, с кормежкой неважно, бытовые условия, мягко говоря, скверные. Короче — созданы все условия для творческого бескорыстного энтузиазма масс (возьмите у меня все, что захотите, только отпустите). Преисполненные этих чувств, мы выходим на поле и принимаемся за работу. На соседнем трудятся рабочие колхоза. В пять вечера их поле пустеет — рабочий день окончен. Нам же заканчивать работу преждевременно — эдак мы до белых мух проторчим в условиях экстремальной романтики. Как быть?

Трактористы, что таскают по полю картофелекопалку и вывозят собранное нами на

сортировальный пункт, тоже заканчивают работу. Мы начинаем горячиться, раскручиваем запас красноречия, призываем трактористов к крестьянской сознательности, говорим, что в былые времена крестьянин встречал и провожал солнышко в поле. Современный крестьянин щурит на нас схидный глаз и отвечает вполне резонно:

— Вы дома что вечером делаете? Телевизор смотрите? В шахматы играете? А мне после работы нужно корову подоить, поросенку корма наварить, кур в сарай закрыть, сено из копен с дальнего покоса перевезти и рядом с домом стожок сметать, огород докопать, дрова доколоть. Да еще нужно выспаться, потому что с утра вашу картошку копать. Себе-то я давно накопал. Есть у меня время солнышко в поле провожать?

Что ему ответить? Молча возвращаемся в отведенный под общежитие барак и дрожим от холода до утра. Это к вопросу о чувствах, то бишь о крестьянском самосознании.

Но вот, говоря старомодным языком, появилось мнение, что если дать тому трактористу землю в личное пользование, то его чувства резко изменятся. Что ж, дело хорошее, но только зачем земля нашему знакомому трактористу — понять нельзя. Пусть он теперь зарабатывает на своей «Беларуси» сто семьдесят. Возьмет землю — станет зарабатывать тысячу или две, если, конечно, будет вкалывать, как западные фермеры. Но зачем ему эта тысяча рублей, если купит он на нее столько же, сколько его сосед на сто? При этом он будет надрываться на поле от зари до зари, а сосед спокойно обихаживать свой огород, запасаясь на зиму дарами отечественной флоры.

Есть в разговоре о чувствах крестьянина и более существенная тема. Помните, как Екатерине II «открыли глаза» на проворовавшегося губернатора? На что государыня с улыбкой ответила: «Что тут поделаешь? Поставь на его место другого — еще больше воровать станет. А этот уже насосался». Может, она как-нибудь иначе свою фразу построила, меня при этом не было, но смысл остался прежним — речь шла о психологии временщиков. Тех, что пришли «на час» и должны взять как можно больше, пока не погнали.

В последнее время ведется много разговоров о передаче земли в вечное или долгосрочное пользование частным лицам, о гарантиях необратимости этого процесса в виде закона. Не знаю, возможно, наших парламентариев такой закон и устроит, но вот вопрос — устроит ли он крестьян? Поверят ли?

Капиталистическое общество дает гарантии предпринимателям самим своим основополагающим принципом — частной собственностью. Представьте, что случится завтра в Англии, если парламент объявит, что в стране отменяется частная собственность на основные средства производства? Да ничего не случится, потому что никто в это не поверит. Тогда как наша страна имеет опыт подобных пертурбаций.

Капиталистическое общество все состоит из одного всюду проникающего, всепропитывающего, всепоглощающего принципа частной собственности. Наше же государство живет совсем по другим законам. И то, что в Англии аксиома, для нас не больше чем гипотеза. Никто не сможет гарантировать нашему предпринимателю, тем более фермеру, что тридцать четвертый год не повторится.

Именно это обстоятельство и лежит в основе психологии нашего временщика. Если бы арендатор был уверен, что сможет спокойно обрабатывать свою землю, вкладывая в это большие средства, беря крупные, долгосрочные кредиты, то он и планировал бы свое хозяйство соответственно, и чувство к земле у него формировалось бы особенное — к родному.

Но если человек не до конца уверен в завтрашнем дне и все же берет аренду, то, значит, он это делает ради сегодняшней выгоды. Значит, он будет стремиться выкачать как можно больший доход с наименьшими затратами. А это прежде всего выбор удобрений, выбор кормовых добавок (например, паприн и гормональные добавки ведут к ускоренному развитию животных, к хорошим привесам — то есть к солидной выручке. Но эти же добавки опасны для человека — откладываются в генной памяти, ослабляют мужские качества, влияют на материнские способности). Действия сегодняшнего временщика на земле — это прежде всего отказ от природоохранных мер, потому что меры эти чрезвычайно дороги и не дают сегодняшней денежной отдачи.

Конечно, нужно время, чтобы в людях появилась уверенность в завтрашнем дне, в необратимости процесса. Для этого в условиях фермерского хозяйства должно вырасти новое поколение. Только эти, новые, люди будут по-настоящему уверены, что земля, на которой они родились, на которой они трудятся,— их собственность, их кормилица.

Весь вопрос в том — есть ли у нас это время? И ответ на этот вопрос однозначен — времени в запасе нет. За последние тридцать лет, то есть за время безудержного разгула кампании химизации, наши сельские труженики состарили почву на три тысячи лет. Потому что в наше время темпы уничтожения гумуса в сто раз выше, чем в чисто природной системе. За последние тридцать лет убыль гумуса составила: в черноземной зоне — от трети до половины, в нечерноземной — половину всех природных запасов. По стране особенно тяжелое положение с плодородием в Средней Азии. За последние двадцать лет из почв хлопкосеющих районов выхолощено восемьдесят процентов гумуса!

Если к процессу разграбления почв подключить еще и временщика, то страшно представить себе последствия этого шага. Времени на эксперименты не осталось.



Но допустим, что я неправ. Допустим, что фермерство сегодня способно в нашей стране сотворить чудеса. Предположим, что знакомый тракторист взял надел земли, или ферму, и своим ударным трудом постарался обработать землю по всем правилам агротехники. Решится при этом вопрос с круговоротом органического вещества, то есть вернется на поля навоз?

К несчастью, нет! Потому что для этого нужно иметь средних размеров поле, а рядом ферму, а рядом луг, а рядом сенокосные угодья. А чуть дальше еще поля, и еще фермы... И так по всей стране. Ведь только для сохранения плодородия почвы без каких-либо планов на урожай каждому гектару необходимо давать минимум десять тонн навоза ежегодно. А если с этого поля еще и урожай требовать, то на гектар придется привезти тонн тридцать.

Реально это? К сожалению, нет. Ибо устраивать эти поля, работать на этих фермах, жить в этих деревнях стало некому. И сегодня в Центральном Нечерноземном районе России вносят в среднем всего пять тонн навоза на гектар пашни. Про южные области Нечерноземья и говорить нечего — в Орловской, Тульской, Рязанской норма внесения давно скатилась до 1,5—3 т/га.

Слишком мало осталось тех, кому в прежние времена привычно было крикнуть: «Выручай, мужики, родина в опасности!»

Придется признать, что этот путь в лабиринте тупиковый, надо вернуться и поискать другой. И прежде всего вспомнить об основных транжирах бесценного навоза — о городах и животноводческих хозяйствах.

## ИСТОЧНИКИ ЗЛА

В городах проблема лежит на поверхности и решается теоретически просто. Канализация наших городов устроена таким образом, что стоки от жилых кварталов смешиваются в одной трубе (коллекторе) со стоками промышленных предприятий и за время совместного путешествия под землей впитывают в себя такое количество яда (органика чрезвычайно подвержена вредному влиянию), что куда там использовать — не знают, как захоронить понадежнее.

Поэтому решение этой задачи простое — разделить канализацию на промышленную и бытовую. Просто на словах. На деле это задача, которую в ближайшее время никто решать не возьмется.

Один только Ленинград каждые сутки выдает около трех тысяч тонн остроядовитой органики. Это без малого 1,1 млн. тонн в год. Если бы она была чистой, то ее хватило бы для удобрения пятидесяти пяти тысяч гектаров пашни ежегодно.

Все же в принципе эта задача решаема. А что в животноводстве? Ведь известно, что через эту отрасль сельского хозяйства только по Нечерноземью теряется органики в пять раз больше, чем во всех городах этого региона, вместе взятых. Один свинооткормочный комплекс на сто пятьдесят тысяч голов выдает такое же количество навозосодержащих стоков, как и двухмиллионный город. И все это течет в реки и озера, вместо того чтобы удобрять поля и пополнять запасы гумуса.

Итак, первые свинооткормочные комплексы Хрущев увидел в США. Идея его увлекла, но масштабы американцев показались слабоватыми. Известно, что самые крупные слоны водятся в СССР, поэтому, думаю, никого не удивило, когда Советский Союз заказал итальянской фирме Джи-Э-Джи проект свинооткормочного комплекса аж на сто восемь тысяч голов и по откорму телят — на десять тысяч. До сих пор нигде в мире нет таких крупных фабрик по выращиванию мяса.

Итальянцы рады стараться. Отчего не поэкспериментировать, благо на чужой земле, да еще за это деньги платят. Одним из существенных затруднений для проектировщиков оказалась уборка навоза. Если на маленькой ферме свинарка справляется вручную, то на колоссальном комплексе об этом не может быть и речи. Остроумные итальянцы быстро нашли решение — смывать водой. Но вот вопрос — куда девать смытое? Так называемые навозосодержащие стоки представляют собой бурую, вонючую, густую воду. Ни перевезти, ни в склад запереть.

По итальянскому проекту предполагались очистные. Их построили, но работают они преотвратно, совершенно не справляясь со своими задачами.

Может, они и справились бы, если б проектировщики из Джи-Э-Джи учли российскую специфику. Например, то, что русские свиньи выдают навоз, сильно отличающийся от навоза итальянского. Качество наших комбикормов такое низкое, что третья часть корма не усваивается свинским организмом, и двадцать процентов всех денежных вложений в животноводство «летит свинье под хвост». Это, в свою очередь, существенно влияет на качество очистки — бактерии, перерабатывающие в аэротенках очистных станций органику, просто не справляются с непредусмотренным изобилием, а заложенное в проект время на очистку изменить уже нельзя.

Не учли итальянцы особенности нашего климата. Что уж тут поделать, надо открыто признать, что у нас холоднее, чем в Италии. С этим связаны дополнительные сложности очистки. Степень ее зависит от скорости «размножения» бактерий, переводящих органику в состав собственных клеток. И понять их можно — кому ж захочется плодиться на морозе.

Третья, возможно, основная наша особенность, упущенная итальянскими проектировщиками из виду,— человеческий фактор.

Как-то у нас в Ленинграде лет пятнадцать или двадцать назад в одном из таксомоторных парков решили установить телеконтроль. Надоело начальству выслушивать поутру о ночных происшествиях: на одном этаже драка, на другом пьянка, на третьем картежный притон, на четвертом публичный дом. Короче, решили со всем этим безобразием кончать разом — закупили импортную систему телеслежения и установили камеры на каждом этаже. Задышало парковское начальство ровно и спокойно, восстановился сон, вернулся аппетит. Но ненадолго. Как-то ночью подошел к телекамере дядя в ватнике, да не в лоб, а сбоку, откуда не видно, да саданул по всевидящему импортному телеоку отечественным ломом. Проделали это на всех этажах в одну ночь. И списали поутру сто тысяч золотых рублей на ночной сквозняк.

Как ни горько об этом думать, но приходится учитывать «дядю в ватнике» при разработке любого проекта, не говоря уже о закупке лицензий. Этого не было сделано при покупке проекта Джи-Э-Джи. И до сих пор ни один институт страны не выпускает специалистов-эксплуатационников очистных станций.

В настоящее время четверть всего свиноводства страны переведена на промышленную основу, то есть свинооткормочные комплексы. Не так давно Минздравом СССР были проверены шестьдесят из них. На тридцати комплексах очистных не оказалось вовсе. Из числа имеющихся восемьдесят процентов работали отвратительно. Главная причина: неграмотная эксплуатация. Пример для наглядности: в помещении аэротенков очистной станции (емкостей, где бактерии расщепляют растворенную в воде органику) «полетела» вентиляция. Новых моторов не достать. Совхозное начальство вышло из затруднения просто и по-крестьянски мудро — распорядилось вынуть изо всех окон стекла, переделав таким образом вентиляцию из принудительной в свободно-приточную. В помещении (это происходило зимой) резко упала температура. Результат — качество очистки ухудшилось вдвое.

Когда вспоминаешь, что один такой комплекс загаживает реку наравне с двухмиллионным городом, понимаешь всю серьезность подобных ошибок. Тем более, что крупные города в большинстве случаев расположились по берегам морей и океанов, а комплексы стоят вдоль пресноводных (питьевых) рек и озер.

## САМЫЕ КРУПНЫЕ СЛОНЫ

Использовать навоз от комплексов трудно не столько из-за удаленности их от главной нивы страны, сколько из-за двух чрезвычайно серьезных обстоятельств: во-первых, из-за его нетранспортабельности — 99,5 процентов воды. Во-вторых, из-за того, что навозосодержащими стоками можно навредить почве не меньше, чем минералкой.

По первоначальному проекту предполагалось орошать ими поля. Но вот беда — промышленные центры, вокруг которых расположились животноводческие комплексы, находятся, как правило, в тех регионах, где орошение земли не требуется. Скажем, в Ленинградской области — тут осушать впору. Куда девать в таком случае? И как выходят из этого затруднения на практике?

В поисках ответа на последний вопрос я познакомился с тремя ленинградскими комплексами-гигантами: «Восточным», «Новым светом» и «Спутником». Каждый из них пытается освободиться от навоза по-своему.

«Новый свет» очистных до последнего времени не имел. Первоначально предполагалось, что весь навоз пойдет на производство компостов. Для этого при комплексе построили компостную фабрику. Но выяснилось, что она всего объема стоков переработать не сможет. Срочно построили вторую. Но и в этом случае всего объема получаемого навоза утилизировать не удалось. Каждый год фабрики перерабатывают в компосты сто шестьдесят тысяч тонн стоков, тогда как за год их образуется миллион тонн. Волей-неволей пришлось лить навозную воду в естественный резервуар — выработанные чеки старой торфоразработки. Постепенно образовалось навозное озеро площадью свыше пятидесяти гектаров. А на берегу этого «озера» раскинулся поселок свиноводов. Про санитарную обстановку говорить не приходится. Пришлось совхозу построить очистные. И в «Новом свете» познакомились с новой проблемой — куда девать жидкий осадок очистных станций.

Эта проблема хорошо известна другому ленинградскому комплексу — «Восточному». Когда его проектировали, то, как видно, думали, что очистной станции вполне достаточно, чтобы вопрос утилизации осадков был решен. Но не тут-то было. Во-первых, вода на выходе из очистных все же требует доочистки. Во-вторых, осадок, то есть та органика, которую бактерии «вынули» из воды и перевели в состав собственных клеток, содержит 95 процентов воды и по консистенции напоминает жидкую сметану (когда ее в магазине разбавляют кефиром). Куда его девать? Каждые сутки комплекс вырабатывает осадка восемьсот тонн (тринадцать железнодорожных цистерн). Пробовали выливать на поля соседних хозяйств, но тамошние почвы дополнительного увлажнения не требуют.

Как быть? Времени на раздумья нет — станция выдает и выдает осадок. Махнули рукой и принялись лить все, что станция отфильтровала от воды, куда попало вокруг совхоза. Окрестные леса начали гибнуть. Дождями и паводками жижу размыло и унесло в речку Иголинку, оттуда в Неву, немного повыше южного водозабора Ленинграда — пейте, горожане!

То есть эффект очистки полностью аннулировался.

Самым крупным из ленинградских свиноотко рмочных комплексов является совхоз «Спутник». Стоит он поблизости от Ладожского озера, и вклад его в погубление легендарного озера колоссален. На комплексе работают очистные. Вода после них направляется на поля орошения, почва которых фильтрует ее от оставшихся биогенов. Далее вода по закопанному под полем дренажу скатывается в канавы, а оттуда в пруд-накопитель при насосной станции.

За годы эксплуатации почва на полях настолько переувлажнилась, что быстро теряет свои фильтрующие способности. Все это говорит о том, что подобная технология доочистки для Центрального и Северо-Западного районов Нечерноземья явно не подходит.

И уже знакомая проблема жидкого осадка. И не менее знакомое решение — вывозят бочками за околицу и льют куда придется. В конечном итоге все отфильтрованные биогены попадают в Ладогу.

## ЧАСТНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

Итак, внезапный скачок урбанизации привел к спешному и непродуманному строительству животноводческих комплексов, которые теперь, в особенности свиноотко рмочные, губят все живое в реках и озерах, отравляют питьевую воду, а также способствуют истреблению гумуса в почвах. Где выход из этого тупика?

Как всегда, на ум просится простое, но действенное решение — позакрывать все эти фабрики мяса к чертовой матери, раздать скот крестьянам, распределить по мелким фермам, стелить под животных солому и вывозить по весне подстилочный навоз в поле.

«Мечты, мечты, где ваша сладость...» Если принять за маленькую ферму с единовременным содержанием одной тысячи свиней, то типовой комплекс вроде «Восточного» придется разделить на сто восемь таких ферм. Организовать, построить — куда ни шло, но где взять людей, которые стали бы работать на этих фермах? А ведь стовосьмитысячников у нас в стране сорок четыре штуки. Значит, придется организовать четыре тысячи семьсот пятьдесят две фермы и столько же новых деревень, потому что ферма на тысячу голов не такая уж и маленькая и в старую деревню ее не впихнешь. У нас к тому же имеются десятки супергигантов на двести шестнадцать тысяч свиней, пятьдесят четыре тысячи, и двадцать четыре тысячи — этих аж двести девяносто два. Все это порушить? Но как ни крути — один только стовосьмитысячник дает в год двенадцать тысяч двести тонн мяса.

Раз не удается их заменить мелкими фермами, то следует подумать о том, как свести вред, приносимый комплексами природе, до минимума. В чем же причина этого вреда? Гидросмыв? Вот его-то мы и отменим. А убирать будем вручную. Ничего, что больше придется поработать, зато и поля и реки выздоравливать начнут. Решение найдено...

Надо сказать, что этот подход вообще отличает нас — хватать те ответы, что плывут по поверхности, вместо того чтобы поискать на глубине. На первый взгляд — действительно выход. По крайней мере, во всех научных институтах, во всех чиновничьих конторах, даже в хозяйствах, где я пытался найти ответ на вопрос: «Что делать?», мне отвечали: «Ликвидировать гидросмыв!»

И я уже почти уверовал в целительность этого предложения, как вдруг узнал, что в одном из свиноводческих хозяйств Ленинградской области — в совхозе «Романовский» — применяют гидросмыв. Известие поразило меня. Дело в том, что стадо «Романовского» размещено по мелким павильонам, где как раз никакого гидросмыва по идее не должно быть.

Уже на следующий день я шагал заснеженной дорогой к деревушке Лепсари, в которой расположились фермы самого дальнего и глухого отделения «Романовского».

Интерьер свинарника описывать не стану, все как обычно,— длинный, узкий, посреди проход, по бокам от него дощатые загородки — станки. Внутри все белено. При входе корыто с опилками.

Как только вошел, так сразу стал искать глазами средства уборки. И тут же нашел — по обеим сторонам прохода в полу были выдолблены длиной во всю ферму узкие желоба, из которых виднелись элементы скребкового транспортера. То есть механическая уборка,

никакого гидросмыва. Время было уходить. Но тут я разговорился с экскурсоводом — местной работницей Татьяной, чьим заботам меня поручили.

— А как вы здесь навоз убираете? — все же не удержался я.

— Скребком, конечно.

— Странно, мне говорили — гидросмыв у вас.

— Как это?

— Водой смываете.

— Так водой и смываем,— явно не понимая моей озабоченности, сказала Татьяна,— скребком выгребаем из станков в транспортер, а по транспортеру гоним водой. Видите, шланг висит?

Только тут я обратил внимание на ржавую трубу, что тянулась на высоте человеческого роста над желобом транспортера. Возле входных дверей труба заканчивалась краном и свисавшим до пола резиновым шлангом.

— Ничего не понимаю. Зачем смывать водой, если у вас транспортер есть?

— Так ведь, чудак человек, транспортер сам не справится, ему помочь надо. Если без воды, то он целый день навоз переталкивать будет. А так — милое дело, нальешь в канавку воды, навоз сам утекает. За фермой в земле бак здоровый зарыт. Поутру трактор с бочкой подъедет и выкачает.

— Что же, повсюду водой смывают или только здесь?

— Повсюду,— растерянно отвечала Татьяна,— и на других фермах, и в других отделениях. И в совхозах других. Я родом из Калининской области, так у нас тоже водой смывают. Так проще и быстрее.

Вот так — оказывается, сегодня, вне зависимости от размеров свинарника, технической документации, навоз повсеместно смывают водой. И как ты гидросмыв ни запрещай, ничего не изменится, потому что так проще.

На крупном промышленном комплексе смытый навоз проходит через очистные, где от воды отделяется. Осталось решить проблему утилизации осадков, и все войдет в норму. Зато в средних и мелких хозяйствах никто биологическую очистку организовывать не станет — слишком дорого, да и опытных кадров там нет. На крупном же предприятии хорошую работу очистных в принципе можно организовать хотя бы потому, что он на виду и его проще контролировать. А замени его на сотню мелких, и контроль исчезнет полностью.

Я уже не говорю об арендаторах. Много было сказано о психологии временщиков — вот вам и сфера ее действия. Неужели арендатор, взявшийся откармливать свиней, озаботится природоохранными мерами? Да и какие меры он в состоянии применить? Биологическую очистку? Одна только эксплуатация типовой станции обходится в миллион рублей в год, да два миллиона забирают поля орошения.

В былые времена под скотину стелили солому. Смешиваясь с ней, навоз становился компостом. Ныне хорошо, если она есть. А если нет? Не станет же арендатор из-за соломы выращивать зерно. Гораздо проще смыть навоз водой. И пусть течет, куда хочет. А хочется ему, как назло, всегда в одном направлении — в реку.

Казалось бы, логика подводит к тому, что надо искать способ утилизировать осадки очистных, но... руководители ленинградских животноводов приняли решение противоположное: больше промышленных комплексов не строить. Вместо этого запланировали к 2000-му году возвести двадцать семь свиноооткормочных комплексов по четырнадцать тысяч голов в каждом. Без гидросмыва! Это значит — без очистных! То есть около трех тысяч тонн навоза каждые сутки все равно будут смываться в реки и озера области.

Даже если произойдет невероятное и на всех ныне существующих и впредь проектируемых фермах перестанут смывать навоз водой, а будут вычищать из свинарников чисто механическим способом, даже в этом случае навоз на поля вернуть не удастся. Потому что сам по себе свиной навоз по консистенции напоминает жидкий осадок очистных: 90—94 процента воды. То есть уже знакомые проблемы — далеко не повезешь, в склад не закроешь, в кучу не свалишь. Куда девать? Ответ первый — в поле.

Бесподстилочный навоз очень хорошее удобрение. Его применение может повысить урожай картошки вдвое. По крайней мере, так было на опытных полях ВНИУА им. Прянишникова. Но следует учесть, что на эти поля вносили жидкий навоз специальными машинами под почву один раз в год от ста двадцати до шестисот килограммов на гектар. Теперь прикинем: один десятитысячник выдает в год не менее тридцати тысяч тонн бесподстилочного навоза. Если вносить в почву по шестьсот килограммов на гектар, то вокруг такого комплекса необходимо будет распахать не менее пятидесяти тысяч гектаров пашни. Целый год придется держать жижу в каком-то накопителе, а весной разом вывезти на поля специальными машинами, которые в остальное время будут простаивать без дела.

Может, рассредоточить комплексы по стране с таким расчетом, чтобы вокруг каждого располагалось не менее пятидесяти тысяч гектаров пашни? Эта шутка несмешная.

Выходит, использование бесподстилочного навоза, как это предлагают в институте



им. Прянишникова, нереально. Во всяком случае, их опыт нельзя распространить на страну или даже регион.

Что касается неограниченного внесения жидкого навоза в почву, то этот путь испробовали на себе эстонцы. За четыре года применения навозной жижи в почве в три раза увеличилось количество грибов, вызывающих корневые инфекции и гниль растений, а количество почвенных бактерий, переводящих полезную для человека и растений амонийную форму азота в опасную нитратную, увеличилось аж в сто раз. Объясняется это тем, что в жидком навозе много биогенов, особенно азота, но мало клетчатки, из которой «полезные» бактерии строят свои клетки. Зато комфортны условия для «вредных» — нитрофицирующих бактерий. Последние в конкурентной борьбе легко вытесняют «полезных».

Получается, что чем больше удобрять землю необходимым растениям амонийным азотом, тем больше в почве будет накапливаться опасных нитратов. Настоящий крестьянин никогда свежий навоз в землю не кинет. Обязательно перемешает с соломой и даст года два вылежаться.

Компосты, или, как их еще называют, «подстилочный навоз», совсем другое дело — в них много клетчатки, и потому в борьбе за выживание выигрывают «полезные» бактерии, вытесняя «опасных». Поэтому подстилочный навоз можно вносить без ограничений. Чем его будет больше, тем больше, в конечном итоге, образуется гумуса.

Итак, выход из тупика — изготовление компостов из жидкого навоза.

Правда, соломы, как мы уже говорили — в Нечерноземье мало, поэтому сегодня повсюду, где это возможно, компосты изготавливают из торфа. Это прежде всего Урал, российский север и северо-запад.

Хорошо это или плохо?

## ЛЕТУЧИЕ СОКРОВИЩА

Это не плохо — это ужасно! Это... Это черт знает что!

Что такое торф? Не говоря о топливе (сжигание торфа решено прекратить к 2000 году), торф — это дешевые кормовые дрожжи. Это воск. Это восемьдесят видов высококачественной парфюмерии и косметики. Это фармакология. Это грязелечение. Это, в конце концов, Шотландское виски, которое, чтоб вы знали, уже давно изготавливается из торфа. И многое, многое другое.

И все перечисленное тоже плохо. Потому что торф особенно хорош там, где лежит. Торф — это болота. О них стоит рассказать подробнее.

Начнем с малого — на болотах растет клюква. В СССР собирают около сорока тысяч тонн этой ягоды. Одну тонну клюквы нам обменивают на внешнем рынке на четыре тонны пшеницы. Я берусь утверждать, что нас бессовестно обдирают — клюква стоит дороже. Причем, обратите внимание,— не надо ее возделывать, удобрять, гонять технику — болото само родит, приходи и убирай.

На болотах СССР живут тридцать видов лекарственных растений. Подсчитано, что только эта статья дохода от болот превышает все доходы от мелиорации.

На болотах самый стабильный, независимый от погоды медосбор.

Только на северо-западе в болотах живут десять видов животных и птиц, занесенных в международную Красную книгу. Каждая такая популяция оценивается в тридцать два миллиона долларов.

Болота — родина большинства равнинных рек. Высушивая их кусок за куском для того, чтобы распахать или вытащить оттуда торф, мы, тем самым, снижаем полноводность рек.

Болота — это самый, самый, самый лучший фильтр атмосферных осадков. В наше время — время радиоактивных и кислотных дождей — подобные способности болота просто неоценимы.

Болота — самая мощная кислородообразующая система на земле. Гектар тайги или амазонской сельвы ничто в сравнении с гектаром болота по способности производить кислород.

И наконец, самая важная роль болота — крупнейшее хранилище мировых запасов углерода. В торфяниках земли законсервировано $300 \times 10^9$ тонн углерода. Это сорок процентов атмосферных запасов.

Чем больше разрабатывается торфяников, тем больше углерода переходит в углекислый газ и возносится на небо. Ведь торф — чистая органика, то есть деликатес для почвенных бактерий, простейших и беспозвоночных. Он может пролежать в кислой среде болота миллионы лет. Но стоит торф поднять, осушить, пустить в его разрыхленные толщи воздух, как вся почвенная братия набросится на него, быстро расщепляя торфяную органику на минеральные составляющие. Этим и объясняется, казалось бы, поразительный факт — поле, организованное на осушенном болоте, со временем опускается. Такие поля за последние семьдесят лет в Новгородской области опустились не много не мало — на метр! То есть по одной только Новгородской области миллиарды тонн торфа исчезли —

улетели в воздух, увеличивая парниковый эффект. В регионах с более благоприятными климатическими условиями скорость исчезновения торфа достигает десяти сантиметров в год!

Все это говорит о том, что разрабатывать болота, осушать их, поднимать торф — глупо и преступно. Американский экономист Ларсен подсчитал, что прибыль, которую приносят болота штата Массачусетс в своем естественном состоянии значительно превышает прибыль от их разработки и колеблется, в зависимости от конкретных условий, от пятисот до пятидесяти восьми тысяч долларов с одного акра в год (примерно шесть садовых участков).

У нас подобные расчеты тоже имеются, но только они непопулярны. В СССР добывается около двухсот миллионов тонн торфа в год. Из них шестьдесят миллионов тут же сжигается в топках. В одной только Ленинградской области восемнадцать торфопредприятий.

Если здравый смысл все же возобладает над бездушием (а он таки возобладает, хотя бы под натиском общественной мысли других стран, напуганной приближающимся парниковым эффектом), в этом случае торф в нашей стране разрабатывать прекратят.

Это значит, что единственный отработанный прием утилизации осадков и жидкого навоза в животноводстве отпадает. Хоть микроскопическая часть навоза, но все же возвращалась на поля с торфяными компостами. Как быть, когда торфяники трогать запретят?

## БАМИЛ

Вернемся еще раз к исходной. Главный недостаток осадка с очистных или свежего навоза состоит в том, что он жидкий. Из-за этого его невозможно перевозить на большие расстояния, долго хранить. А что, если его высушивать?

Именно эта мысль пришла в голову заведующей лабораторией Всесоюзного института сельхозмикробиологии ВАСХНиЛ, кандидату биологических наук Архипченко. Ученым лаборатории Ирины Александровны поручили наладить работу очистных «Восточного». Они справились с заданием настолько успешно, что вывели очистку в этом хозяйстве на уровень лучших в стране. Но все усилия сводятся к нулю: некуда девать осадок.

Группа Архипченко предложила осадок высушивать и вносить в землю как органическое удобрение. Назвали это удобрение «бамил». На делянках института провели опыты, и вот что оказалось: урожай картошки на делянках, удобренных бамилом, в полтора раза выше урожая с делянок, куда вносили минеральные удобрения. Содержание крахмала в клубнях увеличилось на пять процентов, витамина С — в два раза. Но что самое ценное — количество нитратов составило всего 5 мг/кг, тогда как предельной нормой для картошки установлено 240 мг. Еще три-четыре года назад предельная норма равнялась восьмидесяти миллиграммам, но постоянно увеличивающиеся дозы внесения минеральных удобрений и ядохимикатов приводят к постоянному росту концентрации нитратов в продуктах. В министерских кабинетах с этой проблемой справились быстро — подняли планку предельных норм втрое. Тогда как с применением высушенного осадка эта проблема отпадет вовсе — выращенная на нем продукция будет чистой. У бамила хорош и эффект последействия — два-три года после внесения урожай по-прежнему держится высоким. Бамил улучшает агрохимические свойства почвы, а также биологические — в пробах почвы, обработанной бамилом, обнаружено в четыре раза больше бактерий, чем в пробах с минеральными удобрениями. Высушенный активный ил удобно фасовать в мешки, хранить, перевозить на большие расстояния.

Казалось бы, все проблемы решены, лабиринт пройден, активный ил очистных станций — великолепное удобрение. С его помощью можно добиться возвращения навоза на поля. Кроме того, можно в три раза сократить применение минеральных удобрений — это не только оздоровит продукцию, но и даст огромный экономический эффект, откроет путь к обеспечению страны мясом — ведь ныне у нас эта задача под силу только промышленному животноводству. Разработки Института сельхозмикробиологии позволят обратить врага в друга и открыть для промышленного животноводства широкие перспективы.

Микробиологи сделали свое дело — исследовали, разработали, убедительно доказали. Что дальше? Дальше заключительный аккорд — высушить осадок, расфасовать его в мешки, развезти по хозяйствам. Через год подсчитать эффект от применения. Затем произвести окончательные экономические расчеты, составить ТЭО, и можно входить в правительство с предложением промышленного освоения.

Но... Не тут-то было. Сухой активный ил существует только в институтской лаборатории. И сушат его в сушильном шкафу. На комплексах он по-прежнему в нетранспортабельном виде. Лабораторные опыты никак не могут перешагнуть барьер на пути к промышленному испытанию из-за того, что никто не берет на себя сушку.

Как странно — вот он, выход из лабиринта, и дверь открыта, а не выйти.

Сегодня для успешного завершения этого крайне важного исследования необходима поддержка не только совхоза «Восточный», но всего кабинета министров. Но ее нет. И пока ученые пытаются доказать различным инстанциям перспективность своего метода, Ленагропром махнул на них рукой и приступает к строительству трех десятков комплексов, где уже не будет биологической очистки, а следовательно, возможности производить бамил. Зато увеличатся потоки жидкого навоза в реки.

## БОРЬБА МИРОВ

Пытаясь найти ответ на вопрос, почему лабораторию Архипченко держат на голодном пайке, я почему-то считал, что Институт сельхозмикробиологии молод и потому пока еще не успел отвоевать себе необходимого жизненного пространства. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что речь идет о старейшем научном учреждении страны. Еще в XIX веке была организована лаборатория борьбы с вредными насекомыми и грызунами бактериологическим способом. В 1923 году из лаборатории вырос отдел сельхозмикробиологии при Госинституте опытной агрономии. В 1930 году на базе этого отдела возник самостоятельный институт, первым директором которого стал замечательный советский ученый академик С. П. Костычев. Такая быстрая эволюция лаборатории в целый институт указывает на стремительное развитие биологической науки в те годы. Пока ... Нет нужды пересказывать трагическую судьбу отечественной биологии, она теперь широко известна.

К тому времени, когда Хрущеву понадобился «скачок», биологическая наука по-прежнему оставалась в загоне и потому не смогла доказать опасность для природы, а значит и для человека, неподготовленного, резкого роста урожаев.

Зато это пообещала химия. Ей в руки и отдали карты. По биологии тем самым был нанесен еще один мощнейший удар — за годы безусловного приоритета представители химического комплекса страны расширили и укрепили свои позиции в сельском хозяйстве и ВАСХНиЛ. И теперь, занимая ключевые посты, они могут беспрепятственно управлять всем комплексом сельскохозяйственных наук сообразно своим критериям, представлениям и привязанностям. Да и как же может быть иначе, если весь огромный, неповоротливый, чрезвычайно влиятельный в политической сфере химический комплекс страны больше половины всех своих доходов получает от производства минеральных удобрений. Отказаться, хотя бы частично, от производства ядохимикатов или минеральных удобрений — значит упустить из рук власть.

Подтверждение этой своей догадке я неожиданно нашел в ныне переименованном Госагропроме в Москве. Сотрудник экономической службы пожаловался мне:

— Какой-то дурак пропустил препарат Кандыбина, и теперь хозяйства отказываются от пестицидов — подавайте им кандыбинские бактерии. Вы не представляете, какие убытки понесут химические заводы, если бактерицидные средства распространятся по всей стране. Это будет экономическая катастрофа!

Речь шла о препаратах доктора биологических наук Николая Васильевича Кандыбина. Его бактерии несравненно успешнее справляются с вредителями и грызунами. Ведь к химии у грызунов и насекомых вырабатывается иммунитет, из-за чего приходится год от года наращивать дозы внесения ядов. Тогда как к бактериям полевки или паутинный клещ привыкнуть не могут. Продукция после обработки растений бактерицидными средствами чистая и безопасная. Почве от нее никакого вреда. Но есть вред химическим заводам. Этим, должно быть, и объясняется то, что за многие годы своего существования бактерицидные средства борьбы так и не попали в крестьянские руки.

Зато более чем льготными условиями поощряли применение химикатов. Ровно половину стоимости этих ядов государство оплачивало за хозяйства в виде дотаций.

Это не первый и, к несчастью, не последний пример того, как сельское хозяйство, крестьянский вопрос становится в руках группы людей средством достижения сиюминутных политических целей. На всем протяжении развития нашей страны (не только послеоктябрьского периода) сельское хозяйство использовали в качестве орудия в борьбе между государственной властью и оппозицией, между оппозиционными группировками, при разделе власти между партиями и так далее. Властители разных времен жонглировали крестьянским вопросом, укрепляя собственную власть.

Чем более обострялась политическая ситуация в стране, тем больнее это сказывалось на крестьянском вопросе. Ныне режущие грани политических проблем как никогда больно задевают деревню. Ведь всякое политическое обострение усиливает в первую очередь экономические трудности. Во все времена их решали с помощью строжайшей экономии. То есть в первую очередь с помощью отказа от нерентабельных отраслей. Сегодня это прежде всего отказ от природоохранных мер.

Но в отличие от иных периодов истории наше время не дает возможности для экспериментов. Мы подошли к краю. Наша земля близка к уничтожению. Необходимо просто немедленно приступить к восстановлению природных систем. И прежде всего — круговорота органического вещества. Если этим не заняться сейчас, то уже в ближайшем будущем, то есть на глазах наших детей, жизни на шестой части суши не останется.

Но для процесса экологического выздоровления необходим политический покой.

## *Александр Вампилов*

# ДВА РАССКАЗА

Этот черный старый чемодан с двумя металлическими замками всегда при жизни Сани был для меня тайной. Знаю, что в середине пятидесятых он приехал с ним в Иркутск из Кутулика поступать в университет. Знаю, что позже, когда чемодан отслужил свой вояжный срок, в него складывались рукописи, но что там было еще, можно было только догадываться.

Из Кутулика же был привезен первый Санин письменный, сработанный поселковым умельцем стол, с выдвижным ящиком посередине, обтянутый сверху черным же кожемитом, весь в кляксах и потертый,— ведь за ним занимались все четверо детей учительской семьи Вампиловых. В ящике была чистая бумага и рукопись писавшейся тогда первой большой пьесы «Ярмарка» — «Прощание в июне».

Чемодан, стол, венский стул, гитара и много книг, сложенных прямо на пол за неимением книжных шкафов,— вот та обстановка, в которой жил Вампилов. Как давно это было!

С годами мало что менялось, разве только стулья, которые были принесены в подарок его друзьями на новоселье. Стульев было много, они были списаны Союзом писателей, что оказалось весьма кстати. Шествие это от трамвайной остановки до нашего дома было впечатляющим. Жизнь была бедная, но счастливая. Все были молоды, талантливы, и бедность не была пороком. Большим событием стали стеллажи, сделанные для Сани столяром Иркутского драмтеатра. Наконец-то книги были расставлены по полкам, и можно было быстро найти нужную. И опять это был праздник. По мере того, как ставились по провинциям две пьесы — «Прощание в июне» и «Старший сын», появились деньги, были розданы долги, и в Санином кабинете установили новый стол, серьезный, с двумя тумбами, а старый — был снесен им самим на улицу, разбит и сожжен.

Потом случайно была разбита гитара, что было для него огорчительно и больно. А играл он на ней удивительно. Сколько вечеров было связано с ней, с исполнением романсов, песен, начиная с модного тогда Окуджавы и заканчивая любимой им «Элегией» Дельвига. Играл серьезно, подолгу, оттачивая мастерство. Он любил гитару, любил глубоко и серьезно. Он все и всех любил, да иначе было невозможно, верно, потому, что не было человека более любящего и понимающего жизнь и людей. Думаю, что с этим согласятся его друзья, которым он был верен до конца,— все, что касалось друзей, их проблем, их жизни, было для него свято. Осталось ощущение радости от того, что он стольких любил, стольким помогал, столько успел сделать добра, как бывает у тех, кому мало суждено прожить. Я ни разу ни до, ни после его смерти ни от кого никогда не слышала фразу, над которой, когда он ее произнес, не задумывалась: одиноких мне всегда жалко. Задумалась потом...

Вспоминать о нем трудно, потому что, и мы так привыкли, любые воспоминания должны нести в себе его мысли, его слова, его поступки, его облик, чтобы в них он был живым человеком.

Я все хотела понять его, но по молодости и, увы, по глупости как-то казалось — успею. Еще немного и пойму. Трудно приходить к пониманию его теперь, когда я стала старше его. Только сознание того, что ты прошла несколько лет рядом, что тебе от этого светло и радостно,— и есть счастье.

Счастье, как сказка, быстро кончается. Не стало Сани, а осталось так много — в общечеловеческом понимании, в том, что он дал своим читателям, зрителям, и так мало — осязаемого, вещественного. Остался черный старый чемодан с его записными книжками, вариантами пьес, письмами друзей, несколькими рисунками и небольшими рассказами, подписанными его студенческим псевдонимом — А. Санин. Рассказами, которые он не опубликовал, но почему-то и не уничтожил, которые предлагаются не на суд, а только на знакомство. В них он молодой, по-юношески романтичный, искренний, и все у него еще впереди.

***Ольга Вампилова***



## ЧУЖОЙ МУЖЧИНА

Больше двенадцати часов в сутки не удается поспать даже пассажирам. Петр Васильевич с досадой хлопнул по матрацу и сел у окна. За окном один за другим менялись пейзажи, но Петр Васильевич был не мальчиком, едущим по железной дороге в первый раз. Он снова лег, закинул руки за голову и с ненавистью взглянул в потолок.

«Хоть бы сел ко мне кто-нибудь в купе, что ли»,— подумал он.

Петр Васильевич Голубев возвращался в свой город после двухмесячной командировки. В командировки Петру Васильевичу приходилось ездить часто, но особенно он любил обратную дорогу. Домой он возвращался всегда веселым, свежим, вез с собой подарок жене и пару старых анекдотов и острот, услышанных от новых знакомых. Новые знакомые всегда рассказывали старые анекдоты.

Подарок и анекдоты были и в этот раз, но настроение было такое паршивое, как будто у него только что вынули из кармана двести рублей. Петр Васильевич занемог болезнью довольно редкой и большей частью легко переносимой — угрызениями совести. Он не изнурял себя этим недугом по пустякам, для этого нужна была какая-то серьезная причина. Такая причина была. В эту поездку Петр Васильевич в первый раз изменил своей жене.

Женился он пять лет назад, будучи студентом и будучи влюбленным. Спокойный и немного замкнутый, он был эти пять лет верен и тих и вот вдруг неожиданно свихнулся.

«Изменил самым подлым образом. Изменил кому? Вере, моей Вере. Такой чудной женщине, такой любящей жене. Ловелас! Гусар! — думал Голубев, ожесточенно раскуривая папиросу.— Как я буду смотреть ей в глаза? Обманывать ее... Это единственный человек, которому я не мог... не смел лгать, и вот... Как же это? Ведь я ей теперь в сущности совсем... абсолютно чужой мужчина».

«Чужой мужчина...— повторил Петр Васильевич вслух, вскочил и стал смотреть в окно, ничего в нем не видя.— Пожалуй, я признаюсь ей во всем. Она умная и нежная. Она простит меня...»

Здесь Голубев заметил наконец, что поезд остановился в небольшом новом городке, что дело к вечеру и до дома осталось три часа езды. За окном, вдоль вагона спешили навьюченные багажом люди с испуганными лицами. «Зачем они бегут? Ведь все равно все сядут. Особенно суетятся женщины»,— подумал Петр Васильевич и стал следить за хорошенькой девушкой, которой быстро бежать мешала узкая юбка. Наблюдать за ней было смешно и весьма любопытно.

В это время дверь в купе Петра Васильевича отворилась легким и решительным движением. Голубев повернулся. Перед ним стоял незнакомец с небольшим чемоданчиком в руке и плащом, закинутым через плечо. Ему, как и Петру Васильевичу, было лет тридцать с лишним, но он был гораздо выше и молодцеватее. Под пиджаком он имел рубаху — «дикарку», на голове прогрессирующая плешь изящно прикрывалась темными волосами, зачесанными со лба назад, щеки гладко выбриты, штиблеты совсем еще не старые и хорошо вычищены. «Вот, наконец и попутчик! Да, кажется, интересный». Петр Васильевич улыбнулся и сделал шаг навстречу. Незнакомец поставил чемодан, бросил на полку плащ и, подавая руку, улыбнулся тоже.

— Добрый день! Скороходов.

— Голубев.

— Очень приятно,— сказал Скороходов, усаживаясь у окна.— Через три часа мы будем в Н-ске. Вам туда же?

— Да,— ответил Петр Васильевич, подсаживаясь к долгожданному собеседнику,— еду к жене.

— К своей? — весело спросил Скороходов.

— К... своей. А почему вы спрашиваете? — забеспокоился Голубев. Скороходов ударил по самой дребезжащей струне его души.— Разве похоже, что я могу ехать к чужой жене?

— Нет, что вы! — отвечал Скороходов, снимая пиджак.— Это я, видимо, пошутил. К чужой, к своей — это все равно. К чужой приятнее. Давайте лучше закусим.

Он полез в свой чемодан и достал оттуда ветчину, хлеб и бутылку вина.

— Еще древние философы говорили, что человек живет для того, чтобы пить и закусывать,— говорил Скороходов, разливая вино.— Эта блестящая мысль не потеряла своей актуальности и по сей день. Выпьем! «Снова я пьян — снова я счастлив!» — говорил мой знакомый поэт.

«По-моему, он интеллигентнее меня,— подумал Петр Васильевич с уважением. Он повеселел, но мысль о совершенной им измене никак не улетучивалась из головы.— Интересно, как относится к этому, например, этот вот человек?» — думал Голубев во время разговора о ценах на вино и железнодорожные билеты.

Попутчики допили бутылку, закусили, закурили, и Петр Васильевич, пустив перед своим лицом большой клуб дыма, вдруг спросил:

— Скажите... Вы никогда не изменяли своей жене?

Скороходов поднял брови, остановил руку с папиросой в воздухе и, с недоумением всматриваясь Голубеву в глаза, проговорил:

— Что?

— Вы никогда не изменяли своей жене? — нервно повторил Петр Васильевич.

Тогда Скороходов расслабленно махнул рукой, откинулся к стенке и вдруг рассмеялся громко и раскатисто, заглушая стук колес.

— Что это... ха-ха-ха... что это вам взбрело? — едва смог спросить он между приступами смеха. Скороходов, что называется, «ржал» и «ржал» так, что Петр Васильевич, глядя на него и не понимая себя, засмеялся тоже, сначала глухо и отрывисто, потом громче и смелее. Ему вдруг стало совсем весело.

— Вот уморили! — проговорил Скороходов, наконец унимаясь и вытирая лицо платком,— ...своей жене! Ха-ха! Вы ужасный фантаст.

— Да я пошутил,— соврал Голубев.

— Вы, наверное, открываете музей нравственности, и вам некого экспонировать,— продолжал Скороходов.— Я вам сочувствую, но ничем помочь не могу. Я умею выдавать себя за верного мужа только своей жене. Вы все равно мне не поверите.

— А жена вам верит? — спросил Петр Васильевич.

— Конечно. Это одна из ее супружеских обязанностей.

— Но...

— Никаких «но». «Любовь не вздохи на скамейке». В любви, как и везде, надо уметь пользоваться правами и уклоняться от обязанностей.

«А ведь он гораздо интеллигентнее меня»,— снова подумал Петр Васильевич.

— Жениться приходится только для того, чтобы иметь законных детей,— говорил Скороходов,— женщине трудно сохранять верность, мужчине — смешно...

И Скороходов небрежно и цинично стал говорить о женщинах, излагая при этом взгляды отпетого алиментщика. Развеселившийся Петр Васильевич вторил, поддакивая, рассказал неприличный анекдот и между прочим с насмешкой и пренебрежением произнес:

— А ведь некоторые остаются все же верными мужьями.

— Фантасты, мой друг, фантасты,— отвечал Скороходов, поднимаясь и надевая пиджак.

Уже стемнело, за окном запрыгали огни приближающегося города. Скороходов, опираясь руками о столик, наклонился к окну и сказал:

— В этом городе около полумиллиона жителей, прикиньте-ка, сколько из них одиноких и временно одиноких женщин. Всем им хочется быть любимыми, все они жаждут ласки. Любите же их! И не любите долго одну и ту же, а то она подаст на вас в суд за невнимание к ее слабостям.

В окно ворвались большие и яркие огни вокзала, и поезд остановился. Шумел, радовался, грустил и сентиментальничал перрон — место ничего не значащих, безнаказанных поцелуев. Голубев и Скороходов выбрались на привокзальную площадь.

— Ну, я спешу,— сказал Скороходов, подавая руку.— Где-нибудь встретимся.

Голубев долго и с признательностью тряс его руку. Потом Скороходов отошел в сторону — ловить такси.



Петр Васильевич выкурил папиросу, сел в автобус и уже через пятнадцать минут подъезжал к дому.

В голове у него плавали легкие и беззаботные мысли. «Подумаешь, изменил! Скороходов поумнее меня, а смотрит на эти вещи просто. Так было, так будет. Не я так устраивал, не мне переделывать».

В игривом расположении духа, насвистывая, Голубев вошел в свою квартиру.

В прихожей он увидел Скороходова, снимающего на его вешалке свой пиджак.

Мгновения оцепенения, в котором находился первое время Петр Васильевич, Скороходову было вполне достаточно. Он с артистической ловкостью оделся, взял свой чемодан и, пробормотав почему-то «извините», выскользнул в дверь.

*А. Санин*

## СТРАСТИ

Ты знаешь, что такое летаргический сон? Вот рассказывали. Заснул этим летаргическим сном знакомый там один. Ну, умер и все: уши холодные, пульс не работает. Лежит в гробу, все слышит, понимает, а ни закричать, ни руками замахать, и глаза ему закрыли. Палец у него на ноге один только двигался, ну и он этим пальцем шевелил, заметили. Потеха...— говорил молодой человек, пытаясь взять свою собеседницу под руку.

Его собеседница, девушка лет восемнадцати, хорошенькая, очень живая и подвижная настолько, насколько позволял быть подвижной не совсем свободный покрой ее одежды, неопределенно улыбалась и позволила наконец взять себя под руку.

Они медленно прогуливались по шумной набережной.

— Какой вечер! А ты хотела сидеть дома. Дома сейчас с тоски можно сдохнуть.

Он не обманывал: вечер был действительно хорош. Закат совсем уже созрел, налился киноварью, и освещенная им улица вся выглядела нарядно, потому что окна красивых и некрасивых домов пылали одинаковым пожаром. По улице разгуливали искатели чудных вечеров; по реке в лодках, добытых терпением или хитростью, плавали мужественные или лукавые люди. Казалось, многим было весело, потому что было слышно много смеха и громких разговоров.

Молодой человек закурил, оживился и продолжал:

— Нет, честное слово, мне стало жаль этого вечера, я бросил все и к тебе, Ниночка... Дело даже не в вечере. Дело в том, Ниночка, что я хочу сказать тебе... то есть, мне нечего тебе сказать — ты все и так знаешь... Я хотел спросить тебя... Сядем здесь, Ниночка.

Молодые люди зашли в скверик и сели на скамью. Они взглянули друг на друга, молодой человек — растерянно, Ниночка — неопределенно. Она знала уже, о чем он будет говорить, и готовила ответы на вопросы, которые он должен задавать.

— Ниночка,— начал он,— мы знакомы уже три месяца, встречаемся почти каждый день, и ты заметила, конечно, что... что я люблю тебя.

Ниночка сделала вид, что удивилась, чуть подумала и сделала вид, что обрадовалась, будто бы сразу скрыла эту радость и опустила глаза.

— Люблю,— неестественным голосом повторил молодой человек, воровато оглянулся и продолжал,— с первого вечера, с первого часа...

Он счел нужным подвинуться к ней ближе, но она сочла нужным сделать обратное.

— Прошло три месяца,— не унимался он,— и я хочу знать: любишь ли ты меня.

Ниночка, внимательно наблюдая за носком своего ботинка, которым она с самого начала водила по песку, долго сидела молча, и наконец ее губы прошептали незаменимое «не знаю».

— Как не знаешь? — вспылил молодой человек.— Ты знаешь! Скажи откровенно «нет», и я уйду.

Ниночка все это предвидела, но теперь все-таки растерялась и не знала, что делать. Он сам подал ей мысль. «Уйду»,— решила она, но вслух сказала:

— Что ты! Я... Я не знаю.

— Значит, «нет»?

Она встала и быстро пошла из скнера.

— Не ходи за мной,— сказала она кокетливо.

— Но я должен знать!

— Я скажу после.

— Когда?

— Завтра.

...Назавтра она вышла замуж за другого, которого наш молодой человек знал, но не думал, что этот другой собирается жениться.

*А. Санин*

*Публикация и текстологическая подготовка*
*О. М. Вампиловой*

*Геннадий Николаев*

## ТРЕВОГА АЛЕКСАНДРА ВАМПИЛОВА

О судьбе Александра Вампилова невозможно говорить спокойно. Погиб на самом взлете, в разгар интереснейшей работы, на пороге заслуженной славы...

Одни говорят — рок, судьба. Другие сетуют на слишком холодную воду в Байкале, виня во всем только ее одну. Третьи, то тут, то там вещающие с разных трибун о некоем «заговоре», о «механизме уничтожения российских талантов», считают, что «Вампилов... погиб, как разведчик в бою. В том поиске, сражении, в котором погибали писатель Шукшин, поэт Рубцов, художники Васильев и Попков, критик Селезнев... Вампилов погиб в самом начале 3-й мировой войны, которую мы продолжаем вести и сегодня!»

Эти, последние, театроведы и прочие «радетели» за российские таланты, пытаются использовать имя Вампилова в угоду своим черным «концепциям», чиня произвол над личностью драматурга, игнорирун реальности его жизни, его пристрастия, взгляды, идеалы.

Вампилов погиб 17 августа 1972 года, за два дня до своего 35-летия. Моторная лодка, на которой он плыл вместе с приятелем, натолкнулась на топляк и перевернулась. Оба оказались в воде. «Казанка» с полузатопленным носовым отсеком могла удержать только одного. На приятеле были болотные сапоги, на Вампилове — тяжелые туристские ботинки, теплая куртка, но он оставил лодку приятелю, поплыл к берегу. Он хорошо плавал и те пятьдесят или чуть больше метров, конечно, одолел бы, но не выдержало сердце — у самого берега.

В тридцать пять не выдержало сердце...

Увы, это закон, подмеченный давным-давно,— в первую очередь не выдерживает сердце у талантливых. А тут трагически сошлись самые разные обстоятельства.

Жестокий шторм накануне — вынес наверх нижние холодные слои.

Сыграла свою злую роль и наша вопиющая бесхозяйственность, так называемый молевой сплав леса по Байкалу. Частые штормы разбивают связки бревен. Озеро буквально кишит опасными топляками. От них страдало и страдает множество людей, не говоря уж о том вреде, который наносит озеру гниющая древесина.

Наконец, наше потребительское, а точнее — равнодушное отношение к таланту. «Простой» человек платит за равнодушие общества к себе равнодушием к обществу, талант — ранней гибелью. Почему так — понятно. Талант всегда нов, всегда не похож на все, что было до него. Таланту нужна свобода самовыражения, он должен проявить свою самобытность. Его нельзя вгонять в какие-либо рамки, давить на него, запрещать. Талант хрупок. А у нас долгие годы царили административные методы руководства искусством. И соответствующие догмы: обязательный «положительный» герой, арифметический перевес «положительных» над «отрицательными», пресловутый оптимистический финал. Чуть вышел за рамки — придирки, запреты, предание анафеме. Не всякий талант мог выстоять.

Отношение к человеку как к средству, с помощью которого можно построить завод, атомную электростанцию, дамбу, выполнить план, сочинить победный марш, лихую песню, отразить героические будни, распространялось и на писателей. Разумеется, многие с готовностью откликались на официальные заказы и находили в этом немалую радость,



но каково было тем, чье призвание — не победные марши, не лихие песни и не воспевание героических будней? Вспомним судьбу Булгакова, Цветаевой, Мандельштама, Ахматовой, Платонова, Зощенко...

В своих воспоминаниях О. Н. Ефремов пишет: «Пьесы Вампилова в 60-е годы в „Современнике" у многих не вызвали интереса. Играли Розова, Володина, мечтали уже о „Гамлете", а „завтрашнего" драматурга — просмотрели. Специально это отмечаю, потому что очень распространено мнение, что пьесам Вампилова мешали только некоторые не в меру ретивые чиновники. К сожалению, мешали и стереотипно устроенные наши собственные мозги, наше, художников театра, сознание того, что все истины уже известны».

Можно понять самокритичное и благородное признание Олега Николаевича, но вряд ли можно согласиться с ним в его как бы невольном занижении роли «некоторых не в меру ретивых чиновников». Увы, не в меру ретивые внесли свою весомую лепту в трагический исход судьбы Вампилова. Об этом свидетельствует переписка драматурга с Е. Л. Якушкиной, опубликованная на страницах «Нового мира». Об этом же свидетельствует и борьба, которая велась вокруг его пьес в Иркутске.

Помню, как в Иркутске после публикации теперь известной всему миру «Утиной охоты» против автора была развернута целая кампания. Его ругали за то, что выведен не тот герой, показана не та молодежь, взяты не те проблемы — дескать, сплошное очернительство! Произошла типичнейшая для некоторых критиков и людей, управляющих культурой, подмена: в социальной беде, которую отобразил автор, то есть в аполитичности, апатии, бездейности героя стали винить самого автора!

Но еще более драматически сложилась судьба пьесы «Прошлым летом в Чулимске». В конце 1971 года она была принята редколлегией и поставлена во второй номер альманаха «Сибирь», который издается с периодичностью один раз в два месяца. В начале апреля 1972 года верстка номера с пьесой Вампилова была передана в Обллит. 17 апреля начальник Обллита Козыдло Н. Г. направил пьесу в ОК КПСС, сопроводив ее письмом, в котором указывал на «идейную ущербность содержания» и невозможность по этой причине разрешении ее к печати. Пьесу прочитали работники отдела культуры обкома и даже секретарь по идеологии Антипин Е. Н.

Вскоре меня как редактора альманаха пригласили в обком. Когда я вошел в кабинет Антипина, за длинным столом совещаний уже сидело несколько человек: работники аппарата и директор Восточно-Сибирского книжного издательства, при котором и существовал наш альманах. Антипин высказал мнение, что пьеса не является идейно ущербной, но слаба по художественному уровню. Его единодушно поддержали. Я же настаивал на мнении редколлегии и на своем собственном, пытался убедить их, что пьеса талантлива, сделана в чеховской традиции, гуманна, оптимистична. Я считал, что опубликовать ее просто необходимо. Искренность моя, видимо, подействовала: Антипин позволил еще раз обсудить пьесу в Союзе писателей с привлечением всех членов редколлегии, в том числе и из Читы (альманах является органом двух писательских организаций: Иркутской и Читинской). Такое обсуждение состоялось 28 июня 1972 года.

Вот некоторые выдержки из стенограммы, представляющие наибольший интерес:

Козыдло Н. Г. Все действие происходит в чайной, герои пьют, ругаются. Это все как-то мрачно. Позвонил Чуркину (директор Восточно-Сибирского книжного издательства.— *Г. Н.*) — обещал подойти. Время идет — его нет. Позвонил Николаеву — нет дома. Снова, в четвертый раз, позвонил Чуркину, снова обещал подойти. А мне надо уезжать на коллегию в Москву. Поэтому мною лично верстка пьесы была отправлена в обком партии, в соответствии с установленным порядком. Но, повторяю, упреков в антисоветчине или аполитичности автору пьесы я не делал...

Марк Сергеев (член редколлегии, ответственный секретарь Иркутской писательской организации). Думаю, что причина задержки пьесы заключается не в самой пьесе, а во внешних факторах. Я имею в виду ту официальную реакцию на публикацию сатирической комедии В. Ф. Тендрякова «Молилась ли ты на ночь, Дездемона?» в шестом номере альманаха «Сибирь» за 1971 год. Этот номер вышел в свет с запозданием по независящим от редколлегии причинам, выход его совпал с решением ЦК КПСС по лесной промышленности. Случайное совпадение, а вовсе не целевая публикация, как было замечено с упреком из Москвы. Отсюда и настороженность к пьесе Вампилова... Вампилов по складу своего дарования комедиограф, ему всегда будет трудно... Я думаю, что пьеса достойна публикации.

Валентин Распутин (член редколлегии). Когда речь идет о военных и государственных тайнах, тут все ясно. Но когда речь идет о произведениях искусства, расплывчатость мотивировок недопустима. Еще важнее не допускать навешивания ярлыков. А что получается: вы, начальник Обллита, задерживаете произведение, посылаете его в обком, там, естественно, возникает сомнение: раз цензура заподозрила что-то неладное, значит, действительно что-то не так. И начинают смотреть не по-нормальному, а по-всякому: и кверх ногами, и снизу вверх, и вдоль. И появляется на авторе ярлык: это не простой автор, а автор, чьи произведения снимает цензура. Значит, это не совсем хороший

человек, с ним надо поосторожней. Чем может кончиться такая практика, мы все прекрасно знаем... Жизнь широка, многообразна, почему хотят заставить нас писать одну ее сторону — розовую? Если товарищи, которые делают такие замечания по пьесе Вампилова, называя ее ущербной, обладают правами запрещения, то пусть они сами тогда выпускают альманах — уж они-то не ошибутся. Я считаю, что пьесу... надо печатать... Если и дальше будет повторяться такая практика, то я не считаю возможным участвовать в редколлегии.

Дмитрий Сергеев (член редколлегии). Пьеса кажется мне добротной, светлой, с верной авторской позицией. Нельзя читать произведение с заведомой настороженностью и недоброжелательностью...

Вячеслав Шугаев (член бюро писательской организации). О пьесе: на мой взгляд, в ней есть излишняя графичность, излишняя настойчивость в повторении эпизодов с калиткой. Она кажется мне *художественно-сырой*, над ней еще надо работать. Но о политической или идейной ущербности не может быть и речи...

Несмотря на решение редколлегии опубликовать пьесу в шестом номере 1972 года (в более ранние номера она уже не попадала по чисто техническим причинам, так как каждый номер сдавался в типографию почти за четыре месяца), начальник Обллита категорически отказался давать разрешение, называя пьесу «художественно-сырой» и ссылаясь на оценку, данную секретарем обкома Е. Антипиным и писателем В. Шугаевым. Тогда я подал заявление об освобождении меня от обязанностей редактора.

В начале июля 1972 года мы снова пошли в обком. Марка Сергеева и меня принял секретарь обкома Антипин Е. Н. Разговор пошел о только что прошедшей расширенной редколлегии, о принятом на ней решении печатать пьесу и упорном нежелании начальника Обллита пропустить ее в печать. М. Сергеев показал секретарю обкома мое заявление — Евстафий Никитич прочел, усмехнулся, сказал, что мы, дескать, оказываем на него давление. Но на прощанье пообещал содействие.

Однако вплоть до августовских трагических дней разрешение на публикацию пьесы не выдавалось. Вскоре после похорон Вампилова мы с М. Сергеевым снова пошли к Антипину. Выразив нам свое сочувствие как товарищам и коллегам Александра Вампилова, Евстафий Никитич сообщил, что договоренность о разрешении пьесы достигнута (после смерти автора!).

Шестой номер альманаха стал мемориальным — кроме пьесы Вампилова «Прошлым летом в Чулимске» в нем были напечатаны его фотография, стихи, посвященные его памяти, статья о его творчестве.

Вампилов, конечно же, знал об этой борьбе, следил за ней, волновался. Снятие пьесы сильно огорчило его. Да это и понятно: в родном Иркутске, где хотя и ругали, но все-таки печатали, вдруг получить удар в спину, коварный удар...

За месяц до его гибели мы втроем — Вампилов, Г. Пакулов и я — на той самой злополучной лодке плавали по Байкалу. С 12 по 22 июля, десять дней и ночей, вдоль западного побережья, от Листвянки до острова Ольхон и обратно. 700 километров по воде! Несколько раз натыкались на топляки, но чудом удерживались на плаву. Я видел, до какой степени работа и неприятности с пьесой измотали Вампилова. Он старался не подавать виду, но колоссальное внутреннее напряжение проявлялось в его каком-то нервном стремлении мчаться все вперед и вперед, не обращая внимания на погоду — шторм ли, дождь ли,— и на время суток — день ли, ночь ли. Этой лихорадочной гонкой он, казалось, пытался снять напряжение, сбить усталость, развеять все то тягостное, что носил в себе последнее время. Что-то гнетущее чудилось в его торопливости, в сосредоточенности на какой-то мысли. Он плохо спал, был вспыльчив, хотя прежде отличался завидной выдержкой.

Поездку эту я описал в своих воспоминаниях («Звезда», 1980, № 6), но сегодня хочется напомнить конструкторам умозрительных и отнюдь не безобидных «механизмов уничтожения российских талантов» один эпизод из этой поездки.

«В ту ночь мы говорили о звездах, вернее, говорили обо всем на свете, но разговор наш освещался звездами, и мы невольно то и дело возвращались к ним как к исходной первооснове всего бытия. Он снова вспомнил про коллапс. Я стал рассказывать ... все, что сам знал из популярной литературы. Вампилов эти вещи глубоко чувствовал, ибо сказал примерно следующее: есть медицинский коллапс, есть астрономический, но, видимо, есть и коллапс человеческой души — это когда вдруг, вроде бы ни с того ни с сего, человек превращается в подонка, в зверя. Мы заговорили о Раскольникове как литературном примере духовного коллапса. Вспомнили и Карамазовых. Потом дошла очередь и до Зилова. Вампилов признал, что с точки зрения «гипотезы» коллапса он не довел своего Зилова до кризиса, а лишь проследил подход Зилова к нему... Нам было очевидно, что коллапс единичной души тоже очень страшен — тем, что может вызвать цепную реакцию, как это случилось, скажем, в Германии в годы фашизма... Мысль его упорно пробивалась к этой главной болевой точке современности...»

Болевой точке 70-х и тем более — 90-х!

Главная тревога Вампилова в главной его пьесе «Утиная охота» заключена, на мой взгляд, в том, что Зилов как типичное явление времени пуст, живет без Идеи, без высокого смысла, как насекомое. Рядом с «пустым» Зиловым Вампилов прозорливо разглядел зловещую фигуру официанта с его механической готовностью быть палачом. Этой весьма символичной паре 70-х годов не хватало идеолога. Душа Зилова образца 90-х так же пуста и открыта для заполнения, как и душа Зилова образца 70-х. Но сегодня объявились «идеологи» — не идеями ли «спасения» России от «жидо-масонских заговорщиков» уже наполнена душа Зилова 90-х? Официант Дима и «наполненный» Зилов — подходящие кадры для экстремистов «Памяти»...

Критики, занимающиеся творчеством Вампилова, как мне кажется, не учитывают или не хотят учитывать главного — того, что Вампилов был человеком высокого общественного Идеала.

Вглядываясь в прошлое, отчетливо понимаю наше состояние тех лет. Да, конечно, после XX и XXII съездов партии мы были в смятении от приоткрывшихся масштабов сталинского, партийного произвола. Расхождение между Идеалом и действительностью переживалось каждым по-разному, но каждый в той или иной форме пытался говорить об этой своей тревоге. Вампилов нашел Зилова — человека, утратившего общественный Идеал и давшего цинизму почти полностью завладеть душой. Вампилов потому-то и заметил, изобразил с такой тревожной силой «пустого» Зилова, забил тревогу, что сам носил этот Идеал в своем сердце. Сохранил!

Да, сохранил, потому что судьба досталась ему трудная изначально, вместе с эпохой. 1937 год — год его рождения — стал годом утраты отца в период репрессий. Потом — война: проверяла осиротевшую многодетную семью Вампиловых на нравственную и физическую стойкость. Анастасия Прокопьевна Копылова-Вампилова вырастила и воспитала троих добрых умных детей: Галину (она — педагог), Михаила (он — геолог) и Александра. И это в Сибири, в тех самых местах, где отбывали бессрочную сибирскую ссылку декабристы, а вслед за ними — следующие поколения мятежников. Сибирь напитала его духом Правды, Протеста, Сопротивления, призвала в Литературу, сделала Гражданином.

Сын бурята и русской, интеллигент в третьем поколении (из учительского куста), он был противником любого национализма. Он был интернационалистом — и по рождению, и по воспитанию, и по убеждениям. Его интернационализм проявлялся и в отношениях с людьми, и в выборе друзей, и в творчестве. И как бы ни пытались некоторые театроведы, публично проповедующие «3-ю мировую войну» (какую? националистическую?) у нас в стране, выстраивать ушедших из жизни российских художников в мрачные колонны под свои сомнительные знамена, ничего у них не получается — ни Вампилов, ни Рубцов, ни Шукшин никак не объединяются в «разведроту», у каждого своя судьба, своя дорога и своя смерть. Их действительно объединяет, но уже отъединенное от них самих, служение людям во второй их жизни — через искусство, которым они одарили мир. Объединяет как художников-гуманистов, вошедших в национальную и общечеловеческую культуру каждый со своей болью, со своей страстью, со своим талантом. И со своей тревогой.

## *Евгений Голлербах*

# APPASSIONATO

### *Ленин как читатель Гумилева*

«APPASSIONATO *(итал.)* — в музыке значит страстно, живо».

Новый энциклопедический словарь
Брокгауза и Ефрона, 1912 год

Из множества легенд, окружающих и, возможно, создающих для нас образ Николая Гумилева, особенно интересна такая. Августовской ночью двадцать первого года нарком Луначарский, извещенный о вынесенном поэту смертном приговоре, позвонил Ленину — с просьбой о помиловании. Ответом ему было молчание вождя. После продолжительной паузы вершитель судеб произнес: «Мы не можем целовать руку, поднятую против нас»,— и повесил трубку [1].

Эта легенда, как и множество ей подобных, подозрительно красива,— но отличается от прочих тем, что она еще и правдоподобна, ибо исходит из авторитетного источника. Когда размышляешь над этим свидетельством, возникает несколько вопросов — и есть среди них такой: чем объяснить замешательство вождя?

Вопрос не праздный: особое значение темы «поэт и царь» в русской культурной традиции заставляет нас задавать его и настойчиво искать на него ответ. Попробуем же реконструировать старый механизм и внимательно разобраться в мотивах, определявших поступки людей, чьи дела и судьбы небезразличны нам сегодня.

## 1

Это были разные люди.

Истово верующий христианин Гумилев — и воинствующий безбожник Ульянов [2]. Хилый ребенок, бредивший наяву и «словом останавливавший дождь»,— и крепыш-волгарь, оптимист и конкретист, подлинное воплощение жизненной сметки. Тихий двоечник Гумилев — и круглый отличник Ульянов. Убежденный монархист-консерватор — и страстный социал-реформатор. Мрачный поэт — и смешливый Ильич. Патриот, ради защиты Отечества сумевший превозмочь даже свое природное косоглазие,— и отнюдь не идеологический диверсант, заброшенный на родные просторы враждебной державой. Равнодушный к мелосу Гумилев — и музыкальный Ленин, содрогавшийся от звуков «Аппассионаты». Утонченный модернист, литератор-европеист Гумилев — и Ленин, горячий поклонник Серафимовича, Бедного, Чернышевского. Абсолютно разные человеческие индивидуальности — кажется, в них различно все: характеры, взгляды, способности, предпочтения...

И в этих различиях не было бы ровным счетом ничего замечательного — мало ли на свете разных людей,— если бы первый не был крупнейшим поэтом России, а второй — ее диктатором.

Поэт и царь. В нашем случае им было б лучше не встречаться.

---

Евгений Александрович Голлербах (род. в 1963 г.) — филолог. Печатался в «Искусстве Ленинграда», «Русской литературе», «Звезде». Живет в Ленинграде.



Они и не встретились. В фундаментальной многотомной «Биографической хронике» Ленина имя Гумилева не названо ни разу. Нет сведений о личном знакомстве вождя с поэтом ни в одном из известных воспоминаний современников. Даже в опубликованных трудах Ленина — по свидетельству Крупской, точнейшем отражении жизненных и литературных впечатлений Ильича.— нет ни одного упоминания о Гумилеве. Тогда, может быть, странное молчание Ленина в ночном разговоре с Луначарским этим и объясняется — он просто не знал названного ему имени?

## 2

В кремлевской библиотеке Ленина — обширном книжном собрании, включающем 8450 единиц хранения,— собрании, по которому можно с большой точностью реконструировать круг чтения вождя в последние годы его жизни,— есть несколько работ Гумилева. И можно считать, что это именно тот максимум текстов, по которым Ленин имел возможность получить свое собственное представление о личности и даровании Гумилева. Что же это за тексты?

Во-первых, гржебинский, двадцать первого года, том «Избранных сочинений» А. К. Толстого — книга, вышедшая под редакцией, со вступительной статьей и примечаниями Гумилева [3]. Ленин ценил Толстого, неоднократно перечитывал его и поэтому постоянно держал книжку под рукой — в кабинете, среди любимых книг.

Если даже предположить, что Ленин, читая Толстого, обратил внимание на фамилию редактора,— это, конечно, не повод говорить о знакомстве Ленина с творчеством поэта, потому что тексты Гумилева в данном издании имеют сугубо справочный характер: «Вступление» представляет собой во всех отношениях нейтральную краткую справку о жизни писателя, а комментарии — минимальный набор необходимых для малосведущего в исторических вопросах читателя сведений. По этой работе Гумилева невозможно составить впечатление о его творческих и идеологических принципах.

Значительно больше дает читателю знакомство с двумя другими книгами, имеющими непосредственное отношение к имени Гумилева,— «Избранные стихи» Теофиля Готье, с блистательной и принципиально важной статьей Гумилева [4], и, особенно, гумилевские «Письма о русской поэзии», также включившие в себя названную статью о Готье [5]. Но обе эти публикации — посмертные, вышедшие в свет в 1923 году, то есть много времени спустя после кровавой развязки, и, естественно, Ленин к 1921 году не мог читать упомянутые тексты, кроме как по их первоначальным публикациям в модернистской периодике, за которой он никогда не следил.

Есть основания полагать, что две последние книги не были прочитаны и в 1923 году. Весной, и особенно в декабре 1922 года, состояние здоровья лидера сильно ухудшилось, и весь оставшийся год его жизни являл собой затянувшуюся агонию.

Правда, согласно утверждению официальных биографов Ленина, он все равно продолжал следить за новинками текущей литературы. Известно, однако, что в этот период ленинская «способность к чтению 〈...〉 была минимальна» [6]. Едва ли больной использовал ее на знакомство с Гумилевым.

Обе посмертные книги писателя, согласно сведениям Книжной палаты, вышли в свет почти одновременно — в конце января и начале февраля 1923 года. Это время приходится как раз на период относительного улучшения состояния больного, что несколько повышает вероятность запоздалого знакомства Ильича с творчеством расстрелянного писателя. Но не намного.

Во-первых, по утверждению авторитетных специалистов, углубленно занимавшихся изучением ленинского чтения, «Ленин-читатель — почти всегда с карандашом в руках» [7]. Эту привычку и (частичную) способность он сохранял также и в последний период жизни. Потому его пометки обнаруживаются на всем, к чему он как читатель имел какое-либо отношение. Но несмотря на продолжительное и интенсивное изучение исследователями вопроса о ленинских маргиналиях, никаких пометок на двух гумилевских книгах не обнаружено.

Во-вторых, как свидетельствует «Биографическая хроника», круг литературных предпочтений Ленина и в последний период его сознательной жизни существенно не изменился: литературная критика вообще, а литературная критика писателей-модернистов в особенности, в этот круг никогда не входила [8].

И в-третьих, в краткий период относительного улучшения своего состояния Ленин был занят значительно более важными для него вещами: с помощью стенографистки он реорганизовывал Рабкрин, и эта работа требовала от больного большой сосредоточенности именно на проблеме Рабкрина, и ни на чем другом,— Гумилев же на эту тему не успел, как известно, написать ничего.

Таким образом, малопоказательная работа Гумилева об А. К. Толстом осталась, по-видимому, единственным его текстом, известным вождю вообще и к августу 1921 года в частности, когда ему предстояло решить судьбу поэта.

## 3

Не обязательно, однако, читать книги писателя для того, чтобы иметь общее представление о его творчестве, ибо существуют литературные репутации — так сказать, народные образы писателей,— которые нередко заменяют читателям знакомство с текстами определенных авторов.

Но сколь многообразно общество, столь же многообразны могут быть в различных его стратах литературные репутации. И если для просвещенной публики обеих столиц Гумилев являлся фигурой первой величины (это позволило, например, Г. Иванову говорить о Гумилеве как об «одной из центральных и определеннейших фигур современной русской поэзии», о «прочном авторитете» его имени «у широкого круга читателей» [9]), то коммунистическая верхушка пролетарского государства вполне могла придерживаться иного мнения.

Каким же оно должно было быть у Ленина?

Первым и, не исключено, основным источником его представлений о Гумилеве была литература по теме, а именно — те печатные критические отзывы о творчестве поэта, которые были известны и наиболее доступны Ленину.

К числу таких относится книга «Новейшая русская литература» В. Львова-Рогачевского (М., 1919), хранящаяся в кремлевской библиотеке вождя [10]. Львов-Рогачевский, хотя нередко и отклонялся в своем творчестве от генеральной линии партии большевиков, являлся все же, по-видимому, тем автором, которому Ленин был склонен доверять в вопросах литературы как старому социал-демократу и литератору-марксисту одного с ним призыва.

В названной книге высказывается сдержанно-отрицательная оценка творчества всех «маков и орхидей новой поэзии», заботливо выращиваемых господами Рябушинским и Поляковым — в том числе и Гумилева [11]. Характеризуя акмеистическое направление, Львов-Рогачевский определяет его в целом как явление малозначительное, но обладающее при этом многими отрицательными чертами: анемичностью, натуралистичностью, заметной непоследовательностью, неактуальностью, отстраненностью от важных проблем текущего дня, безыдейностью и т. п. «Новый Адам пришел в этот мир в XX столетии, когда вокруг кипит борьба, когда поднимаются новые волны праведного гнева, пришел,— и... нечего ему сказать»,— уличает критик приверженцев новой школы. Родовые грехи направления, считает Львов-Рогачевский, отразились и в стихах Гумилева («холодны и мертвы „Жемчуга" Н. Гумилева, неприветливо его „Чужое небо"» [12]). Резюмируя свою критику акмеизма, Львов-Рогачевский заключает: «Наследники символистов оказались позади своих отцов и не сумели учесть их поучительный опыт» [13].

При этом автор весьма сдержанно оценивает роль Гумилева в анализируемом поэтическом направлении: значительно более крупной фигурой ему представляется С. Городецкий, на цитатах из которого и строится старым демократом весь очерк о группе акмеистов.

Таким образом, читатель, полагающийся на экспертные оценки Львова-Рогачевского, должен был бы определить для себя Гумилева как второстепенного поэта второстепенной поэтической группировки — малочисленной, для литературы незначительной и очень кратковременной (по Рогачевскому, «быстро промелькнувшей группки» [14]).

Столь незначительное имя могло и не запечатлеться в памяти Ленина. Поэтому вероятно, что, желая навести справки о Гумилеве в 1921 году, он мог прибегнуть к справочной литературе, находившейся в его распоряжении. К таким изданиям Ленин всегда испытывал большое уважение и интерес. В. Бонч-Бруевич зафиксировал эту ленинскую привязанность («интерес Владимира Ильича ко всякого рода словарно-справочной литературе вообще был очень силен» [15]) и поделился конкретным воспоминанием, подтверждающим это: «В конце июня 1920 г. в кабинет председателя Совнаркома был доставлен „Новый энциклопедический словарь" Брокгауза и Ефрона, который Владимир Ильич нередко рассматривал, прочитывал и подробно знакомился со статьями, всегда выражая надежду, что наступит время, когда нам удастся выпустить такую же прекрасную энциклопедию, но написанную с марксистской точки зрения» [16]. Названное мемуаристом издание постоянно находилось в ленинском кабинете и служило вождю основным справочным пособием по разным вопросам, лежащим за пределами его компетенции.

В «Новом энциклопедическом словаре», как и в «Энциклопедическом словаре Русского библиографического института Гранат» (также имевшемся у Ленина) нет специальной статьи, посвященной Гумилеву (и это могло подтвердить для Ленина вывод о незначительности поэта, сделанный Львовым-Рогачевским). Но есть в этих изданиях другие статьи, посвященные современной литературе и написанные хотя и не с марксистских еще, но со специфических традиционалистских позиций,— такие, как, например, «Декадентство» [17]. Чтение этих статей никак не помогло бы Ленину понять гумилевские принципы, а, наоборот, должно было еще раз убедить его в правильности собственных.

В любимом словаре Ленина нет и статьи об акмеизме, но есть другая, на которую, без сомнения, мог обратить внимание Ильич, рыщущий по книжным страницам в поисках



сведений об арестованном литераторе: «*Акме* — период расцвета организма или группы животных; период наивысшего развития болезни и т. п.» [18].

Прочитав такое, Ильич должен был захлопнуть том и прекратить поиски.

## 4

Впрочем, оставалась у Ленина еще одна возможность осведомиться о Гумилеве: расспросить товарищей, проконсультироваться с теми из ближайшего окружения, кто пользовался доверием.

Что они ему ответили бы?

Известно, что революционеры из ленинской когорты, в большинстве своем, не были читателями и ценителями современной лирики [19]. Железный Юзик, Серго, Коба жили простой и суровой жизнью, оставлявшей слишком мало возможностей для изучения изящной словесности, и муза Эрато редко навещала их тесный кружок,— а когда она являлась им, они развлекали ее «Варшавянкой» и только, может быть, кто-то, из отчаянных, декламировал ей «Интернационал» А. Я. Коца.

Было, однако, в их компании несколько знатоков литературной современности. Прежде всего — интеллигентнейший нарком Луначарский, но к его мнению, как мы уже знаем, Ленин не стал прислушиваться. Из оставшихся вероятных советников вождя вспомним Троцкого и Бухарина, которые лучше других ориентировались в ситуации и, конечно, имели что сказать о Гумилеве.

Об отношении этих двух «литературных референтов» Ленина к Гумилеву мы можем судить по их выступлениям в печати на интересующую нас тему. Точка зрения Троцкого на «вне-октябрьскую литературу» и, в частности, на творчество авторов гумилевского круга (хотя и без упоминания имени метра) обстоятельно выражена в одной из его наиболее значительных статей этого периода, специально посвященных «литературному вопросу»,— «Вне-октябрьская литература» [20]. Подробно обозревая современную ему русскую литературную панораму, Троцкий делает выводы, совпадающие с мнением Львова-Рогачевского: на его взгляд, вся несоветская литература «сплошь эпигонственна, поражена бледной немочью». Художников из гумилевского «Цеха поэтов» он характеризует следующим образом: «⟨...⟩ они не творцы жизни, не участники в созидании ее чувств и настроений, а запоздалые пенкосниматели, эпигоны чужою кровью созданных культур. Они — образованные и даже изысканные имитаторы, начитанные, даже одаренные звукоподражатели — и не более того» [21]. Говоря о крови, Троцкий, однако, имеет в виду не расстрелянного за год до появления цитируемой публикации Гумилева. Покойный поэт в представлении наркома — типичный представитель презираемой им «вне-октябрьской литературы».

В другой своей статье этого времени, посвященной критике творчества А. Блока, Троцкий упоминает Гумилева — и лишь для того, чтобы сообщить: Блок «откровенно зевал над Гумилевым», а те из читателей, которые не могли понять такого отношения одного кумира к другому,— «благоговейные тупицы» [22]. Красноречивый фрагмент.

Совершенно ясно, что человек, столь сурово оценивающий родную словесность и откровенно выражающий при этом свои симпатии к «гвоздевому сапогу», давящему ее, не стал бы в приватном разговоре с единомышленником заступаться за арестованного и обвиненного в контрреволюции писателя.

Более либерален в оценке творчества Гумилева Бухарин: несколько лет спустя, выступая на первом съезде Союза советских писателей, он пространно цитировал строки из «Огненного столпа» [23] — что, безусловно, можно расценивать не только как демонстрацию его знакомства с текстами поэта, но и как изъявление определенной симпатии к ним. Однако стихи Гумилева Бухарин цитировал со значением — как талантливый образец идеологически чуждой советской литературе «буржуазной поэтики». И, таким образом, показал себя в этом вопросе верным ленинцем — догматиком, воспринимающим литературу через призму коммунистической идеологии.

Как бы то ни было, о бухаринском заступничестве в 1921 году за арестованного Гумилева история умалчивает, и даже если оно было — конечный итог сюжета нам известен: Ленин лично отдал приказ об убийстве писателя. Судьбы поэта и царя пересеклись, и царь уничтожил поэта.

## 5

Итак: Ленин не знал Гумилева. Ленин не ценил Гумилева. И Ленин уничтожил Гумилева. Уничтожил, как бдительный садовник уничтожает вредный злак в своем саду. Ленин уничтожил многих, и Гумилев был лишь одной из его жертв. Едва ли чем-то особенной: не знал Ленин, на что он поднимал руку.

Вопреки распространенному в советском лениноведении мнению, вождь не так уж «внимательно следил за развитием молодой советской литературы» [24] — не было ни вре-

мени, ни интереса, ни квалификации, ни способности. Ленин был человеком с весьма ограниченным кругозором и очень плохо разбирался в изящных искусствах. Не любил сумбура — не талант, не художественность, не точность и не своеобразие привлекали его в литературном произведении, а узко понимаемая «польза» и простота. Лучшим выражением пользы и простоты в советской поэзии, а потому любимым и просто *лучшим* для Ленина было творчество куплетиста Демьяна Бедного, и совершенно не переносил он «тарарабумбию» и «сверх-естественную чепуху» более серьезных авторов [25]. Из-за этого слишком многое в современной ему литературе он пропустил, многого не увидел.

И, быть может, главное, чего он не увидел,— поэзии Николая Гумилева, уникального и плодотворнейшего явления новейшей русской — теперь уже советской — литературы. Не сорняк был это, а росток нового дерева. И дерево это все равно выросло, когда не стало Ильича.

Весьма вероятно, что когда Гумилев начинал свой путь в литературе, конквистадоры для него были лишь разновидностью «канандера», загадочным символом иной жизни — и ничем больше. Естественная для подростка тоска о неземном, реализованная незаурядным талантом в стихотворные строки, проявилась в героике, экзотизме и несколько архаичной эмблематике первого сборника Гумилева. Но скрипичная мелодия мальчика поразительным образом совпала с грозной музыкой надвигающейся эпохи, и жизненный контекст актуализировал детские романтические мечты о заморском «канандере» [26]. Основными мотивами поэзии Гумилева стали мрачная героика, мощный пафос преобразующего освоения и покорения мира, презрение к простым человеческим переживаниям и чувствам — всему тому, что он сам определял как «неврастению»,— и отвергание их, а взамен — воспевание воинской доблести как высшего смысла человечьего бытия, насилия как красоты.

Не биологического человека, презираемого за «банальность» и «незначительность» его переживаний, повседневных мыслей и проблем, выбрал своим героем Гумилев, а обласканного и многократно запечатленного уже к тому времени во множестве книг Человека, матерого Человечища,— мифологическое существо, имеющее мало общего с кем бы то ни было из земных существ. Этот Человек покоряет мир, и природа, словно отвергнутая царица, в бессилии бьется у ног сурового победителя.

Не в созерцании и эмоциональном освоении мелочей повседневного бытия, а в порабощении и преодолении всего сущего заключен основной пафос гумилевского творчества. Не мир, но меч несет поэт, не покой, а бой радует его.

«Избранник свободы», Гумилев сам оказался не свободным от множества вещей — и в том числе от банального «ницшеанства», от всего комплекса связанных с ним идей, бывшего в начале века составляющей частью русского массового сознания (что, например, наглядно иллюстрирует творчество волжского босяка Максима Горького). Идеи сверхчеловека, сильной личности, преобразующей мир в соответствии с собственными представлениями о нем, находят адекватное выражение и в поэзии Гумилева. Неудивительно, что в сознании читателя-современника поэт запечатлелся как поэт-воин, пассионарий, высокомерно отвергающий сумятицу простого бытия.

Конечно, у Гумилева есть не только это. Но это — основное.

Ментальность, запечатленная в стихах Гумилева, очень сходна с революционным миросознанием — и это тот вывод, который парадоксальным образом подтверждает один из немногих литературоведческих постулатов Ленина. Художник, как бы он ни относился к современности, всегда отражает в своем творчестве состояние окружающего мира. Настоящий поэт, Гумилев сумел уловить главный смысл происходивших мировых изменений, опасное (но тем и притягательное для него) ужесточение ритмов наступавшей жизни, сумел сформулировать новые приоритеты человеческого сообщества и национальные приоритеты — и выразить все это в замечательной художественной форме.

Гумилев первым примерил солдатскую шинель, в которую потом облачилась вся наша литература, и сделал он это — не забудем — по собственной воле.

Стоит усомниться в позднем свидетельстве Ахматовой о «ненависти» Гумилева к своим блистательным «Капитанам» [27] — стихи эти, по праву считающиеся одной из вершин гумилевской поэзии, полноценно выражают основные мотивы всего остального творчества поэта и являются подлинной квинтэссенцией его индивидуальности. Капитаны и конквистадоры — настоящие герои Гумилева, и таковыми они навсегда остались для самого автора, для его читателей и последователей.

Быть может, сам Гумилев ужаснулся бы, узнав, кто́ стал его последователем и что́ стали провозглашать после его расстрела его ученики,— и тем не менее, неопровержимым фактом является то, что наиболее мощное развитие его линия получила именно в условиях советской диктатуры, а самыми пламенными адептами гумилевского творчества (при отказе от некоторых его идеологических ингредиентов) оказались комсомольские поэты [28]. Молодость училась у Гумилева, и в ее новой поэзии очень скоро уже было невозможно разобрать, где кончается военный марш и начинается «Марш энтузиастов».

Название марша не имеет значения для тех, кто марширует.



## 6

Комиссарам полюбился Гумилев. И все же утверждение, что поэт является своеобразным выразителем коммунистического миросознания, не вполне правомерно (хотя резоны для этого, как уже сказано выше, достаточно веские). В этом убеждает изучение такой мало известной проблемы, как «Гумилев и фашизм».

В СССР официальный взгляд на Гумилева как на фашистского писателя вполне определился уже к концу двадцатых годов [29] и был окончательно сформулирован Карлом Радеком в 1934 году: «Могут быть очень талантливые писатели, которые выразят в образах мечту фашистского головорез 〈...〉, и это, может быть, будет большим художественным произведением. Мы имели такого писателя в России — Гумилева» [30].

Это можно было бы принять за обычную пропагандистскую спекуляцию, если бы уже в это время имя Гумилева не стало использоваться нацистскими пропагандистами.

В немалой степени эта активность объясняется трагической смертью Гумилева от рук коммунистов. Но не только. «Как привлекательна фигура Гумилева! — восклицал один из авторов.— Как он мужествен и мудр! Среди почти повального демократически-социалистического безумия, господствовавшего в предреволюционном русском обществе, окруженный пустыми мечтателями, фанатиками лжи, болтунами, неврастениками, Гумилев смело ищет красоту жизни, восхищается грозным величием природы, размышляет о Боге, открыто показывает любовь к своему государю и к своей родине. Как верный паладин, он защищает русскую культуру от нападений со всех сторон, от злобных ударов писаревско-горьковского революционно-хулиганствующего нигилизма 〈...〉. Талантливый поэт был прежде всего неустрашимым бойцом. Формально — председатель Петроградского союза поэтов, он вел в действительности крупную подпольную антибольшевистскую работу» [31].

В этой характеристике, кажется, все верно, и все сполна подтверждается гумилевскими текстами. Поэтический образ Гумилева, старательно созданный самим поэтом, очень удачно вписался в мифологему гитлеровской пропаганды, и не просто вписался, но и, похоже, действительно соответствовал ей.

Другой автор писал: «Сейчас, когда все подлинно русские люди по ту и по эту сторону фронта с нетерпением ждут окончательной гибели ненавистного большевизма, когда подходит время решительной борьбы за Новую Россию, стихи Николая Гумилева звучат для нас с новой силой. Нам дорога мужественная поступь его зрелого стиха, смелое разрешение лирического сюжета и, прежде всего, его постоянный страстный призыв к дерзновенному героизму 〈...〉. Не хочется верить, что есть еще маленькие и ничтожные душонки, предпочитающие отсиживаться где-то в стороне от великих наших дней:

Неужель хоть одна есть крыса
В грязной кухне иль червь в норе,
Хоть один беззубый и лысый
И помешанный на добре,
Что не слышит песен Улисса,
Призывающего к игре?

〈...〉 Сегодня нам гораздо ближе и понятнее его простые, зрелые строки о любимой родине, о России. В „Колчане“ Николая Гумилева мы находим стрелы, которые разят врага не хуже самолетов и танков» [32].

Да, в этих и других подобных газетных текстах стихи Гумилева не просто «кстати цитируются» — они идеологически соответствуют им. Как ни прискорбно, гумилевские цитаты в коричневой периодике ничуть не менее естественны, чем в красной печати предшествовавших лет.

«Трудно связать с именем Гумилева идейные искания»,— заметил один из современников поэта [33]. Это верно, но верно и то, что поэзия Гумилева *идеологична*: мировоззрение поэта запечатлено в его творчестве как статичный комплекс идей, имеющих несомненное пропагандистское значение. Гумилев редко *ищет*, гораздо чаще *излагает* сумму хорошо усвоенных правил поведения, излагает просто и решительно, в явном расчете на читателя, который сам не знает, что делать [34].

Идеологичность, телеологичность, дидактичность, национализм, героичность, патетика и подкупающая простота философии и языка — характерные черты поэзии Гумилева, и эти черты долгое время импонировали читателям по обе стороны всех фронтов. Стрелы из «Колчана» летели в обе стороны.

И по обе стороны лилась кровь.

Лишь один вывод можно сделать из сказанного. Не коммунизм и не фашизм проповедовал Гумилев. Это был первый поэт тоталитарной эпохи, а потому по праву может быть назван отцом русского тот-арта — главного искусства советского времени.

Ленин убил Гумилева, не узнав в нем лучшего певца грядущего века. Царь был злодеем. Но он был народным царем. А поэт был народным поэтом.

[1] См.: Петрановский Виталий, Зобнин Юрий. «Поэт и вождь». «Смена», Л., 1990, 24 августа, с. 4 (приводится свидетельство А. Э. Колбановского – секретаря А. В. Луначарского).

[2] Здесь и далее подтверждающие ссылки на мемуарные источники не приводятся ввиду общеизвестности последних.

[3] См.: «Библиотека В. И. Ленина в Кремле». Каталог. М., 1961, с. 504. № 6223.

[4] Там же, с. 513. № 6398.

[5] Там же, с. 482. № 5819.

[6] Петренко Н. «Ленин в Горках — болезнь и смерть» (Источниковедческие заметки). «Минувшее». Исторический альманах. Вып. 2, Paris, 1986, с. 163.

[7] Зильберштейн И. «Зарубежная библиотека Ленина». «За рубежом», 1933, 25 января, № 3, с. 6.

[8] Исчерпывающая характеристика традиционных читательских интересов Ленина содержится в целом ряде публикаций по теме, например: Шаранов Ю. П. «Ленин как читатель». Изд. 3-е, доп. М., 1990, с. 9—50; Абрамов К. И. «Ленин как читатель библиотек». М., 1977, с. 3—4.

[9] Иванов Георгий. [Вступит. статья]. Гумилев Н. С. «Письма о русской поэзии». Пг., 1923, с. 6—7.

[10] Обложечное заглавие: Львов-Рогачевский В. «Очерки по истории новейшей русской литературы»: (1881—1919 гг.). М., 1920. См.: «Библиотека В. И. Ленина в Кремле», с. 486. № 5879.

[11] Львов-Рогачевский В. Указ. соч., с. 124.

[12] Там же, с. 139.

[13] Там же, с. 140.

[14] Там же, с. 140.

[15] Бонч-Бруевич Влад. «Пометки Ленина на „Книжной летописи" 1917, 1918 и 1919 гг.». «Литературное наследство». Кн. 7/8. М., 1933, с. 406.

[16] Там же, с. 404.

[17] Коган П. «Декадентство». «Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат», т. 18. М., 1913, стлб. 154—158.

[18] Новый энциклопедический словарь. Под общей редакцией К. К. Арсеньева, т. 1, СПб., 1912, стлб. 713.

[19] Ср. со следующим свидетельством информированного современника: «⟨...⟩ большинство ленинского окружения, не отличавшееся интеллектуальными качествами, придерживалось ленинского мнения о необходимости *упрощения* форм искусства и требовало, чтобы все виды искусства стали доступны пониманию „широких народных масс". Восставая против формальных исквтельств, марксисты-ленинцы сводили искусство к вульгарному реализму „верного отображения светлой советской действительностй"» (Анненков Ю. «Мейерхольд». «Новый журнал», кв. 72, Нью-Йорк, 1963, с. 152—153).

[20] Троцкий Л. «Вне-октябрьская литература». «Петроградская правда», 1922, 19 сентября, № 210, с. 2—3; 21 сентября, № 212, с. 2—3.

[21] Там же, 21 сентября, № 212, с. 3.

[22] Цит. по: Троцкий Л. «Литература и революция», М., 1923, с. 84.

[23] См.: Бухарин Н. И. «О поэзии, поэтике и задачах поэтического творчества в СССР». «Первый Всесоюзный съезд советских писателей». Стенографический отчет. М., 1934, с. 480—481.

[24] Виноградов Л. К., Панков Б. В., Бессонова А. Ф. [Вступит. статья] «Библиотека В. И. Ленина в Кремле», с. 24.

[25] См., например: Бонч-Бруевич Вл. «Ленин о поэзии: набросок из воспоминаний». «На литературном посту», 1931, № 4, с. 7.

[26] Примечательна, скажем, такая перекличка между ранними стихами Гумилева и реальностью 1917 года, запечатленная современником: «С Финляндского вокзала въехал в Петроград не революционер даже, а фанатический конквистадор, думавший не *о* народном благе, а о завоевании всего мира ⟨...⟩. И с первого же его выступления явно „запахло серой"». (Рафальский Сергей. «Их памяти». Статьи. Париж, 1987, с. 91).

[27] См.: «Самый непрочитанный поэт». Заметки Анны Ахматовой о Николае Гумилеве. (Подготовка текста К. Н. Суворовой, вступит. заметка, сост. и прим. В. А. Черных), «Новый мир», 1990, № 5, с. 223.

[28] Существует обширная литература на эту тему, в связи с чем конкретную аргументацию позиции опускаю и отсылаю читателя к публикациям по данному вопросу. Весьма обстоятельны и интересны следующие работы: Друзин В. «Кризис в поэзии». «Жизнь искусства», 1929, 7 апреля, № 15 (1335), с. 6; Зелинский Корнелий. «Кентавр революции» (О Владимире Луговском). «На литературном посту», 1929, № 6, с. 46, 49; Оксенов И. «Советская поэзия и наследство акмеизма». «Литературный Ленинград», 1934, 26 мая, № 24 (46), с. 3; Поступальский И. «По прямой дороге». «На литературном посту», 1929, № 23, с. 67—74; Рыкова Н. «Эдуард Багрицкий». «На литературном посту», 1929, № 13, с. 64—68; Степанов Н. «Поэтическое наследие акмеизма». «Литературный Ленинград», 1934, 20 сентября, № 48 (70), с. 3; и многие другие.

[29] См.: Бескин О. «Гумилев Николай Степанович». «Литературная энциклопедия», т. 3, М., 1930, стлб. 81—86.

[30] Радек К. Б. «Современная мировая литература и задачи пролетарского искусства». «Первый Всесоюзный съезд советских писателей», с. 307.

[31] Балясный Андрей. «О поэзии Н. Гумилева». «Молва», Одесса, 1944, 14 января, № 331, с. 2.

[32] Шматов Г. «О доблестях, о подвигах, о славе» (Ко дню смерти Николая Гумилева). «Заря», Берлин, 1943, 1 сентября, № 69, с. 4.

[33] «Вестник литературы», 1921, № 10(34), с. 9.

[34] Ср. со свидетельством Н. Оцупа: «Потребность распространять приобретенные знания, „уча учиться" и даже просто учительствовать была ⟨...⟩ очень сильна у Гумилева» (Оцуп Николай. [Вступит. статья] Гумилев Н. «Избранное», Paris, 1959, с. 15.).

*Кейс Верхейл*

# КАЛЬВИНИЗМ, ПОЭЗИЯ И ЖИВОПИСЬ

*Об одном стихотворении И. Бродского*

Судя по тематике его стихов и прозы, можно сказать, что есть голландский Бродский, равно как есть и английский, американский, итальянский, французский, литовский, мексиканский, китайский и, разумеется, также русский Бродский.

Существование голландского Бродского неудивительно ввиду того, что поэт родился и первые тридцать два года своей жизни провел в городе, созданном плотником из Сардама, — в городе, где современный человек из Амстердама не может чувствовать себя на чужбине, хотя бы потому, что в его пределах находится место с названием Новая Голландия.

Не хочу задерживать читателя перечнем всех голландских мотивов и ассоциаций, которые можно наметить в творчестве Бродского любых периодов. Остановлюсь всего лишь на двух более общих чертах его поэзии и прозы, так или иначе тесно связанных с представлениями о моей стране.

В критической литературе о Бродском пока еще мало замечено, что поэт в своих эссе несколько раз выражал свою особенную симпатию к кальвинизму как той форме христианства, которая ему, кажется, больше по душе, чем православие, католичество или лютеранство. Предпочтение Бродским кальвинизма не может не поразить человека из страны, самое существование которой есть продукт кальвинизма и культура которой до такой степени пропитана им, что не только наши протестанты, но и католики и даже неверующие признают себя — обычно с самосожалением и с иронией — кальвинистами по образу мышления. Чтоб быть еще чуть-чуть более личным: симпатия первого русского поэта современности к кальвинизму, репутация которого среди интеллектуалов Запада стоит, пожалуй, ниже любого другого вида христианства, не может не удивлять и не радовать человека, крещенного, по решению своих родителей, в нидерландской либерально-реформаторской церкви и, несмотря на свое влечение и к иным формам веры, до сих пор принадлежащего ей.

Привлекательность кальвинизма для поэта Бродского связана, как мне кажется, прежде всего с центральным кальвинистским тезисом о далекости Бога от человека. Между божественным и человеческим лежит бездна, пропасть: с одной стороны, абсолютная, неизменимая справедливость Божьей, для человека непостижимой воли, с другой стороны, абсолютная личная ответственность человеческого индивидуума за каждый свой поступок перед величием этого далекого и ему непонятного Бога. В результате такого жизнепонимания создается, если говорить уже на языке не XVI, а XX века, та этика абсурда, которая всегда была свойственна мышлению зрелого Бродского.

Вторая общая голландская черта позиции Бродского — это его интерес к живописи голландских мастеров. Для русского поэта, жившего столько лет в пятнадцати минутах ходьбы от Эрмитажа, такой интерес, конечно, вполне естествен. Любопытнее другое — то, что мотивы из голландской живописи живут в стихах Бродского и неявной, скрытой жизнью. Вместо трафаретных конькобежцев или мельниц, вместо стихотворных описаний каких-то конкретных картин у него существуют, например, потаенные рембрандтовские ассоциации в глубине тематики таких его шедевров, как «Авраам и Исаак» и «Сретенье».

Оба указанные мной момента, так сказать, голландизма Бродского — кальвинизм и живопись — связаны между собой. По одному из первых догматов христианства Бог есть Слово. Для человека, имеющего свои корни в кальвинизме, это значит, что есть бездна несоответствия между Божеским и человеческим словом. Или, вернее, это значит, что человеческое слово уже само по себе есть нарушение некоей Божьей привилегии. Если Бог есть Слово, явленное во Христе, в мироздании, в Священном Писании, то человеку подобает молчать, и, когда ему захочется выразить свою точку зрения на мир, ему, вместо того чтобы писать стихи, лучше сесть за мольберт и написать картину. (Объяснимо поэтому парадоксальное и, во всяком случае, сенсационное обращение в католичество — во время полного триумфа кальвинизма в молодой республике — поэта Вонделя, классика нашей литературы и одной из ключевых фигур европейского барокко, с которым, кстати, есть у Бродского принципиальная доля сходства. Оно вызвано, насколько такие вещи вообще можно объ-

---

Кейс Верхейл — писатель, профессор русской литературы, специалист по творчеству Ахматовой. Автор книги «The Theme of Time in the Poetry of Anna Akhmatova» («Тема времени в поэзии Анны Ахматовой») и др. Живет в Голландии.

яснить, чисто профессиональной необходимостью художника слова, развившего амбиции, соответствующие его необычному таланту, запечатлеть свою речь.)

Противоположно, а в некоторых важных случаях, как я предпочитаю думать, комплементарно по отношению к кальвинизму православное понимание христианства: если Бог есть Слово, то в каждом человеческом слове есть хотя бы зачаток божественного. Со свойственным ему духовным экстремизмом Бродский идет по этому пути до конца, настаивая на формуле — в пределах кальвинистского миропонимания уже совершенно немыслимой — о божественности или даже надбожественности языка и не различая при этом божественный и человеческий логос. Сознание неизбежной греховности всякого словоупотребления и, тем более, всякого писательства, которое в русской литературной традиции мы находим, например, у Ахматовой, у Блока, у Тютчева и, конечно, сильнее всего у позднего Гоголя, Бродскому как будто чуждо. Вера в наивысшую ценность поэтического слова привела его, однако, к ряду грандиозных стихотворений, сделав идеальным антиподом идеального голландского художника.

С культурфилософской точки зрения можно в итоге говорить о кальвинизме этики Бродского при подчеркнутом антикальвинизме его поэтики [1].

Кульминацией интереса Бродского к голландской живописи до сих пор приходится считать его стихотворение «На выставке Карла Виллинка». В этом стихотворении имя художника, не классика из XVII века, а современника (Виллинк родился в 1900 г. и умер в 1983-м), упоминается уже в названии.

Сначала расскажу коротко о становлении этих стихов, свидетелем которого я отчасти стал. Ранним летом 1985 года Иосиф был, в который раз, не помню, в Амстердаме, где у него оказался маленький комплект с шестнадцатью репродукциями картин очень известного в Голландии, а за границей сравнительно неизвестного, недавно перед тем умершего художника Карла Виллинка. (Поэт утверждает, что он получил комплект как подарок от дамы, которой стихотворение посвящено,— к сожалению, ее имя выпадало из нескольких публикаций; сама дама, наоборот, при всей благодарности за посвящение, о подарке категорически ничего не помнит; лично я склонен понимать утверждение поэта как пример того, что Пастернак, кажется, называл «лирической правдой».)

Иосиф вернулся в Штаты и оттуда мне сообщил по телефону, что он пишет стихотворение о картинах Виллинка, и спросил, знаю ли я, как кончил свою жизнь художник, не самоубийством ли, потому что в таком духе он уже написал в своих стихах. На мои слова, что художник, насколько я знаю, умер «нормально», Иосиф ответил, что это неважно. Суть идеи самоубийства в его стихотворении была общая, абстрактная.

Примерно месяц спустя я получил окончательный текст с просьбой перевести его и передать нашей общей подруге.

Первый раз стихотворение было опубликовано параллельно по-русски и по-голландски в амстердамском журнале с названием из русской литературы «De Revisor» (1986, № 1). Название произведения я по собственной инициативе несколько изменил. В оригинальном машинописном тексте было: «На выставке Кейса Вейлинка». Не мне судить, насколько в замене имени художника (вместо «Карла» — «Кейс») тоже обнаруживается своего рода «лирическая правда». Тогда я, по крайней мере, решил, что ее нет. Фамилия Виллинка во всех русских изданиях и в переводах, которые я видел, кроме голландского, написана ошибочно. Дата, и иногда фамилия в посвящении, тоже.

Цитирую стихотворение целиком:

### НА ВЫСТАВКЕ КАРЛА ВИЛЛИНКА

*Аде Струве*

I

Почти пейзаж. Количество фигур,
в нем возникающих, идет на убыль
с наплывом статуй. Мрамор белокур,
как наизнанку вывернутый уголь,
и местность мнится северной. Плато;
гиперборей, взъерошивший капусту.
Все так горизонтально, что никто
вас не приймет к взволнованному бюсту.

II

Возможно, это — будущее. Фон
раскаяния. Мести сослуживцу.
Глухого, но отчетливого «вон!».
Внезапного приема джиу-джитсу.
И это — город будущего. Сад,
чьи заросли рассматриваешь в оба,
как ящерица в тропиках — фасад
гостиницы. Тем паче — небоскреба.

III

Возможно также — прошлое. Предел
отчаяния. Общая вершина.
Глаголы в длинной очереди к «л».

[1] Своего рода поэтический кальвинизм чувствуется, с силой непревзойденной и вне русской литературы, в сухой и нарочито «некрасивой» прозе Льва Толстого, единственного классика своего языка, с которым, по-видимому, Бродский никогда не ощущал духовного родства. Удивительную близость эстетики графа Толстого к географически далекому ему кальвинизму надо, скорее всего, рассмотреть как последствие влияния на него Руссо, писателя, рожденного в городе самого Кальвина.



Улегшаяся буря крепдешина.
И это — царство прошлого. Тропы,
заглохнувшей в действительности. Лужи,
хранящей отраженья. Скорлупы,
увиденной яичницей снаружи.

IV

Бесспорно — перспектива. Календарь.
Верней, из воспалившихся гортаней
туннель в психологическую даль,
свободную от наших очертаний.
И голосу, подробнее, чем взор,
знакомому с ландшафтом неуспеха,
сподручней выбрать большее из зол
в расчете на чувствительное эхо.

V

Возможно — натюрморт. Издалека
все, в раму заключенное, частично
мертво и неподвижно. Облака.
Река. Над ней кружащаяся птичка.
Равнина. Часто именно она,
принять другую форму не умея,
становится добычей полотна,
открытки, оправданьем Птолемея.

VI

Возможно — зебра моря или тигр.
Смесь скинутого платья и преграды
облизывает щиколотки икр
к загару неспособной балюстрады,
и время, мнится, к вечеру. Жара;
сняв потный молот с пыльной наковальни,
настойчивое соло комара
кончается овациями спальни.

VII

Возможно — декорация. Дают
«Причины Нечувствительность к Разлуке
со Следствием». Приветствуя уют,
певцы не столь нежны, сколь близоруки,
и «до» звучит как временное «от».
Блестящее, как капля из-под крана,
вибрируя, над проволокой нот
парит лунообразное сопрано.

VIII

Бесспорно, что — портрет, но без прикрас;
поверхность, чьи землистые оттенки
естественно приковывают глаз,
тем более — поставленного к стенке.
Поодаль, как уступка белизне,
клубятся, сбившись в тучу, олимпийцы,
спиною чуя брошенный извне
взгляд живописца — взгляд самоубийцы.

IX

Что, в сущности, и есть автопортрет.
Шаг в сторону от собственного тела,
повернутый к вам в профиль табурет,
вид издали на жизнь, что пролетела.
Вот это и зовется «мастерство»:
способность не страшиться процедуры
небытия — как формы своего
отсутствия, списав его с натуры.

Человеку, знающему отдельно и поэзию Бродского, и живопись Виллинка, смысл их сочетания сразу понятен. Вообще мысль о Виллинке как вдохновителе ленинградского поэта вполне естественная, и кажется странным, что голландский художник никогда не был в Ленинграде. За год до написания Бродским стихов и без всякой дальнейшей связи с ними я, находясь в Ленинграде, сделал такую запись в своем дневнике:

«После концерта (в Капелле) прогулка по светлому вечеру» — дело было в белую ночь. «Только здесь и там несколько пешеходов. Зимний дворец, широкая площадь перед ним и в отдалении Исаакиевский собор под зловещим летним небом — первоклассная картина Виллинка».

Для этого художника, как и для поэта Бродского, характерно слияние, иногда шоковое, строгого классицизма с типичным для двадцатого века ощущением угрозы, катастрофичности, конца. Истоки стиля Виллинка — в ренессансе, в «идеальных» или «героических» пейзажах Лоррена и Пуссена и, что касается портретов, в образцах этого жанра у Рафаэля и Да Винчи. Единственное собственно голландское и, если хотите, кальвинистское у Виллинка, это — холодное, беспощадно яркое северное освещение его пейзажей и портретов и их общая атмосфера неуловимой жуткости, из-за чего Виллинка обычно связывают с сюрреализмом. В одном интервью художник так сформулировал психологическую направленность своих картин:

«Я изображаю постоянную угрозу и совершенный абсурд происходящего вокруг меня, зловещность и абсурдность всего миропорядка».

Добавьте любимый прием Виллинка смешивания классических образов с явно современными или фантастично-будущими; добавьте его пристрастие к архитектуре и к статуям, как заместителям живых фигур; добавьте еще его тягу к добросовестной технике и к кропотливому мастерству; добавьте, наконец, то, что лучший критик, написавший о Виллинке, назвал его странно «застывшим», «остолбенелым» юмором, и вы поймете, почему я считаю, что, если думать об иллюстрированных изданиях Бродского, ничего лучшего, чем репродукции картин Виллинка, не найти.

Что касается русского стихотворения о художнике, то оно необыкновенно заинтересовало вдову Виллинка — художницу и скульптора. Она обратилась ко мне как переводчику незнакомого ей автора: ее поразила совершенная точность, с которой этот иностранец сумел уловить в своих словах суть того, что ее муж вложил в свои картины.

Возвращаясь к тексту Бродского, вместо обширного анализа ограничусь заметкой об одной его особенности. Меня всегда поражала сравнительно второстепенная роль

которую в нем игрвет описательное начало. Что, казалось бы, может быть естественнее, соблазнительнее, чем попытаться воссоздать в слове то же самое, что художник сделал в цвете, то есть попытаться вызвать у читателя сходные зрительные впечатления? Тем более для такого поэта, как Бродский с его особым даром воспроизводства визуальных эффектов.

Некоторая описательность есть, разумеется, и в стихах «На выставке Карла Виллинка», но небольшая, как мне кажется, может быть, даже меньшая, чем в других произведениях поэта. Создается впечатление, что стихотворение Бродского о выставке — это, прежде всего, не попытка соревноавания с живописцем, а претворение его зрительного мира в чисто словесный, поэтический. Конечно, можно понимать девять строф стихотворения и как прогулку по выставке, где поэт останавливается перед девятью разными картинами (из шестнадцати, включенных в комплект репродукций), передавая нам свои спонтанные впечатления и ассоциации. Но такое понимание дает довольно бедные результвты; во-первых, потому, что живопись Виллинка очень далека от свободной ассоциативности, обоснованной принципом Роршаха, а во-вторых, ассоциации поэта слишком последовательны, слишком связны между собой, чтобы соответствоввть произвольному, «по ходу» сделанному взгляду на коллекцию разнородных картин.

Имеет смысл рассмотреть это стихотворение не столько как ряд случайных, от внешних стимулов зависящих импрессий, сколько как обычное для Бродского постепенное рвавитие, в строфе за строфой, в метафоре за метафорой, в шутке за шуткой, одной линии идей. Основная формула фразы без сказуемого создает ряд вариантов определения чего-то общего, никогда прямо не названного поэтом. Определение этого чего-то — то ли внутреннего зрения художника, то ли внутреннего зрения человека, смотрящего на его картины,— становится к концу все более точным, более сжатым.

В ходе этого процесса поэт уже в третьей строфе переходит от зрительной к языковой, даже грамматической терминологии, а в четвертой — к терминологии музыкально-поэтической:

> И голосу, подробнее, чем взор,
> знакомому с ландшафтом неуспеха,
> сподручней выбрать большее из зол
> в расчете на чувствительное эхо.

В конце шестой строфы и дальше, в седьмой, идея языка плюс музыки приводит, как естественное свое продолжение, к идее какой-то своеобразной оперы, созданной в результате сотрудничества художника с поэтом и их обоих — с музыкальным гением.

Если думать о прецедентах, стихотворение Бродского создает эффект, примерно схожий с тем, что произвел Мусоргский в своей музыкальной «Выставке». Но есть в нем и нечто схожее с тем, что сделали вместе русский композитор Игорь Стравинский, рисовальщик XVIII века Хогарт и любимый Бродским английский поэт Одэн в «Приключениях повесы». В нашем случае получилась современная философская опера с аллегорическими фигурами в стиле барокко; декорации — голландец К. Виллинк; либретто и музыка — русский поэт И. Бродский.

В заключительных строфах происходит еще одна трансформация. «Это» теперь воспринимается сначала как просто портрет, потом как тот «автопортрет», о котором пишет в интересной ствтье про этот прием Бродского Валентина Полухина. Вместе с тем стихотворение превращается в размышление о судьбе художника-живописца, или художника-поэта, или художника-музыканта, или художника-историка, или художника-астронома — кажется, в девяти строфах фигурируют более или менее прозрачно питомцы всех девяти Муз.

Мысль поэта, как я думаю, здесь сосредоточена над сутью самого слова и понятия «автопортрет». Как известно, автопортрет — чисто технически самая трудная задача для художника — есть окончательное доказательство его мастерства. В языке парадоксальность задачи отражена в классическом термине для этого жанра: не «автопортрет», а «портрет художника», «portrait de l'artiste», «portrait of the artist».

Ведь человек себя изображать физически не может иначе, как в виде художника — садясь одновременно и к зеркалу, и за мольберт. Другими словами: если жанр автопортрета автоматически значит уничтожение художником себя как не-художника и в этом смысле является формой самоубийства, то ставится страшноватый вопрос: кто вообще изображен в автопортрете? Если бытовая персона в нем бесследно исчезла в художнике, тогда где остался Карл Виллинк, где остался Иосиф Бродский, где осталась разница между ними? И еще вопрос: где осталась разница между изображением своего Я и изображением любого другого предмета?

Последняя мысль и последний эффект стихотворения, по моему впечатлению, как-то головокружительны. Подобно тому, как это происходит в гоголевской повести, портрет перед глазами читателя-зрителя вдруг растаивает, и медитативный ход по выставочному звлу начинается снова:

> Почти пейзаж. Количество фигур,

и так далее.

*Борис Парамонов*

## НОЙ И ХАМЫ

### 1

Трактовка формального литературоведения как мировоззрения, а не метода — дело не очень новое. В. М. Жирмунский говорил в связи с этим об эстетизме формалистов как мировоззренческом кореляте метода. Эстетизм в то же время слишком часто принимает черты не теоретического мировоззрения только, но и жизненной, экзистенциальной позиции. По этому последнему признаку формалистов вполне возможно причислить к романтикам, как бы сами они этому ни противились. «Бурные гении» — вполне романтическая характеристика. Особенно это подходит к Шкловскому. Но это, конечно, некий «новый романтизм», вдохновляющийся не капризом, импровизацией, экстазом и хаосом, а скорее по-новому понятым порядком, если угодно — нормой. Романтизм тут существует в самом моменте вдохновения и прозелитизма, а ценности, на этот раз исповедуемые,— скорее классицистического типа. В теории — формализме как такоаом — это пафос «сделанности» в искусстве, «искусство как прием», установка на мастерство, осознание профессионализма. В эстетической практике — скажем, конструктивизм. Но ни в коем случае нельзя забывать футуристической молодости движения: как раз романтического хаоса было в футуризме больше чем достаточно. Шкловский не «теоретический человек» прежде всего по своему темпераменту. Это но случайное обстоятельство.

Как это бывает с людьми по-настоящему значительными, Шкловский сумел сказаться сразу, в первом же своем сочинении — статье «Воскрешение слова». Данную здесь формулу надо знать и повторять, пока она не заучится наизусть,— здесь дан культурный прогноз века:

*«Только создание новых форм искусства может возвратить человеку переживание мира, воскресить вещи и убить пессимизм».*

Искусство, таким образом, это не только «прием», это еще и средство — отнюдь не цель в себе, как может показаться даже и при достаточно углубленном чтении формалистских текстов. Но еще более глубокий уровень понимания ведет к выходу за пределы искусства: в «жизнь», чуть ли не в «теургию» символистов, от которых формалисты особенно настойчиво открещивались, «отталкивались». Последнее слово я взял в кавычки, потому что в современном языке оно удвоило смысл, и сейчас «отталкиваться» все чаще означает не только «отказываться», но и «исходить», «брать за основу»; эта амбивалентность лучше всего выражает подлинное соотношение двух течений. Позднейшее лефовское «искусство-жизнестроение» уже чуть ли не прямо выводится из символистской установки на теургию. Об этом уже писалось (Ю. Давыдов).

Правда, как раз Шкловского вроде бы следует отличать от теоретиков «искусства-жизнестроения» — он в ЛЕФе продолжал настаивать на чисто эстетическом измерении искусства, и газета, скажем, для него не «коллективный организатор», а литературный жанр, возможная новая форма искусства. Именно тогда, в середине двадцатых, он произнес замечательную фразу о том, что судить о жизни по искусству все равно что судить о садоводстве по варенью; эта фраза не только дезавуирует «реализм», но и имплицитно отвергает любые «теургические» выходы искусства. Однако нельзя снять с Шкловского ответственности за этот сверхэстетический максимализм — ибо в целом искусстве он его и постулировал.

Соответствующую цитацию можно продолжить. Вот самая, пожалуй, знаменитая формула:

*«Так пропадает, в ничто вменяясь, жизнь. Автоматизация съедает вещи, мебель, жену и страх войны».*

Отсюда, как известно, идет у Шкловского учение об остранении — способе обновить видение вещи — всех перечисленных выше вещей и состояний. Но именно в этом ряду остранение оказывается чем-то явно сверхэстетическим. Меня здесь особенно заинтересовала «жена». В работе о Розанове Шкловский дает большую цитату из него, убеждающую в необходимости «остранения» для обновленного переживания супружеской жизни: этим «остранением» оказывается обыкновеннейшая супружеская измена. Пример показывает, что термины Шкловского имеют внеэстетическую корреспонденцию, по крайней мере, взяты не из наблюдений над Веселовским или Потебней. В статье «Искусство как прием» Шкловский пишет, что остранением являются вообще эротические образы. В общем, действует не только в искусстве.

Вот поэтому Шкловскому и понравились «революция и фронт». В «Сентиментальном путешествии» он описывает революционный быт:

*«Люся встала и затапливает печку документами из Центрального банка... Из длинной трубы, как из ноздрей курильщика, подымаются тоненькие гадины дыма.*

*Встаешь, вступаешь в валенки и лезешь на лестницу замазывать дырки.*

*Каждый день. Лестницу из комнаты не выносишь.*

*А печника не дозовешься. Он в городе самый нужный человек. Город отепляется. Все решили жить...*

*...Хорошо жить и мордой ощущать дорогу жизни.*

*Сладок последний кусок сахара. Отдельно завернутый в бумажку.*

*Хороша любовь.*

*А за стенами пропасть, и автомобили, и вьюга зимой.*

*А мы плывем своим плотом.*

*И как последняя искра в пепле, нет, не в пепле, как темное каменноугольное пламя.*

*А тут То-ло-нен. Одно слово — Финляндия».*

Финляндия не интересна потому, что жизнь в ней автоматизирована, ничего не происходит, точнее — не ощущается. А социализм — в революции — был интересен, как путешествие в ковчеге. Об этом Шкловский пишет в статье «Десять лет». И это не потому, что несколько лет существовала эфемерная эстетическая свобода, а потому, что у кариатид Эрмитажа играли в городки, а из торцов Дворцовой площади прорастала трава. Город «остранялся».

Даже классик Ходасевич признавал, что Петербург стал тогда еще прекраснее — в начавшемся моменте тления. То же писал Эренбург в «Тринадцати трубках»: «Заштатная столица была величественна и прекрасна». Он же цитирует в мемуарах стихи сераписновой сестры Елизаветы Полонской — о впервые почувствованной ценности крох бытия — хлеба, дров: ср. выше у Шкловского.

Революция и война были способами остранения как не эстетического уже, а социального действия. Чтобы почувствовать войну, нужен реальный страх, реальная война.

Есть лагерное выражение: научить свободу любить. Для этого нужен — лагерь.

Вот почему мировоззрение Шкловского, скрывающееся за методом формального литературоведения, можно назвать не эстетизмом уже, а *трагедийным гедонизмом*.

Это форма, вариант ницшеанства. (Можно вспомнить и Кьеркегора, отождествлявшего эстетическую форму сознания с чувственным экстремизмом.) Получается, что Шкловский не так уж далеко отстоит от какого-нибудь теургического Вячеслава Иванова. Футуристическая революция отнюдь не была разрывом с современной ей традицией — она только по-другому ее формулировала.

Остраненно.

## 2

«Младоформалист» Л. Я. Гинзбург пишет («Человек за письменным столом»):

*«Опоязовское течение в широком смысле (гораздо более широком, чем опоязовцы и их ученики) было частью антисимволистской реакции (от футуристов и акмеистов до обериутов) на культуру начала века. Как и вся противосимволистская реакция, формализм многому учился и научился у символистов. Формализм быстро и в основном изнутри распался как догма, но как фермент он продолжал работать впрок. Эпохален формализм еще тем, что в своей склонности к аналитическому разъятию он был неузнанным двойником исторического и социологического анализа. Антиподом и двойником — что как-то увязывалось в большом культурном развороте».*

«Исторический и социологический анализ» — это попросту марксизм. Но двойничество не только в совпадающей редуктивистской установке, оно еще и в позитивной, строительной программе — в том «конструктивизме», который выступает общим стилевым знаменателем политики как художества, революции как эстетического проекта.



Большой стиль эпохи — *утопия*. Это включает и символизм, и Бердяева, и гностические фантазии «Ладомира», в последнем же — Федоров плюс ленинские нужники из золота. Но в утопическое строительство были включены не только символические теурги и футуристические самовитые словесники — в него включились массы. Это была всеобщая мобилизация, начавшаяся в 14-м году.

В гедонизме Шкловского, при всех его ницшеанских обертонах, нашла выражение, как сказали бы тогдашние социологи, учившие жить формалистов, «психоидеология» вот этих самых масс. Бердяев был прав, говоря в «Вехах» о стадах индивидуалистов-ницшеанцев.

Индивидуализм военнообязанного — психология отпускника, если не мародера. В русской литературе как раз в это время появился такой отпускной солдат, Николай Тихонов,— явление очень значительное.

Тихонов заставляет вспомнить трактовку футуризма, данную Корнеем Чуковским: не столько будущее, сколько давно прошедшее. Архаизм, варварство:

Я одержимый дикарь, я гол...

Тихонов — человек Шкловского, находящий в войне и революции повод для обновленного переживания бытия. Остранение идет рука об руку с эротическими переживаниями:

Он расскажет своей невесте  
О забавной, живой игре,  
Как громил он дома предместий  
С бронепоездных батарей.  
Как пленительные полячки  
Присылали письма ему,  
Как вагоны и водокачки  
Умирали в красном дыму.

У Шкловского мы вправе видеть некий всеобщий культурный синтез, потому что он в собственной эпохальной личности объединил пафос конструктора, конструктивиста с элементарной (то есть стихийной) чувственностью резервиста культуры. Иногда он кажется инкарнацией руссоистского дикаря-философа. Иногда — неким удавшимся Писаревым.

Интересно, что и в символизме была уже такая удача — Сологуб: кухаркин сын, пошедший не в писаревское естествознание, а в тогдашнюю сексуальную революцию декадентов.

И если спроецировать все это на Ницше, то получится даже не искусство как воля к обману, а самый настоящий белокурый бестия.

И глаза стальной синевы.

Стихи Тихонова до «Орды» плохие, но одно названо очень хорошо — «Перекресток утопий».

Тихонова можно вывести из Киплинга или даже, еще верней, из Гумилева, но движение на Восток у обоих, столь ревностно повторенное Тихоновым, вело к тому же Ницше, к Заратустре, говорившему, что женщина создана для услады воина.

Отпускной солдат — он же и мертвый встанет, чтобы пойти к жене.

Так что мертвые вставали не только у Горького, как вспоминает Шкловский в «Письменном столе». Его мало понятная сейчас любовь к Горькому идет не только от восхищения горьковским неканоническим Толстым или введения в беллетристику бессюжетного документального материала, на манер Розанова, но и родственностью с Ницше.

У Шкловского можно заметить, как и у Горького, признаки садистической психологии. Гедонизм этого требует.

Ибо ласкать, учил Шкловский, хорошо бранными словами.

Всяческий конструктивизм близок к архаическому варварству, потому что в нем происходит некое упрощение, примитивизация, отказ от культурного излишества. Это Пикассо и негрская скульптура: Аполлон чернявый, как писали футуристы. Особенно упрощается психология, собственно, даже уничтожается. «Психоложество»,— говорил Маяковский. Нелюбовь Шкловского к роману — отсюда.

По-другому это называется архаической революцией. Позднее об этом много писал Томас Манн. Но в России писали раньше:

Построив из земли катушку,  
Где только проволока гроз,  
Ты славишь милую пастушку  
У ручейка и у стрекоз.

Будетляне, писал Шкловский, осознали в искусстве работу веков: увидели в нем элементарный чувственный жест, радостное переживание.

Шкловский знал Фрейда и часто ссылался на него, но одну его страницу пропустил незамеченной: где тот говорит, что дикари, вынужденные иногда работать, ритмизируют физические усилия в лад произносимыми эротическими словами.

Этому не противоречит учение Шкловского о художественной речи как затрудненной, задержанной. Все это не более чем «пытка задержанным наслаждением» (формула из «Теории прозы»).

В любви, как и в теории литературы, Шкловский был, по словам Эльзы Триоле, специалистом (мемуары А. Чудакова).

## 3

Было бы последним делом разговор о Шкловском свести к его индивидуальной, хотя и незаурядной, психологии. Большой человек тем и отличен, что представителен, типичен. Шкловский, субъективно переживал как бы поражение, писал, что нужно делать не историю, а биографию. Но он и делал историю своей биографией. Его биография моделировала громадный исторический сдвиг.

Он — победитель, победу которого не сознают, вроде Барклая.

Внимание, а похоже, что и любовь Шкловского к Розанову не случайны. Он взял у Розанова и по-своему выразил его тему о наступлении мировой эпохи *нерепрессивной культуры*. В его, Шкловского, конкретном деле это было десублимацией искусства. Все учение об остранении можно свести к этому: не идеальные образы создает искусство, а углубляет и утончает чувственный опыт.

Как всегда, новое оказалось хорошо забытым старым. Запахло «Сатириконом» и пирами Трималхиона. Сюда хорошо подверстывается кьеркегоровский Нерон.

Мне рассказывал один москвич, хитростью проникший в просмотровый зал, где начальство принимало «Сатирикон» Феллини, что у номенклатурщиков сложилось твердое впечатление, будто этот фильм — вариант «Сладкой жизни» и повествует об эротических и гастрономических играх верхов нынешней буржуазии. Фильм принят не был и в советском прокате не появился, поскольку был оценен как пропаганда буржуазного разложения.

Если это и выдумано, то хорошо. Это Шкловскому и его компании некое возмездие: уж очень активно провели они кампанию по реабилитации плоти искусства, слишком бурно дезавуировали «бумажные страсти» (Маяковский). Всяческий «застой» — это реакция на революцию, а не просто дурной эстетический вкус. Люди, уставшие от революции, желали читать романы: роман требует кушетки, он отдохновенен.

А Шкловский подсовывал новый жанр — газету, в которой писали в основном о неприятностях.

В конце концов был достигнут компромисс, известный как «социалистический реализм».

Соцреализм, взятый в его сталинском варианте — с канонизацией Маяковского, но и с уходом от левого искусства в «психоложество»,— очень большая тема: о конце революции, конце утопии. В длительной перспективе это был поворот к лучшему, если угодно — к человеку Достоевского, взятому со всеми его почесываниями. Позднее поэт скажет: «ворюги мне милей, чем кровопийцы».

Поначалу, однако, это был отказ от Татлина, Малевича и Мельникова, и для людей Шкловского создавалось впечатление перемены к худшему. Потому что даже газету умудрились сделать отдохновенным чтением — сказкой.

Дело было решено так: вместо эстетического авангарда создадим номенклатуру, которая и будет ощущать жизнь во всей чувственной полноте вместо того, чтобы декларировать чисто эстетическую необходимость таковой.

Писателям же было предложено создать собственную номенклатурную элиту. И они на это с удовольствием пошли. Иначе и быть не могло: ведь больше всего писатель жаждет воплотиться.

Главное задание соцреализма — даже не мифотворческое. Оно — в обнаружении психологии художественного типа личности, в социальной манифестации таковой. Тут имеет место обнажение приема и реализация метафоры: становясь платным функционером идеократического режима, художник превращается в *жреца* и начинает *жрать*. Может быть, такова и была первоначальная природа института жрецов. Соцреализм снова снял с него культурные покровы, десублимировал его.

Розанов недаром любил православных попов за их вкус к осетрине.

Так и художник: следует говорить не о «вкусе» его, то есть не о чем-то «художественном», а о вкусе в смысле гастрономической эрудиции, об умении насытиться: Алексей Н. Толстой.

Н. Я. Мандельштам рассказывает в первой книге, как в доме в Лаврушинском они перемещались с этажа на этаж: у Шкловского ночевали, а к Катаеву ходили на обмывку ордена. Получается, что Шкловский хороший, а Катаев негодный. На самом деле второй — это эманация первого.

Шкловский и породил все эти трималхионовы пиры.

Но трагедийность со временем уходила, а гедонизм (так сказать, «чистый») оставался. Катаев пишет в «Святом колодце»:



*«Мы жили в полное свое удовольствие, каждый в соответствии со своими склонностями. Я, например, злоупотребляя своим сверхпенсионным возрастом, старался ничего не делать, а жена с удовольствием готовила мне на электрической плитке легкие, поразительно вкусные завтраки из чудесно разделанных, свежих и разнообразных полуфабрикатов, упакованных в целлофан,— как, например, фрикадельки из райских птиц и синтетические пончики. Мы также ели много полезной зелени — вроде салата латука, артишоков, пили черный кофе. Нам уже не надо было придерживаться диеты, но мы избегали тяжелой пищи, которая здесь как-то не доставляла удовольствия. При одной мысли о свином студне или о суточных щах с желтым салом мы теряли сознание. Мы объедались очень крупной, сладкой и всегда свежей клубникой с сахаром и сливками, любили также перед заходом солнца выпить по чашке очень крепкого, почти черного чая с сахаром и каплей молока. От него в комнате распространялся замечательный индийский запах. Я же, кроме того, с удовольствием попивал холодное белое вино, пристрастие к которому теперь совершенно не вредило моему здоровью и нисколько не опьяняло, а просто доставляло удовольствие, за которое потом не нужно было расплачиваться. Мы также охотно ели мягкий сыр, намазывая его на хрустящую корочку хлебца, выпеченного не иначе, как ангелами. Я уже не говорю о том, что рано утром мы завтракали рогаликами со сливочным маслом и джемом в маленьких стеклянных баночках, который напоминал зеленую мазь или же помаду».*

Здесь вроде бы присутствует ирония, поскольку речь идет о так называемом потустороннем существовании, но на самом деле эта потусторонность всего навсего из разряда номенклатурных привилегий, в число которых входят путешествия не на тот свет, а за границу. И не об иронии нужно говорить, а о наглости удачника, знающего, что «райская жизнь» — это не совершенный, а просто не всякому доступный мир. Как писала, кажется, та же Мандельштам о номенклатурном зяте: «Папа, больше всего приятно не то, что бифштекс вкусный, а что у других такого нет».

У Катаева это прорвалось упоминанием суточных щей.

Очень хорошо гулялось в тридцать седьмом году (см. мемуары мачехи Лосева). Посадки соседей по Лаврушинскому переулку придавала этому необходимое остранение. Синявский, осознав этот «прием» (из Шкловского, откуда же еще!), написал, что пушкинский герой особенное удовольствие от Лауры получил в присутствии трупа Дон Карлоса.

Это даже нельзя назвать гением и злодейством, потому что ситуация оценки не предполагает: тут какая-то совершенно нейтральная «физиология творчества». В Шкловском Писарев протягивает руку авангарду, и все получается, и женщины довольны.

## 4

По интересующему нас критерию — способности реализовать собственные чувственные возможности — писатели разделяются на два разряда: удачники и завистники. Хрестоматийный пример, как всегда,— Толстой и Достоевский.

В письмах Достоевского жене масса вычеркнутых, замазанных строк, не поддающихся прочтению. Строго говоря, это неприличные письма. Завистник не значит слабосильный. О нестандартной чувственности Достоевского правильно писал Мережковский.

В советской литературе указанная оппозиция классически представлена Катаевым и Олешей. Один проезжал мимо другого в большом, похожем на комнату автомобиле. Это сцена из Достоевского: «Записки из подполья».

Ничего тут позорного нет, это все тот же старый романтизм, с его разделением «томления» и «обладания». Так что эту романтическую ситуацию можно даже назвать классической.

В новейшей литературе произошла реинкарнация Юрия Олеши. Это Эдуард Лимонов. Он даже псевдоним выбрал, следуя указаниям «Зависти»: фамилия Лимонов, как и Кавалеров, высоконарна и низкопробна.

В «Дневнике неудачника» масса реминисценций Олеши: экономка миллионера в роли Анечки Прокопович, да и сам поэт, служащий сильному мира сего. Вспоминается не только «Зависть»: есть, например, сцена с крысой, поражаемой ударом ноги. Это из мемуарной прозы Олеши.

Такие совпадения Шкловский объясняет сюжетной инерцией. Он сам однажды обнаружил поразительные сходства ситуаций в романах Конрада и Бахметьева. Но можно ведь говорить и о сходстве психологического типа.

Вообще же Лимонов более литературен, чем кажется.

Приведу здесь фрагмент из «Дневника неудачника», который вряд ли скоро будет напечатан в отечественной прозе сам по себе.

Как говорит в таких случаях Шкловский, прошу прощения за длинную цитату.

*«Воровать, воровать, воровать, украсть так много, так, чтобы еле унести. Охапками, кучами, сумками, корзинами, на себе уволакивать, велосипедами, тележками, грузовиками увозить из магазина Блумингдэйл и тащить к себе в квартиру.*

*Духи мужские, корзину духов; пусть поплескивают — зеленые, кремы, шляпы, много разных шуб и костюмов и свитеров. Воруй, тащи, грабь — веселись, наслаждение получай, что не дотащим — в грязь и снег вышвырнем, что не возьмем — бритвой порежем, чтоб никому не досталось, вот она — бритва — скользь в руку — ага, коси, молоти, руби!*

*— И по лампе вдарь! — Возьми зонт — Жан! — На торшер — Филипп — е... по зеркалу! — (Хрясть! Хрусть!)*

*— А мы за это шею гнули, жизни лишались, живот надрывали, вот вам, вот! — Эй, пори белье женское, режь его, розовое да голубое, трусами пол устилай! — Гляди, какие большие — Лазарь! — Ну и размер, на какую же ж... и рассчитаны!*

*— И этот отдел переполосуем, танцуй-пляши на рубашках ночных да беленьких, ишь ты, порядочные буржуйки в фланельке этой по ночам е..., а эти халатики к любовникам днем надевают — п.... при распахнувшихся полах показать, посветить ею.*

*— Бей, Карлос! — Помогай, Энрико! — Беги сюда, Хуан! — здесь голд этот самый — золото!!! (Рррррр!)*

*— Пошли пожрем в продовольственный! — Шоколаду хошь? На — шоколаду в карман. Мешок шоколаду возьмем домой. Два мешка шоколаду.*

*— Вдарь по стеклу! (Дзынь!)*

*— Х..., руби!*

*— А вот оторви этот прут, да е...! (Хлысть! Хрусть!)*

*— Ткни эту п.... стулом, чтоб буржуазное достояние не защищала!*

*— Ой, не убивайте, миленькие!*

*— Бей ее, суку, не иначе как начальница, а то и владелица!*

*— Мальчики! Мальчики! — что же вы делаете! Умоляю вас — не надо!*

*— Е.. ее, стерву накрашенную — правильно, ребята! Давно мы в грязи да нищете томились, х.. исстрадались по чистому мясу — дымятся!*

*— А пианина — Александр — мы с возмущенным народом пустим по лестнице вниз. На дрова! (Гром х-п-э-т-ггрррр!)*

*— И постели эти! (Та-да-да-да-да-дрррр!)*

*Так я ходил в зимний ненастный день по Блумингдэйлу, грелся, и так как ничего по полному отсутствию денег не мог купить и второй день кряду был голодный, то и услышал извне все это».*

А теперь можно сказать, кто это Лимонову наговорил в чуткое ухо: Хлебников Велимир, «Ночь перед Советами», а больше всего «Ночной обыск».

Ученик Хлебникова Шкловский помочился в броневики гетмана Скоропадского — это из той же оперы или, если хотите, поэмы. Булгаков пришпилил Шкловского в «Белой гвардии», и правильно сделал, хотя тот обиделся на всю жизнь и много лет спустя говорил Чудакову, что на веранде дома Герцена сидели крупные люди.

Но это не мешало им быть шпаной.

Крупной, как воры в законе.

Тут, к сожалению, прав недоброжелатель советской литературы Ходасевич, написавший совсем плохую статью о Маяковском.

Другой архаист, Бунин, пишет в «Окаянных днях»:

*«Был В. Катаев (молодой писатель). Цинизм нынешних молодых людей прямо невероятен. Говорил: „За сто тысяч убью кого угодно. Я хочу хорошо есть, хочу иметь хорошую шляпу, отличные ботинки...“».*

Сказать, что русская литература виновна в русской революции,— значит сказать самую малость. Это мировой процесс — превращение артиста в героя скандальной хроники, скандальных историй, скандальной истории. Россия гордится буйством Есенина как чем-то немыслимым на Западе. Но на Западе этот процесс шел не менее бурно. Начало его зафиксировано, пожалуй, в «Подземельях Ватикана» Андре Жида, где Лафкадио — как кажется, немотивированно, но мы-то знаем, что для остраненной остроты ощущений,— убивает незнакомого соседа в купе поезда.

Тот же Андре Жид еще в конце прошлого века написал «Плоды земные» — книгу, мало известную в России, но на Западе сделавшую революцию. «Послание» книги было в духе Шкловского: обновленное переживание чувственной полноты бытия.

В мемуарной литературе встречаются упорные утверждения, что Есенин если не расстреливал несчастных по темницам, то не раз присутствовал при этом. Это из той же области, что разговоры о его бисексуальности: мог попробовать педерастию из хулиганской лихости, как пробовал Лимонов, открыто пишущий об этом.

Лимонов, конечно, босяк, но босяк литературный, имеющий сильную традицию в России, можно сказать, благородную традицию босячества как всяческого революционизма. Это Горький и Маяковский вместе взятые — но в процессе вырождения, нисхождения и саморазоблачения типа писателя и литературной темы.

Нисхождение темы здесь означает ее выпячивание: материал берется вне искусства, втаскивается на экран тремя, а не двумя измерениями. Лимонов писатель никакой, несуществующий. Но вместе с ним исчезает литература как художество, как «метод», он — знак этого исчезновения. Поэтому он — событие большое, хотя и отрицательное. Отрицательность здесь не оценка, а математическое понятие: меньше, чем ноль, но не ноль.



Чтобы утешить Лимонова, скажу, что такая же минус единица на Западе — Пазолини, по крайней мере, в его фильме «Сало, или Сто двадцать дней Содома»: ощущаемость материала в фильме — внеэстетического характера, он действует на нервы.

С совершенно внеэстетической откровенностью Лимонов называет свою книгу «Дневник неудачника». И никакие литературные реминисценции не должны заслонить того, что речь у него идет о реальных пижамах и п... Неудача Лимонова — социальная: он не попал в свое время в советскую писательскую номенклатуру и об этом печалится на Западе, совсем не о тамошних голодных и рабах.

Тема советской литературы — да и тема современного искусства вообще — приходит здесь к самопознанию:

Нам надоели бумажные страсти,
Дайте жить с живой женой!

Поэтому «Ладомира» Лимонову никак не написать. Для этого нужна вера в сверхчувственные ценности, нужен утопизм, еще не переставший быть поэзией:

И зоркие соблазны выгоды,
Неравенство и горы денег —
Могучий двигатель в лони годы —
Заменит песней современник.

Нужна способность заменить поэмой не только соблазны выгоды, но и соблазны любви. Шкловский, написавший об этом в «Zoo», сам эту способность всего лишь имитировал, и «Zoo» осталась единственной его художественной удачей.

Лимонов, как сказал бы Фейербах,— «тайна» Шкловского, или его Немезида, как сказал Вл. Соловьев о Каткове в его отношении к славянофилам. У этого певца мастерства искусство было лишено метафизического измерения, указывая лишь на эмпирические соотнесения, помогая, всего-навсего, острее ощутить «жизнь» (на ученом языке формализм есть вариант эмотивной теории искусства). Но для потребной — или непотребной — остроты, как оказалось, совсем не обязательно искусство: не нужно «Zoo» писать, достаточно живой Эльзы.

Вопреки всякому формализму, из искусства выперла эта тема, «материал». А «стиль» исчез в неизвестном направлении. Впрочем, известно, в каком: растворился в постмодернизме, «вивризме», хэппенингах.

«Художник» ныне подтверждает наихудшие опасения Тынянова в «Промежутке»: это голая тема, взятая на голой эмоции. (Об этом и Шкловский писал в «Современниках и синхронистах».) Это — «непосредственное самовыражение» какого-нибудь рок-певца.

На Западе этот маскульт и стал исходом искусства — как в СССР им стал «культ личности». Отсутствие в России демократических традиций привело к модели художника как диктатора, тогда как на Западе появился художник как голос толпы. Рок-концерт — это не сольное выступление, а некое коллективное действо.

Художник-диктатор в СССР — Сталин. Эта идея долго носилась в воздухе, а сейчас ее зафиксировал Борис Гройс в книге, по-немецки названной «Сталин как полное собрание сочинений».

В диктаторстве как жестко оформляющей жизнь идее жизненный выход нашла «конструктивистская» сторона культурфилософии Шкловского. Ее «гедонистическая» сторона ушла в теперешний маскульт. Первоначальная синтетичность, даже синкретичность теории разложилась, распалась на эти два элемента. Первый элемент уже в России изжит.

Перестройка и послеперестроечная литературная жизнь в России не будет реставрацией «Нового мира» с Твардовским, но без коммунистов. «Культа личности» снова не будет, но будет маскульт с Лимоновым как очень вероятным претендентом на роль культовой фигуры.

Лимонов — telos русской литературы. С другой стороны, к литературе он имеет не большее отношение, чем рок-стар Мадонна — к христианской религии. Если объединить два эти утверждения, то получится, что литература кончилась, что такой конец и был ее целью. Она реализовала метафоры, сказалась вещно. Назвать это — то есть демократию — торжествующим хамом тоже будет метафорой и нынешнему стилю не отвечает.

Остается только построить демократию в России, то есть накормить Лимонова, чтоб он перестал писать даже то, что пишет.

*Ноябрь 1990*

Пользуемся случаем принести Б. М. Парамонову и читателям извинение за допущенные по вине редакции опечатки в статье «Портрет еврея: Эренбург» («Звезда», 1991, № 1): с. 137, строка 28-я сверху, нужно читать «Фолкнер» вместо «Флобер»; с. 140, 8-я сверху — «светскому» вместо «советскому»; с. 148, 12-я снизу — «Провинциальные» вместо «Принципиальные»; с. 149, 9-я сверху — «интеллигентская» вместо «интеллигентная»; с. 149, 23—24-е снизу — «русский классик» вместо «русский классик — Пастернак».

*Редакция*

***Раздел ведет Ив. Толстой***

**«ОПЫТЫ»**

Среди послевоенных эмигрантских журналов, продолживших дело объединения русских литературных сил, заметен был в свое время журнал *О* (1953—1958, 9 номеров). Расположение его редакции в Нью-Йорке было в целом связано с перемещением центра русского издательского дела за океан. *О* были начаты под ред. Р. Н. Гринберга и В. Л. Пастухова и с пометкой: «Издатель М. Э. Цетлина». Со II номера *О* выходили как «литературный» журнал, а с IV номера здесь сменился и редактор — им стал Ю. П. Иваск.

I номер *О* был открыт «Письмом редакции», в котором, в частности, говорилось: «Собирая по свету новых сотрудников, мы им писали, что программа нашего журнала — *литература*, т. е. стихи и беллетристика, театральные пьесы, литературная критика, статьи о человеке и современности, корреспонденции о жизни других литератур и искусств, библиография, анкеты среди иностранцев о проникновении русского языка, мысли и художественного творчества за границу, политическая проза в плане философии и истории.

Дальше мы им писали, что навсегда останемся врагами не только русского большевизма и других явных тоталитарных систем, но и тех родственных идей и взглядов, довольно распространенных, хотя и не столь очевидных в демократическом климате, которые все же направлены на планомерное уничтожение человеческой индивидуальности — единственного источника творческих сил;

что мы желаем освобождения русского художественного труда от партийно-полицейской опеки и избавления от „социального заказа";

что мы не сторонники готовых формул в творческой, художественной деятельности;

что шаблоны, столько раз возвещенные глашатаями разных школ и направлений, оставались, большей частью, бесплодными;

что в искусстве только личная энергия может разрешить возникшую перед ним творческую задачу, в зависимости от замысла и материала, свободно выбранных им. Сообразно этому, главное достоинство созданного произведения заложено в самом произведении, в раскрытии его внутренней закономерности.

Еще мы писали, что дорожим русским дореволюционным просвещением и опытом, когда наша родина в духовно-культурной области жила заодно с Европой, когда радость и скорбь, успех или падение в жизни европейских народов были страстным переживанием и собственным делом лучшей части русского общества, даровитейшие представители которого создали на своем молодом языке, говоря своим голосом, высказывая свою тревожную мысль о человеке, выпевая свои задушевные песни, — бессмертные творения, вошедшие в число общечеловеческих вечных ценностей».

За шесть лет своего существования *О* напечатали стихи поэтов первой эмиграции и тех, кто оказался на Западе в результате войны: Георгия Иванова, Юрия Иваска, Дмитрия Кленовского, Ивана Буркина, Сергея Маковского, Владимира Набокова, Ирины Одоевцевой, Владимира Смоленского, Глеба Струве, Лидии Червинской, Игоря Чиннова, Владислава Ходасевича, Георгия Адамовича, Ольги Анстей, Нины Берберовой, Владимира Злобина, Юрия Одарченко, Николая Оцупа, Всеволода Пастухова, Владимира Маркова. Из советских поэтов на страницах *О* появился только Борис Пастернак — стихами из «Доктора Живаго», а также — посмертно — Осип Мандельштам двумя стихотворениями, не известными к тому времени в эмиграции.

Раздел прозы *О* поместил историософские заметки «Судьба без судьбы» А. М. Ремизова, его же «Дягилевские вечера» и отрывок из романа «Плачужная канава»; два рассказа В. Варшавского; отрывок из романа «Базилисса» Игоря Карузо; отрывки из печатавшегося еще в довоенных парижских «Числах» романа «Аполлон Безобразов» Б. Поплавского; философские миниатюры Карла Гершельмана; мемуарные заметки Александры Толстой «Николка»; рассказы Г. Газданова, Е. Неверовой, В. Яновского, Дм. Леховича и И. Савина; главы из воспоминаний В. Набокова; главу из романа «Загржевский» А. Головиной — о жизни детей в русской эмигрантской гимназии в Чехословакии; миниатюрный рассказ И. Бабеля «В щелочку», исключенный в 1924 году из ленинградского журнала «Русский современник».

Как и вообще русская критика, так и, в особенности, критика эмигрантская теснейшим образом смыкалась с эссеистикой, философской публицистикой, историософскими и культурологическими этюдами. Не составила исключения и критика на страницах *О*. Георгий Адамович продолжил здесь печатание своих «Комментариев», появлявшихся на протяжении четверти века в самых разных печатных органах зарубежья. Была опубликована статья покойной З. Гиппиус «Искусство и любовь» (размышления по поводу «Митиной любви» Бунина: «Попытка изобразить мир в статике, в его настоящем моменте никогда не удается истинному художнику. Отрицает ли он мировой процесс восхождения или просто не хочет смотреть в сторону всей этой метафизики — результат один: воля, не направленная *вперед*, — оказывается направленной *назад и вниз*. Не желая улучшать действительность, такой художник роковым образом ее *ухудшает*... Отчуждение искусства от общей мировой жизни, сепаратизм искусства есть ложь»); заметки Н. Оцупа о поэзии и судьбе Н. Гумилева; доклад С. Маковского «Поэзия Игоря Чиннова»; размышления А. Ремизова о Гоголе; статьи В. Вейдле «Об иллюзорности эстетики и о жизненной полноте искусства» («...почему же выраженное, явленное делается явленным в искусстве, если оно не было ценным до него?.. как ни трудится художник и как ни нужен искусству этот труд, все же не плоды его труда созерцаем мы... и не замысел... а то, что он выразил, быть может, сам того не зная, то, на чем в ответ на его подвиг и заботу отпечатлелся, словно лик на убрусе, нерукотворный образ бытия»); заметки Ю. Иваска о Клюеве; философский опыт Ю. Марголина «О лжи»; главы из книги Л. Шестова «Sola Fide»; статья прот. А. Шмемана «О Византии. 1453—1953» («Нужно не возвращаться в Византию, а только в самом мире, в самом человеке снова увидеть все то, что увидело в них христианское зрение Византии»); «Записки читателя» Ю. Иваска; «Заметки на полях» Вл. Маркова; отрывок из готовившейся книги В. Варшавского «Незамеченное поколение» (глава о Набокове); статья Ф. Степуна «Кино и театр» («...нету искусства, которое с такою же силой выражало бы сложную сущность нашей эпохи: богооставленность, науковерие, прометеевское самоуправство, импровизация собственного мира, капиталистическая предприимчивость, интернационализм, потакание массам — все эти черты нашей современности находят исключительно полное выражение и даже символическое ознаменование в лучших созданиях современного фильмового искусства. В этом его смысл и оправдание его бытия») и много других материалов.

Большое внимание в *О* уделялось разделу рецензий и отзывов на книжные новинки. Не удивительно, что в первую очередь рецензировались русские книги, издававшиеся тут же — в Нью-Йорке и выпускавшиеся издательством имени Чехова, самым крупным на Западе в 50-е годы. Это отзывы В. Пастухова на книгу А. Ремизова «В розовом блеске» и исторический роман Н. Ульянова «Атосса»; Ю. Иваска — на сборник «Приглушенные голоса», антологию советской поэзии, составленную Вл. Марковым; М. Кантора — на сборник статей и речей А. Гольденвейзера «В защиту права»; В. Емельянова — на книгу о дальневосточной русской эмиграции, роман Н. Федоровой «Семья», Н. Полторацкого — на политическую биографию П. Б. Струве, написанную С. Франком, а также другие.

Подтверждая свою *журнальность*, *О* стремились информировать читателей о парижских и московских новинках: стихах А. Гингера, Л. Червинской, В. Мамченко, С. Прегель, С. Маковского — их сборники появились в послевоенном издательстве «Рифма», «Дне поэзии», сборниках парижского Института Славяноведения, посвященных русской литературе.

Первые два номера *О* напоминали своей внешностью и печатью довоенные «Числа»; номера выходили обычными и нумерованными. Начиная с третьего номера уменьшился формат *О*, а с четвертого — оформление. Один из редакторов *О*, стоявший у истоков издания, Роман Гринберг, станет в 60-е годы издателем известного альманаха «Воздушные пути».

***Ив. Т.***

## СОДЕРЖАНИЕ



### НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ



### ПУБЛИЦИСТИКА



### ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ



### КРИТИКА



### ФИЛОСОФСКИЙ КОММЕНТАРИЙ



### КНИЖНЫЙ УГОЛ



*К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ*

*Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении. Рукописи объемом менее двух печатных листов не возвращаются.*

*К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ*

*Сообщаем, что всеми вопросами доставки журнала занимаются местные отделения «Союзпечати».*
*Редакция не имеет свободных экземпляров журнала для рассылки читателям.*

## В 1992 ГОДУ «ЗВЕЗДА» НАПЕЧАТАЕТ:

Фантастический роман Андрея СТОЛЯРОВА «Монахи под луной».

Роман Владимира КОМИССАРОВА «Сухая гроза» — сатирическое повествование о временах «хрущевской оттепели».

Повесть Бориса НОСИКА «Большие птицы» — остроумно рассказанная история любви московского литератора и молодой англичанки.

«Книга пустот» Виктора СОСНОРЫ — метафорически насыщенная яркая проза известного ленинградского поэта.

Пьеса Бориса ХМЕЛЬНИЦКОГО «Ванька Каин».

## В 1992 ГОДУ «ЗВЕЗДА» НАПЕЧАТАЕТ:

Роман самого известного из неизвестных в России английских писателей Лоренса ДАРРЕЛА «Жюстина» — любовно-эротическое произведение с драматическим сюжетом, действие которого развивается в экзотической Александрии.

Роман Нормана МЕЙЛЕРА «Американская мечта» — книга, три последние десятилетия будоражащая умы читателей в США.

Роман Джона СТЕЙНБЕКА «Короткое правление Пипина IV» — веселое «историческое повествование» о восстановленной во Франции в середине XX века монархии.

Сергей ДОВЛАТОВ — из литературного наследия.

Главы из документальной книги американского журналиста Гаррисона СОЛСБЕРИ «900 дней» (о блокаде Ленинграда).

Стихи и эссеистика лауреата Нобелевской премии поляка Чеслава МИЛОША.

Главы из мемуарной книги немецкого писателя Вольфганга КЕППЕНА «В Россию и еще кое-куда».

Работа английского философа Бертрана РАССЕЛА «Власть».

В рубрике «Мемуары XX века» будут опубликованы: Григорий ПОДЪЯПОЛЬСКИЙ «Автобиографическая повесть» (предисловие А. Д. Сахарова), Борис ВАЙЛЬ «Особо опасный», Владимир ШЛЯПЕНТОХ «Открывая Америку».

Готовится специальный номер, посвященный столетию со дня рождения Марины Цветаевой.

Некоторые интереснейшие материалы 1992 года мы не рекламируем — из-за участившихся случаев пиратской перепечатки другими изданиями текстов, объявленных нашим журналом. Они являются тайной журнала и будут сюрпризом для его читателей.

Всех обладателей годовой подписки на «Звезду»—92 ждет приз:
Вместе с 11—12 номерами журнала вы бесплатно получите книгу, вами же выбранную из списка, который будет опубликован в первом номере за 1992 год.